

В сборник вошли статьи, анализирующие травму не только как единовременное событие, резко изменившее жизнь человека, но и как процесс, который продолжает влиять на отношение людей к их прошлому, настоящему и будущему. По мнению авторов сборника, травму невозможно свести только к акту нарушения — или даже полного разрушения — привычного образа жизни и сложившихся моделей самовосприятия. Травмирующим оказывается тщетность попыток сформулировать приемлемые причины этого неожиданного разрыва ткани социальной жизни. В разных контекстах и разными методами авторы сборника демонстрируют способы, с помощью которых люди учатся жить с травмой — не подавляя и не вытесняя ее негативное воздействие, но находя для нее место в своей судьбе и в истории своей жизни.

ТРАВМА: ПУНКТЫ

библиотека

библиотека
журнала

ТРАВМА: ПУНКТЫ

Под редакцией
Сергея Ушакина
и Елены Трубиной

ИСТОРИЯ ПОЛИТОЛОГИЯ ФИЛОСОФИЯ АНТРОПОЛОГИЯ

НЗ

АНТРОПОЛОГИЯ ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТОЛОГИЯ ИСТОРИЯ

ISBN 978-5-86793-722-5



9 785867 937225



Новое
Литературное
Обозрение



неприкосновенный
запас



УДК 613.863
ББК 88.37
Т65

Редактор серии
Илья Калинин

В оформлении обложки использована работа Зои Фроловой
Pendulum I-III. Холст, масло, 2005 г.
Частная коллекция

Т 65 **Травма:пункты: Сборник статей** / Сост. С. Ушакин и Е. Трубина.
М.: Новое литературное обозрение, 2009. — 936 с.: ил.

В данный сборник вошли статьи, анализирующие травму не только как единовременное событие, резко изменившее жизнь человека, но и как процесс, который продолжает влиять на отношение людей к их прошлому, настоящему и будущему. По мнению авторов сборника, травму невозможно свести только к акту нарушения — или даже полного разрушения — привычного образа жизни и сложившихся моделей самовосприятия. Травмирующей оказывается тщетность попыток сформулировать приемлемые причины этого неожиданного разрыва ткани социальной жизни. В разных контекстах и с помощью разных подходов авторы сборника демонстрируют способы, с помощью которых люди учатся жить с травмой — не подавляя и не вытесняя ее негативное воздействие, но находя для нее место в своей судьбе и в истории своей жизни.

УДК 613.863
ББК 88.37

ISSN 1815-7912
ISBN 978-5-86793-722-5

© З. Фролова, рисунок на обложке, 2009
© С. Ушакин, Е. Трубина, сост., 2009
© Авторы, 2009
© Новое литературное обозрение, 2009

Сергей Ушакин

«Нам этой болью дышать»?

О травме, памяти и сообществах

Наши мертвые нас не оставят в беде,
Наши павшие — как часовые.

Владимир Высоцкий

Строго говоря, коллективной памяти не бывает — как не бывает и коллективной вины. Однако есть процесс коллективного обучения.

Сюзан Зонтаг

Сообщества следует различать не по их ложности / подлинности, а потому стилю, в котором они воображаются.

Бenedикт Андерсон

Во время полевого исследования в Барнауле в 2002 году одной из моих собеседниц оказалась Людмила С., учительница истории в местной средней школе. Начиная с 1988 года она последовательно и настойчиво формирует разветвленную педагогическую систему, которая включает в себя Центры патриотического и эстетического воспитания, патриотический клуб «Стрела», ежегодные школьные конкурсы исполнителей военной песни и «самодеятельных» поэтов, спортивный «мемориал», посвященный воинам, погибшим в Афганистане, клуб пожарного прикладного искусства «Пламя» и многое другое¹. По своему содержанию этот набор образовательных практик и институтов не нов. Во многом он повторяет сложившиеся традиции советского образования. За небольшим, но принципиальным исключением. Интеллектуальным и эмоциональным центром этой системы стал школьный Музей локальных войн. В отличие от музеев боевой *славы*, столь типичных для советской школы, в центре внимания в данном случае оказалась не тема геро-

¹ Имена и названия изменены.

ических подвигов и самопожертвований во имя Родины, но тема утраты. Тема безвременной и нередко бессмысленной смерти стала для учителей, учеников и их родителей своеобразной организующей структурой, символической рамкой, способной придать смысл происходящим событиям. Непосредственным поводом, впрочем, была вполне конкретная смерть — в 1988 году в Афганистане погиб выпускник школы, в которой работала Людмила:

Когда он погиб, нас забудоражило. Действительно, это было страшно. Война же необъявленная шла, и никто ничего не знал. Для нас это была трагедия... Это теперь я знаю, кто когда погиб, кто когда родился, все эти мальчишки, 80 человек, которые родились в городе Барнауле: «чеченцы», «афганцы», Тбилиси, Абхазия и все что угодно. Это был старт. С этого мы и начали. ...Мы приняли решение об открытии памятника [погибшему выпускнику]... То есть горе как бы объединило. И мы начали работать, начали искать деньги, везде ходить, спрашивать, ярмарки устраивать, что-то где-то там, газеты продавали. Ну то есть зарабатывали, зарабатывали, зарабатывали... В январе [, в первую годовщину смерти,] мы памятник открыли... И все эти годы этот день и отмечаем. Все уже привыкли, это знает весь город...

При всей своей местной специфичности, мне кажется, этот случай можно воспринимать в качестве своеобразной метафоры определенной тенденции, которая стала складываться в (провинциальной) России в постсоветское время. Смерть — как старт и начало. Горе — как объединяющий принцип. Даты гибели — как вариант календаря. Материализация утраты — как способ патристического воспитания.

Травматический опыт выступает здесь «нулевым циклом», основной и одновременно вектором движения, сводящим воедино сумму разрозненных действий. Одна из антологий стихов «самодельных поэтов», опубликованных Людмилой С., имеет симптоматическое название «Нам этой болью дышать...». Эти стихи — беспомощные и стилистически, и символически — представляют собой набор расхожих клише, локализирующих воображаемые травмы в рамках привычных сюжетов и метафор. Один из авторов, девятиклассник, пишет:

Чечня. Война не утихает.
В окошке пулемет строчит.

Гремят орудья, не смолкая,
Земля и стонет, и кричит.
Вот пал солдат, сражен снарядом.
И город, превратившись в страшный гроб,
Кладет тела убитых ряд за рядом...
А где-то мать письма от сына ждет.
И пережить ей ужас доведется,
Когда ее о том оповестят,
Что сын ее домой уж не вернется,
Что он уже шальнойю пулей взят.

(Алеша Грин, 1999)

Активация *чужой* травмы преследует не столько цель эмоциональной археологии, сколько задачу эмоциональной идентификации — с погибшим, с его родственниками, со свидетелями — реальными или потенциальными¹. Формирование терапевтического контекста — т.е. задача преодоления травмы — вытесняется попытками пережить (чужую) утрату вновь и вновь, сделать ее частью повседневной жизни, выстроить вокруг нее сеть объединяющих ритуалов и практик².

Статьи, вошедшие в данный сборник, во многом акцентируют сходное восприятие травмы. Травма выступает здесь и как единовременное *событие*, которое резко изменило жизнь, и как *процесс*, который продолжает оказывать воздействие на отношение людей к своему прошлому и на их восприятие своего настоящего и будущего. При таком подходе травма становится не столько точкой и даже не столько отправным пунктом, сколько многоточием, траекторией, цепью событий и переживаний. Как редакторов нас интересовала, если так можно сказать, *жизнь травмы* — та самая ситуация, в которой боль становится тождественной воздуху. В разных контекстах и с помощью разных подходов мы стремились

¹ Подробнее о логике подобной активации см.: Robben A., Suárez-Orozco M. Interdisciplinary Perspectives on Violence and Trauma // Robben A., Suárez-Orozco M. Cultures under siege: Collective Violence and Trauma. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 1–42.

² Эта тенденция, безусловно, не является специфически российской. О сходных процессах см., например: Miller N. Portraits of Grief: Telling Details and the Testimony of Trauma // Differences. 2003. Vol. 14. P. 112–135; Laviolette P. Landscaping Death: Resting Places for Cornish Identity // Journal of Material Culture. 2003. Vol. 8 (2). P. 215–240.

показать, как люди учатся жить с травмой — не подавляя и не вытесняя ее негативное воздействие, но находя для нее место в своей судьбе и в истории о себе.

Приглашая авторов к участию и отбирая тексты для переводов, мы (редакторы сборника) преследовали несколько целей. С дисциплинарной точки зрения нам хотелось показать, что травматический опыт может быть не только объектом медицинского и психиатрического воздействия, но и предметом социального анализа. В текстах, представленных в этом сборнике, травма не сводится к акту нарушения — или даже полного разрушения — привычного образа жизни и сложившихся моделей самовосприятия. Скорее, травмирующим оказывается тщетность попыток сформулировать приемлемые причины этого неожиданного разрыва ткани социальной жизни¹. Травма, таким образом, переживается как своеобразный дискурсивный и эпистемологический паралич, как неспособность свести воедино три критических опыта: опыт пережитого, опыт высказанного и опыт осмысленного². Собственно, анализ вот этого разрыва между эмоциями, словами и смыслами и является основной задачей данного сборника. Используя опыт изучения травмы, накопленный в исторических, литературоведческих, антропологических и психоаналитических исследованиях, нам хотелось обозначить ряд направлений, по которым может строиться изучение травмы в гуманитарных и общественных науках: травма как опыт утраты, травма как символическая матрица и, наконец, травма как консолидирующее событие³.

Все три подхода являются отражением символической неоформляемости травматического опыта. *Травма-как-утрата* акцентирует ретроспективные попытки установить логику происшедшего:

¹ См. подробнее: Caruth C. Unclaimed Experience: Trauma, Narratives, and History. Baltimore: Johns Hopkins University, 1996; Trauma: Explorations in Memory / C. Caruth (ed.). Baltimore: John Hopkins University Press, 1995; Probing the limits of representation: Nazism and the «Final Solution» / S. Friedlander (ed.). Cambridge: Harvard University Press, 1992.

² См.: Pain as Human Experience: An Anthropological Perspective / M.-J. Devlecchio Good, P.E. Brodwin, B.J. Good, A. Kleinman, eds. Berkeley: University of California Press, 1992; Trezise T. Unspeakable // The Yale Journal of Criticism. 2001. Vol. 14 (1). P. 39–66.

³ Краткий обзор исследований травмы в англоязычной литературе см.: LaCapra D. Trauma Studies: Its Critics and Vicissitudes // LaCapra D. History in Transit: Experience, Identity, Critical Theory. Ithaca: Cornell University Press, 2004. P. 106–143.

утрата становится причиной переоценки уже несуществующего «целого». Точнее, сама картина «целостности» возникает лишь впоследствии — в процессе осмысления утраты¹. Невозможность символической локализации (причин) травмы в прошлом нередко ведет к активному производству следов утраты в настоящем². Принципиальным, однако, остается одно: *посттравматическое* состояние не имеет ничего общего со стремлением уйти от травмы. Напротив: в данном контексте стремление вписать следы травмы в структуру повседневности настоящего становится сутью посттравматической жизни³.

Попытка зафиксировать место и значение травматического опыта в словах, смыслах, вещах или ритуалах нередко приобретает форму травматической телеологии («И пережить ей ужас доведется»). Опыт травмы, т.е. опыт утраты, потери, разрыва, превращается в повествовательную матрицу, придающую логику связного сюжета раздробленным фактам индивидуальной или коллективной биографии. В отличие от травмы-как-утраты *травма-как-сюжет* является не только поводом для переосмысления утраченного прошлого: травма задает здесь *общую* систему повествовательных координат. Специфические ситуации жертв или очевидцев приобретают статус авторских позиций, с точки зрения которых репрезентируется прошлое и воспринимается настоящее. В этом варианте посттравматического состояния «пост-» является не показателем преодоления происшедшего («пост-» как «после»), но свидетельством его непреодолимости: биография и идентичность оказываются невозможными *вне* истории о пережитой травме⁴.

¹ См.: *Derrida J.* The Work of Mourning. Chicago: The University of Chicago Press, 2001.

² См. подробнее: Loss: The Politics of Mourning / D. Eng and D. Kazanjian (eds.). Berkeley: University of California Press, 2003; *Ferme M.C.* The Underneath of Things: Violence, History, and the Everyday in Sierra Leone. Berkeley: The University of California Press, 2001; *Antze P., Lambek M.* (eds.). Tense Past: Cultural Essays in Trauma and Memory. New York: Routledge, 1996.

³ Continuing Bonds, New Understanding of Grief / D. Klass, Ph. Silverman and S.L. Nickman (eds.). Washington, D.C.: Taylor & Francis; *Walter T.* The Revival of Death. London: Routledge, 1994

⁴ См.: *Brown W.* States of Injury: Power and Freedom in Late Modernity. Princeton: Princeton University Press, 1995; Violence and Subjectivity / V. Das, A. Kleinman, M. Ramphela, P. Reynolds (eds.). Berkeley: University of California Press, 2000; *Feldman A.* Memory Theaters, Virtual Witnessing, and the Trauma

Стремление обозначить следы утраты и дискурсивно стабилизировать значение травмы закономерно ведет к еще одному важному социальному последствию. Материальные и словесные свидетельства травмы требуют соответствующей — понимающей — аудитории, реальной или воображаемой. Со временем циркулируя эмоций и историй, порожденных травматическим опытом, формирует *сообщества утраты*, являющиеся и основным автором, и основным адресатом повествований о травмах¹. В таком контексте посттравматическое состояние нередко оказывается механизмом социальной консолидации и дифференциации («горе объединило»). Способность признать «общность боли» служит основой солидарности пострадавших; одновременно «опыт боли» выступает социальным водоразделом, символически изолирующим «переживших» от всех остальных².

Подчеркну: во всех этих подходах *преодоление* травмы воспринимается не только как невозможное, но и зачастую как ненужное. Речь, разумеется, идет о символическом воспроизводстве структуры травмы. С чем связана такая устойчивость травматического опыта на индивидуальном и коллективном уровне? Какие смысловые и социальные задачи призвана исполнить эта непрекращающаяся

Aesthetic // Biography. 2004. Vol. 27(1). P. 163–202; *Gilmore L.* Limit-cases: Trauma, Self-representation, and the Jurisdictions of Identity // Biography. 2001. Vol. 24 (1). P. 128–139; *Kleinman A.* The Illness Narratives: Suffering, Healing, and the Human Condition. New York: Basic Books, 1988; *Novick P.* The Holocaust in American life. Boston: A Mariner Book, 1999; *Toker L.* Return from the Archipelago: Narratives of Gulag survivors. Bloomington: Indiana University Press, 2000.

¹ См.: *Feldman A.* Political Terror and the Technologies of Memory: Excuse, Sacrifice, Commodification, and Actuarial Moralities // Radical History Review. 2003. Vol. 85. P. 58–57; *Victoriano F.* Fiction, Death and Testimony: Toward a Politics of the Limits of Thought // Discourse. 2004. Vol. 25.1 & 2. P. 211–230.

² См. различные способы формирования подобных сообществ: *Ahmed S.* Collective Feelings Or, The Impression Left by Others // Theory, Culture & Society. 2004. Vol. 21(2). P. 25–42. *Apadurai A.* Topographies of the Self: Praise and Emotion in Hindu India // Language and the Politics of Emotion / C. Lutz and L. Abu-Lughod (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 1990. P. 91–112; *Boltansky L.* Distant Suffering: Morality, Media, and Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 1999; *Felman Sh., Laub D.* Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History. New York: Routledge, 1992; *Kleinman A., Kleinman J.* The Appeal of Experience; The Dismay of Images: Cultural Appropriation of Suffering in Our Time // Social Suffering / A Kleinman, V. Das and M. Lock (eds.). Berkeley: California University Press, 1997. P. 1–25.

работа скорби по утраченному? Не претендуя на исчерпывающий ответ, я кратко обозначу лишь два круга проблем, которые помогут понять, как воспоминания о травматическом опыте становятся естественным социокультурным контекстом существования. Первый из них связан с попытками воспроизвести — в памяти и в словах — пережитую травму. Второй — с типом сообществ, вызванных к жизни опытом и метафорами травматической утраты.

Травма: от провала к структуре

В своих исследованиях травматических неврозов Зигмунд Фрейд предложил концептуальную модель травмы, которая во многом продолжает определять современное понимание влияния травматического опыта на поведение и самовосприятие субъекта¹. Отмечу лишь несколько ключевых моментов этой теории. Как известно, одним из проявлений травматического состояния являются «провалы» в памяти — т.е. неспособность человека восстановить полностью историю происшедшего. Ключевые этапы травмы оказываются недоступными — утерянными, цензурированными или вытесненными из актуальной памяти. Пародийная логика объяснения травмы в фильме «Бриллиантовая рука» («Шел. Поскользнулся. Упал. Закрытый перелом. Потерял сознание. Очнулся — гипс!») в этом отношении полностью верна: критическим становится не сам физический «перелом», но, так сказать, «потеря» сознания.

В «Истории болезни Доры» (1905), работе, посвященной проблемам истерии, Фрейд отмечал, что для многих пациентов с травматическими неврозами характерна «неспособность составить упорядоченную историю своей жизни в непосредственной связи со своим заболеванием». Для Фрейда значимость подобной несвязанности жизни, биографии и истории болезни выходила далеко за

¹ См., например: *Greenberg V.D.* Freud and his Aphasia Book. Language and the Source of Psychoanalysis. Ithaca: Cornell University Press, 1997; *Ricouer P.* Freud & philosophy: An Essay on Interpretation. New Haven: Yale University Press, 1970. P. 281–344. Критику фрейдовских идей о травме и памяти см.: *Whose Freud? The Place of Psychoanalysis in Contemporary Culture* / P. Brooks and A. Woloch (eds.). New Haven: Yale University Press, 2000; *Crews F.* The Memory Wars: Freud's Legacy in Dispute. New York, 1995; *Forrester J.* Dispatches from the Freud Wars: Psychoanalysis and its Passion. Cambridge: Harvard University Press, 1997.

рамки собственно больничного опыта: истерические симптомы помогали понять процесс сохранения и вытеснения памяти в целом. А именно: наряду с такими предсказуемыми причинами повествовательной несвязанности, как робость, стыд, сознательная или бессознательная неоткровенность, психоаналитик выделял так называемые «подлинные амнезии», при которых в провалах памяти

...оказываются не только старые воспоминания, но и совершенно новые. Вторичные парамнезии (ложные воспоминания. — С.У.), в свою очередь, заполняют образовавшиеся провалы. В тех случаях, когда события все-таки остаются в памяти, мотивация, вызвавшая амнезию, может проявляться в виде разрушения связующих звеньев. Как правило, такое разрушение связи выражается в изменении хронологической последовательности событий¹.

Выделю три важных момента в этой цитате. Во-первых, «амнезия» — сознательно или бессознательно произведенные провалы в памяти — возникает в данном случае как эффект повествовательной структуры. Следы неартикулированных событий можно отыскать лишь в неупорядоченной *истории*, вызванной к жизни неспособностью пациента выразить в словах временную и событийную последовательность. Это *дискурсивное* происхождение амнезии — безусловно, важное само по себе — не должно скрывать еще одного принципиального свойства: неупорядоченная история жизни пациента адресована собеседнику и конструируется в его присутствии. Провалы в памяти «пострадавшего», таким образом, приобретают значение *провалов* лишь в ходе диалогических отношений с тем, кто имеет представление о нормативной «целостности», то есть лишь в ходе отношения с Другим, будь это психоаналитик или сама система символов и правил («символический порядок»). Наконец, как отмечает Фрейд, анамнестическое — в буквальном смысле «взывающее к памяти» — знание при определенных условиях может приобретать форму временного смещения, искажающего фактическую последовательность событий. История о травме, таким образом, — это не только следствие повествовательной дисгармонии, но и результат хронологической путаницы: «расстро-

¹ Freud S. Dora: An Analysis of a Case of Hysteria. New York: Collier Books, 1963. P. 31–32.

енная история расстройств» (a confused story of confusion), в точной формулировке американского историка Самуила Хайнса¹.

В более поздних работах Фрейда эта теория травмы подвергнется дальнейшей разработке. Истерические симптомы, вызванные подавлением («провалами») памяти о травматическом событии, будут интерпретироваться как навязчивое желание воспроизвести — *бессознательно повторить* — подавленный *опыт*. Спустя двадцать лет после неожиданного разрыва аналитических отношений с Дорой Фрейд напишет: «Больной не может вспомнить всего вытесненного (может быть, как раз самого существенного) и вследствие этого не убеждается в правильности сообщенной ему конструкции. Он вынужден повторять вытесненное как переживание настоящего времени, вместо того чтобы... *вспоминать* о нем как о части своего прошлого»². Этот перенос аналитического фокуса с *вытеснения* травмы на идею *повтора* подавленного опыта принципиален. В данном случае роль травматического опыта уже не сводится к «провалам» в повествовании пациента; сам травматический опыт становится тем ядром, вокруг которого наращивается защитная скорлупа повествования³. Травма задает траекторию повествования, не становясь при этом предметом этого повествования⁴. Или, чуть в иной форме: в этой эволюции фрейдовской мысли можно проследить, как из «провала» в символической структуре («несвязная история») травма превращается в структурирующий принцип («навязчивое повторение»).

После Первой мировой войны Фрейд подвергнет пересмотру и свои исходные идеи об искажающем характере травматической памяти: травматические неврозы будут восприниматься как ретроспективное (бессознательное) признание травмирующего события. Невроз, иными словами, будет связан не столько с самим событием, сколько с невозможностью *припомнить* / *признать* то, что слу-

¹ Hynes S. The Soldiers' Tale: Bearing Witness to Modern War. New York: Allen Lane, 1997. P. 153.

² Фрейд З. По ту сторону принципа наслаждения // Фрейд З. Основной инстинкт. Сост. П. Гуревич. М.: Олимп, 1997. С. 205.

³ См. сходный подход в работах: Кристева Ю. Силы ужаса: эссе об отвращении. СПб.: Алетейя, 2003; Kristeva J. Black sun: Depression and melancholia. New York: Columbia University Press, 1989.

⁴ См.: Green A. The Work of the Negative. London: Free Association Books, 1999; Santner E. My Own Private Germany: Daniel Paul Schreber's Secret History of Modernity. Princeton: Princeton University Press, 1996.

чилось¹. Такая версия травматических невротозов позволит несколько иначе взглянуть и на роль Другого, перед которым травмированный субъект опять и опять переживает свой подавленный травматический опыт: уже сложившиеся структуры смыслов станут восприниматься как препятствие для смысловой интеграции травмы. Символическая неформляемость травмы, иными словами, будет усилена ее несовместимостью с нарративными традициями и смысловыми конвенциями, ориентированными на упорядоченность опыта и связность его репрезентации. Сложившиеся повествовательные традиции не в состоянии *вместить* (и не в состоянии выразить) травматический опыт. Проблема, таким образом, будет видеться не в том, что в памяти «обнаружились» провалы. Проблема в том, что в памяти *не находится* места для «архивации» воспоминаний подобного рода. Жак Лакан в своей интерпретации Фрейда сформулировал эту идею так:

Травма, в той мере как она оказывает вытесняющее действие, вмешивается задним числом... В такой момент нечто отделяется от субъекта в том самом символическом мире, в процессе интеграции которого субъект как раз и находится. Впредь это нечто уже не будет относиться к субъекту, не будет присутствовать в его речи, не будет интегрировано им. И тем не менее оно здесь же и останется и будет, если можно так сказать, выговариваться чем-то субъекту неподвластным².

Лишенные своего собственного места, эти *невывразимые воспоминания* нередко компенсируются навязчивыми жестами, символическими клише, ритуализированными действиями — т.е. теми автоматизированными, жестко структурированными внешними формами, воспроизводство которых не нуждается в поддержке собственной памяти. «Самодетельная поэзия» о войне, речь о которой шла ранее, является типичным следствием подобного «выговаривания» травматической структуры культурной памяти. В данном случае навязчивая потребность повторить повествовательный прием воспроизводится вновь и вновь отсутствием непос-

¹ Фрейд З. По ту сторону принципа наслаждения. С. 200.

² Лакан Ж. Работы Фрейда по технике психоанализа. Семинары. Кн. 1 / Пер. М. Титовой. М.: Гнозис, 1998. С. 253–254.

редственного опыта травмы. И цель «приема» здесь — не столько зафиксировать в словах травматическое событие, сколько обозначить воображаемую общность памяти об утрате. Клишированность «самодетальной» поэзии о непережитой войне, впрочем, не стоит преувеличивать. У травмы нет своего языка: даже собственный травматический опыт находится в принципиальном разладе с доступными речевыми средствами и нередко вынужден опираться на уже готовые модели репрезентаций¹.

На что нацелено это вынужденное повторение опыта, неподвластного символизации? В статье «По ту сторону принципа удовольствия» (1920), посвященной неврозам войны, Фрейд замечает, что основной функцией навязчивых кошмарных сновидений может быть стремление развить «чувство боязни, отсутствие которой и было причиной травматического невроза»². Навязчивые повторения определенных репрезентаций травмы (или даже тех шагов, что привели к травме), таким образом, могут восприниматься как ретроспективная и воображаемая попытка воспроизвести ситуацию, в которой травма может быть узнана, признана и, наконец, интегрирована в символическую систему субъекта. Воспоминания о травматическом опыте, другими словами, дают возможность «столкнуться» с травмой лицом к лицу, не повторяя при этом самого травмирующего события.

В определенной степени кошмарные сны и повторы, изученные Фрейдом, выполняют в данном случае ту же самую функцию, что и «переходные объекты», описанные Дональдом Винникоттом. В целях защиты от тревоги ребенок может полагаться на тот или иной предмет (угол одеяла, медвежонок, песня и т.п.), чтобы «скрыть» — заместить и / или не заметить — отсутствие матери. Овладевая этим искусством замещения / вытеснения, ребенок постепенно учится переживать временные разлуки с родителями, осознавая их более широкий контекст³. Или, словами Лакана: «субъект научается интегрировать события своей жизни в опреде-

¹ См. подробный анализ этого процесса в: *Seremetakis C.N. The Last Word: Women, Death, and Divination in Inner Mani*. Chicago: The University of Chicago Press, 1991.

² Фрейд З. По ту сторону принципа наслаждения. С. 218.

³ См. подробнее: Винникотт Д. Игра и реальность. М.: Институт общегуманитарных исследований, 2002. С. 11–53. См. также статью Э. Сантнера в данном сборнике.

ленном законе, в поле символических значений, в человеческом универсализующем поле значений»¹.

Важно, однако, иметь в виду то, что ни мастерство в развитии «чувства боязни», ни совершенствование навыков замещения не могут устранить исходной ситуации — пережитой утраты. Невозможность восполнить утрату ритуалами выживания, как отмечает Кэти Карут, может означать только то, что «само *выживание*... становится *кризисом*»². И именно эта невосполнимость, на мой взгляд, радикально отличает «вынужденные повторения» опыта травматической утраты от попыток заместить временное отсутствие близких с помощью разнообразных переходных объектов. Несмотря на то что оба способа работы с травмой основаны на механизме проективных фантазий и иллюзий, травма — в отличие от переходных феноменов — не поддается окончательной символизации. Любые попытки мемориализации травмы — будь то перевод утраты на язык предметов (практики «увековечивания») или, допустим, инвестирование эмоций в определенные символические структуры («песни скорби») — с неизбежностью сталкиваются с проблемой поиска адекватных дискурсивных средств. Травма обнажает недостаток речи, и неслучайно ритуалы символического пробела — например, минуты молчания — оказываются наиболее эффективным средством выражения памяти о невосполнимом³.

Джулиет Митчелл, скорее всего, права, предлагая в своей статье в данном сборнике видеть одно из последствий травмы в «ухуде» субъекта от реальности на уровне языка. В итоге речь становится «сымитированным согласием», навязчивым воспроизведением уже услышанного, цитированием жаргона, плагиатом или просто цепью связанных друг с другом правдоподобных реплик. Для Митчелл подобный язык «псевдосимволический», поскольку его цель — техническое означивание, точнее — синтаксическое упоряд-

¹ Лакан Ж. Работы Фрейда по технике психоанализа. С. 253.

² Caruth C. Introduction // Trauma: Explorations in Memory / C. Caruth (ed.). Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1995. P. 9.

³ Об архитектурных версиях пробела см., например: Huyssen A. The voids of Berlin // Critical Inquiry. 1997. Vol. 24 (1). P. 57–81; Smith L. Window or mirror: The Vietnam War Veterans Memorial and the Ambiguity of Remembrance // Symbolic Loss: The Ambiguity of Mourning and Memory at Century's End / P. Homans (ed.). London: University Press of Virginia, 2000. P. 105–125; Tatum J. The Mourner's Song: War and Remembrance from the Iliad to Vietnam. Chicago: The University of Chicago Press, 2003. Ch. 1.

дочивание речи, лишенной какой бы то ни было эмоциональной «подпитки» воображения¹.

Подобная диссоциация речи и травматического опыта — точнее, подобная возможность использовать язык как псевдосимволический, протезный механизм — может вести к тому, что сами речевые структуры начинают выступать в роли дискурсивных фетишей². Эрик Сантнер в статье, также вошедшей в данный сборник, убедительно продемонстрировал, как фетишизируется процесс повествования: потребность повтора неотрефлексированного травматического опыта замещается набором переходных речевых артефактов. Как справедливо предупреждает Сантнер, опасность такого «нарративного фетишизма» заключается в том, что он не столько формирует пространство для снятия тревоги, сколько создает иллюзию отсутствия каких бы то ни было причин для тревоги³. Нарративная, повествовательная целостность становится самоцелью. Боль-как-воздух превращается в жанр самодеятельной поэзии. Анализ исторической травмы вытесняется попытками умножить число эмоционально заряженных рассказов о травмах⁴.

Примеры подобного нарративного фетишизма можно найти в этой книге; здесь я выделяю тот, что остался за рамками сборника. С конца 1990-х и — особенно — в первом десятилетии нового века символическое возрождение «советского» стиля стало основной эстетической чертой современной России. Варианты такого возвращения в прошлое отличаются и степенью своей серьезности, и своим масштабом, но сама навязчивая тяга к повторению стилистических жестов и риторических приемов ушедшей эпохи — от

¹ См. статью Дж. Митчелл «Травма, признание и место языка» в данном сборнике; о «протезном» использовании символизации см. также: *Buck-Morss S. The Cinema Screen as Prosthesis of Perception: A Historical Account // The Senses Still: Perception and Memory as Material Culture in Modernity / C.N. Seremetakis (ed.). Chicago: The University of Chicago Press, 1994. P. 45–62.*

² Подробнее о травматической диссоциации см.: *Kirmayer L.J. Landscapes of memory: Trauma, Narrative, Dissociation // Antze P., Lambek M (eds.). Tense past: Cultural Essays in Trauma and Memory. New York: Routledge, 1996; Лурия А. Потерянный и возвращенный мир // Лурия А. Романтические эссе. М.: Педагогика-Пресс, 1996. С. 104–234.*

³ См. статью Э. Сантнера «История по ту сторону принципа наслаждения» в данном сборнике.

⁴ Практический анализ примеров такого фетишизма см. в: *Beautiful Suffering: Photography and the Traffic in Pain / M. Bernardt, H. Edwards, E. Duganne (eds.). Chicago: The University of Chicago Press, 2007.*

«Старых песен» о главном до съездов «Единой России» — не может не поражать своей устойчивостью и своей популярностью. Однако мне кажется ошибочным видеть в этих ретропроектах ностальгическую подоплеку. На мой взгляд, эта обращенность в прошлое во многом воспроизводит ту самую травматическую структуру памяти, о которой шла речь выше. Лишенные своей эмоциональной наполненности, оторванные от своего непосредственного контекста, травматические означающие прошлого *находят место* в современном контексте. Иными словами, диссоциация языка и опыта, дистанцирование по отношению к символическому порядку проявляются здесь в виде разнообразных псевдосимволических манипуляций с элементами ушедшего строя. Например, для того, чтобы создать иную, менее пугающую символическую структуру прошлого, для того, чтобы сформировать то самое «ощущение опасности», которое даст возможность приблизиться к травме, не переживая ее. Разнообразные символические ретроверсии, таким образом, играют здесь роль защитных переходных объектов, призванных заместить (и не заметить) отсутствие принципиальных фигур прошлого. Ретроверсии оказываются в итоге попыткой цитаты, плагиата, реставрации (советского) *символического порядка*, понятого и как механизм преодоления (символической) *неупорядоченности*, и как доступный словарь (структурно организованных) *символов*. За скобками такого воспроизводства протезов-означающих (советского) прошлого остается дискуссия об изначальных контекстах, благодаря которым эти означающие в свое время обрели, так сказать, плоть и кровь¹.

В этом отношении показательным то, что в постсоветской массовой культуре бесперебойный поток глянцевого версий советского прошлого любопытным образом оттеняется столь же настойчивой попыткой символически *завершить* эту эпоху при помощи разнообразных репрезентаций ее последних дней. «Телец» Александра Сокурова (2001), мини-сериал «Брежнев» Сергея Снежкина (2001), «Сталин.Live» Григория Любомирова (2006) — в этих (и многих других) попытках вернуться в прошлое фигуры умирающих лидеров выступают своеобразными метафорами грядущего кризиса, коллапса или, по крайней мере, радикальной трансформации общества. Сам момент коллапса, как правило, остается за скобками;

¹ См. подробнее: Oushakine S. «We're Nostalgic but We're not Crazy»: Retrofitting the Past in Russia // The Russian Review. 2007. Vol. 66. № 3. P. 451–482.

поскольку главным здесь оказывается желание взглянуть — впрочем, не приближаясь *слишком* близко — на процесс физиологического угасания человека-эпохи¹. Терапевтический эффект этих фильмов, отмеряющих степень доступа к прошлому, становится особенно очевиден тогда, когда их эстетика дозированного умирания сменяется стремлением показать, что суть травмы, так сказать, не в *финальном*, завершающем аккорде смерти. Травматичным, как ярко продемонстрировал «Груз 200» Алексея Балабанова (2007), является распад как образ жизни.

Или, чуть в иной форме: вполне возможно, что роль организующего ядра, вокруг которого строятся и повествование, и опыт таких символических — защитных — соскальзываний в советское прошлое, может играть неспособность постсоветского субъекта окончательно определиться со своим положением по отношению к исчезнувшей системе (советских) символических координат. Травма, как правило, проявляется как «травма дифференциации», как ее называет американский психоаналитик Алан Басс, т.е. как мучительный процесс разграничения между прошлым и настоящим². Нарративный фетишизм постсоветских ретропроектов, на мой взгляд, является ярким примером ситуации, в которой и необходимость провести черту между прошлым и настоящим, и неспособность к такому действию оказываются одинаково травматичными. Сергей Минаев, московский литератор, недавно емко описал это положение:

Мы оказались между. Не старые и не молодые. Не бедные, но и не богатые. Мы не успели отряхнуть пыль Союза, но и не успели впи-

¹ Анализ структурно сходного стремления «похоронить» ушедшую эпоху надлежащим образом характерен для многих постсоциалистических и поставторитарных стран. Недавние события в Таллине, связанные с переносом памятника «Бронзовому солдату» — из центра города на кладбище, — наглядно демонстрируют общую социально-символическую траекторию этих попыток «закончить» эпоху. См. также: *Borneman J. Introduction: Theorizing Regime Ends / Death of the Father: An Anthropology of the End of Political Authority / J. Borneman (ed.). NY: Berghahn Books. P. 1–32; Gal S. Bartok's funeral: Representation of Europe in Hungarian Political Rhetoric // American Ethnologist. 1991. Vol. 18(3). P.440–458; Reév I. Retroactive Justice: Prehistory of Post-communism. Stanford: Stanford University Press, 2005; Verdery K. The Political Lives of Dead Bodies: Reburial and Postsocialist Change. NY: Columbia University Press, 1999.*

² *Bass A. Difference and Disavowal: The Trauma of Eros. Stanford: Stanford University Press, 2000. P. 210.*

тать этот... ветер перемен. Мы аполитичны, так как знаем цену лозунгам партии. Мы ненавидим свою страну и плачем от ностальгии в Париже. Мы еще успели прочитать Бунина... Мы выросли с особой системой ценностей и координат. Не стали патриотами, но и не стали космополитами. Мы возненавидели СОВОК. Только почему-то на Новый год поем «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ». ...Не помню, кто сказал, но мы реально «ОСКОЛКИ РАЗБИТОГО ЗЕРКАЛА»¹.

Травма как утрата, травма как сюжет, травма как основа сообщества слиты здесь воедино: осколочность опыта становится предпосылкой к умозрительной реконструкции следов целостности — если не зеркала, то по крайней мере собственного отражения.

Воображая травму, изображая жертву

В 80–90-х годах прошлого века восприятие нации как «воображаемого сообщества» с «придуманными традициями» стало общим местом социоантропологических и исторических исследований. Акцент на «воображаемом» компоненте этих сообществ обычно призван подчеркнуть сконструированность нескольких основных черт, с которыми, собственно, и отождествляется нация. Во-первых, роль воображаемого оказывается незаменимой в процессе социального «цементирования» национального сообщества, поскольку члены этого сообщества лишены сколько-нибудь реальной возможности испытать на практике и на своем собственном опыте объединяющий — «наедине со всеми» — характер данной формы социальности. «Все сообщества крупнее первобытных деревень, — отмечает Бенедикт Андерсон, — воображаемые»². Принадлежность к современной нации — это, как правило, «любовь» на расстоянии, исторически культивированная потребность автоматически откликаться на соответствующие позывные — будь то бой Кремлевских курантов или истории о прошлых победах.

Во-вторых, сходным образом воображение играет ключевую роль и в поддержании идеи исторической «незыблемости» (факти-

¹ Минаев С. Обращение к читателю // Литпром.ру. М.: Астрель, 2007. С. 7.

² Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М.: Канон-Пресс-Ц, 2001. С. 31.

чески подвижных) границ национального «тела». Несмотря на свою отдаленность, Чечня, Тузла или, скажем, Курилы оказываются предметом повседневной озабоченности и политического ажиотажа; идея целостности (воображаемого) тела *нации* сливается с идеей *государственного* суверенитета. Акцент на воображаемых границах, однако, имеет еще одну принципиальную цель. Задача границ в данном случае — не только обозначить пределы национального тела, но и задать внешний контекст его существования, вообразить «чужую территорию», начинающуюся непосредственно по ту сторону границы.

В-третьих, воображение становится критически необходимым для поддержания и еще одной черты, приписываемой нации — нации, понятной как сообщество, преодолевшее социальные, профессиональные и / или классовые иерархии, как сообщество горизонтальных связей, в которых принадлежность к той или иной национальности становится не вопросом, а ответом¹. В этой ситуации тезис о «придуманном» характере национальных традиций, с помощью которых в конечном итоге и воспроизводится нация, призван обозначить, как отмечает Эрик Хобсбаум, «процесс формализации и ритуализации, отмеченный связью с прошлым, даже если эта связь выражается лишь в навязанных повторях»².

Несмотря на небольшие различия, подходы, связанные с именами Андерсона и Хобсбаума, одинаково воспринимают «нацию» как определенный исторический союз, который обретает свою структуру при помощи соответствующих культурно-политических процессов и механизмов. У историков, судя по всему, не вызывает сомнения идея о том, что в процессе оформления нации главной задачей «воображения» и «придумывания» является стремление универсализовать во времени и экстраполировать географически некий исторический опыт, который тем не менее имел место в той или иной форме. Иными словами, воображается и придумывается не *природа* связующего (национального) опыта, но возможность пережить этот опыт *совместно*.

¹ См. подробнее: Андерсон Б. Воображаемые сообщества. С. 32.

² См.: Hobsbawm E. Introduction: Inventing Traditions // The Invention of Tradition. E. Hobsbawm, T. Ranger (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 1983. P. 4. См. также: Taylor Ch. Modern Social Imaginaries. London: Duke University Press, 2004; Castoriadis C. The Imaginary Institution of Society. Cambridge: Polity Press, 1987.

На мой взгляд, социальный конструктивизм этого подхода к изучению нации может быть существенно дополнен. Может ли оказаться, как предлагает Славой Жижек, что за всеми этими «воображенными» сообществами и ретроспективно «найденными» традициями нет *никакого* реального, основополагающего опыта? Может ли быть, что в «основании» нации находится не *событие* — искаженное и мистифицированное последующими придуманными традициями, — а лакуна, пробел, которые эти традиции и призваны описать, как описывают окрестность? Может быть, именно в этой воображаемой попытке восполнить фундаментальную нехватку и стоит искать тягу к коллективной идентичности? Иными словами, можно ли говорить о том, что опыт утраты — реальной или воображаемой — и служит той самой канвой, по которой вяжутся узлы нациостроительства?

Напомню, что Жак Лакан в своих работах выделял три основных «регистра», определяющих «настрой» психической деятельности субъекта: Реальное, Воображаемое и Символическое. Лакановская теория стадии зеркала, — анализирующая *младенца*, который, будучи еще не способным полностью контролировать свои движения, видит свое целостное *отражение*, обрамленное зеркальной *рамой*, — может служить хорошей иллюстрацией этой троичной структуры (соответственно младенец — отражение — рама)¹. Для меня в данном случае важным будет только один аспект этой триады — роль лакановского Воображаемого, т.е. роль отражения («репрезентации») в процессе формирования идентичности.

Как справедливо отмечает Жижек в своей интерпретации стадии зеркала, примечательным в этой ситуации является то, что отношение младенца к своему отражению строится на принципе исходного несоответствия. Отражение, заключенное в раму зеркала, собственно отражающей функции не выполняет — *реальная* аморфность младенческого тела «отражена быть не может», она не является частью картины². Узнавание себя в отражении «на вырост» есть стратегическая уловка, есть признание зазора между символическим выражением, зафиксированным рамкой зеркала,

¹ См. подробнее: Лакан Ж. Стадия зеркала и ее роль в формировании функции «Я» в том виде, в каком она предстает нам в психоаналитическом опыте // Лакан Ж. Семинары. Кн. II: «Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа / Пер. А. Черноглазова. М.: Гнозис, 1999. С. 508–516.

² Žižek S. Enjoy your Symptom! Jacques Lacan in Hollywood and out. NY: Routledge, 1992. P. 126.

и его прототипом. Или — в иной форме: функция зеркального отражения состоит в том, чтобы скрыть исходную нехватку «целостности» субъекта *перед* зеркалом. Привлекательность иллюзорной, опережающей целостности в зеркале, таким образом, коренится в отсутствии прямой взаимосвязи между отражением и реальным состоянием: образ имеет смысл именно потому, что реальному «аморфному остатку» в нем нет места по определению¹.

Насколько уместна эта логика фантазматической целостности при объяснении природы национальной идентичности? Можно ли видеть в нации сходный продукт воображения, привлекательная целость которого обеспечивается все тем же «аморфным остатком», расположенным по другую сторону социального «зеркала»? Анализ событий в Восточной Европе, предпринятый Жижекком, убедительно показывает, что использование психоаналитических моделей для интерпретации социальной действительности может дать весьма продуктивные результаты. Речь, разумеется, не о том, чтобы психологизировать еще одну неподходящую область социальной жизни. Цель подобного расширения репертуара интерпретационных рамок в том, чтобы выйти из тупика традиционного структурно-символического анализа национальной идентичности, не способного объяснить, почему — несмотря на всю историчность и сконструированность нации — привязанность к этой форме идентичности оказывается столь сильной. Что именно вынуждает индивидуального или коллективного субъекта настаивать на своей принадлежности к той или иной национальной группе даже тогда, когда все «придуманные» традиции отброшены за ненадобностью и все надежды на «воссоединение» с членами своего национального сообщества испарились?

В одной из своих работ Жижек специально оговаривает опасность «дискурсивного идеализма», пытающегося свести национальную проблематику к теме национального строительства, озаченного исключительно «придуманными» традициями или «перформативными» эффектами. Как отмечает Жижек: «Исключительно дискурсивный эффект не обладает достаточной материальностью (substance), чтобы вызвать чувства, соответствующие высоте [национального] Дела»². Что может быть источником *дос-*

¹ Žižek S. Enjoy your Symptom! Jacques Lacan in Hollywood and out. NY: Routledge, 1992. P. 126.

² Žižek S. Tarrying with the Negative: Kant, Hegel, and the Critique of Ideology. Durham: Duke University Press, 1993. P. 202.

точной материальности, способной придать эфемерному дискурсивному эффекту необходимую силу и убедительность? Вряд ли удивительно то, что ответ на этот вопрос Жижек находит у Фрейда. Следуя фрейдовской идее о базовом, конституирующем значении опыта удовольствия и неудовольствия, Жижек замечает:

Нация существует постольку, поскольку ее специфическая форма *наслаждения* (enjoyment) может быть материализована в виде социальных практик и передана другим поколениям с помощью национальных мифов, которые и структурируют эти практики... Национальное Дело — это в конечном итоге не что иное, как способ, с помощью которого члены данной этнической группы упорядочивают свое наслаждение в национальных мифах¹.

Если бы Жижек остановился на этом, его попытка добавить к дискурсивному производству национальных мифов эмоционально заряженный телесный опыт (наслаждения) вряд ли принципиально отличался бы от традиционных романтических поисков национальных корней в почве Матери-Родины или душах / телах ее детей. Жижек, однако, идет дальше. Смыкаясь с Лаканом, он настаивает на том, что наслаждение — та самая квинтэссенция коллективного опыта национальных привычек, который и связывает нацию воедино, — крайне редко проявляется в своей канонической форме. Наслаждение всегда принадлежит Другому. Наслаждение — это то, чего нация (была) лишена ее врагами². Или, словами Жижека, «за нашими попытками приписать Другому кражу нашего наслаждения мы скрываем тот травматичный факт, что *мы никогда не обладали тем, что было якобы украдено у нас*: нехватка... первична»³.

¹ Žižek S. Tarrying with the Negative: Kant, Hegel, and the Critique of Ideology. Durham: Duke University Press, 1993. P. 202–203.

² Бывшая президент Латвии Вайре Вике-Фрейберга несколько лет назад наглядно показала, как эта идея собственной утраты инстинктивно связывается с образами «наслаждающегося» Другого. Обосновывая неприемлемость празднования Дня Победы в Латвии, президент, например, объясняла в 2005 году: «В России еще много стариков, которых не переубедишь в том, что 9 мая для Латвии не может быть праздником. Они, разложив на газете воблу, будут пить водку и петь частушки, а нам, латышам, праздновать в этот день нечего, ибо это день скорби» (цит. по: Шунин А. «Пить водку и петь частушки» // Новые Известия. 2005. 11 февраля).

³ Žižek S. Tarrying with the Negative. P. 203.

Логика лакановской зеркальной стадии в модели Жижека очевидна — наслаждающийся Другой в данном случае есть не что иное, как зеркальный образ «аморфного» субъекта перед зеркалом. Отчужденный и изолированный образ «цельного» Другого, иными словами, есть проекция и напоминание о собственной фрагментарности. Сплачивая нацию, образ Другого в то же самое время обнажает ее внутреннюю пустоту. И, на мой взгляд, Жижек абсолютно прав, когда говорит о том, что возврат к национализму в Восточной Европе в 1990-х следует воспринимать не как наследие социализма, но как реакцию на его исчезновение: «Возврат к национализму стал средством защиты против травматической дезориентации, против потери почвы под ногами, вызванной дезинтеграцией «реального» социализма»¹.

Риторический акцент Жижека на фундаментальной роли «наслаждения» в деле национального строительства не должен вводить в заблуждение. Принципиальна здесь, разумеется, не тяга к удовольствию (или бег от неудовольствия). Принципиальной является консолидирующая роль той самой утраты, из-за которой воображаемое наслаждение оказывается постоянно отложенным. Единение становится способом если не защиты от чувства лишенности, то по крайней мере способом ее коллективной мемориализации². Сообщества, таким образом, оказываются сообществами утраты, и преодоление этой связующей травмы в данном случае равносильно распаду сообщества³. Верно и обратное: поиск связующей травмы, активация исторических трагедий, воспроизводство чувства потери становятся востребованными при формировании чувства сопричастности и коллективности⁴. Воображаемые травмы достигаются посредством изображения жертвы. Проиллюстрирую эту идею одним примером.

¹ Žižek S. Tarrying with the Negative. P. 232.

² Eyal G. Identity and trauma: Two Forms of the Will to Memory // *History & Memory*. 2004. Vol. 16(1). P. 5–36; Robben A. How Traumatized Societies Remember: The Aftermath of Argentina's Dirty War // *Cultural Critique*. 2005. Vol. 59. P. 120–164.

³ Butler J. Afterword: After Loss, What Then? // *Loss: The Politics of Mourning*. P. 468.

⁴ См. подробнее в: Daniel E.V. *Suffering Nation and Alienation // Social Suffering*. P. 309–358; Schivelbusch W. *The Culture of Defeat: On National Trauma, Mourning, and Recovery*. NY: Metropolitan Books, 2001; Winter J. *Sites of Memory, Sites of Mourning: The Great War in European Cultural History*. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

В начале 2000-х годов для молодых некоммунистов Барнаула газета «Поколение» сыграла, судя по всему, ту же самую организующую роль, что и ленинская «Искра» — для развития социал-демократического движения в России веком раньше. Изданная на серой бумаге, со смазанным типографским шрифтом, газета «Поколение» тем не менее отличалась характерной способностью апеллировать к травмам прошлого для того, чтобы сформировать чувство единства в настоящем. Лозунг газеты — *История уже любит вас!* — симптоматически обозначал любопытную траекторию связи времен. В конце октября 2002 года газета издала праздничный номер, посвященный 85-й годовщине Октябрьской революции. Номер вышел вскоре после событий на Дубровке, и, возможно, поэтому многообещающий призыв «Он еще придет — наш красный Октябрь!», вынесенный в шапку газеты, оттеняла не совсем юбилейная заметка «Что такое победа»:

Как писал Шекспир, «все мерзостно, что вижу я вокруг». Правители, даже не скрывающие своего предательства, своей некомпетентности и беспомощности. Содомитская «элита», оккупировавшая все телеканалы и газеты, презирующая «быдло» и «эту страну». Оппозиция, не способная выдвинуть такого лидера, чтобы хотя бы просто объединиться. И народ... Народ, не отрывающий глаз от рекламы прокладок и презервативов. Народ, вымирающий и спивающийся, народ, делающий по два миллиона абортотворений в год под визги «Тату». Единственный разумный вывод из всего этого: мы обречены...

Может быть, такое же чувство обреченности было в сорок первом году под Москвой. Когда армия «двунадесяти языков» топтала русскую землю, сжигая деревни и города, когда необученные курсанты шли с винтовками на танки, когда Правительство заседало в подземных галереях метро, когда саркофаг с телом Вождя прятали в Сибири. И все-таки мы тогда победили.

Победа приходит не в борьбе, не в бою и уж тем более — смешно сказать — не на выборах. Вожди, партии, страны побеждают благодаря тому чувству Победы, той вере в Победу, которые вспыхивают в сердцах искренних и честных людей. Главное, не дать погаснуть этому огню.

В Великой войне мы победили не тогда, когда последний солдат вермахта поднял руки вверх, а уже тогда, когда Матросов бросился на дот и Гастелло совершал воздушный таран. Когда Сталин

отказывался эвакуироваться из прифронтовой Москвы или обменять захваченного в фашистский плен сына Якова на фельдмаршала Паулюса. ...Когда безногий Мересьев начал учиться танцевать. И все бессмертные и безвестные Герои, оставшиеся на полях сражений, вовсе не были безрассудными смельчаками. Наоборот, они с первых дней войны твердо знали, что победят, и совершенно осознанно выбирали смерть. Остальное было лишь делом времени....

Сохранить в себе чувство Победы — это уже подвиг.... Ведь весь мир — враги, друзья, родные да и твой собственный разум говорят тебе: отступи. Приводят тысячи очевидных и неоспоримых доводов. И когда ты, понимая умом, что проиграешь, заставляешь себя вновь поверить — ты становишься непобедимым.

Смысл Победы нельзя выразить только во взятых городах и убитых врагах. Непобедимыми были советские воины, поднявшие знамя над Берлином. Но непобедимой осталась и Шестая десантная рота, уничтоженная в Чечне десятикратно превосходящими ее боевиками, но не отступившая ни на шаг.

Победа — это не выигрыш. Выиграть можно благодаря обману, случаю, количественному перевесу. А Победа — это правда...

Поэтому, как бы тяжело нам ни приходилось, враг не сможет победить. Победить могут только те, за кем Правда. А она — за нами. И мы, оппозиция, победим не потому, что мы выиграем выборы. Логика тут другая: мы выиграем выборы потому, что мы должны победить¹.

Написанная аспирантом местного университета, эта заметка хорошо иллюстрирует тенденцию формирования постсоветской социальности вокруг артикуляции пережитого или воображенного опыта утрат. Примечательной в этой форме организации национального мифа является непреходящая фиксация на отрицательном опыте². Однако дискурсивное воспроизводство следов утраты при этом вовсе не направлено на восстановление социальной ткани, разрушен-

¹ Боровиков Д. Что такое победа // Поколение. 2002. Октябрь. № 8.

² О зависимости от негативных категорий в частности и негативного опыта в целом см. подробнее в: Крестева Ю. Силы ужаса; Anagnost A. The Politics of Ritual Displacement // Asian Visions of Authority: Religion and the Modern States of East and Southeast Asia / Ch. Keyes, L. Kendall, H. Hardacre (eds.). Honolulu: University of Hawai'i Press, 1994. P. 221–254; Green A. The Work of the Negative; Žižek S. Tarrying with the Negative.

ной трагическими событиями. Судя по всему, главной задачей здесь является другое — продолжить цепь воспоминаний о травматических событиях, чтобы установить принципиальное сходство утрат во времени и пространстве. Связность национальной истории здесь конструируется как непрекращающаяся циркуляция боли. В рамках этой повествовательной матрицы победа — это не выигрыш, и потому успех здесь редко ассоциируется с эффективным применением силы или, допустим, удачным использованием хитрости. Эти победы отчаяния — как правило, случайные и достигнутые «вопреки всему» — неотрывны от лишений. Победы здесь находятся в тени их невозможности: «понимая умом, что проиграл... ты становишься непобедимым».

Тема *Правды* играет существенную роль в этом общем культурном нарративе о конституирующей роли травматического опыта. При всей своей эффектной риторической оппозиционности воззвания к *Правде* остаются перформативными («Правда за нами»), а не объясняющими. Производя свою негативную селекцию, обозначая картографию мест негативной зависимости, эти заявления в основном призваны отвергнуть «некомпетентных правителей», «содомитскую элиту» или «неспособную оппозицию», не предлагая какой бы то ни было положительной альтернативы. Сводя многочисленные отрицания в единую смысловую цепочку, эти заявления — тем не менее — завершаются положительной кодой: Ты понимаешь, что проиграешь. Ты знаешь, что победа — не в выигрыше. Но, самое главное, ты знаешь и то, что «враг никогда не сможет победить». Оформляя социальные отношения в рамках логики мученичества и риторики жертвенности, эти экскурсы к страданиям прошлого (во имя *Правды*) задают определенную историческую телеологию. Нация предстает здесь как воображаемое сообщество людей, связанных вместе общим опытом боли для того, чтобы передать грядущим поколениям свидетельства своих утрат: «Нам этой болью дышать».

* * *

Вспоминая свое возвращение в Петербург 1918 года, Виктор Шкловский в «Сентиментальном путешествии» сравнивает город с «оглохшим» человеком: «Как после взрыва, когда все кончилось, все разорвано. Как человек, у которого взрывом вырвало внутрен-

ности, а он еще разговаривает. Представьте себе сообщество из таких людей. Сидят они и разговаривают. Не выть же»¹. Тексты, собранные в этом сборнике, документируют сходные ситуации «после взрыва» — когда разговоры призваны если не компенсировать, то по крайней мере заглушить пережитую травму. Опираясь на различный теоретический и дисциплинарный опыт, авторы статей исследуют процесс перевода опыта «разорванности» на язык повседневных рассказов, ритуалов, поступков.

Редактируя этот сборник, мы сознательно пытались уйти от стремления сформировать «целостную» картину исследований травмы. Читатель не найдет здесь ни законченных моделей изучения травматического состояния, ни всеобъемлющих способов «диагностирования» его симптомов, ни окончательных методов его интерпретации. Свою задачу, повторюсь, мы видели в другом — в том, чтобы понять, *как* и *почему* переживание травматического опыта — те самые «разговоры после взрыва» — остается востребованным и на уровне индивидуального самовосприятия, и на уровне коллективных саморепрезентаций.

В главе «Память боли» центральным для осмысления травматического опыта становится тема *повтора*, тема постоянного возвращения к неизжитому прошлому. Исторические формы и этой неизживаемости, и этих возвращений меняются во времени. Однако остается постоянным их исходный импульс — попытка стабилизировать в словах негативный эмоциональный опыт.

Бет Холмгрен на примере повести Авдотьи Панаевой «Семейство Тальниковых» прослеживает ряд подобных возвращений. Написанная в 1848 году повесть Панаевой была запрещена на долгое время за «подрывание родительского авторитета» и увидела свет лишь в 1928-м. Для Холмгрен, однако, запоздалая публикация повести Панаевой интересна не столько как пример социального замалчивания текста, обличающего родительскую тиранию, сколько как попытка реакции на определенную повествовательную традицию, способную передать ужасы «варварского детства» автора. При таком прочтении «Семейство Тальниковых» оказывается слегка закамуфлированной автобиографией. Травматические «воспоминания» возвращаются к жизни в виде художественной прозы.

¹ Шкловский В. Сентиментальное путешествие // Шкловский В. «Еще ничего не кончилось...» М.: Пропганда, 2002. С. 142.

Эту тему пересечения автобиографического и художественного продолжает в своей работе Мария Литовская. Подобно тому как для Панаевой боль и унижения детства во многом определили нарративные рамки ее произведений, написанных во взрослом возрасте, для Голикова-Гайдара опыт Гражданской войны превращается в источник его индивидуальной и творческой идентичности. Символическая неопределимость боевого прошлого становится скрытой (или скрываемой) «военной тайной», на фоне которой, собственно, и разворачиваются последующие события. Война (и военная тайна) воспринимаются как тотальные и всепоглощающие, поэтому тотальной и всепоглощающей оказывается и «жажда ясности» Гайдара. То есть — жажда определенности военного опыта, социальной местоположенности, символического смысла. Само творчество в итоге превращается в своего рода терапию — преодоление провалов и цензуры памяти А. Голикова становится возможным при помощи литературного таланта А. Гайдара.

Еще две статьи этого раздела исследуют сходное — терапевтическое — воздействие речи и символов на тех, кто пережили трагические или травматические события. В центре исследования Елены Рождественской — типичная ситуация, в которой травма, связанная с онкологическим заболеванием, остается непроговоренной. «Рассказ не рассказывается», и эта нерассказанность грозит стать основой очередной — вторичной — травматизации. Как отмечает Рождественская, в этих условиях дефицит речи может быть преодолен «языком тела»: семиотизация движения и соматизация языка дают возможность символически локализовать («повторить») травму — например, в танце или пространстве. Рассказ становится показом; тело — коммуникативным ресурсом.

Франсуаза Давуан и Жан-Макс Годийер обращают внимание на несколько иную версию непроговоренности травмы — в данном случае символическая аморфность трагического опыта приводит к тому, что он оказывается не столько вытесненным, подавленным — но тем не менее присутствующим в памяти жертвы, — сколько напрочь *вырезанным* из этой памяти. О содержании травмы здесь можно судить лишь по ее «рваным» краям — симптомам. Для французских психоаналитиков ключевыми в этой ситуации становятся социальные связи, а именно способность пострадавшего, так сказать, откликнуться на опыт чужих слов, перенести / перевести его, чтобы заместить «вырезанные» страницы своей биографии. Связь «рваных краев» памяти с опытом слов Другого (будь то ана-

литик, родители или, допустим, сверстники) вряд ли в состоянии изжить саму травму. Но такая связь, по крайней мере, позволяет преодолеть молчание — пусть и при помощи заимствованной речи.

Елена Трубина в своей статье рассматривает эту идею вторичности символических структур и механизмов в более широком социальном контексте. В данном случае речь идет не столько о заимствовании чужой речи для описания своего травматического опыта, сколько о воспроизводстве свидетельств чужого травматического опыта в собственных дискурсивных и визуальных рамках. Для Трубиной технологии подобного «перевода» травм — отдаленных и социально, и исторически — связаны с целым рядом этических проблем. Выборочность «перевода» нередко ведет к подмене самого опыта. Детали лагерной жизни превращаются в метафоры. Ограниченные социальной потребностью помнить о жертвах прошлого, с одной стороны, и стремлением придать этой работе памяти современный характер, с другой, лучшие примеры таких вторичных свидетельств проходят по узкой грани между тривиализацией и морализаторством.

Основная тема раздела «Сообщества утраты» — не столько попытки придать ту или иную повествовательную форму травматическому опыту, сколько стремление «пострадавших» опираться на свой опыт утрат в процессе формирования широких социальных связей. Существенными, иными словами, становятся не сама репрезентация и не символизация травмы, но тот консолидирующий эффект, который эти символы способны произвести.

Исследуя политику репрезентации Чернобыльской аварии, Сергей Мирный демонстрирует в своей статье, как различные *символические* режимы могут приводить к вполне реальным *социальным* последствиям. Пессимизм нарративов о «радиационной травме», по мнению Мирного, лишь усугубил положение ликвидаторов, превратив их посттравматическую жизнь в вариант психо-социального бедствия. Для Мирного выход видится в радикальной трансформации повествовательных традиций в освещении Чернобыля — в «информационной интервенции», способной предложить положительную альтернативу тем нарративам жертвы, которые продолжают преобладать в восприятии событий на Чернобыльской АЭС.

Сюзан Ульберг, Пауль Харт и Селеста Бос в своей статье продолжают тему репрезентаций катастроф. В отличие от исследований Мирного в данном случае акцентируются не индивидуальные,

но политические аспекты процесса формирования повествовательных традиций. Как отмечают исследователи, нередко в формировании социальной памяти о катастрофах сами потерпевшие играют далеко не определяющую роль. Более того, если официальные лица и институты, призванные расследовать причины катастроф, ориентированы прежде всего на то, чтобы «закрыть дело», определив «виновных», «пострадавших» и размер ущерба, то сами пострадавшие преследуют иные цели. Тема мемориализации, справедливости, исторической правды оказывается в прямом конфликте с политической потребностью сформировать «окончательную» версию происшедшего.

Это принципиальное несовпадение двух «логик» в восприятии травмы находится в центре исследования Ким Шеппели. Что способно дать «обращение к закону» тем, кто пережил травму или потерял близких? Анализируя судебные разбирательства, последовавшие за событиями на Дубровке, Шеппели прослеживает, как традиционная идея *двойного обещания* закона — санкционировать официальную версию происшедшего и компенсировать ущерб пострадавшим — оказалась неприменимой в российских условиях. Ни сколько-нибудь связного объяснения событиям на Дубровке, ни сколько-нибудь удовлетворительного возмещения ущерба в ходе судебных слушаний достичь не удалось. Травма осталась и непроговоренной, и некомпенсированной, вынуждая сообщество пострадавших возвращаться вновь и вновь к тому же самому вопросу, который и вызвал к жизни их судебные разбирательства: «Что же именно произошло?»

Подобные вопросы зачастую не имеют ответа, и проблема в данном случае не только в их «политической нецелесообразности». Исторические свидетельства переживших трагические события настойчиво демонстрируют общую тенденцию: целостной, окончательной версии того, *что именно* произошло, создать невозможно. Разрыв между восприятием и репрезентацией травматического опыта остается непреодоленным. В своей статье я попытался показать, как практики мемориализации помогают заместить (или даже вынести за скобки) вопросы о том, что произошло. Анализируя деятельность Комитета солдатских матерей в Барнауле, я показываю, как стремление к справедливости оказалось в тени стремления солдатских матерей материализовать следы своей утраты. Вопрос «Кто виноват?» был вытеснен вопросом «Как мы будем помнить?».

Сходную логику цензурирования и смещения в восприятии утраты анализирует в своей работе Хосе Аланиз. Используя материалы, связанные с работой первых хосписов в России, Аланиз исследует формирование определенных повествовательных традиций, цель которых — институционализировать «способы невидения» смерти. В итоге сентиментализация и романтизация смерти, создание предсказуемых (националистических) нарративов о специфически русской «дороге к смерти» превращают саму смерть, по словам Аланиса, в арену нравственной и идеологической борьбы.

Статья Аланиса акцентирует важный момент в понимании травмы: структурирование трагического опыта не происходит в социокультурном вакууме. Сложившиеся повествовательные традиции играют роль моделей, символических шаблонов, в которые вписывается новый исторический опыт. Различные функции таких «моделей травмы» исследуются в разделе «Настоящее прошлого».

Эрик Сантнер в статье, которая значительно повлияла на исследование травм в англоязычной литературе 1990-х годов, исследует исторические и символические источники, определяющие и ограничивающие формы «ответов на прошлое». Объектом критики Сантнера становится тенденция к «нарративному фетишизму» — т.е. стремление «посттравматических» сообществ использовать повествования о травмах прошлого без соответствующих изменений индивидуальных и коллективных идентичностей в настоящем. Будучи стратегией выживания, «нарративный фетишизм» в то же самое время является попыткой свести *проработку* травматического опыта к *истории* о травме — серьезный анализ причин травмы и ее последствий подменяется повествованием об утратах и страданиях. Ответа на прошлое в данном случае не происходит; скорее, происходит определенная попытка «реконструировать» прошлое таким образом, чтобы в нем нашлось место для голосов пострадавших.

Эльза Баир-Гучинова в работе, посвященной памяти репрессированных калмыков, прослеживает несколько моделей, с помощью которых трагический опыт прошлого вписывается в настоящее. Вторичные свидетельства — воспоминания репрессированных, записанные их внуками, — постепенно превращаются в набор расхожих метафор, призванных не столько сохранить исторический опыт конкретных людей, сколько найти ему место в политической риторике настоящего. Проработка травмы предков оказывается в тени попыток внуков сформулировать «свою» версию депортации.

Вторичные истории о выживании приобретают в итоге характер ритуала, цель которого — цементировать принадлежность к определенному сообществу.

Свидетельства, собранные Светланой Алексиевич, — первичны. Истории о травмах в данном случае — это своеобразные монологи ее собеседников, обращенные к самой Алексиевич. Монологи посвящены травмам прошлого; травмам, рассказы о которых неразрывны с темой смерти. В отличие от свидетельств Баир-Гучиновой, выживание здесь — вовсе не показатель способности превозмогать смерть. Собеседники Алексиевич оформляют тему выживания как отложенную, несостоявшуюся смерть, как попытку «дойти до дна», коснуться дна, чтобы сделать соответствующий жизненный выбор. Эти «танцы со смертью» — тоже своего рода ритуал, как замечает Алексиевич в названии статьи, ритуал, обнажающий исходный смысл этого слова: *отмерить* то, что было, и *отсчитать* то, что осталось¹.

На проблему *соизмеримости* сложившегося ритуала и события обращает в своей статье внимание Роберт Весслинг. Как отмечает автор, в своем восприятии смерти Семена Надсона (1887) русская публика во многом руководствовалась уже сложившейся традицией. Роль социального «лекала», роль «образцовой травмы» сыграла смерть Пушкина. Точнее — исторический сценарий «смерти поэта» оказался переведенным на язык «больного поколения» 1880-х. Во многом этот акцент на исторических повторах и аналогиях был следствием активного участия журналистики в конструировании соответствующего символического контекста. Смерть Надсона в итоге стала не только поводом для формирования новых повествовательных традиций в изображении преждевременной гибели поэта, но и причиной для соответствующей «корректировки» самой исходной модели.

Шошана Фелман также обращает внимание на постоянно воспроизводящуюся структуру травмы и роль сообщества в этих повторах. В ее статье, однако, «повторения» оказываются спровоцированными ритуалами иного рода. На примере двух судебных случаев — реальных слушаний по делу О. Джея Симпсона и вымышленной истории судебных разбирательств в «Крейцеровой сонате» Толстого — Фелман доказывает, что само судебное разби-

¹ «Ритуал» — от лат. *rite*, восходящего к *re(i)* — считать, отмерять; «арифметика» восходит к этому же корню.

рательство является источником «обострения травматических последствий», а вовсе не механизмом сдерживания и разрешения конфликта. Как подытоживает автор, закрыть коллективные травмы с помощью рациональности или техничности судебных процессов невозможно.

Как я уже отмечал, отчасти причина такой «незавершаемости» кроется в самой природе травмы. Травматический опыт — это не только опыт физических потерь, но и *физическое* ощущение *символической* недостаточности, неспособности изложить историю того, что произошло. Михаил Бахтин напоминает нам, что у незавершаемости есть и еще одна причина — принципиальное «несовпадение» индивида с самим собою. Внутренняя открытость индивида препятствует попыткам его «адекватного» или «окончательного» самовыражения¹. Травма в данном случае обостряет это ощущение разрыва между опытом, идеями, чувствами, с одной стороны, и формами их выражения — с другой. Раздел «Истории распада» как раз и анализирует эту непростую связь между экзистенциальной открытостью индивида и его потребностью иметь связанное представление о своем месте в происходящих событиях.

В 1990-х годах работы Кэти Карут радикально изменили традиционные подходы к изучению травмы. Благодаря ее исследованиям травма — концепция и процесс — во многом стала естественным объектом анализа англоязычных обществоведов и гуманитариев. В своей статье, написанной специально для этого сборника, Карут связывает воедино тему травмы с темой знания. Травма — это разрыв пережитого и его понимания. В итоге истории травмы — это, как правило, истории молчания, истории вытесненного, непроговоренного — бессловесного — ужаса.

Истории молчания о пережитом в Чечне являются основным объектом анализа в работе Элизы Мусаевой. Используя полевые записи и интервью, сделанные во время ее работы в Чечне, Мусаева прослеживает разные «сценарии» проработки травмы. «Поиски смысла» — не столько экзистенциального, впрочем, сколько практического, смысла на *микроуровне*, по определению Мусаевой, — в данном случае оказываются эффективным способом преодоления трагедии. Важность такого «поиска» не в том, что он способен дать ответы на болезненные вопросы. Значимость этого

¹ См., напр.: *Бахтин М.М.* Проблема поэтики Достоевского // Бахтин М.М. Собр. соч. М.: Русские словари, 2002. Т. 6. С. 199.

«поиска смысла» в другом — в его способности «пробудить» к жизни пострадавших, вызволить их из оцепенения и самоизоляции, которые спровоцировала травма.

Статья британского историка Катрин Мерридейл позволяет взглянуть на сходную проблему «поиска смысла» травмы на *макроуровне*. Используя архивные материалы первых десятилетий прошлого века и собственные интервью, историк анализирует то, как в России формировалось отношение к посттравматическим синдромам и контузиям. Попытки поставить реальность контузий под сомнение в ходе Первой мировой войны (свойственные многим другим обществам) постепенно сменились попытками оказать медицинскую помощь пострадавшим. Однако в условиях раннесоветского общества это внимание к *индивидуальным* проблемам оказалось вытесненным идеологией коллективизма. Идеологемы жертвенности, героизма, стойкости были призваны если не облегчить страдания, то по крайней мере вписать их в иной контекст. Как отмечает Мерридейл, несмотря на всю свою эфемерность, эти идеологические конструкты смогли сыграть терапевтическую роль. «Переживание боли» молча оказалось вполне эффективным способом проработки травмы. Вопрос — в цене такого молчания.

Елена Барабан в статье о репрезентациях войны в советском кино позволяет в определенной степени понять, как проходил этот процесс бессловесных переживаний. Как отмечает Барабан, при всем упоре на коллективизм и общность интересов, в советских фильмах о войне травма остается глубоко индивидуальным событием. Собственно, сами фильмы становятся документальным свидетельством борьбы людей со своей болью и памятью. Идеологический контекст, однако, сыграл здесь свою роль. Барабан показывает, что принципиальным в изображении травм становится не социальный конфликт *между* героями фильмов, но конфликт героев с *миром*, утратившим свой смысл, цвет, звук. Влияние идеологических рамок проявилось и еще на одном уровне: изображение опыта войны *глазами ребенка* позволило избежать сложной проблематики соотношения героизма солдат и особенностей их травматических переживаний. Одиночество психически травмированного человека обрело свою специфическую советскую метафору — подранков и сирот, обездоленных войной.

Процесс вписывания травмы в речь и повседневный контекст исследуется в дневниковых записях и комментариях Петра Рамадановича. Соотношение коллектива и индивида здесь тоже оказы-

вается ключевым. Физический распад привычного образа жизни в Сербии в результате бомбежек НАТО активизировал стремление пережить происходящее сообща, единой нацией. Коллапс повседневной рутины на индивидуальном уровне был компенсирован массовыми действиями или, по крайней мере, массовыми настроениями. Идентичность жертвы стала связующим механизмом, позволяющим и пережить бомбардировки НАТО, и оправдать зачистки в Косово.

Статьи, представленные в разделе «Работа скорби», анализируют сложные переплетения индивидуального травматического опыта и исторического процесса. Как несвязность и аморфность *индивидуального* повествования о травме, столь характерная для посттравматического состояния человека, проявляется на уровне более широких исторических обобщений?

Омер Бартов в своей работе отмечает: поразительной чертой воспоминаний о Второй мировой войне и Холокосте является то, что «и немцы, и евреи помнят их как события, в которых они пострадали». Память о прошлом здесь тесно связана с определенной версией будущего. Используя индивидуальные рефлексии европейских писателей, Бартов показывает, как осуществляется этот нелегкий процесс реконструкции прошлого и будущего «после взрыва». Восстановление того, что *предшествовало* травме, предполагает определенную символическую «блокировку» того, что впоследствии будет разрушено. Как замечает историк, в данном случае мучительными становятся и желание удержать память о разрушенном, и стремление блокировать негативные воспоминания.

На примере фильма Дзиги Вертова «Три песни о Ленине» Андрей Щербенок анализирует еще один механизм вписывания индивидуальной травмы в историю. Для Щербенка общественные ритуалы, связанные со смертью Ленина, оказываются итогом любовытного символического симбиоза, в котором «ленинское тело служит означающим индивидуальной травмы». Анализ возможного содержания этой индивидуальной травмы остался (к сожалению) за рамками статьи. Принципиальной, однако, оказывается сама структура восприятия, заданная фильмом. Без переноса и проекции зрителем собственного опыта на экран, без эмоционального «заряживания» аудиторией кадров политического ритуала успех фильма был бы невозможен.

В статье Кажи Силверман тема взаимоотношений индивидуальной травмы и исторического времени помещена в контекст

психоаналитических дебатов 1990-х годов о характере мужественности. Кажа Силверман, известная своими фундаментальными работами по истории и семиотике кино, «переводит» в своей статье теорию травмы на язык лакановского психоанализа. Опираясь на базовую тройку лакановских регистров, Силверман ассоциирует символическую аморфность травматического опыта с состоянием «кастрации» (регистр Реального). Символический порядок — т.е. установленные формы репрезентаций, господствующий вымысел — отождествляется с «фаллосом» (регистр Символического). В свою очередь, «пенис» (регистр Воображаемого) призван стать своеобразным переходным объектом-свидетельством и о несостоявшейся (но все еще возможной) кастрации, и о воображаемом обещании всемогущества. Работа Силверман, впрочем, интересна не этими терминологическими параллелями, а попыткой автора показать, как мужская субъективность в американском кино становится симптомом распада символического порядка, своеобразным признанием недостижимости «фаллоса». «Ущербность» женских персонажей, столь типичная для традиционного сюжетного кинематографа, заменяется здесь поэтикой мужской неполноценности и фрагментированности.

Текст Марка Липовецкого логически завершает этот раздел, сводя проблемы мужской идентичности, социально-исторической травмы и повествовательных приемов воедино. На примере «Египетской марки» Осипа Манделштама Липовецкий прослеживает проработку травмы на уровне «нелинейной поэтики», состоящей из «бессвязностей и разрывов». Творчество вбирает в себя травму. Точнее, творчество становится способом ее переживания, повторения и проработки. Авторский голос поэта обретается в процессе создания *«расцельняющей прозы»*.

В разделе «Разломы речи», заключающем сборник, «расцельняющий» эффект письма и фрагментирующая функция речи стали основными темами. Джулиет Митчелл, во многом ответственная за то, что современное (западное) литературоведение немислимо теперь без тесной взаимосвязи с теоретическим наследием психоанализа и политическим наследием феминизма, в своей статье для данного сборника обращает внимание на ту «защитную оболочку», которая, собственно, и подвергается разрушению в процессе травмы. В определенном смысле «оболочкой» здесь оказывается язык — его защитная функция становится «сорванной». Однако именно манипуляции с языком становятся и способом компенсации утра-

ченного. По мнению Митчелл, «протезность» и клишированность травматического языка отражают нехватку *признания*, неспособность увидеть, ухватить, усвоить следы того, что произошло.

На материале работ, написанных Ольгой Ивановной Скороходовой, утратившей в детстве слух и зрение, Ирина Сандомирская показывает, что происходит, когда сам процесс *узнавания* оказывается травмой, когда абстрактность и безобразность превращаются в норму. Жизнь на ощупь, жизнь вслепую в итоге оформились в серию книг — о том, как воспринимается этот мир *изнутри*, без подпитки и поддержки того самого внешнего символического порядка, оформляющую роль которого мы привыкли не замечать. Порядок здесь должен быть воображен с нуля — сконструирован из слепых ощущений и назван именами, не связанными с образами. Речь Скороходовой, управляемая больше синтаксисом, чем семантикой, — это, конечно, вариант протеза, форма компенсации, описанная Митчелл. В то же время, как отмечает Сандомирская, эта речь на ощупь становится механизмом самообразования — в прямом смысле этого слова: т.е. формовкой и картографией собственных пределов.

Речь, разумеется, может не только придать субъекту символическую целостность. Елена Гапова в своей статье демонстрирует, как речь может стать своеобразным археологическим свидетельством физической или психической трансформации человека. Полута Бодунова, белорусская революционерка, отлученная от революции, пишет свои воспоминания о любви на белорусском языке — еще до того, как сложились его грамматические нормы и стилистические традиции. Для Гаповой эти воспоминания становятся своего рода свидетельством формирования новой исторической фигуры белорусского интеллигента — со сбитыми структурами, с заимствованными метафорами, с привитыми выражениями. Это формирование — и речи, и субъекта, способного на нем говорить, — болезненно расшатывающее: нормы — языковой или субкультурной — еще (или уже) нет, и воспоминания Бодуновой показывают, какой ценой происходит становление нового символического порядка.

Статья Гайатри Чакраворти Спивак также связана с вопросами формирования нового символического порядка, вызванного событиями 9 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Спивак заслуженно считается одним из наиболее «трудных» представителей современных постколониальных исследователей. «Трудности» эти связаны не

только с характером самого письма Спивак, сознательно «тормозящего» скольжение глаз по тексту; структура и течение текста здесь целенаправленно призваны заменить режим пассивного «чтения-как-узнавания» режимом активного *взаимодействия* с написанным. Трудности Спивак, однако, носят более принципиальный характер. В течение последних трех десятилетий она последовательно и сознательно расширяет пределы саморефлексии (западного) обществоведения. Текст, представленный в данном сборнике, полностью соответствует этой тенденции. Насыщенность «местными деталями» не должна скрывать главного посыла этой статьи, а именно ее стремления заставить «слушать другого как себя — не карая и не милуя». Другой в данном контексте — это террорист-смертник. При таком прочтении террор для Спивак оказывается не политическим актом, но формой аффекта, в которой грань между субъектом и объектом становится в буквальном смысле неразличимой. Коллективной смерти не существует, подчеркивает Спивак. Индивидуальный характер смерти террориста-камикадзе, те самые причины аффекта, заставившего в итоге уподобить себя оружию, не должны быть скрыты за обобщающим фасадом риторики борьбы с терроризмом. Речь, понятно, не о всепрощении. Речь — о попытке разорвать связь между радикализмом и его трансцендентальным обоснованием, т.е. о попытке увидеть в этом внешнем обосновании травматического продукт внутренней культуры. Ненасильственная реорганизация желаний через обучение чтению становится для Спивак возможным — безусловно, неполным и небезотказным — способом приблизиться к тому, чтобы «испытать противоположное», чтобы почувствовать — на ощупь или даже вслепую — очертания совсем другого порядка. Сообщества, как напоминает Бенедикт Андерсон, нужно различать не по их подлинности или ложности, а по тому стилю, в котором они воображаются. К расширению пределов индивидуального и коллективного воображения и призывает Спивак.

Несмотря на все тематические, методологические и географические различия, тексты этого сборника преследуют во многом одну и ту же парадоксальную цель. Каждый участник попытался обозначить *определенный* подход, *определенную* версию травмы, однако в то же самое время каждая статья пронизана фундаментальной уверенностью в том, что именно невыразимость является основной чертой травмы. Собственно, в каком-то смысле «Травма: Пункты» — это тоже пример вынужденного повторения, еще

одна попытка приблизиться к пониманию роли травматического — в нашей жизни, наших исследованиях, наших текстах. Чем вызвана эта попытка? Стремлением подсчитать утраты? Желанием связать разорванное? Потребностью сформировать «чувство опасности», которого не было раньше? Однозначный ответ здесь вряд ли возможен, да и вряд ли нужен. Важно другое: эти настойчивые повторы и эти непрекращающиеся возвращения свидетельствуют о том, что вывод о дискурсивной «природе» идентичностей и чувств, который казался столь неопровержимым в 1990-х, не в состоянии «подчинить» себе аморфность травматического опыта. Менее дискурсивными от этого ни идентичности, ни чувства, конечно, не стали, однако исследования травмы обнажили их «словесную» недостаточность. Как свидетельствует этот сборник, непрерывный поток историй и рассказов о травмах зачастую призван заместить именно те разрывы и те нарушения, которые прежде всего переживаются как нехватка речи, как бессловесный ужас. Как боль, которой, может, и нельзя дышать, но которой можно придать форму самостоятельной поэзии.

Принстон, февраль 2008

1. Память боли

Бет Холмгрен

Не-натуральная школа:

«Семейство Тальниковых» Панаевой *

В 1848 граф Бутурлин, возглавлявший созданное Николаем I секретное цензурное ведомство, распорядился закрыть «Иллюстрированный альманах», задуманный Николаем Некрасовым и Иваном Панаевым как приложение к популярному прогрессивному журналу «Современник», который они издавали. Поводом для закрытия альманаха стала опубликованная в нем повесть Авдотьи Панаевой «Семейство Тальниковых». Благодаря своему браку с Панаевым, а также тесным личным и профессиональным связям с Некрасовым, Панаева оказалась единственной женщиной, допущенной в узкий круг ведущих авторов и сотрудников «Современника». Сочинение Панаевой, в котором рассказывалось об ужасном детстве и юности молодой женщины из дворянской семьи, было одобрено прогрессивными литераторами, поскольку реализм повести служил обличению язв современного русского общества. В своих «Воспоминаниях» Панаева описывает, как Виссарион Белинский, наиболее влиятельный русский критик 1840-х годов, одобрил ее повесть именно из-за той позиции, которую автор заняла по столь важному вопросу, «как отношение детей к их воспитателям, и всех безобразий, какие делают с бедными детьми»¹. «Семейство Тальниковых» самым наглядным образом отвечало требованиям Белинского к современным писателям, которые должны были писать, основываясь на «настоящей жизни», раскрывая перед читателем реальность во всем ее неприглядном, неприкрашенном виде.

* Перевод с английского М. Зеленогорского. Автор выражает благодарность Сергею Ушакину за высказанные им редакторские замечания и теоретические соображения.

¹ Панаева А. Воспоминания. М.: Правда, 1986. С. 179.

Почти сто лет спустя критик Корней Чуковский предположил, что, если бы «Семейство Тальниковых» было напечатано, его бы ждал большой успех. Подобно другим произведениям «натуральной школы» того периода — «Антону Горемыке» Дмитрия Григоровича и «Сороке-воровке» Александра Герцена, — сочинение Панаевой предлагало читателям очевидные свидетельства морального банкротства существующего режима: «вся система тогдашнего воспитания, тесно связанная с крепостническим, казарменно-департаментским строем николаевской Российской империи, здесь была обличена и опозорена»¹.

Однако «Семейство Тальниковых» вызвало такое раздражение властей, что повесть была надолго запрещена. А.В. Никитенко, тот самый цензор, который одобрил публикацию «Сороки-воровки» Герцена, отказался пропустить первоначальную версию повести, и Некрасов с Панаевым поспешили смягчить те эпизоды, которые, как им казалось, вызывали наибольшее неприятие властей. Пытаясь задобрить Никитенко, Панаев писал ему, что описание жестоких и вульгарных нравов в повести относится к гораздо более раннему периоду российской истории, а Некрасов просто вырезал наиболее скандальные эпизоды, снабдив повесть счастливой развязкой и поучительной моралью². Смягченный вариант повести получил условное одобрение Никитенко, однако его решение было отменено Бутурлиным, гневная реакция которого показывала, что сочинение Панаевой даже в усеченном виде сохранило свою обличительную силу. В своих замечаниях на полях рукописи Бутурлин писал, что подобное описание семейного разлада и насилия — «цинично, неправдоподобно, безнравственно». Вынося окончательный вердикт, Бутурлин обвинял повесть в аморальности и подрыве общественных устоев, по сути ставя в вину главной героине, от лица которой ведется повествование (а значит, и автору), описа-

¹ Чуковский К. О «Семействе Тальниковых» // Панаева А. Семейство Тальниковых / Приложения К. Чуковского. Л.: Академия, 1928. С. 97.

² Чуковский К. О «Семействе Тальниковых». С. 98–101. Некрасов сопроводил повесть замечанием редактора, оправдывавшим публикацию этого «грубого» текста: «Во всяком случае, если они своим резким изображением всего грубого и безнравственного, что может быть в домашнем воспитании, при беспечности и дурных нравах родителей, заставят оглянуться на самих себя и устыдят тех, кто сколько-нибудь виноват подобным образом перед своими детьми и перед обществом, — то это, я думаю, может служить достаточной причиной, почему я их печатаю» (101).

ние возмутительных и циничных сцен насилия: «Не позволяю за безнравственность и подрыв родительской власти»¹.

«Семейство Тальниковых» увидело свет лишь в 1928 году, и, вероятно, именно вследствие такого выпадения из исторического контекста повесть обычно лишь вскользь упоминается в сочинениях литературных критиков. Однако даже из этих редких и коротких замечаний видно, что повесть по-прежнему способна оказывать сильное впечатление на читателя. Например, в своей «Истории русской литературы» Виктор Террас описывает текст как одновременно и отталкивающий, и привлекательный:

Повесть написана в духе самого грубого натурализма, вплоть до подробнейших описаний порки или грязи и паразитов, которыми кишит этот дворянский дом. Повествование ведется очень живым языком и звучит достаточно правдоподобно, хотя автор явным образом находится под влиянием аналогичных сочинений Диккенса, Сю и, вероятно, других авторов².

В свою очередь, Катриону Келли Панаева интересует прежде всего как женщина-писательница. При этом Келли находит в «Семействе Тальниковых» несколько неожиданное достоинство, утверждая, что в повести «“галерея уродов”, состоящая из доверчивых дедушек и бабушек и лицемерных родителей... описывается с ненавистью даже более безудержной, чем та, которую вызывают у Салтыкова-Щедрина герои его ядовитой хроники “Семейство Голловых”»³.

Чем объясняется подобная способность повести вызывать у читателей и критиков одновременно ощущение аморальности, цинизма, неправдоподобия, грубости, живости, «безудержной ненависти» и «правдоподобия»? Почему первая литературная работа Панаевой воспринималась современниками как попытка подорвать общественные устои и впоследствии или просто замалчивалась, или считалась чересчур радикальной? Я предлагаю новое прочтение этого необычного текста, которое позволяет лучше понять смысл

¹ Панаева А. Воспоминания. С. 178.

² Terras V. A History of Russian Literature. New Haven: Yale University Press, 1991. С. 254.

³ Kelly C. A History of Russian Women's Writing 1820–1992. Oxford: Clarendon Press, 1994. С. 195.

всех этих «радикальных» и «грубых» обличений. Вместо того чтобы рассматривать «Семейство Тальниковых» в качестве одного из крайних проявлений обличительной, социально ангажированной «натуральной школы» в русской литературе, я предлагаю воспринимать его как нарратив психологической травмы. В своей повести Панаева предложила новые и в высшей степени эффективные стратегии описания и, отчасти, преодоления собственного травматического опыта — настолько новаторские, что временами они даже предвосхищают формулировки психологических травм, характерные для авторов конца XX века. «Семейство Тальниковых» не предлагает читателям явного поучения или наставления. Из-за отсутствия в повести морализирующего повествователя, неоднозначности в трактовке и жертвы, и ее мучителя, недостаточной телеологичности сюжета, а также из-за описания психологических травм, которые так шокировали Бутурлина и других современников, социальный пафос оказывается размытым. «Семейство Тальниковых», с его то «приглушенными», то ироническими описаниями жестоких побоев, преступного небрежения и семейных скандалов, стремится преодолеть преграды, встающие перед любым нарративом о травме: испытывая «неопределенную невыразимость травматического опыта», травматическое повествование вместе с тем пытается рассказать о насилии и несчастных случаях, с которыми повествователь «столкнулся слишком рано, слишком неожиданно и [которые] поэтому остаются не вполне доступными для его сознания»¹. В рассказе о травматических переживаниях своего детства — начиная с шести («когда я начала помнить себя») и до семнадцати лет (когда свадьба позволяет ей вырваться наконец из родительского дома, ставшего тюрьмой) — главная героиня-повествовательница Панаевой формулирует и демонстрирует различные способы, с помощью которых субъект артикулирует, переживает и преодолевает травму².

¹ См.: *Cubille A., Good C. Introduction: The Future of Testimony // Discourse. Winter & Spring 2004. Vol. 25 (1/2); Caruth C. Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History. Baltimore and London: The Johns Hopkins Press, 1996. P. 4.*

² В этом отношении повесть Панаевой является характерным примером нарратива травмы, который, согласно Кати Карут, «всегда рассказывает о зияющих психологических ранах, всегда обращается к нам в попытке поведать о реальности или правде, которая иначе для нас недоступна. Эта правда, в силу своего запоздалого появления, всегда ведет не только к уже известному, но и к тому, что остается неизвестным в наших собственных действиях и словах» (*Caruth C. Unclaimed Experience. P. 4*).

В отличие от Чуковского, который предполагал, что в данной повести Панаева описывает «свое собственное ужасное, варварское детство», в рамках моего подхода вовсе не обязательно относить «Семейство Тальниковых» к жанру автобиографии. Однако сопоставление повести с «Воспоминаниями» Панаевой, предположительно основанными на подлинных событиях, помогает понять, чем объясняются и обличительный эффект, и «правдоподобие» ее текста¹. Я согласна с точкой зрения Энн Кьюбили и Карла Гуда, которые отказываются проводить четкую разделительную грань между свидетельством очевидца и литературным произведением, утверждая, что «рассказ очевидца скорее разделяет, нежели исключает предлагаемые литературой возможности»:

...Художественность, пронизывающая и подчиняющая себе рассказ очевидца, не является лишь досадной опасностью, но указывает на ограниченность возможностей такого свидетельского нарратива, поскольку опыт и описание всегда с трудом — даже вопреки самим себе — вмещаются в неясное пространство между правдой и вымыслом. Однако даже те повествования очевидцев, в которых художественность играет заметную или даже доминирующую роль, вовсе не обязательно перестают быть свидетельствами; несмотря ни на что «художественные» повествования очевидцев столь же — если не более — эффективны, как и «реальные» повествования. Более того, в самой природе художественности есть нечто, что делает читателя более открытым для восприятия выраженного через нее свидетельства².

Использование приемов художественной литературы, по мнению этих авторов, позволяет защитить и очевидца, и читателя / наблюдателя от чрезмерной предопределенности. Однако в русских мемуарах XIX века (например, в тех же «Воспоминаниях» Панаевой) на автора по умолчанию возлагалась обязанность выступать в качестве авторитетного, ответственного очевидца, способного предложить свою трактовку социополитических реалий. Как я писала в своем исследовании на эту тему: «Садясь за написание мемуаров, русские тем самым делали заявку на истинность своего собственного, автономного восприятия и на свое право влиять

¹ Чуковский К. О «Семействе Тальниковых». С. 97.

² Cubillee A., Good C. Introduction: The Future of Testimony. P. 8–9.



на события в реальном мире, отстаивать возможности и свободы личности в самодержавном, бюрократическом государстве»¹.

В уже цитировавшемся замечании Терраса отмечалось, что «Семейство Тальниковых» явно несет на себе влияние авторов — современников Панаевой (в частности, Диккенса и Сю). Ольга Демидова предполагает, что на композицию повести могла повлиять «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте: перевод английской повести на русский был сделан для Панаевой ее мужем вскоре после выхода книги в свет в 1847 году². При этом Демидова — как и Террас — признает оригинальность произведения Панаевой, называя повесть «одним относительно успешным исключением» среди множества имитаций Бронте, появившихся в 1850–1860-х годах. По мнению Демидовой, повесть Панаевой «основана на аналогичных переживаниях русского детского опыта»³.

В чем заключались эти «аналогичные переживания русского детского опыта»? И хотя мы не можем быть уверены в том, что «Семейство Тальниковых» является правдивым рассказом о детстве и юности самой Панаевой, мы можем проследить, как ключевые элементы истории, рассказанной в повести, перекликаются с «документальными» «Воспоминаниями» Панаевой. В обоих случаях родители являются артистами или тесно связаны с художественным миром. Оба текста описывают властную мать-картежницу и физически сильного, отстраненного отца, который проводит больше времени со своими охотничьими собаками и певчими птицами, чем с детьми. Наконец, оба произведения рассказывают о целом выводке братьев и сестер, живущих в семье, в которой нет места нежности и ласке. При этом в повести приводятся такие шокирующие детали о «подобной семье», которые в автобиогра-

¹ Holmgren B. Introduction // *The Russian Memoir: History and Literature* / B. Holmgren (ed.). Evanston: Northwestern UP, 2003. P. xxii.

² Demidova O. *Russian Women Writers of the Nineteenth Century* // *Gender and Russian Literature: New Perspectives* / Trans. & ed. R. Marsh. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. P. 56.

³ *Ibid.* P. 101.

фии, написанной сорок лет спустя, нейтрализуются или вовсе опускаются. Показательно, что сноска в «Воспоминаниях» Панаевой издания 1986 года просто отсылает читателей, желающих познакомиться с «более подробным и гораздо менее сдержанным» описанием детства Панаевой, непосредственно к «Семейству Тальниковых»¹. Панаева писала свои мемуары уже в преклонном возрасте, стремясь получить дивиденды, в самом буквальном смысле слова, от своего знакомства с «великими людьми», и потому не стала рисковать, включая в книгу шокирующие *личные* признания, способные оттолкнуть читателей. В «Воспоминаниях» она предстает «в образе спокойного, надежного товарища, чья сексуальность приглушена»; в ее автобиографии ничего не говорится «о ее бурных романах, рано умиравших детях и унижениях, которые ей несли ее беспорядочные отношения с Некрасовым»². Ориентируясь на запросы читателя, ожидавшего от нее документального повествования, Панаева ограничила свой автопортрет жесткими рамками, сосредоточившись в основном на окружавших ее знаменитостях и на внешних аспектах жизни своей семьи (например, охотничьих подвигах ее отца или выступлениях ее матери в качестве актрисы).

В «Семействе Тальниковых» повествование, наоборот, создает ощущение клаустрофобии — оно обращено внутрь и сосредоточено на скандалах и побоях, происходящих за закрытыми дверьми. Наташа, главная героиня, глазами которой мы и видим все описанное в повести, никогда не следует за родителями на службу или в гости; немногочисленные посетители, упомянутые в тексте, — это не известные литераторы и артисты, а довольно убогие претенденты на руки ее сестер или теток. Наташа-повествователь смягчает эмоциональные порывы Наташи — главной героини, но, судя по всему, никогда не пытается подвергнуть их цензуре. Сама сцена, на которой в «Семействе Тальниковых» разворачиваются события, сама тематика и сама повествовательная манера склоняют читателя к тому, чтобы воспринимать повесть как свидетельство

¹ Панаева А. Воспоминания. С. 415, сн. 19: «Многие тягостные эпизоды детских лет жизни в семье подробнее и в гораздо менее сдержанных тонах описаны Панаевой в автобиографической повести “Семейство Тальниковых”».

Далее все ссылки на это произведение даны в тексте в скобках.

² Gheith J., Holmgren B. Art and Prostokvasha: Avdot'ia Panaeva's Work // The Russian Memoir. С. 135.

очевидца, как попытку повествователя поведать о чем-то ужасающем и очень личном.

Далее я покажу, что «Семейство Тальниковых» может быть квалифицировано как повествование о психологической травме еще и потому, что в нем рассматриваются и находят выражение типичные элементы, из которых складываются переживания жертв такой травмы: 1) восприятие себя в качестве выжившего свидетеля и выбор соответствующих повествовательных стратегий; 2) стремление сформулировать нечто жуткое, *unheimlich*; и 3) сложности, которые жертва испытывает в «поиске самого себя».

Повествователь-интерсубъект

Главная героиня, Наташа, предстает в повести как довольно сложный персонаж: она одновременно непохожа на окружающих и типична, мстительна и беспомощна, прямолинейна как очевидец и склонна к литературности. Ее темперамент и пережитый опыт должны доказать читателю ее право выступать в качестве свидетеля, вести повествование о своей семье. В зависимости от ситуации Наташа оказывается или заступницей слабых (105, 108, 110), или основной жертвой, на которую в первую очередь обрушивается неудовольствие родителей (119), или ребенком, отмеченным печатью собственной чернявости (108), или девочкой, чьи предполагаемые «лень» и плохое поведение заслуживают (как говорит мать Наташи, представляя дочь новой гувернантке), чтобы ее наказывали, как мальчишку. Наташа с успехом следит за взрослыми, подслушивает и разыгрывает целые драматические сцены. Именно Наташа тайком наблюдает за предсмертными прощаниями своей бабки и омовением ее тела перед похоронами (111, 112). Именно Наташа, одна из всех ее братьев и сестер, поймана и наказана, когда, чихнув, она выдает потаенное место, из которого дети обычно подсматривали за взрослыми.

Время от времени подача и формулировка материала в Наташином повествовании выдают влияние художественной литературы. Подобно другим главным героям-рассказчикам из передовых произведений реалистического направления 1840-х годов (например, из «Героя нашего времени» Лермонтова и ранних повестей Достоевского), Наташа совершенно случайно становится свидетелем

очень важных разговоров и ключевых эпизодов в бурной жизни своей семьи; при этом Наташин дословный пересказ «взрослого» содержания предполагает огромный жизненный опыт и крайне раннее развитие, которых трудно ожидать от ребенка ее возраста — даже с поправкой на обычную в таких случаях необходимость отказать от естественного скептицизма. Иногда Наташа пробует свои силы, экспериментируя с приемами «натуральной школы», к которой принадлежали литераторы поколения самой Панаевой: так, она дословно передает пространные монологи, которые представляются особенно ценными по причине неграмотной речи, скромного происхождения или безвестности их авторов¹. Стоит, однако, заметить, что особенного внимания Наташи удостаиваются монологи ее деда и бабки по материнской линии, одиноких взрослых, готовых тратить свое время, рассказывая ей истории. В этих монологах не только раскрываются культурные корни Наташи — они становятся документальным свидетельством, рассказывающим о реальности Наташиной семьи².

Хотя обостренные чувства сострадания и восприимчивости, интерес к окружающему миру и умение распознать многообещающих героев / материал для многообещающей истории типичны для повествований, ведущихся от лица ребенка, Наташу отличает склонность представлять себя в составе коллективного «мы» сво-

¹ В качестве примера можно привести характерное для Виссариона Белинского обращение к писателям с призывом описывать малоизвестные элементы географической и социальной среды Петербурга: «Досуг ли вам самим заглядывать в отдаленные уголки города; подслушивать, пометать, выпрашивать, сравнивать, входить в общества разных сословий и состояний, приглядываться к нравам и образу жизни темных обитателей той или другой темной улицы?» (*Белинский В.Г.* Журнальные отметки. 1844 // Полн. собр. соч. Т. 13. М.: АН СССР, 1959. С. 209—210).

² Примечательно, что своим повышенным вниманием к близким отношениям внуков-внучек с их бабушками-дедами (что подразумевает также наличие нелюбимых и отстраненных родителей), а также готовностью рассматривать семью как субъект, достойный этнографического изучения, «Семейство Тальниковых» удивительно напоминает «Детство» Горького. Однако в отличие от Панаевой Горький, по словам литературного критика Барри Шерра, «предпочитает крайности, будь эти герои совершенно положительными... или совершенно отрицательными. В тех случаях, когда мы можем сравнить его рассказ с другими источниками, создается впечатление, что Горький делал своих героев менее неоднозначными, подчеркивая их положительные или отрицательные качества» (*Scherr B.P.* Maxim Gorky. Boston: Twayne Publishers, 1988. P. 81).

их братьев и сестер — «мы», которое и поддерживает, и подчиняет ее. Андреа Фриш в недавнем обзоре концепций свидетельского повествования предлагает видеть в свидетеле «прежде всего вспомогательный персонаж — не столько героя, сколько интересубъекта»¹. Наташа явно принимает и всячески подчеркивает свою роль как посредника, повествующего от имени коллектива. Тем не менее и это «мы», и ее вспомогательное «я» формируются под влиянием психологической травмы и, как я считаю, отражают зачастую нечетко оформленную субъектность жертвы. Дж. Блегер описывает это явление как процесс «дезорганизации или реорганизации личности, в ходе которой интегрированное эго жертвы оказывается расчлененным, а на его месте формируется новая, зачастую неопределенная структура личности»². В «Семействе Тальниковых» детские переживания, восприятия и суждения, которые выражает Наташа, в буквальном смысле слова искажены и «обобществлены» благодаря невниманию и жестокости со стороны родителей. С поразительным хладнокровием описывает Наташа рождение и смерть своих братьев и сестер, предстающих в качестве семейства, которое «с каждым годом прибавлялось» (107), за исключением тех случаев, когда на протяжении одного года умерли три ее сестры и один брат или когда еще один брат вырывается из родительского дома, уйдя в армию.

Как отмечают Кьюбили и Гуд, в свидетельских нарративах «тело покойного зачастую служит в качестве важного документа, обосновывающего существование неких прав человека»³. В «Семействе Тальниковых» присутствие трупа демонстрирует степень дегуманизации коллектива выживших. Уже в самом первом абзаце повести читателю предстает тело Наташиной шестимесячной сестры, оплакиваемой одной лишь нянькой, которая сожалеет скорее не о смерти любимой питомицы, а о потере жалования: «В первую минуту смерть произвела на меня сильное впечатление, но по совершенному равнодушию окружающих, по отсутствию отца и матери я заключила, что смерть — не важная вещь» (103). Наташа

¹ Frisch A. The Ethics of Testimony: A Genealogical Perspective // Discourse. Winter & Spring 2004. Vol. 25 (1/2). P. 53.

² См.: Gampel Y. Reflections on the Prevalence of The Uncanny in Social Violence // Cultures Under Siege: Collective Violence and Trauma / A. Robben, M. Suárez-Orozco (eds.). Cambridge: Cambridge UP, 2000. P. 50.

³ Cubille A., Good C. Introduction: The Future of Testimony. P. 10.

описывает здесь процесс «психического онемения», при котором выжившие преодолевают ситуацию при помощи перехода от ужаса к безразличию¹. Гораздо больше эмоций, по ее собственному признанию, вызывают у нее ссоры из-за денег между матерью и бабушкой, т.е. те случаи, когда эмоции взрослых вырываются наружу и несут вполне ощутимые последствия.

Слушая пренебрежительные заявления своей матери в адрес ее нежеланных детей, сравнивая нежную заботливость, которую ее отец проявляет по отношению к птицам, с его жестокостью и отсутствием всякого интереса к собственным детям, описывая своих умирающих и умерших братьев и сестер, Наташе, с ее повышенной чувствительностью, вновь и вновь приходится усваивать урок безразличия и обесценивания человеческой жизни. Она подробно рассказывает о смерти и похоронах одного из своих новорожденных братьев, чьи стоны в переполненной детской вызывают у остальных детей скорее страх, чем беспокойство. Похороны брата она описывает с заученным цинизмом: происходящее представляется ею как «сцена», что должно только усилить впечатление рутинности и неискренности выступления ее матери:



Мать переносила такие минуты с удивительным спокойствием, делаящим честь ее твердости, оканчивала сцену очень скоро. Она подходила к гробу, крестила ребенка и небрежно целовала его в лоб, говоря: «Бог с ним! Не о чем плакать; довольно еще осталось...» Впрочем, она могла бы и вовсе не произносить утешительных слов, потому что на лицах присутствующих ясно выражался запас мужества, достаточный для перенесения такой утраты. Отец, не любивший сидеть дома, не всегда бывал при выносе тела (125—126).

¹ См.: *Gampel Y. Reflections on the Prevalence of The Uncanny in Social Violence*. P. 58: «Люди, пережившие травму — нечто наиболее немислимое и ужасное, — подсознательно справляются с возвращающимся ощущением ужаса с помощью таких защитных механизмов, как “эмоциональная анестезия” (*Minkowski G. L’anesthésie affective // Annals Medical Psychologique*. Vol. 104. P. 80—88) и “психическое онемение” (*Lifton R. Death in Life: Survivors of Hiroshima*. NY: Random House, 1967), или сознательно отказываясь распознавать действия

В данном случае безразличие коллективного наблюдателя к происходящему указывает на нарушение эмоциональных связей: мы имеем дело не только с «онемением» выживших, но и с подразумеваемым цинизмом их реакции на инсценировку «нормального» материнского горя.

Как часто демонстрирует Наташино повествование, коллектив детей подталкивается к отчуждению от своих жестоких и / или невнимательных родителей: дети вынуждены замечать театральное лицемерие матери и ее готовность потакать собственным слабостям; они вынуждены постоянно остерегаться вспышек ярости со стороны своего отца; они вынуждены, по сути, существовать сами по себе. Наташин рассказ подробно показывает, как дети начинают избегать каких бы то ни было близких отношений со своими родителями, поскольку присутствие матери или отца почти всегда чревато усилением надзора и наказанием. Индивидуальные контакты между родителями и детьми постоянно нарушаются изгнанием детей или физическим насилием над ними; в итоге каждый ребенок вновь оказывается среди братьев и сестер, столь же бесправных и незаметных.

С другой стороны, членам коллектива иногда удается находить себе убежище, растворяясь в грубом равноправии своего «мы». Наташа отмечает некоторые различия между своими братьями и сестрами, но в большинстве случаев они объединены общими страданиями и общими развлечениями. До определенного момента даже их половые признаки малоразличимы: дети играют в одни и те же игры и получают одни и те же наказания, вне зависимости от их пола (109). Согласно Наташиному повествованию, коллективность этого «мы» сохраняется вопреки плохому обращению со стороны родителей — поскольку дети, по сути дела, «предоставлены самим себе». В описаниях тех драгоценных минут, когда детям удастся выскользнуть из-под надзора своей гувернантки, Наташа подчеркивает противопоставление неволи / замкнутости / телесных страданий, с одной стороны, и свободы / природы / здоровья — с другой. С особенным удовольствием она вспоминает игры зимой во дворе, когда с братьями и сестрами они «точно сорвались с цепи, прыгали, валялись в снегу, кувыркались», вырвавшись из-под опеки взрослых и из душной атмосферы своей детской (139—

окружающих как насилие, или отказываясь читать, слушать или видеть что бы то ни было относящееся к их травме».

140). Подобные сцены призваны показать — несмотря на все уверения родителей и других взрослых, что дети заслуживают сурового обращения, — врожденную «нормальность» и душевное здоровье детей. Еще одной возможной целью этих эпизодов является попытка подчеркнуть, до какой степени последующее развитие детей было искажено «суровым» обращением взрослых.

Наташа указывает, что в условиях неволи это вынужденное «мы» приводит к формированию среди товарищей по заключению некоего кода коллективной поддержки и выживания. Подобно многочисленным лагерникам и заключенным — героям и авторам позднесоветской литературы и мемуаристики, Наташа подчеркивает «солидарность» с братьями и сестрами как возможную «форму сопротивления властям, действующим по принципу “разделяй и властвуй”»¹. Когда брат приносит Наташе — в качестве наказания оставленной без еды и вынужденной целыми часами стоять на коленях — специально припрятанный для нее хлеб, его поступок напоминает щедрость бандитов, подробно описанную и объясненную Солженицыным в «Одном дне Ивана Денисовича». Несмотря на такие эпизоды, коллективное «мы» в «Семействе Тальниковых» постоянно балансирует на грани потери человечности, и повествователь-интерсубъект неотделим от этого «мы» в том, что касается его самовосприятия, ощущения общности и особенно его личности.

Опасные отношения

Травмы Наташиного детства связаны в основном с теми, кто должны были бы заботиться о ней: с ее матерью, отцом, дядей и, время от времени, с учителями, которым мать доверяла своих детей. Подобно детям в других неблагополучных семьях, Наташе не хватает «онтологической безопасности», которую обеспечивает «базисное доверие», в формулировке Эрика Эриксона или «атмосферы безопасности», которую в 1960 году описал Джозеф Сандлер². Это ощущение доверия или безопасности, согласно Эриксону,

¹ *Toker L.* Return from the Archipelago: Narratives of Gulag Survivors. Bloomington: Indiana UP, 2000. P. 78.

² См.: *Robben A.* The Assault on Basic Trust: Disappearance, Protest, and Reburial in Argentina // *Cultures Under Siege*. P. 72; см. также: *Gampel Y.* Reflections on the Prevalence of the Uncanny in Social Violence. P. 55.

«необходимо для развития здорового эго» и приобретает через первичные взаимоотношения ребенка,

когда внешний мир, первоначально представленный родителями, нейтрализует все агрессивное, страшное и беспокоящее. Этот внешний мир предстает ребенку через щедрое, доброе и миролюбивое поведение, которое консолидируется в организованных семейных и социальных контекстах, чьи нормы, этические и моральные обычаи, традиции и правила ясно передаются и переживаются непосредственно¹.

Психиатр Йоланда Гампель противопоставляет такую атмосферу безопасности «атмосфере жуткого», зловещего — или *unheimlich*. Гампель расширяет фрейдовское понимание концепции *unheimlich* («базовые младенческие переживания, которые подверглись вытеснению»), включая в нее «пугающие переживания, которые нельзя выразить словами», а также переживания «жути от встречи со знакомым объектом или ситуацией, но искаженными и перевернутыми с ног на голову»². Описывая тех, кто должен был заботиться о ней, но на самом деле не заботился, тех, кто предавал базовое доверие и вызывал у своих подопечных страх, неуверенность, ощущение собственной незначимости и ответную агрессию, Наташа вынуждена находить слова для этого неопишуемого ощущения жути, вынуждена признаваться в не-доверии. Решить эту задачу она пытается за счет подробного описания отца и матери.

С Наташиными родителями связаны очень разные оценки и повествовательные стратегии. С точки зрения контроля над поведением лучше всего Наташа справляется с матерью, поскольку та является удобной мишенью для сатирических выпадов: ее можно использовать в качестве оппонента в вербальных дуэлях или в виде предмета ретроспективных «критических разборов». Жесткое обращение матери со своими детьми обусловлено ее самоощущением «звезды»: она сама и ее потребности занимают в семье центральное место. Мать терроризирует окружающих, отдаляя их от себя, подвергая различным лишениям, отпуская снисходительные и зачастую унижительные замечания. Мать держит своих детей на задворках, в грязной комнате по соседству с помещением для слуг; надзор за детьми поручен нанятой ею бессердечной гу-

¹ Gampel Y. Reflections on the Prevalence of the Uncanny in Social Violence. P. 55.

² Ibid. P. 50.

вернантке. Когда дети все же появляются на людях, она оскорбляет их замечаниями об их непривлекательности, глупости и многочисленности. Мать не жалеет средств на собственный гардероб и с готовностью тратит деньги на карточные игры или попытки произвести впечатление на особенно важных гостей; в то же самое время она кормит своих «потайных» детей обедами и одевает их в обноски настолько комичные, что, встретив их на улице, люди в изумлении открывают рот, удивляясь, из какой же они семьи. Когда мать изредка заходит в детскую комнату, детям велят сидеть по углам или на своих кроватях, чтобы ненароком не беспокоить ее; когда гувернантка увольняется, мать грозит «раздать их всех» и рассылает детей по различным школам и родственникам. Наиболее, пожалуй, шокирующий пример бесчувственности матери Наташи — ее поведение в присутствии женщины, оплакивающей смерть своего единственного ребенка: «Вот дура! О чем плачет! — сказала она. — Дала бы я ей столько!» (116).

Наташа описывает слова и дела матери с иронией и неуважением, с которым подчиненные обычно говорят о несправедливом начальнике; ее критические замечания вполне можно прочесть аллегорически, как приговор и запоздалая победа жертвы над неужесточенным тираном. Вместе с тем резкие и мстительные обвинения дочери в адрес матери, отказывавшей ей в эмоциональной близости и подвергавшей публичным унижениям, можно считать своеобразным предвестником разоблачительных мемуаров конца XX века, написанных о различных знаменитостях теми, кто принужден был жить в тени их тщательно выстроенного публичного образа. В «Семействе Тальниковых» Наташина мать — тщеславная, распущенная и тираничная жена музыканта. Стоит здесь отметить, что мать самой Панаевой была актрисой. Именно актрисы зачастую становятся главной мишенью и удобным прототипом для создания образа «плохой матери» в мемуарах их заброшенных и униженных детей. По словам одного критика, «образ актрисы служит идеальным способом расквитаться за фундаментальную психологическую неуверенность в подлинности и искренности материнской любви»¹. Лицемерное поведение Наташиной матери и ее эгоистичная готовность жертвовать благом собственных детей ради возможности выставить себя на публике в желаемом свете причуд-

¹ *Brauerhoch A. Mixed Emotions: «Mommie Dearest» — Between Melodrama and Horror // Cinema Journal. Fall 1995. Vol. 35 (1). P. 54.*

ливым образом напоминают безобразное поведение известной американской актрисы Джоан Кроуфорд, описанной в нашумевших мемуарах ее дочери. Озаглавленная «Дражайшая мамочка» (1977), эта книга стала первой в серии «разоблачительных» мемуаров подобного рода¹. Показательно, что в обоих случаях дочери, предавая гласности потаенные истории, стремятся расквитаться за травмы своего детства, с их запретами, лишениями и публичными унижениями².

Рассказывая свои потаенные истории, Наташа заступает не только за себя лично, но и за окружающих, хотя сама она никогда не говорит об этом открыто. Все дети в семье страдают от лицемерия и деспотизма матери, и их страдания, как в капле воды, отражаются в судьбе «новенькой» — четырехлетней сироты по имени Лиза, которую мать, в порыве позерства, решает *удочерить*. Наташа подробно описывает этот неудачный эксперимент:

А жизнь самой Лизы скоро сделалась одинакова с нашей. Маменька сначала брала ее к себе, но девочка сердила ее своими капризами. Наконец, раз она просыпала нечаянно табакерку и получила удар, причем имела случай удостовериться, что не всегда легка рука благотельницы. И с той поры сирота совсем затерялась между нами, и маменька забыла о ее существовании... Воспитанница не могла видеть своей благотельницы без ужасу (210)

Как отмечает Наташа, в этот момент ее братья и сестры начинают осознавать свою ответственность: Ваня, ее младший брат, берет на себя роль няньки и защитника Лизы. Именно в тот момент, когда дети успешно берут на себя обязанности родителей, всеподавляющая власть их матери начинает ослабевать. Позднее Наташа описывает две драматические сцены, в которых повзрослевший ребенок покидает безопасный мир детской комнаты и бросает вызов материнской власти. Сначала это делает Миша,

¹ Как обобщает Аннет Брауэрхох в своей работе, посвященной фильму, снятому по книге Кристины Кроуфорд «Дражайшая мамочка», «та версия деталей приватной жизни актрисы, которая была изложена ее дочерью и противоречила официальному имиджу кинозвезды, оказалась весьма популярной» (*Brauerhoch A. Mixed Emotions*. P. 54).

² Более подробный анализ «критического разбора» Наташей поведения ее матери и описания атмосферы детской как основного фона повествования см. в: *Gheith J., Holmgren B. Art and Prostokvasha*. P. 128–144.

старший из сыновей, решившийся отправиться на войну на Кавказе, а затем и сама рассказчица. Миша не только отказывается подчиниться матери, но и парирует, используя ее собственные слова: «Не вы ли сами попрекали меня, что я, мерзавец, все ленюсь, что отец с матерью разоряются на меня, — вот я теперь и избавлю вас от расходов!» (212). Пораженная, мать вынуждена отправить сына к отцу для наказания. Сходным образом и сама Наташа, по сути дела, берет верх над своей матерью в словесной дуэли, когда беспричинно подобревшая родительница является поздравить Наташу по случаю обручения с состоятельным дворянином. В ответ на пожелание матери, чтобы Наташин брак был столь же благополучен, как ее собственный, дочь ворчит что-то невнятное в ответ, с безразличием реагирует на надутую снисходительность матери и в конце концов, получив благословение матери, отказывается целовать ей руку. Наташа подчеркивает этот судьбоносный шаг (собственный отказ сыграть предписанную ей роль, поцеловав руку матери) и его последствия — испуг ее доброй тетушки, ужас ее злой тетушки и радость братьев и сестер Наташи по поводу ее «смелости» (256).

Обнажая подобным образом сущность своей матери, Наташа не выражает никаких сомнений в оправданности своего сурового приговора. Развенчивая, пародируя, даже открыто высмеивая, слова Наташи разрушают лицемерный образ, выстроенный матерью, а сама Наташа при этом отмечает нарастающую самосознательность своего детского коллектива, способного постоять за себя в противоборстве с матерью. Однако в описаниях приступов ярости собственного отца и связанных с ними эпизодов насилия Наташа не различает и, вероятно, не может различить добро и зло, вину и невиновность. Согласно терминологии Дори Лауб и Нанетт Ауэрхам, подобные эпизоды представляют собой либо «непреодолимый» нарратив, в рамках которого автор способен описывать прошлые события, оставаясь по-прежнему погруженным в свои первоначальные переживания», либо они становятся основой «свидетельского» нарратива, в рамках которого наблюдатель, даже описывая «непреодолимые» события, сохраняет отстраненность и перспективное видение». Обе формы нарратива лишают повествователя дееспособности и моральной уверенности¹. В по-

¹ См.: *Vickroy L. Trauma and Survival in Contemporary Fiction*. Charlottesville: University of Virginia Press, 2002. P. 29; см. также: *Laub D., Auerhahn N.C. Knowing and Not Knowing Massive Psychic Trauma: Forms of Traumatic Memory // International Journal of Psychoanalysis*. 1993. Vol. 74 (2). P. 287–302.

добных эпизодах ни жертва, ни повествователь не могут использовать в качестве оружия иронию или взять верх над противником за счет вызывающих слов или поступков. Более того, они изображаются не только беспомощными, но и отчасти виновными в том насилии, которому подвергаются.

При помощи одного из таких эпизодов мы, собственно, и знакомимся с отцом Наташи, четко обозначающей в своем описании контраст между физически отстраненной тиранией матери и неуправляемой яростью отца: «Мать нас мало ласкала, мало занималась нами, зато мы мало от нее и терпели; но свирепость, в которую иногда впадал отец, была для нас слишком ощутительна» (105). Наташа воспринимает и описывает отца как дикого зверя, как чудовище, которое бросается на окружающих, чтобы «утолить свою ярость». В самом первом из этих эпизодов ее пьяный отец превращает игру в истеричную порку своего трехлетнего сына. Через какое-то время Наташа не может больше терпеть и вступает за брата. Рассказывая об этом эпизоде, она оказывается «погруженной в свои первоначальные переживания», вспоминая в основном патологический характер ярости и нечеловеческое поведение отца, его отказ прислушаться к ее мольбам: «То умолкая, то вскрикивая сильнее, я старалась заставить его прекратить жестокую игру, но он, бледный и искаженный от злости, продолжал хлестать ровно и медленно...» (106). «Разлученный» со своей жертвой, Наташин отец, подобно зверю, кружит по комнате в поисках «новой пищи» для своей кровожадности.

На протяжении всего повествования в «Семействе Тальниковых» отец Наташи, нелюдิมый мизантроп, остается непонятной и неопределенной фигурой. Возникая периодически, он предстает немногословным типом, движимым инстинктами и меланхолией, который не столько терроризирует, сколько игнорирует своих детей. Наиболее подробные описания отца, которые предлагает Наташа, только усиливают и углубляют его ассоциации с миром животных: отец оказывается нежным и любящим по отношению к своим собакам и домашним птицам, которые живут вместе с детьми, вынужденными ухаживать за ними. Наташа сухо, как нечто само собой разумеющееся рассказывает, что в восприятии отца дети и животные, по сути, поменялись местами:

С неуголимой заботливостью отца многочисленного семейства родитель наш чистил ноги своим жаворонкам; заметив томность у которой-нибудь из своих собак, вверенных также нашему присмот-

ру, давал ей шарик из серы, а на другое утро никогда не забывал потребовать от нас отчета: лучше ли собаке? Понятно, что ему уже не оставалось времени ни для чего другого! (135)

Она вспоминает, как они со страхом подчинялись этому странному повелителю животных, принося в качестве дани блох и тараканов, которыми он кормил своих птиц. Неудивительно, что, заболев и лежа в полузабытьи, Наташа видит отца в облике таинственного злодея. Ее фантастическое ночное видение основано на гиперболизированном ощущении собственной изолированности и ненужности. Наташа видит, что она сама и ее спящие братья и сестры лежат в могилах, что ее брат превратился в огромного таракана, а когда начинается пожар и дом охватывает пламя, ее отец приходит и запирает детей в их комнате. Несмотря на то что судьбу всех и всего в доме всегда решала только мать, именно отца представляет Наташа в роли зловещего, неумолимого палача.

Сочетание крайней жестокости и крайней нежности отца проявляется еще в одном эпизоде, связанном с побоями, хотя в данном случае жертвой оказывается своевольный Миша, самый старший из сыновей. Миша напоминает отца и внешне, и своей любовью к животным; похоже, что из всех детей именно у него сложились самые близкие отношения с отцом. Как бесстрастно отмечает Наташа, эта близость обходится ему дорого: «Он походил немного на отца, который, кажется, питал к нему что-то вроде любви: он больше его наказывал и чаще с ним говорил» (211). Для того чтобы стать объектом заботы со стороны своего отца, рвущегося на Кавказ Мише надо пережить его гнев. Наташа опять отмечает физиологическую трансформацию отца — его налитые кровью глаза, посиневшие губы и трясущиеся руки. В основе отношений детей со своим отцом лежат не слова, но порывы молчаливой, несдерживаемой плоти — ее животная ярость и животный страх. Наташа описывает, как вид отцовского лица парализует ее, не давая вмешаться: «Мы стояли за дверьми и едва дышали; я готова была кинуться к ногам брата и умолять его сказать “да”... Но сил у меня не хватило двинуться с места: так страшно казалось нам лицо отца...» (214). Жестокие побои, которые наносит отец любимому и непокорному сыну, проходили за закрытыми дверьми, но были услышаны испуганными домочадцами; это производит на них столь глубокое впечатление, что дед лишается дара речи, а добросердечная тетюшка становится инвалидом.

Дав выход своей ярости, но так и не сумев заставить сына отказать от военной службы, отец начинает заботиться о нем, заходит в детскую, обсуждает с ним его будущие поездки и договаривается со знакомым, которому предстоит сопровождать Мишу в его путешествии. Жестокий, нелюдิมый отец выглядит наиболее привлекательно в те моменты, когда он возвращается в детскую, чтобы поделиться новостями о Мишиных военных похождениях (232), и когда он в одиночестве пытается осмыслить письмо, сообщающее о гибели Миши в бою (233–235). В эти редкие моменты он ненадолго возвращается к нормальности, становясь любящим родителем, гордящимся своим сыном и способным лить слезы из-за гибели по крайней мере одного из своих детей.

Эти описания поведения отца — с его перепадами от заботы к жестокости, с Наташиной очевидной неспособностью «считывать» отцовские устремления, с подробными деталями домашнего насилия, соучастниками которого становятся все члены семьи, — не могут не тревожить. Еще два эпизода из повести позволяют понять реакции самих жертв, их готовность привыкнуть к ужасному. В обоих случаях источниками насилия становятся не сами родители, а другие взрослые, временно исполняющие их функции, поведение которых, впрочем, родители прямо или косвенно одобряют.

Поручая своего сына Федю заботе своих родителей и брата, Наташина мать фактически оставляет его в руках душевнобольного садиста и двух беспомощных стариков. Федин дядя настолько запугивает мальчика, что тот начинает заикаться и, по прямодушному выражению сестры, превращается в юродивого. Наташин рассказ о систематическом избиении Феди особенно страшен тем, что в нем подчеркивается сотрудничество мальчика со своим мучителем и «нормализация» такого положения вещей. Поначалу Федя и его бабушка ищут способы избежать «наказания» или смягчить его. Осознав, что такие попытки способны лишь ожесточить дядю и усилить побои, они впадают в нездоровое смирение. Наташа представляет читателям «свидетельское повествование», сопровождаемое диалогом и ужасающе подробными наблюдениями:

- Вот тебе, Федя, хорошая розга, — говорила бабушка.
- Что вы, бабушка? — возражал внук и с испугом отбрасывал жиденький прут, чтобы избегнуть соблазна.
- Ну так вот...
- Нет уж, бабушка, оставьте! Я сам выберу; вы мне даете все жиденькие да сухие...

И он усердно выбирал лучшие прутья.

Дяденька встречал его радостной улыбкой. Сжав чубук в зубах, он брал розги, с любовью осматривал каждую, размахивал ею по воздуху, и розга изгибалась и что-то нежно шипела ему на ухо. Он отвечал ей ласковой улыбкой, будто страстно любимой женщине. Племянник между тем устраивал себе эшафот: он брал доску, клал ее на два стула и укреплял их веревкой, чтобы они не разъехались; потом ложился на доску пробовать ее прочность. Наконец, приготовившись как должно, он ждал пытки, поминутно меняясь в лице... Дяденька медленно ходил и курил... Докурив трубку, он говорил: ложись (171).

В итоге Федя превращается в образцовую жертву, а его родственник-мучитель оказывается глух к искренним протестам собственных родителей; как и прежде, проявлениям грубой физической силы в «Семействе Тальниковых» невозможно противиться, с ними можно лишь смириться. Однако к концу повествования этот злодей-садист становится объектом жалости, превращаясь в бродячего сумасшедшего, которого обманом завлекают в приют для душевнобольных, где он вскоре и умирает. Наташа обнаруживает в себе жалость к бывшему мучителю, ставшему к тому же похожим на свою давнишнюю жертву: «Он дрожит и плачет, как некогда дрожал и плакал перед ним бедный племянник!» (262). Таким образом, Наташа снова проявляет способность к сочувствию, перед которой мораль бессильна. За существенным исключением своей матери, даже самые зловещие родственные связи — эти «опасные отношения» — не становятся для Наташи поводом для обобщений о зле, насилии и жертвах.

В большинстве случаев то самое «мы», с которым сливается Наташа, беспомощно наблюдает за избиением или унижением одного из своих членов. Вся власть принадлежит взрослым, которые поглощены собственными делами. Выделяться чем-то — значит рисковать быть наказанным, а коллектив может предоставить своим членам лишь очень ограниченную поддержку и защиту. Однако, как демонстрирует один из эпизодов, дети столь же податливы соблазну ярости и мщения, что и взрослые. В этом эпизоде жертвой детей становится один из мучителей, что несколько оправдывает их действия, но вряд ли может совершенно извинить их. Тальниковы дают бал — событие, в ходе которого дом превращается в публичное пространство, а дети получают невыносимо со-

блазнительный доступ к волнующему внешнему миру. Однако когда дети во второй раз всей толпой проникают в бальную залу, чтобы подслушать и подсмотреть за происходящим, их гувернантка, мелочный деспот-надзиратель, которую Наташа позволяет себе высмеивать, жестоко лишает детей этого доступа. Оказавшись в заключении и под угрозой дальнейшего наказания, дети буквально превращаются в дикарей: обзывая свою надзирательницу, они топчут и оплевыывают покрывало ее кровати. Наташа говорит об «утолении нашей злобы» в тех же выражениях, в которых описывала ярость своего отца. Она вновь обращается к экзотическим образам, чтобы подчеркнуть дикое поведение детей, крайнюю степень их трансформации. Если отец ранее фигурировал в качестве индуистского бога, то его дети предстают теперь настоящими язычниками: «Мы, чтобы привлечь жертву, взялись за руки, составили круг и с неистовыми криками, визгом и свистом пустились скакать и вертеться как иступленные; волосы наши развевались; почти неодетые, мы походили на диких, которые плясками готовятся к жертве» (146–147).

Сводя счеты, дети не решаются нанести физический вред самой гувернантке, однако им удастся порвать ее бальное платье, которое позволяло ей присутствовать на балу и претендовать на роль публичной персоны. В результате «свергнутая» гувернантка принуждена отправиться в кровать в окружении своих жертв / мучителей, которые неискренне просят у нее прощения. Пока гувернантка ворочается с боку на бок, Наташа безоговорочно объявляет «нашу» победу, победу «гордых и сильных». Коллектив детей не только перенял у родителей их безразличие к жертвам, но и позволил себе подвергнуть жертву жестокому наказанию, хотя и в более мягкой форме¹. Воспроизводя «жуткое» («uncanny») — уже на своем собственном языке, — дети «разыгрывают послушание» лишь для того, чтобы пленить и подвергнуть насилию своего (невоспитанного) воспитателя. Ответом детей, таким образом, становится не послушание, но подражание самому тирану.

¹ Как и другие нарративы травмы, «Семейство Тальниковых» демонстрирует, что в определенных обстоятельствах жертва травмы может быть принуждена отказаться от «нормализованных ценностей или моральных систем». См.: *Vickroy L. Trauma and Survival in Contemporary Fiction*. С. 34.

Прерванная жизнь

Как подчеркивают психологи и критики, изучающие травматические нарративы, травмы могут изолировать и дезориентировать жертв, обрекая их на жизнь в «аморфном, а не хронологическом времени», ограничивая их способность упорядочить собственный мир, подрывая их важнейшие убеждения и самые тесные взаимоотношения, разрушая их представление о собственной личности¹. Наташино повествование резко отличается от традиционных рассказов о детстве, в которых прослеживается постепенное интеллектуальное и моральное взросление героя. История Наташи — это описание убогих взрослых («галереи уродов», по словам Келли), которые не воспитывают и не просвещают: Наташа выслеживает и подслушивает, как кажется, в отчаянном стремлении к знанию и развлечению, поскольку ни родители, ни родственники, ни учителя ей ничего дать не могут. Все, что она знает о религии, уверяет Наташа, — это лишь нравоучительные басни и несколько молитв. Она не помнит в доме других книг, кроме одного букваря (107). Не имея других источников знания, дети требуют от своих необразованных нянек волшебных сказок и рассказов о сверхъестественных злых силах.

Несмотря на всю заброшенность и невежество, по словам Наташи, период с шести до десяти лет стал для нее до некоторой степени «золотым» периодом — прежде всего потому, что ей удавалось

¹ Карут отмечает, что «история травмы» не повествует о победе от реальности, но «скорее свидетельствует о ее непрестанном влиянии на жизнь» жертвы (*Caruth C. Unclaimed Experience*. P. 7); обзор работ, посвященных «насиленственной фрагментации субъекта» под воздействием травмы, см. в: *Henke S.A. Shattered Subjects: Trauma and Testimony in Women's Life-Writing*. NY: St. Martin's Press, 1998. P. xvi. В своей работе Викрой отмечает склонность выживших «жить в аморфном, а не хронологическом времени», цитируя исследование Джанофф-Балман, в котором описываются последствия такой тенденции: «Травма и сопутствующие ей стыд, сомнения или чувство вины разрушают важные убеждения: убежденность в собственной безопасности или способности жить и действовать в мире, восприятие мира как осмысленного и упорядоченного, представление о себе как о достойном, сильном и самостоятельном человеке». Как добавляет Викрой, «сниженное или даже подорванное восприятие самого себя является общей чертой травм любого происхождения» (*Vickroy L. Trauma and Survival in Contemporary Fiction*. P. 5, 22).

держаться вне поля зрения взрослых. После смерти бабушки по отцовской линии мать изменяет распорядок жизни: стремясь изолировать и дисциплинировать детей, она запрещает им входить в гостиную и в ее комнату, отменяет обычай желать доброй ночи и в конце концов отдает детей под постоянный надзор пришлого воспитателя. Нанятая матерью гувернантка была уволена со своего предыдущего места за беспричинную жестокость по отношению к детям, и Наташа в своем повествовании подчеркивает ее дурной характер, ее непривлекательную внешность, ее приверженность строжайшей дисциплине и в особенности ее тягу к бесконечным и крайне жестоким наказаниям. Когда эта гувернантка решает уволиться, на радость детям, Наташе удается подслушать рассуждения матери о бесполезности книг и образования, для девочек в особенности: «Девчонки могут бросить свои книги и заняться шитьем; я вот, слава богу, и без книг живу, дай бог им так жить, да еще увидим, кто их возьмет, даром, что ученые!» (164). Словами и действиями мать внушает детям, что учителя должны быть надсмотрщиками, дети — подчиняться им, а девочки не нуждаются в каком бы то ни было образовании.

Предоставленная сама себе в детской, в окружении женщин-иждивенок (теток по материнской и отцовской линии), Наташа не увидит книг и ничего не узнает о религии. Вместо этого она постоянно становится свидетельницей сцен ухаживания и слышит завуалированные разговоры о сексе. Ее взросление и превращение в женщину, как и ее образование, свертывается без помощи и поддержки взрослых; она узнает о взрослой жизни, шпиона и подслушивая за далеко не самыми достойными их представителями¹. Она от-

¹ Е. Трофимова считает, что книга «Семейство Тальниковых» не только продемонстрировала картины систематического угнетения женщин, но и показала протест женщин против этих ограничений (*Трофимова Е.* «Дочки-матери» семейства Тальниковых в повести А.Я. Панаевой // *Мальчики и девочки: реалии социализации.* Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2004. С. 227–236). Я согласна с утверждением Трофимовой, что в повести четко обрисованы взаимоотношения между двумя очень различными типами женщин и описаны социальные ограничения, накладываемые обществом на женщин. Однако в «Семействе Тальниковых» демонстрация протеста и угнетения женщин осложняется описанием материнской тирании (либо — в других вариантах — тирания гувернантки и тетки); кроме того, в повести показано, как детский коллектив периодически оказывается «де-гендеризированным» в результате угнетения со стороны взрослых.

мечает, что ее гувернантка питает слабость к офицерам, и намеренно подслушивает ее споры со своими тетками по поводу приличного поведения, потенциальных женихов и шансов выйти замуж. На ее глазах одна из теток принимает приглашение красноносого, пропитого ухажера-жениха и готовится переехать в новую квартиру; Наташе остается только гадать, что имеет в виду будущая новобрачная, жалуясь на узость своей новой кровати. Когда мать наконец отправляет ее учиться на преподавательницу музыки, Наташа главным образом вспоминает «семейные неприятности» своего учителя, которому постоянно изменяет жена. Она дословно воспроизводит ссоры между мужем и женой и рассказывает об изменах последней, которые Наташа в буквальном смысле слова видит и слышит, за спиной учителя. Снова и снова формирование Наташи — ее стремление к знаниям, ее восприятие любви, ее превращение в женщину — искажается грубым поведением неверных или беспомощных взрослых.

Таким образом, к тому времени, когда Наташа сама становится объектом ухаживаний, она не верит ни в какие позитивные чувства и не способна представить себя в качестве привлекательной и самооценной личности. Ее физическое взросление проходит без всякого совета или поддержки взрослых, и она крайне робко начинает процесс, который Лори Викрой описывает как «поиск себя», «когда главная героиня отправляется во внутреннее путешествие, создавая попутно пространство, в котором она может безопасно предаваться нарциссическим размышлениям»¹. Попадая в символическое в своей публичности пространство гостиной, Наташа предпочитает сидеть у окна, наблюдая за заходом солнца, и представлять, как она парит среди изменчивых облаков (240). Но даже и это невинное занятие вызывает недовольство тетушки Степаниды Петровны, которое Наташе приходится с помощью различных хитростей преодолевать, чтобы встретиться со своим поклонником, Алексеем Петровичем. Следуя испытанной тактике своей сестры (Наташиной матери), Степанида Петровна на вербальном уровне мешает Наташе стать взрослым человеком, либо отказывая ей в какой бы то ни было привлекательности, либо связывая ее будущее с непременным распутством. На фоне уроков самоуничижения и лицемерия, полученных от других взрослых,

¹ *Vickroy L. Trauma and Survival in Contemporary Fiction. P. 160.*

колкие замечания Степаниды Петровны, которая в других обстоятельствах могла бы стать Наташиной наставницей, лишь укрепили в Наташе неспособность поверить в чью бы то ни было искренность.

Однако когда тетка угрожает рассказать о Наташином увлечении матери — единственному из взрослых, кого Наташа безоговорочно презирает, — девушка забывает о стыде и условностях и организует тайное выяснение отношений. С помощью коллектива (в лице своего брата Ивана) она добивается прямого разговора наедине со своим поклонником. Взаимные признания в любви и сделанное Алексеем Петровичем предложение активизируют в Наташе чувство индивидуальности и собственного достоинства, позволяя ей совершить настоящий прорыв в эмоционально-моральном развитии, которого она была лишена на протяжении своего детства и юности: «Я легла спать в страшном волнении, в первый раз чувствуя какое-то достоинство: меня любят, я выйду замуж, больше никакой мысли не могла связать в голове...» (254). Обручившись, Наташа находит в себе силы бросить вызов своей матери, преодолеть сопротивление тетки и покинуть дом. Став невестой, Наташа добивается жизненного успеха одним из немногих способов, доступных для женщины ее времени.

Однако счастливая развязка этой истории остается неочевидной, поскольку Наташа по-прежнему остается в тени своей несчастливой семьи, порвать с которой так и не может. Удивительно, что Наташа сохраняет и полное молчание по поводу своей новой любви и будущей жизни: мы больше ничего не узнаем об Алексее Петровиче. Вместо этого заключительная глава «Семейства Тальниковых» посвящена последним дням Наташиного дяди, некогда мучившего Федю. Раскаявшийся сумасшедший настолько расстраивает и завораживает Наташу, что она забывает о своей собственной свадьбе. Ее свадебные приготовления сведены к минимуму и преднамеренно лишены какого бы то ни было сексуального подтекста, исполнения желаний или радостного ожидания. Не упоминает она и о разговорах с матерью по поводу предстоящей ей первой брачной ночи (один такой разговор Наташа подслушала накануне замужества своей тетки), отмечая вместо этого свое простое, лишенное украшений платье и прическу в день свадьбы. Поскольку молодая пара собирается отправиться в поместье Алексея Петровича сразу же после заключения брака, семья не устраивает в честь Наташи никаких торжеств, последние минуты в «доме»

заполнены печальными, гнетущими прощаниями, напоминая отъезд Миши. Все члены семьи играют свои привычные роли: отец непроницаем и пренебрежителен, мать разыгрывает «трагическую сцену», дедушка с бабушкой не могут удержаться от препирательств, а прощание с добросердечной тетушкой и помогавшим ей братом Иваном доводит Наташу до слез. Последним существом, которого она видит в доме, оказывается Трезор, сторожевой пес, провожающий ее до кареты. Наконец родительский дом тает вдали, вместе с машущими рукой родственниками и болезненными воспоминаниями, и в поле зрения остается лишь Трезор, жалкий и отвратительный символ ее жесткого, варварского, пронзительного детства: «Но скоро все исчезло, только Трезор с веревкой на шее уныло сидел на крыльце, провожая глазами карету...» (266).

* * *

Подводя итог, следует признать, что осуждение в 1848 году графом Бутурлиным повести Панаевой действительно говорит о ее успехе. Для Бутурлина автобиографическая аутентичность текста не имеет значения. С точки зрения властей главное здесь — опасное влияние художественного повествования от первого лица, которое, благодаря выбранному Панаевой сюжету, действующим лицам и стилю, подрывает родительскую власть. Я склонна согласиться с оценкой Бутурлина в том, что касается влияния повести; однако для меня решительность, эффективность и «моральность» подрывного воздействия Панаевой состоит в другом. Главное для меня — способность травматического нарратива Панаевой поставить под сомнение социальную гарантированность характерной для детства «атмосферы безопасности», личностной ценности и заботливого воспитания. Психологическое и моральное воздействие повести усиливается тем, что автор отказывается от окончательных оценок и морализаторства. В «Семействе Тальниковых» крайне необычная, по-житейски очень опытная главная героиня постоянно находится в процессе выделения и отделения себя от своей жестокой, неблагополучной семьи. Повествование Наташи и отражает, и переосмысливает ее травматический жизненный опыт: она отслеживает и подслушивает крайне несовершенных представителей мира взрослых; растворяется как говорящий и чувствующий субъект среди коллективного «мы» своих братьев и сестер; обличает и осуждает своих

«опасных [взрослых] родственников» и, вопреки нравам своей семьи, стремится почувствовать себя и личностью, и женщиной. В Наташином рассказе искусно переплетаются ее уязвимость, ее запутанность и ее зависимость от сложившейся ситуации.

Более того, я берусь утверждать, что долговременным запретом на свою публикацию повесть Панаевой обязана именно собственной эффективности как травматического нарратива. Возможно, в силу смелости своего повествования и психологической / моральной сложности произведение Панаевой опередило свое время; лишь несколько десятилетий спустя в произведениях Достоевского читателям будут предложены вновь столь же поразительные и откровенные описания семейного неблагополучия и насилия. Сегодня, спустя почти восемьдесят лет после запоздалой публикации «Семейства Тальниковых», не следует вновь «терять» этот текст под влиянием собственных нормативных представлений об исторической принадлежности и стилистическом «хорошем вкусе». В отличие от Некрасова и Панаева мы не должны списывать повесть Панаевой со счетов как безвозвратно принадлежащую прошлому. Сложившиеся парадигмы переживания и описания психологической травмы позволяют нам полнее оценить жесткую точность, живость, цинизм и психологическую достоверность этой необыкновенной повести, признавая, что содержащиеся в ней описания жестокого обращения с детьми и стратегий их выживания и сегодня не утратили той проницательной силы, которая могла бы тревожить и читателей николаевской эпохи.

Мария Литовская

«Оружие и амунизию держать в полном порядке»:

войны А. Голикова в текстах А. Гайдара

Я тебя спрашивал, какая у вас погода, видал ли ты аэроплан, вообще про войну. Папочка, я знаю, что некоторые присылают винтовки с фронта в подарок кому-нибудь... Можешь ли как-нибудь и мне прислать? Уж очень хочется, чтобы что-нибудь на память о войне осталось.

Из письма А. Голикова

Пятилетний Анатолий Федорович очень со мной дружит. Подарил ему звезду, свисток и пистонный револьвер. Он командует над собаками — Цыганом, Тузиком и Машкой. В газетах временное затишье. Но тревожно на свете.

Из письма А. Гайдара

В истории периодически складываются поколения, на долю которых приходятся особенно значительные «внешние» испытания, оказывающие сильнейшее воздействие на всю их последующую жизнь. К таковым, вне сомнения, относились российские дети, родившиеся в начале XX века, чье детство и отрочество прошли «среди революций», а ранняя юность пришлась на Гражданскую войну. Они пережили кардинальный — быстрый и неотменяемый — слом старого уклада жизни, совершили — зачастую вынужденный — выбор в Гражданской войне и — опять же невольно — стали ее непосредственными участниками. Остались ли они после этого в родной стране или оказались в эмиграции, им пришлось пережить еще один шок — существование в незнакомой для них

среде при минимальной поддержке со стороны взрослых — не менее, а возможно, и более, чем подростки, выбитых из привычной колеи и ошеломленных происходящим. В Советской России и в Русском зарубежье открывают детские дома и интернаты, чтобы справиться с одним из очевидных социальных последствий исторического катаклизма — беспризорностью. По-разному, но российское общество по обе стороны советской границы пытается преодолеть влияние Гражданской войны на юношескую психику.

В 1925 году русский психолог В. Зеньковский, председатель Педагогического бюро по делам средней и низшей русской школы за границей, замечал, подводя итоги анализу сочинений школьников «Мои воспоминания с 1917 года»:

Наши дети психически отравлены, пережили тяжелейшие ушибы и вывихи, от которых как бы парализованы и замолкли целые сферы души, — а то, что осталось живым и целым, становится носителем жизни и силится хотя бы прикрыть забвением то, что нельзя уже удалить из души. История детской души в наши дни — есть история ее потрясений и глубочайшего надлома, история ее борьбы за возможность здорового движения вперед, ее самосохранения и залечивания своих ран. Почти все это происходит ниже сознания, в сферу которого прорываются отдельные эпизоды этой сложной и напряженной внутренней борьбы, но зато по этим порывам можно судить о самой борьбе¹.

Составляя сборник воспоминаний своих воспитанников, начальник колонии для беспризорных А.С. Макаренко писал в письме 1928 года:

Когда я печатал сотую биографию, я понял, что я читаю самую потрясающую книгу, которую мне приходилось когда-нибудь читать. Это — концентрированное детское горе, рассказанное такими простыми, такими безжалостными словами... это простой, искренний рассказ человека, который уже привык не рассчитывать ни на какое сожаление, который привык только к враждебным стихиям и привык не смущаться в этом положении. В этом, конечно, страшная трагедия нашего времени...²

¹ Дети эмиграции. М., 2001. С. 140 — 141.

² Макаренко А.С. Собр. соч.: В 7 т. М., 1958. Т. 7. С. 289.

Психологи и педагоги, врачи и социальные работники сходились в необходимости признать тяжелейшие психические последствия пережитого молодыми людьми, сказавшегося на всей их дальнейшей жизни. «К сожалению — кроме единственного случая, — нет сведений о том, как в дальнейшем складывалась судьба этих детей», — замечает автор предисловия к переизданию сборника «Дети эмиграции»¹, имея в виду, конечно же, рассказ о том, удалось ли и каким образом представителям этого поколения преодолеть травмы, которые, по его мнению, «куда страшнее любой “первичной сцены”, как принято называть в психоанализе интимные отношения родителей, замеченные ребенком, который потом зачастую не способен избежать невроза»².

Но, лишенные возможности узнать, что же случилось в дальнейшем с мальчиками и девочками, непосредственно столкнувшимися с ужасами войны, мы можем проследить судьбу некоторых их сверстников, чья жизнь волею их самих приобрела публичность, занятых в области, где проговаривание собственного опыта, в том числе и травматического, неизбежно. Речь идет об искусстве, в частности о литературе. О судьбе писателя, которому к окончанию Гражданской войны исполнилось семнадцать лет, т.е. он был ровесником старшеклассникам эмигрантских школ и советских интернатов и колоний. То, как проявился его травматический военный опыт в прозе, каковы были его индивидуальные стратегии изживания трагедии Гражданской войны, в том числе и в творчестве, будет темой настоящей статьи.

Преждевременная война Аркадия Голикова

(Аркадию Петровичу Голикову) было 13 лет, когда произошла революция. Не он разваливал царскую империю, не он развязал Гражданскую войну. Но эти события произошли. Дальше все закономерно. Живет в Арзамасе мальчишка. Очень храбрый, очень деятельный. Остаться в стороне в тогдашней заварушке не мог. Какую сторону выбрать? Вопрос не стоял. Смотрим происхождение. ...Небогатая, демократически настроенная интеллигенция, слой,

¹ Дети эмиграции. С. 6.

² Там же. С. 13.

который всегда был источником революционной активности. Аркадий Петрович стал в гражданскую командиром полка? Но ведь Петр Исидорович в это время на другом фронте был комиссаром полка! А Наталья Аркадьевна умерла в 1924-м в Пржевальске, где заведовала губздравотделом. В Киргизию из Арзамаса поехала, потому что «партия направила». ...Гражданская война в жизни деда — страшный стресс, травма на всю жизнь. Назовем вещи своими именами. Мальчишка 14—15 лет был вынужден не просто убивать людей в бою (своих же сограждан!), но и расстреливать струсивших подчиненных, отдавать жестокие приказы... А потом ему говорят: нет, дорогой, количество твоих ранений и контузий не позволяет даже думать о дальнейшей военной карьере. И выкидывают на улицу. Ему 20 лет. Ни образования, ни профессии. Ненормальный кровавый опыт за плечами. Тяжелейшие последствия контузии. Можно было сойти с ума. Стать человеконенавистником... Дед мизантропом не стал. Последствия выразились иначе...¹

Это версия биографии, которую предлагает семья писателя, его внук Егор Гайдар. Версия, которую условно можно обозначить как доброжелательную. В версии недоброжелательной, самый яркий вариант которой был изложен В. Солоухиным, ситуация выглядит еще более драматичной. Мальчик с детства проявлял признаки необоснованной жестокости². От греха подальше мать отправила четырнадцатилетнего сына на фронт. Там он быстро выдвинулся в руководители среднего звена (в августе 1919 года командовал отрядом курсантов, умиривших кубанских казаков), семнадцати лет стал командиром батальона ЧОН (чрезвычайный отряд особого назначения), участвовавшего сначала в подавлении Тамбовского восстания, потом — в ликвидации банды Соловьева в Хакасии. Ссылаясь на своего институтского товарища-хакаса, В. Солоухин приводит такой рассказ:

¹ Гайдар Е. «У меня корни, которыми можно гордиться...» // Известия. 2004. 2 февраля.

² Опубликованные документы не дают особых оснований для подобных утверждений. Голиков учился в Арзамасском реальном училище, мужском учебном заведении со свойственными подобным заведениям нравами: драками, жесткими правилами поведения, где запрет на ябедничество, воровство или сентиментальность соединялся со спокойным отношением к мелодрамам или же насмешками над самоубийствами (см., например, рассказ «Покушение на са-

Его из Москвы специально прислали Соловьева ловить, а никто ему не говорил, где Соловьев; знают, а не говорят. Вот он и спрашивал у каждого встречного и поперечного. «Хайдар?» Куда ехать? Где искать? А ему не говорили. Один раз запер в бане шестнадцать человек хакасов. «Если к утру не скажете, где Соловьев, всех расстреляю». Не сказали. А может, и не знали, где Соловьев, тайга ведь большая. Утром он из бани по одному выпускал и каждого стрелял в затылок. Всех шестнадцать человек перестрелял. Своей рукой. А то еще. Собрал население целого аила, то есть целой деревни... Семьдесят шесть человек там было. Старухи и дети. Все подряд. Выстроил их в одну шеренгу, поставил перед ними пулемет. «Не скажете, всех перекошу». Не сказали. Сел за пулемет и... всех... А то еще в Соленом озере да в Божьем озере топил. В прорубь под лед запихивал. Тоже — многих. Тебе и сейчас эти озера покажут. Старожилы помнят...¹

В итоге Голиков за свою жестокость был вызван для разбирательства в Красноярск. Командующий ЧОН губернии В. Какоулин вынес следующее заключение по делу 274: «Мое впечатление: Голиков по идеологии неуравновешенный мальчишка, совершив-

моубийство» в училищном журнале «На досуге» (№ 4, 1911), репринтное издание которого вышло в Арзамасе в 1996 году). Он пишет вполне наивные письма отцу на фронт, расспрашивая про погоду и «вообще про войну», выпрашивая себе в подарок винтовку, подписываясь «Полковник Аркадий Голиков» и завершая послание приуроченными к календарным реалиям словами «Христос воскрес. Крепко целую» (цит. по копии, хранящейся в Музее А.П. Гайдара в г. Арзамасе). Судя по дневниковым заметкам, которые А. Гайдар начал вести с двенадцати лет, реалисты писали сочинения, вели метеонаблюдения, охотились на голубей, дрались на палках; потом начались комитеты, собрания, Советы, военное обучение, дежурства с оружием («Ночью мы стреляли в собор, оба попали в окна». — *Гайдар А.* Собр. соч.: В 4 т. М., 1973. Т. 4. С. 533. В дальнейшем тексты А. Гайдара приведены по собраниям сочинений с указанием в скобках в тексте года выпуска издания, номера тома и страницы). Все это соседствовало с чтением «Томы Сойера» и «Казак», посещением театра, создавая ощущение полноты жизни. «Днем по городу носятся автомобили, изредка пролетают аэропланы, ночью прожектор внимательно осматривает небо. Жизнь Совета идет своим чередом. Скоро учиться. “За свободу” — ученическая газета. Написать что-либо...» — записывает А. Гайдар 1/14 августа 1918 года. Он мечтает прочесть «для ознакомления» «Анну Каренину», Дарвина, Бокля, Писарева и «Короля Лира», ведет дневник, поведение его, судя по всему, не выходит за рамки обычного.

¹ Солоухин В. Соленое озеро // Наш современник. 1994. № 4. С. 16.



ший, пользуясь своим служебным положением, целый ряд преступлений»¹. По версии В. Солоухина, для успокоения хакасов молодому командиру вынесли суровый приговор, исключили из партии, но, прикрывая, демобилизовали из армии, отправили в Москву для лечения².

Оставив описание этой части жизни А. Голикова его биографам³, отметим, что обе версии сходны в признании полной ответственности подростка за происшедшее с ним⁴, сознательности выбора им пути в Красную армию, несомненной травматичности полученного там опыта. Полярны они, собственно, в одном — в оценке содеянного А. Голиковым как личной трагедии ввергнутого в пучину страшных исторических событий юноши или же проявления патологической жестокости сызмальства склонного к этому молодого человека. В зависимости от этого сторонники той или иной версии последующую судьбу поменявшего имя молодого человека, ставшего писателем Аркадием Гайдаром, интерпретируют либо как историю успешного преодоления безвыходных, казалось бы, обстоятельств, либо как демонстрацию дальнейшей деградации личности, особый ужас которой усугубляется тем, что в этот процесс вовлекаются ни о чем не подозревающие дети — читатели книг активно пропагандируемого властью литератора.

Но интерпретаторы этой, куда лучше документированной части биографии уже А. Гайдара опираются, по сути, на одни и те же факты. Они указывают на то, что диагноз «травматический синдром», с которым Аркадия Голикова демобилизовали из армии, был

¹ Цит. по: *Солоухин В.* Солёное озеро. С. 52.

² *Солоухин В.* Солёное озеро. С. 52.

³ *Гайдар Т.* Голиков Аркадий из Арзамаса: Документы, воспоминания, размышления. М., 1988; *Камов Б.* Рынок в неведомое. М., 1991; *Константинов А.* Гайдар: От «Кибальчиша» к «Плохишу», или От мифа к человеку // Аркадий Гайдар вчера и сегодня: Мат-лы научно-практич. конф. 2 февраля 2004. Пермь, 2004.

⁴ Характерно, что педагоги — как эмигрантские, так и советские — видят в своих воспитанниках, многие из которых, еще раз подчеркнем, были ровесниками А. Гайдара, в первую очередь лишенных какой бы то ни было ответственности жертв социальных обстоятельств — стихии революции и сопутствующих ей войн.

поставлен не случайно. В анамнезе, «составленном со слов больного», отмечено, что болезнь проявилась, когда он

...попал в Енисейскую губернию на борьбу с белыми бандами. Тут появилась раздражительность, злобность, жестокость. Были случаи ненужных расстрелов, появилось ухарство, наплевательское отношение ко всему, развинченность... Стали появляться приступы тоскливой злобности, спазмы в горле, сонливость, плакал¹.

В последующем в поведении А. Гайдара знавшим его, да и тем, кто смотрят на него из временной перспективы, также легко обнаружить проявления болезненные. Сохранились воспоминания о том, что он несколько раз резал себя безопасной бритвой, и только своевременное вмешательство близких и врачей спасало положение. «Мне случалось видеть его в одних трусах. Вся грудь и руки ниже плеч были сплошь — один к одному — покрыты огромными шрамами. Ясно было: он резался не один раз», — рассказывает Б. Закс². Впрочем, если этот мемуарист интерпретирует подобное поведение как отчетливое проявление суицидных наклонностей, иные версии звучат более мягко. Егор Гайдар, ссылаясь на семейные рассказы, поясняет, что деда

...мучили внезапные приступы безумной головной боли. Боль могла накатить в любой момент, внезапно, причем такая, что у деда, вспоминают, начинал заплетаться язык, не слушались ноги. Он не владел собой в такие минуты. Но не будешь же каждому объяснять — и окружающие недоумевали: что это с Гайдаром? Лекарства боль не снимали. Лекарство было свое: он резался. Мог взять бритву и полоснуть себя. Это не было попыткой самоубийства, просто болью перешибал боль... Приступ сменялся полосой тяжелой депрессии. Пил ли? Обычно — не больше и не меньше, чем любой в России. В рамках, так сказать, поддержания социальных отношений. Но во время этих приступов, в полосу депрессии — мог сорваться³.

¹ Цит. по: Кондратьев Б. Художественный феномен А.П. Гайдара: идеология и культура // Аркадий Гайдар и круг детского чтения. Арзамас, 2004. С. 11.

² Цит. по: Солоухин В. Соленое озеро. С. 37.

³ Гайдар Е. «У меня корни, которыми можно гордиться...»

Другие современники отмечают, что он пил и во хмелю бывал страшен, да и сам писатель периодически характеризовал себя так: «дик и неуравновешен» (Гайдар 1973, 4, 517):

А. Гайдар прекрасно отдавал себе отчет в том, что болен. Об осознании болезни свидетельствует, например, заявление в военкомат от 14 июля 1941 года: «Тов. Гайдар (Голиков) Аркадий Петрович — орденосец, талантливый писатель, активный участник Гражданской войны, бывший командир полка, освобожденный от военного учета по болезни, в настоящее время чувствует себя вполне здоровым и хочет быть использованным в действующей армии»¹.

Несколько раз он попадал в психиатрические клиники. Тот же Б. Закс пишет: «...Речь идет о самом настоящем психическом заболевании, регулярно приводившем Гайдара в соответствующие лечебные заведения. Не так-то долго он пробыл на Дальнем Востоке, меньше года, но за это время дважды побывал в психиатричке»². Далее повествуется о приближающихся симптомах приступа: у Гайдара начинали заплетаться ноги, он производил впечатление пьяного, потом действительно находил алкоголь и начинал буйствовать: «Он рассказывал, что детально обследовавшие его врачи вывели такое заключение: алкоголь — только ключ, открывающий двери уже разбушевавшимся внутри силам»³. В дневниках и письмах Гайдара постоянны упоминания о психоневрологических больницах и санаториях: «Вчера выписался из “Сокольников” — был туман мозга» (Гайдар 1973, 4, 548) и т.п. Судя по всему, он не только периодически лечился в клиниках, но и самостоятельно выполнял предписания врачей.

В частности, в записных книжках А. Гайдара сохранились записи снов⁴. Иногда эти записи носили самый общий характер («Сни-

¹ Цит. по копии, хранящейся в Музее А.П. Гайдара в г. Арзамасе.

² Цит. по: *Солоухин В.* Соленое озеро. С. 35.

³ Цит по: Там же. С. 36.

⁴ Поставленный А. Голикову при демобилизации диагноз «травматический невроз», возможно, лечили через толкование снов, исходя из распространенного терапевтического положения, что травма, являясь надломом, может проявляться в повторении снов, в которых субъект заново переживает случившееся и вновь попадает в травматическую ситуацию, стремясь в конце концов овладеть ею. Приношу искреннюю благодарность С. Ушакину и В. Ганину за помощь в интерпретации сновидений писателя.

лись люди, убитые мною в детстве»¹), иногда сны для каких-то, возможно лечебных, целей классифицировались.

Сон по схеме 1. Я возвращаюсь в Арзамас, прихожу в свое Реальное училище и сажусь на свое старое место. И вот я чувствую себя одиноким, окруженным вежливой враждебностью и холодком. Особенно запоминается черная доска. Я стою в военной форме 1923 года (остальные одеты просто). Преподаватель спрашивает со скрытой иронией: «Вы что же? Или совсем не знаете, или позабыли?» — «И позабыл, и не знаю!» — злобно кричу я и, звякая шпорами, под ехидные смешки выбегаю за дверь. За дверью пусто.

Сон по схеме 2. Я приезжаю в отпуск. Встречают со сдержанным удивлением. В это время разворачиваются какие-то события. Чаше всего назревает антисоветское восстание... Всевозможные группировки и комбинации, но я никак не могу найти своего места. Я теряю всякую ориентировку. И наконец, в момент восстания остаюсь — в самой гуще — одиноким и изолированным. Я вынимаю маузер и стреляю. Оказывается, я стреляю по своим. Тогда — в дикой злобе на самого себя — я стреляю себе в голову. Огромный бледно-желтый огонь. Сильный удар. Острая мгновенная мысль: «Все кончено...»²

Иногда сон просто подробно пересказывается, не встраиваясь в схему:

Видел замечательный сон-сказку. Будто бы я солдат не то какого-то полукаторжного батальона, не то еще кто-то. Потом — подарок волшебницы из сказочного дворца. Потом бегство на пароходе. Феерия и наконец пожар — я хватаю Тимура, а волшебница в гневе кричит: ан все-таки он тебе дороже, чем я. Потом опять другой океанский пароход. Гибель Тимура. И потом я — весь в огнях, в искрах — огни голубые, желтые, красные, — тут мне и пришел конец (Гайдар 1973, 4, 543).

Непрофессионалу сложно понять, каков был принцип схематизации снов, поскольку оба они строятся по единой схеме: неудачная попытка встраивания в «старый контекст», когда человек

¹ Цит. по: *Солоухин В.* Соленое озеро. С. 34.

² *Камов Б.* Рывок в неведомое. С. 32, 338.



пытается разобраться, кто его окружает (в первом случае: «и позабыл, и не знаю»; во втором: «оказалось, по своим»), но не может из-за отсутствия критерия или навыков провести или определить грань, ощущая одиночество в окружении. И в том и в другом случае спящий в итоге реагирует одинаково: разрушает то, что представляет проблему, — уходит, стреляется. Он, видимо, боится сделать что-то не то, но в итоге это «не то» совершает — возможно,

от осознания несоответствия «себя» и «окружения», от необходимости действовать в чужой для него ситуации. Потеря ориентировки, утрата границ между своими и чужими, невозможность решить эту проблему иначе как бегством, видимо, и составляли суть тревоживших писателя снов. В третьем сне неопределенным чужим / своим (полукаторжный батальон, волшебница) противопоставлен безотносительный свой — сын, однозначность отношения к которому вызывает гнев чужого, результатом которого, видимо, оказывается гибель обоих — отца и сына.

А. Гайдар явно мечтал о цельности мировосприятия, рационализации мира, системе понятий, делающей мир объясняемым: «Путник и дорога как целое — при одних обстоятельствах, а при других — дорога его не касается, он касается ее только подошвами. Вообще мир разорван — при одном восприятии и собран при другом. Второе выше» (Гайдар 1973, 4, 550). В его реальной жизни цельности очевидно не было. Он постоянно испытывал резкие перепады настроения, проявляющиеся, в частности, в переписке. Многие письма начинаются с ипохондрических жалоб:

Хотел бы написать о своих делах и мыслях — да только на самого себя берет злора. К чему я ни притронусь, с кем бы я ни был — всем через меня одни неприятности, в то время, когда я вовсе сам этого не хочу. ...Лучше бы куда-нибудь провалиться на год минимум, чем делать друзьям и тебе, в первую очередь, всякие мучения. Все равно у нас ничего хорошего не будет — отдыха не будет, дела не будет, за границу меня не пошлют, квартиры не будет и покоя никогда не будет. Такая уж проклятая судьба. Книгу я одну, «Талисман», все-таки еще, вероятно, напишу, потому что взялся было за него крепко, — но когда напишу, где напишу и чего она мне будет

стоять, это все для меня сейчас сплошной туман... Просто, очевидно, тебе следует на меня плюнуть. Стыдись, что обузу ты взяла себе не по плечу и по характеру. Все это очень больно, хотя, может быть, и справедливо¹.

Это из письма к его гражданской жене А.Н. Трофимовой, за чем следует без перехода полный умиротворения фрагмент: «Слез на маленькой станции, кругом удивительная тишина, солнце и весна. Сухо! Кричат грачи — и кажется, впервые за очень долгое время я себя чувствую совсем хорошо»². Гайдар очевидно не стремится «пригладить» текст письма, напротив, он постоянно фиксирует перепады своего душевного состояния, видимо опасаясь припадков, понимая, что они беспокоят его друзей и близких, символически предотвращая их предварительным проговариванием своего недовольства миром.

Возможно, поэтому столь часто в его дневниках и письмах возникает слово «тревога». Он как бы заранее подает сигналы тревоги, осознанно соотнося внешнюю и внутреннюю опасности, фиксируя состояние беспокойства. Его тревожат мировая политика («Тревожно на свете, и добром дело, видать, не кончится», Гайдар 1973, 4, 553; «На земле тревожно», Гайдар 1973, 4, 557; и т.п.), прошлое («Сплю плохо. Тревожные варианты старых снов. Надо работать, но я что-то растерялся», Гайдар 1973, 4, 554), книги («Читал статьи Л. Толстого. Тревожно мне и досадно было», Гайдар 1973, 4, 564); тревога может быть безотчетной, хотя и фиксируемой («Ездили на Канаву. Клевало хорошо. Рувим поймал здоровенного окуня. Луга в цвету. — Тревога», Гайдар 1973, 4, 553; 551)³. Время от времени он признается в своей неназываемой вине: «Раньше я был уверен, что все пустяки... Откуда у меня ощущение большой вины? Иногда оно уходит. Становится спокойно, радостно, иногда незаметно подползает, и тогда горит у меня сердце, и

¹ Письмо А.Н. Трофимовой без даты. Цит. по: *Роганова О.Л.* Нравственно-социальная позиция и эстетическое кредо А.П. Гайдара в переписке с А.Я. Трофимовой, Д.М. Чернышевой и в документально-мемуарном наследии Н.П. Поляковой: по материалам архивных фондов (1930–1960-е годы) // Аркадий Гайдар и круг детского и юношеского чтения. Арзамас, 2001. С. 1–21.

² Там же.

³ Об одной из форм проявления подобного смятения см.: *Цивьян Т.* Леонид Липавский: «Исследование ужаса» (опыт медленного чтения) // Цивьян Т. Семиотические путешествия. СПб., 2001. С. 102–120.

не смотрят людям в лицо глаза прямо»¹. Гайдар спасается от тревоги работой: «Надо скорей хвататься опять за работу. Во время работы тревога (личная) уходит, приходит озабоченность общая — она осмысленней» (Гайдар 1973, 4, 565); «Последняя неделя хорошая. Все спокойно, сижу работаю» (Гайдар 1973, 4, 547).

Духовный мир, в котором умиротворение мгновенно сменяется отчаянием, а отчаяние — умиротворением, где неконтролируемые припадки возможны в любую минуту, где прошлое нуждается в избывании, а писательство и рыбная ловля становятся родом самому себе (возможно, впрочем, и врачами) назначенной терапии, на первый взгляд находится в полном несоответствии с тем, чем Аркадий Гайдар, собственно, и вошел в российскую культуру — с его художественным творчеством. В большей части советского литературоведения он рассматривался как автор светлой «страны Гайдари», воспринимался как обязательный для чтения классик советской детской литературы, который в четырнадцать лет командовал полком, потом воспитывал у детей чувство патриотизма, написал книгу, ставшую основой для возникновения пионерского движения тимуровцев, и героически погиб на Великой Отечественной войне².

¹ Цит. по: Жизнь и творчество А. Гайдара / Сост. Р.И. и В.С. Фраерманы. М., 1954. С. 223–224.

² На этом благодатном фоне особенно эффектно выглядели разоблачения позднесоветского и постсоветского периодов, которые в итоге привели к масовому взгляду на Гайдара как военного преступника, да еще и родоначальника страшного для российской культуры рода. Так, в ответ на информацию о столетии А. Гайдара лидер фракции Государственной думы восклицает: «Мы все время историю как-то стараемся делать необъективной. Кроме того что он был писатель, нужно было сообщить и о том, что он командовал кавалерийским полком, который уничтожил 20 тысяч офицеров русской армии. Он даже сошел от этого с ума, он переживал это всю жизнь и болел из-за того, что натворил во время Гражданской войны. А мы подаем просто информацию: вот есть у него рассказ “Тимур и его команда” и так далее. А то, что сделал его внук, — мы сами свидетели, мы знаем, что тоже очень много нанесено ущерба. И погибло больше чем 20 тысяч — погибли миллионы граждан от действий правительства внука этого великого писателя» (*Жириновский В.* Аркадий Гайдар // Выступления депутатов ЛДПР в Госдуме. <http://www.ldpr-russia.ru/duma/2004/0123.htm>; см. также: *Давыдов О.* Генотип Гайдара. Рождение реформы из духа самоубийства // Давыдов О. Российская элита. Психологические портреты. М., 2000). Подобная поляризация обычно на пустом месте не возникает. «Гайдаровский вопрос» очевидно связан с огромной популярностью А. Гайдара среди

Но и в этом образе «друга пионеров» проявляются некоторые странности, часть из которых, впрочем, естественно вписывается в поведение людей той эпохи. Будучи демобилизованным из армии, Гайдар практически всю жизнь носил военную и полув военную форму. Он не просто очень много ездил, постоянно менял места жительства, но, судя по всему, принципиально не обрстал бытом, все время находясь как бы в походе. «В сущности, у меня есть три пары белья, вещевой мешок, полевая сумка, полушубок, папаха — и больше ничего — ни дома, ни места, ни друзей. И это в то время, когда я вовсе не бедный и вовсе никак уж не отверженный и никому не нужный. Просто как-то не выходит»¹.

В характере и привычках А. Гайдара сохранилось много детского: он любил писать — и не делал из этого секрета — инфантильные стихи, подобные тем, что сочиняли пятилетние Чук и Гек², и письма русскими буквами на искаженном французском языке, посылал друзьям детски-шуточные письма и телеграммы («Гей, гей, не робей, замечательную сцену закатил я вчера в семье у Половцевых тчк Шлите деньги, или я буду вынужден остаться в Крыму навеки», Гайдар 1973, 4, 552; «Гей! Гей! Не робей! Тверже стой и крепче бей!», Гайдар 1973, 4, 528)³. Его любовь к детям, очевидно, была не наносной, но он играл с ними скорее как сверстник, чем как взрослый: писал смешные записки и письма, вел нелепые, с точки зрения «нормальных» взрослых, разговоры, устраивал «кучмалы» и подушечные бои. Все эти странности удивительно совпадают с отмеченными психологами Русского педагогического бюро особенностями поведения травмированных Гражданской войной подростков: периодически вспыхивающей ребячливостью, обостренным чувством бездомности и склонностью к безбытности, болезненной привязанностью к избранным ими самими товарищам.

советских подростков разных поколений, явно не объясняемой только через специфическую советскую актуальность его книг, и тем несомненным влиянием, которое он оказал на самую массовую читательскую аудиторию.

¹ Цит. по: *Гайдар Т.* Голиков Аркадий из Арзамаса: Документы, воспоминания, размышления. М., 1988. С. 167.

² Допускаем, впрочем, что иных он писать просто не умел. См., например, его стихи из газеты «Красный воин» (Гайдар 1964, 2, 377–385).

³ Полувзрослость-полудетскость, очевидно, давала ту степень отстранения от военной реальности, которая как раз и создает в гайдаровской прозе атмосферу достоверности. Стилевая инфантильность, начиная с «РВС», помогает сделать изображение Гражданской войны соразмерным восприятию ребенка.

Известная мифологизация собственной бытовой и бытийной неустойчивости, «бродяжничества» вообще свойственна писателям этого поколения. В этом смысле безытность Гайдара коррелирует с принципиально гостиничной жизнью Набокова, готовностью занимать двусмысленное положение, по сути дела, приживалов в чужих домах Зурова и Кузнецовой. Примеров можно приводить еще много, поскольку писатели того времени отчетливо делились на тех, кто всеми силами стремился обрести дом, создававший ощущение своей территории и относительной безопасности, и тех, кто бездомностью вольно или невольно отстаивал и подчеркивал свою неукорененность в пространстве, вырванность из predetermined сетки отношений. Писатели подобного типа, к каковым относился и А. Гайдар, неслучайно подчеркивали не материальную невозможность создания «дома», но неготовность к обладанию им. Бездомность, очевидно, возбуждала душевно необходимое им ощущение бесприютности, временной притуленности к «случайному» убежищу, потенциально несущее в себе ощущение свободы, безответственности перед материальной стороной быта. Неожиданно проявлявшаяся инфантильность также порождала у наблюдателей ощущение затянувшегося детства, оставшейся навсегда потребности в реально отсутствующей во взрослой жизни легкости отношений.

При всей документированности биографии А.П. Гайдара до потомков она доходит как бы в отраженном свете скудных свидетельств современников, слухов, недомолвок. Жизнь, которая схвачена, конечно, во множестве эпизодических проявлений (писатель в советской стране был человеком поневоле публичным, чья жизнь многократно и перекрестно фиксировалась: в протоколах заседаний, списках участников и тому подобных документах, указывающих на присутствие или отсутствие там-то и там-то, на выступлениях и перемещениях), тем не менее при ближайшем рассмотрении оказывается очень закрытой. Детство, отрочество, юность словно бы не вспоминаются, о своих переживаниях и взглядах писатель как будто никому не рассказывает. Прошлое проявляется в обмолвках и глухих упоминаниях. Так, например, в письме 1935 года Р.И. Фраерману Гайдар в связи с предстоящей поездкой своего корреспондента на Кавказ сообщает между прочим о своем пребывании там: «На перевале в Тубан я был в 1919 — дорога туда зимой очень нелегкая, хотя и красоты неописуемой. Когда лошадьми будешь проезжать станицу Шиванскую (а ее ты никак не мину-

ешь), ты увидишь одинокую, острую, как меч, скалу; под этой скалой, как раз на том повороте, где твои сани чуть уж не опрокинуты, у меня в девятнадцатом убили лошадь» (Гайдар 1973, 4, 523). О том, что кроется за этой скупой констатацией, автор письма умалчивает. Но и без комментариев ясно, что в двух предложениях зашифровано что-то драматическое¹. По сути дела, все, что увидел, совершил, пережил Гайдар за годы Гражданской войны, осталось за скобками свидетельств современников, а единственным хранилищем его человеческого опыта стала проза.

Творчество в итоге оказывается основным источником для реконструкции внутреннего мира писателя. Очевидно, что существующая болезнь, причиной которой стала травма преждевременного участия в войне, не могла не проявиться в главном деле гайдаровской жизни — его художественном творчестве. Возможно, она же стала одной из причин этого творчества. Об этом немало писали «сторонники» А. Гайдара, защищая писателя: «Среди эпизодов Гражданской войны в Хакасии, в которой участвовал будущий писатель, — расстрелы пленных и заложников, такие военные хитрости и операции, которые граничат с библейского масштаба преступлениями. Но таковы законы Гражданской войны, в которой и правы, и виновны обе стороны. Из этой войны нельзя выйти с чистенькими ручками, из нее можно выйти только с честью и кровью. Вся жизнь Гайдара — это война, которая закончилась в 1941 году его героической смертью на фронте. Все творчество писателя — это выход из этой войны, ее душевная компенсация»².

Но компенсация эта может носить разный характер. А. Гайдар, многократно проговаривая свою военную историю, символически объясняя свои поступки и оправдывая себя в ранних произведениях, в итоге отходит от повествований с автобиографическим

¹ Таким же эпизодом начинается роман Г. Газданова «Призрак Александра Вольфа»: «И вот на одном из поворотов дороги, загигавшейся в этом месте почти под прямым углом, моя лошадь тяжело и мгновенно упала на всем скаку». Все, что дальше случилось с героем, вышло из этой сцены, стало ее продолжением. По-видимому, объем гайдаровского умолчания в данном случае равен объему романа Газданова. О внутреннем сходстве А. Гайдара и Г. Газданова см.: *Литовская М., Матвеева Ю.* Незамеченный контекст незамеченного поколения: А. Гайдар и Г. Газданов // Гайто Газданов и «незамеченное поколение»: писатель на пересечении традиций и культур. М., 2005.

² *Корнев В.* Статья о писателе Аркадии Гайдаре // <http://tbs.asu.ru/likbez/kritika/kornev1.htm>.

подтекстом, практически полностью переключается на рассказ о жизни детей и подростков 1930-х годов, выбирает себе роль старшего, чей трагический опыт становится своеобразным залогом достоверности сказанного им, источником переживания, которое невозможно получить никаким иным путем. Встраивая один за другим свои тексты, основанные в конечном итоге на выражении своего стыда перед неготовностью к случившейся в его жизни войне и на оправдании этой неготовности, А. Голиков ни разу рационально не проговаривает причины своего мироотношения. Можно допустить, что именно тяжелый военный опыт стал одной из важнейших причин воздействия его книг на читателей, ощущавших их внутренний, не выпущенный на поверхность, но этого еще более интенсивный драматизм¹.

Преждевременные войны Аркадия Гайдара

А. Гайдар начинает свою писательскую деятельность с произведений о Гражданской войне. Это была недавняя, близкая всем в Советской России история и одновременно то, что он лучше всего знал, его личный опыт. Выбор отвечающего таким критериям материала характерен для начинающего писателя, который хочет быть интересным читателю и напечатанным. А. Гайдар в первых произведениях, по сути дела, рассказывает об одном: почему подросток втягивается в вооруженную борьбу; как он реагирует на смерть, сопутствующую участию в этой борьбе; что влияет на выбор им того или иного политического предпочтения. Личностно окрашенный материал остраниается, с одной стороны, очерковой достоверностью, с другой — установкой на изображение войны как увлекательного приключения. Это позволяет проговаривать важные для писателя вещи как бы походя. Героя повести «В дни по-

¹ Противниками А. Гайдара этот драматизм трактуется как двуличие. Так, В. Солоухин в «Соленом озере» приводит перевод из статьи Г. Иптекова, называемой «Гайдар — Хайдар? Два лица одного человека». Вообще спор о псевдониме, ставшем родовой фамилией, в нашем контексте принимает особое значение: А.П. Голиков жил либо с фамилией, образованной от детского галлицизированного сокращения Г <оликов> д'Ар <замас>, либо с хакасским прозвищем, которое ему дали за жестокое преследование врагов революции.

ражений и побед» (1925) Сергея Горинова в армию гонят любопытство, стремление поведать мир, поучаствовать в интересном деле. Это дело отнюдь не является общим, ведь воюющая страна показана как живущая своей, далекой от борьбы за революционные идеи жизнью: в голодной Москве — «спящая на столах и на полу» вокзалов «людская масса» (Гайдар 1973, 4, 13), очереди за продуктами, барахолки, витрины, «залепленные плакатами, афишами, приказами и объявлениями» (Гайдар 1973, 4, 14); в сытом Киеве — «открытые лавки, магазины, рестораны и гуляющая весенним утром публика в легких белых костюмах и кружевах, беспечная и смеющаяся» (Гайдар 1973, 4, 22). Но среди будничных беспорядочных забот и порожденного ими равнодушия к «сволочи разной» мир Советских Командных Курсов, куда попадает Сергей, кажется островом разумности, ясности и порядка. «Бодрая живая масса» курсантов, четко поставленные командирами задачи, ясное понимание того, что такое «коммунистическая вера» («Вера в свое дело, в человеческий разум, в торжество труда... вера в свои руки, в собственные силы», Гайдар 1973, 4, 25), — все это нравится герою, в первую очередь, своей определенностью и осмысленностью. Курсанты смутно и по-разному понимают «правое дело», но общая битва с врагами-«беляками» объединяет, делает наполненной их жизнь. Поэтому Сергей полностью погружается в настоящее, не вспоминает о прошлом, в армии находит друзей, которые для него становятся в полном смысле слова «нашими», чувствует себя там легко и уверенно¹. Война, как ни странно, упорядочивает жизнь героя, вносит высокий смысл приобщенности к значительному в их беспорядочное существование, задает вектор биографии. В произ-

¹ Товарищество для Гайдара оказывается своеобразной компенсацией внутреннего сиротства, ощущение которого было связано не только с ранним уходом из дома, относительно ранней смертью отца и матери, но и с тем, что он оказался отверженным военной средой, которую, по-видимому, искренне ценил. Тема сиротства проходит через всю жизнь и творчество А. Гайдара. Она возникает даже в письмах, адресованных детям, когда шуточный повод обнаруживает подспудный драматизм: «И еще прошу вас, не оставьте на сиротскую долю нашего Киселяна Котеновича, потому что сам я круглый сирота и знаю, как плохо жить в круглом сиротстве» (Гайдар 1973, 4, 509). В письме к Р. Фраерману он пишет про то же: «Милый Рувим, я ведь на самом деле сирота, и друзей у меня очень мало» (Гайдар 1973, 4, 524). Своих персонажей Гайдар часто делает полусиротами: нет матерей у детей — главных героев «Военной тайны», «Тимура и его команды», «Команданта снежной крепости», «Судьбы барабанщика».

ведениях 1930-х годов подобные представления о Гражданской войне будут присущи лишь «неразумным детям» и сюжет будет строиться на преодолении ими этих расхожих упрощений.

Изображенная в первых гайдаровских произведениях Гражданская война лишена трагизма, поскольку позиции героев и повествователя совпадают в абсолютной уверенности в правоте «красных» и пользе для молодого человека армейской жизни — эта правота не обсуждается и не ставится под сомнение. Война превращается для героя в полную опасностей игру с четкими правилами, в которой нужно хитростью и находчивостью заставить врага обнаружить себя. Смерть входит в условия игры, являясь для одних справедливым возмездием за злодеяния, для других — неизбежной жертвой ради победы «правого дела». «Наших» убивают, ранят; смерть врага таковой даже не именуется: «бандитов» «угощают», им «показывают», их «хотят полоснуть из нагана»; расстрелы врагов революции не изображаются непосредственно, но только обозначаются: «Возле каменной стены у церковной ограды, перед отделением курсантов, хмуро опутив головы, встали четыре человека, как пойманные волки, бросая взгляды исподлобья. Сергей посмотрел на них холодно и спокойно» (Гайдар 1973, 4, 38); «Когда его поставили возле толстой каменной стены у рощи, он окинул всех полным высокомерия взглядом. И в залпе потерялось его последнее слово: — ...сволочи!» (Гайдар 1973, 4, 86)¹. Гайдар подчеркнул избегает изображения ужаса смерти; герои мыслят в категориях не убийства, но защиты интересов государства, их действия в глазах читателя легитимируются тем, что они отстаивали существующую на момент написания повести Советскую Украину.

Военные успехи предопределены не количеством уничтоженных врагов, но ловкостью и убежденностью «красных». В финале главные герои счастливо встречаются, они празднуют успех вместе со всей армией и Республикой, будничная, аполитичная, мир-

¹ Ср.: «Четырнадцатилетним мальчиком сделали меня унтер-офицером. Никогда не смотрел я на действие своего оружия: мне было страшно увидеть падающих от моей руки людей. А в августе 1919 года в наши руки попали комиссары. Отряд наш на 3/4 состоял из кадет, студентов и гимназистов... Мы все стыдились идти расстреливать... Тогда наш командир бросил жребий, и мне в числе 12-ти выпало быть убийцей. Что-то оборвалось в моей груди... Да, я участвовал в расстреле четырех комиссаров, а когда один недобитый стал мучиться, я выстрелил ему из карабина в висок. Помню еще, что вложил ему в рану палец и понюхал мозг» (Дети эмиграции. С. 202).

ная жизнь в которой сменилась целенаправленной военной жизнью: «Кругом была жизнь ключом. Носились кавалеристы. Тянулись пленные. Проходили отряды с песнями. Откуда-то доносились бодрые, приподнимающие звуки боевого марша» (Гайдар 1973, 4, 182). Естественно и хорошо закончившимся приключением, разрывающим сонную жизнь, война предстает и в «Р.В.С.» (1926), где для героев в силу их возраста, происхождения и обстоятельств также не возникает проблемы, чью сторону занимать и как реагировать на происходящее. Хотя в начале повести Димка готов с равным успехом изображать в игре всех участников военного конфликта — и белых, и красных, и зеленых, — в итоге он все же выбирает «красных»: потому что они защищают мальчишек, потцовски заботятся о них, потому что они добрые. Если дезертир Красной армии «бабахнул в голову» любимой собаке (Гайдар 1964, 1, 76), если атаман Криволюб расстрелял на окраине деревни «четырех москалей и одного украинца» (Гайдар 1964, 1, 42), то красные спасают своего командира, стреляя во врагов, но — в пространстве рассказа — никого не убивая.

Попытки изобразить войну как увлекательное приключение в более позднем творчестве А. Гайдар будет предпринимать еще несколько раз: в «Обыкновенной биографии» (1931), «Бумбараше» (1937), — но эти произведения так и останутся незавершенными, поскольку необходимость в подобной символизации опыта Гражданской войны отпадет. У писателя хватит мужества проговорить значительно более важное для него в повести «Школа» (1930). Автобиографизм этой повести не оспаривается никем из исследователей: главный герой Борис Гориков учится в реальном училище Арзамаса; семья его очевидно сочувственно настроена по отношению к большевикам; он бежит из дома на фронт, участвует в сражениях и т.п. В то же время писатель заведомо меняет некоторые биографические факты: отца героя расстреливают как дезертира, мать его не знает про побег, у него всего одна сестра. Вполне вероятно, что не совпадают с реальностью и многие не поддающиеся проверке факты военной биографии. Но нас в данном случае волнует не биографическая или даже конкретно-историческая психологическая точность данной повести, а тот образ подростка на Гражданской войне, что сложился у писателя к 1930 году. Вненесенные в биографию изменения явно были необходимы для решения все той же задачи замещения реального опыта интерпретацией опыта героя.

В «Школе» темп повествования замедляется, эпизоды, которые могли бы стать точками роста авантюристичности (встреча с кадетом Ваальдом, путаница из-за письма и т.п.), в общей структуре повести эту функцию не выполняют. Акцент переносится с быстро сменяющих друг друга событий первых книг о Гражданской войне на душевное состояние подростка, для которого все произошедшее в этот период биографии действительно оказывается школой жизни, тем самым реальным училищем, которое герою так и не удалось окончить. Фабула повести основана на изображении социализационного слома. Борис, уже получивший навыки общежития в уездном тихом Арзамасе, как и все его сверстники, поневоле втягивается в ситуацию войны — сначала Первой мировой, потом Гражданской. Подросток учится жить в новых для него условиях войны. Его учеба проходит однообразно: житейская задача — ошибка — ее трагические последствия; новая задача — новая ошибка — снова трагические последствия. Не проверил за собой «хвост» — выдал отца; уснул на посту — стал причиной ареста друга; не успел укрыться — попал под пулю. Уроки войны неизменно связаны со смертью, духовная жизнь героя определяется ее постоянным присутствием. Жизненный опыт в подобных условиях приходит только через страдание и смерть. Борис убивает сверстника и становится причиной гибели своего военного наставника, его самого тяжело ранят; и хотя Гайдар все время смягчает картину понимающими оценками окружающих Бориса людей (война есть война), но события побуждают героя и самостоятельно вырабатывать компенсационные механизмы, защищающие от чувства постоянной вины и тоски.

Герой «Школы» убегает на войну от вины перед отцом, от тоски, одиночества, неразрешимых, как ему кажется, школьных проблем¹. Это прекрасно понимает умный красноармеец Чубук, который на хвастливое замечание Бориса о том, как тот самостоятельно «умно и дальнотзорко» выбрал «самую правильную, самую революционную партию», замечает:

¹ Аналогичный поступок в том же возрасте и по тем же причинам совершает автобиографический герой В. Катаева («Юношеский роман»), только бежит он на Первую мировую войну. Но в романе В. Катаева, написанном восьмидесятилетним писателем в 1982 году, доминирует ирония над несоответствием повода и последствий поступка.

Это тебе только кажется, что сам. Жизнь так повернулась. Вот тебе и сам! Отца у тебя убили — раз. К людям таким попал — два. С товарищами поссорился — три. Из школы тебя выгнали — четыре. Вот ежели все эти события откинуть, то остальное, может, и сам додумал (Гайдар 1964, 1, 268).

Чубук и остальные красноармейцы договаривают то, что Борис не осознает или же скрывает от самого себя: осуждение себя является формой самопознания.

К причинам, толкнувшим подростка на войну, Гайдар причислит еще и его тягу к оружию — маузерам, винтовкам, револьверам, бомбам, и стремление к яркой судьбе:

Еще в Арзамасе я видел, как мимо города вместе с дышавшими искрами и сверкавшими огнями поездами летит настоящая крепкая жизнь. Мне казалось, что нужно только суметь вскочить на одну из ступенек стремительных вагонов, хотя бы на самый краешек, крепко вцепиться в поручни, и тогда назад меня уже не столкнешь (Гайдар 1964, 1, 197).

Герою кажется, что добровольчество станет выразительным началом «сознательной» жизни, но Гайдар акцентирует внимание на цене этой подростковой самоуверенности. Война воспринимается подростком как яркое начало биографии, и писатель, с пониманием относясь к этой идее, в то же время показывает, какова цена этого эффектного поступка. Один из центральных мотивов «Школы» — осознание Борисом разницы между надуманным и встреченным им в действительности, будь то абстрактный, символически окрашенный пропагандистский враг и встреченные пленные австрийцы («усталые серые пленники не произвели на нас того впечатления, на которое мы рассчитывали. Если бы не шинели, они походили бы на беженцев. Те же худые, истощенные лица, та же утомленность и какое-то усталое равнодушие ко всему окружающему», Гайдар 1964, 1, 110) или книжное представление о войне как о приключении и рукопашные бои, расстрелы пленных, в которых приходится участвовать самому («Мальчик... если ты думаешь, что война — это вроде игры али прогулки по красивым местам, то лучше уходи обратно домой! Белый — это есть белый, и нет между нами никакой средней линии. Они нас стреляют — и мы их жалеть не будем!» — говорит герою все тот же Чубук; Гайдар 1964,

1, 73). Опыт на войне приходит только через страдание и смерть. Борис убивает сверстника¹ и становится причиной гибели своего военного наставника, заменившего ему отца; его самого тяжело ранят; и хотя Гайдар все время смягчает картину понимающими оценками окружающих Бориса людей (дескать, война есть война), но полученный ранний опыт, вне сомнения, изображен им как трагический и преждевременный: к пятнадцати годам герой убивал сам, стал причиной смерти, нарушил завет отца и оказался на

¹ На сей раз А. Гайдар дает подробное, психологически мотивированное, оправдывающее героя описание убийства им Юрия Ваальда, пробирающегося на Дон и первым напавшего на Бориса: «Он стоял в двух шагах от меня и помахивал тяжелой дубиной. Тук-тук... — стукнуло сердце. — Тук-тук... — настойчиво заколотилось оно обо что-то крепкое и твердое. Я лежал на боку, и правая рука моя была на груди. И тут я почувствовал, как мои пальцы осторожно, помимо моей воли, пробираются за пазуху, в потайной карман, где был спрятан маузер. Я крепко сжал теплую рукоятку и тихонько слернул предохранитель. В это время мой враг отошел шага на три — то ли затем, чтобы лучше оглядеть меня, а вернее всего затем, чтобы с разбегу еще раз оглушить дубиной. Сжав задергавшиеся губы, точно распрямляя затекшую руку, я вынул маузер и направил его в сторону приготовившегося к прыжку человека. Я видел, как внезапно перекосилось его лицо, как он крикнул, бросаюсь на меня, и скорее машинально, чем по своей воле, я нажал спуск... Он лежал в двух шагах от меня со сжатыми кулаками, вытянутыми в мою сторону. Дубинка валялась рядом. “Убит”, — понял я и уткнул в траву отупевшую голову, гудевшую, как телефонный столб от ветра. ...И страшно стало мне, пятнадцатилетнему мальчугану, в черном лесу рядом с по-настоящему убитым мною человеком» (Гайдар 1964, 1, 225). В этом эпизоде нет деталей собственно убийства, его заменяют описания позы противника до и после смерти и чувств Бориса. Слово «мальчуган», очевидно, указывает на жалость героя к себе или же на ретроспективный характер повествования. Описание расстрела Чубука также заменяется изображением жеста и звука выстрела: «Чубук выпрямился и, презрительно покачав головой, плюнул. Тут так сверкнуло и грохнуло, что как будто бы моей головой ударили по большому турецкому барабану. И, зашатавшись, обдирая хлястик капитанского обшлага, я повалился на землю» (Гайдар 1964, 1, 303). И в том и в другом случае происходит символическая смерть Горикова: он падает, оглушенный чужой смертью, причиной которой является сам. Третья символическая смерть в финале романа, когда герой впервые спокойно видит смерть своего товарища («...он еще крепче обнял молодую сломанную березку, посмотрел на меня спокойной последней улыбкой и тихо уронил голову на вздрогнувший куст», Гайдар 1964, 1, 335), становится последним его испытанием на пути взросления. Последнюю фразу повести «Шли санитары» можно прочитать как указание на исцеляющее от травматической реакции прошлого будущее. См. также толкование «Школы», предложенное А.П. Ефремовым в: *Ефремов А.П. Три попытки Аркадия Гайдара // Гайдар А. Судьба барабанщика*. СПб., 2000.

краю гибели. Герой у Гайдара не совершает идеологического, социально-политического выбора, но получает экзистенциальный опыт жизни в постоянном присутствии смерти.

В дальнейшем творчестве о пережитой Гражданской войне Гайдар писать будет редко и фрагментарно, война отойдет в прошлое, станет частью биографии его героев¹, но тем не менее мысль о войне входит в состав даже самых далеких, казалось бы, его произведений. Во-первых, Гражданская война становится неотъемлемой частью биографии персонажей старшего поколения, и тогдашний политический выбор становится безошибочным критерием оценки человека. Так, в «Судьбе барабанщика» участие отца главного героя в «той» войне является залогом его порядочности, а одним из преступлений старика Якова будет ношение им, «бандитом», воинской награды «красных». Но в 1930-е годы писателя более занимает война будущая, она становится важнейшей внешней причиной мировой тревоги. И здесь полученный им военный опыт оказывается как нельзя более кстати.

Гайдар не был одинок в оценке проживаемого страной отрезка истории как кратковременной передышки между двумя большими войнами. Для многих его современников актуальным было то, что война бывшая — с «белыми» — в основном закончилась, они разгромлены, хотя оставшиеся «белые», превратившись в «фашистов», по-прежнему продолжают бороться. Война будущая — с фашистами — должна вот-вот начаться. Происходящее внутри СССР также не могло не озадачивать, внутренняя неустойчивость и необъяснимость жизни привносят в повседневность чувство опасности, порождают беспокойство у рядового участника истории. Власти объясняли это беспокойство последствием напряжения при строительстве социализма; глобальные и локальные военные конфликты, поиски внешних и внутренних врагов стали постоянным предметом осмысления и изображения в советской политической риторике и в искусстве. Гайдар избегает изображения отрицательных крайностей советской реальности (коллективизации, голода, репрессий) или камуфлирует их, но он улавливает и передает тревогу в атмосфере времени, при этом делая акцент не

¹ О специфической роли событий Гражданской войны в поздних автобиографических текстах А. Гайдара см., например: *Виноградова Е.* Жанровое своеобразие рассказа А.П. Гайдара «Советская площадь» // Творчество Аркадия Гайдара. Герой. Жанр. Слог. М., 2006. По мнению автора статьи, в рассказе очерковое начало подменяется притчевым.

на мистически-таинственной природе власти, парализующей волю даже самого сильного человека, а на мобилизующем начале современного ему существования, помогающем без потерь преодолеть тревогу и найти свое место в мире.

Сам пережив и осознав травму раннего приобщения к войне, оказавшись неготовым к требованиям войны, неизменно включающим убийства, ненависть к врагу, беззаветную преданность идеалам «своих», готовность к героизму, Гайдар, судя по всему, видит свое писательское и человеческое предназначение в том, чтобы подготовить современных подростков, обязательных участников будущей войны, к испытаниям, которые выпадут на их долю. Для этого необходимо было создать у юного читателя ясную картину мира, где он живет, исключаящую недомолвки и разночтения. Очертить для него круг приоритетов, не подлежащих сомнению. Задать матрицы поведения, помогающие уверенно действовать в мире.

Война неизменно появляется практически во всех его произведениях. Она может быть открытой, с внешним врагом («Школа», «РВС»), или тайной, с диверсантами, кулаками («Судьба барабанщика», «Дальние страны»), но всегда, сначала находясь на периферии повествования, она рано или поздно оказывается в центре существования героев¹. Война служит фоном, на котором разворачивается действие в «Тимуре и его команде», «Коменданте снежной крепости». Даже в мирной «Голубой чашке» с ее, казалось бы, внутрисемейным конфликтом за пределами страны существует фашизм в Германии, напоминаящий о себе военными учениями и антисемитскими выкриками «известного фашиста, белогвардейца Саньки» (Гайдар 1986, 2, 9) в адрес Берты — эмигрантки из Германии.

Поскольку война носит непрекращающийся и всеобщий характер, все члены общества или являются солдатами, или готовятся в солдаты. Военные составляют самый многочисленный отряд персонажей в книгах А. Гайдара, главные герои окружены военными — родными, знакомыми или совсем посторонними: работают

¹ Судя по сохранившимся дневникам и письмам, писатель постоянно следил за развитием военных действий. 1 апреля 1940 года он отмечает: «С Финляндией... война окончена». 14 июня: «Война гремит по земле. Нет больше Норвегии, Голландии, Дании, Люксембурга, Бельгии. Германцы наступают на Париж. Италия на днях вступила в войну»; 29 июля: «Давно уже Франция разбита. СССР — это уже Бессарабия, Литва, Латвия, Эстония»; 20 ноября: «На земле тревожно. Греки неожиданно теснят в Албании итальянцев». Подобных заметок в его дневниках много.

штабы, идут учения, разворачиваются военные конфликты; бдительные, но доброжелательные часовые охраняют заводы, шахты, дворцы, дороги. Так, в той же «Голубой чашке», где упоминается друг Маруси — летчик, отец и дочь во время прогулки внезапно замечают, что среди мирного поля «в густых ветвях одинокого дерева притаился красноармеец. Винтовка висела возле него на суку. В одной руке он держал телефонную трубку и, не шевелясь, глядел в блестящий черный бинокль куда-то на край пустынного поля» (Гайдар 1986, 2, 12). Милитарная перенасыщенность советского мира интерпретируется А. Гайдаром однозначно положительно. Совсем малыши Чук и Гек, впервые появляясь перед читателями, когда у них «был бой» («Короче говоря, они просто выли и дрались», Гайдар 1986, 2, 122), на протяжении всего рассказа с вполне мирным сюжетом — поездкой вместе с матерью к отцу на Север — то делают пику, чтобы «ткнуть этой пикой в сердце медведя» (Гайдар 1986, 2, 124); то замечают «в поле завод. Интересно, что на этом заводе делают? Вот будка, и укутанный в тулуп стоит часовой. Часовой в тулупе огромный, широкий, и винтовка его кажется тоненькой, как соломинка» (Гайдар 1986, 2, 129); то, увидев «могучий железный бронепоезд», решают, что в кожанке рядом с ним — «командир, который стоит и ожидает, не придет ли приказ от Ворошилова открыть против кого-нибудь бой» (Гайдар 1986, 2, 129). У них даже на конфетных обертках «нарисованы танк, самолет или красноармеец» (Гайдар 1986, 2, 124—125).

Подобный образ военизированного государства последовательно выстраивается во всех книгах 1930-х годов. М. Чудакова пишет о «Тимуре и его команде»:

Перед нами — незримая вертикаль, на которой зиждется монархическое устройство. Средний пласт власти не в состоянии самостоятельно следовать справедливости — правильно рассудит дело только тот, кто находится в соответствующем чине, причем военном. В повести нет и следов партийной власти... все верхнее ассоциируется с военным, все государственное — с назревающей войной, с непреложностью участия в ней, защиты отечества... Это военная империя в ее расцвете. Провозвещается *возможность* идилии в ее рамках... возможность обретения *покоя*¹.

¹ Чудакова М. Дочь капитана и капитанская дочка // Русский журнал. 22 января 2004.

В контексте подготовки ребенка к неотвратимым военным испытаниям подобное структурирование социального пространства необходимо, чтобы создать у читателя ощущение его личной защищенности и одновременно ответственности: взрослые контролируют будущее и настоящее, заботятся о молодом поколении; государство посылает солдат защищать своих детей, и они должны готовиться к будущей защите «огромной счастливой земли, которая зовется Советской страной» (Гайдар 1986, 2, 148)¹. Герои А. Гайдара хотят участвовать в войне. Война для них — возможность реализовать себя. Поэтому девочка Нина из «Судьбы барабанщика» на случайном, но романтическом свидании мечтает: «Когда я буду большая... я тоже что-нибудь такое сделаю... Может быть, куда-нибудь полечу. Или, может быть, будет война» (Гайдар 1986, 2, 44).

Загадка государства, обязательная для находящегося только в пределах собственного ограниченного опыта ребенка, получает своеобразное объяснение через мистический образ Военной Тайны — некоего знания, доступного только посвященным, ценностного центра советского мира. Она может являться в виде чертежей, в форме невиданного еще никем колхоза, представлять в лозунге, но глубинная суть ее скрыта и прямо не выражена. Тайна нуждается в тщательной защите ее от врагов, истинная цель армии и состоит в ее защите². Дети приходят в мир, не ведая Военной Тайны, но они — сначала сами о том не подозревая, а потом уже более осознанно — готовятся к ее постижению и хранению, поэтому на протяжении детства и отрочества учатся хранить тайны, будь то тайна выброшенной в окно телеграммы в «Чуке и Геке», тайна

¹ Герои произведений Гайдара заведомо находятся в более выигрышной по сравнению с реальной ситуации, потому что отчетливо осознают, на чьей они стороне. Вася из «Дальних стран» собирается, став взрослым, пойти в Красную армию: «Возьму винтовку и буду сторожить. ...А если не сторожить, то налетит белая банда и завоюет все наши страны» (Гайдар 1964, 2, 72).

² «Вот уже три месяца, как командир бронедивизиона полковник Александр не был дома. Вероятно, он был на фронте» (Гайдар 1986, 2, 185) — в первых фразах «Тимура и его команды» сказано многое. Военные знают нечто, позволяющее им оказываться в нужное время в нужном месте, стоять на бронепоезде среди тайги («Чук и Гек»), сидеть на дереве в чистом поле («Голубая чашка»), входить в дом ничем не выдающегося мальчика и превращать в фотографии оставленные им в ящике не проявленные фотопластинки («Судьба барабанщика»). Армия участвует в никому не известных войнах, вовсе не требуя признания своих заслуг, уверенно повинуюсь загадочным, с точки зрения профанов, задачам, представляя своего рода касту жрецов Военной Тайны.

разбитой голубой чашки, странная с точки зрения взрослых тайная игра Тимура и его команды или же эзотерическая тайна, носителем которой является Мальчиш-Кибальчиш. В итоге среди детей выделяются герои, либо изначально — как Алька или Тимур — владеющие тайной, либо успешно прошедшие через испытание ею. Именно они особенно остро ощущают тревожность времени, и, преодолев посланные трудности, сохранив свою малую тайну до момента обнаружения с ее помощью скрытых знаков Военной Тайны¹, поделившись понятием с обнаруженными в процессе самоосознания товарищами, эти герои в будущем пополнят касту профессиональных военных².

Существование в мире не прекращающейся, то вырывающейся на поверхность, то «неизвестной» войны требует от человека четко обозначенного набора качеств, среди которых одним из важнейших является умение обнаруживать врагов и обезвреживать их. Формирование этого умения является важнейшей частью воспитания гражданина. Дети на Гражданской войне отделяли «своих» от «чужих» по их принадлежности к той или иной воюющей стороне. Война «настоящая» в произведениях 1930-х годов также задает принадлежность «своих» к «красным», а «чужих» — к «белым». Но подобное «политическое» противопоставление утрачивает очевидность и даже в рамках заведомо упрощающей «Сказки о Мальчише-Кибальчише» (1932) осложняется введением образа Мальчиша-Плохиша — тайного «чужого», только в условиях боя оборачивающегося врагом. В повестях и рассказах 1930-х годов А. Гайдар особое внимание уделяет не результату, но процессу различения, неизменно изображая его как сложный, требующий от героев все больших интеллектуальных и эмоциональных затрат, поскольку «чужестъ» может проявляться неожиданно («Дальние страны», 1932; «Военная тайна», 1935), не осознаваться самими ее носителями («Голубая чашка», 1936), сознательно и хитроумно

¹ Подробнее о том, как они это делают, см. в нашей статье: Тревога как главная героиня произведений А. Гайдара // Текст. Поэтика. Стиль. Екатеринбург, 2004.

² Неслучайно фабула всех произведений Гайдара построена так, что герои формируют территорию обороны, постепенно создавая отряды из тех, кто готов сражаться вместе с ними. Одиночки сплываются и постепенно научаются видеть другие такие же отряды, превращаясь в армию, последовательно уничтожая или перевоспитывая противника, будь то уже упоминавшийся Санька, Мишка Квакин или сестра Оля из «Тимура и его команды».

прятаться («Судьба барабанщика», 1939), скрываться в «своих» («Тимур и его команда», 1940), скрываться в себе («Чук и Гек», 1939), наконец, только казаться присутствующей («Командант снежной крепости», 1941). При этом писатель не просто постепенно переводит читателей на все более сложные «уровни» игры «Найди чужака», но через развитие лейтмотивов крепости, тревоги, военной тайны и других меняет параметры изображаемого мира, делая его все менее однозначным, сохраняя тем не менее отчетливую, но уже не столько идеологическую, сколько психологическую границу между «своим» и «чужим»¹. Заданные А. Гайдаром способы определения «своего» и «чужого», судя по популярности произведений писателя, вошли в сознание и практику советских и — в меньшей, видимо, степени — постсоветских подростков, что также является показателем невозможности жесткого соотнесения «своего» только с «красным», а «чужого» — только с белым.

А. Гайдар настойчиво учит детей видеть признаки скрытой войны, осознавать ее постоянство. В то же время свойственная ему «экономность», характерная для многих писателей, выполняющих функции наущения, а не только самовыражения, не позволяет ему обращаться к одним и тем же ситуациям, но требует, как мы показали, например, в случае выявления своих / чужих, постановки все более и более сложных для выполнения задач². В совокупности произведения А. Гайдара 1930–1940-х годов являются своего рода задачками, где собраны упражнения на выполнение правил жизни в военных условиях. Он предлагает читателям прислушиваться к возникающей у них тревоге, относясь к этому чувству

¹ Советская политическая риторика, во многом построенная на идее мира как войны, формировала поляризованный образ действительности с отчетливо обозначенными образами «своих» и «врагов». При этом полагалось, что обучение безошибочно отделять одних от других, в том числе и по идеологическим признакам, должно стать едва ли не основополагающим в процессе социализации советского ребенка. Советская детская журналистика (см. журналы «Дружные ребята», «Мурзилка» и др.) предлагала немногочисленные и ясные способы подобного различения, следование которым обещало заведомый успех, но именно неспособность быстро и безошибочно проводить операцию отличия своих от чужих доставляла немало страданий героям гайдаровских книг.

² Сохранившиеся неоконченные произведения, возможно, потому и остаются незавершенными, что в них возникают на уровне конфликта все те же ситуации выявления своих / чужих, и Гайдар убирает эти повторяющиеся тексты, считая тему исчерпанной.

осознанно и серьезно; сигнализировать об опасности сверстникам и стоящим на их защите взрослым (родителям, вожатым, военным); в случае понимания собственной беспомощности обязательно просить у них о подмоге¹.

Война с ее неизбежными опасностями и смертями предполагает также умение особым образом переживать и выражать свои чувства. В гайдаровских книгах апологетизируется сдержанность эмоций. Многим подросткам-читателям навсегда запоминается недопроявленность чувств героев писателя. Очевиден взаимный интерес друг к другу Сергея и Натки в «Военной тайне», но они так и не скажут о своих чувствах ни слова: «Что-то хотелось обоим напоследок вспомнить и сказать, но каждый из них чувствовал, что начинать лучше и не надо» (Гайдар 1964, 2, 271). Взаимная симпатия Тимура и Жени Александровой, Тимура и Жени Максимовой, Саши Максимова и Жени Александровой, Георгия Гараева и Ольги, матери и отца Светланы не проговаривается, оставаясь в самом ярком своем выражении на уровне товарищеских поступков, взаимопомощи, ибо государственный мир — это мир товарищества, равенства перед лицом опасности, смягчаемого четко обозначенным распределением функций².

Встреча со смертью, как и с любовью, также встраивается в более общий государственный контекст, что помогает своеобразному отчуждению от нее, эмоциональному вербальному выражению своего отношения к смерти для более легкого переживания утраты. В той же «Военной тайне» очередной тайный враг убивает Альку, дети «что-то там над могилой говорили, кого-то с ненавистью проклинали, в чем-то крепко клялись» (Гайдар 1964, 2, 260), но уже к вечеру «исподволь, разбивая тишину, где-то рокотали барабаны», «дружно и нестройно, как всегда, запевали свою пес-

¹ Мы можем только предполагать, каков был уровень знакомства А. Гайдара с психиатрией, но идея осознания тревоги как формы ее приручения, очевидно прослеживаемая в текстах писателя, соотносится с таким положением: «Я стремится избежать автоматического страха, характерного для травматической ситуации, в которой Я оказывается беспомощным. Такое понимание исходит из соотнесения внешней и внутренней опасности: Я подвергается натиску возбуждений и влечений не только изнутри, но и снаружи» (*Лапланис Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу. М., 1996*).

² Открытую любовную эмоцию позволяет себе лишь отрицательный комический персонаж из «Судьбы барабанщика»: влюбленная в Дядю сумасшедшая старуха.

ню октябрята», «перекликались голоса над берегом, аукали в парке и визжали под искристыми холодными душами» (Гайдар 1964, 2, 263). Горе переплавляется для детей в необходимый жизненный опыт, для взрослых — в готовность работать и беречь детей, «чтобы они учились еще лучше, чтобы они любили свою страну еще больше» (Гайдар 1964, 2, 269). Любовь, страдание, ревность, страх у гайдаровских героев всегда под спудом, но взросление как раз и состоит в их осознании. Редкие проявления чувств запоминаются именно опосредованностью их выражения действием: укрыть одеялом, отдать салют, спеть песню, привинтить военный орден. В художественном мире А. Гайдара это норма: неосознанное осознается и претворяется в созидательное, единственное чувство, которое выражается прямо и патетически, — чувство гордости родной страной.

Настойчивость и последовательность, с которой А. Гайдар преследует свою цель, могла бы показаться едва ли не параноидальной¹, если бы он, во-первых, не настаивал на сознательном освоении и усвоении подобного рода десемантизации повседневности, а во-вторых, не демонстрировал бы неизменную потенциальную успешность подобного типа поведения в условиях реально существующей войны. А реальность продолжающейся войны для него несомненна, свое видение мира Гайдар представляет как единственно возможное, не нуждающееся в верификации. Различные детали созданной им картины мира могут быть прочитаны как знаки постоянной скрытой войны: любая дружба оборачивается военным союзом, лес или горы становятся полем военных действий, причиной бытовых неполадок оказываются диверсии, детских дразнилок — идеологические выпады. Родители — всегда воспитатели солдата. Любящие всегда сдержанны и готовы к расставанию: мужчины — к отправке на фронт, женщины — к ожиданию. Тотальная оборона, которую держат мир и каждый человек как часть воюющей армии, делает недостижимым покой, но именно такая беспокойная жизнь и представляется единственно достойной человека.

¹См., например, следующее определение: «Паранойальное сознание... предельно заостряет, карикатуризирует семиотичность мира здоровых людей. По нашему мнению, специфическая гротескная семиотичность является главной отличительной чертой паранойи» (Руднев В. Характеры и расстройства личности. Патография и метапсихология. М., 2002. С. 175).

Быть военным в мире тотальной войны значит, в пределах гайдаровской концепции, находиться в гуще жизни. Реальное неучастие в деятельности армии компенсировалось для А. Гайдара и ношением военной формы, и — главное — писательством, которое он рассматривал как специфическое военное задание. Ведь самого себя Гайдар представлял солдатом — воспитателем солдат: «Пусть потом какие-нибудь люди подумают, что вот, мол, жили такие люди, которые из хитрости назывались детскими писателями. На самом же деле они готовили краснозвездную крепкую гвардию»¹. Соответствующая подготовка детей должна была сделать для них менее травматичным вхождение в ситуацию войны: приучить их к постоянству войны, имеющей в Советской стране специфический характер; научить видеть ее знаки, а также интерпретировать их соответствующим образом; отличать своих от чужих; освоить алгоритмы поведения в военных условиях. Писатель очевидно хотел дать подросткам то знание, которого был в их возрасте лишен сам, отчего перенесенные им уроки оказались столь тяжелыми².

Его страстная «жажда *ясности*»³, которая воплощается во внутренне непротиворечивый художественный мир, обусловлена трагическим опытом прошлого и осознанием себя как единственного авторитетного взрослого, который учит детей. Взрослость,

¹ Гайдар А. Воспитание мужества // Детская литература. 1941. № 2. С. 40.

² Эта установка писателя позволяет его читателям делать такие характерные умозаключения: «Все подмена, все зыбко... И ты все время промахиваешься — в выборе друзей и в боязни врагов, ты мечешься по дому, по городу, несешь тебя по стране. Зло заводится в тебе как бы само по себе, шпион появляется в квартире так — от сырости. Будто следуя старинному рецепту, разбросать деньги и открыть двери. И на третий, третий обязательно день — вот он шпион, готов. Тут как тут... Разрывая круг отчаянья, мальчик берется за оружие. Он нарушает тишину. И, выстрелив три раза, наконец попадает. Настоящий гражданин начинается только в тот момент, когда он убьет врага. А юные граждане у Гайдара часто убивают взрослых» (*Березин В.* Пятая жизнь писателя // Книжное обозрение. 2 февраля 2005); «Писатель ведь — антипод своих книг... Так и Гайдар — очень добрый детский писатель. По-настоящему добрый. Не дешевая сентиментальность и ложная романтика, как в худшей советской книге “Алые паруса”, не псевдодоброта, как у многих советских писателей, а серьезная и ответственная доброта взрослого человека. Бремя взрослого человека» (*Лесин Е.* Партизан, или Есть упоение в бою // НГ exlibris. 27 января 2005).

³ Немзер А. По военной дороге. К столетию Аркадия Гайдара // Online. Время новостей. 22 января 2004.

утвержденная войной, причащением к страшному, экзистенциальному, — это, конечно, особая взрослость, изначально отягощенная «балластом» знания, вины, памяти и тем самым обрекающая на одиночество. Страдания, смерть, война составляют тайное знание повествователя, являясь одновременно его душевной тяжестью и душевным достоянием, порчей и в то же время оберегом от других страхов. Остальные взрослые в его мире либо ограничены (Георгий Гараев, Ольга, Нина), либо сдержанны или молчаливы (родители, не желающие посвящать детей в свою жизнь, военные), либо преступны и лживы («бандиты» всех мастей, включая Дядю и старика Якова). Матерей в мире А. Гайдара, как мы уже отмечали, немного, а мужественные отцы либо воюют, охраняя покой всех детей страны, либо не могут выполнить свои отцовские обязанности — защищать и учить — по каким-то иным причинам: отец в экспедиции («Чук и Гек»), в заключении («Судьба барабанщика»), убит врагами («Маруся»). Дети переданы на руки дядям, сестрам, пионервожатым, нянькам и почти посторонним людям, которые заботятся о них как могут, но не в состоянии преподать им главные жизненные уроки. Эту функцию отсутствующего отца Гайдар принимает на себя. Отец должен заложить мироотношение, в частности, объяснив неизбежность войны в мире, научить ребенка тому, чему его, отца, в свое время никто не научил, — правилам поведения на войне. Одна из обязанностей отца — защищать ребенка, в том числе и от него самого¹.

А. Гайдар извлекает предлагаемые детям правила из своего драматического опыта. Он настаивает на необходимости совершения ошибок, неслучайно даже идеальный Тимур, проявляющий безупречную — в рамках условий гайдаровского мира — мудрость, начинает совершать ошибки в последней книге о нем («Судьба Тимура», 1941). Совершение ошибок входит в гайдаровское понимание нормы взросления и развития², обязателен анализ сделанных героем ошибок, проинтерпретированных как неосознание, который проведён взрослым — от Чубука в «Школе» до полковника Максимо-

¹ Идея защиты человека как от государства, так и от самого себя в этот период не была присуща одному только А. Гайдару. Сходную проблематику развивали самые разные авторы — от М. Зощенко до М. Булгакова, от Д. Хармса до А. Толстого.

² Характерна сделанная им дарственная надпись на книге «Судьба барабанщика»: «Люби барабанщика, который сам падал и сам поднимался».

ва в «Коменданте снежной крепости». Наконец, мир не разрушается от сделанных подростком ошибок, он обладает способностью к восстановлению с помощью «специальных» взрослых. Тем самым нейтрализуется сверхценность совершенных ребенком ошибок, переживание собственной вины как постоянного экзистенциального состояния перестает быть важнейшей составляющей отношения растущего человека к реальности.

Проблема социализации человека в новых для него условиях жизни, как мы уже отмечали, не является уникальной в литературе конца 1930-х годов. Но в интерпретации этой проблематики А. Гайдаром есть одна существенная особенность: тревога, неизбежно возникающая от столкновения с новым миром, у него соединяется с тревогой, связанной с освоением растущим человеком мира. При этом формирование подростка изображается как неизбежное продуцирование и внутреннее ожидание все новых и новых ошибок, количество которых не сокращается в пространстве произведения. Эта готовность к ошибкам, бою, вызванному, в том числе, и ими, превращается в своеобразную форму борьбы с внутренними грехами в условиях отмененного церковного покаяния. Борьбы, которая заведомо облегчается как возможностью открытого столкновения, так и существованием опытного понимающего «взрослого», носителя Военной (= государственной) тайны, который объясняет неправильные мысли и поступки, тем самым лишая их индивидуальной греховности и делая частью «общего дела». Состояние войны оказывается своеобразной внешней «формой» для личности растерянной, лишенной как выработанных правил отношения к реальности, так и механизмов защиты от причиняемых ею травм. Опора на правила существования в условиях войны оказывается в известной степени спасительной, так как позволяет наращивать количество соответствующих поведенческих матриц, позволяющее на определенном этапе начать реагировать, чувствовать, действовать адекватно реальности.

Но А. Гайдар не столько следует неким общим правилам социалистического государства, сколько вырабатывает свои. Они обусловлены не революционным культурным переломом, но опытом «преждевременной» войны. Гражданская война, очевидно, оказалась для Гайдара потрясением, вызвавшим переживания, на которые подросток оказался не способным адекватно реагировать. С одной стороны, это привело к устойчивым патологическим переменам в его душевной жизни. Медикаментозные попытки ком-

пенсировать возбуждение, превышающее психическую выносливость, были дополнены самостоятельным стремлением справиться с этими возбуждениями, «окультурить» их. Писатель творческой работой «глушит» тревогу, стремясь мобилизовать все силы, чтобы осмыслить связи между неврозом и пережитыми в прошлом травмами, восстановить условия, при которых возможна «нормальная» жизнь. Опыт, проникая в текст в виде тем и мотивов (привычка к смерти, начало привычки к убийству и т.п.) — то есть сознательно, — во многом исключает полное отреагирование (государственное признание легитимности Гражданской войны, оправдание своего поведения позитивными социальными последствиями, внутреннее противоречие между воспитанным признанием абсолютной ценности жизни и военной практикой). Тут-то А. Гайдар и находит мыслительный ход: включение подростка в особый тип коллективности — военного товарищества немногословных и сдержанных людей. Чувство причастности к защите Отечества оказывается важнейшей человеческой ценностью военного времени, «перекрывающей» индивидуальные грехи.

Полученный писателем в юности травматический невроз проявляется, в частности, в повторяющихся попытках связать и отреагировать травму, в фиксации на травме. Опыт победы в Гражданской войне страны, как и опыт личного поражения — отстранения от пира победителей, превращается для А. Гайдара в тяжелый груз бесконечного перебирания ошибок и поиска путей примирения своего личного пути и пути государства, защита которого и стала источником травмы. Проговаривание себя — а художественное творчество ничем иным не является — помогает ему перевести свою тревогу в художественный текст, избыть вину стремлением научить подростка приемам обращения с неизбежной в его жизни войной. Он постоянно возвращается в прошлое, во времена своих первых ошибок.

...это... чувство скованного хода времени нередко являлось основой для творческой отрешенности и плодотворного эгоцентризма — ураган истории оборачивался застылостью человека, обретающего убежище в языковой и семантической реальности, — в отточенной стилистике и выверенной рефлексии¹.

¹ Дети эмиграции. С. 15.

«Выверенная рефлексия», обретенная на излете детства, стала, по-видимому, мощным творческим импульсом взрослого существования, произошла трансформация фрустрированного детского сознания в сознание творческое.

Писатель А. Гайдар становится врачом для А.П. Голикова, а травматический опыт А.П. Голикова оказывается залогом успешности писателя А. Гайдара, подарившего своим читателям «звезду, свисток и пистонный револьвер» — радость причастности, чувство опасности и странное, но действенное оружие на случай любой войны.

Елена Рождественская

Словами и телом:

травма, нарратив, биография

Не правда ли, рассказывая или выдумывая некую историю, мы ориентируемся «на другого»? Умножая при этом, как подчеркивал Макс Вебер¹, первичные структуры социальной деятельности. Встречный процесс — выслушивание историй, которые нам рассказывают, — с очевидностью включен в эту общую диалектику порождения нарративных форм и сценариев, в которые облачается не только сама история жизни, но и пережитый опыт. Я имею в виду предструктурирование жизненного опыта с оглядкой на предвкушаемую форму рассказа о нем, форму, в которой легитимируются определенные события. Коллективно переживаемый опыт нуждается в коллективном нарративе, индивидуальный опыт найдет отражение в биографии, кажущейся уникальной форме, но таящей в себе типизированные формы повествования. Диалектичен и сам процесс мимезиса, повествовательного вспоминания, строящегося на противоположных категориях — времени и финальности, рассказываемой истории и ее смысла. Как пишет французский философ и феминистка Юлия Кристева, «смысл питается временем, приводя его к молчанию. ...Когда же происходит прилив темпоральности, смысл выходит из моды». Смысл возникает затем, чтобы обозначить замкнутый характер нарративной системы, т.е. ее связность и завершенность².

На основе интервью с людьми, коллективно пережившими травматические события (Шоа, концлагерь, репрессии), давно подмечено, что жертвам насилия — в отличие от тех, кто осуществлял насилие, — завершенный, непрерывный рассказ, а также тематизация событий, связанных с преследованиями в их жизни, даются труд-

¹ Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. Koeln: Mohr, 1964.

² Кристева Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики. М.: РОССПЭН, 2004. С. 95, 108–109.

нее; они едва ли могут об этом говорить¹. «Авторы насилия» выпускают из рассказа самые драматичные страницы, скорее покрывая и скрывая произошедшее (во фрейдовском смысле *die Deckgeschichte*) в своих рассказах, представляя себя тоже в виде жертв этого времени. Жертвы насилия вынуждены если не избегать рассказа совсем, то переводить в слова самое страшное: большинство прибегает к умолчанию с амбивалентным желанием все же рассказать, поделиться. Они мало используют стратегии дистанцирования от ужаса пережитого. Сложности рассказывания после долгих лет молчания порождают в рассказе лакуны, обусловленные пережитой травматизацией. Эта частичная немота жертв следует из отклоняющей (дивергентной) социальной функции тематизации соответствующей исторической эпохи: если у нацистов истории о прошлом парадоксальным образом служат цели сокрытия преступлений путем рассказывания об этом времени, стилизации себя под жертву нацизма, то жертвы, напротив, хотя и своими рассказами противостоять забыванию преступлений нацистов или возрождению тезиса об Освенциме как мифе. И тогда они пытаются рассказать о травматичном и поэтому сложно, трудно излагаемом событии, оставить свидетельство их личного опыта. В этом случае возникает проблема с проговариванием как раз того, что наиболее болезненно, того, что приносит новые мучения в процессе рассказа. Сложная задача рассказа сопряжена с тем, что нет еще целостного образа — гештальта² — того, что было пережито, но еще никогда не было рассказано.

Если же рассказы не рассказываются, то возникает опасность того, что травмированные останутся пленниками пережитого, как бы арестованными пережитым, не способными от него дистанцироваться. И тогда едва ли возможно переживать прошедшее как отличающееся от настоящего: «Акт воспроизведения ставит прошлое в рассказе в современную дистанцию к современности, производя темпоральный разрыв»³. Рассказ представляет форму превращения чужого в близкое, в котором, благодаря повествователь-

¹ *Rosenthal G.* Erlebte und erzählte Geschichte. Gestalt und Struktur biographischer Selbstbeschreibungen. Frankfurt/Main: Campus Verlag, 1995.

² Гештальт (от нем. *Gestalt* — образ, форма) — целостная структура, упорядочивающая многообразие отдельных явлений. Среди законов гештальта были выделены тяготение частей к образованию симметричного целого, группировка этих частей в направлении максимальной простоты, близости, равновесия, а также тенденция каждого психического феномена принять завершенную форму.

³ *Roettgers K.* Die Erzahlbarkeit des Lebens // BIOS. 1988. № 1 (1). S. 5—12.

ной деятельности, незнакомое становится знакомым и понятным самому рассказчику и его слушателю¹. От травматичных событий в прошлом невозможность рассказать ведет к вторичной травматизации, происходящей после времени страдания. Если опыты не удастся перевести в рассказы, возникшие в пережитых ситуациях, эффект травматизации усиливается.

Следствием травматичного жизненного опыта становится фрагментация рассказов. Физическое и психическое разрушение среды и самих рассказчиков отражается в нарушенном чувстве целостности и непрерывности. Пережитая жизненная история фрагментирует, разрывает сознание этих людей и взаимосвязь между различными фазами жизни. Целые этапы жизни тонут в непроговоренности. Форма рассказа минует вообще. Изобретается «спасительная» структура изображения: сначала рассказывается история жизни до преследования, до травматичного времени, а затем — сразу же — следует переход к моменту освобождения. Умолчание может касаться и времени «перед» травмой, «во время» травмы либо «после» нее.

Трудности рассказа о детстве и ситуации *до* травмы обусловлены сложностью их интеграции в биографию, поскольку весь предыдущий жизненный путь изломан. Картина жизни *до* преследования больше не интегрируется в картину жизни *после* преследования. Линии, которые могли бы связать воедино жизнь до и после травмы, — отсутствуют. Другая причина невозможности целостного рассказа о жизни — идеализация дотравматического времени и населяющих его персонажей, а также искажение всех связанных с ними чувств, поступков, мыслей². Идеализация счастливого времени или нежных, любящих родителей, братьев-сестер может вести к тому, что пережившие травму могут избегать рассказов, которые способны разрушить эти идеализации. Важно, с точки зрения интерпретации, и то, что те, кто рассказывают о времени перед травмой, повествовательно выстраивают именно те биографические нити, которые могут быть подхвачены вновь и в рассказе о посттравматическом периоде. Еще одно общее следствие заключается в том, что распространенная биографическая самопрезентация в данном случае в основном укладывается в тематическое ложе

¹ Schuetze F. Zur linguistischen und soziologischen Analyse von Erzählungen // Internationales Jahrbuch fuer Wissens- und Religionssoziologie. Bd. 10. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1976. S. 7–41.

² Rosenthal G. Erlebte und erzählte Geschichte. S. 75.

«преследования». Рассказчики-жертвы могут воспринимать свою биографию, например, только в контексте, ограниченном референтными рамками Шоа, утрачивая при этом как другие биографические линии своей жизненной истории, так и те взгляды на свой жизненный опыт, которые не вписываются в эти рамки.

Но что происходит с рассказом о пережитой травме вне дискурса о коллективной травме? Как справляется человек с пережитым травматичным опытом, если происхождение этого опыта — повседневно, хотя и за гранью социальной нормы? Ведь в структуре коллективного опыта индивид, его разделяющий, не испытывает затруднений с пониманием того, какое событие является носителем изменения¹. Коллективный дискурс берет эту задачу на себя. Вне его рассказчик пытается самостоятельно, в меру освоенных норм нарративизации балансировать между описанием и собственно рассказом, между линейной темпоральностью и приданием смысла. В связи с этим Р. Козеллек, видный эксперт в области изучения социальной истории, утверждает, что описательность выводит на структуры как явления большей длительности, освещающие и проясняющие причины события; рассказ же содержит событие как важный момент изменения². Справедливо и обратное: определенные события могут рассматриваться рассказчиком как подготавливающие явления большой длительности. Нарратив выполняет функцию объединения, интеграции структур и событий, интеграции длящегося (диахронного) и происходящего (синхронного).

Как ломается нарративная форма, какие препятствия выстраивает рассказ на пути репрезентации прошлого, для которого нет дискурсивных решений, но травматичное содержание которого делает повествование незавершенным, отводя событийность на задний план? В приводимом нами случае трансформацию переживает и язык истории жизни. Единицей происходящего становится не событие, а переживание, нарративная структура рассказа уступает место описанию переживаний, которые ломают линейность

¹ Событие как ядро повествовательного текста Ю. Лотманом понимается как «перемещение персонажа через границу семантического поля» (*Лотман Ю. Структура художественного текста. М., 1970. С. 282*). У В. Шмида критериями событийности являются значимость изменения, его непредсказуемость, его влияние на мышление и действия субъекта, его необратимость и неповторяемость (*Шмид В. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2003. С. 16–18*).

² *Koselleck R. Darstellung, Ereignis und Struktur // Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1979. S. 133–144.*

рассказа, переносят фокус вовнутрь. В анализе биографии, который следует за транскрибированным текстом биографического интервью, построенного по принципам глубинного нарративного интервьюирования¹, мы попытаемся найти параллели между опытом пережитого и телесными объективациями, чтобы приблизиться к объяснению глубоко функционального для нашей рассказчицы обращения к импровизационному танцу (данс-модерн) как своего рода арт-терапии, интуитивно найденного способа компенсации травматичного опыта (страх смерти, смертельная болезнь).

История жизни, положенная в основу данной статьи, дает возможность взглянуть на биографию с точки зрения индивидуально пережитой и перерабатываемой травмы. Речь идет как о психической травме (очевидность смерти, ее угроза, потеря близких вследствие насилия), так и физической (в данном случае — онкологическом заболевании)². На наш взгляд, подобная проблематика требует особого нарративного подхода, учитывающего телесность. Тело как тема участвует в биографической конструкции постольку, поскольку историю жизни рассказывают живые индивиды — «носители» биографий. Таким образом, биографизирование как биографическая работа³ представляет собой такой процесс конструирования жизненного опыта, который привязан своей темпоральной структурой к телесному существованию конкретного индивида и анализируется на различных уровнях. Эти уровни не параллельны друг другу и причинно не связаны, речь, скорее, идет о структурной связи; т.е. уровни анализа обладают относительной автономией. Телесное измерение, с одной стороны, подчиняется биологическим законам тела и правилам социального сообщества,

¹ Транскрипт разбит на смысловые секвенции под названиями, которые принадлежат автору статьи, но их последовательность отвечает логике рассказчицы. Между секвенциями нет пропущенного текста. Интервью проведено автором статьи.

² Мы придерживаемся позиции, при которой телесность — осваиваемая в процессе социализации, либо объективируемая в ситуации болезни — становится означающим, приобретает личностный смысл. Мы все обладаем гендерно оформленным образом собственного тела, как и порождаем «концепт болезни», отношение к ней в виде, например, удара судьбы, страха, наказания, порчи и других мотивов. Исходя из этого, феномен болезни можно рассматривать не только как физиологическое дефицитное явление, но и как момент социализации, овладения собственной телесностью в системе определенной семантики.

³ См. подробнее об этом: *Biographie und Leib* / P. Alheit, B. Dausien, W. Fischer-Rosenthal, A. Hanses, A. Keil (Hgs.). Giessen: Psychosozial Verlag. 1999.

а с другой стороны, оно встроено в биографический процесс. Полоролевые конструкции участвуют в этом процессе на всех уровнях, т.е. пол и тело — не разграниченные темы или сферы биографии, и методологически любой биографический материал может анализироваться с точки зрения пола и телесности.

Каким образом можно исследовать тело или телесность с помощью интервью, продуктом которого является текст? Можно ли уловить этим инструментом качественно-эмпирического анализа что-то, кроме редкого упоминания о теле? Нарративна ли, рассказываема ли жизнь тела? Не выпадает ли эта тема в «осадок невербализируемого» и дорефлексивного? Первый корпус информации, предоставляемой средствами интервью, — это *речь о теле*. Большую часть проговариваемого в интервью составляет когнитивно контролируемое, отрефлексированное рассказчиком / рассказчицей отражение предметного содержания опыта. Но мы проговариваем больше, чем осознаем или полагаем. В большей степени в этом «повинна» форма коммуникации рассказа, которая способствует ослаблению рефлексивных стратегий контроля в пользу погружения в поток автобиографического воспоминания и повторного переживания, что подключает эмоциональное и телесное воспоминание и представление. Тем самым становится доступным интерпретации имплицитное знание, или, словами немецкого социолога П. Алхайта¹, «биографический багаж».

Предложенная Ф. Шютце, известным немецким нарративистом, концепция «когнитивных фигур автобиографического спонтанного / импровизированного рассказывания» также основывается на расширенном (за счет эмоциональных и сенсомоторных измерений) понятии когнитивного, благодаря ориентации этого понятия на категории социального действия и переживания². В русле подхода Ф. Шютце, в нарративном интервью речь о теле идет в различных форматах коммуникации, далеко не ограничиваясь рамками интенционально управляемых интересов изображения (событий) и их толкований со стороны рассказчика. В процессе рассказа за «ядром» истории или событийной фигурой, занимающей

¹ Alheit P. Reading Body Stories. Zur «leibhaftigen» Konstruktion der Biographie // Biographie und Leib. S. 223–246.

² Schuetze F. Kognitive Figuren des autobiographischen Stehgreiferzaehlens // Biographie und soziale Wirklichkeit. Neue Beitrage und Forschungsperspektiven / M. Kohli, G. Robert (Hgs.). Stuttgart, 1984. S. 78–117.

ми центр внимания рассказчика и, соответственно, слушателя, косвенно всегда присутствуют какой-то фон, пространство, которые содержат указания на рамки или сцену действия, на телесно-пространственное оформление и телесно-аффективные компоненты поступков участвующих субъектов. Эти указания не являются бессознательными, так как в любой момент они могут быть вынесены на авансцену в качестве самостоятельной когнитивной фигуры. Однако, оставаясь в «тени» и лишь условно подвергаясь рефлексивному управлению со стороны рассказчика / рассказчицы, знаки телесности и эмоциональности сообщают больше, чем рассказчик / рассказчица способны удержать в фокусе своего непосредственного внимания. В таком особом роде нарративного вовлечения прошлого в настоящее (его осовременивание) лежит методический ключ к реконструкции эмоциональных и телесных аспектов биографического действия и переживания.

Другой корпус информации, сформированный благодаря нарративному интервью, касается речи *«с телом и через тело»*. Банально, но язык зависит от тела. В процессе интервью сказанное обрачивается не только материальным продуктом — текстом или транскрипцией диктофонной записи, — но и содержит элементы социального действия (речь со всеми ее паралингвистическими, невербальными и социокоммуникативными аспектами). Говорящее тело или телесный язык отражают в ситуации интервью и определенные социоструктурные аспекты, встроенные в порядок (иногда и иерархию) интеракции в качестве сопутствующего до-рефлексивного элемента, как, например, правила биполярной конструкции полов, хабитус или вкус. Что касается «следов» телесности в нарративном тексте, их заметность зависит от выбранного формата коммуникации, причем в сценическом рассказе тело еще «живее», чем в описании (например, особенностей тела) или теоретической аргументации (например, значимость идеала стройности для собственной биографии).

Как предполагает бременская исследовательница биографического и гендерного дискурса Б. Дозьен, большая приближенность биографического рассказа к событиям содержит не больше «правды», чем другие формы нарратива. Скорее здесь имеет место другая форма коммуникации — биографическая¹. В ней ощутимо за-

¹ Dausien B. Geschlechtskonstruktionen und Koerpergeschichten. Ueberlegungen zur Rekonstruktion leiblicher Aspekte des «doing gender» in biographischen Erzählungen // Biographie und Leib. S. 185.

действовало тело, интерес к которому проявлен постольку, поскольку благодаря телесным репрезентациям мы получаем дополнительный шанс для реконструкции ретроспективной смысловой системы, для использования телесных элементов пережитого в биографическом рассказе. В эту реконструкцию входят как интенциональные интересы изображения событий, так и усвоенные и больше не рефлекслируемые способы отображения (хабитус) рассказчика. Исходя из этого, стратегия оценки интервью исключительно с точки зрения содержания сказанного (что говорит интервьюируемый о теле и телесных проявлениях) была бы по меньшей мере неполной. Все формы и условия речи в ситуации интервью и совокупный образ истории жизни, который влечет отбор и ограничение биографического материала, должны быть задействованы в анализе настолько, насколько это позволяет транскрипт. В этом случае вопрос «Как рассказывается?» будет в меньшей степени соотносим с телесными аспектами рассказывания в ситуации интервью (жест, мимика, смех, движения тела и т.д.), которые в любом случае рудиментарно содержатся в транскрипте. В большей степени этот вопрос будет адресован тому, как происходит *тематизация* телесных аспектов в контексте процессуальной структуры интервью. Например, то, как эти аспекты стыдливо ограничиваются, стилизованно выдвигаются на авансцену или формулируются по правилам профессионального, допустим медицинского, дискурса и т.д. Если мы исходим из того, что телесный компонент всегда сопровождает социальное действие в ретроспективном изображении рассказа и истории жизни, то есть что тело всегда соучаствует в рассказе, то это соучастие должно принципиально обнаруживаться и в нарративном интервью, которое эксплицитно не связано с темой тела.

Биография и нарратив

Рассказчице — назовем ее Линой — 31 год, отца она почти не помнит, упоминает о нем лишь то, что «он любил танцы и играть в футбол». Мать, агроном по профессии, выходит замуж еще трижды. Дедушка пил; случайно сбив человека, отсидел в тюрьме. Бабушка — воплощение уюта, у нее девочка часто оставалась ночевать. Лина в детстве пережила драму двойного убийства, когда

третий мамин муж, тоже отсидевший в тюрьме, застрелил бабушку и второго мамингого мужа. Чуть не погибли две ее подружки, одну накрыло на сеновале (чуть не задохнулась), другая была спасена, когда тонула в реке. Детство прошло в сельской местности Краснодарского края. По профессии Лина — медсестра, но оставила это занятие, работала моделью, дизайнером, администратором, наконец, танцовщицей в стиле данс-модерн. Дважды была замужем, воспитывает ребенка от первого мужа. Больна раком.

Нарратив Лины

Детство

...Отчим пришел совсем пьяный, из ружья их двоих — бабушку и второго мамингого мужа — застрелил. А до этого меня поразило, что он все время выходил, я видела, и стрелял из ружья во всяких ворон на огороде, и не нравилось мне все это.

И я его боялась, потому что он однажды повел меня в подвал, видимо, он хотел... э... как-то, чтобы я... ну не знаю, там было много воды. И он мне стал показывать там всякие вещи, которые он сам делал своими руками, ручки такие разноцветные, пластмассовые, потом какие-то ножи, с такими разноцветными...

Я помню, что мне было ужасно страшно, даже помню все цвета, которые там были, вот это было такое сильное переживание у меня в детстве.

Потом его посадили в тюрьму.

Мама получила другую квартиру, и мы какое-то время там жили, потом, как она говорит, стали приходить какие-то люди, какие-то посланцы из тюрьмы. В общем, она вышла еще раз замуж, и мы вообще уехали из этого города. Вот, и жили в другом месте лет пять, вот так.

Школа

Как-то получилось, что я постоянно в разных училась школах, мы куда-то перемещались... (кх). И я помню, еще в четвертом классе было одно событие, которое меня... Происходили какие-то странные вещи, фантастические происходили со мной. Например, один раз убиралась я, подметала и увидела, как качается цветок у нас в комнате, и он на моих глазах просто упал и разбился, при-

чем мне не было страшно, я это все воспринимала как какое-то естественное явление...

И была еще такая странность: с одной девочкой мы писали какие-то записки, потом мы их накрывали, шептали, чтоб они к какому-то мальчику попали. Они пропадали, эти записки. В общем, у нас в классе тоже стали у всех — то есть на перемене, когда всех выгоняли из класса, — стали появляться целые кучи каких-то пошлых записок.

И вот потом это всем надоело, и учительница по русскому языку сказала, что я проведу расследование. И она взяла эти записки и стала проверять почерки всех. И потом она вышла и сказала перед всем классом, что она знает наконец-то, кто писал эти записки, и сказала, что их пишу я...

И я помню, что я была в таком шоке, плакала и кричала, что это не я, и маму просила, чтобы она меня в другую школу перевела, а учительница сказала, что отдаст все в какую-то лабораторию на исследование, и все подтвердится. Я говорю: отдайте. Я помню, это был очень сильный для меня стресс. Не знаю, что это такое было, но постепенно это прекратилось.

Вот такие у меня детские впечатления... Еще в детстве, я помню, очень нравилось смотреть балет.

Учеба и профессиональный выбор

Когда родители уже переехали жить в Подмоскowie, я закончила восьмой класс и поехала учиться в Москву в медицинское училище. Причем я так думаю, что у меня была проблема выбора, кем мне быть, но я никак не могла ответить себе на этот вопрос, не было у меня определенного какого-то желания. Я даже в какой-то степени завидовала людям, у которых четко с детства есть какое-то пристрастие. У меня такое ощущение было, что мне, в общем, все было интересно. Но учиться я, скорее всего, поехала из-за того, что мне хотелось из дома просто куда-то убежать, потому что меня до восьмого класса и больше не пускали ни в кино, никуда, чтоб в 9 часов спать, и все. А потом, в общем, как ни странно, легко отпустили, и я училась нормально.

Когда я уже стала работать, после того как получила диплом, у меня уже ребенок был, то я поняла... Я попала в отделение гематологии на практику, и мне предложили остаться там работать. Я поняла, что я работать там не могу, и я как раз прошла у Зайцева по конкурсу моделей с моим бывшим мужем — он у меня гре-

бец, академической греблей занимается, и художник. И мы с ним у Зайцева больше двух месяцев пробыли.

Потом, я помню, что я больше занималась ребенком, потом был такой очень напряженный момент, потому что Рома считал, что он должен оставаться тем, кем есть, то есть не было у нас ни денег, ничего, он был свободный художник по жизни.

И... мне просто повезло. Один мой знакомый работал в издательстве, и он мне предложил рекламки оформлять. И я работала еще там как фотомодель.

Потом мне пришла такая идея в голову.. потому что там все время недоразумения были какие-то с моделями, и я предложила сделать агентство моделей. И стала администратором этого агентства. Мы снимали на календари, то есть я работала как помощник фотографа, как администратор агентства, отвечала за реквизит.

Но, в общем, все было интересно, параллельно с этим я еще ходила заниматься дискотанцами, как-то мне нравилось сначала. Потом преподавательница куда-то уехала, и я пыталась все время найти какие-то еще танцы, потому что очень хотелось.

И везде, куда я приходила танцевать, меня все время... не более одного раза это было, потому что все было как на поток какой-то. То есть стоит толпа народу, все делают формально какие-то движения, то есть это все как аэробика какая-то. И я постоянно уходила и куда-то шла еще, и потом так же случилось, что из издательства я ушла, потому что как-то все совпало. Один знакомый актер привел меня в театр современного танца, и, когда я увидела это в первый раз, я поняла: это то, что я искала.

И как раз, значит, был такой момент, мы сразу познакомились все, и ребята уезжали в Одессу на гастроли и предложили мне тоже поехать с ними.

Ну, и у меня был такой выбор: либо мне идти на работу, либо оторваться и поехать в Одессу. И я поехала. С того момента, как я поехала в Одессу, уже мы с мужем расстались, то есть это было такое странное существование, поскольку приходилось как-то подрабатывать и ребенка растить своего. То есть сначала, когда я работала, в общем, у меня было много денег, а потом их как бы вдруг не стало, зато я нашла то, что я искала, вот.

Ходила сначала просто на мастер-классы, там были импровизации, очень мне хотелось попасть в состав группы, такая вот была у меня мечта. Вот, потом я вышла замуж тогда второй раз. Муж у меня второй был дизайнер. И так получилось, что отобрали по-

мешение, и театр рассыпался. А девчонки, которые там занимались, сделали свою группу. И я в это время занималась ребенком, потому что был такой пробел — у меня она осталась на второй год в первом классе, и я поняла, что не могу так скакать все время, мне нужно ей усиленное внимание уделять... Помочь было некому. Поскольку у меня мама живет в Подмоскowie, все время я с ней одна, можно сказать. И вот как-то был момент такой странный у меня с мужем, такой очень тяжелый момент. С одной стороны, я, в общем, сидела дома и... Да, я забыла сказать, у меня... я даже не знаю, как говорить об этом. Но это внутренние какие-то вещи, просто мои реакции в жизни связаны очень с какими-то внешними событиями, то есть у меня был такой момент, когда...

Открытие смерти

Вообще, у меня в жизни, я так наблюдаю, у меня происходит очень часто — я теряю людей. (Кх...) У меня была подруга, которая попала в катастрофу. Как-то это все связано со смертью, я не знаю, моих близких людей, вот.

И был один момент такой у меня в жизни, когда мой знакомый (мы нормально с ним общались) в какой-то момент мне говорит — а мы говорили про Библию, и он мне сказал такую фразу: «Я ВАС УБЬЮ». И я была в таком шоке. Я поняла. Вообще, эта фраза, она как-то меня... то есть я даже не помню, как я вообще дошла до постели. Когда я утром проснулась, я поняла, что у меня как будто остановилась жизнь. То есть у меня появился вопрос: для чего я живу? И вот это слово «смерть». Я как будто впервые его услышала, и самое было для меня ужасное то, что я не могла ответить на этот вопрос.

То есть, сколько я ни пыталась, я не могла понять, для чего я здесь. Вся последующая моя жизнь какое-то время просто напоминала жизнь какого-то растения. Потому что я жила, наверное, за счет того, что постоянно убиралась, то есть делала какие-то бытовые вещи. Я несколько раз в день мыла пол, все убирала, чистила картошку, и только в этом как-то себя ощущала.

Причем, может быть, я из-за этого вышла замуж, то есть мне показалось, что второй раз как-то я из этого выйду. Но у меня появилось такое состояние, какая-то заторможенность, то есть эта активная жизнь, которая у меня была до этого, а я любила всегда носить цветные вещи, — все стало серым и черным. Можно сказать, что мое основное занятие было то, что я сидела и смотрела в окно. Как будто я чего-то ждала.

Сон

Потом у меня был такой сон, переживание, как будто я где-то лечу и вдруг понимаю, что я сейчас должна упасть. Мне кто-то кричит снизу, что я сейчас упаду и разобьюсь. И я как будто впускаю в себя этот страх и чувствую, что он у меня разрастается внутри, а я начинаю в этот момент падать, и кажется, что сейчас я уже разобьюсь, как в этот момент появляется в небе такой как бы юноша. Он был очень красивый, настолько неопишимо красивый, но больше всего меня поразило то, что он сказал как бы такую фразу: «Я с тобой, и ты как бы не умрешь» — то есть он словно неизвестно откуда. И меня это очень сильно поразило; помню, во сне это я переживала, что я ничего не видела подобного в жизни: что кто-то может дать свою жизнь, чтобы другому не было страшно. И я помню, что потом было просто какое-то темное пятно, и я очнулась в каком-то поле, но уже не было этого человека, и я помню, что все изменилось. Я шла и совершенно по-другому смотрела на знакомых мне людей, и я понимала, что ишу этого человека. Весь смысл моей жизни как бы я нашла в нем, в поисках этого качества.

Заболевание раком

И я думаю, что это был поиск этого качества внутри меня, потому что через какое-то время это вылилось в то, что мне поставили диагноз, совершенно нелегкий, то есть мне сказали, что если я сейчас срочно не буду лечиться, то все: мой ребенок останется сиротой. Это, в общем, онкология, опухоль лимфатических узлов. И опять, я помню, после того как мне сказали диагноз, я лежала, наверное, дня два. Я просто вообще ничего не соображала, что вообще происходит.

И когда я пошла уже в больницу, там должны были эти химии все делать, я просто не вынесла. Мне все казалось там таким мрачным, ужасным, каким-то давящим просто. Это дом скорби, я оттуда убежала. Пошла в какую-то церковь. Как раз совпало, что из группы (современного танца) ушла Лена, и мне предложили там быть. Я нашла какой-то способ лечиться от рака, водку с маслом пила три года, и за счет этого я как-то могла заниматься в группе.

Стала выезжать, выступать, и я почувствовала, что это смысл, что все образовывается как бы заново.

И уже через три года мне стало тяжело, я поняла, что таким способом не вылечусь, у меня уже где-то месяц была температура 39, и я решила, что теперь я могу уже идти в больницу.

Когда я пришла, у меня уже была совсем другая стадия. И, во всяком случае, меня удивило то, что я совсем по-другому восприняла это место вместо того дома скорби, который был первый раз... Когда меня положили где-то на месяц, я поняла, что это настолько большой для меня опыт, что я, наверное, ни в одной книге, ни в одном романе такого бы не прочитала, потому что я видела, как люди находятся на грани, поскольку там диагнозы такие, что люди умирают, их там очень много, как они заботятся друг о друге... Меня это очень сильно... то есть мне даже домой не хотелось, я как бы там была как дома. Очень много всего происходило для меня там. В общем-то, до сих пор продолжается это лечение где-то.

Танец, переживание и смысл

Что касается танца, то вот я так понимаю, я так вижу, что если раньше я, может быть, думала, что мне танцевать, то сейчас я просто... Например, у меня происходит какое-то событие, какое-то переживание внутри... Как было, например: один режиссер предложил делать нам кроссворд любви, то есть каждый должен был танцевать свою историю любви, и после этого у меня было такое сильное переживание...

Я видела тогда дуэт Стива Пэкстона с Лилой Нэльсон¹, так у меня было ощущение, как будто что-то попало внутрь. И что-то должно измениться обязательно, потому что я чувствовала это... Ведь я, по сути, воспроизвожу в танце свои переживания, общения, свой опыт, то, что я пережила. Но для меня он ценен тем, что всегда — я поняла, — всегда есть выбор: либо ты при каждом таком ударе падаешь, либо ты как-то поднимаешься над этим.

И, значит, тем летом у меня тоже было такое вот переживание. Когда я была в Коктебеле, я сначала забралась на одну гору. И когда я посмотрела вокруг, все мне показалось таким большим, что я увидела себя, почувствовала себя очень маленькой и ничтожной, и меня это очень сильно задавило. Мир — он такой огромный. Потом прошло несколько дней, и на другую гору мы зашли, там есть такая Святая Гора, и у меня было совершенно противоположное переживание. Я вдруг увидела, что здесь (*показывает на грудь*), внутри как будто что-то вспыхнуло во мне, и я поняла, что открыла какой-то такой источник, такой огромный, огромный мир, что-то такое неизменное, потому что в этот момент я смотрела уже совсем

¹ Английские тансеры, представители направления данс-модерн.

по-другому на все. Я поняла, что все, что я видела до этого: эти огромные горы, море, небо, все такое, казалось бы, неразрушимое, — что это все такое изменчивое, и то, что я открыла в себе, очень незначительно и в этом очень сильно, и поэтому гораздо больше и шире, то есть я чувствовала в себе какую-то силу и мощь.

И я поняла, что я для этого туда и приехала, то есть это как бы передало мне переживание, оно придало мне силы, дало подготовиться к какому-то событию, например к этому разводу второму. Чтобы я, помня этот опыт переживания, смогла не упасть, а подняться. И последнее такое переживание, вот, когда я говорю про историю своей любви, я почувствовала, откуда это может быть. Когда я встречаю человека, у меня такое ощущение, что будто я в нем расту, расту в нем...

И однажды мне пришла такая мысль в голову, что если этого человека не станет, то я потеряю весь смысл того, что я могу делать. Это тоже было такое сильное переживание, и я поняла, что нужно как-то что-то... то есть чтобы был какой-то выход из этого. Потом я сразу увидела этот танец как, например, какую-то темноту, в которой вдруг ты начинаешь слышать стук сердца. И вот в первый момент ты не понимаешь, чей это стук сердца — твой или этого человека, и потом до тебя начинает доходить, что это стук его сердца в твоём одновременно.

Анализ

Рассказ Лины, прежде всего, значимо отличается своей малой нарративностью и малой контекстуальностью. Его рамки размыты. Вряд ли мы узнаем по этому рассказу о том социальном времени и отчасти пространстве, в котором обитает эта женщина. Вектор рассказа меняет свои направления: иногда Лина знакомит нас со своими переживаниями, внутренней жизнью, иногда мы узнаем о предпринятых ею шагах и действиях. Последовательность изложения хотя и сохраняет черты линейного времени, но изобилует явными фигурами умолчания. И эта — на первый взгляд — нарративная некомпетентность Лины сразу порождает несколько вопросов. Видит ли она в рассказе о себе тот инструмент, с помощью которого она / ее опыт может стать понятнее другим людям? Вкладывает ли она какой-то смысл, придает ли она какое-то значение своим нарративным лакунам (опущенным описаниям общения с

упоминаемыми персонажами, непроясненным контекстам и т.п.)? Наконец, какие категории анализа могут быть найдены для структуриации столь ненарративного текста взамен классических формальных критериев?¹ Может быть, травмированный индивид создает *свою* норму рассказа о пережитом, норму, которая позволяет интегрировать биографические опыты в некое целое? И вообще, что указывает в тексте на перерабатываемую травму?

Попытаемся проанализировать вышеприведенный текст с акционистской позиции, согласно которой индивид («актор») меняется в процессе совершаемого им действия. Для этого мы проследим смысловую направленность и характеристики глаголов, используемых рассказчицей, в ею же выстраиваемой последовательности.

Детство. Этот период отмечен глаголами и глагольными формами, отражающими внутреннюю жизнь эмоций: «поражало», «не нравилось», «боялась», «было страшно», «было переживание». Отметим, что эти описания дискретны, самодостаточны и не носят характера причинно-следственной связи. Отсчет детского времени взят не от описаний отношений с родителями или близкими друзьями, не от ярких картинок, сопровождающих детство, а от сцены убийства, в плоскости которой помнятся детали, их цветность. Отматывая от этого события ленту времени в прошлое, Лина транслирует предчувствия этой трагедии: «было ужасно страшно»; дает обрывочные описания посещения подвала с отчимом. Когда от собственного Я рассказчица переходит к Мы, возникает деятельный ряд: «мы жили, мы уехали».

Этот отрезок описанной жизни можно было бы сжато охарактеризовать как разрыв между событийностью эмоций и событийностью в реальной социальной жизни. Причем акцент здесь делается на интроекции, поэтому структурной единицей текста становится переживание, а не нарративно излагаемое событие,

¹ При анализе устных повествований / нарративов Лабоу и Валетцки работали ряд формальных характеристик, к соблюдению которых стремится рассказчик, желающий быть понятым в процессе разговора: ориентация в месте действия, во времени, в персонажах, описание собственно события, его последствий для рассказчика и кода как возвращение к актуальному времени. Подробнее см.: *Labow W., Waletzky J. Erzählanalyse. Muendliche Versionen persoenerlicher Erfahrung // Ihwe J. Literaturwissenschaft und Linguistik. Vol. 2. Frankfurt: Fischer Athenaeum, 1973. S. 78–126.*

сама форма которого вынуждает к формулированию значения происходящего.

Школа. Этот период также сохраняет во многом сходные с предыдущим черты. Отличие в том, что внешняя событийность начинает прорастать переживаниями в сознании рассказчицы, объективируя ее Я: «странные вещи происходили со мной». Категория «Мы» — помимо матери с отчимом — вбирает также подругу, с которой отношения так и остались непроясненными или неразвитыми. (Позднее точно так же мы не узнаем почти ничего, кроме ролевых ожиданий, и о других ее близких — двух мужьях и ребенке.) И здесь первичная гипотеза о коммуникативной некомпетентности рассказчицы получает подтверждение. Мистичность происходящего в случае с записками в школе вытекает из непрозрачности смысла этой истории, которая из игры переросла в кошмар, неподконтрольный для Лины, кошмар, который закончился так же непонятно, как и начинался. Но история, смысл которой остался неясным, не заканчивается, а «держит» своей незавершенностью. Жизненный опыт этого периода добавляет иной, объективирующий акцент: «Я» дополняет «меня» (в смысле английской категории «me», предложенной представителем символического интеракционизма Д. Мидом¹).

Период учебы и профессионального выбора. Глагольный ряд этой жизненной фазы изобилует прошедшим незавершенным временем: «поехала», «завидовала», «училась», «стала работать», «занемалась», «работала», «отвечала за...», «ходила заниматься», «приходилось подрабатывать и растить ребенка», «сидела дома» и проч. Тем не менее этот ряд прорежен некоторыми открытиями: «поняла, что работать там не буду», «увидела дуэт... поняла, что искала», «поняла, что не могу так скакать все время». Следствием активных, деятельных поисков и перебора занятий в итоге становится семантический сдвиг: событие как изменение происходит внутри Лины. Эту ярко социализационную фазу можно было бы охарактеризовать как установление причинно-следственной связи между событийностью в реальной жизни и событийностью смысловой, т.е. событийностью, акцентирующей процесс поиска и момент кризиса смысла.

¹ Очерки по истории теоретической социологии XX столетия. М.: Наука, 1994. С. 212–213.

Открытие смерти и описание сна. Два эти сюжета можно рассматривать как субъективные ключи к пониманию происходящего с Линой. Смысл одной истории (которая выглядит как фантазм) в том, что некий человек без причины может лишиться ее жизни, фоном же является чтение / обсуждение сакральной книги, т.е. в контексте явлена норма «не убий». Парадокс, однако, состоит в том, что нормой истории Лины является и то, что она «теряет людей» (близкие ей люди убивают близких людей). Результатом нарративно рассказанной истории является некое «состояние остановившейся жизни», кризис смысла жизни и невозможность продолжать прежнюю деятельность, ступор, бытовые автоматизмы.

Вторая история — сон, который выглядит как метафорическая проработка пережитого страха перед смертью в предшествующем отрывке, также решенном нарративно. Ее смысл достаточно многозначен: полет как вбирание страха падения или смерти, появление спасающего ее ангелоподобного юноши и поиск его на земле. В рассказе о сне есть определенная подмена: Лина выносит из сна желание найти юношу-спасителя либо то же качество спасителя, которое в итоге обнаруживает в себе. Таким образом, две истории соединены общей темой (смысловым кодом): обнаружением возможной смерти и стремлением символически преодолеть страх перед ней. Косвенно два эти сюжета позволяют Лине подготовиться к рассказу о заболевании раком, то есть найти для болезни род оправдания.

Болезнь. В этой фазе истории Лина возвращается в реальный пласт своей биографии, предпринимая активные усилия по противостоянию той объективации («мне поставили диагноз»), которую она испытывает в связи с известием о болезни: «не соображала», «не вынесла», «убежала из больницы», «пошла в церковь», «нашла способ лечения», «стала выезжать, выступать», «решила идти в больницу», «увидела людей на грани». Важным отличием от предыдущих опытов является не просто осознание, но развитие контрстратегии — практики танца вопреки болезни. Как следствие: «почувствовала», «образуется смысл заново». Вторичное наступление болезни и больничный опыт также косвенно принесли позитивный итог: сравнение, релятивизацию собственного опыта страдания.

Танец как состоявшееся профессиональное занятие и поиск смысла. Эта заключительная фаза рассказа имеет несколько планов. Прежде всего, из фокуса рассказа уходит социальная жизнь в ее

последовательности, контактах и персонажах, и на первый план выходят переживания как отражение этой реальности, окончательно приобретающиеотрефлексированный самооценный характер. Из реально происходящего упоминаются: а) знакомство с практикой танца зарубежного дуэта, которое произвело на Лину сильное впечатление и интернализация которого продвинула ее по профессиональному пути; б) второй развод; в) поездка в Коктебель и ее производное в качестве «переживания» на горе («я смотрела уже совсем по-другому на все»), подготавливающего ее к принятию того же развода.

Из ментально происходящего выкристаллизовывается субъективный опыт: «Ведь я, по сути, воспроизвожу в танце свои переживания, сообщения, свой опыт, то, что я пережила. Но для меня он ценен тем, что всегда — я поняла, — всегда есть выбор: либо ты при каждом таком ударе падаешь, либо ты как-то поднимаешься над этим». Важным открытием этого же периода является и осознание предвосхищенной травмы от потери близкого человека: если смысл жизни «закорочен» на другом, это неизбежно принесет жизненный крах, поэтому смысл нужно смещать внутрь, совмещая «стук сердца другого» со своим собственным. Таким образом, Лина открывает для себя путь автономизации. В импровизационном танце, в этом телесном рассказе она находит способ конвертации «переживаний» опыта потерь и болезни. Соответственно, смысловой код данной фазы рассказа можно представить как опыт отчуждения переживания в форму телесного рассказа об этом переживании, то есть как позитивную объективацию переживания в целях профессионального роста.

Почему в истории Лины возникает заместительная значимость телесного языка, нашедшая в дальнейшем перспективу не только в арт-терапии, но и в профессионализации? Прежде чем выдвинуть гипотезу, посмотрим на содержание телесного сообщения, которое содержит танцевальный перформанс Лины и ее партнера¹.

¹ Перформанс был организован американским танцовщиком. Суть выступления состояла в импровизации, вчувствовании и развитии заданной коммуникационной темы, а также в обыгрывании предметов, которые партнер вводил в танец.

Нарратив тела

Одетая в белый халат медсестры, Лина приносит веревку, привязанную одним концом к ведру, в котором до поры прячется высокий кактус. На полу затемненного зала она вытягивает за собой



длинную веревку, как бы нащупывая или пролагая путь в темноте. Партнер перехватывает ведро, включаясь в предложенную игру. Белая веревка на темном полу, извиваясь, создает своего рода границу,



переходя которую участники то сближаются, то разделяются. Убаюкивающим движением руки Лина достает и качает на руках кактус. Затем вынимает из ведра красные пластиковые стаканчики и хао-

тично расставляет их в пространстве между ведром и кактусом. Возникает впечатление обжитого пространства с горящими фонариками красных стаканчиков. Лина наливает воду в стаканчики, приглашая сделать то же самое партнера. И уже вдвоем они обжигают это пространство. Затем она отщипывает от высокого кактуса растущие по бокам «детки» и рассаживает их в стаканчики. Партнер присоединяется. На этом гармония совместного действия заканчивается. С видом «замотивированного скульптора» партнер заинтересовывается кактусом самостоятельно и, взяв в руки канцелярский нож, обрезает — «освобождает» — тело кактуса от деток как от лишнего. На этом перформанс подходит к концу: веревка сматывается, вытягивая за собой и ведро, стаканчики собираются и исчезают в ведре, в центре остаются разлитая вода и две фигуры; Лина склоняет партнеру голову на плечо.

Мы узнаем несколько коннотаций между нарративом тела и биографическим рассказом: белый халат как признак ее первой профессии, но и как халат врача — персонажа, в профессиональной помощи которого она теперь сама постоянно нуждается. В этой роли Лина — одновременно и участник, и наблюдатель, конструирующий через осмысленные образы движения себя самое. Ведро — как предмет сугубого быта — уже возникал в рассказе как последствие утраты смысла жизни, когда обнаружение смерти низвело жизненную активность Лины до бытового автоматизма (несколько раз в день мыла пол). Ведро как символ женской повседневности — своего рода якорь, не позволяющий соскользнуть дальше, — сам по себе продуцирует смысл: грязь должна смениться чистотой и уютом, и так до бесконечности. Уход в сугубую повседневность в рассказе позволяет выиграть время для раздумий и поиска выхода, когда внешний, угрожающий ей мир сворачивается до малого, до обиходного.

В нарративе танца веревка и ведро привязаны друг к другу. Эту метафору можно понять, вспомнив манипуляции с веревкой: ею прочерчивалось, осваивалось незнакомое темное пространство, создавалась своего рода его топология с границами и возможностями для сближения между партнерами. Если ведро воспринимать как коннотацию повседневной рутины, то оппозицию к ней, очевидно, следует назвать смыслом, который не завершен и пластичен, изменчив, но управляем. Так же как другой конец веревки. Недаром со сцены ведро Лина увозит на веревке. Наконец, в заключение перформанса возникла очень реальная ситуация, указывающая на предел взаимопонимания: если Лина пытается вместе с «партнером»

рассаживать в стаканчики новую жизнь и лелеять этот садик, то партнер выходит за пределы, трансформируя это действие в нечто, граничащее с жестокостью (в приближении). Попытка удержать мужчину в пространстве смысла, порождаемого повседневностью, оказывается обреченной. Но открытие кратковременности этого безмятежного счастья тем не менее отмечено ею в перформансе жестом не протеста, а склоненной на плечо партнера головы.

Таким образом, свой ответ на вопрос «Кто ты такая?» Лина конструирует в виде отношений по поводу обживания пространства и населения его новой жизнью. Этот жизнеутверждающий смысл она выращивает на женски-бытовых основаниях, и, как и в ее рассказе о жизни, партнеры этот смысл разделяют лишь временно.

Вернемся теперь к обещанию сформулировать гипотезу о заместительной значимости телесного языка в истории Лины, о его роли не только в арт-терапии, но и индивидуальной профессионализации. Совмещающая тематизации ее рассказа о жизни и нарратив ее тела (или рассказ о себе телесным языком), можно сказать, что в обоих случаях мы имеем дело с интерактивным результатом, поскольку устное повествование заинтересованному интервьюеру отчасти схоже с нарративом тела с участием партнера по перформансу. Разумеется, совмещение тематизаций возможно лишь в ограниченной степени: рассказ о реальности и ее метафора значительно отстоят друг от друга, но и рассказ Лины малонарративен и приближен к структуре переживаний. Итак, наше предположение заключается в том, что история жизни Лины имеет следствием троякий способ объективации ее телесности.

Во-первых, с феноменологической точки зрения — это испуганное тело, тело-аффект¹, лишенное своего собственного повествовательного языка в результате пережитых свидетельств смерти (возможной и реальной). Повествование оказывается «уведенным» с событийного уровня на уровень переживаний и символов. В теории символизации немецкого психоаналитика А. Лоренцера²

¹ Категории из феноменологии телесности: «тело — объект», «тело — мое тело», «тело — аффект», «тело мыслимое, единое» (*Подорожа В. Феноменология тела. М.: Ad Marginem, 1995. С. 18*).

² *Lorenzer A. Sprachzerstoerung und Rekonstruktion. Vorarbeiten zu einer Metatheorie der Psychoanalyse. Frankfurt: Suhrkamp, 1973; Idem. Der Gegenstand psychoanalytischer Textinterpretation // Goeppert S. Perspektiven psychoanalytischer Kulturkritik. Freiburg: Rombach, 1978. S. 71–82; Idem. Tiefhermeneutische Kulturanalyse // Lorenzer A. Kultur-Analysen. Frankfurt/M.: Fischer, 1988. S. 11–98.*

формирование символов рассматривается в качестве конститутивной части творческой жизненной практики человека. Формы интеракции выступают здесь основой структуры человеческих переживаний. Три уровня переживаний (пред-символическое, чувственно-символическое и языково-символическое), возникающих в процессе взаимодействия между не совпадающими полями практик тела, предметного мира и языка / письма соответственно, и структурируют биографию. Хотя каждый слой переживаний имеет свою линию развития, уходящую в историю ранней социализации, эпигенетически все они перекрещиваются друг с другом. Слоям переживаний, в свою очередь, соответствуют различные уровни сознания. Сознание имплицитно подразумевает развитие, критерием которого является способность к децентрализации переживаний в соответствии с иерархией (сенсомоторных) действий, (образно-наглядных) представлений и (семантически-синтаксических) описаний. Различные слои переживаний образуют динамичный союз, характеризующийся диалектикой рационализации и эмоционализации, нормативного контроля и спонтанной экспрессивности. Предпосылкой «полного» переживания является свободное разворачивание этой диалектики, поскольку границы между слоями проницаемы. Вытеснение переживаний сковывает это движение. В итоге перевод глубинных слоев в языково-символическую форму интеракции может тормозиться, и стереотипная эмоционализация, «лишающая языка», становится тогда способом проявления переживаний. Либо уже сформированная языково-символическая форма интеракции изолируется от глубинных слоев, проявляясь в виде рационализации, т.е. эмоционально опустошенной речи, сведенной до уровня поверхностного употребления знаков. В первом случае сопротивление травматическому направлено против вербализации, во втором — против переживания (витализации).

Возвращаясь к случаю Лины, мы видим кольцевую форму ее рассказа, рамки которого заданы «человеком переживающим». Внутри этого гипертекста мы тем не менее встречаем «человека действующего» в фазе образовательно-профессиональной социализации, которую прерывает болезнь. Соответственно, нарушение рационализации выглядит как способ защиты, а поиск смысла разворачивается «на других этажах» переживаний и символа. В итоге текст и та психологическая реальность, в которой пребывает Лина, содержат несколько уровней: описания происходящего действия, переживания, образов и метафор. Как ни парадоксально, причи-

на происходящего с нею видится не в «реальной» реальности, а в реальности образов, которые владеют ею и задают ей соответствующий язык описания.

Во-вторых, объективация телесности нашей биографантки связана с контекстуальной средой ее жизни, которая выстраивает поле и границы коммуникации. «Коммуникативные акты обнаруживают, придают оформленность и постоянно перепроверяют присутствие говорящего в пространстве человеческого общения»¹. Они создают его «место» в ландшафте мест других, с чьим согласием-несогласием, сопротивлением-противоречием говорящий в этом пространстве сталкивается. И речь лингвистическая, и язык тела являются в этом смысле взаимоперетекающими ресурсами, организованными в согласии с принципом дополнительности. Встраивая запреты и сопротивления, окультуривая в итоге тела, «соматическая социализация», по словам Люка Болтански², создает специфическую топологию *поверхностного тела* и *тела внутреннего*, сохраняющих наслоенные опыты пережитого, обученного и забытого в теле. Семейная культура Лины замалчивает важнейшие события семейной истории, дискурс семейных отношений сдержан и неэмоционален, интеракция с близкими, отложенная в памяти, не объединяет субъекта действующего и субъекта лингвистического.

В-третьих, мы имеем дело с патологией тела, болеющего раком, и, соответственно, с поиском личностного смысла болезни, со стремлением определить «жизненное значение обстоятельства болезни в отношении к мотивам деятельности» заболевшей³. Естественным следствием болезни становится не только ограничение физических возможностей, но и разрушение нормальной временной перспективы, что оборачивается в тексте Лины отсутствием пространственно-временной привязки. Лина встраивает факт заболевания в некоторую смысловую цепь, для чего ей приходится прибегать к описанию мистической ситуации и сна. Болезнь застает ее в той жизненной фазе, когда она наиболее социально активна и успешна, когда она активно присваивает и осваивает свое

¹ Тищенко П. Психосоматическая проблема (объективный метод и культурологическая интерпретация) // Телесность человека: междисциплинарные исследования. М., 1991. С. 29.

² Boltanski L. Die soziale Verwendung des Koerpers // Zur Geschichte des Koerpers / D. Kamper, R. Volker (eds.). Muenchen, Wien: Hanser, 1976. S. 138–177.

³ Тхостов А. Психология телесности. М.: Смысл, 2002. С. 142.

тело. И вот этот выход из телесной конструкции тела-объекта, в котором прячется тело-аффект (образ матрешки кажется уместным благодаря ее многослойности), к телу, которое «*мое тело*», ознаменовывается угрозой смертельной болезни — как самонаказание и самовозвращение к тому модусу тела (уже страдающему), в котором ее социализировали, как выражение личностного смысла в языке страдания.

В итоге те травмы и, как следствие, коммуникативные ограничения, которые составляют суть раннего детского опыта нашей рассказчицы, высвечивают особую значимость тела как коммуникативного ресурса, когда возможность *показать* пережитое жестом и движением тела становится равнозначной (если не более важной) способности передать пережитое словами.

Франсуаза Давуан, Жан-Макс Годийер

История по ту сторону травмы¹

Книга «История по ту сторону травмы» основана на нашем опыте психоанализа сумасшествия, который вот уже более тридцати лет мы ведем и в общественных психиатрических лечебницах, и в рамках частной практики. Еще одним источником книги стал наш еженедельный семинар в Высшей школе социальных наук Парижа; в течение двадцати восьми лет семинар носит одно и то же название: «Сумасшествие и социальная связь». Публикация книги, основанной на нашем терапевтическом опыте, стала ответом на усиление роли электрохимических способов лечения душевнобольных — лечения, которое склонно все в большей степени игнорировать жизненную историю пациента. Необходимость работы с такими историями привела нас к осознанию того, что в специфической области травматизма вырезанная (и не вытесненная) пациентом история не только воздействует на поколение самого пациента, но и способна — молчаливо или насильственно — передаваться его потомкам. Травматизм может дать о себе знать даже тогда, когда следы травмировавших событий были утрачены предыдущими поколениями. Как однажды убежденно сказал пациент: «Мое сумасшествие возникло на перекрестке великой Истории и малой истории моей семьи».

Сталкиваясь с подобным, мы понимали, что терапевтический процесс — с точки зрения переноса — ставит под вопрос нейтральность психоаналитика во время особых сеансов. Психоаналитический опыт продемонстрировал нам, что *травма говорит только с*

¹ Сокращенный перевод с английского Елены Трубиной. Перевод предвнесен кратким предисловием авторов, специально написанным для данного издания. Изначально текст вышел в виде главы в книге Françoise Davoine and Jean-Max Gaudillière, «History Beyond Trauma, Whereof One Cannot Speak...Thereof One Cannot Stay Silent» (Trans. Susan Fairfield. NY: Other Press, 2004). — *Прим. пер.* Ниже без пометки «Прим. пер.» приведены примечания авторов, а звездочкой помечены примечания переводчика на английский с французского.

травмой и фрагменты вырезанной Истории могут быть выговорены лишь тогда, когда в самом аналитике будет активирована аналогичная область; в этот момент психоаналитик и может осуществить полный перенос, открыто придав такому столкновению форму слов. Родившись во время Второй мировой войны, посреди зон боевых действий, мы оба были очень чувствительными к подобным ключевым моментам, которые нередко становились поворотными в ходе терапии.

Значение этих заметок с точки зрения практики и теории сводится к следующему: травма всегда останавливает бег времени, и суть анализа состоит в том, чтобы возобновить его течение. Использование обычных критериев причинности — как в теоретической концептуализации травмы, так и в предполагаемой интерпретации, понятой как объяснение, — невозможно до тех пор, пока стрела прошлого, настоящего и будущего времени не возобновит свой полет. Вырезанное событие, демонстрируемое пациентом, — это не причина, но цель симптома, представленного здесь как познавательный процесс в особом поле исследования. Оставаясь на том же уровне, мы вместе должны сформировать «новую верность» (Уильям Риверс), чтобы возродить символический порядок, определенный Жаком Лаканом как гарантия речи и искренности в ситуации, когда доверие и репрезентации лишились всех своих оснований.

Особенности аналитической работы в этом поле предопределили наш диалог со многими теориями. Прежде всего, с практической точки зрения мы противопоставили психоаналитической теории вытеснения те эффекты, которые способно производить вырезанное бессознательное. Большинство психоаналитиков, включая Лакана, отстаивали структурную или причинную связь и никогда не концептуализировали психотический перенос. Далее, мы столкнулись с известными исследователями физиологии мозга, установившими точные нейронные локализации травмы. Мы внимательно прочитали работы Антонио Дамасио на этот счет. Наши собственные исследования и практика обогатились за счет «психиатрии на передовой», разработанной английскими и американскими психиатрами в течение Первой и Второй мировых войн¹.

¹ «Психиатрия на передовой» была разработана во время Первой мировой войны для лечения психологической травмы, связанной с контузией, и составляет сегодня стандартный способ лечения военного невроза. Базируется на четырех принципах (разработанных Томасом Сэлмоном — см. след. прим.): близость к полю боя, безотлагательность, уверенность в выздоровлении,

Для нас реальные истоки любого психоаналитического подхода к травме лежат в бараках на поле боя. Наш культурный багаж, как и опыт конкретных случаев, убедил нас в том, что проблема травмы всегда трансдисциплинарна и транскультурна, отсюда — наш интерес к литературе, эпосу, философии, а также к тем поискам ответов на сходные вопросы, которые были предприняты в рамках других культур. В «Истории после травмы» также нашлось место и урокам, которые мы получили в ходе зарубежных встреч, урокам, часто выходящим за пределы ожидаемого. Таково краткое изложение направления, в котором двигалась наша книга — от принципов военной психиатрии, разработанных Т.У. Сэлмоном¹, до методов «вслушивания в замороженные слова» (Франсуа Рабле), — следуя ритму кратких клинических моментов, представляющих работу самих пациентов в нашем исследовании.

Предвосхищение: надежность другого Разговор травмы с травмой²

В мирное время вырезанные уроки истории ждут нас за углом сумасшествия. В создаваемой таким образом вселенной хаоса *близо́сть к месту сражения* задает координаты возможного простран-

простота. Использовались армиями США и Великобритании во время Второй мировой войны для возвращения солдат в строй. Отмечена фундаментальной неясностью: применяется ли она ради пострадавших индивидов или служит интересам военных. — *Прим. пер.*

¹ Томас Сэлмон (1876–1927) служил главным психиатром в американском экспедиционном корпусе в Европе, участвовавшем в боевых действиях на Западном фронте во время Первой мировой войны. Опираясь на опыт британских коллег, разработал специальный план нейропсихиатрического лечения американских солдат на поле боя, предусматривавший включение опытных психиатров-консультантов в штат каждой дивизии, устройство отделений для психических больных в полевых госпиталях и т.д. Солдат, госпитализированных по психиатрическим показаниям, лечили максимально близко к линии фронта с помощью хорошего питания, отдыха, трудовой терапии. Штат госпиталей и сама атмосфера терапии были призваны вселить в больных надежду на скорое возвращение в строй. Домой в США посылались только больные психозом. После Первой мировой войны Сэлмон стал в США одной из ключевых фигур в организации специализированного психиатрического лечения для ветеранов войны. — *Прим. пер.*

² В названии есть отсылка к передачам радио Лондона, которые тайно слушали французы после обращения генерала Де Голля к нации 18 июня 1940 года и которые начинались словами: «Это Лондон. Француз говорит с французами».

ства, а *безотлагательность* образует особое измерение времени. С *уверенностью*, третьим принципом Сэлмона, мы подходим к символическому измерению дружности. Дело в том, что сумасшествие может быть определено как состояние, на которое некому ответить. В самом деле, кто мог бы взять на себя ответственность за отвержения, отрицания, предательства, стирание следов и исчезновения границ? Только тоталитарный другой, для которого дружность сведена к подчинению, — другими словами, только другой без подлинной дружности.

Слово «*уверенность*» определенно не относится к отсрочкам, столь знакомым по аналитической практике, в которой дела всегда откладываются на завтра и на каждом сеансе разговор начинается сызнова. Напротив, термин выражает веру в жизнь, когда жизни запрещено появляться на горизонте. Он намечает контуры дружности, которая ждет — ждет вопреки всем ожиданиям, всей логике, всему здравому смыслу. В военное время термин относится к тем другим, которые верят, что их раненый товарищ вернется в строй, рассчитывая на дружбу, не имеющую цены. И эта новая верность будет главной и единственной ценностью: *терапон*¹ находится среди них самих.

Логически рассуждая, раненый солдат или сумасшедший, напичканный успокоительными, должны быть отправлены домой, чтобы забыть «все это»: надо иметь человеческое сострадание, как говорится. Но когда зеркала разбиты и дьявол волочится следом, возвращение домой не всегда происходит в человеческом измерении. Все, что обещало искренность, испарилось без следа, а окружающие оказались реальными не более, чем маски. Когда ты вернулся домой, чей сочувствующий или презрительный взгляд ты можешь сравнить со взглядами тех, кто помог тебе выжить, тех, кого ты оставил позади как двойников, как альтер эго, тех, кто верят, что ты выживешь, даже если их уже нет на этом свете, тех, кто жаждут, чтобы ты жил, сильнее самого тебя? И наоборот.

Уверенность — это ожидание того, что, когда ты совсем выбьешься из сил, другой придет тебе на смену, тот самый другой, на которого ты можешь положиться как на себя самого и даже больше; тот другой, кто накормит и успокоит тебя. Еда, питье, сон: жизненные нужды — единственное, что имеет значение, но без

¹ Слуга, помощник (*греч.*), в данном случае — способствующий исцелению. «Терапия» и «терапевт» происходят от этого слова. — *Прим. пер.*

лица, жеста и взгляда они останутся лишь механической кормежкой. Вода или картофельные очистки, которые спасут твою жизнь; глаза, что крикнут тебе «Ложись!», когда грозит внезапная опасность; тепло спины соседа (хотя в нормальное-то время такая близость была бы непереносима): все выжившие свидетельствуют о невозможности выжить в одиночку¹, без другого, реального или, если необходимо, воображенного. Наши родители никогда не забудут того неизвестного, который тайно помог тебе пересечь границу; того безымянного человека, которого ты никогда больше не увидишь и который спас твою жизнь кивком головы; или того, кто предупредил тебя об опасности, послав измятый клочок бумаги; того, о ком ты не знаешь ничего и от кого ты ничего не ждешь в обычные времена.

Мы назвали такую дружость «множественным телом», солидарностью, которую Фолкнер сравнивает с солидарностью личинок в головке сыра, когда «древняя как мир, живущая лишь чувствами недреманная плоть, для которой нет разницы между отчаянием и победой»², прочесывает окрестности, чтобы выжить. В конце концов личинки, превратившись в насекомых — иногда незаметных, иногда прекрасных, — улетят. Мы говорим здесь о них на основе опыта: наши пациенты привели нас к тому, что, став частью этого множественного тела, мы уже близки к возможности улететь, близки к полету и свободе; свободе речи прежде всего.

Синий цветок³: свобода речи

В общей комнате той первой психиатрической лечебницы, в которой мы начали работать, хронически немая пациентка стояла, бывало, около батареи отопления, всегда той же самой. Это был типичный приют в Северной Франции, расположенный в окрестностях бывшего аббатства, недалеко от фронта и кладбищ после-

¹ Delbo C. Auschwitz et après. I. Aucun de nous ne reviendra. Paris: Editions de Minuit, 1970.

² Фолкнер У. Авессалом, Авессалом! / Пер. М. Беккер. М.: Гудьял-пресс, 2001. С. 303.

³ Во французском языке у выражения «синий цветок» есть коннотация невинности, наивности.

дней войны. Аналитик стал присоединяться к ней каждую неделю: он вставал рядом с ней, спиной к стене, и вслух описывал ей то, что происходило в комнате, а иногда — просто то, что было у него на уме. Этот ничего не значащий разговор, адресованный женщине, но как бы с самим собой (поскольку она ничего не говорила), привел к тому, что спустя год, в ничем не примечательный день жизни этой лечебницы, она начала говорить и рассказала историю, как если бы она случилась вчера.

Шла война. И однажды она пошла по следам своей матери — к укреплениям небольшого города, где они жили. Она застала мать стремительно покидающей немецкого солдата. Вернувшись домой, мать подняла юбку, надетую на голое тело, и закричала изумленной дочери: «Хочешь знать, что я там делаю? Ну, смотри!» В этот момент маленькая девочка уничтожила в себе личность, прожив до сорока лет не выросла.

Позже она спокойно объяснила аналитику, что побудило ее заговорить: «В тот день, когда вы прошли передо мной, я услышала “Да” с большой буквы¹ и поняла, что я могу говорить с вами». Аналитик, конечно, ничего такого не говорил, он лишь с эксцентрическим упорством становился рядом с ней, привлеченный ее достоинством и взглядом — детским, с широко раскрытыми глазами.

Первый рассказ возник — в манере барокко — из волн канала, в который девочка бросилась когда-то. Рыбы удивились, увидев ее тонущей. Водоросли раскрылись ей навстречу. Потом моряк с «Пришлось задуматься» прыгнул в воду и спас ее, вытащил на берег канала и усадил рядом с грибом. Не сразу аналитик, удивленный не меньше рыбы, понял, что «Пришлось задуматься» — это название баржи, причаленной недалеко от шлюза, с которым управлялась ее мать, пока отец был на фронте, что «грибом» моряки называли причальный столб, швартовную тумбу (*bitte*)², и что этот

¹ Аналитик никогда не был столь близок к твердости *Bejahung*, первичному утверждению, ожидающему слова другого.

² Во французском языке *bitte* — точный омоним *bite*, означающего на сленге пенис. (Этот вид омонимии, отделенной от смысла, — одна из характеристик означающего по Соссюру и по Лакану.) Более того, в воображении фаллическая форма причального столба немедленно вызывает ассоциацию с эрегированными мужскими гениталиями. Можно подумать о том узле, который сплетает воедино неназванные Реальные гениталии немца; отца пациентки, сражающегося на фронте и преданного в тылу; грибообразную тумбу, к которой пришвартовалась баржа спасителя; «задумчивость», спасшую жизнь девочке; аналити-

матрос с баржи, вне сомнения, был последним человеком, действительно подумавшим о ней и ее выживании.

Фраза «Пришлось задуматься» может обозначать пространство мечтаний, но может также и описывать наличие здравого ума у человека, прыгнувшего в воду, чтобы спасти жизнь пациентки¹, в девять лет отроду решившей покончить с собою. Не зная того, аналитик открыл ей свои мысли, желая, чтобы она возродилась к речи. Между Реальным проституции ее матери и тем молчанием, в которое она завернулась как субъект, найдя пристанище в единственно оставшейся ей позе достоинства, неся свою немую службу около батареи, оформилось нечто вроде сюрреалистического коллажа: конкретные слова, желания, тела и вещи воссоздали взрыв мира — не отрицая его — и дали возможность субъекту речи вернуться к жизни.

Между Реальным пенисом немца и означающим отцовства эклектический гриб стал тем основанием, к которому прищарфовался этот набор смыслов, сколь неожиданных, столь и незаменимых. Иногда вдоль французских каналов растут слова-вещи и умудряются при всей своей незаметности воплотить первоначальные метафоры, без которых язык умер бы в глубинах словарей. На северном диалекте в имени этой женщины было напоминание о Синем Цветке.

Во время Первой мировой войны сюрреалисты практиковали создание такого типа пространства-времени, нередко вдохновленные женщинами: Надя и Бретон, Эме и Лакан, Лаура и Батай².

ка, стоящего рядом с ней, и фаллос, это означающее желания или мечты: желания, чтобы она жила и говорила, и мечты аналитика стать отцом. По Лакану: «Фаллос — это привилегированное означающее той отметки, в которой роль логоса соединяется с приходом желания» (см.: *Lacan J. Ecrits. A Selection* / Trans. A. Sheridan. NY: Norton, 1977. P. 287).

¹ Место действия этой истории напоминает фильм Жана Виго (1933) «*L'Atalante*», и у матроса с баржи «Пришлось задуматься» вполне мог быть забываемый голос Мишеля Симона.

² Все три женщины были из зон смерти. Надя (см. одноименный роман Бретона) — из Лилля, из той же самой периодически опустошавшейся северной провинции, что и Синий Цветок (Бретон во время Первой мировой войны был военным психиатром). У Эме (Маргерит Анзю [1889–1992] была матерью психоаналитика Дидье Анзю) то же имя, что и у сестры, сгоревшей заживо (см.: *Lacan J. Le cas Aimée ou la paranoïa d'autopunition* // *La psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité*. 1932. Vol. 2. P. 151–303. Paris: Seuil, 1975; *Allouch J. Marguerite ou l'aimée de Lacan*. Paris: EPEL, 1994). Лаура, муза Батая,

Марсель Дюшан даже изобрел по случаю определение «первичные слова, соразмерные лишь себе и единице»¹, чтобы вычленил на основе этих «первоначал», которые, «переплетаясь, образуют объяснение»², генезис языковой игры в отсутствие ценностей.³ В этом отношении Надя, Лаура и Эме после Первой мировой войны и Синий Цветок вместе со многими другими после Второй мировой войны, похоже, остались первоначалами, вечными детьми.

Надя, вдохновившая безумную любовь Бретона, закончила жизнь в приюте, как и Эме. Эме, главный «случай» в диссертации Лакана о параноиче самонаказания, была комиссована во время Второй мировой войны, чтобы стать поваром у отца ее психиатра. Она жаловалась, что Лакан не вернул ее записи, те, из-за которых, собственно, сюрреалисты и превозносили его диссертацию. Надя исчезла среди сумасшедших, в то время как книга, носившая ее имя, пошла по пути славы. Судьба Лауры была отмечена трагеди-

потеряла отца, четырех дядей и братьев Пежо в Первой мировой войне. Джером Пежо цитирует свою тетю, Колет Пежо (Лауру, 1904—1938): «Я жила не в жизни, но в смерти. Насколько я помню, трупы стояли прямо передо мной... Словно превращаясь в монстра, я уже не признавала людей, которых я тем не менее любила. Я каменела постепенно, пока не стала просто сценической декорацией» (см.: *Peignot J. Ecrits de Laure. Paris: Pauvert, 1977. P. 23*; см. также: *Barille E. Laure, la sainte de l'abîme. Paris: Flammarion, 1997*).

¹ *Duchamp M. Duchamp du signe. Ecrits. Paris: Flammarion, 1975. P. 48.*

² «Если бы это первоначало можно было выразить и оно имело бы свой внутренний смысл, его надо было бы выражать без посторонней помощи. На самом же деле ни одно из этих начал невозможно объяснить, поскольку им дано только называться, носить какое-то имя. А вот состоящие из этих первоначал вещи и сами представляют собою некое переплетение, и имена их, также переплетаясь, образуют объяснение, сущность которого, как известно, в сплетении имен. Таким образом, эти начала необъяснимы и непознаваемы, они лишь ощутимы. Сложенное же познаваемо, выразимо и доступно истинному мнению. Поэтому, если кто составляет себе истинное мнение о чем-то без объяснения, его душа владеет истиной, но не знанием этой вещи; ведь кто не может дать или получить объяснение чего-то, тот этого не знает. Получивший же объяснение может все это познать и в конце концов иметь это в качестве знания» (*Платон. Теэтет. 202 b-c*).

Там, где в русском переводе диалога идет речь об «объяснении», во французском говорится о «логосе». — *Прим. пер.*

³ Наша интерпретация этого знаменитого фрагмента такова: «Ибо это переплетение существительных образует сущность логоса... Поэтому [непереплетенные] начала — вне речи и знания и представляют собой [чистые] ощущения».

ей утраты и истязаниями в детстве, несмотря на всю ту славу, что обрел Батай за четыре года до ее смерти. Три эти женщины волновали и вдохновляли писателей, которые, не став их *терапевтами*, воспользовались знанием, обретенным этими женщинами в битве с Реальным, чтобы пестовать свой гений.

Дети Терезина¹

Ибо у поруганных детей ресурсов — в достатке. В борьбе с тяготами они идут на все. В возрасте, когда Эго еще не очень связно и нестабильно, они черпают в проницаемости границ силу, превосходящую их возможности и порождающую исключительную энергию, парадоксально извлеченную из контакта с Реальным.

Вот одна из бесчисленного множества экстраординарных историй — хорошо известная история о детях Терезина. Мы повторяем ее здесь, поскольку она — хороший пример измерения надежды. Более того, выражение «множественное тело» пришло нам на ум именно тогда, когда мы читали об этих детях. Следует добавить также, что аналитик, рассказавший нам о детях Терезина — а, в конце концов, и о нас самих, — сам был на волосок от такой же судьбы. Помимо этих трагических фактов, историю детей Терезина нужно рассматривать как парадигму всех ситуаций, в том числе и сегодняшних, — частных и публичных, индивидуальных или масштабных, — в которых дети низведены настолько, что могут рассчитывать на выживание только за счет особых связей друг с другом. Анна Фрейд удивленно описывает такую детскую власть вне нормы, власть, на которую опираются до сих пор уличные дети всех континентов, будь то юные повстанцы Сьерра-Леоне², Шри-Ланки, Колумбии или других стран.

Обратимся к фактам, относящимся к концу Второй мировой войны. В ноябре 1945 года шестерых детей примерно трехлетнего

¹ Терезин — моравский город, более известный как Терезиенштадт. То же имя носил концентрационный лагерь. О детях Терезина см.: *Freud A. An experiment in group upbringing // The Writings of Anna Freud. Vol. 4. P. 163–229. Madison, CT: International Universities Press, 1968; Landau M. Les enfants de Terezin // Le temps du non: Psychanalyse et ideologie. 1990. № 5. P. 45–51.*

² *Kourouma A. Allah n'est pas obligé. Paris: Seuil, 2000.*

возраста, живших в Терезине в пересыльном лагере, привезли в Лондон к Анне Фрейд и поместили на год в загородном доме Бул-дог-Банк в деревне в Сассексе, посреди полей и лесов. В лагерь они попали маленькими детьми, по отдельности, и были помещены в отделение сирот. Их родители были депортированы и убиты. Их раннее детство прошло в общении с присматривавшими за ними взрослыми, которые сами были депортированы и которые — один за другим — постепенно исчезли в концентрационных лагерях. В Англии этих детей ждали нянечки и игрушки. Когда Анна Фрейд писала об этих детях, она не могла избавиться от мыслей о своих тетях, сестрах Фрейда, столь трогательно описанных ее братом Мартином¹. Испытав на себе жизнь в Терезине, они все умерли — в Освенциме, в самом Терезине и, возможно, в Трешлине².

Прибытие детей в Англию стало бедствием. В одно мгновение они разрушили все тщательные приготовления и превратили уютный дом в руины, напоминающие концентрационный лагерь — единственное, что они знали на свете. Никто не мог к ним приблизиться. Они обзывали взрослых самыми грубыми немецкими словами, плевали на них и оскорбляли их самые благие намерения. Невосприимчивые и неуязвимые, они заплатили за свое выживание в лагере способностью хоть что-то чувствовать к другим людям. Однако нянечки были поражены их экстраординарной жизнестойкостью³. Они описывали то, что возникло перед ними: дети, чье поведение было диаметрально противоположно тому, что можно было бы от них ожидать в этом возрасте⁴. Их нельзя было разлу-

¹ Freud M. Sigmund Freud, Man and Father. NY: Vanguard, 1958.

² Терезин выполнял несколько функций во время Второй мировой войны: в местном гетто А. Эйхманом было организовано еврейское самоуправление, демонстрировавшееся международным инспекторам для прикрытия массовых убийств. Кроме того, Терезин был одновременно и концлагерем, и пересыльным лагерем. — *Прим. пер.*

³ О термине «жизнестойкость» см.: Cyrulnik B. Un merveilleux malheur. Paris: Odile Jacob, 1999.

⁴ Согласно О.Р. Гриму, во Франции одним годом раньше детям с похожими проблемами мог быть поставлен диагноз «плохо адаптированных» — в соответствии с номенклатурой, официально утвержденной Техническим советом по Детям-лишенцам или Детям в моральной опасности, спонсированным колониальным правительством Лавала. В «Классификации плохо адаптированной молодежи», представленной в январе 1944 года Айером и Лагашем, различались «те, кого можно было реабилитировать, те, кого можно было реабилитировать частично, и те, кого невозможно реабилитировать». В результа-

чить. Невозможно было отделить их друг от друга — ни когда один из них заразился корью, ни когда их надо было повести на прогулку. Парадоксально, но этих детей, столь жестоких к своим няням, сплывали сильные чувства привязанности и солидарности. Эти чувства несколько не напоминали отношения маленьких детей, вместе играющих и плачущих на детской площадке. Когда одна из них, маленькая девочка, однажды увидела кровать одного из членов их маленькой группы пустой, она выразительно сказала «Tot» (т.е. умер) и занялась другими делами.

Казалось, что каждый из этих ослабленных детей мог прислаться к другим, чтобы увеличить способность своего тела к выживанию. И дело не только в простом слиянии усилий. Согласно Клаузевицу, итоговую моральную стойкость не подсчитаешь¹. Но в чем тогда состоит это упорство?

Оно основано на забвении себя и собственного Я ради блага целого. Более того, множественное тело — не неосязаемая целостность, ведь оно может лишиться одного из своих членов в любой момент. Другие дети, умершие еще в Терезине, возможно, были частью этой множественной витальности². В отличие от коллективного движения организованной группировки такая совокупность людей лишена зеркала или официального лидера. Не функционирует она и как секта, не следует покорно ни за идеологией, ни за тираном.

Аналитика часто удивляет событие, сколь обыденное, столь и исключительное. Когда дети Терезина обедали, они проявляли парадоксальное отношение к еде (будучи при этом в том возрасте, когда дети не любят делиться и когда их социальное поведение ограничено формулой «сначала я, мне самый большой кусочек», тем более твердо провозглашаемой, что это «мне» все еще незре-

те на всей этой территории были созданы Общественные учреждения социальной гигиены, предназначенные для финансирования Центров наблюдения и лечения. Мы знаем, какие идеология и практика с трудом скрывались за этими словами в то время. Только освобождение Парижа в августе 1944 года положило конец работе дьявольской машины (*Grim O.R. Inadaptation et handicap. De la clinique a l'histoire* // *Le Carnet Psy.* 1998. Vol. 39. P. 19–20).

¹ Clausewitz K. von. *On War* / Trans. A. Rapoport. NY: Viking, 1982.

² Терезин принял около десяти с половиной тысяч детей младше пятнадцати лет и около двух тысяч — в возрасте от пятнадцати до восемнадцати. Из этого числа выжило лишь около тысячи. Стихотворное творчество детей из Терезина отражено в: Макарова Е. Стихи детей из Терезина // *Иностранная литература.* 2004. № 5. — *Прим. пер.*

ло). Получивший самый большой кусочек тщательно делил его между остальными и не ел, не убедившись, что каждый что-то получил. Во время битвы при Ватерлоо молодой Фабрицио дель Донго испытал то же самое переживание¹.

Среди этих детей роль временного лидера в зависимости от обстоятельств может играть любой ребенок, чьи лидерские задатки проявляются во время опасности в виде непосредственной тенденции брать на себя заботу о других. Физическое выживание группы, еда, сон, охраняемый другим, более значимы, чем индивидуальное удовлетворение. Неуязвимость и странная сила, подобные тем, что присущи держащимся на расстоянии и не дающим себя приручить диким животным, позволяли детям побеждать во взрослом мире, не колеблясь. Ужас охватывал их, только когда они видели собак или грузовики. Единственным, что в их глазах представляло ценность, были ложки. Дети их называли «вещички». Ложки были единственной собственностью, которая разрешалась депортированным.

Между Вещью, из которой исходил вездесущий страх, принесенный ими в приютившую их землю, и маленькими прирученными вещами для еды постепенно просачивалась иная пища, проходя через рты ухаживающих за ними взрослых: английский язык для названия новых вещей вместо грязных немецких ругательств. Один за другим дети постепенно привязались к этим женщинам, никого из них, однако, не выделяя. Поэтому мы называли множественным телом этот артефакт выживания, созданный вопреки извращениям варварства и даже вопреки лучшим намерениям. У детей Терезина нет патента на это понятие. И немало других детей вынуждены изобретать его вновь и вновь перед лицом инфантильного и убийственного безумия якобы взрослых, обладающих, однако, всей полнотой домашней или политической власти.

¹ Стендаль так описывает этот случай: «Маленький отряд состоял уже только из трех солдат, капрала и Фабрицио. Не успели отойти от большой дороги на четверть лье, как один из солдат сказал: “Невмоготу мне!” “И мне тоже”, — добавил второй. “Вот еще новости. Нам всем несладко, — заметил капрал. — А вот слушайте меня, и вам хорошо будет”. Он заметил пять-шесть деревьев, росших вдоль межи посреди огромного поля. “К деревьям!” — скомандовал он. А когда подошли к деревьям, добавил: “Ложитесь тут, а главное, не шумите. Но перед сном надо бы пожевать. У кого есть хлеб?” “У меня”, — отозвался один из солдат. “Давай сюда”, — властно заявил капрал. Он разрезал хлеб на пять ломтей и взял себе самый маленький» (*Стендаль Ф.* Пармская обитель. М., 1981. С. 63).

Множественное тело: инстанция леди

Такое тело подчиняется закону, форме: «Пока смерть не разлучит нас». Неявное обещание, соединяющее этих детей, находит хорошее применение их качествам, но на этом не останавливается. В основе этого отбора лежат вовсе не индивидуальные заслуги, модели идеального работника или выверенные планы-структуры организации. Однако же его эффективность превосходит все ожидания. Столкнувшись с такой тотальной энергией, вроде той, что убивает *сатори*, Анна Фрейд была изумлена. Как и мы — в присутствии пациентов, которые плохо приспособлены к нормальному миру, но великолепно — к ситуациям опасности. Таковы все пациенты, о которых идет здесь речь. Они вынуждены иметь дело с бредовым, постоянно изменяющимся миром. Обреченные на невзгоды, измощенные необходимостью пытаться делать что-то, в своем кругу они осознали, что ни от кого ничего ждать не стоит. Они натренировались различать за словами намерения и действовать с практическим знанием, что может быть мобилизовано в любой момент. Способные немедленно проанализировать все стороны абсурдной ситуации, эти дети проявляли особенную стойкость, когда дело доходило до примиряющих идеологий, даже отмеченных психоанализом, с помощью которых их пытались убаюкать в гостеприимной Англии. Они оставались мобилизованными, подобно ветеранам всех войн. Они были живым воплощением принципов Сэлмона: близость, безотлагательность, уверенность, простота. Крепость объединяющей их связи, с нашей точки зрения, основывалась на измерении уверенности. Но в чем, в конце концов, могут быть уверены люди, когда им не во что верить?

Отказ от притворства, прямой доступ к сути ситуаций и снятие завесы со слабости взрослых освобождает энергию, которая обычно подавляется. Мы уже отмечали то, как прорываются границы тела в экстремальных ситуациях, сопровождающих состояние неистовства и яростную эйфорию бесшабашных. Когда твой компаньон — смерть, твоя Леди, соблазненная и окликнутая, ты хорошо знаешь, кто она такая — та, что тебя ждет. Она часть твоей жизни. Мы задумываемся, не Леди ли Смерть скрепляет данное нами слово. «Пока смерть не разлучит нас», как мы видели, — это не то же самое, что «Да здравствует смерть!». Здесь нет места могильной зачарованности.

Связующая их смерть — это мать, мать памятников мертвым или мать, сошедшая с ума от горя¹, которую они покинули и которая хранит их, оставаясь дома. Она функционирует как женская сущность, к которой взывают все раненые на всех полях сражений мира. К ней они обращаются в речах, ее следы находят потом в их карманах: неотправленные письма. Неясно, достигнут ли адреса-та конверты, на которых после битвы благостно напишут имена семей, крестных матерей, невест. Ведь настоящий адрес — не родина, а Мать Земля², ради которой и на которой они сражаются; та, которая остается убежищем, в которое они вжимаются, та, которая их похоронит.

В этих обстоятельствах Имя Отца, постулированное Лаканом как гарантия символического, рассыпается в прах, а инстанция, гарантирующая преемственность имен, более не функционирует. Кроме того, Имя Отца — это вовсе не синоним «папы». В разных

¹ См. также обратную ситуацию: в конце Первой мировой войны сумасшедшая мать рыщет по окрестностям, развешивая на ветвях хлеб, банкноты и письма. Она ищет сына, исчезнувшего рядового войск врага, так как она живет в Лотарингии, ставшей немецкой во время франко-прусской войны 1870 года. Ее встреча с несколькими молодыми французскими солдатами, только что одержавшими победу, очень трогает: «Рукой, все еще державшей банкноты, она очертила в воздухе широкую линию, означающую всю окружающую лес местность. А так как эти молодые люди уже догадались, что ум ее был потревожен, кто-то начал смеяться, а кто-то пожалел ее. Один сказал, оглядываясь: “Она сумасшедшая!” — а другой приглушенно ответил: “Заткнись! Ничего нет плохого в том, чтобы быть сумасшедшим в душе!” “Тихо, все вы, — закричал Прунье. — Дайте ей сказать. Разве вы не видите, что она — мать!” Мари Балтюз помолдела. Ее бледные губы порозовели. Надежда, ее частый спутник, вернулась и помогала ей. “Умоляю, вы ведь солдаты, как и он, скажите мне, что *вы* знаете о пропавших без вести, которые вернулись домой?”» (*Bazin R.* Baltus le Lorrain. Paris: Calmann-Lévy, 1926).

² «Земля! Земля! Земля!.. У тебя есть складки, и впадины, и ложбинки, в которые можно залечь с разбега и забиться, как крот! Земля! Когда мы корчились в предсмертной тоске, под всплесками несущего уничтожение огня, под леденящий душу вой взрывов, ты вновь дарила нам жизнь, вливая ее в нас могучей встречной струей! Смятение обезумевших живых существ, которых чуть было не разорвало на клочки, передавалось тебе, и мы чувствовали в наших руках твои ответные токи, и вцеплялись еще крепче в тебя пальцами, и безмолвно, боязливо радуясь еще одной пережитой минуте, впились в тебя глазами» (*Ремарк Э. М.* На Западном фронте без перемен. М., 1988. С. 44). Эрих Мария Крамер (1898–1970), взявший себе псевдоним Ремарк, родился в Оснабрюке (Германия) и сражался в окопах Первой мировой войны. Эмигрировал в США, когда Гитлер пришел к власти, и получил гражданство в 1947 году.

культурах это может быть имя клана, тотема, камня, в поклоняющихся животным обществах — животного, в матримонийных обществах — имя, завещанное женщинам. Во всех обществах, когда рушатся основания символического порядка преемственности, для простого выживания требуется иная инстанция дружности: отклик, пусть даже самый минимальный, на крик; отражение, пусть самое смутное, в чьем-то взоре, когда зеркала уже не в состоянии ничего произвести в ответ. Это была та инстанция символического прибежища, к которой зывали на всех полях сражений наши раненые деды и отцы: «Мама!»

Множественное тело с предками

Таково начало речи, связывавшее детей Терезина в том, что мы называем нелепым переносом — единственной вещью, благодаря которой они выжили перед лицом сумасшествия обстоятельств. Доказательство — в том, что обещание «пока смерть не разлучит нас» потихоньку уступило место другой, более многообещающей цепи слов. Анна Фрейд заметила, что взаимная связь детей стала ослабевать и что они становились более индивидуализированными по мере того, как учили английский язык — не так, как учат в школе, но в переносе на их терапевта, заменившего собой постепенно множественное тело. Но опасности таились и тут.

Рискуя оказаться в новом одиночестве, дети прошли через очень серьезную фазу, которую можно назвать регрессией. Здесь также мы можем вообразить, насколько непросто было их няням. Казалось, что прежняя неуязвимость неожиданно сменилась на младенчество, зависимое и опасно уязвимое по отношению ко всем инфекциям. Няни даже опасались за жизнь детей — на этот раз вина лежала бы на них. Казалось, что дети должны были теперь пройти все пропущенные ими стадии роста, расплачиваясь утратой своей сверхъестественной силы за простое восстановление границ, преждевременно разрушенных жестокостью.

Среди наших пациентов есть дети героев и дети героических детей. Когда возвращающимся к нормальной жизни героям не удается заплатить выкуп за свою чрезмерную силу, их потомки на наших глазах выказывают слабость, какую не позволено было проявлять их предкам. Вот почему нам случается поздравлять наших

больных, заболевших физиологическим заболеванием, ратифицируя обязательные на их пути вехи: «Наконец-то реальная болезнь!» Мы приветствуем ее как друга, как союзника, говорящего с нами из-под панциря, ставшего чересчур тяжелым, намечая новые границы тела и контуры отвечающего им ухода.

Эти пациенты приходят к аналитику, словно старые дети, образовавшие множественное тело с воевавшими в последних войнах. И как субъекты, способные выразить себя в словах и текстах, случись им встретиться с аналитиком, история которого ждет их на поле боя. В «Другом мире» романистка Пэт Баркер¹ описывает современного мужчину, который видит, что его дети захвачены отцеубийственной войной, напоминающей кошмары его деда. Дожив до ста одного года, ветеран войны 1914 года каждую ночь проживает заново свой поход по грязи Арденн, чтобы прикончить своего собственного брата, орущего на колючей проволоке в смертельной агонии, с вываленными кишками.

Хотя литература им по достоинству не воздала, наши отцы тоже каждую ночь переживали заново свою последнюю войну в кошмарах и рукопашных боях. Почему, задавались они иногда вопросом, разве память старцев не только о приятном? Почему все время эти кошмары? Несомненно, для того, чтобы сохранить преемственность и передать нечто из своего опыта своим внукам, пропустив при этом промежуточное поколение — нас.

Так образуется множественное тело — между детьми сегодняшними и старыми детьми, ушедшими на войну под взглядом равнодушного мира, чтобы затем вернуться с грузом чрезмерных лет на своих плечах. Записи, выстроившиеся в старых тетрадках из кожаного материала, ждут смерти своих авторов, чтобы потомки могли их расшифровать. Эти рукописи с выцветшими чернилами иногда пытаются установить связь сквозь время между этими молодыми людьми, слишком много узнавшими о Реальном, и этим конкретным потомком. Кто-то рассчитывает найти там секреты, сенса-

¹ Английская писательница, в 1995 году получившая премию Букера за последнюю часть трилогии о Первой мировой войне «Восстановление» — «Призрачна дорога». В «Другом мире» (2000) Баркер описывает последствия пережитого участниками Первой мировой войны насилия для последующих поколений. Она ратует за благотворность для семейной жизни открытости в отношениях, пусть это даже сопряжено с признанием неизбежности насилия — как внешнего, на которое мир обрекает людей, так и таящегося внутри каждого из нас, в работе памяти и совладании с утратой. — *Прим. пер.*

ционные поступки. Но каждая страница жизни узника отмечена голодом; хотя каждый день похож на предыдущий, никто не знает, на что будет похоже завтра. Самое главное — чтобы выжил боевой товарищ, которому нужны уход и пища... если только их не разлучат.

Когда один из них, скорее неохотно, приходит к аналитику, он делает это сначала от своего имени, а потом вместо других, оставленных страдать в цепи поколений*. Кризис, что приводит его к аналитику, охватывает теперешнее поле травматизации предков.

Первое слово терапевта равняется тому «Да», что услышали и Гильда¹ и, на самом деле, Синий Цветок, хотя аналитик его и не произносил. Аналитик встал рядом с батареей не для того, чтобы скоротать время и выполнить свой долг, но в силу доверия, родившегося из осанки и достоинства этой женщины. Это первое «Да» аналитика есть первичное утверждение, на самом деле превосходящее суждение о существовании, о котором мы говорили, и открывающее поле речи: «Да, что-то случилось, что-то случилось с тобой; это не просто выдумки; и то, что ты демонстрируешь, — это единственный способ выразить свое свидетельство очевидца. Нет, эти события — не причина твоего состояния, они — предмет твоего расследования».

Что санкционирует это «Да»? Аналитики очень сдержанны в отношении того источника, который дает в них жизнь надежде таких пациентов.

Мы не выбираем того, кто скажет «Да, я жду тебя»

Марио Изотти², миланский психоаналитик, описывает именно такое страшное начало. Вся история начинается с «Да», пробудившего мертвых. Вызванный утром, чтобы поставить диагноз пациентке, не реагирующей ни на какое лечение, Изотти действительно находит ее неизлечимой, исходя из того, что она собой представляет, зажатая в угол, без признаков какой бы то ни было реакции. Ночью он пробуждается в уверенности, что пациентка —

* *Laisses en souffrance* («оставленных в бездействии») буквально переводится с французского как «оставленных в страдании».

¹ Одна из пациенток, чей случай стал основой для книги. — *Прим. пер.*

² См.: *Isotti M. Amore Mio Nemico*. Milan: Rizzoli, 1978.

в смертельной опасности. Он немедленно звонит директору лечебницы, они спешат к постели женщины, которая так сильно его испугала, и обнаруживают, что та впала в кому, проглотив лекарство, которое она какое-то время хранила в тайне. Так началась психоаналитическая работа; подобная усилиям Сизифа, она продолжается многие годы, сначала в лечебнице, затем вне ее. В конце анализа пациентка становится художницей в Париже.

Мы ничего не знаем о сумасшедшей причине, побуждающей Изотти повторять это «Да» всякий раз, когда сумасшествие пациентки вновь и вновь заставляет его начинать свой психоаналитический путь с нуля. Согласно ритму непосредственности психотических переносов, постоянного приращения прогрессивных изменений не бывает никогда. Как если бы для того, чтобы извлечь для анализа очередной «кусочек Реального»¹ из зоны бедствия, в переносе все должно быть приведено в первоначальное состояние, опять подвергнуто риску на грани жизни и смерти. Фактически поразительные серии рецидивов всегда ведут к той точке, где пациента ждет аналитик, вынужденный повторить свое «Да». Иногда Изотти рассказывает пациентке свои сны, возникшие в ходе переноса.

В конце анализа пациентка суммирует в его честь проведенные сеансы вместе со всеми ключевыми моментами, что стали решающими для новых сочленений. Она безупречно их зафиксировала и использовала как рычаги в то время, когда она страдала магией, а аналитик был убежден, что произносимое им до нее не доходит, в особенности слова о его снах и впечатлениях, оставленных этим впечатляющим сумасшествием. Но Изотти ничего нам не говорит о той частице сюрреальности, которая привлекла его к подобной встрече и которая побудила пациентку ждать случая расплаты. Постараемся объяснить и исследовать это.

В качестве переноса переплетенные части Реального (Платон, Теэтет, 202b) не ведают ритма схоластического или институционального прогресса. Пациент остается единственным судьей в этой оценке. Как сказал Мартин Куперман² в одном из своих афориз-

¹ «Истинное Реальное предполагает отсутствие закона. У Реального нет порядка. Вот что я имею в виду, говоря, что единственное, что мне, возможно, удастся однажды выразить для вас, это то, что я назвал фрагментом Реального» (*Lacan J. Le Sinthome (consacre à J. Joyce) // Ornicar. 1977. P. 11*).

² Американский психоаналитик (1914–2006), сотрудничавший с Эриком Эриксоном, изучавший сложности понимания пациентов и разработавший понятие «процессы поражения», фиксирующее динамику психоаналитических

мов, психоанализ продолжается две недели, но чтобы подойти к ним, требуется два года, в течение которых будет неясно, кто же, собственно, является психоаналитиком. Узлы, переплетения, из которых и состоит психоанализ, складываются только тогда, когда психоаналитик готов. Это событие может произойти в неотложности первоначального столкновения, но может потребовать и годы. Может даже случиться, что годы спустя пациент возвращается, чтобы увидеть прогресс, который мог сделать аналитик; иными словами, посмотреть на то, как за прошедшее время под воздействием других пациентов аналитик пришел к осознанию тех моментов в его собственной истории, под влиянием которых он находится и на которые он может опереться в процессе переноса.

Тоннель, ожидающий Луизу и ее аналитика

Луиза, одна из первых пациенток аналитика, пришла навестить ее через двадцать лет. На первой стадии она, безусловно, не обнаружила того, что «ее ожидало». Однако в то время она была в состоянии облечь в слова историю войны и травмы в той мере, чтобы жизнь ее не замерла. Несмотря на свою милосердную нейтральность, аналитик не полностью присоединилась к ней в противостоянии Реальному. Когда пациентка вернулась, ее волосы начали седеть, как и волосы аналитика. Ей нравилась жизнь, что она вела, занимаясь живописью в городе неподалеку от Парижа, живя со вторым мужем — искусным умельцем — в большом доме, где у обоих были свои мастерские. Детей у них не было, но в их доме часто гостили племянники и племянницы. Они с мужем планировали вернуться в ее родную провинцию, где ее семья жила с давних пор.

Пациентка в действительности вернулась к аналитику с конкретным вопросом, касающимся ее брата. Постоянный источник забот для своих братьев и сестер, он жил как отверженный. Его пристрастия приводили его в ряд лечебных учреждений, каждое из которых он вынужден был покинуть, так как спекулировал психостимуляторами. Аналитик вспомнила, что из всех ее братьев и

сессий, которые иногда сопровождаются саботажем сессий со стороны пациентов и аналитиков, предпринимаемым для демонстрации ими необходимости друг в друге. — *Прим. пер.*

сестер Луиза чувствовала себя особенно ответственной за этого брата. Когда родители умерли, рассказала Луиза, она устроила брата в лечебницу неподалеку от ее дома, чтобы удобнее было навещать и принимать его, когда ему разрешали отлучаться. Теперь ей надо было принять решение, получив совет аналитика. Брата собирались лечить электрошоком, и ей сказали в лечебнице, что — в приемлемой форме — это стало общим и эффективным вариантом лечения. Она не могла вынести идею электрошока, который для нее был эквивалентен промыванию мозгов: «Вы понимаете, после всего, через что прошли наши родители! Я хочу, чтобы его отпустили и чтобы он стал жить со мной. Мне нужны ваши совет и ваша помощь».

Когда они с братом были детьми, их матери — после множественных эпилептических припадков — была сделана операция на мозге. Им сказали, что припадки начались, когда отец вернулся из лагерей неизвестным, как и все выжившие. Отец — гордость старого рода в их провинции — был героем Сопротивления, когда его отправили в концентрационный лагерь. Он вернулся назад в конце войны с памятькой — зарисовками лагерной жизни, сделанными другим узником, умершим в том лагере. В начале психоанализа Луиза много говорила об этих рисунках, что висели на стенах родительского дома: бессловесные образы жестокости депортации, преследовавшие ее в детстве. Не говоря ни слова, отец заставил их разделить с ним лагерную повседневность. Отец часто говорил сыну, уже тогда испытывавшему трудности, что тот закончит жизнь за решеткой. Теперь, в пятьдесят лет, Луиза хотела предотвратить этот исход.

В этот момент аналитику живо почудилось нечто, что уже однажды овладело ею после первой сессии, но было тогда отброшено как полностью субъективное и не отвечавшее сложившемуся у нее в то время подходу. Она ничего об этом не сказала, но это были запах старых камней и образ средневековой темницы в замке Шинон, ассоциировавшиеся у нее в противовес всем историческим фактам с заключением Жанны д'Арк¹. Когда это обонятель-

¹ Жанна д'Арк действительно впервые встретила короля Карла VII в замке Шинон, посреди крошечного королевства, оставленного ему в ходе войны с англичанами: она узнала его в толпе придворных, когда он намеренно оделся неотличимо от остальных, чтобы испытать Девственницу. Аналитик оставалась под впечатлением от вырезанной в скале темницы замка, которую она посетила ребенком, хотя Жанну д'Арк никогда в ней не держали.

ное ощущение уступило место милосердной нейтральности, психоанализ и начался. На этот раз, когда не использованное ею прежде расщепленное ощущение вернулось без видимой причины, аналитик призналась Луизе, что за это время она тоже продвинулась вперед. С тех пор она стала сильнее интересоваться войной, которая даже стала ее коньком. Луиза спросила о причине. Аналитик без обиняков ответила, что ее пациенты побудили ее осознать, что она тоже родилась во время войны, что она появилась на свет чуть ли не в тюрьме, куда ее мать посадили немцы¹. Сегодня все эти тюрьмы побудили ее рассказать историю детей Терезина так, чтобы донести то, что аналитик и пациент — дети войны, встретившиеся в этой комнате, — могли оставаться на этой общей почве, чтобы представить Луизу хлопочущей об освобождении брата и забирающей его к себе. Аналитик предложила Луизе регулярно приходить к ней и обещала ей помочь. Продолжая в том же ключе, она рассказала Луизе о принципах военной психиатрии. Когда пациентка ушла, аналитик упрекнула себя, что ей снова не удалось держать язык за зубами в соответствии с правилами профессии.

Луиза поговорила с братом об этих встречах с аналитиком и о ее планах. Она устроила для него отдельную квартиру в пристройке к ее дому и поставила брату условие: не пить, не использовать наркотики и содержать квартиру в порядке. Диагноз и лечение ушли на второй план. Она даже посмела рассказать брату о своем озарении: ей всегда казалось, что отец именно ему, своему сыну, передал из лагеря ощущение ограниченного горизонта.

В ходе сессий аналитик узнала, что после нескольких попыток побега брат слово сдержал. Для него нашлась работа в студии мужа Луизы, квартиру он содержал в порядке. Они говорили о своем отце, который так и не бросил всех своих лагерных привычек и продолжал, например, вести себя как заключенный — держась крайне близко к остальным, сохраняя при этом молчание. Как если бы границы между людьми должны были быть стерты, чтобы устоять перед невзгодами, что могли обрушиться на них в любой момент. «Может, отец в каком-то смысле предал собственного сына, оставив его в одиночестве посреди этого молчания?» — спросила однажды Луиза. Аналитик сочла слово «предательство»

¹ Отсюда, возможно, и происходил странно явственный запах камней в камере во время первого посещения Луизы. То есть вновь, когда «рты молчат», камни говорят.

чрезмерно сильным. Но это напомнило ей о том, как Джонатан Шей¹ определяет травматизацию, и она процитировала это в своем ответе: «Автор книги “Ахилл во Вьетнаме”, конечно, связывает травму греческого воина или американского ветерана войны с ужасами войны, но в особенности — с предательством со стороны его родного народа».

Тогда Луиза упомянула деталь, о которой раньше не говорила. Ее отец был предан другом, открывшим перед ним дверь машины, в которой ждали члены *милиции* — французской полувоенной организации, сотрудничавшей с немцами. Убежденный, что он направляется на секретное собрание членов Сопротивления, отец, не ведая того, был арестован и позднее депортирован. Его друг реабилитировал себя блестящей политической карьерой после войны. Отец рассказал ей об этом незадолго до смерти и попросил никому об этом не говорить: «Зачем это снова раздувать?»

Аналитик часто слышала это выражение от своего собственного отца в связи с военным временем. С этим все и было связано. Неясным оставалось лишь то, достаточно ли молчания дочерей для того, чтобы предательство осталось неизвестным. Когда рты молчат, говорят вещи. Как мы видели, это один из лейтмотивов нашей работы.

Однажды Луиза заметила у аналитика книгу, называвшуюся «Тоннель»², которую аналитик решила прочитать. Книга была у нее дома, прямо перед глазами, по меньшей мере лет десять. «Как вы ее нашли?» — спросила внезапно Луиза. Удивившись вопросу, аналитик бездумно ответила, что эту книгу дал ее отцу его брат, дядя Эмиль, депортированный во время войны. Когда его спрашивали об этом, Эмиль, как и отец Луизы, ничего не отвечал. Однако однажды он дал брату эту только что опубликованную книгу:

¹ Американский военный психиатр, работающий над проблемой лечения и предотвращения психологических и моральных травм у военных профессионалов. В 2002 году, после упомянутой в тексте книги (*Shay J. Achilles in Vietnam: Combat Trauma and the Undoing of Character*. NY: Atheneum, 1994), выпустил книгу «Одиссей в Америке: боевая травма и испытания возвращения домой» (*Odysseus in America: Combat Trauma and the Trials of Homecoming*. NY: Scribner, 2002). В обеих Шей сопоставляет мудрость древнего эпоса и античной философии и рассказы ветеранов современных войн, пытаясь, через связь драмы и травмы, объяснить сложности посттравматического расстройства, усугубляемого невозможностью найти себе применение в мирной жизни. — *Прим. пер.*

² *Lacaze A. Le tunnel*. Paris: Julliard, 1978.

«Если хочешь знать, через что я прошел, прочитай. Мой тамошний друг написал ее». Словно говоря сама с собой, аналитик добавила, что не знает, почему она так долго ждала, прежде чем открыла книгу. Надо сказать, что, когда его отца спросили, о чем книга, отец ответил невыразительно: «Это история о людях, которых, как Эмиля, депортировали, и они вырыли тоннель между Австрией и Югославией. Главный герой — хулиган, который “сопротивлялся” так же, как и те, кто после войны превратили сопротивление в карьеру. История переписывается каждый день. Когда война закончилась, каждый был сопротивленцем, и люди вроде Эмиля не хотели больше об этом говорить: “Ты не можешь понять: для этого надо было там быть”».

Обычный рефрен. Вдруг аналитик так подытожила книгу для Луизы: «“Тоннель” этот находится в Лобил-Пас, это проход в Альпах, выкопанный в Альпах узниками Маутхаузена, чтобы немецкие танки могли достичь Адриатики в любое время года. История рассказана одним из узников, случайно пойманным парижским уличным мальчишкой, сводником своего рода. Автор, Андре Лаказ, превращает свою жизнь в лагере в повествование, которое и ужасает, и воодушевляет. Единственная значимая для героя идея — выживание его друзей, лишь немногие из которых остались в живых». Луиза перебила: «Это была любимая книга моего отца. После его смерти мать хранила ее на тумбочке возле кровати. Я узнала ее по темно-красной обложке. Я тоже не читала ее. Можете вы ее мне одолжить?»

Она продолжила без перехода: после психоанализа один симптом сохранился, но она не придала ему значения. Она не могла водить машину, хотя давно сдала на права. Муж часто из-за этого шутил над ней, говоря, что ей не хватает мужества. Она оправдывалась болью в спине, никогда ее не оставлявшей. «С каких пор?» — спросила аналитик. «Ох, вероятно, со времени изнасилования», — просто ответила Луиза. Это мимолетное замечание сразило аналитика. Как она могла, уже слышав эту историю, успокоенно верить, что, только будучи проговоренной, она может запечатлеться?!

Боль была на месте, преданно ожидая. Но на этот раз аналитик и пациент вместе были на том месте, куда привел их «Тоннель». Аналитик попросила Луизу снова все рассказать, поскольку поняла, что в силу невежества и небрежности, в том числе и по отношению к ее собственной истории, она позволила себе

говорить об ужасах на обычном языке. Не была ли она сообщницей той самой интеллектуальной отстраненности, что позволяет сказать все, ничего не сказав, увековечивая идентифицированное нами повреждение дружости? В первый раз были с очевидностью увязаны убийство души и тела, объектом которого была Луиза, и научно организованное массовое убийство. Ужаснувшаяся своему стовору с этой банализацией зла, аналитик слушала более внимательно.

Тридцатью годами ранее Луиза была в кампусе университета. Ей нужно было вернуться в город, но, вместо того чтобы сесть на автобус, она села в машину по приглашению двух молодых людей, которых приняла за студентов. Она ясно помнит, что в тот момент сказала себе: «Не надо бы». Возможно, эти же слова сказал себе ее отец в схожих обстоятельствах. Они остановились перед каким-то домом в пригороде, и один мужчина вышел в поисках чего-то. Сегодня Луиза сказала себе, что в тот момент она еще могла убежать. Мужчина искал ружье, которое он теперь прижимал к ее спине, чтобы она не кричала. Машина быстро удалялась в сельскую местность, где один ее изнасиловал, пока другой прижимал дуло ружья к ее шее. Потом они выбросили ее из машины. Она зашла в кафе, где показалась себе слишком грязной, чтобы с кем-либо заговорить, чувствуя себя раздеваемой глазами посетителей. Она не могла набраться мужества кому-то позвонить.

Во время первого тура психоанализа аналитик не увидела достаточно ясно, что Луиза смотрела смерти в лицо. Полиция ограничилась тем, что поставила ее в известность о том, что в округе на свободе разгуливают мужчины, убивающие молодых женщин. Инцидент остался нераскрытым. Несколькими годами позже, задолго до начала психоанализа, когда она, узнав одного из преступников на улице, указала на него пальцем: «Это он!» — ее первый муж проигнорировал этот жест. Вскоре после этого эпизода она забеременела от первого мужа, у нее был выкидыш, она развелась и больше иметь детей не пыталась.

В этот раз аналитик не была стеснена идеалом нейтральности. Она тоже, как теперь было известно Луизе, с тех пор вошла в контакт с ужасным знанием, отпечатавшимся на теле: «Тоннель» ждал на перекрестке двух их историй со всей очевидностью вырезанного бессознательного. В первый раз Луиза принесла лагерные рисунки. Очень красочные, с удивительно четкими контурами, они изображали ужасы с юмористической отстраненностью, которая

до этого дня бросала вызов *Nacht und Nebel*¹, планировавшимся нацистами². Они были вдохновлены тем же источником, что и «Тоннель», а вовсе не зловещей подавляющей серостью, что виделась вначале аналитику. Впоследствии Луиза решила передать рисунки в местный музей Соппротивления.

Затем она решила рассказать всю историю (ее историю, историю аналитика и историю книги) брату и мужу с тем, чтобы проверить факты, столь надолго разлученные с памятью. Скрытые доселе факты объединили их как детей войны, а не просто как пассивных жертв драматических обстоятельств. Сегодня все они вернулись в родную провинцию, и ее брат живет отдельно.

Подведем итоги. Трагическое похищение отца с очевидностью не было причиной изнасилования Луизы и ее проблем. Что позволяет нам так говорить? Причинные связи всегда конструируются ретроспективно. Поэтому перед лицом Реального они не могут служить орудием терапии. Согласно тому, что Витгенштейн называет «глупым предрассудком нашего времени»³, для того чтобы начать перемены, требуется лишь объяснить и понять нечто. Мы безостановочно производим понимание и причинность: как из пулеметов вылетают из нас «почему» и «как», как шутит Салливан⁴; а там, где объяснения не находится, мы вынуждены брать

¹ «Ночь и Туман» — в одноименном фильме Алена Ресне (1957) были показаны рисунки из архивов Окончательного решения.

² *Nacht und Nebel* (Ночь и Туман) — так немцы называли узников — участников антифашистского Соппротивления в оккупированных нацистами странах, среди которых было немало интеллектуалов. Их семьям не сообщалось о депортации, так что родственники считали их погибшими. Возможно, этот факт лежит в основе необычного названия, почерпнутого из поэзии Гете: эти узники должны были исчезнуть, раствориться в ночи, в тумане. — *Прим. пер.*

³ *Витгенштейн Л.* Заметки о «Золотой ветви» Дж. Фрэзера // Историко-философский ежегодник: 89. М., 1989. С. 254. Витгенштейн говорит: «Возможно ли, чтобы огонь или сходство огня с Солнцем не произвели впечатления на пробуждающийся человеческий дух? Но вовсе не потому, что “он не умел объяснить этого явления” (глупый предрассудок нашего времени). — Ибо разве объяснение сделает его менее впечатляющим?.. После описания подобного магического лечения всегда можно было бы сказать: если болезнь не понимает *этого*, то я уж не знаю, *как* еще ей растолковать» (Там же).

⁴ «В человеческом мире объяснения почти любому действию любого человека добыть очень легко. Все, что требуется, это спросить: “И почему же ты это сделал?” — и он строчит словами и предложениями, подобно пулемету; а если ты уйдешь, он продолжит словоизвержение в письме для довершения демонстрации того, как невыразимо легко он поддается самообману на тот счет, что

вину на себя или проецировать ее на козла отпущения, индивидуального или коллективного. Здесь нас одолевает трагический изъян¹, воплощая неизбежность слепой судьбы, доставшейся всей большой семье.

Но Луиза во второй раз могла сказать определенно больше о «е изнасиловании»: это не было больше краткой новостью, упомянутой лишь для объяснения того, что случилось после, но оно не было и судьбой, трагически настигнувшей ее в результате испытаний отца. Сказанное изменилось из-за книги аналитика. Изменилась сама манера, с которой аналитик слушала. Резонанс был подхвачен и усилен, и перенос определенного знания осуществился.

Итогом испытаний, выпавших на долю Луизы, стало ее погружение в состояние полной оставленности, знакомое и ее отцу, и брату, и матери. Они выжили и оказались связаны этим друг с другом, обрета то знание, что оставалось невыговариваемым. Мы называли это знанием Реального, знанием без субъекта. Такое знание может поддерживаться только множественным телом. Аналитики часто пренебрегают этой уникальной конфигурацией, до тех пор пока жизнь не вынуждает их временно вернуться к ней, чтобы посмотреть в лицо той упрямой Вещи, что воплотилась в душах или телах, слишком для нее маленьких, пока не найдется *терапевт*, способный поместить ее в историю и тем самым испытать ее и прочувствовать.

На уровне рассказа, не совпадающего с историей, боль в спине Луизы исчезла. Она начала водить машину, даже микроавтобус, когда они переезжали. Она решила платить за сеансы наподобие детей Терезина. Поскольку денег у нее было немного, она приносила аналитику хорошее вино и гусиную печень из ее родной провинции. Аналитик отвечала согласием на еду.

Анализ аналитика дал возможность утвердить воздействие впечатлений (вроде тех, что оставила первая встреча с Луизой) и поставить эти впечатления под вопрос. Уместно вспомнить, что Ла-

он знает, что делает, — и это все, что, по-видимому, требуется большинству людей для ощущения комфорта» (*Sullivan H.S. The Fusion of Psychiatry and Social Science. NY: Norton, 1971. P. 206*).

¹ В греческой трагедии изъян в семейной или клановой генеалогии или в герое называется *hamartia* (от *hamartano*, буквально «промахнуться»). Этот изъян потому трагический, что влияет на всех членов рода без разбору, как на жертв, так и на палачей (см.: *Sand S. La faute tragique. Paris: Maspero, 1978*).

кан всегда утверждал, что учебный, дидактический психоанализ — не что иное, как личный психоанализ аналитика, дающий ему возможность проанализировать истоки желания стать той личностью, которой адресованы симптомы. Возможно, здесь можно прояснить одну из его загадочных формул: аналитик — это тот, кто идентифицируется со своим симптомом. Не есть ли это признание того, что дидактический психоанализ разворачивается образом, похожим на учебу знахаря индейского племени Сиу? Здесь изъян, призывающий его к месту речи, к «словам племени»¹, признан с самого начала. В дидактическом анализе, но также и когда он имеет дело с подобным трудным пациентом, для восстановления воедино фрагментов разрушенных репрезентаций у аналитика есть только такое шаткое основание.

Сны, говорящие «нет»: сновидчество в тоталитарной ситуации²

Последствия тоталитарных режимов иногда чувствовались и после падения империй. Аналитикам приходилось практиковать свое ремесло в наихудших условиях диктатуры, например в Аргентине, где для сеансов нужно было заранее выдумывать какой-то извинительный предлог в случае, если нагрянет полиция. Зачем эта зловещая нота в обсуждении практики, для самого существования которой нужна свобода речи? Причина в том, что психоаналитический дискурс в любой своей форме есть по преимуществу анти-тоталитарное орудие, поскольку он утверждает место свободного другого — неважно, до какой степени ограниченного. В таких крайних случаях сумасшествие — его лучший друг. Например, психоаналитики Марен и Марсело Винар описывают, как в обстоятельствах одиночного тюремного заключения в Уругвае одному узнику удалось пережить пытки потому, что он был способен вызывать у себя галлюцинации частых визитов своих друзей³. Когда он вышел на свободу, друзей поразила та убежденность, с которой

¹ *Mallarme S.* Le Tombeau d'Edgar Poe. Paris: Gallimard Pleiade, 1961.

² См.: *Gaudilliere J.-M.* Rever en situation totalitaire // Critique. 1997. Vol. 603/604. P. 641–650.

³ *Vinar M., Vinar M.* Exil et Torture. Paris: Denokl, 1989.

он благодарил их за их визиты, — прежде всего потому, что на рациональном уровне они не только не могли встретиться с ним в тюрьме, но даже не могли и представить себе такую встречу.

Сумасшествие поэтому иногда — единственно возможная расщелина в плотности Реального. Скорее инструмент, чем судьба, оно прорывает тотальный, или тоталитарный, порядок: это одновременно симптом и способ выхода, особенно тогда, когда вся мыслимая живая речь намеренно исключается убийством людей, тела и души. Ведь никому не приходится выбирать тот рот, тот сон или ту галлюцинацию, которые скажут «Нет». Мы вовсе не утверждаем здесь, что сны «знают» об отрицании, совсем наоборот: сам акт сновидения может стать тем «Нет», которое направлено в адрес пытающихся воспрепятствовать снам. Речь идет прежде всего о снах, которые говорят «Нет» атакам на бессознательное. Верно и обратное: травмированную личность можно довести до сумасшествия, препятствуя ее снам с помощью химических препаратов¹. Поэтому иногда летопись истории ведется в снах, ожидающих того, кто мог бы придать им голос.

В 1933 году доктор К. возвратился домой после долгого рабочего дня. Он присел и, усталый, задремал. Ему снится, что он должен лечить Гитлера и соглашается на это. Он просыпается, рыдая. Шарлота Бератт², молодая немка, собрала с 1932 по 1938 около трехсот подобных сновидений, либо прямо ей рассказанных, либо полученных при посредстве друзей, докторов, прислуги, священ-

¹ Барруа пишет: «Мы все знаем о большой вероятности, с какой нейролептики, бензодиазепины и многие другие психотропные субстанции изменяют разные фазы сна. Хорошо известны нарушения сна при психотравматических синдромах, и ясно, что любое медикаментозное вмешательство в структуру сна существенно изменит активность сна... Я предположил, что эта ночная активность галлюцинаторно-онейрического типа (кошмары травматических неврозов) буквально блокировалась психотропными медикаментами, действующими на различные ответственные за сон мозговые структуры, как если бы на образы или прорывы травматических сцен и неконтролируемые проявления воспоминаний оказывалось давление или накладывались внутренние ограничения... В результате лечение должно начинаться прямо с первых секунд интервью — проявлением безусловного приятия всего, о чем говорит субъект... Антипсихотическое лечение сопряжено с риском подтолкнуть субъекта к долговременному развитию болезни» (*Barrois C. Psychoses aiguës, subaiguës et au long court. Complications et expressions des syndromes psychotraumatiques (ou PTSD des auteurs Nord Américains) // Annales Medicopsychologiques. 1998. № 156. P. 33).*

² *Beradt C. The Third Reich of Dreams. Chicago: Quadrangle, 1968.*

ников, ожидающих эти истории, не зная как или почему. Они были неоценимыми посредниками, сплетающими связь между незнакомыми друг с другом сновидцами и ошеломленными читателями этих текстов, опубликованных в 1960-х годах. В снах запечатлены факты, не только не вошедшие к тому времени в исторические учебники, но даже и не рассказываемые как просто истории, — факты, которые большинство людей не хотело или не способно было видеть. Подобно травматическим сновидениям, пытающимся запечатлеть воздействие Реального, эти сновидения лишены субъекта, но упорно стараются его создать. После Первой мировой войны Фрейд провел ясное различие между такими снами и снами желания¹. Это сны, которые просил подвергнуть психоанализу Витгенштейн, провозгласив себя главным учеником Фрейда: когда он вернулся с фронта, такого рода сны одолевали его, как и всех других.

Шарлота Берадт тщательно сличила тексты этих снов. По мере того как тоталитарная машина постепенно раскрывалась, она декодировала очевидные знаки: Гитлер мог стать дядей Генри, Нацистская партия — Семейей. Свои заметки она хранила в книгах своей библиотеки, а когда ситуация стала невозможной, в 1938 году покинула Германию. Ей удалось переслать все эти книги в Соединенные Штаты. Несколько лет спустя, сначала в Мюнхене, а затем в Америке, она опубликовала свои заметки, сопроводив их захватывающим предисловием. Берадт входила в тесный круг немецких друзей Ханны Арендт и ее мужа во время их нью-йоркского изгнания. Мы достаточно знаем о настроенности, с кото-

¹ Фрейд пишет: «Если сновидения травматических невротиков возвращают больных так регулярно в обстановку катастрофы, то они во всяком случае не являются исполнением желания, галлюцинаторное осуществление которого сделалось функцией при господстве принципа удовольствия. Но мы должны допустить, что они осуществляют другую задачу, разрешение которой должно произойти раньше, чем принцип удовольствия начнет осуществлять свое господство. Эти сновидения стараются справиться с раздражением посредством развития чувства страха, отсутствие которого стало причиной травматического невроза. Они проливают, таким образом, свет на функцию психического аппарата, которая, не противореча принципу удовольствия, все же независима от него и кажется более первоначальной, чем стремление к удовольствию и избегание неудовольствия. *Здесь было бы уместно впервые признать исключение из правила, что сновидение есть исполнение желания*» (Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия // Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. Сб. статей. М., 1992. С. 224—225). Курсив наш. — Ф.Д. и Ж.-М.Г.

рой они относились к психоанализу, чтобы по достоинству оценить их поддержку этой публикации¹.

Не будучи психоаналитиком и не пережив лично ад лагерей, Берадт подчеркивает отчетливое различие между снами, называемыми ею политическими, и снами, привычно разбираемыми в классическом психоанализе в качестве прямого пути к бессознательному и вытесненным желаниям. Описания политических снов очень точны, в них не привлекаются ассоциации, и, когда они возвращаются к сновидцу через несколько лет, текст остается неизменным почти до последней запятой. Они образуют часть Реального и не предполагают работы метафоры и метонимии, управляющих недомолвками истины в снах вытесненного желания.

Несмотря на их ясность и близость социальному здравому смыслу, собранные Берадт сны необходимо включить в число тех травматических снов, что никогда не поддавались интерпретации в терминах снов, призванных исполнить желания. Их четкость рождает впечатление, что аналитический дискурс втайне стремился разработать теневого язык в той самой стране, где тоталитаризм хотел управлять всем вплоть до сновидений². Ее книга называлась «Третий рейх сновидений». Она сильно рисковала, и несомненно, что именно близость опасности обусловила силу ее комментариев и дала ей мужество продолжать.

В рассказываемых ею снах мы слышим плач камней взорванных повсюду домов, рыдания окон, закрытых колючей проволокой, рев громкоговорителей, приказывающих людям маршировать на ногу, дрожь тел, над которыми шпионят и надсмехаются. Травмирует не только событие, но и искажение информации, превращающее тело в убежище противящихся посланий на пороге речи, на границе абстрактного и конкретного. Вещи говорят на сцене, отличающейся от сцены вытесненного бессознательного, ведь другой либо не отвечает, либо выкрикивает абсурдные и убийствен-

¹ Об этом вспоминает мать парижского психоаналитика, проведшая часть итальянских каникул вместе с Арендт и Берадт, которые говорили о том, что нужно опубликовать эти сновидения, собранные во время нацистской оккупации.

²См.: *Gaudilliere J.-M.* Rever en situation totalitaire // Critique. 1997. Vol. 603/604. P. 641–650. Райнхарт Козеллек пишет, что нацистский лидер Роберт Лей в речи в Мюнхене 1938 года заявил, что только для спящего человека в Германии теперь возможна личная жизнь (*Koselleck R.* Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990).

ные требования. Именно этой дружости мы дали имя Реального другого. Фрейд также обратился к нему в то время, начав свою работу «Моисей и монотеизм» сразу после того, как его книги были сожжены и он прочел первые сообщения о концентрационных лагерях¹. Он использует пример преступления, о котором невозможно говорить, и ставит вопрос о субъекте исторической правды, возникшем там, где не осталось следов. Но остались почти конкретные впечатления, подобные тем, что производят крушение идолов, сумасшествие или невинность которых² составит анти-память в сокрытости времени.

Сон Витгенштейна

В эти же тревожные времена мы вновь сталкиваемся с Людвигом Витгенштейном, три старших брата которого покончили жизнь самоубийством. Четвертый — пианист Пауль — лишился правой руки во время Первой мировой войны. Равель написал для него фортепианный концерт для левой руки. В 1929 году, после десятилетнего перерыва в философской работе, Людвиг оставил Австрию, вернулся в Кембридж и увидел сон, который Берадт могла бы добавить к своей серии политических снов. Мы знаем о нем из письма Витгенштейна своему другу, Морицу Шлику, которому он решил рассказать о своем сне³. В центре сна — человек, который

¹ *Schur M.* Freud, Living and Dying. Madison, CT: International Universities Press, 1972.

² Четвертая сестра Фрейда — Долфи, всеми любимая старая дева, умрет от голода в Терезине. Мартин Фрейд описывает ее «обуреваемой впечатлениями или предчувствиями подступающих несчастий, что нам казалось нелепым и даже немного глупым» (*Freud M.* Sigmund Freud, Man and Father. NY: Vanguard, 1958. P. 16). В своем простодушии Долфи поэтому видела то, что многие не хотели видеть, — вещи, запечатлеваемые в собранных Шарлот Берадт снах ночь за ночью: «Помню, мы гуляли с ней как-то в Вене и прошли мимо обычного прохожего, не-еврея, не обратившего на нас внимания. Я счел это патологической фобией или глупостью, когда Долфи в страхе сжала мою руку и прошептала: “Ты слышал, что этот человек сказал? Он назвал меня грязной вонючей еврейкой и сказал, что нас всех пора убить”» (Там же).

³ *Monk R.* Ludwig Wittgenstein. The Duty of Genius. NY: Penguin, 1990. Получивший аристократическое образование Витгенштейн поддался соблазну эмигрировать в 1935 году в Советскую Россию, откуда он, разочарованный, спешно вернулся.

оказывается одновременно евреем и профсоюзным лидером, с образованием, типичным для богатого шотландского лорда. Внезапно этот некто на мотоцикле открывает огонь по велосипедисту, затем по девушке, которых люди видят корчащимися на земле и умирающими. В конце Витгенштейн пишет Шлику, что он смущен своим еврейским происхождением и что он сам находится в положении этого человека.

Что особенно интересует Витгенштейна в своем сне — это имя человека, последовательные деформации которого в тексте проходят через линии разрыва, отмеченные идеологиями и социальными движениями прошлого века. Сначала его зовут Вертсаг, несколькими строчками ниже — Верзаг (по-немецки *verzagt* означает обескураженный). *Versagung* — именно то слово, которое Фрейд использует для обозначения отказа от реальности. В то время, хотя Витгенштейн и переехал в Англию, от него не ускользнули антисемитские угрозы, нараставшие в его родной Австрии. Послание этого сна распространилось более широко в 1937-м, когда после возвращения из России, в беседах с несколькими друзьями он выступил со срочным признанием. Он сообщил, что его семья в XIX веке отказалась от еврейского происхождения и что он сам никогда не испытывал желания избавиться от того аристократического титула, который был дарован его семье королевской особой¹. Дело происходило в период, ведущий к аншлюсу².

В свою очередь, мы пишем свой текст в Европе накануне XXI века. В разговорах с нашими родителями, которые так и не смогли — вопреки амнистиям — примириться с происшедшим, мы постоянно возвращались к тем ущербным строкам, что были начертаны всеми тоталитарными режимами прошлого века. Ханна Арендт обратилась к этим событиям и их истокам как историк и как философ. Она описывает Реального другого, на которого мы постоянно наталкиваемся в этом тексте и который время от времени оказывается в состоянии рекрутировать психоанализ для своих институциональных целей, как, впрочем, и все остальное. На фоне такого геноцида вопрос, которым задается Иоланде Мукагасана, чей муж тутси и трое детей были убиты во время резни в Ру-

¹ *McGuinness B. Wittgenstein: a Life. Vol. 1: Young Ludwig (1889–1921). London: Duckworth, 1988.*

² *Rhees R. Recollections of Wittgenstein. London and NY: Oxford University Press, 1984.*

анде, состоит в следующем: когда все следы стерты, что может побудить человека продолжать запечатлевать — даже вопреки всем резонам?¹ Вопрос, который интересовал Фрейда.

Фрейд, испытавший на себе неблагоприятность двух тоталитарных режимов, прекрасно понимал, насколько далеки инструменты классического психоанализа от ответа на этот вопрос, поскольку процесс вытеснения и его преодоление предполагают непрерывность цепи означающих. Убийства и разрушения, организованные во имя псевдонауки миллионами преданных людей, включая иногда и хорошо известных ученых, эту цепь разорвали. Во имя первенства коллектива бесчисленные случаи резни наслаиваются друг на друга. В поисках ответа на этот вопрос Фрейд имел все основания отвергнуть понятие коллективного бессознательного, которое вносит путаницу, способствующую распространению мнимой аргументации тоталитаризмов.

Однако ему было необходимо описать бессознательное, ждущее своего часа, чтобы запечатлеть историю на руинах речи. «Нелегко перенести концепции психологии личности в групповую психологию; и я не думаю, что мы добьемся чего-нибудь введением понятия “коллективного” бессознательного. Содержание бессознательного действительно является коллективной, всеобщей собственностью человечества в любом случае», — пишет он в «Моисее и монотеизме». Что он имеет в виду?

На основе травматических снов и мифа о травматической истории книги Берадт «Третий рейх сновидений» и Фрейда «Моисей и монотеизм» практически и теоретически подтверждают, что, приближаясь к Реальному, два эти поля сливаются в одно; что субъект, созданный аналитическим дискурсом в тисках Реального, как и в анализе сумасшествия, есть субъект исторической правды, отсеченной от истории. Другость надежды равна этим ставкам.

То же самое опоздание, что обрекает военные травмы ждать в средоточии возможного запечатления, замораживает голоса, исходящие из тоталитаризмов XX века. Все это время эти вопросы считались коллективными, а потому чужеродными для психоаналитического дискурса, торопливо помещенного в регистр индивидуальности. Вся клиническая работа, которую мы здесь показываем, все «факты», возникающие из вырезанного бессозна-

¹ *Mukagasana Y.* La mort ne veut pas de moi. Paris: Fixot, 1997.

тельного, не выдерживают этой итоговой дихотомии. Наш опыт свидетельствует, что такие дихотомии к делу не относятся. Чтобы им подчиняться, психоанализ согласен маршировать под политически корректную мелодию момента.

Военная психиатрия нацистов¹

Психиатры Третьего рейха также сильно интересовались психическим здоровьем бойцов и коллективов. Полученным результатам так завидовали некоторые английские психиатры, что они допрашивали немецких пленных об их методах отбора офицеров и о секретах столь ослепительной психической формы. В этом смысле нацистская военная психология была гротескным контрпримером принципов Сэлмона.

В 1936 году, после отъезда еврейских психоаналитиков, Немецкое психоаналитическое общество «милостиво»² предложило нацистским идеологам Психоаналитический институт Берлина, переименованный в Немецкий институт психологических и психотерапевтических исследований, которым руководил Матиас Геринг, двоюродный брат маршала Геринга. Он лично надзирал за душевным здоровьем офицеров Люфтваффе, пока Вернер Кемпер³ разрабатывал директивы в отношении мер по предотвращению военных неврозов у пехоты. Необходимо было также изобрести технику быстрой терапии, определения и поимки солдат-гомосексуалов и изучить воздействие воздушных налетов на население. Короче говоря, институт был провозглашен стратегически важным по причине своей решающей миссии: определить основания и законы развития индивидуальной и коллективной личности.

¹ См.: *Brecht K., Friedrich V., Hermanns L., Kaminer E., Juelich D.* Hier geht das Leben auf eine sehr merkwürdige Weise weiter. Zur Geschichte der Psychoanalyse in Deutschland. Hamburg: Kellner, 1985.

² *Colonomos F.* L'Institut de Psychanalyse de Berlin avant 1936 // Contribution à l'histoire de la psychanalyse en Allemagne, 1907–1960. Paris: Association Internationale d'Histoire de la Psychanalyse, 1987. P. 106

³ Он оставался влиятельным в Бразилии (см.: *Besserman V.H.* Politique de la psychanalyse face à la dictature et à la torture. N'en parlez à personne. Paris: L'Harmattan, 1997).

В 1944 году Геринг прочел лекцию о вкладе психотерапии в дело войны в целом, где упомянул исследования в области этнопсихологии. В этой ситуации, активно насыщенной пропагандой, чем же были заменены принципы Сэлмона на немецком фронте? Близость, понятая здесь как подозрительная интимность, связывалась с опасностью психического заражения. Вот почему было строго рекомендовано, чтобы дефективные индивиды — этот вирус, угрожающий эффективности группы, — удалялись как можно дальше, без возможности вернуться. Роль психиатра поэтому заключалась в диагностировании слабых, тревожных и истеричных личностей и немедленной их отсылке в тыл. Неотложность была связана со скоростью выполнения этих приказов, а также с групповым наказанием непокорных солдат, число которых все время увеличивалось. Уверенность — то, что их ожидало, — в лучшем случае сводилась к быстрой и эффективной терапии посредством переобучения. В случаях рецидивов или сильных деформаций характера медикам было рекомендовано предпринимать особые меры¹.

Когда сумасшествие, в свою очередь, видит психоанализ милостиво предложенным идеологией момента, оно знает, что это принято с целью уничтожения открытия Фрейда, точнее говоря, измерения переноса, в котором история родословной аналитика не могла быть устранена.

Передавая секреты

Путешествуя по Аляске², аналитик регулярно звонил Жозефу³, когда тому становилось совсем плохо. Именно там коллега дал ему статью, озаглавленную «Раскрывая секреты»⁴ и написанную ант-

¹ См.: *Shephard B. A War of Nerves: Soldiers and Psychiatrists in the Twentieth Century*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000.

² В 1984 году нас пригласили на конференцию «Процессы усиления влияния коренных народов» в рамках Летнего института по кросс-культурным исследованиям в Колледже человеческого и сельского развития Университета Аляски, Фэрбенкс. Некоторые материалы конференции опубликованы в книге: *Mohatt G., Eagle E.J. The Price of a Gift. A Lakota Healer's Story*. Lincoln, NB: University of Nebraska Press, 2000.

³ Один из пациентов, анализ которого лег в основу книги. — *Прим. пер.*

⁴ *Ridington R. Telling Secrets. Stories of the Vision Quest // Canadian Journal of Native Studies*. 1982. № 2. P. 213–219.

ропологом-индейцем атхапаскан с северо-запада Канады¹. В статье тайные ужасы детства осмыслены как испытание для мифов общности, при условии, что они связаны с видениями, пришедшими из того, что средневековая литература называет диким пространством или местом Безрассудства², в котором ребенок проводит какое-то время в одиночестве. Когда он возвращается, его слова входят в театр сновидения, что снилось о нем старейшине во время его отсутствия. Старейшина рассказывает ему этот сон.

Поддерживаемый этим, взрослеющий молодой человек придаст секретам своего детства форму, позволяющую передать их все более широкому кругу людей. Постепенно он сам станет старейшиной. Однажды, на основе этого момента воссозданного для других ужаса, ставшего связующей нитью между новыми поколениями и общностью, придет его очередь быть призванным на место сновидца, чтобы воспринять тайные видения другого ребенка. В этой социальной связи передачи сновидений, называемой путем передачи секретов, история происхождения переплетена с историей рода.

Этот обычай его народа, описанный антропологом, соединяется с краткими моментами означающих совпадений, в которых аналитик сталкивается с пациентом, исходя из его собственного знакомства с неясными зонами на подступах к Реальному. Аналитик тем самым оказывается способным распознать связь, соединяющую аналитиков Реального с друг другом в изнурительной передаче от поколения к поколению.

В клинической практике такие сны передачи также происходят из пространства чуда — дикого пространства атхапасканов, леса, в который средневековая литература помещала работу сумасшедшего. Рыцарь входит в лес, встречается там фей, теряет счет дням и сражается с чудовищами. Он рискует жизнью, как и Жозеф, Тристан, Гильда, Жак, Луиза, Анри, Эдвидж, Огюст, Синий Цветок, Эрнест³ ... и их аналитики, чтобы служить табличкой, на которой написаны несчастья века так, чтобы обеспечить возвращение слов

¹ Нам сказал об этом Арт Блю, Ph.D., также атхапаскан по происхождению, работающий на факультете исследований коренных народов в Университете Брэндона (Манитоба).

² *Fritz J.M.* Le discours du fou au moyen-âge, XII–XIII^e siècles. Etude comparée des discours littéraire, médical, juridique et théologique de la folie. Paris: PUF, 1992.

³ Авторы перечисляют здесь пациентов, истории которых легли в основу их книги. — *Прим. пер.*

в социальную связь, где они, в свою очередь, образуют мифы и истории для передачи будущим поколениям, жизненные ресурсы против возврата Реального. Очень просто.

* * *

Мы говорили о подходах к Реальному и о формах, обнаруженных на его границах. Это связано с рождением субъекта говорения, субъекта рассказа, вырезанного из истории. В рассказанных здесь случаях был воссоздан шанс увидеть эти редкие моменты: это задача «жесткой реальности вымысла», о которой говорит блестящий французский клоун Раймон Дево¹. Эти истории далеки от того, чтобы быть буквальными стенограммами событий. Эфемерные и временные — подобно произведениям искусства и медицины, созданным из песка, — все конструкции, развиваемые в анализе, изнашиваются и разрушаются. Удивительным образом аналитические ухищрения, что давались с таким трудом, испаряются. Интерпретации, что казались убедительными, в ретроспективе, в отрыве от момента и вне контекста переноса видятся бесполезными. *Verba volant*².

Как если бы остатки Реального, извлеченные из-под камней истории, вызвали к аналитику — звуки и слова, схваченные на взлете. Они — прелюдия к парению субъекта. Как только все эти оглушающие молчания становится возможным выразить и запечатлеть, аналитик оказывается разжалован до статуса игрока. Отброшенный за ненадобностью, он не ждет ни признания, ни дивидендов от успеха или вложения. Все, что он может, — рассказать историю. От такого анализа остается что-то подобное следу в небе от перелетной птицы: с его помощью можно следить за временем и временами года и слушать песни, которые, казалось, давно умолкли. Для некоторых людей, пациентов или аналитиков, что долгое время сохраняют бдительность, привычна чувствительность к окостеневшим посланиям, утратившим и форму, и следы происхождения, — к этим следам исчезнувших миров, вырванных из при-

¹ *Devos R. À plus d'un titre. Paris: Olivier Orban, 1989.*

² *Verba volant (лат.)* — «слова улетают», часть поговорки «*Verba volant, scripta manent*» («Слова улетают, написанное остается»). — *Прим. пер.*

ПАМЯТЬ БОЛИ

вычных и вымышленных вселенных разума¹. Их оживление формирует новую социальную связь. Они, в свою очередь, стали внимательны к молчаниям здравого смысла и не боятся на лету схватить замороженные слова, вырезанные слова без уст или субъекта, что томятся там, где сходятся моря.

¹ В прошлом во Франции выражение «livre de raison» («книга разума») относилось к тетради, которую получала невеста для записи расходов по дому; разум, от латинского *ratio*, здесь означает расчет. Но в каких-то крайних ситуациях эта тетрадь могла стать и рукописью, в которой запечатлевались увеличивающиеся опасности или распространение ужасов войны. Анна Ла Фонтен, парижский психоаналитик, показала нам тетрадь своего деда, сделавшего ее собеседницей в войне 1914 года в бессознательной надежде, что его внучка сможет открыть когда-то эту тетрадь и стать психоаналитиком, вслушивающимся в сегодняшнее звучание этого текста.

Елена Трубина

Феномен вторичного свидетельства:

Между безразличием и «отказом
от недоверчивости»

«Дело» никогда не будет решено —
или не перестанет подлежать разреше-
нию.

Ж.-Ф. Лиотар

В поисках визуализаций отечественных коллективных травм я нашла обычный вроде бы сайт, посвященный ГУЛАГу: черный фон заставки, белая колющая проволока, кроваво-красные буквы¹. Однако нейтральное, подробное объяснение того, чем оборачивалась статья № 58 Уголовного кодекса 1926 года для наших соотечественников, здесь соединено с чьей-то личной историей. Эпи-



Заставка на первой странице сайта

¹ См.: <http://ieie.nsc.ru/gulag/gulag1.html>

зоды лагерной жизни («Избитую до полусмерти и к тому же раздетую, меня отвели в “холодную”. Сквозь незастекленное окошко в камеру намело снега. На улице в тот день было 54 градуса мороза») сопровождаются карандашными зарисовками. Героиня на них изображена хрупкой молодой девушкой, а характер одного рисунка заставляет вспомнить бумажных кукол, каких мы рисовали в детстве: огромные глаза, тонкая талия. Узнавая, чем были чреваты для осужденной первый, второй, двенадцатый параграфы знаменитой статьи, можно взглянуть в детали быта («четезухи» —



Рисунок Е. Керсновской

жуткие неподъемные ботинки из автомобильных покрышек, изготовляемых на Челябинском тракторном заводе), вслушаться в суждения о тех, с кем сталкивала рассказчицу лагерная жизнь. Морализирование («И нельзя сваливать вину за все преступления на Петрова, Иванова, Сидорова и т.д. Ведь во всех этих преступлениях есть и наша вина, наша агнецкая покорность и молчание, наша трусость и страх. Мы сами виноваты в том, что с нами произошло в прошлом, и в том, что с нами происходит в настоящем. Мы сами

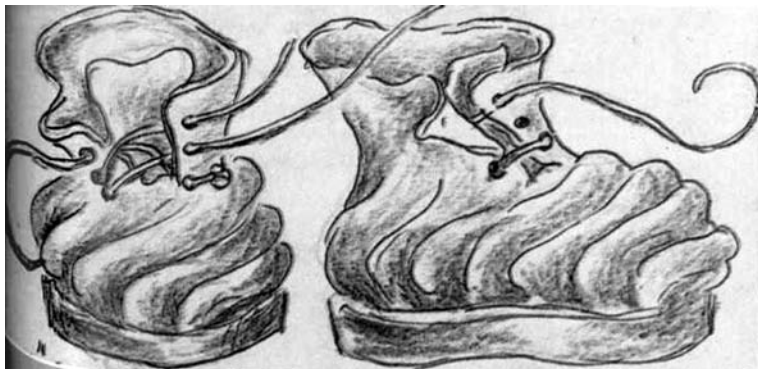


Рисунок Е. Керсновской

себя наказали») сопровождается все новыми деталями лагерного быта:

Как только из кухни выносили пищевые отходы, группа «доходяг» — человек пятнадцать — застывала в положении «стойка». В числе первых делал «стойку» профессор Николай Николаевич Колчанов — оратор, способный очаровать и увлечь любую аудиторию своими вдохновенными речами. Стоило лишь «кухонным мужикам» удалиться, как все эти голодные, обезумевшие люди кидались к отливу и, отталкивая друг друга, выгребали руками рыбную чешую, пузыри и рыбы кишки, заталкивая все это поспешно в рот.

Согласимся: трудно представить знакомые нам типы «людей Сети» (подростка, проводящего полжизни в чатах и форумах; успешного интеллектуала, периодически сгружающего на свой ноутбук новый технотриллер Клэнси; финансиста, отслеживающего котировки; или индивида, подсевшего на поиск и скачивание «развлекательного контента») даже вбивающими в поисковик слово «ГУЛАГ», не только вчитывающимися в отрывки, подобные приведенному. Школьники, которым *задали*, политические активисты, родственники погибших и сгинувших — такие категории возможных посетителей подобных сайтов приходят на ум, и возникает вопрос о неизбежной, наверное, сегодня непредсказуемости рецепции как документов, так и художественных воплощений трагического опыта.

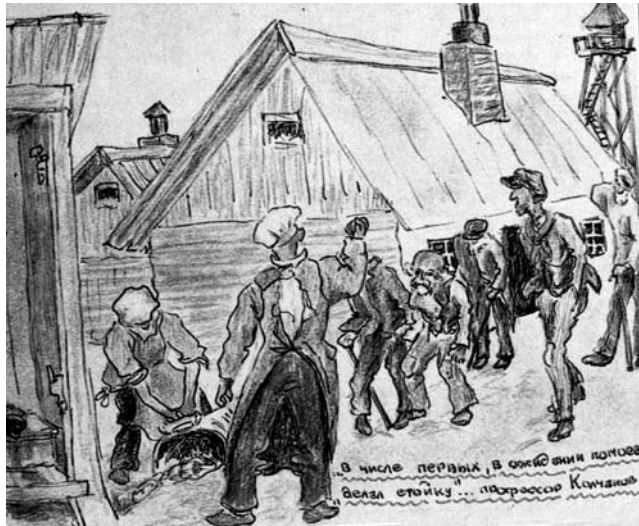


Рисунок Е. Керсновской

С этой тенденцией сталкиваются те из сегодняшних художников и авторов, для кого память становится импульсом, источником, предметом, иногда и кошмаром творчества и кто, так или иначе, участвует во «вторичной» репрезентации травматических событий, включая, в качестве одного из существенных моментов, в свои произведения сложность работы памяти, многократно опосредованной предшествующими ее воплощениями. «Вторичность» современной художественной и интеллектуальной репрезентации истории, прошлого, памяти проистекает, прежде всего, из неизбежного поколенческого разрыва между теми, кто катастрофы XX века непосредственно претерпевал и вынужден был свидетельствовать о своем опыте, и теми, кто, такого опыта не имея, счел его личным вызовом — по семейным, этническим, идеологическим, художественным причинам. В статье и пойдет речь о таких вторичных свидетельствах и их рецепции в сегодняшнем интеллектуальном и художественном контексте. Одна составляющая этого контекста — то обстоятельство, что живых носителей памяти о ключевых травмах XX столетия остается все меньше. Другая — то, что травмы предыдущего столетия сосуществуют, если не конку-

рируют, в памяти с травмами недавними. Третья — трансформации социальности, оттененные недавними травматическими событиями и описываемые аналитиками с разной степенью апокалиптичности как «распад общественных и семейных структур и связей»¹ и как «дезертирующий индивидуализм “расслабленных”»², как «обобществление частной жизни на фоне широкомасштабной приватизации социального измерения»³ и как возникновение «негероических сообществ»⁴. Сосуществование в публичном пространстве и в индивидуальной и семейной памяти старых и новых коллективных травм сопровождается пролиферацией и размыванием сообществ, которым репрезентации этих травм так или иначе адресованы.

Рецепция иных произведений сопряжена с сопротивлением читателя рассказываемому, его критичностью; в то же время предназначенные для массового потребления книга, игра или фильм сопряжены с «добровольным отказом от недоверчивости»⁵, что воплощается в полной поглощенности книгой, игрой, в забвении окружающего мира и самого себя. Сонм свидетельств травмы и имеющих к ним касательство визуальных артефактов, порожденных прошлым веком, предполагает специфический читательский настрой, прежде всего готовность выслушать или всмотреться, то есть впустить в себя сложные и тревожные содержания, которые могут лишить сна, обречь на тягостные раздумья. Публикой здесь в пределе оказываются все — те самые будущие поколения, о которых некогда с надеждой думали люди, поставленные в невыносимые обстоятельства, но обладавшие волей к свидетельству. Со-

¹ Уэльбек М. Мир как супермаркет. М.: Ad Marginem, 2003. С. 47.

² Панарин А. Постмодернизм и глобализация: проект освобождения собственников от социальных и национальных обязательств // Вопросы философии. 2003. № 6. С. 28

³ Рыклин М. Время диагноза. М.: Логос, 2003. С. 11.

⁴ Петровская Е. Антифотография. М.: Три квадрата, 2003. С. 105–198.

⁵ Термин, введенный английским поэтом-романтиком Сэмюэлом Колриджем. В 1798 году Колридж и Вордсворт опубликовали «Лирические баллады» (расцениваемые историками как начало английского романтизма). Если Вордсворт написал реалистические поэмы о простых людях, не требующие особых усилий для восприятия, то, считал Колридж, для понимания написанных им поэм «Кубла Хан», «Легенда о старом мореходе», предполагающих особую поэтическую веру в рассказываемое, читатели должны «добровольно отказаться от недоверчивости».

знательно вычеркивать себя из числа адресатов такого рода посланий вряд ли кто решится: слишком весома императивность обязанности помнить, которую налагают на себя современные общества. Однако, с моей точки зрения, нам еще предстоит набраться трезвости, чтобы проанализировать, что именно происходит со свидетельствами, с нарративами травмы, когда они попадают в публичную сферу, и какова реальная динамика процессов увековечивания и забвения травм в начале XXI столетия. Дело не только в том, что гедонизм консюмеризма и своекорыстная логика политического обрекает даже недавние травматические события на забвение: первый — не впуская «тревожное» в горизонт забот своего субъекта, вторая — его апроприацией в инструментальных целях. Дело еще и в том, что увековечивание, если оно происходит, по нарастающей осуществляется такими агентами и в таких формах, что бросает вызов и этической бесчувственности, и эстетической чувствительности публики.

Между надеждами на катарсис и невозможностью искупления

Вернемся к сайту о ГУЛАГе. Сайт, как многие у нас, — безымянный: имя его создателя не указано. Если с тем, что неизвестен также и автор текста, посвященного 58 статье, смиряешься легко (ибо такую мог написать кто угодно, от третьего лица, чтобы познакомить читателя с абсурдом сталинской юриспруденции), то невозможность узнать, чьи это рисунки и чьи это воспоминания, огорчает именно потому, что выполнены они от первого лица. Кто оно — это лицо? Жива ли она? Что побудило создателей сайта использовать именно ее воспоминания? Лежал ли в основе желания обнародовать ее свидетельства чей-то сыновний или дочерний долг? Или воспоминания и рисунки были привлечены, лишь чтобы оживить историко-юридический экскурс? Авторитетность морали, которую несет в себе экскурс (это не должно повториться!), подкрепляется здесь свидетельством очевидца, имени которого мы не знаем. Подкрепляется ли? Ботинки из автомобильных шин, бесконечные перемещения из лагеря в лагерь — что сообщит рассказ об этом тому, чью семью лагеря не коснулись? С каким уже впитанным опытом окажется сопряжен этот рассказ? Скажут: кос-

нулось всех, ибо, как известно, одних сажали, другие — сажали. Но именно этот исторический расклад и делает проблематичным исполнение той самой нашей *общей* обязанности помнить, о которой ритуально вспоминают в мемориальные дни. Погребенные под бездной *доступного* в Интернете — вызывают ли еще такие свидетельства к чему, добиваются ли чего?

Рассказчице удалось выжить, вернуться, рассказать о пережитом, но имя ее в процессе трансляции ее воспоминаний с одного медиума на другой исчезло. Работе наших идентификации и воображения нужны даты и названия, имена и подробности, в противном случае нам не за что зацепиться. А иногда нам и не нужно ничего, кроме имен. Сегодня немало говорится о минималистском, номиналистском, именовательном режиме, характерном для современного искусства. 58 169 имен погибших во Вьетнаме солдат, выбитых на черной полированной гранитной стене знаменитого вашингтонского мемориала, могут служить эмблемой этой тенденции. Поименное называние погибших и пропавших без вести потому так значимо, что это последний долг живых. Рассказчица понимала, что, называя тех, с кем столкнула ее лагерная жизнь, она спасает их от забвения. Но кто спасет от забвения ее? Не полностью представляя, где имели место описанные эпизоды, понимая, что нас знакомят лишь с отрывками, не зная имени рассказчицы, мы досадуем, но тем не менее вполне в состоянии поместить сделанное ею как в документальный контекст, так и в контекст эстетический. Соединение рисунков и подписей к ним является, возможно, одной из самых плодотворных художественных стратегий репрезентации травмы (я вернусь к этому ниже).

Листая страницы — параграфы статьи, терпеливый посетитель все больше узнает о судьбе рассказчицы. Упоминаются места заключения: Красноярск, Норильск, невольничий рынок Злобино. Ей довелось работать медсестрой в больнице и рабочей в морге, копать могилы и грузить бочки, заменять искореженные морозом рельсы. Упоминаемые рассказчицей другие — бывший стахановец, бывший тяжеловес, бывший профессор — называются поименно и изображаются уважительно. И безымянные солагерники: медленно истекающая кровью девочка, одиннадцать мокрых голых женщин, несколько часов ожидающих одежду из прожарки, даже «жмурики» — обо всех рассказывается сочувственно. Не обходится и без горького юмора:

ПАМЯТЬ БОЛИ

Мне предстояло закопать могилу, в которой помещалось двести пятьдесят трупов.

— Простите меня, братья мои! Это чистая случайность, что я еще не с вами.

Одна из последних картинок изображает рассказчицу припавшей к могиле, а ниже говорится:

Мама! Я выполнила твоё желание... И на кресте твоём клянусь: все, что здесь написано, — правда. А правда вечна. Но иногда эта правда ужасна. Может, такую правду лучше вычеркнуть из памяти? Но что тогда останется? Ложь, только ложь!



Рисунок Е. Керсновской

Пафос рассказчицы связан, скорее всего, с теми прозрениями, что принесла лагерная жизнь в отношении природы режима, поддерживающего в людях энтузиазм и веру изошренным манипулированием. Неслучайно одна из попыток описать лингвосоциальный эксперимент, масштабно реализованный советскими властями, называлась «Ложь как состояние сознания»¹. Вместе с тем рассказчица разворачивает, по сути, Фрейдову дилемму: вычеркнуть из памяти невыносимые воспоминания или вывести их на свет сознания и тем самым излечиться. Заметим в ее восклицании следы обета: «Мама! Я выполнила твоё желание!» Мы не знаем, в чем заключалось желание рассказчицы, но нам легко представить мать желающей дочери выжить. Однако можно прочесть это восклицание и так, что это мать хотела, чтобы дочь была *моральным* свидетелем пережитому, способствуя его конечному искуплению. В текстах выживших в нацистских и сталинских лагерях людей, которые, признаюсь, сливаются в моей читательской памяти в единое утрашающее повествование, памятна специфическая интонация *жертвы*: автор, исполненный решимости превратить себя во вместилище, в живой резервуар памяти, понимает, что психологическая цена воспоминаний будет, возможно, непомерной, но образ *искупительной жертвы* витает, кажется, в его сознании. Предельное событие, каким явился в одних случаях Холокост, в других — ГУЛАГ, мобилизует образность *священного*, позволяющую преодолеть разрыв между трагическим прожитым временем и временем вечности, наделяя свидетелей миссией сохранения увиденного и пережитого *для вечности*.

Вместе с тем истина, которую все мы почерпнули у Фрейда, заключается в том, что вытесненные воспоминания могут систематически вызывать неадекватное поведение субъекта. Страдающие от травматических воспоминаний могут чрезмерно сильно реагировать на события настоящего. В рассуждениях о травмах индивидов подчеркивается терапевтическая благотворность исцеления, состоящая в том, что прошлое, в плену которого находит себя индивид, его отпускает, и он может двигаться вперед, жить дальше. Об исцеляющей силе знания истины речь идет и в контексте коллективной памяти. Так, этот момент составлял немаловаж-

¹ Гусейнов Г. Ч. Ложь как состояние сознания // Вопросы философии. 1989. № 11.

ную часть дискуссий о «немецкой вине», о польском или французском прошлом в 1960–1980-х годах¹.

Бесспорно, что индивидуальная память подчинена законам бессознательного, тогда как функционирование памяти коллективной по преимуществу обусловлено нуждами функционирования политического режима, надежным способом легитимации которого является продуцирование таких репрезентаций прошлого, с которыми могло бы идентифицироваться максимальное число членов общества. Тем не менее подоплекой многих призывов реконструировать замалчиваемые воспоминания является убеждение в том, что если воспоминания публично не обсуждаются, если о них не знают, то, подавленные, они усугубят общественный невротизм. Французский философ Жан-Луи Деотт, размышляя, какой вызов традиционной эстетике бросило событие 11 сентября, справедливо подчеркивает, что исцелению должны подлежать и представители лагеря преступников — «анестезированные ликвидаторы».

Как излечить не только «лазарей»... выживших узников концентрационных лагерей, но и анестезированных, бесчувственных, чья идеология была «твердокаменной», от того факта, что они были предоставлены — или предоставили себя — в распоряжение тех или иных сил? Как вывести их из распорядка, при котором они превратились в инструменты, который привел к тому, что они ни о чем не жалеют, что они не говорят или же горды тем, что сделали?²

Если же травматические, вытесненные общественные воспоминания «открыть», если сделать их эксплицитными и сознательными, исцеление возможно. В противном случае прошлые травмы окажутся чреватými новой иррациональностью. Надежда на искупление, на социальный катарсис, который способна принести правда о прошлом, двигала многими узниками, часть которых стала свидетелями-авторами воспоминаний. Двигает она и создателя-

¹ *Habermas J.* Eine Art Schadensabwicklung. Frankfurt-am-Main, 1987 (The New Conservatism: Cultural Criticism and the Historians' Debate. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1989); *Nora P.* Realms of Memory: Rethinking the French Past. NY: Columbia University Press, 1996.

² *Деотт Ж.-Л.* Элементы эстетики исчезновения // Мир в войне. 11 сентября глазами французских интеллектуалов. М.: Прагматика культуры, 2003. С. 136–137.

ми архивов, и педагогами. Джеффри Хартман, создатель Фортун-оф-архива (в котором собраны видеосвидетельства переживших Холокост) в Йельском университете, подчеркивает, что особенно необходима эмоциональная общность слушателей и свидетеля. Только при этом условии, считает он, архив выполнит свою главную функцию — педагогическую¹. Даже беглый анализ Интернет-ресурсов, посвященных ГУЛАГу и другим коллективным травмам в нашей стране, убеждает, что второе и третье послевоенные поколения — дети и внуки тех, кто пострадал, причастны и к созданию сайтов, и к сбору воспоминаний, к их классификации, выкладыванию на сайты, поддержанию тех в порядке. Так, создана компьютерная база данных «Воспоминания о ГУЛАГе и их авторы»², куда занесены биографические и автобиографические публикации, вышедшие после перестройки.

Но опять-таки, как часто ресурсы, подобные этой базе, посещаются? Каковы их реальные социальные, в частности педагогические, функции? Как образуется и образуется ли в наших обстоятельствах эмоциональная общность между выжившими и живущими сегодня? На что надеется тот, кто жизнь посвящает сбору тяжелых, невыносимых свидетельств? Кто будет читать то, что тяжело слушать? Запишется ли на курс, посвященный травме, Холокосту, ГУЛАГу, тот, кто сам себя считает травмированным? Ведь то, что мы обнаруживаем себя в культуре, где желающих пожаловаться, представить свидетельство собственной виктимизации гораздо больше, чем способных выслушать, становится все более очевидным. На какие тогда болевые точки в студенческих душах будут нажимать преподаватели?

Ошибка создателей сайта о ГУЛАГе — отсутствие в нем имени автора воспоминаний и рисунков — может служить эмблемой того, что авторы таких непростых текстов, какими являются свидетельства о травматическом опыте, сближаются сегодня с большинством создателей философских, социологических и прочих тек-

¹ *Ballengee J.R.* Witnessing Video Testimony: An Interview with Geoffrey Hartman // *The Yale Journal of Criticism*. 2001. Vol. 14. № 1. P. 220.

² Воспоминания о ГУЛАГе и их авторы. <http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/list.xtмл?letter=1071>. База составлена Музеем и общественным центром «Мир, прогресс, права человека» им. Андрея Сахарова при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), Фонда Джексона (США), Фонда Сахарова (США).

стов — по характеру обращения с ними. Размытость границы между информацией и знанием приводит к тому, что в рефератах и статьях, головах и — опять-таки — на сайтах фигурирует бесчисленное количество вырванных из контекста фрагментов. Чьи они, результатом чьих опыта и интенций явились — все это отступает на задний план по сравнению со свободой произвольного комбинирования чего удобно с чем угодно — для составления реферата ли, дипломной работы, сайта, даже дневника.

В каком-то смысле происходящее заставляет вспомнить описанную В. Беньямином ситуацию произведения искусства в век механической воспроизводимости. Доступность репродукций картин, пластинок с музыкой сближает искусство и повседневную жизнь и служит демократизации искусства. Но небывалое умножение объектов эстетического переживания или не меняет природы взаимодействия зрителя и объекта, или делает его в полном смысле личным делом каждого: в приватной сфере собственного обиталища зритель вправе относиться к эстетическим объектам как к части домашнего интерьера, не рассчитанной на критические рефлексии или обсуждение. Аналогия, которую я хочу провести, заключается в следующем. С одной стороны, нарастание популярности «webjournals» и блогов свидетельствует о том, что, в пределах, каждый хочет сделать других свидетелями его, любимого, перипетий и эскапад. С другой стороны, замороженный обилием информации «человек Сети» самим характером ее функционирования подталкивается к тому, чтобы личностные измерения тех или иных фрагментов знания расценивались им как заведомо иррелевантные. Мне кажется, это последнее обстоятельство и проявилось в том, что воспоминания лагерной узницы были привлечены для демонстрации «правды о ГУЛАГЕ», как если бы эта правда чего-то стоила без людских имен.

Первый раз воспоминания и рисунки Ефросиньи Керсновской были опубликованы в перестроечных «Огоньке» и «Знамени»¹, и

¹ Благодарю за помощь в поиске информации о сайте, рисунках и тексте Леонида Труса и Сергея Паринова. См. журналы: «Огонек», № 3—4, 1990; «Знамя», № 3—5, 1990. Фонд содействия сохранению наследия Евфросинии Керсновской полностью издал ее масштабное (60 печ. л., 700 илл.) «житие» (*Керсновская Е.А. Сколько стоит человек: Повесть о пережитом в 12 тетрадах и 6 томах. Т. I—VI. М.: Фонд Керсновской, 2000—2001. Судьбе Е. Керсновской были также посвящены фильм «Ефросинья» и несколько выставок.*

знание об этом помогает лучше представить траекторию, проделанную нашим обществом: от вершин перестроечной мемориальной энергии к радостно стагнирующему плато современности, от бережно сохраняемых в конце 1980-х журналов («Детям покажу, в какое время жил!») до индифферентно-ленивого пролистывания сегодняшнего глянца.

Вторичное свидетельство: абрис понятия

Нобелевский лауреат, венгерский писатель Имре Кертес, автор романа «Без судьбы», посвященного Холокосту, сказал в своей Нобелевской речи:

В моей... «карьере» есть нечто поразительное, нечто абсурдное, нечто такое, что невыносимо осознать, не поддавшись искушению веры в существование сверхъестественного порядка вещей, провидения, метафизической справедливости, иными словами, искушению самообмана, — то есть подвергнуть себя опасности напоротся на рифы, погибнуть, утратив глубинную и мучительную связь с миллионами тех, кто погиб, так и не познав, что есть милость. Трудно быть исключением; и коль скоро судьба уготовила нам такую участь, нам должно смириться с абсурдным порядком вещей, который с непредсказуемостью расстрельной команды распоряжается нашей жизнью — заложницей бесчеловечной власти и кошмарных диктатур¹.

Кертес формулирует, по сути, манифест свидетеля, живущего в эпоху, когда искупление, «милость», не сподобившись которой погибли миллионы, невозможны. Отметим отзвуки античной трагедии в уподоблении абсурда современного существования расстрельной команде. Античная неотвратимость судьбы, рока трансформируется в непредсказуемость смерти: ты или не ты будешь следующим. Трагическое страдание античного героя выводит его

¹ *Кертес И.* Эврика! Нобелевская лекция, прочитанная 7 декабря 2002 года в Шведской Королевской академии // *Иностранная литература.* 2003. № 5. С. 185.

из-под власти природных стихий, законов родовой мести. Гибель неизбежна, но она несет с собой катарсис, очищение, искупление. По Кертесу, допущение искупления (божественного ли, трагического ли) — самообман. Но сюжет искупления настолько вездесущ, настолько органично встроен в традиционные нарративные схемы и консервативные эстетические представления¹, что с неизбежностью будет воспроизводиться и сталкиваться — иногда в ходе непримиримых дебатов — с противоположным видением прошлого и будущего. Деконструкция постмодернистской историографией основных источников и механизмов сохранения коллективной памяти, сопровождаемая скепсисом по отношению к ауре сакральности, которой, в восприятии немалого числа людей, обладают такие события, как искупительная жертва Иисуса Христа, Французская революция или Холокост, привела к осознанию невозможности «закрытия» значимых страниц истории². Эстетика, сознающая дилеммы репрезентации, открытая ее пределам, культивирующая неопределенность, отстаивающая невозможность полного, исчерпывающего понимания происшедшего, является тем самым антиискупительной, сопротивляющейся какому бы то ни было обетованию и обещанию. На антиискупительный пафос некоторых современных связанных с травмами работ мне и хотелось бы обратить внимание.

На одной из московских выставок, приуроченных к Московской биеннале современного искусства (январь—февраль 2005), была выставлена серия картин известного художника Дмитрия Гутова. Картины представляют собой монохромные холсты, на которых «родным» шрифтом воспроизведены названия некоторых культурных артефактов: от «Правды» (газеты, издававшейся в советское время), «Нового мира» (популярного тогда же и во времена перестройки «толстого» журнала) и даже «Системы трансценденталь-

¹ Лоренс Лангер заметил: «...Если бы свидетельства выживших были модернистской литературой, а не воспоминаниями о преступлениях, упрямую решимость найти радость в конце истории можно было бы назвать нарративным соблазном, тонкой попыткой направить воображение читателя к желательному концу вопреки противоречащему содержанию самого нарратива» (*Langer L.L. Remembering Survival // Holocaust Remembrance. The Shapes of Memory / G.H. Hartman (ed.). Blackwell, 1994. P. 71*).

² *Probing the Limits of Representation. Nazism and the «Final Solution» / S. Friedlander (ed.). Cambridge: Harvard University Press, 1992; Niethammer L. Posthistoire: Has History Come to an End? / Trans. P. Camiller. London: Verso, 1992.*



Д. Гутов. Серия картин. Фото автора

ного идеализма» Шеллинга до некой «композиции для молитвенной концентрации». Этот «иконостас» отсылает, мне кажется, к эклектичности, лоскутности сознания соотечественника, способного достичь «молитвенной концентрации», созерцая самые разнообразные и никак друг с другом не связанные культурные знаки.

В число картин входило и полотно, на котором — коричневым по черному — значилось: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Расположенная так, чтобы открывать знакомство с серией, только эта картина отсылала к реальному историческому эпизоду, который в описании «первичного» свидетеля — бойца МПВО Любви Коробовой — был связан вот с чем:

Мне командир дал неполное ведро краски, кисть и трафарет. Но в одиночку ведь такое задание не выполнишь — трафарет большой, твердый, его надо плотно прижимать к стене, чтобы краска не размазалась, — и я разбудила только что отдежурившую Таню. И мы пошли. Краска была красно-коричневая, ну вот как полы красят... Ведь в июне—июле 1943 года в городе было уже много людей —



Д. Гутов. Серия картин. Фото автора

наши войска готовились к наступлению, и военные ходили по Невскому, и гражданские; тогда уже работали кинотеатры, театры, филармония. И когда начинался обстрел, могло погибнуть очень много народу сразу. Снаряды прилетали с запада, поэтому восточная, четная сторона Невского была опаснее западной. Помню, однажды снаряд попал в трамвайную остановку в начале Невского — там человек семьдесят разом полегло, и убитые были, и раненые. А ведь предугадать начало обстрела невозможно. Это когда самолет летит, мы его с вышек засекаем — я как раз была во взводе разведки и наблюдения — и даем сигнал к тревоге. А при обстреле, пока первый снаряд не упадет, никакой тревоги. Один раз я сижу на вышке, она как раз напротив Екатерининского садика была, все тихо и спокойно, вдруг грохот — и деревья летят вверх корнями...¹

¹ Хмельник Т. «Эта сторона улицы уже не опасна» // Аргументы и факты — Петербург. Вып. 03 (492). 15 января 2003.

Здание школы № 210 — дом 14 по Невскому проспекту, самый знаменитый из тех немногих, где сохранилась надпись: тротуар в этом месте достаточно узок, поэтому и самый невнимательный прохожий обязательно ее заметит. Именно надписи стали метонимическими заместителями блокадного опыта: около таких «отмеченных» домов проходят торжественные церемонии¹. Свидетельница на вопрос интервьюера о том, почему же цвет надписей другой, объясняет: «А это не наша надпись. Она как бы реконструирована, воспроизведена здесь — шрифт и текст совпадают, а цвет нет. И появилась она через много лет после войны — в память о блокаде. наших надписей нет давно, их стерли сразу же, как только пропала в них надобность»². Между этим свидетельством очевидца и художественной интерпретацией надписи — существенная дистанция, множество стираний и воспроизведений, буквальных, как то, о чем упомянула рассказчица, и метафорических, множество опосредований (мне кажется, я до сих пор помню фотографию с этой надписью в своем школьном учебнике по истории). Но не будем забывать, что даже минимальное знание о блокаде уже фигурирует как часть определенной рамки интерпретации, которая, в свою очередь, определена системами ценностей и дискурсивными практиками, семиотическими механизмами и конфигурацией властных отношений. На наше, постсоветское, отношение к травмам и их репрезентациям влияет наследие той поры, когда доминировала одна, «объективная» версия исторического объяснения, характерными примерами которой являются название «мирными советскими гражданами» жертв нацистской резни в Бабьем Яре³ и другие, знакомые до тошноты, «эвфемизмы».

Удачно объединяя аналитичность концептуалистской традиции и эмоциональную нагруженность перцептивного искусства, художник привлек внимание к двусмысленности ситуации сегодняшнего субъекта памяти, непростые отношения которого с памятью и историей отягощены советскими мнемоническими практиками. Последствия крайностей в культивировании обязательного, навязанного «вспоминания» проявляются и в таких вот высказывани-

¹ Эти надписи сохранились также по следующим адресам: Невский, 54; Суворовский, 50; Рубинштейна, 7; набережная реки Фонтанки, 21.

² Хмельник Т. «Эта сторона улицы уже не опасна».

³ Брухфельдт С., Левин П.А. Передайте об этом детям вашим... История Холокоста в Европе 1933–1945. М.: Текст, 2000.

ях молодых людей: «Я вырос в Ленинграде. На каждую годовщину к нам в школу приходили блокадники и рассказывали о блокаде — я больше не могу об этом слышать. Для меня блокада так же далека, как и штурм Монголии...»¹

Исследовательница, привлеченная Санкт-Петербургским отделением Гете-института для проведения немецко-российского проекта, посвященного блокаде Ленинграда, проводит параллель между пестротой и неоднозначностью памяти о блокаде ленинградцев и работой памяти немецких подростков, ссылаясь на исследования немецким психологом Харальдом Вельцером межпоколенческой передачи памяти на примере знаний немецких подростков о национал-социализме. Вельцер приходит к парадоксальному выводу: активное обсуждение немецкого фашизма в прессе, политика разоблачения преступлений и национального покаяния, педагогические усилия, просветительские программы не принесли желаемых результатов. Он пишет: «Видимо, именно успешное просвещение молодого поколения о преступлениях прошлого приводит детей и внуков к желанию поместить родителей, бабушек и дедушек в этом космосе ужаса так, чтобы его тень на них самих не падала»².

В серии Гутова «блокада» фигурирует как часть тех обязательных культурных знаков, которые каждый в положенное время усвоил и способен ими успешно оперировать. Художник же — с одной стороны, воссоздавая безличную иконографию, с другой стороны, сохранив аутентичный цвет надписи, с одной стороны, показывая ее *наряду* с «Правдой» и «Новым миром», с другой стороны, выдвинув ее на передний план — балансирует между вовлеченностью и нейтральностью, идеологией и воображаемой свободой, трезвостью и игрой. Сказанное, мне кажется, позволяет квалифицировать серию Гутова как пример вторичного свидетельства, как пример, иначе говоря, такой художественной стратегии, носители которой не желают «брать в скобки» то, какими путями приходит к ним память о событиях, случившихся, когда их еще не было на свете.

Неизбежным следствием того, что число живых свидетелей Холокоста, ГУЛАГа, Второй мировой войны сокращается, является

¹ Земсков-Цюге А. Официальная память о Ленинградской блокаде в перемене времен. Доклад, прочитанный в ЦГПБ им. В.В. Маяковского (С.-Петербург, 11 февраля 2004). <http://www.goethe.de/oe/pet/blockade/votr3.htm>.

² Welzer H. Das Kommunikative Gedächtnis. Eine Theorie der Erinnerung. München: C.H. Beck, 2002. Цит. по: Земсков-Цюге А. Официальная память о Ленинградской блокаде...

трансформация живых, устных, личных воспоминаний в те или иные культурные репрезентации. Немецкий теоретик памяти Ян Ассман говорит в этой связи о переходе *коммуникативной* памяти в *культурную*¹. У событий XX века неумолимо остается все меньше свидетелей, но тем, кто начал тягостный труд рассказывания об увиденном, общественное внимание было гарантировано. Вызов для новых свидетелей новых катастроф состоит в том, что их голоса звучат в уже сильно переполненном свидетельствами публичном пространстве.

Приведу на этот счет свое амбивалентное переживание. Видео-записи свидетельств жертв Холокоста сосредоточены в Фортуноф-архиве Йельского университета (уже упомянутом выше). Ты идешь на сайт архива, видишь среди его продукции фильм компании PBS «Свидетель: голоса Холокоста», читаешь сопровождающие его восхваления: «Созданный на основе интервью, записанных для Фортуноф-архива в конце 1970-х — начале 1980-х годов, “Свидетель” экстраординарен и не похож на другие документальные фильмы», «приковывающий внимание... мощное образовательное средство», «повествовательная подлинность, редко встречаемая в массмедиа... оригинальный вклад в наше понимание Холокоста». «Кликаешь» «линк» магазина, продающего фильмы компании, и среди бестселлеров 2004 года обнаруживаешь фильм, посвященный Освенциму: «компьютерные реконструкции на основе недавно обнаруженных планов лагеря», «архивные видеоматериалы», «свидетельства свыше ста человек, среди которых бывшие нацистские преступники, впервые дающие интервью», DVD плюс книга в твердой обложке, «заплатив 59,98, вы сэкономите пять долларов!»

Понятно, что рекламирование такого специфического «продукта» в полном соответствии со всеми правилами рыночного продвижения нового товара не может не коробить. Глубокие изменения в технологии сбора и воспроизведения данных, с одной стороны, беспредельно расширяя возможности памяти, оборачиваются ее «индустрией», одной из проявлений которой является умножение числа свидетельств недопредставленных в прошлом участников истории. С другой стороны, эти изменения обрекают свидетельства на конкуренцию и с совершенно другой «медийной» продукцией, и с родственной продукцией индустрии памяти. В итоге травмы словно конкурируют между собой за общественное внима-

¹ Assmann J. Das kulturelle Gedächtnis. München: C.H. Beck, 1997.

ние. Погребенность живых свидетельств под уровнями и слоями опосредствований, сопровождающаяся рекламой, заставляет размышлять о функционировании памяти в контексте массмедиа и массовой культуры, о том, что причастному к травме человеку необходимо считаться с тем, как знание об этой травме стало его достоянием, откуда к нему пришло.

Ярко выраженная сегодня общественная озабоченность памятью и спецификой ее воплощения связана с изменением структур темпоральности в конце XX — начале XXI столетия. Исторические события и целые эпохи смешиваются и накладываются друг на друга вместе с множеством культурных достояний и стилей жизни, которые — благодаря глобализации — доступны сегодняшнему индивиду в изобилии. Чувство исторической дезориентации является лишь одним выражением перемен в структуре темпорального опыта. Знание о прошлом и его описания влияют на представления индивида о будущем, и, в свою очередь, допущения в отношении будущего, связанные с ним надежды и страхи определяют динамику памяти и забвения. Поколение, которое не пережило главных событий XX столетия, знает о них из фильмов и свидетельств, картин и монументов, особых мест и специфических вариантов поведения. Будь оно словесное или материальное, символическое или физиологическое, Холокост и ГУЛАГ оставили внушительное наследие. Попытки интеллектуалов и художников осмыслить это наследие реализуются с учетом достижений концептуального искусства и новейшей гуманитаристики. Многие из них представляют собой попытки вписать приобретенную память о прошлом опыте в сегодняшний ландшафт. В этой группе интеллектуалов есть свои звезды, свои классики, среди которых следует прежде всего назвать французского режиссера Клода Ланцмана, нашедшего в фильме «Шоа» новые способы работы со свидетельствами; американского архитектора Дэниэла Либескинда, спроектировавшего парадоксальный, деконструирующий конвенциональную историю Еврейский музей в Берлине; Стива Райха — американского композитора-минималиста, передавшего в композиции «Другие поезда» одно из главных преследующих его поколение ощущений: не быть *там* физически, но жить под бременем *этой* памяти; немецкого скульптора Йохена Герца, своими исчезающими и невидимыми монументами одним из первых проблематизировавшего специфику рецепции художественных репрезентаций травматического простыми горожанами; французского

художника Кристиана Болтански, оспаривающего документальность фотографии и пытающегося воссоздать в своих инсталляциях общую, а значит — ничейную память.

Эту генерацию, а точнее, группу художников объединяет следующее: она активно включает в свои объекты то, какими опосредованными путями к ним пришла история, участниками и жертвами которой были те, кто старше их. Изображается в итоге их собственный, многократно опосредованный опыт памяти — не больше. Но и не меньше.

Вторичное свидетельство поэтому — это свидетельство о свидетельстве, это воспоминание о воспоминании, это замещение другого в отношении к прошлому. В акте вторичного свидетельства проявляется не столько культурная локализованность автора, сколько момент осознания им своей связи (или установления им этой связи) с чем-то таким, о чем добровольно никто не хотел бы узнать, что добровольно никто не хотел бы пережить. Вторичное свидетельство отличается либо отрицанием, либо скепсисом в отношении превалирующей эстетической, мыслительной, нарративной традиции.

Одним из первых термин «вторичное свидетельство» использует теоретик литературы Теренс Де Пре в книге «Выживший: анатомия жизни в лагерях смерти». Де Пре, ставя под вопрос популярное психоаналитическое толкование опыта людей в нацистском лагере¹, подчеркивает, что аутентичные свидетельства людей, живших в лагерях, когда систематическое истребление стало повседневной практикой (то есть после 1943 года), позволяют оспорить этот тезис. Критически разбирая авторитетные очерки Бруно Беттельхайма², в которых «инфантильные» узники осуждались за то, что не

¹ Основной тезис сводился к тому, что поскольку единственной значимой фигурой для узников был эсэсовец, то это позволяет говорить о глубокой инфантильности их психики и тем самым объяснять их пассивность, покорность и проч.

² *Bettelheim B. Individual and Mass Behavior in Extreme Situations // Journal of Abnormal Social Psychology. October 1943. P. 417—452.* Мемуары Беттельхайма посвящены психологическим последствиям постоянного надзора над узниками. Психолог пишет, что они подражали стражам, разделяли их гнев в адрес нарушающих правила заключенных, даже вышивали свастики на своих робах. Налицо, иначе говоря, регрессия, вызванная недостатком личной свободы. Кроме Де Пре, это описание оспорил другой узник: *Pollak R. The Creation of Dr. B: A Biography of Bruno Bettelheim. NY, 1997.*

бросали вызов смерти ценой собственной жизни и не утверждали тем самым ценность личной автономии, Де Пре допускает, что австрийский психоаналитик, собственный опыт пребывания в лагере которого ограничивался лишь одним годом, попал под влияние литературных конвенций, предполагающих прославление индивидуального героизма. Его свидетельство, пусть и «первичное», оказывается тем самым фундаментально искаженным. Де Пре замечает, что предубеждение против «просто выживания», то есть того, чему было подчинено лагерное существование, проистекает из пропасти между осмысленным существованием в условиях цивилизации (единственно к которому, считает он, приложимы психоаналитические премудрости) и существованием за гранью смысла.

Для наших целей, однако, особенно важны рассуждения Де Пре о рецепции лагерного опыта, запечатленного выжившими:

Просто потому, что они — выжившие, прошедшие через лагерь мужчины и женщины в наших глазах подозрительны. Но если мы примем во внимание специфическую природу их идентичности — не только как выживших, но выживших в тех местах, — подозрительность углубляется до шока и отрицания. Опыт концентрационных лагерей представляет настолько чрезвычайное зло, что мы тоже, когда до нас доходит очередь с ним столкнуться, испытываем психологический дисбаланс. Мы тоже утопаем в кошмарах, в муках, никак с нами не связанных, но каким-то странным образом переживаемых как часть нашего самого глубокого и скрытого существа. Ужас лагерей — с нами. Некоторое отвратительное впечатление от Освенцима — в каждой голове, удаленное от сознания, и не только как вытесненное восприятие исторических событий, но как образ, оживляющий демоническое содержание наших наихудших страхов и желаний. Этот образ — с нами, и все, с ним связанное, все, что вносит это в сознание, приносит с собой ужас, чересчур огромный и слишком личный, чтобы надежно ему противостоять¹.

Де Пре, выводя Освенцим из коллективного бессознательного, настаивает, по сути, что он потому представим, что являет собой

¹ *Des Pres T. The Survivor, an Anatomy of Life in the Death Camps. NY: Oxford University Press, 1976. P. 28.*

пик воплощения деструктивного человеческого воображения. Эта позиция сближает Де Пре с теми критиками модерности, прежде всего — с Зигмундом Бауманом, которые связывали Освенцим с «духом модерности», не выдержавшей столкновения с «плюрализмом человеческого мира»¹. Бауман тоже говорит о тайных мечтах и страстных желаниях. Только, уточняет он, эти желания и мечты были устремлены к одному — к искоренению сорняков в саду человеческой культуры, где ровными рядами процветают виды и подвиды, от которых ясно что ждать, полностью контролируемые и рационализируемые. Бауман также считает, что такие мечты и усилия издавна присущи человечеству, породив институты, отвечающие единственной цели — инструментализации человеческого поведения².

Проникновенно описавший в книге, чем в своей душе платят выжившие за то, что остались живы, Де Пре говорит о темных, невыразимых сторонах воображения, увлеченного разрушением и болью, издевательствами и осквернением, о «самых ужасных играх разума», которые, проявляясь прежде лишь в литературе, религии и фольклоре, сновидениях и хтонических мифах, нашли для себя особый образ, обрели конкретную форму в концентрационных лагерях. События, подобные «Окончательному решению», дают воображению мощные поводы для мифических вложений, и Де Пре допускал, что многие и многие годы темная энергия воображения будет использовать образность, почерпнутую в мире лагерей:

Элегантная извращенность маркиза де Сада, величественный бред Дали и Лотреамона кажутся робкими и терпимыми по сравнению с формами, которые теперь в нашем распоряжении, — образности столь же древней, сколь и инфернальные области разума, но нашедшей свое историческое основание только после 1945 года³.

Однако три десятилетия, истекшие с тех пор, как были написаны эти строки, показывают, что реальный художественный процесс разворачивался куда более сложным образом. «Образность,

¹ *Bauman Z. Modernity and the Holocaust. Cambridge: Polity Press, 1989; Idem. The Holocaust life as a ghost // Social Theory after the Holocaust / R. Fine, Ch. Turner (eds.). Liverpool: Liverpool University Press, 2000.*

² *Idem. Modernity and the Holocaust. P. x.*

³ *Des Pres T. The Survivor. P. 154.*

почерпнутая в мире лагерей», действительно легла в основу бесчисленного множества произведений, очень разных по своим эстетическим достоинствам, но объединенных, скорее, гуманистическим, конструктивным импульсом: от печально известного своим простодушием американского сериала «Холокост» до жизнеутверждающего «Списка Шиндлера»; от амбициозного «Проекта Холокост» Джуди Чикаго до замечательного своей сдержанностью Бостонского мемориала или адресованного самой широкой американской публике Музея Холокоста в Вашингтоне.

Следуя рассуждениям Теодора Адорно (упорно, кстати, возвращавшегося к Освенциму уже после того, как его знаменитое изречение «После Освенцима писать поэзию — варварство» стало достоянием массового сознания), Жан-Франсуа Лиотар в «Распре» (1983) говорит об Освенциме как о финальной точке истории и рационального рассуждения:

Допустим, что землетрясение разрушило не только жизни, здания и объекты, но и инструменты прямого и косвенного измерения землетрясений. Невозможность количественно измерить землетрясение не препятствует, а способствует утверждению в головах выживших идеи о громадной сейсмической силе. Ученый заявляет, что ничего о ней не знает, но у обычного человека возникает сложное чувство, вызванное негативным представлением неопределенного¹.

Ошеломительность события предопределяет его отдаленность, его чуждость, его невыразимость. Лиотар ожидает, что историки смогут представить Освенцим «не по правилам знания», ибо рациональное объяснение здесь бессильно; но мы знаем, что реально развернувшиеся исторические дискуссии строились главным образом как попытки *объяснить* чудовищность событий, вызванных «Окончательным решением», на основании эволюции немецкой истории, либо европейского общества, либо капитализма, либо проекта Просвещения, либо самого человечества.

Умножение литературных и исторических версий случившегося сопровождается проблематизацией справедливости. Как можно отдать должное тем или иным текстам, если ужас Освенцима

¹ Lyotard J.-F. The Differend: Phrases in Dispute / Trans. G. Van Den Abbeele. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1988. P. 56.

превосходит все, что можно представить, если Освенцим — это то, что ни забыть нельзя, ни помнить невозможно. Продуктивное прочтение текстов зависит тогда от того, насколько переосмыслено само чтение, насколько оно далеко от «чтения о чем-то» и близко к «чтению после», возможному за счет формулирования определенных фраз, которые свидетельствовали бы об уникальности, точнее, единичности этих текстов. Однако в мире, в котором «не хватает универсального правила суждения, приложимого к различным жанрам»¹, вступает в силу «распря» — неустранимая, поскольку конфликтующие стороны не исходят из одних и тех же мыслительных оснований и по-разному связывают фразы в рассуждениях. «Фразы», настаивает французский мыслитель, могут подчиняться и другим режимам, нежели логические, а любое суждение, основанное лишь на логических режимах, рискует скрыто разрушить «неведомые чувства».

В работе «Хайдеггер и “евреи”» Лиотар разворачивает сложную картину процессов увековечивания и забвения. Тщательно подразделяя «представительное, поправимое забвение» и забвение, «расстраивающее» представление, и, далее, «представление-слово» (книги, беседы) и «представление-предмет» (фильмы, фотографии), Лиотар позволяет себе сентенцию, отвергающую, по сути, всю репрезентативную «индустрию Холокоста» (примеры которой приводились выше):

Представить «Освенцим» в образах, в словах — это способ заставить о нем забыть. Я думаю не только о плохих фильмах и сериалах в массовом прокате, о плохих романах или «свидетельствах». Я думаю как раз о том, что может или могло бы лучше всего заставить не забывать — точностью, строгостью. Даже и это представляет то, что должно остаться непредставимым, чтобы не оказаться забытым как само забытое. Фильм Клода Ланцмана «Шоа» составляет исключение, быть может единственное. Не только потому, что он отказывается от представления в образах и музыке, но и потому, что почти не предлагает свидетельств, в которых, пусть всего на миг, не давало бы о себе знать непредставимое — перепадом в тембре голоса, комком в горле, всхлипыванием, слезами, попыткой свидетеля уйти из поля зрения камеры, сбоем в тоне

¹ Lyotard J.-F. The Differend: Phrases in Dispute. P. xi

повествования, произвольным жестом. Так что знаешь: наверняка лгут, «играют», скрывают бесстрастные свидетели, кем бы они ни были¹.

Лиотар, пожалуй, откровеннее, чем кто-либо, фиксирует здесь нежелание современного зрителя или читателя быть объектом воздействия известного со времен античной трагедии приема: ужасный предмет помещается за сценой, а его проекции и последствия порождают в зрителях более сильный эффект, нежели прямая его демонстрация. Точнее, тот эстетический прием, который, конечно же, доставляет удовольствие в хорошем триллере, не срабатывает, когда знаки и отображения относятся к тому, что безопаснее не впускать в свою душу. В этом высказывании есть и отсылка к исчерпанности ресурсов эмпатии: отказ от «отказа от недоверчивости», который, учитывая, через что пришлось пройти свидетелям, может шокировать, связан с нежеланием участвовать в *закрытии* темы посредством ее интенсивного изображения и увековечивания: «Это же, говорят, грандиозная бойня, что за ужас! ...Взывают, наконец, к правам человека, кричат: “Это не повторится!” — ну и вот, все упорядочилось»².

С другой стороны, если читать «Хайдеггер и «евреи»» вместе с «Условием постмодерна» (тем сочинением, в котором тема Освенцима впервые у Лиотара начинает звучать), то есть смысл учесть, что его критика мастер-повествований и апологетика локальных повествований продуктивно работают применительно к обсуждаемой нами теме. Политическая манипуляция использует *представленную* память для сплочения сообщества, для нивелирования конфликтности; осуществляется это чаще всего посредством всеобъемлющих гуманистических нарративных схем: «Они погибли, но не будут забыты, они страдали, но сегодня мы воздаем им дань уважения». Эффективнее всего такие задачи решаются с помощью «больших повествований», а многоголосие повествований малых — раздражает власти предрешающие. Так что не стоит сбрасывать со счетов значимость свидетельств, «первичных» и «вторичных», для оспаривания любого «закрытия», для борьбы с тем, что мыслитель называет «забвением шаткости установленного, восста-

¹ Лиотар Ж.-Ф. Хайдеггер и «евреи». СПб.: Аксиома, 2001. С. 45–46.

² Там же. С. 47.

новленного прошлого». Мыслитель говорит в этой связи о «травестийных, не прямых, переработанных, исправленных»¹ представлениях, включающих в себя самое дистанцию, которую мысль стремится занять по отношению к немислимому, а творчество — по отношению к не пережитому непосредственно. Именно одно такое представление я кратко рассмотрю.

«Маус»: между памятью отца и постпамятью сына

В одних американских магазинах вы найдете этот двухтомник в секции «Современная история», в других — в «Современной литературе», в третьих — в «Иллюстрированных книгах», что и неизбежно: «Маус» словно подтверждает убеждение постмарксистского философа Фредерика Джеймисона, что время литературы, и в особенности больших романов, прошло, что любое значимое содержание в наши дни обречено, если не получает визуального воплощения. «Маус: рассказ выжившего»² — противоречивый графический роман Арта Спигельмана, посвященный тому, как его отцу Владеку удалось выжить в Освенциме. Художник документирует *свою* историю Холокоста — как она была передана ему в рассказах отца и им понята. «Маус» — один из самых знаменитых примеров вторичного свидетельства, или «постпамяти», как Марианна Хирш называет этот феномен. Постпамять отделена от просто памяти дистанцией поколений, но персональный смысл, какой происшедшее получает в сознании «детей» и «внуков», удерживает этот феномен в пространстве памяти, а не истории. Постпамять, считает Хирш, потому столь значима, что ее существование неотделимо от воображения и творческого переосмысления прошлого. Относясь к переживаниям тех, кто рос, впитывая рассказы взрослых о собы-

¹ Там же. С. 24.

² Spiegelman A. Maus: A Survivor's Tale. Vols. 1—2. NY: Pantheon, 1986, 1991. В названии комикса использовано немецкое написание слова «мышь», перекликающееся как со словом «Аушвиц» (европейское название лагеря, в котором находился отец художника), так и с известной нацистской командой «Juden gaus» («Евреи на выход»). Во втором томе комикса художник называет лагерь Маушвицем.



Фрагмент книги А. Спигельмана «Маус: рассказ выжившего»

тиях, случившихся задолго до их рождения, тех, «чьи собственные запоздалые истории вызваны историями предшествующего поколения, сформированными травматическими событиями, которые невозможно ни понять, ни воссоздать»¹, постпамять, или вторичные свидетельства, относится, повторим, к тому, как поколения детей и внуков переживших травмирующие события XX столетия выстраивают свое отношение к ним — к не их собственным воспоминаниям, от которых, однако, не отвернешься.

История родителей Спигельмана, выживших в гетто и лагерях смерти, рассказана посредством изображения ее героев с головами животных: у евреев головы мышей, у немцев — кошек, у поляков — свиней, у американцев — собак, у французов — лягушек, у цыган — мотыльков. Провокативно отраженные в этом национальные стереотипы усложняют понимание работы самого Спигельмана, тем самым оспаривая распространенные в «индустрии Холокоста» упрощающие и редуцирующие приемы, главный из которых состоит в беспроблемной разделенности случившегося на хороших жертв и плохих преступников. В каком-то смысле комикс Спигельмана можно прочесть как буквализацию призыва Лиотара к локальным повествованиям: история одной семьи рассказывает в рамках далекого от общепринятого жанра, в небольших картинках и коротких диалогах. Помимо картинок и диалогов, в книге есть карта Польши и карта лагерей, три семейные фотографии, инструкция по ремонту ботинок, схемы укрытий, план крематория, сравнительная таблица обмениваемых в Освенциме ценностей. Наряду с воссозданием сложной истории, как она запомнилась Владеку, в образах и подписях к ним рассказывается история визитов отца к сыну, чаепития, ссоры, прогулки, упражнения Владека на велотренажере, в ходе которых Арт записывал на диктофон свидетельства отца, задавая вопросы и настаивая на подробностях. Арт включил те детали, в отношении которых его отец сомневался, достаточно ли они подобающи и уважительны², на что сын ему отвечает: «Я хочу рассказать *твою* историю, и так рассказать, как она в действительности произошла». Владек, следуя распространенным конвенциям, хочет, чтобы «для будущего» сохранились только дос-

¹ Hirsch M. Family Frames: Photography, Narrative and Postmemory. Cambridge: Harvard University Press, 1997. P. 21–22.

² Spiegelman A. Maus. Vol. 1. P. 1–23.

тойные увековечивания эпизоды, Арт, оплакивая насыщенность довоенной жизни родителей, считает, что она — несмотря на проявленные ими слабости и обычное для повседневности смещение низкого и высокого — и оказывается высшей точкой их жизни.

Техника Арта и рефлексия, с ней связанная, напоминают знакомые многим занимающимся «устной историей» ситуации (в частности, Светлана Алексиевич не раз на это сетовала), когда ветераны предпочитают снабдить интервьюера уже опубликованными газетными рассказами об их подвигах, нежели отвечать на его неудобные вопросы. Скорее всего, это связано с эстетическими пристрастиями старшего поколения, обусловленными тем, что оно-то сформировалось в эпоху господства масштабных повествований, предполагающих отчетливо структурированные (начало—середина—конец) истории, завершающиеся неизменным торжеством справедливости. Расспрашивающие же «мучают» их вопросами о том, над чем думать не хочется или невозможно: о мотивах принятых действий, об имевшихся, но неиспользованных возможностях. В комикс вошла довоенная жизнь — любви отца и его измены, его романтика и его же корысть, работа на тестя и служба в польской армии; вошли те поворотные пункты, которые способны радикально изменить жизнь человека. Опыт отца и опыт сына настолько несоизмеримы, что иногда Арт сомневается, понимает ли он отца, а Владек, в свою очередь, не понимает сына. Он и себя не понимает, и не уверен, понимает ли, что значил для него опыт лагеря. Вот почему одно из его финальных суждений: «Никто не может понять», — в контексте истории, рассказанной Артом, читается все же не как привычный упрек в бесчувственности, но прежде всего как констатация невозможности понять случившееся самими выжившими.

Хэйден Уайт неслучайно называет эту книгу «шедевром стилизации, фигурации и аллегоризации»¹. Выбор художником жанра, близкого комиксу, нацелен на оспаривание бытующего убеждения, что масштабность трагедии Холокоста должна быть отражена в выборе подходящих жанров (роман, трагедия, документальный фильм, историческая монография), что «низкие» жанры снижают

¹ *White H. Historical Emplotment and the Problem of Truth // Probing the Limits of Representation. Nazism and the «Final Solution» / S. Friedlander (ed.). Cambridge: Harvard University Press, 1992. P. 41–42.*

величие случившегося. Не касаясь здесь проблемы жанровых конвенций и востребованности в определенные культурные периоды специфических жанров, отметим, что «картинки с подписями» представляют собой, возможно, самую простую, но непревзойденную по эффективности форму, способствующую проникновению в «другие сознания». Когда мы особенно озабочены тем, что у другого на уме, мы невольно представляем себе его мысли в виде пресловутого облачка из комикса, в которое вписана та или другая фраза. Герои романа Дэвида Лоджа «Думают...» — писательница и когнитивный психолог — развлекаются, воображая именно таким образом мысли друг друга, и дискутируют по поводу знаменитой статьи Томаса Нагеля «Каково быть летучей мышью?», суть которой в том, что у нас нет никакой возможности узнать, каково это — быть совершенно другим существом. Писательница, однако, предлагает разыграть мысленный эксперимент Нагеля в своем классе по писательскому мастерству и получает от студентов замечательные пародии, написанные летучей мышью от первого лица в манере Сэмюэля Беккета или Салмана Рушди. В опыт другого проникнуть невозможно, но его можно попытаться вообразить, и если на чей-то пуристский взгляд полученные результаты будут далеки от объективности, то что есть объективность?

Спигельман, разумеется, не пытается «стать» мышью-отцом: между опытами этих двоих — поистине пропасть. Но, изображая мышью себя, он прежде всего декларирует готовность вообразить, представить себе невообразимое и непредставимое. Референциальность его фрагментарного повествования пронизана рефлексивностью; документальное и эстетическое, реальное и вымышленное, фигуральное и миметическое вступают в нем в сложную игру. Выбор в пользу голов животных имеет аналоги в древней еврейской иконографической традиции; но если в ней он был продиктован невозможностью прямого изображения самого верха ценностной вертикали — священной тайны, то современный художник стоял перед противоположной задачей — изображения самого ее низа, «окончательного неприличия, окончательной профанности, которые нужно показать, не показывая их»¹. С другой стороны, художник, конечно же, обыгрывает здесь одержимость нацистов класси-

¹ *Gopnik A. Comics and Catastrophe // New Republic. 22 June 1987. Цит. по: Young J. At Memory's Edge. After-Images of the Holocaust in Contemporary Art and Architecture. New Haven: Yale University Press, 2000. P. 32.*

фикациями, итогом жесткого следования которым явился отказ целым народам в праве существовать, и обилие пейоративных наименований, внедренных в обиход нацистской пропагандой, чтобы способствовать отношению к истребляемым не как к людям, но как к существам, компрометирующим, загрязняющим человеческую расу. Наконец, «отказ от недоверчивости» здесь переосмысливается художником так, что он, опять-таки посредством надевания животных масок на человеческие туловища, по сути, приглашает зрителя не верить тому, что тот видит. На масках, на мышинных и прочих головах оказывается зафиксирован наш взор, они структурируют нашу рецепцию, что подчинено стремлению отделить собственно события и память о них, репрезентировать намерение именно диалог по поводу памяти поставить в центр работы¹.

Марианна Хирш замечает, что «читатели и зрители, выращенные на “Микки-Маусе”, “Томе и Джерри” и на любимом Спигельманом “Мэд Мэгэзин”, быстро принимают условности животной сказки и научаются различать нюансы выражений лиц и тел героев, хотя те редко меняются»². Что можно было бы сказать насчет *нашей* реакции на такого рода творение, будь оно у нас переведено и опубликовано? Прежде всего, реакция была бы очень противоречивой, ибо *смертельная серьезность* остается преобладающим настроением, в каком у нас выполнены многие из посвященных прошлому произведений и какое предполагается в воспринимающих в качестве чуть ли не единственной адекватной реакции. Во-вторых, комикс никогда не был у нас особенно популярным, что, бесспорно, осложнило бы восприятие такого проблематичного сочинения. В-третьих, заметим, что преобладающими референтами изображения трагического прошлого у нас остаются Великая Отечественная война и 1930-е годы. Я, конечно, далека от знакомых по советским временам сетований насчет того, что, эх, мало, мало наши художники осмысливают и изображают... в данном случае — лагерный опыт. Объяснение, которое приходит на ум, состоит в том, что в большинстве случаев произведения рождаются на свет в ответ на ожидания той или другой общности — этнической, дискурсивной, интерпретационной. Понятно, что вес и вызов опыта, который сам не пережил, но без которого собственная

¹ Young J. At Memory's Edge. P. 32.

² Hirsch M. Family Frames. P. 28.

жизнь непредставима, наиболее сильно ощущался в семьях выживших. Однако о силе дискурсивной общности, сложившейся вокруг и по поводу их опыта, о парадоксальной притягательности биографии причастного к Холокосту человека говорит нашумевший случай «Мемуаров» Бенямина Вилкомирски: благополучный человек — учитель музыки из Швейцарии публикует вымышленные воспоминания выжившего в Освенциме мальчика, которые, вызвав большой общественный резонанс, стали впоследствии эмблемой сложных связей вымысла и реальности в работе памяти. Читателю достаточно проделать мысленный эксперимент и попытаться представить, какого рода социальные процессы и какой расклад политических сил могли бы вызвать к жизни подобный феномен в наших обстоятельствах. «Лагерное» прошлое близких (и далеких) не способно ни удовлетворить потребность в благородном происхождении, ни дать воображаемое прибежище тому, кто хотел бы отдохнуть от вызовов настоящего, ни обогатить позитивным опытом, ни сообщить чувство гордости от принадлежности к группе, вклад которой в прошлое страны существен, ни развлечь экзотикой. В итоге люди считают, что к ним «это» не относится. Рецепция здесь теснее, чем где-либо, связана с ситуацией конкретной общности.

Вместо заключения: общность памяти

Джеффри Хартман, напомним, считает, что созданный им архив видеосвидетельств создает будущую «аффективную общность» для выживших. Это, считает он, структурный вдохновляющий (enabling) акт, в случае если имеет место альянс по поводу свидетельства. Он возможен, только если есть «аффективная общность», пусть даже она состоит из рассказчика и одного слушающего¹.

«Аффективность», т.е. эмоциональная реакция сочувствия на свидетельства травмы, однако, ставится под вопрос преобладающими режимами существования современной публики. На рассеивание внимания публики под влиянием новых медиа обратил внимание еще Вальтер Бенямин, а ее «бесчувственность» усугубляется не только коммерциализацией насилия, но и существованием в

¹ *Ballengee J.R. Witnessing Video Testimony. P. 220.*

ситуациях, когда даже аффекты оказываются стандартизованными — с преобладанием, возможно, «рангового беспокойства». Чем более активно акцентируется воспитательный потенциал «свидетельств об ужасах», тем более выраженным становится наш скепсис. Кому адресованы свидетельства? На какие способности адресатов они опираются? Призыв Хартмана формировать общность сочувствующих наталкивается и на кризис сообщества, и на кризис сочувствия. Бесконечный поток визуальных образов, который необходимо как-то упорядочивать каждому участнику культурного процесса, даже интеллектуальные способности ставит под угрозу, превращая субъекта, по словам М. Ямпольского, в «чистую, “бессознательную” машину видения»¹, не говоря уже о более энергетически затратной способности сопереживать.

Философ Авишай Маргалит различает этику памяти и мораль памяти. Это различие основано на двух типах отношений между людьми. Маргалит называет их «плотными» и «тонкими», но можно вести речь и о внеличных / межличностных, функционально нейтральных и близких. Общее прошлое — характеристика первых, характеристика вторых — принадлежность к человеческому роду. Этика регулирует первые, предполагая значимость верности и проблематичность предательства; мораль — вторые, настаивая на уважении и порицая унижение. Этика памяти имеет дело по преимуществу с тем, как мы должны строить отношения с близкими, любимыми, небезразличными. Память, при всем сегодняшнем публичном шуме вокруг нее, неотъемлема от частных отношений. Мораль вступает в непростые отношения с памятью тогда, когда возникает задача помнить преступления против человечности. Человечество, однако, не представляет собой общности памяти. Так кто же от имени человечества должен нести бремя моральной памяти? Это бремя от века несут религия и традиция оплакивания пролитой членами твоей общности крови. В наши дни ощущение этого бремени рядом социальных агентов приводит к морализму — предрасположенности выдвигать моральные суждения в отношении того, о чем лучше бы не судить. Маргалит предлагает бороться с экспансией морализма с помощью тактики «разделяй и властвуй»: «разделяй предмет на этику и мораль и властвуй над экспансионистской тенденцией морализма, сдвигая его к этике»².

¹ Ямпольский М. Наблюдатель. М.: Ad Marginem, 2000. С. 8.

² Margalit A. The Ethics of Memory. Cambridge: Harvard University Press, 2002. P. 15.

«Вторичные свидетельства» балансируют, мне кажется, между этикой памяти и моралью памяти. Они представляют собой, с одной стороны, жесты верности прошлому «значимых других», с другой стороны — демонстрации того, что дань уважения прошлым жертвам может быть отдана по-разному. Она может быть отдана не только и не столько посредством тривиализующих случившееся, устаревших эстетических подходов, сколько противостоящими индустриальному производству слезоточивых образов работами, возможно, сложными для восприятия, но отмеченными личным желанием отозваться на коллективные травмы. Их привлекательность — в том, что, избегая насильственных консенсусов и примирений, они делают предметом художественного анализа противоречивый контакт прошлого и настоящего, живых и мертвых, долга и иронии, веры и подозрения, памяти и постпамяти. То, что «вторичным» свидетелям удастся сегодня увидеть и рассказать, и составит содержание будущей культурной памяти. Какое интеллектуальное наследство при этом оказывается мобилизованным и какие линии репрезентации — доминирующими, говорит о многом.

2. Сообщества утраты

Сергей Мирный

Чернобыль как инфотравма*

— Принято считать, что человек привыкает ко всему. Вы быстро привыкли к радиации, к тому, что вас, хотите вы того или нет, постоянно облучают?

— Я, в общем, подписываюсь под заявлением, что человек привыкает ко всему. Чернобыль это еще раз доказал. Другой вопрос — цена этого привыкания... Мы там занимались измерением уровней радиации. Имели дело с сотнями тысяч нормальных уровней радиации — ну, таких, как, скажем, сейчас в этой комнате. И к тому моменту, когда я начал ее чувствовать — ну, в смысле знать, понимать где сколько, как бы представлять эту картину распределения радиации, — я уже к этому привык. Привыкание, с одной стороны, — это благословенный процесс, поскольку, грубо говоря, если б там все начали переживать по этому поводу, то просто посходили бы с ума. Ну а поначалу как? Люди ездят — ты едешь... Поначалу вообще такое интересное чувство, похожее на... я бы сказал, «комплекс подростка» (причем я это наблюдал и на себе, и на других). Очень смешно наблюдать, когда человек старается себе доказать, что он грамотный; обычно там начинают цитировать всякие умные книги по радиации, доказывают, что они что-то знают. И од-

* Автор выражает глубокую признательность Сергею Ушакину, который инициировал, стимулировал и существенно продвинул это исследование своими ценными замечаниями; Олегу Черпу и Дмитрию Ефременко — за продуктивное общение; Рубену Мнацаканяну, Ирине Герцег и Кристе Сабадош — за понимание и поддержку; Анне Ястржембской — за любезную помощь. Особая благодарность автора — Константину Курганову, Эржбет Цираки, Миклошу Надю и Дмитрию Мусолину, без поддержки которых работа над данной статьей была бы невозможной. Автор склоняет свою голову в благодарном поклоне перед Светланой Алексиевич за ее интересную и честную документальную книгу о Чернобыле, которая оказалась крайне полезной для представляемой работы. Отдельная благодарность Олегу Векленко за фотографии, сделанные на Чернобыльской АЭС и в лагере 25-й бригады химзащиты в начале мая 1986 года, в первые дни после взрыва.



«Снимок на память»: двое на фоне пролома 4-го реактора
(Все фото сделаны Олегом Векленко на Чернобыльской АЭС
и в лагере 25-й бригады химзащиты в начале мая 1986 года,
в первые дни после взрыва)

новременно человек очень неуверен. Потому что на самом деле это страшно отличается от всех книжных представлений. Трудно себе представить, насколько меняется мир, когда к нему добавляется еще один опасный параметр...

— В радиожурнале «Поверх барьеров» вы слушали свидетельства очевидца Чернобыльской катастрофы, лейтенанта запаса, бывшего командира взвода радиационной разведки Сергея Мирного¹.

Этот отрывок из радиointerview дает представление о моих несколько нетрадиционных полевых исследованиях. Данная статья основана во многом на информации, исследователям-«посторонним» в принципе недоступной. Другая особенность: работа эта, по сути, прикладная, ее цель — понять истоки чернобыльского психосоциального поражения и попытаться наметить пути его смягчения или преодоления.

¹ Мирный С., Померанцев И., Смирнова-Фретца М. Чернобыль // Радиожурнал «Поверх барьеров». Радио «Свобода». Первый эфир 25.09.1998.

Хотя уже более чем два десятилетия отделяют от нас термоядерный взрыв 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, его тень мрачно нависает над постсоветскими странами. Только в трех наиболее затронутых последствиями странах — Беларуси, Украине, России — число «чернобыльцев», т.е. граждан, официально признанных «пострадавшими вследствие Чернобыльской катастрофы» и имеющих право на различные льготы и компенсации, составляет около шести миллионов человек. Два миллиона «чернобыльцев» в Беларуси — это почти 20% ее населения¹. «Чернобыльцев» несколько категорий: участники ликвидации последствий аварии в зоне повышенной радиации вокруг АЭС в 1986–1989 годах («ликвидаторы», всего их более полумиллиона); эвакуированные / переселенные из зоны аварии и радиоактивного загрязнения; жители загрязненных территорий²; а также дети перечисленных категорий. На медицинское обеспечение чернобыльцев тратятся значительные средства. Чернобыльцы — один из источников социального и политического напряжения в обществе.

В последние годы чернобыльские проблемы сопровождается безнадежное настроение: заметных положительных сдвигов в их ликвидации нет, создается ощущение тупика, неизлечимости чернобыльских ран. По моему мнению, это связано с тем, что до недавнего времени Чернобыльская катастрофа (далее — Чернобыль) рассматривалась почти исключительно как *радиационная* катастрофа. Именно радиация — физический агент — считалась ее главным поражающим фактором.

Это не соответствует реальной картине состояния здоровья даже самой облученной группы — ликвидаторов: лучевой болезнью страдает весьма незначительная их часть³. К лучевой болезни приводит доза в 100–200 рентген, к тяжелой форме — 400–600 рентген.

¹ The Human Consequences of the Chernobyl Nuclear Accident: A Strategy for Recovery. A Report Commissioned by UNDP and UNICEF with the Support of UN-OSHA and WHO. 2002. P. 32. <http://www.unicef.org/newsline/chernobylreport.pdf>

² Территория официально считается загрязненной, если она содержит более 1 кюри цезия-137 на 1 кв. км. В отчете миссии ООН 2002 года указано, что этот критерий излишне жесток: в больших регионах Франции, Англии и Скандинавии естественный уровень радиации соответствует 1–5 кюри цезия-137 на 1 кв. км (The human consequences. P. 35).

³ По официальным данным 1986 года, это 237 человек (Чернобыльская катастрофа / В. Баряхтар (ред.). Киев: Наукова думка, 1995. С. 447). Даже если допустить, что эта цифра занижена в десять раз, то мы получим предположительно несколько тысяч человек, т.е. менее 1 % от общего числа ликвидаторов.

Абсолютное же большинство ликвидаторов получили дозы меньше нескольких десятков рентген¹. Негативное влияние таких доз на организм ограничивается так называемой «радиационной травмой»², т.е. нарушением здоровья, последствия которого в значительной степени обратимы и сходны в принципе с нарушениями, полученными в результате механического или теплового физического воздействия³. Оказались незначимыми и другие медицинские последствия, которые в массовом сознании ассоциируются с Чернобылем в первую очередь, т.е. рак⁴ и негативное влияние на репродуктивную функцию⁵. Отчет Министерства РФ по чрезвычай-

¹ Такая оценка дозы подтверждается, например, отсутствием лучевого поражения хрусталика глаза у ликвидаторов, которое появляется при дозе в 30 рентген. *Аміразян С., Свиначенко А.* Вплив іонізуючого випромінювання на серцево-судинну систему // Український радіологічний журнал. 1999. Т. 7 (4). С. 445–450.

² *Воробьев А., Воробьев П.* До и после Чернобыля (Взгляд врача). М.: Нью-диамед, 1996.

³ Обзор имеющихся данных о действии малых доз заключается достаточно недвусмысленными выводами: «Биологические эффекты, особенно сказывающиеся на здоровье человека, имеют принципиально различный характер в области больших доз и в области <малых доз>. ...При больших дозах здоровью всегда наносится вред. В области же низких доз для ряда конечных эффектов *возможен порог или благоприятный эффект*. ...Риски, приписываемые в области <малых доз>, равно как и декларируемые благоприятные последствия облучения, следует считать гипотетическими, так как ни материализацию рисков вредных эффектов, ни благоприятные эффекты пока доказать с необходимой достоверностью не удалось. ...Итак, *нет доказательств, что <малые дозы> сказываются на здоровье человека*» (*Рябухин Ю.С.* Низкие уровни ионизирующего излучения и здоровье: системный подход (Аналитический обзор) // Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2000. № 4. С. 41–42; курсив мой. — *С.М.*).

⁴ Расчеты эффектов радиационного облучения и величин доз, полученных в зоне, предсказывают для ликвидаторов сравнительно небольшое превышение радиационно-индуцированного рака над средней онкозаболеваемостью по стране: не более 12 % для тех, кто был в зоне в 1986 году, и не более 4 % — для ликвидаторов 1987 года (Чернобыльская катастрофа. С. 441). Отмечу, что эти расчеты не учитывают действия на человека связанных с Чернобылем нерадиационных факторов и, например, возможности роста онкозаболеваемости из-за снижения иммунитета организма вследствие длительного стресса, депрессии и т.п.

⁵ Хотя дозы облучения даже около 10 рентген приводят к снижению количества сперматозоидов (но необязательно к утрате фертильности) в течение года, постоянная стерильность возникает только при облучении в дозах выше нескольких сот рентген — однако даже и в этом случае функция может регенерироваться. Так, японские рыбаки, облученные в дозах 170–600 рентген в

ным ситуациям, отмечая увеличение темпов роста инвалидности ликвидаторов¹, указывает в качестве ведущих причин болезни нервной системы, сердечно-сосудистой системы и психические расстройства, что в корне противоречит моделям прямого биологического воздействия радиации. Ряд комплексных медицинских исследований можно подытожить выводами цикла работ Амиразяна и коллег: *физическое* (соматическое) здоровье практически одинаково и у ликвидаторов, и у профессионалов-ядерщиков (получивших такие же (малые) дозы, что и ликвидаторы, и в схожем режиме накопления), и у необлученного населения. При этом *психическое* здоровье ликвидаторов заметно хуже. Согласно этим авторам, определяющее влияние на здоровье ликвидаторов имеют «постзонные» психосоциальные факторы. Поэтому медицинские меры, при всей их важности, не могут играть главную роль в реабилитации инвалидов-чернобыльцев².

Влияние Чернобыльской катастрофы на здоровье даже наиболее облученной группы — ликвидаторов — нельзя объяснить прямым воздействием радиации на человека, понимаемого как биологический объект. Тогда чем же?

результате американских ядерных испытаний в Тихом океане, имели расстройства сперматогенеза через два месяца — и его восстановление через два года; большинство их детей, родившихся после этого, были здоровы (*Москалев Ю.* Отдаленные последствия воздействия ионизирующих излучений. М.: Медицина, 1991. С. 348–351).

¹ Число ликвидаторов, официально признанных инвалидами, за период с 1991 по 1994 год возросло в 6,6 раза, с 1994-го по 1997-й — в 1,6 раза. См.: *Большов Л., Арутюнян Р., Линге И., Бархударов Р., Осипьянц И., Герасимова Н., Блинов Б., Марченко Т., Зиборов А.* Чернобыльская катастрофа: Итоги и проблемы преодоления ее последствий в России (1986–1999). М.: ИБРАЭ РАН, МЧС России, 2000. http://www.ibrae.ac.ru/russian/chernobyl/nat_rep_99/13let_text.html#2.4

² *Simonova L., Amirazjan C., Filippova S., Tikhomirova M.* Prognosis of Working Ability: The Determining Somato-neurological and Psychological Factors in those Affected by Ionizing Radiation in the Doses not Exceeding Permissible // 2nd International Conference Remote Medical Consequences of the Chernobyl Disaster. Kiev, 1998. P. 368–369; *Амиразян С., Роздильский С., Філіппова С., Тіхомірова М., Насонова А.* Основні підходи до оцінки працездатності ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС // Український радіологічний журнал. 1996. Т. 4 (1). С. 44–46; *Mirnyi S.* Chernobyl Liquidators' Health as a Psycho-social Trauma. Budapest: Bogar Kiado, 2001. P. 55–69. http://www.mirnyi.arwis.com/book_2/3_3.html.

Инфовзрыв

Зададим себе вопрос: что сделало крупный технологический инцидент на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года глобальной Чернобыльской катастрофой? Был ли Чернобыль «самой большой ядерной катастрофой», как ее часто называют? Безусловно нет: последствия атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки на исходе Второй мировой войны были куда более масштабными¹. Может быть, Чернобыль — «самая большая технологическая авария»? Вряд ли. Выброс ядовитого газа на заводе «Юнион Карбайд» в Бхопале (Индия) в 1984 году в течение нескольких часов привел к гибели более трех тысяч человек и нанес серьезный ущерб здоровью более двадцати тысяч, в основном жителей прилегающего района².

Чернобыль — самая крупная авария ядерного реактора и самая большая радиационная промышленная катастрофа. Однако соответствующие крупнейшие инциденты до Чернобыля — а именно авария реактора АЕС «Тримайл Айленд» (Пенсильвания, США, 1979) и взрыв на комбинате по производству плутония «Маяк» (Кыштым, Челябинская обл., СССР, 1957)³ — не оказали скольконибудь значительного влияния на умы людей, общественное сознание и развитие ядерной энергетики во всем мире. Чернобыльская же авария стала глобальной катастрофой в силу уникального сочетания следующих обстоятельств:

Чернобыль — это (1) *радиационная авария* (2) *крупного масштаба*, случившаяся в (3) *культурно и экономически важном регионе мира* (Европа) в (4) *критический исторический момент*; (5) *ее последствия* (поэтому) *глобальны, комплексны и долговременны*.

Особенность исторического момента аварии требует пояснения. Она определяется двумя факторами — политическим и технологическим. Оба, что существенно для данной работы, имеют исключительно важные последствия в информационной сфере.

¹ 6 августа 1945 года в Хиросиме было убито, ранено или пропало без вести 130 тысяч жителей, 90 % города стерто с лица земли; в Нагасаки 9 августа — 75 тысяч жителей, более трети города разрушено (The Columbia Encyclopedia. NY: Columbia University Press, 1993. P. 1246, 1873).

² См.: The Columbia Encyclopedia. P. 288.

³ Булдаков Л. Медицинские последствия радиационных аварий для населения // Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2002. № 2. С. 7–18.

Политический момент: взрыв на ЧАЭС произошел в начале процессов демократизации и перестройки в СССР, когда, с одной стороны, страна находилась в фокусе мирового внимания, а с другой, режим секретности в ней был поколеблен. Начал исчезать «железный занавес», отделявший СССР от мира и препятствовавший не только свободному движению потоков людей и товаров, но и (в первую очередь) информации.

Что касается технологического аспекта, то взрыв на ЧАЭС совпал с началом массовой компьютеризации, результатом которой стало не просто увеличение скорости и объемов обработки и передачи информации, но и скачкообразная модернизация всех технологий, в том числе технологий диагностики (медицинской, химической, экологической и т.п.) и технологий СМИ. Развитие диагностики позволило выявлять большее число патологических состояний здоровья, контролировать большие территории и контингенты людей. Этот «скрининг-эффект» за счет технологического перевооружения, происходившего как раз в годы после чернобыльского взрыва, привел к увеличению числа регистрируемых случаев болезни, что целиком приписывалось Чернобылю. Столь же важно и то, что Чернобыль случился в момент становления глобального информационного общества. Компьютеризация кардинально увеличила возможности СМИ, возросли оперативность и яркость их сообщений, производимый ими (особенно телевидением) эффект, расширилась аудитория СМИ, возник новый инфомедиум — Интернет. И Чернобыль стал первой крупной аварией глобализованного медиамира.

Указанные выше обстоятельства способствовали тому, что взрыв чернобыльского реактора «сдетонировал» вторичный *информационный взрыв*, беспрецедентный как по мощности, так и по глобальности охвата и протяженности во времени. Именно этот инфовзрыв и сделал из крупной технологической аварии катастрофу глобального значения. Именно информационная составляющая является, на наш взгляд, главной определяющей чертой Чернобыля, а отнюдь не радиационная, которая лишь вынесла Чернобыль на глобальную инфоорбиту¹.

¹ Напомню, что Чернобыльская катастрофа (в отличие от аварии) началась с того, что в Швеции было выявлено значительное повышение радиационного фона, что повлекло за собой ажиотаж в западных СМИ и поиски источника радиации. Из анализа ничтожных количеств радиоактивных веществ стало ясно, что произошла авария работающего ядерного реактора, и были определены его

Почему именно радиация возбудила столь мощный информационный взрыв? Радиация — субстанция особенная и в материальном, и в социальном смысле. В материальном смысле *радиация* — вероятно, *наиболее легко определяемый загрязнитель окружающей среды*. Если бы технологический взрыв мощности чернобыльского случился на каком-нибудь химическом предприятии, он, скорее всего, прошел бы незамеченным в глобальном масштабе. Только ограниченное число лабораторий в мире смогли бы определить исчезающе малые количества этого вещества, причем отбор проб и анализ был бы недешев и небыстр. Присутствие же радиации замеряется практически мгновенно, прямо на месте, сравнительно простым, широко распространенным и недорогим прибором, а уровень радиации отслеживается постоянно и по всему миру.

Радиацию как объект социальный характеризует весьма специфическое символическое значение, связанное с ее восприятием как чрезвычайно большого, «почти-всегда-смертельного» риска для жизни. Во времена чернобыльского взрыва, в эпоху ядерного противостояния двух сверхдержав — СССР и США — в общественном сознании само понятие радиации было связано с ядерной войной, могущей уничтожить все живое на Земле и земной шар как объект. Радиация была одним из тех символов, на которых строились пропаганда и массовые акции протеста против ядерной войны.

Сюда надо добавить еще одно свойство радиации: в современной антропогенно модифицированной окружающей среде уровень радиации может варьировать в исключительно широких пределах. Например, летом 1986 года уровни радиации (и, соответственно, дозы) только в пределах 30-километровой зоны вокруг ЧАЭС отличались в миллионы раз¹, т.е. имели такое же различие, как миллиметр и километр. Непонимание этой колоссальной разницы возможных доз облучения привело к тому, что в общественном сознании «километровые» физико-биологические эффекты приписывались и продолжают приписываться «миллиметровым» дозам, радиации вообще². Количественное понимание этого важного

параметры. Под давлением неопровержимых доказательств советское правительство неохотно признало факт аварии на 4-м блоке ЧАЭС. См.: *Medvedev Zh. The Legacy of Chernobyl*. NY; London: Norton & Co, 1990. P. 66, 194–196.

¹ Несколько десятых миллирентген в час на южной границе зоны — и сотни рентген в час в некоторых местах на АЭС и рядом с ней.

² См. подробнее: *Булдаков Л.* Медицинские последствия. С. 16.

фактора современной окружающей среды до сих пор почти полностью отсутствует.

Неудивительно, что стресс, связанный с предположением факта облучения, столь же интенсивен и травматичен, как и стресс от реального факта облучения¹. Можно говорить о своего рода эффекте «негативного плацебо»: информация о субстрате оказывает отрицательное воздействие вне зависимости от того, наличествует ли сам материальный субстрат (в данном случае — радиация).

Таким образом, диагностическая, приборная сверхчувствительность к радиации сочеталась с социальной, психологической сверхчувствительностью. Переливаясь из одной «сверхчувствительной среды» в другую, информация о радиации создавала эффект положительной обратной связи, раскручивала спираль страха. Все это самым драматичным образом усиливалось фактом *невидимости, невосприимчивости* радиации органами чувств человека, превращая таким образом радиацию в уникальный и чрезвычайно мощный психострессор². Поэтому именно информация о радиации послужила детонатором беспрецедентно мощного информационного взрыва, превратила аварию на ЧАЭС в Чернобыльскую катастрофу.

Обратимся теперь к психологической травме³. Ее возникновение и степень тяжести определяются не только и даже не столько степенью физического / биологического повреждения организма в момент травмы (если оно вообще имело место), сколько той информацией, той «смысловой нагрузкой», которые увязываются с этим реальным или воображаемым повреждением. По существу, на информационную природу психотравмы указывал еще Фрейд после Первой мировой войны. Как отмечал психоаналитик, симптомы «невроза войны» иногда могут возникать *без воздействия* значительной механической силы, и выделял среди наиболее ве-

¹ Collins D., De Carvalho A. Chronic Stress from the Goiânia 137 Cs Radiation Accident // Behavior Medicine. 1993. V. 18. P. 149–157.

² Моляко В. Особенности проявления паники в условиях экологического бедствия // Психологический журнал. 1992. Т. 13. № 2. С. 66–74.

³ Психологическая травма в данном исследовании понимается как расстройство психики под влиянием психологического стресса или вследствие физического увечья и инициируемые этим расстройством эффекты в психическом, физическом и социальном здоровье. Термин «психологическая травма» и — несколько более узкий — термин «посттравматический синдром» употребляются в тексте как синонимы.

роятных причин «травматических неврозов мирного времени» фактор испуга, внезапности угрозы. Более того, Фрейд даже считал, что наличие физической травмы, как правило, препятствует развитию «травматического невроза» (психотравмы)¹.

Дальнейшая эволюция шла по пути отделения, очистки, «рафинирования» самого феномена травмы от ее (возможной или ассоциируемой) физической первопричины. Вероятно, именно напряженность (научной и политической) борьбы за признание психотравмы самостоятельной болезнью и привела к тому, что в фокусе внимания был поиск общих симптомов и условий ее возникновения, которые в наиболее обобщенной форме определяются как «беспомощность перед лицом угрозы жизни»². А то, что именно *информация* о реальном или предполагаемом ущербе здоровью формирует психотравму, как правило, оставалось вне поля зрения.

Говоря об информации в данном контексте, надо отметить, что речь идет не только и даже не столько о непосредственной, сенсорной, воспринимаемой органами чувств человека «напрямую» информации об опасности в окружающей физической среде, сколько об информации как коллективном, коммунальном, социально опосредствованном продукте. Рассмотрим на примере (ликвидаторов) Чернобыля, как информация формирует психотравму и определяет ее эволюцию.

Местом получения психологической травмы для ликвидаторов была довольно обширная закрытая зона (около 60 км в диаметре) вокруг аварийной ЧАЭС. Взрыв реактора и то, что после него последовало — пожар на АЭС, радиоактивные выбросы и загрязнение местности, долговременные крупномасштабные аварийные работы, — превратили это место в необычную и экстремальную среду для человека. Как подчеркивает в своей работе Сюфелд, непривычные, т.е., другими словами, содержащие принципиально новую информацию среды «могут быть опасны, даже если они не особенно экстремальны» (по своим физическим параметрам). Очень су-

¹ Freud S. Beyond the Pleasure Principle // Freud S. Standard Edition of the Complete Psychological Works. Vol. XVIII. London: Hogart Press, 1995. P. 12.

² Подробнее см.: Herman J. Trauma and Recovery. NY: Basic Books, 1997. P. 33; McFarlane A., De Girolamo G. The Nature of Traumatic Stressors and the Epidemiology of Post-Traumatic Reactions // Traumatic Stress: The Effects of Overwhelming Experience on Mind, Body, and Society / B. Van der Kolk, A. McFarlane, L. Weisaeth (eds.). NY: The Guilford Press, 1996. P. 36.



**Два офицера у АЭС. На заднем плане ИМР
(инженерная машина разграждения, предназначенная
для разборки завалов в городах после атомной бомбардировки)**

шественно, что одна и та же необычная / экстремальная среда может быть одновременно: *рабочей* — и лишь умеренно травматогенной — для подготовленного профессионала; *рекреационной* (!) — для добровольно стремящегося в нее человека, который хочет испытать себя, новую обстановку и ощущения; и (*психо*)*травматической* — для того, кто попадает в нее неподготовленным и / или не по своей доброй воле¹.

Именно таков случай Чернобыля. Большинство ликвидаторов были призваны из запаса через военкоматы или командированы с места работы. Радиационная опасность была для них невидимой, неосознаваемой опасностью, о которой они имели смутные, противоречивые и часто преувеличенные представления². К тому же в силу

¹ Suefeld P. Extreme and Unusual Environments // Handbook of Environmental Psychology. Vol. 1 / D. Stokols, T. Altman (eds.). NY: Wiley, 1987. P. 869.

² См.: Тарабрина Н., Петрухин Е. Психологические особенности восприятия радиационной опасности // Психологический журнал. 1994. Т. 15 (1). С. 27–40.

СООБЩЕСТВА УТРАТЫ



Так выглядел 4-й энергоблок ЧАЭС в начале мая



Группа призванных из резерва перед работой на АЭС

социальных причин (отсутствия индивидуальных дозиметров; стремления руководства СССР преуменьшить масштабы последствий; кризиса доверия к официальным источникам информации) ликвидаторы не знали (или не были уверены в правильности сообщаемых им данных) о том, на каком уровне радиации находятся, какую дозу они получили. Таким образом, они находились в ситуации, которую считали весьма опасной, причем опасность была для них непредсказуема как в пространстве (из-за невидимости), так и во времени (из-за незнания реальных последствий облучения). Как эта «беспомощность перед лицом угрозы жизни» выглядела на практике, можно ощутить по приводимой записи из дневника ликвидатора:

25.XI.1986 года. Теперь я знаю, что такое Страх. Я могу писать произведения о приговоренных к казни. Потому что пережил все сам. Вчера после ужина... для меня имелось распоряжение: отобрать одного офицера или прапорщика и одного рядового с дозами не более 10 бэр <рентген полученной дозы>, взять три исправных ДП-5 <прибор для измерения уровня радиации>, по два дозиметра-накопителя для каждого и к девяти утра быть в вестибюле главного корпуса станции <ЧАЭС>... Все это было загадочно... Теряясь в догадках, я отобрал по штабным спискам прапорщика Хромова... и рядового Школу... Пришел батальонный радиолог... — Я слышал, что тебе завтра на разведку крыш. Ну-ну... Там, говорят, меньше 50 рентген в час и не «светит»...
...50 рентген <в час> — это много. Значит, свои неполные двадцать <рентген>, которые остались до максимально допустимой <дозы>, я могу подцепить за полчаса? А Хромов со Школой, у них же больше? Ничего себе...
В умывальнике, несмотря на позднее время, толкуются офицеры.
— На крышу? Так там же 600 или 800 рентген <в час>!
...Я верчусь в кровати и не могу даже расслабиться. 600 рентген в час! Значит, за десять минут — 100 бэр? Пусть даже за пять минут мы пробежимся по этой крыше не останавливаясь... — и того достаточно. С крыши мы слезем инвалидами.
Страх полностью парализовал меня. Я умею заставлять себя уснуть. Переключать мысли на второстепенное, расслаблять конечности, проваливаться во мрак. Но сейчас не удавалось. «600 рентген! 600 рентген!» — било в виски. Приговоренные к казни потеют. Это я утверждаю как очевидец.

...Проснулся от стука в дверь. На пороге стоял уже одетый Хромов. ...О том, какие уровни радиации на крыше, да и о крыше вообще я сейчас не распространяюсь. Зачем преждевременно пугать ребят? Приедем — успеем попутаться.

В дороге я снова задремал. Волна ужаса, которая накатывалась ночью, как-то неприметно отошла, и я очнулся, когда наш грузовик зашелестел колесами по гравию площадки напротив главного админкорпуса станции.

...

— Что вы здесь делаете? — прозвучало вдруг. Я обернулся. Генерал! — Товарищ генерал, группа разведчиков первого батальона двадцать пятой бригады прибыла на разведку крыши третьего энергоблока. Старший группы капитан Биденко. ...

— Самойленко, — протянул руку генерал. — Но зачем крышу? Ее мы давно разведали. С вертолетов и роботами....

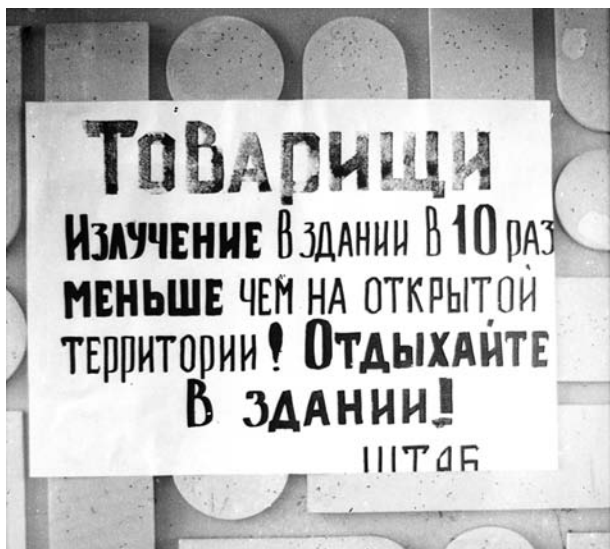
— Значит, галерею, — предположил я. Дыхание перехватило. Если крышу кое-как чистили, то галерей, кажется, никто и не трогал.

— Да нет, и там все известно...— задумчиво проговорил генерал Самойленко. — А... КССК. Там точно нужно крышу разведать, потому что пора запускать мостовой кран с человеком, а какие уровни над ним — никто не знает.

Я чуть не закричал «Ура!»... Корпуса комбината спецстройконструкций стоят метрах в пятистах от четвертого блока. Если туда что-то и падало, то немного.

...А дальше все было на удивление просто. ...Подожел капитан с соседнего батальона и попросил «заодно» разведать и крышу бытового корпуса этого комбината — он должен был мыть ее... если останется время, то хорошо было бы пройти еще по двум корпусам — все равно когда-нибудь их чистить надо. ...А уровни были там невысокие, просто мизерные — от половины до двух рентген в час. В двух точках Школа нашел по 7 рентген <в час>. Он «щупал» крышу и удивлялся, что вот мы — первые люди, которые ступают по ней после взрыва. За все время разведки я получил всего-навсего 0,98 бэра. Хромов и Школа — примерно по столько же. Какого рожна я не спал всю ночь?¹

¹ Биденко М. Бархатный сезон 86-го года: Армейские будни на радиоактивном фоне (Записи из дневника). Рукопись. 1987.



Плакат на стене одного из зданий на АЭС

Было бы принципиально неверным считать, что в зоне ликвидаторы чувствовали только (или даже по преимуществу) боязнь, страх, испуг. Известно, что эмоциональные реакции человека в необычных / экстремальных средах многообразны, в их спектре достоверно присутствует и положительная часть¹. Она включает, в частности, юмор (один из наиболее доступных способов уменьшить стресс и нервное перевозбуждение), мужество, самопожертвование и возвышенные трансцендентные переживания. Есть и «нейтральная часть»: в зоне через несколько месяцев после взрыва я наблюдал (признаюсь, поначалу не без удивления), что большинство ликвидаторов удивительно спокойно реагируют на присутствие радиации (я говорю о хронической реакции, не об эмоциях во время заведомо опасных работ). Спокойствие это резчайшим образом контрастировало с реакциями захлестнутого слухами «мирного населения» далеко вне зоны, в местах в тысячи и миллионы раз более радиационно благополучных. Этот феномен

¹ Suefeld P. Extreme and Unusual Environments. P. 874.



«Отдых» внутри здания на АЭС. Выйти погулять некуда — вокруг враждебная человеку природа. Как на космической станции

спокойствия ликвидаторов можно, с одной стороны, объяснить механизмом вытеснения страха; с другой — приписать «онемению», одному из симптомов хронической психотравмы¹. Присутствовал и положительный эффект (даже частичной) информированности об уровнях радиации: это позволяло человеку в зоне предпринимать активные действия, вырабатывать стратегии уменьшения своего облучения и тем самым даже если и не уменьшать дозу, то по крайней мере купировать психотравматическое воздействие факта облучения естественными для психофизиологии человека действиями по противоборству опасности.

Обратим внимание еще на одно инфотравмирующее обстоятельство зоны. Считается, что, если человек воспринимает необычную / экстремальную ситуацию не только как угрозу, но и как личностно-значимый вызов, вероятность того, что он справится с

¹ *Herman J. Trauma and recovery. P. 42—43.*



**Лагерь 25-й бригады химзащиты в начале мая 1986 года.
Трасса Чернобыль—Киев. Ветер от АЭС. До взорванного
реактора — 35 километров**

ситуацией, повышается¹. То, что часть ликвидаторов понимали критическую важность выполняемых работ, уникальное общественное и личное значение этого момента в своей жизни, было несомненным положительным, «антипсихотравматическим» фактором. Это обстоятельство проявляет существенную разницу между ликвидаторами 1986 года, работа которых находилась в фокусе внимания глобального сообщества (по крайней мере, до закрытия реактора саркофагом в ноябре 1986 года), и ликвидаторами последующих лет, когда ликвидация последствий в зоне стала восприниматься обществом как рутинная, грязная и малопrestiжная работа.

Целый ряд общих признаков делает чернобыльский опыт ликвидаторов похожим на опыт войны для ее ветеранов. В обоих случаях человек действует (часто длительное время) против враждебной силы, угрожающей его здоровью и жизни; делает это (как правило) по принуждению, в условиях недружественной социальной среды. Однако есть и принципиальное отличие, хорошо сформулированное одним из собеседников Светланы Алексиевич: «Из Афгана я вернулся — я знал: буду жить. А в Чернобыле все наоборот: убьет именно тогда, когда вернулся...»² В свою прежнюю, «до-

¹ Suefeld P. Extreme and Unusual Environments. P. 874.

² Алексиевич С. Чернобыльская молитва (Хроника будущего). М.: Остожье, 1997. С. 67.

зонную» среду ликвидатор возвращался с меткой Чернобыля, весьма значимой и для него самого, и для его окружающих. Как же информационная среда, в которую он попадал, «прочитывала» эту метку? Как «декодировался» этот знак?

Инфоосколки

Для более полного понимания информационной среды вокруг Чернобыля и способов ее воздействия необходимо вначале рассмотреть, как она формировалась. В порядке общего предварительного замечания отмечу, что отчет миссии ООН 2002 года считает: «Информирование общественности и образовательные инициативы были среди наименее согласованных и наименее эффективных мер» по ликвидации последствий Чернобыльской аварии¹. Это дополнялось другим отрицательным общим моментом: организации, по роду своей деятельности имевшие отношение к ликвидации последствий², ориентировались на радиологические подходы и недооценили важность социально-психологических и политических факторов в чернобыльских последствиях³. Повторюсь: Чернобыль понимался (и понимается по преимуществу до сих пор) как *радиационная катастрофа* — а не как *информационное, психосоциальное бедствие*⁴.

Исследователи в основном сходятся в трактовке периодов «информационного Чернобыля»⁵. На первом этапе аварии власти

¹ The Human Consequences. P. 45 (3.27).

² Минсредмаш («маскировочное» название советского атомного милитаризованного ведомства), Национальная комиссия по радиационной защите СССР, ВОЗ, МАГАТЭ и др.

³ *Большов Л. и др.* Чернобыльская катастрофа.

⁴ Например, в уже упоминавшейся монографии «Чернобыльская катастрофа» из двадцати с лишним страниц, посвященных факторам, которые влияют на здоровье населения (с. 391—413), социально-психологическим факторам аварии уделено только две (с. 409—411).

⁵ *Bezverkhaya Z.* Information Strategy of Post-Chernobyl Period as One of the Reasons of Psychic-emotional Strain of the Affected Population // International Conference Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current State and Future Prospects (May 24—28, 1995, Kiev, Ukraine). Kiev: Khreshchatyk, 1995. P. 170—171; *Antonov V., Pyetrichenko A.* Chernobyl: Social-psychological Processes,

СССР, контролировавшие все СМИ страны, в течение нескольких лет замалчивали (отчасти не понимая сами) масштабы чернобыльских последствий, а «озвучиваемые» ими эффекты и дозы радиации были, с точки зрения общественного мнения, смехотворно маленькими. В это же самое время в неформальных СМИ СССР (как и в зарубежных СМИ) происходил настоящий информационный взрыв: домыслы, слухи и сенсационно преувеличенные сообщения создавали мощный потенциал патогенной информации.

Со временем этот инфовзрыв мог бы постепенно сойти на нет. Однако начиная с 1988 года процессы демократизации и гласности способствовали значительному росту публикаций о Чернобыле в СМИ. Информация эта была противоречивой; даже достоверные научные данные становились дополнительным фактором стресса, поскольку часто подавались в форме, не адаптированной для широкой аудитории или/и не учитывающей специфику ее восприятия. Все это породило явление, названное «вторичной паникой»¹, которая, по некоторым оценкам, не уступала по интенсивности и охвату первичной панике 1986 года и внесла свой вклад в углубление психологической травмы чернобыльцев². Период второго информационного всплеска Чернобыля длился приблизительно с 1989-го по 1992 год.

Это было связано с рядом политических обстоятельств. До 1991 года демократические силы СССР и сепаратистские силы национальных республик активно указывали на Чернобыль как индикатор и следствие системного кризиса СССР. Акцентирование масштаба негативных чернобыльских последствий было распространенным приемом политической риторики. В последние годы СССР и первые годы независимости бывших республик в ответ на требования общественности были приняты законы о беспрецедентно широком наборе льгот и компенсаций чернобыльцам. Правительства новых независимых государств были также заинтересованы в преувеличенном представлении чернобыльского ущер-

Psychological and Social Mechanisms // Ibid. P. 130–131; Моляко В. Психологические последствия Чернобыльской катастрофы // Психологический журнал. 1992. Т. 13. № 1. С. 135–146.

¹ Моляко В. Особенности проявления паники. С. 69.

² Тарабрина Н.В., Лазебная Е.О., Зеленова М.Е., Ласко Н.В., Опп С.Ф., Питман Р.К. Психофизиологическая реактивность у ликвидаторов аварии на ЧАЭС // Психологический журнал. 1996. Т. 17. № 2. С. 30–45; Тарабрина Н., Петрухин Е. Психологические особенности восприятия.

ба и эффектов радиации, чтобы получать максимум иностранной помощи для ликвидации последствий. Международные и постсоветские антиядерные и экологические движения также подчеркивали негативные последствия Чернобыля. Приписывая их почти исключительно радиации, они использовали Чернобыль как эффективный риторический прием в борьбе против ядерных технологий¹. МАГАТЭ и национальные атомные институты, наоборот, твердо стояли на позиции мизерности доказанных последствий радиации (избегая говорить о последствиях катастрофы в целом); их заявления, часто высказываемые в крайне пренебрежительной для «населения» форме, имели обратный эффект².

Таким образом, все значимые участники информационного процесса (осознанно или неосознанно) представляли Чернобыль де-факто так, чтобы не столько смягчить его последствия для групп, непосредственно затронутых аварией, сколько прибрести максимальный (политический или/и экономический) капитал. В этой ситуации чернобыльцам было крайне сложно репрезентовать себя вне господствующего радиационного дискурса аварии и ее последствий, и они волей-неволей подыгрывали этой модели восприятия.

Приблизительно со второй половины 1990-х власти молодых стран начали постепенно менять тональность освещения Чернобыля. Однозначная «катастрофичность» в трактовке последствий аварии для здоровья стала исчезать. Это было вызвано, в частности, нехваткой средств для смягчения последствий по заявленным ранее программам (которые принимались, как правило, без достаточной экономической проработки) и постепенным накоплением надежных научных данных о незначимости эффектов чернобыльской радиации. Однако исследователи-медики, научно и экономически заинтересованные в продолжении своих программ, ориентированных на радиационные и соматические эффекты Чернобыля, продолжали и продолжают продуцировать информацию о значимости и большом масштабе радиационных последствий Чернобыля³. Кульминацией «раздувания» последствий Чернобыля можно счи-

¹ См, напр.: «Children of Chernobyl» (Documentary film). TVE, 1993. Director C. Gordon.

² Колоритный пример такого поведения высокопоставленного чиновника МАГАТЭ запечатлен в: «Fallout from Chernobyl» (Documentary film). BBC TV, Horizon, 1996.

³ Булдаков Л. Медицинские последствия. С. 7–8.

тать 1996 год, 10-летнюю годовщину события. Только приблизительно с 1998 года в СМИ началось «забывание» Чернобыля. Таким образом, на протяжении почти полутора десятков лет чернобыльский инфостресс поддерживался на высоком уровне, что составляет еще одну редкостную особенность Чернобыля.

Каким образом, через какие механизмы эта информационная ситуация влияла и продолжает влиять на чернобыльцев? Психотравма обычно ассоциируется с патологической формой памяти о травмировавшем событии, когда не происходит адаптации психики, «привыкания» к пережитому, естественного «выцветания» впечатлений о моменте травмы. Вместо этого травматическое событие ярко и регулярно «проживается» травмированным человеком, составляя для него, по сути, повседневную реальность, во всяком случае ее весомую часть. Вероятно, самым неожиданным в этом феномене «аномальной» памяти применительно к Чернобылю является то, что многие ликвидаторы сами *не хотят забывать* впечатлений зоны. Понимая глобальное значение Чернобыльской катастрофы и видя, что обретенные ими в зоне уникальные знания, навыки, впечатления до сих пор не зафиксированы адекватно в коллективной памяти и опыте, многие ликвидаторы являются фактически — используем удачный термин Кати Карут — *the vehicle of a history*¹, «носителями истории», исторической памяти, своего рода *памятниками* события, *помнящими* событие. Их работа по ликвидации последствий аварии не завершена до тех пор, пока чернобыльский опыт не будет включен в ткань нашей культуры.

Здесь уместно вспомнить наблюдение Примо Леви², который делит выживших в фашистских концлагерях смерти (обстановка в которых была исключительно психотравмирующей) на две группы. Входящие в первую не хотят даже говорить на эту тему и хотели бы забыть концлагеря (но не могут, и их мучают по ночам кошмары). Для них, по мнению Леви, «страдания были травматичны — но лишены всякого смысла». Другие же, наоборот, освободились от травматических форм памяти, перестали об этом думать, начали жить заново. Их отличает или хотя бы минимальная политическая подготовка (у бывших политзаключенных), или религиозные убеждения, или высокая мораль. Помнить для них — это долг: «Они не хотят об этом забыть и еще более не хотят, чтобы мир об

¹См. статью К. Карут в данном сборнике.

² *Levi P. If this is a Man; The Truce. London: Abacus, 1993. P. 390.*

этом забыл, понимая, что то, что с ними было, наполнено смыслом, что концлагеря не были случайностью, исторической непредвиденностью». Эти наблюдения верны и для Чернобыля: «Все, я сказал себе: Чернобыль для меня в прошлом. И я стараюсь об этом не вспоминать», — сказал автору в частной беседе Семен Гринберг, командир взвода радиационной разведки самого первого, самого радиационно опасного и физически и психологически напряженного периода после взрыва. Можно предположить, что у многих ликвидаторов, даже получивших значительные лучевые повреждения, но имеющих установку на полноценную личную, общественную и профессиональную жизнь, будет преобладать именно такая сознательная мотивация (что, по логике психоанализа, скорее не излечивает, но «маскирует», загоняет вглубь и тем самым закрепляет психотравму). Стоит отметить, что довольно часто негативный образ Чернобыля в массмедиа и обществе поддерживают те чернобыльцы, чей чернобыльский опыт (как радиационный, так и социальный и психологический) не особенно тяжел.

С этим связана другая, критически важная предпосылка аномальности индивидуальной и коллективной памяти о Чернобыле. Яркость, «буквальность», чувственность психотравмирующих воспоминаний личности интерпретируются как свидетельство того, что опыт травмировавшего события не пережит вполне, не понят, не опосредствован: «Образ <травматического воспоминания> фактически говорит: “Есть что-то, чего ты еще не понял”»¹. Этот опыт не может быть в достаточной степени переработан единичной личностью или группой переживших событие, он требует широкого социального осмысления и интеграции. Характерно в этой связи наблюдение Светланы Алексиевич, проинтервьюировавшей несколько сотен чернобыльцев:

Не раз я слышала от своих собеседников одинаковые признания: «таких слов не подберу, чтобы передать то, что видела и пережила», «ни в одной книжке об этом не читал и в кино не видел», «никто раньше мне ничего подобного не рассказывал». Признания повторялись ...Все впервые обозначается, произносится вслух. Случилось нечто, для чего мы еще не имеем ни системы представлений, ни аналогов, ни опыта, к чему не приспособлено ни наше

¹ См. статью К. Карут в данном сборнике.

зрение, ни наше ухо, даже наш словарь не годится. Весь внутренний инструмент. ...Чтобы что-то понять, человеку надо выйти за пределы самого себя¹.

Непонятая, неизвестная обществу информация об их личном опыте отчуждает чернобыльцев, ослабляет или рвет их связи и с обществом в целом, и с их ближайшим окружением: «Со мной никто не может заговорить так, чтобы я ответил. На моем языке... Никто не понимает, откуда я вернулся... И я рассказать не могу»². Травмирующий аспект коренного непонимания Чернобыля ощущим во многих интервью чернобыльцев как настойчивый, повторяющийся мотив непознанности и, более того, якобы принципиальной непознаваемости Чернобыля.

Еще одна причина нежелания ликвидаторов забывать впечатления зоны — более личная и локальная. Для многих работа по ликвидации последствий катастрофы в Чернобыльской зоне стала фактически вершиной жизни — как в смысле значимости своей личности (бороться с проблемой глобальной важности, быть в фокусе внимания всей планеты), так и с точки зрения накала пережитых там эмоций и чувств: «Страх и свобода! Живешь на полную катушку.. Вам не понять, в обычной жизни... Я оглядываюсь на те дни... Я был рядом с чем-то... Чем-то фантастическим. Слов не хватает... Было такое чувство... Какое? Такое чувство я не испытывал даже в любви»³.

В это же время социально-политический негативный миф вокруг Чернобыля плотно окутывает и самих чернобыльцев. Эта (дез)информация способствует закреплению и усугублению их психотравмы как напрямую, формируя у многих убежденность в своем несчастье, так и опосредствованно, через их социальную стигматизацию и виктимизацию.

Стигматизация (в дословном переводе «клеймение, выжигание клейма на теле») — это наделение человека или группы негативным признаком-клеймом со стороны общества, определение через признак, наносящий социальный и/или психологический ущерб. Таким клеймом-стигмой является доминирующее в обществе мне-

¹ Алексиевич С. Чернобыльская молитва. С. 26.

² Там же. С. 73.

³ Из интервью ликвидатора А. Кудрягина (Алексиевич С. Чернобыльская молитва. С. 165, 166, 168).

ние, что «все ликвидаторы тяжело и неизлечимо больны, травмированы физически и психически»¹.

Источники стигматизации чернобыльцев — боязнь радиации и незнание реальных последствий облучения. Из-за боязни радиации часто боятся и самих чернобыльцев — как опасных для контакта объектов, «источников смертельного излучения», «разносчиков радиации». Стигма чернобыльцев подобна стигме больных СПИДом². В качестве примера приведу рассказ моего товарища, офицера батальона радиационной разведки, о том, как они с напарником в сентябре 1986 года возвращались из зоны домой через Киев:

Только спустившись в метро, мы поняли, какую ошибку совершили, поперев в Киев в «партизанской» форме. На боку у нас висели одинаковые противогазные сумки, хранившие тот немудреный скарб, который мы решились забрать с собой...

Два подозрительных типа в полевой форме с противогазами... Вокруг нас был постоянный людской вакуум. Нас чурались, от нас отводили глаза. Мы сидели в почетном удалении от остальных пассажиров вагона. То же самое было и в троллейбусе...

Ресторан... полон. Метрдотель, брезгливо держась на расстоянии, посоветовал нам для начала сменить гардероб, вымыться и уж потом беспокоиться о еде... <Напарник> побелел лицом и двинулся на него, но я схватил его в охапку и вытащил на улицу... Киев, который мы спасали, нас не принимал. Мы были изгоями, прокаженными в этом городе. Обида и усталость навалились одновременно. Вкалывая на станции, мы наивно полагали, что наши благодарные соотечественники кинутся мыть нам ноги по возвращении домой. Пусть кто-нибудь скажет, что мы этого не заслужили!

В тот вечер наши иллюзии рассеялись.

В лучшем случае нас игнорировали. В худшем — чурались, как тяжело больных инфекционной болезнью. Наши шмотки, мы сами в глазах окружающих нас людей были опасны... Это дал нам понять таксист, которого мы соблазнили четвертной бумажкой. Сам он считал, что радиация — не грипп, и поэтому согласился... Кстати,

¹ Из беседы автора с А.О., имеющей два университетских образования (Будапешт, июль 1999).

² Киселев М. Страх и стигма: О социально-психологических механизмах стигматизации больных СПИДом и жертв радиационных катастроф // Психологический журнал. 1999. Т. 20. № 4. С. 40—47.

он был единственным из пяти или шести свободных такси, кто рискнул притормозить возле нас...

Наш последний совместный ужин прошел на славу. Мы забили столик в ресторане «Крещатик», поближе к кухне, и перепробовали почти все меню. Это, в сочетании с нашими скромными, <уже гражданскими> шмотками, неопровержимо убедило официантку в том, что мы недавно освободились из «зоны»... Мы действительно были из зоны. Но не из той. ...Бутылка водки сделала нас более великодушными к предательскому городу...

Попутчика в купе у меня не было. Когда поезд тронулся, я обессиленно упал на постель. Что-то мокрое текло у меня по щекам, полувая, полусон, полубред мотали меня по ЧАЭС... Я задышался от приторно-сладкого воздуха в подвале главкорпуса, я кромсал ненавистный битум на крыше, я полумертвой бабочкой бился в истерике у засохших роз в заброшенном парнике — и над всем этим возвышалась проклятая стена четверки, <руины четвертого энергоблока>, какой я запомнил ее с первого дня...

Станция <АЭС> с трудом отпускала меня...¹

Стигматизация — это своего рода психологическая защита тех, кто стигматизирует. Она реализует их желание оградить себя, дистанцироваться (как буквально, так и психологически) от «заразы» (как в смысле радиации, так и болезни). Возникает порочный круг «положительной обратной связи»²: незнание приводит к необоснованной боязни, создающей стигму, ее негативные эффекты (в частности, в психическом, физическом, социальном здоровье чернобыльцев) усиливают боязнь, укореняют незнание, еще больше обосновывают стигму — и приводят к новым негативным эффектам в здоровье... В стигматизируемых провоцируются реакции, соответствующие ожиданиям общества: чернобылец, постоянно убеждаемый в том, что болен, вполне может заболеть.

С эффектом описанной выше «радиационной стигмы» смыкается эффект «стигмы психотравмы»: окружающие не знают о влиянии травмирующего опыта на психику. Поэтому они, как правило, осуждают самого травмированного, его/ее «пребывание в плену у прошлого», наружную беспомощность и пассивность, «необъясни-

¹ *Беляков С.* Ликвидатор. Повесть. http://zhurnal.lib.ru/b/beljakow_s/chernobyl.shtml

² *Киселев М.* Страх и стигма.

мые» депрессии и жалобы на здоровье, озлобленность — и тем самым способствуют закреплению травмы¹. Неудивительно, что у ликвидаторов первых месяцев, эвакуированных и жителей «загрязненных» районов по сравнению с жителями контрольных «чистых» районов межличностные проблемы на работе и в семьях в 5–7 раз более часты².

Хотя виктимизация в отличие от стигматизации — следствие добрых намерений, эффекты их схожи. Виктимизация чернобыльцев происходит уже на уровне официального названия этой группы: «*пострадавшие* вследствие Чернобыльской катастрофы», т.е. *жертвы* по определению. Возможность того, что человек мог быть в Чернобыле и не пострадать (не говоря уж о том, что последствия этого жизненного опыта могли быть для него *положительными*), — отсекается на корню. Этого бы не было, если бы чернобыльцы официально именовались, например, «ветеранами Чернобыля»³.

Ярчайшим примером виктимизации может служить выдержка из статьи депутата украинского парламента Николая Сургая «Они были среди первых», посвященной десятилетней годовщине аварии и подвигу ликвидаторов: «Нельзя не сказать добрых слов в адрес наших воинов. Можно и нужно было больше сделать для них в Чернобыле. И не их вина, а их беда, что многие из них позже так и не стали отцами, их жены — матерями, их любимые — женами...»⁴ Такие (не соответствующие реальности) мнения — это своего рода публичная символическая кастрация всего контингента мужчин-чернобыльцев, создающая предпосылки для многообразных негативных эффектов. Положение женщин в этом отношении не лучше: мать парня при знакомстве удивленно задает вопрос его невесте, эвакуированной из чернобыльской зоны: «Милочка, неужели вы можете родить?»⁵

Характерная информационная особенность Чернобыля еще и в том, что он был использован массмедиа как повод для наруше-

¹ Herman J. Trauma and recovery. P. 115.

² Саенко Ю. Соціально-психологічний слід Чорнобилю // Чорнобиль і соціум. Чорнобильський синдром: Соціально-психологічні наслідки / Ю. Саенко (ред.) Київ: Інститут соціології АН України, 1995. Т. 1. С. 3–9.

³ Слово «ветеран» обозначает пережившего какое-либо травмирующее событие — и обычно активно противодействовавшего ему — и несет в себе оттенок уважения к ветерану и его заслугам перед обществом.

⁴ Правда Украины. 26 апреля 1996. С. 2.

⁵ Алексиевич С. Чернобыльская молитва. С. 96.

ния целого ряда жестких культурных табу. Единственная известная нам группа людей, которой *принято* напоминать о тривиальном, но лично малоприятном факте их смертности, — это чернобыльские ликвидаторы. СМИ делают это регулярно, ежегодно, в дни очередной годовщины аварии, причем информация исходит, как правило, из ненадежных источников (например, общественных организаций самих чернобыльцев) и *никогда* не содержит сравнения со средними показателями смертности по стране в соответствующих возрастных группах, без которого любые цифры такого рода бессмысленны¹. Хотя показатели смертности, например, среди ликвидаторов России такие же, как у мужского населения страны в целом².

Бьющий пример нарушения табу на демонстрацию тяжелых телесных повреждений — сорокаминутный документальный фильм «Chernobyl heart» («Чернобыльское сердце»), получивший «Оскара»-2005³. Около двадцати минут в фильме показываются *ужасающие* уродства детей в специальном учреждении в Беларуси. Правда, при этом вскользь говорится, что «вот это нарушение нередко встречается при рождении ребенка и на Западе, но там сразу же делают операцию, и ребенок растет нормальным» (т.е. причина на самом деле социально-экономическая), — однако все показанное приписывается последствиям чернобыльской радиации, в том числе и не описанная в научной литературе болезнь сердца, давшая название фильму. Не хочется даже думать, как повлияет (или уже повлиял) этот эмоционально тяжелейший, пугающий, по-настоящему беспросветный фильм на белорусских девушек и женщин, готовящихся стать матерями, и на здоровье их будущих детей. Весьма показательно, что тема фильма — работа международной благотворительной организации в Беларуси, цели которой благороднейшие — помощь детям⁴.

¹ Например, 26 апреля 2005 года в медиацентре газеты «Известия» состоялась пресс-конференция, посвященная 1-й годовщине «чернобыльской трагедии». Согласно пресс-релизу, В.Л. Гришин, президент Общероссийской общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль» России, сообщил, что в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы принимали участие свыше 250 тысяч россиян. «Сегодня почти 70 тысяч ликвидаторов стали инвалидами и более 23 тысяч умерло» (Чернобыль 19 лет спустя. Пресс-конференция // Известия. 26 апреля 2005. <http://izvestia.ru/press/article1680315>).

² *Большов Л. и др.* Чернобыльская катастрофа.

³ «Chernobyl Heart» (Documentary film). HBO TV. US/Belarus', 2003. Director M. DeLeo.

⁴ <http://www.chernobyl-international.org>

Однозначно негативный образ Чернобыля — закономерный итог развития и одновременно часть описанной инфоситуации. Остаются в тени положительные последствия Чернобыля цивилизационного значения. Например, то, что Чернобыль положил конец безудержному и безответственному распространению «мирной и абсолютно безопасной» ядерной энергетики; что он привел к росту экологического и социального сознания и активности; что он указал на системный кризис СССР и ускорил его дезинтеграцию, предохранив, возможно, от куда более трагичных и масштабных последствий. Практически отсутствует и публичное признание того, что Чернобыль мог дать положительный жизненный опыт ликвидаторам¹. В существующем культурном и историческом контексте Чернобыль — явление однозначно негативное, во многих (причем важных) смыслах даже стыдное.

Однако негативный образ Чернобыля — не только способ негативной идентификации (в частности, с осознаваемой или неосознаваемой целью удовлетворить через этот негатив свои личные, групповые, национальные утилитарные интересы), но и — парадоксальным образом — способ *положительной* идентификации. Она основывается на обладании уникальным опытом, на *фактическом преодолении последствий Чернобыля*. Ее логику можно сформулировать приблизительно так: «Это место весь мир считает смертельно опасным — а мы тут живем (или жили, работали там). И ничего, живы». В этом смысле очень показательно высказывание председателя Могилевского женского комитета «Дети Чернобыля»: «Я боюсь вымолвить, но мы любим Чернобыль. Это опять найденный смысл нашей жизни... О нас, белорусах, мир узнал после Чернобыля... Мы одновременно и его жертвы, и его жрецы»².

Инфорикошеты

Информационные факторы Чернобыля негативно влияют на психику и здоровье ликвидаторов не только напрямую и не только через вторичные явления в преимущественно информационной,

¹ Преодоление и интегрирование травматического опыта может способствовать росту самоуважения и большей полноте жизни человека (*Herman J. Trauma and recovery*. P. 204).

² *Алексиевич С.* Чернобыльская молитва. С. 201.

«массмедийной» (в широком смысле последнего слова) сфере общества. Инфосоставляющая чернобыльской психотравмы проявляет себя и в виде третичных последствий в «не-информационных» сферах общества, в частности в столь значимых для здоровья, как медицинское обслуживание и система социального обеспечения.

Реакции медицины на Чернобыль во многом определялись социально-политической обстановкой и кардинально отличались в первые и в последующие годы аварии. Приведу описание первых, еще советских месяцев аварии из интервью с Олегом Векленко:

Когда вернулся домой, сначала все было нормально. Потом вдруг стало заносить, как пьяного. Взяли кровь — и в институт радиологии. Здесь для меня другой Чернобыль начался. Обмороки, капельницы. Колют тебе по 10—15 уколов, анализы берут, меряют... И ничего не говорят. А спрашивать бесполезно. Насмотрелся здесь — всякого. Конечно, я и в зоне кое-что повидал: палатки, хлопцы лежат зеленые, переоблученные, тошнота, рвота... Но там все это как-то по-другому воспринималось. А здесь наконец стало страшно. По-новому Чернобыль увидел. Почувствовал какую-то грань, пропасть. И очень захотелось выжить!¹

Помимо такого, довольно универсального, негативного фактора, как обстановка больницы², обращает на себя внимание и психотравмирующее влияние сокрытия информации о состоянии здоровья от самих чернобыльцев (следствие тогдашней государственной политики засекречивания).

В постсоветские годы, как я уже отмечал, многие медицинские институции, связанные почти исключительно с радиацией и/или Чернобылем, стали во многом сотворцами мифа о тяжелых, не-

¹ Векленко О. Четвертый блок (Интервью) //GREATIS (Москва). 1991. № 1. С. 17. Во избежание недоразумений подчеркну, что и сам интервьюируемый, и описываемые им ликвидаторы — это те, кто работали на АЭС в первые недели после взрыва и, вероятно, были в заметной степени травмированы прямым физическим воздействием радиации. Как уже указывалось, относительное число таких ликвидаторов невелико.

² Как сказал об этом в разговоре с автором бывший руководитель отдела экогидрогеологии Министерства геологии Украины Евгений Яковлев, ликвидатор самого опасного, первого периода аварии: «Я, когда свалился, наотрез от госпитализации отказался. А те, кто тогда по больницам пошли, — их уже нет в живых».

предсказуемых, неизлечимых эффектах радиации. Жертвой этого мифа, однако, стало и само медицинское сообщество. Для рядового врача информация о том, что его пациент — чернобылец, оказывается настолько значимой, что часто заслоняет собой всю остальную (медицинскую и сопряженную с ней личную и социальную) информацию, существенную для правильной диагностики и лечения. Поэтому медицинское вмешательство может ухудшить (и часто ухудшает) здоровье ликвидатора. В итоге не столько сама радиация и облучение, сколько знание врача об этом факте превращается в дополнительный фактор риска для пациента-чернобыльца¹.

Чернобыльская инфоситуация породила еще один угрожающий здоровью ликвидаторов фактор — экономический. Его контуры и составляющие хорошо просматриваются в приводимом ниже отрывке из моей конфиденциальной беседы с радиационным разведчиком моей части через десять лет после работы в чернобыльской зоне:

— Ты на инвалидности?

— Да. Тянул на вторую группу. Перестарался! Меня подучили: с вечера водочки, а утром бахни кофе. Ну, я с вечера напиринимался с приятелями, а утром кофе налакался. Пришел — померили — 190 на 170. «Вас надо немедленно госпитализировать! Идите домой, полежите». — «Да я и так в санатории сейчас». — «Ну тогда после них — к нам. А комиссию в другой раз пройдете». Так и пришлось уйти ни с чем... А потом вышла новая инструкция, и эту лавку прикрыли. В прошлый раз пришло на комиссию 26 человек — а инвалидность дали двум: одного на носилках принесли, а другой — с запиской от председателя облисполкома...

— А в больнице ты лежал?

— Я в последнее время где только не лежал — для комиссии нужен был срок <госпитализации>. В <радиологическом> диспансере, в неврологии, в кардиологии, в санатории... В неврологической больнице — кафедра неврологии, их диагнозы очень катят для комиссии. Там свободный вход-выход, можно смываться. Что хуже, чем в диспансере, — палаты на восемь человек... И во всех за все — плати. Тому дай, этому дай, за справку дай: тому бутылку шампан-

¹ Подробнее об этом факторе см.: *Mirny S. Chernobyl Liquidators' Health*. P. 126–130.

ского, тому — коробку конфет, тому — еще думай что. Диагнозы везде должны быть хорошими... ну, в смысле — плохими... Медикам тоже деваться некуда, надо ставить нужные диагнозы: не будет больных — их самих разгонят...

— С работы ты, наверное, ушел?

— Да. Для комиссии это хорошо — «человек не может работать». Получаю 75 % от последнего заработка. Ну и подрабатываю на старой работе... Слушай, а про новые законы о чернобыльцах ты что-нибудь слышал? Говорят, собираются забирать льготы — «нет денег»... Тут надо все время следить за изменениями — а то кинут через левое...

Хочу особо подчеркнуть, что такой тип реакции (симулирование заболевания), скорее всего, маргинален среди ликвидаторов¹. Кроме того, проблема возможного вреда социальных пособий вообще настолько универсальна и значительна, что заставляет исследователей ставить вопрос ребром: «Помогают ли компенсационные выплаты выздоровлению пациентов или же затрудняют его?»²

Как стало возможным появление «профессиональных» инвалидов-чернобыльцев? Законы, принятые в первой половине 1990-х годов, предоставили чернобыльцам широкий набор льгот и компенсаций. В частности, они включали высокие ежемесячные денежные пособия ликвидаторам-инвалидам (нередко превышающие в несколько раз среднюю зарплату по стране) в случае, если

¹ Может показаться, что этому противоречат, например, такие данные: 70 % ликвидаторов, обследованных в специализированной клинике Института биофизики (Москва), желают быть официально признаны инвалидами (*Chinkina O. Some Results of the Medico-psychological Study of the Chernobyl Liquidators Undergoing Examination in Hospital and Commission for Establishment the Degree of Invalidity // International Conference Mental Health Consequences. P. 162–163*). Однако исследованную выборку едва ли можно считать представительной: в научно-медицинские радиологические заведения по существующему положению попадают, как правило, или чернобыльцы с действительно серьезными проблемами здоровья, или очень настойчивые в получении группы инвалидности. Кстати, показательно, что среди ликвидаторов с высшим образованием желающих получить группу инвалидности было только 19 %, в то время как среди имеющих более низкий образовательный уровень — 94 %. Этот факт может служить подтверждением того, что отсутствие жизненных интересов (профессиональных, в частности) — одна из причин закрепления психотравмы и роста заболеваемости.

² Traumatic stress. P. xvii–xviii.

эта инвалидность официально связана с фактом облучения. Эта система, основанная на принципе «компенсация — за болезнь», на практике привела к тому, что успешное лечение приводит к снятию группы инвалидности и, как следствие, к резкому ухудшению социальной защищенности¹. Такое положение значительно снижает эффективность лечения и увеличивает заболеваемость — что, отражаясь в официальной медицинской статистике, дальше раскручивает психотравмирующую инфоспираль Чернобыля.

Весьма существенно в приведенном интервью и то, что и черновыльские медики, и пациенты-черновыльцы не заинтересованы в разглашении информации о реальном положении дел: это может повредить экономическим интересам двух взаимозависимых участников черновыльской медицинской эпопеи. И таких игроков на поле современного Чернобыля много. Приведенные примеры лишь обозначают контуры того, как (дез)информация о травмирующем событии, циркулирующая в обществе, вызывает патогенные реакции в его сферах, обычно не считающихся информационными. Вот так информационная ситуация вокруг Чернобыля, реализуясь через сеть социальных связей и механизмов, отрицательно влияет на здоровье черновыльцев. Эта негативная инфоситуация непосредственно и опосредованно воздействует на их психику и через нее — на соматическое здоровье, в итоге не столько заживляя черновыльскую рану, сколько углубляя ее.

Инфовыздоровление

Акцент на информационной сущности психотравмы, сделанный в данной работе, позволяет полнее уяснить существо и корни черновыльских проблем. Может ли такой подход быть полезным и для указания путей ее залечивания? Вероятно, да. Есть много прямых указаний на процесс заживления психотравмы как процесс переработки информации о травматическом событии. Например, Ван дер Колк отмечает:

¹ Амїразян С., Філіннова С., Тіхомірова М. Семіотика «чорнобильського синдрому» та роль соціально-психологічних чинників в його формуванні та розвитку // Український радіологічний журнал. 1997. Т. 5. № 1. С. 13–15.

Одна из загадок психики состоит в том, что до тех пор, пока травма переживается в форме невыразимого словами ужаса, организм продолжает реагировать на этот привычный стимул как на возвращение к травме... Когда же спусковой механизм травматического переживания идентифицирован и индивидuum обретает способность выразить словами пережитое — оно, похоже, теряет часть своей власти... Таким образом, задача лечения сводится к созданию у индивида, с одной стороны, способности к осмысленной жизни в данный период и, с другой — символических представлений о прошлом травматическом опыте, с целью укрощения ассоциирующегося с ним ужаса и десоматизации воспоминаний¹.

Обратим внимание на то, что в приведенной цитате говорится о переработке информации и самим травмированным индивидuumом, и социумом. Без когнитивной деятельности общества в целом, без социального осмысления психотравмирующего события, без соответствующих общественных реакций излечение психотравмы отдельного индивидуума проблематично.

Процитированное обобщение указывает как на обязательность инфопроцедур для лечения психотравмы, так и на недостаточность одних только очевидных инфомер «фактологического» характера. Эффективная «информационная интервенция» в любую психотравматическую проблему должна быть многоуровневой. Не претендуя на изложение всего комплекса таких мер применительно к анализируемому здесь случаю, укажу лишь на те, которые дополнительно проявляют универсальные инфоаспекты психотравмы.

В сложившейся ситуации черныбыльцы — преимущественно получатели информации о Чернобыле от общества; границы их инфообмена по теме ограничены кругом себе подобных. Ликвидация последствий психотравмы требует устранения этой асимметрии и изоляции, участия самих черныбыльцев на равных правах в публичном дискурсе. Важную роль в данном случае могли бы сыграть люди, успешно преодолевшие последствия Чернобыля. Многие из них дистанцируются от черныбыльской проблематики из-за ее негативного образа, хотя истории черныбыльцев-победителей имеют большой психотерапевтический потенциал для оздоровления травмированных людей и общества в целом. Такой инфоканал

¹ *Van der Kolk B.* The body keeps the score: Approaches to the psychobiology of post-traumatic stress disorder // *Traumatic stress.* P. 205.

мог бы восстановить доверие к информации об аварии и реальных эффектах радиации. Это одна из самых простых и эффективных составляющих процесса осмысления — и тем самым детравматизации — Чернобыля.

Простой эксперимент по ходу. Я уверен, что мнение читателя о Чернобыле и его влиянии на человека несколько изменится, если он/она узнает, что *все* процитированные выше ветераны-чернобыльцы, которые лично знакомы автору с 1986 года, не только живы и в разумной степени здоровы, но и успешно продолжают свою профессиональную карьеру. Сергей Беляков руководит исследовательской лабораторией в фармацевтической компании в США; Михаил Биденко — по-прежнему журналист и редактор одного из периодических изданий в Харькове; Семен Гринберг работает по специальности в биотехнологической фирме; профессиональный художник-график Олег Векленко — профессор Харьковской академии дизайна и искусств; Евгений Яковлев защитил докторскую диссертацию, продолжает свою научную и организаторскую работу. Для наглядности приведу еще весьма показательную историю Г.А. Бондаренко, кадрового офицера, ныне полковника запаса:

...В июне 1987 года я... был в Чернобыле заместителем командира бригады химической защиты Московского военного округа. На месте мне была поставлена задача: ежедневно вывозить бригаду... на станцию и руководить работами по дезактивации 3-го энергоблока. Кроме того, батальоны выполняли много других задач по дезактивации «рыжего» леса, прилегающих сел и другие. Почти три месяца с утра до вечера я находился на 3-м энергоблоке...

Через месяц ко мне все же подкралась радиация. Я начал сильно уставать, как будто целый день жарился на солнце. Вдруг стали шататься все зубы и просто выпадать прямо с корнем. Берешь двумя пальцами и вытаскиваешь. Я доложил командиру, но он ответил, что мы выполняем правительственную задачу и «находимся на переднем крае борьбы с империализмом», и только через два месяца меня отпустили домой.

Я был доволен и счастлив. Но тут начались неприятности. Лег в госпиталь подлечить зубы, а вытащили девять штук. Я подумал: «Черт с ними, с этими зубами, значит, слабое звено в моем организме — десны. А радиация наносит удар по самым слабым мес-

там». Это не главное. Стала часто болеть голова, сердце. Давление подскочило — 190/110. Такого у меня никогда не было.

И начались мучения по различным госпиталиям, где методика лечения была одна: «Пей таблетки, глотай таблетки. Лежи тихо, не шевелись». Это продолжалось два года. Я пожелтел, осунулся. Периодически терял сознание. Домашние перепугались. Жене даже стало казаться, что по квартире бегают мыши. Все думали, что я долго не протяну.

И вот, на счастье мне, сослуживец дал книгу одного рязанского врача, не помню фамилии, который лечил гипертоников с помощью бега трусцой. Я воспрял духом, начал потихоньку ходить, бегать и контролировать свое давление. Дома мне готовили различного рода салаты для выхода радионуклидов.

Через полгода тренировок я спрятал в дальний ящик прибор для измерения давления и больше им не пользуюсь. Сейчас участвую в соревнованиях по бегу среди ветеранов и показываю довольно неплохие результаты. Недавно пробежал полумарафон <21 километр> за 1 час 30 минут.

Традиционная медицина вообще мне не советовала бегать, а спортивная медицина — наоборот. Сейчас я чувствую себя прекрасно. И советую друзьям-чернобыльцам по возможности перенять мой опыт¹.

Символическая переработка травмирующего события (по своей сути — информационно-культурная операция) — еще один необходимый элемент преодоления психотравмы. Не вдаваясь в детали конкретных способов символизации и тех моментов анализа, на которых они основываются, кратко перечислю самые важные:

— Радикальное изменение смысла географического места психотравмы. Чернобыльская зона — в своем теперешнем виде закрытого, отчужденного (и, по сути, мистического) пространства — это психотравмирующий мемориал Чернобылю-поражению. Ликвидация последствий Чернобыля невозможна без переосмысления и изменения символического значения зоны, ее социальной функции².

¹ Бондаренко Г. Я победил «чернобыльские болезни» // Чернобыль: Долг и мужество. М.: 4-й филиал Воениздата, 2001. Т. 2. С. 72–73. <http://www.iss.niit.ru/book-4/glav-3-13.htm>.

² О возможности и целесообразности преобразования зоны в Чернобыльский мемориальный национальный парк, символическое и утилитарное зна-

— Увековечивание психотравмирующего события: от сбора и публикации свидетельств переживших его людей до установления памятников и Чернобыльского мемориала. Очень важно, чтобы эти действия вели не к закреплению, не к усугублению травмы (как это по преимуществу происходит сейчас), а к ее преодолению. Эстетически и этически это можно выразить приблизительно так: от «беспросветного ужаса», преобладающего сейчас, — к «светлой печали» и, в перспективе, «радости преодоления».

— Кардинальное (пере)осмысление значения и содержания Чернобыльского события в целом. Сейчас Чернобыль однозначно воспринимается как поражение, а участники ликвидации — как потерпевшие это поражение. Фиксация на том, что было потеряно, мешает вполне осознать то, что было благодаря Чернобылю *обретено*.

Как изменить дискурсивное оформление Чернобыля? Может быть, Чернобыль не такое уж безнадежное поражение? На самом деле самые опасные последствия аварии в физической (технической и природной) среде не допущены или ликвидированы¹. Едва ли не самое главное то, что в течение первых дней удалось предотвратить еще один, тепловой, взрыв внутри экс-реактора (из-за выделения большого количества энергии в расплавленной и неконтролируемой радиоактивной массе экс-топлива, в которой самопроизвольно шли реакции деления ядер). Этот взрыв мог бы увеличить масштаб Чернобыля в несколько раз. День, когда, благодаря отчаянному мужеству людей и простому везению, опасность такого взрыва окончательно миновала, точно известен — 6 мая 1986 года². Именно этот по-настоящему судьбоносный день (который, кстати, совпал с днем святого Георгия Победоносца) было бы логично праздновать как День Чернобыльской победы, главный день Чернобыля в календаре. Ведь, к примеру, и День Победы во Второй мировой войне — это тоже «праздник с сединою на висках». Цена победы в войне была колоссальной, однако вряд ли кому-то придет в голову считать 22 июня главной памят-

чение которого отчетливо позитивно, см. подробнее в: *Mirnyi S. Chernobyl liquidators' health*. P. 171–176. Фактически чернобыльская зона уже функционирует как национальный парк. В 2004 году, по данным представителя Чернобыльинформа, ее посетили 870 иностранных туристов, приблизительно столько же ожидается в 2005 году (*Chivers C.J. New Sight in Chernobyl's Dead Zone: Tourists // The New York Times*. June 15, 2005).

¹ *Mirnyi S. Chernobyl: Catastrophe — a success story? // Rethinking History* (forthcoming).

² Чернобыльская катастрофа. С. 145

ной датой, связанной с этой войной. Почему же это должно происходить с Чернобылем?¹

* * *

Чернобыльская информационная ситуация не является чем-то исключительным. В современных экологических авариях, независимо от их специфики и масштаба, информационная составляющая — и по ее разворачиванию во времени, и по образу, закрепляющемуся в общественном сознании, и по последствиям — подобна чернобыльской². Увеличение дистанции — временной и географической — от момента и места аварии приводит к тому, что определяющую роль начинают играть вторичные, т.е. все более и более опосредованные и универсальные факторы (по упрощенной схеме: «взрыв, пожар, физическое/химическое загрязнение — информационное загрязнение — реакции социума»). Более того, на мой взгляд, наибольший ущерб в современных экоинцидентах чаще всего наносят именно *вторичные* и *третичные* факторы: они охватывают большие площади и контингенты людей и на более длительное время. Информационный фактор является в данном случае ключевым негативным фактором — как в смысле своего непосредственного эффекта, так и в смысле инициирования действия других вторичных психосоциальных негативных факторов.

Любая трагедия может рассматриваться как сигнал значительного рассогласования, несоответствия информационной модели и реальной среды, в которой обитают человек, группа или общество в целом. «Чрезвычайные происшествия» — это поражения не в

¹ А тем временем «жизнь берет свое». Закономерна и показательна с точки зрения «создания... символических представлений о прошлом травматическом опыте» (*Van der Kolk B. The body keeps the score. P. 205*) эволюция восприятия дня годовщины Чернобыля. В Харькове, например, 26 апреля из официального и достаточно скорбного мероприятия во многом превратилось в весенний праздник искусства. Там проходит Международная триеннале экологического плаката и графики «4 Блок», инициированная ветеранами Чернобыля под руководством уже упоминавшегося Олега Векленко. Характерно, что все чаще в этот день в речах проскакивает немыслимая раньше оговорка: «собрались, чтобы *отпраздновать*», «*праздник*».

² *Mirnyi S. Chernobyl as a Model Case of an Eco-Disaster // 5th Conference on environmental education «Case studies in env. education and research» (Zurich, Switzerland. April 15–17, 1999). Volume of Abstracts. Zurich: ETH-UNS. 1999. P. 35.*

СООБЩЕСТВА УТРАТЫ

последнюю очередь гностические, болезненные индикаторы отставания познания от реальной ситуации. И лишь поняв причины и суть трагедии, извлекая из нее уроки, уцелевшие смогут превратить ее в победу — и придать смысл и тому, что они пережили, и смерти тех, кого с нами уже нет. И тем самым в значительной степени избавить себя и общество от болезненного заикливания на прошлом, опасного недопонимания настоящего и угрожающей утрате памяти о будущем.

Сюзан Ульберг, Пауль Харт,
Селеста Бос

Длинная тень беды:

Общественная и политическая память
о катастрофе*

Длинная тень: проблема

За несколько часов или даже секунд жизнь жертв катастрофы меняется навсегда. Торнадо проходят, извержения вулкана остывают, вода отступает, а общества, пораженные стихией, вынуждены учиться жить с последствиями разрушения. Оставляя глубокий след на здоровье общества, природная стихия воздействует и на его социальную и политическую структуру точно так же, как и большинство техногенных катастроф — будь то ядерная авария в Чернобыле, химическая авария в Бхопале или утечка нефти на Аляске, во Франции или Испании. Трагические последствия катастроф ставят перед нами множество вопросов, которые можно свести к трем основным: причины (почему это случилось?), реакция (насколько нам удалось справиться с ситуацией?) и последствия (что может и должно произойти в будущем?).

В данной статье мы хотим разобраться с тем, как общества справляются с травмой, вызванной катастрофой. В частности, понять, почему одни катастрофы остаются в памяти, в то время как другие — не менее разрушительные — оказываются, судя по всему, забытыми. Яркий пример — жара в Чикаго в 1995 году. Она унесла более 700 жизней, но тем не менее в общественной памяти американцев не задержалась, несмотря на то что в ней нашлось

* Перевод с английского Елены Тейтельбаум и Елены Трубиной (с сокращениями).

место менее масштабным катастрофам, таким как ураган «Эндрю» или взрыв самолета в Локерби¹.

Ключевым для наших рассуждений является понимание того, что форма памяти о катастрофе практически не зависит от физических характеристик самого события. Форму памяти нельзя свести и исключительно к «травме» и массовой психологии. Скорее, она возникает в процессе взаимодействия между общественной, массовой памятью о катастрофе и той политической «обработкой», которой катастрофы подвергаются со стороны элиты. Два эти момента создают пространство ретроспективного осмысления, заполненное многочисленными деятелями, которые руководствуются различными мотивами и различными правилами. Иногда одна сфера памяти начинает доминировать над другой, иногда они взаимно усиливают друг друга, иногда — даже сливаются в одну сюжетную линию. Происхождение этих различных моделей памяти необходимо устанавливать на основе конкретных случаев. Пока у нас нет исчерпывающей теории о том, как именно беды остаются в памяти, и в этой статье мы лишь закладываем основы такой теории на основе исследования последствий крушения парома «Эстония» в Балтийском море в 1994 году.

Осмысление беды

Осмысление прошедшей беды меняется в той степени, в какой меняется наше понимание роли природы, случая, контроля и ответственности в общественной жизни. Возьмем, например, проблему причинности. Долгое время считалось, что жизнью человека управляют божья воля и силы природы. Бедствия и несчастья воспринимались как неизбежная часть самой жизни. Фаталистическое отношение к катастрофам и сейчас является доминирующим на огромных пространствах мира, однако промышленный Запад отказался от подобной перспективы: человек смог повысить степень своего контроля над внешней средой, в игру вступили тех-

¹ В августе 1992 года ураган «Эндрю» сокрушительно пронесся по штату Флорида, причинив большой ущерб. В страховые компании было подано свыше 700 000 заявлений о возмещении ущерба. 1 декабря 1988 года был взорван самолет компании «Пан-Америкен», направляющийся из Лондона в Нью-Йорк, над шотландским городом Локерби. Погибли 270 человек. — *Прим. пер.*

нологии. Технологии, вне зависимости от адекватности их применения, изначально виделись инструментом усмирения сил судьбы, способом обеспечения безопасности. Технологии воспринимались своеобразным тотемом контроля в антропологическом смысле этого слова, т.е. «способом такого структурирования естественного мира, при котором становится возможным достижение соответствия между природным и культурным»¹.

Со временем появилось более сложное представление о взаимодействии общества и технологии, соответственно возникло и новое понимание катастрофы. Шейла Язанов описывает это следующим образом:

С течением времени катастрофы, связанные с техникой, стали приобретать форму моральных историй на тему пределов человеческих возможностей. От падения Икаруса до крушения «Титаника» технологические аварии зачастую воспринимались как следствие самонадеянности. ...Научные исследования технологических катастроф последних лет стали следовать иным курсом, делая акцент на социальных и политических аспектах наряду с проблемами морали. С такой точки зрения серьезные технологические ошибки оказываются не просто несчастными случаями, но и возможностью обнаружить слабые места той социальной среды, которая и дала жизнь этим технологиям².

Иными словами, в современных условиях повышается роль социально-политических институтов и отдельных личностей в осознании и предотвращении катастроф. И хотя немало людей все еще считают, что ждать от политических деятелей гарантии полной безопасности преждевременно, что полностью избавиться от силы рока в общественной жизни не под силу даже самым талантливым руководителям, тем не менее именно политические лидеры сталкиваются с острой необходимостью доказывать публике то, что очередная катастрофа произошла не по их вине.

Границы «простительной ошибки» сужаются еще больше, когда речь заходит о реакции на катастрофу. Предполагается, что пра-

¹ Borodzicz E.P., Kees van Haperen K. Individual and Group Learning in Crisis Simulations // Journal of Contingencies & Crisis Management. 2002. Vol. 10. P. 140.

² Jasanoff S. The Fifth Branch: Science Advisers as Policymakers. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1994. P. 1–2.

вительства в состоянии квалифицированно отреагировать на любую аварию, минимизировать ущерб и компенсировать потери. Поведение, не соответствующее этим стандартам, наносит удар по престижу правительства в глазах народа. Возникает вопрос о последствиях катастрофы. И если посткризисное развитие событий демонстрирует наличие ошибок в предотвращении или реакции на чрезвычайную ситуацию, публичная полемика может приобрести болезненный оттенок. Может встать вопрос о необходимости анализа ошибок прошлого для улучшения деятельности правительства в будущем. Появляются требования установить меру вины тех, кто допустил ошибки, и определиться с их наказанием¹.

Те, кому приходится профессионально заниматься политикой и бизнесом, часто не обращают внимания на эти аспекты чрезвычайных ситуаций; политические аспекты кризиса игнорируются и в литературе, посвященной управлению аварийными процессами. Обычно в анализе кризисных ситуаций выделяют *нормальное состояние*, которое, собственно, предшествует кризису, непосредственно *кризисный период* и, наконец, *последствия* кризиса. Акцент традиционно делается на предотвращении кризиса, т.е. на эффективности мер по предупреждению и подготовке, и на организации ответных мер. Подобные модели увязывают кризисные последствия с вопросами продуктивного руководства восстановлением, выздоровлением и с постепенным возвращением к нормальной жизни. В рамках такого подхода кризис имеет четко обозначенные «начало» и «конец». В действительности же провести четкую грань между собственно кризисом и его последствиями становится все сложнее и сложнее. Уже не только ученые-специалисты привлекают внимание к «катастрофе после синдрома катастрофы»²; важность этого явления начинают признавать и политические деятели. Говоря точнее, политики тоже постепенно приходят к осознанию того, что катастрофа — это не одномоментный выстрел, но событие, которое разворачивается во времени. Они начинают понимать, что проблемы, возникающие после того, как все ружья умолкли и все жертвы оказались в больнице, не уступают по своей сложности самому острому моменту кризиса. Разумеется, опас-

¹ Douglas M. Risk and Blame: Essays in Cultural Theory. London; NY: Routledge, 1992.

² Oliver-Smith A. What is a disaster? Anthropological Perspectives on a persistent question // The Angry Earth. Disasters in Anthropological Perspectives / A. Oliver-Smith, S.M. Hoffman (eds.). London: Routledge, 1999.

ность всеобщей угрозы уменьшилась, и потребность в моментальной реакции уже не так сильна. Однако именно в тот момент, когда черта опасности кажется пройденной, и дает себя знать экзистенциальная неуверенность, порожденная катастрофой. Зачастую беда пробивает невосполнимую брешь в глубоко укоренившихся и активно распространяемых мифах о личной безопасности граждан и неуязвимости базовых устоев общества. На подобное потрясение требуется дать ответ. Однако потрясения такого рода — это далеко не единственная проблема, на которую необходимо реагировать государству и обществу в целом в момент кризиса. Вместе с тем «катастрофа после катастрофы» зачастую не менее значительна и болезненна, чем та ее часть, что обычно становится достоянием корреспондентов CNN, то есть сильнейшая и нередко наиболее разрушительная фаза бедствия.

Подобный подход к пониманию катастроф сложился изначально в рамках социологии чрезвычайных ситуаций. Начиная с изучения массового поведения в ситуации войны и последующих катастроф в 1940-х годах¹ социологи все больше обращали внимание на организационные меры, предпринимаемые в ответ на стихийные и техногенные бедствия². За социологами последовали политологи и специалисты в области государственного управления³. Базовым для таких исследований стало понимание катастрофы как «неотвратимого» и «чрезвычайного» события. В центре внимания аналитиков, таким образом, оказалась прежде всего реакция государства на события, которые было трудно предсказать.

Критика, раздающаяся в адрес такого подхода, привлекла внимание к эффекту преемственности между типом реакции на кри-

¹ *Fritz C., Marks E.* The NORC Studies of Human Behaviour in Disaster // *Journal of Social Issues*. 1954. Vol. 10. P. 26–41; *Barton A.* *Communities in Disaster*, NY: Doubleday, 1969.

² *Quarantelli E.L., Dynes R.R.* *Images of Disaster Behavior: Myths and Consequences*. Columbus, Ohio: Disaster Research Center, Ohio State University, 1972; *Quarantelli E.L.* *Disasters Theory and Research*. Beverly Hills, California: Sage Publications, 1978.

³ *Managing Disaster. Strategies and Policy Perspectives* / L.K. Comfort (ed.). Durham and London: Duke University Press, 1988; *Rosenthal U., Charles M., Hart P.* *Coping with Crises: The Management of Disasters, Riots, and Terrorism*. Springfield, Illinois: Charles Thomas Publisher, 1989; *Lagadec P.* *Crises to Come: Comments and Findings*. Ch. 21. Round table // *Rosenthal U.R., Boin A., Comfort L.K.* *Managing Crises: Threats, Dilemmas, Opportunities*. Springfield, Illinois: Charles Thomas Publisher, 2001. P. 342–349.

зис и теми общественно-политическими условиями, которые ему предшествовали. В частности, исследователи показали, как социальные, экономические и политические процессы способствуют формированию рискованных ситуаций и тем самым превращают катастрофы в «нормальные несчастные случаи»¹.

Такую точку зрения можно встретить в работах Оливера-Смита, который длительное время работал в Перу, изучая землетрясение, разрушившее в 1970 году районы страны, прилегающие к Андам. Оливер-Смит утверждает, что колониальное наследие, исторические и политико-экономические процессы стали причиной глубоко укорененной уязвимости социальной системы, которая значительно ограничила способность данного общества противостоять воздействиям землетрясений². К. Эриксон в своем классическом исследовании наводнения в Баффало Крик (США) следует той же логике: наводнение стало не просто катастрофой в смысле серьезных человеческих и материальных жертв, но и частью более обширного процесса «изнашивания» культурно-экономической структуры общества на протяжении столетия³. Сходным образом Р. Шоу анализирует наводнение 1998 года в Бангладеш с учетом развития культуры, в частности — гендерной проблемы. Рассматривая дихотомию «природы» и «культуры», Шоу показала, насколько сложны и неоднородны культурные смыслы периодически повторяющегося наводнения. Они отражают социальные и политические процессы и по очереди формируют различные стратегии преодоления⁴. Следуя этим ученым, мы будем использовать концепцию «смягчения ущерба» как для описания культурных процессов, благодаря которым происходит осмысление чрезвычайных ситуаций («восприятие опасности»), так и для анализа социально-политических практик по устранению последствий («смяг-

¹ *Steinberg T.* Acts of God : The Unnatural History of Natural Disaster in America. Oxford: Oxford University Press, 2000; *Klinenberg E.* Heat Wave: A Social Autopsy of Disaster in Chicago. Chicago: University of Chicago Press, 2001.

² *Oliver-Smith A.* The Martyred City. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1986.

³ *Erikson K.T.* Everything In Its Path: Destruction of Community in the Buffalo Creek Flood. NY: Simon and Schuster, 1977.

⁴ *Shaw R.* «Nature», «Culture» and Disasters: Floods and gender in Bangladesh // *Bush Base: Forest Farm. Culture, Environment and Development* / E. Croll, D. Parkin (eds.). London and NY: Routledge, 1992. P. 200—217.

чающие действия»). Оба момента являются коллективными стратегиями, которые взаимодействуют на внутреннем и внешнем уровнях с разрушительным событием¹.

Катастрофы, память и политика

Бедствия будят воспоминания и подталкивают к историческим сравнениям. Находясь за границей нормального, бедствия становятся синонимами тревоги и коллективного стресса². Требуя неминуемого напряжения сил, бедствия неизбежно остаются в памяти³. Кроме того, бедствия обычно связаны и с подавляющей неуверенностью по поводу того, что случилось, и того, что еще может произойти; вместе с тем чрезвычайные ситуации требуют от общества и от политической элиты действий, решительности, реакции. Какие структуры лежат в основе этого процесса, являющегося одновременно и культурным, и политическим? Ряд исследователей полагает, что сообщества, живущие в областях, подверженных бедствиям, «смирятся» со стихией, учась на опыте предыдущих бедствий способам смягчения воздействий природы. Данные, полученные в результате социологических исследований, свидетельствуют о противоречивой взаимосвязи опыта катастроф и действий по их преодолению: в то время как одни авторы ставят под сомнение возможность использования опыта прошлых бедствий для преодоления возможных катастроф в будущем⁴, другие говорят о появлении так называемых «катастрофных субкультур»⁵.

¹ *Shaw R.* «Nature», «Culture» and Disasters: Floods and Gender in Bangladesh / *Bush Base: Forest Farm. Culture, Environment and Development* / E. Croll, D. Parkin (eds.). London and NY: Routledge, 1992. P. 202.

² *Barton A.* Communities in Disaster.

³ *Trauma. Explorations in Memory* / C. Caruth (ed.). Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1995.

⁴ *Haas E., Drabek T.* Community Disaster and System Stress: A Sociological Perspective // *Social and Psychological Factors in Stress* / J. McGrath (ed.). NY: Holt, Rinehart and Winston, 1970, P. 264–286.

⁵ *Wenger D.E., Weller J.M.* Some Observations on The Concept of Disaster Subculture. University of Delaware, Disaster Research Center Working Papers, 1972; *Hannigan J.A., Kueneman R.M.* Anticipating Flood Emergencies: a Case Study of a Canadian disasters subculture // *Quarantelli E.L.* Disaster: Theory and Research. Beverly Hills: SAGE, 1978. P. 129–145.

Подобные посткризисные исследования базируются на изучении коллективного опыта катастрофы. Главным социологическим и политическим вопросом в данном случае является вопрос о том, что составляет основу этого катастрофического опыта. Восстановление и интерпретация смысла событий прошлого могут стать предметом активных общественно-политических дебатов. Сама реализация процесса изучения катастрофического опыта оказывается под воздействием господствующих культурных традиций и местных властных структур. Сложность проблемы, таким образом, состоит в том, чтобы понять, в какой степени процессы осознания катастрофического опыта зависят и от тех условий, которые сложились до кризиса, от той политической реакции, которая последовала за кризисом.

Принято полагать, что именно память сохраняет человеческий опыт и придает ему форму. Эта «архивная модель», акцентирующая аккумулятивную способность памяти, была предложена фрейдизмом. Его привилегированное внимание к теме «хрупкости» и «стойкости» индивидуальной памяти было поставлено под сомнение теми, кто обратили внимание на роль общества и политики в реконструкции опыта прошлого¹. В противовес утверждению о том, что социальная и культурная память может восприниматься как коллективная сумма индивидуальных частей, Морис Хальбвакс, например, утверждает в своих работах, что личная память обусловлена обществом, поскольку люди «переписывают» свои воспоминания в соответствии с воспоминаниями других². Социальные связи, таким образом, определяют как то, что задерживается в памяти, так и то, что подвергается забвению.

Мишель Фуко, в свою очередь, подчеркивал политическую природу «народной памяти», увязывая ее с политическим и социальным контролем. Понятие общественной и культурной памяти обычно рассматривается отдельно от понятия «истории» как способа осознания той роли, которую играет прошлое в настоящем. «История», как правило, ассоциируется с государством и официальными хрониками³;

¹ *Cascardi A.J.* Remembering // Review of Metaphysics. 1984. № 38. P. 275–302.

² См. подробнее: *Хальбвакс М.* Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005. № 40/41. (<http://www.nz-online.ru/index.phtml?aid=30011360> — *Прим. пер.*)

³ *Guber R.* From Chicos to Veteranos: Argentine Uses of Memory and the Nation in the Making of Malvinas Postwar Identities. PhD Dissertation. Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University, Department of Social Anthropology, 1999.

к памяти она относится с подозрением, стремясь подавить или уничтожить ее. Тем не менее М. Стеркен предлагает рассматривать культурную память и политическую историю как взаимопроникающие процессы¹. Прежде чем перейти к анализу взаимосвязи этих процессов, мы хотим рассмотреть их по отдельности.

Культурное осмысление и катастрофа

Социальный процесс запоминания — «работа памяти» — включает в себя различные культурные и политические практики, которые делают возможным осмысление значения прошлого в свете настоящего, а настоящего — в свете прошлого. Благодаря «технологиям памяти»², эти практики обретают социальную жизнь в объектах, образах и представлениях, например в устных и письменных повествованиях³, физических местах⁴, церемониях⁵, архитектуре⁶ или телесности⁷.

В контексте опыта катастроф подобная трактовка «работы памяти» требует дополнения, связанного с необходимостью анализа фактора стресса, который всегда сопровождает кризисные ситуации. «Стресс» обычно акцентирует физическое, психическое и / или эмоциональное напряжение, и в этом плане он нередко увязывается с «травмой», хотя концептуально эти термины и различаются. Явление, известное в науках о человеке как «посттравматическое стрессовое расстройство» (ПТСР), обильно документировано примерами из опыта военных действий, бедствий и других неотвратимых катастроф. Обычно под ПТСР понимается запоздалая

¹ *Sturken M.* Tangled Memories. The Vietnam War, The AIDS Epidemic and the Politics of Remembering. Berkeley: University of California Press, 1997.

² *Ibid.* P. 9–12

³ *Thompson P.* The Voice of the Past. Oxford: Oxford University Press, 1988.

⁴ *Rappaport J.* The Politics of Memory: Native Historical Interpretation in the Colombian Andes. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

⁵ Commemorations. The Politics of National Identity / J. Gillis (ed.). Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994.

⁶ *Nora P.* Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire // Representations. 1989. № 26. P. 7–25; *Trouillot M.-R.* Silencing the Past: Power and the Production of History. Boston: Beacon Press, 1995.

⁷ *Martin E.* The Cult of the Dead in a Chinese Village. Stanford: Stanford University Press, 1988.

реакция на перенесенный стресс¹, которая может проявляться в виде онемения, повторяющихся галлюцинаций, снов и поступков, вызванных травматическим опытом. В современных исследованиях травмы сложился аналитический инструментарий, который позволяет осмыслить катастрофический опыт и память о бедствиях и, таким образом, лучше понять суть процесса осознания тех последствий, которые могут ослабить зависимость человека от стихии. Как и чему мы учимся в ситуации стресса? Ученые отмечают, что травма формирует зависимость от определенного образа события (бедствия, например), которое либо «было испытано, но не до конца пережито»², либо вообще избежало осознанной регистрации в памяти.

Мы не считаем универсальным вывод о том, что каждый человек, переживший катастрофу, страдает от ПТСР. Тем не менее само понятие травмы, как и выводы о том, что реконструкция чрезвычайного опыта возможна лишь по прохождении латентного периода и что немедленное осознание непреодолимого опыта невозможно, позволяет по-новому посмотреть на процесс возрождения (и осознания) жизни после катастрофы. В своей работе Гринберг и Ван дер Кольк утверждают, что патологии памяти — от амнезии травмировавшего события до откровенного ухода в себя — являются характерными чертами ПТСР³. Этот психологический тезис подвергся серьезной критике со стороны социологов, которые предпочитают видеть в травме форму коллективного страдания и позитивный познавательный опыт⁴. Например, социальный антрополог Лииса Малкки рассматривает природу преходящего социального явления (катастрофы, например) с точки зрения тех «стихийных сообществ памяти», которые формируют люди в процессе бедствия. Под «стихийными сообществами памяти» Малкки понимает объединения людей, связанных «биографическим, микроисторическим, прерывистым ощущением случайно возникшей общности памяти и преходящего опыта»⁵. Она утверждает, что

¹ Trauma. P. 4.

² Ibid.

³ *Greenburg M., Van der Kolk K.* Retrieval and Integration of Traumatic Memories with the Painting Cure. Psychological Trauma. Washington, D.C.: American Psychiatric Press, 1987. P. 191.

⁴ *Quarantelli E.* What Should We Study? Questions and Suggestions for Researchers about the Concept of Disasters // International Journal of Mass Emergencies and Disasters. 1987. Vol. 5. P. 285–310.

⁵ *Malkki L.* News and Culture: Transitory Phenomena and the Fieldwork Tradition // Anthropological Locations: Boundaries and Grounds of a Field Science / A. Gupta, J. Ferguson (eds.). Berkeley CA: University of California Press, 1997. P. 91.

значимость таких сообществ определяется не только эмоциональными и психологическими шрамами, но и той послекризисной жизнью, которую эти сообщества структурируют. Общая память обладает силой, которая воздействует на идентичности, идеи, желания и верования, «сформированные и трансформированные в преходящих обстоятельствах, которые были пережиты совместно незнакомыми людьми»¹. Эта точка зрения сопоставима с работами Кая Эриксона, который полагает, что коллективная травма может сплачивать сообщество, приводя к появлению связей «духовного родства» между людьми, пережившими одно и то же событие; в то же время травматический опыт может проявляться в реакции замкнутости из-за усиливающихся тревоги и онемения. Уже упомянутое исследование наводнения в Баффало Крик, которое предпринял Эриксон, обнажило социальные последствия «разрыва самой ткани общественной жизни, из-за которого оказались нарушенными узы, связывающие людей друг с другом, и было подорвано существовавшее ощущение коллективности»². Сообщество в Баффало Крик пережило коллективную травму, оказавшись при этом не в состоянии образовать то, что у других авторов получило такие названия, как «город товарищей»³, «сообщество альтруистов»⁴ или «терапевтическое сообщество», — т.е. объединение людей, которое возникло в порыве эйфории, вызванной осознанием того, что они не одиноки в своей борьбе за выживание.

Если всерьез воспринимать вывод о том, что индивидуальная травма влечет за собой временную потерю памяти (амнезию), то естественно было бы предположить, что процесс социального запоминания является ключевым в сохранении опыта катастрофы. Процессы запоминания ситуаций реакций и стратегий преодоления, таким образом, оказываются процессами социальной реконструкции. Помня вывод Хальбвакса о том, что память конституируется культурой, можно также предположить, что этот процесс социальной реконструкции является неоднородным и противоречивым. Вопросы «почему?», «что произошло?», «каков был наш ответ?» оказываются в центре общественных дебатов, что, собственно, и подводит нас к обсуждению политической стороны памяти о катастрофах.

¹ *Malkki L.* News and Culture. P. 92.

² *Erikson K.T.* Everything In Its Path. P. 154.

³ *Prince S.* Catastrophe and Social Change. Based upon a Sociological Study of the Halifax Disaster. NY: Columbia University Department of Political Science, 1920.

⁴ *Barton A.* Communities in Disaster.

Политическое осмысление и память катастрофы

Каким образом политики вообще и правительственные чиновники в частности запоминают прошлое? Как они организуют память и «делают» историю? Здесь необходимо провести различие между намеренными и спонтанными моделями политической памяти. Согласно «намеренной» модели, политики открыто берут в свои руки инициативу в деле отбора событий и ситуаций, воспоминаний, связанных с ними, а также тех уроков, которые можно было бы извлечь из этих событий. Они придают форму той картине прошлого, которая оказывается доступной сообществу. Достигается это разными способами — прежде всего при помощи использования таких «технологий памяти», как официальные трактовки истории, архивы, памятники, церемонии и т.д. Формирование политической памяти осуществляется людьми, которые преследуют разные цели. Например, чиновники, занимающие выборные должности, могут рассматривать прошлое как потенциальный ресурс для уроков на будущее и поэтому поощрять стремление сохранять его в памяти. Политики, имеющие в своем распоряжении хорошо организованные архивы, имеют больше шансов привлечь к анализу текущих событий исторические документы и ретроспективный подход — возможность, которой лишены как те, кто не имеют доступа к архивам вообще, так и те, кто еще не успели сформировать разветвленную систему хранения документов в силу возраста организации. Политики также могут привлекать к участию «ветеранов кризиса», наделяя их совещательными или исполнительными полномочиями. Они могут обращаться к экспертам-юристам для изучения соответствующих прецедентов. Кроме того, чиновники могут видеть в определенных моментах прошлого потенциальную угрозу своему положению или отстаиваемой программе действий. Например, у них могут вызывать возражение попытки общественности придать огласке темные отрезки их пути к вершине власти. Они могут противиться попыткам напомнить о своих политических провалах и неудачах. Иными словами, определенные моменты прошлого могут подвергаться активному забыванию — например, при помощи свертывания свободы слова. Память может быть ликвидирована и физически — путем уничтожения документов

или, в более ужасном варианте, путем устранения очевидцев. Активное забывание такого рода происходит тогда, когда воспоминания кажутся неудобными, постыдными или даже опасными для лиц, обладающих властью.

Разумеется, тезис о том, что политики «конструируют» память и «используют» исторические аналогии, верен лишь отчасти. Взятый сам по себе, этот тезис предполагает, что подобное конструирование и использование — заведомо осознанный, целенаправленный процесс. Благодаря психологическим и социологическим исследованиям, нам известно, что это не обязательно так. Память можно навязать, но она может также и сама навязывать себя людям — официальным лицам, в том числе. Запертая в нашем мозге, память тем не менее избегает полного подчинения нашему контролю и нашим желаниям. Память и история живут и вокруг нас: в рассказах, которые мы слышим, в (школьных) текстах, которые мы читаем, в людях, с которыми мы работаем, в зданиях, в которых мы находимся. Таким образом, в управлении катастрофами, равно как и в любой другой сфере организационной и политической жизни, прошлое является как субъектом, так и объектом. В некоторых случаях утверждение о том, что власть использует прошлое в познавательных или политических целях, действительно отражает происходящее наилучшим образом. Но мы также должны помнить о том, что нередко политики, пытающиеся справиться с кризисом, оказываются не в состоянии ограничить воздействие прошлого — например, при помощи воспоминаний или истории — на чрезвычайную ситуацию.

В таких случаях обращение политиков к памяти носит более спонтанный характер. Немалую роль в этом случае играют их личный опыт, исторические интерпретации, общение с собеседниками и коллегами. Иногда ключевой становится случайно попавшая под руку книга. Например, в пору урегулирования Карибского кризиса Джон Ф. Кеннеди был потрясен книгой Барбары Тачман «Августовские ружья», которую он рекомендовал своим консультантам в качестве книги-предупреждения о нежелательности случайного развязывания войны¹. Для других политиков важными становятся своего рода психологические эксперименты, в ходе которых они пытаются понять, как повели бы себя на их месте их

¹ *Janis I. Groupthink: Psychological Studies of Policy Decisions and Fiascoes.* Boston: Houghton Mifflin, 1982.

наставники и кумиры. Такие спонтанные виды памяти обычно менее предсказуемы и менее устойчивы во времени, нежели обдуманные и институционализированные попытки зафиксировать, скажем, юридический прецедент.

Еще одним способом прояснить суть кризиса могут стать попытки политиков не столько опираться на параллели с прошлым, сколько давать собственную интерпретацию сути этого кризиса. Благодаря таким действиям политики получают возможность защитить и поддержать те (резкие и противоречивые) шаги, с помощью которых планируется преодоление кризиса. Когда такое «политическое» использование памяти и истории оказывается эффективным, оно в состоянии обеспечить поддержку масс в отношении мер, предложенных политиками. В противном случае политическое использование памяти может вызвать реакцию отторжения, например, когда использование какой-то конкретной репрезентации прошлого оказывается заведомо ложным или манипулятивным.

В странах с демократическим устройством политики — далеко не единственные, да и далеко не главные действующие лица на арене политической памяти. Ретроспективное осмысление является важнейшей частью политической игры между правительством и оппозицией. Политики всегда должны быть готовы к тому, что их политические соперники найдут «альтернативную» трактовку событий, относящихся к той части прошлого, которая пока еще остается «неопределенной». Все чаще современные бедствия становятся объектом политических и правовых дискуссий относительно вины, ответственности и возможностей возмещения убытков. Парламенты, суды и общественные институты все чаще требуют от политиков и правительства отчеты об их действиях до и после катастрофы. Важность этих процессов по установлению ответственности сложно переоценить: именно в ходе таких процедур и складываются легитимные истории катастроф, именно эти истории и становятся в итоге ключевым компонентом народной памяти о том или ином бедствии. Более того, анализ катастрофы может способствовать карьере политика или же полностью разрушить его репутацию — события 11 сентября в Нью-Йорке резко изменили отношение общественности к мэру Джулиани, подвергавшемуся до этого рутинной и нелицеприятной критике со всех сторон. Призыв к противостоянию стихийному бедствию может стать одним из основных предвыборных лозунгов, как это про-

изошло на выборах 2002 года в Германии: канцлер Г. Шредер смог значительно поправить свое положение за счет своей активной позиции во время крупного наводнения, происшедшего незадолго до выборов. Катастрофы прошлого могут стать и серьезной юридико-экономической проблемой в будущем, о чем, например, свидетельствует ситуация в Бхопале (Индия), где судебные разбирательства по поводу выплаты компенсаций жертвам взрыва карбида длятся уже почти двадцать лет.

Взаимосвязь культурной и политической памяти о катастрофе

Сопоставив две формы и две логики памяти о катастрофе, мы считаем необходимым завершить нашу теоретическую дискуссию некоторыми выводами. Мы сформулируем общие положения, интерпретационные возможности которых будут продемонстрированы чуть позже на конкретном примере. Следует заметить, что эти положения справедливы лишь по отношению к так называемым «острым» катастрофам — в отличие от таких «хронических», «ползучих» и «незаметных» бедствий, как бедность, голод, озоновые дыры, вырубка лесов и т.д., сам факт признания катастрофического статуса которых требует немалой борьбы со стороны потерпевших.

1. Образование «стихийных сообществ памяти» влияет на природу социальной и политической «работы памяти» по следам катастрофы.

Некоторые катастрофы — например, смерчи и наводнения — обрушиваются на уже сложившиеся сообщества. Пострадавшие от таких катастроф оказываются в тесном кругу сходных с ними жертв. Опыт бедствия и выживания становится общим достоянием всего городка или селения. Уже сложившиеся местные или региональные структуры коммуникации, организации и поддержки становятся основой попыток справиться с последствиями катастрофы; на помощь могут прийти местные правительственные органы. Наличие таких структур облегчает процесс обмена мнениями по поводу происходящего бедствия; организация памяти о катастрофе становится сравнительно простым делом.

Ситуация складывается иначе с такими катастрофами, как крушение самолетов, несчастные случаи в толпе, пожары в общественных зданиях или перемещение людей в лагеря беженцев. В эти кризисные ситуации люди попадают лишь потому, что они просто оказались в неудачном месте в неудачный момент. Зачастую они не знают друг друга, и, за исключением общего опыта бедствия, их мало что связывает. Сведенные вместе по вине случая, они образуют исключительно «стихийное» сообщество памяти. Иногда таким совокупностям индивидов и малых групп удается организоваться в действующие сети взаимопомощи. Со временем эти сети могут укрепиться и стать основой для консолидации памяти о катастрофе. Нередко они также оказываются основной движущей силой в попытках сформировать единый фронт по защите интересов пострадавших. Хорошим примером в данном случае является Ассоциация семей погибших во время аварии парома «Вестник свободного предпринимательства» («The Herald of Free Enterprise») близ Зеебругге (Бельгия). Эта ассоциация, ее преемники и связанные с ними объединения пострадавших стали эффективной и хорошо организованной силой в дебатах по поводу общественной безопасности в Великобритании — прежде всего благодаря таким активным действиям, как поддержка соответствующих исследований и публикаций, организация семинаров и организованное воздействие на политиков и правительственные институты.

Возникновение подобных сценариев развития во многом зависит от наличия людей, готовых и способных взять на себя роль неформальных лидеров. Важным также является и то, насколько институциональная среда способствует формированию организованных групп. В любом случае есть достаточно оснований говорить о том, что формирование памяти в посткризисной ситуации складывается более эффективно и активно в тех случаях, когда бедствиям подвергаются сообщества с устойчивой, уже сложившейся структурой.

2. Чем больше сообщество памяти институционализировано и оснащено необходимыми средствами, тем выше его влияние на управление политическим кризисом, следующим за катастрофой, а следовательно — и на организацию памяти и истории катастрофы.

Это положение тесно связано с первым, в котором речь шла о том, что бедствия переживаются по-разному в сообществах с различной внутренней структурой. Соответственно, в таких сообще-

ствах по-разному складываются и способы организации коллективной памяти. Во втором положении внимание акцентируется на социальных характеристиках сообществ пострадавших. И среди устойчивых сообществ, и среди стихийных сообществ можно выделить группы, которые отличаются большей способностью справляться с кризисом. Особенно верно это утверждение по отношению к сообществам, сложившимся до катастрофы. Центральным в данном случае является вопрос об уязвимости — т.е. о тех различающихся культурных, экономических и политических сценариях и ресурсах, которые оказываются доступными разным сегментам общества во время катастроф¹. По нашему мнению, сходным образом влияют на способность общества участвовать в социальной — и политической — «работе памяти» и те культурные модели, которые определяются социальной стратификацией. Иными словами, с помощью этого положения мы хотели бы акцентировать то, как сообщества пострадавших от катастроф оказываются в состоянии привлечь внимание общественности к вопросам, связанным с пережитой ими трагедией.

3. Чем больше разобщенность и острее конфликт между «работой памяти» на уровне сообщества и политикой государства по устранению последствий катастрофы, тем вероятнее политизация катастрофы и стремление к пересмотру ее истории.

В течение недель, месяцев, а иногда и лет по прошествии катастрофы журналисты, политические лидеры и участники процесса осмысления катастрофы пытаются собрать описание случившегося. Память становится предметом переговоров. Все чаще власти оказываются мишенью острой критики. Нет недостатка в обвинениях по поводу недостаточности предпринятых мер предосторожности, медлительности или плохо организованных мер по борьбе с кризисом. Основу таких обвинений обычно составляют вполне определенные версии событий, имевших место до и после катастрофы.

Естественно, власти стремятся предотвратить подобные обвинения, выдвигая опережающие версии происшедшего. Нередко для этого они обращаются к авторитетным инстанциям с просьбой разработать «неопровержимую» версию катастрофы. Подобный

¹ Interpretations of Calamity / K. Hewitt (ed.). Boston: Allen & Unwin Inc., 1983.

поступок — всегда рискованный шаг для политиков, старающихся минимизировать политический и юридический ущерб своей позиции. Организуя официальное расследование, они признают, что не в состоянии произвести точную и легитимную историю. Тем самым они вынуждены признать, что участвуют — наряду с другими — в политической борьбе за господствующую интерпретацию событий.

Однако власти не лишены определенных преимуществ в этой борьбе — они могут оказывать влияние на процесс расследования за счет возможности назначать экспертов, финансировать их бюджет, а также определять масштаб и временные рамки исследования. Но и эта их власть имеет определенные границы: чем больше споров вызывает катастрофа, тем вероятнее то, что критики правительства попытаются предотвратить любую попытку необъективного, пристрастного рассмотрения дела. Более того, как показывает история, даже тщательно подобранные эксперты и специальные комитеты имеют тенденцию обретать свой собственный голос в процессе расследования. Итоговые доклады и отчеты таких комитетов и комиссий не раз приводили в замешательство и даже ставили в неудобное положение официальных лиц, назначивших этих экспертов.

Процесс расследования создает важное пространство для работы политической памяти. Жертвы, спасатели, ответственные лица получают возможность изложить свою версию событий в интервью и показаниях. Публичные слушания иногда транслируются по телевидению. Чем выше степень открытости расследования катастрофы, тем больше возможностей появляется у рядовых участников для оглашения своего опыта случившегося. Публикация результатов расследования — часто по прошествии длительного периода, в течение которого процессы политической памяти оказываются временно приостановленными в ожидании «официальной истории», — дает жизнь новому витку баталий. Вопрос-двойник «кто виноват?» и «чему нас это должно научить?» на короткое время вновь подчиняет себе политическую повестку дня. Опубликованные факты, легшие в основу отчета о расследовании, подвергаются тщательному анализу, а иногда и оспариваются — либо лицами, чувствующими себя ущемленными, либо независимыми экспертами. В итоге заключительные документы и рекомендации в силу своей природы находят смешанный отклик среди участников, выражающих самые разные интересы и позиции.

Станет ли итоговый доклад о расследовании катастрофы основой для общего осмысления произошедшей трагедии, или он будет лишь временным этапом в споре о случившемся, зависит от множества факторов, включая время обнародования отчета (в прямом смысле — временной интервал между событиями катастрофы и публикацией отчета, а в переносном — синхронизацию отчета с текущими публикациями в СМИ), статус его авторов, процесс его составления и политическую позицию текущего правительства. Даже если официальные расследования, политические дебаты и действия и оказываются в состоянии произвести эффект катарсиса в отношении катастрофы как политического события, им редко удастся поставить точку в процессе обсуждения катастрофы. В немалой степени и потому, что официальные расследования и политические дебаты есть деятельность элит, вызванная стремлением примириться с аномальным, разрушительным эпизодом, выходящим за рамки всех норм. Восстановление последовательной, подробной, всесторонней картины того, что произошло на уровне пострадавших, обычно не входит в рамки официальных расследований. Соответственно, во многих случаях мы можем ожидать, что в дальнейшем — то есть после официального закрытия дела — сложившиеся политические образы и интерпретации катастрофы подвергнутся пересмотру. Этот процесс обычно идет снизу: он зарождается среди жертв и развивается в направлении элиты и общественности. Как отмечал Эдмунд Берк: «Часто говорят, что историю пишут победители. Но также можно сказать, что победители забывают историю. Они могут позволить себе забвение, в то время как проигравшие не в состоянии смириться с поражением и обречены на вечное возвращение и фантазии по поводу того, как иначе все могло бы сложиться».

Исследования политики памяти после катастрофы

В этой части нашей работы будет представлен предварительный анализ изложенных выше положений. Сначала мы восстановим в памяти трагедию парома «Эстония» в Балтийском море в 1994 году. Затем ознакомимся с особенностями развития соответственно

культурной памяти и политической памяти и их взаимодействием. Эти задачи мы решим путем исследования локальных и национальных дискурсов СМИ, отчетов, официальных докладов и (местных) парламентских заседаний в критические периоды по прошествии трагедии. Мы исследуем то, как были актуализированы «технологии памяти», отмеченные М. Стеркен, а также то, в какой степени работа памяти в данном случае соответствует положениям, которые мы выделили выше.

Катастрофа, о которой пойдет речь, — это «острая» катастрофа с участием транспортных систем. С момента трагедии прошло уже достаточно времени для того, чтобы работа по осмыслению катастрофы была завершена. Авария нанесла удар высокоразвитым демократиям, считающимся самыми безопасными в мире. Трагедия на пароме «Эстония» унесла жизнь 852 человек, но произошла она на море и не принесла никаких физических разрушений за пределами судна. Паром перевозил людей из разных районов Эстонии, Швеции и Финляндии (большинство погибших были шведами) — и катастрофа уже в силу этого не могла рассматриваться на региональном уровне. Авария, таким образом, стала национальной и мультилокальной одновременно.

Мы опираемся на данные, полученные из правительственных документов, протоколов парламентских заседаний, документов, предоставленных ассоциациями жертв, печатных и электронных СМИ и интервью с ключевыми участниками. Мы собирали и анализировали хронологически и политически значимые эпизоды, имевшие место после катастрофы, — официальные и неформальные поминовения, годовщины, публикации отчетов о расследовании и парламентские дебаты.

От национальной катастрофы к политической борьбе

Катастрофа и ее жертвы

Пассажирский и автомобильный паром «Эстония» с 989 людьми на борту (пассажиры и члены экипажа) покинул таллиннский порт вечером 27 сентября 1994 года. Он пошел ко дну около 01.48, примерно через час после выхода в открытое море. Катастрофа на

пароме унесла 852 жизни: 459 женщин и 393 мужчин. Жертвы были выходцами из 17 стран мира — от Нигерии и Марокко до Германии и Канады. Большинство жертв (в том числе и членов экипажа) были эстонцами (347) и шведами (501). Среди них студенты, специалисты, клерки, пенсионеры, водители грузовиков, экипаж парома, медсестры и полицейские. Шведские пассажиры были выходцами из разных уголков страны: из маленьких городков на севере, из деревень на юге, из крупных городов. Многие пассажиры путешествовали группами: коллеги по работе, однокашники, друзья из клуба пенсионеров. Одно из отделений стокгольмской полиции потеряло 63 из 68 своих сотрудников. Сотни семей понесли утрату. Только 94 тела удалось поднять со дна моря; остальные 758 были объявлены пропавшими; 137 человекам (в том числе 51 шведу) удалось выжить в этом кошмаре.

Все жертвы, погибшие и выжившие, были частью социальных сетей в соответствующих локальных сообществах, имели друзей и родственников в странах, где они проживали, и за их пределами. Прямо или косвенно катастрофа затронула несколько тысяч человек. Последствия катастрофы были личными и общественными одновременно: производства, институты, спортклубы, школы, организации по месту жительства и другие социальные сети понесли утрату. Взятые вместе, все эти институты могли бы составить обширные «стихийные сообщества памяти». В действительности же сложились небольшие группы, основанные на различных видах «работы памяти». Мы будем исследовать лишь те сообщества памяти, которые сформировались в Швеции.

Группы памяти: организация, ресурсы и политическая значимость

Как только известие о катастрофе было обнародовано, по всей стране стали разворачиваться кризисные центры. Так называемые группы психологического урегулирования катастроф и группы психологической и социальной помощи обеспечивали профессиональную и добровольческую помощь в больницах и других общественных учреждениях. Эти центры были организованы региональными и местными органами власти. Кроме официальных центров, в наиболее пострадавших сообществах были созданы и «спонтанные» кризисные группы. Церкви и приходы в Упсале, Линдесберге, Борленге, Вестерасе, а также школа Церкви пятидесятников в Йонкепинге и Клуб пенсионеров в Неркеппинге превратились в места встречи пострадавших. Цель центров, прежде

всего, состояла в обеспечении информацией об аварии. Однако большинство из них оказывали поддержку родственникам и другим людям, находившимся в состоянии шока из-за трагедии. Кризисные центры стали тем местом, где родственники пострадавших смогли познакомиться друг с другом и поделиться своим горем. Большинство гражданских организаций, которые будут сформированы в последующие месяцы, зародились именно в этих кризисных центрах и на предприятиях, понесших наибольшие утраты.

В течение нескольких месяцев после трагедии родственники жертв и спасшиеся сформировали около двадцати «групп близких родственников». Девять групп превратились со временем в гражданские учреждения и ассоциации. Во многом эти группы следовали давней шведской традиции гражданских ассоциаций, уходящей корнями в профсоюзное и религиозное движение. Ассоциации организуются в соответствии с уставом и возглавляются избираемыми советами, обычно состоящими из 5–10 представителей. Это дает им статус юридического лица в судебных процессах и позволяет получать общественные субсидии и гранты. Сначала советы, связанные с аварией на «Эстонии», собирались ежемесячно; раз в год устраивались пленарные заседания. Со временем собрания стали более редкими.

Численность ассоциаций варьировалась довольно сильно: некоторые состояли лишь из нескольких семей, одна насчитывала более 3000 членов из разных стран¹. Со временем некоторые организации прекратили свое существование, и к 2003 году лишь семь организаций продолжали свою деятельность, в том числе образованная в июне 2002 года Ассоциация истцов по делу «Эстонии»².

Деятельность этих ассоциаций в основном финансировалась шведским государством. 1 декабря 2004 года шведским правительством было принято решение выделить в разовом порядке 320 000 евро на нужды ассоциаций пострадавших. Подобная сумма была выплачена в 1999 году. Наиболее крупные ассоциации также получали частные пожертвования от своих членов.

Цели ассоциаций различались, однако практические задачи всегда доминировали. Для Движения сотрудничества, Ассоциации поддержки в Упсале и Объединенной ассоциации родственников полицейских важным было требование компенсаций от морской

¹ Aftonbladet. May 7, 1996.

² www.psydef.se/estonia/52_4.asp

страховой компании «Skuld». Судебные споры между пострадавшими и страховой компанией завершились мировым соглашением: в течение года компенсации получили 98 % истцов. Крупнейшая ассоциация пострадавших, DIS, также требовавшая компенсаций, попыталась подать международный иск против немецкой судостроительной компании, построившей «Эстонию», и против лицензионной компании Бюро «Веритас», подтвердившей удовлетворительные мореходные качества парома¹. Из-за внутренних проблем эта ассоциация прекратила свое существование в январе 2002-го, но в июне того же года, с целью продолжить судебное разбирательство, образовалась новая Ассоциация истцов по делу «Эстонии». Еще одна крупная ассоциация сфокусировалась на попытках привлечь к ответственности виновных в аварии и потребовала нового независимого расследования катастрофы. Ассоциация спасшихся «Нептунус» преследовала иную цель: помочь своим членам вернуться к нормальной жизни, предлагая 54 спасшимся шведам психологическую помощь и встречи поддержки. Подобную деятельность осуществляли и многие другие ассоциации, ставшие важным институтом поддержки для родственников жертв и для спасшихся.

Основным импульсом деятельности многих ассоциаций стал тот факт, что тела большинства пострадавших найдены не были, а следовательно, и не были похоронены. Однако и в данном случае программы действий организаций существенно расходились. Например, Ассоциация поддержки в Упсале на одном из церковных кладбищ открыла мемориал, доступный всем, кто хотел бы помануть погибших. Открытие мемориала явилось своеобразным актом признания того, что море стало могилой для пропавших. Другие ассоциации (такие, как SEA, FAE и DIS) заняли принципиально иную позицию, отстаивая необходимость поднятия тел с затонувшего судна². Эти действия привлекали внимание шведской общественности на протяжении многих лет и имели глубокие политические последствия. Вопрос о том, что делать с затонувшим судном и не поднятыми со дна телами, стал центральным в работе памяти о катастрофе «Эстонии». Обсуждение началось сразу после трагедии. Премьер-министр Ингвар Карлсон, назначенный на эту должность незадолго до катастрофы, заявил в прессе: «...Нужно

¹ www.psyctef.se/estonia/

² www.rasken.kajen.com/ms_estonia/index.html

приложить все усилия для того, чтобы поднять затонувшее судно. Это нужно сделать в дань уважения людям, понесшим огромную утрату. Операцию нужно произвести, несмотря на затраты»¹. Того же мнения придерживался и предшественник Карлсона — Карл Билдт. Главный менеджер шведского национального Агентства по судостроению и мореходству подчеркнул, что с технической точки зрения такая операция вполне возможна². Одновременно с началом исследования причин катастрофы, к которому приступила единая Следственная комиссия, куда входили представители Швеции, Эстонии и Финляндии, шведскому Агентству по судостроению и мореходству было поручено изучить юридические, технические и экономические условия, необходимые для поднятия судна со дна. Отчет был озвучен на объединенной пресс-конференции 11 октября 1994 года.

Однако к этому времени позиция правительства начала меняться. Хотя возможность поднятия судна и продолжала признаваться, министр тем не менее начал высказывать ряд аргументов против такого плана. В число этих аргументов входили возражения некоторых родственников затонувших, говорилось о возможном повреждении тел при подъеме судна, отмечался риск, связанный с шансами не обнаружить все тела. Со временем правительство становилось все более «этичным» в отношении вопроса о подъеме судна. Оно выразило обеспокоенность по поводу возможного травматического воздействия операции на водолазов и на комиссию по опознанию тел. Оно акцентировало потенциальную несправедливость, к которой может привести невозможность обнаружить все тела. По настоятельной рекомендации Комиссии по этике, назначенной правительством, было начато новое официальное расследование. 7 декабря 1994 года Агентство по судостроению и мореходству представило второй отчет правительству, Комитету по этике и родственникам жертв. Неделей позже, основываясь на этом отчете, Комиссия по этике выступила против проведения спасательной операции, предложив взять место катастрофы под охрану государства как братскую могилу. Чтобы избежать мародерства, обломки парома предлагалось зацементировать. Правительство последовало этим рекомендациям: 15 декабря 1994 года приняли решение не поднимать останки со дна, а парламенту было

¹ Актуэльт. Шведское телевидение, 30 сентября 1994.

² Folkbladet Ostgoten. Сентябрь 29 1994.

предложено официально признать место гибели парома братской могилкой, прекратив всю морскую и подводную деятельность на охраняемой территории¹. Спустя шесть месяцев законопроект был одобрен парламентом. В январе 1996 года правительство заключило контракт на сумму в 32 млн евро с частной компанией, которой поручалось залить обломки парома бетоном.

Вопросы о поднятии тел и поминовении жертв оставались предметом интенсивных дискуссий в шведском обществе и прессе. Некоторые участники были поставлены в неловкое положение. Например, Шведская протестантская церковь изначально утверждала, что мертвые должны быть подняты со дна и захоронены в соответствии с христианской традицией («земля к земле, зола к золе, пепел к пеплу»). Запланированная архиепископами Швеции, Финляндии и Эстонии на 26 ноября 1994 года единая служба в память о жертвах в последний момент была отменена шведским архиепископом. Не желая создавать почву для интерпретации этой службы как погребальной церемонии, архиепископ предпочел остаться в стороне от дискуссии о том, поднимать ли тела со дна или нет. Служба тем не менее состоялась усилиями Финской и Эстонской церквей. Позже, когда были представлены аргументы против спасательной операции, церковь изменила свою позицию, согласившись с тем, что могилой для погибших стало море.

Изучение прессы за этот период показало, что большинство изданий поддерживало позицию государства. Мнения экспертов, которые отнюдь не были однородными, подавались прессой как свидетельства «научной поддержки» политики правительства. В то же время — хотя взгляды объединений родственников и были широко представлены в газетах — их позиция трактовалась прессой исключительно как эмоциональная, движимая горем и, следовательно, «иррациональная». Когда две ассоциации родственников организовали по всей стране уличные манифестации, выставки, посвященные аварии, и сборы подписей в свою поддержку, пресса увидела в их деятельности прежде всего оппозицию рациональной, официальной политике властей.

Спорные воспоминания

В том, что касается «работы памяти», между шведским правительством и сообществами жертв всегда существовала напряженность;

¹ Постановление правительства Швеции 1994/95: 190.

возникла она сразу после катастрофы и длится по сей день. Правительство попыталось положить конец трагедии, объявив море братской могилой. Одновременно с этим правительство поручило Шведскому национальному совету по публичному искусству исследовать возможность открытия на территории Швеции национального мемориала, призванного символизировать единение нации по поводу трагедии. Мемориал должен был стать общественным местом для выражения личного горя. Так символически были предотвращены дальнейшие попытки поднятия тел со дна. Некоторые члены сообщества пострадавших склонялись к тому, чтобы смириться с ситуацией; оставалось и немало противников самой идеи превращения места катастрофы в место упокоения. За несколько дней до того, как место аварии было официально объявлено братской могилой и взято под охрану, один вдовец нанял группу водолазов, чтобы найти тело погибшей жены. Его попытка оказалась тщетной, но эта драматичная история была заснята немецкой съемочной группой и транслировалась по шведскому и немецкому телевидению.

Годовщины катастрофы ежегодно отмечаются по всей Швеции. Несколько мемориалов на церковных кладбищах, скромный деревянный крест, установленный родственником погибших в госпитале Эрста в Стокгольме, национальный мемориал в городском парке в столице — все они функционируют как места, где память о трагических событиях оживает каждый год. В такие дни работа официальной памяти и работа памяти сообществ пострадавших сливается воедино. В этих памятных событиях активно участвуют многие политики, временно преодолевая тем самым напряженность между ассоциациями и правительством.

В основе напряженности между объединениями жертв и правительством лежали две причины. Первая вызвана изначальным утверждением политиков о том, что обломки судна и тела будут подняты со дна. Для многих родственников жертв это обещание стало своеобразной мантрой. Невыполнение «обещания» и явилось причиной разрыва между общественным осмыслением трагедии и ее политической версией. Отказ от подъема тел и решение о заливке обломков судна бетоном послужили причиной общего собрания членов Ассоциации родственников в Стокгольме в апреле 1996 года. На этой встрече четыре ассоциации сформировали Комитет по сотрудничеству, заявивший, что во избежание возможной утраты данных действия по заливке места катастрофы долж-

ны быть приостановлены до завершения работы Объединенной комиссии по расследованию аварии. Находясь под давлением с разных сторон, в июне 1996 года правительство приостановило операцию, заявив о своем желании «расширить диалог» с родственниками, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги.

Вторым спорным вопросом стало расследование причин трагедии. Назначенная правительством Комиссия по расследованию аварии представила отчет спустя три года после катастрофы. И хотя отчет содержал подробное описание развития событий, приведших к аварии, комиссия воздержалась от дачи развернутого объяснения, акцентируя роль конструктивных дефектов. Отчет был оспорен немецкими экспертами, уполномоченными немецкой верфью, построившей «Эстонию». Они настаивали, что трагедию вызвало неправильное техническое обслуживание судна. Кроме того, еще две независимые публикации объявили ответственной за катастрофу лицензионную компанию, удостоверившую мореходность судна. К этим голосам присоединился хор общественности, критически воспринявшей отчет Комиссии по расследованию и вызвавшей общее недоверие шведскому правительству. «Поединок отчетов» привел к созданию новой гражданской ассоциации — Рабочей группы по расследованию аварии на пароме «Эстония». Ее главной задачей стало требование нового правительственного расследования. 11 февраля 1999 года шведское правительство это требование отклонило.

За время, прошедшее с ужасной сентябрьской ночи 1994-го, образ национальной беды в коллективной памяти о гибели «Эстонии» перерос в картину политического конфликта. Каждую годовщину поминальные службы и возобновленное внимание прессы к теме гибели парома лишь обостряют память сообществ пострадавших. Нерешенные вопросы о степени ответственности за аварию и о судьбе неподнятых тел не дают утихнуть битве за память.

А история тем временем продолжается. В августе 2000 года немецкий телевизионный продюсер, что снимала ранее частную поисковую операцию, предприняла новую попытку — на этот раз оплаченную североамериканским миллионером. Шведские СМИ активно освещали это событие¹. Хотя ничего необычного во время самих водолазных работ не обнаружилось, «горячие новости»

¹ *Hederberg H. Kroppar utanför fartyget. Stockholm: Stiftelsen för mediestudier, 2000.*

были озвучены на последующей пресс-конференции в Гамбурге. Там инициаторы поисков объявили, что в корпусе судна была найдена и заснята пробоина, намекая тем самым на возможность взрыва судна. Кроме того, сообщалось, что от шести до восьми тел были увидены за пределами судна. Вся эта информация противоречила заключениям правительственной Комиссии. Нахождение тел вне судна потребовало бы незамедлительной операции по поднятию их со дна. Внимательный просмотр фильма показал полное отсутствие каких бы то ни было подтверждений сделанным заявлениям. Однако само оглашение «фактов» на пресс-конференции в Гамбурге привело прессу в состояние неистовства, а отношения между ассоциациями жертв и правительством в очередной раз обострились. Немецкий продюсер в настоящее время ведет работу над новым фильмом о катастрофе. Новые сведения, представленные Независимой группой по расследованию фактов в 2002 году, побудили четырех членов парламента предъявить шведскому правительству официальное обвинение в пренебрежении фактами¹.

Политика катастрофы и политика памяти

Изучение этого события показывает, что раскрыть динамику организаций пострадавших, понять их практики организации памяти и их модели «политической» деятельности непросто. Во-первых, жертвы (в широком понимании) катастроф представляют собой всего лишь «стихийные» сообщества памяти. Пространственные, социальные и этнические преграды препятствовали созданию единого, сплоченного союза, который — подобно политической организации или общественному движению — смог бы встать на защиту коллективных целей и интересов. Во-вторых, жертвы катастроф (в широком понимании) не были объединены общей целью. Ими владели противоречивые чувства и импульсы. Пытаясь сохранить память о катастрофе, они в то же время стремились вернуться к нормальной жизни, требуя компенсаций или выясняя причины происшедшего. В-третьих, жертвы являются лишь одной из групп, принимающих участие в посткризисной стадии развития, содер-

¹ Dagens Nyheter. 2 февраля 2002.

жание которой они не в состоянии контролировать полностью. Как мы показали, группы и ассоциации жертв являлись одновременно и поставщиками новостей, и их потребителями, участвуя в событиях наряду со средствами массовой информации, политическими предпринимателями и юристами. Выделить основную спорную тему в борьбе между правительственной и общественной версиями катастрофы не представляется возможным. Фокус расследования и политической борьбы смещался не раз. Одно можно сказать точно: официальное расследование не выполнило возложенную на него ключевую функцию — «закрыть дело», представив полную, определенную и неоспоримую историю катастрофы. История оспаривалась неоднократно — почти в гегельянском стиле.

Катастрофы открывают дорогу «войнам историй», которые питают меняющиеся потребности и интересы пострадавших, СМИ, следователей, юридических тяжб, технических экспертов, чиновников и правящих коалиций. В случае с «Эстонией» разрыв между общественной и политической памятью рос по мере того, как правительство отказывалось вернуть выжившим то, чего они желали более всего, — их мертвых. Дело потерпевших стало постоянное напоминание правительству о невыполненном обещании, сделанном сразу после катастрофы. Отказавшись от своего обещания найти тела всех затонувших, шведское правительство не приложило особых усилий и к тому, чтобы восстановить полную картину причин происшедшего. Слухи и коллективная тревога заполнили пропасть между правительством и пострадавшими, создав соответствующий климат жесткой политической полемики и судебных разбирательств. Однако результатом этой конфронтации стал все расширяющийся поток информации о катастрофе, доступный широкой публике. Вместе с тем такое обилие информации делает все более сложным формирование общей памяти и общей истории — а следовательно, и формирование общего пространства «забвения». Именно об этом парадоксе политики катастрофы стоит помнить будущим жертвам и будущим менеджерам катастроф.

Ким Лейн Шеппели

Двойной счет:

рассказы и расчеты после теракта
на Дубровке¹

Холодным и дождливым вечером среды 23 октября 2002 года в помещение Театрального центра на Дубровке ворвался сорок один чеченский террорист. В Центре только что начался второй акт популярного российского мюзикла «Норд-Ост» — на сцене в это время пели и танцевали летчики, одетые в униформу. Зрители поняли не сразу, что оружейная стрельба поверх голов, которую начали люди в черных масках, вовсе не продолжение шоу, а начало жестокой террористической акции. Видеозаписи захвата, которые сохранили камеры внутри театра, отразили это замешательство особенно четко. Ни мгновенного шока, ни резкого испуга аудитория не испытала: многие ждали сюрприза, обещанного во втором акте.

Террористы взяли в заложники зрителей, артистов и технический персонал. В течение 57 часов они удерживали в Театральном центре более 800 человек², требуя от российского правительства прекращения войны в Чечне. Захвату был положен конец, когда специальные подразделения ФСБ применили «усыпляющий» газ, с помощью которого были парализованы и террористы, и заложники. Спецподразделения провели штурм здания, в ходе которого сначала были застрелены находящиеся без сознания террористы, а затем последовала эвакуация зрителей, подвергшихся воздействиям газа.

В репортажах российского телевидения можно было видеть, как заложников иногда выносили на носилках, иногда — держа за руки и за ноги, иногда — просто забросив на плечо. Стараясь вынести из здания как можно больше людей, спасатели делали все,

¹ Перевод с английского Сергея Ушакина и Елены Трубиной

² Сразу после захвата несколько артистов и зрителей смогли сбежать из театрального здания. Кроме того, в продолжение осады террористы выпустили небольшое число женщин, детей и мусульман.

что могли. Но спасатели были работниками ФСБ, а не медицинским персоналом, специально обученным для работы с пациентами, находящимися в бессознательном состоянии. В итоге в ряде случаев в ходе эвакуации некоторые заложники скончались от удушья, вызванного запавшим языком или рвотными массами, которые спровоцировал нервно-паралитический газ. Вынесенным из здания заложникам не хватало машин «Скорой помощи» или даже обычных носилок. Потерявших сознание людей складывали прямо перед театральным центром, чтобы потом загрузить в автобусы. Судя по телерепортажам, лица и тела некоторых заложников выглядели не просто парализованными, но безжизненными, не уснувшими, но усопшими.

Действия, следовавшие за штурмом, были слабо скоординированы. Большинство заложников отправили в больницы неподалеку. Больничных коек не хватало, и автобусы, прибывшие позднее, были вынуждены отправляться по городу на поиски доступных больниц. В свою очередь, доктора, принимавшие эвакуированных заложников, имели слабое представление о причинах, вызвавших бессознательное состояние: состав нервно-паралитического газа держался в секрете¹. Медицинские работники не знали практически ничего и о самих заложниках².

¹ Точный состав газа не был раскрыт. По мнению некоторых обозревателей, это связано с тем, что в его состав входили элементы, нарушающие международные соглашения об использовании химического оружия. По мнению других, обнародование состава газа приведет к тому, что террористы смогут использовать вещества, способные нейтрализовать воздействие этого «секретного оружия». Судя по всему, подобные нейтрализующие средства действительно доступны. По сообщениям печати, ни один из сотрудников спецподразделений, принимавших участие в освобождении заложников, не пострадал от воздействия нервно-паралитического газа. Однако в целом подобные попытки объяснить отсутствие информации ссылками на безопасность вряд ли убеждают. Наученные «Норд-Остом» террористы стали использовать доступные, но от этого не менее эффективные способы предотвращения «газовых» атак. Во время захвата школы в Беслане стекла в окнах были выбиты — в том числе и для того, чтобы избежать ситуации, случившейся на Дубровке.

² В ряде случаев у эвакуированных заложников были документы, удостоверяющие их личность. Однако на эти документы не всегда обращали внимание. Например, Николай Волков, чья дочь погибла на Дубровке, в своих показаниях отмечает, что после «освобождения» тело его дочери в течение двух дней находилось в городском морге № 23 как «неопознанное», несмотря на то что ее паспорт находился в кармане ее пиджака (см.: Показания истца Николая Волкова. 21 января 2003 г. www.zalozhniki.ru/trial/21040.html).

Более 48 часов российское правительство не сообщало имена погибших и госпитализированных — даже их близким и родственникам. За эвакуацией из Театрального центра последовал информационный вакуум. Семьи заложников осаждали больницы и морги, пытаясь выяснить, где именно находятся родственники или их тела. Спустя два дня после освобождения имена погибших объявили открыто. Всего погибли 130 заложников, лишь двое из них были застрелены террористами в самом начале захвата¹. Причиной гибели остальных 128 стали либо последствия, вызванные газом, либо неумелая эвакуация, либо задержка с оказанием экстренной медицинской помощи. Нам, наверное, никогда не удастся узнать подлинные причины, приведшие к смерти заложников, поскольку в значительном числе свидетельств о смерти гибель заложников увязана с заболеваниями, которые были у них *до* теракта. У многих из тех, кто выжил, продолжают сохраняться болезненные симптомы. По мнению заложников, соответствующая и своевременная информация позволила бы им пережить трагические события гораздо менее болезненно. Значительное число жертв и пошатнувшееся здоровье заложников в значительной степени изменили отношение к мерам по спасению, которые поначалу казались столь успешными.

Сразу после теракта правительство Москвы выделило денежные средства на помощь пострадавшим. Родственники погибших получили по 100 000 руб. (примерно 3300 долл. в 2002 году), выжившие — по 50 000 руб. Городское правительство также взяло на себя необходимые затраты по похоронам погибших, в том числе предоставив бесплатные гробы. Сам театр подвергся радикальному ремонту, и сотрудникам театра выплачивалась зарплата, хотя мюзикл не шел. Спустя три месяца после захвата мюзикл восстановили². Средства массовой информации сообщали, что спустя год после событий городское правительство смогло мобилизовать

¹ Поскольку общий список заложников, находившихся в театре, так и не был опубликован, сложно назвать точное число погибших. Сайт группы «Nord Ost Justice», например, до сих пор сообщает о том, что 67 человек так и не были найдены. А число погибших, по мнению организации, достигло 137 (эти данные, однако, не уточнялись с января 2003 года). См.: <http://www.nordostjustice.org/rus/victims.html>; официальный список погибших см. на: <http://www.nordost.ru/23oct/victims>

² Восстановленная версия просуществовала недолго — 10 мая 2003 года состоялось последнее представление мюзикла в Москве.

частных доноров для выплаты пострадавшим значительных сумм через специально созданный Фонд¹. Детали этих действий, однако, не разглашались.

Для большинства жертв — т.е. и для тех, кто выжил, и для тех семей, чьи родственники погибли, — выплаченные суммы стали финальной точкой в публичном разбирательстве, связанном с трагическим событием. Однако некоторые решились пойти дальше и потребовали дополнительных объяснений, мер по увековечиванию и компенсации. Более 80 семей решили обратиться к помощи закона. Чем он мог им помочь?

Обещание закона I: Рассказ и травма

За последнее десятилетие в социологии права общим теоретическим местом стало утверждение о том, что судебное разбирательство создает ситуацию, благодаря которой травматическое событие может не только быть прожито вновь («восстановлено»), но и радикально трансформировано благодаря той нарративной рамке («описание сути дела»), с помощью которой упорядочивается обилие фактов². Но если закон дает возможность столкнуться вновь с травматическим событием, может ли он также помочь *пережить* это событие?

У нас нет исследований, которые позволили бы проследить роль судебного дела в процессе заживления травмы, однако мы

¹ *Baker P., Glasser S.B.* Ex-Hostages in Russia Hit «Wall of Resistance». Government Blocks Efforts to Seek Redress // Washington Post. July 18, 2003. P. A01. Я беседовала с российским репортером этой газеты по поводу источников Фонда помощи. Однако кроме сведений, уже опубликованных в статье, она ничего мне не сообщила. Я не располагаю другими свидетельствами, подтверждающими наличие такого фонда.

² *Ewick P., Silbey S.S.* Subversive Stories and Hegemonic Tales: Toward a Sociology of Narrative // Law and Society Review. 1995. № 197. P. 221; Narrative and the Legal Discourse: A Reader In Storytelling And The Law / D.R. Papke (ed.). 1991; *Abrams K.* Hearing the Call of Stories // California Law Review. 1991. № 971; *Cover R.M.* The Supreme Court 1982 Term — Foreword: Nomos and Narrative // Harvard Law Review. 1983. № 4; *West R.* Jurisprudence as Narrative: An Aesthetic Analysis of Modern Legal Theory // 60 NYU Law Review. 1985. № 145. P. 209.

располагаем достаточной информацией о положительных результатах попыток вписать травму в ту или иную форму повествования. Люди, переживающие последствия травмы (посттравматический стресс), восстанавливаются быстрее при помощи *повествовательной терапии (narrative exposure therapy)*, в ходе которой травмированный индивид оказывается лицом к лицу с необходимостью придать своему травматическому опыту форму слов и связных историй. Восстанавливая детали и пропущенные моменты в своем рассказе о травме, люди в итоге создают последовательную и завершенную картину произошедшего¹. По данным исследований, люди, работающие над созданием связных историй о своих травмах и утратах, демонстрировали целый ряд положительных эффектов — начиная с общей оптимизации иммунной системы² и смягчения физических симптомов травмы³ и заканчивая возможностью создать более позитивную версию своей идентичности⁴. Устные или письменные рассказы о травме воздействуют на общую умственную деятельность и физическое самочувствие более эффективно, чем переживание травмы про себя, «в мыслях»⁵. Можно утверждать, что сама возможность рассказать о травматическом опыте публично способствует избавлению от его болезненных последствий.

Само воспроизводство момента изначального страдания в зале суда воспроизводит структуру травмы, ключевой чертой которой является повтор пережитой утраты, реконструкция болезненного опыта, постоянный поиск тайн и секретов, которые могли бы наконец-то объяснить проживаемую вновь и вновь травму⁶. Судеб-

¹ Neuner F., Schauer M., Klaschik Ch., Karunakara U., Elbert T. A Comparison of Narrative Exposure Therapy, Supportive Counseling, and Psychoeducation for Treating Posttraumatic Stress Disorder in an African Refugee Settlement // Journal of Consulting and Clinical Psychology. August 2004. № 72 (4). P. 579–587.

² Pennebaker J.W., Kiecott-Glaser J.K., Glaser R. Disclosure of Trauma and Immune Function: Health Implications for Psychotherapy // The Interface of Social and Clinical Psychology / R. Kowalski, M. Leary (eds.). Psychology Press, 2004. P. 301–312.

³ Cienfuegos A.J., Monelli C. The testimony of political repression as a therapeutic instrument // American Journal of Orthopsychiatry. № 53 (1). January 1983. P. 43–51.

⁴ Francis L. The Health Benefits of Narrative: Why and How? Paper presented at the annual meetings of the American Sociological Association. 2000.

⁵ Lyubomirsky S., Sousa L., Dickerhoof R. The Costs and Benefits of Writing, Talking, and Thinking About Life's Triumphs and Defeats // Journal of Personality and Social Psychology. April 2006. № 90 (4). P. 692–708.

⁶ «...Сердцевину работ Фрейда о травме составляет идея о том, что травма — это нечто большее, чем обычная патология или недуг раненой души. Травма —

ные разбирательства строятся сходным образом: исходная травма становится причиной поиска тех знаний, которые были недоступны в трагический момент.¹ Что произошло? Что стало причиной утрат? Кто виноват? С помощью суда те, кто подверглись травме, проживают на публике то, что мучило их наедине, — постоянное проигрывание ужасов прошлого. По крайней мере в теории суд обещает установить достоверные факты, внятно изложить рассказ о происшедшем и в итоге «закрыть» судебное дело, сделав, таким образом, и саму травму достоянием прошлого.

В некоторых исследованиях роли судебных разбирательств в заживлении ран, вызванных травмой, подчеркивается, что для пострадавших возможность рассказать «свою историю» в суде², возможность быть услышанными, возможность получить признание *своих* страданий имеет принципиальное значение³. Пострадавшие инициируют судебные дела. Они же оказываются в центре судебного разбирательства. Характер вреда, причиненный пострадавшим, превращает событие в причину для разбирательства перед лицом закона. Наконец, пострадавшие могут потребовать выяснения неизвестного — дополнительных улик и разбирательств, а также свидетельств со стороны тех, кто предпочитал оставаться в тени⁴. Зал суда, иными словами, оказывается тем местом, где

это история о ране, которая не умолкает, которая обращается к нам в своих попытках поведать о реальности или правде, не находящей для себя другого выхода. Эта правда, с ее запоздалым появлением и просроченным обращением, не может быть сведена только к тому, что нам уже известно; она также связана и с тем, что в наших поступках и речи остается недоступным для нас» (*Caruth C. Unclaimed Experience: Trauma, Narrative and History. Johns Hopkins U Press, 1996. P. 4*).

¹См.: *Felman Sh. The Juridical Unconscious: Trials and Traumas in the Twentieth Century. Cambridge: Harvard University Press, 2002.*

² О повествовании в суде см. статьи в специальном выпуске журнала «Michigan Law Review»: *Scheppele K.L. Telling Stories // Michigan Law Review. № 87. 1989. P. 2073–2098; Williams P. The Obliging Shell: An Informal Essay on Formal Equal Opportunity // Ibid. P. 2128.*

³ Вэнди Браун красноречиво продемонстрировала, как стремление выстраивать индивидуальный образ вокруг той или иной раны (позиция жертвы) превратилось в важную часть политической идентичности в современной Америке. Браун также обратила внимание на то, что отстаивание индивидуальных и коллективных прав сыграло важную роль в этом процессе (*Brown W. States of Injury: Power and Freedom in Late Modernity. Princeton: Princeton University Press, 1995*).

⁴ В большинстве систем права ответчик может отказаться свидетельствовать против себя, хотя такое молчание в разных странах имеет разные последствия. Обычно это правило не распространяется на случаи, связанные с частным правом.

пострадавшие могут придать своей частной боли форму публичного отчета о происшедшем.

Лакуны знания, окружающие травму, — те самые неизвестные элементы, что заставляют нас вновь и вновь испытывать неизжитую боль, — восполняются в процессе поиска доказательств в ходе судебных слушаний. Причины и размер травмы оцениваются при помощи собранных свидетельств. Таким образом, в зале суда травма проигрывается и нейтрализуется при помощи производства знания, приобретая в итоге «форму» нового повествования, в котором утрата, боль и обвинения связаны воедино¹. И в котором страдания приобретают новую конфигурацию.

Власть судьи придает информации, полученной в процессе расследования, печать публичного одобрения². Устанавливая вину, суд не только меняет роли участников судебного процесса («ответчик» становится «преступником»). Виновный в травме обязан также взять на себя страдания, которые до этого были лишь уделом жертвы. В свою очередь, пострадавшие признаются потерпевшими, т.е. людьми, которые страдали и выжили и которые в итоге заслужили компенсацию за свои лишения. Удел преступника при этом никогда не получает того возвышенного статуса, который приобретают официально признанные страдания его жертв. Чтобы восторжествовала справедливость, преступник должен платить за свои поступки.

Обещание закона II: Деньги и восстановление «целостности»

Обращение к закону, однако, может предполагать и иную взаимосвязь между травмой и правом. Подавая частные иски, жертвы надеются получить компенсацию за понесенный ущерб. Суд не вернет погибших, не залечит раны, не возместит утраченное и не

¹ *Bennett W., Feldman M.* Reconstructing Reality in the Courtroom: Justice and Judgment in American Culture. New Brunswick, NJ/London: Rutgers University/Tavistock, 1981; *White L.* Subordination, Rhetorical Survival Skills, and Sunday Shoes: Notes on the Hearing of Mrs. G. // *Buffalo Law Review*. 1990. № 38. P. 1; *O'Barr W.M., Conley J.M.* Litigant Satisfaction Versus Legal Adequacy in Small Claims Court Narratives // *Law and Society Review*. 1985. № 19. P. 661, 698.

² *Scheppelle K.L.* Just the Facts, Ma'am: Sexualized Violence, Evidentiary Habits, and the Revision of Truth // *NY Law School Law Review*. 1992. № 37. P. 123; *Sherwin R.K.* Law Frames: Historical Truth and Narrative Necessity in a Criminal Case // *Stanford Law Review*. 1994. № 39. P. 72–74.

восстановит равновесие перевернувшегося мира. Но суд может взыскать деньги за нанесенный урон¹. Выплата денег не сможет восстановить исходную ситуацию, но тем не менее при помощи таких выплат оценка случившегося переходит от преступника к потерпевшему. Анонимность денег позволяет использовать их в качестве символической компенсации: для пострадавшего полученные деньги могут иметь значение, принципиально отличающееся от того, что с ними связывал преступник.

Рассмотрим, каким образом метафоры, с помощью которых вершится закон, раскрывают это обстоятельство. В частном праве деньги, на получение которых претендует подающая в суд сторона, называются *ущерб* (*damage*), поскольку они призваны символически компенсировать причиненный вред. Ущерб должен быть *восполнен*. С помощью денег потерпевшие *восстанавливают* урон, как будто они восстанавливают разрушенное. На уровне языковых клише компенсация, таким образом, призвана восполнить нехватку. Деньги заполняют место, опустошенное травмой. Жертва «восстанавливается» посредством «возмещения»: ей выплачивают «ущерб».

В итоге возмещение ущерба рассматривает травму с точки зрения ее стоимости: попытки залечить раны при помощи восстановления точной *картины* происшедшего заменяются оценкой *результатов* происшедшего в денежных знаках. Посредством денег исцеление травмы представляется как публичное признание совершенного проступка, как символическая замена утраченного, как передача из виноватых рук в руки невинные того абстрактного посредника, который может быть использован для компенсации понесенного ущерба. Но способны ли деньги на такое?

С одной стороны, деньги как абстрактная форма — великий уравниватель особенностей и различий. Вот почему, возможно, выплата денег за жизнь кажется снижением ценности этой конкретной жизни. Как замечает Георг Зиммель в «Философии денег», деньги могут свести «качественные обусловленности к количественным», пренебрегая разнообразием существующих форм². За

¹ В некоторых правовых системах и при некоторых обстоятельствах суды могут приговорить сторону, нанесшую ущерб, к «особому исполнению» конкретных действий или потребовать от нее восстановления первоначального положения дел. Как правило, суды предлагают выплатить деньги. Уголовное право, добавляющее к денежной компенсации лишение свободы или смертную казнь, подчиняется своей собственной логике.

² *Simmel G. The Philosophy of Money / Trans. T. Bottomore, D. Frisby. London: Routledge, 1990. P. 272.*

счет своей способности нивелировать особенные деньги, обмененные на собственность, могут быть «формой собственности, которая наиболее успешно освобождает индивида от тех связующих нитей, которые исходят от объектов владения, выступающих в иной форме» (например, дом, наследство и т.п.)¹. В итоге, по мнению Зиммеля, денежная форма не в состоянии служить для закона адекватным способом выражения ценности человеческой жизни (да и других основных ценностей). Единственным исключением является ситуация, в которой размер денежной компенсации за утраченную жизнь становится крайне большим:

Одной из причин многочисленных случаев несправедливости и трагедий в жизни может быть то, что личные ценности нельзя уравновесить или приравнять к деньгам, которые за них предлагают. Однако, с другой стороны, осознание личных ценностей и гордость от неповторимости собственной жизни проистекают именно из знания о том, что никакая сумма чисто количественных ценностей не в состоянии их перевесить. Часто признается, что только очень большие суммы, предложенные в качестве эквивалентов утраченного, могут изменить эту несоизмеримость — поскольку эти суммы имеют сверхъестественный характер, фантастические возможности которого превосходят определенность чисел. Они и отражают уникальность человеческих достижений, и одновременно не выходят за пределы любой индивидуальности².

Анализ Зиммеля допускает возможность такой ситуации, в которой чисто количественная функция денег может представлять качественное различие — т.е. когда сумма настолько велика, что ее символический смысл превосходит ее количественное значение. Таким образом, вопреки своей абстрактности и уравнивающей способности при определенных обстоятельствах денежное возмещение ущерба может выступать мерилom ценности жизни.

С другой стороны, как объясняет Зиммель, деньги традиционно увязывались с вопросами о человеческом *достоинстве*. Исторически *Wergild*, или выплата денежной компенсации за преступление, измеряла в деньгах ценность утраченной жизни. Показательно, что эта практика была общепринятой уже тогда,

¹ *Simmel G. The Philosophy of Money... P. 354.*

² *Ibid. P. 406.*

когда деньги только стали приобретать самостоятельное значение¹. Как показывает Зиммель, эти взыскания были привязаны к системам оценки, отражавшим «меру человека» в различных социальных классах. Основой могли служить, например, дневной заработок или стоимость продуктов, произведенных индивидом. В итоге сумма денег, подлежащих выплате за жизнь, варьировалась в зависимости от социального статуса обладателя этой жизни, а потому выражала, с некоторыми изменениями, ценность *конкретной* утраченной жизни. Денежный штраф, иными словами, отслеживал лишь *отдельный* аспект утраченной жизни (социальное положение, квалификацию, занятия). И тем не менее это денежное выражение того или иного аспекта индивидуальной жизни могло восприниматься как *показатель* данной человеческой жизни в целом. В период Просвещения, с его акцентом на фундаментальном равенстве людей, эти расчеты подверглись существенным изменениям. Отныне «люди ценны потому, что они — люди»².

Независимо от того, связана ли ценность жизни с социальным положением человека (а потому варьируется в зависимости от его происхождения) или она одинакова для всех (а потому отражает идеи Канта о фундаментальном моральном равенстве всех людей), ключевая идея «о том, что утраченная человеческая жизнь может быть возмещена деньгами»³, нашла продолжение и в современном праве — в выплатах компенсаций за смерть родственников, за причиненный урон или разрушенную собственность. В этом контексте деньги оказываются в состоянии выразить ценность жизни лишь в форме монетизации отдельной стороны этой жизни (например, неполученный заработок). И, как замечает Зиммель, в ходе эволюции законодательства деньги стали использоваться не только для компенсации утраты, но и для наказания конкретного преступника за конкретное преступление⁴.

Рассмотрим более подробно, как деньги работают в конкретных правовых случаях. Взаимосвязь между деньгами и утратой здесь будет очевидной. В своей работе «Социальное значение денег» Вивиана Зелизер убедительно объясняет, что в повседневной жизни люди не используют деньги в их абстрактном качестве, а «по-

¹ *Simmel G. The Philosophy of Money... P. 355.*

² *Ibid. P. 362.*

³ *Ibid. P. 360.*

⁴ *Ibid. P. 364.*

мечают» их для определенных целей¹. В праве определение размера возмещаемого ущерба всегда берет в расчет те или иные специфические характеристики: столько-то выделяется для оплаты расходов жертвы, столько-то — за ее «боль и страдание», столько-то — чтобы наказать нанесшего вред. Конечно, в конце концов деньги складываются в общую сумму, но во время судебного процесса они делятся на разные категории и направляются на различные нужды по разным причинам. Иногда монетизации не удается вообще отразить базовую ценность, которую предполагается компенсировать. В других случаях монетизация символически представляет только часть того, что утрачено. В третьих ситуациях деньгам удается заявить о себе не только количественно, но и качественно.

В каждой правовой системе есть типология, в соответствии с которой деньги выплачиваются за утраты. В странах общего права (Британия и ее бывшие колонии, включая США) основной способ введения отличий — это деление денег на *компенсаторный ущерб* и *карательный ущерб*. В системах гражданского права (большая часть остального мира, включая Россию) деньги разделяются на категории, отражающие либо *материальный ущерб*, либо *моральный ущерб*.

В странах общего права компенсаторный ущерб состоит из денег, выплачиваемых жертве в виде восполнения ущерба. Он объединяет *экономические потери*, то есть те, которые уже измерены в деньгах (неполученный заработок, расходы на врачей, стоимость ремонта машины), и *неэкономические потери*, то есть потери, денежный эквивалент которых сначала должен быть установлен по суду. Не-экономические потери включают выплаты жертвам за такие нематериальные вещи, как, например, боль и страдание (то есть, условно говоря, за степень травмы, переживаемой истцом либо его близкими), или за эмоциональный шок (чтобы отразить нетелесный ущерб), или за утрату близких (чтобы зафиксировать ценность брачных уз, распавшихся со смертью супруга)².

¹ Zelizer V. The Social Meaning of Money. NY: Basic Books, 1994. P. 21. Книга недавно была переведена на русский, см.: Зелизер В. Социальное значение денег. Деньги на булавки, чеки, пособия по бедности и другие денежные единицы. М.: Дом интеллектуальной книги, ГУ ВШЭ, 2004.

² Неэкономический ущерб обычно не возмещается в случаях, когда чистая небрежность приводит к разрушению собственности. Даже если кого-то глубоко потрясет зрелище любимой вазы, разбитой небрежным гостем, суд приписывает этому человеку только возмещение денежной стоимости вазы, но не дополнительное возмещение эмоционального ущерба.

В системах общего права компенсация состоит в суммировании экономического и неэкономического ущерба и базируется на допущении о том, что два типа причиненного вреда должны быть компенсированы двумя разными способами. Присужденные в качестве компенсации деньги, независимо от того, были ли они уже измерены или нет, в системах общего права помещаются на одну сторону гроссбуха. На другую сторону гроссбуха заносится *карательный ущерб*. Сюда входят суммы, выплачиваемые в зависимости от степени вины обидчика или от сдерживающего воздействия судебных санкций на обвиняемого. Здесь выплата денег кодирует вину преступника и степень, в которой следует отвратить других от совершения подобного действия. Размер суммы отражает то, насколько ужасен и аморален (или незаконен) совершенный поступок. Карательный ущерб служит не только наказанию тех, кто должен платить. Важно еще и то, что он выплачивается тому, кто пережил утрату, причиненную преступником. В итоге жертва травмы может получить деньги не только за утрату, но и за возмутительность действия, нанесшего ущерб. Таким образом, в системах общего права ущерб подсчитывается так, чтобы *наказание* можно было отличить от *компенсации*.

В мире гражданского права (большинство стран помимо Британии и ее бывших колоний, включая Россию) деньги группируются иначе. В частных исках ущерб здесь обычно делится на *материальный* и *моральный*, и грань между ними проводится не так, как в системах общего права (компенсаторный / карательный ущерб). *Материальный ущерб* суммирует все элементы утраты, которые уже имели денежное выражение *до несчастного случая*. К примеру, в России материальный ущерб включает неполученный заработок, расходы на врачей, которые повлек за собой несчастный случай, и стоимость поврежденной собственности¹. В судебных вычислениях лишь учитываются уже сложившиеся денежные формы утраченного, т.е. если зарплата погибшего составляла 500 долл. в месяц, то закон должен считать именно эту сумму мерой неполученного заработка.

Моральный ущерб, с другой стороны, требует сложения целого ряда вещей, у которых до начала суда денежного выражения не было. Первым шагом, который предстоит сделать судьям в данном

¹ Эти вычисления и инструкции на их счет зафиксированы в главе 59 Гражданского кодекса РФ.

случае, является определение денежного эквивалента «нематериальных ценностей». Но что такое нематериальные ценности? Согласно статье 150 Гражданского кодекса России, под нематериальными ценностями подразумеваются:

жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона¹.

Эти ценности по российскому закону не только «неотчуждаемы и непередаваемы»². Они защищаются законом именно *как* нематериальные ценности³. Нарушение личных неимущественных прав предполагает компенсацию в тех случаях, когда обидчик причиняет «моральный вред» (определяемый Гражданским кодексом России как «физические или нравственные страдания»⁴).

Как же оценивается степень «морального вреда»? К ущербу, нанесенному нематериальным ценностям, судья добавит степень вины преступника. Гражданский кодекс России дает (очень) общую формулу:

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред⁵.

Для того чтобы получить денежную сумму, представляющую моральный ущерб, степень вины преступника по российскому закону объединяется с оценкой страдания, вызванного ущербом нематериальным ценностям именно *данного человека*. Однако суд

¹ Гражданский кодекс РФ. Гл. 8. Ст. 150 (1).

² Там же.

³ Там же. Ст. 150 (2).

⁴ Там же. Ст. 151.

⁵ Там же.

не может обязать компенсировать моральный ущерб в каждом случае физических или нравственных страданий. На возмещение морального ущерба можно претендовать только в случае такого нарушения нематериальных ценностей, которые четко описаны Гражданским кодексом или иной совокупностью законов. Моральный ущерб наиболее активно фигурирует в делах о клевете, поскольку речь идет о вреде, нанесенном достоинству какого-то человека¹. Но, например, в случае конфликтов по поводу деловых контрактов моральный ущерб рассматривается крайне редко.

И системы гражданского права, и системы общего права пытаются сгруппировать три различных типа денежного эквивалента утраты в две категории. Но, как это видно из **таблицы**, делают это по-разному.

Выплата денег за травму в различных правовых системах

	Компенсация монетизированных потерь	Компенсация немонетизированных потерь	Наказание причинившего зло
Система общего права	Компенсаторный ущерб	Компенсаторный ущерб	Карательный ущерб
Система гражданского права	Материальный ущерб	Моральный ущерб	Моральный ущерб

Главное отличие между этими подходами состоит в том, что системы общего права группируют выплаты в зависимости от *функции*, проводя четкую линию между компенсацией и наказанием. Системы гражданского права группируют выплаты в зависимости от *типа действий*, которые нужно выполнить судье, и таким образом отделяют уже зафиксированные денежные формы (которые судье не надо подсчитывать) от тех выплат, денежное содержание которых судье еще предстоит определить.

¹ *Krug P. Civil Defamation Law And The Press In Russia: Private And Public Interests. The 1995 Civil Code, And The Constitution // Cardozo Arts and Entertainment Law Journal. 1995. № 13. P. 847.*

Закон двойного обещания

Те, кто пытаются облегчить свои страдания с «помощью» закона — еще одна интересная метафора, — обычно сталкиваются с двумя возможностями. С точки зрения нарративного подхода к травме закон создает условия для поиска новых свидетельств и формирования новых повествовательных рамок, в которых травма может быть воспроизведена и преодолена в зале суда. Пострадавшему обещана официальная версия содержания его травмы и официальная интерпретация ее значения. Травма преодолевается в ходе постоянной артикуляции различных версий трагических событий, с помощью которых обнаруживаются и постепенно заполняются пропущенные места, факты и т.п.

С точки зрения компенсаторного подхода к травме судебное разбирательство обещает установить способ конвертации конкретных утрат на всеобщий язык денег. Несмотря на то что деньги выступают мерилем вещей, которые невозможно измерить, они тем не менее предоставляют травмированному человеку возможность начать иную жизнь.

Для юридического признания ключевой является взаимосвязь между фактами, установленными в суде, и размером выплат. Правовой подход к травме предполагает *двойной расчет*, в котором (1) последовательная выкладка происшедших событий дополнена (2) переводом установленных утрат на язык денежных знаков. Сначала суд устанавливает факты, вскрывает тайны, документирует причинно-следственные связи и в итоге излагает ход событий. Затем наступает время оценки ущерба, который включает монетизацию как материальных потерь, так и тех унижений и страданий, которым подверглись пострадавшие. Эти две различные символические стратегии оказываются слитыми во времени и пространстве судебного разбирательства. Двойной счет закона, таким образом, предоставляет два способа выхода из травмы; однако эти два способа не изолированы, а взаимно дополняют и усиливают друг друга. Завершение разорванных повествований о травме помогает залечить душевные травмы, в свою очередь, социальные травмы могут быть преодолены с помощью специально предназначенных денежных выплат, которые символизируют степень страданий потерпевших и степень вины преступников.

Однако на практике подобных судебных разбирательств становится все меньше. В США, например, эту категорию разбирательств нередко называют *исчезающим классом* (*vanishing trials*)¹. Фактически суды подобного рода стали аномалией, не оставляющей какого бы то ни было шанса на то, чтобы восстановить официальную версию происшедших событий. США в этом плане не одиноки. Суды Германии и Японии, принадлежащих к странам гражданского права, традиционно призывают истцов и ответчиков к поиску внесудебных решений конфликтов². Я не располагаю подробной информацией о данной ситуации в России, однако, учитывая международную тенденцию судебной практики, было бы крайне удивительно, если бы вышеописанный тип судебных разбирательств стал здесь нормой.

Что происходит, когда «внесудебное» соглашение между сторонами сводится к денежным выплатам и не содержит сколько-нибудь авторитетного отчета о том, что произошло? Двойное обещание закона — отчет словами и деньгами — утратило свой смысл. Денежные выплаты лишились той самой официальной поддержки, которая их, собственно, и санкционировала. Более того, заявления по поводу внесудебных соглашений нередко прямо отрицают (или замалчивают) те исходные причины, из-за которых производятся выплаты. Восполнение ущерба по внесудебным соглашениям без соответствующей истории о страданиях фактически лишает денежные выплаты их специфического характера. Деньги утрачивают свою конкретную привязку, столь важную для понимания их социального смысла. Без такой привязки значение денег оказывается нестабильным. Показательно, что судебные институты — те самые институты, которые и призваны придавать денежным знакам конкретный смысл, — все чаще опираются лишь на абстрактную, уравнивающую функцию денег, о которой столь подробно писал Зиммель.

¹ В 1962 году судебные разбирательства составляли 11,2 % от общего числа всех видов федеральной судебной деятельности. В 2002-м число таких разбирательств сократилось до 1,8 % (*Galanter M. The Vanishing Trial: An Examination of Trials and Related Matters in Federal and State Courts // Journal of Empirical Legal Studies. 2004. № 1. P. 459, particularly Table 1: Civil Trials in U.S. District Courts at Ten-Year Intervals, 1962–2002 (p. 462).*

² *Marcus R. Putting American Procedural Exceptionalism into a Globalized Context // American Journal of Comparative Law. 2005. № 53. P. 709.*

Но абстрактные деньги — деньги, лишённые символической нагрузки, — не в состоянии примирить с травмой. Цель таких денег неочевидна. Что именно *восполняется* в данном случае? Утрата? Страдания? Или речь идет о наказании виновного? Может, «пострадавший» поддался на уговоры и был «куплен» виновником? Или виновник проявил сострадание и решил помочь потерпевшему? Справедлив ли сам размер выплат потерпевшим? Наконец, может быть, что ответчик и вовсе не виновен и согласился на выплаты лишь для того, чтобы избежать дополнительных судебных процедур и расходов? Альтернативные интерпретации решений неизбежно сопровождают внесудебные соглашения. Именно поэтому выплаты-без-фактов не в состоянии произвести успокоительный эффект. Без санкционированного смысла деньги в данном случае будут оставаться предметом конкурирующих интерпретаций до тех пор, пока не будет выполнено двойное обещание закона.

«Норд-Ост» в суде

Чего пытались добиться семьи заложников «Норд-Оста», решившие подать в суд на правительство Москвы? Согласно их адвокату, семьи хотели *объяснений* случившемуся. Особенно они хотели получить ответы на вопросы о том, как террористам удалось не только пробраться в центр Москвы, но и захватить театральное здание. Они хотели знать, почему освобождение заложников было осуществлено с минимальной готовностью оказать помощь самим заложникам. Наконец, семьи пострадавших требовали информации о составе «парализующего» газа, использованного во время штурма. При этом заложники и их семьи настаивали на индивидуальном подходе к погибшим. Все эти требования отражают повествовательный подход к травме, при котором зияющие разрывы в истории о том, что произошло, постепенно заполняются вновь доступной информацией.

Денежные выплаты, выданные семьям заложников «Норд-Оста» вскоре после событий, были небольшими по размерам и равными по объёму. Истцы восприняли этот уравнилельный подход как оскорбление и потребовали индивидуального обращения. Они также настаивали на признании *морального ущерба*, требуя от

правительства Москвы компенсаций за свои страдания¹. С самого начала семьи отвергли компенсацию *материального* ущерба, поскольку не хотели уравнивать утрату близких с денежными выплатами. Изначально все судебные иски к московскому правительству², поданные в Тверской районный суд, требовали возмещения *только* морального ущерба. Таким образом, эти требования семей отражали компенсаторный подход к травме, при котором денежные выплаты в состоянии «произвести» примиряющий эффект лишь тогда, когда они берут в расчет не только монетизированный ущерб, но и оценку немонетизируемого ущерба, а также стремление наказать виновника происшедшего при помощи этих выплат.

От имени истцов выступил известный московский адвокат Игорь Трунов, чья практика до этого сводилась преимущественно к уголовным делам. Трунов опубликовал объявления в основных московских газетах, где сообщил о своей готовности вести дела семей заложников бесплатно³. К третьей годовщине событий на Дубровке он подал 81 иск от имени 84 пострадавших (из которых 22 истца были детьми погибших в театральном центре)⁴. Все иски основывались на одном и том же юридическом положении: семьи заложников могут претендовать на компенсации в соответствии с законом «О борьбе с терроризмом» 1998 года⁵. Хотя этот закон и оговаривал возможность компенсационных выплат жертвам террористических актов, Трунов, судя по всему, был первым, кто применил это положение на практике.

Чего требовали истцы?⁶ Среди заложников в целом и даже среди тех, кто решили подать в суд, очень немногие объявили *публично*

¹ Интервью автора с Игорем Труновым. Москва, 12 июля 2003.

² Иски были направлены правительству Москвы (а не федеральному правительству, чьи подразделения участвовали в штурме Театрального центра) потому, что по Закону о борьбе с терроризмом (1998), на который опирался И. Трунов, компенсация ущерба, вызванного терактом, является обязанностью субъекта федерации, на территории которого произошел теракт. Кроме того, хотя штурм и проводился федеральными подразделениями, организацией эвакуации и медицинской помощи пострадавшим, судя по всему, занимался город.

³ Такие объявления, например, были напечатаны во влиятельной газете «Коммерсант» весной 2003 года. Другие документы по делу «Норд-Оста» см. на сайте Игоря Трунова: <http://www.trunov.com/?no>

⁴ Dubrovka Hostage Tragedy Finished Two Years Ago // RIA Novosti. October 26, 2004.

⁵ См. Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом».

⁶ Мой анализ основан на интервью с адвокатом истцов и адвокатом компании, поставившей мюзикл; кроме того, я присутствовала на нескольких су-

о том, чего именно они хотели бы добиться от правительства. Чуть больше 20 семей сделали свои истории достоянием общественности, остальные ограничились схематичным изложением событий, которые нашли отражение в судебных документах¹. Кто же в итоге решился на судебное разбирательство?

Андрей Карпов приобрел определенную известность после того, как перевел на русский язык текст мюзикла «Чикаго». Он находился на Дубровке во время захвата и погиб в ходе операции по освобождению. Его мать Татьяна Карпова стала своеобразной «главной потерпевшей». Она часто дает интервью телеканалам и принимает самое активное участие во всех судебных слушаниях по делу «Норд-Ост», независимо от того, идет в них речь о судьбе ее сына или нет. Карпова стала основной движущей силой таких организаций пострадавших, как «Заложники Норд-Оста» и «Nord-Ost Justice», которые отстаивают требования потерпевших².

Согласно документам, приобщенным Карповыми к судебному делу, они опознали своего сына в телевизионном репортаже — он находился в бессознательном состоянии, и журналисты, допущенные в театр, перешагивали через его тело. Однако о том, что их сын погиб, Карповы узнали только спустя два дня после штурма. Шок от этого известия был усилен организацией похорон, которые взяло на себе правительство Москвы. По мнению семьи, уровень

дебных заседаниях, ознакомилась с документами, приобщенными к делу, а также с решениями судьи и комментариями прессы. Детали самих исков остаются в основном недоступными для исследователей и прессы. И. Трунов позволил мне ознакомиться только с теми делами, доступ к которым был разрешен самими истцами. Все цитаты в данной статье взяты из опубликованных в прессе материалов.

¹ Несмотря на героические усилия, Дебре Джавелин (Debra Javeline) и Ванессе Бейрд (Vanessa Baird) удалось опросить лишь 26 семей заложников, решивших подать в суд на правительство Москвы (всего подала в суд 61 семья). Кроме того, 326 заложников согласились ответить на их вопросы. Во многом подобная ситуация определяется трудностями с идентификацией заложников. Однако из тех, кто был установлен, 63 человека отказались ответить на вопросы исследовательниц (*Javeline D., Baird V. Judicial Pioneers: Litigants in the Moscow Theater Hostage Case* — http://socsci.colorado.edu/~bairdv/Javeline_Baird.pdf; см. также их статью: *Javeline D., Baird V. Who Sues Government? Evidence from the Moscow Theater Hostage Case* // *Comparative Political Studies*. July 2007).

² См.: <http://www.nordostjustice.org> или: <http://www.nordostjustice.org/rus/index.html>

похорон не соответствовал ситуации — венок и гроб были низкого качества¹. В дополнение к этому Карповы требовали ответа на целую серию вопросов:

Почему наших ребят, как скот, перевозили вповалку? ...Разве нельзя было заранее подготовить 750 носилок? Разве нельзя было заранее подготовить 750 порций антидота?

Почему не были использованы красящие средства, чтобы метить тех, кому вкололи антидот? В результате кто-то получил несколько порций, а кто-то — ни одной. Я считаю, что за все отвечает Москва и никто другой. Не надо сваливать вину на больницы и поликлиники — правительство Москвы в ответе за происходящее².

За свой моральный ущерб семья потребовала 1 млн долл. США³.

Муж Аллы Алякиной погиб в театре. Ее не интересовали деньги, но она хотела знать, кто ответит за смерть ее мужа.

Отец Александра Храмцова работал тромбонистом в оркестре мюзикла и умер в театре. Во время захвата отец звонил сыну по мобильному телефону, чтобы сообщить требование террористов об организации демонстрации на Красной площади против войны в Чечне. По мнению сына, судьба отца была предreshена, когда правительство Москвы не разрешило проведение подобной демонстрации. Храмцов зачитал суду записку, написанную отцом в театре:

Три дня и три ночи ада — это много. Жалею, что не могу поговорить с вами — террористы уже вставляют взрыватели. Я счастлив, что у меня выросли хорошие дети. Находясь здесь, я понял, что квартиры и машины — это не самое главное в жизни. Не увлекайтесь бесконечным зарабатыванием денег. Старайтесь больше бывать на природе. Я прожил с вами более 25 лет. Несмотря на некоторые

¹ Как отмечала Карпова в своих показаниях: «Эти гробы были сделаны из материала, напоминающего картон. Эти псевдодоски были скреплены степлером. Если положить в такой “гроб” тело взрослого мужчины — он развалится. Чиновник, который выдавал эти гробы, сказал: возьмите два, в другом месте обменяете на один хороший» (<http://www.zalozhniki.ru/trial/21041.html>).

² См. показания Татьяны Карповой: <http://www.zalozhniki.ru/trial/21041.html>

³ Иск подан 9 декабря 2002 года и доступен по адресу: www.trunov.com. Показания Татьяны Карповой см.: <http://www.zalozhniki.ru/trial/21041.html>

финансовые трудности, я считаю, что мои дети — оперившиеся птенцы, которые дальше смогут жить самостоятельно¹.

Другие истцы документировали героическое поведение своих близких. Кристина Курбатова участвовала в мюзикле и погибла в ходе штурма. Сестра Кристины рассказывает о ее поступках так:

Ее друзья, которые были вместе с ней в зале, рассказывали, что, когда пустили газ, Кристина рвала зубами юбку (из реквизита) и эти клочки в первую очередь передавала детям, чтобы они могли спастись. Иначе моя сестра поступить и не могла.

Очень больно осознавать, что наше государство ничего не сделало, чтобы ее спасти. Ее лишили главного права — права на жизнь. Во имя чего, в угоду кому, ЗАЧЕМ??? Ответы на эти вопросы и пытаются найти сейчас мои родители, только найдут ли? А в нашем доме навсегда поселилась беда...²

Мать погибшего Ярослава Фадеева сама находилась в театре и описала самоотверженность своего сына в своем письме к погибшему:

Как рассказывают о ребенке — первая улыбка, первое слово, первый шаг, первая книжка. А у нас с тобой, Ярослав, все как всегда — необычно! С конца... Самое дорогое — это последнее слово, когда Ярослав, сидя в зале в этом «плену», вспоминал всех близких и думал не о себе, а как «там» всем тяжело, и ни одного слова о себе, о том, что ему душно, хочется пить, есть и, конечно, просто страшно. «Мама, ты боишься?!» — Да, сынок, очень боюсь, боюсь жить без тебя... И не могу жить без тебя. Мы всегда были рядом. Ярослав всегда находил нужное слово, чтобы успокоить, убедить, почувствовать силу и не растеряться. Мог, в свои неполные 16, как взрослый, уверенно и просто взять за руку, когда слова бесполезны. Вот и в этот раз, последний жест твой, сын, оказался намного дороже первого шага, который ты сделал в детстве. Ты просто обнял сестру, которая старше, но слабее, взял меня за руку и... закрыл от всего страшного и плохого, закрыл своим мужеством. И все твои опасе-

¹ Показания истца Александра Храпцова: <http://www.zalozhniki.ru/trial/21046.html>

² См.: www.nordostjustice.org/christina.html

ния, что ты «какой-то не такой» и тебя считают неуверенным и слабым, стали бессмысленны, ты только поверь мне теперь... Я и это письмо пишу только потому, чтобы люди узнали, каким был один из убитых, ни в чем не повинных детей. Чьей судьбой распорядились и поставили точку 26 октября 2002 года...¹

Другая группа истцов сконцентрировалась на тех изменениях, которые произошли в их жизни после событий на Дубровке. Николай Волков, например, сообщил, что после того как его двадцатидвухлетняя дочь Лена погибла в театре, состояние здоровья ее матери значительно ухудшилось, а ее младшая сестра начала заикаться.

Две дочери Ольги Миловидовой находились в театре во время захвата. Двенадцатилетнюю Лену террористы выпустили вместе с другими детьми. Четырнадцатилетняя Нина погибла во время штурма. Поведение Лены и ее маленького брата резко изменилось после этих событий. Сын часто и беспричинно плачет; дочь не может спать в комнате, которую она раньше делила с сестрой².

Тридцатичетырехлетний сын Ларисы Фроловой был среди зрителей и тоже погиб при штурме. В своих показаниях она сообщала:

Мы вырастили троих сыновей, защитников отечества. Всю жизнь работали и что получили? Горе, боль и слезы. Перед гробами наших детей мы поклялись, что вырастим наших внуков порядочными и полезными людьми.

Что касается материального и морального возмещения, то раньше я не страдала бессонницей, теперь засыпаю только в 3–4 утра. А с утра нужно вставать в 7 — отводить детей в школу. Меня мучают боли в сердце, у мужа скачет давление...³

В большинстве показаний речь идет о тех, кто погиб, или о страданиях тех, кто выжил. Попытки озвучить факты, которые помогли бы установить виновного, довольно редки. Во вторую годовщину событий родственники, собравшиеся у памятника, поставленного рядом с театром, подчеркивали опять и опять, что их не интересует денежная сторона дела. Судебное разбирательство призвано напомнить властям об их ответственности: «Судебные

¹ <http://www.nordostjustice.org/rus/fadeev.html>

² <http://www.zalozhniki.ru/trial/21038.html>

³ <http://www.zalozhniki.ru/trial/21042.html>

дела — это способ сохранить память об этой трагедии, это способ сказать, что наша боль все еще не утихла»¹.

Хотя дела, инициированные Труновым, поначалу касались только компенсации морального ущерба, понятно, что семьи заложников понесли и материальный урон. Те, кто выжили, например, были вынуждены оплачивать медицинские расходы. Те, кто погибли, оставили после себя родственников, находившихся ранее на их попечении. Эти и другие расходы могли и должны были бы быть возмещены. Почему Трунов решил иначе? На мои вопросы в связи с этой ситуацией он дал вполне прагматический ответ: пострадавшие смогут получить гораздо больше, если будут требовать компенсации морального, а не материального ущерба². Как адвоката в данном случае его интересовали деньги, которые его клиенты могли бы получить в ходе судебного разбирательства. Подобная логика может показаться неубедительной. Действительно, если речь идет, например, об исчислении компенсации утраченного дохода родственникам погибшего, которые находились на его / ее пожизненном попечении, то размер подобных выплат (утраченный доход, умноженный на количество лет, которые иждивенцы проживут) может значительно превзойти одномоментные компенсации моральных страданий.

Проблема, однако, заключается в том, что подсчет утраченного дохода в России составляет определенную трудность. То, что в американской правовой действительности воспринимается как естественное, не имеет фактических аналогов в России: в отличие от России в Штатах не составляет труда подсчитать примерную сумму, которую мог бы получить за свою жизнь тридцатилетний продавец акций на Уолл-Стрит или секретарь офиса³. В России траектория зарплат и траектория карьер еще не стабилизировались, и подобные расчеты не имеют особого смысла. Более того, как можно подсчитать экономическую ценность погибшего ребен-

¹ Цит. по: Former Moscow theatre hostages, relatives hurt by state's attitude. NTV Mir, Moscow // Russian 0900 gmt, 26 Octobre 2004; translated in BBC Worldwide Monitoring, October 26, 2004.

² Интервью с И. Труновым. 12 июля 2003.

³ Мои попытки помочь И. Трунову использовать для расчетов методику, предложенную Фондом помощи жертвам 11 сентября 2001 года, оказались безрезультатными, поскольку очень быстро выяснилось, что той информационной базы данных, на которой строятся выводы американских юристов, в России не существует.

ка? Или студента университета, еще не начавшего свою профессиональную карьеру? Или пенсионера, свою карьеру уже завершившего? В этих случаях утраченный доход минимален и вряд ли может служить основанием для подобных расчетов. Наконец, мы имеем дело и еще с одной, специфически постсоветской проблемой: как можно определить экономическую ценность *кого бы то ни было* в обществе, которое в течение долгого времени никак не связывало социальный статус человека с его денежным доходом?

Были и более практические трудности. По вполне понятным налоговым причинам зарплата многих из тех, кто оказался на Дубровке, состояла из двух неравных частей — той, что выплачивалась официально через бухгалтерию, и той, что выплачивалась неофициально, «в конверте». Подобные финансовые «соглашения» широко распространились в 1990-х годах и в значительной степени практиковались в новом тысячелетии. Сложность состояла в том, что в суде могли фигурировать лишь «официальные» цифры, нередко составлявшие лишь малую часть общего дохода. Сходным образом обстоит дело и с компенсацией медицинских расходов. Хотя медицинское обслуживание в значительной степени «бесплатно», на практике поход к врачу предполагает серию обязательных и желательных выплат наличными, которые сложно подтвердить документами и, соответственно, компенсировать.

Учитывая ситуацию, для Трунова не составляло особого труда подсчитать, что в реальности компенсация материальных затрат будет минимальной. Именно поэтому он сосредоточился только на моральном ущербе, требуя по 1 млн долл. США в каждом случае. Однако, как уже отмечалось, большинство семей заложников заинтересовали не столько деньги, сколько моральное признание их страданий, поиск ответа на вопросы об ответственности властей за происшедшее и практическая помощь в решении проблем с пострадавшими здоровьем.

Откуда взялся рубеж в один миллион американских долларов?¹ Трунов исходил из сложившейся практики. 22 февраля 2002 года Басманный суд Москвы удовлетворил иск председателя Краснодарского краевого суда к «Новой газете» о защите чести и достоинства и постановил взыскать с газеты в качестве возмещения

¹ Я использую расчеты в долларах, поскольку ими пользовался И. Трунов в своих объяснениях.

морального ущерба 30 млн. руб.¹ И в интервью со мной, и в своих заявлениях для прессы Трунов пояснял, что его клиенты, без сомнения, пострадали не меньше, чем истец, получивший всего лишь год назад 1 млн долл. за неудобства, причиненные лишь «словами»². И хотя его клиенты заслуживают гораздо больше, настаивал Трунов, он последует прецеденту и ограничится одним миллионом. Вполне следуя логике количества, описанной Зиммелем, магия столь внушительных цифр сделала свое дело.

Проблема заключалась в том, что, согласно российскому законодательству, моральный ущерб может возмещаться лишь в случаях, специально оговоренных Гражданским кодексом либо соответствующим законом. В законе о борьбе с терроризмом подобная статья отсутствовала. Поэтому в своих требованиях Трунов опирался на раздел Гражданского кодекса, в котором перечислялись следующие основания для компенсации морального вреда:

- вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности;
- вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ;
- вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию³.

Захват театра, по мнению Трунова, как раз являлся примером вреда, причиненного «источником повышенной опасности», оговоренной в Кодексе. Оставалось найти судью, который бы согласился с подобной интерпретацией Кодекса.

¹ См., например: *Лунский А.* Время политики и экономики. Новогаетный прецедент // *Время МН.* 2 марта 2002.

² Такие размеры компенсаций довольно типичны для судов, связанных с делами о клевете. Это, однако, вовсе не означает, что подобные суммы являются нормой. Детали см. в: *Popova M.* Rule of Law Vs. Rule of Administrative Resources: Judicial Independence in Civil Suits Against Media Outlets in Russia. Paper given at the Meetings of the Law and Society Association. Panel 3113. Pittsburgh PA. June 5, 2003.

³ См. статью 1100 Гражданского кодекса РФ.

Все дела рассматривались в небольшом помещении Тверского суда, расположенного в центре Москвы. На судебных слушаниях, которые я посетила летом 2003 года, присутствовала только небольшая часть истцов. Слушания, похоже, следовали уже сложившейся процедуре. Дело было поручено судье Марине Горбачевой, которая последовательно отказывала в принятии исков. До показаний пострадавших дело, собственно, и не доходило. На каждом заседании судья повторяла одно и то же решение отклонить иски на том основании, что компенсация морального ущерба не предусмотрена законом «О борьбе с терроризмом». Иными словами, иски Трунова были отклонены потому, что для них не предусмотрено соответствующего решения. Выяснение причин захвата, состава газа и тому подобные проблемы, на решении которых настаивали заложники, в компетенцию суда, по-видимому, не входили.

Тем не менее разбирательство привлекло внимание российских и зарубежных СМИ. Летом 2003 года Трунов стал получать сигналы о том, что его клиенты могут получить компенсацию, если моральные требования будут заменены материальными. Я присутствовала на самом первом слушании, когда должно было состояться обсуждение подобной смены приоритетов. Судья Горбачева не дала этим слушаниям состояться, поскольку, по ее мнению, обсуждение компенсации материального ущерба должно вестись в присутствии представителей финансового департамента правительства Москвы. Прежде чем подсчитывать размер компенсации материального ущерба (с правомěrностью которой судья была в принципе согласна), Горбачева хотела знать не столько о размерах урона, понесенного заложниками, но прежде всего о тех пределах, в которых правительство могло бы удовлетворить требования подобного рода¹.

Ни в этот день, ни в большинстве других слушаний сами заложники не имели возможности изложить свою точку зрения. Их показания не были озвучены и кем бы то ни было еще. Документы, подготовленные Труновым, содержат минимум деталей о том, что довелось пережить заложникам. Сами пострадавшие фактически оказались лишними в процессе судебного расследования².

¹ В Гражданском кодексе не определено, что делать в ситуации, когда ответчик не в состоянии выплатить суммы, указанные судом.

² Я вовсе не хочу сказать, что данная ситуация есть результат определенной нечувствительности российского суда. Любая судебная система начинает с процессуальных вопросов для того, чтобы впоследствии перейти к конкретным

Ситуация в кассационном суде была не намного лучше. Я присутствовала на одном из заседаний, когда рассматривались 24 иска, но в слушании участвовало лишь незначительное число пострадавших). Людмила Трунова — жена и помощник Игоря Трунова — в своем выступлении привела доводы, оспаривающие решение судьи Горбачевой. Затем председатель дал возможность присутствующим высказать свои замечания и комментарии. Один из пострадавших рассказал о страданиях и шоке семьи, которые вызвала смерть сына, находившегося в театре. Без комментариев судьи удалились на совещание и через 15 минут заявили о своей поддержке решения судьи Горбачевой.

Эти судебные дела начались как своеобразные акты публичного поминовения по погибшим — с их акцентом на моральной стороне дела, с их вопросами о признании трагедии и об ответственности властей. Но в ходе слушаний ситуация стала меняться. Государство все активнее пыталось положить конец расследованиям путем компенсации материального урона. Моральные доводы пострадавших отошли на третий план. Их утраты и страдания так и не получили юридического признания.

Материальной компенсацией эти дела и закончились. Закончились без особых расследований и слушаний. Пострадавшие не получили ответов на свои вопросы. А правительство не взяло на себя ответственность. Под председательством судьи Горбачевой дело перешло к калькуляции материального ущерба. Вопросы о причинах и ходе трагедии сменились совсем другими вопросами. Сколько получал ваш родственник? — интересовалась судья Горбачева. Сколько людей было на его попечении? Затем зарплата делилась на общее число людей (количество иждивенцев плюс погибший кормилец), для того чтобы каждый мог получить свою часть компенсации. Собственная часть кормильца вычиталась из общего дохода, а оставшаяся сумма делилась поровну между его живыми детьми или родителями. Например, после того как С.А. Кунова погибла в центре на Дубровке, на попечении ее родителей, пенсионеров Коврижкиных, осталась маленькая внучка 1992 года рож-

искам. В интерпретации Трунова для прессы судебное разбирательство было представлено так, будто бы судья отказывается иметь дело с истцами. На деле судья Горбачева не имела возможности сделать что бы то ни было по поводу конкретных исков до тех пор, пока дело не приобрело приемлемую юридическую форму, признанную российским законодательством.

дения. По решению суда внучке было назначено пособие в размере 1/3 от зарплаты ее матери (1158 руб.) до ее совершеннолетия. Сами Коврижкины также получили «на свое содержание ежемесячно и пожизненно» по 1158 руб. каждый плюс по 17 000 руб. в виде одноразовой выплаты за те 15 месяцев, что прошли до вынесения решения суда со времени гибели дочери. Сходным образом обстояло дело с И.С. Медведевой. Ее муж погиб на Дубровке, и на попечении вдовы, не имевшей самостоятельного дохода, остались двое сыновей 1992 и 1989 годов рождения. По решению суда Медведева получила «на свое содержание ежемесячно и до достижения детьми 14 лет» 1/3 часть зарплаты ее мужа (1671 руб. 86 коп.). Кроме того, суд постановил взыскать «ежемесячно до совершеннолетия» в пользу каждого сына по 1/3 заработка погибшего отца (т.е. по 1671 руб. 86 коп. на каждого)¹. На этом и поставили точку.

Как правило, при определении размера компенсации в расчет бралась лишь зарплата, точнее — ее официальная часть. Тем, кто потерял несовершеннолетних детей, компенсации не полагалось, поскольку у детей не было самостоятельного дохода, на который могли бы претендовать их родственники. Фактически на компенсацию материального ущерба могли претендовать лишь те, кто потерял своих кормильцев. У остальных не было никаких юридических оснований для исков о материальном ущербе. В июне 2006 года, подводя итоги судебным разбирательствам, газета «Ведомости» писала:

Государство неохотно компенсирует материальный ущерб и моральный вред жертвам терактов и их родственникам. Пока выплаты родным погибших на Дубровке и от взрыва в метро 6 марта 2004 года не превышают 200 000 руб. единовременной компенсации материального ущерба и 8000 руб. ежемесячной пенсии. Некоторые пострадавшие в «Норд-Осте» требовали 1 млн долларов, но никому пока не удалось отсудить более 600 000 руб.²

¹ См.: Решение Тверского районного суда ЦАО г. Москвы по гражданскому делу по иску Коврижкина А.И., Коврижкиной А.А., Иванниковой А.Г., Филипповой А.И., Медведевой И.В. к Правительству Москвы, Департаменту финансов г. Москвы о возмещении материального вреда, причиненного в результате террористического акта 23–26 октября 2002 года (<http://trunov.com/content.php?act=showcont&id=344>).

² Уцененная жизнь // Ведомости. № 116. 28 июня 2006 (<http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2006/06/28/108637>).

Подавляющее большинство денежных выплат было намного меньше этих сумм. Многим не удалось получить ничего.

* * *

Для тех, кто провели три бесконечных дня на Дубровке, это время стало травмой. Для тех, кто потеряли близких, эта травма превратилась в трагедию. Что смог сделать закон для тех, кто решили обратиться к его помощи?

Как и во многих внесудебных соглашениях, разбирательства по делу «Норд-Оста» изолировали две составные части судебных слушаний: обещание закона восстановить истинный ход событий и тем самым помочь преодолеть травму оказались оторванными от другого обещания закона, связанного со стремлением восстановить несправедливо нанесенный урон с помощью денежных выплат. Некоторым семьям заложников удалось лишь частично восполнить материальный ущерб. При этом по итогам судебных разбирательств никто так и не получил четких и связанных разъяснений о том, почему трагедия на Дубровке стала возможной. А денежные выплаты так и не смогли помочь пострадавшим начать иную, посттравматическую жизнь. Утраты, скорбь и травма были переведены на ограниченный язык компенсаций наличными.

Суды, вошедшие в историю права, обычно оставляют после себя свидетельские показания, которые не только документируют состав происшедших преступлений, но и дают возможность потомкам составить о них собственное представление. Суд по делу «Норд-Оста» завершился без предъявления новых фактов и без установления виновных. Зал суда не был использован и для того, чтобы придать пережитой травме упорядоченный и законченный характер. Все вернулось к вопросу, с которого, собственно, и началось разбирательство: «Что же именно произошло?»

И все-таки подобные судебные разбирательства являются скорее нормой, чем исключением в современном мире. Хотя именно громкие судебные дела остаются в памяти потомков и становятся основой для академических теорий. Большинство споров действительно заканчивается внесудебными соглашениями — без всякой надежды на торжество истины или даже полную компенсацию материального ущерба. Полученные в ходе таких соглашений деньги лишены своего специфического смысла и социальной привяз-

КИМ ЛЕЙН ШЕППЕЛИ. ДВОЙНОЙ СЧЕТ

ки к конкретному случаю. Они выступают лишь как абстрактный посредник в событиях, суть которых так и осталась неизвестной. Денежные знаки оказываются здесь не столько *знаками*, сколько единицами измерения невыясненной трагедии, наедине с которой в итоге вновь остались заложники и их близкие.

Сергей Ушакин

Вместо утраты:

материализация памяти и герменевтика боли
в провинциальной России

Прискорбно, но память — это единственный доступный нам способ отношений с умершими.

*Сюзан Зонтаг*¹

Осенью 2001 года, во время полевого исследования в Барнауле я взял интервью у Светланы Павлюковой, бессменной руководительницы и основательницы Алтайского комитета солдатских матерей. Во время беседы мать Героя Советского Союза, погибшего в Афганистане в 1988 году «при исполнении воинского долга», суммировала основное направление своей деятельности в Алтайском комитете солдатских матерей так:

...Я всегда говорю и всем, и везде, что, пока есть память о наших сыновьях, они, можно считать, что живы. Как только память будет забыта, все — значит, они погибли на самом деле. А на сегодня есть кто-то, кто помнит и продолжает их дело. И моя жизнь была посвящена этому. ...И вот [ветераны-афганцы] меня зовут «мама Света», и я горжусь этим. И считаю, ну, что жизнь моя не зря прожита².

Несмотря на всю предсказуемость подобной риторики, акцент на памяти и семейных связях в работе Комитета солдатских матерей (КСМ) довольно нетипичен. Благодаря деятельности ряда региональных отделений — прежде всего в Москве и Петербурге, — в массовом сознании Комитеты приобрели устойчивую репутацию оппозиции сложившемуся политическому режиму. Многочислен-

¹ *Sontag S. Regarding the Pain of Others. NY: Picador, 2003. P. 115.*

² Интервью со Светланой Павлюковой. Барнаул, октябрь 2001.

ные публикации в прессе и репортажи на телевидении сделали из Матерей опознавательный знак «антиармейской направленности», своеобразную визитную карточку, четко фиксирующую категории их социального и дискурсивного существования¹. Во многом следуя именно этому стереотипу, депутат Госдумы Виктор Алкснис заявил в октябре 2004 года радиостанции «Эхо Москвы» о подготовке официальных депутатских запросов в Генпрокуратуру и Министерство юстиции с просьбой проверить деятельность Союза комитетов солдатских матерей. Депутат пояснял:

Мой запрос и протокольное поручение связаны с тем, что уже на протяжении по крайней мере десяти лет в России осуществляет активную деятельность организация, которая финансируется на западные деньги. ...Учитывая, что организация ведет активную антиармейскую кампанию, я могу утверждать, что Комитет солдатских матерей выполняет политический заказ тех, кто дает им деньги... Никакого отношения к солдатским матерям эти женщины не имеют, это профессиональные политические работники, которые получают зарплату, содержат сотни офисов по всей России, осуществляют активную пропагандистскую, издательскую деятельность².

Политика репрезентации, озвученная Алкснисом, состоит из двух основных шагов. Сначала действия Матерей — точнее, их идентичность — подвергаются тотальной политизации («это профессиональные политические работники»), а затем эта — уже «сугубо» политическая — деятельность/идентичность поляризуется в контексте дискуссии о патриотизме. В итоге спектр возможных позиций ограничивается вполне предсказуемой цепью означающих: «антиармейская» направленность Матерей становится сино-

¹ Обзор истории КСМ см., например, в: Данилова Н. Право матери: инстинкт заботы или гражданский долг? // Семейные узы: модели для сборки / С. Ушакин (ред., сост.). М.: НЛО, 2004. Т. 2. С. 188–210. См. также: Аристархова И. Материнская политика. <http://www.mailadek.rema.ru/aris.htm>. Анализ политической деятельности Матерей см. также в: Hemment J. The Riddle of the Third Sector: Civil Society, International Aid, and NGOs in Russia // *Anthropological Quarterly*. 2004. Vol. 77 (2). P. 215–241.

² Депутат Госдумы РФ Виктор Алкснис обвиняет Союз комитетов солдатских матерей в выполнении политического заказа со стороны Запада по ослаблению обороноспособности России // Эхо Москвы. 20 октября 2004. <http://echo.msk.ru/news/211841.html>

нимичной направленности «*антироссийской*», а потому «*прозападной*» и/или «*прочеченской*». Показательно, что политика в данном случае понимается, прежде всего, как отношения индивида и государства; вопрос о том, что политическая деятельность может быть следствием синхронизации *индивидуальных* интересов, здесь не возникает в принципе.

В рамках данной статьи мне бы хотелось расширить репертуар дискурсивных средств репрезентации этой группы. Следуя теме памяти, артикулированной С. Павлюковой, я хочу привлечь внимание к тем аспектам деятельности Матерей, которые традиционно остаются вне поля зрения исследователей. И хотя речь также пойдет о политизации, интересоваться меня будет не столько непосредственная (или даже опосредованная) *мотивация* деятельности Матерей, сколько их *практики* формирования поля коллективных отношений, благодаря которым политическая деятельность, собственно, и становится возможной. В фокусе моего внимания, иными словами, будет не вопрос о том, *почему* Матери выбирают ту или иную (политическую) позицию или форму деятельности, но вопрос о том, *как* они это делают.

В течение последних десяти лет тема социальных страданий стала важным объектом исследований обществоведов. Глобализация террора, как и военные действия в Чечне, во многом привела к возникновению групп и ассоциаций, идентичность которых основана, прежде всего, на практиках скорби и опыте утрат. Судя по всему, попытки «совладать» с последствиями «рукотворных травм»¹ все меньше и меньше связываются с индивидуальным или коллективным стремлением к примирению с потерями — для того, чтобы продолжать жизнь дальше. Все чаще ключевым оказывается желание людей локализовать свидетельства утраты в их повседневной жизни, желание сформировать — и иногда политизировать — набор мемориализующих практик и объектов, которые могут поддерживать эмоциональную привязанность к утраченному.

В этой статье я постараюсь показать, как практики перевода утраты на язык публичных ритуалов, коммуникационных обменов и ежедневной рутины — то есть практики *матери*-ализации памяти — стали для Матерей и важным механизмом производства но-

¹ Suárez-Orozco M., Robben A. Interdisciplinary Perspectives on Violence and Trauma // Cultures Under Siege: Collective Violence and Trauma / M. Suarez-Orozco, A. Robben (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 15.

вых групповых/индивидуальных идентичностей, и принципиальным способом конструирования нового публичного пространства. Безусловно, само возникновение таких ритуальных стратегий может восприниматься в качестве отражения общего процесса деполитизации современной российской провинции¹. Я бы хотел, однако, предложить несколько иную интерпретационную стратегию.

В последние два десятилетия несколько антропологов, исследующих постсоветское пространство, привлекли внимание к пронзительной параллели между коллапсом утопических политических систем и тем повышенным вниманием к смерти политических лидеров, которое демонстрируют сообщества, пережившие коллапс авторитарных или тоталитарных режимов². Периодически возобновляющиеся дискуссии о захоронении тела Ленина, о демонтаже Мавзолея и некрополя Кремлевской стены — как и параллельно развивающаяся ритуализация захоронений останков царской семьи и лидеров Белого движения — лишь наиболее очевидные примеры «любви к отеческим гробам», особенно усилившейся после распада Советского Союза. Сходные примеры из современной истории других сообществ позволили американскому антропологу Джону Борнеману концептуализировать конец «тотализирующих и патрицентричных» режимов при помощи метафоры «смерти отца»³. Идентификация с политическим лидером заменена ритуалами его символического обезглавливания, что потенциально может открыть путь к новым конфигурациям политической власти.

Во многом следуя данной традиции, в этом тексте речь тоже пойдет о социосимволическом процессе, сопровождающем конец тотализирующей власти в России. Однако символическое наследие умерших политических лидеров в данном случае останется за рамками статьи. Вместо этого я попытаюсь описать микрополити-

¹ См., например: *Левада Ю.* Общество и реформы. Стабильность и нестабильность // *Общественные науки и современность.* 2003. № 10. С. 5–11; *Янов А.* Борьба с апатией как платформа либералов // *Независимая газета.* 14 января 2003; *Carnaghan E.* Alienation, Apathy, or Ambivalence? «Don't Knows» and Democracy in Russia // *Slavic Review.* 1996. Vol. 55 (2). P. 325–363.

² См., напр.: *Verdery K.* The Political Lives of Dead Bodies: Reburial and Postsocialist Change. NY: Columbia University Press, 1999; *Gal S.* Bartok's Funeral: Representation of Europe in Hungarian Political Rhetoric // *American Ethnologist.* 1991. № 18 (3). P. 440–458.

³ См.: *Borneman J.* Introduction: Theorizing Regime Ends // *Death of the Father: An Anthropology of the End of Political Authority* / J. Borneman (ed.). NY: Berghahn Books, 2004. P. 1–32.

ку утраты, осуществляемую группой женщин в отдаленном российском регионе. Конец политического режима проявился здесь в ритуалах скорби, с помощью которых Матери придали военным утратам индивидуализированный смысл. Лишенные традиционных мемориализующих клише советской политической культуры, они превратили смерть солдат-сыновей в «локальных войнах» — под которыми все чаще понимаются военные конфликты и операции в Афганистане, Средней Азии и на Кавказе — в центр своей локальной символической деятельности.

Как свидетельствуют этнографические исследования насилия, утрата и травма нередко находят свое выражение в образах коллективного или индивидуального тела¹. Подобная дискурсивная соматизация локализует и описывает — *воплощает* — травматический опыт. Действуя как «соматический проводник», телесные проекции утраты позволяют транслировать и опосредовать «сенсорные следы» боли². В свою очередь, это телесное отражение утраты как способ артикуляции травмы превращает страдающее тело в социосимволическое основание всеобъемлющих нарративов о жертвенности или, например, мученичестве³.

Опираясь на беседы с матерями, я попытаюсь проследить, как аффект и боль стали основой индивидуальных историй, социальных сетей и проектов по трансформации публичных мест. На мой взгляд, в «работе скорби» Матерей можно видеть историчес-

¹ См.: *Feldman A.* Formation of Violence: The Narrative of the Body and Political Terror in Northern Ireland. Chicago: University of Chicago Press, 1991; *Illness and Irony: On the Ambiguity of Suffering in Culture* / M. Lambek, A. Paul (eds.). NY: Berghahn Books, 2004; *Linke U.* Archives of Violence: The Holocaust and the German Politics // *Annihilating Difference: The Anthropology of Genocide* / A.L. Hinton (ed.). Berkeley: University of California Press, 2002. P. 229–271; *Olujic M.* Embodiment of Terror: Gendered Violence in Peacetime and Wartime Croatia and Bosnia-Herzegovina // *Medical Anthropology Quarterly*. 1998. Vol. 12(1). P. 31–50; Taylor Ch. Sacrifice as Terror: The Rwandan Genocide of 1994. Oxford: Berg, 1999.

² *Feldman A.* On Cultural Anesthesia: from Desert Storm to Rodney King // *American Ethnologist*. 1994. Vol. 21 (2). P. 413–415.

³ См.: *Asad T.* Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity. Stanford: Stanford University Press, 2003. P. 67–99; *Kleinman A.* Writing at the Margin: Discourse Between Anthropology and Medicine. Berkeley: California University Press, 1995. P. 173–192; *Pitcher L.M.* «The Divine Impatience»: Ritual, Narrative, and Symbolization in the Practice of Martyrdom in Palestine // *Medical Anthropology Quarterly*. 1998. Vol. 12 (1). P. 8–30; *Werbner R.* Tears of the Dead: The Social Biography of an African Family. Washington: Smithsonian Institution Press, 1991. P. 149–174.

кий пример того, что Ханна Арендт называла «*политикой жалости*»¹, т.е. пример реализации публичной идентичности, которая строится на основе и поддерживается при помощи одного и того же механизма — механизма координации аффекта и опыта страданий. Эффект взаимности и признания достигается в данном случае в процессе «слияния (fusion) силы аффекта с доступными (prescribed) средствами общения»². Присвоенное самописание этой группы женщин — «*солдатские матери*» — изначально метонимически обозначило их социальную местоположенность. Со временем эта метонимия превратилась в метафору, в мощный символический код, сплавивший воедино «политическое» и «частное»³.

Материалами для моей дискуссии послужат интервью с работницами Комитетов солдатских матерей и архивные документы, которые мне удалось собрать в Барнауле (Алтайский край) в течение 2001—2003 годов⁴. Внимание к деятельности провинциального КСМ, на мой взгляд, дает возможность несколько иначе взглянуть как на роль и функции Комитета в жизни Матерей, так и на роль памяти в формировании политической идентичности и политического участия. Относительно низкий образовательный и профессиональный уровень участниц, их удаленность от центров политической жизни, отсутствие навыков поиска «спонсорских» средств — все это в значительной степени ограничило и продолжает ограничивать социальные и политические возможности Матерей в

¹ См.: *Arendt H.* On Revolution. NY: The Viking Press, 1963. P. 85—90; обсуждение этой концепции см. в: *Boltansky L.* Distant Suffering: Morality, Media, and Politics. Cambridge: Cambridge UP, 1999. P. 3.

² *Seremetakis C.N.* Durations of Pain: The Antiphony of Death and Women's Power in Southern Greece // *Ritual, Power and the Body: Historical Perspectives on the Representation of Greek Women* / C.N. Seremetakis (ed.). NY: Pella Publishing Company, 1993. P. 124.

³ Подробнее об использовании метафоры и метонимии в организации социальной жизни см. в: *Oushakine S.* Crimes of Substitution: Detection and the Late Soviet Society // *Public Culture*. Vol. 15 (3). P. 426—452.

⁴ Фактически в Барнауле в настоящее время действуют два Комитета матерей. Один из них, основанный С. Павлюковой, объединяет родителей, чьи сыновья погибли в Чечне и Афганистане. В 1991 году был создан еще один комитет, специализирующийся на работе с призывниками и семьями, чьи сыновья погибли в результате «неуставных» отношений в армии. В ходе полевого исследования я интервьюировал и наблюдал работниц в обоих Комитетах: мемориализация погибших (независимо от условий смерти) является важной составляющей в деятельности обоих Комитетов. В цитируемых фрагментах интервью — за исключением интервью с Павлюковой — все имена информантов изменены.

Барнауле. В свою очередь, экономическая стагнация в Алтайском крае (по уровню дотаций из федерального центра Алтай уступает в России только Дагестану¹) и отсутствие потенциальных источников благотворительности во многом усугубляют финансовую и политическую зависимость возникающих неправительственных организаций от краевых и городских административных структур. Зависимость от местных институтов и политического климата, иными словами, становится тем базовым условием, тем изначальным контекстом, пределы которого определяют направление и содержание стратегий публичного существования.

Статья является частью более широкого проекта², и в рамках данного текста я постараюсь ответить на два основных вопроса. Первый вопрос во многом связан со *структурными* особенностями движения Матерей и может быть сформулирован в следующей форме: «Как — то есть с помощью каких социальных механизмов — участницы КСМ смогли сформировать жизнеспособную модель организации в условиях отсутствия идеологической, политической, социальной и т.п. поддержки?» Или чуть в иной форме: «Каким образом данная группа находит/создает для себя место в сложившемся социально-политическом пространстве?» Второй вопрос касается *психоаналитической динамики* травмы, которую пережили Матери. В данном случае меня интересует то, с помощью каких практик и процессов травматический опыт Матерей вписывается в структуру их повседневной жизни. Каким *образом* символизируется потеря сыновей? Как «нормализуется» эта утрата?

«Сына Сашу хоть немного, но увековечили»

Разумеется, сегодняшние военные потери вряд ли являются чем-то необычным в российской истории. Принципиально иным сегодня является социально-политический и культурный контекст, в котором эти потери осмысляются. Несмотря на то что смерти в армии стали возможными, прежде всего, в результате определенной государственной политики, эти потери лишены какого бы то

¹ «Дефицит консолидированного бюджета Алтайского края в 2004 году увеличится в два раза» // Altay Daily Review. 28 ноября 2003. <http://www.bankfax.ru/page.php?pg=22254>.

² См.: Oushakine S. The Patriotism of Despair: Nation, War, and Loss in Russia. Ithaca: Cornell University Press, 2009.

ни было оправдывающего идеологического контекста, столь типичного, например, для репрезентации павших на фронтах Великой Отечественной войны¹. Отсутствие «официальной» или «общепринятой» интерпретации последствий организованного насилия породило специфическую культурно-политическую ситуацию. Публичная символизация армейских потерь последних двух десятилетий, публичное конструирование семиотического контекста, способного придать гибели солдат социальную и личностную значимость, стали продуктом деятельности самих Матерей.

Однако нежелание/невозможность алтайских Матерей использовать в своей публичной риторике политические метафоры привели к тому, что потери близких артикулируются, прежде всего, в терминах индивидуальных биографий и персонифицированных эмоциональных событий. В процессе этой символической доместикации травмы традиционный дискурсивный поиск виновного трансформировался в набор мемориальных ритуалов. Традиционные вопросы «Кто виноват?» и «Кто за это ответит?» постепенно были вытеснены вопросом «Как мы будем их помнить?».

Приведу показательный пример. Начиная с 1991 года Матери — совместно с организацией ветеранов-афганцев — практически ежегодно проводят в самом центре Барнаула митинги памяти. Нередко эти митинги приурочены к 1 июня, Международному дню защиты детей. Митинг памяти «защитников детей»², который прошел 1 июня 1996 года, во многом отражал складывающуюся местную традицию символического оформления армейских потерь.

Используя бронетранспортер в качестве сцены, на фоне большого панно, изображающего православные церкви, перечеркнутые приветствием «Здравствуй, мама!», многочисленные выступающие говорили о погибших в Чечне и Абхазии. Однако новые смерти солдат были лишены сколько-нибудь очевидного политического контекста. Ветеран афганской войны Николай Шуба, занимавший пост Представителя Президента РФ на Алтае, в своем выступлении, например, призвал воздержаться от простых и быстрых выводов о причинах новых потерь:

¹ Дискуссию о советских формах мемориализации см., например, в: *Merridale C. Night of Stone: Death and Memory in Twentieth-Century Russia*. NY: Penguin Books, 2000; *Tumarkin N. The Living and the Dead: The Rise and Fall of the Cult of the World War II in Russia*. NY: Basic Books, 1994; *Schleifman N. Moscow's Victory Part: A Monumental Change // History and Theory*. 2001. Vol. 13 (2). P. 5–34.

² *Дмитриенко Т.* 1 июня в Барнауле защищали детей и матерей // Свободный курс. 3 июня 2004.



**Памятный митинг Комитета солдатских матерей
и ветеранов-интернационалистов**

1 июня 1996 года

Самое главное для нас — это память... И сегодня мы вспоминаем тех, кто отдал свой гражданский долг в Чечне и Абхазии... И не надо сегодня давать никаких политических оценок. Мы даем сегодня человеческое отношение к тому, что сделано этими людьми. ...Разные есть политические оценки, но все-таки мы сделали на Алтае все, что смогли сделать для [памяти] этих людей¹.

Светлана Павлюкова, сменившая ветерана у микрофона, также постаралась избежать политизации новых смертей, сместив акцент на привычную семейную риторику: «Сегодня в нашей большой семье, которая состояла из ребят-афганцев — а это около 4000 человек — и семей воинов, погибших в Афганистане (144 человека), еще прибавилась семья воинов, погибших в Чечне и воевавших в Чечне. Это 76 человек погибших и около 2000 человек, которые прошли эту войну...»². Поблагодарив «афганцев» и краевую администрацию за помощь в создании Дома ветеранов, Павлюкова перешла к основной части митинга — к открытию памятных досок с именами погибших в Чечне, Таджикистане и Абхазии. Тщательно спланированное мероприятие быстро переросло в крайне эмоциональное событие, состоящее из плача, стонов и причитаний матерей и остальных участников митинга.

¹ Цит. по: Видеофильм о митинге памяти 1 июня 1996 г. в г. Барнаул. Алтайский государственный краеведческий музей (АГКМ), Фонд отделения военной истории XX века.

² Цит. по: Видеофильм о митинге памяти 1 июня 1996 г. в г. Барнаул.

Этот пример во многом отражает общий настрой Матерей. Вопросы о политической ответственности властей — как, например, и тема материальной компенсации — оказались здесь в тени других, не менее действенных форм символизации утраты. В отличие от столичных Комитетов, Алтайский КСМ за все время своего существования не инициировал ни одного судебного случая против военных или гражданских властей¹. В Алтайском комитете нет ни одного профессионального юриста, психолога или социального работника. Его основной актив — матери, чьи сыновья погибли во время службы в армии.

Во многом подобное стремление избежать очевидной политизации гибели солдат есть следствие вполне конкретной социальной и дискурсивной ситуации. Символизация горя в данном случае ограничена двумя противоречивыми условиями: государство, чья политика привела к гибели сыновей, также оказывается институтом, который осуществляет жизненно важную поддержку Матерей. Контекстуализация травмы, таким образом, превращается в сложный процесс сочетания «публичной» политики и «частных» чувств.

Матери-ализация памяти действует как социально приемлемый способ переплетения институциональной и индивидуальной / семейной лояльности в постсоветском провинциальном российском городе, не имеющем ни устойчивых традиций гражданского общества, ни развитой сети институтов социальной помощи, ни действенного и независимого общественного мнения.

Принципиальным в этих попытках Матерей дискурсивно оформить *свою* жизнь после потери близких стало не столько желание найти веские причины, способные оправдать смерть сыновей, сколько стремление найти в своей жизни место для смерти.



**Памятная доска
с именами
алтайских солдат,
погибших
в «горячих
точках»**

Барнаул, Дом
ветеранов. 2003
Фото автора

¹ Например, только в 2002 году московская организация «Право матери» участвовала в 98 судебных разбирательствах. См.: <http://www.hro.org/ngo/mright/rep02.htm>

Ритуалы памяти — как и действия по материализации памяти — оказались своеобразным социальным, политическим и символическим решением, позволившим тематизировать утрату «не по отношению к смерти *ради какой-то цели*, но по отношению к самой смерти»¹. Именно в ходе этого привыкания к жизни с травмой и сложилось сообщество утраты.

Несмотря на всю свою специфичность, подобная ситуация, к сожалению, вряд ли уникальна. Но по крайней мере два момента отличают алтайских Матерей от сходных политических движений в Аргентине или Никарагуа². Первый момент связан с тем, что Славой Жижек называет «*позитивизацией утраты*»³, — т.е. с превращением негативного опыта в тот или иной вид положительной деятельности. Утрата становится исходной точкой, основным мотивирующим принципом, основным «сюжетным приемом» всей последующей деятельности.

Второй момент связан с особенностями групповой и индивидуальной идентичности, возникшими в процессе формирования сообщества утраты. Утрата в данном случае не может быть преодолена без одновременной потери того основного принципа, на котором строится данное сообщество⁴. Постоянная репрезентация утраты выполняет здесь двойную функцию. Во-первых, она становится тем (позитивным) символическим орудием, с помощью которого данное сообщество конституирует себя — т.е. обозначает и поддерживает свои границы в публичной сфере. Это неустанное воспроизводство утраты, однако, не сводится к демаркации (для внешних наблюдателей) пределов публичного существования данной группы. Воспроизводство утраты («память о погибших») также является и основной формой (внутреннего) *существования* данного сообщества.

¹ Koselleck R. The Practice of Conceptual History: Timing History, Spacing Concepts / Trans. by T.S. Presner and others. Stanford: Stanford UP, 2002. P. 312. Курсив мой. — С.У.

² См. подробнее: Bouvard M.G. Revolutionizing Motherhood: The Mothers of the Plaza de Mayo. Wilmington: SR Books, 1994; Bayard de Volo L. Mothers of Heroes and Martyrs: Gender Identity Politics in Nicaragua 1979–1999. Baltimore: Johns Hopkins UP, 2001.

³ Žižek S. Did Somebody Say Totalitarianism: Five Interventions in the (Mis)use of a Notion. London: Verso, 2001. P. 149.

⁴ Butler J. Afterword: After Loss, What Then? // Loss / D. Eng, D. Kazanjian (eds.). Berkeley: California UP, 2003. P. 468.

На практике позитивизация утраты проявилась в деятельности Матерей, прежде всего, как непреходящее стремление зафиксировать, обозначить, увековечить имена погибших и — тем самым — собственное отношение к этим смертям. В 1991 году Алтайский КСМ вместе с организацией ветеранов Афганской войны открыл в центре Барнаула Дом ветеранов и Мемориал, посвященный погибшим в Афганской войне. В 1992-м совместно с ветеранами-афганцами и местными журналистами КСМ подготовил к печати и издал первую Книгу Памяти «Сыны Алтая» с фотографиями и краткими биографиями 144 солдат Алтайского края, погибших в Афганистане. В 1994-м КСМ и ветераны-афганцы осуществили перезахоронение останков воинов-интернационалистов на специально созданной Аллее Славы на одном из кладбищ Барнаула. С началом Чеченской войны во второй половине 1990-х деятельность Матерей воспроизвела уже знакомую логику: в 1996 году КСМ, ветераны-афганцы и участники событий в Чечне открыли мемориальные доски на ДOME ветеранов с именами солдат, погибших в горячих точках. В 1999-м была опубликована еще одна Книга Памяти «Мы ждали вас, сыновья...»¹, посвященная солдатам, погибшим в Чечне. В начале 2000-х годов были открыты новые мемориальные доски, и в настоящее время готовятся к публикации еще несколько Книг Памяти, посвященных погибшим солдатам.

Во многом подобное стремление к увековечиванию погибших, к объективизации утраты в памятниках и ритуалах понятно и объяснимо. Как отмечал американский философ Стэнли Кавелл: «Составной частью исследования социальных страданий обязательно должно стать исследование молчания со стороны общества, которым эти страдания окружены»². Многие надгробные памятники солдатам, погибшим в Афганистане, до сих пор хранят следы такого молчания: не уточняя деталей, надгробные надписи сообщают, что военные погибли при исполнении «служебного» или «интернационального» долга.

Собственно, Союз комитетов солдатских матерей России, возникший в конце 1980-х годов, был определенной реакцией на мол-

¹ «Мы ждали вас, сыновья...» Барнаул, 1999.

² *Cavell S. Comments on Veena Das's Essay «Language and Body: Transactions and Construction of Pain» // Social Suffering / A. Kleinman, V. Das, M. Lock (eds.). Berkeley: California UP, 1997. P. 95.*



**Погиб при исполнении. Могила воина-афганца
на Барнаульском кладбище**
Барнаул, 2003. Фото автора

чание со стороны общества. Постоянным лозунгом газеты Фонда «Право Матери», например, стала фраза: «Информация объединяет родителей погибших солдат»¹.

В сходных условиях формировался и Алтайский КСМ. С. Павлюкова объясняла в интервью, как в 1989 году она решила собрать матерей солдат, погибших в Афганистане: «Вот этот слет матерей в восемьдесят девятом году, он был очень нужен потому, что война прошла десять лет как. И десять лет люди были как бы забытые. Ну, то есть каждый по своему углу сидел. И вдруг их собрали и столько им рассказали об их правах, о том, что вообще есть такие же люди. Что есть горе...»².

¹ См.: Право Матери. Ежемесячная газета Фонда. <http://www.hro.org/editions/mright/paper148.htm>.

² Интервью со Светланой Павлюковой. Барнаул, октябрь 2001.

Именно тема горя, которое не было высказано, именно тема боли, с которой «каждый сидел в своем углу», действует как основной структурирующий принцип, основной сюжетный «прием» в деятельности Матерей. Возможность выразить свою боль, точнее — возможность выразить свою боль *публично* порождает мощный эффект солидарности, который, в свою очередь, институционализируется в виде «аффективного анклава», в виде «сообщества боли»¹. Как отмечает греческая антрополог Надя Сереметакис, анклавы такого рода действуют как «ценностно заряженная (value-charged) позиция, с которой женщины апеллируют к общественному порядку»².

Публичное исполнение ритуалов поминовения, как правило, порождает проявление массовой поддержки и сочувствия со стороны тех, кто не испытал подобных утрат, и тем самым позволяет сконструировать то, что в антропологии традиционно определяется как «хорошая смерть» («good death»), т.е. смерть в присутствии свидетелей, смерть, избежавшая забвения³. Одна из Матерей в своем письме отразила это стремление к замене утраты на символ: «[Сына] Сашу хоть немного, но увековечили. Его именем названа наша улица»⁴.

Показательно, что конструирование «хорошей смерти» реализуется Матерями в процессе обмена опытом страданий: индивидуальная боль превращается в коллективную память, которая затем материализуется в виде амальгамы предметов, мест и ритуалов, в виде «материальных мест аффективного опыта»⁵. Екатерина Николаева, активная участница отделения Алтайского КСМ, связанного преимущественно с неуставными отношениями в армии, объясняла мне, как потратила несколько месяцев на то, чтобы добиться от властей помощи в установке памятника на могиле сына, «утонувшего» — согласно официальным документам — во время службы в армии:

¹ Seremetakis N. Durations of Pain. P. 146.

² Ibid. См. также: Robben A. The Politics of Truth and Emotion Among Victims and Perpetrators of Violence // Fieldwork Under Fire: Contemporary Studies of Violence and Survival / C. Nordstrom, A. Robben (eds.). Berkeley: University of California Press. P. 81–104.

³ См.: Seremetakis N. The Last Word: Women, Death and Divination in Inner Mani. Chicago: University of Chicago Press, 1991. P. 101; Danforth L. The Death Rituals of Rural Greece. Princeton: Princeton UP, 1982. P. 125.

⁴ Письмо Родионовой (не датировано). АГКМ. Архив С. Павлюковой (не разобран).

⁵ Flatley J. Moscow and Melancholia // Social Text. 2001. Vol. 19 (1). P. 91.

...Тут приходит мне бумажка, Комитет [солдатских матерей] только-только начинал организовываться, и мне извещение как бы пришло, чтобы я пришла сюда на конференцию. Я опешила: что там за конференция, в общем? — но пошла. Пошли мы вместе с мужем на конференцию, пришли. А чего, там каждая мать высказывает свою боль: как погиб ее сын, как что... Я посидела, слезы у нас там сильно у всех были: эту всю боль выслушать, у кого как погиб, как похоронили. Очень тяжело. Ну, мы все навзрыд, конечно, рыдали. Вот. Ну и после этого я стала сюда вот иногда приходить. Ну, как-то пришла, а Ольга Петровна — уже председателем ее избрали на этой конференции, вот.. Пришла, она говорит: «Вот комнату бы памяти нам сделать, вот комнату бы памяти». А у меня сын рисует, вот, старший-то, у меня их трое. Младшему сейчас 21 год, он в армии не был. У него селезенки нет, в общем. И не положено ему служить, так как один погиб в армии. Если кто-то погиб, вот, следующих не берут в армию, вот. Две причины у него, в общем. Ну и все. Я сюда приду, сяду, посижу. Здесь как раз Чечня эта началась, тут аврал такой. Я сяду в сторонке, посижу.. А потом Петровна говорит, что надо Комнату памяти. Я пришла домой, сыну говорю: так и так, ты уж хоть что-то нарисуйшь? Он: «Ну ладно». Я пришла и здесь Ольге-то пообещала. Говорю: «Все, у меня сын пообещал нарисовать». А как? Что? А раз я слово дала, я должна выполнять. И началось у меня с этого (*смеется*): вот это моя комната и оформление этой комнаты. Я за сына — сын не знает, я давай на работе к художнику подходить... И вот художник у меня на работе вот этот план-то и предложил. ...Вот эти вот иконы... этого Николая Угодника. Потом вот эта вот: Георгий Победоносец. Он защищает армию, вот. Ну и здесь еще одна икона была — Матери Пресвятой Богородицы... Муж заказал эти вот речки все, где-то у себя там на работе. Стенд тоже, может, за бутылку или за две ли сделал, этот вот стенд... Привезли к себе домой, и они у нас дома простояли где-то полгода, наверное, в квартире, потому что здесь и ремонта не было, и, в общем, здесь еще ну ничего не было у нас. А эта комната... здесь какие-то коммерсанты были. Потом Ольга Петровна все же выбила эту комнату нам, вот. Здесь надо было делать и ремонт, и все тут делать надо было.... Вот придешь, посидишь, вот как сегодня я пришла, посидела. Ну, какую-то работу сделаешь. Фотографии вот эти вот давай делать, портреты. Этот художник мне сказал, какие портреты какого формата делать.

Я пошла по городу искать — кто возьмется нам эти портреты делать. ...[Остальные работники Комитета], они вот прием ведут там, с живыми работают, а я-то, в основном, вот так вот, с мертвыми работаю. Фотографии делаю... ну, сейчас уже мало портретов, так...¹

Я бы хотел подчеркнуть дискурсивную траекторию выражения утраты в данном интервью. Социальная изоляция («молчание со стороны общества») преодолевается, прежде всего, путем артикуляции боли. Однако скорбь, воспроизведенная в многочисленных рассказах матерей («каждая мать высказывает свою боль»), при этом не становится *общественной* проблемой. Утрата *локализуется* — прежде всего пространственно: в виде *комнаты* памяти, в виде аллеи могил, в виде дома ветеранов. Создание «микроморального окружения»² — будь то место скорби или четко очерченное сообщество утраты — приобретает гораздо большее значение, чем идентичности погибших³.

Приведу еще один пример. Светлана Павлюкова объясняла в интервью, что идея перезахоронения останков солдат пришла к ней во время поездки в Минск в начале 1990-х; тогда ее поразило то, что «у них все [могилы погибших] объединены». Увиденное стало толчком для собственных действий:

...В то время ж все прятали. Захоронили [погибших] не на самой аллее... не в самом центре, а совсем в другой стороне, в глуши. В восьмидесятый год Степанов у нас был похоронен тоже в глуши — в другом конце кладбища, но в глуши. И вот мы их как раз оттуда и взяли. ...В общем, [сначала] пять человек мы перезахоронили, а Максимова как бы отказалась. Потом, через несколько лет, она, видит, что мы все приходим на аллею, а ее сын как бы остается в стороне. Потому что, ну, каждый раз туда не побежишь... Ну прибежит Павлюкова, например, а всех ребят туда не зазовешь. И они поняли, насколько это хорошо, когда, вот, чествуют ребят, и тоже перезахоронили. И Басенков у нас был с Очкиным рядом, но он —

¹ Интервью с Екатериной Николаевой. АКСМ. Барнаул, ноябрь 2001 г.

² Kleinman A. Writing at the Margin: Discourse Between Anthropology and Medicine. Berkeley: California UP, 1995. P. 123.

³ Обсуждение сходной тенденции в ином контексте см. в: Lavolette P. Landscaping Death: Resting Places for Cornish Identity // Journal of Material Culture. 2003. Vol. 8 (2). P. 215–240.



**Упорядочивая пространство. Аллея Славы воинов,
погибших в Афганистане**
Барнаул, 2003. Фото автора

с отцом похоронен. И мама его все не хотела, а потом она все-таки тоже захотела, чтобы ее сына как бы видели... И вот... аллея теперь у нас... на этой аллее работали все ребята, военно-патриотические клубы и родители. Тут четко у нас было. Огромные клены там и огромная канава. То есть как: за моим [похороненным] сыном и за всей этой аллеей, там такая огромнейшая канава, всю ее затаскивали землей.... 15 февраля у нас обязательно панихида, это обязательно: панихида, посещение кладбища. Ну, мы раньше в Покровский собор ходили на панихиду, а теперь на кладбище же часовня есть, и мы никуда больше не ходим. Придем к часовне, она своя, поставили все свечечки; постояли, никто не застынет совсем, прошлись по всему кладбищу, потом приехали, помянули. Стол накрывается поминальный¹.

Эта реорганизация пространства, разумеется, касается прежде всего живых. Перезахоронение создает и упорядочивает сообщество, проводя четкую грань между скорбящими и всеми остальными².

¹ Интервью с С. Павлюковой. АКСМ. Барнаул, октябрь 2001.

² См.: *Verdery K. The Political Lives of Dead Bodies: Reburial and Postsocialist Change*. NY: Columbia University Press, 1999. P. 108.



Похоронные ритуалы как способ реорганизации пространства
Барнаул, 1996. Фонд № 16804/2 Алтайского
государственного краеведческого музея

Показательно, как в ходе этих пространственных изменений радикальным образом меняется вектор отношений: «из глуши — в центр». Обозначая сообщество утраты, похоронные ритуалы тем самым связывают воедино реконфигурацию пейзажа и реконфигурацию общества¹.

Американская антрополог Катерина Вердери в своей работе о постсоциалистических перезахоронениях отмечала, что такая реконфигурация посттравматического (и постсоциалистического) пейзажа нередко становится основой, первой ступенью более широкого процесса «реорганизации морали», процесса превращения нового материального порядка в моральное основание новой жизни, в которой тела погибших становятся молчаливым призывом к возмездию и справедливости².

¹ Подробнее о явном и скрытом параллелизме между созданием «сообщества умерших» и сообщества живых см., например, в: *Hertz R. Death and the Right Hand: A Contribution to the Study of the Collective Representation of Death.* Glencoe, Ill.: Free Press, 1960. P. 71; *Seale C. Constructing Death: The Sociology of Dying and Bereavement.* Cambridge: Cambridge University Press, 1998. P. 65–67.

² *Verdery K. The Political Lives of Dead Bodies.* P. 111. О реконфигурации публичного пространства как отражении постсоветских перемен см.: *Flatley J.*

Подобные трансформации, безусловно, не только возможны, но и известны в российской истории: имена павших нередко становились последним доводом в требованиях моральной оценки: и, например, в докладе Н.С. Хрущева на XX съезде партии, и в сегодняшней деятельности общества «Мемориал»¹. Я бы хотел обратить внимание на противоположную тенденцию в деятельности Матерей. Тенденцию, которая позволяет усомниться в универсальности принципа перехода от процесса скорби к процессу строительства новых моральных оснований. Политика, направленная на «подведение счетов» ответственности², может быть эффективно блокирована «политикой жалости»³, коренящейся в действенном желании сохранить эмоциональную «верность ранам»⁴. Осознанно или неосознанно «привнося структуру страсти в публичное пространство»⁵, Матери создали институциональный и культурный контекст, в котором их социальный *статус* стал итогом общественного признания их *утраты*.

Активное стремление Матерей к реорганизации публичного пространства, связанного с погибшими сыновьями, во многом может быть интерпретировано как попытка вернуть себе контроль над ситуацией, в которой до сих пор единственно доступной для них ролью была роль пассивного наблюдателя⁶. Однако именно это участие Матерей в ритуалах реорганизации материального мира, призванных репрезентировать погибших, и приводит к тому,

Moscow and Melancholia; *Grant B.* New Moscow Monuments, or States of Innocence // *American Ethnologist*. 2001. Vol. 28(2). P. 332–362; *Humphrey C.* A Sketch of Consumption and Cultural Identity in Post-Soviet Landscape; *Idem.* The Unmaking of Soviet Life: Everyday Economies After Socialism. Ithaca: Cornell University Press. 2002. P. 175–201; *Паперный В.* Мос-Анджелес. М.: НЛЮ, 2004; *Рыклин М.* Пространство ликования: тоталитаризм и различие. М.: Логос, 2002.

¹ Постсоветские примеры сходного процесса см., например, в: *Paperno I.* Exhuming the Bodies of Soviet Terror // *Representations*. 2001. Vol. 75. P. 89–119.

² См.: *Borneman J.* Settling Accounts: Violence, Justice and Accountability in Postsocialist Europe. Princeton: Princeton University Press, 1997. Обсуждение различий между политикой жалости и политикой справедливости см. в: *Boltansky L.* Distant Suffering. P. 3–4.

³ См.: *Arendt Y.* On Revolution. P. 85–90.

⁴ *Brown W.* States of Injury: Power and Freedom in Late Modernity. Princeton: Princeton University Press, 1995.

⁵ *Boltansky L.* Distant Suffering. P. 53.

⁶ Обсуждение взаимосвязи контроля и мест памяти см. в: *Bradbury M.* Representations of Death: A Social Psychological Perspective. London: Routledge, 1999; *Koselleck R.* The Practice of Conceptual History. P. 294.

что утрата возводится в статус основного интегративного принципа, основного организующего начала, «вокруг которого, — как отмечал в сходном случае Славой Жижек, — и структурируется здание социума (social edifice)»¹. Формирование социально-пространственной связи между погибшими («Аллея Славы») воспроизводится на уровне организации самих Матерей. Трансформация публичного пространства (кладбище) в процессе перезахоронения останков солдат завершается созданием в буквальном смысле «своего места» (часовни) для Матерей. Новая структура публичного пространства определяет и логику поведения сообщества («придем к часовне», «поставили все свечечки», «постояли», «прошлись по кладбищу», «потом приехали, помянули»). Собственно, благодаря этой топографии смерти, благодаря этому переплетению мира семейных отношений, мира политики и мира вне пределов досягаемости и возникает новая идентичность, неоднократно обозначенная самими Матерями как «*мать солдата, которого нет в живых*».

Герменевтика боли

Особенности объективизации «воображаемого сообщества» Матерей важны не только тем, что они акцентируют роль материальных объектов в процессе формирования коллективной памяти. Существенным является и то, как Матери модифицируют сложившиеся традиции использования страданий в политике. Напомню, что в своей работе «О революции» Ханна Арендт привлекла внимание к тому, что со времен Великой Французской революции тезис о «страданиях народа» был основной движущей силой публичной политики. Обычно апелляции к чужим страданиям вызывают два вида реакции: *сострадание* (т.е. способность «заразиться чужой болью») и *жалость* (т.е. то обобщенное чувство, которое заполняет дистанцию между страдающими, с одной стороны, и «сообществом, проявляющим интерес к угнетенным и эксплуатируемым», с другой)². По замечанию Арендт, сострадание, кореня-

¹ Žižek S. Did Somebody Say Totalitarianism. P. 149. См. также: Huyssen A. Present Past: Urban Palimpsest and the Politics of Memory. Stanford: Stanford University Press, 2003.

² Arendt H. On Revolution. P. 88.

щееся в произвольности реакции, удивительно немногословно, в отличие от «красноречия жалости», способного увлечь широкую аудиторию своим прославлением чужих страданий¹.

В этой дискуссии о роли эмоций в политике для меня важны два момента. Первый связан с *сентиментальным* характером жалости и типичным для этой эмоции стремлением к обобщению ее собственного источника: «обездоленные», «униженные» и «неимущие» становятся социальной категорией, социальным типом, лишенным индивидуальных особенностей. Второй момент касается *репрезентационного*, представительского аспекта жалости и той *дистанции*, которая устанавливается в процессе дифференциации между теми, кто страдает, и теми, кто осуществляет политику жалости. Как заключает Арендт, «без несчастий и неудач жалость не могла бы существовать; поэтому она заинтересована в наличии несчастных точно так же, как и жажда власти заинтересована в существовании слабых»².

Однако, в отличие от *les hommes faibles*, чья обездоленность, собственно, и стала оправданием радикализма Французской революции³, солдатские Матери вряд ли являются *объектом* внешней эмоциональной политики, вдохновленной их собственной болью. Репрезентации боли, опыт страданий и попытки сформулировать и сформировать для себя новую социальную позицию в данном случае оказались слитыми. Опираясь на собственный опыт утраты, Матери *сами* используют политику жалости для конструирования узнаваемой политической идентичности в ситуации, когда традиционные способы идентификации, модели политической репрезентации и формы социального обмена недоступны или неэффективны.

Татьяна Муромова, активная участница КСМ, вспоминала о том, как этот диалогизм эмоций осуществлялся на практике в начале ее работы в Комитете:

...Однажды получилось так, что Ольга Петровна говорит мне: «Садись, Татьянка, принимай». Вот ее слова были. Приходят, там, ро-

¹ Arendt H. On Revolution. P. 85, 88.

² Ibid. P. 89.

³ См.: Arendt H. On Revolution. P. 88–90; Spelman E. Fruits of Sorrow: Framing Our Attention to Suffering. Boston: Beacon Press, 1999. P. 82–89.

дители военнослужащих, таких же погибших, или по призыву родители приходили. Ну мало ли какие причины у родителей? А я говорю: «А что же я буду делать, Ольга Петровна?» ...Я работала вообще в детском садике, с людьми работала. Вот, а здесь постоянно горе, поэтому... Она мне: «Садись за стол. Мама пришла, плачет — и ты с ней плачь». Вот. Ну, и таким образом я начала работу¹.

На мой взгляд, именно вот эта сознательная «опора на набор широко известных и относительно стабильных публичных жестов», именно вот это политическое производство «цепочки коммуникации чувств»² во многом и сделало возможным реализацию эмоциональной политики жалости. Различия между теми, кто (по)страдал, и теми, кто оказался более счастливым, столь типичные для политики жалости³, присутствуют и здесь. Однако у этих различий — иное авторство и иная цель. Алтайские Матери, формируя в процессе артикуляции травматического опыта свои эмоциональные сети, оказались не в состоянии использовать риторику в качестве своего «ненасильственного оружия, способного поразить сознание общественности»⁴, как это сделали, например, аргентинские Матери с Майской площади, публично обличившие политические похищения, практиковавшиеся аргентинской хунтой во время Грязной войны (1977—1983)⁵. Вместо этого установка на всеобщность страданий, на их повсеместный и неотвратимый характер стала основой социальных связей и — одновременно — основным механизмом исключения. Внешнее сообщество превратилось в объект проективной идентификации, в «экстериоризацию внутреннего» мира⁶. В основу отношений с другими легло стремление

¹ Интервью с Татьяной Муромовой. АКСМ, Барнаул, сентябрь 2001.

² *Appadurai A.* Topographies of the Self: Praise and Emotion in Hindu India // *Language and the Politics of Emotion* / C. Lutz, L. Abu-Lughod (eds.). P. 91—112. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. P. 110, 107.

³ *Arendt H.* On Revolution. P. 88—89.

⁴ *Bouvard M.G.* Revolutionizing Motherhood. P. 131.

⁵ Демонстрации матерей перед президентским дворцом начались 30 апреля 1977 года, во время правления хунты. Каждый четверг матери исчезнувших собирались на Майской площади, совершая в течение часа поминальный круг. Как знак протеста матери Майской площади носили на шее белый шарф — напоминание о детских пеленках исчезнувших сыновей. См.: *Bouvard M.G.* Revolutionizing.

⁶ *Boltansky L.* Distant Suffering. P. 82.

обнаружить отражение собственного (травматического) опыта в жизни чужих людей¹. Например, Ольга Петровна, чей сын, судя по всему, был убит в армии сослуживцами, описывает раннюю стадию своей деятельности в КСМ так:

...В девяносто первом году мы зарегистрировались, стали общественной организацией. Ну, первым делом я стала знакомиться с администрацией; я работала тогда в институте проектном, как-то в высших кругах таких не общалась, не вращалась, не знала. Я свои проекты знала, а там для меня было новое все. Я тогда приходила и говорила, что мать погибшего в армии в мирное время. Обычно открывали глаза, говорили: «А разве такие есть?» — «Ребята, конечно есть. Вы что?» После я организовала альбом, такой альбом, значит, где наши погибшие, где наша боль, в основном альбом боли. Портреты, там, фотографии отобраны, всё. И стала приходиться к администраторам, знакомиться: даю портрет, чтобы смотрели, смотрю на реакцию. Если они посмотрели... ну, так, со вниманием — я начинаю дальше разговаривать. Если они просто так листали, я забирала альбом и уходила. Меня обычно спрашивали: «Женщина, а вы зачем приходили?» Я говорила: «А вам неинтересно». Вот. И, в общем-то, благодаря этому альбому я, в общем, нашла людей, которые заинтересованы. Не то что заинтересованы, а помогли. Понимают эту боль, помогают².

Эта история хорошо описывает внутренний механизм политики жалости. Диалогический обмен между Матерью и работником администрации оказывается, так сказать, триангулированным: «спусковым крючком», способным вызвать ожидаемую эмоциональную реакцию, становится «организованное» свидетельство утраты — «альбом боли». Демонстрация страданий и наблюдение за реакцией на эти страдания становятся здесь неразделимыми. Протоколируя следы утраты, альбом одновременно обозначает и опосредует дистанцию между Матерью и работником администрации. Альбом резко меняет и модальность диалогического обмена:

¹ Подробнее о проективной идентификации см.: *Young A. Suffering and the Origin of Traumatic Memory // Social Suffering. P. 257–258; Oushakine S. The Fatal Splitting: Symbolizing Anxiety in Post/Soviet Russia // Ethnos: Journal of Anthropology. 2001. Vol. 66 (3). P. 291–319.*

² Интервью с Ольгой Петровной С. АКСМ. Барнаул, ноябрь 2001.

артикуляция боли Матери уступает место ее «эмоциональному прочтению других»¹. Достигаемая посредством сплавления аффекта и носителя информации («альбом боли»), эта политика жалости нацелена, прежде всего, на формирование «структуры внимания»², на инициирование эмоционального ответа определенного рода. Взаимность травматического опыта, взаимность страданий становится социальной и эмоциональной основой, на которой и возникает сообщество утраты. Скоординированность эмоциональной реакции разных людей, иными словами, воспринимается как следствие скоординированности их личного опыта.

Инвестиции Матерей в постоянное производство «ценностно заряженных» субъектных позиций, как и их участие в интенсивной циркуляции эмоций, которую эти субъектные позиции предполагают, естественно, имеют свою цену. Вэнди Браун, американская политолог-феминист, например, отмечала в сходной ситуации, что политизация идентичности, превращение идентичности в форму политического участия возможно лишь ценой постоянной драматизации своей боли. Присутствие в поле политических отношений становится в данном случае производным от постоянного «вписывания своей боли в политику». Как отмечает политолог, такая идентичность не заинтересована в будущем — своем или чужом, — в котором «эта боль успешно преодолена»³.

Проблематичность формирования эмоциональных сетей вокруг персональных историй о травматическом опыте заключается в том, что оно — формирование — зачастую приводит к тому, что «внешнее окружение» воспринимается лишь постольку, поскольку оно способно служить «отражением» утраты, способно вступить в эмоциональный обмен. «Политика жалости», направленная на сохранение и постоянную поддержку эмоциональной связи с травматическим и травмирующим опытом, в итоге стирает грань между состраданием и собственно страданием. Соответственно и отсутствие внимания к себе со стороны общества, точнее — участия в собственной судьбе («не то что заинтересованы, а помогли»), Матери часто склонны воспринимать как неспособность людей «услышать их боль», как их нежелание «отразить» спроецированную на них скорбь, как отказ поставить себя на место Матерей.

¹ *Ahmed S.* Collective Feelings or, the Impression Left by Others // *Theory, Culture & Society*. 2004. Vol. 21 (2). P. 26.

² *Kleinman A.* Writing at the Margin. P. 124.

³ *Brown W.* States of Injury. P. 74.

Например, С. Павлюкова жаловалась в интервью со мной на то, что матери потенциальных призывников не выражают никакого желания участвовать во встречах с военными, которые КСМ периодически проводит для них:

...Вот Комитет солдатских матерей собирал в Театре оперетты всех матерей, у кого как бы будут будущие солдаты. И почти не пришло народу, очень мало пришло. Хотя приехали с воинских частей, даже, вот, с той же Читы, с Владивостока приехали с частей командиров, а оказалось что?... Ну ни к чему все это было. Люди не пришли. Они думают, что сегодня твоего же сына в Чечню берут, а не моего. А в конце-то концов это — наша единая боль. Сегодня он маленький, а война-то длится, мама родная, долго. И поэтому в результате получается, что даже наши внуки могут пойти. Сегодня моему внуку 14 лет, и я, ну, даже, может быть... даже не сомневаюсь, что может случиться так, что мой внук пойдет в Афган. Вы понимаете, три года, вот, четыре пройдет, незаметно вот так пролетит. И кто знает, что сегодня с Афганом у нас случится?¹ ...Сегодня наши идут сыновья, завтра внуки пойдут. Вот, все... вот этот мир у нас... нет мира у нас никак. И вот это страшно...²

Когда я попытался узнать у Павлюковой, зачем нужно «идти» на войну — будь то «Афган» или Чечня — и какие именно ценности мы там отстаиваем, она смутилась. С трудом подбирая слова, она отрывисто произнесла серию коротких фраз: «Да, вот... как бы... сказать это? Как бы выразиться-то? Чего-то у нас нет. Раньше мы за что-то были... Да, ну... нет какого-то идеала, ради чего мы живем. Ну я, в общем-то, знаете, я патриот своей Родины. Ну, и для меня Россия все равно остается Родиной». Эта апелляция к патриотизму как последнему и самодостаточному аргументу показательна: отсутствие жизненных идеалов и невозможность оправдать смерть сыновей дискурсивно трансформируются в термины национальной принадлежности, точнее — в термины национального пространства, которое «все равно остается Родиной».

Подведу предварительный итог. Сложность *герменевтики боли*, активно практикуемой Матерями, проблематичность их социальной организации, основанной на «смешении» и «сплавлении» аффекта

¹ Интервью проводилось во время американских налетов в Афганистане осенью 2001 года.

² Интервью с С. Павлюковой. АКСМ. Барнаул, октябрь 2001.

и доступных средств общения, заключаются, прежде всего, в том, что такая политика жалости делает неприемлемыми публичные попытки проанализировать как источник страданий, так и причины, ведущие к постоянному воспроизводству утраты. Вокализация боли и обмен мнениями о потенциальных источниках этой боли оказываются социально, географически и дискурсивно изолированными. Основной целью диалогической циркуляции эмоций становится не информационный обмен, но стремление сформировать пространство для эмоционального соучастия¹ в ситуации социальной поляризации по поводу причин, вызвавших личные травмы. Став эффективным тактическим средством в условиях отсутствия стратегической политической цели, политика жалости в целом и герменевтика боли в частности выступили мощным механизмом формирования индивидуальной и коллективной идентичности.

Метонимии утраты

Как я уже отмечал, установка Матерей на диалогизм боли и взаимность репертуара аффективных форм дает им возможность сформировать эффективную сеть социальных и эмоциональных отношений в ситуации, когда другие формы публичной саморепрезентации либо недоступны, либо невозможны. Такой акцент на эмоциональной составляющей политизации индивидуального травматического опыта, однако, требует дополнительной поддержки со стороны материальных артефактов, способных зафиксировать, объективировать, подтвердить понесенную утрату и материализовать характер эмоциональных социальных обменов. Активное участие Матерей в создании Мемориала воинам, погибшим в «локальных войнах», издание Книг Памяти, открытие памятных досок и т.п. — все это может быть интерпретировано как часть общего стремления не столько «возместить» потерю сына, сколько материализовать ее следы.

И хотя многочисленные ритуалы и митинги, организованные Матерями в Барнауле, безусловно, являются важным компонентом их деятельности, мне бы хотелось обратить внимание на иной, гораздо менее публичный опыт материализации потери — на опыт

¹ См.: *Boltansky L.* Distant Suffering. P. 42; *Tsintjilonis D.* Words of intimacy: Remembering the dead in Buntao // *Journal of Royal Anthropological Institute*, 2004. Vol. 10. P. 376.

встраивания травмы в стилистику повседневной жизни. Внимание к подобным процессам, на мой взгляд, особенно важно для понимания того, как люди, испытавшие травму, находят с ней, так сказать, «общий язык» без какой бы то ни было помощи со стороны социальных или психотерапевтических служб. Иными словами, вопрос, который волнует меня в данной ситуации, касается того, как «нормализуется» травма.

Как я попытаюсь показать ниже, недоступность дискурса о гражданских правах или политической ответственности и неспособность / нежелание полагаться на терапевтический дискурс социальной помощи и реабилитации для артикуляции собственного травматического опыта нередко приводят Матерей к активизации дискурса о памяти. Утраты Матерей, спровоцированные государством, инкорпорируются в повседневную жизнь посредством активации «функции объектализации», как ее называет французский психоаналитик Андрэ Грин¹. С помощью смысловых нагрузок² и психических восполнений³ Матери «вписывают» утрату в персонализированные материальные объекты, тем самым поддерживая уже сложившийся порядок *вещей* и — одновременно — формируя «длящуюся связь» с погибшими⁴.

Память в данном случае действует не столько как «способ переоценки смысла прошедшего»⁵, сколько как процесс включения прошлых травм в повседневные практики настоящего. В качестве

¹ Green A. The Work of the Negative / Trans. by A. Weller. London: Free Association Book, 1999. P. 85.

² Ж. Лапланш и Ж.-Б. Понталис в своем «Словаре по психоанализу» так определяют «нагрузку»: нагрузка (*нем.* Besetzung; *франц.* investissement; *англ.* cathexis) — «приложение некоторой психической энергии к представлению или группе представлений, к части тела, к предмету и т.п.» (Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу / Пер. Н. Автономовой. М.: Высшая школа, 1996. С. 239).

³ О природе восполнения см. у Ж. Деррида: «Восполнение есть то, что добавляется, это избыток, полнота, которая обогащает другую полноту... Но восполнение восполняет, т.е. добавляется лишь как замена. Оно вторгается, занимая чужое место; если оно и наполняет нечто, то это нечто — пустота. Оно способно представлять или изображать нечто лишь потому, что наличие изначально отсутствует» (Деррида Ж. О грамматологии / Пер. Н. Автономовой. М.: Ad Marginem, 2000. С. 295–296).

⁴ О длящейся связи (continuing bond) в современных исследованиях скорби и смерти подробно см. в: Klass D., Silverman P.R., Nickman S.L. Continuing Bonds, New Understanding of Grief. Washington, D.C.: Taylor & Francis, 1996.

⁵ Kenny M.G. A Place for Memory: The Interface Between Individual and Collective History // Comparative Studies in Society and History. 1999. Vol. 41(3). P. 434.

одного примера процитирую письмо, адресованное С. Павлюковой. Автор письма — мать, сын которой, как и сын Павлюковой, погиб в конце 1980-х в Афганистане. Письмо хранится в Алтайском краевом музее локальных войн, не имеет даты, но ориентировочно относится к 1990—1992 годам.

Добрый день моя милая Светлана Григорьевна и Григорий Герасимович большой привет сыну с семьей. А так-же примите большой привет от меня и от моей семьи. Владимира Игнатьевича Сережи и Ларисы. И все мы вам желаем только хорошее, плохое пусть уйдет далеко от вашего дома. Как вы поживаете мои хорошие. Как ваше здоровье. Светлана мы живем помаленьку, поплачу и опять живу. Жить надо ради памяти наших милых сыновей. Светлана милая моя [ваш сын] Костя в нашей семье вечно живой и живет вместе с нашим сыном. Вечером я их укладываю спать всех своих сыночков, а утром поднимаю и целый день живу памятью о их. Их прилетело со всего Союза 20 чел. в мое теплое гнездышко. Их мы должны помнить всех поименно. Это они заслужили. Проявив стойкость и мужество. Я часто задаю себе один вопрос:

Почему все не так?
Вроде все, как всегда...
Тоже небо, опять голубое.
Тот-же лес, тот-же воздух
И та-же вода. Только они
наши милые ребята не вернулись из боя.

Но так устроена жизнь. Светлана получила квартиру от военкомата 50 %. Въезжать будем к 7 ноября. Милости прошу в гости ко мне. Светлана я очень прошу пришлите мне фото Кости. У меня есть но очень маленькое. Я делаю альбом «Память ребятам отдавшим жизнь за свободу Афганистана». И на тумбочку тоже надо мне Костю. Всех я поставлю на тумбочку в рамочки, а кругом цветы. Кварт. на 9 эт. в 12-и этажном доме в центре Омска. 2х комн. 32 кв.м. Лариса учится на втором курсе в училище. 2 месяца отработывала практику в Краснодарском крае убрали овощи и фрукты. Приехала 29 августа. Пишите как вы живете. Как ваши внуки. Пишет-нет вам письма Любушка. Будете ей писать письмо, большой материнский привет ей передайте от меня. Напишите, что Костю и ее помнят и знают и ждут в гости в г. Омске на Иртыше.

Светлана милая моя береги себя. Меньше плачь. Лишний прожитый день, это лучшая память для наших ребят. Это мы лишний цветок посадим и унесем на могилку нашим дорогим сыночкам. Очень тяжело, слов нет. Но жить надо. Стиснув зубы от боли жить, жить, жить. Жить памятью наших детей. Досвидания мои милые. Крепко обнимаю и жду ответа.

С уважением Любовь Ивановна. Г. Омск¹.



**Репрезентация
погибших становится
организующим
принципом, вокруг кото-
рого формируется сооб-
щество утраты**
Могила солдата, погиб-
шего в Чечне. Барнаул,
2004. Фото автора

Это письмо — безусловно, не исключение в коллекции Музея, насчитывающей более двухсот писем матерей. В большинстве из них тема утраты и боли постоянно переплетается с темой повседневных событий, с описанием новых квартир, телевизоров, холодильников, урожаев картошки, болезней или погоды. Травматический опыт в этих письмах постоянно пульсирует — то уходя в тень, то проявляясь в качестве основной темы. Локализовавшись во множестве материальных вещей, травма оказывается тем не менее «разбитой» на многочисленные объекты привязанности.

Подобная стратегия нормализации утраты — путем ее локализации и фрагментации, — однако, не должна скрывать и еще одного важного механизма, с помощью которого артикулируется и позитивируется потеря. Речь идет о серии социальных обменов, обозначенных в письме (квартира, фотографии, визиты, цветы); обменов, которые инициированы утратой. Травма обретает форму циркуляции эмоций, носителем которых становятся материальные объекты.

¹ Фурцева Любовь Ивановна. Письмо С.Г. Павлюковой. Без даты. Фонд С.Г. Павлюковой (не разобран). АГКМ, Барнаул.

В отличие от многочисленных исследований, указывающих на то, что травматический опыт обычно становится объектом активного психического и дискурсивного цензурирования и вытеснения, превращаясь в итоге в «темное пятно», в опыт, который сопротивляется символизации¹, в данном случае травма действует как основной структурирующий механизм текста, как основной нарративный прием, который, собственно, и сводит воедино разорванную историю. Утрата — не вытесненная, но и не восполненная — перенесена здесь в иную плоскость. Обмены в данном случае не связаны напрямую с компенсацией — т.е. с определением «правильного» материального эквивалента, способного либо «оправдать» смерть, либо репрезентировать ее. Скорее, обмены — т.е. постоянная циркуляция эмоций, дискурсов и предметов — выполняют тут роль «способа символизации, который одновременно и экономичен, и значим»², формируя в итоге цепь актов публично-го признания утраты. Приведу еще один пример из той же коллекции писем. Письмо написано в апреле 1999 года:

Дорогая Светлана Григорьевна... 15 февраля ездили в [районный центр] Ключи поминать своих детей. Там нам дали деньги. Были в церкви, поставили свечи, ездили на кладбище, ходили к памятнику и потом поехали в столовую поминать. А у моего сына были 12 февраля. Приехали с поляны, съездили на кладбище, потом поехали на поляну, там был концерт пели песни про Афганистан. От совхоза дали 2 кг пшена, 1 кг гречки, 1 пачку чая. Вдовы положили цветы на кладбище. Я тоже положила цветы к памятнику в Ключах. На щет лечения у меня ничего не получится. Сейчас огород сажать в мае будем. Пахать огороды. Мне бы так поехать в Ключи, там бы купить лекарство. Я бы дома пила. Когда с Ключей приезжали в поляну, привозили мне льготные удостоверения, я у них спросила, можно у них в Ключах взять ликарство, они мне сказали один раз в год, и то ево там нет. Вот и все лекарство. Пока ходим, будем ходить, когда не сможем ходить, тогда будим лечица. Я живу с сыном, сын один без жены. А сейчас начнеца пахота, он тракторист. Надо сумки готовить в степ. У меня все. Досвидание.

Жабина 1999, 24.04. Ключи.

¹ См., например: Trauma: Explorations in Memory.

² Goux J.-J. Symbolic Economies After Marx and Freud / Trans. J.C. Cage. Ithaca: Cornell UP, 1990. P. 4.

Слияние символического и материального/экономического в этих обменах (деньги—свечи—столовая—песни—гречка—цветы—лекарства) может быть объяснено и еще одним фактором. Стремление Матерей к общественному *признанию* их травм и страданий нередко реализуется в ситуации, когда собственно достоверное *знание* того, что произошло, невозможно. Во многих случаях Матери не знают обстоятельств гибели своих сыновей. В ряде случаев — они никогда не видели их тел. Как писала в одном из писем мать погибшего: «Нам осталось от сыновей боль, гордость и орден»¹. В этой ситуации доместикация травмы, ее деполитизация и реконтекстуализация в знакомых рамках повседневной жизни становятся единственной стратегией символизации, которая имеет смысл.

Сходная стратегия воспроизводства значимых объектов была использована Матерями и еще в одном типе текстов — в сборниках некрологов солдат с Алтая, погибших в Афганистане и Чечне. Сборник «Сыны Алтая», первая Книга Памяти, опубликованная КСМ в 1992 году, содержит 144 биографии и фотографии солдат с Алтая, которые погибли во время войны в Афганистане. В определенной степени Книга стала текстуальным эквивалентом коллективного захоронения, своеобразной модификацией «братской могилы», избежавшей традиционной участи групповой анонимности. По словам Павлюковой, публикация Книги стимулировала физическую консолидацию останков солдат. Книга нередко используется Матерями в качестве сильного визуального довода в дискуссии с властями; она часто упоминается в письмах. Матери и ветераны приносят Книгу на митинги памяти.

Стилистически Книга Памяти представляет собой соединение двух основных традиций. Форма книги во многом повторяет эстетические каноны официальной мемориализации погибших в годы Великой Отечественной. Как и в многочисленных буклетах, плакатах и наборах открыток советских времен, небольшие стандартные фотографии погибших в Книге Памяти сопровождаются их краткими биографиями. Содержание описания, однако, следует иной, менее формальной традиции Солдатского («дембельского») альбома, с его вниманием к неофициальной составляющей в армейской жизни солдата². Биографии-некрологи не отличаются разнообразием, их большая часть строится по следующей модели:

¹ Фурцева Любовь Ивановна. Письмо С.Г. Павлюковой. Без даты. Фонд С.Г. Павлюковой (не разобран). АГКМ, Барнаул.

² О солдатских альбомах см.: *Банников К.* Антропология экстремальных групп: Доминантные отношения среди военнослужащих срочной службы Рос-

Мазурин Сергей Петрович. 18.04.60 — 10.07.80.

Перед уходом в армию Сергей своими руками сделал колодец: «Это для тебя, мамулька. Будешь воду набирать и вспоминать меня». А еще хранит Александра Ивановна часы, которые купил Сережа с первой полочки, заработанной на каникулах после седьмого класса. Сережа летом не любил бездельничать: то на поливе, то на закладке силоса работал. Домашней работы тоже не стеснялся. После восьми классов поступил в СПТУ-75, получил там специальность тракториста-машиниста широкого профиля.

Новый, 1980 год Сергей встретил в Афганистане. Об этом факте родители узнали только в марте. До этого приходили письма со странными обратными адресами. Последнее письмо пришло в конце июня, в котором Сережа обмолвился, что часть передвигается в сторону пакистанской границы. Следом написал командир части: «Подробностей мы сообщить не можем, нельзя, могу сказать одно: Ваш сын при выполнении боевого задания показал образец мужества и отваги... Личных вещей по ряду обстоятельств не осталось. Фотографию постараемся выслать...» Таковы в те годы были тексты «похоронок».

Младший сержант Мазурин был наводчиком орудия. Места службы — Кабул, Кандагар, Газни. Скончался от потери крови на поле боя. Похоронен на родине — в селе Веселоярск Рубцовского района. Награжден орденом Красной Звезды (посмертно)¹.

В этих биографиях — с их стремлением к персонализации текста при минимуме индивидуальных деталей — не содержится ни политических обвинений властям, ни традиционных попыток героизировать смерть солдат. В ситуации, когда «личных вещей не осталось», а «подробностей гибели сообщить нельзя», стремление осознать глубину утраты неизбежно трансформируется в попытки переоценить то, что сохранилось². Метонимическая логика этих следов утраты («колодец», «часы») в итоге производит двойной эффект: акцентируя *связь*, метонимии утраты позволяют в значительной степени маргинализировать смерть³. Принципиальным

сийской армии. М., 2002. С. 205—216; Дембельский альбом: Русский Арт Брют. Между культурой и книгой художника / Под ред. Михаила Карасика. СПб., 2001.

¹ Сыны Алтая. Книга Памяти. СПб.: Ленинздат, 1992. Б.с.

² См. подробнее: *Eng D., Kazanjian D. Introduction: Mourning Remains // Loss.*

³ *Derrida J. The Work of Mourning / P.-A. Brault, M. Naas (eds.). Chicago: University of Chicago Press, 2001. P. 61.*

здесь оказывается способность «удержать» означающее («след утраты»), четко осознавая при этом, что ни означаемое («смысл утраты»), ни референт («объект утраты») уже никогда не будут доступны.

В отсутствие схемы, способной оказать в постсоветских условиях мифологизирующую или идеологическую поддержку¹, травма, ставшая последствием государственной политики, находит выражение в виде обычной, повседневной жизни, которая оказалась прерванной. И вряд ли случайным является то, что именно эта частная жизнь, именно этот повседневный порядок вещей становится той моделью, на базе которой и строится гражданская деятельность. Созданное вокруг темы смерти сообщество эмоциональной поддержки становится для многих Матерей единственной нитью, способной вывести их из состояния социальной изоляции. Екатерина Николаева, оформившая Комнату Памяти, объясняла в интервью:

...Когда мы это все оформили, мы пригласили родителей на открытие нашей Комнаты Памяти. И пришел к нам батюшка сюда, батюшка нам вот эту вот икону подарил, Пресвятую Богородицу, Мать Успенья подарил. Освятил нам комнату эту. Ну, и после этого стали к нам родители приходить. Они и до этого к нам ходили, но только после конференции стали к нам родители ходить чаще. Ну как, ну не все, конечно, но многие приходят. Вот мать: она дома, не с кем ей помянуть сына, у нее душа заболела, чего-то у нее не хватает — она сюда идет. Она пришла сюда со своим узелочком, там, конфет, печенья принесла, ну, бывает иногда и с бутылочкой, конечно, не без этого. Вот мы сядем, по 50 грамм, мы здесь никто не пьем, ну, как Ольга говорит: «Чисто символически, по 50 грамм». Выпьем, помянем, ну а этого ребенка мы помянули — и одновременно всех, вот. Свечки зажгли, постояли все. И мама вытерла свои слезы, и как-то заулыбалась, и домой пошла лучше, ей легче, вот... А я вот теперь вот этим комитетом и живу. Сюда вот бегу. Если я не пришла, то все... Ну, бывает иной раз, а бывает и два, и три раза прибежишь в неделю, смотря по обстановке: как дома, как это на

¹ Подробную дискуссию об отсутствии адекватного символического оформления постсоветского пространства см. в моих статьях: *Oushakine S. In the State of Post-Soviet Aphasia: Symbolic Development in Contemporary Russia // Europe-Asia Studies. Vol. 52 (6). P. 991–1016; Idem. The Quantity of Style: Imaginary Consumption in the Post-Soviet Russia // Theory, Culture and Society. Vol. 17 (5). P. 97–120.*

даче. На даче отиралась, естественно, сюда реже ходила, сейчас дача кончилась, так чаще сюда бежишь. Скучаю по своим женщинам, по мальчишкам. Придешь, вот как-то пообщаешься с ними — и легче. С сыном поговоришь... ну, вроде бы и легче. Свечку поставишь, к стендам подойду, поглажу его [фотографию]. Сразу мне сделали наверх, [повесили фотографию в верхний ряд] — ему вверху как бы лучше. Я его сверху сняла пониже, только чтоб рукой достать до него, сыночка своего.

Столкновение со смертью без поддержки ритуалов нередко означает, что «перед лицом смерти авторитетом становится не традиция, но сам человек (the self)», как отмечает социолог Тони Уолтер¹. В итоге — в отсутствие единого стиля или обычаев — красная звезда в Комнате Памяти мирно соседствует с иконой Богородицы, пластмассовые красные гвоздики — с церковными свечами. На мой взгляд, именно этот «семиотический волонтаризм» (semiotic volunteerism)², эти фрагментированные, но смежные отношения с реальностью, установленные при помощи материальных объектов — тех самых значимых предметов, которые, однако, в состоянии сформировать связную, но не обязательно последовательную картину, — и позволяют Матерям выстоять в ситуации, лишенной символического порядка. Следы без референта, эти объективированные продукты символизации тем не менее устанавливают границы поля социальных отношений, формируют контекст и даже иногда служат руководством к действию.

Производство предметов, замещающих утрату, может объяснить, почему скорбь в данном случае не сопровождается постепенным ослаблением болезненного переживания потери, как это, например, предполагают традиционные трактовки травмы. Осцилляция Матерей между материальными означающими и отсутствующими референтами позволяет им оставаться с «мальчишками» в постоянном контакте («рукой достать») и тем самым локализовать свою утрату. Но это ритуализированное воспроизводство эмоционального опыта травмы, этот эстетизированный акцент на утрате и скорби одновременно делает риторически неуместными вопросы о политических решениях, которые привели к этим смертям.

¹ *Walter T.* The Revival of Death. London: Routledge, 1994. P. 188.

² *De Certeau M., Giard L., Mayol P.* The Practices of Everyday Life. Vol. 2: Living and Cocking / Trans. by T. Tomasik. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1998. P. 32.

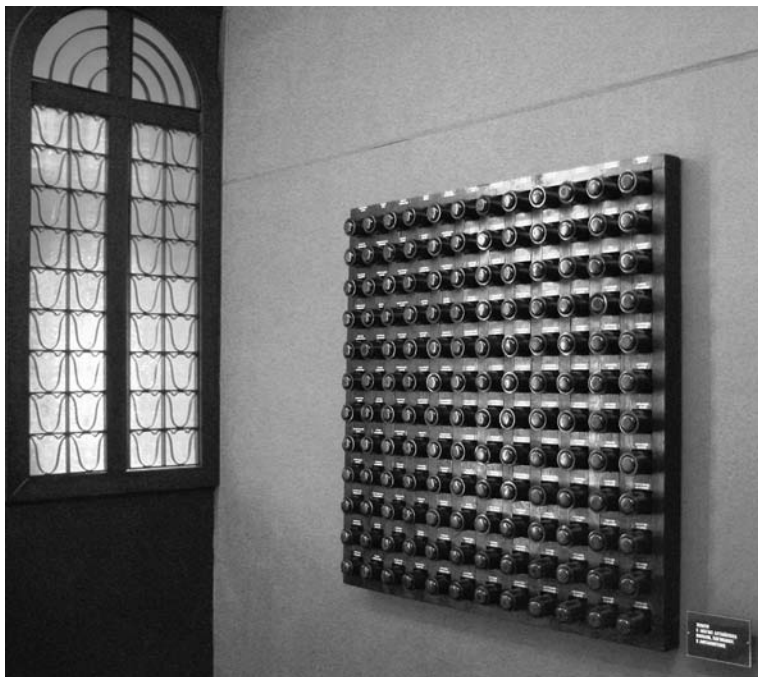
Зал Памяти воинов, погибших в Афганистане, — часть постоянной выставки в Алтайском государственном краеведческом музее в Барнауле — является, пожалуй, одним из наиболее ярких примеров подобной тенденции воспринимать и конструировать публичное пространство как мозаику политического символизма и частной жизни. Зал был открыт в начале 1990-х, и две его комнаты содержат стандартные приемы из советской практики мемориализации. Часть стены занята традиционной витриной с капсулами, наполненными землей с могил солдат на кладбищах края. В центре одной комнаты находится галерея стандартизированных фотографий погибших. Наконец, есть здесь и вполне ожидаемый планшет с анонимным стихотворением, озаглавленным «Родине». Написанное от лица погибшего солдата стихотворение обращается к тем, кто выжил:

Помяни нас, Россия, в декабрьскую стужу,
Перед тем, как собраться за праздничный стол.
Вспомни тех, кто присягу тебе не нарушил,
Кто берег тебя вечно и в вечность ушел.
Помяни нас, засыпанных пеплом и пылью,
Пулеметами врезанных в скальную твердь.
Запиши нас в историю горестной билью.
И рубцом материнское сердце отметь....

Одновременно в Зале Памяти размещены объекты, не вписывающиеся в традиционный музейный формат. В углу одной комнаты, например, была развернута палатка, в которой спали солдаты во время войны в Афганистане. Оконные рамы были оформлены в виде крестов с силуэтами черных тюльпанов, символизирующих самолеты, транспортировавшие гробы с телами погибших солдат в Советский Союз. Религиозный символизм отражался и в расположении ламп на потолке, и в подсвечниках, рядом с фотографиями погибших солдат.

Куратор выставки настаивала в интервью, что религиозную символику в (государственном) музее не стоит воспринимать буквально: многочисленные кресты призваны символизировать «надежду в самом широком смысле этого слова»¹. В свою очередь, одна из Матерей описала посещение зала так: «И вот, в праздни-

¹ Интервью с Ириной Дуниной, куратором Краеведческого музея. Барнаул, март 2002.



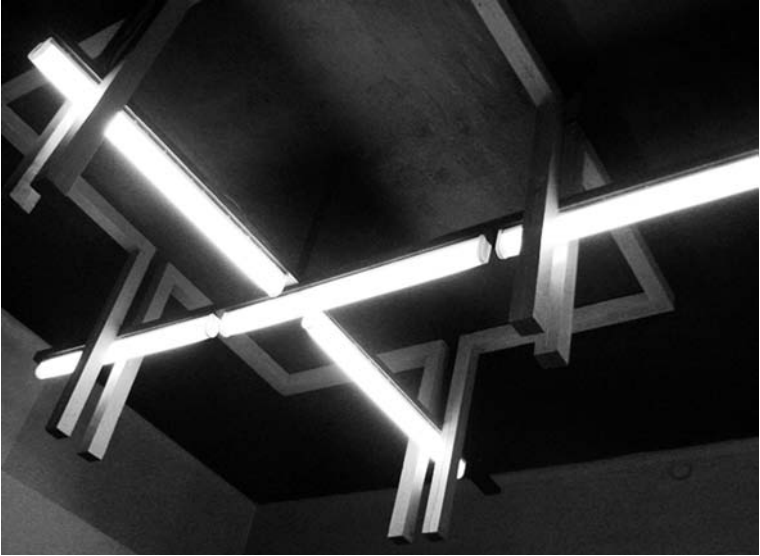
**Черные тюльпаны и черные кресты: оконные рамы (слева).
Капсулы с землей с родины алтайских солдат, погибших
в Афганистане (справа)**

АГКМ, Барнаул. Фото автора. 2006

ки заходим, каждому можем зажечь свечу. Это зал — зал Памяти. То есть включается “Аве, Мария”, там, или что-то еще, и все начинается...»

Отсутствие гражданского дискурса и/или аналитической дистанции, способной придать потерям социальный смысл, таким образом, компенсируется при помощи сентиментальной хореографии визуальных и аудиосредств. Политическое насилие превращается в личную травму, а музей — в место скорби, в своеобразную светскую церковь.

Нехватка легитимирующих политических сценариев, способных придать смерти сыновей определенное общественное звучание, является важной причиной обозначенной тенденции к депо-



Кресты освещения

АГКМ. Барнаул, 2002. Фото автора. 2006

литизации. Тем не менее неразвитость политического дискурса вряд ли может объяснить, почему деполитизация реализуется в форме «объектализации», т.е. путем создания устойчивой эмоциональной связи между Матерями, с одной стороны, и материальными объектами — с другой. На мой взгляд, работы Дональда Винникотта, британского психотерапевта и психоаналитика, содержат полезную теоретическую схему, способную объяснить суть тенденции, обозначенной Матерями.

В работе «Использование объекта и построение отношений через идентификацию» Винникотт проводит разграничение между двумя типами практики. Под *объектными отношениями* психотерапевт понимает такое взаимодействие между индивидом («субъектом») и предметом/представлением («объектом»), в ходе которого происходят «определенные изменения в личности». В результате подобных изменений «в личности» объект наделяется («нагружается» и «восполняется») персонально значимыми воспоминаниями, ассоциациями и фантазиями. Важным для Винникот-



**Музей как светская церковь: подсвечники
у портретов погибших солдат
АГКМ. Барнаул, 2006. Фото автора**

та является то, что, сформировавший с помощью операций проекции и идентификации узы аффективной привязанности к объекту, «субъект опустошен до такой степени, что часть субъекта обнаруживается в объекте. Хотя при этом субъект обогащается в эмоциональном плане»¹.

Разумеется, наблюдение Винникотта во многом очевидно и знакомо любому, кто испытал потерю любимого предмета или сталкивался с примерами политики идентичности. Важность объекта привязанности, как правило, определяется его способностью выступать в форме «экрана», который может удерживать про-

¹ См.: *Винникотт Д.* Игра и реальность. М., 2002. С. 158.

екции индивидуальных фантазий и воображаемых конструкций. Понятно, что объектные отношения важны для Винникотта не только как пример бытового фетишизма. Главным для него является принципиальное отличие «*объектных отношений*» от другой формы взаимодействия, которая также сфокусирована на объекте идентификации. Понятие «*применение объекта*», сохраняя во многом сходство с «*объектными отношениями*», позволило Винникотту акцентировать роль *объекта* в динамике отношений между индивидом и предметом. Психоналитик отмечал:

...Когда я говорю о применении объекта, я принимаю объектные отношения как данность, но добавляю новые качества, которые затрагивают природу поведения самого объекта. Например, объект, чтобы его можно было использовать, должен быть реальным, являться частью внешней, разделенной между людьми реальности, а не нагромождением проекций. ...Отношения можно описать с точки зрения субъекта, который отделен от окружающего мира, а применение — лишь исходя из того факта, что объект существовал всегда и независимо от субъекта¹.

В своих работах Винникотт неоднократно подчеркивает, что переход от фантазматических «объектных отношений» к реалистическому «применению объекта» предполагает определенную уверенность в окружающем пространстве, определенную способность субъекта картографировать мир за пределами его фантазий и эмоций, определенное желание декодировать разнообразные контексты, частью которых и являются объекты привязанности. Удачная навигация такого переходного пространства, указывает Винникотт, «зависит от переживаний, которые ведут человека к доверию»². Отсутствие доверия, как и ситуация заблокированного «перехода», может вести к «чрезмерной эксплуатации» объектов фантазматической/эмоциональной привязанности³.

Модель объектных отношений, предложенная Винникоттом, на мой взгляд, позволяет концептуализировать способ символизации утраты, используемый Матерями. В отсутствие доверия к «внешнему миру» и «разделенной» реальности формирование ин-

¹ Винникотт Д. Игра и реальность. М., 2002. С.159–160.

² Там же. С. 186.

³ Там же.

дивидуальных и групповых идентичностей Матерей происходит во многом при помощи реконтекстуализации утраты. В ходе проекций материальные объекты превращаются в символические — метонимические — свидетельства гибели сыновей. В то же самое время материальный характер этих свидетельств позволяет встраивать их в рутину повседневной жизни. Демонстрируя и объективируя наличие существенной эмоциональной связи между индивидом и предметом, объектные отношения тем не менее развиваются как событие *внутренней* жизни индивида, с трудом приобретая более широкий социальный смысл. Эмоционально заряженная герменевтика боли становится подавляющей формой коммуникации с окружающим пространством.

И все же, как я пытался показать, подобное использование эмоций в политике имеет вполне определенный положительный эффект. Деятельность провинциальных КСМ стоит рассматривать не только с точки зрения мобилизационных способностей этих Комитетов. Не менее важным является и то, что политика жалости и практика локализации травмы, рассмотренные выше, служат прежде всего одним из немногих доступных средств, с помощью которых Матери смогли преодолеть свою разрозненность и социальную изоляцию. Как отмечал Эмиль Дюркгейм: «Единение в скорби — это тоже единение»¹.

¹ *Durkheim E.* The Elementary Forms of the Religious Life / Trans. by J.W. Swain. NY: The Free Press, 1967. P. 448.

Хосе Аланиз

Особенности национальной смерти:

хоспис в России *

В своей книге воспоминаний «Все так умирают?» (со стихами П. Гринберг), опубликованной в 2001 году, Н. Кантонистова рассказывает о жизни и мучительной смерти от лейкемии ее двадцатисемилетней дочери Евгении, Женечки¹. Книга поразительна по нескольким причинам. Во-первых, еще пятнадцать лет назад повествование такого рода могло быть доступно в России лишь в самиздате: воспоминания посвящены тому, как в течение двух с половиной лет молодая, умная женщина ведет заведомо проигранную борьбу с тяжелой, изнурительной болезнью. Во-вторых, события в книге развиваются в международном контексте: богатые русские свободно ездят в США, Францию, Германию, Швейцарию и другие европейские страны, где в клиниках для богатых Женя и проходит курс лечения. В-третьих — что особенно важно, — медицинская помощь, действенность и компетентность которой превозносились старшими поколениями россиян, не оправдывает надежд на спасение жизни героини. Более того: «благодаря» истощающим курсам химиотерапии, грубым, бесчувственным докторам и слезливо-сентиментальным заграничным доброжелателям, продляющим и без того долгую агонию, Женя вообще отказывается от всякой помощи врачей, чтобы умереть дома среди близких людей.

Несмотря на всю свою новизну для современной русской сентиментальной публицистики, книга «Все так умирают?» имеет легко узнаваемые характерные черты, дающие возможность рассматривать ее в рамках складывающегося международного жанра

* Автор выражает глубокую благодарность Нике Егоровой, Любви Пенковой и особенно Наташе Перовой за помощь в переводе с английского.

¹ Кантонистова Н., Гринберг П. Все так умирают? СПб.: Лимбус, 2001.



ВСЕ ТАК УМИРАЮТ?



Н. Кантонистова. Все так умирают?

танатографий, автотанатографий и автопатографий¹. Помимо ряда сходных моментов с основными текстами этого жанра², по своему содержанию книга Кантонистовой наиболее близка мемуарам Пюнтера «Смерть, не гордись». В этой книге, вышедшей в свет в 1949 году, автор рассказывает о смерти своего сына-подростка от рака мозга³. Книга Пюнтера получила широкое признание в послевоенной Америке и привлекла внимание к тяжелому положению смертельно больных в ситуации отсутствия хосписов. Подобно этому парадигматическому тексту, книга Кантонистовой также пытается найти путь, способный облегчить страдания умирающих и скорбящих о них в постсоветской России. Выполняя предсмертное желание Жени, Н. Кантонистова посвящает себя помощи людям, оказавшимся в сходной ситуации.

Все поступления от продажи книги направляются московскому хоспису, служащему больным раком в терминальной стадии, и этот факт не может не поражать. Молчаливо свидетельствуя о бесполезности усилий по сохранению жизни Женечки любой ценой — даже ценой ее собственных чувств и желаний, — этот факт вынужденно обозначает альтернативу: для Женечки умирание в хосписе могло бы быть намного лучше, чем героическая борьба с

¹ См., например: «Вторники с Морри» Митча Албома (*Albom M. Tuesdays with Morrie: An Old Man, a Young Man, and Life's Greatest Lesson*. NY: Doubleday, 1997), «Отравленный моей болезнью» Анатоля Бройярда (*Broyard A. Intoxicated By My Illness*. NY: Fawcett Columbine, 1992), «Исчезновение» Женевиэвы Юргенсен (*Jurgensen G. La Disparition*. Paris: Calmann-Lévy, 1994), «Уроки смерти: заметки об искусстве хирургии» хирурга Рихарда Зелцера (*Selzer R. Mortal Lessons: Notes on the Art of Surgery*. NY: Harcourt Brace & Company, 1976/1996), книги патолога Ф. Гонзалес-Крусси (F. González-Crussi), поэта и хозяина похоронного бюро Томаса Линча (Th. Lynch), хирурга Шервина Нуланда (Sh. Nuland), а также одну из недавних публикаций — книгу хирурга Атула Гаванде «Осложнения» (*Gawande A. Complications: A Surgeon's Notes on an Imperfect Science*. NY: Metropolitan Books, 2003).

² См., например: «Увиденное горе» С.С. Левиса (*Lewis C.S. A Grief Observed*. NY: Harper Collins, 1961/1996); книгу мемуаров Симоны Де Бовуар о ее матери, не устоявшей в борьбе со смертью, «Такая простая смерть» (*Beauvoir S. de. Une Mort Très Douce*. Paris: Gallimard, 1964); книгу Элизабет Кюблер-Росс «О смерти и умирании» (*Kubler-Ross E. On Death and Dying*. NY: Collier, 1969); сборник А. Альвареса «Жестокий бог» (*Álvarez A. The Savage God: A Study of Suicide*. London: Weidenfeld & Nicolson, 1971), включающий много историй о жизни и смерти; книгу Виктора и Розмари Зорза «Путь к смерти», о которой речь пойдет далее (*Zorza V. & R. The Way to Death*. NY: Alfred A. Knopf, 1980).

³ *Gunther J. Death Be Not Proud*. NY: Harper & Row, 1949.

болезнью. Это признание особенно значимо еще и потому, что в своих воспоминаниях, несмотря на безжалостную и по-графомански страстную критику медицинской системы, которая оказалась не в состоянии спасти ее дочь, Н. Кантонистова ни разу не обсуждает возможность мягкой, без вмешательства и жестких врачебных процедур помощи хосписа. И еще: во время болезни Женечки Кантонистовой хосписы уже семь лет функционировали в России; в Москве, в ее родном городе, первый хоспис был открыт в 1997-м, в тот год, когда она узнала о своем страшном диагнозе.

Таким образом, «Все так умирают?» может быть воспринята как работа переходного времени, как негативный пример, как свидетельство «ошибочного» способа умирать в России на рубеже XX и XXI веков. Как я попытаюсь продемонстрировать, в этом отношении книга Н. Кантонистовой во многом следует логике основных текстов данного жанра. С другой стороны, она содержит безошибочно «русские» особенности (такие, как бытовая, неосознанная, неполиткорректная ксенофобия; склонность превозносить / фетишизировать страдания), которые воспроизводятся в дискурсе основателей и приверженцев движения российских хосписов. Наконец, и в книге Н. Кантонистовой, и в рассказах сторонников хосписов, о которых пойдет речь далее, восприятие смерти и умирания акцентирует стремление к эстетической завершенности: «прибранность» смерти часто становится итогом «убранности»: все, что не соответствует эстетическому канону, оказывается спрятанным.

Хоспис по-русски

В постсоветские времена старая модель смерти и умирания исчерпала себя. И уже в начале 1990-х, как бы предвидя вопрос Н. Кантонистовой, движение хосписов в России заявило: нет, *так* умирать никто не должен. Первый русский хоспис был открыт 1 октября 1991 года на северном берегу Финского залива в районе Лахты, на окраине тогда еще Ленинграда, недалеко от собора Свв. апостолов Петра и Павла. В стационаре было 25 коек, кроме того, предусматривалось обслуживание на дому местного населения.

Открытие первого хосписа стало итогом длительной истории и потребовало значительных усилий как в России, так и за рубежом. Самые первые свидетельства о хосписах (от латинского *hospis* —

гость) появляются в исторических документах в I тысячелетии н.э., когда христианские монашеские ордена восточного Средиземноморья начали открывать приюты для бедных и больных. В IV веке н.э. богатый римлянин Фавиола, ученик и последователь св. Иеронима, основал похожий приют для больных пилигримов. Слово «хоспис» приобрело значение «остановка в пути, временное пристанище для отдыха перед далекой дорогой». Это значение слова сохранялось вплоть до Средних веков, когда хосписы служили приютами для рыцарей, возвращавшихся из крестовых походов, и для пилигримов, путешествующих к святым местам. Постепенно хосписы превратились в приюты для больных и умирающих вдали от дома, став их последней остановкой перед дорогой в иной мир¹.

В XIX веке в России, как отмечает Вирджиния-Энн Гумлей, при поддержке царской семьи монахини — сестры милосердия заботились об умирающих солдатах в годы Крымской войны². Однако большинство исследователей связывают возрождение идеи хосписов в их современном виде — т.е. как учреждений, специально созданных не для лечения, а для обеспечения максимального удобства умирающих, — с именем Джейн Ганьер, которая в 1842 году основала в Лионе приют «Голгофа» для неизлечимо больных. В конце XIX века ирландские сестры милосердия стали называть «хосписами» дома для умирающих пациентов. Многие хосписы (включая русские) и сегодня сохраняют тесные связи с христианскими организациями. Вместе с тем с публикации лекций американского врача Альфреда Уорчестера «Забота о престарелых, умирающих и умерших» начинается движение за придание хосписам более светского характера³.

Первый действительно современный хоспис, получивший имя св. Христофора, был основан в 1967 году в Сиденхэме британским врачом Сэили Саундерс, которая ввела в практику модель предотвращения боли и контроля над симптомами. Работая с умирающими в хосписе Св. Христофора и в лондонском госпитале Св. Луки, Саундерс делала упор на предотвращении боли, на использовании

¹ *Lattanzi-Licht M.* The Hospice Choice: In Pursuit of a Peaceful Death. NY: Simon & Schuster, 1998. P. 45; *Васильева А.* Человек живет дольше, когда его любят // Женщина Плюс. 1999. № 3. <http://www.owl.ru/win/womplus/1999/hospis.htm>.

² *Gumley V.-A.* The Russian Approach to Hospice Care // Hospice Care on the International Scene / C. Saunders, R Kastenbaum (eds.). NY: Springer, 1997. P. 168.

³ См.: *Васильева А.* Человек живет дольше, когда его любят.

таблеток, а не инъекций, на психологической помощи не только неизлечимо больным, но и их семьям¹. В мире, где многие больные, прикованные к аппаратам, которые поддерживают жизнь, заканчивали свои дни в безликой обстановке современных больничных палат, Саундерс и ее коллеги предложили радикально новый путь помощи умирающим.

В книге «На чужих руках: Культурная история права на смерть в Америке» Питер Филин в типичном сентиментальном ключе описывает хоспис Св. Христофора как «антибольницу»:

Они вошли в дом, атмосфера которого напоминала скорее небольшой отель, чем медицинское заведение. Снаружи четырехэтажного здания был сад с дорожками для прогулок, зеркальный бассейн, теплица и детская площадка для детей сотрудников. Внутри здания были просторные комнаты, наполненные светом и воздухом, с окнами от пола до потолка. Вместо запаха дезинфекции входящих встречали ароматы свежеприготовленного мяса [!] и хлеба. Вместо металлического звука больничных звонков и вызовов, передаваемых по внутрибольничному радио, всюду были слышны пригласенные разговоры, детский смех; следом за какой-то семьей по коридору бежала собака. Ни в одной из 54 комнат для пациентов не было аппаратов искусственного дыхания или других холодно блестящих машин... Медсестры болтали с пациентами, кормили их или делали массаж. Сидя рядом со своей бабушкой, маленькая девочка читала книжку комиксов².

Примерно в то же время, когда Саундерс начала свою работу над устройством хосписа в Великобритании, на медицинском факультете университета Колорадо психиатр Элизабет Кюблер-Росс проводила семинары, посвященные смерти и умиранию. В течение этих семинаров неизлечимо больные пациенты делились чувствами о своих болезнях, страхах и причинах разочарования в традиционных методах помощи. Их жалобы на бессердечных, бесчувственных докторов, на чувство собственной ненужности и заброшенности, на табу на разговоры о смерти во многом перекликаются с опытом Н. Кантонистовой и ее дочери, о котором пойдет речь дальше.

¹ *Lattanzi-Licht M.* The Hospice Choice. P. 45.

² *Filene P.* In the Arms of Others: A Cultural History of the Right-to-Die in America. Chicago: Ivan R. Dee, 1998. P. 215.

Э. Кюблер-Росс провела сходные исследования и в госпитале университета Чикаго, опубликовав в 1969 году их результаты в книге «О смерти и умирании». В 1970-х книга сыграла значительную роль в развитии движения «За достойную смерть», положив начало дискуссии о замалчиваемой проблеме смерти. Пять стадий отношения к смерти, выделенных Кюблер-Росс, — отрицание, гнев, торг, депрессия / самоизоляция и, наконец, принятие неизбежного — вошли в лексикон культуры.

Наличие подобных исследований подготовило почву для адаптации методов Сандерс в США. Первый американский хоспис открылся в 1974 году в Нью-Хэвене (штат Коннектикут). Сразу после этого были открыты хосписы в Болдере (штат Колорадо), Сан-Франциско, Бунтоне (штат Нью-Джерси), а затем и по всей Америке. В последние годы популяризации темы смерти также способствовала публикация книги Дерека Хамфри «Уход навсегда», в которой обсуждалась проблема содействия в самоубийстве¹. В свою очередь, публичные дебаты об эвтаназии и вегетативной коме привели к изменениям в законах о поддержке жизни «безнадежно больных», к ускоренному развитию реанимации и интенсивной терапии и к широкому применению трансплантации органов, заставивших определиться с концепцией «смерть головного мозга»².

В 1982 году движение хосписов достигло и Восточной Европы: был открыт первый хоспис в Кракове. Однако в Советский Союз движение не проникло. В свидетельствах современников подчеркиваются бюрократический, бесчеловечный характер и патерналистская природа помощи неизлечимо больным в СССР: «При коммунизме пациентам не говорилось, что их болезнь неизлечима, из-за боязни самоубийств. Кроме того, считалось, что нет необходимости тратить деньги на тех, кто все равно умрет»⁴.

¹ *Humphrey D.* Final Exit: The Practicalities of Self-Deliverance and Assisted Suicide for the Dying. Eugene, Oregon: Hemlock Society, 1991.

² Новое понимание смерти снижает ценность таких общепризнанных признаков жизни, как дыхание, температура тела, биение сердца и др., и приравнивает смерть к функции высшей мозговой деятельности, создавая новую категорию ятрогенного «живого трупа». Определения смерти мозга см. в: *Lock M.* Twice Dead: Organ Transplants and the Reinvention of Death. Berkeley: University of California Press, 2002.

³ *Cooke M.A.* The Russian Way of Hospice // The American Journal of Hospice & Palliative Care. 1995. July/August. P. 10.

«Раковый корпус» Александра Солженицына, контрабандой вывезенный из СССР и опубликованный на Западе в то же время, когда Э. Кюблер-Росс работала над своей книгой «О смерти и умирании», является лучшим литературным свидетельством состояния медицинской помощи советским больным, находящимся на краю смерти. Используя собственный опыт ракового пациента в 1950-х годах в Ташкенте, Солженицын рассказывает о повседневной жизни онкологического корпуса в провинциальной больнице, увиденной глазами докторов, сестер, пациентов и простых людей. Роман затрагивает много важнейших проблем, которые призвано разрешить движение хосписов: противоречие между правом врачей лечить и правами пациента на самостоятельное принятие решений; запрет открыто говорить о смерти, чтобы «не убить» пациента; бесчеловечность советской системы здравоохранения; ничем не объяснимое предпочтение инъекций таблеткам. В «Раковом корпусе» эти проблемы ассоциируются, прежде всего, с главным героем — Костоглотовым. В свою очередь, в характере малограмотного Прошки мучительно остро отразилась логика простого человека, который радостно спешит прочь из больницы с удостоверением инвалида. Считающий себя выздоровевшим, выписанный раньше, чем ожидалось, Прошка покидает больницу с неоперабельным раком сердца, о котором ему никто не сказал:

...Наклонясь над лестницей, Костоглотов думал... о принципе своем, который он вчера выставял Людмиле Афанасьевне, — что больной должен все знать.

Но то был принцип для таких видалых, как он.

А — Прошке?¹

Костоглотов ханжески решает не говорить «здоровому», «уверенному» в себе человеку о его диагнозе, обосновывая это своим концлагерным опытом: «Вот так вот, когда приходилось изредка, провожали и на волю. И — сказать, что сейчас, за воротами его арестуют опять?»² Диссидент Костоглотов демонстрирует такое же патерналистское нежелание открывать умирающему истинное положение дел, которое было характерно для всей советской системы здравоохранения. Как верно замечает Гумлей: «Успех рабо-

¹ Солженицын А. Раковый корпус. Москва: Инком, 1991. С. 97.

² Там же.

ты больницы оценивался на основе занятости койко-мест и количестве выписанных больных, а качество помощи неизлечимо больным и их семьям никого не заботило»¹. Джоунс добавляет в своем докладе:

...СССР был страной, где раковые больные практически не получали медицинской помощи с того момента, когда их болезнь была признана неизлечимой. Они практически не получали обезболивающих средств или получали их в недостаточном количестве. Игнорировались и другие проявления болезни. Пациенты испытывали чувство беспомощности, отчуждения, вины, отчаяния, страха, депрессии. Они сталкивались с массой других социальных, психологических и духовных проблем, их семьи не получали никакой поддержки. Все эти проблемы игнорировались².

Все это — неконструктивные отношения врача и пациента, «страусиные» взгляды на смерть и умирание, недостатки медицинской системы — продолжает существовать и в постперестроечной России. Русские продолжают умирать, главным образом, в больницах, часто с неправильно контролируемыми болевыми симптомами, многие — не зная своего точного диагноза³. Например, ле-

¹ Gumley V.-A. The Russian Approach to Hospice Care. P. 174. Культура медицины, развивающаяся в условиях плохого снабжения и минимальной инфраструктуры, не могла не повлиять на отношение врачей к умирающим, которые потребляли, по их мнению, те немногие ресурсы, что могли бы быть использованы для исцеления тех, кого еще можно вылечить.

² Jones W. The British Russian Hospice Society // Hospice Information Service Bulletin, 1996. № 3 (2). Цит. по: Russia Country Report. International End of Life Care Observatory. Sheffield Palliative Care Studies Group, University of Sheffield, 2004. http://www.eolc-observatory.net/global_analysis/russia.htm.

³ И не только в России. Согласно Теннер, «в течение длительного периода культурные изменения, а также тоталитарный режим вытесняли смерть и умирание из социального сознания. В Польше этот процесс, возможно, проходил более эффективно, чем в западных странах. Полный контроль над научной деятельностью помешал исследованиям в области смерти и умирания. Избегали даже этих слов, поскольку они вызывали страх и беспокойство» (Tenner J.J. The Beginnings of Hospice Care Under the Communist Regime: The Cracow Experience // Hospice Care on the International Scene / C. Saunders, R. Kastenbaum (eds.). NY, Springer, 1997. P. 160). Далее Теннер рассказывает, как обычные граждане протестовали против строительства хосписа в Кракове и как Государственная служба здравоохранения запрещала информировать пациентов о смертельном диагнозе, что является для хосписа краеугольным камнем его деятельности

нинградский психиатр Андрей Гнездилов, часто работавший в детских онкологических больницах в 1970—1980-х годах, отмечал мне в интервью, что его всегда приводило в смятение ужасающе низкое качество ухода за смертельно больными детьми. Низкое — не только потому, что во многих случаях излечение было просто невозможно в условиях советской медицины, но и потому, что патерналистское отношение врачей к смертельно больным не позволяло им обращать внимание на эмоциональную и психологическую помощь умирающим пациентам¹. Вера Миллионщикова, московский онколог и руководитель первого хосписа в столице, также отмечает бессердечность коллег в отношении к неизлечимо больным².

В конце 1980-х, когда неспособность советской системы здравоохранения решать накопившиеся проблемы стала очевидной, было открыто первое государственное ведомство, координирующее решение вопросов, связанных с контролем боли³. В то же самое время политика гласности открыла широкие возможности для обсуждения ранее запрещенных тем в средствах массовой информации. Смерть и умирание были в их числе; тогда же впервые заговорили о западной модели хосписов⁴.

Эти изменения подготовили почву для деятельности Виктора Зорзы, британского журналиста польского происхождения, по-

(р. 162). Десять лет спустя в России строительство хосписа вызвало сходную реакцию. Как свидетельствует газета «Время-МН», организация первого московского хосписа вызвала протесты и гневные письма, особенно со стороны соседей, возмущенных тем, что здание хосписа находится рядом со школой и детским садом. См.: *Цветкова Р.* Жизнь до Конца // *Время-МН.* № 43 (190). 15 марта 1999. С. 23.

¹ Гнездилов Андрей. Интервью с автором. С.-Петербург, январь 2002.

² См.: *Васильева А.* Человек живет дольше, когда его любят. Васильева также приводит сходную информацию, отмечая безразличность медсестер по отношению к умирающим. Некоторые отказывались сопровождать их в лифте. Доктор, например, мог сказать помощнику: «Ты больше не заходи к раковой из третьей палаты. Она безнадежна, только время у нас отнимает». В качестве реакции на такое отношение В. Миллионщикова начала посещать пациентов на дому после их выписки из больницы, подружилась с их семьями и «оказывала посильную помощь». Показательно, что эти действия вызвали угрозы увольнения со стороны начальства. Э. Кюблер-Росс объясняет такой бытовой антагонизм по отношению к безнадежным больным реакцией медицинского персонала на собственную беспомощность и страх собственной смерти, вызванный видом смертельно больных (см. главу II «О смерти и умирании»).

³ *Gumley V.-A.* Russian Approach to Hospice. P. 168.

⁴ Гнездилов Андрей. Интервью с автором. С.-Петербург, январь 2002.

ставившего перед собой задачу способствовать организации движения хосписов в России. Впервые Зорза попал в Россию в годы Второй мировой войны; с помощью Ильи Эренбурга ему удалось уехать в Англию и тем самым избежать неминуемой ссылки в лагерь¹. В Великобритании В. Зорза работал в газете «The Guardian» в качестве кремлевского обозревателя; там же в 1978 году он впервые опубликовал дневниковые записи о своей двадцатипятилетней дочери Джейн, умершей от рака.

Десять тысяч писем, полученных после публикации дневника, подтолкнули Виктора Зорзу и его жену Розмари к тому, чтобы написать книгу «Путь к смерти»². Книга вышла в свет в 1980 году и стала одним из самых заметных произведений танатографической литературы. «Путь к смерти» — так же как «Все так умирают?» Кантонистовой и «Смерть, не гордись» Гюнтера — повествует о мучительной борьбе со смертельной болезнью. Но Джейн, дочь авторов, оканчивает свои дни в оксфордском хосписе, где получает все необходимое для достойного умирания. Показательно, что супруге Зорза не бояться рассказывать о своей дочери как о человеке изломанном и весьма далеком от совершенства: «...Джейн не была образцом добродетелей... повторяли мы себе, когда человек умирает, в каждой семье возникают свои трудности...»³ Книга сыграла важную роль в популяризации современных хосписов в качестве альтернативы больницам с их бесполезными и болезненными процедурами, преследующими заведомо недостижимую цель — излечение неизлечимо больных. Вместо тщетного излечения хосписы предложили психологические консультации, экспертную помощь для контроля боли, возможность «жить до самого конца» и умереть в окружении близких людей. Отказавшись от попыток продлить срок жизни больного любой ценой, хосписы сконцентрировали свое внимание на качестве этой жизни.

Московское издательство «Прогресс» опубликовало русский перевод «Пути к смерти» в 1990-м, и в этом же году супруги Зорза вместе с русскими коллегами открыли первый русский хоспис на Лахте⁴.

¹ Позднее В. Зорза признается, что его работа в России — это отчасти долг памяти Эренбургу. В определенной степени можно сказать, что движение хосписов в России имеет почти литературные корни.

² *Зорза Р., В. Путь к смерти: Жить до конца.* Москва: Прогресс, 1990.

³ Там же. С. 14.

⁴ Еще в 1985 году В. Зорза пытался основать хоспис в Москве, но безуспешно. Благодаря помощи А. Гнездилова и других русских коллег, а также более

В предисловии к книге Дмитрий Сергеевич Лихачев, глава административного Совета движения хосписов в России, сравнил тяжёлую участь больных раком с предшествующими историческими трагедиями: «Два поколения назад в нашей стране было мало семей, которые не пострадали бы от злодеяний сталинизма. Сегодня у нас мало семей, которые не пострадали бы от злодеяний рака»¹. Издание этой книги, выражал надежду Лихачев, послужит толчком для общественного движения в поддержку хосписов, которые он резко противопоставил традиционной советской медицине: «Врачи и медсестры в хосписе или должны отдавать больным и их родным свою душу, или, в противном случае, их нельзя сюда подпускать даже близко»².

В свою очередь, Андрей Гнездилов, психолог и соучредитель первого хосписа в России, подчеркнул в послесловии к книге необходимость для русских людей опираться на отечественные культурные традиции помощи больным в их предсмертных страданиях:

Используя опыт наших зарубежных коллег, опираясь на гуманистическую философию, оставленную нам Л.Н. Толстым, Ф.М. Достоевским и другими, мы, вероятно, смогли бы помочь больному перестроить его систему ценностей, увидеть позитивные моменты жизни даже в таких тяжелых обстоятельствах. Наконец, возможно создать с помощью родственников ту эстетику, красоту, которая могла бы в какой-то мере оправдать приход смерти. Вспомним фразу Достоевского: «Красота спасет мир». Как ни парадоксально, порой эта идея реально «работает» и спасает рушащийся мир умирающего человека³.

В этих высказываниях, которые в буквальном смысле обрамляют текст Зорзы, можно увидеть желание основателей русского движения хосписов создать отечественный вариант хосписа, принци-

сочувственному отношению петербургских чиновников под руководством мэра Анатолия Собчака и финансовой помощи из Британии, удалось основать хоспис в Лахте под эгидой Британско-советского общества хосписов, руководимого В. Зорзой. Британские хосписы до сих пор тесно сотрудничают со своими русскими коллегами, делясь опытом и помогая собирать пожертвования. См.: Russia Country Report.

¹ Лихачев Д. К читателям // Зорза Р., В. Путь к смерти. С. 6.

² Там же. С. 7.

³ Гнездилов А. Послесловие // Зорза Р., В. Путь к смерти. С. 245.

пы деятельности которого отражали бы трагический опыт недавнего прошлого России, а также высшие культурные ценности нации. Отмечу, что язык этих высказываний отражал специфику дискурса перестройки: если Советское государство пыталось оживить социальную и экономическую жизнь страны, то хосписы должны были «перестроить» моральное здоровье нации, работая с каждым пациентом в отдельности. Достижение этой цели стало возможным при помощи сентиментальной очистительной силы «красоты»: физическая непривлекательность умирания оказалась в тени духовной, религиозной, бестелесной «эстетической» стороны жизни. Хоспис сделает смерть красивее; украшенная смерть спасет мир.

Ленинградский хоспис № 1 на Лахте открылся 1 октября 1990 года. Примечательно, что он был организован на землях бывшей больницы для бедных, построенной в 1903 году на средства баронессы Ольги Фермор-Штейнбок. На открытии присутствовали глава отдела здравоохранения Приморского района Людмила Борищева, Д. Лихачев, писатель Д. Гранин, Патриарх всея Руси Алексей II, В. Зорза, А. Гнездилов и другие основатели движения. По настоянию А. Гнездилова, который стал первым директором, в хосписе был учрежден мужской и женский монашеский орден имени преподобной великой княгини Елизаветы (сестры последней российской императрицы). Орден заботится о двадцати пяти пациентах в помещении хосписа¹.

В 1992 году Зорза и Вера Миллионщикова начали переговоры с правительством Москвы, и в 1994-м в столице появился первый хоспис². В 1990-х годах движение хосписов в России развивалось стремительно³. В своем исследовании Гумлей, например, отмечает: «Трудно оценить темпы развития хосписов в России после распада СССР. Их число росло, несмотря на политическую нестабильность, социальные взрывы и развал экономики»⁴. Еще одна исследовательница хосписов в России, Мэри Кук, отмечает, что к 1995 году в стра-

¹ Это государственное учреждение обслуживает район с населением в 400 000 человек.

² См.: История хосписов. <http://www.hospice.ru/win/history.html>.

³ О проблемах российских хосписов см.: *Salmon I. A British Nurse's View of Palliative Care in Russia // International Journal of Palliative Nursing*. 2001. Vol. 7 (1). P. 37–43; см. также работы А. Гнездилова, о которых речь пойдет далее.

⁴ *Gumley V.-A. The Russian Approach to Hospice Care*. P. 168.

не открылось 27 хосписов¹. Они появляются не только в центральных, но и во многих провинциальных городах: в Кемерове, Туле, Ульяновске (самый восточный расположен в Магадане). В докладе, посвященном вопросам умирания в России и опубликованном в 2004 году британской Организацией по наблюдению за умирающими, говорилось, что в России около ста хосписов².

Создание русских хосписов сопровождалось формированием специфического подхода, который сформировал русский «культ страдания», основанный на *поэтике видения*. Уже цитированный Андрей Гнездилов, руководитель первого хосписа в России, в своих публикациях открыто сравнивает пациента русского хосписа с западным больным, считая при этом *преимуществом* и доказательством духовного превосходства русских больных их способность переносить боль в процессе смерти. В своей книге «Путь на Голгофу» Гнездилов делает двусмысленный комплимент британской системе хосписов, сравнивая ее, как ни странно, с коммунизмом в Советском Союзе:

Не берусь категорически утверждать, но действительно высокий уровень обслуживания больных в Англии, обилие лекарств, внимания и заботы, огромное количество волонтеров и, наконец, просто красота обстановки, окружающей больного, снимают страх и ужас перед смертью. При этом одновременно напрочь стирается и так называемое «Величие последнего часа», величие и грозность смерти... В прекрасном окружении, среди цветов и улыбок, порой за рюмкой коньяка уходит с земли человек — не размышляя, а то и вовсе забывая о великой грядущей перемене. (Эта нацеленность только на позитивные переживания чем-то напоминает нашу былую коммунистическую установку на всеобщий всепоглощающий оптимизм!..)³

По мнению Гнездилова, уход человека в мир иной не должен казаться *отпуском*; этот процесс требует работы, страха и неверо-

¹ Cooke M.A. The Russian Way of Hospice. P. 12. По наблюдениям Кук, в русских хосписах больше внимания уделяется уходу за стационарными больными, чем в США, несмотря на недостаточное образование медсестер и преобладающее стремление медицинского персонала — включая врачей — воспринимать хосписы как разновидность morga.

² Russia Country Report. P. 1.

³ Гнездилов А. Путь На Голгофу. СПб.: Клинт, 1995. С. 11.



**Андрей Гнездилов
(в центре)
во время семинара
С-Петербург, январь 2002
Фото Х. Аланиза**

ятного усилия для того, чтобы, отыскав смысл жизни и поняв в итоге ее значение, узнать «правду» о себе. «...Для больных важным при этом оказываются тот самый Последний час, — настаивает Гнездилов, — когда расставляются все точки над *i*, и желание прожить, пережить его сознательно, не уходя с помощью лекарств от сложных, но таких необходимых душе поисков ответов на вопросы, поставленные жизнью»¹. Для Гнездилова процесс умирания ведет в конце концов к преодолению смерти и переходу в бесконечную жизнь — и книга вряд ли случайно названа «Путь на Голгофу». Улыбки, цветы или, допустим, красивые обои, по его мнению, могут помешать этому переходу. Судя по всему,

русские должны умирать смиренно, печально, бормоча *истину*, подобно несчастной, подавленной матери в фильме А. Сокурова «Мать и сын».

«Русские — самый терпеливый народ в мире», — утверждали многие мои собеседники, представляющие все слои общества. Произносили это, пожимая плечами, но не жалуясь, а скорее гордясь. В интервью со мной Вера Миллионщикова, руководитель первого московского хосписа, продемонстрировала обратную сторону этого процесса. Резко отрицательно отзываясь о культуре «все о'кей», которая приходит в Россию из Америки, Миллионщикова особенно возражала против «бесчеловечности» по отношению к горю близких умирающего: «Траур практически запрещен. Вас заставляют вернуться на работу через три дня после смерти матери, и вы должны улыбаться, как будто ничего не произошло». Миллионщикова поясняла:

¹ Гнездилов А. Путь На Голгофу. СПб.: Клинт, 1995. С. 11.

У нас в России этого нет и не будет в течение моей жизни. Здесь ты имеешь право на официальный отпуск по работе, а также неофициально получаешь много сочувствия и поддержки со стороны коллег и начальства. Тебя отпускают с работы пораньше и говорят: не ходи на работу, пока не придешь в норму. Ты можешь не скрывать своих слез. Тебе дают выходной и на девятый, и на сороковой дни поминовения усопшего. Это выражение нашей соборности, которая пока еще не разрушена экономическими изменениями¹.

Однако ни этот культ страдания, ни нескончаемый поток обугленных трупов в современных российских литературе, кинематографе и СМИ не смогли пошатнуть табу, сопровождающее принятие решения о том, какие визуальные признаки / следы смерти могут быть предъявлены взгляду в стенах современного учреждения здравоохранения. Основатели и участники движения русского хосписа активно противостоят изображению смерти, господствующему в современной визуальной культуре России, воспринимая ее как нечто сенсационное. Чтобы стать нравственно «очистительным фактором» для всего народа, реальность смерти прячется от взгляда, «подчищается» и «одухотворяется». И тем не менее и изображение русского хосписа, и его восприятие тесно связаны со страхом и одновременно с тягой «увидеть слишком многое».

Способы (не)видения

Все мы не хотим думать о том, что жизнь закончится. Все хотим наслаждаться этой жизнью. А у нас, в России, еще и идеологические шоры, потому что мы только побеждаем. У нас и все больницы устроены по принципу сквозного коридора: «приемный покой — выписная комната». А где-то в сторонке — спрятанный от глаз патологоанатомический комплекс, который и найти непросто. Такой победоносный коридор. А у хосписа даже структура другая. В него заходишь — и попадаешь в часовню².

¹ Интервью с В. Миллионщиковой. Проведено автором в 2002 г. в Москве.

² В. Миллионщикова. Интервью. <http://www.hospice.ru/win/intervie.html>.3

Деятели хосписа обычно изображают его как прозрачное, «честное» пространство, в котором традиционные предубеждения о смерти и запрет на разговор о ней исчезают, где исчезает приукрашивание смерти обществом, где единственное, с чем мы имеем дело, — это «настоящая» смерть. Однако каждое изображение смерти скрывает ровно столько, сколько оно «показывает». Также и хоспис — включая его русский вариант — интересуется «настоящей» смертью в той степени, в которой интересуется ею телевизионная программа «Дорожный патруль». Как и в произведениях русских постмодернистов¹, смерть здесь тоже оперирует в системе идеологически управляемых знаков: обсуждая смерть, индивидуумы и целые институты настойчиво пытаются уклониться, исказить, приукрасить и подстроить ее под свои нужды и намерения².

Русский хоспис и его наблюдатели конструируют видение смерти, которое подчеркивает сентиментальность («у них уже слезы по лицу текут, но они все глядят и глядят ее холодеющие ноги...»)³; важность дома («русские всегда хотели умирать дома... Здесь мы создаем лучшие условия, чем те, что у них есть дома»)⁴; достойное

¹ См., например, произведения В. Сорокина «Норма» (М.: Obscuri Viri, 1994) и «Голубое сало» (М.: Ad Marginem, 1999).

² Тысячи работников хосписов, которые ежедневно исполняют очень важную работу по облегчению участи умирающих, могут обидеться на это. Для них и их пациентов смерть и умирание более чем реальны. С другой стороны, представление смерти в «идеологическом аспекте» не всегда и не обязательно означает отрицание ее реальности. Как объясняет Славой Жижек: «Концепция идеологии должна быть отделена от “представительной” проблематики: *идеология не имеет ничего общего с “иллюзией”*», с ее ошибочным, искаженным представлением о социальном содержании. Короче говоря, политическая позиция может быть адекватной (правильной) по отношению к объективной реальности и в то же время глубоко идеологичной (и наоборот)...» И далее: «Одна из фундаментальных стратегий идеологии основана на самоочевидности: “Ты же сам видишь, как обстоят дела!”, “Пусть факты говорят сами за себя”. Это — стереотипы идеологических заявлений. На самом деле факты *никогда* не говорят сами за себя, их *заставляют говорить* с помощью целой серии дискурсивных приемов» (Žižek S. Introduction: The Specter of Ideology // Mapping Ideology / S. Žižek (ed.). NY: Verso, 1995. P. 7, 11; курсив автора).

³ Руденко И. «Умиравшая проклинала медсестер, а они все гладили ее холодеющие ноги...» // Комсомольская правда. 8 декабря 1999. С. 12.

⁴ В. Миллионщикова. Интервью. Проведено автором в 2002 г. в Москве. Станным образом она считает желание умереть дома в кругу своей семьи (а не в больнице) типично русской чертой. Однако западная теория с самого начала считала это универсальной человеческой чертой.



Вид часовни Московского хосписа № 1
Фото Х. Аланиза

страдание («пережить его сознательно, не уходя с помощью лекарств...»); своего рода экологическую чистоту («здесь воздух чище и светлее, солнце ярче, снег больше скрипит, звезды на небосклоне крупнее»)¹ и божественное провидение — в случае яростных сторонников православия.

Упомянутые выше характерные черты формируют «субстанциальную», уникально русскую, духовную «прекрасную смерть» — в противоположность внешне «красивой» смерти Запада². Религиозно-националистический аспект этого подхода я рассмотрю ниже; здесь же я бы хотел отметить, что подобное видение эстетически «прекрасной смерти» возникло в борьбе, т.е. как следствие постоянной угрозы и как реакция на скрытую «грязную смерть» — абсолютно не сентиментальную (безразличную, жестокую, равнодушную), не домашнюю (стерильную, пошлую, в больнице, бюрократическую), бессмысленную в своем ужасающем наказании («тупая боль»), отвратительную (моча, рвота, экскременты, внутренности) и безжалостно экзистенциальную (вселенная лишена любого сверхъестественного значения).

«Грязная смерть» — современное европейское изобретение. В своей книге «Час нашей смерти» историк Филипп Арьес прослеживает, как со второй половины XIX века рост медиализации социальной жизни и институционализации буржуазных ценностей «чистоты» начал превращать смерть в нечто «непристойное» (он цитирует «Смерть Ивана Ильича» [1886] Л.Н. Толстого как первый сложившийся литературный портрет этой тенденции):

Смерть больше не внушает страх только из-за ее абсолютной негативности; она также вызывает тошноту, как и любое отвратительное зрелище. Она становится неуместной, как и биологические функции человека, как выделения человеческого тела. Неуместно позволить человеку умереть публично. Незнакомцы больше не могут входить в комнату, где пахнет мочой, потом и омертвением, где лежит грязное белье. За исключением нескольких близких, которые могут преодолеть отвращение, или тех необходимых лиц,

¹ В. Миллионщикова. Интервью с автором, 2002.

² «Иногда мы видим красивую смерть, — рассказывал мне А. Гнездилов. — Человек, умирающий красивой смертью, вносит вклад в нашу духовность, потому что вы видите, что может сделать религия» (Интервью с автором. С.-Петербург, январь 2002).

которые ухаживают за умирающим, доступ в такую комнату должен быть запрещен. Формируется новый образ смерти: уродливая и скрытая смерть, скрытая из-за ее уродливости и грязи¹.

Замечу, что важную роль в этой схеме играет визуализация: «гротескное» разлагающееся тело должно быть под контролем. В случае если контроль над телом невозможен, это зрелище должно происходить за закрытыми дверями, и только нескольким людям будет дана сомнительная «привилегия» быть его свидетелями. По сходной модели во многом строится и идеология хосписа в сегодняшней России. Главная цель — стереть «уродство», т.е. физиологическую сторону смерти; поместить ее туда, где бы ее никто не мог видеть (частично как символ внутреннего очистительного процесса, который смерть должна вызывать), таким образом возвращая смерти надлежащие вес и значение. Результатом становится страшная история: чудовище «грязной смерти» должно быть приручено/обузвано, излечено и посажено в клетку — хотя мы никогда не можем быть полностью уверены в том, что оно не вырвется наружу и не поглотит нас.

Статья Розы Цветковой «Жизнь до конца», опубликованная в газете «Время — Московские Новости» в марте 1999 года, является лишь одним примером широко распространенной постсоветской тенденции воспринимать смерть в хосписе сквозь призму темы «грязи». В статье рассказывается о визите журналиста в Первый московский хоспис (ПМХ). С поразительной откровенностью Цветкова описывает ее начальные мысли по поводу этого репортажа, которые — вполне предсказуемо — в основном связаны с боязнью того, что она *может* там *увидеть*:

Каким можно представить больничное заведение, тем более для онкологических больных IV стадии? «Старое обшарпанное здание, палаты с суконными одеялами на десяток коек, страдающие от

¹ Arius Ph. The Hour of Our Death / Trans. H. Weaver. NY: Random House, 1980. P. 569. Историк видит в «грязной» смерти возвращение в мрачные времена Средневековья с той разницей, что «все, что было сказано о разложении тела после смерти, переносится на предсмертный период, на агонию» (569). В 1950-х годах антрополог Джофри Горер заявлял, что нежелание обсуждать смерть превратило ее в новую «порнографию» (Gorer G. The Pornography of Death // Death, Grief, and Mourning. Garden City: Doubleday, 1967).

боли старики, специфический запах смерти» — вот что ожидал здесь увидеть один из волонтеров ...Признаюсь, мои заочные представления были примерно такими же. И, как тот доброволец, я была буквально потрясена увиденным¹.

Затем, следуя уже сложившейся традиции в репортажах о ПМХ, Цветкова переходит к длинному описанию его роскошных помещений, охая и ахая по поводу шикарных диванов, попугаев, швейцарских часов, телевизоров в каждой комнате. За описанием следует заключение: «Все это создает удивительную гармонию света и жизни и обладает не только эстетическим, но и целебным эффектом»². В этих словах почти слышится вздох облегчения и у автора, и у читателя.

Подобные стилистические перепады — от ужаса к облегчению — характерны для всей статьи: страх обнаружить что-нибудь ужасное за углом (чудовище прячется), но затем: нет, стойте — это же просто цветы, медсестра жарит картошку для пациента, очаровательный кот, концерт Мстислава Ростроповича прямо там, в гостиной. Хоспис похож на готический замок. Все мрачное происходит не на виду, а в невидимом месте: подавленный волонтер «где-нибудь в уголке плачет». Или Цветкова *слышит* о том, что происходило с кем-то; например, о том, как волосы персонала «дыбом становятся», когда они видят условия, в которых жили их пациенты до переезда в хоспис. Сама Цветкова подобных картин *не видит*. Абзацы ее статьи напоминают поединок между плохими вещами, которых она не замечает, и хорошими, которые бросаются ей в глаза:

Когда я шла в хоспис, то боялась увидеть непрекращающуюся боль. Ведь рак в сознании многих связывается с постоянным страданием. Но искаженных болью лиц я там не видела. Ее помогают снимать и лекарственными препаратами, и массажем, и просто участием. О неотвратимости конца говорят лишь в том случае, если сам умирающий этого хочет и сознательно идет на такой разговор³.

¹ Цветкова Р. Жизнь до конца. С. 23.

² Там же.

³ Там же.

Искажая саму миссию хосписа, Цветкова предпочитает приводить истории *выживших* пациентов, а не тех, кто умер. Например, она рассказывает о восемнадцатилетней Тане, которую «списали» в хоспис из больницы (позже оттуда позвонили узнать, когда она скончалась). В условиях любовного ухода персонала хосписа девушка, парализованная метастатическим раком позвоночника, удивительным образом начала поправляться, а чуть позже, благодаря богатому спонсору из Америки, ей была сделана спасительная операция. Как передает Цветкова: «Вера Миллионщикова [показывает] заморские фотографии симпатичной улыбающейся девушки...»¹ Умиравший молодой человек — невыносимое зрелище.

Неудивительно, что в тексте, где так тщательно избегается тема смертности, единственным свидетелем сцены смерти становится... слепой. Старый Вадим Михайлович, который неумолимо терял зрение после службы в армии, заботливо ухаживает за своей смертельно больной женой Нонной Ивановной. Когда она умирает, Вадим Михайлович «чувствует» это и просит принести зеркало². Затем он складывает ее руки на груди и накрывает тело.

Помещенное в контекст сентиментальной истории о любви («Их все называли “сладкой парочкой”»), это описание «красивой смерти» тиражирует традиционное мнение о том, что смерть — прерогатива старости. Замалчивая неприятные физиологические подробности, при помощи соответствующих клише эта история предлагает боящемуся смерти читателю взамен картинку идеального ухода. Герой этого эпизода по своей природе не способен смотреть смерти в глаза. Для усиления эффекта приводится фотография Вадима Михайловича, глядящего невидящим взором в пространство рядом с кроватью его изможденной жены. Это ли не лучшая картинка постсоветской слепоты перед лицом «грязной смерти»?

¹ Цветкова Р. Жизнь до конца. С. 23.

² Поклонники традиционной русской культуры закрывают зеркала, чтобы душа усопшего или другие духи не вернулись обратно в этот мир через зеркало. Таким образом, Вадим Михайлович как бы ослепляется повторно. П. Барбер в своем исследовании также упоминает сербско-хорватские обычаи, когда зеркала погребаются вместе с усопшими или используются для украшения могил тех, кто «слишком рано умер» (*Barber P. Vampires, Burial and Death: Folklore and Reality. New Haven: Yale UP, 1988. P. 181*). Я не знаю, какой из этих обычаев воспроизводит Вадим Михайлович, возможно, зеркало было необходимо ему для того, чтобы удостовериться, что его жена уже не дышит.



Иллюстрация к статье Розы Цветковой «Жизнь до конца»
(Время-МН. 15 марта 1999)

И все же, несмотря на все текстуальные опровержения заявленной темы статьи, ее заглавие «Жизнь до конца» вполне отражает ее содержание. Цветкова ухитряется избежать любого непосредственного контакта с темой смерти, за исключением самого последнего абзаца: «Когда я в следующий раз пришла в хоспис, оказалось, что Вера Васильевна сама лежит в больнице, с инфарктом. А за неделю ее отсутствия умерли три женщины, одна из них — *прямо на моих глазах*»¹. Рассказ-ужас обретает классическую концовку: чудовище в конце концов вырывается на волю, выступая из тени на свет в полный рост.

Статья Цветковой является типичным примером визуально-текстуальной стратегии: тема приближающейся угрозы физиологической крайности нагнетается автором, «зависая» над головой читателя-зрителя, дразня его тем, что он одновременно хочет и не хочет видеть; затем эта тема преподносится ему с большей или меньшей степенью шокирующей откровенности.

¹ Цветкова Р. Жизнь до конца. С. 23. Курсив мой. — Х.А.

Нация Герасимов

Сама идея хосписа находит необычайно широкий отклик в сердцах самых разных людей. Это просто самостоятельный какой-то феномен. Значит, хосписы нужны не только онкологическим больным, но и нашему больному обществу. Я уверена, что хосписное движение поможет возрождению России, восстановит достойное отношение к жизни и смерти¹.

Директор первого московского хосписа Вера Миллионщикова определяет хоспис как очищающий реагент общества — идея, которая во многом сближает ее с представителями религиозной мысли в этом направлении, несмотря на то что сама Миллионщикова говорит о себе как о человеке неверующем². Такая риторика отражает обеспокоенность многих людей, порожденную ухудшением социальной жизни в России 1990-х годов. Открытая преступность, насилие и пошлость стали знакомы каждому если не из опыта повседневной жизни, то, безусловно, из средств массовой информации. Однако, как утверждает Миллионщикова, процесс распада проходит гораздо глубже и грозит разрушить самое существо русского общества. Самый коварный подтверждающий симптом — это отрицание смерти:

Кто-то мудро сказал, что смерть — это главнейший экзамен человека. К такому экзамену наше общество оказалось неподготовленным. Оно утрачивает духовность, в нем начинает преобладать стремление к материальному обогащению при резком обнищании духа. У нас все больше прав и все меньше обязанностей. Уходят любовь, забота о других, искренность в отношениях, честность, до-

¹ Дубровина Н.И. Дом для жизни // Биоэтика: принципы, правила, проблемы. М.: Эдиториал УРСС, 1998. С. 313.

² В интервью со мной В. Миллионщикова рассказала, что, несмотря на все ее возражения против «оцерковления» миссии хосписа, она была вынуждена уступить давлению со стороны властей и построить в хосписе часовню — чтобы получить финансирование. По мнению В. Миллионщиковой, упор на христианскую модель ухода отрицательно скажется на пациентах, практикующих ислам или иудаизм.

стоинство. Жить становится холодно и одиноко. Общество живет по принципу: нужно жить сегодня, не думать ни о чем неприятном и, уж конечно, не допускать мысли о смерти¹.

Сам институт хосписа — спокойное, культурное, антиурбанистическое пространство, где умирающие могут встретить свою судьбу с достоинством, — был задуман и как альтернатива, и как убежище в быстро деградирующей России. Более того, по мнению Миллионщиковой, хоспис должен был служить некой коррекцией множасьих социальных пороков — таких, как детская преступность, убийства и равнодушие к окружающим, — через переосмысление отношения россиян к умирающим. Облегчение страданий пациентов хосписа заключалось не просто в хорошем уходе — оно фактически означало утверждение цивилизации в условиях разрушения культурного пространства до состояния полного варварства.

Другими словами, если постсоветские проблемы были раковыми опухолями, то хоспис должен был стать радикальным лекарством. Философ А.Я. Иванюшкин даже высказался следующим образом: «В каком-то смысле хоспис может сыграть роль социального лекарства для нашего общества в целом»².

Интересно, что прямые ссылки на классическую русскую литературу лежат в основе рассуждений о таком «лечении», четко связывающих миссию хосписа с общими задачами культурной интеллигенции. В этом контексте хоспис призван стать частью великой утопической мечты, свойственной гуманизму, и объединить массы в *добровольном* труде по уходу за умирающими. Основой для этого послужили существующие литературные модели, которые подробно обсуждает Иванюшкин:

Добровольцы в хосписах — это «коллективный Герасим» Толстого, словами которого можно исчерпывающе определить их моральную позицию: «Все умирать будем, отчего же не потрудиться?» Подвижники, они своим трудом как бы протестуют против тотальной медиализации смерти в наше время, препятствуют превращению умирания человека в биотехнологический процесс³.

¹ Цит. по: Дубровина Н.И. Дом для жизни. С. 308.

² Цит. по: Там же. С. 309.

³ Цит. по: Там же. С. 312.

Принимая эстафету от Герасима, простого (и простоватого) молодого слуги, помогающего своим человеческим сочувствием умирать сопротивляющемуся Ивану Ильичу, обычный русский гражданин может вернуть общество к его раннему, более чистому доиндустриальному стилю жизни. Нация Герасимов отвернется от опасной реальности постсоветского периода и сосредоточится на простых проявлениях доброты, демонстрируя доморощенный альтруизм русской глубинки, избегающий телевидения с его чуждым опощающим воздействием.

В этой риторической манере смерть Пушкина также фигурирует как парадигма «хорошей» смерти. Как утверждает Андрей Гнездилов, психиатр петербургского хосписа № 1, страдания и смерть раненного на дуэли поэта в 1837 году — типично русская голгофа с обязательным прощанием с семьей, благородным мужеством перед лицом невыносимой боли и спокойным принятием своей судьбы, но без каких-либо аллюзий на физиологические аспекты:

Вспомните Пушкина. Умирая, он безумно страдал. Что же сделал Александр Сергеевич? Он попросил врача сказать ему правду. Он позвал жену и детей, благословил их и стал ждать смерти. Это нормальный, достойный человека уход. Поставлена точка в жизни. Если человек не знает правду о своей болезни, как он поставит точку в жизни?¹

Любопытно, что необходимость информировать пациента о его фактическом диагнозе (как уже упоминалось — относительно новая концепция в русской медицине), упомянутая Гнездиловым лишь вскользь, базируется на *легенде* о пушкинской смертной агонии. Как доказывает в своем исследовании Ирина Рейфман, изначально отчеты о дуэли и смерти Пушкина *подчеркивали* физиологические и ужасные детали его умирания (даже отчет о вскрытии появился в печати), что было довольно необычно для того времени и отличалось от сентиментальных ожиданий откровений на смертном одре, о которых пишет Гнездилов².

Гнездиловская интерпретация во многом близка романтическим сценам смерти, часто встречающимся в литературе и живопи-

¹ Гордеева Т. Андрей Гнездилов: «Находясь рядом со смертью, мы поняли: смерти нет» // Фактор. 1998. № 9. <http://www.hospice.ru/win/gnzdl-f.html>

² Reyfman I. Death and Mutilation at the Dueling Site: Pushkin's Death as a National Spectacle // The Russian Review. January 2001. № 60. P. 76.

си XIX века: умирающий прощается с плачущей семьей, переживающей долгий очищающий спазм горя. Данная версия смерти поэта отражает архитипическое представление о «хорошей смерти», достигаемой простым человеком: аристократ Пушкин умирает как крестьянин. Со времен *Ars Moriendi* подобная практика восприятия смерти делает упор на приготовление, приведение в порядок всех земных дел и спокойное принятие судьбы. В сходной манере Солженицын описывает «хорошую смерть» простого человека в романе «Раковый корпус»:

Не пыжились они, не отбивались, не хвастали, что не умрут, — все они принимали смерть *спокойно*. Не только не оттягивали расчет, а готовились потихоньку и загодя, назначали, кому кобыла, кому жеребенок, кому зипун, кому сапоги. И отходили облегченно, будто просто перебирались в другую избу¹.

Большая часть дискурса, относящегося к хосписам, охотно заменяет умирающее тело нематериальной вечной бессмертной русской душой, хотя и находящейся под угрозой. Когда русская душа подвергается опасности со всех сторон в суровой постсоветской реальности, только местный, подлинный, «освященный свыше» русский хоспис может ее спасти. Слова Гнездилова мне напоминают многовековые сентенции православия — этого единственного убежища «истинного» христианства после раскола, — перефразированные *mutatis mutandis* в соответствии с современной ситуацией:

Страдание — явление сложное. Страдание может причинять не только физическую боль, но и душевную... Мы не избегаем этих трудных вопросов. У нас очень много построено на духовном контакте. ...Английские врачи мне сказали: «Нам, наверное, придется в Англии заново открывать хосписы. Потому что мы перешли на общение с больными через таблетки, через процедуры, и т.д. Мы уже очень мало общаемся с больными непосредственно, глаза в глаза, душа в душу». А у нас все время есть возможность, когда человек выплывается, когда он твою руку будет держать... Все то, с

¹ Солженицын А. Раковый корпус. С. 81 (курсив в оригинале). Также см.: Толстой Л.Н. Три смерти // Толстой Л.Н. Повести и рассказы. М.: Советская Россия, 1982 [1859].

чего начиналось хосписное движение, у нас сохранилось и поддерживается. ...[Англичане] сказали, что у нас нет медикаментов, у нас нет каких-то препаратов, но мы возмещаем это самими собой, человеческим фактором¹.

В статьях Гнездилова обосновывается стремление обеспечить «красивую смерть» с помощью сложных вспомогательных устройств и приемов (добавляя «магию» к визуальному полю) или вообще пренебречь видимым, делая упор на вербальное, невербальное и невидимое. Его приемы включают театротерапию, сказкотерапию, куклотерапию, которые предполагают ролевое поведение и принятие новой личности, нагруженной аллегориями, для замещения суровой реальности. Православный Гнездилов не отдает себе отчета в том, как близко такие действия подходят к откровенному тотемизму и идолопоклонству. Например, декорации, которые он использует в куклотерапии, часто начинают жить своей собственной магической жизнью. Одна из раковых больных в последней стадии уверяла, что, когда она прижимала к больным местам одну из его кукол — «принца Щелкунчика», это снимало боль². Сам Гнездилов упоминает, что родственники похоронили эту больную вместе с куклой — «согласно ее последнему желанию»³. С другой стороны, Гнездилов уверяет, что ему встречались случаи обезболивающего влияния колоколов, когда он изучал традиции смерти и похорон в России. Он уверяет, что звон колоколов соответствующего тона уменьшал боль «через 10 минут»⁴.

«Мы не умели умирать»

Завершая статью, я хотел бы вернуться к книге Кантонистовой «Все так умирают?» как к напоминанию о том, что смерть — это не только биологическое, но и глубоко культурное явление, подверженное влиянию объективно-исторических сил, подобных тем, что властвуют в России два последних десятилетия. Как уже упо-

¹ Гнездилов А. Интервью с автором. С.-Петербург, январь 2002.

² Он же. Путь на Голгофу. С. 90.

³ Гнездилов А. Психология и психотерапия потерь. СПб.: Речь, 2002. С. 94.

⁴ Он же. Путь на Голгофу. С. 86.

миналось, книга Кантонистовой — свидетельство перехода, запечатлевшее «неправильное» умирание в позднепостсоветский период. Сопоставления с только что приведенными суждениями/высказываниями о хосписах безошибочно свидетельствуют о том, каким изменениям подверглась смерть в России за столь короткое время.

«Все так умирают?» включает в себя биографию, документы-первоисточники (письма, фотографии, рисунки), эпитафии, горькие речи о неэффективности западноевропейской медицинской системы и нескончаемые лирические пассажи о материнском горе. Переплетение этих текстов и тем призвано обрисовать порой истерическую, но чаще трогательную картину болезни и угасания молодой женщины. Подобно танатографиям, написанным родителями умерших детей, книга Кантонистовой инфантилизирует Женечку (в ней содержатся сотни ее любовных уменьшительных имен) и одновременно возводит ее в статус некой позднепостсоветской сверхженщины, указывая на потенциальное блестящее будущее, которому не дал реализоваться мрачный диагноз. Женечка воплощает все Новые Русские Ценности верхушки среднего класса современной России: молодая, но уже многого достигшая (опытный сотрудник американского агентства международного развития, она работает в Совете Европы и живет в Страсбурге); красивая и интеллектуально одаренная (говорит на нескольких языках, обладает «прекрасной эрудицией и памятью», победительница всевозможных соревнований); космополит, обожающая путешествия, познавшая все лучшее в жизни.

Описания классового происхождения и сентиментальные изображения героини как вундеркинда в воспоминаниях «Все так умирают?» напоминают фундаментальную танатографию Джона Понтера «Смерть, не гордись» (1949). Несмотря на месяцы пропущенных за время в больнице занятий, семнадцатилетний сын автора Джонни успешно сдает несколько экзаменов по химии и поступает в Гарвард. Он проводит бесчисленные научные эксперименты. Он правит отцовские рукописи для публикации и учит отца играть в шахматы. Он даже ведет переписку с Альбертом Эйнштейном и приводит в изумление профессора-физика, выбирая для обсуждения космологические темы. И все это — на фоне мужественной борьбы с опухолью головного мозга, которая выдается из его раскрытого черепа.

Обе работы утверждают, что они словесно запечатлели своих умерших героев с тем, чтобы те «жили» для других. Несмотря на

это общее сходство, между книгами много существенных различий. В то время как Кантонистова никогда не подвергает сомнению превосходство своей дочери в вещах земных и духовных, Гюнтер в своей много более скромной работе признает собственную предвзятость: «Я не хочу, чтобы это было... сочинением на тему “Светлые мысли о детях” или чем-то вроде панегирика, за предание которых бумаге можно простить любого любящего и лишившегося ребенка родителя»¹. Во вступлении же он выражает *raison d’être* жанра: «Я пытаюсь сказать, пусть неумело и нечетко, что история храброй борьбы за жизнь вопреки самой безнадежности уместна, нужна и, возможно, содержит некий урок любому, кто оказался лицом к лицу с болезнью»².

Кантонистова, давшая своему мемуару подзаголовок «Плач по Женечке (1972–1999)», тоже обнаруживает педантичную рассудочность, пронизывающую танатографию, хотя и более высокопарную и пессимистичную по своему стилю:

Нам кажется, уход человека что-то значит для других, как-то отзывается в сердцах. Не стоит заблуждаться. Он значим только для нас, боготворящих и боготворимых, а ты, Женечка, боготворима нами. И временами понимаешь: это так и должно быть, и так хорошо. Недаром говорят, и говорят верно, хотя и всякий о своем: каждый умирает в одиночку.

Содрогаясь, и хочется, конечно, чтобы кто-то всей душой не разделил, нет, такое разделить нельзя (вот Бродский пишет: «Ведь если можно с кем-то жизнь делить, то кто же с нами нашу смерть разделить»), а проводил и оплакал бы. А взаправду так и надо: умирать одному, как мудрые звери. Просто нужно не бояться. Моя маленькая Женинька, как ты меня к этому готовила, я не имею права не принять твой урок³.

Подобно матери в сокуровском фильме «Мать и сын», Женечка воплощает поразительное достоинство и инфантильность умирающих; беспомощные и уменьшенные до степени простых, зависимых тел, их души сияют ярче, чтобы наставлять покинутых.

¹ Gunther J. Death Be Not Proud. P. 4

² Ibid.

³ Кантонистова Н., Гринберг П. Все так умирают? С. 32–33. Далее все указания на страницы в этой книге даны в скобках в тексте.

Подобное изображение умирающих как провидцев (в предисловии Кантонистова отмечает, что Женечка «открыла для себя в жизни и смерти нечто недоступное многим из нас, “свободным” от этого») превратилось в основной элемент жанра¹. Гюнтер, однако, не акцентирует этой стороны своей истории. Джонни создает модель поведения лишь собственными достоинством и мужеством перед лицом смерти, он вовсе не раскрывает тайн жизни как таковых. Для Кантонистовой Женечка превращается в идола, объект почитания и поклонения.

Гюнтер и Кантонистова оба подчеркивают самоотверженную «хорошесть», свойственную умирающим детям. Джонни беспокоится о том, как его диагноз подействует на мать, и никогда и не помышляет о том, чтобы сдаться перед лицом неизбежной, как ему, вероятно, известно, смерти. Женечка действует с безоглядной смелостью (3). Однако обе книги преследуют заведомо разные цели. Возможно, в силу своего журналистского прошлого Гюнтер наполняет страницы медицинскими терминами и описаниями процедур, неустанным поиском альтернативных средств, обилием информации о работе в сфере лечения раковых болезней и часто высказываемой надеждой, что что-то, «вот прямо за углом», может спасти жизнь Джонни. Несмотря на мрачную тему, «Смерть, не гордись» создает жизнеутверждающее, оптимистическое ощущение того, что преодолеть можно все. Легко проследить связь идеи о «возможности преодолеть все» с тем, что фольклорист Алан Дандес называет «принципом безгранично хорошего» в американской культуре, т.е. с той идеологически конструктивной логикой, которая всегда верит в решение даже заведомо неразрешимых проблем и ищет эти решения². Весьма умеренная критика медицинской системы, озвученная Гюнтером, ограничивается, главным образом, неоднократным повторением наблюдения о том, что врачи не говорят ему «всего». Временами его идеалистическая вера в «хорошесть», свойственную врачам, почти достигает фарса: «По меньшей мере два доктора... убеждали нас поместить пластину на череп

¹ «Вторники с Морри» Митча Албома, например, представляют собой целую книгу «особых уроков жизни», которые может достоверно передавать лишь умирающий. См.: *Albom M. Tuesdays with Morrie*.

² *Dundes A. Folk Ideas as Units of Worldview // Toward New Perspectives in Folklore / A. Paredes, R. Bauman (eds.). Austin: University of Texas Press, 1972. P. 93–103.* Нэнси Рис упоминает эту связь в своей книге (*Ries N. Russian Talk: Culture & Conversation During Perestroika. Ithaca: Cornell UP, 1997.*

Джонни, что, возможно, уменьшило бы опухоль. К тому же, если вдавить опухоль внутрь, это убило бы его. Эвтаназия, конечно, запрещена в Соединенных Штатах. Но врачи всегда стремились быть милосердными»¹. Среди прочего доктора забыли упомянуть, что после операции мальчик останется слепым. И, наконец: «Очевидно, у Джонни произошло церебральное кровоизлияние. Эта опухоль поразила кровеносный сосуд. Из всех врачей, что столько раз обрисовывали нам, как может наступить конец, ни один даже не предположил, что он может быть таким»².

Со времени издания «Смерть, не гордись» в танатографической литературе (особенно за последние три десятилетия) многократно подчеркивались бездейственность и холодное безразличие медицинского персонала, ухаживающего за умирающими в последние дни их существования. Именно это, в сущности, и заставило Кюблер-Росс проводить среди американских врачей «программы по развитию чувствительности», вошедшие сегодня в широкую практику. Однако даже самая суровая критика в адрес медицинской системы, озвученная зарубежными авторами, вряд ли может сравниться с тем отвращением, которое постоянно демонстрирует в своей книге Кантонистова. С момента, когда Женечке был поставлен диагноз лейкемия, до ее последнего курса химиотерапии, борьбы, комы и смерти Кантонистова не колеблясь обвиняет врачей, медсестер и других медицинских служащих в жестокости и садизме:

Здесь с больными не миндальничают, не церемонятся: в первый же день выкладывают им диагноз и малоутешительный статистический прогноз. Обрушивают на человека, и без того выбитого из колеи, ослабленного недугом, удар предстояния перед смертью. Всякому ли такое под силу? Вы верите в описываемую в книгах «философскую смерть»? Господа врачи, вы знаете таких людей, свободных от ужаса, страха смерти, страха умирания? И себя причисляете к таковым? Что же, у вас будет возможность испытать себя на этом поприще. Всей силой своего страдания желаю успеха, господа, вам, натешившимся зрелищем чужих страданий и смертей и потерявшим представление о смертной муке, о цене человеческой жизни. А коль скоро вы не цените тутошнюю земную жизнь, то и место вам не в больнице, а где-нибудь в святой обите-

¹ *Gunther J. Death Be Not Proud.* P. 57.

² *Ibid.* P. 135.

ли или святом одиночестве. Так ведь нет, все вы — махровые материалисты. Это я вам, доктор Мульвазель, и вам, доктор Курц, не пощадившим, не подарившим надежды людям, доверившимся вам. Для этих врачей человек не имеет права на болезнь, или, если иначе, болеющий не есть человек. Мой же страшный опыт ровно о другом: в противостоянии болезни, в смертельном риске человек духовно растет и дорастает до самого себя, до сопричастности чужой, нет, не чужой — общей боли. А по гамбургскому счету мой крик, мой протест обращен ко всей современной медицине, внедрившей в умы своих адептов такое безжалостное отношение к мученикам, и ко всем моим беспощадным современникам, разделяющим такой этический подход, простить которым Женечкину предсмертную муку и смерть по эту сторону смерти, преодолеваемые Женечиным бесстрашием и силой духа и все равно непреодолимые, не могу (17–18).

В этой длинной тираде, незначительные вариации которой, собственно, и заполняют бóльшую часть 200-страничной книги, особенно бросаются в глаза две вещи. Во-первых, книга — пример того, что антрополог Нэнси Рис характеризует как ритуальные «речи бессилия», т.е. механизм, компенсирующий социальную беспомощность. Являясь полной противоположностью дандесовской «безграничной хорошеести» и гюнтеровской идее «возможности преодолеть все», эти речи, происхождение которых Рис относит к дохристианским речевым жанрам песен плача и горя, вызывают к чувству бессилия и ощущению жертвенности через бесконечное повторение экзистенциально жуткого, неизменного «хаоса» современной русской жизни¹. Эти «идеологические стены» дискурса (сквозь которые не может проникнуть предположительно беспомощный русский) нередко содержат ссылки на бессердечие тех, кто облечен властью (в данном случае — врачей), критикуя их предвзятость, плохое обращение и натурализируя дихотомию «низкий злодей / добродетельная жертва». Подобный род выражения привлекает Кантонистову куда больше, нежели квазинаучные рассуждения о собственном ребенке в стиле Гюнтера.

¹ Ссылаясь на исследования дореволюционных крестьянских прошений к царю и на анализ писем советских граждан во власть 1930-х годов, Рис подчеркивает поразительные черты сходства этих текстов: описания ежедневных мытарств, причитания по поводу произвольного деспотизма сильных мира сего, выражения отчаяния и т.д. *Ries N. Russian Talk: Culture & Conversation During Perestroika*. Ithaca: Cornell UP, 1997. P. 122.

Если «безразличный врач» уже стал для жанра танатографии определенным типологическим приемом (хотя в столь очевидно непривлекательном виде он появляется довольно редко), то вторая очевидная особенность литании Кантонистовой — ее яростная ксенофобия — не имеет с традиционной танатографией ничего общего. Неприязнь Кантонистовой к иностранцам парадоксальна, поскольку она, не колеблясь, лечит дочь за границей (большей частью во Франции), где, как настаивают ее российские врачи, качество здравоохранения превосходит российское. При этом почти комическим образом горящая семья постоянно сталкивается с потоком невероятно грубых, безразличных иностранцев, включая, например, медсестру, не верящую в то, что умирающих стоит лечить; гротескную старуху, кричащую: «Ждешь смерти?» (102); ветреного Гэри, бывшего коллегу по работе, который неожиданно звонит из Америки, заявляя, что оставил жену и детей и хочет, чтобы Женечка приехала жить с ним: это на время поднимает ее дух, однако Гэри не звонит больше ни разу; еще одну медсестру, «снисходительную» Сесиль, у которой хватает дерзости спросить, почему Женечка тоскует по дому после трех месяцев, проведенных в больнице (107); еще одного врача, который, комментируя непродолжительную стадию ремиссии болезни Женечки, констатирует: «Вы все равно умрете» (110).

Кантонистова открыто сравнивает этих «плохих» иностранцев с добросердечным, подчеркнуто более эмоциональным русским доктором Шкловским, у которого всегда находится для Женечки доброе слово поддержки, хотя — как кажется — собственно лечение его совершенно не занимает. Единственный из врачей, он соглашается с Женечкиной семьей в том, что не вся надежда потеряна. Однако другой русский врач бестактно предсказывает Женечкину смерть. Впервые услышав диагноз в Москве, Кантонистова обращается к доктору Грибановой с идеей пересадки костного мозга. Услышав про пересадку, врач холодно отвечает: «До пересадки мозга надо еще дожить» (11).

Хотя подобное проявление бесчувствия российских врачей и возмущает Кантонистову, в воспоминаниях она снижает его эффект, превращая его лишь в одно из многих в цепи разочарований; рассказ о Грибановой немедленно сопровождается фразой: «Еще один удар в солнечное сплетение, а сколько их еще будет» (11). Показательно и другое: русская врач оговаривается лишь при Кантонистовой; бесчувственные иностранные доктора выдают свои

самые мрачные, самые безнадежные прогнозы даже тогда, когда девушка может их услышать. Наконец, пессимистическое высказывание Грибановой бледнеет на фоне речи «доброго» доктора Шкловского, который ободряет Кантонистову словами: «С этим диагнозом можно жить и иметь семью». Ее вера вдохновлена, и она пишет: «“Жить и иметь семью” — так я себе потом твердила, как твердила и Женечке» (11).

Примеры подобной словесной первой помощи со стороны заграничных врачей в воспоминаниях Кантонистова отсутствуют. В тех немногих случаях, когда иностранный доктор завоевывает ее уважение, она всегда сдерживает свое одобрение. Так, добрый доктор Лутан, несмотря на свои усилия, характеризуется как пессимист, никогда не оставляющий мысли о том, что Женечка умрет. В других сходных случаях доктора лишаются своих имен, превращаясь в абстрактные фигуры.

Помимо докторов, обвиненных Кантонистовой в небрежном лечении (крест на ее дочери был поставлен слишком рано), особую неприязнь автор танатографии выражает по отношению к французской «мадам», навещающей Женечку из якобы филантропических побуждений. В действительности, по мнению Кантонистовой, «мадам» ценит лишь то, что эти визиты способны положительно повлиять на ее имидж. По какой-то необъяснимой причине «мадам» первой сообщает Женечке о ее неизбежной участи, обойдя тем самым даже «апокалиптических» врачей. Как заключает Кантонистова, «мадам» лишает детей их драгоценных надежд, «лишь бы первой увидеть потрясенные лица родителей. Чем не зрелище?» (99) Она продолжает:

...Хочу предостеречь доверчивые души от филантропов той масти, что приходят в качестве духовных наставников к обреченным, руководствуясь сведениями, якобы полученными от каких-то несуществующих подруг, чьи имена они потом совсем забывают, размывая тем самым напрочь ответственность за свои зловещие слова... Полагают, что они филантропы — при том, что их временные затраты не будут значительны, а почет и самооценка определенно приумножаются. И сегодня, девятнадцатого августа, спустя девять месяцев после Женечкиной смерти, после всех моих вопросов и выпадов в адрес мадам наяву и во сне, нам принесли от нее цветы со словами «соболезнования» (не беспокойся, Женечка, я эти цветы выбросила). И не случаен этот срок, сами эти прошед-

шие девять месяцев: мадам стояла у истоков Женечкиной смерти. Вообще-то, мадам, я рисую образ сколь конкретный, столь и собирательный, оттого вы в моих воспоминаниях имени не имеете. И на своем «милосердном» поприще вы вовсе не одиноки, хотя и не все столь высокообразованны и комильфотны, сколь вы (101).

И снова Кантонистова противопоставляет поверхностную, озаченную своим имиджем и неосторожную в словах иностранку глубоко страдающей, серьезной русской девушке, для которой слова очень много значат. В силу своего неведения относительно чувствительности русской души «мадам» стала той самой иностранной силой, на крыльях которой и прилетела смерть.

Этот, вероятно, атаквистический шовинизм резко контрастирует с самоидентификацией семьи Кантонистовой как европейски образованных и много путешествовавших людей. В воспоминаниях цитаты из Шервуда Андерсона, Рильке, Жан-Поля Сартра и т.д. дополняются выписками из Бродского, Окуджавы, Гумилева и других известных представителей российской интеллигенции; Женечка читает Томаса Манна; фотографии запечатлели разные уголки Европы и т.п. Этот космополитизм резко идет на убыль, когда дело касается смерти и Женечкиных чувств. Кантонистова явственно стремится показать принципиальную уникальность и «русскость» всего, что связано с Женечкой.

Я хотел бы завершить этот краткий обзор воспоминаний Кантонистовой (которые не вызвали интереса сколько-нибудь сходного с эффектом, произведенным в свое время книгой Гюнтера) анализом одного аспекта, крайне важного для настоящего исследования. А именно на том особом внимании к визуализации смерти и опыта умирания, который характерен для этих мемуаров. Отвращение Кантонистовой к иностранцам, столь ярко артикулированное в сюжете с «мадам», во многом связывается в книге с их постоянной озабоченностью своим имиджем, их повышенным вниманием к поверхности (а не к сущности), их неустанным извращенным стремлением лицезреть следы смерти в Женечке и ее близких. Так, «мадам» подвергается яростным выпадам со стороны Кантонистовой за ее желание первой увидеть «ужас на лицах пораженных родителей». Многие отрывки книги содержат гневные отповеди тем любопытствующим, которые нарушили семейное уединение: вид прохожих, глазающих на полысевшую от химиотерапии Женечкину голову, доводит мать девушки до крика. Кантонистова уподоб-

ляет свою жизнь испытанию в кунсткамере, нередко используя выражение «быть выставленным напоказ»:

Схлынула волна посетителей. Зрелище больной, гибнущей девочки перестало быть интересным, и мы, наученные горьким опытом, были тому рады. Кому же хочется выставлять себя на обозрение тем самым зевакам, что с удовольствием глазают на жертв катастрофы. Когда-то слова одного из врачей, раздраженного первоначальным наплывом посетителей, по обыкновению противопоставляющих свою гуманность профессиональной, врачебной: «Что вы, Евгения, от них ждете, это же любопытство одно, и ничего другого», — показались циничными и вызвали у нас протест. Я сегодняшняя, надломленная и ожесточенная, с этим доктором соглашусь (98).

Как Софья Андреевна у постели умирающего мужа, Кантонистова с дочерью ощущают стеснение, будучи выставленными напоказ перед толпой. Но в отличие от отстраненной жены графа Толстого, они не усвоили «роли» сочувствующей жертвы, стойкого страдальца на пороге смерти. Главным образом это происходит потому, что почти на всем протяжении книги они отказываются признать поражение: «Нет, мы не готовы и не собираемся готовиться, в нас отвержение и бунт, мы еще не растеряли силы для сопротивления ужасу и болезни — такого исхода быть не может, Женечка будет жить» (29).

Это волевое решение «бороться до конца» выдает неспособность Кантонистовой найти для себя роль, отвечающую обстоятельствам; по мере того как ситуация усугубляется и Женечкино здоровье ухудшается, позиция дерзкого непокорства распадается, не оставляя ничего взамен. Сама она говорит: «Мы балансировали, не умея пристать ни к тому, ни к другому берегу, без почвы под ногами» (179). Запоздалое решение этой дилеммы приходит через фетишизацию Женечкиного страдания; через провозглашение ее мученицей: «Да, мы как будто знали: скорби, испытания, посылаемые человеку Промыслом Божиим, — верный признак избранности человека Богом» (179); через презрение к возмутительно неэффективной и бессердечной медицинской системе, к глазеющим иностранцам; и через воздаяние — от страницы к странице — «некрофилического» долга уважения умершей девушке.

Как водится в большинстве современных танатографий, воспоминания завершаются тем, что Женечка решает наконец прекра-

тить лечение, выписывается из больницы и умирает в уединении дома — таков ее «выход». Конечно, Женечка умерла бы в любом случае, однако форма ухода, выбранного ею, оказывается запрограммированной стремлением воспринимать себя сверхженщиной, квазирелигиозной фигурой. Страдания Женечки за последние два года ее жизни становятся свидетельством ее «святости», оказываются неотделимыми от нее. Ближе к концу книги Кантонистова пишет: «Мы не знали: примериваться ли нам к смерти, искать ли в ней свет, освобождаться ли от страха перед ней. Или же выращивать в себе надежду, учиться бесстрашно жить на краю смерти. ...А если попросту: мы не умели умирать» (179).

«Все так умирают?» воспринимается как совершенный анахронизм, пережиток давно минувшей эры, как текст, увидевший свет в 1961-м, а не 2001 году. Похоже, книга появилась в мире, где еще не было хосписов, в мире, где ничего не знают об исследованиях Кьюблер-Росс. Я бы даже сказал — в советском мире, где врачи еще не научились серьезно относиться к автономии пациентов; где «лечение комфортом» через контроль над болевыми симптомами (вместо заикливания на заведомо невозможном излечении) еще не было изобретено. В мире, где неизвестна альтернатива медленному, болезненному, полному унижению угасанию в больнице. В мире, где каждый пациент должен придумывать подобные альтернативы сам.

Еще сильнее озадачивает то, что ко времени создания мемуаров уже более трех десятилетий хосписы были широко распространены в Западной Европе, подстегивая социальную революцию в отношении к «смерти с достоинством» и активно стараясь предотвратить дурное обращение с больными, столь яростно критикуемое Кантонистовой. В книге «Все так умирают?» новейшие взгляды на смерть — о ней теперь можно открыто говорить в кабинете врача — сталкиваются со старыми советскими запретами на упоминания о смерти в присутствии больного. Кантонистову, кажется, действительно потрясает факт, что все ведут себя столь «смирненно» по отношению к смерти; для нее смириться — значит предать или «поставить крест» на пациенте. Этот старомодный взгляд преобладает в книге, побуждая меня называть ее «советской». Однако мемуары демонстрируют и то, что модель «умалчивания» ведет лишь к еще большим боли, гневу и отчаянию — мудрость, распространенная по всему миру движениями «Смерть с достоинством».

Заключение

Антрополог Ренато Розальдо во введении к своей книге «Культура и истина: Переоценка социального анализа» (написание которой, по признанию автора, в какой-то мере имело целительное воздействие на его отношение к смерти жены) подчеркивает необходимость внимания не только к содержанию («плотности») организованного ритуала, но и к той роли, которую играют сопровождающие его эмоции. В поисках противовеса «отвлеченному» структуралистскому подходу (с его акцентом на структуре похоронного обряда) в спектре реакций на смерть, задаваемых культурой, Розальдо попытался восстановить в правах категорию *аффекта*. Хотя в своих антропологических исследованиях Розальдо и не отрицал культурную специфику процесса скорби, свойственную изучаемым им культурам, по его признанию, до собственного столкновения со «всеобщим» человеческим испытанием — утратой — он не «осознавал» в полной мере того, что значат горе и гнев в культуре илонготов:

Ярость илонготов и моя собственная пересекались, скорее, как два круга, отчасти совпадая друг с другом, отчасти расходясь в разные стороны. Они не были одинаковы. Наряду с поразительно сходными чертами ярость, сопутствующая нашему горю, различалась тоном, культурной формой и человеческими последствиями. ...Обращение к собственному опыту помогло мне передать для читателей качество и силу илонготского горя доступнее, нежели более отстраненные формы повествования¹.

Или, как отмечает Том Луц в книге «Плач: естественная и культурная история слез», «смерть может быть всеобщим явлением, но культурный отклик на нее — нет»². Всемирное развитие танатографической литературы за последние полвека происходило на пересечении идеи «всеобщности» смерти и идеи уникальных индиви-

¹ *Rosaldo R.* Culture and Truth: The Remaking of Social Analysis. Boston: Beacon Press, 1989. P. 10—11.

² *Lutz T.* Crying: The Natural and Cultural History of Tears. NY: Norton, 1999. P. 195.

дуальных *аффективных* реакций, сформированных разными культурами. Однако «частный» аффект имеет общественное происхождение. Доказательство тому — «социальное порождение безразличия» к детской смертности в Северной Бразилии¹ или внимание к «культурным сценариям» и нарративному воспроизводству как основным составляющим «тщательно организованной» работы скорби на Западе².

Сравнительно недавно британский социолог Тони Уолтер подверг критике слишком аккуратную, по его мнению, трехчастную формулу процесса утраты: 1) *чувство тяжелой потери* (психологическое состояние утраты), 2) *горе* (частное, «естественное» эмоциональное выражение чувства утраты) и 3) *скорбь* (публичное выражение чувства утраты). По мнению Уолтера, культура контролирует и определяет формы и содержание переживаний «личного» горя не меньше, чем она влияет на характер ритуалов общественного траура³. По точной формулировке Уолтера, «состояние потери — это время неуверенности и уязвимости; как вам подтвердит любой директор похоронного агентства, это период, во время которого люди меньше всего стремятся проявить себя в качестве первопроходцев и эксцентриков»⁴. Поглощенные собственной потерей, мы не изобретаем новых моделей скорби.

Подобно другим танатографиям, текст Кантониновой — с его националистическими и шовинистическими выкладками, с его призывами к православным чувствам и метафизике, с «нравственным мазохизмом» его рассуждений о тщетности всего — ярко демонстрирует то, как российская культура пропитывает, придает форму, порождая аффективные реакции, одной из самых серьезных перемен в жизни человека, в данном случае — смерти дочери. Разумеется, речь идет не о том, что боль и горе автора воспоминаний неискренни или не «аутентичны». Во времена социально-экономических перемен люди, истерзанные потерей своих близких, кажутся наиболее склонными к тому, чтобы переживать утрату по

¹ См.: *Scheper-Hughes N.* Death Without Weeping: The Violence of Everyday Life in Brazil. Berkeley: UC Press, 1992.

² См.: *Seale C.* Constructing Death: The Sociology of Dying and Bereavement. Cambridge: Cambridge UP, 1998.

³ *Walter T.* On Bereavement: The Culture of Grief. Buckingham, Open University Press, 1999. P. xv.

⁴ Ibid. P. 141.

своим испытанным и проверенным культурным сценариям. Но, как я пытался показать на примере воспоминаний «Все так умирают?» и движения российского хосписа, имеющиеся культурные сценарии нередко оказываются морально изношенными, наглядно демонстрируя свою неадекватность стремительно меняющейся социально-исторической действительности, в то время как новые сценарии ключевых культурных практик еще только предстоит освоить.

Так же как Кантонистова (как мы все), русские постсоветского периода в известном смысле «не умеют умирать». Одной из задач данного исследования была попытка осознать и показать, насколько трудно определить «дорогу к смерти» среди множества различных и противоречивых возможностей, появившихся на поверхности русской жизни за последние двадцать лет. Даже самый нежный и гуманный из них — хоспис — отягощен культурным багажом, трансформирующим самый обычный и неизбежный процесс жизни — смерть — во впечатляющую арену нравственной и идеологической борьбы.

3. Настоящее прошлого

Эрик Сантнер

История по ту сторону принципа наслаждения:

Размышления о репрезентации травмы*

Становится все сложнее осознавать теоретические и этические пределы исторических и художественных репрезентаций нацизма и «Окончательного решения», не затрагивая при этом недавние события в Центральной Европе, и прежде всего объединение Германии. Если истории, рассказанные о прошлом (и, в частности, о том, как человек стал тем, кем он стал, или полагает, что стал), до некоторой степени определяются сегодняшними социальными, психологическими и политическими потребностями рассказчика и его/ее аудитории, то очевидно, что радикальные изменения в Европе последних лет не могли не повлиять на имеющийся репертуар репрезентаций тех событий и явлений, о которых пойдет речь в данной работе. Читатель, вероятно, помнит озабоченность Эли Визеля по поводу значения определенной даты — 9 ноября — в историческом воображении современного немецкого общества¹. Дата Хрустальной ночи (*Kristallnacht*) и первые проломы, появившиеся в Берлинской стене ровно пятьдесят один год спустя (1989), превратили 9 ноября в объект борьбы между конкурирующими историческими повествованиями². История уничтожения европейских евреев, вступившая в новую фазу после погромов Хрус-

* Перевод с английского Сергея Ушакина и Елены Барабан. Первая публикация текста: Eric Santner. *History Beyond the Pleasure Principle: Thoughts on the Representation of Trauma* // *Probing the Limits of Representation: Nazism and the Final Solution* (ed.). Saul Friedlander. Cambridge: Harvard University Press, 1992. P. 143–154.

¹ Wiesel E. I Fear What Lies beyond the Wall // NY Times. November 17, 1989. Реакцию в Германии на письмо Э. Визеля см. в: Die Zeit. December 22, 1989. P. 12.

² Разумеется, 9 ноября было предопределено историческими событиями в Германии задолго до 1938 года: 9 ноября 1918-го считалось официальной датой начала Веймарской республики; 9 ноября 1923-го — днем провалившегося Пучка Гитлера (в нацистских празднованиях с этим событием позже были увязаны и погромы Хрустальной ночи 9 ноября 1938 года).

тальной ночи, оказалась — по крайней мере по мнению Визеля — в тени повествования о борьбе и окончательной победе Германии над марксизмом-ленинизмом. Вопрос, волновавший Визеля, в определенной степени заключается в следующем: Не окажутся ли осколки стекла 1938 года погребенными, так сказать, под тяжестью бетона, начавшего свой распад в ноябре 1989-го?

В этой борьбе за повествовательную определенность конкретной даты те, кто знакомы с политической и культурной жизнью Западной Германии 1970—1980-х годов, без труда разглядят контуры процесса, который в течение последней декады все сильнее определяет немецкое историческое воображение и политическое бессознательное¹. Этот процесс можно охарактеризовать как серию мнемонических настроек и перестановок, разыгранных с помощью общественных ритуалов, нарративов, а также других способов культурного производства, которые вновь сделали определенные даты, события, имена, концепции, места, институты и исторические личности доступными для либидинальных нагрузок^{2*}.

¹ Место травматических дат в историческом воображении, а также текстуальные и поэтические операции, с помощью которых эти даты прописываются или блокируются, стали центральной темой в обращении «Der Meridian» Пауля Целана при вручении ему Büchner Prize. В своем тексте Целан задавался таким вопросом — думая, несомненно, о дате Ванзейской конференции (на которой 20 января 1942 года 15 человек из высшего эшелона SS, нацистской партии и министерств Германии приговорили евреев к полному истреблению. — *Прим. пер.*): «Возможно, теперь кто-то скажет, что в каждую поэму вписано свое “20 января”»? Возможно, поэмы, написанные сегодня, отличаются следующим: в них больше стремления хранить память о датах, подобных этой?» (*Celan P. Ausgewählte Gedichte: Zwei Reden. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1968. P. 142.*)

² В этом контексте мне вспоминается финальный монолог Андре Неллера из книги «Наш Гитлер» Юргена Сиберберга. Обращаясь к кукле Гитлера, Хеллер перечисляет предметы, ставшие недоступными для либидинальных нагрузок в Германии: «Ты забрал наши закаты, закаты Каспара Давида Фридриха (немецкий романтический художник, 1774—1840. — *Прим. пер.*). Только тебя можно винить за то, что, глядя на поле ржи, мы думаем лишь о тебе. Своими примитивными работами и крестьянскими картинками ты превратил старую Германию в китч. И только ты в ответе за то, что наши рестораны перестали быть предметом нашей гордости, за то, что люди теперь толпами устремляются в забегаловки, опасаясь, что они могут любить свою работу не только из-за денег, того безвредно вредного, того единственного, что ты им оставил, поскольку все остальное окончательно испорчено твоими поступками. Все: честь, верность, жизнь в деревне, тяготы труда, фильмы, достоинство, Отечество, гордость, вера... Слова “магия” и “миф”, “служба” и “правление”, “Фюрер” и “власти” разрушены, уничтожены, сосланы в вечность» (*Syberberg H.-J. Hitler: A Film from Germany / Trans. J. Neugroschel. NY: Farrar, Straus and Giroux, 1982. P. 242.*)

В этом отношении наиболее известным общественным ритуалом, по всей видимости, стала церемония примирения, состоявшаяся в Битбурге в мае 1985 года, в подтексте которой содержалось не только сентиментальное уравнивание всех жертв войны, но также (в более завуалированной форме) и попытка реконтекстуализировать SS в рамках повествований о долгой борьбе «Запада» против большевизма.

В последующие два года эта общая тенденция и направление мнемонической настройки стали центральным вопросом *Historikerstreit*, дискурсивного события, которое все еще не утратило своего влияния на восприятие недавней истории Германии и — что, пожалуй, даже более важно — на восприятие неоднозначной и зачастую сомнительной роли историка в процессе формирования национальной идентичности¹. Детали этой дискуссии хорошо известны, и я не буду их здесь воспроизводить. Я бы просто хотел отметить, какую роль в этой дискуссии сыграл определенный «нарративный фетишизм».

* Нагрузка — это распределение энергии субъекта по отношению к себе и реальным или воображаемым объектам. В результате такого распределения, например, «состояние скорби приводит к явному оскудению отношений субъекта с внешним миром, что, в свою очередь, объясняется сверхнагрузкой утраченного объекта, как если бы между различными нагрузками внешних или воображаемых объектов, собственного тела, Я и т.д. существовало подлинное энергетическое равновесие» (*Лаплани Ж., Понталис Ж.-Б.* Словарь по психоанализу / Пер. Н. Автономовой. М.: Высшая школа, 1996. С. 243). — *Прим. пер.*

¹ *Historikerstreit* («битва за историю») — публичные дебаты немецких историков по поводу интерпретации Холокоста. Дебаты начались с письма Эрнста Нолте (Ernst Nolte), берлинского историка и бывшего студента М. Хайдеггера, напечатанного 6 июня 1986 года в газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Под заголовком «Прошлое, которое не отступит» письмо отстаивало точку зрения, согласно которой нацистские лагеря смерти и уничтожение евреев были защитной реакцией на «классовое истребление», осуществляемое режимом сталинского ГУЛАГа. В своем ответном письме, напечатанном 11 июля 1986 года в газете «Die Zeit», Юрген Хабермас заметил, что подобный подход низводит трагедию Освенцима до уровня «технологической инновации», которая, в свою очередь, оказывается оправданной путем ссылок на «азиатскую» угрозу со стороны врага, который все еще стоит у наших ворот» (см.: *Habermas J.* A Kind of Settlement of Damages: Apologetic Tendencies // *New German Critique. Special Issue on the Historikerstreit.* № 44. Spring-Summer 1988; см. также сборник документов по дискуссии: *Forever in the Shadow of Hitler? Original Documents of the Historikerstreit. The Controversy Concerning The Singularity of the Holocaust* / Trans. J. Knowlton, T. Cates. Atlantic Highlands, New Jersey: Humanities Press, 1993). — *Прим. пер.*

Под «нарративным фетишизмом» я понимаю конструирование и использование нарратива, сознательная или бессознательная цель которого состоит в том, чтобы стереть следы той травмы или утраты, которая, собственно, и дала жизнь этому нарративу. Использование нарратива в качестве фетиша можно противопоставить иному способу символического поведения, которое Фрейд назвал «работой скорби» (*Trauerarbeit*)¹. И нарративный фетишизм, и скорбь являются ответом на утрату, ответом на прошлое, которое отказывается уходить в силу своего травмирующего воздействия. Работа скорби — это процесс переработки и привыкания к реальности утраты или травматического шока путем их воспоминаний и повторов в символически и диалогически опосредованных дозах; это процесс перевода, метафоризации и олицетворения утраты; процесс, включающий в себя «определенным образом ритуализированную связь между языком и молчанием», как отметил в своей главе Доминик ЛаКапра². В отличие от работы скорби нарративный фетишизм — это способ, с помощью которого неспособность скорбеть или отказ от скорби сюжетно оформляют травматические события; это способ фантазматического развенчания потребности в скорби путем симуляции состояния целостности, которое обычно достигается посредством подмены места и причины утраты. Нарративный фетишизм освобождает человека от необходимости переосмыслить свою идентичность в «посттравматических» условиях; в нарративном фетишизме «*пост*» отложен на неопределенный срок.

Разумеется, здесь могло бы последовать такое возражение: разделять историографию способностью и возможностью осуществить работу скорби нереалистично, если не ошибочно. Целью историков, в конце концов, является интеллектуальная, а не психическая власть над событиями. В этой связи я бы хотел вспомнить, как ЛаКапра деконструирует в своей работе традиционное противопоставление интеллектуальной и психической власти, когнитивного и аффективного аспектов репрезентации, «научного» и

¹ Работа скорби — «внутрипсихический процесс, наступающий вслед за утратой объекта привязанности; в ходе этого процесса субъекту удается постепенно отстраниться от своего объекта». Подробнее см. в: Лаплани Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу. С. 405. — *Прим. пер.*

² См.: LaCapra D. Representing the Holocaust: Reflections on the Historians' Debate // Probing the Limits of Representation: Nazism and the «Final Solution» / S. Friedlander (ed.). Cambridge: Harvard University Press, 1992. P. 108–127.

«мифического», или «ритуализированного», подходов к прошлому¹. Как показывает ЛаКапра в своей интерпретации дискуссии немецких историков, типы и интенсивность динамики переноса², вызываемого травматическим событием, по определению втягивают историка в процесс психической проработки. Любая историческая трактовка такого события, иначе говоря, требует от историка (эксплицитно или имплицитно) определиться с тем, что можно было бы обозначить как контекст его индивидуальной выживаемости. Такая выработка с необходимостью включает в себя попытки дифференцировать и дистанцировать собственные моральные, политические и психологические установки от тех, которые связаны с травматическим событием. Аффект, стиль и скорость, которые характеризуют эту работу по дифференциации, зачастую служат показателями интенсивности отношений переноса, связывающих человека с травмой. Более того, динамика переноса существенно варьируется в зависимости от особенностей конкретного контекста выживаемости или — обратимся еще раз к ЛаКапра — от особенностей конкретной субъектной позиции, занятой историком. Отношения переноса немецкого историка-не-еврея к нацизму и к «Окончательному решению» будут разительно отличаться от отношений переноса израильского историка, занимающегося исследованием тех же событий. И, конечно, не только национально-культурные характеристики, но также и возраст историка и его или ее временная дистанция от рассматриваемых событий будут играть важную роль в определении субъектной позиции³. Однако

¹ *LaCapra D. Representing the Holocaust.*

² Согласно «Словарю психоанализа», «перенос» (трансфер) «в психоанализе означает процесс, посредством которого бессознательные желания переходят на те или иные объекты в рамках определенного типа отношений, установившихся с этими объектами (прежде всего в рамках аналитического отношения)» (*Лапласи Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу. С. 531*). — *Прим. пер.*

³ Например, Сол Фридландер подчеркивал тот факт, что большинство участников *Historikerstreit* принадлежит поколению НН, т.е. поколению, испытывавшему на себе формирующее воздействие участия в движении Гитлерюгенда. См. опубликованную переписку между Солом Фридландером и Мартином Брозатом: *Broszat M., Friedländer S. Um die «Historisierung des Nationalsozialismus» // Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. April 1988. P. 339–372.* Англоязычную версию переписки см. в: *New German Critique. Special Issue on the Historikerstreit. Spring-Summer 1988. № 44. P. 85–126 и особенно p. 339–367.* В этом контексте ставшая печально известной фраза Гельмута Коля о «благе позднего рождения» («*grace of the late birth*») в определенном смысле может рассматриваться не про-

центральным фактором для определения контекста выживаемости является, по моему мнению, работа скорби. Как следует из вышесказанного, в данном случае меня волнует, прежде всего, изучение того бремени и того груза скорби, которые продолжают сопровождать или даже прерывать процесс формирования идентичности в послевоенной Германии. Другими словами, меня занимают проект и *дилемма* выработки национальной и культурной идентичности в Германии после Холокоста. Перед немцами стоит парадоксальная задача взрастить свою «немецкость» в среде осознания тех ужасов, к которым привела предыдущая попытка создания национальной и культурной идентичности¹.

Вероятно, наиболее убедительной трактовкой работы скорби у Фрейда является часть книги «По ту сторону принципа наслаждения», посвященная рассмотрению игры *fort / da* («там / тут»), которую Фрейд наблюдал в поведении своего полуторагодовалого внука². В этой игре ребенок справляется с горем разлуки с матерью при помощи разыгрывания своего собственного исчезновения и возвращения. При этом используются вспомогательные средства, которые Д.В. Винникотт позже назовет переходными объектами. Чувство потери, вызванное отсутствием матери и дополненное растущим осознанием того, что разрыв, обозначившийся между ним самим и матерью, открывает целый ряд непредсказуемых и потенциально опасных возможностей, приводит ребенка к попытке воспроизвести возникновение этого бездонного промежутка в контролируемом пространстве примитивного ритуала. Ребенок переводит, так сказать, свой фрагментированный нарциссизм (который в противном случае мог бы привести к психотическому срыву, к психологической дезинтеграции) в формализованные ритмы символического поведения. Благодаря этой процедуре он оказался в состоянии контролировать дозы отсут-

сто как попытка отречься от вины в связи с преступлениями нацизма, что было бы понятно, но и как отказ от любых отношений переноса, связанных с этими событиями и той ответственностью, которые эти отношения могут породить.

¹ Более подробную дискуссию на тему скорби в послевоенной Германии см. в: *Mitscherlich A. and M. The Inability to Mourn: Principles of Collective Behavior* / Trans. B.R. Placzek. NY: Grove Press, 1975; *Santner E.L. Stranded Objects: Mourning, Memory, and Film in Postwar Germany*. Ithaca: Cornell University Press, 1990.

² См.: *Фрейд З. По ту сторону принципа наслаждения* // Фрейд З. Основной инстинкт / Сост. П.С. Гуревич. М.: Олимп, 1997. С. 200–204. — *Прим. пер.*

ствия, ставшего причиной его горя. Способность дозировать и представлять отсутствие с помощью замещающих фигур, находящийся лишь в шаге от того, что можно было бы назвать их «трансцендентным означающим», позволяет ребенку избежать психического срыва и превратить чувство утраченного всемогущества в сдерживающую форму контроля. Работа скорби, совершаемая в игре *fort/da*, стала объектом пристального внимания в недавних работах исследователей теории литературы и критики именно потому, что она с особой четкостью демонстрирует тот путь, с помощью которого человеческая личность создает себя из обломков собственного нарциссизма¹.

Дозирование определенного негативного — танатотического — элемента в попытке справиться с реальной и травмирующей утратой представляет собой базовое гомеопатическое действие. В гомеопатической процедуре контролируемое введение негативного элемента — символического или, в медицинском контексте, настоящего яда — способствует оздоровлению системы, пораженной схожим ядом. Яд становится лекарством, придающим человеку силы для того, чтобы справиться с потенциально травмирующими воздействиями больших доз морфологически родственного яда². В игре *fort/da* лекарственным ядом стала ритмичная манипуляция означающих и фигур, объектов и слогов, обозначивших от-

¹ Понятно, что такая трактовка игры *fort/da* есть своего рода негативная карикатура первосцены, закладывающей основы процесса осознания различия. Разъединение и приобщение к порядку языка и культуры может быть — и зачастую является — процессом, сопровождающимся выражениями радости и восторга; в «достаточно хорошей» сдерживающей среде, как отмечал Винникотт, психические срывы и конфликты, вызванные ранними столкновениями с различием и разладом, могут быть ограничены и трансформированы в позитивные достижения.

² Работа Самуэля Ханеманна, опубликованная в 1810 году, до сих пор является основой гомеопатической медицинской практики. Приведу пример из этого текста: «...Вещества становятся лекарством, способным поразить то или иное заболевание, только вызывая определенные проявления и симптомы, т.е. такие искусственные условия болезни, которые в состоянии излечить от симптомов, уже имеющих место, и тем самым излечить от естественного заболевания» (*Hahnemann S. Organon of Medicine / Trans. J. Künzli, A. Naude, P. Pendleton. Los Angeles: J.P. Tarcher, 1982. P. 24*). И чуть дальше: гомеопатическая терапия «используется для борьбы против *симптомов в целом*, вызванных естественным заболеванием, при помощи определенно дозированных лекарств, способных вызвать в здоровом состоянии симптомы, предельно схожие с симптомами заболевания» (*Ibid. P. 70*).

сутствие. Эти означающие — контролируемые символические дозы отсутствия и отречения, которые помогают ребенку пережить негативный момент отсутствия матери и (в идеале) стать сильнее.

Рассматривая эти вопросы в несколько другом ракурсе, можно сказать, что работа скорби — это путь, с помощью которого человеческие существа восстанавливают режим действия принципа удовольствия в ходе травмы или утраты¹. Я хочу обратить внимание на замечания Фрейда, которые следуют в работе «По ту сторону принципа наслаждения» за обсуждением игры *fort/da* и касаются поведения травматических невротиков (*Unfallsneurotiker*), которые, перенеся и затем подавив в себе некую травму, снова и снова возвращаются к ней во сне. Фрейд так пишет по поводу подобного повторения в сновидениях:

...Сновидения травматических невротиков, так регулярно переносящие их в ситуацию несчастного случая... служат другой задаче, решение которой должно предшествовать моменту, когда войдет в действие господство принципа наслаждения. Эти сновидения стремятся наверстать преодоление раздражения, развивая для этого чувство боязни, отсутствие которого и было причиной травматического невроза. Они, таким образом, дают нам возможность понять функцию психического аппарата, которая, не противореча принципу наслаждения, все же является от него независимой и кажется более первоначальной, чем намерение получить удовольствие или избежать неудовольствия².

Принимая во внимание гомологии, которые проследживает Фрейд между симптомами пострадавшего от травмы и символическим поведением играющего ребенка, можно сделать вывод, что эти другие, более примитивные психические задачи являются задачами скорби, которые служат делу создания личности и которые должны — на определенном уровне — воспроизвестись в более

¹ Принцип наслаждения / удовольствия — «один из двух принципов, управляющих, по Фрейду, функционированием психики. Цель психической деятельности в целом — избежать неудовольствия и достигнуть удовольствия. Поскольку неудовольствие связано с возрастанием количества возбуждения, а удовольствие — с его ослаблением, постольку принцип удовольствия — это экономический принцип» (*Лаплани Ж., Понталис Ж.-Б.* Словарь по психоанализу. С. 375). — *Прим. пер.*

² *Фрейд З.* По ту сторону принципа наслаждения. С. 218.

поздних переживаниях утраты или травматического шока (у Фрейда речь шла о громадном числе травмированных солдат, возвращавшихся с Первой мировой войны)¹. И ребенок, который пытается справиться с разлукой с матерью, и пострадавший от травмы, который вновь возвращается во сне к пережитому шоку, оказываются в замкнутом кругу навязчивого повторения: будь то попытка вернуть утраченное в контролируемом контексте символического поведения или готовность испытать тревогу (*Angstbereitschaft*), отсутствовавшую во время изначального шока или утраты. Согласно Фрейду, травматизация становится не столько итогом самой утраты, сколько результатом отсутствия соответствующего аффекта — тревоги. И пока такая тревога не будет излечена и проработана, утрата будет по-прежнему репрезентировать отказывающееся уходить прошлое. В конце этого процесса психического управления эго, как Фрейд утверждает в другой работе, становится «свободным и несдерживаемым», открытым для новых либидинальных нагрузок, т.е. готовым к новым объектным отношениям в условиях действия принципа удовольствия. Фетишизм — в том смысле, в котором я здесь использую этот термин, — напротив, является стратегией, с помощью которой индивид старается по собственной воле восстановить принцип удовольствия, при этом игнорируя те другие задачи, решение которых, как настаивает Фрейд, «должно предшествовать моменту вступления принципа наслаждения в фазу своего господства». Вместо того чтобы сфор-

¹ См.: Фрейд З. Скорбь и меланхолия // Фрейд З. Художник и фантазирование. М., 1995. Одним из наиболее полных исследований влияния тяжелой травмы на индивида и группы является работа Роберта Джея Лифтона «Прерванная связь: О смерти и продолжении жизни». Увязывая детские переживания потери с более поздними случаями утраты или травмы, Лифтон замечает: «Выживший — это тот, кто остался жив после телесного или психического контакта со смертью... Отпечатки смерти проявляют себя в виде радикальных вторжений в процесс восприятия чувство-образов, связанных с опасностями или концом жизни. Эти вторжения могут быть внезапными, как на войне или во время происшествий и несчастных случаев, но они также могут растягиваться во времени. Важнейшим в данном случае является ступень неприятия смерти, заключенной в образах — преждевременности, нелепости, абсурда. *Переживание отпечатка смерти с неизбежностью возрождает из прошлого образы либо действительной смерти, либо ее эквивалентов. В этом отношении любое столкновение со смертью есть не что иное, как возобновление опыта предыдущих “выживаний”*» (Lifton R.J. The Broken Connection: On Death and the Continuity of Life. NY: Simon and Shuster, 1979. P. 169. Курсив автора).

мировать символическое пространство для снятия тревоги, нарративный фетишизм прямо или косвенно убеждает в том, что и причины для тревоги, по сути, не было.

Когда Эрнст Нольте спрашивает о том, не стоит ли полагать, что «нацисты во главе с Гитлером совершили это “Азиатское” деяние [т.е. “Окончательное решение”] потому, что опасались, что они сами и им подобные станут жертвами другого “Азиатского” деяния [ГУЛАГа]»¹, он, так сказать, приглашает своих читателей перенестись в пространство (укажем лишь, что оно расположено где-то к западу от Азии), в котором они могли бы чувствовать себя морально и психологически защищенными от травм и утрат — от того, что я называю психотической угрозой, олицетворенной нацизмом и «Окончательным решением». Согласно Нольте, в этой магической зоне к западу от Азии режим принципа удовольствия никогда не подвергался опасности.

Сходное фетишистское употребление нарратива, как мне кажется, можно обнаружить и у других участников немецкой исторической дискуссии. В работе «Zweierlei Untergang», например, Андреас Хильгрубер более или менее осознанно задается программной целью восстановить способность своей немецкой аудитории использовать защитников восточных территорий Германии во время краха Третьего рейха в качестве объектов ее либидинальных нагрузок и беспроblemных идентификаций. Даже несмотря на то, что «героическое» стремление защитников восточных территорий отсрочить ожидаемое возмездие Красной армии — о чем рассказывается с большой долей повествовательного удовольствия — позволило продолжить бесперебойную работу системы лагерей смерти². Сол Фридландер охарактеризовал фетишистскую реинтерпретацию вермахта и событий 1944–1945 годов в работе Хильгрубера следующим образом:

В новой репрезентации вермахт предстал доблестным защитником жертв, которым угрожала советская расправа. Хильгрубер не отвергает преступления вермахта, хотя предпочитает говорить об «оргии мщения» Красной Армии. В то время как эта оргия мщения опи-

¹ Nolte E. Vergangenheit die nicht vergeben will // Frankfurter Allgemeine Zeitung. June 6, 1986.

² Hillgruber A. Zweierlei Untergang: Die Zerschlagung des Deutschen Reiches und das Ende des europäischen Judentums. Berlin: Siedler, 1986.

сывается со значительным пафосом... причины этой оргии — десятки миллионов уничтоженных вермахтом во время расправы с соседями Германии и особенно в Советском Союзе — в общем и целом остаются за рамками нарисованной картины¹.

Стремление к поспешному восстановлению состояния нормальности, т.е. состояния, в котором нормальное функционирование принципа удовольствия не прерывалось и не подвергалось бы психотической угрозе, можно обнаружить и в более морально и историографически ответственных попытках историзировать нацизм и «Окончательное решение».

Несколько лет назад, отстаивая необходимость более подвижных, гибких и насыщенных нарративных подходов к историзации национал-социализма, Мартин Брозат выразил озабоченность в связи с тем, что историки, обращаясь к этому периоду, по всей видимости, блокируют свои способности к интерпретации сопереживания и к тому, что Брозат называет «удовольствием в историческом повествовании» (*«die Lust am geschichtlichen Erzählen»*)². Призыв Брозата к историзации был, таким образом, призывом к более пристальному вниманию к принципу наслаждения в историческом повествовании; несмотря, как это ни парадоксально, даже на то, что речь в данном случае идет о событиях, травмирующее воздействие которых способно дестабилизировать обычное действие этого принципа. Критика Фридландера, ставшая ответом на призывы Брозата к удовольствию от повествования, знакома тем, кто следили за теоретической дискуссией о проблемах репрезентации в отношении нацизма и «Окончательного решения». В моем понимании, суть этой критики состоит в утверждении, что эти события — нацизм и «Окончательное решение» — обозначили крах режима нормального социально-психологического функционирования и, соответственно, переход в область психотического опыта, лежащего за пределами экономики нарративного удовольствия, в ситуации, когда сочувствующая интерпретация этого опыта оказывается едва ли возможной³.

¹ Friedlinalder S. Historical Writing and the Memory of the Holocaust // Writing and the Holocaust / B. Lang (ed.). NY: Holmes and Meier, 1988. P. 74—75.

² Broszat M. Plädoyer für eine Historisierung des Nationalsozialismus // Merkur. May 1985. P. 375.

³ Обращусь еще раз к переписке Фридландера и Брозата. В своем втором письме Фридландер ссылается на комментарий Юргена Хабермаса, в котором

В заключение я бы хотел кратко обсудить динамику нарративного фетишизма, задействованного в той сфере культурного производства, где повествовательное и визуальное удовольствия легко смешиваются, а именно — кино.¹ Приведу пример чрезвычайно успешного фильма Эдгара Райца «Heimat» («Родина»), который впервые появился на телеэкранах в Германии в 1984 году (в настоящее время Райц работает над продолжением «Heimat»). Этот фильм важен в силу целого ряда причин, о которых я не имею возможности говорить здесь подробно². Однако в рамках данной статьи особенно интересно отметить, что одним из эффектов филь-

речь идет о явлении, сходном с тем, что я называю психотическим слоем этих событий: «[В Освенциме] произошли события, о возможности которых никто не мог подумать. Оказалась затронутой глубинная основа той связи, на которой держится общественный порядок (a human countenance)... Освенцим изменил те условия, на которых строилась последовательность исторических связей, — и не только в Германии (*Habermas J. Eine Art Schadensabwicklung. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1987. P. 163*). В своем замечательном эссе о том, как пишется история глазами преступников, Кристофер Браунинг отмечает, что сочувствие и даже определенное нарративное удовольствие могут быть полезными для выявления важных деталей в раскрытии истории массовых убийств. Однако, как свидетельствует заключение статьи Браунинга, даже члены Десятого резервного батальона полиции, которых он исследовал, демонстрируют, как ужас и отвращение со временем теряют свою силу, делая убийства допустимыми. На этом, однако, история Браунинга заканчивается. И вероятно, что на этом заканчиваются и возможности того типа нарративной репрезентации — несмотря на ее призывы к «слишком человеческому», — в изучении которой Браунинг был заинтересован. Сочувствие, иными словами, смогло направлять нарративный проект Браунинга до тех пор, пока преступники демонстрировали историку определенную степень морального и психического противостояния в отношении убийств. Там, где остатки такого противостояния оказались подавленными или уничтоженными, сочувствие, судя по всему, лишалось своего источника. См.: *Browning Ch. German Memory, Judicial Interrogation, and Historical Reconstruction: Writing Perpetrators History from Postwar Testimony // Probing the Limits of Representation: Nazism and the «Final Solution» / S. Friedlander (ed.). Cambridge: Harvard University Press, 1992. P. 22—36*.

¹ То, что следует дальше, отчасти строится на прочтении феминистской критики вуайеризма и фетишизма в сюжетном кинематографе. См., например, каноническое эссе: *Mulvey L. Visual Pleasure and Narrative Cinema // Screen. 1975. №16 (3). P. 6—18*. Рус. перевод: *Малви Л. Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф // Антология гендерной теории / А. Усманова (пер.); Е. Гапова, А. Усманова (сост.). Минск: Пропилеи, 2000. С. 280—296*.

² Детальную дискуссию по поводу этого фильма см. в моей работе «Stranded Objects»; см. также: *Kaes A. From Hitler to «Heimat»: The Return of History as Film. Cambridge: Harvard University Press, 1989*.

ма (можно лишь предполагать, насколько сознательным было достижение этого эффекта) является попытка сделать слово *Родина* (*Heimat*) вновь доступным для либидинальных нагрузок в Германии, пусть лишь в качестве элегического знака чего-то безвозвратно утраченного. Подобно исторической дате, о которой шла речь ранее, на протяжении фильма Райца слово *Родина* становится объектом конкурирующих повествований. Слово, или, можно сказать, «мифема», активно фигурирующая в рассказе о социальной маргинализации и последующем уничтожении евреев Европы, становится, так сказать, реокупированной в ином идеологическом и повествовательном ансамбле, архитектура которого позволила немцам увидеть и почувствовать себя в качестве жертвы, в качестве обездоленных.

Подобная реокупация *Heimat* приобретает дополнительные смыслы, если мы вспомним, что лента задумывалась Райцем как контрфильм по отношению к американскому телефильму «Холокост» (1978). Фильм Райца во многом выступал как стратегия возвращения памяти — и, что более важно, как возобновление наслаждения от рассказывания, от которых немцы вынуждены были отказаться под всеохватывающим воздействием американской культурной индустрии в целом и таких медиапроектов, как «Холокост», в частности. (Райц полемически охарактеризовал эстетику, материализованную «Холокостом», как «настоящий террор» XX века¹.) Немцы, по утверждению Райца, вынуждены были отказаться от своих неповторимых, локально обусловленных воспоминаний и опыта под воздействием морального террора зрелищ типа «Холокост»². Сопrotивляясь этому террору, работа Райца делала акцент на сохранении частного опыта, местной истории, локальных воспоминаний.

У наших людей есть тысячи рассказов, которые стоят того, чтобы о них снимали фильмы; эти рассказы основаны на раздражающе

¹ Reitz E. Liebe zum Kino: Utopien and Gedanken zum Autorenfilm 1962—1983. Cologne: Verlag Koln 78, 1984. P. 141.

² Критику визуального и нарративного удовольствия в фильме «Холокост» см. в заметках Эли Визеля по поводу этого фильма («NY Times. April 16, 1978»). Обсуждение темы эстетики и политики сочувствия — ставшей центральной в известной полемике «Expressionismus—Debatte» — в контексте западногерманского восприятия фильма «Холокост» см.: New German Critique. Winter 1980; см. также: Kaes A. From Hitler to «Heimat».

детальном опыте жизни, но не связаны напрямую с попытками дать новую оценку или новую интерпретацию общей истории. Однако, взятые в совокупности, эти рассказы в состоянии восполнить данный пробел. Нельзя оказываться в стороне от попыток воспринимать нашу собственную жизнь всерьез... Авторы всего мира стараются вернуть себе право собственности на свою собственную историю и, таким образом, право собственности на историю группы людей, к которой они принадлежат. Часто они обнаруживают, что их история вырвана из их собственных рук. Лишение личности его / ее собственной истории является наиболее серьезным актом экспроприации. Американцы лишили нас нашей истории с помощью «Холокоста»¹.

Наслаждение от рассказывания об истории Германии XX века возвращено и утверждено с лихвой в «*Heimat*». Однако, как отметили многие критики, восстановление повествовательного и визуального удовольствия Райцем, по всей видимости, идет по пути фетиша, т.е. за счет отрицания травмы, обозначенной «Окончательным решением». В данном случае важно помнить, что регистрация *факта* события, т.е. того, что событие состоялось, не исключает продолжения вытеснения травмирующего воздействия этого события.

Сцена, которая, пожалуй, лучше всего иллюстрирует фетишистский аспект использования Райцем повествовательного и визуального нарративов в фильме, происходит в самом начале. Эта сцена блестяще предвосхитила сценарий, нарисованный Эли Визелем в отношении 9 ноября. Идет 1923 год, Эдуард и Полин едут на прогулку в Симмерн, самый большой город возле Шаббаха. Уединившись, Полин останавливается у окна-витрины городского часовщика и ювелира. Внезапно сзади к ней подбегает группа молодых людей — включая и самого Эдварда, как обычно, вооруженного фотоаппаратом и треножником, — и начинает швырять камни в окно квартиры над магазином часовщика, где, как выясняется, живет еврей, прозванный сепаратистом. Группу прогоняет полиция, но осколки разбитого стекла ранят руку Полин. Роберт Кребер, часовщик, знаками приглашает ее войти в магазин, где он обрабатывает ей руку; таким образом завязывается роман между Полиной и Робертом. Чуть позже в фильме — идет уже 1933 год —

¹ Reitz E. Liebe zum Kino. P. 102.

мы узнаем, что женатые Полина и Роберт покупают квартиру еврея. Как замечает Роберт: «Дом принадлежит ему, и он хочет его продать... Вольная жизнь для евреев закончилась».

Эта небольшая версия Хрустальной ночи показывает, как осколки разбитой жизни еврея — мы ни разу не увидим его в картине — моментально превращаются в сентиментальную историю провинциальной любви и ухода. Хотя Райц обращает наше внимание на то, что опыт и нарратив возникают вокруг таких слепых пятен, он, однако, не позволяет этим потенциально травмирующим моментам нарушить экономику нарративного и визуального наслаждения, выдержанного в фильме на протяжении пятнадцати с половиной часов. Эта последовательность, без сомнения, является одной из причин необыкновенного успеха картины. «Heimat» предлагает зрителям возможность проследить хронику истории Германии XX века, в которой наслаждению от исторического нарратива (*die Lust am geschichtlichen Erzählen*) ничто не угрожает.

В этой статье я утверждал, что нацизм и «Окончательное решение» нуждаются в теоретическом осмыслении под знаком массивной травмы; эти события должны рассматриваться и анализироваться с точки зрения их способности нарушить и подавить формирование и стройность индивидуальных и коллективных идентичностей, оказавшихся в зоне смертельного влияния этих событий. Вновь, обращаясь к метафорам, предложенным Фрейдом при обсуждении травматического невроза, можно сказать: для тех, чья жизнь оказалась затронутой событиями, о которых шла речь выше, эти события — даже на протяжении одного или двух поколений — могут представлять такую степень перевозбуждения психических структур и экономик, что нормальное функционирование психики (под эгидой принципа наслаждения) может быть прервано и могут возобладать другие, более «примитивные» задачи. Таковы задачи восстановления того, что Фрейд обозначил как *Reizschutz*, защитный покров или психическая кожа, которые обычно регулируют поток стимулов и информации, пересекающий границы личности. Еще раз процитирую «По ту сторону принципа наслаждения», работу, которая является наиболее серьезной попыткой Фрейда сформулировать теорию травмы:

Внешние раздражения, которые обладают достаточной силой, чтобы пробить защитный покров, мы называем *травматическими*.

Я думаю, что понятие травмы необходимо включает подобное соотношение с обычно действующей задержкой раздражений. Такое событие, как внешняя травма, конечно, вызовет огромное расстройство в функциях организма и приведет в действие все средства защиты. Но принцип наслаждения при этом выводится из действия. Нельзя больше задержать наводнение психического аппарата громадными количествами раздражения; теперь возникает другая задача — овладеть раздражениями, психически связать вторгшиеся раздражения с тем, чтобы дальше привести их к изживанию¹.

В данном случае важно помнить о текстуальном качестве этого *Reizschutz*, помнить, что он создается из символических материалов, что он представляет собой культурно конструируемую и подерживаемую организацию индивидуальных и коллективных идентичностей. Как выразился Роберт Лифтон: «В случае серьезной травмы мы можем сказать, что произошел важный разрыв в линии жизни, разрыв, который может навечно обречь личность на постоянное восстановление этой линии либо на поиск нового сплетения. И это ставит перед нами вопрос об общей задаче пережившего травму, т.е. о таком повествовании, которое бы дало жизнь новым внутренним формам, включающим в себя и само травмирующее событие»².

Скорбь и нарративный фетишизм, в моем понимании, являются стратегиями, с помощью которых группы и отдельные индивиды воссоздают свою витальность и идентичность после травмы. Наиболее существенное отличие между двумя способами восстановления заключается в желании или возможности включить травмирующее событие в попытки реформулировать и реконструировать идентичность.

Существует много способов такого включения. В последние годы важные аспекты такой интеграции рассматривались в теоретических работах — назовем их «постмодернистскими», — которые касались культурного конструирования и использования «различия» в конкретных исторических контекстах. Эти дискурсы предлагают гражданам западного индустриального и постиндустриального общества признать и проработать фундаментальную связь между определенными способами формирования идентичности и

¹ Фрейд З. По ту сторону принципа наслаждения. Р. 216.

² Lifton R.J. The Broken Connection. Р. 176.

тем насилием и разрушением, которые столь эмблематично продемонстрировал фашизм в Германии в отношении евреев и других групп, воспринимавшихся как угроза стройности и связности немецкого субъекта¹. Феминистская критика, в особенности связанная с анализом патриархального субъекта и ассоциированных с ним разнообразных исторических институтов, обратила внимание на то, что задачи сообществ-после-Холокоста, т.е. сообществ, которые стремятся преодолеть травмирующее воздействие нацизма и «Окончательного решения», включают в себя радикальное переосмысление и переформулирование самих концепций границ и пределов, того самого «защитного покрова», который регулирует обмен между внутренним и внешним в жизни индивидов и групп. Целью таких переформулировок, в моем понимании, является развитие способности формировать границы, обозначающие динамическое пространство взаимного признания (между собой и другим, между своим и чужим). Как представляется, в отсутствие такой способности субъект оказывается обреченным на производ-

¹ Работы Мишеля Фуко особенно полезны при освещении подобных сложностей. Ади Офир, во многом следуя Фуко, отмечает, что наша возможность по-настоящему задействовать работу скорби для интеграции «Окончательного решения» зависит от нашей способности признать и объяснить «те формы дискурса, которые исключили евреев из человеческого сообщества, те технологии власти, которые были активированы для осуществления идеологических заявлений, и ту эротику власти, действие которой гарантировало полное выполнение миссии, до последнего момента, до последнего дыхания» (*Ophir A. On Sanctifying the Holocaust: An Anti-theological Treatise* // Tikkun. 1987. Vol. 2. P. 63). Следующие замечания Офира по поводу типа идентичности, который сыграл решающую роль в «успехах» немецкого фашизма, особенно важны в сегодняшнем контексте: «Прежде всего... это отсылки к другому, которые используются в качестве пограничной черты, в качестве архетипа отрицания; ступок “исключающих” оппозиций, коренящихся в том же самом фундаментальном различии и следующих ему: высший—низший, подлинный—неподлинный, святой—светский, чистый—нечистый, здоровый—больной, живой—мертвый; систематическое разворачивание концептуальной границы (Арийцы—не-Арийцы) в географическом пространстве (но так же и в историческом времени — до и после еврейского осквернения, до и после немецкой революции); скрытые и явные механизмы поощрения, распространения и установления “исключающих” типов дискурса, его внутренняя организация и принципы иерархии, заключенные в нем, а также стерилизация каналов общественных дебатов и блокировка возможностей разногласий и отклонений» (Ibid. P. 64—65).

ство жестких укреплений, способных защитить немногим более чем инертное пространство насквозь однородной и, в конечном итоге, параноидальной «Родины»¹.

Подведу итог. Серьезное осмысление нацизма и «Окончательного решения» как массивной травмы требует смещения теоретического, морального и политического внимания на психическую и социальную сферы, в которых индивидуальные и групповые идентичности создаются, разрушаются и реконструируются. Внимание к этим сферам, перефразируя Фрейда, не зависит от принципа наслаждения, хотя и не всегда противоречит ему. Фокус этого внимания — на вопросах, цель которых более примитивна по сравнению с задачей достижения удовольствия или избежания неудовольствия при помощи нарратива или каких-либо иных средств. Речь идет о способе внимания, который требует способности и желания проработать тревогу.

В заключение я хотел бы очень кратко вернуться к возможному влиянию современных политических событий на способы репрезентации нацизма и «Окончательного решения» в популярном и в научном историографическом дискурсах. Есть признаки того, что повествования, сконструированные вокруг коллапса коммунизма в Центральной и Восточной Европе и объединения двух Германий, будут стремиться к сокращению доступного морального, концептуального и психического пространства, в рамках которого нацизм и его преступления еще могут быть осмыслены как травма, которая потрясла *Запад* до самого основания. Повсюду слышатся истории триумфа: о жизнеспособности и динамичности экономической и политической культуры Запада по сравнению с отжившим свой век социализмом, почему-то трактуемым «восточным», если не сказать «азиатским». На определенном уровне создается впечатление, будто события в Европе отворили врата для еще более бесконфликтного «разыгрывания» ревизионистских повествований, чьи основы заложили в восьмидесятых Нольте и Хильгрубер. Трудно избавиться от впечатления, что кризис социализма усвоен на уровне того, что можно было бы обозначить как «политическое воображаемое», для того чтобы изгнать из тела Запада — из его моделей и проектов модернизации — насилие, раз-

¹ В этом отношении см.: *Theweleit K. Mannerphantasien*. Reinbek: Rowohlt, 1989; *Benjamin J. The Bonds of Love: Psychoanalysis, Feminism, and the Problem of Domination*. NY: Pantheon, 1988.

рушение и человеческое страдание, которые принадлежали и продолжают оставаться частью его истории. В Германии скорость, аффект и стиль, с которыми проводилось объединение, указывают на элемент маниакальности, сопоставимой с маниакальностью работы по восстановлению Германии в послевоенные годы. Маниакальность в этом случае опирается на образы и идеалы экономического, технологического и бюрократического контроля (*mastery*).

Оперативной метафорой для нынешней политической и культурной среды стала мощная машина, неумолимо движущаяся вперед. Образ поезда, который вышел со станции и который невозможно ни остановить, ни замедлить, странным, жутким образом доминирует в общественном дискурсе по поводу объединения Германии. Нет особых причин надеяться на то, что этот важный период национальной реконструкции сможет стать реальным шансом для осмысления не только вопросов, связанных с крахом государственного социализма, — вопросов действительно важных, — но и для осмысления целого ряда моральных, политических и психологических проблем, которые не перестают прорастать из травм нацизма и «Окончательного решения».

Эльза-Баир Гучинова

Текст депортации и травмы в сочинениях школьников Калмыкии*

Об этнических депортациях, которым в середине прошлого века были подвергнуты полтора десятка народов СССР, жители современной России знают крайне мало. Главная причина этого в том, что рассказывать о выселении «осужденных» народов публично, в устной или письменной форме, долгое время было небезопасно. Например, многие авторы песен о выселении в Сибирь, созданных по свежим впечатлениям на калмыцком языке, — как и почти все авторы-калмыки писем «в Кремль», написанных по-русски, — получили свои «срока».

Как известно, калмыки входили в число народов, целиком выселенных в годы сталинизма за пределы своих традиционных территорий. Выселение было возмездием за коллаборационизм во время оккупации части республики и за нелояльность советской власти. В течение суток 28 декабря 1943 года более 90 000 калмыков были посажены в железнодорожные вагоны для перевозки скота и отправлены из республики на восток. К лету 1944 года общее число выселенных составило 120 000, включая калмыков из Ростовской и других областей и военнослужащих. Большая часть мужского населения Калмыкии в тот период находилась в действующей армии, чаще всего — на передовой. В марте 1944 года практически все военнослужащие были отозваны с фронта: офицеров направляли в отставку или служить на нестратегические тыловые объекты на востоке страны. Солдаты и сержанты были отправлены

* Статья написана в Центре славистики Университета Хоккайдо. Моя благодарность за обсуждение и полезные советы проф. Т. Мотидзуки, В. Айрапетяну и Э. Мачерет.

в трудовой лагерь Широкой (Пермская область), где они содержались до 1946 года. Многие там и погибли. Калмыцкая автономная республика была ликвидирована, ее территория поделена между вновь образованной Астраханской областью и соседними областями. В 1956 году калмыкам было разрешено вернуться, с 1957-го начался процесс восстановления автономии калмыцкого народа¹.

В период хрущевской «оттепели» любые суждения о депортации были возможны только в границах дозволенного, а после первых политических «заморозков» сибирская эпопея была сведена к формуле «ошибки в национальной политике». Вслух заговорили о депортации в самом конце 1989 года, когда в республике развернулся перестроечный процесс, и это публичное обсуждение стало одним из знаков демократизации социальной жизни. Вначале опубликовали свои мемуары ведущие журналисты и писатели, тогда же вышли в свет несколько романов, повестей и поэм на русском и калмыцком языках, в свое время написанных «в стол». Были сняты два художественных и несколько документальных фильмов. После этого в газеты повалили тысячи писем с воспоминаниями читателей, но все авторы относились к старшему поколению. Активного использования депортационной тематики в молодежной попсе, отмеченной исследователями в Чечне², в Калмыкии не наблюдалось.

В процессе освоения депортационной травмы ключевым признаком является принадлежность к поколению: первое имело личный сибирский опыт, второе — было детьми спецпереселенцев, третьи составили внуки ссыльных. Незнание калмыцкого языка и истории депортации послужило причиной разрыва преемственности отцов и детей. Создание совместного рассказа об исторической травме стало попыткой восстановить преемственность между дедами и внуками³.

¹ Об этом см.: Бугай Н.Ф. Операция «Улусы». Элиста, 1991; Убушаев В.Б. Выселение и возвращение. Элиста: Санан, 1991; Гучинова Э.-Б.М. Помнить нельзя забыть. Антропология депортационной травмы калмыков. Штутгарт: Ibidem, 2005.

² Тишков В.А. Общество в вооруженном конфликте. Этнография чеченской войны. М.: Наука, 2003. С. 147–148.

³ О проектах, связанных с памятью школьников о травматическом прошлом, см.: Иванова Е.Ф. Память об исторических событиях (на материале Холокоста): гендерный аспект // Социальная история. 2003 / Под ред. Н. Пушкаревой. М.: РОССПЭН, 2004; Прусс И. Советская история в исполнении современного подростка и его бабушки. Неприкосновенный запас. 2005. № 2/3.

Именно такие беседы и легли в основу школьных сочинений, которые стали материалом для анализа в моем исследовательском проекте «Память третьего поколения»¹. Были проанализированы и подготовлены к печати 120 сочинений, рисунки и стихотворения старшеклассников Элистинского лицея, созданные ими в 1993—2004 годах². Сочинения были написаны факультативно на уроках истории и правоведения учителя С.И. Шевеновой. Ученикам предлагалось поговорить со старшими родственниками или соседями и на основе конкретной биографии написать сочинение.

Воспоминаниями, которые подавлялись десятилетиями, не просто делиться. Но это нужно было сделать не только для молодежи, но и для самих бывших спецпереселенцев. Ведь память может стать «выносимой» (но также и менее правдивой, очищенной именно от тех моментов, что делает ее невыносимой) только после того, как она записана³. Самые образованные из стариков написали мемуары, некоторые — письма в газеты. Однако в письменной речи автор контролирует поток информации, он может перечитать и вычеркнуть то, что ему показалось лишним. Другое дело — устное повествование, разговор с близким человеком, доверие которого важно сохранить. В такой беседе могут возникать неожиданные, болезненные вопросы — не все так просто объяснить современной молодежи.

В основном представители старшего поколения нелегко возвращались в прошлое и не всегда легко соглашались рассказывать внукам о своей жизни в Сибири. Практически в каждом сочинении школьники обращали внимание на то, как упорно сопротивлялись старики, пытаясь уйти от воспоминаний: «Все рассказать невозможно» (Данзан Эрендженов, 2001); «Понимаю, что всего просто невозможно описать» (Мария Булукова, 1997)⁴. Однако это травматическое умолчание сопровождалось подспудным желанием наконец-то рассказать о прошлом, поделиться наболевшим⁵.

¹ См.: Шевенова С.И., Гучинова Э.-Б.М. Память в наследство. Депортация калмыков в школьных сочинениях. СПб.: Алетей, 2005.

² Лицей существует более 15 лет, это одно из лучших средних учебных заведений республики, имеющее высокий рейтинг среди школ России. Здесь учатся старшеклассники 14—17 лет, детей принимают на конкурсной основе; в школе отличные педагоги.

³ См. статью Омера Бартова в данном сборнике.

⁴ Здесь и далее в скобках указаны автор и год создания цитируемого сочинения.

⁵ См. статью Елены Мещеркиной в данном сборнике.

Эти воспоминания оказались важны и для детей, ведь, как написала Кема Батырева (1994), «наше представление о Сибири крайне неточно и обрывисто. Близкое ускользает незаметно». Чтобы разговорить собеседника, надо было проявить настойчивость, упорство и такт:

Мурашки по телу, какая-то едва уловимая внутренняя дрожь — вот первая реакция на мою просьбу. Знаете, такое впечатление, что между нами сразу возник барьер, граница, которая сразу унесла мою собеседницу в мир прошлого, в другое измерение... *(Юлия Ольховская, 1997).*

Старики молчали, так было привычнее и надежнее. «Не любит мой дед рассказывать о прошлом» (Мингиян Батнасунов, 1993); «Мой ава¹ говорит, что почти ничего не помнит, и уходит от разговора» (Булгун Кичикова, 2004); «О том дне мой дед не рассказывал» (Мингиян Батнасунов, 1993). Если же мужчины иногда кое-что вспоминали, то делали это как бы со смехом, по принципу анекдота, в котором сложная ситуация вдруг разрешается шуткой. Шутливое резюме рассказчикам казалось более уместным, нежели пафосное:

Оставшись на время без сына-кормильца, Баирта, работавшая на железной дороге, не могла прокормить семью; они жили впроголодь. Маленький Иосиф, названный в честь Сталина, ходил на станцию и, когда приходили военные эшелоны, отплясывал перед солдатами, чтобы заработать хлеб. Все его выступления имели большой успех: солдаты были очарованы маленьким рыжим калмычком, лихо отплясывавшим на платформе в дырявых штанишках. Оставившие дома таких же маленьких детей, они уносили его к себе в вагоны, кормили досыта, щедро набивали его холщовую сумку едой и с перемазанным кашей лицом ставили обратно на платформу. Сейчас у дяди Иосифа уже две взрослые дочери и маленький внук. Вспоминая свое детство, он улыбается и говорит «С четырех лет кормлю семью!» *(Кермен Алексеева, 2001).*

Сочетание горя и смеха — смех как воспоминание об ужасе, помогающий пережить его, преодолевающий страх, — возможно,

¹ Ава (калм.) — дедушка.

универсальное явление человеческого поведения в экстремальных ситуациях; подобное было отмечено антропологами среди пострадавших от Спитакского землетрясения¹. Памяти в мире комического нечего делать: смеются, чтобы забыть. Возможно и другое: что-то хотелось вспомнить из сибирской жизни, но безопасно было рассказывать только «смешные, веселые» истории.

Показательно, что до перестройки мнение о выселении народа высказывалось в публичном пространстве — в разрешенных или не разрешенных формах — исключительно мужчинами. Преодолеть женское молчание было труднее. О наиболее драматичных эпизодах женщины умалчивали осознанно, это было проявлением женской немоты, которая, судя по всему, универсальна. Так же молчали о трагедии интернирования японки США, и антрополог Йосико Такезава отмечала, что они молчали, как молчит о совершенном насилии поруганная женщина². Так же молчали армянки о событиях, ставших известными как геноцид армян 1915 года³. Так же молчали калмыцкие женщины. Айс Шараев писал в своем сочинении:

Не любит она вспоминать об этом, все как-то отмалчивается со смущенной улыбкой, когда начинаешь расспрашивать. На лице улыбка, а в глазах — боль. Боль, не прошедшая за пятьдесят лет и глубоко осевшая в сердце. И я вижу, я чувствую эту боль, но, если сам не спрошу, не узнаю, об этом мне никто не расскажет (*Айс Шараев, 1997*).

Зафиксированные школьниками истории о депортации рождались в соавторстве рассказчика и слушателя не только потому, что именно слушатель позже написал свой пересказ. Своим интересом и родством он мобилизовал рассказчика на воспоминание и обобщение сибирского опыта. В то же время и сами нарративы — это не просто набор фактов или объем информации. Нарративы структурируют опыт восприятия рассказчика и слушателя, организуют

¹ Этим наблюдением любезно поделился мой коллега Л. Абрамян. Кстати, среди произведений, посвященных интернированию американцев японского происхождения, есть и комедия Гарри Ивамото «Мисс Минидока, 1943».

² *Takezawa Y. Breaking the Silence. Redress and Japanese American Ethnicity.* Ithaca: Cornell University Press, 1995. P. 104.

³ См.: *Арлен М., мл. Дорога к Арапату.* Рязань: Узорочье, 2003.

память, сегментируют и целенаправленно выстраивают каждое событие¹.

Все сочинения написаны по-русски, калмыцкие слова в них встречаются очень редко. Иногда сами старики меняют русский язык на родной, если надо сообщить нечто доверительное, по секрету, чтобы чужие не поняли. В ряде случаев в своем повествовании школьники употребляют термины родства, которые либо не имеют адекватного русского термина из-за сложной системы родства калмыков (*haha* — младшая сестра отца), либо так широко используются в обыденной русскоязычной жизни, что, кажется, не требуют перевода (*ава* и *эджя* — дедушка и бабушка). Наконец, калмыцкий язык был незаменим при описании статуса репрессированных, который может быть понятен только калмыкам: «Моя бабушка иногда говорит по-русски, но когда из года в год 28 декабря просишь ее рассказать об этом, на русском она говорить не может, потому что выразить свои чувства она может только на калмыцком языке» (Галина Дженжиева, 1997).

Много раз в сочинениях описывается ситуация, в которой калмыки не знали русского языка, а потому не могли найти работу и умирали от голода. Для сибирских детей русский язык стал языком выживания и языком социальной реабилитации. «Сибирские внуки» с молоком матери восприняли уже русский язык и говорят о незнании калмыцкого так: «Мне стыдно, что я не знаю свой родной язык, но вокруг меня не звучит живая калмыцкая разговорная речь, и поэтому выучиться ему очень трудно» (Людмила Чурюмова, 1994). Утрата (отсутствие) родного языка стала проявлением и следствием депортационной травмы: «Я, как и многие из моих сверстников, не могу назвать себя калмычкой, хотя бы потому, что я не знаю калмыцкого языка... Я говорю об этом с сожалением, но это не значит, что от этого во мне станет больше “калмыцкого”. Это “сожаление” не заставит меня изучать родной язык» (Баира Инджиева, 2001).

За одиннадцать лет изменились школьники и их тексты. Сочинения 1993–1997 годов были написаны, когда старики только начинали рассказывать свои сокровенные истории. Многие дети реагировали, как Баина Шардаева: «Мы живем и ничего не знаем о своих близких. Когда моя бабушка рассказала мне про Сибирь,

¹ Ярская-Смирнова Е. Социокультурный анализ нетипичности. Саратов: Изд-во Сарат. гос. техн. ун-та, 1997. С. 83.

я взглянула на нее новыми глазами. И все поняла. Поняла, почему она так отзывчива на людское горе, почему она так дорожит родными и знакомыми» (2001). Тексты сочинений 1993–1997 годов базируются на конкретной биографии, они подробные, хорошо слышны голоса старших, порой это оформленная запись чье-то монолога. В них дети доказывают, что депортация калмыков была геноцидом.

Сочинения последних лет заметно короче, для авторов этого периода совершенно ясно, что депортация была геноцидом, сравнения ищутся не в истории прошлых депортаций, а в современной политике геноцида — в Руанде, Тибете. Этим ребятам сибирская тема сопровождает всю их сознательную жизнь, и открытий, которыми полны были сочинения их предшественников, здесь гораздо меньше. Тексты последних лет если и используют биографический материал, то скорее как иллюстрацию, как повод к рассуждениям о правах человека и этнических меньшинств, о ценности человеческой жизни. Имела значение и биографическая основа сочинений. Бабушки и дедушки рассказывали о себе и своей судьбе, не отвлекаясь на другие сюжеты и обобщения. О поводах и причинах выселения рассуждают те авторы, которые предпочли вместо сочинения на основе биографии написать эссе.

В последние годы в сочинениях меняется и характер трагедии — от коллективной к личной. Если в начале 1990-х школьники вслед за дедами говорили о ценности каждого народа и его прав, то современные школьники видят ценность отдельного человека. Так же меняется отношение к вине, при этом подразумевается уже не вина людей, а вина государства перед людьми: «Выйдя из железнодорожных теплушек, на сибирской земле она стала спецпереселенкой без суда и следствия, без причины и вины грубо ограничена в своих гражданских правах» (Хонгр Замбаев, 2004).

Устные рассказы о депортации приобретают особое звучание, когда эти рассказы ведутся в семейном кругу. Здесь исчезают пафос и общие слова, но остаются родные имена и шепчущие детали. Эти рассказы позволяют сохраниться таким редким подробностям, которые рассказчику могли бы показаться ценными только для причастных лиц. Эти детали, цепко уловленные детьми, становятся яркими свидетелями истории, красноречивыми, как гора пинеток в Бухенвальде: «Она запомнила только желтые носочки и красивое платье мамы» (Лилия Машаева, 2004); «Когда умер братик, девочка только обрадовалась, что яйцо, ему предназначенное,

теперь можно съесть» (Алена Савченко, 1998); «Вода ценилась на вес золота, в вагоне очень хотелось пить, и они с сестрой по очереди обсасывали обледенелый гвоздь, торчащий в стене...» (Гиляна Хулаева, 1997).

На примере этих сочинений я и постараюсь далее показать, как реконструкция и память об отдаленном травматическом событии формируются в текстах современных школьников.

Идентичности молодежи: Настоящее травматического прошлого

Депортация калмыков как всенародная трагедия частично освоенна сознанием. Этот период оценивается как испытание народа на крепость духа, на верность родине, любовь к которой должна быть выше обид. Несмотря на демографические и культурные утраты тех лет, Сибирь воспринимается не как сплошная черная полоса, а как отрезок жизни народа, в котором было много плохого, но и немало хорошего.

Безусловно, это черные страницы в истории нашего народа. Страшные годы ссылки, депортация навсегда «врезались» в нашу историческую память. Однако даже в самом ужасном, плохом, страшном всегда интересно найти что-нибудь полезное, хорошее. Может быть, было хоть что-нибудь светлое, какие-то радостные мгновения, которые запомнились людям, которые это пережили. Я вовсе не хочу приукрасить, оправдать это страшное событие. Но все-таки нужно научиться видеть все не только в черном свете, а находить и белые, светлые пятна. Тогда наши знания, понимание будут более обширными, объективными (*Эльза Эняева, 1997*).

Однако окончательно травма не пережита. На незавершенность травматического процесса указывает страх его повторения, пережитый школьниками у стариков. В большей части сочинений формулируется призыв не допустить повторения: «нет, люди не должны допустить такого самоуправства со стороны правительственных кругов никогда. Нельзя повторять ошибки, которые несут горе, несчастья, уничтожение, депортацию многих народов» (Жанна

Иванова, 1994); «Нельзя допустить повторения этого ужаса. Это очень страшно — чувствовать себя отверженным обществом, спецпереселенцем. Не дай бог изведать страшную тоску по далекой родине и свободе» (Юра Манджиев, 1998).

Травмированность воспринимается как составляющая жизни репрессированного поколения. Навязчивые образы прошлого — грубый стук в дверь, ночной кошмар — свидетельства того, что работа с памятью о депортации стоит в повестке дня. Коллективная травма должна перерабатываться не только на коллективном уровне, но и каждой жертвой персонально:

Со всех сторон дул ветер, а мороз был в 40–50 градусов. Руки белели и покрывались ледяной коркой. Чтобы отогреть руки, их засовывали под одежду и прижимали к животу. Было холодно, словно притрагиваешься к кускам льда. А отогрев их чуть-чуть, снова принимались за работу. Как солдату часто снится война, так и ей — этот адский труд, особенно зимой, когда руки начинают отниматься от боли (*Артем Демиденко, 1997*).

Память о депортации — травматическая, вспоминается чаще то, что было связано с дискомфортом, эмоциональным и экзистенциальным, со стрессом, унижением, голодом и холодом. Ретроспективный взгляд как бы провоцирует выделять то, что отличало калмыков от других, подчеркивая статус спецпереселенца. Транслируя рассказы старших, школьники тоже фиксируют внимание на наиболее драматических страницах.

В совокупном тексте можно выделить следующие опорные даты: 28 декабря (один день), дорога (две недели), период начальной адаптации (три-четыре года), адаптация (десять лет), возвращение и адаптация (от двух недель до двух лет). Чем травматичнее и насыщеннее события, тем более обострены чувства, тем дольше они удерживаются в памяти, тем больше времени занимает повествование об этом. Даже профессиональному этнографу в интервью лицом к лицу бывает непросто управлять своими впечатлениями и удержаться от того, чтобы разделить чувства рассказчика, особенно если речь идет о сюжетах, связанных с сильными эмоциями¹. Дети же были открыты душою и готовы к историческим

¹ *Robben A. Ethnographic Seduction, Transference and Resistance in Dialogues about Terror and Violence in Argentina // Ethos. 1996. Vol. 24 (1). P. 81.*

проекциям и идентификации. Они, как Вика Болдырева, впитывали, переживали, запоминали и ретранслировали позднее получаемую информацию: «невольню представила, что было бы сейчас, если бы выселили нас. Я бы, наверное, не смогла вынести всего этого» (1997).

Формирование этнической и гражданской идентичности у юного поколения совпало с образованием Республики Калмыкия (РК) как одного из субъектов Российской Федерации. Современные школьники были свидетелями становления новой калмыцкой государственности, небывалой общественной активности в республике в начале 1990-х; они запомнили первые выборы президента РК, утверждение гимна, флага и герба Калмыкии в 1993 году. Этот же период сопровождался переопределением истории, основным фокусом которой стала депортация народа. Школьники должны были неминуемо усвоить из СМИ, что быть калмыком означает относиться к народу, который был выслан в 1943 году. Осознать свою этническую идентичность означало принять и депортацию как часть недавней истории народа, в которой процесс идентификации родителей происходил болезненно: «Моей маме было только пять лет, но она прекрасно помнит, как один раз группа детского сада, проходя мимо их дома, стала дразнить ее “калмычкой”. Только по этим окрикам мама узнала, кто она по национальности» (Баира Нюденова, 1993).

Совокупность устных рассказов очевидцев лицеистка Кема Батырева назвала «Большой книгой депортации», и в этом выражении под книгой подразумевается история, а точнее — сама жизнь. История народа и его жизнь — как сейчас, так и с 1943 года — уже не мыслятся без депортации, которая стала частью идентичности народа. Многие сочинения, основанные на биографическом интервью, начинаются в третьем лице, а продолжают в первом. Современное поколение идентифицирует себя с теми, кто был выслан. Дети также почувствовали себя частью коллективного репрессированного «Мы»:

Возможно, я где-то перехожу к повествованию от ее имени, потому что представляю, как это было (*Сагара Лиджиева, 2003*).

Это несчастье постигло нас всех (*Намру Бакаев, 1998*).

Но все же мы смогли выстоять (*Вика Болдырева, 1997*).

Калмыки — очень стойкая и мужественная нация. Несмотря на все невзгоды и испытания, мы смогли выжить и вернуться на родные

просторы. Нам помогла вера в Бога и справедливость (*Данзан Эрендженов, 2001*).



Эркина Гиляндикова
28 декабря 1943. 2005

Место выученной истории выселения в политике прошлого занимает живая память. Поэтому молодежь воспринимает депортацию как событие личной биографии, формируя свое эмоциональное отношение к ней. Так, рисунки, сделанные школьниками, чаще черные, а не цветные. На них изображены события первого дня выселения; персонажи делятся на две группы: калмыки (мать с ребенком или группа людей) и солдаты с автоматами. С первого взгляда видно, что изображено насилие. Второй сюжет — поезд, представленный как бесконечный движущийся состав. Предполагается, что

внутри вагонов люди, но они не изображены, они уже лишены человеческого статуса.

Почему именно депортация калмыков стала одним из определяющих факторов самоидентификации молодежи? В республике еще не сложились позитивные факторы, влияющие на гражданскую и этническую идентичность, кроме факта существования РК и атрибутов государственности. Спортивный проект «Уралан» или религиозный «Буддизм в Калмыкии» не могли увлечь молодежь из-за своей ограниченности. На этом фоне в 1990-х годах самым ярким событием в истории народа стала история депортации. Этому способствовали Поезда Памяти, не раз совершившие свои маршруты в «Сибирь»¹ и ставшие национальным проектом примирения с прошлым, «ритуально очистив массовое сознание от преследую-

¹ См.: *Гучинова Э.-Б.М.* Помнить нельзя забыть. С. 252–258.



Софья Коваль. Везут калмыков
2005

ших его кошмаров»¹. Этому способствовала мощная поддержка СМИ и местной власти, для которой факт депортации стал аргументом для оправдания экономической депрессивности региона и основанием для ожидаемой финансовой поддержки, не говоря о политических дивидендах, на которые могут претендовать лидеры республики, подавая пример «благодарной памяти о депортации».

В начале 1990-х ставились вопросы об ответственности государства и правящей партии за политику геноцида и о мерах по компенсации ущерба, в том числе территориальной реабилитации. Но чеченские события показали, что драматизировать травму опасно и деструктивно. Прагматика коллективной памяти, направленная на решение настоящих и будущих проблем, привела к тому, что тональность реконструкции травмы и язык ее описания за последнее десятилетие были смягчены. Изменился и общий политический контекст в стране: разоблачение преступлений Советского государства многими воспринимается как набившее оскомину

¹ Дерлугян Г. Чеченская революция и чеченская история // Чечня и Россия: общества и государства / Ред.-сост. Д. Фурман. М., 1999. С. 210.

занятие, как «поздний реабилитанс», и налицо тенденция смягчать жестокости советской эпохи. Ситуация эта вряд ли сколько-нибудь специфична. Именно так и преодолевается травма — посредством конструирования ее более выносимого образа¹.

Процесс этнической и гражданской идентификации молодежи Калмыкии протекал наряду с осознанием и конфессиональной принадлежности. Действительно, религиозный фактор является одним из важнейших в переживании травмы. Хотя уже к началу 1941 года все храмы в Калмыкии были разрушены, этика буддизма в народе была жива. Его нравственные основы помогали менее болезненно воспринимать испытания судьбы, и школьники начинают «думать о том, что жизнь — это действительно страдания, как говорится в буддийском писании» (Айс Шараев, 1997). Они уловили влияние мировоззрения на интерпретацию исторических событий: люди «безропотно повиновались судьбе. Так надо — утешали они себя» (Булгун Шевелева, 1994). Но в результате своих бесед со стариками они также осознали: «В сердце этого доброго человека не осталось места для злобы, ненависти и обиды!» (Баатр Церенов, 1997); «Главное, не озлобляться, не делать зла, ведь не для этого живет на земле человек» (Артем Демиденко, 1997).

Депортационный опыт выживания стал главной этической ценностью, разделяемой всем народом. Неслучайно дети именно в этих сочинениях говорят о том, как они любят свой народ, как гордятся им — в том числе тем, что калмыки смогли достойно пережить депортацию и не держать камня за пазухой: «Знаете, я долго думала, как бы вам объяснить, доказать, насколько я люблю свою Родину, свой калмыцкий народ, но все же не смогла выразить сло-

¹ Подробнее об этом см. статью О. Бартова в настоящем сборнике. У этой тенденции есть и иной аспект: известно, что материалы, в которых в большом количестве присутствуют экзистенциально дискомфортные сюжеты (голод, смерть, трупы), обычно стихийно отторгаются любой читательской аудиторией (подробнее см. в: Кукулин И. Регулирование боли (Предварительные заметки о трансформации травматического опыта Великой Отечественной / Второй мировой войны в русской литературе 1940–1970-х годов) // Неприкосновенный запас. 2005. № 2–3.) В том числе — и аудиторией профессиональной; так, даже в доброжелательной рецензии на книгу «Память в наследство...» наиболее часто встречается слово *неприятно*: «какой бы стиль ни избрали дети, читать все это одинаково неприятно», «живые свидетели всегда очень неприятны» (Муравьева Н. Только бы не Сибирь, или Как при царе Горохе народы распыляли // НГ. Exlibris. № 34 (336). 15 сентября 2005).

вами» (Баира Наранкаева, 1993); «Калмыки. Я горжусь тем, что ношу это громкое имя» (Айс Шараев, 1997). Важно также, что школьники не абсолютизируют страданий своих родственников, подчеркивая, например: «Моя бабушка далеко не единственная, судьба которой так трагична» (Баира Дорджиева, 1998); «Мало кто может позавидовать такой судьбе. Судьбе, похожей на судьбы тысяч других калмыков» (Саглара Бадакова, 1997).

Если рассуждать о прагматике депортационных нарративов, то, кроме передачи семейной истории и укрепления рассказчиком своего положительного образа, в них присутствует тема педагогики труда и терпения. Возможно, появление этой темы связано с опасениями услышать хоть и не вербализованный, но тем не менее уже готовый для формулировки вопрос: «Когда же вы, старшие, сделали ошибку, если не смогли передать нам живую родную речь?» Опасаясь вопроса или уходя от ответа, старики вспоминают тяжелые подробности выживания, доказывая, что главным было выжить, дать жизнь новому поколению, а все остальное — не так уж важно. В рассказах о годах, проведенных в депортации, пожилые люди — независимо от возраста и образования — легко вспоминают названия совхозов и колхозов, районов и областей, имена друзей и соседей, учителей, врачей, директоров совхозов, школ, председателей колхозов, учетчиков. Эти имена запомнились, потому что были значимы для выживания в трудной ситуации:

Когда разговаривала с дедом, я очень удивлялась, как это он, такой старый, а без всякой запинки помнит все даты, все мелочи? Да, наш народ выселили, морили голодом и холодом, держали в тюрьмах и лагерях, многих расстреляли, но они не смогли уничтожить память людей и их веру, которая будет жить вечно (*Соня Манджиева, 1993*).

Эти тексты депортации интересны своей дискурсивностью: и как исторический источник процесса формирования памяти, где важны собственно факты и оценки, и как риторически организованное пространство, в котором принципиальна прагматика формы, лексические и грамматические ресурсы, отражающие и создающие язык травмы и памяти.

Языки безысходности: Враги народа и жертвы геноцида

Практически все сочинения обычно начинались с характеристики роли депортации в судьбе народа, при этом дети широко использовали символику боли, страха, скорби и памяти. Депортация народа — не просто «наболевшая тема» (Андрей Бочаев, 1997). Она и сегодня была оценена школьниками как «страшное время» (Мингиян Батнасунов, 1993), «черные дни» (Алля Бадмаева, 1997), «кровавая страница истории» (Эльвира Леонова, 1997), которая, «как гноящаяся рана, будет напоминать о себе, отдавая болью во всем теле» (Намру Бакаев, 1998). «Беда пришла к каждому во двор и постучалась в окно» (Гиляна Хулаева, 1997). При этом день выселения — «памятный день» (Кема Батырева, 1994), «черная дата» (Инна Авадаева, 1994); он «холодный, суровый» (Жанна Иванова, 1994), «морозный» (Кермен Каляева, 1994); он «врезался в народную память осколком» (Дима Карпенко, 1997). С этого дня началась «другая жизнь» (Наташа Зунгруева, 1994), «страшный сон» (Алля Бадмаева, 1994); «холод, которым повеяло с улицы, сильно и надолго изменил судьбы многих людей» (Юлия Ольховская, 1997). Некоторые описывают день 28 декабря как ночь, потому что во многие дома пришли затемно: «морозная, ветреная ночь 28 декабря» (Булгун Шевелева, 1994). Трагедию народа усиливает негативная числовая символика: как написал Нимгир Бочкаев, «злосчастные тринадцать лет» длилась депортация, тринадцать дней тянулась дорога в Сибирь (1997).

Изредка школьники прямо используют лексику травмы. «Она была еще маленькой девочкой, когда приказ Берия “сломал” ее беззаботную, детскую жизнь» (Амуланга Сагаева, 1997). «В считанные дни все: мечты, надежды — все рухнуло и исчезло на долгие, долгие годы» (Вика Гаврилова, 1998).

Прагматика высказываний школьников мобилизовала различные грамматические и лексические ресурсы, лучше передающие объектность народа. Например, в текстах сочинений часто используются глаголы в форме, которую я бы назвала «неизбежное будущее время»:

Предчувствие чего-то страшного, нереального не обманет мать моей бабушки, когда умрет от голода и холода Аркашка, когда будут отдираать от холодного пола вагона труп ее брата, когда люди, точно мухи, будут падать со вторых полок замертво, на головы сидящих внизу и когда она с ужасом увидит, что половина людей в вагоне уже не спит и не шевелится... Затем их погонят, точно скот, в спецпомещение, которое с трудом можно так назвать. Ветхий, насквозь промокаемый барак до отказа набьют людьми, которые уже были мало похожи на людей... На следующий день к ним придут несколько человек в военной форме и заберут работать на рудник еще стоявших на ногах мужчин. И так изо дня в день (*Эдуард Санджиев, 1993*).

Другое характерное качество текстов — преобладающее использование «пассивных» страдательных грамматических конструкций с неопределенным субъектом в сочетании с безличной глагольной формой: *погнали, погрузили, сказали*. «Военные погнали их, как скот, к сборному пункту» (Кермен Кензеева, 2003), «всех стали раскидывать по вагонам» (Вика Болдырева, 1997), «на станции “арестантов” грузили по 40–50 человек в двухосные вагоны» (Кермен Кензеева, 2003), «заселили их в большие деревянные бараки» (Намру Бакаев, 1998), «раздали по колхозам» (Роман Дуляев, 1994), «развезли по селам» (Инна Авадаева, 1997), «оставшихся в живых расселили по домам. Калмыков определили на подсобные работы» (Мария Булукова, 1997). «Однажды в село привезли новую партию калмыков, расселили их по землянкам и в тот же день погнали на лесоповал» (Айс Шараев, 1997); «Калмыков, как сорную траву, вырвали и выбросили к черту на кулички!» (Кема Батырева, 1994).

Как известно, язык несет в себе символический порядок общества, отражает его законы и нормы.¹ Вспоминая давнее прошлое, рассказчики подсознательно возвращались в сталинское общество и воспроизводили свой зависимый статус людей, удел которых — претерпевать чужие действия (зависеть от чужой воли), быть жертвой чужих решений. Этим подчеркивается зависимая, бесправная роль человека и его этнической группы, их объектность.

Семейная память должна была бы быть антигосударственной, но калмыки — как и интернированные американцы японского

¹ *Kristeva J. Revolution in Poetic Language*. NY: Columbia University Press, 1984. P. 47–48.

происхождения — считают, что их ссылало свое государство, поэтому для них в настоящем виноватых нет: все виновные остались в прошлом. Лексика вины и наказания особенно четко показывается, что в представлениях многих школьников царят эссенциалистские взгляды на природу этничности и что народ в их воображении — это некое коллективное тело. «Весь народ отбывал наказание за несовершенно преступление» — «без вины виноватые тысячи калмыков» (Цаган Москуева, 1997). Наказанием стала ссылка, ведь людей вначале *забирали* (Галина Дженжиева, 1997) — это просторечная замена бюрократическому слову *арестовали* (ведь арест должен быть на законном основании), — а потом *выслали* в Сибирь, проверенный адрес политической ссылки. Кроме этого слова из уголовно-процессуальной лексики, встречается и термин *арестанты*: под ними подразумевались депортируемые калмыки, которых везли «под конвоем» (Баир Церенов, 2001), «под охраной, как преступников» (Анна Новикова, 2004); «привезли новую партию калмыков» (Айс Шараев, 1997) — партиями возили каторжников, рабов или товар. «С ними в одном бараке жили и немцы, калмыки часто с ними спорили, кого освободят раньше» (Саглар Бадакова, 1997). Когда же «срок высылки» закончился (Саглар Лиджиева, 2003), «калмыцкий народ обрел свободу» (Кермен Алексеева, 2001), как обретает ее преступник по окончании каторги.

Не менее красноречивы встречающиеся в школьных текстах фактографические описки и лексические ошибки. Особенно показательна описка Саглары Хейчиевой (1997) «Указ Президиума Верховного Совета о ликвидации калмыцкого народа». Детские уста глаголили истину: условия депортации были таковы, что ликвидация государственности вполне могла привести к ликвидации народа, потому что, по словам Саглары Санджиевой (1997), «людей намеренно поставили в такие условия, чтобы физическое вымирание их было неизбежно». А также потому, что «человека можно убить штыком, пулей, но можно и погубить массу людей просто так, выгнав их из родных мест» (Айса Ажигалиева, 2004). Арслан Басанов написал в стихотворении (2003) «взошли на вагоны». Современный читатель привык, что в вагон *заходят*, но в вагонах для перевозки скота пол был высокий, и в них приходилось взбираться. Примененное из нашего сегодня слово *взошли* приравнивает вагон к эшафоту или кресту Голгофы, к орудию смерти. Зная, сколько людей погибло в дороге, юноша избирает глагол, который квалифицирует вагон как транспорт смерти.

Неслучайна и такая ошибка Кермен Кензеевой: в 1957 году «калмыки были реабилитированы» (2003). Разрешение вернуться на родину не умудренные в юридической казуистике дети восприняли как реабилитацию. Им, по-видимому, казалось логичным, чтобы несправедливая ситуация «грамматически» разрешилась посредством взаимодействия простых пар омонимов и синонимов: наказали — выселили, простили — вернули. Однако многие старшие жители республики как раз недовольны современной формулировкой проблемы, и вместо, по их словам, «амнистии» они жаждут «указа» о полной реабилитации, включая территориальную. А школьная ошибка выдавала желаемое за действительное, отражая ситуацию нереализуемого желаемого. Вернуться в ситуацию «до травмы» можно только воображаемым образом, даже в территориальных границах.

Часто употребляются сложносокращенные существительные — термины советского прошлого: *спецпереселенец*, *спецкомендатура*, *спецрежим*, которые, несмотря на формально нейтральную для постороннего уха окраску, несут в себе негативные коннотации для тех, к кому они относились, примерно такую же, как и пережившее ту эпоху выражение «нацмен». Некоторые ребята плохо ориентируются в советской действительности, поэтому Гиляна Хулаева (1997) упоминает «государственные колхозы», а Бамба Номинханова (1994) — колхоз «им. 13 борцов», по-видимому, допуская, что в 1940-х годах предприятие могло носить имя команды спортсменов (абсурдные времена — абсурдные имена).

Советский штамп «враги народа» используется то в прямом, то в иносказательном смысле. «Врагами народа» именуются то кулаки, то калмыки, но, когда мы читаем в сочинении: «тот, кто выселяет народы, и есть враг народа», — нам как будто заново открывается прямой — буквальный — смысл этого выражения. Десятилетие 1994–2003, в течение которого школьники писали свои работы, показало, как освобождается общественное сознание от многих идеологических клише, постепенно отходя от текстов учебников советского времени.

Молодое поколение относит депортацию к давно прошедшей исторической эпохе, к истории СССР, страны, которой давно уже нет. В рассмотренных сочинениях имя Сталина иногда сознательно не называется прямо. Оно стало символом беззакония и государственного террора. Дети часто использовали иносказания:

Почему по вине одного человека должно погибать столько ни в чем не повинных людей? (*Вика Гаврилова, 1998*)

Но почему, почему так получилось: один человек решил, а другие подчинились?! (*Юлия Ольховская, 1997*)

Весь народ по прихоти одного человека был выслан из жарких калмыцких степей в отдаленные края и области, сибирские снега и морозы на явное вымирание (*Давид Амнинов, 2001*).

Человек, стоящий во главе государства, истребляет направленно и неуклонно свой же народ (*Инна Лепетикова, 1994*).

Связано ли это с калмыцкой традицией табуации имени хана или с христианским правилом не поминать дьявола?

Вопрос о коллаборационизме части народа в тестах сочинений практически не поднимается. Показательные процессы над военными коллаборационистами из Калмыцкого корпуса в конце 1960—1970-х навязали народу чувство коллективной вины¹. Все подсудимые — даже уже отсидевшие — были наказаны вновь, на этот раз смертной казнью. Тогда многие люди стали бояться повторной ссылки всего народа в Сибирь. Разумеется, на эту тему не было никакой литературы, и «заговор молчания» продолжался у старшего поколения. Поэтому и сегодня дети часто не знают конкретных примеров военного коллаборационизма и только горячо отвергают обвинения народа в предательстве, апеллируя к здравому смыслу:

Дело в том, что некоторые люди (а отнюдь не весь народ, как думал Сталин и его окружение) перешли на сторону фашистов и образовали ККК², но корпусом ККК никогда не был. И это мизерное обстоятельство послужило поводом для выселения целого народа (хотя чего греха таить, предатели были почти среди каждой нации). Сталин не учел ни героизм калмыков на фронтах Великой Отечественной войны, ни мужества простых трудяг, отдававших все фронту и победе над общим врагом, ни мужества калмыков-партизан, наносивших значительный урон врагу (*Дима Юндин, 1997*).

¹ Об этом подробнее см. в: *Гучинова Э.-Б.М.* Нация и дискурс вины: примирение с прошлым в политике памяти калмыков // *Ab Imperio*. 2004. № 4. С. 263—289.

² Калмыцкий кавалерийский корпус.

В сочинении (к сожалению, не подписанном) автор пишет: «Геноцид — это борьба не за победу, а за истребление. Амбиции главарей двух могущественных государств, сознательно подписывавших смертный приговор целым народам, погубили миллионы людей». В приведенной цитате руководители государств названы «главарями», подсознательно (или сознательно?) автор акцентирует внеправовую природу политических режимов сталинизма и гитлеризма. Отсюда вытекает вопрос об ответственности народов за деяния своих лидеров, и Роман Дуляев (1994) формулирует вопрос об общественном покаянии. «Думаю, что вина за случившееся лежит на всех советских людях. У многих немцев — “комплекс Гитлера”, а из наших людей, по-моему, мало кто испытывает чувство вины за прошлое».

Жизнь в Сибири: нормы исключения

Трагедия депортации прочно связана с другой драматической страницей истории страны — Великой Отечественной войной. Видимо, в сознании школьников они сплетаются, и в сочинениях вторник 28 декабря 1943 года уподобляется воскресенью 22 июня 1941-го, началу войны, и солдаты приходят в калмыцкий дом «ровно в четыре утра». «28-го утром, в воскресенье, в дверь постучали» (Ольга Гонцукова, 1994). «Но вот 4 часа утра, неслыханный гул машин, свет фар разбудил собак и скот, лай и вой, неистовое мычание коров потревожили мирно спящих людей» (Джангар Сангаджи-Горяев, 2003). Дети неслучайно сравнивают два события, приравнивая депортацию к войне против своих граждан: «депортация, как война, наступила внезапно, принесла с собой смерть, слезы, горе. А на калмыков обрушилось двойное горе: война и депортация. Сколько жизней было разрушено этими двумя событиями! Они, как смерч, пронесли по калмыцким степям» (Баира Дорджиева, 1998).

Солдаты, физически осуществлявшие выселение, иногда напоминают знакомый образ врага, хорошо разработанный в советской литературе и клишированный в кинематографе образами нацистских оккупантов.

Проснулись от стука в дверь. Дверь пинали сапогами, и дед подумал, что за ним пришли немцы, а оказалось не совсем так, то есть пришли за ними, но наши солдаты. Их было четверо, и все вооружены, они громко кричали и бранились, но в конце концов сказали, что калмыков увозят, но не знают куда, и самое главное то, что собраться нужно через пятнадцать минут около конюшни (*Инна Авадаева, 1997*).

Солдат, пришедших выселять калмыков, дети воспринимают как вражеских, это подтверждается использованием слова *угоняли* — распространенного штампа при описании обращения оккупантов с мирным населением. «Вражеское» как несущее угрозу смерти применительно к 1943 году в подсознании школьников вызывает ассоциацию с немецкими оккупантами. Так что иногда при чтении текста неясно, кто же именно выселял калмыков — немцы или свои: «В село рано утром приехали большие грузовые машины немецких марок и подразделение солдат с тремя офицерами» (Сумьян Артаев, 1994). Таким образом, при описании выселения дети используют лексику военного противостояния, только в образе врага выступает советский солдат на службе репрессивного режима.

Лагеря Трудармии школьники нередко называют советскими концлагерями и приравнивают их к концлагерям Третьего рейха.

Николай Очирович оказался в Широκлаге... Огромными тяжелыми киркашами, которые в руках удержать нелегко, они добывали каменную породу в карьере. Добытые глыбы на руках переносили к машинам. Изнуряющий, нечеловеческий труд с ежедневной нормой выработки 6 кубометров камней и скудный паек быстро доводили людей до полного истощения... Через четыре месяца пребывания в лагере Николай Очирович начал опухать от голода. Возможно, он не выжил бы, если бы лагерный врач не пожалел его и не направил на лесоповал. Здесь было легче, но не намного. Весь день валили лес. Работали допоздна, ночью занимались погрузкой, а рано утром — снова в тайгу. Этот кошмар длился для него почти полтора года. Люди гибли один за другим. К ним, бывшим фронтовикам, с честью защищавшим Родину, относились как к узникам нацистских концлагерей (*Баатр Церенов, 1997*).

Депортация по своему деструктивному действию, большим человеческим потерям была воспринята детьми как синоним войны.

Депортации как этнические чистки, имевшие следствием гибель огромного количества людей, современными школьниками без сомнения признаются актами геноцида. Красноречивым аргументом является статистика утрат в приведенных семейных рассказах:

Сто пятьдесят человек было завезено в то село — к весне осталось пятьдесят. Бюри осталась в живых одна из одиннадцати детей (*Алтана Васькина, 1994*).

У дедушки в семье было десять детей, после Сибири остался он один (*Давид Амнинов, 2001*).

В Сибири бабушка потеряла десять братьев и сестру (*Саглар Бадакова, 1997*).

Моя бабушка — единственная выжившая девочка в семье, кроме нее было еще три сына, а всего девять детей. Никто не знает, сколько их было и как их звали. Она была самой младшей из оставшихся четверых (*Маша Чупова, 1998*).

В вагоны для скота погрузили по сорок человек. По прибытии осталось двадцать четыре человека (*Дорджи Омиков, 2004*).

Из этой группы, уехавшей на Север, человек сорок, в живых остался лишь один парень (*Роман Дуляев, 1994*).

Бабушке было суждено лишиться мужа, родителей, единственной сестры и восьмерых детей (*Баира Дорджиева, 1998*).

Умерло восемь детей из шестнадцати, а также их отец (*Валерия Ланцанова, 2004*).

Неслучайно одно из сочинений на тему депортации заканчивается фразой «Пусть будет проклята эта война!» (Юлия Копылова, 1993).

Депортация калмыков в антропологическом отношении началась с момента, когда калмыки были исключены вначале из советского общества и почти сразу же — из сообщества человеческого: после 1943 года статья «Калмыки» на два десятилетия исчезла не только из Большой Советской, но и из Британской энциклопедии. Поэтому школьники неоднократно приводили пример испытания на прочность нового астраханского моста: вместо первого пробного состава, обычно со строительным мусором или другим, не имеющим ценности грузом, мост испытывали транспортом с выселяемыми калмыками. Люди воспринимались властями как мусор, потому что это были калмыки: «В Астрахани был построен мост через Волгу. Когда поезд с депортированными калмыками от-

правлялся в Сибирь, то они первыми проехали по тому мосту, и власти удостоверились, что он прочен и что через него можно провозить грузы» (Бамба Номинханова, 1993).

Сразу по приезде в места ссылки калмыки заметно отличались от сибиряков. Они были не по сезону одеты, иначе выглядели физически, у них были странные для местных жителей имена, а многие совсем не знали русского языка. «Косые взгляды сопровождали калмыков везде» (Кермен Каляева, 1994). Местным жителям «милиция сказала: с калмыками не связываться; врачи отказались принять Бориса Эрдниевича из-за того, что он калмык» (Дельгир Араева, 2001).

Отчуждение и исключенность калмыков из человеческого общества зафиксированы в сочинениях множеством выражений, которые напрямую отражают нечеловеческий статус репрессированных: *скотный двор, скотные вагоны, скотская еда, нечеловеческие условия, околевшие трупы...* «Военные погнали их как скот к сборному пункту» (Кермен Кезеева, 2003); «Привезли нас, мы сидели молча, озираясь, как звереныши в зоопарке» (Эдуард Санджиев, 1993); «Ее, такую страшную дикарку, увидели дети и погнали по селу, как собачонку, с улюлюканьем...» (Октябрина Шевенова, 1997); «Глас калмыцкого народа был подавлен, он был подобен свисту одинокого суслика в степи» (Булгун Шевелева, 1994); «Они устроились в амбаре для домашних животных. Даже мышей с крысами там уже не было, да и не могло быть — уж очень холодно было там» (Эдуард Санджиев, 1993); «Отец Батра Манджиевича, уйдя в лес за дровами, вскоре был найден околевшим» (Чингиз Сангаджи-Горяев, 2001); «Мертвых сносили в пустой последний вагон и складывали как дрова, а где-то, видно, и разгружали» (Джангар Сангаджи-Горяев, 2003); «В больницы калмыков не брали. Зато морг был открыт круглые сутки. Несли, везли на салазках трупы каждый день. Старушки и ребятишки дежурили на одной из городских свалок, куда вывозились отходы местного мясокомбината. Местные подростки с огромными дворняжками ради забавы устраивали облаву на изголодавшихся людей» (Виктория Менкенова, 2001). «Питаться было нечем, ели мерзлую картошку, если подыхала лошадь, ели мясо» (Санан Кичиков, 2004). «А коных наш, Яков, дал нам немного овса от комендантских лошадей и медвежьего жира. Мы сварили каши и устроили настоящий пир» (Артем Демиденко, 1997). Трагическая повседневность тех лет обобщена школьником словом *существовали*. А слово *людоеды* должно было закрепить практику исключения из человеческого рода:

Когда мы приехали на станцию, мы все увидели подводы с людьми. Они стояли совсем далеко от нашего эшелона. Они, наверное, боялись нас, потому что мы были врагами народа. Как выяснилось позже — мне рассказали местные мальчишки, — им говорили, что мы людоеды, что мы убиваем их отцов, дедов на войне. Они стояли в стороне, ожидая увидеть своих врагов — страшных уродливых мужиков. Но когда они увидели, что среди нас старики, женщины, дети, они подошли поближе. Нас всех брали по очереди (*Эльдар Гаджиев, 1993*).

Народ поначалу относился к нам с опаской, ходили слухи, что приехали людоеды, никто не хотел иметь с нами дело. Но одна женщина приютила моих родственников. «Она сказала, что верит нам», — с гордостью вспоминает бабушка. Она дала им хлеба, старую одежду, выделила комнату. Она увидела в них не предателей и людоедов, а страдающих, измученных людей, ищущих тепла и понимания (*Виктория Гаврилова, 1998*).

Случайны ли были обвинения народа в каннибализме — в самых разных селах во всех областях, куда их привезли, на огромной территории страны? Такое обвинение было классическим проявлением колониального отношения к «дикарям», позволявшим в свое время первым европейским колонизаторам безнаказанно творить с туземцами все что угодно и избегать порицания за жестокость в своей метрополии. Потому что лица, нарушившие один из трех основных запретов, сформулированных Фрейдом, — на убийство, инцест и каннибализм, — исключаются из человеческого общества как несущие ему прямую угрозу. Надо сказать, что формула Фрейда, выведенная, когда XX век-волкодав еще не показал свои зубы, оказалась неактуальной для советского ГУЛАГа. Как свидетельствовал В. Шаламов, в лагерях ГУЛАГа заключенный-убийца, даже если он настоящий каннибал, а таковые находились, всегда чувствует поддержку государства — в отличие от «врагов народа», статус которых был много хуже «каннибальского»¹.

Этот же прием сознательно был использован службами, призванными идеологически обосновать депортацию калмыков, —

¹ Шаламов В. Вишерский антироман // Шаламов В. Несколько моих жизней. Проза. Поэзия. Эссе. М.: Республика, 1996. С. 387.

ведь обвинение в «измене родине», столь нужное для партийных и правительственных документов, могло и не внушать враждебных чувств к калмыкам среди сибирского населения, привыкшего к разным каторжникам и высленцам, неугодным в далекой столице. Среди сибиряков было немало политических ссыльных, многие из них не столь легко поддавались официальной пропаганде и имели свое неафишируемое отношение к власти. Такие люди могли бы, наоборот, внутренне приветствовать калмыков и помогать им. К тому же о каком идеологическом обвинении могла идти речь, когда выселяли немощных стариков и неразумных младенцев, слабых женщин? Поэтому обвинить их надо было в чем-то простом и всем понятном и в то же время — особенно тяжелом, несовместимом с человеческим обликом. Это был проверенный временем миф о людоедах, который, однако, не мог вскоре не развеяться.

Печать калмыцкой этничности вынуждала приспособляться к навязанным социальным условиям. Это заметно по изменениям такого этнического маркера, как личное имя. Калмыцкие имена принадлежат как бы старшему поколению и жизни до депортации или после нее — то есть молодежи, внукам, третьему поколению. Такого разнообразия личных имен, какие были у старшего поколения, — Лиджака, Цаган-Хаша, Сара, Баявя, Бода, Бува, Инджир, Авля, Контуш — сейчас нет. В Сибири калмыцкие имена изменяли на русские, и важным стало лишь сохранение первой, заглавной буквы. В одном из сочинений упоминается имя Александры — Шуры, которая на самом деле Шарка, и это только один из частных случаев двойных имен. Многие ученики пишут: *бабушка Ольга (Отхн), Анджа (Саша), Мария (Баина), Софья (Хоньда)*¹. Велика доля сочинений, в которых бабушка с дедушкой фигурируют, но без имен. Отсутствие (в данном случае личных имен) — одно из проявлений травматического синдрома. Дети росли без бабушек, их уже не было в живых, и о них не рассказывали матери или рассказывали так бегло, что даже имя не запомнилось².

¹ В сочинениях отражается и обратный процесс переименования населенных пунктов республики — с калмыцкого на русский язык: «пос. Алцын-Хута (ныне Заливной)» (Ксения Сармашева, 2003).

² Я сама знаю имя моего деда благодаря маминому отчеству, а как звали мою бабушку, мамину маму, — не знаю. Моя бабушка умерла до моего рождения, мама — когда мне было 20 лет. Это произошло до перестройки, и мама ничего мне не рассказывала ни о своем детстве, ни о юности. Она поехала в Сибирь

В Сибири 99 % новорожденных калмыцких детей получали русские имена. Эти имена — имена второго поколения, родителей авторов сочинений, таковы: «В 1952 г. родилась дочка Алефтина — моя мама, а в 1954 г. — еще одна дочка Мария — моя тетя» (Евгений Шитлянов, 2003). «Родились девочки Тома, Зина и Нина» (Лена Цебекова, 2003). «Родилось два сына — Володя и Виктор» (Олег Сангаджиев, 1997). Во многих случаях в метрике записывалось русское имя, но иногда мать все-таки давала тайное, калмыцкое имя. В наши дни «сибирские дети» — так стали называть калмыков, рожденных или проводших детство в условиях депортации, — обычно объясняют свои русские имена случайным стечением обстоятельств, благодарностью русской соседке, которая спасла от голодной смерти, или акушерке, которая приняла роды, и их именами были названы дети.

Возможна и другая причина, связанная с традицией давать «чувшие» имена детям, особенно если были причины опасаться за жизнь ребенка. Так делалось в старину, чтобы запутать злых духов, которые если и придут за ребенком, то решат, что он не из этой семьи. Детская смертность, особенно в первые годы депортации, была высокой. Как сообщила мама Баире Наранкаевой (1993), «смерть детей была явлением частым, так как не было еды; у кормящих матерей не хватало молока, а дети с искусственным вскармливанием были слабы и очень быстро заболели».

Но не менее реально и желание родителей облегчить жизнь ребенка, которому предстояло «навечно» оставаться в статусе репрессированного и каждый раз объяснять, что означает его калмыцкое имя, встречать трудности с произношением и написанием в документах. А самое главное, нерусское имя неминуемо вызвало вопрос: к какому народу принадлежит его носитель? Быть калмыком означало относиться к наказанному народу и, следовательно, быть готовым ответить на вопрос: за что, собственно, калмыков сослали? Приемлемого же ответа, который был бы правдой и с которым можно было бы согласиться калмыку, у него тогда не было. Поэтому проще было дать ребенку имя, привычное для большого общества. Однако и обращение к русскому имени не было

22-летней и многое понимала и наверняка многое помнила. Но в речи проскакивали из ее памяти только упоминания сибирских подруг или мелких деталей сибирской жизни, по которым ни о чем определенном судить было нельзя. Я думаю, так вели себя многие матери.

чисто механическим или вынужденным актом; как показывают устные истории, оно также выбиралось вдохновенно, но уже с ориентацией на историю и идеологию доминирующего общества.

После возвращения на родину и снятия обвинений с калмыцкого народа люди снова стали давать детям калмыцкие имена. Третье поколение в целом чаще имеет калмыцкие имена, нежели русские. Это можно проследить по именам цитируемых авторов. И хотя большая часть авторов сочинений с калмыцкими фамилиями имеют калмыцкие имена, в наши дни почти весь именник от Алдара до Яны укладывается в сорок популярных имен.

В сочинениях изредка упоминаются люди, получившие инвалидность от непосильной работы или в других неблагоприятных социальных обстоятельствах. Невидимые в общественной жизни инвалиды оказались упомянутыми в текстах сочинений не только потому, что они были знакомыми или родственниками школьников. Они оказались для детей, выросших в обществе с дискриминацией нетипичности, самыми простыми символами депортационного бесправия и беспомощности, живым воплощением исключенности: печать этничности привела к стигме инвалидности. Психологическая травмированность обернулась физическим увечьем, которое не спрятать, как было не спрятать физическую принадлежность к иному фенотипу (монголоидную внешность среди европеоидного населения), также не к доминирующему. Образы инвалидности вспомнились в контексте рассуждений о последствиях депортации, о том, что выселение *искалечило* судьбы людей, что не все раны время может залечить. Что боль может пройти, но увечье остается, и сломанную жизнь не изменить.

Примерно два года спустя после приезда в Сибирь Булгун постигло несчастье — на лесоповале на нее упало дерево, оставив ее на всю жизнь калекой. Около года она не могла работать, выжила лишь благодаря помощи сибириков и врачей, но навсегда она перестала расти, так и осталась ниже нормального роста. После «выздоровления» ее и еще несколько калмыцких семей из ее колхоза направили на Сахалин работать. Целыми днями, стоя в холодной воде, ловили они рыбу. Затем приходилось ее очищать; грязные, голодные, замерзшие, все в липкой рыбной чешуе приходили они в свои бараки — сараи, где не то чтобы об удобствах, об элементарных вещах речи не было. Этот ад продолжался до 1956 г. Больные, рано постаревшими, но счастливыми (может быть, впервые)

возвращались они на Родину, думали, что здесь обретут счастье, но беда преследовала их и здесь. Слегла сестренка Булгун, вскоре ее парализовало — сказались болезни после тяжелого труда в Сибири и на Сахалине. Булгун пришлось работать, чтобы зарабатывать на лечение сестры. Ей было сложно устроиться на работу, так как годы, проработанные в Сибири и на Сахалине, в ее трудовую книжку внесены не были, пришлось начинать все сначала. Булгун уже в пенсионном возрасте, она не могла выйти на пенсию, ей не хватало выработки, то есть стажа. Ее уже давно нет, все родные умерли на ее глазах, и последняя родная душа — ее сестренка умерла, так и не встав на ноги (*Баира Иджаева, 1998*).

Какой же предстает жизнь калмыков в Сибири, «ставшей их домом на тринадцать лет тревог и надежд»? Первые шаги в адаптации калмыков на новых местах, по словам Эльдара Гаджиева (1993), начались, «когда сибиряки увидели в нас прежде всего людей, а не тех людоедов, которыми нас выставляла пропаганда. Узнав, что мы за народ и что мы невиновны и такие же *люди*, как и они, жители начали нам всячески помогать». Однако, повествуя о хорошем, авторы иногда проговаривались о большем — о том, что практики исключения порой воспринимались как норма. Власть подчиняла себе людей, и, ослабленные ее силой, они принимали и ретранслировали ее термины; удивление вызывает их нарушение. Баира Нюденова (1993) так и написала: «многие *даже не боялись* дружить с калмыками, в них видели настоящих друзей».

Частый сюжет сочинений — перенесенные трудности, которые, как и бывает при травме, формулируются в терминах отсутствия. «Ведь не было ни жилья, ни теплой одежды и обуви, не было еды» (Джиргала Шураева, 1997). «В этой ссылке у детей не было детства, они выросли не по годам, взвалив на свои хрупкие плечи громадное горе своего народа» (Кермен Шарапова, 1997). О чем бы ни рассказывали бабушки и дедушки, а тем более о своей жизни, они делали это в привычных выражениях, сообщая внукам о своих ценностях даже тогда, когда такой задачи намеренно не ставили. Важной информацией являются сведения об усилиях, которые предпринимали люди, чтобы доказывать свою лояльность государству, несмотря на его незаконные действия.

За хороший труд о бабушке написали в местной газете и поместили ее фотографию, приведя в пример как отличника труда... Дед

был воспитан в коммунистическом духе, был награжден, несмотря на статус спецпереселенца, знаками отличия. Когда при достижении соответствующего возраста его рекомендовали в члены коммунистической партии, его не приняли, потому что он был калмыком — «врагом народа» (*Давид Амнинов, 2001*).

Частый, практически обязательный элемент любого повествования о Сибири — благодарность «лучшим русским», сибирякам. В частном проявлении это естественная человеческая реакция на помощь в трудную минуту, помощь, которая стала символическим актом поддержки и сопереживания гораздо позже, когда работа сознания позволила увидеть реальность сквозь призму символа:

Когда их привезли в Тюменскую область, прабабушка нанялась на работу к одной сибирячке — ухаживать и доить коров. Часть молока она брала себе и варила калмыцкий чай. После некоторого времени сибирячка признала, что ее коровы никогда не были такими ухоженными, они почти блестящие. И сибирячка за это подарила прабабушке корову (*Лилия Цеденова*).

Бабушка говорила: Когда приехали — мы плакали оттого, что не понимали, как будем жить и выживать, но и дождавшись указа о возвращении домой, в феврале 1957 г., тоже плакали, но уже вместе с ними плакали местные сибирячки в ожидании бессрочной разлуки (*Хонгр Замбаев*).

Отношение к местным жителям, которые помогали в трудную минуту, спустя полвека формулируется в терминах родства. Следивший доброе дело человек воспринимался уже родственником — кому же еще есть дело до твоих мытарств? И в рассказах стариков сибиряки обрисованы как самые близкие люди: мать, матушка, дядя:

Через год матери не стало. Осталось их двое — братишка и она. Брату повезло — его забрали в детский дом... А Булгун взяла к себе одна старая русская женщина. Детей у нее не было, и она стала заботиться о ней, как о родной...Время шло. Ее хозяйка — русская женщина, которая стала для нее *матерью*, умерла через несколько лет от тифа (*Юлия Копылова, 1993*).

Станция «Лиски». Здесь впервые за время пути открылись двери вагонов. Вошли русские женщины с ведрами, полными горячего борща. Наверняка этот борщ спас множество калмыков, уже столько дней не евших горячего. Мой ава со слезами благодарности на глазах вспоминал этих женщин. «Русские *матушки*» — так он называл их (*Ангира Дашева, 2003*).

Благодарность русским людям — это еще и отражение официального дискурса родины, в котором дружба народов была священной (а ставить под сомнение «святыни» было невозможно), и если бы такой поддержки не было, то и калмыцкий народ оказался бы одиноким, символически утратил бы родину, не покидая ее государственных границ. Сочувствие сограждан — не калмыков, а именно русских, которые количественно доминировали в СССР, а также были «первыми среди равных», отвечало ожидаемой реакции со стороны «большой» аудитории и подтверждало представление о нравственном чутье русского народа, который был умнее и добрее руководителей партии и государства.

Дети смогли увидеть сибирские годы не только в драматизированной подаче СМИ, а иначе, сквозь мудрый опыт старших, поэтому они замечают, что «жажда жизни была сильнее... молодость, полная энергии, надежд, веры, боролась за свое существование... Именно большое желание выжить, любовь к жизни — такой, какая она есть, помогли пережить моей бабушке все эти годы» (аноним).

На мой вопрос «Как вы там жили?» вопреки сложившемуся мнению бабушка ответила: «Хорошо». Благодаря хорошим людям, которые были вокруг, жизнь не казалось тяжелой. И моя мама говорит, что они провели обычное для всех детей того времени детство. Учились, играли, лазили в чужие огороды за пасленом. Были такими же, как и все остальные дети, не были лишены маленьких детских радостей (*Кермен Дарбакова, 1993*).

Репрессирующая повседневность в те годы была нормой и как таковая практически не воспринималась сознанием. Повествуя о красноречивых фактах дискриминации, многие рассказчики уверены, что ущемленными они не были. Благодарность за то, что удалось выжить в Сибири, удалось создать семью, а некоторым — получить образование на фоне общих тяжелых утрат, не позволяло человеку жаловаться на судьбу. Само выживание как таковое,

НАСТОЯЩЕЕ ПРОШЛОГО

выполнение родительского долга, получение образования стали критерием удавшейся жизни.

* * *

В республике неблагополучная экономическая ситуация, программа создания перерабатывающей промышленности не была реализована, а скот, старое мерило богатства, сокращается, и пока не просматриваются ясные перспективы роста благосостояния населения. В этих условиях, усиленных непредсказуемой локальной политической ситуацией, именно память «начинает создавать приемлемое прошлое»¹, в котором были тяготы и покруче, но все беды преодолевались честным трудом и добротой людей. Работа памяти, ретроспективно реставрируя травму, создает нарративы, которые напоминают уже проверенные жизнью стратегии выживания.

Воображаемая детьми депортация — это конструкция второго уровня, основанная на смягченных посланиях старшего поколения. Наследовав непроработанное прошлое старших, молодые люди сочиняют свою депортацию: простую и родную, ужасную и добрую, ненавистную и незабываемую.

¹ *Сабуров Е.* Ожидания и память // Неприкосновенный запас. 2005. № 2/3.

Светлана Алексиевич

Время Second-Hand:

частные подробности одного ритуала

Пролог

У коммунизма был безумный план — переделать нас. Переделать человеческую природу, изменить «старого» человека, ветхого Адама. «Гомо советикус» — человек, которого вывели в лаборатории марксизма-ленинизма, на одной шестой части суши. Признаемся: это мы. Слово «русский» привычно соединяли со словом «советский». Хотя это не всегда было так. Но советскими были украинцы и грузины, армяне и таджики, белорусы и туркмены... Что-то нас объединяло, несмотря на разницу культур и религий. В общем-то, все мы были опытным полем для коммунистической идеи. Теперь нам известно, что мы принадлежали к особому типу человеческой генерации, единожды возможному, неповторимому. Но этот тип скоро исчезнет, растворится в мировой цивилизации, в которую мы возвращаемся. Одни утверждают, что это трагический и прекрасный человек, другие с холодным отчуждением нарекли его «совком». Как будто к неизвестным незнакомцам, а не к себе приглядываемся. Кто же мы на самом деле в свете истории и в свете не такой уж длинной человеческой жизни, однажды дарованной? Кто?! Дети великой иллюзии или жертвы массового психического заболевания?..

...Между взмахом крыла и лопаты

Анна М-ая — архитектор, 55 лет

— Сначала мне приснился сон, что я умерла... Этот сон был раньше, чем я захотела умереть, подумала о смерти. В детстве я много раз видела, как умирают, а потом я об этом забыла. (*Оста-*

навливается.) Непонятно, почему плакать хочется... Я же все знаю... Я все о своей жизни знаю... Вижу сон... Вижу много-много птиц, они кружатся, а потом начинают биться в окно. Я пугаюсь и просыпаюсь... Я не хожу в церковь, но я верю, что мир из чудес. Из знаков. Когда мне приснился этот сон, я уже не смогла оторваться от мысли о смерти. Проснулась... с чувством... С таким странным чувством, что у моей головы, за мной кто-то стоит... Открыла глаза и чувствую, что кто-то там стоит, я хочу повернуться, чтобы увидеть: кто это? Я хочу оглянуться... Но я лежу... Какой то страх... Какое-то предчувствие не пускает меня посмотреть назад, даже не предчувствие, а знание, что этого делать не надо, нельзя... Нельзя! Вы думаете: я не хочу жить? Я очень хочу жить! Я не просто жила, я долго любовалась жизнью. Вот яблоня вся в белом... светится... вот чей-то голос за окном... Как будто я первый раз слышу человеческий голос... Я какая-то доверчивая была! Жизнь меня ошеломяла, завораживала. Как будто я росла и не выросла... Я не объясню... Не соберу все свои чувства в слова... Не смогу... *(Закрывает лицо руками.)* Разговариваю с вами - и вот уже слышу, слышу запах мать-и-мачехи... Горы вижу... Деревянную вышку... Желтый пол... И железные кровати, очень много железных кроватей, они одна возле одной... Все это во мне глубоко-глубоко запрятано. Мне раньше казалось, что, если я кому-нибудь расскажу, мне захочется убежать от этого человека, чтобы больше никогда его не видеть, не встречать. Если бы вдруг с меня содрали медленно кожу и я осталась одна... Никаких людей нет. А я никогда не жила одна. Я жила в лагере в Казахстане, он назывался Карлаг, после лагеря в ссылке. Потом жила в детдоме, в общежитии... Всегда много-много других тел, других глаз... Много-много! Свой дом у меня появился, когда мне было уже сорок лет. Нам дали с мужем двухкомнатную квартиру, у нас уже дети выросли большие. Я бегала к соседям по привычке, как в общежитии, одалживала то хлеб, то соль, то спички, то утюг, и они меня за это не любили. А я никогда не жила одна... Не понимала... Еще мне всегда хотелось пишем... Ждала конвертов, конвертов... А от кого? И сейчас жду... Когда сын был маленький, он у меня спрашивал: «На каком автобусе можно поехать в тридевятое царство и тридесатое государство?» *(Смеется.)* Теперь я готова спросить... Где я? В какой стране? Идешь по знакомой улице: французский магазин, немецкий, польский, все названия на чужих языках. Чужие носки, кофточки, сапоги... Печенье и колбаса... Нигде не найти ничего нашего, со-

ветского... Что с нами случилось? Куда мы делись? Я только и слышу со всех сторон: жизнь - борьба, сильный побеждает слабого, и это естественный закон. Надо нарастить себе рога и копыта, прочный панцирь, слабые никому не нужны. Всюду локти, локти, локти. Это фашизм, это свастика!!! Раньше я любила ходить на работу через мост, это чуть дольше, немного круг, но я люблю мосты; в Ленинград на экскурсию ездила, чтобы полюбоваться мостами и фонтанами. Один раз остановилась у перил и глянула вниз: меня потянуло с высоты... туда... в темноту осенней воды... Я даже представила себе, как это случится... Захотелось опуститься вниз плавно, тихо, чтобы не слышно и не больно и чтобы никто не видел. И никто потом не нашел... Как будто меня никогда не было... (*Замолкает.*) Я не умею жить в этом новом... в этом чужом мне мире... Если бы рядом кто-то был... Я — одна, муж три года назад умер. В молодости не могла жить одна, а в старости еще страшнее. Слепнешь и глхнешь от тишины, от пустоты. От того, что одна... Раньше я всегда что-то ждала от каждого встреченного человека, что-то хорошее. Выйду в город — это мой город! Это моя страна! Большая, непобедимая и родная. Я оттуда... Нет вышки, нет часовых, но уйти мне некуда... Помню, как в «Новом мире» напечатали и все читали «Один день Ивана Денисовича» Солженицына. Потрясение! И столько разговоров! А я не понимала, почему такой интерес, такое удивление? Все мне было знакомое, абсолютно для меня нормальное: эски, лагерь, параша... И — зона... (*Молчит.*) Непонятно, почему плакать хочется... Я же все о своей жизни знаю...

В тридцать седьмом арестовали моего папу, папа работал на железной дороге. Мама бегала, хлопотала, доказывала, что папа не виноват и это ошибка. Она была молодая, красивая, ее слушали, но все равно отказывали. Обо мне она забыла. И родился недоношенный ребенок... Но я выжила... Я зачем-то выживала много раз... Не один раз... Потом маму тоже арестовали и меня вместе с ней, так как нельзя было оставить ребенка одного в квартире, мне было четыре месяца. Двух старших сестричек мама успела отправить к папиной сестре в деревню, но из НКВД пришла бумага: привезти детей назад в Смоленск. Их забрали прямо на вокзале: «Дети будут в детдоме». Даже адреса не дали. Наша тетя Надя, простая деревенская женщина, сутки сидела на вокзале и плакала. Девочек мы нашли через много лет, они уже вышли замуж, у них уже были свои дети... Через двадцать лет...

Я помню, что сначала в лагере я жила с мамой, все маленькие дети жили с мамами. Потом нас поместили в отдельный детский барак. Утром через проволоку мы видели, как наших мам строят, считают: один, два... Три... Дальше я считать не умела... Считают и уводят на работу. Уводят за зону, куда нам ходить было нельзя. Когда меня спрашивали: «Откуда ты, девочка?» — я отвечала: «Из зоны». «Зазона» — это был другой мир, что-то непонятное, пугающее, для нас не существующее. То ли это сказка, то ли ужас. Не знаю. За зоной — пустыня, песок, сухой ковыль... Мне казалось, что пустыня там до самого края, дальше горизонта. Что другой жизни, кроме нашей, нигде нет... Нас охраняли наши солдаты... Это вот да, это я хорошо помню... Почему-то... Я не знаю почему, но больше всего я запомнила солдат, наших солдат... Со звездами на фуражках... Был у меня дружок Рубик Циринский, кучерявый, с профилем Пушкина. Он водил меня к мамам через лаз под проволокой. Всех построят идти в столовую, а мы спрячемся за дверью. «Ты же не любишь пирожки с капустой?» — спрашивал Рубик. Я всегда хотела есть и очень любила пирожки с капустой, но ради того, чтобы увидеть маму, я согласна была на все: «Нет, я не люблю пирожки с капустой. Я люблю маму». И мы ползли в барак к мамам. А барак был пустой, мамы все на работе. Мы знали, но все равно ползли и, как щенки, обнюхивали там каждый угол: железные кровати, железный бачок для питьевой воды, кружка на цепочке — все пахло мамами. Иногда мы там находили чьих-то мам, они лежали на кровати и кашляли. Чья-то мама кашляла кровью... Рубик сказал, что это мама Томочки, которая у нас самая маленькая. Эта мама скоро умерла. А когда умерла сама Томочка, я долго думала, кому сказать, что Томочка умерла. Ведь ее мамы нет, ее мама тоже умерла...

Когда я со своей мамой об этом вспоминала, через много лет, она не верила, она удивлялась: «Тебе тогда было всего четыре годика». Я вспоминала, как из каких-то маленьких кусочков она шила большие фуфайки, и она снова удивлялась: «Тебе было только четыре годика». — «Мама, я еще спрашивала: почему они черные? А ты отвечала: “Зато теплые”». «Правда? — удивлялась мама. — А я все забыла. Я однажды даже забыла лицо нашего папы...» Мне кажется... Я помню... Аромат кусочка дыни, который мама мне однажды принесла. Размером с пуговицу... В какой-то тряпочке... Я буду помнить это до конца дней, запомнила навсегда! Однажды мальчики позвали меня играть с кошкой, а я не зна-

ла, что такое кошка. То, что есть зайцы и ежики, мы знали, но думали, что они живут только в книжках. В сказках. Кошку принес-ли из-за зоны, в зоне кошек не было, потому что не оставалось никаких остатков еды, мы все подбирали, съедали, как зверьки. Ели какую-то траву, корешки, облизывали камешки. Главное было дожидаться весны, дожидаться травы. Нам очень хотелось угостить чем-то кошку, но у нас ничего не было, и мы кормили ее своей слюной после обеда, и она — ела! Она ела...

Помню, как мама хотела дать мне конфету. «Анечка, возьми конфету!» — позвала она меня через проволоку. Охранники ее не пускали, они оттаскивали ее от меня за длинные черные волосы. Лаяли собаки, высокие овчарки. А она оглядывалась и кричала: «Анечка, возьми конфету!» Мне было страшно, я не знала, что такое конфета. Никто из детей не знал, что такое конфета. Все испугались и поняли, что меня надо спрятать, и затолкали в серединку. Меня всегда дети ставили в серединку: «Потому что Анечка у нас падает». Я ничего не видела... Я маму уже не видела... (*Обхватывает голову руками.*) Плакать хочется... Непонятно, почему плакать хочется... Я же все знаю... Я все о своей жизни знаю... А может, мне кто-то все это рассказал... Или я в книге прочла... А вдруг я схожу с ума?

Страх был не один... Было много страхов, больших и маленьких страхов. Про страх я тоже знаю все... Мы боялись расти... Боялись, что нам будет пять лет... В пять лет нас вывозили из лагеря... Меня, как сейчас помню, вывезли в детдом № 8 поселка № 5. Все было под номерами. Нас погрузили в грузовик и повезли. Мамы бежали, цеплялись за борта, кричали, плакали. Помню, что мамы всегда плакали, а дети не плакали никогда. Мы никогда не были капризными, не баловались, не смеялись. Нет-нет... Не помню... Плакать я научилась в детдоме. В детдоме нас очень сильно били. Нам говорили: «Вас можно бить и даже убить, потому что ваши мамы — враги». Пап мы не знали. «Твоя мама плохая» — не помню лицо женщины, которая мне это повторяла и повторяла. «Моя мама — хорошая. Моя мама — красивая», — плакала я. — «Твоя мама — плохая. Она — наш враг». Я не помню, произносила ли она само это слово «убить», но помню, что наших мам не должно быть. Какие-то страшные слова... И в то же время, в то же время... Нас охраняли наши солдаты с винтовками... И красными звездочками... Наши! Позже мы понимали, что солдаты нас охраняют от

мам. У нас не было воспитателей, учителей, таких слов мы не слышали, у нас были командиры... И они били...

Мне хотелось, чтобы меня били так, чтобы остались дырки, и тогда перестанут бить. Дырок у меня не было, зато гнойные свищи покрыли все тело. Бить перестали. Тогда я поверила, что, если что-то очень хочешь, просишь, оно сбывается. Обязательно сбывается! У моей подружки Олечки были металлические скобочки на позвоночнике, ее нельзя было бить. Все ей завидовали, и я тоже хотела иметь скобочки... Металлические скобочки на позвоночнике... А еще я ждала, чтобы скорее наступила ночь. Ночью к нам приходила тетя Фрося, ночной сторож. Она была добрая, она нам рассказывала сказки про Аленушку и Красную Шапочку... Василису Прекрасную... Приносила в кармане пшеничку и давала по несколько зернышек тому, кто плакал. Больше всех у нас плакала Лилечка, она плакала утром, вечером плакала. Плакала, когда мы кушали, плакала, когда мы учились, одним словом, всегда. У нас у всех была чесотка, толстые красные чирьи на животе, а у Лилечки под мышками были еще волдыри, они лопались гноем. Помню, что дети доносили друг на друга, это поощрялось. Больше всех доносила Лилечка... Ждали весну, чтобы нарвать цветов и съесть их. Ели подснежники... Лилечка умерла зимой... Если бы она дожила до подснежников, она бы не умерла... Не... *(Умолкает на полуслове и задумывается.)*

Нас учили любить... Любить товарища Сталина... В классе мы пели счастливые песни о Сталине. Первое мое письмо я написала товарищу Сталину. До этого у нас бумаги не было. Когда мы выучили буквы, нам раздали чистые листки бумаги, и под диктовку мы писали письмо самому доброму, самому любимому товарищу Сталину. Нашему вождю. Мы его очень любили, верили, что получим ответ и что он нам пришлет подарки... Смотрели на его портрет, и он нам казался таким красивым... Самым красивым! На 1 Мая всем выдавали красные флажки, мы радостно ими махали. Я всегда боялась, что мне не достанется флажок... Что у меня не будет красивого красного флажка... Нас все время учили, нам говорили: «Родина — это ваша мать... Родина — это ваша мама...» А мы у всех взрослых, которых встречали, спрашивали: «Где моя мама? Какая моя мама?» Никто не знал наших мам...

Первая мама приехала к Рите Мельниковой. У нее был изумительный голос. Она нам пела колыбельную:

Спи, моя радость, усни.
В доме погасли огни...
Дверь ни одна не скрипит,
Мышка за печкою спит...

Мы такой песни не знали, мы эту песню запомнили. Просили: еще, еще. Я не помню, когда она кончила петь, мы заснули. Она нам всем говорила, что наши мамы хорошие, что наши мамы красивые. Что наши мамы все поют эту песню. Мы ждали... Потом пережили страшное разочарование — она нам сказала неправду. Приезжали другие мамы, они были некрасивые, больные. Они не умели петь. И мы плакали, плакали не от радости встреч, а от огорчения. С тех пор я не люблю неправду. Нас нельзя было утешать неправдой. Нельзя было обманывать: твоя мама жива, а не умерла. Ребенок начинал верить, а потом оказывалось, что мамы нет. И я до сих пор не люблю сказки, долго не читала сказки. Я начала читать сказки, когда у меня подрос сын, он просил: «Сказку... Мамочка, расскажи страшную сказку». Читала и всегда удивлялась: почему в детских сказках так много убивают и почему детям это нравится? И сейчас не понимаю. И в кино все любят страшное... И в книжках... Почему?

В детдоме мы были очень молчаливые. Не помню наших разговоров... Помню прикосновения... Моя подружка Валя Кнорина до меня дотронется, и я знаю, о чем она думает, потому что все мы думали об одном и том же. Знали друг о друге интимные вещи: кто пишется ночью, кто кричит во сне, кто какую букву картавит. Я все время ложкой зуб себе выпрямляла. Что-то на нас падало, наверное, свет ангелов. Не может столько детей быть без ангелов. В одной комнате — сорок железных кроватей... Сетки старые и скрипучие...Сорок! Вечером — команда: сложить ладошки вместе и — под щеку! И всем — на правый бочок! Должны были делать это вместе, все сорок человек. Это была общность, пусть животная, пусть тараканья, но меня так воспитали... С детства внушили... Лежим-лежим ночью и начинаем плакать, все вместе: «Хорошие мамы уже приехали... » Одна девочка сказала: «Не люблю маму! Почему она так долго не едет?!» Но я вспоминала, как моя мама звала меня: «Анечка, возьми конфету!» Как ее не пускали, тянули за красивые черные волосы... Я прощала ей все, я любила ее...

Утром мы хором пели. *(Тихо напевает.)*

НАСТОЯЩЕЕ ПРОШЛОГО

Утро красит нежным светом
Стены древнего Кремля.
Просыпается с рассветом
Вся советская земля...

Красивая песня! Моя любимая песня...

1 мая! Больше всех праздников на свете мы любили 1 Мая. В этот день нам выдавали новые пальто и новые платья. Все пальто одинаковые и все платья одинаковые. Ты начинаешь их обживать. Нам выдавали мальчишечьи трусы — девочкам и мальчикам. Нам говорили, что это Родина о нас думает, о нас заботится. Родина — наша семья. Мы верили и любили ее. Перед Первомайской линейкой выносили во двор большое красное знамя... Стучал барабан... Все строились, наступал долгожданный момент — каждый получал маленький красный флажок... На нем серп и молот... Однажды приезжал к нам какой-то генерал и поздравлял; всех мужчин мы делили на солдат и офицеров, а это был генерал. Лезли на высокий подоконник, чтобы увидеть, как он садился в машину и махал нам рукой. «Ты не знаешь, что такое — папа?» - спросила меня вечером Валя Кнорина. Я не знала... (*Молчит.*) Был у нас Степка... Руки сложит, как будто он с кем-то вдвоем, и кружится по коридору, как в вальсе. Сам с собой танцует... Нам смешно... Он ни на кого не обращал внимания, словно он один жил... Нам непонятно... Непривычно... Его даже к врачу водили... А однажды утром он умер, не болел - и умер. Долго его не забывали...

А потом у меня тоже появились волдыри под мышкой. Они лопались, было так больно, что я плакала. Игорь Королев поцеловал меня в шкаф... Мы учились в пятом классе... Я начала выздоравливать... Я выжила... (*Смахнула рукой слезы и засмеялась.*) Кому это сейчас нужно? Никому это неинтересно и не нужно давно. Вы посмотрите, какие обиженные лица у стариков, у них лица, как у обманутых детей. Что осталось от нашего прошлого? Только то, что Сталин залил эту землю кровью, Хрущев сажал на ней кукурузу, а над Брежневым все смеялись. А наши герои? О Зое Космодемьянской в газетах теперь пишут, что она болела шизофренией после перенесенного в детстве менингита и у нее была страсть поджигать дома. А Александр Матросов пьяный бросился на немецкий пулемет... Сравнивают их подвиги с ритуальными самоубийствами... Мой сын смеется над тем, что мне дорого, над моими «бумажными» идеалами. Я выхожу на улицу, и там... Там сегодня другие лю-

ди...Незнакомые... Страны нашей нет, а мы есть, старые и противные. Родом из СССР.. Родом из СССР.

Почему плакать хочется... Я же все знаю...Я все о своей жизни знаю. Мне надо... Я хотела... Открывать душу - это как открывать тело, ходить голым среди одетых людей. А с нами надо долго разговаривать... Слушать... Строили, жертвовали, терпели, а вокруг...Это нам говорят... Упрекают... Вокруг серые дома, плохие дороги, уродливые машины, немодная одежда... Некрасивая жизнь... Так считает мой сын. «Где ваше время? — спрашивает он. - Где? Что ты мне оставляешь?» Ничего... Ничего я не оставляю, кроме своих страданий... Весь мой капитал - то, что я пережила, передумала, а недвижимости, золота, денежных вкладов у меня нет. Душа легкая... Легко улетит из тела... Только куда? А мне так нравилось жить... Любоваться... Может, я сумасшедшая? А вдруг я сошла с ума? Я люблю жизнь, но не ту, которой живу... Не ту... *(Прозносит что-то бессвязное, и опять молчание.)*

В больнице... Я не сразу помню себя в больнице и то, что была... И как? Мне рассказали: соседка услышала запах газа, вызвала милицию, взломали дверь... Меня увезла «Скорая помощь»... В палате... Сначала, когда все причиняло боль: любое движение, глотнуть воздух, пошевелить рукой, открыть глаза, - весь мир — это было мое тело. Потом мир раздвинулся и стал выше, я увидела белый потолок, нянечку... Я очень долго возвращалась, обретала плоть. Как непривычно... Растерянно... Опять входить в этот мир... Рядом со мной умирала девушка, она умирала несколько дней, лежала вся в этих трубках, и во рту трубка, даже кричать она не могла. Почему-то ее нельзя было спасти... Она выпила стакан уксусной эссенции... И я смотрела на эти трубки и представляла в подробностях: вот это я лежу, я умерла, но я не знаю, что я умерла и меня больше нет. Я сходила туда, побывала там в уме, в образе... И вообразила себе, что тот мир совершеннее... *(Улыбка на лице.)*

Я жила в детдоме до шестого класса... Когда я пошла в шестой класс, ко мне приехала моя мама. В лагере мама отсидела двенадцать лет. Мне двенадцать лет и четыре месяца, и двенадцать лет мама была в лагере. Я помню, как она приехала за мной... Ей разрешили забрать меня, чтобы нам жить вместе. Это осень... Я иду по двору... Меня кто-то окликнул: «Анечка! Анюточка!» Никто меня так не звал, никто не звал меня по имени. Я увидела женщину с черными волосами и закричала: «Мама!!!» Она обняла меня с таким же ужасным криком: «Папочка!» Маленькая я была очень

похожа на отца. Сколько счастья! Я несколько дней ничего не помнила от счастья, я никогда больше не стала такой счастливой. Но скоро, очень скоро оказалось, что мы с мамой не понимаем друг друга. Я искренне верила, что у меня было счастливое детство, хотела скорее вступить в комсомол, чтобы бороться с какими-то невидимыми врагами, которые хотят разрушить нашу самую лучшую жизнь. Нашу великую страну. А мама плакала и болела.

Мы поехали за документами в Караганду, оттуда нас направили в ссылку в город Белово, где-то за Омском. В Сибирь... Месяц мы туда ехали... Ехали и ехали, ждали и пересаживались... По пути отмечались в НКВД, нам все время предписывали: следовать дальше. До сих пор я не могу видеть вечерних огней в домах. Нас выгоняли ночью с вокзалов, мы шли на улицу. Метель, мороз. Горели огни в домах, там были люди, они жили в тепле, они грели чай. Нам надо было постучать в дверь... Это было самое страшное... Никто не хотел пускать ночевать... *(Плачет.)* В Белове мы стали жить на квартире — в землянке. Потом опять жили в землянке, и она уже была наша. Я заболела туберкулезом, не могла стоять на ногах... Сентябрь, надо идти в школу, а я не могу ходить... В памяти: лежу в больнице, и каждый день кто-нибудь умирает. Умер Ванечка... Умер Славик... Мертвых я не боялась, но я не хотела умирать. Я очень красиво рисовала, вышивала, так красиво, что все удивлялись. И я не понимала: почему я тогда должна умереть? Каким-то чудом я выжила... Однажды открыла глаза: на тумбочке стоял букет черемухи. Поняла, что буду жить... Опять буду жить... Вернулась домой, в землянку. У мамы очередной инсульт. Увидела старую женщину, еле передвигающуюся по землянке, ей она была большая. Маму увезли в больницу... В доме я не нашла никакой еды... А выходить на улицу стеснялась, чтобы не догадались, в каком я положении, и не подавали, как нищенке, кусочек хлеба... Соседка нашла меня на полу, я еле дышала. Помню, как она тащила меня на себе в свою землянку и причитала: «Ах, дурочка ты, дурочка. Ах, дурочка ты...» Кто-то принес кружку теплого козьего молока... Этот запах... У козьего молока детский запах...

Через несколько дней меня посадили на поезд... Билет купил Красный Крест. Я возвращалась в Смоленск, в свой родной город. В детдом. Там опять началась знакомая жизнь... И там мне исполнилось шестнадцать лет... У меня появились друзья. Но была у меня такая странность: если я кому-нибудь начинала нравиться, становилось страшно. Страшно, что кто-то обратил внимание,

выделил меня; хорошо чувствовала себя только незамеченной, неузнанной. В толпе или в группе. За мной невозможно было ухватиться, потому что на свидание я брала с собой подругу. Если меня приглашали в кино, я тоже являлась не одна — вдвоем или втроем. Когда я пришла на свидание к своему будущему мужу с подругой, он отвел меня в сторону и показал на голову: «Ты что, с ума сошла?» — «Я боюсь...» Он изумился: «Чего ты боишься?» Я не могла ему объяснить, чего я боюсь...

Умер Сталин... Весь детдом вывели на линейку, вынесли красное знамя. Сколько длились похороны — столько мы стояли по стойке «смирно», часов шесть или восемь. Кто-то падал в обморок... Я плакала... Как жить без мамы, я уже знала. Но как жить без Сталина? Как жить...

Я уже училась в архитектурном техникуме, когда вернулась из ссылки мама. Вернулась насовсем. Приехала она с деревянным чемоданчиком, в нем — цинковая утятница (она до сих пор у меня, не могу расстаться), две железные ложки и куча драных чулок. «Ты — плохая хозяйка, — говорила мама, — не умеешь штопать». Штопать я умела, но я понимала, что эти дыры на чулках, которые привезла мама, никогда не заштопать. Никогда! Никакой рукодельнице! У меня стипендия — восемнадцать рублей, у мамы пенсия — четырнадцать рублей. Это был для нас рай: хлеба ешь сколько хочешь, еще хватало на чай. У меня был один спортивный костюм и одно ситцевое платье, которое я сама сшила. В техникум зимой и осенью я ходила в спортивном костюме. Маму помню только больнойю. Она не могла меня пожалеть, у нее не было для этого сил, мы ни разу не обняли друг друга, не поцеловали. В этом... Как... Как признаться? Жили рядом два чужих, два одиноких существа... Как горько! Как невыносимо! Наши матери теряли нас дважды: когда нас забирали у них маленькими и когда они старые возвращались к нам, уже взрослым. Другим и незнакомым. *(Пауза.)* Родина — наша мать... Родина — наша мама... *(Долгая пауза.)* Шутка... Анекдот... Нет — правда: «Мальчик, где твой папа?» — «Еще в тюрьме». — «А где твоя мама?» — «Уже в тюрьме». Своих родителей мы представляли только в тюрьме. Где-то далеко... Они как будто есть, и их нет.

Мы с мамой были такие чужие, что я несколько раз хотела убежать от нее в детдом. Если бы она не болела, я бы убежала. Она не хотела читать газеты, не ходила на демонстрации, не слушала радио. Включала только музыку... Классическую музыку... А меня

тянуло на улицу... Я любила парады физкультурников, они были похожи на военные. Любила демонстрации... Ты там как муравей в большом муравейнике... Ты там не только ты, но и еще кто-то, часть чего-то большого, какого-то большого тела. Ты большой и маленький одновременно... А мама была другая... *(Останавливается.)* И я это никогда не поправлю... Мама давно нет... Об отце мама не могла говорить, было впечатление, что она его не знает... Я ласкала, гладила ее только мертвую... Когда она лежала в гробу... Во мне проснулась такая нежность, такая любовь!!! Она лежала в старых валенках, ни туфель, ни домашних тапочек у нее не было. А мои — маленькие, не налезли. Я ей тогда сказала столько ласковых слов, столько признаний; не знаю: слышала она их или не слышала? Я надеялась, что она еще здесь... Недалеко... Целовала ее... Я так хотела заплакать... Но я не плакала... *(Пауза.)* Знаете, когда я по-настоящему научилась плакать? Когда вышла замуж и у меня родился сын... Когда я была счастливая...

Вот и вся моя жизнь... Вот и вся моя жизнь... Моя жизнь... То, что вмещается между взмахом крыла и лопаты, как сказал поэт. Мне понравилось, и я запомнила. Между взмахом крыла и лопаты... *(Прикрывает лицо руками.)* Все до конца я не в силах рассказать... Даже понять... Плачу... *(Плачет.)* Почему я плачу? Я же все знаю... Я все о своей жизни знаю...

Последнее? Последнее плохо помню, отдельными эпизодами, хотя... Я... Долго готовилась... Спокойно... Купила красивые туфли... Я хотела, чтобы меня похоронили в красивых туфлях, у меня никогда их не было. Покупала всегда подешевле, а чаще поношенные, в комиссионке. У меня никогда не было никаких красивых женских вещей. Дорогих. После лагеря я долго удивлялась: зачем человеку столько вещей? Шкафы, сервизы, ковры... Зачем два платья или две юбочки, когда я знаю, что хватает одних брюк, одного полотенца, одной простыни... одной кружки и миски... Я долго боялась заходить в магазины, потом заходила, но ничего не могла купить. Я смотрела... Разглядывала еду, разглядывала вещи, узнавала, что они есть. Разные коробки печенья и конфет... Яркие... Зачем? *(Пауза.)*

Последнее... Внутри меня был запущен какой-то механизм... Ты готовишься... Но в ту.. минуту.. это как припадок...молния... Написала записку: скажите Анечке (это моя внучка), что бабушка уехала далеко в гости... В большое путешествие... Длинное... Все утро искала себе работу, чтобы быть занятой. Жарила котлеты,

хотела сильных запахов, услышать еще раз, как пахнет жареное мясо. Затеяла большую стирку. Штопала. Мои любимые духи «Может быть»... Я хотела, чтобы после меня в доме жил запах жизни, а не смерти... Из своих вещей, из документов ничего не хотела оставлять: ни своих фотографий, ни своих писем, ни своего почерка. Уходила как из гостиницы, все вынесла, выбросила. Даже свой кусочек мыла, зубную щетку. Я помнила, как умерла соседка, и дети быстро выгребали из квартиры то, что после нее осталось. А она прожила долгую жизнь, известная балерина. Красавица. Письма в больших картонных коробках, какие-то сувениры, камешки, засушенные листочки... Записочки: «Любимая», «Принцесса», «Божественная...» - все это сын и дочь паковали в целлофановые мешки и спускали в мусоропровод. Человек столько мусора после себя оставляет... Много лишнего... Особенно после смерти это заметно... *(Пауза.)* Человек покончил с собой и предстанет перед Господом, и Тот у него спрашивает: «Почему ты это сделал?» — «Потому что мной никто не восхищался». Только... Только мой муж... Я чувствую... Во сне мы иногда встречаемся, я чувствую, что и мертвый он любит меня больше всех. Только он... *(Вдруг улыбнулась.)* Поставила букет цветов, чтобы, когда войдут в мою комнату, не испугались... *(Пауза.)*

Я знаю, как надо жить в зоне... Я знаю, как можно выжить... Я выживала там много раз... Как жить здесь - я не знаю. Не умею. Был мой день рождения... Я что-то вспомнила о лагере, потому что по телевизору шел фильм о Соловках. Черные овчарки, колючая проволока... Черные овчарки и черные люди... Тени... Я вспомнила: мы любили праздник 1 Мая... В руке — красный флажок... Нам выдавали новые пальто и новые платья... Все одинаковые... Как мы... Мы... Черные овчарки и красный флажок... Сын вскочил из-за стола... Кричал... Он кричал: «Рабы! Религия рабов! На вас, как на лягушках, поставили бесчеловечный опыт. Унизительный. Понимаешь, унизительный! А вы гордитесь, что выдержали! Остались живы! Какой ценой?! Ты меня родила в рабстве и учила жить в рабстве. В зоне. Вокруг шумел праздник жизни, а мы в нем не участвовали. Нас держали в клетке. В контейнере. Помнить? Учиться? Знать, как человек “ломается” — зачем? Это сводит с ума! И ты... я... мы с детства уроды... Уроды! Я ненавижу эту страну!!! Ее историю! Море крови и братская могила — вот что такое твоя история. Я уеду отсюда! Уеду и забуду! Я уже подал документы... Я хочу быть нормальным человеком! Жить в нормальной стране. Нор-

мальной!!!» *(Переходит на шепот.)* Пусть снова бросят меня в лагерь, запрут в тюрьме, бьют — больше не будет... Больше не получится... Мне было страшнее, чем тогда, там... в зоне... Открыла газ... Включила радио... Я была свободна... Я никогда не думала, что смогу это сделать...

Вы думаете, я не хочу жить? Я очень хочу жить! Я жизнью не налюбовалась... Мне нравится жить... Но не здесь, не сегодня... Не среди этих людей... *(Встает и подходит к окну.)* Красивая наша русская зима, а в Сибири она еще красивее. Я, когда вспоминаю, как мы с мамой жили в ссылке, только природу вспоминаю. Ни людей не вспоминаю, ни то, что творили люди... Ни людей не вспоминаю, ни то, что творили люди.

Соседка слышала запах газа... Вызвала милицию... Приехала «Скорая»... Но я вернулась... Теперь все изменилось... Я живу с чувством, что привычные вещи стали неузнаваемыми, как будто у меня в квартире переставили всю мебель. Все иначе. Если бы вы могли встретиться с сыном... Он рассказал бы другую историю... Я никогда ее не узнаю... Я опять выжила... Я выживала много раз...

...Не старуха с косой... а красивая девушка

Александр Ласкович — солдат, 21 год

— Выбирал не я, выбирал кто-то другой: либо умру, либо не буду знать, что живу. До сих пор в этом не уверен... Я не был в Америке, но мне часто кажется: я там жил... Смотрю на чужие картины как на что-то знакомое... Я не знаю: кто сейчас сидит с вами за столом, разговаривает? Может быть, это я. А может, и нет. Иногда я все о себе забываю... Потом вдруг наткнешься: вроде бы это я? Мне никогда не нравилось быть мальчиком... Все выбрали без меня: имя, место, время... Нос, форму ушей, цвет волос... Мама мечтала о девочке, папа, как всегда, хотел аборт. Там, еще в утробе матери, я чувствовал, это впитывалось в мою подкорку, что я никому не нужен, могу не обнаруживаться, не появляться...

Первый раз я хотел повеситься в семь лет. Из-за китайского тазика... Мама сварила варенье в китайском тазике и поставила на табуретку, а мы с братом ловили нашу кошку Муську. Наша Муська тенью пролетела над тазиком, а мы нет... Мама молодая, папа на военных учениях... На полу лужа варенья... Мама проклинает судьбу офицерской жены, которой надо жить у черта на куличках,

на Сахалине, где зимой снега насыпает до двенадцати метров, а летом — лопухи одного роста с ней. Она хватает отцовский ремень и выгоняет нас на улицу. «Мама, на дворе дождь, а в сарае муравьи кусаются...» — «Пошли! Пошли! Вон!!!»

Вечером брат побежал к соседям, а я совершенно серьезно решил повеситься. Залез в сарай, нашарил в корзине веревку. Придурт утром, а я вишу... Вот, суки, вам! Тут в дверь втискивается Муська, ее зеленые глаза вспыхнули в темноте, как бенгальские огни... Мяу-мяу... Милая Муська! Ты пришла меня пожалеть... Я обнял ее, и так мы с ней просидели до утра...

Что такое был папа? Папа — замполит авиаполка. Мы перемещались из одного военного городка в другой, все они пахли гуталином и дешевым одеколоном «Шипр». Так всегда пахло и от моего папы. Мне восемь лет, брату — девять, папа возвращается со службы. Скрипит портупея, скрипят хромовые сапоги. В эту минуту нам с братом превратиться бы в невидимок, исчезнуть с его глаз! Папа берет с этажерки «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, в нашем доме это — «Отче наш».

— Что было дальше? — начинает он с брата.

— Ну, самолет упал. А Алексей Мересьев пополз... Раненый... Съел ежа... Завалился в канаву...

— Какую еще канаву?

— В воронку от пятитонной бомбы, — подсказываю я.

— Что? Это было вчера. — Мы оба вздрагиваем от командирского голоса папы. — Сегодня, значит, не читали?

Вращаемся вокруг стола, как три Чаплина — один большой, два маленьких: мы со спущенными штанами, папа — с ремнем. Все-таки у нас у всех киношное воспитание, да? Не из книг, а из фильмов мы выросли... Книги, которые приносил в дом папа, у меня до сих пор вызывают аллергию. У меня температура поднимается, когда я вижу у кого-нибудь на полке «Повесть о настоящем человеке». О! Папа мечтал бросить нас под танк... Он хотел, чтобы я попросился в Афганистан... А если бы мне там отсекали ноги, как Алексею Мересьеву, вот тогда его жизнь [прошла бы] не зря. Он был бы счастлив! Он мог бы меня расстрелять, случись война и нарушь я присягу. Комплекс Тараса Бульбы... Папа принадлежал идее, он не человек. Но меня никак не удавалось запрограммировать на войну... Или на щенячью готовность заткнуть собой дырку в плотине, лечь пузом на мину... Я давил божьих коровок, на Сахалине летом божьих коровок — как песка. Давил их, как все,

пока однажды не испугался: чего это я столько маленьких красных трупиков наделал? Муська родила недоношенных котят... Я их поил, выхаживал. Появилась мама: «Они что — мертвые?» И они умерли после ее слов. Папа дарил мне военные фуражки... Но я никогда не хотел быть мальчиком... Детский страх: мальчики все становятся военными, и их убивают... О! Как я хотел молочными зубами вгрызться в папины хромовые сапоги, биться и кусаться. За что он меня — по голой заднице перед соседским Витькой?!

Я не рожден для танца смерти... У меня классический ахилл, мне бы танцевать в балете. Но папа служил великой идее, он был часть этой идеи. Как будто трепанация черепа произошла... Все без штанов, но с винтовкой... Пора сменить жанр... Там, где играли оптимистическую трагедию, сейчас разыграют комедию и боевик. Ползет-ползет, шишки грызет... Угадайте, кто это? — Алексей Мересьев... Все, что осталось от папиной идеи, которая в страшной крови. Не люди убивали друг друга - идея убивала. Идея-убийца... А папа? Он беспомощный человек, совсем не готовый к старости, потому что в старости надо просто жить. А он себя без той великой идеи не представляет... Ну, пусть бы кактусы выращивал или спичечные коробки собирал. Сидит у телевизора: заседание парламента — левые, правые, митинги, демонстрации... Папе нужен враг, притаенный, замаскированный, нужна борьба, иначе жизнь утрачивает смысл, бесцельна. Безжертвенна! Такая жизнь папе неизвестна и непонятна. Вот мы смотрим с ним вдвоем телевизор: японский робот ощупывает старый карьер, вынимает из песка ржавую мину, увозит взрывать. Папа в бесконечном удивлении: «Гробить технику? У нас что, личного состава не хватает?»

У него свои отношения со смертью. Она для него всегда чему-то равна: спасенному самолету, выхваченному из пламени колхозному трактору, досрочному выполнению задания партии и правительства... Отдельно от этого жизнь и смерть для него не существуют...

На Сахалине мы жили возле кладбища. Почти каждый день я слышал похоронную музыку: желтый гроб — умер кто-то в поселке. Обитый красным кумачом — летчик погиб. Красных гробов было больше. После каждого красного гроба папа приносил в дом магнитофонную кассету... Приходили летчики... На столе дымились пожеванные папиросные «бычки», блестели запотевшие стаканы с водкой... Крутилась кассета:

— Я — борт такой-то... Движок стал...

- Идите на втором.
- И этот отказал...
- Попробуйте запустить левый двигатель.
- Не запускается...
- Правый...
- Молчит...
- Катапультируйтесь!
- Фонарь кабины не сбрасывается!.. Твою мать!!! Э-э-э... Ы-ы-ы...

Я долго представлял смерть как падение... С немыслимой высоты... Без слов... Э-э-э... Ы-ы-ы... На языке ветра... Стихии... Материи... Кто-то из молодых летчиков один раз спросил у меня: «Что ты, малыш, знаешь о смерти?» Я удивился. Мне казалось, что я это знал всегда. Притяжение. Страх и любопытство. Хоронили мальчика из нашего класса: нарыл в песке окопов патроны и бросил в костер... Вместо глаз — два пяточка... Я это знал всегда, я родился уже с этим знанием. Может, я уже когда-то умирал... Или мама, когда еще помешался в ней, сидела у окна и смотрела, как везли на кладбище: красный гроб, желтый гроб... Я загнипнотизирован проблемой смерти, в течение дня я думаю о ней десятки раз. Наверное, потому, что я в детстве жил возле кладбища. Смерть пахла папиросными «бычками», недоеденными шпротами и водкой. Это не обязательно беззубая старуха с косой, а может, это красивая девушка? И я ее увижу...

Восемнадцать лет. Всего хочется: женщин, вина, путешествовать... Загадок, тайн... Я придумывал себе разную жизнь, представлял. И в этот момент тебя подавливают... Мне до сих пор хочется раствориться, исчезнуть, чтобы ничего обо мне не знали, не оставить никаких следов. Уйти лесником, беспаспортным бомжем... Постоянно наваливается один и тот же сон: меня опять забирают в армию... Перепутали документы, и снова надо идти служить. Кричу, отбиваюсь: «Я уже служил, скоты! Отпустите меня!!!»

Схожу с ума! Жуткий сон... А моему другу, он воевал в Афганистане, снится, что автомат не стреляет...

Я не хотел быть мальчиком... Я не хотел быть военным... Папа сказал: «Ты должен стать мужчиной. А то девочки подумают, что импотент».

В армии меня будут убивать... Это я знал... Или меня убьют, или я убью. Брат вернулся после службы сломленным человеком. Каждое утро его били ногой в лицо... Он лежал на нижних нарах, старослужащий — наверху... Когда тебя целый год пяткой в морду!..

Попробуй остаться тем, кем ты был. Есть тип людей, которые не могут быть мясом, а есть другой тип - готовый быть только мясом. Человеческие лепешки... Я учился бить... В лицо, между ног... Как позвоночник переломить... Хатха-йога, каратэ...

Расскажу анекдот... Сменим жанр... Гуляет по лесу дракон. Встретил медведя:

— Медведь, — говорит дракон, — у меня в восемь часов ужин.

Приходи — я тебя съем.

Идет дальше. Бежит лиса:

— Лиса, — говорит дракон, — у меня в семь утра завтрак. Приходи — я тебя съем.

Идет дальше. Скачет заяц.

— Стой, заяц, — говорит дракон, — у меня в два часа обед. Приходи — я тебя съем.

— У меня вопрос, — поднял заяц лапу.

— Давай.

— Можно не приходить?

— Можно. Я тебя вычеркиваю из списка.

Нас ведут по перрону... Девчонки машут... Мама плачут...

В памяти остаются только голоса:

— Сорок таблеток... Попытка суицида... Белый билет. В армию не берут... Надо быть дураком, чтобы остаться умным... Бей меня! Бей! Ну и пусть я говно, мне наплевать. Зато я — дома, трахаюсь с девчонками, а ты — с винтовкой пошел играть в войну...

Человека можно запрограммировать. Он сам этого хочет. Ать-два! Ать-два! В ногу!!! Что такое вор в законе? Человек, у которого нет романа со смертью, он решил свои отношения со смертью. Зацепи — вилку в глотку воткнет! Жизнь прожита, сожжена дотла. Такой прыгнет, укусит. А сотня молодых мужчин вместе? Зверье! В тюрьме и в армии живут по одним законам. Беспредел. Заповедь первая: никогда не помогай слабому, слабого бей сапогами по голове. Ночью кто хрюкает, кто квакает, кто маму зовет, кто воздух портит... Но слабого бей сапогом по голове!

Чехов писал, что надо каждый день выдавливать из себя по капле раба. Но иногда человеку хочется быть рабом, ему это нравится.

Подъем. Команда:

— Лечь! Встать!

Все встали, один лежит.

— Лечь! Встать!

Лежит.

Сержант стал желтый, затем фиолетовый:

— Ты что?

— Суета сует...

— Ты что?

— Суета...

Сержант — к командиру роты, тот — к гэбэшнику. Подняли дело: баптист. Как он в армию попал?! Его оградили от всех, потом куда-то увезли. Он фантастически опасен! Не хочет играть в войну...

Покончить с собой я хотел пять раз. На пятый... решился... Сначала думал повеситься... Нормально. Все возле этого когда-то проходили... Командир просил: «Только не стреляйтесь. Людей списать легче, чем патроны».

В человеке есть война, война возбуждает. Мне бы сказали: строить этот дом, в котором я живу. Долго. Скучно. А разрушить — в два дня. Какой восторг! Бить, крушить! Нам это нравится. Системы возврата нет... Я боюсь замкнутых пространств... Ненавижу социальную жизнь... Встать-лечь! Лечь-встать! Почистили нас, помыли. Вынесли красное знамя: «И если я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара...» Ночью во сне я убежал от отца, он целился в меня, целился...

Первое письмо от девушки... Руки затряслись... Но жизнь больше Феллини, чем Бергман. Письма хранить нельзя.

Проверка тумбочек:

— Бабы ваши, будут наши. А вам еще служить как медным чайникам. Неси свою макулатуру в унитаз...

Положен набор: бритва, авторучка, блокнот... Сидишь на «очке» и читаешь последний раз письмо: «Люблю... Целую...»

Полярная ночь. Бесконечная. Стоим вдвоем в карауле. В руках — оружие. Мне пришла мысль, что это совсем просто: секунда-две, и ты свободен... Я могу назвать не причину, а повод. Если искать причину, то надо начинать оттуда, когда мама хотела девочку, а папа хотел аборт. Где-то в подсознании у меня это закодировано... И папины заклинания: «Герой! Герой!» Героев я представлял без рук, без ног. С кровавыми звездами на спине... Я никогда не хотел быть героем. Я ненавижу героев! Я их презираю! Миражи! Мифы! Иллюзия! Подмена! В детстве мы играли в самураев. Самурай должен был красиво умереть: не имел права упасть лицом вниз, кричать. Я всегда кричал... Меня не любили брать в эту игру...

А повод? Повод мог быть ерундой... Сержант сказал, что ты мешок с говном, или колбасы в обед не досталось. Чай без сахара... Столкнуть могла чепуха...

Но жизнь больше Феллини, чем Бергман.

Стоим в карауле. Шепот (парень деревенский, с Украины): «Ты знаешь, что такое оргазм? Пробовал?»

Это мы — с ракетами и ядерными головками, которые могут тысячи людей убить? И я, который хочет себя убить?..

Смерть похожа на любовь. И последнее мгновение — страшные и некрасивые судороги. Мы неспособны вернуться из смерти, но из любви мы возвращаемся. И можем вспоминать, как было... Вы тонули когда-нибудь, вас затягивал вир? Я тонул... Чем больше сопротивляешься, тем меньше сил. Смирись — и дойди до дна. Там уже твой выбор: или ты хочешь умереть, или ты хочешь жить. Хочешь жить — пробивай небо воды, возвращайся. Но сначала дойди до дна...

Я дошел и понял: хочу жить! Просто жить! Я никого не убил, единственный человек, в которого я стрелял, - я сам... Только ранил...

Но жизнь больше Феллини, чем Бергман... Там? Там никакого света в конце тоннеля... И ангелов я не видел... Сидел отец у красного гроба... Гроб пустой... Сон... Жизнь... Эта жизнь? Или та? Как у Мережковского: «Лишь тенью тени мы живем»...

...На земле ...в земле ...и на небе

Ольга В. — топограф, 22 года

— Я стояла на коленях и просила: «Господи! Я могу сейчас! Я хочу сейчас умереть!» Несмотря на то что утро, день начинается... Несмотря на то что я умею петь, рисовать... Я захотела умереть. Это — избавление. Это — свобода...

Я из Абхазии... Я там живу... Я — русская... Я приехала с войны... Вы меня понимаете? Я с войны... Мне так хотелось быть светлой, доброй... Откуда-то приходиться... А теперь я всегда думаю о смерти...

И я забыла, что за мыслями нужно следить... Они ведь материализуются, обретают формы, невидимые глазу... *(Затихает. А дальше — шепотом.)*

У меня все ногти были до крови сняты... Я царапалась, впивалась в стенку, в глину, в мел... В последнюю минуту я снова захотела жить...

И шнур оборвался... Не выдержал...

Как забытье... Как большой сон. В целую жизнь сон... Но в конце концов я живая, я могу себя потрогать... Но теперь я всегда думаю о смерти... *(Долго молчит.)*

Когда мне было шестнадцать лет, умер мой папа. С тех пор я ненавижу похороны. Эту музыку. Я не понимаю, почему люди играют этот спектакль? Я сидела у гроба, я уже тогда понимала, что это не мой папа, моего папы здесь нет, было чье-то холодное тело... Оболочка... След... Как забытье... Как большой сон, в целую жизнь сон...

Как будто меня кто-то позвал... Я стала думать о близких, которые ушли туда... Даже о тех, кого никогда не видела, кто ушел раньше, чем я появилась на свет. Я вдруг увидела свою бабушку... Как я могла увидеть свою бабушку, если у нас даже фотографии ее не осталось? Но я ее узнала во сне, кто-то мне сказал, что это моя бабушка... У них там все по-другому... Это все тот же сон... Они не прикрыты ничем (мы прикрыты телом), а они не защищены...

Я не могу из этого плена вырваться, меня теперь только это интересует...

А я другая была, еще недавно я совсем другая была. Как я танцевала утром у зеркала: я — красивая, я — молодая! Я буду радоваться! Я буду любить!

... Он лежал... Русский парень... Чуть-чуть песком присыпан... Он лежал в кроссовках и военной форме... Назавтра кто-то кроссовки снял... Вот он убит... А дальше, дальше что — там, в земле? И на небе?

Мое тело... Моя оболочка... Иногда меня не устраивает мое тело. Я слишком ограничена во всем этом. Есть несоответствие между тем, что я сейчас внутри, и моим прежним телом. У меня все то же тело, а я уже другая. Вот я говорю, сама слышу свои слова и думаю, что я этого сказать не могла, потому что не знаю, потому что глупая, потому что люблю булки с маслом... Потому что еще не любила... Не рожала... А я это говорю... Я не знаю: почему? Откуда?

Там, на войне... Там в церквях нет людей... Люди не идут к Богу... Я зашла. Никого не было. Я стала на колени и молилась за всех. Тогда я не понимала: что я говорю? С кем?

Я сейчас приму таблетки. Мне нельзя волноваться... Меня водили к психиатру... *(Пауза.)* Иногда мне кажется, что я могу закричать. Иду-иду по улице и вдруг хочу кричать. Люди бегут на

работу, за покупками, кто-то целуется, кто-то собачку прогуливает, а я... я хочу кричать... Раньше я вообще молчала. Я была нема. Это счастье, что я могу уже плакать и вопить...

Давайте о чем-нибудь другом поговорим. Например, о том, что я люблю смотреть фильмы... Западные фильмы... Почему? Там ничего не напоминает нашу жизнь...

Я тоже хочу вас спросить: вот вы ищете таких, как я, находите... Разговариваете... А вы не боитесь, что вам понравится эта логика? Она вас увлечет?

Где я хотела бы жить?

Я хотела бы жить в детстве... В детстве я была с мамой, как в гнездышке... (*Молчит.*)

Я могу вам рассказать, что такое — война. Я ее видела... (*Пауза.*) В школе я любила читать военные книжки. Они мне нравились. Я даже жалела, что я девочка, а не мальчик: вот, если будет война, меня на войну не возьмут. Глупая. Странная. Ненормальная.

Мама обнимет:

— Доченька, что ты читаешь?

— Про войну. «Они сражались за Родину» Михаила Шолохова.

— Зачем ты читаешь эти книги? Они не о жизни, доченька.

Жизнь — это что-то другое...

Мама любила книги про любовь... Моя мама! Я даже не знаю сейчас: жива она или нет?

Я увидела войну, и у меня было чувство, что я это уже знаю... Что со мной это уже было... Правда?! Вот такое странное чувство. Ненормальное. Я расскажу вам про войну...

... Мы с мамой пошли на рынок. С июня в Сухуми не продавали хлеб. Мы хотели купить муки. Сели в автобус, рядом села соседка с ребенком. Ребенок играл, а потом стал плакать, и так громко, будто его кто-то напугал. И соседка вдруг спрашивает: «Стреляют? Вы слышите: стреляют?»

Сумасшедший вопрос!

Подъехали к рынку: бегут и кричат люди. В ужасе. Будто они надели какие-то страшные маски. Летят куриные перья... Козленок белый мечется... Кричит... Кричит страшнее, чем человек. Я не передам, не произнесу, как он кричит. Невообразимо страшно. Я когда об этом думаю, то появляется мысль: а вдруг животным умирать еще страшнее, чем людям? Никогда об этом не говорят. Правда, я ненормальная? Я слишком много думаю о смерти... Я только этим сейчас внутри занята... И вот: лежат растоптанные куры, размазанные на камнях сапогами, туфлями... Какие-то во-

оруженные люди... Без формы, с автоматами... Они хватают женщин, забирают у них сумочки, вещи... «Это уголовники», - шепчет мне моя мама. «Это война», — отвечаю я.

Мы вышли из автобуса и увидели русских солдат.

— Что это? — спросила у них мама.

— Вы что, не видите? — ответил ей лейтенант.

— Это война, мама, — повторила я.

Моя мама — большая трусиха, она упала в обморок. Я затащила ее во внутренний дворик. Из какой-то квартиры нам вынесли графин воды...

Где-то бомбят... Где-то рядом...

— Женщины! Женщины! Мука надо? — Я оборачиваюсь: молодой парень тащит на себе мешок муки, на нем синий халат, в которых у нас грузчики ходят, но он весь белый, он весь мукой обсыпан. И смешно, и страшно... Я стала смеяться, а мама говорит: «Давай возьмем».

Мы купили у него муки. Он насыпал нам десять килограммов. Отдали деньги.

С ума можно сойти! Но это правда. Вот эти безумные подробности. Это правда. Потом только до нас дошло, что мы купили ворованное... Потом...

А где-то бомбят... Где-то рядом... Пробежала с криком раненая курица... Это так страшно...

Мама мне не подсказывала. Никто. Я сама сняла с себя золотой крестик и спрятала его в муку. И кошелек с деньгами тоже спрятала. Я вела себя как старая бабушка, я все знала. Уже я видела каких-то людей, которые ходили и приказывали: «Сними это... Отдай это...»

Муку, десять килограммов, я несла до нашего села — шестнадцать километров. Не верите? Но это так. Это правда. Хотя я, видите, какая маленькая, балетный вес.

На дороге горел бронетранспортер... Цветы на клумбе горели... Олеандры, розы... Георгины, петунии... *(Молчит.)* И все это в неопишимо прекрасный летний день... *(Молчит.)* Все это казалось каким-то наваждением... Клумбы, перепаханные гусеницами танка, как трактором... После стройки... *(Молчит.)* После стройки?.. Если бы не слышать, что стреляют... Я шла спокойная... Если бы меня в тот момент убили, я не успела бы испугаться...

Пробежала раненая беременная кошка... Черная... *(Молчит.)* Все старалась зачем-то запомнить... *(Пауза.)* Я читала много военных книжек... Я уже знала, что это надо запоминать... *(Молчит.)*

Идет шоссейная дорога, и рядом — железнодорожное полотно. На рельсах сидели молодые парни: у одних черная лента на голове, у других — белая. И у всех — оружие. Они еще меня подразнили, посмеялись. Как будто ничего не случилось. Это правда.

Стоит грузовая машина. Пустая. За рулем сидит убитый водитель... В белой рубашке... Мы обошли его... Без страха. В недоумении.

Бежали через мандариновый сад... Где-то стреляли... *(Молчит.)*

Я тащу муку... «Оставь», — просит мама. «Нет, мама, я не оставлю. Началась война...»

Медленно, на малой скорости движутся «Жигули». Поднимаем руки. Голосуем. Машина проходит мимо, и так медленно, как на похоронах. На первом сиденье парень с девушкой, на втором — труп женщины. Она как большая кукла... как манекен, качается... Почему-то не страшно... У самого моря — еще одни «Жигули»... Лобовое стекло разбито... Лужа крови... Женские туфли валяются... Мужская шляпа...

Почему-то не страшно... Только скорее хотелось домой... Это правда.

Откуда-то сверху пополз тяжелый гул. Мы поднимали головы к небу: что там? А навстречу нам двигались танки. Они шли не колонной, а поодиночке, в беспорядке... Наверху сидели солдаты с автоматами. Автоматы в упор на нас наставлены... Они шли в беспорядке, потому что одни танки быстро уходили вперед, другие останавливались у коммерческих ларьков. Солдаты соскакивали... Прикладами сбивали замки... Брили шампанское, конфеты, шоколад. Все смеялись, очень много смеялись... За танками шел автобус «Икарус», набитый матрацами. Почему — матрацами?

Война? Но разве это война? Какая-то война, не похожая на войну. В книжках она другая... Там приходят чужие... А тут все свои... На одном языке говорят... Братья... Знакомые... *(Молчит.)* На одном языке говорят... На одном языке говорят... *(Повторяет эти слова несколько раз.)*

Дома мать кинулась к телевизору. Включила. Играл симфонический оркестр... Перед тем как идти на рынок, я заготовила помидоры, огурцы, чтобы консервировать... Банки вымыла... *(Пауза.)* И вот я стала кухарить. Закручивать банки. Мать смотрела на меня как на сумасшедшую. А я кипятила, варила... Пробовала, что получилось: хватает соли или не хватает — добавить... Я продлевала нашу прежнюю жизнь... Еще на час, два... На один вечер... На одну ночь... Я люблю свой дом... Я люблю свою маму...

Я не знаю сейчас: жива моя мама или нет?

Утром через наше село пошли танки. Один остановился возле нашего дома. Экипаж — русский. Я поняла: наемники. Хотела у них спросить: «Куда вы едете?» Они позвали маму: «Мать, дай воды». Мама принесла им воды и яблок. Воду выпили, а яблоки не взяли. Сказали: «У нас вчера одного отравили яблоками».

Я боюсь крови... Я больше всего боялась увидеть, как убивают... На улице встречаю подругу: «Что у тебя? Где твои?» Она прошла мимо. Я побежала за ней, схватила за плечи:

— Что с тобой?

— Я уже твою маму предупредила: вы ко мне не подходите: я — мингрелка, у меня муж — абхазец.

Я обняла ее изо всех сил!!! ...Ночью к ней приходил родной брат... И хотел ее мужа убить... Только за то, что он абхазец... Только за это...

Через несколько дней хоронили соседа... Грузина... Девятнадцать лет... Его мать идет за гробом: то плачет, то обернется — и смеется... Она сошла с ума... (*Молчит.*) Они недавно в одном классе учились, а теперь стреляют друг в друга... (*Молчит.*)

Вы когда-нибудь случайно подслушали, о чем говорят старики возле дома на скамейке? О том, как они были солдатами. А старые женщины вспоминают, какие они были молодые и красивые. (*Пауза.*) Мужчины воюют... Мальчишки...

Моя мама говорила... Она говорила: «Я никогда так не была счастлива, как в старости. И вдруг — война».

Сидит старая женщина над убитой собачкой... И плачет... Все смотрят и молчат... Моя мама ужасная трусиха... Прибежит от соседей:

— Рассказывают, что в Гаграх сожгли целый стадион грузин.

— Мама!!

— А еще я слышала, что грузины кастрируют абхазцев.

— Мама!

— Вот ты не веришь... А в Сухуми разбомбили обезьянник... Ночью грузины за кем-то гонялись и думали, что это абхазец. Они его ранили, он кричал. А абхазцы на него наткнулись, думали: грузин. Догоняли, стреляли. А под утро все увидели, что это раненая обезьяна. И все кинулись ее жалеть. ...А человека бы убили...

Мне нечего было сказать моей маме.

Я пошла в церковь. Людей не было. Я стала на колени и за всех молилась. Я не знаю: кому я говорила? С кем? Я ему говорила:

— Они идут, как зомби. Идут и верят, что творят добро. Но разве можно автоматом и ножом творить добро? Вразуми их! Они заходят в дом и, если не находят никого, стреляют в скотину... Я видела убитых поросят... Корову с простреленным выменем, из которого текло молоко... Даже убитого попугая в клетке... Они стреляют в банки с вареньем, в мешки с мукой... Они расстреливают из автоматов воробьев: одни по эту сторону, другие — по ту... Вразуми их!

Вчера я была свидетелем... Я сама видела, как молодой парень... Грузин... Он бросил автомат и кричал: «Куда мы приехали!! Я могу погибнуть за Грузию! Я приехал погибнуть за Грузию, а не воровать чужой холодильник! Зачем вы идете в чужой дом и берете чужой холодильник? Чужой ковер? Я хочу умереть за Грузию...»

Его под руки куда-то увели. Уговаривали.

Другой грузин поднялся во весь рост и пошел навстречу тем, кто в него стрелял: «Братья абхазцы! Я не хочу вас убивать, и вы в меня не стреляйте». ...Его застрелили свои в спину... Об этом все друг другу рассказывают... Он поднялся во весь рост и пошел навстречу тем, кто в него стрелял: «Братья абхазцы...»

А русский парень Соколов с гранатой бросился под танк... Он что-то кричал... Но никто не расслышал, что он кричал... *(Пауза.)* В танке горели грузинские парни... Они тоже кричали...

Я говорила и говорила... Шептала и шептала... В детстве меня никто не учил молитвам. Я придумывала свои...

Я возвращалась домой.

Дома плакала мама: «Я никогда не была такая счастливая, как в старости. И вдруг - война...»

У мамы в доме все подоконники заставлены цветами. Подушки вышиты цветами - она сама вышила. Она мне признавалась... она не раз мне признавалась: «Я проснулась ранним-ранним утром, солнце пробивается сквозь листву, и я чувствую, что это солнце, что это радость струится, и у меня сразу мысль: “Вот я сейчас открою глаза — и сколько же мне лет?”» У нее бессонница, у нее болят ноги, она тридцать лет на заводе проработала, но она утром не знает, сколько ей лет. А ей шестьдесят пять. Потом она встает, чистит зубы, видит себя в зеркале: на нее смотрит старая женщина...

Но потом она готовит завтрак и забывает об этом. И я слышу, как она поет...

Раненые старики... Это еще страшнее, чем раненые дети... Если дети ничего не понимают, то эти все понимают... Это правда.

Я слышу ночью, как меня окружают сны. У меня сны не страшные. Мне все время снится одно и то же: как я ухожу из своего тела... Поднимаюсь высоко-высоко...

Первые дни грабители ходили в масках... Черные чулки на лицо натягивали... Потом без масок... Идет: в одной руке хрустальная ваза, в другой — автомат... Или: на спине — ковер, а на груди автомат болтается. Телевизоры тащат, стиральные машины... Женскую шубу несет... Мебель грузят... *(Молчит.)*

Девочка одна у нас повесилась. Мы пришли к ним в дом, пришли помочь. А ее бабушка говорит, что она любила парня, а он женился на другой. Ее хоронили в белом платье. Она из-за любви... Она любила... Никто не верил... Не мог понять. Как это - из-за любви? Красивая девочка... Вот если бы ее изнасиловали...

Смерть не самое страшное из того, что я там видела... Не самое страшное... Как будто... Нет... Все можно вспомнить... Волнуюсь... Путаюсь в словах... *(Молчит.)* Мамина подруга, тетя Соня... Она насмотрелась на все это и заболела. Слегла.

— Девочка моя, зачем после этого жить? — говорила она.

Я кормила ее супом из ложечки. Она не могла глотать... *(Молчит.)*

Я еще не готова исповедоваться... Открываться незнакомому человеку... *(Молчит.)* Не готова...

Они с оружием... Но они — мальчишки... Они еще маленькие... Восемнадцать-девятнадцать лет... Они еще недавно вешали кошек в подвалах... Разрывали лягушек на части, чтобы узнать, как устроен мир. Им никто ничего не объяснил... Если бы у них был хороший учитель физики... Или русской литературы... Наивно? Но я так думала. Или если бы у них была мама такая, как у меня... *(Молчит.)* Больше всего я люблю думать о маме... Вспоминать...

Как моя мама долго по вечерам расчесывает волосы... Тихонько покачивается и улыбается сама себе... Мама часто рассказывала о папе, как они любили друг друга. Я слушала, как старую сказку... О том, как сначала у нее был другой муж... Однажды она гладила ему рубашки, а он ужинал... И вдруг (это только с моей мамой могло такое произойти) она сказала вслух: «Я больше рожать от тебя не буду». Забрала сына и ушла.

А мой папа бродил за ней по пятам. Ехал в автобусе. Ждал на улице. Отморозил зимой уши. Ходил и смотрел. И однажды он ее поцеловал... Он любил клятвы: «Поклянись, что любишь меня! Хочешь, я поклянусь?!»

Я родилась от любви... Вся тайна в том, что я родилась от любви...

...Мама продала все ценное, что было у нас в доме: телевизор, папин серебряный портсигар, который мы всегда берегли, мой золотой крестик... Чтобы уехать из Сухуми, надо было дать взятку. Люди неделями живут на вокзалах. На аэродромном поле. Под бомбежкой, под обстрелами... Взятки берут большие... Военные, милиция... Наших денег едва хватило на один билет... *(Молчит.)*

А я хотела пойти в госпиталь... Ухаживать за ранеными... *(Молчит.)*

Мне не разрешили взять даже сумку с мамиными пирожками... А рядом... Это правда. Рядом мужчина в штатском... Но солдаты к нему обращались: «Товарищ майор...» Он грузил мотоцикл... Большие деревянные ящики... И тут же женщина... Эта женщина взяла двух мальчиков: один — свой, второй — соседский... Мальчики распухли от голода... *(Молчит.)*

Мама меня оторвала от себя... Затолкала в самолет...

Я не знаю сейчас: жива она или нет?

— Мама, а куда я еду? — спрашивала я. Плакала. Кричала.

— Ты едешь домой... В Россию...

(После долгой паузы.) Я хотела погибнуть на войне. На какой-то другой войне. Красивой... За Родину! Это правда.

В Москве я жила на вокзале... Две недели... Там беженцы ото всюду... На всех вокзалах — на Белорусском, на Киевском... С семьями... С детьми, со стариками... Из Армении, из Баку, из Таджикистана... Они спят на скамейках, на полу... Месяцами... Суп на вокзале варят, макароны... В туалетах... Там есть розетки — в туалетах... Или возле эскалатора, там тоже розетки... Воды в таз налил, туда — электрокипятильник... Лапши набросать, мяса... Суп готов! Я ела... У меня быстро кончились деньги...

Можно все вспомнить... Но я еще не готова исповедоваться... Открыться незнакомому человеку...

Мне кажется, что все вокзалы в Москве пропахли консервами и супом харчо... Детской мочой... Старыми пеленками... Их сушат на батареях, на окнах...

— Мама, а куда я еду?

— Ты едешь домой, в Россию...

Я не знаю сейчас: жива моя мама или нет?

Я жила на вокзале две недели... Там тысячи людей... Они никому не нужны. Их никто не ждет. Вся Москва — это вокзал... Большой вокзал... Меня хотели изнасиловать... Два раза: один раз какой-то солдат, другой раз — милиционер...

Днем я убегала на Красную площадь. Или ходила по магазинам. Продуктовым. Очень хотела есть. Одна женщина купила мне пиро-

жок с мясом. Я не просила. Она ела, а я смотрела, я даже не понимала, что я смотрю, как она ест. Как во сне... Куда-то идти, бежать, чтобы не сидеть на вокзале. Не думать о еде, о маме. Куда идти? На Красную площадь... Моя мама всю жизнь мечтала: поехать в Москву — увидеть Красную площадь и Ленина... Это правда.

Днем я жила на Красной площади. Ночью — на железнодорожном вокзале. Пока не приехала мамина сестра. Из Рязани. Две недели. Пока я написала письмо, пока оно дошло. Пока тетя на-собирала по соседям и родственникам деньги на дорогу. Ей восемь-десять лет.

— Ольга... вас ожидает в комнате милиции ваша тетя из Рязани. Все зашевелились, задвигались: кто? Кого? Как фамилия?

Мы прибежали вдвоем: там оказалась еще одна девочка с такой же фамилией, но с другим именем. Из Душанбе... Как она плакала! Это правда... Как она плакала... *(Долго, очень долго молчит.)* ...У меня тут уже есть друзья. Они — хорошие, они — нормальные. А я с войны... Я говорю-говорю им, а они: «Ну и что? Пойдем в кино». Я говорю-говорю, а они: «Ты что, чокнутая?»

А я теперь только о смерти и думаю... Я не могу понять смерть...

По телевизору услышала... Священник говорил... Он говорил такие слова: таинственный и страшный смысл страдания... Таинственный и страшный... Я стала думать над этим... Над этими словами...

А моя тетя? Она ходит к Богу за утешением... И говорит, что смерть заслужить надо. Страданием.

Я стояла на коленях и просила: «Господи! Я могу сейчас! Я хочу сейчас умереть!» *(Забывает, что не одна. И уже себе, для себя — все тот же вопрос.)* Я не знаю сейчас: жива моя мама или нет?

Вчера в парк пошла... Целовалась... Я целовалась?! Смеюсь... Хохочу... Живу...

Что, того всего со мной не было? Там... На войне... *(Молчит.)*

Я не могу пережить это... *(Молчит.)* Не могу пережить, что я это пережила... Как же так? Не сошла с ума... Не свихнулась...

Господи! Я хочу сейчас умереть!!!

Вместо эпилога: Из сегодняшних газет

«В России растет число самоубийств. “В 1991-м году 60 000 людей покончили с собой, это на 20 000 больше, чем год тому назад”, — сообщил руководитель Российского института обществен-

но-политических исследований Геннадий Осипов, по информации агентства Интерфакс. “Россия стоит у пропасти, — заявил далее Осипов в разговоре за “круглым столом”, — миллион людей совершали попытку самоубийства, 20 % населения, то есть пятая часть огромной страны, мечтают об эмиграции...”

Он сравнил нынешнюю ситуацию в России с XIII веком — перед татарским нашествием...»

«Франкфуртер Рундшау», 28 марта 1992

«Горькая весть: Юлия Друнина покончила с собой. Она могла тысячу раз погибнуть на той войне, на которую ушла в семнадцать лет. А умерла по своей воле в гараже на даче... приняв снотворное и включив в машине выхлопной газ. Самоубийство поэта... Мы помним Есенина, Маяковского, Марину Цветаеву. Когда поэт сам решает уйти из жизни, значит, в ней что-то очень неблагоприятно. Вот и Юлия Друнина... Осталась предсмертная записка. Вот строки из нее: “Почему ухожу? По-моему, оставаться в этом ужасном, передравшемся, созданном для дельцов с железными локтями мире такому несовершенному существу, как я, можно, только имея крепкий личный тыл...”

Когда-то этим тылом был Алексей Каплер — талантливый кинодраматург и любимый, любящий муж. Но его она похоронила в Старом Крыму, где и себя завещала похоронить. Другой же такой любви в мире для нее не оказалось. И получилось, что оказалась она с ужасным, передравшимся миром один на один...»

«Правда», 7 апреля 1992

«Прошел почти год со дня смерти Маршала Советского Союза С. Ахромеева.

Вот в кратком изложении следственная версия.

24 августа 1991 года маршал Ахромеев прибыл в свой рабочий кабинет в Кремле и, будучи в состоянии депрессии после разгрома ГКЧП, принял решение о самоубийстве. В 9 часов 40 минут утра он совершил первую попытку повеситься, о чем оставил записку такого содержания: “Я плохой мастер готовить орудия самоубийства. Первая попытка (в 9.40) не удалась. Порвался тросик. Очнулся в 10.00. Собираюсь с силами все повторить вновь. Ахромеев”.

Вечером того же дня комендант здания обнаружил маршала повесившимся в его собственном кабинете. Следственная бригада прибыла на место в 2.27 и зафиксировала на видеопленку сле-

дующее: Ахромеев сидел у окна на полу, прислонившись спиной к стене. Синтетический шпагат, на котором он повесился, был привязан к ручке оконной рамы. В кабинете был идеальный порядок и никаких следов борьбы. На рабочем столе лежали предсмертные записки и письма к семье...

В одной из его записок есть такие строки: “Пусть в истории хоть останется след — против гибели такого великого государства протестовали. А уж история оценит — кто прав, а кто виноват...”»

«Советская Россия», 18 июля 1992

«Город Минусинск содрогнулся, узнав о том, что молодая женщина Нина Черненко собственными руками задушила двух своих детей, а затем убила себя, выпив флакон уксусной эссенции. Дети сопротивления не оказали, хотя и были достаточно взрослыми: Ване исполнилось одиннадцать лет, Наде — десять. Предположительно, что мать, готовясь к этому страшному шагу, дала им снотворное.

Следствие пока не располагает данными, что Нина Черненко страдала психическими расстройствами. Наоборот, все допрошенные по делу соседи и сослуживцы вспоминают ее как человека глубоко порядочного. Но жилось ей очень трудно, порой невыносимо, не под силу было в одиночку справиться с материальными тяготами сегодняшней нашей жизни. Постоянное безденежье, постоянное чувство унижения толкнули ее на преступление против себя и своих детей. “Больше так жить не могу, — написала она в предсмертной записке. — Знаю, что дети мои после моей смерти никому не нужны, поэтому забираю их с собой”.

В тоненькой школьной тетрадке мать-убийца хладнокровно начертила план своей будущей могилы, указав, с какой стороны положить рядом с ней сына и доченьку. И тут же аккуратно написала список всех своих долгов, которые следовало отдать из начисленных ей накануне отпускных денег...»

«Советская Россия», 18 июня 1992

«Попытку самосожжения подполковника Вячеслава Чекалина удалось предотвратить у штаба российских войск в Клайпеде. Послужив двадцать семь лет, офицер оказался без крыши над головой, с нищенской пенсией, на которую невозможно прожить. Несколькими днями раньше он пытался продать себя для медицинских опытов, чтобы приобрести квартиру...»

«7 дней», 21—27 сентября 1992

НАСТОЯЩЕЕ ПРОШЛОГО

«Если бы тогда, в войну, умер от ран, я бы знал: погиб за Родину. А вот теперь — от собачьей жизни. Пусть так и напишут на могиле... Не считайте меня сумасшедшим...»

Это строки из предсмертного письма защитника Брестской крепости Тимерена Зинатова. В очередной раз приехав в Брест из родного Усть-Кута, он долг бродил по священным для него улицам города, по пустующей легендарной цитадели, а потом... потом старик бросился под поезд.

Приехавшие на похороны родные (он попросил похоронить себя на брестской земле) свидетельствовали, что вел он скромную жизнь, отказывался пользоваться льготами даже простого участника войны, не говоря уже о каких-то “спецпривилегиях”. В отличие от других героев — защитников Брестской крепости Зинатов никогда не просил помочь ему с покупкой автомобиля, телевизора, холодильника. Когда его семья, зная крутой характер деда, втайне все-таки записала его на дефицитную мебель, старик устроил дома скандал. “Я Родину защищал, а не привилегии”, — говорил он. Вместе с предсмертным письмом в кармане у ветерана-самоубийцы нашли семь тысяч рублей, которые он привез для собственных похорон. Но местные городские власти взяли расходы на себя. Похоронили героя за счет статьи “текущее содержание объектов благоустройства”.

А одна из газет рассказала, как после войны в казематах Брестской крепости была найдена надпись, нацарапанная на стене штыком: “Умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина! 22/VII-41 года”. Чуть ли не по решению ЦК эта строчка стала символом мужества советского народа и преданности делу КПСС. Оставшиеся в живых защитники Брестской крепости утверждали, что автор этой надписи — курсант пулеметной школы, беспартийный, татарин Тимерен Зинатов, но коммунистических идеологов больше устраивало, чтобы она принадлежала неизвестному, погибшему солдату... И тут Зинатов особо не настаивал: “Я ради Родины умирал, я ради Родины выживал”.

Что скажешь, Родина? Почему молчишь?

Кому кричим...»

«Народная газета», октябрь 1992.

Роберт Весслинг

Смерть Надсона как гибель Пушкина:

образцовая травма, медийная смерть
и поэт «больного поколения»*

Эта статья посвящена тому, каким образом реакция образованного общества на смерть центрального для эпохи 1880-х годов поэта Семена Яковлевича Надсона (1862–1887) формировалась и сознательно выстраивалась в соответствии с культурно-риторической моделью «гибели поэта», сложившейся в результате осмысления и мифологизации гибели А.С. Пушкина. Надсон умер 17 января 1887 года — за десять дней до пятидесятой годовщины гибели Пушкина (27 января) — от туберкулезного менингита в возрасте 24 лет. Близость дат смерти обоих поэтов не только усугубила в обществе боль утраты, но и породила мысль о повторении гибели Пушкина — в иной эпохе и при иных обстоятельствах. По моему мнению, в интересующую нас эпоху смерть Пушкина представляла собой своего рода *образцовую травму* (*chosen trauma*), сценарий которой был разыгран различными социальными группами в отношении нового героя — Надсона.

Образцовыми травмами исследователи называют потрясения большого социального масштаба, которые на протяжении длительного времени оказывают существенное влияние на процессы самоидентификации в том или ином сообществе. Концепция образцовой травмы была разработана в соавторстве специалистом по социальной психиатрии Вамиком Д. Волканом и психоисториком Норманом Ицковичем. Образцовая травма — групповой психологический механизм, возникающий в результате коллективной ре-

* Перевод с английского Полины Барсковой, Анны Богдановой и Юлии Заранкиной.



С.Я. Надсон. 19 января 1887 года. Фототипия Шерер, Набогольц и К°, Москва

Воспроизведено в: *Надсон С.Я.*
Проза. Дневники. Письма.
СПб.: Типография
М.А. Александрова, 1912

акции на сильное потрясение. Концепция Волкана и Ицковича объясняет, как на основе такой реакции формируется коллективная идентичность. И хотя их работа посвящена развитию травмированного национально-го сознания Греции и Турции, исследованные в ней закономерности применимы и к процессу формирования коллективного сознания русской интеллигенции в конце XIX века¹.

Согласно Волкану и Ицковичу, у всех групп социума есть общий источник коллективных преданий, жизненного опыта, героев-мучеников и врагов, из которого сознательно или нео-

сознанно черпаются символические элементы. Эти элементы связываются между собой в повествование об образцовой групповой травме. В случае с пушкинской травмой фабула дуэли и гибели поэта служит материалом для связного, имеющего важное символическое значение рассказа, который передается от поколения к поколению. Сюжет о страданиях и гибели Пушкина — по вине его ветреной жены Натальи Гончаровой, великосветских клеветников, соперника-француза Дантеса или царя-тирана — призван пробудить у интеллигенции коллективное чувство мученичества, унижения и утраты.

Сообщество не «выбирает» страдания, однако, как утверждают Волкан и Ицкович, оно сознательно или бессознательно предпочитает психологизировать и мифологизировать совершенно определенные события прошлого. Опыт русской интеллигенции XIX века уже становился объектом психолого-мифологического анализа. История русской литературы зачастую трансформировалась в общественном сознании в последовательную цепочку ми-

¹ См.: *Volkan V.D., Itzkowitz N.* Turks and Greeks: Neighbours in Conflict. Huntingdon: Eothen Press, 1994.

фов о жертвенности писателей, поэтов и общественных деятелей. В своей знаменитой статье о социальной идеологии и мифотворчестве декабристов Ю.М. Лотман напрямую не рассматривает понятие коллективной травмы, но вполне определенно говорит о *групповой* идеологии и единых для анализируемой им группы принципах поведения и о *мифологизации* страдания и самопожертвования, которые, собственно, и определили семиотическое наполнение коллективного повествования¹. Семиотический метод анализа, при котором большое внимание уделяется связи между структурой текста и социальной психологией, выражен с еще большей ясностью в работе Волкана и Ицковича.

Цель статьи, таким образом, состоит в том, чтобы продемонстрировать, как российская образцовая травма — смерть А.С. Пушкина — была переведена на язык так называемого «больного поколения» 1880-х. В итоге, несмотря на принципиальные различия, смерть Надсона (следствие тяжелой, многолетней болезни) и смерть Пушкина, убитого на дуэли, были восприняты как события одного и того же символического ряда.

Подобному оформлению во многом способствовал тот факт, что смерть Надсона стала первой в истории русской культуры смертью писателя, осмысленной как результат деятельности медиа и вызвавшей публичную дискуссию о границах вмешательства медиа в частную жизнь литератора, который стал в эти годы публичной фигурой нового типа. Главную роль в «медиатизации» этой смерти сыграла пореформенная пресса: благодаря ей классический сценарий поединка «поэта и злодея» вновь оказался в центре общественного внимания — но в случае Надсона был воспроизведен в виде уже не реальной дуэли, а скандальной полемики, ареной которой стали страницы русской пореформенной прессы. Страницы газет и журналов превратились в поле битвы поэта с его противником, отождествлявшимся обществом с «силой зла»: с точки зрения поклонников Надсона, тексты его противников сначала привели поэта к нервному кризису, а затем и к гибели. Вызванная туберкулезным менингитом (воспалением мозга), смерть Надсона в этом контексте была воспринята как молниеносная реакция организма на агрессивные журналистские атаки; романтический миф об элегантно-медленной смерти поэта от чахотки приобрел новую

¹Лотман Ю.М. Декабрист в повседневной жизни // Литературное наследие декабристов / Под ред. В.Г. Базанова. Л.: Наука, 1975. С. 25—74.

модификацию, лучше отвечавшую потребностям медийной эпохи: болезнь, происходившая одновременно с журнальной полемикой, развивалась стремительно, словно бы на глазах у читателей, а кризисы и ухудшения состояния больного немедленно следовали за публичными нападками и обвинениями его оппонентов.

«Больное поколение» и болезни поэтов

«Больное поколение» 1880-х годов считалось жертвой массового недуга, охватившего российское общество в период самодержавной реакции при Александре III. Метафора болезни, определившая мировоззрение и социальную самоидентификацию восьмидесятников, во многом коренилась в трактовке общества как органического тела с присущими ему заболеваниями. Именно терминологию болезни и ее воздействия на пациента стали использовать несколькими десятилетиями позже для описания этих общественных явлений: «К первой половине восьмидесятых годов относятся начала болезненного процесса... И процесс этот так скоро охватывает весь общественный организм»¹. Личный недуг Надсона, страдавшего от туберкулеза, стал воплощением этой всеобъемлющей метафоры общественной болезни. Семейная биография поэта дополнила метафору болезни яркими красками. Отец его, бывший чиновник Я.С. Надсон, скончался в сумасшедшем доме. Отчим, Н.Г. Фомин, покончил с собой в 1870 году. Мать Надсона (А.С. Мамонтова) умерла от туберкулеза в 1873-м. В 1882-м, во время службы в Каспийском полку в Кронштадте, у самого Надсона обнаружили туберкулез легких, и он вышел в отставку в чине подпоручика. В 1884—1885 годах поэт находился на лечении в Западной Европе и вскоре по возвращении, в 1887-м, скончался². Важно подчерк-

¹ Новополин Г.С. [Г.С. Нейфельд]. В сумерках литературы и жизни. В восьмидесятых годах (1881—1895). 2-е изд., исправл. и дополн. СПб.: Изд-во «Вестника знания» (В.В. Битнера), 1914. С. 12.

² Наиболее важную и подробную биографию Надсона см. в: *Ватсон М.В.* Семен Яковлевич Надсон. Биографический очерк // Надсон С.Я. Полн. собр. соч. Пг.: Маркс, 1917. Т. 1. С. III—XLVIII. Среди последних исследований о Надсоне см.: *Илюшин А.А., Поливанов К.М.* Надсон // *Русские писатели 1800—1917: Биографический словарь.* Т. 4. М.: Большая Российская энциклопедия,

нута, что надсоновские стихи оказались «созвучны» не только деталям его биографии, но и коллективному опыту «больного поколения» в целом¹. Гражданская лирика Надсона всем своим эстетическим строем выразила круг настроений, свойственных «больному поколению»: ощущение травмированности, драматическое переживание болезни социума и тусклого, больше напоминавшего смерть, нежели жизнь, существования.

Широко распространившиеся сведения о роковой болезни Надсона упрочили его репутацию правдивого лирика-реалиста. Некоторые читатели стали целенаправленно искать прямых и аллегорических фиксаций болезни и предчувствий смерти в творчестве поэта. Такой режим чтения надсоновской поэзии казался тогда оправданным еще и потому, что соответствующие стихотворения публиковались в русских журналах, которые преимущественно печатали статьи о последних политических событиях и об актуальных социальных вопросах (в этих статьях, среди прочего, очень часто использовались многозначительные намеки, без которых невозможно было обойти цензурные препоны). Этот режим чтения был механически перенесен и на лирическую поэзию, и стихотворения Надсона воспринимались как бюллетень его эмоционального и физического состояния. В мемуарах находим характерный пример такого буквального понимания стихотворений Надсона:

Я помню, как однажды, встретив на улице молодого человека, тоже поэта... я удивился его бледному лицу и заплаканным глазам и спросил, что с ним. Он ответил, что Надсон умирает, а на мой вопрос, откуда он узнал печальную новость, молодой человек, вместо ответа, начал читать мне наизусть только что напечатанное стихотворение Надсона «Нет, муза, не зови!..», но не выдержал, не дочитал до конца и разрыдался. Напрасно я успокаивал юношу, напрас-

1999. С. 213–216; *Wessling R.D.* Semen Iakovlevich Nadson // *Russian Literature in the Age of Realism* / A.D. Gillespie (ed.). (Dictionary of Literary Biography. Vol. 277). Detroit: Gale, 2003. P. 240–246.

¹ Анализ поэзии Надсона с социологической точки зрения см. в: *Бялый Г. С.Я. Надсон* // *Надсон С.Я. Полн. собр. стихотворений*. М.; Л.: Советский писатель, 1962. С. 5–46; *Назарова Л.Н.* Надсон // *Литература 70–80-х годов XIX века* / Под ред. В.А. Бурсова. Т. 1 (История русской литературы. Т. 9). М.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 446–460.

но говорил ему, что, может быть, Надсон, как и все больные, преувеличивает опасность своей болезни, — я получил ответ: «Все, но не Надсон — он пишет только правду», — и юноша стал безутешен...¹

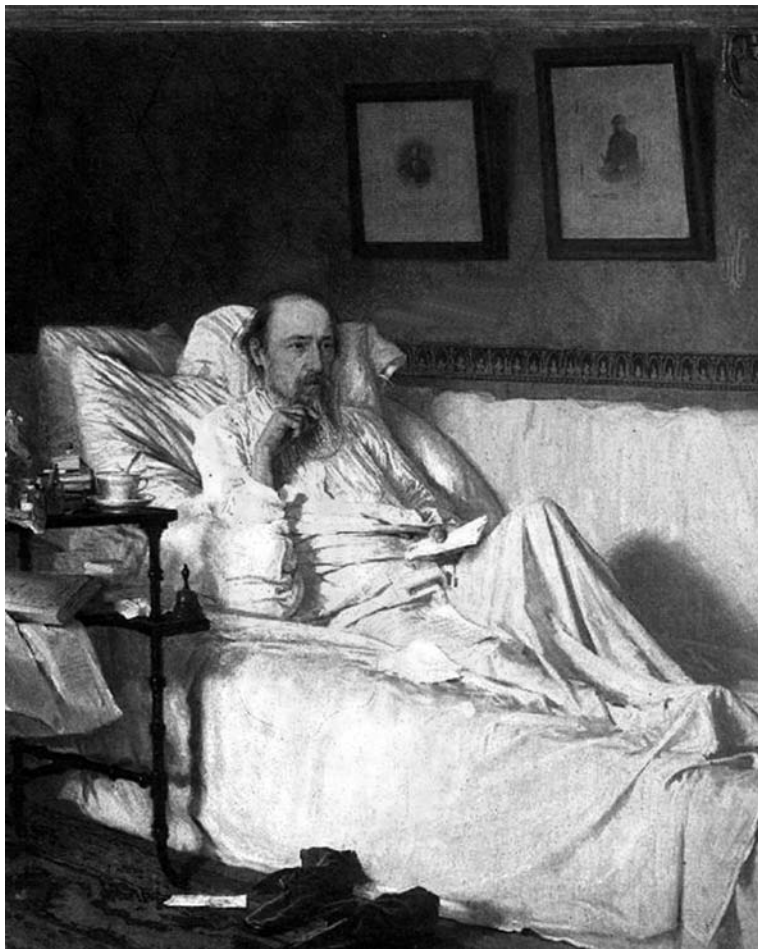
Здесь уместно будет вспомнить о том общественном резонансе, который десятилетием ранее, в середине и конце 1870-х годов, вызвала поэзия Н.А. Некрасова: болезнь поэта, представленная в его последних стихотворениях в виде регулярно публикующегося лирического дневника, была воспринята как подлинная общественная трагедия. Иллюзия сиюминутности и достоверности процесса умирания, создававшаяся средствами лирической поэзии, была к середине 1880-х многократно пережита и близка читателям «Последних песен» (1877—1878). Будучи восприняты как выражение предсмертного всплеска «гражданской боли», эти стихи также запечатали и ощущения самого поэта, умиравшего от неизлечимой болезни — рака прямой кишки².

После смерти Некрасова темы смерти и умирания получили большое распространение в русской гражданской лирике и заняли едва ли не центральное место в творчестве Надсона. Они создали благодатную почву для соответствующей реакции читателей на кончину Надсона в 1887 году. Ключевыми с этой точки зрения являются стихотворения Надсона «Муза, погибаю!.. Глупо и безбожно...» (1881), «Нет, муза, не зови!.. Не увлекай мечтами...» (1884), «Умерла моя муза!.. Недолго она...» (1885) и «Не говорите мне: “он умер”, — он живет...» (1886), «Гаснет жизнь, разрушается заживо тело...» (написано в 1883-м, впервые опубликовано после смерти в 1887-м); последний текст представляет собой яркий пример «репортажного» изображения умирания, причем сам этот процесс наделяется высоким поэтическим статусом:

Гаснет жизнь, разрушается заживо тело,
Злой недуг с каждым днем беспощадней томит,
И в бессонные ночи уверенно-смело

¹ С.Я. Надсон. Воспоминания неустановленного лица // РГАЛИ. Ф. 354. Оп. 1. Ед. хр. 22. Л. 3. Цит. в статье: *Иванова Е.В.* Забытый поэт // Надсон С.Я. Стихотворения / Сост., вступ. ст. и примеч. Е. Ивановой. М.: Советская Россия, 1987. С. 17.

² См. отклик Н.Г. Чернышевского в связи с публикацией «Последних песен» в «Отечественных записках» в: *Краснов Г.В.* Последняя книга поэта // Некрасов Н.А. Последние песни. М.: Наука, 1974. С. 217.



И.Н. Крамской. Н.А. Некрасов в период «Последних песен»
1877—1878. Холст, масло

Смерть в усталые очи мне прямо глядит.
Скоро труп мой заруют могильной землею,
Скоро высохнет мозг мой и сердце замрет,
И поднимется густо трава надо мною,
И по мертвым глазам моим червь поползет...¹

Феномен Надсона может быть рассмотрен не только в свете того символического значения, которое в сознании «больного поколения» приобрели образы психологической катастрофы и упадка. Тематизация болезни и распада имела вполне ощутимые экономические последствия: книга Надсона «Стихотворения» стала бестселлером. Первое издание «Стихотворений» вышло в Петербурге в марте 1885 года. Хотя реакция критики на книгу была довольно сдержанной, все 600 экземпляров были распроданы в течение трех месяцев. В 1886-м она была напечатана еще четырежды. К 1917 году «Стихотворения» переиздавались 28 раз, а общий тираж сборника превысил 210 000 экземпляров (средства от продажи книг, согласно завещанию поэта, направлялись в Литфонд).

Некоторые современники видели в неуклонно растущих доходах от продажи книги Надсона свидетельство социальной патологии. А.М. Скабичевский, историк литературы и критик, принадлежавший народническому направлению, считал Надсона главным примером «стихомании» в России². Несмотря на это, поэзия Надсона пользовалась все возрастающим влиянием среди молодого поколения интеллигенции 1880-х годов. Коммерческий успех «Стихотворений» свидетельствовал и об уверенности молодого поколения в собственном вкусе, и об обособленности его субкультуры. Надсон стал первым русским поэтом, популярность которого по своей социальной структуре напоминала популярность современных поп-звезд. Доходило до того, что почитатели таланта поэта буквально носили его на руках по окончании поэтических чтений. Уже когда Надсон был смертельно болен, вокруг его постели регулярно собирались многочисленные поклонники. Читатели писали ему письма, в которых буквально обожествляли

¹ Впервые опубликовано в приложении к газете «Еженедельное обозрение» — журнале «День»: 1887, № 10, с. 379. См.: *Надсон С.Я.* Полн. собр. стихотворений. С. 222.

² *Скабичевский А.М.* История новейшей русской литературы. 7-е изд. СПб.: Тип. М.А. Александрова, 1909. С. 482.

своего кумира¹. В 1887 году переписка Надсона с одной поклонницей, подписывавшей свои письма псевдонимом «Графиня Лида», была опубликована под заглавием «С.Я. Надсон и графиня Лида»; это издание способствовало распространению культа поэта после его смерти².

После смерти Надсона его верные читатели заговорили том, что трагедия современного поэта соизмерима с историей дуэли и смерти Пушкина. Призванная придать вес *драме Надсона*, отсылка к Пушкину красноречиво свидетельствовала о попытках интеллигенции вернуться к структуре пушкинской травмы, дабы наполнить ее новым содержанием и подтвердить искренность общественного потрясения, вызванного смертью главного поэта «больного поколения». Это символическое сопоставление требовало представить конкретный образ недруга Надсона, и тогда появилась легенда о преследовании и убийстве поэта силами, враждебными русской поэзии³.

Для «больного поколения» Пушкин имел особое значение. 1880 год, обозначивший начало ключевого десятилетия для самосознания «больного поколения», стал еще и годом «пушкинских дней», прошедших в Москве в начале июня. Пушкина почитали не только как великого романтического поэта, но и как символ национального возрождения. Вектор, по которому «социальная энергия» Пушкина направила развитие российского общества в начале 1880-х, был отчетливо заметен в громогласных публичных выступлениях, сопровождавших памятные мероприятия в честь годовщины рождения поэта⁴.

¹ Многие из этих писем сохранились в архивах. Архивы Надсона хранятся в: ИРЛИ. Ф. 402; РНБ. Ф. 508; РГАЛИ. Ф. 354.

² С.Я. Надсон и графиня Лида. СПб.: Б.д. [1887]. Русская пресса высмеяла эту переписку. Один из журналистов полагал, что раскрыл имя человека, скрывавшегося под псевдонимом «Графиня Лида». Он обнаружил предполагаемый адрес некой «Любы», с которой переписывался Надсон: она оказалась совсем не графиней, а среднего возраста женой мелкого петербургского чиновника. Эта публикация привела к изъятию из продажи вышеупомянутой переписки, и сейчас книга является библиографической редкостью (см.: С.Я. Надсон и графиня Лида // Книжки недели. 1887. № 11). Об этой истории и о корреспондентке Надсона Л.В. Фадеевой см.: *Иванова Е.В.* История одной переписки (Надсон и графиня Лида) // Альманах библиофила. М., 1989. Вып. 25. С. 175—186.

³ Сходные наблюдения на материале начала XIX века — о характере литературных репутаций В.А. Озерова и А.А. Шаховского — см. в диссертации: *Иванов Д.* Становление литературной репутации А.А. Шаховского. Тарту, 2005.

⁴ Понятие *социальная энергия* (*social energy*), предложенное Стивеном Гринблаттом для описания широко распространенного, продолжительного и раз-

Социальная энергия, сосредоточенная на фигуре Пушкина, дала в «пушкинские дни» импульс нескольким масштабным публичным мероприятиям¹. Например, на рисунке Н.П. Чехова, изображающем открытие в Москве 6 июня 1880 года памятника Пушкину работы А.М. Опекушина, видны и массовый восторг, и торжественное настроение людей, во множестве собравшихся вокруг монумента: мужчины машут цилиндрами, женщины держат над головой венки — все изображает атмосферу счастья и ликования². Помимо этих проявлений общественного энтузиазма, во время подготовки и проведения празднеств возникло некоторое количество риторических конструкций (слишком громоздких, а впоследствии и слишком клишированных для того, чтобы приводить их здесь): они были призваны увековечить гениальность Пушкина, подчеркнуть его величие или подтвердить его исключительный статус первого национального поэта.

Спустя год социальная энергия, сопровождавшая «пушкинские дни» 1880 года, резко изменила свою направленность. По словам Маркуса Левитта, «в эпоху гнетущей политической реакции, наступившей после убийства в начале 1881 года Александра II, смелые надежды и возвышенные декларации 1880 года сменились глубоким в них разочарованием...»³. Циклическая модель смены об-

нонаправленного интереса к крупным литературным фигурам (в частности, к Шекспиру), обозначает «регулярные проявления предпочтений и наклонностей, которые способны вызывать волнение, огорчение, страх, сердцебиение, сострадание, смех, беспокойство, облегчение, удивление...» (*Greenblatt S. The Circulation of Social Energy // Culture. Power. History: A Reader in Contemporary Social Theory / N.B. Dirks, G. Eley, S.B. Ortner (eds.). Princeton: Princeton UP, 1994. P. 508*).

¹ Социально-политическому значению юбилеев Пушкина посвящены два американских исследования: *Sandler S. Commemorating Pushkin. Russia's Myth of a National Poet. Palo Alto: Stanford University Press, 2004*; *Levitt M.C. Russian Literary Politics and the Pushkin Celebration of 1880. Ithaca: Cornell University Press, 1989* (*Левитт М. Литература и политика: Пушкинский праздник 1880 года. СПб.: Академический проект, 1994*).

² Рисунок Н.П. Чехова «Открытие памятника Пушкину в Москве 6 июня 1880 года» воспроизведен в: *Молок Ю. Пушкин в 1937 году: Материалы и исследования по иконографии. М.: НЛО, 2000. С. 29*. Аналогичную социальную энергию торжества и триумфа, но уже с акцентом на солидарности народа, можно увидеть на советских изображениях, посвященных столетней годовщине смерти Пушкина; показательна в этом плане приведенная в книге Молока фотография «Митинг на Пушкинской площади в Москве 10 февраля 1937 года» (Там же. С. 28).

³ *Левитт М. Литература и политика: Пушкинский праздник 1880 года. С. 21*.

шественного энтузиазма депрессией (периоды ликования, надежды и активности чередуются с периодами пессимизма, сомнений и бездействия), понятая как центральный опыт «пушкинских дней», была осмыслена в более широком контексте — как концентрированный и определяющий психологический опыт «больного поколения» — такая социально-психологическая динамика была характерна для времени после «пушкинских дней», тот же эмоциональный перепад повлиял на формирование психологии «больного поколения» 1870—1880-х годов в целом.

Самоощущение «больного поколения» 1880-х связано с очевидным изменением общественных настроений в связи с поражением молодежного движения 1860-х и крахом социальных надежд 1860—1870-х, в частности после убийства Александра II, который собирался даровать стране конституцию, и после жестких шагов, обозначивших идеологическую программу царствования Александра III. Закономерным образом эта перемена общественных настроений воспринималась как проявление массовой социальной патологии и сыграла большую роль в самоидентификации поколения 1870-х годов как «больного». Считалось, что больное поколение страдает от психического расстройства, имеющего сходство с маниакально-депрессивным психозом, импульс которому дала политическая и социальная реальность. Ключевые фигуры литературы «больного поколения» воплощали в своем поведении психологические сценарии, характерные для маниакально-депрессивного психоза. Ведущий писатель этого поколения В.М. Гаршин дважды, в 1872 и 1880 годах, попадал в психиатрическую клинику из-за острых приступов мании. Так и не справившись со своей болезнью, он покончил жизнь самоубийством в 1888-м. Надсона также считали поэтом, чье творчество представляло собой развернутую метафору коллективного маниакально-депрессивного психоза. Вот как спустя почти тридцать лет характеризовал историк литературы А. Дивильковский попытки Надсона передать смены настроения «больного поколения» через поэтизацию своей болезни:

Не умея найти среднего тона между слепой экзальтацией и безнадежным отчаянием, поэт оказывается обречен на муку поочередного прилива и отлива противоположных настроений. И вот эти полюсы настроений по очереди отрицают в его лирике друг друга,

лишая в конце концов определенного, ясного идейного смысла его поэтическую работу¹.

Значение радостной, местами даже экстатической атмосферы «пушкинских дней» июня 1880 года для представителей «больного поколения» нужно рассматривать именно в этом психологическом контексте: то, что казалось раньше выражением публичного триумфа, было ретроспективно переосмыслено как момент возникновения общественной травмы, как свойственный маниакальной фазе лихорадочный выплеск энергии, за которым последовал долгий приступ депрессии. Памятник Пушкину, сыгравший большую роль в самопонимании читателей Надсона и «больного поколения» в целом, с этой, «патографической», точки зрения стал восприниматься как эпицентр массового болезненного экстаза. Дивильковский охарактеризовал Надсона как поэта, который стремился в своей лирике осмыслить это ощущение всеобщей патологии и неблагополучия:

...Поэт [Надсон] инстинктивно стремился окристаллизовать свое настроение в целую новую систему мировоззрения. Он, заодно с массой своего поколения, как будто подпел той «коллективной истерике», о которой говорит Д.Н. Овсянко-Куликовский по поводу «пушкинской» речи Достоевского².

Таким образом, маниакальная фаза болезни, которая, по мнению современников, пришлось на «пушкинские дни» 1880 года, была метафорически возвращена «больному поколению» как ключевое событие его истории.

Добавим, что психологическая травма, переживавшаяся поколением 1880-х годов, часто ассоциировалась с гибелью поэта на

¹ Дивильковский А. Семен Яковлевич Надсон (1862—1887) // История русской литературы XIX века / Под ред. Д.Н. Овсянко-Куликовского. Т. 4. М.: Изд. т-ва «Мир», 1911. С. 364.

² Там же. С. 367. Имеется в виду следующая фраза из работы Д.Н. Овсянко-Куликовского «История русской интеллигенции»: «...речь произвела сенсацию, нечто вроде коллективной истерики. Пушкинское торжество было торжеством Достоевского» (Овсянко-Куликовский Д.Н. История русской интеллигенции. Итоги русской художественной литературы XIX века. Ч. II (От 50-х до 80-х годов). М.: Изд-во В.И. Саблина, 1907).



А.М. Волков. Дуэль. 1869

дуэли. Социальная энергия, сосредоточенная в фигуре Пушкина, в изобразительном искусстве этого десятилетия получила выражение, прежде всего, в образах потери и травмы. Две значительные работы 1880-х рисуют Пушкина как беспомощную жертву дуэли с Жоржем Дантесом. Эти картины резко контрастируют с предшествующими и последующими изображениями отважного, мужественного и несломленного Пушкина. На полотне А.М. Волкова «Дуэль» (1869) раненый и распростертый на снегу поэт, уже после выстрела Дантеса, стреляет в соперника¹. На картине П.Я. Павлинова «Дуэль Пушкина» (1921) сраженный Дантесом Пушкин изображен стоящим на коленях и геройски протягивающим руку к своему пистолету². В 1880-х же годах, напротив, дуэль и гибель Пушкина, как правило, были представлены как свидетельства мученичества. Например, на акварели П.Ф. Бореля «Возвращение Пушкина с дуэли» (1885) поэта несут из кареты к распахнутой двери его квартиры³. Пассивность, страдательность главного героя переданы здесь через мертвенную бледность лица и безжизненную позу его тела. Эти детали подтверждают наш тезис о том, что в

¹ В основе картины А.М. Волкова лежат свидетельства очевидцев дуэли Пушкина с Дантесом. Ее репродукцию можно найти в: *Павлова Е.В. А.С. Пушкин в портретах. 2-е изд. М.: Советский художник, 1989. С. 171.*

² Там же. С. 207.

³ Там же. С. 173.



П. Я. Павлинов. Дуэль Пушкина. 1921

картинах 1880-х годов романтическая традиция изображения умирающего Пушкина получает форсированно-мрачное развитие¹.

Еще более известная работа А.А. Наумова «Дуэль Пушкина с Дантесом» (1884)² упоминается в автобиографическом очерке Марины Цветаевой «Мой Пушкин» (1937). В духе традиций «больного поколения» мать поэтессы, Мария Александровна (1868–1906), хранила репродукцию этого полотна в своей спальне, и в детстве Цветаева часто рассматривала картину Наумова. На ней запечатлено, как Пушкина, устремившего беспомощный взгляд на своего мучителя, несут по снегу к карете. Маленькой Цветаевой картина предлагала яркий, чуть ли не кинематографический образ преследования великого поэта, оживавший всякий раз при взгляде на нее:

Пушкин был мой первый поэт, и моего первого поэта — убили. С тех пор, да, с тех пор, как Пушкина на моих глазах на картине Наумова — убили, ежедневно, ежечасно, непрерывно убивали все мое младенчество, детство, юность, — я поделила мир на поэта — и всех, и выбрала — поэта, в подзащитные выбрала поэта: защищать — поэта — от всех, как бы эти все ни одевались и ни назывались³.

¹ Вариации на тему «Пушкин на смертном одре» или «Пушкин в гробу» представляют работы А.Н. Мокрицкого, Ф.А. Бруни, А.В. Жуковского, А.А. Козлова и других, воспроизведенные в книге Е.В. Павловой (с. 128–132).

² Павлова Е.В. А.С. Пушкин в портретах. С. 170.

³ Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т. М.: Эллис Лак, 1994. Т. 5. С. 58.



П.Ф. Борель. Возвращение Пушкина с дуэли. 1885

Вопреки десятилетиям, прошедшим с февральских дней 1837 года, смерть переживается вновь как событие, только что состоявшееся и напрямую затронувшее далеких потомков. Цветаевское описание как нельзя лучше иллюстрирует определение травмы как *невостребованного опыта* (*unclaimed experience*), предложенное Кэти Карут¹. Предельно личное отношение Цветаевой к смерти Пушкина емко отражает коллективный опыт российского общества, которое на протяжении всего XIX века не могло свыкнуться с потерей своего первого поэта.

¹ Caruth C. *Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996.

Сила, с которой память о мучениях Пушкина воздействовала на потомков, в частности на Цветаеву, свидетельствует о том, что травма, вызванная гибелью поэта, еще долго сохраняла (а, возможно, и до сих пор сохраняет) свою социальную энергию. Более того, иконография этого события (например, картина Наумова) не только вызывает чувства утраты и праведного гнева, обращенного к виновникам смерти поэта, но и побуждает зрителей красочно дополнить и детализировать историю отношений Пушкина с его недоброжелателями. Цветаева вспоминает, как в детстве работа Наумова подтолкнула ее к следующему комментарию: «Дантес возненавидел Пушкина, потому что сам не мог писать стихи, и вызвал его на дуэль, то есть заманил на снег и там убил его из пистолета в живот»¹.

Одним из парадигматических произведений, сформировавших нарратив о гибели Пушкина как об образцовой травме, стал некролог Владимира Одоевского, напечатанный 30 января 1837 года в «Литературных приложениях к “Русскому инвалиду”». В этом тексте достаточно отчетливо говорится о том, что смерть Пушкина представляет собой общенациональное потрясение, всероссийскую трагедию, последствия которой нужно будет переживать и переосмыслять долгие годы. Напомним один из самых известных фрагментов этого некролога:

Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в середине своего великого поприща!.. Более говорить о нем не имеем силы, да и не нужно; всякое русское сердце знает всю цену этой невозвратимой потери и всякое русское сердце будет растерзано. Пушкин! Наш поэт! Наша радость, наша народная слава!.. Неужели в самом деле нет уже у нас Пушкина?.. К этой мысли нельзя привыкнуть!

29 января, 2 ч. 45 м. пополудни².

Некролог Одоевского уподоблял Пушкина святому мученику. Пол Дебречени обратил внимание на то, что метафора закатившегося солнца уходит корнями в агиографическую традицию опла-

¹ Цветаева М. Собр. соч. Т. 5. С. 57.

² Цит. по: Заборова Р.Б. Неизданные статьи В.Ф. Одоевского о Пушкине // Пушкин. Исследования и материалы / Под ред. М.П. Алексева. Т. 1. М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1956. С. 320.

кивания русских святых княжеского происхождения. Сообщая истории пушкинской дуэли черты легендарного жития по образцу «Мученичества Бориса и Глеба» из «Повести временных лет», эта метафора задает эмоциональный и культурный контекст печального события¹.

Стихотворение Лермонтова «Смерть поэта» (1837) также оказало значительное влияние на формирование сценария образцовой травмы. Написанное через месяц после смерти Пушкина стихотворение вначале распространялось в списках и послужило причиной ареста Лермонтова, суда над ним и перевода поэта на Кавказ. Вместо того чтобы указать на Дантеса как единственного виновника смерти Пушкина, стихотворение давало более масштабный приговор обществу и петербургскому высшему свету. В истории гибели первого русского поэта Лермонтов особенно акцентировал мотивы сплетен и клеветы:

Погиб поэт! — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жадой мести,
Поникнув гордой головой!..

Идея осуждения высшего света стала основой для мифологизации пушкинской смерти. Ее разделяли и ведущие представители интеллигенции 1880-х. Критик Н.К. Михайловский, например, в январе 1887 года превратил эту идею в основополагающую историософскую концепцию: «Не ничтожный Дантес убил красу и гордость русской литературы... Нет, не Дантес, а другое, именно *другое* — имя прилагательное единственного числа среднего рода. Пушкин убит коллективным ничтожеством...»² Анализируя связь между пятидесятой годовщиной гибели Пушкина и недавней смертью Надсона, Михайловский обнаружил сходство между событиями, разделенными пятидесятилетней дистанцией. Для иллюстрации «открытой» им культурной модели повторения он озаглавил части своей статьи соответственно словами «Погиб поэт» и «Погиб поэтик».

¹ Дебречени приводит пример с использованием этого тропа в речи митрополита Кирилла, произнесенной по случаю смерти Александра Невского: *Debrečeny P. Social Functions of Literature, Alexander Pushkin and Russian Culture*. Palo Alto: Stanford University Press, 1997. P. 224.

² Н.М. [Михайловский Н.К.] Дневник читателя // Северный вестник. 1887. № 1. С. 177.

«Почти точь-в-точь»: Журнальная полемика 1880-х как дуэль

Чтобы *образцовая травма* сохраняла свой психологический и мифологический потенциал, последующие поколения должны воспринимать случившееся как рассказ о страданиях сообщества, причем границы этого повествования должны принципиально оставаться открытыми. Повествование может расширяться за счет групповой переоценки прошлого или спонтанного осмысления событий современности. Новейшие эпизоды наделяются смыслом и вписываются в основное повествование о коллективной образцовой травме. Подобная практика распространилась в России после 1880 года и приобрела наиболее устойчивый характер после ухода из жизни нескольких поэтов «большого поколения». В нижеследующем отрывке, например, «преждевременная» кончина национальных писателей и, в особенности, поэтов приобретает значение парадигматического мифа: «Если вообще талантливые писатели на Руси не отличаются долговечностью, то над поэтами тяготеет у нас какой-то особенный фатум — умирать преждевременной смертью...»¹ Это заявление превращает образцовую травму, вызванную гибелью Пушкина, в единый для всех поэтов, в том числе для недавно скончавшегося Надсона, биографический сценарий. Автор процитированной фразы, либеральный критик и обозреватель газеты «Новости» А.М. Скабичевский предлагает читателям внести имена других поэтов, в частности Надсона, в незаконченный — и обреченный на постоянное пополнение — список российских поэтов, которых настигла «преждевременная» смерть: «И Пушкин, и Лермонтов, и Дельвиг, и Полежаев... и Кольцов, и В. Курочкин, и Мей, и пр., и пр.»² Хотя Скабичевский и настаивал на всеобщности образцовой травмы, иерархия его перечисления подразумевала основополагающую роль Пушкина и, соответственно, убывание поэтического величия с каждым последующим именем. (Конечно, очень важно, что на второй позиции здесь оказался Лермонтов.)

¹ Скабичевский А. Семен Яковлевич Надсон // Новости. 1887. 20 января. Перепечатано в кн.: С.Я. Надсон. Сборник журнальных и газетных статей, посвященных памяти поэта. СПб., 1887. С. 4.

² С.Я. Надсон. Сборник журнальных и газетных статей. С. 5.

Нормативный статус образцовой травмы превратил гибель Пушкина в символический источник трагического осмысления судеб *всех* русских поэтов.

Первоисточник национальной травмы — мифологизированная история гибели Пушкина — обнажал, как казалось, не случайные параллели в обстоятельствах кончины поэтов «больного поколения». В этом отношении показателен некролог на смерть Надсона, опубликованный в «Неделе» в январе 1887 года: «Ко дню полудековой годовщины смерти великого поэта... судьба подготовила почти точь-в-точь же трагическую смерть молодого, талантливого поэта...»¹. Выражение «почти точь-в-точь» сигнализирует о случае повторения с весьма незначительным расхождением. Многие считали, что смерть Надсона усугубила травму, вызванную потерей Пушкина, а хронологическая близость двух дат придала недавнему происшествию еще более тревожный, зловещий и трагический оттенок.

После того как в 1919 году Фрейд ввел термин *жуткое* (нем. *unheimlich*) применительно к испытавшим психологический шок ветеранам Первой мировой войны, это понятие стало ключевым в исследованиях травмы. Фрейд рассматривал жуткое как состояние человека, при котором переживание настоящего подспудно определяется вытесненным из сознания болезненным опытом прошлого. Жуткое, понятое как дезориентирующее бессознательное воздействие сегодняшнего опыта, позволяет увидеть то, каким образом в осознаваемую нами действительность проникает неприятное, вытесненное прошлое. В жутком состоянии бессознательно искажаемый сегодняшний опыт становится для человека дезориентирующим; осознав это искажение, можно увидеть, что наше восприятие действительности скрыто определяется отвергаемым вытесненным прошлым.

В исследованиях последних десятилетий жуткое трактуется как основополагающее психологическое переживание современности. В недавних работах, посвященных феномену травмы, с помощью этого фрейдистского понятия анализируется сознание жертв социального насилия, геноцида и войны. Однако если у Фрейда концепция жуткого сфокусирована на «возвращении вытесненного», то нынешние исследователи говорят о тревожности в связи с ужа-

¹ Неделя. 1887. 25 января. Цит. по книге: С.Я. Надсон. Сборник журнальных и газетных статей. С. 12–13.

сом, страхом и потрясением, появляющимися при восприятии *знакомой* действительности: «Ощущение *unheimlich*, или жуткого, соответствует эмоциональному состоянию, в котором индивид при столкновении с предметом или с ситуацией испытывает ужас, превращающий знакомое и привычное в нечто противоположное»¹.

В событиях, сопровождавших смерть Надсона 19 января 1887 года, многие современники увидели серию жутких совпадений, знаменовавших незримое присутствие Пушкина. Во-первых, как уже отмечалось, Надсон умер за десять дней до пятидесятой годовщины гибели Пушкина (ежегодно отмечавшейся 27 января). 4 февраля 1887 года на похоронах Надсона на Волковском кладбище Санкт-Петербурга выступавшие указывали на это обстоятельство, обращаясь к духу покойного: «Ты умер как раз в те дни, когда Россия поминала твоего великого предшественника»². Во-вторых, имя Пушкина сопутствовало Надсону в течение всей его биографии — прижизненной и посмертной: в 1886 году он был награжден Пушкинской премией Академии наук и стал, таким образом, легитимным наследником пушкинской традиции; на пароходе «Пушкин» тело Надсона перевозили из Ялты в Одессу к месту захоронения. Последнее обстоятельство дало основания современникам говорить о посмертном соединении двух поэтов: «Точно дух великого русского гения взял под свою защиту молодого потомка-собрата — которому в грядущем также улыбалась громкая слава — и, охраняя его под своим стягом, привез к вечному убежищу на любимый север!»³ Наконец, генеалогия недоброжелателей Надсона, авторов полемических, зачастую действительно оскорбительных статей и стихотворных пародий, прямо возводилась к тем, кого считали виновными в гибели Пушкина. Именно так говорили многие выступавшие на похоронах Надсона: «Ты возбудил вражду и злословие среди тех, кто является потомками клеветников Пушкина, кто клеветал и клеветает на все честное и живое в русской литературе»⁴.

¹ Gampel Y. Reflections on the Prevalence of the Uncanny in Social Violence // *Cultures under Siege: Collective Violence and Trauma* / A. Robbins, M. Suárez-Orozco (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 50.

² Круглов А. [Памяти Надсона] // *Новости*. 1887. 5 февраля. Перепечатано в книге: С.Я. Надсон. Сборник журнальных и газетных статей. С. 65.

³ Там же. С. 58.

⁴ Там же. С. 65.

Так называемый «потомок клеветников Пушкина» стяжал на поприще журналистики действительно дурную славу. После того как в 1881 году В.А. Кашеварова-Руднева, а затем М.М. Стасюлевич подавали в суд на Виктора Петровича Буренина (1841—1926), обвиняя его в клевете, за ним закрепилась устойчивая негативная репутация главного российского очернителя¹. Внук крестьянина и сын архитектора, Буренин иногда прибегал к аристократическому псевдониmu «Граф Алексис Жасминов». Буренин начал свою поэтическую и критическую карьеру в конце 1850-х годов, посещая литературные вечера в доме поэта А.Н. Плещеева (который в 1880-х стал ментором Надсона). Там Буренин познакомился с М.Е. Салтыковым-Щедриным, Л.Н. Толстым, Н.А. Некрасовым, А.С. Суворинным. Знаменитость Буренину принесли публикации стихотворений и сенок в сатирических журналах «Искра» и «Зритель» в начале 1860-х. В 1860—1870-е годы Буренин переводил стихи, писал критические статьи и фельетоны, которые появлялись в ведущих «толстых» журналах и газетах. Репутация Буренина как жесткого критика, который безжалостно высмеивает своих идеологических и литературных противников, среди которых были М.Н. Катков, П.М. Леонтьев, А.А. Фет, А.Н. Майков, Н.Ф. Щербина и Ф.М. Достоевский, становилась все более устойчивой. В 1865 году Буренин начал работать в газете «Санкт-Петербургские ведомости», а с 1876-го — в газете «Новое время». Его колонка «Критические очерки», которая печаталась в этой газете, стала одной из самых широко читаемых и популярных в России в конце 1870-х и в 1880-е годы².

Антисемитизм был лишь одним из средств в полемическом арсенале, которыми пользовался Буренин в организованных им кампаниях — для разжигания общественной нетерпимости или травли какого-либо писателя или общественного деятеля. Особенно болезненными критические нападки Буренина на литераторов становились вследствие особенностей жанра, им избранного. Литературный фельетон давал возможность включать в изобилии

¹ Позиции обеих сторон — участниц этого процесса изложены в заключительной речи адвоката истца и памфлете ответчика. См.: *Спасович В.Д.* Соч. Т. 6. СПб., 1894. С. 342—378; *Буренин В.* Критические очерки и памфлеты. СПб., 1884. С. 108—180.

² См.: *Ленехин М.П., Рейтблат А.И.* В. Буренин // *Русские писатели 1800—1917: Биографический словарь.* М.: Советская энциклопедия, 1989. Т. 1. С. 365—367.

личные нападки на того или иного автора: «...решающую роль при оценке книг стало играть отношение критика к личности автора, внеслитературным аспектам его жизни и деятельности»¹. Публичные выпады в адрес Надсона, которые Буренин позволил себе в конце 1886 года, когда поэт умирал от туберкулеза, как нельзя лучше способствовали становлению легенды о гибели лирика в неравной «дуэли» с Бурениным.

Уже после кончины Надсона общественное мнение обвиняло Буренина в нарушении нравственных законов. А.М. Скабичевский даже причислил Буренина к типу inferнальных трагических злодеев:

Г. Буренин весьма напоминает собою супругов Макбет, которые, как известно, оба страдали одним и тем же недугом возмущенной совести, и в то время как одного преследовала тень Банко, другая никак не могла смыть кровавых пятен со своих рук. Так и г. Буренина ныне всюду преследует тень оклеветанного им Надсона².

В этой легенде воспроизведен знакомый — *образцовый* — сюжет дуэли и гибели Пушкина, а неизбежные отклонения и повороты были призваны наполнить тревожным содержанием давно известный нарратив. В 1887 году один из критиков, например, заявил, что разница между смертями Пушкина и Надсона определяется лишь тем, какие формы принимало и до какой степени простиралось злословие публики в отношении каждого поэта³. Другой критик призвал отложить публичное оплакивание Пушкина до тех пор, пока не будут осуждены и наказаны хулители Надсона: «Имеем ли мы право оплакивать смерть Пушкина, когда в эту самую минуту среди нас воспроизводится та же самая смерть, с еще более возмутительным участием в ней клеветы?»⁴

¹ Лепехин М.П., *Рейтблат А.И.* В. Буренин // Русские писатели 1800—1917: Биографический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1989. Т. 1. С. 366. Подробно роль жанра фельетона в русской журналистике конца XIX века описана в: *Рейтблат А.И.* Фельетонист в роли мемуариста // Амфитеатров А.В. Жизнь человека, неудобного для себя и для многих. М.: НЛО, 2004. С. 5—10.

² Скабичевский А.М. Литературная хроника // Новости. 1887. № 318.

³ Рудин Д. [Л.М. Медведев?]. Курьезы и раритеты родимой прессы // Дело. 1887. № 6. С. 81.

⁴ Памяти С.Я. Надсона // Неделя. 1887. 25 января. № 4. Перепечатано в книге: С.Я. Надсон. Сборник журнальных и газетных статей. С. 13.

Актуализации темы гибели Пушкина способствовали многочисленные публикации, посвященные обстоятельствам его дуэли и смерти, они стали появляться на волне интереса к теме в связи с «пушкинскими днями» 1880 года¹. Эти статьи строились скорее по беллетристической, нежели по научно-биографической модели. По утверждению американской исследовательницы Лесли О'Белл, публикации о последних днях Пушкина закономерно ориентировались в основном на жанр романа в письмах, поскольку большая часть свидетельств о тех событиях сохранилась в виде частной переписки². Описания пушкинской дуэли и кончины у Щеголева, Викери и Витале можно прочесть как русскую вариацию «Опасных связей» Шодерло де Лакло, где в центре внимания также оказались светский заговор, эротические похождения и интрига, которая приводит к дуэли и гибели героя³. Аналогичным образом в трагическом рассказе о «дуэли и смерти» Надсона можно увидеть «ремейк» романизированной истории о гибели Пушкина. Воссоздание деталей последних дней Пушкина очень часто производилось в 1870—1880-х годах на страницах газет, «тонких» и «толстых» журналов. В истории «дуэли» и смерти Надсона пресса сыграла главную роль в развитии сюжета, в буквальном смысле неся в себе и провоцируя собою смерть поэта.

Использование Бурениным жанра газетного фельетона как инструмента острой полемики и травли оживило в общественном сознании образ страданий Надсона. Получалось, что по сравнению с Пушкиным Надсону противостояла «клевета» еще более коварная и изощренная. Вместо инсинуаций, шепотом распространявшихся в высшем свете, Надсон столкнулся с неприкрытыми публичными выпадами популярной газеты, выходившей многотысячным тира-

¹ Книга В.И. Межова (*Pushkiniana*. Библиографический указатель статей о жизни А.С. Пушкина. СПб.: Типография Безобразова и комп., 1886) фиксирует волну публицистической активности в 1880 году.

² *O'Bell L. Writing the Story of Pushkin's Death // Slavic Review. Summer 1999. Vol. 58. № 2. P. 393.*

³ Такая трактовка тоже предложена О'Белл на с. 393. Имеются в виду следующие работы, посвященные смерти Пушкина: *Щеголев П.Е.* Дуэль и смерть Пушкина. Исследование и материалы (Пг., 1916; 2-е изд. Пг., 1917; 3-е изд. Л., 1928; Репринт. М., 1987; Репринт. СПб., 1994; Репринт / Вступ. статья, сост., примеч. Я.Л. Левкович. СПб.: Академический проект, 1999); *Vickery W.N.* Pushkin. Death of a Poet. Bloomington: University of Indiana Press, 1968; *Vitale S.* Il bottone di Puskin. Milano: Adelphi, 1995; *Витале С.* Черная речка. До и после. СПб., 2000.

жом. Вследствие эволюции и популяризации жанров судебного очерка, репортажа с мест событий (в частности, во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов), полемики по общественно значимым вопросам (реформы образования, судебной системы и проч.) русская пресса в 1860—1870-х годах стала средством массовой коммуникации почти в современном смысле этого термина. Печатные издания оказывали огромное влияние на тысячи читателей и имели такую многочисленную аудиторию, которая даже и не снилась сплетникам великосветских салонов 1830-х. В основе множества скандальных статей той поры, естественно, лежали слухи, сплетни и инспирированная со стороны и не всегда обоснованная критика. В 1880-х годах новые веяния изменили прежнюю мирную картину жизни русских поэтов, увлеченных исключительно проблемами творчества и общения с читателями и критиками¹.

Эти социокультурные изменения привели к появлению совершенно нового типа осмысления отношений между поэтом и обществом. В результате реформ Александра II и предшествовавших им процессов на авансцене общественной жизни оказалось множество разночинцев, которые получили возможность заняться свободными профессиями. Кроме того, происходила ассимиляция образованных евреев в среде городской интеллигенции². Надсон принадлежал к ассимилированной еврейской интеллигенции, которая усвоила и осмыслила многие традиции русской литературы и культуры. Дед Надсона по линии отца принял крещение по православному обряду в Киеве, а отец жил как ассимилированный еврей и служил как государственный чиновник.

Надсон написал лишь одно стихотворение на еврейскую тему «Я рос тебе чужим, отверженный народ...» (1885)³, и когда С. Вен-

¹ Для более детального ознакомления с историей и влиянием новой прессы см.: *McReynolds L. The News under Russia's Old Regime. The Development of a Mass-Circulation Press.* Princeton: Princeton University Press, 1991; История русской журналистики XVIII—XIX веков / Под ред. Л.П. Громовой. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2003.

² Изучению ассимиляции евреев в Российской империи посвящена книга: *Safran G. Rewriting the Jew. Assimilation Narratives in the Russian Empire.* Palo Alto: Stanford University Press, 2000. См. рус. перевод: *Сафран Г. Переписать еврея: тема ассимиляции в литературе Российской империи (1870—1880-е гг.).* СПб.: Академический проект, 2004.

³ Впервые опубликовано в книге: Помощь евреям, пострадавшим от неурожая. СПб., 1901. С. 63. См.: *Надсон С.Я.* Полн. собр. стихотворений. С. 284.

геров в 1884 году попросил поэта написать автобиографию, Надсон довольно туманно говорил о своем еврейском происхождении: «Начнем с начала, если это для кого-нибудь интересно. История моего рода, до моего появления на свет, для меня — область очень мало известная. Подозреваю, что мой прадед или прапрадед был еврей. Деда и отца помню очень мало»¹.

С.С. Михайлова-Штерн объясняла нежелание Надсона признать свое еврейское происхождение иными причинами, нежели плохая память. В своей неопубликованной биографии Надсона она пишет о том, что Надсон, после того как осиротел и поселился в доме своего дяди И.С. Мамонтова, неоднократно становился жертвой антисемитских настроений родственников. Дядя Надсона считал оба брака его матери «неудачными, а первый из них с каким-то жидовским выкрестом даже позорным»². От тети Надсону нередко приходилось слышать, что ей надоели его «жидовские комедии» и «жидовская невоспитанность»³. И тетя, и дядя Надсона восхищались консервативным критиком и журналистом М.Н. Катковым и часто цитировали поэту статьи из газеты «Московские ведомости» или из откровенно «погромных» газет, в которых утверждалось, что «революцию делают подлые жиды, что они портят славного русского мужика и др.»⁴. Собственно, Мамонтовы и убедили Надсона, что «позорное пятно еврейства он сможет смыть только военной службой, что это для него единственный исход...»⁵.

Как утверждает Михайлова-Штерн, Надсон признал свое еврейское происхождение лишь однажды, в 1882 году, живя на даче в Павловске с другом И.Л. Леонтьевым-Щегловым, армейским офицером, который был также драматургом и писателем. Однажды вечером Леонтьев-Щеглов открыто признался в своих антисемитских убеждениях. В ответ Надсон, как пишет Леонтьев-Щеглов, «привстал с постели, бледный, как мертвец, и с лихорадочно горящими глазами. — “Вы хотели... знать тайну моей жизни? — произнес Надсон сдавленным голосом. — Извольте, я еврей”. И устремил на меня растерянный взгляд, ожидая увидеть выражение ужаса».

¹ *Надсон С.Я.* Автобиография // Надсон С.Я. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 3.

² *Михайлова-Штерн С.С.* Семен Яковлевич Надсон. Статья. Машинопись с редакторской правкой. 1938 // РГАЛИ. Ф. 629. Оп. 1. Ед. хр. 1247. Л. 6.

³ Там же. Похожий случай упомянут также в дневнике Надсона в записи от 10 июня 1880 года (*Надсон С.Я.* Полн. собр. соч. Т. 2. С. 167).

⁴ *Михайлова-Штерн С.С.* Семен Яковлевич Надсон. Л. 7.

⁵ Там же.

Сдерживая смех и боясь обидеть чувствительного поэта, Леонтьев-Щеглов парировал: «Вы похожи на еврея так, как я на англичанина. Да если б это было и так, то разве это умаляет талант? Мать Ваша русская, воспитывались Вы и выросли чисто русским человеком»¹.

Однако для определенной группы читателей еврейское происхождение Надсона имело решающее значение. А обстоятельства его смерти для многих вписывались в имевшую глубокие корни историю преследования евреев в Российской империи. Стоит упомянуть и о последней перед кончиной Надсона волне антисемитизма, связанной с погромами 1881—1882 годов и другими событиями начала царствования Александра III². Историк русской литературы и автор истории русскоязычной еврейской литературы В. Львов-Рогачевский называл Надсона «ассимилированным бардом», который «был заражен» болью еврейского народа³. В 1912 году он заявил в своей статье «Под маской культурности», что заявления о невиновности Буренина в смерти Надсона суть закамуфлированный журналистский погром, учиненный авторами-юдофобами⁴.

Реконструкция надсоновской «дуэли»

История «дуэли» и смерти Надсона начинается в 1886 году с литературных фельетонов для киевской газеты «Заря»⁵. Эта полемика превратилась, по крайней мере с точки зрения приближенного круга поклонников поэта, в несправедливую и заведомо неравную

¹Ежемесячные литературные приложения к «Ниве». 1911. № 1. Прочитировано в: Михайлова-Штерн С. С. Семен Яковлевич Надсон. Л. 7.

²Для более детального ознакомления с данным вопросом см.: Aronson I. M. Troubled Waters: The Origins of the 1881 Anti-Jewish Pogroms in Russia. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1990.

³См.: Львов-Рогачевский В. Русско-еврейская литература. М.: Московское отделение гос. изд-ва, 1922. С. 106—107.

⁴Львов-Рогачевский В. Под маской культурности // Современный мир. 1912. № 12. С. 281. Львов-Рогачевский имел в виду полемику критиков В. В. Глинского и К. И. Арабажина (печатавшегося под псевдонимом Solus), приуроченную к 25-летней годовщине со дня смерти Надсона.

⁵Критические статьи Надсона собраны в одном томе. См.: Надсон С. Литературные очерки. СПб.: Изд-во Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым, 1887.

дуэль между умирающим поэтом и его вполне бодрым оппонентом. Согласно этой версии, «поединок» привел к безвременной смерти Надсона.

В своей статье в номере «Зари» от 4 июня 1886 года Надсон начал атаку на Буренина. Он попытался разоблачить лицемерные жалобы Буренина на кризис современной русской литературы. Не мог Надсон обойти и литературные качества художественной прозы Буренина, повестей «Мертвая нога» и «Роман в Кисловодске» (1886), и обвинил своего антагониста в любви к дешевым, непристойным трюкам: «...порнография самого низкого качества бьет в глаза с каждой страницы этих “реалистических повестей из действительной жизни”. “Вздрагивающие бедра”, “обнаженные плечи”, “античные руки”, “неприкрытая грудь”, — “падение” в начале рассказа, “падение” в середине и “падение” в конце...»¹. Пообещав вернуться к подробному разбору порнографического чтива, вышедшего из-под пера Буренина, в отдельном фельетоне², Надсон перешел к детальному, хотя и издевательскому, анализу поэзии Буренина. Обратившись для начала к сатирическому сборнику «Песни и шаржи» (1886), Надсон привел многочисленные примеры неряшливой рифмы, неуклюжей стилистики выбора и очевидно дурного вкуса. Затем, процитировав первые строфы исторической баллады «Олаф и Эстрильда», Надсон продемонстрировал поэтическую бездарность Буренина, превратив эти строфы (написанные в форме стихотворений в прозе) в формально безупречные стихи³. Таким образом, Надсон вступил в резкую полемику с Бурениным, которая, однако, затрагивала первоначально только литературную ипостась противника. Буренин возразил Надсону в «Новом времени» статьей «Урок стихотворцу», где доказывал, в частности, что надсоновское переложение его баллады риторично и бессмысленно, а еще через два дня опубликовал пародию на стихи Надсона⁴.

¹ Надсон С.Я. Литературно-журнальные очерки // Заря. 1886. 4 июня. См. также в: Надсон С.Я. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 233. Надсон атаковал Буренина и в двух других статьях, напечатанных в этой киевской газете 27 июня и 11 июля 1886 года.

² О репутации Буренина как литературного «порнографа» см.: Яблонский А. Маленький фельетон. Старейший порнограф // Речь. 1908. 26 апреля; Новополн Г.С. [Г.С. Нейфельд]. Порнографический элемент в русской литературе. СПб., 1909. С. 46.

³ Баллада «Олаф и Эстрильда», «перелицованная» Надсоном, включена в его Полное собрание стихотворений (с. 294–297).

⁴ Новое время. 1886. 18 июня; 20 июня.

Надсон замахнулся на одного из самых ядовитых и влиятельных русских критиков и журналистов. Его атаки на Буренина появились в киевской газете, тогда как Буренин площадкой для ответного удара сделал крайне популярное издание «Новое время». Затем Надсон попытался прекратить диспут, который стал уже достоянием широкой читающей публики: «Я писал для моих читателей, а не для г-на Буренина; правда, последнего я признаю некоторой, хотя и очень небольшой силой, с которой невольно приходится иногда считаться»¹.

Надсон и редакция «Зари» решили вместе нанести ответный удар в журналистской полемике. Выступив под псевдонимом «Историк культуры», редактор «Зари» М.Н. Кулишер опубликовал снисходительную статью в дидактическом тоне «Маленький урок по истории культуры г. Буренину» в защиту надсоновской стихотворной версии баллады Буренина: «Много я на своем веку встречал невежественных учителей, но такого, как г. Буренин, да при том еще отличающегося нахальством, не встречал»².

Тем временем малоизвестный киевский поэт С.А. Бердяев, печатавшийся под псевдонимом Аспид, написал антисемитский пародийный эпос «Надсониада» (Киев, 1886), что только усилило впечатление организованной травли Надсона. «Надсониада», первоначально помещенная в шестом номере журнала «Наблюдатель» за 1886 год, затем распространялась бесплатно на улицах Киева в виде самостоятельной брошюры³. Этот поэтический текст, главным образом, высмеивал Надсона как неопытного критика и поэта с раздутой репутацией. Выпады Бердяева против «Зари» носили явно антисемитский характер:

Раз в неделю киевлянам
Преподносит он статейки,
Где в «идеи» раздувает
С помпой чахлые «идейки»...

¹ Надсон С.Я. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 256.

² *Историк культуры* [М.Н. Кулишер]. Маленький урок по истории культуры г. Буренину (графу Алексису Жасминову) // Заря. 1886. 24 июня. С. 3.

³ Венгеров С.А. Бердяев // Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. СПб.: Тип. И.А. Эфрона, 1892. Т. 3. С. 39. На обложке брошюры «Надсониада» проставлена цена: 15 копеек.

Оживить редактор хочет
Иудейский орган этим;
Но, увы! Мы кроме скуки,
Ничего в нем не заметим...¹

В сноске на первой странице этого текста опять появляется антисемитское высказывание: «...появилась на столбах “Заря” с площадной бранью по поводу “Надсониады”: радуемся, что сумели задеть за живое беззастенчивых наемников киевского жидовского кагала»². Во всей поэме Бердяев проставил ударения над вторым слогом фамилии поэта, подчеркивая его еврейское происхождение (сам Надсон всегда настаивал на ином произношении).³

На короткое время полемика затихла, но четыре месяца спустя разгорелась вновь и была воспринята как далеко выходящая за обычные рамки литературной и журналистской дискуссии. Буренинский выпад против Надсона вскоре получил именование «клеветы» и первой пули, выпущенной на словесной дуэли. 21 ноября 1886 года Буренин поместил в «Новом времени» статью, содержащую не только разгромную критику поэзии Надсона, которая имела лишь формальную привязку к литературному контексту. На деле это были «нападки на личность». Обозвав в своем пасквиле поэта симулянтом и евреем-паразитом, Буренин писал:

Говорят, что притворство это практикуется с замечательным искусством и очень способствует возбуждению в читателях интереса к плодам вдохновения мнимо *негодующих паразитов*, представляющих больным, калекой, умирающим, чтобы жить на счет частной благотворительности⁴.

Нападки Буренина основывались на том, что Надсон занял в Литфонде 500 рублей, чтобы оплатить расходы на поездку в Европу в 1884 и 1885 годах. Эта атака Буренина была неоправданной:

¹ *Аспид* [С.Я. Бердяев]. Надсониада: Поэма из литературной жизни. Посвящается редакции киевской «Зари». Киев: Тип. Петра Барского, 1886. С. 3.

² Там же. С. 2.

³ Вскоре после смерти Надсона Бердяев выступил со стихотворением «Меа Суфра», задуманным, по словам автора, чтобы «реабилитировать себя перед памятью покойного» (Цит. по: Венгеров С.А. Бердяев. С. 40). Это стихотворение впервые опубликовано в: Дело. 1887. № 4.

⁴ Буренин В. Критические очерки // Новое время. 1886. 13 ноября.

Надсон не симулировал. В Ницце осенью 1884 года французский хирург Пальяр дважды прооперировал Надсону анальный свищ. Во время второй операции врачи даже не прибегали к уже ставшему в то время популярным средству анестезии — хлороформу.

После этих операций Надсон смог встать на ноги только в январе 1885 года. 17 марта 1885-го врач Н.А. Белоголовый, подружившийся с поэтом в Ментоне, во Франции, писал о неутешительных результатах двух этих операций своему коллеге Л.Б. Бертенсону в Петербург: «Хуже стоит дело с хирургической стороны: снова появилось затвердение клетчатки на *glutei* около *anus* и образование свежих свищей несомненно»¹. По рекомендации своего доктора в июне 1885 года Надсон отправился в частную клинику профессора медицины Теодора Кохера для двух дальнейших хирургических процедур на фистуле. После операций Надсон прошел стандартный курс санаторного лечения для больных с серьезной формой легочного туберкулеза в Висбадене.

Кроме того, Надсон полностью вернул долг со своих гонораров, полученных от продажи многочисленных изданий единственного сборника стихотворений, и завещал свои авторские права Литфонду, которые стали позднее крупнейшим источником доходов этой организации².

«Клевета» Буренина была отождествлена в общественном сознании с пулей дуэлянта, поскольку ухудшение самочувствия Надсона ужасным образом совпало с чередой публикаций в «Новом времени». Синхронность создала впечатление прямой причинно-следственной связи между двумя событиями. Такая каузальная логика позволяет понять, почему друзья и сторонники Надсона приравняли одиозный печатный материал к смертельно ранящему оружию.

К 1880-м годам относится массовое увлечение популярными концепциями психиатрии, психосоматического расстройства и

¹ Неопубликованная переписка Н.А. Белоголового и Л.Б. Бертенсона проясняет физическое состояние Надсона. См.: *Белоголовый Н.А. Письма Л.Б. Бертенсону (1885)* // ИРЛИ. Ф. 402. Оп. 3. № 57. Л. 3/4.

² К 1917 году Литфонд заработал 200 000 рублей за счет издания и продажи книг Надсона. Прибыль от издания стихов Надсона неоднократно становилась предметом обсуждения в массовой печати. См.: Специальное приложение в честь тридцатой годовщины смерти Надсона // Современная иллюстрация (бесплатное приложение к газете «Современное слово»). 1917. 31 января.

массовых психических заболеваний вроде истерии и неврастении. Будучи страстными читателями, российские разночинцы проявляли повышенный интерес к взаимосвязи чтения и нервного возбуждения, на которую указал американский невролог Джордж Бирд. Он утверждал, что скандалы, то и дело возникающие в современных газетах, приводят к нервному истощению читателей¹. Влияние психологических потрясений на организм обозначили термином «нервный удар», тем самым уравнивая психологическую травму с физической.

Что же стало причиной частичного паралича Надсона? В письме от 25 ноября 1886 года Надсон сообщает редактору газеты «Неделя» П.А. Гайдебурову сначала о напаках Буренина, а потом о своей болезни, не позволявшей ему писать собственной рукой: «Простите меня, что пишу не сам, а диктую, ибо неизвестно почему у меня вдруг отнялась рука и нога. Доктора уверяют, что это явление нервное, род *нервного удара*, а не в связи с моей основной болезнью»². Весть о том, что Надсона внезапно разбил паралич неизвестного происхождения, который, по мнению врачей, не имел никакого отношения к диагностированному у поэта легочному туберкулезу, должна была привести в смятение поклонников. В другом письме Надсон вновь заявил о психосоматической причине паралича и признался в предрасположенности к нервным припадкам вроде женских истерик: «я истеричен как женщина, и со мной в последнее время случился нервный курьез: отнялись левая рука и нога. Так как это явление не мозговое и не параличное, то лечить его нельзя»³. Паралич, скорее всего, был обусловлен туберкулезным менингитом, который со всей определенностью и диагностировали впоследствии. Однако упоминание о

¹ Джордж Миллер Бирд (1839–1883) описал полную симптоматику нервного истощения в работе: *Beard G.M. A Practical Treatise on Nervous Exhaustion (Neurasthenia): Its Symptoms, Nature, Sequences, Treatment.* NY: Treat, 1880. Один из самых ранних пересказов этой работы на русском языке принадлежит О. Манасеиной. См.: *Манасеина О. О ненормальности мозговой жизни современного человека.* СПб., 1886. Работы Бирда издавались в России и раньше, см., например: *Бирд Дж.М. Практическое руководство к медицинскому употреблению электричества при местном и общем его применении.* Вып. 1, 2. Казань, 1875–1876. В 1887 году вышла другая книга: *Бирд Дж.М. Половая слабость как вид нейрастении. Ея гигиена, этиология, симптомы и лечение.* С прил. Главы о диете для нервных больных. Пер. и изд. д-ра Г.С. Волпянского. Харьков, 1887.

² *Надсон С.Я.* Полн. собр. соч. Т. 2. С. 569.

³ Там же.

«психосоматическом» параличе благоприятствовало возникновению идеи мистического повторения пушкинской травмы и закрепляло за Надсоном роль слабого и беззащитного страдальца, безжалостно убитого в неравном поединке со злодеем-обидчиком.

Еще один зловещий эпизод в противостоянии Буренина и Надсона был связан с фигурами посредников. Обстоятельства участия в деле «секундантов» обоих дуэлянтов говорят о явной деградации этикета дуэли в эпоху «разночинца-дуэлянта»¹. Буренин как фельетонист популярной газеты обладал очевидным общественным влиянием. Попытки Надсона донести свою позицию при посредничестве других изданий наталкивались на препятствия. Надсон направил в либеральную газету «Новости» открытое письмо с ответом на обвинения Буренина. Согласно сообщениям биографа поэта, редактор О.К. Нотович не стал публиковать этот текст из-за опасений, что в отместку Буренин пустит в ход свое ядовитое перо и навредит изданию².

Метафора дуэли, несомненно, характеризовала и профессиональное соперничество Нотовича и Суворина, которые враждовали между собой чуть ли не как шекспировские «Монтекки и Капулетти»³. Более того, как отмечает Ирина Рейфман в своем исследовании истории дуэли в русской культуре, к концу XIX века метафора «журналистской дуэли» нередко приводила к реальным дуэлям между авторами, представлявшими разные печатные органы. Начавшись в 1860-х, «журналистские дуэли», соединявшие в себе полемические стратегии прессы того времени и жестокие аристократические традиции разрешения конфликтов, были типичны для «динамики разночинской дуэли» (термин И. Рейфман)⁴. Например, В.О. Михневич, представлявший «Новости», в конце 1880-х годов вызывал на дуэль Буренина, работавшего в «Новом времени». Ранее Буренин принимал участие в качестве секунданта в широко освещавшейся «журналистской дуэли» между адвокатом Евгением Утиным и журналистом Александром Жоховым. Секундантом Жохова был Е.К. Ватсон, чья жена, Мария Валентиновна Ватсон (1848—1932), была близкой знакомой, биографом и редактором ра-

¹ См.: *Reyffman I. Ritualized Violence Russian Style. The Duel in Russian Culture and Literature. Palo Alto: Stanford UP, 1999. P. 88—91.* Рус. перевод: *Рейфман И. Ритуализованная агрессия. Дуэль в русской культуре и литературе. М.: НЛЮ, 2002.*

² *Михайлова-Штерн С.С. Семен Яковлевич Надсон. Л. 34.*

³ См.: *McReynolds L. The News under Russia's Old Regime. P. 132.*

⁴ *Reyffman I. Ritualized Violence Russian Style. P. 88.*

бот Надсона; она же сопровождала поэта в его поездках на европейские оздоровительные курорты. Е.В. Де-Роберти де Кастро де ла - Серда¹, обрусевший испанец (брат Марии Ватсон), также выступил секундантом Жохова и был братом Марии Ватсон².

М. Ватсон, ухаживавшая за больным поэтом, написала Суворину письмо, в котором предупредила о тяжелом состоянии здоровья Надсона и вероятных последствиях буренинской «клеветы» для жизни и здоровья Надсона. По сути, она действовала как секундант, требуя от Суворова соблюдать этикет: по правилам смертельно больной человек отстранялся от участия в дуэли, которая в данном случае приняла форму скандальной словесной перепалки в прессе. Поступок Ватсон возымел результат, прямо противоположный ожидаемому. Как считает биограф Надсона Михайлова-Штерн, обращение Ватсон к Суворину только ухудшило ситуацию, а ее письмо «подлило масла в огонь»³.

Первоначальная фабула пушкинской дуэли в случае Надсона приобрела дополнительные неприятные черты: пушкинский сценарий, даже когда огласке подвергались самые интимные стороны жизни поэта, оставался в рамках великосветской пристойности — банальной истории о муже-рогоносце. Высмеивая заботу Ватсон о Надсоне, Буренин принялся нападать и на «секунданта». Сентиментальная привязанность госпожи Ватсон к Надсону превратилась в объект жестокой сатиры, в которой возвышенное благородное чувство объявлялось пародией и лживым прикрытием истерической похоти:

...Чахоточные таланты легко заводят романы, но увы! Бегают за ними не титулованные аристократки, а перезрелые, любвеобильные дамы, ищущие возможности поместить остатки своей давно увядшей красоты и угасших страстей, не воспламеняющих более людей здорового темперамента⁴.

¹ Де Роберти де Кастро де ла Серда Евгений Валентинович (1843—1915), русский социолог и философ-позитивист. Учился в Александровском лицее (Петербург), университетах Гейдельберга и Йены. С конца 1860-х годов сотрудничал в русских либеральных газетах и журналах, в издававшемся в Париже Э. Литтре и Г.Н. Вырубовым журнале «*Revue de la philosophic positive*». Участник земского движения, конституционалист.

² *McReynolds L.* The News under Russia's Old Regime. P. 89.

³ Михайлова-Штерн С.С. Семен Яковлевич Надсон. Л. 36.

⁴ Цит. по: Ватсон М. Письмо в редакцию // Новости. 1887. 10 апреля.

В другой статье Буренин представил характер тридцативосьмилетней замужней Ватсон следующим образом: «По большей части такие поклонницы принадлежат к категории дам, которым стукнуло за сорок и которых Бог не наделил женским благообразием, но зато щедро наградил запоздалой пламенностью чувств»¹. На последнем этапе своего натиска Буренин обратился к прославившему его жанру стихотворной сатиры и вывел Надсона под именем еврейского поэта Чижика, чью похоть полностью удовлетворяет грубая пожилая матрона. Женскому персонажу Буренин дал немецкую фамилию «Шманкухен», намекая на связь между эротическим удовольствием и приемом пищи².

В продолжение всего поединка с Бурениным Надсон, будучи гораздо более пассивным, нежели его противник, решился тем не менее в полной мере принять тяжесть удара. Когда друзья посоветовали ему прекратить читать фельетоны Буренина в «Новом времени», Надсон отказался, полностью осознавая открытый, публичный характер полемики, от которой невозможно было самоустраниться:

Поймите же, что я не могу этого сделать, не могу потому, что это было бы малодушием. Если бы грязные обвинения и клеветы шептались под сурдинкой, у меня за спиной — конечно, я был бы вправе пренебрегать ими, игнорировать их... Но эти нападки, позорящие мое доброе имя, эта невообразимо гнусная клевета бросается мне в лицо печатно, перед всей читающей Россией³.

«Психология чести», свойственная дуэлянту, отразилась и в абсурдном намерении смертельно больного Надсона отправиться из Ялты в Петербург, чтобы лично защитить от Буренина свою репутацию в дуэльной схватке⁴.

Итак, жуткое совпадение по времени фельетона Буренина, содержащего эротические насмешки, и приступа туберкулезного менингита у Надсона помогло сотворить легенду о неравной дуэ-

¹ Цит. по: *Ватсон М.В.* Семен Яковлевич Надсон. С. XLV.

² *Жасминов Граф Алексис [В. Буренин]*. Quasi una satira // Новое время. 1886. 12 декабря.

³ Цит. по: *Ватсон М.В.* Семен Яковлевич Надсон. С. XLIV.

⁴ «Психологии чести» посвящена целая глава в книге: *Kiernan V.G.* The Duel in European History, Honour and the Reign of Aristocracy. Oxford: Oxford University Press, 1988.

ли и ее беспомощной жертве, физически израненной словесным выпадом. Фактически массовая газета послужила инструментом, с помощью которого был нанесен не только удар по нервной системе, но и непосредственно смертельный удар.

Другое отклонение от пушкинского сценария в истории Надсона состояло в том, что смертоносное воздействие пасквилей Буренина было официально засвидетельствовано медиком. В светских и офицерских дуэлях всегда важную роль играли врачи, однако обычно непосредственно во время поединка они находились неподалеку и приглашались в случае ранения одного из дуэлянтов. Врач Надсона, известный специалист по туберкулезу Федор Штангеев¹, написал (правда, уже после смерти поэта) открытое письмо, в котором утверждал, что смертельный удар по нервной системе Надсона был нанесен статьей Буренина от 12 декабря 1886 года: «он впал в необычайное раздражение, страшно волновался, говорил: “это уж слишком гнусно, этого оставить так нельзя”, и хотел тотчас же ехать в Петербург»². К вечеру того же дня врач обнаружил тревожные признаки рецидива туберкулеза: «кровохаркания и лихорадка, которых не было уже несколько недель»³. В последние дни жизни Надсон был очень беспокоен, почти не ел и не спал, страдал от головной боли и тошноты; проявлялись и другие симптомы, указывающие на проникновение туберкулезной инфекции в мозг (туберкулезный менингит вызывает воспаление оболочки мозга). По мнению Штангеева, обострение болезни и летальный исход вследствие сильного нервного потрясения имели прецеденты в клинической практике: «Я, по крайней мере, знаю аналогичные случаи. Напр., одна чахоточная дама, после прочтения неприятной депеши, впала в бессознательное состояние, в котором умерла»⁴. Предшествовавший смерти туберкулезный менингит стал своеобразной аллегорией нервной лихорадки: дуэлянт Буренин направил смертельный удар своей пошлой сатиры и поразил Надсона в центральный орган нервной системы — мозг. Последним «жутким» знаком стала «безвременная» кончина человека, уже прикованного к смертному ложу. Снова лечащий врач Надсона Штангеев высказывает свое авторитетное мнение, подчеркнув

¹ См.: *Штангеев Ф.Г.* Лечение легочной чахотки в Ялте. СПб., 1886.

² Цит. по: *Ватсон М.В.* Семен Яковлевич Надсон. С. XLV.

³ Там же.

⁴ Цит. по: *Ватсон М.В.* Письмо в редакцию.

эту особенность: «Я уверен, что умерший безвременно С.Я. Надсон, несмотря на безнадежность болезни, мог бы прожить по меньшей мере до весны или даже осени, если бы вышеупомянутый фельетон г. Буренина не был напечатан»¹, — заключал он свою экспертизу. Неугомонный Буренин сделал последний выстрел фактически уже в умершего Надсона: статью в «Новом времени» от 16 января 1887 года называли не иначе как «гвоздь в гроб Надсона»; Н.К. Михайловский охарактеризовал ее как «буквальное надругательство над трупом»². Напомним, что столичные газеты доходили до провинции через несколько дней, и в Ялте статью Буренина прочли уже после смерти поэта, случившейся 17 января.

В ответ на публичное оглашение диагноза Штангеевым Буренин попросил своего врача провести экспертную оценку медицинских последствий мнимого поединка. В этом проявилось еще одно отступление от традиционного дуэльного кодекса. Разве позволялось дуэлянту обращаться к врачу и требовать от него подтверждения того, что противник погиб вовсе не от выпущенной им пули? Стремясь дискредитировать Штангеева, приглашенный Бурениным врач (его имя не было названо) назвал своего коллегу «шарлатаном»³.

В рассказах о последних минутах жизни Надсона особо подчеркивались невероятные мучения, которые сопровождали предсмертный нервный припадок. По словам Штангеева, Надсон испытал «туберкулезное воспаление мозга — самую тяжелую, мучительную форму смерти... И несчастному поэту пришлось испытать чашу страданий до дна...»⁴. Страдания смертельно раненного Пушкина продолжались несколько дней, Надсон же мучился несколько недель, в течение которых он совсем не мог спать из-за невыносимой боли. По рассказам очевидцев, его то и дело одолевали беспамятство и галлюцинации, но даже в таком «пограничном» состоянии его сознание было «отравлено» клеветой Буренина. «В бессознательном состоянии, в беспокойном бреду умиравший делал рукой угрожающие движения, и с уст его иногда срывалась фамилия обидчика...»⁵.

¹ Цит. по: *Ватсон М.В.* Письмо в редакцию.

² *Михайловский Н.К.* Протест русских литераторов (1887) // РГАЛИ. Ф. 308. Оп. 1. Ед. хр. 23.

³ *Буренин В.* Критические очерки. Скандал, шарлатанство, психопатия // Новое время. 1887. 13 ноября.

⁴ Цит. по: *Ватсон М.В.* Семен Яковлевич Надсон. С. XLV.

⁵ Цит. по: Там же.

Смертоносное воздействие статьи Буренина подтвердила и ранее пострадавшая от его оскорблений М. Ватсон:

...Чуть ли вся Ялта это видела — как нанес окончательный удар г. Буренин и так уже бесконечно больному юноше... Фельетон г. Буренина... потряс так сильно надломленный организм больного поэта, что тотчас же и свел его в могилу¹.

Нет ничего удивительного в том, что в сознании Ватсон смерть ее кумира оформилась как личная травма, «невостребованный опыт», который зловеще проступал в особо напряженные периоды ее жизни. 14 января 1895 года, за три дня до восьмой годовщины смерти Надсона, до Ватсон дошли сплетни, вторившие наветам Буренина, о ее интимной связи с умиравшим поэтом. Ее реакция на воскрешшую «клевету» стала зловещим повторением потрясения, которое восемь лет назад испытал Надсон из-за аналогичных обвинений. У Ватсон появились «психосоматические» симптомы, не позволявшие ей писать, в чем она признается в письме: «...Диктую потому, что отек руки заставляет меня думать, что мало ли что может случиться, и я не хочу откладывать этого дела...»². Сюжет последних дней Надсона вырисовывался «жутким» контуром, материализуясь в жизни Ватсон во всей полноте — с «клеветниками», чьи безжалостные разрушительные нападки психосоматического характера третируют беззащитных жертв. (Ватсон смогла побороть этот недуг и умерла в Ленинграде в 1932 году.)

Аналогичным образом и для многих других, менее приближенных к поэту поклонников потрясение от утраты стало исходной точкой в формировании их собственной образцовой травмы. История кончины Надсона заворожала не только Ватсон, но и тысячи других его почитателей, в том числе и тех, кто сами страдали от туберкулеза и находили в истории Надсона отголосок собственных драматических судеб³. Студент Михаил Панов предпринял впе-

¹ Ватсон М.В. Письмо в редакцию.

² *Он же*. [Рукопись без названия] // ИРЛИ. Ф. 402. Оп. 4. Ед. хр. 103. Надсон С.Я. Посвященные ему статьи и стихотворения. Л. 26.

³ Разумеется, роль туберкулеза в политической, социальной и культурной истории России XIX века заслуживает отдельного обсуждения. Ср., например, хрестоматийное описание «образцовой судьбы» нонконформиста в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»: «Ему судьба готовила / Путь славный, имя громкое / Народного заступника, / Чохотку и Сибирь».



**Могила С.Я. Надсона в ее
первоначальном виде
Фототипия Шерер, Набгольд
и К°, Москва**

Воспроизведено в:
*Надсон С.Я. Проза.
Дневники. Письма*

чатляющую попытку написать психологическую биографию Надсона, но умер от туберкулеза, дойдя лишь до истории «дуэли» поэта с Бурениным. Биографию Панова опубликовали в 1901 году в «Русской мысли» как романтический фрагмент, незавершенное произведение, работа над которым была оборвана вследствие трагических обстоятельств — болезни и смерти автора¹. Сам незавершенный характер биографии указывал на актуальность травмы, нанесенной обществу кончиной поэта. Публикация биографии Надсона, составленной Пановым, возродила на новом витке легенду об одаренных русских поэтах и писателях, чья жизнь обрывается накануне творческого расцвета. Смерть Панова была воспринята сквозь призму его незаконченного труда о Надсоне: обрыв жизни пере-

кликается одновременно и со смертью автора — Панова, и со смертью его героя — Надсона. Оказавшись на страницах журнала «Русская мысль», став достоянием широкой публики, рассказ о жизни и смерти Панова лишь усилил восприятие смерти Надсона как *медийной*.

После смерти Надсона его могила на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге стала объектом паломничества: поклонники оставляли там различные памятные знаки (до 1889 года могила существовала без надгробия): «...На могиле до сих пор стоит пошатнувшийся деревянный крест, весь почерневший и испорченный самыми безграмотными надписями и виршами собственного сочи-

¹ *Панов М. Сломленные крылья (Критико-психологический этюд) // Русская мысль. 1901. № 6. С. 105–134.*

нения разных непризнанных поэтов»¹. Скульптору заказали мраморный бюст Надсона, который надлежало сделать по фотографиям, поскольку посмертной маски не снимали. Между тем фотографии с изображением мертвого Надсона продавались на памятных мероприятиях в честь поэта, например на «Надсоновском вечере» в мае 1888 года. Этот вечер организовали как дополнение к «Гаршинскому утру» — мемориальному действу, посвященному памяти Всеволода Гаршина. Образы и события такого рода усугубляли надсоновскую травму, сохраняя ее для будущих поколений.

Уязвимость аналогий

История дуэли и смерти Пушкина позволила придать мифологеме о муках поэта «больного поколения» высокое символическое значение. Коллективное ощущение беспомощности, страдания, вины и утраты обрело эстетическую форму и возможность психологической адаптации. После подключения к пушкинскому сценарию истории кончины Надсона этот сценарий обогатился дополнительными обертонами и смыслами, в том числе историческим и социальным контекстом 1880-х.

Образцовая травма, обозначенная пушкинской гибелью, проясняясь как подтекст, наделяет весом культурное повествование о муках и смерти поэта «больного поколения», и реконструкция сценария кончины Надсона позволяет выделить ряд важных особенностей этого процесса. Под воздействием образцовой травмы мифология доминирует над коллективным самоощущением беспомощности, страдания, вины и утраты. Зачастую такая доминанта становится неиссякающей силой, общезначимой и общеизвестной в качестве источника всеобщей боли. Благодаря образцовой травме, надсоновская травма обретает ценность, но и, в свою очередь, придает исходному событию дополнительное значение, локализуя тревожный отголосок мифического прошлого в конкретике сегодняшних событий, институтах и быте.

Вместе с тем «больному поколению» — чувствительной молодежи, подверженной модным тревоблениям, — требовалось нечто

¹ Цит. по вырезкам из газеты: Панихида по С.Я. Надсону (19 января 1889) // РГАЛИ. Ф. 191. Оп. 1. Ед. хр. 922.

большее, нежели признание смерти поэта-современника в контексте образцовой травмы интеллигенции. Зловещее воспроизведение сценария пушкинской гибели нуждалось в особой перелицовке — с акцентом на беспомощной жертве-разночинце, безжалостном враге-антисемите, летальном исходе психосоматической травмы и смерти от психологической атаки. Именно такой вариант адаптации пушкинской фабулы наполнял надсоновскую травму эмоциональным и мифологическим содержанием, которое на уровне символики резонировало с опытом современников поэта. И именно эта адаптация помогла Надсону стать частью главного текста об образцовой травме, связанной с великими русскими поэтами.

Превращение пушкинской истории в надсоновский фельетон затрагивало вопросы о водоразделе между поэтическим мифом и реальной жизнью, между непосредственным и медийным опытом, между реальным и виртуальным уровнями. Эти проблемы остались центральными зонами несогласия и озабоченности в дебатах по поводу надсоновской истории, возникших вскоре после смерти поэта.

Во второй половине XIX века в русской левой и либеральной публицистике сформировалась устойчивая традиция выстраивать национальный поэтический канон как мартиролог, открывающийся именем Пушкина. Однако если в прежние времена высказывания о трагическом характере судеб русских поэтов были обращены к авторам, заведомо признанным, то после смерти Надсона современники оказались перед необходимостью принять коллективное решение: достоин ли скончавшийся стихотворец стать частью национального канона — а тем самым и образцовой травмы — и почитаться наравне с великим поэтом?

Несмотря на то что история пушкинской дуэли стала при воссоздании образа мученика Надсона символично-психологическим и мифотворческим ресурсом, многие посчитали явно абсурдным уравнивать судьбу Надсона с судьбой Пушкина. Некоторые критики ставили вопрос радикально: был ли Надсон поэтом или только «поэтиком»?

Именно с таким выбором столкнулось «больное поколение» после смерти Надсона. Обсуждение масштаба фигуры Надсона в контексте всей истории русской литературы было спровоцировано не только близостью дат смерти Пушкина и Надсона, но и всеобщей потребностью «восьмидесятников» в фигуре великого поэта, который должен был заполнить вакантное место, оставшееся

после смерти Некрасова. Критик Дмитрий Рудин указывал на то, что насмешливый тон и иронические выражения, использованные в статье Михайловского, в ситуации скорби и траура малоуместны:

...Говоря о 50-летней годовщине смерти Пушкина, приплет к ней смерть Надсона и, сравнивая Пушкина с Надсоном, родил бестолковую и неприличную фразу: «погиб поэт — погиб поэтик». ...Неприлична эта фраза потому, что выражение «поэтик» содержит в себе несомненно уничижительный смысл, — а посему выражение это к только что ушедшему Надсону прилагать и не следовало — даже в сравнении с Пушкиным¹.

Другие критики, такие как А.М. Скабичевский, призывали не склоняться к крайностям и не отказывать Надсону в праве считаться поэтом только потому, что его талант заведомо ниже пушкинского: «Но неужели же из-за того, что Пушкин был великий поэт, а Надсон — *поэт маленький*, мы и человеческого достоинства последнего не обязаны ценить и уважать?»²

Нужно ли говорить, что наиболее последовательно и ревностно сравнение историй смерти Пушкина и Надсона критиковал Буренин: «...Трагическая смерть маленького поэта от чахотки была приравнена к трагической насильственной смерти — кого бы вы думали? Пушкина!»³ Он же дал язвительную характеристику «больному поколению», назвав поклонников Надсона «психопатами и психопатками». В психиатрии конца XIX века подверженность нервным припадкам считалась свойством ранимых, впечатлительных или слабых здоровьем субъектов. Под воздействием истории Надсона «нервный удар» стал рассматриваться в уничижительном ключе — и не только в фельетонах Буренина.

Прочная связь легенд о гибели Пушкина и о кончине Надсона была залогом не только литературной канонизации Надсона, но и способом закрепить версию о гибели поэта в метафорической, пусть и не буквальной дуэли. Буренин и апологеты Надсона «читали» полемику 1886 года, пользуясь структуралистским языком,

¹ Рудин Д. [Л.М. Медведев?]. Курьезы и раритеты родимой прессы // Дело. 1887. № 6. Отдел II. С. 81.

² Цит. по: Скабичевский А.М. Литературная хроника // Новости. 1887. 19 ноября.

³ Цит. по: Ватсон М. Семен Яковлевич Надсон. С. XLV.

через разные коды. Если «ключом» к ней считать ситуацию дуэли, то Буренин действительно оказывался мерзавцем и подлецом. Но если трактовать этот спор буквально как журнальную полемику — не только по литературным, но и по общественным вопросам (к каковым, по мнению Буренина, должна относиться и частная жизнь писателя), — то в поведении Буренина не было ничего бесчестного.

Чтобы элиминировать «дуэльную» метафору из истории Надсона, нужно было разрушить и дискредитировать пушкинскую аналогию и доказать, что с медицинской точки зрения смерть человека не может наступить вследствие переживаний, вызванных журнальными нападками оппонентов. В противовес психосоматической концепции смерти поэта была выдвинута физиологическая. «[Можно] придти к заключению, что поэт умер не от чахотки, съевшей его в течение двух лет, но от буренинского фельетона...»¹. При этом отрицалась сама возможность метафорического осмысления ситуации: «Пушкина убила горячая пуля, Надсона сразила чахотка...»². Однако полностью «развести» истории Пушкина и Надсона не удавалось, поскольку в той и другой важную роль играл мотив клеветы и оскорбленного достоинства:

Всем и каждому известно, что Пушкина убил не клеветник, а Дантес-Геккерн, и Надсона убил не г. Буренин, а злая чахотка... Клеветники Пушкина виноваты в том, что сплетнями, инсинуациями, подметными письмами они отравили последние дни его жизни и довели его до бешенства. Г. Буренин же *отравлял* своими клеветами последние дни Надсона и довел беднягу до того, что, умирая, он только и бредил г. Бурениным, умолял друзей заступиться за его честь, хотел даже сам, чуть станет немного лучше, ехать в Петербург на расправу³.

Смерть человека, страдающего продвинутой степенью туберкулеза, *может быть* спровоцирована стрессом при получении неприятных новостей, будь они доставлены в устной или письменной форме — например, в форме колонки в популярной газете. Однако мнение доктора Штангеева о возможности смерти туберкулез-

¹ Ладожский Н. [Петерсен В.К.] Критические наброски // Санкт-Петербургские ведомости. 1887. 20 ноября. С. 3.

² Рудин Д. [Л.М. Медведев?]. Курьезы и раритеты родимой прессы. С. 92.

³ Скабичевский А.М. Литературная хроника // Новости. 1887. № 318.

ных больных от стресса, вызванного оскорбительными публикациями, имело определенные основания. Только метафора в этом случае должна быть предложена другая. Скандальные оскорбления в национальной прессе человека, известного своим хрупким эмоциональным и физическим здоровьем, можно сравнить скорее с подкладыванием сахара в чай диабетика, чем с пулей дуэлянта.

История смерти Надсона для многих свидетелей в первую очередь была источником трагических переживаний утраты, но одновременно демонстрировала ряд проблем, возникших в сфере журналистской этики. В 1887 году по инициативе Н.К. Михайловского известнейшие русские писатели — М.Е. Салтыков-Щедрин, Г.И. Успенский, В.М. Гаршин, В.В. Стасов, А.Н. Плещеев, П.Д. Боборыкин, А.И. Эртель, Н.Н. Златовратский, Н. Минский, Д. Мережковский, А. Скабичевский, С. Венгеров — совместными усилиями составили воззвание к русской интеллигенции: они говорили о необходимости поднять моральный престиж прессы в глазах общественности. Авторы этого текста настаивали на том, что их обращение не является актом журналистской полемики, и намеренно не напечатали его в Петербурге:

Нижеподписавшиеся в интересах достоинства печатного слова считают нужным публично отметить этот единственный в своем роде случай в русской литературе. В видах устранения всякой мысли о газетной конкуренции и обычной полемике это заявление будет напечатано в Москве, в «Русских ведомостях», откуда его могут перепечатать и петербургские газеты¹.

Это воззвание отказались подписать лишь Лев Толстой и Николай Лесков (см. письмо последнего Суворину от 25 декабря 1889 года²). Толстой признавал, что слова Буренина сыграли свою фатальную роль, но не решился возложить всю тяжесть ответственности на Буренина и заявлял, что понять роль Буренина в смерти Надсона можно, лишь зная истинные мотивы буренинского поведения. В письме Буренину, датированном 25 февраля 1887 года, Толстой призывает журналиста самому совершить над собой суд, который будет самым справедливым (нужно помнить о том, какая

¹ *Михайловский Н.К.* Протест русских литераторов.

² *Лесков Н.С.* Собр. соч. М., 1958. Т. 11. С. 450—451.

роль в мировоззрении Толстого 1880–1890-х годов принадлежала концептам самовоспитания, покаяния, самообличения и др.):

Если справедливо обвинение против Вас, то Вы знаете лучше всех и один Вы знаете: есть ли это случай только неосторожности обращения с оружием слова, или легкомыслие, последствия которого не обдуманно, или дурное чувство нелюбви, злобы к человеку. Вы единственный судья, Вы же и подсудимый и знаете одни, к какому разряду поступков принадлежат Ваши статьи против Надсона¹.

Буренин воспринял это письмо Толстого как выражение пронадсоновской позиции: «Вам предлагали Вашим авторитетным именем подкрепить обвинение неизвестного Вам человека в том, что он ускорил смерть другого». Дебаты вокруг истории смерти Надсона возобновились в полемике, сопровождавшей 25-ю годовщину кончины Надсона. В колонке «Дни развала», появившейся в номере «Биржевых ведомостей» за ноябрь 1911 года, критик К.И. Арабажин вновь призвал отказаться от пушкинских параллелей: «Пора наконец сказать, что Надсон умер от чахотки, а не от Буренина...»². В январе 1912 года, ровно через 25 лет после смерти Надсона, журналист и историк В.В. Глинский заявил, что поклонники Надсона превратили его в «идола» и на основе случайного совпадения серии полемических статей Буренина, кончины Надсона и 50-летней годовщины со дня смерти Пушкина создали малоубедительную легенду³. Мария Ватсон, самый последовательный сторонник этой параллели, однако, настаивала и на виновности Буренина, и на жесткой причинно-следственной связи его выступлений со смертью Надсона: «Нет, Буренин не убил Надсона, он добил умирающего поэта, и это не легенда, а непреложный, еще более возмутительный факт»⁴. Замена «убить» на «добить» скорректировала первоначальный нарратив: речь шла уже не о метафорическом

¹ Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. / Ред. В.Г. Чертков. М.; Л., 1928–1958. Т. 64. С. 17.

² Цит. по: *Solus* [К.И. Арабажин]. Ответ г-же Ватсон (Письмо в редакцию) // Современное слово. 1912. 5 января. С. 3.

³ Критико-биографический очерк Б.Б. Глинского «Виктор Петрович Буренин» был опубликован в «Историческом вестнике» в январе 1912 года.

⁴ Ватсон М. Надсон и Буренин (Письмо в редакцию) // Современное слово. 1912. 4 января. С. 1.

«убийстве», а о реальной истории о том, что смерть Надсона, вызванная давней, по сути смертельной, болезнью, была ускорена скандальными выступлениями Буренина.

Именно на этой интерпретации настаивал в 1887 году Штанге-ев, именно она осталась основной и для Марии Ватсон. В этой версии смешивались факты и легенда, личный и медийный опыт; «виртуальные» причины порождали реальные следствия. Арабажин в своем саркастическом ответе Ватсон простодушно продемонстрировал свое понимание всех этих тонкостей: «Я все-таки убежден, что, пока у меня нет чахотки, я не умру от самых сердитых писем г-жи Ватсон»¹.

Рассказанная здесь история коллективного травматического опыта, вызванного смертью Надсона, представляет важный момент в переходе от реализма к модернизму в русской культуре. Она демонстрирует уникальную роль, которую в этом процессе сыграла мифология смерти поэта. Прежней, реалистической эпохе здесь принадлежал сюжет об идеологическом противостоянии и символическом убийстве, новой, модернистской — эстетизация и поэтизация болезни и смерти.

История осмысления гибели Надсона показывает еще и произошедшее в 1880-е годы — по сути, предмодернистское — смещение акцентов в восприятии биографии и творчества Пушкина: самой важной, вершинной точкой его пути становится жертвенная смерть.

¹ *Solus* [К.И. Арабажин]. Ответ г-же Ватсон. Ватсон ответила на письмо Арабажина в газете за следующий день, см.: Современное слово. 1912. 6 января.

Шошана Фелман

Слепота закона и ее формы, или Свидетельства НЕВИДИМОГО

Травматические нарративы и юридические
повторы в деле О. Джей Симпсона
и в «Крейцеровой сонате» Л. Толстого*

Предметом данной статьи станет знаменитое уголовное дело нашего времени — суд над О. Джей Симпсоном и знаменитое произведение литературы — «Крейцера соната» Л. Толстого, в которой можно найти немало удивительных совпадений с этим уголовным делом. В центре юридической драмы уголовного дела и литературной драмы текста находится брак, который заканчивается убийством. Ревнивый муж арестован, отдан под суд за убийство жены и оправдан. В отличие от судебного дела в тексте Толстого муж признает свою вину, рассказывая нам свою историю именно для того, чтобы объяснить не только почему, но и *как* он убил свою жену.

Судебное дело и литературный текст преследуют разные цели и стремятся произвести разные эффекты. Суд обычно ассоциируется с поиском истины, но технически судебное слушание — это поиск решения, и потому, по сути, суд нацелен не просто на истину, но на завершенность, на силу резолюции. Литературный текст — поиск смысла, выражения, обостренной значимости и символического понимания. Я предлагаю использовать это разли-

* Сокращенный перевод с английского Елены Трубиной.

Первая публикация: Sh. Felman. Forms of Judicial Blindness, or the Evidence of What Cannot be Seen: Traumatic Narratives and Legal Repetitions in the O. J. Simpson Case and in Tolstoy's The Kreutzer Sonata. // Felman Sh. The Juridical Unconscious: Trials and Traumas in the Twentieth Century. Cambridge: Harvard University Press, 2002, 54–106.

чие между целями права и задачами литературы в процессе чтения текстов *сквозь* друг друга и в сопоставлении друг с другом. Иными словами, я предлагаю включить проблемы «дела века» в текст Толстого и, что еще более важно, распространить *прозрения Толстого*, так сказать, на дело О. Джей Симпсона, чтобы осветить юридические темноты литературными озарениями и поразмыслить над оставленными судом неясностями, используя проблемы текста, которые неожиданно окажутся вполне здесь уместными.

Дисциплинарный диалог между правоведением и литературоведением остается пока по преимуществу тематическим, то есть консервативным в отношении целостности этих дисциплин и стабильности их эпистемологических границ. За исключением тех случаев, когда приемы литературы заимствуются для риторического анализа юридических мнений, исследователи обеих дисциплин по преимуществу имеют дело с явной, тематизированной рефлексией (или «репрезентацией») правовых институтов в художественной литературе, сосредоточиваясь на анализе вымышленных судов в литературном сюжете и/или на психологии или социологии литературных характеров, судьба или профессия которых связаны с правом (адвокаты, судьи или обвиняемые). Мое исследование будет иным. Я попытаюсь взаимно осветить не просто темы, не просто тематизированные значения литературных и юридических нарративов о преступлении и суде, но, что более важно, структуры и процессы этих нарративов; и не просто структуры и процессы, но их реальное воздействие и их историческую рецепцию. Тем самым я сравню литературный текст, породивший страстную полемику и упорные дискуссии, с реальным уголовным случаем, который, став юридической историей, тем не менее продолжает преследовать право; речь, таким образом, пойдет о реальном случае, юридическое завершение которого не прекратило поиски выхода в новых — правовых и неправовых — сферах.

В этой статье предлагаются анализ и теория правового повтора как присущего внутренней структуре и логике уголовного дела или как правового результата литературно-психоаналитического принципа травматического нарратива, составляющего одновременно и литературную историю, и реальное судебное дело. Драматическое взаимоотражение жестких фактов закона и воображаемых фактов литературы способно дать урок с далеко идущими последствиями. Среди прочего, этот урок состоит в новой модели восприятия юридических событий и в концептуальной артикуляции нового аналитического орудия, нацеленного на отношения меж-

ду травматической природой дела и его неудержимым правовым повторением, аналитического орудия, которое не просто поможет нам переосмыслить значение судебного дела, но и сместит сами термины и проблемы, посредством которых мы интерпретируем судебные дела и в литературе, и в реальности юридической жизни. Этот урок, основанный на взаимопроникающей интерпретации истории и судебного дела, станет захватывающе интересным и — неожиданно — драматически полезным только при условии дестабилизации границ, которые эпистемологически определяют и отделяют территории права и литературы. В реальной жизни живые проявления права и литературы — суд и история — связаны друг с другом не как реальность с вымыслом или как эмпирия с эстетикой, но как два нарратива травмы, две загадки эмоционального и физического разрушения, два человеческих ответа на шок невыносимой реальности смерти и боли и два лингвистических акта культурной и социальной интервенции.

Читая право через литературу и дешифруя смысл и воздействие литературных речевых актов посредством смысла и воздействия судебного дела века, спрашивая, какой свет Толстой проливает на дело Симпсона и как реальное дело Симпсона говорит внутри романа Толстого, мне интересно не просто добавить очередной комментарий к активно обсуждаемому и комментируемому судебному случаю, но выразить — через пример этого дела — новый теоретический взгляд на крайне проблематичное и, с моей точки зрения, абсолютно фундаментальное отношение права к более общему феномену культурной или коллективной травмы. С помощью философского анализа уголовного дела столетия я обозначу те способы, которые позволяют закону оставаться профессионально слепым по отношению к феномену, неразделимо и принципиально с ним связанному. Я покажу, что юридическое дело становится повторяющейся правовой травмой именно потому, что закон слеп. Эти вынужденные правовые повторы (подобно тем, что столь явно обозначились в деле О. Джей Симпсона) нашли отражение в нарративах травмы (история Толстого, в свою очередь, обратится к этой проблеме и осветит ее с литературной точки зрения).

В действительности правовая память образована не просто «цепью закона» и сознательным повторением прецедента, но забытой цепью культурных ран и неудержимых или бессознательных правовых повторов травматических, ранящих судебных дел. Мой анализ покажет, как исторически бессознательные правовые повторения ненамеренно разыгрывают на исторической арене политическое

бессознательное закона (бессознательное прошлых правовых дел). Эти травматические повторы становятся исторической иллюстрацией фрейдистского понятия «возвращение вытесненного»; то, что подверглось вытеснению юридическим институтом, повторяется — вынужденно, исторически — в призраке возвращения травмирующего правового случая из забытого правового прошлого.

Важность и значение этой объемной теоретической позиции выходят далеко за пределы случая О. Джей Симпсона и его конкретных параметров. Как единичный выразительный пример суд века сам становится не просто проводником, рычагом этого широкого понимания, но аллегорией его насущности и необходимости.

I

Суд нашего века

Как тот или иной судебный процесс обретает статус «суда века»? Из-за чего дело О. Джей Симпсона приобрело характер показательного откровения, став исключительно симптоматичным для самой природы нашего времени?

В журнале «Тайм», представившем дело О.Д. Симпсона под заголовком «Суд века», было предложено два определения понятия правового события: «1) то, что реально произошло, факты, и 2) то, что люди считают происшедшим, безграничное сплетение фольклора, убежденности и мифа, окружающее события, подобные убийствам [Николь Браун] Симпсон и [Рональда] Голдмана. Первая категория связана с нуждами справедливости и истории, но вторая категория тоже по-своему важна». Можно предположить, что цель суда — перевести события из второго разряда в первый. Но если — в этом случае — правовой процесс и не смог превратить яркие мифологические образы и свидетельские убеждения в несомненные факты, то событие, которое легло в основу судебного разбирательства, тем не менее значительно и определено для того, чтобы *определять собою нашу эру* в качестве мастер-нарратива, ключевого сюжета «свойственной концу века неотразимо сенсационной американской» смеси, состоящей из «расы, секса, знаменитостей, шумихи массмедиа, справедливости и несправедливости». «Иногда, — продолжает рассуждать автор эссе в “Тайм”, — суд разыгрывается как коллективный сон культуры»,

воплощающий «глубочайшие страсти общества, его страхи, пред-
рассудки и желания»¹.

Этот сон культуры, конечно, не просто фантазия; как и любой сон, он состоит из фрагментов реальности. Чтобы придать бо́льшую остроту прочтению дела О. Джей Симпсона как культурного сна, я бы добавила, что *коллективный* сон есть, как это ни парадоксально, бессознательный, но *публичный* секрет: секрет, который, оставаясь бессознательным, переводит себя в публичное зрелище — зрелище судебного заседания, — которое затем становится ритуалом одержимости или сном одержимости. Поэтому жестокое убийство бывшей жены Симпсона Николь Браун и ее компаньона Рональда Голдмана составило почву для «определяющего суда 1990-х», разыграв социальное бессознательное и открытые, или коллективные, секреты культуры.

Закон и травма

Я полагаю, что в этом ключевом судебном разбирательстве можно выделить три базовые черты, которые придают делу Симпсона философское измерение (помимо социального значения) и историческую глубину (помимо сиюминутного интереса). Это: (1) его *сложная травматическая структура*; (2) его *кросс-юридическая природа*, или разыгрываемое им повторение другого суда; и (3) его *попытка юридически определить то, что к юридическим понятиям несводимо*. Более того, я предполагаю, что три эти черты, возможно, характерны для любого исторически значимого судебного дела и, безусловно, для тех важных и сложных судебных разбирательств, которые немедленно превращаются в публичные или политические «события», чье символическое воздействие непосредственно ощущается в той интенсивности, с которой эти разбирательства одновременно *фокусируют* на себе общественный дискурс и *поляризуют* общественное мнение.

1. Сложная травматическая структура суда (пол и раса)

В основе каждого судебного дела лежит рана, травма, которую это дело компенсирует, пытаясь излечить и преодолеть ее. Все три

¹ *Morrow L. A Trial for Our Times // Time. 1995. 9 October. P. 28.*

черты, упомянутые выше, связаны с наглядным проявлением взаимоотношения между структурой судебного разбирательства и структурой травмы. Суд попытался *артикулировать* травму для того, чтобы *контролировать* нанесенный ею урон. Но я считаю, что в конце концов именно структура травмы взяла под свой контроль суд. Суд стал *проводником травмы*, проводником обострения травматических последствий, а не средством их сдерживания и правового разрешения. Потому это судебное дело заключает в себе драму и тайну не просто взаимосвязи, но действительной параллели между травматическими структурами и правовыми процедурами, параллели, одновременно лишаящей покоя и будящей мысль, параллели, которая в этой статье и проанализирована.

Дело О. Джей Симпсона незабываемо и незабываемо сложно еще и потому, что здесь *две* травмы — травма расы и травма пола — были противопоставлены друг другу в состязательной структуре аргументации адвокатов — для того чтобы спутать и радикально усложнить и *восприятие травмы*, на исцеление которой суд должен быть нацелен, и сам вопрос о том, *кто же был жертвой* в этом деле: поруганная и убитая жена или напрасно осужденный черный муж? Поэтому в центре суда — *две* формы виктимизации и издевательств (расовая и сексуальная). Каждая из них парадоксальным образом вступает в соревнование и использует свой гнев и боль для того, чтобы оспорить притязания другой на справедливость; *две травмы* парадоксальным образом пытаются пересилить друг друга; каждая травма пытается подавить противостоящий ей голос другой травмы.

Но в двух этих соревнующихся нарративах травмы — в конфликтующих историях стороны обвинения (ставящего в вину жестокому мужу убийство жены) и стороны защиты (обвиняющей систему правосудия в расистской предвзятости, а жестокие правоохранительные органы — в поспешном аресте и необоснованном осуждении мужа) — есть ироническая симметрия. И муж, и силы закона должны оказывать защиту, однако, используя обличье защиты, они причиняют вред (запутанно и при помощи обмана).

Возможно, неслучайно то, что этот суд состоялся в конце XX столетия, столетия гражданских прав, но также и беспрецедентных *цивилизованных издевательств*. Войны и насилие этого века научили нас относиться к травматическим симптомам и событиям травмы (которые некогда казались экстраординарными) как к части *нормальной* повседневной жизни. Поэтому, возможно, неслучайно, что суд века обозначил две противоречащие интерпретации

благовидного насилия и две правовые демистификации смущенного, интимного, домашнего, *цивилизованного* издевательства, скрывающегося под маской близких отношений или защиты.

В центре судебного разбирательства — не только травма, но и спровоцированная ею слепота, радикальное замешательство, с которыми связана травма в силу обманчивости внешнего вида насилия (брак, любовь, полицейская защита, справедливость). Судебное разбирательство стремится преодолеть эту слепоту, придать скрытой травме правовую видимость. Но в состязательной структуре судебного процесса две «семейно-домашние» травмы (пол, раса) также оспаривают, отрицают притязания друг друга на видимость. Каждая травма, соревнуясь за исключительную видимость, в то же время *ослепляет* нас по отношению к другой. Это приводит к тому, что судебное разбирательство не может *обобщить*, не в состоянии увидеть во всей тотальности лежащую в его основе травму. Поэтому сложность травматической структуры судебного слушания существенно препятствовала тому, чтобы сделать травму полностью видимой — посредством производства особой формы юридической *слепоты*, которая парадоксальным образом стала частью правового вклада данного судебного разбирательства.

2. Кросс-юридическая природа суда

Понятие «кросс-юридическая» (по модели «кросскультурная») я ввожу для того, чтобы обозначить связь этого разбирательства с еще одним судебным делом, чьи память, темы, правовые проблемы, аргументы и правовая структура повторены или воспроизведены — невольно или целенаправленно.

В самом деле, у многих — и белых, и черных (разным образом и с разными интерпретациями) — восприятие дела Симпсона увязывалось с призраком возвращения суда над Родни Кингом¹. Для

¹ 29 апреля 1992 года суд присяжных Лос-Анджелеса, состоящий преимущественно из белых, признал невиновными четырех полицейских, избивших чернокожего Родни Кинга. Любительская видеосъемка побоев стала основным доказательством. Решение суда вызвало массовые протесты и погромы в районах города, где проживали чернокожие американцы. 55 человек погибли в ходе этих погромов, около 2000 человек получили ранения, 12 000 человек были арестованы. Материальный ущерб превысил 1 млрд долл. На помощь полиции была призвана Национальная гвардия. Год спустя четверо полицейских вновь оказались на скамье подсудимых — за нарушение гражданских прав Кинга, которому в итоге удалось получить материальную компенсацию в размере

стороны защиты, которая в стратегических целях использовала эти аналогии в расистских монологах адвоката Марка Фурмана, суд над Симпсоном был подтверждением все той же коррумпированности и жестокости полиции, все того же расистского соучастия (или белого заговора), жертвой которых ранее стал Кинг. Несмотря на свою интегрированность в сообщество белых, О. Джей Симпсон стал своеобразным двойником черного Родни Кинга, сходным образом пытающегося уйти от полиции, преследующей его по пятам исключительно из-за цвета его кожи. Как бы то ни было, суд над Симпсоном претендовал на статус суда столетия, то есть судебного разбирательства, представляющего или суммирующего смысл исторического момента, — потому что структура этого судебного дела была действительно восприимчива к повтору подобного рода.

Более того, я предполагаю, что исторические судебные дела, возможно, вообще отличает эта тенденция или эта склонность к повторению или к правовому удвоению. Фрейд считал, что великие исторические события (особенно события, связанные с убийством) имеют тенденцию повторяться, будучи дуалистичными по своей природе. Их воздействие — как следствие травмы — проявляется и запечатлевается в истории только через определенный временной промежуток, необходимый для травматического повторения этих событий (или через их посттравматическое воспроизведение)¹. Следуя теории Фрейда, я полагаю, что великие судебные дела делают историю сходным образом: они не просто связаны с травмой — они сами конституируют травму. Как таковые, они так же открыты для травматического повторения, они зачастую структурированы *историческими дуальностями*, в которых неожиданно обнаруживается, что суд (или главная драма судебного процесса) — это посттравматическое правовое воспроизведение или намеренное историческое возобновление предыдущего дела или повторения, завершено, предыдущего суда.

Поэтому суд над О. Джей Симпсоном структурирован не просто как травма (в силу своей неспособности способствовать исцелению травмы, для чего он предназначался), но как исторически взаимосвязанный с другими судебными разбирательствами (и дру-

3,8 млн долл. от правительства города Лос-Анджелеса. Подробнее см., например: 12 Years After the Riots. Rodney King Gets Along // The NY Times. September 19, 2004. — *Прим. пер.*

¹ Freud S. Moses and Monotheism / Trans. K. Jones. NY, 1967.

гими травмами), правовой пафос которых он подхватывает и чьи требования справедливости повторяет и, так сказать, накапливает. Поэтому суд травматически вызывает к жизни (по преимуществу бессознательную) правовую память, затянувшиеся, но неизлеченные раны правовой истории. Судебное дело ненароком напоминает о травме, которая теперь не просто индивидуальна, но вписана в историю судов и индивидуальное измерение которой (недовольство, горе) теперь приобретает историческое, коллективное, *совокупное правовое значение*. Отсюда — загадочная сила, воздействие разбирательства; отсюда — загадочная историческая сила, обретенная относительно простым (или редуцированным) правовым аргументом. Судебное дело Симпсона поэтому повторяет, пробуждает и *возобновляет* травматическую историю предыдущих судебных дел.

3. Выход суда за пределы его правового понимания

Последняя черта, объясняющая привилегированное положение в истории суда века и определяющая его философское измерение, связана с тем, что суд располагается именно на пересечении — в точке критического схождения — правового и политического.

Может ли политическое как таковое быть проанализировано, определено и очерчено в правовых терминах? Немецкий философ Карл Ясперс считал, что подобное недостижимо, поскольку две эти области (политическое и правовое) качественно разнородны по отношению друг к другу и по определению не могут даже отчасти совпадать друг с другом. В письме к своей бывшей студентке, Ханне Арендт, подготовившей для журнала «Нью-Йоркер» обзор по поводу предстоящего суда над Эйхманом в Иерусалиме, Ясперс настаивал: «Политическая сфера обладает такой значимостью, которую не в состоянии передать термины права... Область “политического” обладает, так сказать, достоинством, выходящим за рамки закона, и тесно увязана с материалом судьбы»¹.

Этот аргумент можно равным образом использовать и для дела О. Джей Симпсона. И в борьбе с расовыми, и в борьбе с половыми предубеждениями область политического приобретает свое «достоинство». «Выходя за рамки» собственно юридической области,

¹ Письмо К. Ясперса Х. Арендт. 16 декабря 1960 г. // Hannah Arendt and Karl Jaspers. Correspondence 1926–1969 / Trans. R. and R. Kimber, ed. L. Kohler, H. Saner. NY, 1992. P. 413.

эта двойная политическая характеристика «тесно увязана с материалом судьбы». Собственно, именно здесь и берет свое начало пафос судебного разбирательства. Может ли эта область борьбы за достоинство — этот более значимый политический аспект — найти свое отражение в терминах права?

Позиция Арендт по этому вопросу отличается от позиции Ясперса. В своем ответе она находит новое определение тому, как суд над Эйхманом иллюстрирует разрыв, различие и напряжение, но также, как ни парадоксально, и соединение, незаменимое критическое схождение сферы правового и сферы политического:

...Мне кажется, что природа этого случая такова, что у нас нет иных, нежели правовые, средств для суждения и вынесения наказания за то, что не может быть даже адекватно представлено в правовых или политических терминах. Именно это делает процесс, точнее, суд столь волнующим¹.

Это размышление можно распространить и на дело века: случай О. Джей Симпсона приобрел уникальность и парадоксальную символическую репрезентативность потому, что глубоко — но неявно — связан с тем, *«что не может быть даже адекватно представлено в правовых или политических терминах»*. Другими словами, именно эта несводимость суда к определяющим его правовым понятиям и превращает его в дело века.

Эта последняя философская и аналитическая черта дела О. Джей Симпсона, в свою очередь, иллюстрирует общую, возможно, характеристику важных судебных разбирательств. Каждый важный суд и, безусловно, каждый политически или исторически значимый суд использует язык правовых терминов для того, чтобы обратиться к тому, что *выходит* за пределы собственно закона и подвергается узости правовых определений. И «именно это делает процесс, точнее, суд столь волнующим».

¹ Письмо Х. Арендт К. Ясперсу. 23 декабря 1960 г. Р. 417.

II

Убийства века (или из Америки в Россию)

В чем же тогда состоит уместность литературы для такой архетипической правовой драмы? Может ли произведение искусства предложить обоснованный комментарий к реальным хитросплетениям сложного уголовного дела, а также к реальному (философскому и прикладному) пониманию правового спора столетия?

Поскольку дело О. Джей Симпсона коллективно обсуждается и переживается (проживается) как определяющий суд нашего времени, не удивительно ли то, что тот же самый случай — или его дубликат (суд над мужем за убийство жены) — можно найти в литературном тексте, озаглавленном «Крейцера соната» и написанном не американским современником, но русским писателем *XIX века*? Если Толстой, автор текста, судя по всему, обладает столь исчерпывающими знаниями о деле О.Д. Симпсона, то не может ли суд нашего века парадоксальным образом также принадлежать и XIX веку?¹

В самом деле, за век до нас Толстой не только пишет историю суда нашего столетия; тогда — как и сейчас — написание и публикация его истории привлекли внимание общественности, превысившее ценность или важность случая. Тогда, как и теперь, драма дела порождает те же самые волнение и поляризацию мнений, ту же интенсивность споров и те же страсти дискуссий.

Более того, связь между судебным делом и временем — также в центре текста Толстого. Прочитав рукопись одному из своих друзей (князю Урусову), Толстой истолковывает отзывчивость друга как подтверждение насущности темы: «Ему очень понравилось. Верно, это что-то новое и сильное»². В действительности Толстому интересна не только своевременность его новой темы, но ее воздействие, ее практические последствия: он знает, что в данном

¹ Означает ли это совпадение случаев, что Толстой — *наш современник* и что он неявным образом *был впереди своего времени*? Или это скорее значит, что в определенных важных областях мы сами все еще довольно отстали, что мы *из XIX века не вполне еще вышли*?

² Цит. по: Troyat H. Tolstoy / Trans. N. Amphoux. NY, 1987. P. 502–503.

случае описание события — описание *такого* события — означает плодотворное *вмешательство* в дела мира, то есть свершение дидактически-политического поступка. «Я почти закончил “Крейцерову сонату, или Как муж убил жену”, — пишет он ученику и впоследствии своему издателю Черткову в сентябре 1889-го. — ...Я знаю, что людям кто-то должен был рассказать о том, что здесь написано»¹.

Цензура и слава

Как и дело О. Джей Симпсона, история «Крейцеровой сонаты» в свое время также была отмечена особыми отношениями с законом. Несмотря на то что описание убийства жены — новое для литературного жанра того времени — носило вымышленный характер, публикация текста немедленно вызвала скандал и сама стала правовым случаем: цензура наложила запрет, церковь провозгласила его безнравственным, а министр внутренних дел объявил текст вне закона и официально запретил его публикацию как отдельным томом, так и в составе собрания сочинений Толстого. По иронии судьбы, лишь благодаря жене Толстого, в личной беседе с царем добившейся разрешения снять запрет (только с издания полного собрания сочинений), текст вообще был напечатан.

Что же говорит нам текст Толстого не только о «Крейцеровой сонате», но и о деле О. Джей Симпсона? Какие уроки литературного текста проливают свет на суд века?

III Брак и насилие

«Крейцера соната» — история о муже, убившем жену, обвиненном в убийстве, оправданном и отпущенном на свободу. История — о ревности, вражде, сексе, ссорах, убийстве, суде и оправдании — рассказана попутчику в поезде новообращенным мужем-убийцей как непрошенная автобиографическая исповедь.

¹ Цит. по: *Magarshack D.* After word to Leo Tolstoy «The Death of Ivan Ilych» and Other Stories. NY, 1960. P. 297.

Исповедь, или ретроспективное свидетельство мужа, есть одновременно и *признание* его вины, и *урок* о запоздалом прозрении трагедии, которое он жаждет разделить, прозрением о том, что теперь связь брака и домашнего насилия кажется ему принципиальной. Размышления приводят его к убеждению, что его возмутительная, чудовищная драма в действительности — банальна и повсеместна, что насилие гнездится в браке не как исключение или случайность, но — как правило (хотя все это отрицают). Это та невидимая точка брака, то слепое пятно общества, мужчин, женщин и культуры, которые исповедь героя и его пример одновременно и иллюстрируют, и предают суду. «На суде у меня спрашивают, чем, как я убил жену. Дурачье! думают, что я убил ее тогда, ножом, пятого октября. Я не тогда убил ее, а гораздо раньше, так точно, как они теперь убивают, все, все...»¹

Отклонения

Рассказчик и герой истории — аристократ Позднышев — вел беспорядочную половую жизнь, пока, в возрасте 30 лет, не женился. Беспорядочность в связях, присущая большинству мужчин его круга, развилась в то, что он характеризует теперь как истинные «отклонения» (146). Оглядываясь на свою жизнь до брака, он считает себя и своих друзей «тридцатилетними развратниками, имеющими на душе сотни самых разнообразных ужасных преступлений относительно женщин» (146). Эти преступления против женщин вытекают не из физического акта или сексуального отклонения, но из сопутствующего им морального отношения:

Разврат ведь не в чем-то физическом, ведь никакое безобразие физическое не разврат; а разврат, истинный разврат именно в освобождении себя от нравственных отношений к женщине, с которойходишь в физическое общение. А это-то освобождение я и ставил себе в заслугу (143).

Это отношение, однако, сосуществует с «намерением жениться и устроить себе самую возвышенную, чистую семейную жизнь»

¹ Толстой Л. Крейцерова соната // Собр. соч.: В 20 т. М., 1964. Т. 12. С. 162–163. Далее в тексте в скобках указаны страницы этого издания.

(147), и, с этим планом в голове, он ищет девушку, которую бы «счел достойной себя» (147). Находит ее, влюбляется, женится.

Но с самого начала брачная близость превращается в бездну отчуждения, ссор, ревности, враждебности, завершающихся каждый раз любовным примирением. Единственная общая почва для мужа и жены — секс: секс, беременности, кормление грудью и пять детей за восемь лет, и теперь уже дети — источник дальнейших несогласий, тревог, ссор и отвращения.

Между любовью и злобой

Поначалу Позднышев верит, что ссоры — это случайность, а его невзгоды — исключение (161). Но в чередовании в его супружеской жизни любви и ненависти позднее он распознает систему:

Я не замечал тогда, что периоды злобы возникали во мне совершенно правильно и равномерно, соответственно периодам того, что мы называли любовью. Период любви — период злобы; энергический период любви — длинный период злобы, более слабое проявление любви — короткий период злобы. Тогда мы не понимали, что эта любовь и злоба были то же самое животное чувство, только с разных концов (174).

Чей портрет дает Толстой? Разве жизнь О. Джей Симпсона нельзя понять и описать посредством этого анализа? И наоборот, не является ли дело Симпсона ответом на такую картину брака, полностью вписываясь в него? «А мы были два ненавидящих друг друга колодника, связанные одной цепью, отравляющие жизнь друг другу и старающиеся не видеть этого. Я еще не знал тогда, что 0, 99 супружеств живут в таком же аду, как и я жил» (175).

После рождения пятого ребенка доктора рекомендуют жене избегать дальнейших беременностей, и та следует совету. Позднышев, ревнующий с самого начала, теперь получает еще больше поводов для ревности: его жена, освобожденная от беременностей и заботы о детях, становится все красивее и «кокетливей». «Да-с, явился этот человек», — говорит Позднышев (179).

Треугольник

Однажды скрипач по имени Трухачевский наносит Позднышевым визит; жена Позднышева играет с гостем на фортепиано. Позднышев убежден, что игра — выражение взаимного притяжения и взаимного обольщения игроков. Но он не отказывает гостю от дома, напротив, приглашает его вновь, предлагая дать вместе с его женой настоящий концерт. На концерте Трухачевский с женой Позднышева играют «Крейцерову сонату». Одержимый ревностью, Позднышев слушает музыку как вуайер: внимая музыкальной гармонии и драматическому напряжению между инструментами, он украдкой шпионит за взволнованными участниками представления, как если бы между музыкантами происходило реальное соитие.

Но Трухачевский скоро уезжает, объявив, что не намерен возвращаться, и сам Позднышев уезжает в деловую поездку, по видимости успокоившись. Но в поезде его ревность, вызванная уже не реальной, но возможной ситуацией, становится одержимостью. «Чем более я созерцал эти воображаемые картины, тем более я верил в их действительность. Яркость, с которой представлялись мне эти картины, как будто служила доказательством тому, что то, что я воображал, было действительность» (198).

Убийство

Буквально отравленный своими спроецированными визуальными галлюцинациями сексуального предательства жены, Позднышев прерывает поездку, возвращается домой неожиданно, чтобы застать жену врасплох и устроить за ней слежку ради того, чтобы предать ее наказанию при первой же улике. Его страхи после возвращения не рассеиваются, поскольку в своем доме он снова обнаруживает скрипача:

На мгновенье я остановился в дверях, держа кинжал за спиною. В то же мгновенье он улыбнулся и до смешного равнодушным тоном начал:

— А вот мы музицировали...

— Вот не ждала, — в то же время начала и она, покоряясь его тону. Но ни тот, ни другой не договорили: то же самое бешенство, которое я испытывал неделю тому назад, овладело мной. Опять я

испытал эту потребность разрушения, насилия и восторга бешенства и отдался ему.

— Оба не договорили....Началось то другое, чего он боялся, что разрывало сразу все, что они говорили. Я бросился к ней, все еще скрывая кинжал, чтобы он не помешал мне ударить ее в бок под грудью. Я выбрал это место с самого начала. В ту минуту, как я бросился к ней, он увидал, и, чего я никак не ждал от него, он схватил меня за руку...

Я вырвал руку и молча бросился к нему.. он шмыгнул под фортепиано, в дверь... Я чувствовал, что я вполне бешеный и должен быть страшен, и радовался этому. Я размахнулся изо всех сил левой рукой и локтем попал ей в самое лицо. Она вскрикнула и выпустила мою руку... Тогда все-таки я, не выпуская кинжала, схватил ее левой рукой за горло, опрокинул навзничь и стал душить. Какая жесткая шея была... Она схватилась обеими руками за мои руки, отдирая их от горла, и я, как будто этого-то и ждал, изо всех сил ударил ее кинжалом в левый бок, ниже ребер (205—206).

Жена лежит заколотой в крови. Она в агонии. Муж созерцает это кровавое зрелище. Он потрясен и шокирован синяками на ее лице; опухшее и неизвестно искаженное лицо противостоит ему, словно картина:

Первое, что бросилось мне в глаза, было ее светло-серое платье на стуле, все черное от крови... Прежде и больше всего поразило меня ее распухшее и синее по отекам лицо, часть носа и под глазом. Это было последствие удара моего локтем, когда она хотела удерживать меня. Красоты не было никакой, а что-то гадкое показалось мне в ней (209—210).

Разбитое лицо

Здесь напряженность повествования передана одним поразительным визуальным образом; здесь, когда история достигает (визуального) пика посредством ужасающего, графического, кинематографического вида избитого лица, повествование становится драматически знакомым: одна черта за другой напоминают столь же ужасающую картину избитого лица Николь Браун Симпсон. Такое же распухшее, синее и искаженное лицо, фотография

которого проецировалась в ходе судебного разбирательства дела века — на монитор зала суда, и на наши телевизоры. Распухшее и искаженное лицо, которое мы все увидели, запечатлено навеки именно теми фотографиями, что хранились в ее сейфе и дошли до нас — с помощью монитора зала суда, — подобно странному визуальному *посланию* с того света, подобно тревожащему беззвучному свидетельству избитой, убитой женщины; бессловесный и подавленный призыв немого тела — навсегда замолчавшего. Как и Позднышев, мы видели это обезображенное лицо. Как и Позднышев, мы можем свидетельствовать о его ужасающем, преследующем визуальном следе. Позвольте мне теперь вернуться к жене Позднышева и к созерцанию мужем вида ее избитого лица.

Она с трудом подняла на меня глаза, из которых один был подбитый, и с трудом, с запинками проговорила: «Добился своего, убил...»... Я взглянул на детей, на ее с подтеками разбитое лицо и в первый раз забыл себя, свои права, свою гордость, в первый раз увидел в ней человека. И так ничтожно показалось мне все то, что оскорбляло меня, — вся моя ревность, и так значительно то, что я сделал, что я хотел припасть лицом к ее руке и сказать: «Прости!», но не смел (211).

Суд

Через несколько часов жена умирает. Позднышев арестован и отдан под суд. Он оправдан, поскольку его преступление сочтено преступлением страсти, вызванным предательством жены. В тюрьме, в ожидании суда, Позднышеву открылась истина, изменившая его мир. «У меня открылись глаза, и я увидел все совсем в другом свете. Все наыворот, все наыворот!...» (143). Теперь он своею исповедью пытается сообщить ту смутную истину, которую он не смог выразить во время судебного заседания (истину, которую он не мог довести до сведения суда).

IV

Портрет дела, или Профиль убийцы

Я хотела бы суммировать и проанализировать сходства между этой историей и делом О. Джей Симпсона. Мы уже знаем, что оба случая вызвали широкую политическую дискуссию и легли в основу дела века, получившего широкий культурный резонанс (хотя времена изменились и два дела разделяет столетие). Оба случая образованы одинаковой цепью событий, состоящей из двух ключевых и определяющих эпизодов: (1) убийство жены; (2) суд над мужем. Теперь я проведу различие между анализом убийства и анализом судебного разбирательства и по отдельности исследую те сферы, в которых два эти случая накладываются друг на друга и пересекаются.

1. История убийства

В обоих случаях убиты «неверные» жены. Поэтому обе истории — о неверности жены и наказании. Высшая или человеческая справедливость, просто случайность или брачная месть вершит наказание, наказание — смерть. Обе истории — истории ревности, и главный герой — муж-собственник. Выясняя поведение жен, оба мужа прибегают к слежке. В обоих случаях имеет место треугольник: сцена преступления предполагает неожиданное присутствие или вторжение третьего участника — другого мужчины. Обе истории изображают избиение жены, являясь поэтому историями домашнего насилия. Оба случая своими повторяющимися и навязчивыми колебаниями от любви к ненависти, от желания к взбешенной враждебности рисуют одинаковый портрет брака. Поэтому психологическая структура случаев, по сути, одинакова. Муж в обоих случаях одержим сексом. Фактически домашнее насилие может само быть другой формой пристрастия — сексуально-го пристрастия, поскольку в обоих случаях насилие — сексуально. На Николь, после ее звонка по 911, были только лифчик и домашние брюки, а убийство с помощью ножа явно описано в «Крейцеровой сонате» как разрушительный сексуальный акт, насильное

эротическое проникновение. Проникновение ножа имеет место в обеих историях; убийства совершены путем закалывания.

2. История суда

Если мы теперь рассмотрим функции и процедуры суда как отличные от логики преступления, то аналогии между случаем Толстого и правовым случаем оказываются даже более неожиданными и знаменательно системными.

Обвинения и оправдания

а) В обоих случаях муж направляет обвиняющий жест против социального порядка и социальных институтов; в обеих историях дело мужа разбирается не столько как защита от убийства, сколько как *наказание (и обвинение) общества*.

б) *Вердикт* в обоих случаях тот же самый: *оправдание*. Однако в литературном тексте этот вердикт загадочен, поскольку он явно противоречит признанию мужа в том, что убийство он совершил, а потому, несомненно, виновен. Возникает вопрос: почему вообще нужно было включать в литературный текст суд, оправдывающий мужа вопреки фактам? Каким образом оправдание необходимо для истории? Какое участие оно принимает в *литературном* понимании (интерпретации) случая писателем? Мне кажется, что включением вердикта в текст Толстой намекает на определенную взаимосвязь между убийством и судом, между законом и его нарушением. Убийца в тексте Толстого неявно получает (или легально получает от суда) своего рода общественную амнистию, что действительно резонирует с общественной амнистией, полученной О. Джей Симпсоном со стороны его круга, и той общественной санкцией легитимности, которую ему — как мужчине и как мужу — даровало решение суда.

Послания

в) Третий общий момент между случаем Толстого и случаем О. Джей Симпсона в том, что оба случая иллюстрируют то, что я называю *педагогическим использованием суда*. Толстой в этот период его жизни, согласно его собственному явному определению и выраженному им намерению, — дидактический писатель, и его искусство — дидактично. Поэтому, неожиданно и не без провока-

ции, «Крейцерова соната» — *дидактическая* история об убийстве (убийстве жены). А дидактическая история — это повествование, подчиненное уроку, посланию, которое оно стремится проиллюстрировать или продемонстрировать.

В случае О. Джей Симпсона история суда равным образом преобразована в передачу послания. Адвокат защиты Джонни Кохран в своих завершающих ремарках явно сформулировал эту функцию или дидактическую цель суда, призывая присяжных оправдать его подзащитного для того, чтобы, по его выражению, «адресовать послание» обществу: о его расизме, коррупции, фундаментальной ненадежности, о его системе правосудия и полиции. Поскольку присяжные оправдали Симпсона, суд *был* использован, чтобы зафиксировать и донести это послание. Но в отношении и литературного, и правового случая я хотела бы подчеркнуть тот факт, что не только суд, но самое убийство жены становится *орудием* передачи послания. Урок, который в конце концов суд в себе несет, педагогическое использование его процедур вызывают поэтому серьезные вопросы о моральной ценности (этической значимости) убийства как идеологического орудия. Поскольку главная часть послания — труп, поскольку послание должно использовать мертвое тело для своего продвижения и оправдания, в какой степени такое использование — такая абстракция тела — само по себе легитимно? Этот вопрос можно задать и тексту Толстого, и суду над О. Джей Симпсоном. Больше того, должен ли труп жены быть проводником чьего бы то ни было послания?

Провал суда

г) Четвертый и последний момент сходства между случаями в том, что в центре обеих историй не просто судебное разбирательство, но *провал судебного разбирательства*. Провал правовой рамки процесса я считаю самым значимым и самым важным общим моментом. В тексте Толстого об этом провале, об этой осечке суда говорит исповедующийся герой, замечая собеседнику, что суд его дела не понял. Суду не удалось понять и перевести на правовой язык судорожный поиск истины героем.

Дело О. Джей Симпсона также отмечено провалом судебного разбирательства, и этот провал, в свою очередь, тоже важен для понимания дела. В самом деле, вердикт суда, который освободил О. Джей Симпсона (подобно тому, который оправдал Позднышева), тоже не *закрыл* дело, не дал *ощущения завершенности*, для чего

вердикт и существует. Результатом вердикта стал не эмоциональный или интеллектуальный катарсис, но антикульминация, оставившая значительную часть публики, следившей за делом, в состоянии опустошенности. Я считаю, что, как и в случае Толстого, этот провал судебного дела был связан с чем-то, чего нельзя увидеть, оставаясь в рамках права. Нечто такое, что не могло быть увидено и что не было увидено судом, но тем не менее находилось в центре судебного процесса. Что же это было?

«Критические эпизоды в супружеской жизни»

Я считаю, что часть того, что нельзя было увидеть в суде над Симпсоном, связана со *слепым пятном* культуры, на которое точно указывает Толстой, а именно — с невидимой взаимосвязью между браком и домашним насилием. В телеинтервью, данном через день после вынесения вердикта, Бренда Моран, одна из присяжных в суде над Симпсоном, назвала свой юридический опыт рассмотрения доказательств домашнего насилия как чистую «трату времени»¹. Как ключевой очевидец судебного процесса, она, таким образом, подтвердила и упорно воспроизводимую *незримость домашнего насилия*, и ту правовую и юридическую позицию присяжных, которая позволила им *смотреть сквозь избитое тело* (смотреть сквозь и мимо фотографий избитого лица). *Смотреть сквозь*, несмотря на стремление адвокатов представить на *обозрение* присяжных улики — визуальные следы ударов мужа — и тем самым придать избитому лицу правовую очевидность.

Любопытно, что «Крейцера соната», в свою очередь, открывается разговором с *адвокатом*, который, подобно Кохрану и Моран, говорит о «*критических эпизодах в супружеской жизни*», защищая институт брака от обличений Позднышева. Эта полемика о благой или неблагой сути брака, спонтанно возникавшая между пассажирами, предшествует и обрамляет историю в целом (повествование-исповедь). Вместо того чтобы положить конец дискуссии, упоминание о «*критических эпизодах*» дает Позднышеву возможность представить (и представить историю убийства жены) и адвокату, и нам. Поэтому он соединяет факт реальности убийства с его *культурной незримостью* и с его *правовым отрицанием*. В обоих случаях «критические

¹ Цит. по: *Dworkin A. Trying to Flee* // Los Angeles Times. October 8, 1995. P. M6.

эпизоды» — история насилия и событие убийства — связаны с чем-то, что по существу в культуре и в дискурсе не может быть увидено и что так и не удастся увидеть в ходе судебного процесса.

Слепая справедливость (видение и суждение)

Может ли справедливость на самом деле быть слепой — в иных, нежели ожидаемые, отношениях? Разве взгляд не принципиален для самой практики и самого исполнения закона — ведь недаром говорится, что справедливость не просто должна вершиться, но вершиться на виду? По происхождению и по сути суд — это театральное событие, происходящее на сцене перед зрителями. Суд века в этом отношении еще более примечателен, поскольку с самого начала это был *процесс-шоу*, зрелищное разбирательство, сюжет которого разворачивался не только в зале суда, но был показан всему миру, увеличенный и умноженный миллионами телеэкранов. Впрочем, любые уголовные процедуры предполагают «народ», во имя которого они и совершаются, — сообщество зрителей, общий круг общественных наблюдателей или политических (исторических) зрителей. Любое решение суда — это, в определенном смысле, историческое решение о значимости тех событий и — более общим образом — той исторической картины, которая предстает перед взглядом общества. Более того, правила доказательства тоже, в свою очередь, основаны на способности видеть. Самое сильное доказательство в зале суда — то, которое подтверждено глазами: наиболее авторитетное свидетельство в суде — свидетельство очевидца. Поэтому любой суд, по самой своей природе, зависит от способности увидеть.

Однако в деле «народ против О. Джей Симпсона» присяжные смотрят, но не видят. Они не видят избитое тело. Они смотрят на фотографии Николь с синяками на лице, но не замечают там ни ударов мужа, ни избитого лица жены (жертвы). Потому-то и сами присяжные в деле О. Джей Симпсона — это неудавшиеся очевидцы судебного разбирательства. Эта неспособность суда увидеть еще раз вызывает в памяти фрустрацию Позднышева в отношении близорукости или слепоты суда и, параллельно, философскую и правовую несостоятельность суда в случае, описанном Толстым.

Но в этом отношении (в отношении неспособности суда увидеть или неспособности суда быть очевидцем улик, которые ему были представлены) дело Симпсона повторяет с иронической

симметричностью историю, травму и структуру дела Родни Кинга, связанных именно с *избиванием* (с избиванием, *не увиденным*), т.е. связанных с той необъяснимой, упорной нитью между побоями и слепотой, избиванием и незримостью — незримостью, которую не смогли преодолеть даже самые доказательные визуальные улики.

Избиение и незримость, или Запретный взгляд ненависти

Если в обоих случаях решение суда фиксирует неспособность права увидеть травму, эта внутренне присущая праву неспособность, в свою очередь, усилена и соединена с равной неспособностью культуры признать ненависть. В самом деле, важно, что в обоих случаях присяжные не видят — и закон тоже не может увидеть — *ненависть* (к женщинам, к черным); важно и то, что эта тайная, немая, коварная ненависть — ненависть вне поля зрения — выражается в обоих случаях в отчетливом образе (и в физическом переводе) — в избиваниях.

Избиение фактически — это ключевой образ *злоупотребления властью* (физического и морального). Как эмблема угнетения и унижения, как символ попрания чужой собственности и посягательства на телесную целостность другого человека, избивание не просто физиологично, но имеет фундаментальное политическое измерение. Избиение, предельно оскорбительное по своей сути, — это политическое оскорбление в зачатке, это действие, физические и моральные последствия которого равносильны последствиям политического акта как такового.

Но способность увидеть — как суть когнитивной активности, как основание и сознания, и памяти — тоже, в свою очередь, не просто физиологический акт, но акт, который может быть исходно и невольно политическим. Пределы зримости, структурные пробелы в наших фактических рамках ориентации определены не только сознательной или бессознательной *идеологией*, но и встроенной в культуру *неспособностью видеть травму*. Как показывают случаи Родни Кинга и О. Джей Симпсона, *злоупотребление властью* (избиение) *вписано в культуру как травма*. Благодаря работам по психоанализу¹ мы зна-

¹ См. новаторский сборник «Trauma: Explorations in Memory» (С. Caruth (ed.). Baltimore, 1995). См. также замечательный философский и литературный анализ травматических структур: Caruth C. Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History. Baltimore, 1996.

ем, что травму нельзя увидеть; травма принципиально, политически и психоаналитически ускользает от взгляда — вопреки очевидным уликам или стремлению суда придать происшедшее гласности. Политическое поэтому принципиально связано со структурой травмы. И именно в отношении структуры травмы наши «глаза» должны быть *образованы*.

Мы еще не полностью вышли из травматической истории (или из травмы), сама модель которой характерна для XIX столетия. Как показывает совпадение между литературным текстом и современным судебным разбирательством, мы, похоже, последовательно и детально унаследовали слепые пятна позапрошлого века, особенно в том, что касается женщин, ставших жертвами насилия или издевательства. Убийства и оправдания того времени до сих пор с нами — трагическое наследие, сохранившееся во всей своей целостности.

Закон и история: наследие травмы

Что же мы сделали за сто лет? Разве за это время история не зафиксировала по крайней мере различия в правовых системах? Или история не только осталась незафиксированной, но и оказалась вымаранной по вине самого закона? Не стали ли многотомные документы судебного дела О. Джей Симпсона лишь свидетельством того, как история — парадоксальным образом — лишается памяти? Свидетельством того, как вердикты (оправдание в деле О. Джей Симпсона) фиксируют одновременно и то, что история *помнит*, и то, что история *забывает*, и то, что прагматически включается в коллективную память, и то, что в ней программно не находит места?

В своей посреднической функции между противоречивыми фактами и конфликтующими версиями истины вердикты — это решения о том, чем именно пополнить и что именно извлечь из коллективной памяти. В этом отношении закон есть организующая сила значения истории. Но закон связан с историей через травму. В исторической памяти должно было бы отпечататься не только само судебное разбирательство, но и та травма, которая с необходимостью привела к этому разбирательству, та индивидуальная и социальная травма, которую суд должен был излечить, решить или преодолеть. Невозможно просто помнить травму тог-

да, когда ее не удастся постичь, когда — как показывают судебные процессы — ее невозможно даже увидеть. Место памяти травма занимает травматическими повторениями.

В связи с этим я считаю, что судебное дело действительно становится местом воплощенной истории, «местом памяти» или материальным, буквальным *lieu de memoire* (Пьер Нора), только тогда, когда оно спонтанно наделяется исторической дуальностью, по словам Фрейда. Другими словами, когда оно дает начало тому, что я определила как *кросс-юридический* резонанс, когда оно ненамеренно дает ход повторам или вызывает динамику *правовой реминисценции*. В жесте, объединяющем увековечивание и забвение того, что повторяется, суд над О. Джей Симпсоном представляет собой именно такое «место памяти» (*lieu de memoire*), поскольку он формирует «место» (локус, локальность, пропасть) травматического повтора.

Дело О. Джей Симпсона непроизвольно повторяет и травматический правовой нарратив Родни Кинга, и травматическую правовую историю XIX века Льва Толстого. Однако и сам литературный сюжет Толстого уже заключается в повторе, поскольку его отправная точка — *воспроизведение героем судебного разбирательства* (его открытия неудавшегося поиска истины в ходе правовых процедур) посредством *исповеди*, которая, в свою очередь, повторяет или снова повествует об истории, которая не могла быть услышана в ходе процесса и которую не удалось донести или передать суду. Суд века повторяет поэтому все эти повторы — правовые, литературные, психоаналитические, исторические, — с помощью которых судебное дело снова и снова пытается разрешить травму и которыми травма ненамеренно повторяет себя как бессознательная правовая память сознательного правового процесса. В итоге дело О. Джей Симпсона — определяющее дело века именно потому, что оно суммирует все эти повторения. Это суд века потому, что он воспроизводит дело Родни Кинга; но этот определяющий суд столетия сам оказывается повторением суда (травмы) столетия девятнадцатого.

Убедена, что главное отличие судов и оправданий XX века в том, что история позволяет нам, по меньшей мере, встать вровень с Толстым — хотя бы для того, *чтобы увидеть то, что мы не видим*, чтобы поставить эти вопросы исторически, чтобы задуматься о смысле повторов. Если история действительно повторяется и если события, чтобы быть увиденными, должны случиться по меньшей мере дважды, то, возможно, однажды сам факт повтора будет способствовать формированию «образованного взгляда»?

V Пучина

Что именно не удалось Позднышеву выразить и передать во время суда о своей истории (или о реальной природе дела)? Что именно он пытался — безнадежно и отчаянно — донести до суда, но для чего так и не смог найти подходящий язык права, оставив эту молчаливую, невысказанную, неслышанную, избыточную правду за стенами суда? Что это за событие, описание которого может быть отражено лишь в чрезмерности литературной истины?

Этим вопросом можно задаться с двух противоположных точек зрения. 1) Какое парадоксальное событие создает кризис, выходящий за пределы того, что может быть отражено в языке права, но тем не менее требующий *судебного разбирательства для своего определения*? 2) Что представляет собой этот кризис или парадоксальное событие, которое не может обойтись без правового процесса, но которое, литературно и философски, может быть передано только *через несостоятельность суда* — через коллапс правовой рамки? Таково убийство жены в тексте Толстого (в его связи с судом). И таково, я считаю, парадоксальное отношение убийства Николь Браун Симпсон к суду над О. Джей Симпсоном, к которому Толстой может действительно стать *ключом*. Философски рассуждая, Толстой, кажется, не случайно задается вопросом, имеющим отношение и к его тексту, и к запутанной правовой реальности современного суда: что за история может быть рассказана только через *невозвращенный долг решения* — *истине* или вердикта — фактам. В чем состоит этот *долг* (литературный, психологический, политический, исторический) судебного решения об оправдании в отношении к полной правовой истине? Долг, который даже обвинительный приговор (как видно из реакции на исход суда) не может ни сократить, ни простить, ни искупить? Что именно пытается нам в конце концов сообщить Толстой?

Давайте в последний раз выслушаем свидетельство Позднышева — его попытку донести историю, которую суд упустил:

Ведь на суде было представлено дело так, что все случилось из ревности. Ничуть не бывало, то есть не то, что ничуть не бывало, а то,

да не то. На суде так и решено было, что я обманутый муж и что я убил, защищая свою поруганную честь (так ведь это называется по-ихнему). И от этого меня оправдали. Я на суде старался выяснить смысл дела, но они понимали так, что я хочу реабилитировать честь жены (179).

Ревность была лишь предлогом, настаивает Позднышев, почти не относящимся к делу: «Если бы явился не он, то другой бы явился. Если бы не *предлог* ревности, то другой» (180).

Отношения ее с этим музыкантом, какие бы они ни были, для меня это не имеет смысла, да и для нее тоже. Имеет же смысл то, что я вам рассказал, то есть мое свинство. *Все произошло от того, что между нами была та страшная пучина*, о которой я вам говорил, то страшное напряжение взаимной ненависти друг к другу, при которой первого повода было достаточно для произведения кризиса (179).

Бездна

Тогда дело — в связи частного, сексуального, тривиального «*предлога*» с социальным, легальным «*кризисом*» насилия и убийства: «*Все произошло от того, что между нами была та страшная пучина*». Действительный мотив истории поэтому происходит не из реальной или выдуманной неверности жены, не из ревности, вызываемой этой предполагаемой неверностью, но из существования самой этой «страшной пучины». Тогда содержание истории оказывается иным, нежели мы думали: вопреки первому впечатлению, мы читаем не о банальном случае измены (или ревности). Но о чем тогда? Мне кажется, мы, что куда менее предсказуемо, открываем у Толстого нарратив пропасти, случай неожиданного раскрытия скрытой и глубокой бездны.

Метафора бездны повторяется на протяжении всей «Крейцеровой сонаты». Хотя Толстой прибегает к нескольким русским словам для конкретизации и нюансировки образа бездны (*пропасть*, *пучина*), все они фиксируют один и тот же опыт разрыва (утраты) связи и почвы; все эти фигуры указывают на один и тот же упорный образ разлома, разделяющего пространства, бездонного океана или ужасающей, зияющей раны в земле.

Пропась сексуальности: пропась различия

Что это за пропась, к которой столь настойчиво возвращается Толстой? В самом очевидном значении метафора пропасти в «Крейцеровой сонате» кажется связанной с пространством сексуальности как пугающей загадкой. Но что именно представляет собой сексуальность? Прежде всего, в этой истории (а фактически и в деле О. Джей Симпсона) сексуальность — это *пропась между полами*. Этот разрыв между полами, эта плохо понятая пропась, что столь радикально и неизлечимо разделяет женщину и мужчину и отчуждает мужа от жены, в свою очередь, не просто отсылает к бездонной пропасти сексуальности и сексуального желания (как неявному истоку рассказа), но, более определенно, к разрыву или расщеплению самой сексуальности, к внутреннему разлому или пропасти не просто *между рассказчиком и его женой*, но в *самом сексуальном желании рассказчика*. В человеческой сексуальности присутствует пропась, подобная внутренней пустоте на дне вихрящегося хаоса притяжений и охлаждений, соперничающих и конфликтующих тайных сексуальных неясностей. Эта пропась различия (внутреннего и внешнего) обречена стать пропастью конфликта. Положения в отношении друг друга в истории ревности — в треугольнике сексуального соревнования — могут динамично и тайно измениться: желание к жене и ревность к мужчине-сопернику; притяжение (или интерес) к сопернику и тайное сексуальное соревнование с женой¹; любовь-ненависть к жене; любовь-ненависть к ее предполагаемому любовнику; соответственно, ревность к обоим; путаница притяжений и охлаждений; пропась, гнездящаяся в сексуальности, которая неустанно засасывает ее в себя, подобно хаотическому водовороту или внутренней пустоте, расщепляет ее изнутри; пропась, которая фатально и радикально отделяет сексуальность от себя, делает ее непохожей на себя.

Но что еще более важно, нежели сексуальное значение пропасти, нежели ее расщепленная сексуальная природа, это связь разрыва — пропасти — с ее смутной глубиной, с *глубинной, загадочной*

¹ Ср. в «Крейцеровой сонате»: «Да-с, это был музыкант, скрипач... миндалевидные влажные глаза, красные улыбающиеся губы, нафиксатуренные усики... сложения слабого... с особенно развитым задом, как у женщины... Вот он-то со своей музыкой и был причиной всего. Ведь на суде было представлено дело так, что все случилось из ревности. Ничуть не бывало...» (179).

сутью тьмы. Этот особый мрак пропасти зафиксирован метафорой темноты, повторяющейся на протяжении текста, которая — резонируя с метафорой пропасти — драматизирует (конкретизирует) *сопротивление со стороны истории тому, что может быть увидено* (или что может проникнуть в сознание)¹. «*Все произошло от того, что между нами была та страшная пучина*». Сопrotивляясь осознанию, радикальная темнота пропасти, буквальная и метафорическая неясность истории действуют как *черная дыра*, образующая центр истории. Эта черная дыра нарратива (темная пропасть в средоточии истории) динамически сопротивляется поиску судом правовой видимости и подрывает упорное стремление истории к взгляду и к свету.

Тьма в эпицентре суда, или Черная дыра нарратива

Подобно травме, подобно черной дыре нарратива, образующей центр истории, пропасть — это нечто, обычно скрытое от взоров, нечто, чью неясную глубину (или протяженность) невозможно измерить и дно (или начало) чего *невозможно увидеть*. Но когда — в результате убийства — дно становится осязательным, когда пропасть неожиданно и внезапно оказывается перед глазами, то ничего, кроме пустоты и неясности, не видно. В конце истории (в завершении суда и в горизонте текста) драматически раскрывается не глубина, но неожиданная бездонность ужасающей пропасти.

Мне кажется, в случае О. Джей Симпсона дело обстоит именно таким образом. Осуществление суда века было не чем иным, как исторической встречей с неожиданной бездонностью пропасти. В конце суда обнаружили не падение занавеса, не катарсис, вызванный юридическим решением, но снова лишь ужасающее откровение, лишь пустота непостижимой пропасти: пропасти между полами; пропасти между расами; пропасти между юриспруденцией и справедливостью; разрыв в восприятии дела черными и белыми; пропасть между противоречивыми переживаниями значения сил правопорядка и между конфликтующими взглядами на использование и злоупотребление властью со стороны системы пра-

¹ «Так мы и жили, в постоянном тумане не видя того положения, в котором мы находились. И если бы не случилось того, что случилось... я бы не понимал той бездны несчастья и той гнусной лжи, в которой я барахтался» (175).

восудия и слуг закона; пропасть между конфликтующими взглядами на значимость или незначимость домашнего насилия; пропасть между богатыми, которые справедливость могут купить, и бедными, которым это не по карману; пропасть между конфликтующими взглядами или противоречивым эмоциональным восприятием вердикта как победы или как абсолютного поражения. Но воздействие суда и раскол, выявленный шоком по поводу вердикта века, связаны с чем-то еще более глубоким и не очень легко определимым, с чем-то, что ускользает от определения в самом сердце пропасти, обнаруженной завершением суда. Как и у Толстого, неожиданно разверзшаяся пропасть связана с возникновением раскола в самом средоточии правовой системы.

Пропасть травмы

Я полагаю, что это сломанное средоточие (раскол в обществе, расщепленность в средоточии правосудия) связано с расколотостью, которая сама есть следствие и повтор травматического шока. Ирония в том, что раскол между черными и белыми становится диалогом шоков. Шок особым образом связан со «злополучным» пространством культуры как *культурного разрыва* или со «злополучным» и внутренне разобщенным пространством культурной травмы, поскольку травма (индивидуальная и социальная) обрывается именно брешью в сознании.

Так что в завершении дела О. Джей Симпсона следует видеть конкретную реальность травматической брешы — или конкретность травмы. Но вместо этого видима пропасть — брешь — между двумя травмами: травмой расы и травмой пола. В этом судебном разбирательстве раса и пол различаются по характеру своей связи с третьей травмой — травмой самого закона.

К закону как к стражу прав жертвы, преследующему убийственные издевательства мужа, а потому как к неизбежному союзнику и, возможно, как к единственному *средству наказания за издевательства* апеллирует в этом деле пол. Но в аргументах защиты (и в коллективной памяти расы) к закону зывают как к части травмы, а правопорядок фигурирует в памяти и исторически оспаривается как *непосредственный источник и самое средство издевательства*. Раса и пол поэтому отличаются в их тематизированном отношении к праву и судебному разбирательству, выступающему

либо частью проблемы (части издевательств), либо способом ее возможного сокрытия или разрешения.

В самом деле, философски рассуждая, пропасть, открытая судом века, скомпрометировала не только целостность пола, не только целостность правового процесса, но и целостность самой истины. Или, скорее, заключение суда представило истину как пропасть между несопоставимыми реальностями, как раскол между разными способами видения, между несопоставимыми способами рассмотрения одних и тех же фактов. Журнал «Экономист» комментирует:

Ничто из происшедшего на суде над О. Джей Симпсоном не было столь же ужасным, сколь его финал. Ошиблись ли присяжные? Неизвестно... Обескуражил не столько сам вердикт, но подтверждение, что белая и черная Америка наблюдали за разными судами... Этот вердикт подтверждает то, во что так не хотели верить многие американцы и их друзья за рубежом. Спустя тридцать с лишним лет после борьбы за гражданские права Америка все еще остается расколотой на две части. И эти две страны все больше отдаляются друг от друга¹.

«Все произошло, — говорит Толстой, — от того, что между нами была та страшная пучина».

Жить так было бы ужасно, если бы мы понимали свое положение; но мы не понимали и не видали его. В этом и спасенье и казнь человека, что, когда он живет неправильно, он может себя затуманивать, чтобы не видеть бедственности своего положения... Так мы и жили в постоянном тумане, не видя того положения, в котором мы находились. И если бы не случилось того, что случилось, и я так же бы прожил еще до старости, я так бы и думал, умирая, что я прожил хорошую жизнь, не особенно хорошую, но и не дурную, такую, как все; я бы не понимал той бездны несчастья и той гнусной лжи, в которой я барахтался (174–175).

¹ Two Nations, Divisible: The Intolerable Lesson of the O.J. Simpson Trial // The Economist. October 7, 1995. P. 18. Мера удивления перед глубиной расового раскола сама по себе, однако, есть еще один симптом того, что история лишена памяти и не помнит о вполне недавних попытках придать посредством расистских законов о сегрегации двум этим Америкам статус правовой легитимности.

Видя брешь

Можно ли воспринимать «Крейцерову сонату» как рассказ о том, чем приходится платить (в трагедии и разрушении) за то, чтобы пропасть стала *зримой*? Не является ли дело О. Джей Симпсона историей цены, заплаченной за обнаружение пропасти, которая уже там была, но которую, подобно героям «Крейцеровой сонаты», мы не могли или не хотели видеть? И если суд века есть действительно культурная история нашей слепоты, не может ли она, как история Толстого, обернуться историей революционного видения?

Да-с, не могу спокойно говорить про это, и не потому, что со мной случился этот эпизод, как он говорил, а потому, что с тех пор, как случился со мной этот эпизод, у меня открылись глаза, и я увидел все совсем в другом свете. Все наыворот, все наыворот!... (143).

В деле О. Джей Симпсона, как и в тексте Толстого, пропасть — *наыворот*.

В заключение я покажу, что суд над О. Джей Симпсоном был судом века именно потому, что он открыл пропасть или рассказал правовую историю о разрыве в сознании века. Пропать вполне могла быть «наыворот». В силу того что это не просто пропасть культурного лицемерия, но пропасть культурной травмы, она остается тайной суда. Другими словами, я считаю, что дело приобрело свой уникальный статус дела столетия потому, что *мы до сих пор не решили* — и не полностью понимаем, — *о чем же был суд*; потому что мы до сих пор не знаем или не решили, где именно локализовать травму и что в действительности находилось на дне этой правовой, культурной и исторической пропасти.

Между законом и литературой: сравнительная эпистемология

Сравнение между делом О. Джей Симпсона и текстом Толстого помогло нам пересмотреть и заново продумать последствия и воздействие современного суда.

Я рассмотрела неопределенность фактов и их интерпретаций в поучительно-образном и драматически-стимулирующем свете литературных фактов, нарративная логика которых (правовая драма об убийстве и судебном разбирательстве) существенно напомина-

ет современный случай, а интуитивное образное проникновение в преступное (человеческое) поведение и в загадку структуры разбирательства и структуры убийства (как и парадоксальной связи убийства с судом) оказалось и убедительным, и вдохновляющим.

Я предположила, что в центре — в сердце — и литературной истории, и современного судебного дела лежит пропасть: и в суде, и в тексте неожиданно открывается образ пропасти, значимость которой невозможно охватить. Этот образ — отражение неясной изначальной причинности («Все произошло от того, что между нами была та страшная пучина») и фатального повтора, неожиданного и вместе с тем неизбежного возвращения разновидности радикального спора («Я называл ссорой то, что произошло между нами; но это была не ссора, а это было только вследствие прекращения чувственности обнаружившееся наше действительное отношение друг к другу») (160)¹.

Между правом и литературой (пропасть)

Сравнение правовой драмы и литературной драмы также показало, что у права и литературы — радикально различные философии и различные подходы к пропасти. Руководствуясь разными целями, правовая практика и литературная практика фактически воплощают два различных способа *подступиться* к пропасти и два способа соединения *значимости пропасти* и *значимости и функций судебного разбирательства*.

Как мы видели, и в суде, и в литературном тексте пропасть (пропасть различия, ненависти, расизма, сексуальности, «несчастья» и травмы), «ссора», которая «не ссора», но «обнаружение» чрезвычайного рознью внутреннего развала, — есть нечто ужасающее. Это нечто, что не поддается постижению. Это нечто, видимое лишь снаружи. Это нечто, которому невозможно подвести итог. Нечто, что всегда уходит от обобщающего вывода. По определению пропасть — это то, что ускользает от правового суммирования и уклоняется от рефлексивного или концептуального обобщения.

¹ В английском варианте перевода текста Толстого, который использует Фелман, эта фраза завершается так: «...это была не ссора, но лишь обнаружение пропасти, которая нас действительно разделяла». — *Прим. пер.*

Что может суд сделать с пропастью? Процесс века стремился (а право всегда пытается это делать) перебросить мост над пропастью, принять на себя удар, закрывая пролом, закрывая пропасть или заключая ее в рациональность правовых категорий (пол, раса) в попытке прикрыть или закрыть ее *бездонность*, чтобы объединить ее или рассредоточить среди известных категорий социального, политического или правового порядка.

Но цель литературного текста, напротив, — показать или снова раскрыть разрыв или разлом, снова обнаружить расщелину и пустоту пропасти, *разверзнуть именно то, что было сокрыто, закрыто или прикрыто судебным процессом*. Литературный текст оставляет пропасть открытой для того, чтобы мы снова могли бросить взгляд в ее глубь и увидеть ее бездонность.

Текст Толстого своеобразно исследует не только значение дела и даже не просто загадку силы случая, но *общую значимость несостоятельных попыток (в праве и в истории) закрыть пропасть*, смысл повторяющихся, но невозможных исторических попыток использовать средства закона для того, чтобы закрыть коллективные травмы рациональностью и техничностью судебных процессов, установлениями закона и судебными вердиктами.

Повторяя историю травмы и динамику суда, литература объясняет, почему и как суд (подобно травме) не завершен, но вносит вклад в травматическую память и в незаконченное дело, обреченные на правовое продолжение в последующем. Другими словами, литература объясняет, почему суд, подобно травме, исторически и травматически повторяется.

Самый важный вопрос суда века — это вопрос об итоговой открытости пропасти как будущего исхода повторения суда, который должен был эту пропасть закрыть или заключить в себя. Но в чем именно состоит смысл этой *правовой, социальной бреши* и *бреши в понимании*, что сталкивается с ней и заходит в тупик, озадаченное ее неожиданностью? Что же покоится в этой бреши, на дне этой правовой, культурной или исторической пропасти, скрытое от глаз? Что было *отсрочено* судом и что именно повторится? Это вопрос, значение которого мы должны еще долго взвешивать и осмысливать. Он уже включает историческое значение и непонятый правовой смысл суда XXI века.

VI

Постскрипtum: авторитет литературы

«Литература, — пишет Пауль Целан, — часто забегает вперед нас»¹. Литература — впереди нас. Я уже показала ранее, что литература может быть определена (описана и понята) как особый тип свидетельства; что писатели часто вынуждены свидетельствовать посредством литературы именно тогда, когда они знают или интуитивно чувствуют, что на суде истории (и, я добавляю теперь, на суде закона) свидетельские показания потерпят неудачу; когда они знают, что другие виды свидетельств по разным причинам не работают или что у имевших место событий по разным причинам не будет свидетелей². Писатели свидетельствуют не просто тогда, когда они знают, что другими способами знания не получить, но — что более важно — когда они знают или чувствуют, что знание, хотя и доступное, не может быть выражено, что *информация может не иметь последствий*. Я показала, что такие писатели могут быть охарактеризованы (определены) как *преждевременные свидетели*³ («литература часто забегает вперед») и что их искусство, повествование, литературный стиль и художественная риторика есть преждевременный способ свидетельства и оценки реальности в ситуации, когда все другие типы знания недоступны или сочтены неэффективными. Здесь же я утверждаю, что литературный текст Толстого — подобное преждевременное свидетельство в (и о) деле О. Джей Симпсона.

Позднышев говорит: «Одно во мне есть. *Я знаю. Да, это верно, что я знаю то, что все не скоро еще узнают...* Да, не скоро еще люди узнают то, что я знаю» (169). Какого рода знание (какое тайное знание об убийстве, какое тайное знание о смерти, какое тайное знание о жизни) исповедующий ощущает в себе и о каком знании люди не узнают, если он им не поделится? Что знает муж-убийца?

¹ Celan P. The Meridian / Trans. J. Glenn // Chicago Review. Winter 1978. № 26. P. 34.

² См.: Felman Sh., Laub D. Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History. NY, 1992.

³ Ibid. P. xx, 12–40, 52.

И что знает Толстой? Как он знает, почему он знает? *Кому он исповедовался?*

Исповедь и закон (между насилием и речью)

Если Симпсон убежден, что его «осудили», как он говорит, «ни за что»¹, и в течение суда отрицает свою виновность и то, что он был на месте преступления, то Толстой объявляет себя виновным независимо от вердикта. Вне суда, в рамках исповеди, в рамках литературы он берет на себя бремя преступления, которое буквально совершил не он, но которое тем не менее он фундаментально признает своим, за что и берет на себя достойную подражания личную и культурную ответственность. Исповедь не задается вопросом о том, может ли восторжествовать закон. Исповедь спрашивает: *что значит речь в связи с актом насилия?* Как мы можем распознать и *искупить* насилие, которое вписано в культуру как невидимое и которое не способен сделать видимым даже суд? Как речь может сделать видимым насилие, в самой природе которого — ослеплять? Как мы можем видеть это ослепляющее насилие? Как мы можем использовать речь, чтобы *увидеть ненависть*, чтобы смотреть на нашу ненависть, если ненависти (особенно нашей собственной) запрещено входить в поле зрения?

Исповедь стремится придать речи высочайшую моральную ценность и высочайшую эпистемологическую ответственность за *обеспечение доступа к истине*, ответственность за возможность видеть то, что подвергается оценке, какой бы невыносимой или разоблачающей эта оценка ни была, ответственность за принесение алиби в жертву *признанию реальности* — несмотря на цену.

С другой стороны, дискурс алиби говорит именно для того, чтобы не знать и — особенно — *не признавать*. «В ночь убийства я спал». Дискурс алиби говорит для того, чтобы продолжать играть с собой в игры, удерживать сознание и совесть в состоянии немоты, оставаться спящим. Исповедь говорит для того, чтобы пробудить.

В рамках литературы, вне суда и вопреки закону, исповедь говорит для того, чтобы отбросить уловки. Обычные люди, подобные Симпсону, подобные нам, не говорят, чтобы отбросить уловки. Мы

¹ Coles J. My Dinner with O.J. // The Guardian. 16 May 1996. Sec. 2. P. 1–3.

говорим, чтобы избежать вины. Мы используем речь, чтобы защитить себя. Или более фундаментально: мы говорим, чтобы надеяться. Только большие мастера готовы, подобно Кафке, сказать: «Надежда есть, но не для нас». Только Камю мог написать: «Надежда — не наше дело. Наше дело — отбросить отговорки»¹. И только человек, подобный Толстому, может иметь силу, мужество, последовательность, моральную готовность заплатить за эту исповедь (ценой вины, жестокости, страдания, одиночества, смерти и юридической ценой — цензурой, запретом, отлучением от закона), избавить себя (и нас) от всех эмоциональных иллюзий, принести в жертву весь самообман, чтобы любой ценой разоблачить ложь и любой ценой разрушить и отнять у нас все социальные, эмоциональные, культурные алиби.

В XX веке закон пытается решить или разрешить дело — отдать убийцу под суд или вызвать его на исповедь, — но терпит поражение. В XIX веке закон пытается замолчать истину исповеди, но терпит поражение. Закон пытается запретить публикацию исповеди, но не может арестовать само дело. Текст распространяется даже под цензурой. Рукопись тайно читается, быстро размножается в тысячах экземпляров, переписанная от руки тысячами людей, вызывает общественный резонанс вопреки цензуре и немедленно получает известность в мире, переведенная на многие языки. «Согласно Страхову, люди приветствовали друг друга на улице, спрашивая: “Читали ли вы ‘Крейцерову сонату’?”»². Век спустя та же одержимость толкает жаждущую публику к убийственной истории дела О. Джей Симпсона. «Это ходячий тест Роршаха, — говорит об ажиотаже вокруг суда Медрия Уильямс, психолог из Лос-Анджелеса. — Люди думают, что это об О.Д., хотя в действительности это о них самих». Кому же исповедовался Толстой? Почему людям так интересны одновременно и *исповедь*, и *отсутствие исповеди*, которыми отмечен суд века? Почему людей так влекут и вымысел, и реальность этого дела? Для кого исповедовался Толстой? «Меня

¹ Ср. в русском переводе: «В этот момент человек начинает различать надежду, хотя это и не его задача. Его цель — не слушать отговорок, что я и нахожу в конце знаменитого процесса, который Ф. Кафка возбуждает против всей вселенной» (*Камю А. Надежда и абсурд в творчестве Франца Кафки // Камю А. Бунтующий человек. М., 1990. С. 100*) — *Прим. пер.*

² *Troyat H. Tolstoy. P. 499.*

прежде этого, в восемь часов, отвели в часть и оттуда в тюрьму. И там, просидев одиннадцать месяцев, дожидаясь суда, я обдумал себя и свое прошедшее и понял его...»

Секреты дела

— Я начал понимать только тогда, когда увидел ее в гробу.. — Он всхлипнул, но тотчас же торопливо продолжал: — Только тогда, когда я увидел ее мертвое лицо, я понял, что я сделал. Я понял, что я, я убил ее, что от меня сделалось то, что она была живая, движущаяся, теплая, а теперь стала неподвижная, восковая, холодная, и что поправить этого никогда, нигде, ничем нельзя, тот, кто не пережил этого, тот не может понять (211).

«Поправить этого никогда, нигде, ничем нельзя». Повествует ли Позднышев о внесудебной истине дела Симпсона? Нельзя ли рассматривать литературу именно как запись о том, что осталось за *рамками правовых документов*? Что знает Толстой? И, прочитав Толстого и посмотрев дело века, что мы, в свою очередь, знаем?

Конечно, мы не можем сказать, что знаем — мы не знаем, — убил ли на самом деле Симпсон жену. Мы *знаем*, что он жестоко к ней относился, что имело место зверское насилие. Поэтому мы *знаем*, что его любовь была убийственной по природе. Он сам, возможно, этого не понимал, пока не стало слишком поздно. Независимо от того, убил он Николь или нет, он, скорее всего, столкнулся с ошеломляющим ужасом собственной жестокости, когда, подобно Позднышеву, увидел свою бывшую жену мертвой.

Поскольку Толстой признается в убийстве, которого он эмпирически не совершал, мы также знаем, что жестокий двойной убийца — кто бы он ни был — расхаживает на свободе, не признавшись в совершенном им преступлении. Позднышев попытался это сделать и был оправдан, но оправданию не удалось искупить, исправить или восстановить его разбитую жизнь. Он приговаривает себя. Культура его оправдывает. В признании он не может полностью преодолеть культурные табу. Но таково его сизифово наказание — свидетельское или дискурсивное наказание, которое он на себя берет. Преследуемый пленник вины, не признаваемой культурой, он навеки останется пожизненным узником исповеди, которую ему все не удастся *донести* (как и на суде), *преврати-*

тить ее в улику, по поводу которой возможен консенсус. И потому в своей исповеди он не может ни высказаться до конца, ни положить ей конец.

Исповедь без конца

Рассказчик может завершить нарратив исповеди лишь потому, что ему нужно сходить, выйти из поезда. Сам Толстой умрет на железнодорожной станции, посреди пути и жизненного странствия, еще не исчерпанного, не заверщенного.

Но Позднышев еще не закончил. Он обязательно снова повторит историю другому попутчику, в другом поезде, на пути к финальной точке, которой еще не достиг и которая, возможно, и не может быть достигнута. Вопреки той огласке, которой исповедующийся предает свою исповедь, и вопреки ему самому она остается его секретом, секретом, который он не может сообщить. И этот виноватый секрет, который суд никогда не поймет, в то же время остается секретом судебного дела и секретом суда. «На суде у меня спрашивают, чем, как я убил жену. Дурачье! думают, что я убил ее тогда, ножом, пятого октября. Я не тогда убил ее, а гораздо раньше, так точно, как они теперь убивают, все, все...»

Выводы

В силу того что на вопрос, заданный судом, нельзя ответить просто и нельзя ответить иначе, нежели подытожив всю историю с самого начала; потому что нож (орудие убийства, или означающее травмы) не локализуем и не находим иначе, нежели в истории всей жизни и в истории всего брака, исповедь должна была пересказать не только убийство, но и неудачу брака, насилие которого она воспроизводит, показывая, как не-увиденное насилие, финальным означающим которого был не-увиденный нож, с самого начала гнездились в браке, подобно привычному узору на ковре.

Стараясь, чтобы узор на ковре увидели, стараясь снова рассказать историю, которая не может быть рассказана на суде, исповедь, в свою очередь, вынуждена повторить суд и снова пережить (пересказать) ужас преступления. Но она не может разгласить секрет суда. Она не может *определить* начальный момент травмы или

полностью перевести исток травмы в выразительность, улику или видимость. И она не может превратить слепоту суда и непонимание дела в прозрачный смысл или в полностью сформулированную и завершенную постижимость. Поэтому исповедь не может завершиться. Это дискурс и речевой акт, который продолжается и будет продолжаться, пока живет Позднышев, пока живет Толстой. Исповедь — это речевое представление, чьи предполагаемая ответственность за отвержение всех алиби, культурные прозрения о непостижимости травм пола и бремя травматического понимания до бесконечности будут оказывать влияние, простираясь за пределы текста Толстого и за пределы жизни и смерти как рассказчика, так и автора.

Я начал понимать только тогда, когда увидел ее в гробу... Только тогда, когда я увидел ее мертвое лицо, я понял, что я сделал. Я понял, что я, я убил ее, что от меня сделалось то, что она была живая, движущаяся, теплая, а теперь стала неподвижная, восковая, холодная, и что поправить этого никогда, нигде, ничем нельзя, тот, кто не пережил этого, тот не может понять.

«Простите», или Справедливость и прощение

Подобно Позднышеву, О. Джей Симпсон поделился с публикой своей жизненной историей под дразняще исповедальным заголовком «Я хочу вам рассказать». Подобно Толстому, он опубликовал ее как книгу, ставшую прославленной публикацией прославленной автобиографии. В отличие от Позднышева, О. Джей Симпсон заявил, что он не виновен и что у него нет истории убийства, в которой он мог бы признаться. В отличие от Толстого, он отказался (в силу своих прав обвиняемого) *от показаний*.

Толстой свидетельствовал перед другим судом и о другой справедливости, оставив исповедь, которая, возможно, стала исповедью для многих и от имени многих. Исповедь, которая могла бы включать, говоря словами Камю в «Осени», «ничей и каждого портрет», исповедь, которую не случайно не мог остановить ни один цензор, но которую не может вместить ни один суд. Исповедь, которую не могли подытожить никакие правовые аргументы и никакой суд не мог связно перевести на правовой язык. Исповедь, которую не смог услышать ни один суд присяжных, но и не смог

замолчать ни один правовой запрет; исповедь, которая звучала и до сих пор звучит за пределами суда и вопреки закону для того, чтобы отбросить уловки. Исповедь, которая фактически никогда не закончилась и до сих пор не заканчивается, но снова начинает бесконечный суд; исповедь, бесконечно продолжающаяся в ночи нашей культуры и нашей истории.

— Ну, *простите...*

Он отвернулся от меня... Я подошел к нему, чтобы проститься...

— *Прощайте*, — сказал я, подавая ему руку...

— Да, простите, — повторил он то же слово, которым и заключил весь рассказ (211).

«В сумерках перед днем приговора, — пишет Фрэнсис Клайнс, — национальная толпа присяжных-вуайеров обнаружила, что справедливость можно смягчить помилованием, так как казалось, что наконец-то приближался финал спектакля О.Д. ...На помилование можно было надеяться, и белый микроавтобус [куда поместили О. Джей Симпсона после освобождения из тюрьмы вслед за оправданием,] доставил звезду футбола в целости и сохранности домой, *вновь* протавив *старый* образ по ландшафту национальной памяти. Быстро повторив проезд белого джипа Бронко¹ через пригороды, микроавтобус, летящий вдоль автострад Лос-Анджелеса, был настолько *невыразительной попыткой завершить этот цикл истории*, что сценарий походил на продукт кинофабрик, расположенных за калифорнийскими холмами»².

Истории, подобные делу О. Джей Симпсона или посвященные убийству жены, как в «Крейцеровой сонате», не кончаются. В их незавершенности содержится, возможно, часть их поэтической справедливости. В качестве нарративов они переживают жизнь и смерть своих рассказчиков и обвинения и оправдания своих преступников.

Вопросы, которые Толстой задает нашей культуре, пережили Толстого, как они переживут убийцу Николь Браун Симпсон и Рональда Голдмана. Значение исповеди переживет отзвуки извес-

¹ В материалах дела фигурировали видеоматериалы, фиксирующие, как на белом джипе «Бронко» убийца подъехал к дому Николь Браун Кидман и на нем же вернулся, убегая от полиции, в дом О. Джей Симпсона. — *Прим. пер.*

² *Clines F.X. And Now, the Audience Rests // New York Times. October 8, 1995. P. 4.*

тных и неизвестных историй о двойном убийстве и его превращении в зрелищную версию процесса века. «...Люди думают, что это — об О.Д., хотя в действительности это о них». «Согласно Страхову, люди приветствовали друг друга на улице, спрашивая “Читали ли вы ‘Крейцерову сонату’?”»

«Вот определение писателя, — говорит Кафка, — писателя как такового, и объяснение его воздействия, в случае если оно имеет место быть: Писатель — это козел отпущения человечества. Он позволяет людям наслаждаться грехом без вины, *практически без вины*»¹.

Читали ли вы «Крейцерову сонату»?

В ситуации, когда справедливость невозможна, в культуре, которая не прощает, литературная история отдает век под суд и молит о прощении, которого не может получить.

Я взглянул на детей, на ее с подтеками разбитое лицо и в первый раз забыл себя, свои права, свою гордость, в первый раз увидел в ней человека. И так ничтожно показалось мне все то, что оскорбляло меня, — вся моя ревность, и так значительно то, что я сделал, что я хотел припасть лицом к ее руке и сказать: «Прости!», но не смел.

— Ну, *простите*...

Он отвернулся от меня... Я подошел к нему, чтобы проститься...

— *Прощайте*, — сказал я, подавая ему руку...

— Да, простите, — повторил он то же слово, которым и заключил весь рассказ.

¹ Письмо Франца Кафки к Максу Броду. 5 июля 1922 г. // The Basic Kafka / M. Kowal (ed.). NY, 1979. P. 295.

4. Истории распада

Кэти Карут

Травма, время и история *

В травме, или «посттравматическом стрессовом расстройстве» (ПТСР), — т.е. в том симптоматическом повторе кошмаров, навязчивых мыслей, образов и действий, которые вызываются к жизни катастрофическим событием или событиями, — меня всегда интересовал тот факт, что травма — это не просто патология, но способ или попытка выражения истины. Травматические образы и повторы — это не искажения реальности; скорее они возникают как следствие чрезмерности увиденного. «Я не хочу принимать лекарства, чтобы избавиться от кошмаров, — настаивает ветеран Вьетнама, — потому что я должен оставаться памятником погибшим друзьям»¹. С моей точки зрения, в центре опыта и понятия травмы лежит ряд трудных, но неотложных вопросов: *какого рода истину, помимо психологической, травма пытается выразить? Свидетелем какой истории она является, точнее — чем отличается ее версия истории от тех воспоминаний, которые имеют более непосредственную форму?*

Чрезмерность увиденного

Эти вопросы возникают в отношении центральной загадки, вокруг которой обычно и строится обсуждение травмы, — загадки «видения из прошлого» (*flashback*)². Видение из прошлого — это парадокс, сочетающий в себе *вторжение* и *амнезию*: вторжение

* Перевод с английского Елены Трубиной.

¹ Прочитировано доктором Бесселом Ван Дер Кольком в публичной лекции в 1992 году.

² Некоторые авторы считают, что термин «видение из прошлого» применительно к травматическим симптомам впервые использовали рэп-группы ветеранов Вьетнама, в частности участники движения «Ветераны Вьетнама против войны». См., например: *Lifton R.J. Home from the War: Learning from Vietnam*

точных и подробных образов или ощущений, не полностью усвоенных или осознанных в момент их возврата. Эта особая комбинация амнезии и вторжения действительно является психическим, нейробиологическим и философским парадоксом, так как точность и подробность видений из прошлого и кошмаров находятся в прямой зависимости от их недоступности для сознания и памяти. Поэтому о том, кто выжил несмотря ни на что, вряд ли можно сказать, что у него «есть память»; те, кто пережили катастрофическое событие, оказываются скорее носителями истории, которая им не вполне принадлежит.

Этот странный феномен был описан французским психиатром Пьером Жане в самой ранней работе, посвященной травматической истерии. История Ирэн, ухаживавшей за умирающей матерью в течение шестидесяти суток, стала одним из самых примечательных случаев в практике Жане. После смерти матери Ирэн была не в состоянии признать этот ужасный факт, но в спонтанных трансах она, казалось, воссоздавала последнюю ночь во всех деталях:

Задыхаясь и чувствуя гудение в голове, инвалид растягивалась на кровати и начинала говорить: «О, все кончено... Если бы только кто-то знал, как можно страдать, когда матери уже никогда не будет рядом. Было бы лучше, ведь правда, моя мамочка, если бы я умерла; как ты и говорила мне когда-то — что мы должны умереть вместе. ...Ах, я вижу, ты пришла, чтобы найти меня... И ее глаза, что

Veterans. Boston: Beacon Press, 1973/1992. P. 139; *Shatan Ch.* The Grief of Soldiers: Vietnam Veterans' Self Help Movement // *American Journal of Orthopsychiatry*. 1973. № 45. P. 645. Хотя слово заимствовано из терминологии кино, в контексте травмы оно относится не обязательно лишь к визуальным симптомам, но также и к другим формам воспроизведения прошлого опыта. Современное официальное психиатрическое определение травмы см. в: *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV-Text Revision*. 4th Edition. Arlington: American Psychiatric Publishing, Incorporated, 2000. Определение посттравматического стрессового расстройства, впервые включенное в справочник в 1980 году, было обусловлено военным опытом и в особенности опытом солдат на войне во Вьетнаме. Врачи и ветераны, участвующие в движении «Ветераны Вьетнама против войны», были первыми, кто настоял на включении этого опыта в справочник. Описанные симптомы имели не только психологическое, но также политическое и этическое значение. Об истории этого движения см., например: *Nicosia G.* Home to War: A History of the Vietnam Veterans' Movement. NY: Three Rivers Press, 2001; *Scott W.J.* The Politics of Readjustment: Vietnam Veterans Since the War. NY: Walter de Gruyter, 1993. Об особых политических и этических измерениях того, что вначале называлось «поствьетнамским синдромом», см.: *Lifton R.J.* Home from the War.

были открыты...И этот открытый рот... Я закрывала его десять раз... Ох, она упала на пол¹.

Находясь в трансе, Ирэн проживает ужасные детали смерти матери. Но придя в себя, она упрямо отрицает реальность события, которое только что, не зная того, воспроизвела:

Если вы так настаиваете, я могу вам сказать: «Моя мать умерла». Они говорят мне об этом весь день напролет, и я с ними соглашаюсь просто, чтобы они от меня отстали. Но если вы хотите знать мое личное мнение, то сама я в это не верю... Если бы она действительно умерла, я была бы в отчаянии, я бы была в горе, я бы чувствовала, что меня бросили, оставили одну. Но я ничего не чувствую. Грусти у меня нет, я не плачу; поэтому она не умерла².

Жане был поражен тем, что детальное и автоматическое воспроизводство события из прошлого в состоянии транса сопровождалось полной амнезией. Более того, согласно Жане, амнезия Ирэн была, судя по всему, необходимой для того, чтобы более точно воспроизвести ее прошлый опыт. Когда в ходе лечения память Ирэн начала восстанавливаться, она стала вносить изменения в свою историю. Ее «знание» прошлого в момент его воспроизведения, похоже, было тесно связано с отсутствием знания о ее амнезии.

Непростая связь между знанием и не-знанием в травме наиболее примечательно проявляется в сенсорной непосредственности зрительного образа из прошлого. Неотложная и экзистенциальная реальность этой проблемы предстала передо мной на самом деле не в ранних психиатрических трудах по травме, а в более близкой по времени катастрофе — роковой аварии в Бриджпорте (штат Коннектикут), когда там обвалилось строящееся здание Л'Эмбианс-Плаза, похоронив под собой 28 рабочих³. На конференции,

¹ Janet P. L'amnésie et la dissociation des souvenirs par l'émotion. Marseille: Lafitte Reprints, 1983. Также упоминается в: Van der Kolk B., Van der Hart O. The Intrusive Past: The Flexibility of Memory and the Engraving of Trauma // Trauma: Explorations in Memory / C. Caruth (ed.). Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1995.

² Janet P. L'amnésie et la dissociation.

³ 23 апреля 1987 года обрушились две башни шестизэтажного дома, строящегося в г. Бриджпорт. В течение 15 секунд упали 30 бетонных плит весом более 8000 тонн, погибли 28 человек, 16 человек получили повреждения. См. например: Charles E. New Housing Rises on Slab-Disaster Site // The NY Times. May 19, 1991. — Прим. пер.

посвященной этому событию и его пониманию, психиатр Роберт Острофф воспроизвел пронизанные болью слова своего пациента. Мистер Бланк работал на строительстве этого здания вместе со своим лучшим другом; когда он отлучился на несколько минут, чтобы починить свой инструмент, здание за его спиной обрушилось. Мистер Бланк побежал назад к другу:

Я не знал, знает ли он, что я рядом. Я говорил ему снова и снова, что я здесь и что с ним все будет в порядке, но он издал этот ужасный булькающий звук. Я стал кричать бригаде из «скорой помощи», чтобы они его забрали, но те пришли и сказали: он мертв. Я услышал этот звук, как будто он выполаскивал свою кровь, но когда я взглянул, он уже был мертв.

Похоже, я не могу это забыть. Передо мной все время образ падающего здания — я слышу этот булькающий звук — этот ужасный звук. Я вижу торчащую кость, желтоватую, и... висящий глаз. Мне не дает покоя, видел ли он меня? Он меня слышал? Что действительно ужасно, так это ощущение, когда я закрываю глаза, а мой мозг работает так, как если бы глаза были открыты. И я вижу его лицо с выбитым глазом. Или я открываю глаза, а мой мозг все еще видит тот висящий глаз. Или я засыпаю и вижу сон, и во сне я вижу тот висящий глаз, и я слышу этот звук. Я слышу этот звук. Я этот звук всегда буду слышать¹.

Мистер Бланк описывает, кажется, прямое и сокрушительное столкновение со смертью друга; смерть, которая возвращается в булькающем звуке и в образе повисшего глаза. Доктор Острофф говорит: «По мере того как индивид эмоционально выздоравливает от травматического переживания, сны или кошмары становятся менее непосредственными и более символичными». Видеть смерть напрямую, согласно доктору Остроффу, может только больной человек.

Однако что «видит» на самом деле мистер Бланк в повторяющемся образе? Если внимательно вслушаться в слова этого встре-

¹ Впервые д-р Острофф рассказал об этом в лекции на конференции по травме в Коннектикуте и потом опубликовал об этом статью «The Experience» («Northeastern Magazine», 1991). Цитаты взяты из этой статьи. Д-р Острофф много работал с ветеранами Вьетнама и вместе с Элизабет Бретт опубликовал ранее важную статью, посвященную травматической образности. См.: *Ostroff R. Imagery and Posttraumatic Stress Disorder: An Overview // American Journal of Psychiatry. 1985. № 142.*

воженного человека, то зрелище погибшего друга не сводится лишь к видимой непосредственности:

Я не знал, знает ли он, что я рядом. ...те пришли и сказали, он мертв. Я слышал булькающий звук... я взглянул, он уже был мертв... Я не знал, знает ли он, что я рядом. Он еще мог видеть? ...видел ли он меня? Он меня слышал? Вы — доктор, что вы думаете?¹

Образ, который видит мистер Бланк, непросто перевести буквально («он был мертв»), ведь образ здесь выражает его *неспособность постичь* смерть друга. Шокирующее воздействие зрелища, а также его настойчивость связаны с тем, что *не может быть достигнуто в нем*. Особенность видений из прошлого в том, что они — не просто прямая репрезентация события, подобно буквальному смыслу, но скорее что-то вроде отпечатка или воспроизведения, у которого нет смысла. То, что передается здесь, — это не просто событие, т.е. нечто, что может быть рассказано обычным образом, но неспособность события обрести смысл, стать частью сознания. *Чтобы видеть, надо не осознавать*. Видение из прошлого фактически говорит: ты должен видеть, но ты не можешь знать. Видимая «буквальность» образа поэтому есть не репрезентация события, но сила его непостижимости или сопротивления осмысливанию. Образ на самом деле говорит: есть что-то, что ты еще не понял².

Сложность проблемы не-знания, что лежит в основе видений из прошлого, стала особенно очевидной в дискуссиях вокруг восстановления памяти; точнее — в обсуждениях проблемы достоверности «воспоминаний» о домогательствах, которые имели место много лет назад. Эти дебаты оказались сфокусированными на

¹ Ibid.

² Так как этот момент часто понимается неверно, важно подчеркнуть: точность видения из прошлого (в том прочтении, которое я только что предложила) — это не точность значения или репрезентации, но его способность обладать силой или действием команды. Качество императива, присущее видению из прошлого, и его связь с тем, что нельзя просто знать (согласно Фрейд и другим авторам), привели к интерпретативной критике, увязывающей травму и этику, например, в работах Жака Лакана и в недавних попытках гуманитариев читать исследования по травме вместе с фундаментальной этикой Эммануэля Левинаса. Об этическом прочтении Лаканом работы Фрейда «По ту сторону принципа удовольствия» см. главу 5 («Traumatic Awakenings») моей книги «Unclaimed Experience: Trauma, Narrative and History» (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1996).

следующем вопросе: можно ли говорить о том, что память о травме переживается и «вытесняется» (предполагая, соответственно, что она могла оказаться искаженной, подобно другим видам памяти и формам внутреннего опыта), либо же эта память действительно обладает способностью возвращаться именно потому, что она никогда не была по-настоящему пережита?¹ Сходным образом структурируются и дебаты о том, как квалифицировать посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) в «Диагностическом и статистическом справочнике умственных расстройств»: как тревожное расстройство или как диссоциативное расстройство? Как и в случае с травматической памятью, главный вопрос здесь связан с тем, было ли данное переживание интегрировано в тот момент, когда оно произошло. Преобладающая на сегодня модель тревожности (исходящая из того, что устрашающий опыт вызывает тревогу) в состоянии объяснить симптомы избегания и сверхвозбужденности. Однако только модель диссоциации, акцентирующая неполную интегрированность — диссоциированность — переживания события, может объяснить ту странную комбинацию остроты переживания и недостатка осознания, которая стала ключевой в видениях из прошлого². И в дискуссиях о восстановленной памяти, и в спорах о категоризации центральный момент — и сложность концептуализации — травмы состоит в попытке представить опыт, который мог бы аккуратно отпечататься в мозге, оставаясь при этом недоступным сознанию и мышлению.

Интересно, что эта диссоциация сознания при травме наиболее выразительно проявляется на телесном уровне. Психиатр Бессел Ван дер Кольк часто начинает свои лекции по травме с исто-

¹ Обзор дискуссий о восстановленной памяти см., например, в: Trauma and Recovery: Clinical and Legal Controversies / P.S. Appelbaum, L.A. Uyehara, M.R. Elin (eds.). NY: Oxford University Press, 1997.

² См.: Brett E. The Classification of Posttraumatic Stress Disorder // Traumatic Stress: The Effects of Overwhelming Experience on Mind, Body and Society / B.A. Van der Kolk, A.C. McFarlane, L. Weisaeth (eds.). NY: Guilford, 1996. Следует также отметить, что другая модель стресса для ПТСР, разработанная Жозефом Ле Ду и предполагающая, что реакция вообще минует сознание, возможно, не полностью описывает наложение видения из прошлого на сознание (как в случае кошмара, от которого пробуждаются). См.: LeDoux J. The Emotional Brain: The Mysterious Underpinnings of Emotional Life. NY: Simon & Schuster, 1996. О важности включения понятия диссоциации в определение или классификацию ПТСР см. также: Vermetten E., Charney D.S., Bremner J.D. Post-traumatic Stress Disorder // Contemporary Psychiatry. 3/2.

рии женщины, нарисовавшей для своего терапевта сексуальные домогательства отца, которым она подверглась в раннем детстве. Картина, названная «Голова в облаках», изображала три фигуры-палочки, пространство между головами и телами которых было заполнено облаками. Рисунок сопровождала подпись: «Не говорить зла, не видеть зла, не слышать зла». В ответ на просьбу объяснить рисунок женщина сказала: «Мой разум всплывает к потолку, я смотрю оттуда вниз; мне очень жаль эту маленькую девочку внизу. Мой разум забывает, но тело всему ведет счет»¹.

Доказательств того, что в травматических ситуациях кодирование памяти в мозгу отличается от кодирования обычной памяти расщепленностью между сенсорными отпечатками и сознанием, существует действительно немало². В обычных ситуациях, как считают нейропсихологи, ощущения проходят через органы чувств к таламусу и коре головного мозга, а оттуда — к той части мозга, которая придает им эмоциональное значение (амигдала). После такой эмоциональной кодировки ощущения передаются в другую часть мозга (гипокамп), которая размещает их в пространстве и

¹ Ван дер Колек использует эту историю для заголовка статьи о травматической памяти: «The Body Keeps the Score: Approaches to the Psychobiology of Posttraumatic Stress Disorder» (в книге «Traumatic Stress»). В последнее время терапевты, работающие вместе с нейробиологами или сами ведущие нейробиологические исследования, часто сосредоточены на диссоциативной модели травмы (что может показаться неожиданным, поскольку в эмпирических дисциплинах диссоциативные теории не часто востребованы).

² Природа травматической памяти — очень противоречивая тема. Некоторые нейропсихологи и психологи отрицают существование фундаментального различия между травматической и другими видами памяти. Научные доказательства фундаментально различных типов кодирования в травматической и нетравматической памяти постепенно накапливаются, но это поле широко открыто и остается дискуссионным. Оно быстро изменяется и с появлением новых научных открытий. В изложенном ниже материале представлены важные результаты, полученные в этом поле исследователями, убежденными, что существуют доказательства различия в кодировании между травматической и нетравматической памятью. Однако в понимании этой проблемы следует учитывать открытый и нестабильный характер данной области исследования. Среди многих коллективных монографий, включающих хорошие обзоры нейропсихических исследований, назову «Trauma and Memory» (см. полную сноску выше), а также: Psychobiology of Posttraumatic Stress Disorder // Annals of the NY Academy of Sciences. Vol. 821 / R. Yehuda, A.C. McFarlane (eds.). NY: The NY Academy of Sciences, 1997. Обе книги делают акцент на отличиях между травматической и обычной памятью.

времени, классифицируя и сравнивая с другими переживаниями. В случае обычных страхов ощущения будут помечены как эмоционально значимые постольку, поскольку они страшные, и будут классифицированы соответствующим образом. Страшные события, таким образом, соединяются с прошлым и возможным будущим, что делает их осмысленными и памятливыми. Однако, как показывают современные исследования, в чрезвычайно пугающих ситуациях, как и в ситуациях крайней беспомощности, переход между этими разными частями мозга нарушается. Гормоны стресса, выделяющиеся в ходе ситуации, могут повредить область, ответственную за локализацию ощущений в определенном контексте (при этом другие химические вещества в это же время неизгладимо «записывают» ощущения в других областях мозга)¹. Это значит, что фрагменты ощущений не локализируются во времени и пространстве, не классифицируются и не сравниваются с другими, оставаясь свободно плавающими на поверхности, без смысла и без принадлежности. Другими словами, похоже, что важность и мощь события не столько запечатлеваются в сознательной памяти, сколько именно перекрывают те ее возможности, которые позволяют понять или проговорить это событие.

Исследования травмы, ведущиеся при помощи позитронной эмиссионной томографии (ПЭТ) мозга, т.е. анализ функциональных нейрообразов, благодаря которым измеряется активность мозга, приводят к результатам, которые не укладываются в рамки

¹ О разрушительном воздействии кортизола на мозг при травме см.: *Bremner J.D., Randall P., Vermetten E. et al. Magnetic Resonance Imaging-Based Measurement of Hippocampal Volume in Posttraumatic Stress Disorder Related to Childhood Physical and Sexual Abuse—a Preliminary Report // Biological Psychiatry. № 41:1. January 1997. P. 23–32; Bremner J.D., Southwick S.M., Charney D. Neuroanatomical Correlates of the Effects of Stress on Memory: Relevance to the Validity of Memories of Childhood Abuse; Golier J.A., Yehuda R., Southwick S. Memory and Posttraumatic Stress Disorder; Van der Kolk B. Traumatic Memories. Как обнаружил, например, Бреннер, у ветеранов Вьетнама, переживших домогательства в раннем детстве, гиппокамп часто меньше, чем у их нетравмированных товарищей, что позволяет предположить повреждение этой важной области памяти и тем самым подтвердить гипотезу, что травма действительно повреждает те области мозга, которые связаны с определенными типами хранения памяти. О роли нориpineфрина в запечатлении памяти см.: *Southwick S.M., Bremner J.D., Rasmussen A., Morgan C.A. 3rd, Arnsten A., Charney D.S. Role of Norepinephrine in the Pathophysiology and Treatment of Posttraumatic Stress Disorder // Biological Psychiatry. 1999. № 1/46. P. 1192–1204. Норипинефрин связывают с «запечатлением» в мозгу сенсорной памяти.**

имеющихся на сегодня научных объяснений. В ходе этих экспериментов с жертвами травмы травмированным субъектам зачитывали детальные сенсорные сценарии их катастрофических событий. Когда, судя по всему, эти люди начинали переживать стадию видений из прошлого, они подвергались томографии. Результаты были поистине ошеломительные: эти люди продемонстрировали увеличившуюся активность только в тех областях, которые наиболее связаны с эмоциональным возбуждением. Это сопровождалось повышенной активностью в правой, визуальной, части мозга, что соответствовало переживаниям видений из прошлого, о которых сообщали пациенты. Пожалуй, наиболее существенным являлось то, что зона Брока — та часть левого полушария, которая отвечает за перевод индивидуальных переживаний в осмысленную речь, — была «отключена». Мы полагаем, что это отражает бессловесный ужас, пережитый этими пациентами, и присущую им склонность переживать эмоции скорее как физические состояния, а не как вербально закодированный опыт¹.

Томография — своеобразным молчаливым способом — засвидетельствовала не просто присутствие живых образов, но и причудливую комбинацию непосредственности ощущений, с одной стороны, и утраты речи или смысла — с другой. Живость отпечатка и *есть* свидетельство его не-регистрируемости. Не давая объяснений, томография вновь ставит нас лицом к лицу с загадкой: во время травмы событие оставляет отпечаток сенсорного образа и одновременно делает его недоступным пониманию. Собственно, именно в этом разрыве с пониманием и заключается его сила. Иными словами, суть травматического события формируется отсутствием его ассимиляции².

¹ Van der Kolk B. Trauma and Memory.

² Хотелось бы подчеркнуть, что научное доказательство не обязательно обеспечивает то, что иногда называют «обоснованием» (*grounding*) понятия травмы в эмпирической науке. Скорее дело выглядит так, что травма ставит под вопрос привычные научные модели телесного опыта. Томографическое сканирование мозга кажется столь же неожиданным и до некоторой степени загадочным, сколь и травматические рисунки женщины, подвергавшейся в детстве домогательствам.

Не зная вовремя

Чтобы понять своеобразную природу видений из прошлого, психиатры сочли необходимым осмыслить то событие, которое эти видения из прошлого загадочным образом повторяют, — прежде всего с точки зрения его отношения со временем. Несколько лет назад психиатр Александр Макфарлейн в своих комментариях по поводу того, что долговременные последствия травмы проявляются не сразу, а только через десять дней после несчастного случая, с жертвами которого он работал, заметил:

Драматическое различие между временем травматического события и его психологической продолжительностью может потребовать от нас переосмысления темпоральности травмы. В 1918 году Уильям Риверс сказал: «...Симптомы войны происходят не от события, а от попытки его запретить». ...Возможно, симптомы — это приспособление к памяти, в противоположность опыту. Возможно, ПТСР — это расстройство перехода, а не сиюминутная реакция на событие... В наших определениях нам нужно более точное понимание времени. Хотя четвертое издание «Диагностического и статистического справочника умственных расстройств» делает акцент на страхе, испытываемом в момент травматического события, нам нужна более протяженная временная рамка, возможно, начинающая сразу после события¹.

Предлагая установить начальную границу временной рамки «сразу после события», Макфэрлейн, как мне кажется, неявно ставит ряд глубоких вопросов о природе и значении травмы. Чем являются видения из прошлого — симптомом переживания или не переживания травматического события? Другими словами, травма — это событие или его повторение? И, наконец, следует ли

¹ Лекция Александра Макфарлейна на ежегодной конференции Международного общества по изучению травматического стресса в 1996 году; некоторые из упомянутых результатов (но не теоретические комментарии) опубликованы в статье «The Prevalence and Longitudinal Course of PTSD. Implications for the Neurobiological Models of PTSD» («Psychobiology of Posttraumatic Stress Disorder», 1997, p. 10–23).

под травмой понимать собственно эмпирическое событие или тот факт, что, случившись, событие не было полностью пережито?

Эти сегодняшние вопросы удивительным образом возвращают нас к тем самым идеям, что были в центре классического осмысления травмы Зигмундом Фрейдом, начиная с его ранних работ по истерии на рубеже XIX и XX столетий и заканчивая его размышлениями о навязчивом повторении после Первой мировой войны. В знаменитом раннем исследовании Эммы Фрейд подчеркивал, что, испытав домогательства в детстве, пациентка тем не менее не проявляла симптомов травмы вплоть до переходного возраста. Вслед за этим наблюдением Фрейд выдвинул странное предположение, согласно которому травма состоит из двух этапов. На ранней стадии (в детстве) травма характеризуется сексуальным содержанием при отсутствии сексуального смысла для ребенка. Поздняя стадия (в подростковом возрасте) не имеет сексуального содержания, но приобретает сексуальное значение. Согласно Фрейду, отношения между двумя этими событиями и создают травму: *событие становится травмой только задним числом*¹.

Эта своеобразная запаздывающая структура события вновь появится у Фрейда в более радикальной форме — в работе по травматическому неврозу, анализирующей кошмары солдат, вернувшихся с поля битвы. В эссе «По ту сторону принципа удовольствия» Фрейд заключает, что сознание создается из серий восприятий в упорядоченном переживании времени. Травма, таким образом, — это событие, которое происходит *на мгновение раньше*, чем это необходимо для того, чтобы стать частью этого последовательного опыта. Преждевременность события, как предполагает Фрейд, не позволяет осознать его до конца, и потому разум снова и снова повторяет упущенное столкновение, пытаясь постичь его. То есть травма обусловлена не просто угрозой для жизни, но тем, что угроза как таковая была распознана сознанием на мгновение позже, чем нужно. Поэтому шок от столкновения разума с угрозой смерти есть не прямое переживание угрозы, но

¹ Freud S. Project for a Scientific Psychology // Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. Vol. 1. Значение двух стадий в объяснении Фрейдом травмы было впервые подчеркнуто Жаном Лапланшем в книге: Laplanche J. Life and Death in Psychoanalysis / Trans. J. Mehlman. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1976. Ch. 2.

отсутствие своевременного переживания¹. Фактически, увидев преждевременно, разум запаздывает с осознанием. В этом радикальном темпоральном разрыве между видением и знанием и лежит невыносимая сила травмы. Поэтому травма есть *нелокализуемое событие*. Парадоксально, но повторы видений из прошлого, таким образом, отражают не полноту непосредственно пережитого опыта, но воздействие его запаздывания во времени.

Но что именно мы имеем в виду, когда говорим, что событие — нелокализуемо? Настойчивость, с которой Фрейд повторяет в «По ту сторону принципа удовольствия», что травма — это всегда событие, угрожающее жизни, предполагает, что запаздывание травмы может быть понято только с точки зрения особых и своеобразных отношений между смертью и выживанием. Действительно, я уже писала о том, что уже в самом первом примере травматического кошмара, описанном Фрейдом, мы можем уловить сложное переплетение смерти и жизни в возвращающемся травматическом образе: «Сновидения, случающиеся при травматических неврозах, характеризуются тем, что они снова и снова возвращают пациента в ситуацию несчастного случая, ситуацию, от которой он снова пробуждается в испуге»². С одной стороны, пример Фрейда указывает на сновидение как на повторение пропущенного столкновения со смертью: поскольку оно не могло быть пережито своевременно, с ним сталкиваются снова и снова во сне. Однако если мы прочитаем Фрейда чуть иначе, то его увязывание испуга (*Schreck* — слово, означающее неготовность к событию³) с пробуждением ото сна предполагает, что травма может быть связана не только с тем, что происходит во сне, но и с тем, что происходит в момент пробуждения. Пробуждение к сознанию образует неожиданность травмы. То, что возвращают видения прошлого, связано не только с непостижимостью опыта на грани смерти, но и с непостижимостью выживания. *Само выживание составляет травму*. В травматическом происшествии, иными словами, неожиданность или случайность смерти становится неожиданностью или случайностью жизни.

¹ Это интерпретация темпорального объяснения травмы в 4-й главе работы З. Фрейда «По ту сторону принципа удовольствия» (М., 1992, с. 216–226). См. также подробный анализ в 3-й главе моей книги «Unclaimed Experience».

² Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. М., 1992. С. 206–207.

³ Schreck (нем.) — тревога, страх, испуг, испуганность, шок. — Прим. пер.

Поэтому в абсолютной неопределенности пробуждения — в том повторении, из которого состоит травма, — жизнь и смерть становятся неразличимыми. Иными словами, история жизни неотличима от истории смерти; или, чуть иначе — от отсутствия собственной истории¹. В самом деле, большое число клинических и эмпирических исследований сводит индивидуальные следы травм к травмам их предшественников. К примеру, о ветеранах Вьетнама можно сказать, что они травмированы не только войной, но и теми детскими травмами, для которых военные события стали спусковым крючком; в свою очередь, эти травмы детства имели связь с военными травмами их собственных отцов. В более широком масштабе в одном исследовании было обнаружено, что вероятность травматизации израильских солдат — участников войны в Ливане была на 75 процентов выше, если их родители пережили Холокост². Возможно, самым впечатляющим является нейробиологическое исследование Рашель Йегуды, измерившей уровень гормона стресса — кортизола — у переживших Холокост родителей и их детей, включая тех, у кого не было обнаружено симптомов ПТСР. Она обнаружила полное совпадение уровня и дневных ритмов циркуляции этого гормона у травмированных родителей и их нетравмированных детей. Тела детей как будто рассказывали истории своих родителей³. Как показывают эти исследования,

¹ Смешение жизни и смерти — переживаемое как смерть-при-жизни — представлено в художественных и документальных описаниях травмы. Существенно, что первая работа о травме Роберта Джея Лифтона (предшествовавшая его работе с ветеранами Вьетнама и повлиявшая на нее) была названа «Смерть при жизни: пережившие Хиросиму» (*Lifton R.J. Death in Life: Survivors of Hiroshima*. NY: Random House, 1967). В трилогии «Освенцим и после» Шарлоты Дельбо, пережившей Холокост, голос «Мадо» — вымышленный, но представляющий подлинный опыт — повторяет: «Я не жива» (*Delbo Ch. Auschwitz and After* / Trans. R.C. Lamont. New Haven: Yale University Press, 1995). И в фильме Алена Ресне и Маргерит Дюрас «Хиросима, любовь моя» вымышленная героиня — французская женщина, разыгрывающая и проживающая свою прошедшую любовь с мертвым солдатом, — демонстрирует в словах и поступках, как ее жизнь была смешана с его смертью, не являясь, в сущности, ее собственной историей.

² Ежегодная конференция Международного общества по изучению травматического стресса (1996).

³ *Yehuda R., Bierer L.M., Schmeidler J.A., Breslau D.H., Dolan I., Low S.* Cortisol and Risk for PTSD in Adult Offspring of Holocaust Survivors // *American Journal of Psychiatry*. 2000. № 157/8. P. 1252–1259; *Yehuda R., Halligan S.L., Bierer L.M.* Cortisol Levels in Adult Offspring of Holocaust Survivors: Relation to PTSD Symptom Severity in the Parent and Child? // *Comment in Psychoneuroendocrinology*. № 28/4. May 2003. P. 594–595.

травматическая история может всегда указывать на более масштабное, межпоколенческое, коллективное прошлое. Я убеждена, что именно по этой причине Фрейд перешел от эссе «По ту сторону принципа удовольствия» к работе «Моисей и монотеизм», которая рассказывает историю евреев как историю травмы. В своем настойчивом возвращении травматическое повторение всегда направлено за рамки единичности или индивидуальности конкретного события — к коллективному прошлому¹.

Мы можем рассматривать это повторение за пределами одного поколения, однако не только как передачу истории смерти, но и как передачу истории выживания, не вполне принадлежащего этому поколению. Изучая переживших Холокост матерей и их дочерей, доктор Анна Адельман из Центра изучения детей в Йельском университете исследовала способы, какими истории матерей иногда бессознательно рассказывались в жизни дочерей. Одно из интервью исследователь провела с Верой — узницей Освенцима, подробно свою историю дочери не рассказавшей. В интервью (которого дочь не слышала) Вера рассказывает о прибытии в Освенцим: «Была ночь, кругом огни. Если вы когда-нибудь видели ад, это там как раз и было. Раз были огни, была и труба, откуда выходил большой огонь. Огни горели повсюду. И можно было видеть призрачные фигуры, освещенные огнем»².

Джулии, дочери Веры, по словам доктора Адельман, «было трудно реконструировать повествование» о переживаниях матери: «[Она] столь многого не рассказывает, что мне просто страшно дальше спрашивать». Однако в другом интервью Джулия вспоминает сложности своего раннего детства.

Я всегда помню кухню, освещенную на Йом Кипур³. Мы не то что бы были ортодоксальными, но когда ребенком посреди ночи ты

¹ Элемент лишенности собственной истории (*dispossession*), обусловленный травмой, — тот факт, что история никогда не является индивидуальным достоянием, — уже предполагает возможность или следы этой более масштабной истории в рамках определения индивидуальной травмы.

² *Adelman A. Observations on the Transgenerational Evolution of Narratives of the Holocaust // Trauma: The Next Generation, Muteness, and the Search for a Voice / C. Berens (ed.); International Study Group for Trauma. Violence and Genocide. Hamburg: International Study Group, 1996.*

³ Йом Кипур — «суббота суббот», День Всепрощения, религиозный еврейский праздник, посвященный искуплению и очищению от совершенных грехов. За 18 минут до захода солнца женщины зажигают в доме свечи, произносятся молитвы. — *Прим. пер.*

видишь эти огни, то от них становится немного страшно. Вы знаете, огонь, хотя он и притягивает, он все-таки пугает. Я всегда боялась огня. Не думаю, что это связано с чем-то конкретным. Я не знаю, обожглась ли я когда-то или еще что-то... Так что я смотрела на этот мерцающий свет... Свечи были зажжены, и их было так много, что ты видел этот испепеляющий, собранный, пылающий свет. Помню, что боялась его¹.

То, что было не полностью понято в истории матери, похоже, проживается в опыте дочери. Видение здесь — видение огня — принадлежит не только Джулии; это еще и передача непостижимой истории ее матери. На языке огня — в переходе от пламени Освенцима к свечам Йом Кипур — история не до конца осознанной коллективной смерти неразрывно связана с будущим выживания, не ставшим еще окончательным.

История молчания

История матери воспринимается Джулией вопреки пробелу материнского молчания. С этой своеобразной передачи между поколениями мы, по-моему, можем начать исследование того, как нелокализуемость события в травме может помочь нам в размышлениях о природе травматической истории.

Самое внушительное и наиболее часто повторяемое заявление о природе определенных форм травмы сводится к тому, что травма заключается не только в самом происшествии, но и, что более важно, в той вуали молчания, которой она обычно окружена. Заголовки книг по инцесту («Секретная травма», «Заговор молчания: Травма инцеста», «Я никому не сказала») предполагают, что травма инцеста состоит не просто в акте домогательства, но и в требовании не рассказывать о нем, как и в отказе других слушать, слышать или верить². Подобным же образом во многих работах о

¹ *Adelman A.* Observations on the Transgenerational Evolution of Narratives of the Holocaust.

² См.: *Butler S.* Conspiracy of Silence: The Trauma of Incest. Volcano, CA: Volcano Press, 1978, 1985; *I Never Told Anyone: Writings by Women Survivors of Child Sexual Abuse* / E. Bass, L. Thornton (eds.). NY, NY: HarperCollins, 1983.

Холокосте травматическими становятся не только лагерные события, но и отказ мира свидетельствовать и неспособность друзей и читателей — верить¹. Интересно, что в одном исследовании ПТСР продемонстрировано, что у жертв Холокоста и изнасилования проявления травмы были серьезнее, нежели при других формах травматического опыта. Похоже, наиболее сильно травмирующие события — те, что связаны с императивом не рассказывать. В этих случаях запаздывающая структура травмы принимает форму специфического вопроса: травма — это лишь собственно эмпирическое событие, или же травма связана с тем, что она осталась не увиденной и не засвидетельствованной позднее?

Это отношение между травмой и молчанием было обозначено — хотя и в несколько иной форме — в случае, рассказанном терапевтом Молли Ромер-Уиттен, лечившей маленького мальчика:

Джоди было двадцать три месяца, когда его поместили в госпиталь для наблюдения. Его нашли лежащим под люлькой брата. Похоже, мать и брата Джоди застрелили с близкого расстояния около трех дней назад. Когда его нашли, он снова и снова повторял жест выстрела из пистолета и твердил: «Папа пиф-паф» («Daddy doot»)². В госпитале заботу о нем взяла на себя бабушка. Ничто в поведении Джоди не свидетельствовало о травматическом стрессе. Наконец, заинтригованная его стойкостью и не понимая, что же пережили мальчик, я начала играть с ним... Я сделала мяч из пластилина, спросила Джоди, что это такое, и он с готовностью ответил: «Мяч». Затем он произнес «тигр, тигр», так что я условно изобразила тигра, услышав в ответ довольное рычание Джоди, повторявшего: «Смотри, тигр!.. Смотри, тигр!» Тогда я решила подобием ружья нацелиться на тигра. В этот момент поведение Джоди изменилось, он затих. Когда я спросила его, что я сделала, он ответил «беспорядок». И «пластилин». Он прекратил играть и начал капризничать. Я взяла в игровой кубики Лего и сделала для него машину. Джоди оживился, с энтузиазмом взял ее, называя ее «гузовик». Потом я

¹ См., например: *Micheels L.J. Bearer of the Secret // Psychoanalytic Inquiry*. 1985. Vol. 5/1. P. 21–30; рассмотрение Холокоста как «события без свидетелей» см. в книге: *Felman Sh., Laub D. Testimony: Crises in Literature, Psychoanalysis and History*. NY, NY: Routledge, 1992, особенно ch. 1, 2). Лауб и Фелман также увязывают проблему молчания с проблемой поиска другого для обращения.

² Daddy doot (*искаж. англ. Daddy shot*) — Папа убит. — *Прим. пер.*

сделала маленькое строение, и он назвал это «домом». Наконец, я сделала простое ружье, и снова Джоди утратил способность к воображению и назвал это «кубики», просто «кубики». Мне не удалось побудить его по-другому назвать объект, который выглядел как ружье. Примечательно, что он снова начал капризничать. На этот раз я вернула его бабушке.

Спустя два дня произошел инцидент. В палате вместе с Джоди был еще один мальчик лет пяти, у него только что нашли диабет. В два часа дня мне позвонила главная сестра и спросила, что делать с Джоди, который истерически плачет. Никто не мог его успокоить, и никто не мог понять, отчего он стал плакать. Когда я добралась до госпиталя, Джоди по-прежнему истерически плакал и раскачивался, не позволяя нянечкам взять его на руки. Он позволил мне поднять его, и я укачивала его примерно пятнадцать минут, пока он не успокоился. Расспросы показали, что после ланча Джоди с товарищем играли в палате, когда вошла медсестра и сказала: «Время сделать укол инсулина». Из-за этого пустяка Джоди расплакался. Когда сестра сделала укол и его товарищ начал хныкать, Джоди впал в истерику. Сев рядом с Джоди, я поговорила с ним о разнице между инъекцией, которая называлась «уколом», и ружьем, которое могло стрелять¹. Ясно, что Джоди воспринял слово «shot» (укол) в свете своего недавнего опыта и мгновенно ответил на ощущаемую опасность.

Мы дали Джоди для игры пустой безопасный шприц, поскольку его соседу по палате предстояли уколы по несколько раз в день. Джоди, казалось, успокоился. Он «стрелял» шприцем в свою кровать, плюшевую обезьянку, бабушку, нянечек весь день. Когда на следующий день мы играли, он говорил «Папа пиф-паф» («Daddy doot»), размахивая своим шприцем. Он ни разу не произнес слово «shot»².

Можно сказать, что для Джоди речь чрезмерна, чересчур сокрушительна, как слово «shot». Также речь является и средоточием срыва: он может ответить, но не может назвать объект своего ужаса. То есть для Джоди травма передается как род молчания: сам момент был пережит, можно сказать, именно как утрата речи.

¹ По-английски *shot* обозначает «инъекцию», «укол», а также «выстрел» и «застреленный» (от *shoot* — стрелять); эту многозначность существительного *shot* и имеет в виду психиатр. — *Прим. пер.*

² Доклад был сделан Молли Ромер-Уиттен на заседании Международного общества по изучению травматического стресса (осень 1996).

Мы можем заключить, что травма состоит не просто в молчании, окружающем событие. Скорее, это *само событие заключается именно в онемении*. Можно предположить, что для Джоди, как и для других жертв индивидуальных и коллективных травм, онемение составляет травму. И это указывает на совершенно иной тип события. Ведь если травматическое событие может быть понято как замалчивание, тогда инцест, изнасилование и другие травматические события не могут рассматриваться лишь как примеры индивидуальных актов насилия и их симптоматических последствий. Скорее, они несут в себе более масштабное коллективное историческое (и политическое) значение. Можно сказать, что история, которая мне не принадлежит, есть история молчания. И это молчание не является моей собственностью, но несет в себе историю других.

Возможность свидетеля

Если травма не принадлежит индивиду и не может быть привязана к конкретному отрезку времени, то в силу этого передается дальше, чтобы предстать пред взглядом других. В своем запаздывании травма предстает в другом времени и в другом месте. В этом и состоит конечный смысл основного примера Фрейда с кошмаром, который заставляет проснуться: фактически сон говорит «Очнись!», являясь и действием, и требованием, обращенным в будущее.

Французский психоаналитик Жак Лакан распространил понимание травмы как требование видеть и на этическую сферу, увязанную им с самой основой травматического повторения, а также с теми формами свидетельства, которые это повторение востребуют. Лакан предпочитал воспринимать теорию травмы позднего Фрейда сквозь сон Фрейда раннего: сон о горящем ребенке из «Толкования сновидений»¹. В этом тревожном сне отец сидит у смертного

¹ Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа. Семинары. Кн. 11. М.: Гнозис, Логос, 2004. Гл. 5: Tuche и automaton. Прочтение Лакана сквозь призму теории травмы см. в 5 главе моей книги «Unclaimed Experience». Первоначально история сна появляется в 7-й главе работы З. Фрейда «Толкование сновидений» (М.: Эксмо, 2002).

одра умершего от лихорадки сына, окруженного зажженными свечами. Отец уходит в соседнюю комнату, засыпает, и ему снится, что сын подходит к нему, хватая за руку и шепчет с упреком: «Отец, неужели ты не видишь, что я в огне?» Очнувшись, сновидец бежит назад и видит, что его мертвый сын и вправду охвачен огнем от упавшей на простыню свечи.

В этом сне Фрейда поразило то, что он приснился перед лицом неотложной реальности — реального огня, от которого загорелся ребенок. Зачем спать, задается вопросом Фрейд, не лучше ли проснуться перед лицом горящей реальности? Фрейд пытается ответить на этот вопрос, предположив, что отец засыпает, чтобы еще мгновение провести со своим сыном, встретиться с ним еще раз во сне. Но Фрейд делает и более глубокое предположение: отец засыпает просто потому, что хочет спать, хочет (и это сознательное желание) находиться в забытии, оставаясь слепым по отношению к горящей реальности снаружи.

Когда к этому сну обращается Лакан, он отмечает, что история сна, как ее рассказывает Фрейд, есть фактически не просто история о сне, поскольку отца в конце концов будит пожар. Сон не смог удовлетворить желание заснуть. Тогда эта история — не о желании заснуть, но о более удивительном факте отцовского пробуждения. Более того, это пробуждение — ответ на неотложную реальность, ведь пожар случается не только во сне, но и в реальности. Отец должен встать, потому что его сын — на самом деле в огне; именно в этом императиве очнуться Лакан и открывает осмысленное этическое измерение рассказа о сне наяву.

Но откуда происходит этот императив проснуться? Лакан предполагает, что здесь особенно важно пробуждение отца ото сна, так как оно не вызвано обычной эмпирической реальностью — звуком падающей свечи или светом пожара. Ключевыми оказываются слова сына во сне: «Отец, неужели ты не видишь, что я в огне?» Спящего пробуждает сам сон; именно с помощью этого парадоксального пробуждения *ото* сна сновидец сталкивается с реальностью смерти, от которой он не может отвернуться. Подобно тем травматическим кошмарам, с которыми позднее столкнется Фрейд, это сон, который пробуждает, но это пробуждение — ответ на этический императив, возникающий из самой травмы.

В самом деле, призыв ребенка «Отец, неужели ты не видишь, что я в огне?» — это прежде всего мольба, напоминающая о лихорадке ребенка и о его умирании: он упрекает отца, что тот не ви-

дел его горения, его лихорадки и не спас его от смерти. Пробуждение отца на самом деле повторяет его предыдущую несостоятельность, наступив слишком поздно, чтобы можно было остановить горение. Очнувшись, отец видит страдания и смерть ребенка слишком поздно, а потому не может подобающе или адекватно ответить. Он пробуждается поэтому навстречу своей неспособности быть полноценным очевидцем жизни сына — и его спасителем.

Но мольбы ребенка — это еще и команда проснуться: позаботиться о теле, которое теперь горит в соседней комнате. Сын командует отцу отвернуться от несостоятельного свидетеля в прошлом, чтобы тот мог позаботиться о горящих останках сына. Команда видеть поэтому есть команда очнуться от повторяющегося влияния его несостоятельного свидетельства и обратиться к реальности, которую он должен иметь в виду — иметь в виду горящее тело сына, чтобы предотвратить сгорание его останков дотла. Пробудиться поэтому означает выполнить императив выжить, что также значит быть свидетелем останков и слов горящего сына.

В бесконечной вахте, к которой он теперь пробуждается, отец должен быть свидетелем не только тому, что он видит перед собой, но и тому, что он не мог видеть прежде, — огню, который несет в себе другое, менее сокрушительное горение. В пробуждении ото сна содержится императив свидетельствовать, который не просто переводит травму в более простой вид знания, но призывает к новому виду знания, происходящему из самой природы — из разрыва и из запаздывания — травмирующего события.

В образе горящего ребенка из сна Фрейда Лакан пророчески нашел символ центральной травмы XX столетия — огня и горения, что продолжают требовать от нашей культуры новых форм свидетельства и непрекращающегося бодрствования.

В заключение я бы хотела сказать, что роль теории и терапии травмы в акте свидетельства остается сегодня глубоко и тесно связанной с нашими историческими императивами. Психоаналитик травмы Джэйкоб Линди дал одно из самых волнующих описаний свидетельства о Вьетнаме — историю ветерана Вьетнамской войны, которого мучила память об убитом им ребенке. Ребенок был вооружен, и солдат считал, что он должен его убить, чтобы спасти жизнь своих товарищей. Он жалел об этом, вынужденный лежать всего в трех метрах от мальчика, смотреть в его глаза и встречать его взгляд, наблюдая, как тот умирает, всю ночь напролет. Потом этот ребенок преследовал ветерана многие годы. Как вспоминает

Линди, ветеран «Абрахам» многие годы пытался игнорировать память о мальчике и в результате чуть не сломал свою жизнь, будучи не в силах полюбить собственного сына. Сеансы психоанализа вернули его к этой сцене, и вскоре после этого его стали мучить образы Вьетнама. В одном из снов «вьетнамский мальчик тихонько стучит по его плечу, мешая ему заснуть». Ветеран понимает, что мальчик просит его помнить о своих травматических переживаниях, не засыпать и продолжать смотреть мальчику в лицо — не для того, чтобы приковать Абрахама к сцене смерти, но с тем чтобы он смог извлечь из нее урок для своей собственной жизни¹.

Наконец, я считаю, что теория травмы не должна читаться просто как теория, но сама должна быть понята, в своих самых глубоких выражениях, как своеобразное свидетельство. У Фрейда это свидетельство возникает в языке пробуждения, в языке, который, хотя и описывает упорство буквального возвращения травмы, выражает его в образе, выходящем за пределы любого референта². Пробуждение — от буквального пробуждения ото сна к императиву очнуться — термин, который не стоит мешать с обыденным. Скорее, это слово, которое будит, которое, как очнувшийся отец, переходит от горения изнутри к горению снаружи. Язык теории — мой язык, наш язык — следует, по-моему, читать и как внутренний, и как внешний, как жизнь и смерть. Не просто травма и не просто теория, но как проход между жизнью и смертью или как бесконечное свидетельство выживания. И в этом наша задача — в клинической практике, теоретических размышлениях, чтении литературы и институциональных образованиях: внимать этому глубоко историческому и предельно современному призыву быть очевидцем.

¹ *Lindy J.D. Vietnam: A Casebook. Pennsylvania: Brunner/Mazel, 1988.*

² В работе З. Фрейда «По ту сторону принципа удовольствия», мне кажется, центральными образами травмы являются пробуждение и уход. Это не метафоры (искажение буквального), но изначальные образы специфического не переживания — или запоздалого прихода — травмы.

Элиза Мусаева

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ:

записки о поисках смысла
выживания в Чечне¹

Ежедневная работа с человеческим горем под силу не каждому. Однажды корреспондент хорошо известной западной газеты посетил офис нашей правозащитной организации «Мемориал» в Ингушетии. Отдельно в кабинете он беседовал со стариком, сына которого похитили спецслужбы, и судьба его была неизвестна. Мы все хорошо знали этого старика с очень грустными глазами и тихим голосом. После общения с отцом похищенного корреспондент сказал моим коллегам: «Как вы здесь выдерживаете? Я час провел и больше не могу!» А нам казалось, что мы не имеем права уходить в свои «переживания и эмоции», не имеем права жалеть себя. Во-первых, когда вокруг горе, жалеть некому. Страданием никого не удивишь. Если «страдающим» и сочувствуют, то главным образом потому, что они не умеют совладать и справиться со своим горем. Во-вторых, жалеть себя — это роскошь. А нам надо было работать: мы надеялись, что работа правозащитников сможет повлиять на ситуацию, сможет оказать конкретную помощь, сможет донести до мира хоть какую-то правду о том, что происходит в Чечне. Кроме того, мы постоянно напоминали друг другу, что мы, по сути, — счастливые люди: в отличие от сотен тысяч других людей у нас была и есть возможность говорить о происходящем честно, что-то делать и действовать. На фоне этой возможности чувство морального бессилия отступало. И это была и есть наша главная мотивация, дающая нам силу и энергию.

Общаясь с людьми, живущими и работающими в зоне конфликта, с людьми, подвергающимися насилию, не устаешь удивляться тому, как по-разному человек реагирует на такие травми-

¹ Статья основана на материалах, собранных в период с 2000 по 2005 гг., и написана при содействии Фонда помощи ученым при международном институте образования, Нью-Йорк (Institute of International Education, Scholars Rescue Foundation).

ческие ситуации, как бомбежки, насильственная смерть близких, пытки или похищения людей. Одних такие ситуации ломают, в других они обнаруживают внутренние силы, мудрость и глубину. Потрясение от этих различий наталкивает на целую серию вопросов. Отчего одни люди могут перенести выпавшие на их долю испытания, а другие — нет? Какие личностные особенности позволяют пережить трагедии войны и выйти из них несломленной личностью? Для себя я нашла ответы на эти вопросы в книгах австрийского психиатра и психотерапевта Виктора Франкла (1905–1997), с которым я веду внутренний диалог, осмысливая свой опыт и опыт других людей в этой войне. Заочный диалог с Франклом помог мне «систематизировать реальность», осмыслить и понять ее, и об этом мне хочется рассказать в этой статье.

Война ставит человека в особые условия физического и психического выживания. Кажется, что мир сошел с ума, и каждый пытается по-своему осмыслить и понять происходящее вокруг: причины, следствия и собственные ответные реакции. В экстремальных условиях происходит переоценка ценностей и приоритетов. Отмечается то, что вчера казалось важным, теряется значимость суетного и материального. Остается то, во имя чего имеет смысл жить. Именно эту ситуацию в жизни людей и описывал в своих работах Франкл, используя в качестве примера жизнь в концентрационном лагере, где из людей пытались сделать скот. Только человеческое в людях помогало им выжить: сила духа, присущая только человеку.

И в сегодняшней Чечне из человека хотят сделать «ничто». У человека в Чечне нет права на жизнь, достоинство, уважение. Не говоря уже о праве на имущество. Более того, человек оказывается в ситуации *схизиса* (расщепления): официальная государственная власть громогласно декларирует, что защищает права и интересы граждан республики, в реальной же жизни человек не имеет никаких прав. В начале второй войны (1999) в интервью о зачистках часто звучала одна и та же фраза: когда люди пытались воспрепятствовать произволу и напоминали о законе, им отвечали: «Какой закон?! Ты — чечен!» В такой ситуации человек может положиться только на силу своего духа, поняв на глубинном уровне, что он и только он отвечает за себя, за свою жизнь и за жизнь своих близких. Что только он сам может сделать что-то для себя и своих близких. Пытаясь справиться с травматической ситуацией, люди находят опору в человеческих ценностях. Сотни и сотни примеров многолетней чеченской трагедии подтверждают это.

Тема посттравматического стрессового расстройства достаточно хорошо разработана в литературе¹. Поэтому я позволю себе не останавливаться подробно на его диагностике и симптомах. Для меня важен другой аспект данной проблемы. Многие психологи, работающие с травмой, подчеркивают значимость социальной среды для людей, вернувшихся с войны в мирную жизнь². Даже такие мелочи, как «житейские неурядицы, могут продлевать или усугублять посттравматический стресс»³. Что же тогда говорить о людях, для которых нет мирной жизни, к которой можно было бы «вернуться»? В сегодняшней Чечне «посттравматический стресс является не только “пост”, но и непрерывной реакцией на непрерывный стресс»⁴. Можно ли избавиться от травмы в ситуации травмы? Насколько эффективны в таком случае традиционные методы работы со стрессом? С началом второй войны международные организации, работающие в Чечне, пытаются развивать деятельность психологических служб, которая в основном направлена на детей. Однако дети продолжают находиться в травмированных семьях, подвергаясь постоянной ретравматизации. Страхи, тревога, паника, депрессия взрослых транслируется на детей. Что можно сделать в этом случае?

Чеченский конфликт начался в 1994 году. Все эти годы на неотработанные травмы военного периода продолжает накладываться травмирующая реальность настоящего момента. В этом — особенность психологического состояния населения Чечни, динамика развития которого может быть выражена в следующей схеме⁵:

¹ Подробнее см.: *Анциферова Л.И.* Личность в трудных жизненных условиях: переосмысливание, преобразование ситуации и психологическая защита // Психологический журнал. 1994. № 1; *Тарабрина Н.В., Лазебная Е.О.* Синдром посттравматических стрессовых нарушений: современное состояние и проблемы // Психологический журнал. 1992. № 2; *Lifton R.L.* Understanding the traumatized self: Imagery, symbolization, and transformation // Human adaptation to extreme stress / J.P. Wilson, Z. Harel, B. Kahana (eds.). NY: Plenum Press, 1988. P. 7–31.

² *Грининг Т.* Посттравматический стресс с позиций экзистенциально-гуманистической психологии // Вопросы психологии. 1994. № 1. С. 92–96; *Магомед-Эминов М.* Личность и экстремальная жизненная ситуация // Вестник МГУ. 1996. Сер. 14. № 4. С. 26–36; *Ольшанский Д.* Смысловые структуры личности участников Афганской войны // Психологический журнал. 1991. № 5. С. 120–131.

³ *Грининг Т.* Посттравматический стресс. С. 92–96.

⁴ Там же.

⁵ Для своей типологии пролонгированного стресса и травмы я опираюсь на классификацию Александровского и коллег, исследовавших состояние людей

Первая фаза — фаза героизма, связанная с желанием помочь людям выжить¹. Данная фаза состоит из двух ступеней: а) героизм первого столкновения с угрозой для жизни; б) героизм выживания людей, оказавшихся в зоне активных боевых действий, уверенных в том, что все это вот-вот закончится и опять наступит мир (люди, оставшиеся в городе, оказавшиеся без пищи и тепла, укрывавшиеся от бомбежек и обстрелов в подвалах, помогающие и поддерживающие друг друга).

Вторая фаза — фаза «медового месяца», праздник выживших. Эта фаза приходится на конец активных боевых действий в Чечне в первую войну: выжившие рады видеть друг друга, они верят в то, что теперь начнется новая счастливая жизнь. Калькуляция потерь, переоценка ценностей (возрастает осознание цены человеческой жизни, и снижается значимость материальных ценностей). Пик данной фазы пришелся на выборы президента Масхадова в январе 1997 года. По сути, это были первые свободные выборы в республике. Каждый осознавал принадлежность к историческому моменту, значимость своего голоса, значимость своей личности: я — есть, я — жив, я могу на что-то влиять в этой жизни. С одной стороны, эйфория от свершившейся справедливости (схожей с тем, что мы наблюдали после путча 1991 года в России, «революции роз» в Грузии, «оранжевой революции» на Украине), а с другой — единение народа вокруг одного лидера.

Третья фаза — фаза разочарования. Эта фаза наступила уже через шесть месяцев после президентских выборов. Невыплата зарплат и социальных пособий, нищета, разруха, разгул криминала, похищение и торговля людьми, беспомощность властей в борьбе с этим. Навязывание населению чуждого ему исламского фундаментализма. На тяжелые отношения внутри республики накладывается враждебная обстановка вокруг нее: из-за похищения людей мир отказывает Чечне в сочувствии.

Четвертая фаза — фаза восстановления или фаза частичного взятия ответственности на себя, фаза отказа от надежд на государство. Люди начинают понимать, что помощи им ждать не от кого, и сами пытаются восстанавливать свои жилища, наладить быт,

в относительно коротких по времени экстремальных условиях (стихийные бедствия и т.д.). См.: Александровский Ю., Лобастов О., Спивак Л., Шукин Б. Психогении в экстремальных ситуациях. М., 1991. С. 96.

¹ См.: Александровский Ю. и др. Психогении в экстремальных ситуациях. С. 17.

защитить себя от криминала: мужчины-соседи по ночам патрулируют свои улицы, многие покупают оружие для самообороны. В людях еще жива инерционная вера в то, что старый привычный мир можно вернуть. Они все еще продолжают жить ценностями довоенной жизни, словно не замечая войны и нынешней ситуации. И хотя соответствующей статистики нет, нетрудно предположить, что война и ее последствия, коснувшиеся в разной степени всех жителей республики, оставили мощный травматический след в психике людей. На эти переживания новым слоем легли травмы, связанные со второй войной.

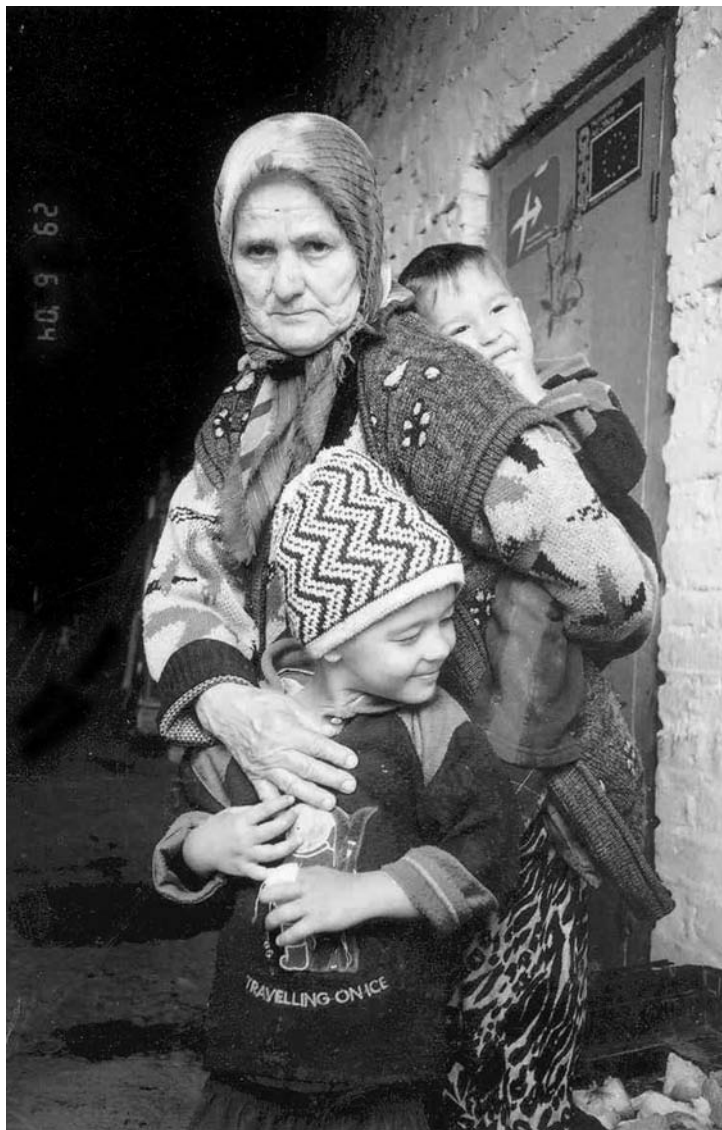
Несмотря на то что после Хасавюртского договора 31 августа 1996 года в республике были самые упаднические настроения, возможности второй войны предположить не мог никто. Война по определению не может быть гуманной. Но первая чеченская война была «добрее», чем вторая. Эти две войны различаются между собой так же, как Первая и Вторая мировые войны. Известный чеченский писатель Султан Яшуркаев, проживший первую войну в Грозном, хорошо сформулировал это различие между двумя войнами в интервью: «...Первая чеченская война была просто цветочки по сравнению со второй. Эта уже была войной на уничтожение. Фронтальное. Бомбы, самолеты, мертвые валяются, люди, собаки. Мертвые еще ничего, но когда человек с оторванной ногой или рукой просит помощи? Это жутко»¹.

«Каждой эпохе присущ свой коллективный невроз», — пишет Виктор Франкл в своей работе по логотерапии². Коллективный невроз в сегодняшней Чечне можно попытаться охарактеризовать как коллективный стресс, точнее — как ту последнюю стадию сопротивляемости стрессу, за которой может следовать либо избавление от ужаса, либо смерть³. Каждый раз кажется, что больше уже

¹ Залесова-Докторова Л. Разговор с автором книги «Царапины на осколках» Юнусом Сэшиллом // Звезда. 2003. № 10.

² Франкл В. Основы логотерапии. Психотерапия и религия. СПб.: Речь, 2000.

³ Как известно, Ганс Селье ввел понятие адаптационного синдрома как реакции организма на стрессоры. В развитии этого синдрома Селье выделял три стадии: *стадию тревоги*, заканчивающуюся мобилизацией защитных реакций организма; *стадию сопротивляемости*, которая характеризуется повышением устойчивости организма, сбалансированным, умеренным расходом адаптационных ресурсов; и *финальную стадию*, на которой происходит либо окончательная стабилизация организма и устранение стрессора, либо истощение, которое может закончиться смертью. См.: Селье Г. Стресс без дистресса. М.: Прогресс, 1979. С. 125



Бабушка со своими внуками
Ингушетия. Лагерь для беженцев. 2004

выдержать нельзя. Этот коллективный стресс, которому присущи чувства обреченности, безнадежности и беспомощности, я буду называть *синдромом тридцать седьмого года*.

Синдром тридцать седьмого года: «Там все говорили шепотом»¹

Весной 2003 года я стала свидетельницей разговора двух женщин, который я хотела бы привести здесь. Одна из них рассказывала о своей поездке в маршрутном автобусе по полупустому Грозному летом 2000-го:

— Неожиданно нам дорогу перекрыл БТР, и нам пришлось остановиться. Мы ждали, пока БТР отъедет. Люди в маршрутке начали нервничать. Многим надо было добираться из Грозного в отдаленные районы, в республике действовал комендантский час, и каждая минута была дорога. В конце концов один из пассажиров — старик — не выдержал, вышел из машины, подошел к солдатам, сидевшим на БТРе, и стал просить их освободить дорогу. (У стариков особое положение в Чечне. Они привыкли, что к их мнению прислушиваются и уважают их возраст. — Э.М.) Один из солдат, сидевших на БТРе, плюнул сверху вниз, в лицо старику. Мы все, находившиеся в маршрутке, это видели. И видели лицо этого старика... Один из молодых парней, находившихся с нами, не выдержал и попытался выскочить из машины, чтобы заступиться за старика. Мы все пытались остановить его, что-то объясняли ему, говорили ему, что они просто убьют тебя. Парень сказал: «Даже если *они* не убьют меня, я уже умер». Он выскочил из машины... Его расстреляли на наших глазах. И вот я часто думаю: *он вышел из этой машины, а мы все в ней так и остались*.

— Хорошо, что сразу убили, не запытали, — ответила ей вторая женщина².

¹ Анна Ахматова о временах сталинского террора и репрессий. См.: Ахматова А. Реквием // Ахматова А. Лирика. Минск, 2002. С. 362–371.

² Полевые записи. Чечня. 17 марта 2003.

В приведенном диалоге сказано о двух самых важных факторах в мироощущении живущих сегодня в Чечне. О том, как жить *после* того, как произошло невозможное, после чего тебе кажется, что ты «уже умер». Именно это имеет в виду женщина, когда говорит, что «мы все так и остались в машине», т.е. продолжаем в ней находиться. Это *жизнь после жизни*. После *нормальной* жизни. Если под нормой понимать такие понятные всем человеческие ценности, как честь, достоинство, порядочность, любовь, добро. В итоге *смерть может казаться иногда благоприятным исходом*, потому что есть вещи страшнее смерти¹.

Если в начале войны (в 1994-м) у людей была потребность «докричаться» до внешнего мира (олицетворением внешнего мира для людей тогда был ООН; именно с шапкой «В Организацию объединенных наций» чаще всего писали письма, наивно надеясь, что мир просто не знает о том, что происходит в Чечне), то теперь эта потребность «трансформировалась» в апатию, неверие, примире-

¹ Не только психологическое состояние людей, но и реальная действительность дают основание проводить параллели между сегодняшними событиями в Чечне и ситуацией 1937 года в СССР. Вот что говорят об этом исследования Правозащитного центра «Мемориал»: «В 1937—1938 годах, в период большого сталинского террора, сотрудники НКВД приезжали по ночам, арестовывали людей, после пыток и пародии на суд их расстреливали, а родственникам говорили: они-де осуждены на десять лет дальних лагерей без права переписки. Таким образом исчезли сотни тысяч человек. Всего в годы большого террора были казнены около 750 тысяч из примерно 170 миллионов тогдашнего населения Советского Союза — 44 на 10 тысяч жителей.

Сегодня, 65 лет спустя, в Чечне по ночам на бронетранспортерах приезжают вооруженные «федералы» в масках, увозят людей — и те «исчезают». Во всех официальных структурах отрицают свою причастность к их задержанию. Иногда родственники находят тела «исчезнувших» со следами жестоких пыток. Впрочем, чтобы исключить опознание, во многих случаях тела взрывают. Сколько человек «исчезло» таким образом, точно никто не знает. По сведениям российской прокуратуры, на январь 2003 года — более 1660, а согласно данным Комиссии по розыску пропавших без вести при правительстве Чечни — свыше 2800. Ни Администрация Кадырова, ни российская прокуратура не заинтересованы в завышении числа пропавших. Пересчет «на советский масштаб» дает 46 исчезнувших на 10 тысяч жителей» (см.: Здесь живут люди. Чечня: хроника насилия. М.: Звенья, 2003).

К вышеизложенному можно добавить, что со времени написания книги ситуация усугубилась: похищениями, пытками и убийствами людей теперь занимаются не только федеральные войска, но и официальные чеченские силовые структуры.



Памятник Ахмаду Кадырову в Грозном
ПЦ «Мемориал»

ние со своей участью. «Мы объявлены на весь мир бандитами. Кто за нас заступится? Кому мы нужны?»

«Синдром тридцать седьмого года» проявляется и в охватившем людей тотальном страхе. Люди боятся не только жаловаться на то, что произошло с ними, но и просто говорить о том, о чем они думают. И это не просто страх смерти, естественный для человека. Это прежде всего страх насилия — морального и физического. Насилия, объектом которого могут стать твои близкие или ты сам. Насилия, которое вызывает ощущение собственного бессилия перед ним, тотальную обреченность и потерю контроля над ситуацией. В беседе со мной местный журналист, коллега которого был похищен в Чечне и пропал без вести, так выразил суть этого состояния: «Я устал от этого дикого животного страха внутри меня, что со мной может случиться то же самое. И никто не сможет помочь!»¹

¹ Полевые записи. Чечня. 17 апреля 2004.

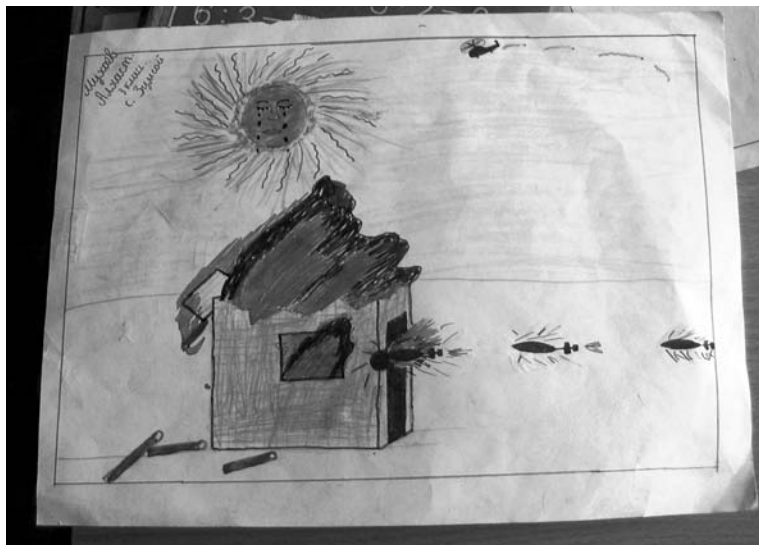


Рисунок мальчика, живущего в высокогорном селе Зумсой.

Мальчик — свидетель жестокой зачистки, в ходе которой был похищен и пропал без вести его старший брат 14 лет. На рисунке изображено плачущее солнце (солдаты, проводившие зачистку и похитившие его брата, прибыли в село на вертолетах)

ПЦ «Мемориал»

Перефразируя известное выражение, можно сказать: ожидание насилия хуже насилия. Сила этого парализующего страха так велика, что смерть кажется избавлением. В Чечне часто можно услышать: «Говорили наши старики, что настанет время, когда живые будут завидовать мертвым. Это время наступило». Глубоко религиозный Бердяев даже оправдывал самоубийство в таких случаях: «человек убивает себя, потому что его ждет пытка и он боится совершить предательство, это, в сущности, не есть даже самоубийство».¹

Это — общее, *фоновое* состояние, на которое накладываются личные трагедии. Далее я расскажу о том, как человек ведет себя в ситуациях, связанных с насильственной смертью близких, с похищениями и исчезновениями членов семьи, с пытками, наси-

¹ Бердяев Н. О самоубийстве. Paris: YMCA-PRESS, 1931. С. 14.

ем и унижением человеческого достоинства личности. Я все же попытаюсь понять: что дает людям силы выжить?

Общеизвестно, что насильственная смерть более травматична, чем смерть естественная. В сегодняшней Чечне травма семьи, потерявшей близкого человека, усугубляется тем, что виновные в смерти не несут за это никакой ответственности и наказания. Справляются с этим потерпевшие по-разному. Чаще всего имеет место уход в пассивное горевание и безысходность. Но есть примеры конструктивного совладания с такого рода травмами. Хотелось бы привести здесь случай Мадины¹. В одном из населенных пунктов Чечни боевик, убегавший от преследующих его федералов, заскочил в первый попавшийся двор. Это был дом, где жила Мадина со своей семьей. Дом был окружен, боевик убит, двух сыновей Мадины, ни к чему не причастных и ни в чем не повинных, федералы избили и забрали с собой. Семья начала поиски пропавших, все усилия были тщетны. По счастью, один из российских военнослужащих продал семье информацию о месте захоронения сыновей.

Эта история типична для Чечни. Более того, такой исход считается счастливым, ибо есть кого хоронить и оплакивать. Нетипично поведение Мадины — матери погибших, которая поставила перед собой цель найти виновных в смерти своих детей. Семья Мадины жила в одном из самых опасных районов Чечни, и потому угроза нависла уже над ней самой, но энергия ее материнской мотивации была столь велика, что Мадина смогла добиться от органов реального следствия, узнала имена тех командиров, кому передали ее сыновей еще живыми. Естественно, что следствие остановлено, и виновных никто не собирается наказывать. Но Мадина передала дело в Европейский суд и инициировала создание женской организации, объединяющей таких же матерей, как и она сама. Этот пример показывает, что только наличие смысла (ради чего стоит жить?) дает возможность преодолеть ситуацию, способную полностью разрушить веру личности в собственные силы. Никто не мог «дать» этот смысл Мадине со стороны, ей не с кого было копировать свое поведение.

Смысл уникален, у каждого человека он — «свой». Он открывается человеку, и тогда уже человек решает, принять его или нет. В этом — свобода его выбора, и благодаря этому он остается хозяином

¹ Здесь и далее имена изменены.

ном своей судьбы, а не жертвой событий. Для Франкла жизнь человека обретает смысл через реализацию ценностей творчества (деятельности), ценностей переживания (добра, любви, созерцания красоты) и ценностей отношения. В случае с Мадиной налицо обретение смысла через реализацию ценностей первого типа — деятельности, что позволило ей не только не уйти в пассивное горевание, но и дало возможность выйти за рамки своей личной истории.

«Чистый» пример обретения смысла через ценности творчества — это написание книги Султаном Яшуркаевым, уже упоминавшимся выше. Находясь под бомбежками в Грозном, он вел дневники, которые впоследствии стали книгой «Царапины на осколках». Свою книгу писатель заканчивает словами: «Не знаю, будет ли она нужна и полезна другим, но она уже помогла выжить одному человеку — автору»¹.

«А туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел»²

Горе синонимично смерти. А как быть, если близкий человек не умер, а пропал без вести? Как мириться и жить с этой утратой? И утрата ли это? Возможно, он еще жив, а мать, жена, отец прекратили поиски. Возможно, он лежит где-то среди трупов в массовой могиле? Сколько лет будут выходить близкие из переживания *такого* горя? И как? Каждый найденный труп, захороненный неопознанным, означает, что еще одна мать до конца своих дней не будет знать о судьбе своего сына. Найдет ли она успокоение? И как она будет жить с этим?

Работа горя — это закономерный процесс устранения образа объекта для сохранения его в памяти, это работа памятования³. Пропавшие без вести не могут быть оплаканы, «отпущены», «отпамятованы» как умершие. Такое горе не может быть завершено, это всегда открытая и кровоточащая рана.

¹ См.: Залесова-Докторова Л. Разговор с автором книги «Царапины на осколках».

² Ахматова А. Реквием.

³ См.: Василюк Ф. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций). М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984.

Мой личный опыт работы с семьями пропавших без вести, опыт моих коллег показывает, что пострадавшие семьи обычно проходят ряд общих стадий. Первая из них связана с попыткой *осознать факт потери* и обычно сопровождается ощущением, что произошла ошибка, что «разберутся и отпустят». Появляются иллюзии, что можно повлиять на ситуацию; кажется, что сына, мужа можно вернуть, что это не навсегда. «След его еще теплый», и родители, близкие пытаются задействовать всех, не понимая, как мир может спокойно существовать, если *такое* произошло. Во время второй стадии происходит своего рода *столкновение с реальностью*. Равнодушие, бездействие и беспомощность правоохранительных структур способны вызвать сильный стресс, но мысль о том, что близкий может быть утерян навсегда, еще не допускается. Постепенно появляется осознание того, что *это может быть навсегда*. Кульминация: «Я перечеркнул всю мою прежнюю жизнь» (В. Франкл), «ото всех уже отделена» (А. Ахматова). Наконец наступает *глубокая депрессия*, часто переходящая в болезнь. Потеря воспринимается как нечто, посланное свыше, судьбой.

Случай с Хедой служит примером наиболее типичного — «неконструктивного» — проживания потери пропавших. Хеда — мать двух пропавших без вести сыновей. Особенно травматичным для нее является тот факт, что она, с ее слов, «сама их отдала»: «Когда они стали их забирать, я сначала бросилась не пустить, но потом подумала, что, если я их злить не буду, они моих мальчиков там бить не будут. Заберут по-хорошему, проверят и отпустят».

Первая реакция Хеды на травму: как мир не перевернулся после этого?! Как вы все можете ходить, есть, говорить, если такое произошло?! Приходя на прием к юристу в нашу правозащитную организацию, она возмущалась его «бездействием» и «беспомощностью». Временами бывала агрессивной. Через некоторое время стала очень тихой, беспомощно плакала и говорила почти шепотом. Позже сказала: «Я и боюсь жаловаться. У меня же еще два сына дома. Я боюсь их (федералов. — Э.М.) злить». Налицо «синдром тридцать седьмого года». Хеда так и не смогла «принять» происшедшее. Несмотря на то что у Хеды есть еще дети, есть обязанности хозяйки дома, жизнь потеряла для нее всякий смысл.

В случаях с пропавшими без вести обретение смысла чаще всего происходит через «ценности отношения». Ценностям этого рода Франкл придавал особое значение. Речь идет о ситуациях безысходного страдания, когда ценности творчества и ценности пережи-

вания не могут быть реализованы. У человека остается выбор того, как он встретит свое страдание. Как писал Франкл, «именно тогда человеку дается последний шанс осуществить высшую ценность, реализовать самый глубокий смысл, смысл страдания. Ибо самое важное — это позиция, которую мы принимаем по отношению к страданию, позиция, при которой мы берем на себя это страдание»¹. Примечательны слова, сказанные матерью одного из пропавших без вести после посещения очередного массового захоронения. Трупы были почти неопознаваемы, женщина пыталась обнаружить хотя бы обрывки одежды. Рассказывая об этом, она сказала: «Я каждого сына с головы до ног оглядела»². Для этой женщины смыслом — и способом совладания с утратой — стало стремление найти и похоронить *каждого пропавшего без вести* как собственного сына.

«Узнала я, как опадают лица,
как из-под век выглядывает страх»³

«Жить так, как будто ничего не произошло, — не могу, а как жить дальше, не знаю», — сказал в беседе со мной человек, прошедший через пытки фильтрационного лагеря⁴. Людям из этой категории пострадавших надо начинать жизнь после жизни, потому что, по их представлениям, в той, старой жизни они были сильными, смелыми, отстаивали свою честь, имели права и достоинство. «Я человек! Я не животное!» — кричал на встрече с журналистами в июле 2001 года в палаточном лагере Ингушетии мужчина, подвергшийся пыткам и издевательствам⁵. Ситуация для этих людей усугубля-

¹ Франкл В. Основы логотерапии. С. 198.

² Фонограмма беседы. Чечня, Старые Атаги. 3 февраля 2002.

³ Ахматова А. Реквием.

⁴ «Пытка — это насилие, направленное непосредственно против физической и психической целостности человека. Оно может быть как физическим, так и психологическим. В ситуации пытки человек находится полностью во власти палачей. Глубинная цель пытки — это унижение жертвы, подавление чувства ее достоинства, разрушение самоидентичности, воли, личностных границ, превращение человека в беспомощное, сломленное существо. У Вирта назвала это “методом убийства души”» (см.: Солдатова Г. Психологическая помощь мигрантам. М.: Смысл, 2002. С. 24).

⁵ Полевые записи. Ингушетия, палаточный лагерь «Барт». 12 июля 2001.

ется тем, что после освобождения они не только не могут рассчитывать на справедливое возмездие и наказание виновных, но и вынуждены молчать о том, что с ними произошло. Как отмечает исследовательница психологии мигрантов Галина Солдатова, в процессе восстановления от травмы принципиально важно не ограничивать тему справедливости только кругом непосредственно пострадавших. Необходимы также «официальные и публичные процедуры, осуждающие организаторов и исполнителей насилия. Безнаказанность чинивших насилие нарушает чувство реальности и препятствует восстановлению доверия и обретению внутреннего покоя»¹. Отсутствие подобных процедур становится дополнительным травмирующим фактором. Более того, в Чечне человек может ожидать, что поддержка и восстановление возможны *исключительно* в среде семьи и друзей. Но нередко родственники и друзья не могут вынести силы страданий потерпевшего — в итоге начинается процесс их собственной психической ломки. Чтобы избежать таких последствий, шадя и оберегая близких, жертвы носят боль в себе.

Естественно, пострадавшие не проходят никакой психологической реабилитации. Создавать специальные центры по реабилитации для тех, кто прошел через фильтрационные лагеря, пытки и насилие, значило бы косвенно признать существование этих явлений в Чечне. В сегодняшней ситуации это практически невозможно. Пострадавшие могут рассчитывать только на себя. Как же справляются с этой невыносимой ситуацией жертвы пыток и насилия? Случаи конструктивного преодоления травмы не так часты. В качестве примера приведу случай Турпала.

Турпал — известный в республике врач. Зимой 2003 года неизвестные люди в масках похитили Турпала из его собственного дома. Около месяца держали его в неизвестном месте, в неотапливаемом помещении, подвергая все это время пыткам и избиениям. Причиной задержания стало то, что в промежутке между войнами он лечил одного из известных полевых командиров. «Эпопея» Турпала закончилась тем, что его выкинули на окраине Грозного.

Через несколько дней после «освобождения» мы посетили Турпала. В отличие от многих людей, прошедших через подобное испытание, он не выглядел подавленным. Сдержанно и как бы отстраненно рассказывал о перенесенных пытках и издевательствах, пытался шутить и иронизировать на эту тему. (В борьбе за самосох-

¹ Солдатова Г. Психологическая помощь мигрантам. С. 100.

ранение юмор — особое оружие.) Однажды в окно сарая, в котором содержался Турпал, заглянул прокурор и спросил: «Права человека нарушаются?» — «Нет, — ответил Турпал, — потому что прав нет». С особым оживлением Турпал говорил о людях, которые ему там помогали:

Там были солдатики-призывники. Они мне то воду принесут, то еду. Им нельзя было называть своих имен, но они мне себя назвали. Я эти имена на всю жизнь запомню. Если меня приносили после пыток, они пытались меня словом успокоить, поддержать. Я когда оттуда вышел, я плакал. Я думал: «Если такие люди еще есть, значит, не все потеряно на земле»¹.

Для этого человека в самых страшных условиях смысл существования определялся ценностью человеческих отношений. Именно это помогло Турпалу выстоять и не сломаться. Но, как справедливо утверждает Франкл, смысл не дается раз и на всю жизнь. У каждого момента — свой смысл.

Через полтора года мы навестили Турпала вновь. Он немного сожалел о том, что его случай стал известен журналистам, так как переживал за свою семью и не хотел «злить» федералов. Но больше его тревожило другое.

Те, кто меня пытали и допрашивали, знали про меня все. Все обо мне и моих близких, все про мою жизнь. Они даже знали, что я помогал соседу фундамент дома заливать. Я теперь все время думаю, что человек, который им это сказал, живет где-то рядом со мной, называет себя моим другом, приходит в мой дом, улыбается мне. И я не могу с этим жить. Это мучает меня. Я уже становлюсь подозрительным. Я же через такой ад по его вине прошел. А он, наверное, продолжает бывать у меня, общается со мной².

Я ответила ему национальным «штампом»: «А ты не боишься, что начнешь подозревать кого-нибудь, а это окажется невинный человек?.. Как говорят вайнахи³: “Тот, кто украл, согрешил один раз; тот, у кого украли, согрешил десять раз, потому что подумал

¹ Полевые заметки. Чечня. 15 января 2003.

² Там же.

³ «Вайнахи» («наши люди») — самоназвание чеченцев и ингушей.

на десятерых»». В ответ Турпал заметил, что часто сам повторяет себе эту фразу, но помогает это ему ненадолго. В разговор попытался вступить мой спутник Иса, встретившийся с Турпалом впервые. Но тот не был расположен общаться с незнакомым человеком. Я объяснила Турпалу, что Иса прошел через такие же испытания. В дальнейшем Турпал обращался уже не ко мне, а только к Исе. Особое воздействие на него произвел совет Исы, который со всей искренностью сказал: «Ты будешь в десять раз сильнее, если не будешь думать об этом и о тех, кто это сделал. Они почувствуют это, почувствуют твою силу, и большего наказания для них не будет». Живо откликнувшись на это, Турпал подтвердил: «Да, да! Ты прав, ты прав! Я же слабею от этих мыслей!»¹

Здесь я бы хотела опять вернуться к идее Франкла о том, что смысл не есть нечто заданное раз и навсегда, смысл всегда созвучен конкретному времени. Когда Турпал находился в неволе, у него был один смысл, дающий ему силы выстоять. Новая ситуация поставила Турпала перед необходимостью поиска нового смысла, и описываемая сцена практически является моментом смыслозарождения и смыслообретения. Смысл нельзя передать или навязать, и поэтому мои слова не произвели на Турпала особого впечатления. Но слова, сказанные Исой, были восприняты Турпалом. Это смысл, реализуемый через ценности отношения: человек меняет свое отношение к тому, что не может изменить, и в этом находит для себя силы для выхода из сложной ситуации.

Без свободы «поиска оснований, благодаря которым становится возможным принятие правильного решения», процесс смыслообретения невозможен¹. И решение в данном случае определяется не только доступом к той или иной информации. Важным также является *субъективная значимость* информации. Ученик Франкла Альфред Лэнгле, австрийский психиатр и автор метода экзистенциальной мотивации, отмечает: «...Та возможность, которая по своему значению и ценности понимается нами как наилучшая в данной ситуации, включая в себя все многообразие имеющегося в настоящий момент бытия, отражает смысл ситуации. Это и есть определение экзистенциального смысла»³. Простые слова,

¹ Полевые заметки. Чечня. 30 сентября 2004.

² Лэнгле А. Жизнь, наполненная смыслом. М.: Генезис, 2004. С. 44.

³ Там же. С. 46.

сказанные Исой, отражали эту возможность для Турпала и пото-
му стали для него смыслом.

Анализируя опыт выживания в экстремальной ситуации, было бы упущением обойти вниманием жизнь десятков тысяч беженцев, живших или продолжающих жить в лагерях беженцев в соседней с Чечней Ингушетии. Многие из них жили в наскоро приспособленных для жилья производственных помещениях, в бывших молочно-товарных фермах, в палатках. С одной стороны, дома война со всеми ее страшными последствиями; с другой стороны, экстремальные условия беженской жизни оказывали неблагоприятное воздействие на психику населения. Но надо отметить, что и здесь многими был найден свой смысл, помогающий справляться с экзистенциальным отчаянием. Смысл на «микроуровне». Для женщин он заключался в попытке максимального благоустройства лагеря, в поддержке постоянной чистоты в помещениях. Речь идет даже не о палатках, где это можно было сделать более или менее легко, поскольку палатку обычно заселяла одна, редко — две семьи. Идеальная чистота наблюдалась в плацкартных вагонных составах, где одно время жили беженцы. Несмотря на то что эти вагоны стояли в поле, в них всегда было чисто, и человек, входящий в вагон с улицы, должен был снимать обувь. Мужчины обретали смысл в попытках найти пусть временный, но заработок. В результате и эта жизнь оторванных от своих родных очагов людей чаще всего была не просто прозябанием беженцев, но жизнью, наполненной смыслом. Что лишний раз подтверждает слова психологов-экзистенциалистов о том, что «бессмысленность сложно переплетена с досугом и невовлеченностью: чем больше человек вовлечен в повседневный процесс жизни и выживания, тем реже возникает эта проблема»¹.

Преодоление травмы в Чечне во многом связано с двумя факторами, роль которых я бы хотела особенно подчеркнуть. Во-первых, речь идет о *традиционном характере* чеченского общества: чеченцы во многом сохранили свой патриархальный уклад, свою социальную систему и структуру отношений. И если учесть, что одной из причин «экзистенциального вакуума», этой болезни XX века, являлось именно разрушение старого уклада, в котором человек контролировал свое жизненное пространство, то поло-

¹ Ялом И. Экзистенциальная психология. М.: Класс, 1999. С. 500.

жительная роль сохранения старого уклада в нашей ситуации очевидна. В традиционном обществе человек никогда не оказывается один: социальная структура семьи (малой и большой), непосредственное окружение становятся и средой существования, и институтом поддержки. И сегодня в Чечне — даже при наличии синдрома тридцать седьмого года — люди выходят на массовые акции протеста к зданию правительства или перекрывают федеральные трассы, если украли жителя их селения. Основным организующим институтом в таких массовых акциях являются именно локальные связи, объединяющие близких и дальних родственников, знакомых, соседей, односельчан.

Многие авторы, пишущие об утрате и работе горя, отмечают роль исторически сложившихся моделей социальной поддержки (традиций) в преодолении горя в патриархальном обществе¹. В довоенный период, где бы ни жили вайнахи, умирать и хоронить их привозили домой, на родину. Миграция, связанная с военным конфликтом в Чечне, внесла изменения в данный закон жизни. Народ уже смирился с тем, что вайнах может умереть на чужбине; однако похоронен он должен быть дома. Родственники, близкие, друзья, знакомые, которые не могут поехать в Чечню на похороны, приходят выразить соболезнование и поддержку семье умершего в те места, откуда увозится умерший (чаще всего это аэропорты). Если же умирает живущий за рубежом чеченец-беженец, то на транспортировку покойного домой собирают деньги чеченцы-беженцы, живущие в разных европейских странах. Культурно-исторические традиции чечено-ингушского общества, таким образом, не только выполняют позитивную функцию в сегодняшней экстремальной ситуации; будучи очень адаптивными, сложившиеся модели поведения и восприятия оперативно «замыкают круг» разомкнутого привычного образа жизни.

Вторым важным фактором, способствующим преодолению травмы, является *религиозность* чеченцев. То, что Франкл называл «трансцендентностью совести»², ощущается здесь особо остро. Человек, верующий в Бога, должен жить, заботиться о себе, о близких, не гневить Всевышнего. Эти настроения живут в социуме, они отражены в национальных поговорках, которые являются не про-

¹ См., например: Франкл В. Основы логотерапии. С. 193.

² Франкл В. Основы логотерапии. С. 250.

сто устойчивыми словосочетаниями, но реально действующими социальными установками, морально-религиозными опорами¹.

Известное психологам «сравнение, идущее вниз» (когда в горе человек утешает себя тем, что может быть еще хуже) здесь является не самозащитой, а конструирующей отношение позицией, вышшим достижением которой будет мудрость. В связи с этим вспоминается рассказ женщины, брат которой пропал без вести:

Я возвращалась с очередного массового захоронения. Брата я там не нашла, ехала в автобусе и плакала. Женщина, сидевшая рядом, поинтересовалась, что случилось. Я рассказала. Она посочувствовала мне, а потом сказала: «У меня в бомбежке троих детей и мать убило». И я подумала, что Бог ко мне добрый².

Религиозность чеченцев — это мощный фактор выживания в жизненных испытаниях. «Все от Бога. Бог захочет — выживем, Бог захочет — умрем. Ни власть, ни враг не могут нас уничтожить и сломать». Отрывок из повести Султана Яшуркаева — еще одна хорошая иллюстрация этого отношения. Писатель приводит рассказ соседа, вместе с которым он пережил бомбежки Грозного в первую войну:

В молодости Сапарби сидел. Посажен был на десять лет. Взяли с ребятами магазин и другие дела делали, все — от голода и нужды, говорит он. В лагере из чеченцев он был один, кличка у него там была Ручной Зверь. В лагере он был отказником, то есть отказывался работать. Он протыкал себе вену на ноге швейной иглой и вводил туда молоко (когда случалось достать хоть каплю этой драгоценной жидкости).

Нога распухала, и он не выходил валить лес. Его подолгу держали в карцере в одном белье. В карцере был настоящий мороз, понизу мело снегом. Потом в лагере появился еще один чеченец. Ему было за тридцать. Он сказал: «Сапарби, ты не отчаивайся, их суд — не суд, насколько нас Бог осудил, столько и отсидим, не порть себе

¹ «Дала дин чуна со реза ву» («Я принимаю все, что посылает мне Бог»); «Дала ыгъазгъа ма гъойл сона» («Да не прогневаются на меня Бог»); «Дала дика ву» («Бог милостив»); «Дала кера дја делла аса иза» («Я отдаю это на Божий суд»); «Дала керахъ ду иза» («Все в руках Бога»).

² Фонограмма. Грозный. 10 августа 2003.

здоровье, не калечь себя, иди на работу». И Сапарби пошел, и уже без работы не мог. Через два года после смерти Сталина его освободили. Он отсидел пять лет и два месяца¹.

Очевидно, что травма меняет человека. Как отмечает в своей работе психолог Федор Василюк: «Результат переживания этой невозможности (кризиса) — метаморфоза личности, перерождение ее, принятие нового замысла жизни, новых ценностей, новой жизненной стратегии, нового образа — Я»². Но всякая ли личность способна на такую «перетряску»? Может, вслед за Абрахамом Маслоу (который предлагал исследовать психологическое здоровье личности не через отклонения, как делали многие его предшественники, а через изучение особенностей психологически успешных людей, «чемпионов здоровья») стоит говорить об изучении личностных особенностей людей, самостоятельно преодолевших последствия экстремальных ситуаций через смыслообретение? Вероятно, можно выявить личностные характеристики, своего рода личностную предрасположенность к такого рода умению. Это может стать темой отдельного исследования. Здесь я хотела бы подчеркнуть, что обозначенная личностная предрасположенность свойственна людям, которых я называю «дающими» — в отличие от людей «берущих».

Для людей первого типа свойственно не ждать помощи от других, но самим давать ее. Они своего рода эмоциональные доноры в отношениях с людьми. В любых ситуациях (пережидание бомбежек в подвалах, жизнь в фильтрационном лагере) всегда находится кто-то, кто поддерживает других, берет на себя лидерские функции, хотя сам объективно находится в таких же условиях. «Берущие» же, напротив, ждут и часто требуют от жизни и окружающих помощи и понимания.

Фактически в данном случае речь идет о локализации источника контроля. Для людей «дающих» контроль — явление «внутреннее», связанное с активным принятием на себя ответственности за ситуацию, ее развитие и решение возникающих проблем. Для «берущего» типа источник контроля всегда вовне, что соответственно проявляется в ожидающей, пассивной жизненной позиции.

Приведу лишь один пример из практики своей работы в «Ме-

¹ Яшуркаев С.Я. Дневник чеченского писателя. <http://lib.ru/MEMUARY/CHECHNYA/dnewnik.txt>.

² Василюк Ф. Психология переживания. С. 47.

мориале». Артур (23 года) — единственный сын у матери, которая воспитывала его одна, без мужа. В начале войны юноша выехал с матерью из города. Они жили в селе беженцами, но мать (стоматолог по профессии) переживала за оставленное в городе медицинское оборудование. Чтобы успокоить мать, Артур поехал в город за оборудованием. Там он попал под бомбежку и был ранен. Из госпиталя, где Артур находился вместе с ранеными боевиками, его забрали «федералы» и отправили в фильтрационный лагерь Чернокозово, славившийся в то время жестокостью. В лагере молодой человек получил от матери письмо, в котором та жаловалась на дразни между родственниками, обвиняющими ее в чем-то. В ответном письме, успокаивая и утешая мать, сын обещал «разобраться со всеми, кто ее обижает». Меня в этой истории поразило, что мать, обращаясь к сыну, находящемуся в аду, не могла выйти из роли «берущей».

Окружающим «дающие» кажутся неуязвимыми. Это иллюзия. Они так же подвержены травмам, но преодолевают их не как все. Со стороны же заметна лишь сила «дающих», со стороны кажется, что «дающим» «все нипочем», что «ничто их не берет». Вместе с тем «дающие» — это пример для подражания тем, кто рядом и кто не так силен. «Если он (она) может, значит, и я смогу». Это образец конструктивного поведения и совладания с ситуацией, когда все вокруг кажется абсолютно безнадежным и безысходным.

Что происходит в кризисных ситуациях? Внешний хаос разрушает рамки, структуры, нормы окружающей жизни. Человек теряется, им овладевает внутренний хаос. Именно «дающие» дают опору, помогают осмысливать и понимать себя не как песчинку, но как человека, который многое может. Восприятие «дающих» вариативно: «Мир может быть не только таким, он разный». Особенностью этих людей является то, что свои страдания им кажутся менее значимыми, чем страдания окружающих. Они не допускают жалости к себе. Возможно, недооценка значимости собственных страданий приводит к тому, что собственные травмы не проживаются, игнорируются, вытесняются.

Молодая женщина Седа вместе со старшей сестрой осталась в городе и пережила его штурм. Мы навестили сестер весной 2000 года, через два месяца после активных боевых действий. Седа совершенно не производила впечатления человека, просидевшего холодную и голодную зиму в подвалах под бомбежками. Стараясь не драматизировать ситуацию, она рассказывала о прошедшей

зиме, смешно пародировала соседей, выходящих после удара глубинных бомб из своих подвалов, шутила. Позже она показала нам фото старушки без головы в инвалидной коляске:

Мы нашли ее тело, но не знаем, кто она. В тот день мы похоронить ее не смогли, были бомбежки. На следующий день мы с подружкой прибежали и между бомбежками ее похоронили. Это фото мы сделали, чтобы найти ее родственников, чтобы мы им могли сообщить, где она похоронена¹.

Седа «бегала» хоронить чужого человека, подвергая риску свою жизнь, несмотря на то что сестра ее не пускала. Из рассказов Седы мы узнали, что между бомбежками она также «бегала» по другим подвалам, чтобы узнать, кто выжил, кто нет, кому нужна помощь. «Нам сказали, что в одном подвале, где много детей, нет сахара, не с чем пить горячий чай, и мы побежали отнести им варенье, которое у нас было». У нее был маленький приемник. Она записывала новости иностранных радиостанций, которые передавали информацию о Чечне, а потом в подвале громко пересказывала их всем, пытаясь поднять людям настроение: «Видите, в мире о нас помнят».

Спустя несколько месяцев после нашей первой встречи мы пригласили Седу работать в нашу правозащитную организацию и уже как коллеги поехали вместе в Москву на семинар. После зимы, проведенной в Грозном, она впервые выехала за пределы Чечни. Вечером мы пошли вместе в театр. И только здесь я впервые увидела, как эмоции захлестнули Седу. Она не могла находиться в театре, и мы ушли после первого акта. Она могла вынести войну, принимать на себя ответственность, помогать людям, но жить так, как будто войны не было в ее жизни, она не могла. На выходе из театра она сказала только одну фразу: «Они живут, как будто ничего в мире не изменилось!» Другая жизнь воспринималась ею как равнодушие к страданиям и лишениям, перенесенным и переносимым людьми в Чечне. Это ранило ее. Ей казалось, что равнодушие обесценивает смысл страданий стольких людей на ее родине. Понадобилось время, чтобы она преодолела это состояние. «Дающие» не позволяют себе быть жертвами. Принимая ответственность на себя, они почти всегда способны обрести смысл и поэтому — выдержать многие испытания.

¹ Фонограмма. 22 апреля 2000.



Грозный. Выставка 2001 года
ПЦ «Мемориал»

В начале статьи я задавалась вопросами: какие личностные особенности позволяют людям пережить непереносимое? Отчего одни люди могут перенести выпавшие на их долю испытания, а другие — нет? Опыт моего многолетнего пребывания в зоне конфликта подтверждает: только тот, кто занимает позицию «взрослого»; кто сам ищет и находит конструктивные выходы из безвыходных ситуаций; кто сам творит свою судьбу; кто понимает, что он не тот, кто спрашивает «зачем жить?», а тот — «у кого спрашивают», — только он в состоянии совладать с травмами войны, справиться с экзистенциальным отчаянием.

Но нельзя найти смысл на всю жизнь. Смысл, «работающий», подходящий сейчас, через год уже не действует. Есть ли предел человеческой стойкости в условиях продолжающейся несправедливости? Самый страшный симптом синдрома тридцать седьмого года заключается в том, что трудно обрести смысл в условиях не отпускающего ни на минуту, парализующего страха за своих детей и близких, когда не в твоих силах обеспечить их безопасность. Как быть с этим, как с этим жить? Эти вопросы для меня остались без ответа.

Катрин Мерридейл

Сознание коллектива:

травма и контузия в России XX века*

Среди событий, которыми была отмечена восьмидесятая годовщина окончания Первой мировой войны, была и публикация целого ряда работ, связанных с переосмыслением контузии (shell-shock). Этой теме были посвящены многочисленные конференции, книги и даже серия передач на британском телевидении. Обсуждение вышло за рамки истории психиатрии. Общей исходной посылкой в этих дискуссиях стала идея о том, что готовность общества проявлять соучастие в судьбе солдат является определенным показателем гуманности этого общества в целом. Мы имеем дело с ситуацией крайней и даже парадоксальной. Речь идет о сострадании к людям, которым платят не только за то, чтобы они убивали, но и за то, чтобы они погибали. Понятно, что в данном случае мы еще имеем дело с поколением, которое, не испытав на себе опыт двух мировых войн, пытается осознать суть чужих испытаний. И тревожный вопрос, проступающий за этими дискуссиями, обращен к каждому из нас: сможем ли мы, привилегированные обыватели в целом мирного и благополучного общества, вынести травму боя?

* Перевод с английского Елены Барабан и Сергея Ушакина. Впервые опубликовано: *Merridale C. The Collective Mind: Trauma and Shell-shock in Twentieth-century Russia // Journal of Contemporary History. 2000. Vol. 35. № 1. P. 39–55.*

Материал данной статьи использовался в проекте, посвященном изучению смерти и памяти в России XX века. См.: *Merridale C. Night of Stone: Death and Memory in Russia. London: Granta Books, 2000.* Проект осуществлен при поддержке Совета по экономическим и социальным исследованиям, Британской академии, а также Форума по общей безопасности Кингс-Колледжа Кембриджского университета. Я искренне благодарна Джею Винтеру за приглашение выступить с докладом о контузии на встрече в Перонне, а также участникам этой встречи — за их замечания. Я также признательна Яну Коллинзу, Маргарет Митчелл, Андрею Попову, Ариеху Шалеву, Алексею Смирнову, Елене Строгановой и Дереку Саммерфилду за помощь в подготовке статьи. Никто из вышеназванных специалистов не несет ответственности за имеющиеся в работе недоработки.

Материал, накопленный учеными Великобритании и Западной Европы, во многом обращен на себя и касается, прежде всего, ситуации на Западном фронте. Исследователи едины в том, что контузии — как бы она ни называлась — в равной степени подвергались и немцы, и французы, и британцы. Учитывая эти выводы, можем ли мы тогда предположить, что контузия — это универсальная реакция на современную войну? Вывод о том, что *любой* человек может «сломаться» под влиянием артиллерийского огня, не оставляет места представлениям о том, что контузия — это лишь удел слабаков и трусов. И уже в этом есть определенная польза. Но выдержит ли вывод об универсальности контузии проверку фактами? Например, о чем может рассказать опыт контузии среди русских, военные потери которых были гораздо больше?

В данной статье речь пойдет о травме и ее лечении в Советском Союзе. В частности, я хочу показать, насколько важен опыт русских для понимания спектра социальных реакций на индивидуальный невроз. Если царское правительство — по крайней мере в наиболее просвещенные моменты — следовало примеру Европы, то Советская Россия сформировала собственное отношение к индивидуальной боли, травме и горю. В советском опыте войны акцентировались выживание и стойкость. Вопрос в том, удалось ли сталинской идеологии выйти за пределы общественной сферы жизни и изменить индивидуальные реакции людей, переживших жестокость, боль и смерть.

Практики выявления и лечения пострадавших во многом зависят от сложившихся культурных традиций; культура также влияет и на готовность индивида признать себя жертвой травмы. Речь не о том, что разные люди воспринимают боль по-разному: идея о том, что «они» чувствуют боль не так, как ее чувствуем мы, уже не раз становилась в истории поводом для оправдания жестокости. Меня интересует следующая ступень анализа. Подобно отдельным людям, страдающим по-своему, разные сообщества способствуют или предотвращают появление специфических, укорененных в культуре и значительно отличающихся друг от друга видов коллективной реакции на боль¹. Россия представляет особенный исследовательский интерес, поскольку здесь произошла смена социаль-

¹ См. подробное освещение этого вопроса в: *Summerfield D. The Social Experience of War and Some Issues for the Humanitarian Field // Rethinking the Trauma of War / P. Bracken, C. Petty (eds.). London, 1998. P. 9–37.*

но-политического контекста. Западноевропейские представления, которые были в моде в конце XIX и начале XX века, были отброшены советским правительством к концу 1920-х. Пришла иная парадигма личности и сознания, русская по истокам и сталинская по идеологии. Эта парадигма продолжает господствовать и в современной России. И без анализа этого подхода нам не понять посткоммунистическое общество в России в целом и его отношение к насилию и отчуждению в частности.

Впервые Россия испытала контузию во время Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Психиатры заинтересовались этим явлением лишь в Русско-японскую войну 1904–1905 годов¹. Большинство (включая, в том числе, и значительную часть медиков — неспециалистов в психиатрии) воспринимало новые данные о боевых травмах как проявление симуляции, слабости, недостойного поведения. В каждой воюющей стране были сторонники подобной точки зрения среди врачей. В России ситуация отличалась особенной четкостью, намечая тем самым возможную траекторию последующего отношения к травме. В частности, некоторые психиатры, включая будущего сталиниста А.Б. Залкинда, обращали особое внимание на «эгоцентризм» контуженых, на отсутствие у них чувства социальной ответственности, на их склонность к себялюбию². Более традиционные исследователи ставили контузию в общий ряд с членовредительством и такими морально сомнительными заболеваниями, как сифилис и алкоголизм. Верша свой суд над судьбами больных, эти исследователи исходили из идеи о том, что современный бой, при всей своей жестокости, — это проверка на мужественность. Вид здоровых солдат, начинающих вдруг дрожать, испытывать паралич, терять дар речи, мучаться кошмарами по ночам, лишь подкреплял панические настроения тех, кто опасался, что Святая Русь обречена на поражение — на фронте и изнутри. По мнению русских традиционалистов, солдат должен был сражаться, помня о страданиях Иисуса на кресте. Готовым сло-

¹ Российский ученый С.А. Преображенский приписал первую диагностику контузии немецким и французским наблюдателям бомбардировки Парижа в 1870 году. Первыми русскими учеными, занимавшимися изучением контузии, были А.И. Озерецковский и С.А. Суханов; оба исходили из материала Русско-японской кампании. См.: *Преображенский С.А. Материалы по вопросу о душевных заболеваниях воинов и лиц, причастных к военным действиям*. Пг., 1917. Введение.

² Психиатрическая газета. 1916. № 5. С. 76.

жить свою голову за правое дело солдатам были чужды слезы при погребении своих павших товарищей¹.

Как и повсюду, в России реальность контузии ставилась под сомнение отчасти и потому, что она угрожала разрушить столь близкий любому сердцу национальный миф о героизме. И тем не менее, пока традиционалисты ворчали о своем, наиболее образованные русские психиатры (имевшие возможность делиться опытом с зарубежными коллегами) уже начали обсуждение докладов и клинических случаев, которые указывали совсем другое направление. В этот период наиболее обещающие исследования русских специалистов опирались на выводы немецких и французских психиатров. Как считало большинство специалистов того времени, новый вид невроза вызван физическими проблемами, включая механические повреждения мозга и нервной системы. Лишь единицы подозревали о том, что причина недуга может быть чисто психического свойства и не зависеть от физических ран. Наиболее серьезные исследования соглашались с тем, что болезнь поражает даже (а быть может, и в первую очередь) наиболее добросовестных солдат; что ей подвержены выходцы из разных социальных слоев; и что пострадавшие от контузии нуждаются в отдыхе, покое и серьезном уходе².

С 1905 года стали высказываться предположения о том, что новый феномен может отчасти объясняться особенностями страха, вызванного войной, ведущейся с помощью новых технологических средств. Один из специалистов, например, отмечал, что контузия часто встречалась среди артиллеристов, в то время как кавалеристы были в полном порядке³. Симптомы, описанные этим специалистом, включали галлюцинации (некоторым солдатам упорно казалось, что они бьют немцев, как мух). Один солдат не мог повторить ничего, кроме фразы: «О Боже, спаси царя и Россию». Еще одна группа солдат, по-видимому, утратила полностью способность слышать и видеть. В 1905 году стало ясно и другое: новый душевный недуг способен создавать проблемы и в мирное

¹ Олонецкая неделя. 1914. № 42. С. 6.

² Лучшие работы того периода написаны С.А. Преображенским («Материалы по вопросу о душевных заболеваниях воинов и лиц, причастных к военным действиям») и Н.А. Юрманом (опубл.: в «Психиатрическая газета». 1915. № 9. С. 139–143).

³ Психиатрическая газета. 1916. № 1. С. 3.

время. Психологические шрамы, полученные на фронте, могли сопровождать пострадавших всю оставшуюся жизнь¹.

Дискуссии и обмен результатами исследований, состоявшиеся между русскими и западноевропейскими психиатрами в течение первого десятилетия после Русско-японской войны, существенно пополнили собрание клинических случаев травмы и тех гипотез, на которые опирались русские специалисты. Это профессиональное сотрудничество продолжалось и в годы войны, и уже в 1916-м русские психиатры публично призывали открыть для пациентов, перенесших травму, специализированные больницы — «такие же, как в Британии, Франции, Италии»².

Февральская революция 1917 года прервала публичные выступления по этому вопросу на несколько месяцев. В 1917-м перестала выходить профессиональная «Психиатрическая газета», как и многие другие периодические издания. Из-за войны, голода, холода, болезней и эмиграции к 1923 году число специалистов, призывавших к созданию специальных заведений для травмированных больных, сильно уменьшилось. Однако и тогда более дюжины представителей дореволюционной психиатрической элиты все еще оставались на своем посту. Среди них наиболее активными были С.А. Преображенский, специализировавшийся на лечении пострадавших в ходе боевых действий (включая медицинский и гражданский персонал, который перенес ужасы фронта), А.В. Ливанов, также имевший опыт военной психиатрии, и В.И. Фрумкин, который впоследствии сотрудничал с Ливановым. В начале двадцатых годов, с установлением в Советской России мира и зыбкой стабильности, эти специалисты возобновили свои требования по созданию организованной системы помощи мужчинам и женщинам, травмированным войной. Количество больных людей поражало. Как свидетельствует очевидец, один из специалистов, например, сообщал Ленину, что половина советского населения в той или иной степени страдает от психической травмы³.

В 1919 году был создан Всероссийский комитет по поддержке раненых ветеранов войны (Всерокомпом), однако возможности его были ограничены; отсутствовали какие бы то ни было условия

¹ Петербургский листок. 1905. № 10364.

² Психиатрическая газета. 1916. № 19.

³ Врач, о котором здесь идет речь, — Петр Ганнушкин. Об этом эпизоде мне рассказали московские медики в 1997 году.

для специализированной работы с людьми, страдающими психическими расстройствами. В итоге пациенты размещались в обычных больницах, к большому неудовольствию местных служб здравоохранения¹. Врачи жаловались на вредоносное, «скандальное» или «беспорядочное» поведение таких пациентов², считая их «недисциплинированными», «забывчивыми» и «уклоняющимися». В одной докладной записке говорилось, что они «не хотят отвечать за свое поведение... и могут создавать крайне неприятную атмосферу для окружающих»³.

Хорошо известно, что в Советской России такие недоброжелательные оценки в отношении лечения психически пострадавших в конце концов возобладали. Многие оказались в ссылке; скрытые от глаз людей, они доживали свой век в колониях на Крайнем Севере и Дальнем Востоке. Ошибочно полагать, что эти суровые меры были единственной реально обсуждаемой возможностью. В 1923 году, благодаря многолетним усилиям специалистов, был создан экспериментальный неврологический институт. Терапевтические принципы, положенные в основу работы этого института, были одними из самых передовых в мире. Поскольку основополагающей идеей было предоставление комфортабельных условий для покоя и восстановления долгосрочных пациентов, институт разместился в Ялте, в Крыму. Предлагавшееся лечение прежде всего было ориентировано на помощь больным с психическими расстройствами, включая шизофрению, истерию и военную контузию, хотя Преображенский настаивал на том, что ситуация может потребовать дополнительных мер, поскольку многие пациенты также страдали от истощения и туберкулеза. Преображенский и другие основатели центра надеялись, что экспериментальная больница станет первой в сети специальных учреждений по реабилитации пациентов. Сочетание военной тематики и новаторского подхода отразилось в названии больницы — «Красная звезда».

Почему закатилась «Красная звезда»? Самый простой ответ состоит в том, что у больницы не было средств для поддержания своей деятельности. Ежегодные Отчеты директора госпиталя с настойчивостью отмечали нехватку продуктов питания, обуви и

¹ Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 4537. Оп. 1. Ед. хр. 831. Л. 74, 75.

² Там же. Ф. 4537. Оп. 1. Ед. хр. 94. Л. 101.

³ Там же. Л. 70.

других вещей первой необходимости¹. Однако, помимо материального обеспечения, проблемой также являлись непонимание и отсутствие поддержки проекта в целом. Пациенты «Красной звезды» не были святыми. Многие страдали алкоголизмом; некоторые были морфинистами; более четверти пациентов болели сифилисом². За пределами госпиталя находилось мало желающих разделить с врачами их стремление потратить средства и время на лечение подобных больных. В создавшемся положении ссылка казалась идеальным выходом. В противном случае, как заявлял один из депутатов Московского совета, «заряженный маузер — лучшее средство воздействия на этих больных»³. В итоге менее чем через три года после своего открытия санаторий «Красная звезда», созданный для больных, страдавших от психической травмы, тихо закрылся.

Справедливости ради следует отметить, что материальные ресурсы в этот период действительно были ограничены. Советский Союз превратился в общество, в котором экстремальные условия стали бытом. Это коснулось в буквальном смысле всех. Революционный режим, испытывающий недостаток в квалифицированных кадрах и едва справляющийся с экономическими трудностями, был просто не в состоянии решить проблему такого масштаба. А свидетелем массового распространения неврозов, если не военной контузии, было более чем достаточно⁴. Страдали не только ветераны войны и люди, пережившие вынужденное переселение, голод, холеру; рядовые коммунисты — особенно молодежь — были подвержены особой форме депрессии. На фоне глобальных революционных целей, провозглашенных революцией, их собственный вклад в дело строительства нового порядка казался ничтожным. Следствием такого мироощущения среди партработников стал недуг, получивший имя неврастения и к 1927 году превратившийся в самое распространенное заболевание среди партийных масс. Росло и число самоубийств среди партийной молодежи⁵. В отли-

¹ Там же. Ф. 4537. Оп. 1. Ед. хр. 9831. Л. 7.

² Там же. Ф. 4537. Оп. 1. Ед. хр. 854. Л. 3.

³ Там же. Ф. 4537. Оп. 1. Ед. хр. 831. Л. 75.

⁴ Психиатр Алексей Смирнов, работавший с ветеранами войны в Афганистане, — лишь один из тех, кто полагают, что «тюремная ментальность» в современной России — это симптом длительного посттравматического стресса.

⁵ *Эткинд А.* Эрос невозможного: История психоанализа в России. СПб., 1993. С. 222. См. также: Известия. 1925. 26 апреля; *Гернет М.Н.* Преступность и самоубийство во время войны и после нее. М., 1927. С. 11.

чие от криминалистов и социальных работников, с сочувствием относившихся к этой проблеме, партийная элита нашла подобное поведение предосудительным. Люди, поглощенные собственными проблемами, вновь были объявлены эгоцентристами. Выступая на собрании в декабре 1925 года в Ленинграде, идеолог Коммунистической партии Е.М. Ярославский, например, заявлял, что источник самоубийства отдельных коммунистов — в недостатке веры в «силу и мощь партии», что подобные люди — «это слабовольные, слабохарактерные личности». Оценки подобного рода со временем доходили и до потенциальных жертв, просивших у партии в своих предсмертных записках прощения за свою неспособность соответствовать ее высоким требованиям¹.

К концу первого советского десятилетия первоначальное стремление властей оказать поддержку людям с психологическими проблемами практически сошло на нет. При этом нельзя сказать, что те, кто принадлежали советской элите, не были заинтересованы в лечении неврозов, особенно когда недуг касался их самих. Многие ближайшие соратники Ленина провели немало времени в европейской ссылке, и европейские идеи — включая дискуссии по поводу сознания — продолжали сохранять для них свою магическую притягательность. Адольф Иоффе, близкий друг Троцкого, лечился от неврозов и других недугов у лучших кремлевских врачей вплоть до своего самоубийства в 1927 году². Многие другие представители партийной элиты ездили за границу на консультации или же проводили длительное время на черноморских и горных курортах. Они также пробовали лечение словом. По мнению одного современника, «в двадцатые годы заниматься психоанализом было не только не опасно, но и престижно»³. В число пациентов детского дома-лаборатории «Международная солидарность», одной из целей которого являлось лечение трудных детей, в 1921 году входил и шестимесячный сын Сталина Василий⁴.

Распространение идей Фрейда в России началось перед Первой мировой войной; в первое послереволюционное десятилетие они оставались допустимыми и даже модными. Для некоторых больше-

¹ Лебина Н.Б. Теневые стороны жизни советского города. 1920—1930-е годы // Вопросы истории. 1994. № 2. С. 30—42.

² Эткинд А. Эрос невозможного. С. 281.

³ Н.Н. Трауготт, цит. по: Эткинд А. Эрос невозможного. С. 253.

⁴ Эткинд А. Эрос невозможного. С. 243.

виков фрейдовский анализ стал еще одним средством усовершенствования человека на личностном уровне на пути подготовки для жизни в обществе утопии. Эта ситуация резко изменилась к 1932 году в результате сталинской революции сверху. Первые признаки нового мышления были заметны уже накануне «великого перелома», в 1928-м. Психоанализ был отвергнут как слишком медленное, дорогое и потенциально опасное средство работы с неврозами. Требовались конкретные результаты в короткие сроки, без долговременных и непредсказуемых бесед аналитика и пациента с глазу на глаз. Акцент сместился с анализа на перевоспитание. Предпочтение отдавалось гипнозу — методу воздействия, который всегда был популярен в России. Гипноз не требовал больших материальных затрат, давал быстрые результаты и предоставлял практикующему врачу контролировать течение каждого сеанса. Гипноз также не затрагивал вопросов сексуальности, обсуждение которой становилось все сложнее с ростом пуританизма в советском обществе¹.

Одновременно «инженеры человеческих душ» сместили свое внимание с личности на массы. В 1928 году психиатр А.Б. Залкинд изложил суть нового подхода, провозгласив, что самое пристальное внимание в СССР сосредоточено на изучении человеческой личности. Рабочая масса, масса человеческого индивидуального сознания, развиваясь и расширяя границы своих устремлений, пришла к власти, культуре, созиданию. План на будущее был ясен. «Эти массы, — продолжал Залкинд, — ранее игнорировавшиеся буржуазной наукой, должны быть изучены заново, как в плане идентификации их характерных особенностей, так и в плане определения методов воспитательного воздействия на них»². Человек, не отвечавший критериям коллективности или отвергавший социально санкционированные нормы, рано или поздно начинал считаться ненормальным.

Сталинский акцент на коллективе вместо личности имел несколько источников. В теоретическом отношении данное предпочтение связано с идеями таких пропагандистов, как Ярославский, Максим Горький, а также с новаторским движением Пролеткуль-

¹ Информация предоставлена профессором В.А. Абабковым, сотрудником Института Бехтерева в Санкт-Петербурге, 21 октября 1997 года.

² Цит. по: *Joravsky D. Russian Psychology: A Critical History. Oxford, 1989. P. 250.*

та. *Партийность*, преданность высоким политическим целям, которые должны были разделять все настоящие коммунисты, подразумевала нечто большее, нежели политическая лояльность, и приносила удовлетворение более глубокое, нежели сознание выполненного долга. Хотя Ленин и отвергал формулировки коллег, увлекавшихся мистикой, значительное число его близких соратников экспериментировали с идеями, уходившими корнями в религию и психологию. Новые представления о поведении толпы также обрели вес в 1920-е годы. Психологи являлись наиболее влиятельными специалистами в этой области. Наум Котик, к примеру, утверждал, что коллективное сознание создается невидимыми лучами Н, силу воздействия которых ученый намеревался измерять и рассчитывать по аналогии с рентгеновскими лучами. Владимир Бехтерев также оказал влияние на поколение своих последователей исследованиями по переносу¹, которые, как и исследования Котика, имели особенную привлекательность для русской аудитории. В советском идеологическом пространстве подобные взгляды на коллективное сознание, животную энергию толпы или же ее психическое единство попадали под предвзятые предубеждения, а тот факт, что перенос было невозможно измерить, свел данное понятие к уровню ненаучного рассуждения². Тем не менее даже самая примитивная сталинская пропаганда впоследствии опиралась на идею коллективного духа, противостоящего духу индивидуальному.

Однако успех коллективизма в СССР объясняется не только этими конкретными обстоятельствами, но и более общими историческими причинами. Причины эти с трудом поддаются количественному анализу, и их точная оценка еще ждет своего исследователя. Тем не менее в качестве наиболее очевидных факторов, повлиявших на советский коллективизм, следует рассматривать православие, социальные традиции, а также экономические трудности. Понятие «личность» в России невысоко ценит роль отдельно взятого человека. Русские писатели предпочитали говорить о

¹ Перенос (трансфер) в психоанализе означает процесс, с помощью которого бессознательные желания переносятся или смещаются на объекты и людей, с которыми установились отношения определенного рода. Подробнее см. в: *Лапласи Ж., Понталис Ж.-Б.* Словарь по психоанализу. М.: Высшая школа, 1996. С. 531–540. — *Прим. пер.*

² См. более подробное обсуждение этих вопросов в: *Agursky M.* An Occult Source of Socialist Realism: Gorky and Theories of Thought Transference // *The Occult in Russian and Soviet Culture* / B.G. Rosenthal (ed.). Ithaca, 1997. P. 247–272.

личности в ее социальной и духовной связи с другими людьми и сообществом в целом¹. Православие традиционно делало акцент на *соборности*, духовной связи между верующими, превращающей Святую Троицу в единство. Крестьянская культура, так же как и основанная на землевладении экономика, традиционно отдавала предпочтение более крупным социальным образованиям, своего рода коллективу, а не индивидуальным хозяйствам и хуторам. Именно эта особенность воспрепятствовала успешному проведению реформ, предложенных Столыпиным после 1906 года. Таким образом, индивидуализм и связанные с ним понятия частной жизни и личной ответственности, характерные для протестантской Северо-Западной Европы, едва коснулись России до 1914 года. Подобные трактовки в настоящее время пользуются популярностью среди так называемых «культурологов» в России; и, несмотря на всю спорность их выводов, вряд ли можно подвергать сомнению то, что корни советской культуры уходят гораздо глубже словес, заложенных революционным марксизмом.

Социальная и экономическая реальность на протяжении сталинского периода также была делом коллективным для простых людей. Большинство горожан проживало в коммунальных квартирах. Члены одной семьи зачастую жили в одной комнате; случалось, что разные семьи или разные поколения одной семьи делили одну большую комнату, перегородленную занавесками. В таких условиях понятие частного чувства, скорее всего, оставалось чужеродным. Горе и боль, так же как и радость, рождение ребенка или семейные ссоры, переживались всеми, прежде всего потому, что они происходили на глазах у всех, по крайней мере — в рамках данной группы людей. На работе коллектив или бригада также являлись наиболее распространенной формой организации труда. Дома и в школе, на фабрике или в поле советские люди были куда менее изолированы друг от друга, нежели жители Британии или Америки. Пресечение любой формы отклонения, включая нездоровый самоанализ, начиналось в семье и касалось любой сферы повседневной жизни человека.

Представляется логичным вывод о том, что исчезновение из общественной сферы проблемы индивидуальной травмы следует

¹ См. *Offord D.* «Lichnost»: Notions of Individual Identity // *Constructing Russian Culture in the Age of Revolutions, 1881–1940* / C. Kelly, D. Shepherd (eds.). Oxford, 1998. P. 13–25.

рассматривать именно на таком социальном фоне и в контексте упомянутой целенаправленной проводимой политики. Предпринимались и более агрессивные действия по отношению к открытому проявлению чувств. Для миллионов советских людей 1930-е годы стали временем невыразимых трудностей и утрат. Многие из этих лишений были связаны с государством; большинство из них подвергалось замалчиванию даже в семье. Снова и снова мои респонденты говорили о том, что единственным способом справиться с голодом, арестом, лишениями являлось осознание того, что «надо было жить дальше». Те, кто пережили голод, отмечали и то, как чувство голода приводило к онемению, равнодушию ко всему окружающему, к будущему и, в конце концов, к собственным эмоциям.¹ Анна Ларина, молодая жена Николая Бухарина, описывала похожее ощущение поблекшего мира в период, когда она, будучи в заключении, ждала сообщения о казни мужа. «Я не могла поверить в то, — писала она позднее, — что где-то жизнь шла своим чередом и что где-то были счастье и земные радости»². Анна Ахматова описывала настроение конца 1930-х годов как нашедший на всех ступор. Ступор, однако, так же как и депрессию, можно переживать молча. Частная боль ушла в подполье. Официальные лозунги того времени не оставляли места жалости. Люди говорили: «Нельзя приготовить омлет, не разбив яиц», или «Лес рубят — щепки летят». В мире, полном донощиков, оплакивать на людях тех, кто был осужден как враг народа, было непросто. Взор каждого должен был быть устремлен в будущее, на строительство социализма, а также на коллективные цели, воплощенные в личности товарища Сталина. Я покажу дальше, как война, по крайней мере с точки зрения психологии, дала возможность открыто переживать утрату и, таким образом, принесла своего рода облегчение тем, кто страдал во время десятилетия репрессий.

¹ Можно привести десятки примеров из моих интервью 1997 и 1998 годов, в том числе и с людьми, пережившими блокаду Ленинграда и голод 1933-го и 1946-го. Я провела 75 индивидуальных и групповых бесед, в которых приняли участие около 200 человек. Среди моих респондентов были люди, пережившие Гражданскую войну, голод 1933 года, коллективизацию, репрессии, Великую Отечественную войну, Холокост, войну в Афганистане, чеченскую войну и чернобильскую катастрофу. Кроме этого, я интервьюировала медперсонал и работников психиатрии, так же как представителей служб социальной защиты, священников и сиделок.

² *Ларина А. Незабываемое // Знамя. 1988. № 10. С. 145.*

Повлияла ли сталинская политика стоицизма на ментальность и действия советских граждан после 1930 года? Существуют ли доказательства того, что создание нового советского человека было действительно возможно? В декабре 1997 года в Москве я собрала группу российских специалистов, чтобы обсудить этот вопрос. Среди присутствовавших были социологи, демографы, специалисты по психологии, представители служб социальной защиты, которые работали на Кавказе, и даже епископ православной церкви. По их твердому убеждению, русские действительно выработали специфическое отношение к травме; они более выносливы, чем люди на капиталистическом Западе, и истоки их силы заключаются в их вере в коллективное, а не индивидуальное спасение. В течение нескольких часов мы спорили об идее индивидуальной восприимчивости, и, вопреки своему первоначальному убеждению, я согласилась с идеей о том, что миллионы советских людей действительно пережили годы братоубийственной войны, геноцида, голода, войны, не поддавшись отчаянию и изнуряющему неврозу. Вопрос в том — как это объяснить.

Мои респонденты предложили три ответа. Некоторые из них отстаивали точку зрения о том, что у русских выработался иммунитет к неврозам, характерным для «мягкотелого» Запада. Другие высказали мнение, что русские подавили в себе психологическую боль, как подавляли в себе политические взгляды и чувства, вызываемые материальными трудностями. Однако наиболее популярной оказалась точка зрения, согласно которой русские выработали совершенный культурный механизм, позволяющий справиться с экстремальными условиями. Результаты моих собственных исследований позволяют опровергнуть первое из трех этих утверждений. Отдельные свидетельства индивидуальной травмы зачастую можно скрыть, но их общее число громадно.

Однако само наличие мнения, что русские обладают иммунитетом к травме, оказывает воздействие на поведение и становится препятствием к обсуждению симптомов индивидуальной травмы. Другие два мнения, несомненно, заслуживают более пристального рассмотрения в свете проведенных интервью и исследований архивных материалов советской эпохи.

Не составляет труда собрать доказательства того, что советские граждане верили в то, что они выше слабостей и неврозов своих западных союзников. Практически все ветераны Великой Отечественной войны — мужчины и женщины, офицеры и рядовые —

в беседе со мной затрагивали эту тему и отстаивали эту точку зрения. Среди представителей других народов подобная стойкость отмечалась — с неохотой — лишь у финнов. Сходные взгляды были характерны и для представителей медицинского и технического персонала, которые ухаживали за ранеными во время войны. «Мы боролись с фашизмом, — говорили эти люди, — это был вопрос жизни и смерти». Конечно, мои собеседники помнят и тех, кто сошел с ума, не выдержав напряжения войны; и тех, кто, застрелив ряд своих товарищей, затем направил дуло пистолета на себя; и тех, кто с воплем бросился под вражеский огонь; и тех, чьи обнаженные, замерзшие тела находили после странного побега с фронта. Однако о таких людях говорилось как о редких исключениях.

Люди, которые пережили войну в тылу, придерживаются похожей точки зрения. Лишь с помощью самых настойчивых расспросов сейчас можно услышать рассказ о панике и стрессе, охвативших практически каждого в самые мрачные годы войны. Советские историки на подобные факты не обращали внимания; они торопились поведать миру другую, более героическую историю. Люди, пережившие войну, до сих пор собираются для того, чтобы повторить официальную версию, поддержать друг друга рассказами о выносливости и товариществе. Мнение о том, что пережитые физические страдания невозможно сравнить ни с чем, разделяется всеми. Однако идея о пережитой психологической травме не воспринимается в принципе. «Мне снились кошмары, — уверяла меня одна женщина, — но что значит постдраматический (sic!) стресс?» Среди причин, по которым я беседовала с этой женщиной, был ее опыт работы психологом сразу после войны. Она заверила меня, что продолжает читать психологические журналы и встречается с коллегами по профессии. «Травма? — вторила ей группа врачей. — Да мы бы были рады, если бы еды хватало на всех».

Следует отметить, что для людей, с которыми я беседовала спустя более полувека после войны, характерна одна общая черта. Как выразилась одна из бывших нянечек: «Хорошо, что мы были молодыми. Я бы не хотела через все это пройти сейчас». При этом многие из моих респондентов говорили о том, что их родители (в особенности матери) отличались еще большей стойкостью. «Мама пережила голод 1921 года, — говорили они часто. — Поэтому она знала, что нужно делать в 1942-м».

Согласно практически всеобщему мифу, почти все русские, невзирая на возраст, пережили войну, не испытав психическую

травму. Имеющиеся архивные данные говорят о другом. Жертвы травмы, возможно, не задержались в памяти, но их было немало. Во время войны более внимательные работники здравоохранения задавались вопросом о причинах нервного и соматического состояния пациентов. Группа врачей писала в 1948 году: «Патология высокого давления, называемая ленинградской гипертонией, возникает в результате двух факторов: продолжительной и интенсивной нервно-психологической травмы и недоедания... Из этих причин нервно-психологический фактор является более важным». В этом же отчете выделялся страх как причина гипертонии. Отмечалось также и то, что наиболее ярко выраженные невротические симптомы — те самые, что раньше связывались с военной контузией, — более распространены среди тех, кто испытали бомбардировку и артиллерийский огонь, нежели среди тех, кто пережили голод¹.

Идея о несокрушимой внутренней стойкости русских, таким образом, является мифом, точно так же как она является мифом и в любом другом обществе. Различие в том, что история ленинградского военного невроза стерлась из памяти. Даже профессиональные психиатры забыли, что у ряда советских граждан шрамы были не только на теле. Так, одна из самых уважаемых специалистов в Санкт-Петербурге — женщина пятидесяти лет — уверяла меня, что свидетельств посттравматического стресса среди блокадников не существует. Ее поправила ее престарелая коллега, пенсионерка: «Были такие свидетельства, только о них никто теперь не говорит. Были даже самоубийства. И было много других проблем»². По словам этой женщины, таким людям мало чем можно было помочь. Однако имелись и другие причины, объясняющие исчезновение индивидуальной травмы как проблемы в послевоенной России.

Советский миф о героизме родился с началом войны. Хотя официальная пропаганда играла в становлении этого мифа важную роль, желание выжить было и без того сильным. Выживание становилось целью и предметом гордости. После десятилетия молчаливого страдания санкционированная государством борьба с Гитлером давала советскому человеку новое чувство собственного

¹ Государственный архив г. Санкт-Петербурга (ГАГСПб. Ф. 9156. Оп. 4. Ед. хр. 321. Л. 14, 15). Отчет о неврологических причинах гипертонии среди переживших блокаду; за главной подписью профессора И.Я. Раздольского.

² Интервью с Валентиной Карловной Мягер и Ниной Павловной Вянчаковой. 20 октября 1997.

достоинства. Ужас войны было легче перенести, поскольку борьба за выживание во многом велась открыто, сообщая с другими людьми — в отличие от переживаний запретной боли, связанной с последствиями голода или террора. Многие ветераны говорили о том, как проявление храбрости или частный пример выживания будили чувство собственного достоинства в других. Для молодежи стало понятнее значение их физической силы, инициативы, смелости¹. Послевоенная эйфория, помимо ощущения победы, связывалась еще и с надеждами на то, что заслуги, связанные с войной, найдут свое отражение и в большей демократичности, и в лучшей материальной жизни². Это было чувство, которое так удачно описала Ольга Берггольц, одна из самых известных поэтов блокадного Ленинграда:

В грязи, во мраке, в голоде, в печали,
Где смерть, как тень, тащилась по пятам,
Такими мы счастливыми бывали,
Такой свободой бурною дышали,
Что внуки позавидовали б нам.

Советский опыт ведения войны как пример коллективной солидарности не является уникальным. В большинстве стран, принимавших участие во Второй мировой войне (включая и Великобританию), число случаев индивидуальной травмы было значительно меньше по сравнению с Первой мировой войной. Рассказы советских ветеранов о том, что они сражались за своих близких, за Россию, за свой город или село, можно услышать и в других частях Европы. Многие ветераны вообще отрицают, что они на самом деле дрались, как говорится в известной фразе, «за Родину, за Сталина». «Мне кажется, я сражался за свой город, — вспоминал один из ветеранов, — не думаю, что думал тогда о Родине». Что же касается Сталина, то, по крайней мере в некоторых частях, его имя упоминалось реже, когда дела шли не так хорошо. Солдаты пели песни о ненависти к Гитлеру, а не о любви к Сталину³. Мно-

¹ Это распространенное мнение описано историком Михаилом Гефтером, который также принадлежал этому поколению. См.: *Зубкова Е.Ю.* Общество и реформы. 1945—1964. М., 1993. С. 19.

² *Зубкова Е.Ю.* Общество и реформы. С. 36.

³ См.: *Пушкарёв Л.Н.* Из наблюдений над творчеством фронтовиков // Этнографическое обозрение. 1995. № 4. С. 25—35.

гие обратились к религии, потому что «одно дело играть со смертью, а другое дело погибнуть на самом деле». По свидетельству сына политработника, в блокадном дневнике 1942 года его отец страница за страницей повторяет одни и те же слова «Господи, спаси нас, помоги нам, Господи»¹.

И все же публично-приватный мир советского коллектива Сталин никогда не покидал. Несмотря на все сходства между советскими людьми и людьми Западной Европы, как военными, так и гражданскими, нельзя отрицать тот факт, что советские люди были несвободными. Двадцать лет авторитарного управления, десятилетия непрерывных репрессий и годы всеохватывающей пропаганды не могли не изменить советских людей. Даже в разгар войны трусов и паникеров могли расстрелять на месте. Снайперы, которым доводилось заниматься такими расстрелами, и сейчас без сожаления вспоминают о том, что они выполняли подобную миссию, утверждая — годы спустя — что идеологическое единство было превыше всего². И во время войны, и после нее стремления государства, несомненно, оставались тоталитарными по своей сути. Вопрос в том, удалось ли их воплотить в жизнь. Можно ли найти в советской жертве, принесенной поколением сталинизма, некий дополнительный элемент? Повлиял ли он на историю индивидуальной травмы? По свидетельству очевидцев, такой элемент был; более того, он имел громадное значение не только для Великой Отечественной войны, но и для последующего переживания индивидуальной боли и вины.

Таким решающим элементом в деле коллективной жертвенности советской поры было отсутствие выбора. Конечно, можно утверждать, что и в демократических странах мощные социальные санкции превращают в удел лишь самых решительных право протестовать против войны, право не участвовать в войне и право подвергать сомнению ту цену, которая платится за победу. Все эти санкции существовали и в России. Кардинальное отличие состояло, однако, в том, что в СССР право возражать нейтрализовалось страхом перед общественным позором. Несогласных ждал арест. Тысячи — трудно привести точные цифры — встретили смерть, пулю в затылок или холод Колымы. Годы, последовавшие за под-

¹ Респондент, пожелавший остаться неназванным. С.-Петербург, 22 октября 1997.

² Респондент, пожелавший остаться неназванным. Москва, 1997.

писанием мирного договора, не принесли облегчения. В этих условиях в Советской России невозможно было извлечь личную выгоду из цинизма (наподобие того, что впоследствии вошел в моду в Западной Европе) или даже из культивирования собственной боли. После нескольких лет тягостного молчания единственной допустимой версией о личном опыте войны стала та, которую можно было бы разделить с другими в патриотических песнях, историях о стойкости и торжественной скорби о погибших героях.

Восприятие себя в качестве жертвы не приветствовалось и медиками. Единственным способом лечения психологической травмы, доступным небольшой группе военных психиатров на фронте, было применение сильнодействующих химических препаратов. Особенно часто применялись транквилизаторы, которые должны были вернуть солдата в строй в считанные дни. Как писалось в одном из учебников по военной психиатрии, максимальный срок такого лечения составлял три недели¹. Такова была медицина для героев, воспитанных в сталинском режиме. Это также был единственно доступный способ лечения в тех условиях.

Отчетов, описывающих случаи военной контузии среди советских военных, существует очень мало. Никогда не афишировались данные по распространенности психических расстройств, возникших в результате артиллерийского огня, бомбардировки, утраты, горя, голода, и у гражданских лиц. Даже сами пациенты не желали привлекать к себе внимание. Записи, сделанные в психиатрических больницах Ленинградской области начиная с 1945 года, проливают свет на причины такого замалчивания². Во-первых, не хватало материальных средств на лечение таких пациентов; больницы были в запустении, не обогревались, недоставало медперсонала для ухода за госпитализированными больными. Более того, среди персонала практически не было мужчин, которые могли бы удержать буйных и агрессивных больных. Пациенты часто убежали³. Больные с повреждениями черепа отказывались от хирургии-

¹ Лечение описывалось в учебниках для военных психиатров, таких как «Военная психиатрия» (Л., 1974).

² Записи сохранились в Государственном архиве г. С.-Петербурга (ГАГСПб. Ф. 9156. Оп. 4). Информация, о которой идет речь, относится к 1942–1948 годам.

³ ГАГСПб. Ф. 9156. Оп. 4. Ед. хр. 491. Л. 1. В этом же отчете отмечается рост «несчастных случаев»; неясно, однако, является ли эта формулировка эвфемизмом самоубийства.

ческого и какого-либо другого вмешательства¹. Амбулаторные пациенты с военным или блокадным неврозом страдали также от нехватки самого необходимого: от недостатка витаминов, от отсутствия жилья. Учитывая ограниченные возможности, медицинские службы могли лишь выписать рецепт на дополнительное питание, побеседовать с районными властями об обеспечении таких пациентов жильем и надеяться на то, что больные... справятся сами. Многим, судя по всему, это удалось. В конце концов, любой приступ безумия или помешательства с неизбежностью ухудшал шансы на улучшение экономических и социальных условий жизни человека. В итоге число обратившихся к врачам по поводу гипертонии, страха и стресса резко сокращается после 1946 года. Даже люди с ампутированными конечностями стали обращаться за помощью все реже. Так или иначе, лекарств, которые им можно было выписать, все равно практически не было.

Более тревожные свидетельства искусственного подавления травмы касаются группы людей, которые в детском возрасте пострадали от мин, гранат или шальной пули. Некоторые из этих пациентов ослепли, другие подверглись ампутации конечностей или были парализованы. Все эти пациенты перенесли шок в момент ранения. У многих физические раны сопровождались горем — утратой близких или родного дома. Однако, когда я беседовала с такими пациентами в Киеве, ни один из них не упомянул о психологической травме². Для них увечье стало лишь началом борьбы длиной в целую жизнь, борьбы за то, чтобы остаться в обществе, поступить в университет, вести более или менее нормальный образ жизни на виду у всех. Многие воспринимались с подозрением, как люди, избежавшие исполнения своего гражданского долга. Соседи их сторонились. Вместо того чтобы получать пенсии, пособия или хотя бы какую-нибудь помощь, эти невинные жертвы войны, многим из которых не было даже двенадцати лет, когда их ранило, в буквальном смысле подвергались остракизму. Сходной была и судьба тех, кто перенес серьезные психические последствия войны. Они растворились в учреждениях, чьи методы лечения — не говоря уже об условиях жизни — вряд ли способствовали

¹ Там же. Ф. 9156. Оп. 4. Ед хр. 1516. Л. 104; об этом же говорится и на других страницах.

² Интервью, июнь 1998.

выздоровлению¹. Так формировался миф о том, что русские неподвластны боли.

После Великой Отечественной войны сочетание мускулистых героев официальной пропаганды и векового коллективизма укрепило миф о выносливости и стойкости, не оставив места для индивидуальных слабостей и боли. Те из ветеранов, кто не умерли от ран, не были сосланы или госпитализированы, поддерживали коллективную солидарность с помощью фрагментированных воспоминаний, песен и тщательно отредактированных историй. Все, кому довелось это слышать, знают, что, несмотря на весь свой героизм и сентиментальность, несмотря даже на вполне традиционные слезы, в рассказах этих ветеранов не находится места таким чувствам, как сомнение, одиночество, трусость, жадность или даже скука. «Мы никогда не плакали, — говорят ветераны со слезами на глазах. — Мы сражались с Гитлером, и просто не было времени думать о боли». Как говорит одна женщина: «Я решила перестать быть трусихой, обмакнула свой комсомольский билет в кровь раненого и приколола этот билет к нагрудному карману»². Другая женщина говорила в 1980-х, что только партия «спасла ее жизнь и не дала умереть с голоду»³.

Такая ментальность пропитывает память ветеранов и сейчас. Семь лет спустя после распада Советского Союза образы, которые Брежнев так старался сохранить в народной памяти, остаются важными и для миллионов людей, переживших войну, и для их детей. Часто ветераны говорят: «Молодежь не понимает патриотизма. Нам иногда жаль молодых. Мы были так счастливы вместе, когда были молодыми». Война оставляет в своей тени все остальные разногласия. Когда речь заходит о войне, эмоциональные или вспыльчивые люди, до этого говорившие о несправедливом отношении к своим семьям в тридцатые годы, меняют тон на более спокойный, становясь тише и делая паузы. Бывшая заключенная, лагерный труд которой был недавно признан как вклад в победу, плакала, показывая мне свою пластмассовую медаль. Предмет ее высшей гордости.

Особенность этой коллективной и отредактированной сказки о войне в том, что она оказалась эффективной. Она стала спосо-

¹ Интервью с психологом Валерием Михайловским. Зеленоградский центр реабилитации жертв травмы. 21 февраля 1997.

² Алексеевич С. У войны не женское лицо. М., 1988. С. 107.

³ Там же.

бом, который позволял справиться целому поколению, поверившему в нее, с утратами, неизмеримо превысившими лишения, выпавшие на долю Запада. В отдельных районах Советского Союза во время Великой Отечественной войны погиб каждый четвертый. В 1945 году в СССР было на 20 миллионов меньше мужчин, чем женщин, что означало, что немало районов — особенно в сельской местности — было заселено только женщинами, стариками и детьми. Послевоенные годы снова принесли с собой голод, высокую смертность и политические репрессии. И все же столько людей, переживших этот период, говорят о нем как о золотом веке. «Агитация за счастье» — так называлась недавняя выставка официального искусства социалистического реализма, и многие посетители выставки в книге отзывов делали записи, которые свидетельствуют об эффективности проводившейся политики в их жизни.

Удивляться этому не следует. Модное на Западе направление когнитивной психологии предлагает лишь деидеологизированную версию той же идеи: дайте пациентам ощущение цели, научите их смотреть на мир с оптимизмом, отвлеките их от угрюмой сосредоточенности на собственных несчастьях. Пособие, распространяемое Би-би-си в связи с передачей «Как быть счастливым», рекомендует каждое утро по две минуты улыбаться собственному отражению в зеркале¹. Советские граждане перенесли грязь, бедность, боль и лишения реальной жизни, улыбаясь в кривое зеркало, обещавшее победу, моральное превосходство и социальную справедливость. Самым мощным катализатором излечения неклинической депрессии, согласно профессору Майклу Аргайлю, одному из психиатров, принимавших участие в передаче Би-би-си, являются шотландские народные танцы — «мощнейшее», по его словам, средство, которое позволяет людям упражняться в коллективных и скоординированных действиях². Исходя из похожих соображений, Отдел агитации и пропаганды Коммунистической партии во время Великой Отечественной войны снабжал войска бесплатными губными гармошками³.

Что же касается военной контузии в нынешней форме посттравматического стресса, то зеркало треснуло во время афганской

¹ *Edwards B., Sturges W.* How to be Happy // BBC Education. 1996. P. 12.

² *Ibid.* P. 20.

³ Русский государственный архив социальной и политической истории (РГАСПИ). Ф. 89. Оп. 11. Ед. хр. 1. Л. 9.

войны. Так же как американцы не поддержали Вьетнамскую кампанию США, большинство советских людей предпочло проигнорировать афганскую войну. Вдохновившись рассказами о героическом поколении своих отцов, молодежь, ушедшая в Афганистан, вернулась домой разочарованной. Вместо общественного одобрения их встретила настороженность. Люди сторонились афганцев, видя в войне ошибку непопулярного правительства. Но те, кто были на войне, вряд ли смогут ее забыть. Страх, ранения и смерть, увиденные ветеранами афганской войны, отметили их на всю жизнь. Чуть позже, в более либеральной атмосфере 1980-х, воины-афганцы установят связь со своими американскими товарищами. Будут проведены совместные встречи, и ряд воинов-афганцев пройдет курс лечения в Калифорнии и в других штатах¹. Деньги на эти программы нашлись в основном в США; США также выделили средства для проведения большинства конференций, в которых принимали участие воины-афганцы, впервые познакомившиеся с капитализмом и системой западного психотерапевтического ухода (включая нетрадиционные психотерапевтические методы лечения)². Судя по всему, это сочетание путешествия, внимания, беседы и лечения оказало благотворное влияние на многих. Афганцы стали во многом ответственны и за то, что в русском языке появилось сочетание «посттравматический стресс». Они используют это выражение, как используют его иностранные бригады помощи при катастрофах. Этот термин знаком также группе профессиональных психиатров, занимавшихся изучением посттравматического стресса. Больше этот термин практически никому не знаком.

Психиатры из Европы и США впервые получили определенное представление о советской психиатрии во время землетрясения 1983 года в Спитаке. Характерно, что, преодолев сопротивление бюрократов, организация «Врачи без границ» послала в Армению специалистов в течение нескольких первых часов после землетрясения. Одна из координаторов вспоминает о том, что очень удивилась, обнаружив, что советская медпомощь была более чем на

¹ Интервью с группой ветеранов афганской войны. Зеленоград, 10 февраля 1997.

² В группе ветеранов, с которыми я беседовала, с особым энтузиазмом рассказывали о подходе д-ра Бенджамина Колодзина из Олимпийского центра в Калифорнии. См.: *Colodzin B. How to Survive Trauma*. NY, 1992.

высоте в отношении физических травм, но явно отставала по применявшимся методам обсуждения психологических последствий катастрофы¹. С тех пор было несколько международных попыток ввести западный стиль психологического консультирования в районах бедствия в Советском Союзе и после его распада, однако эти попытки не дали ощутимых результатов. Среди молодого поколения российских психиатров также нашлись врачи, которые вслед за ветеранами афганской войны стали изучать литературу по посттравматическому синдрому. Алексей Смирнов, работающий с воинами-афганцами в Санкт-Петербурге, описывает в своей диссертации наиболее характерные симптомы травмы среди афганцев и их семей². Как утверждает Смирнов, многие воины-афганцы не могут приспособиться к мирной жизни. Некоторые из них впадают в депрессию или становятся алкоголиками, другие удовлетворяют свою потребность в переживании экстремальных ситуаций, начиная сотрудничать с бандитами, рэкетирами, мафией. Попытки Смирнова справиться с этой проблемой ограничены скудной материальной базой. Однако более серьезной проблемой является применение, по сути, американского психиатрического диагноза к России, и ни деньги, ни время не могут по-настоящему решить эту проблему.

Несколько вопросов составляют комплекс, который во многих обществах называется «синдромом выжившего». Один из них — это подход, который следует применять к пациентам с серьезными психическими проблемами, т.е. к людям, переживающим периодические кошмары. Другой вопрос — это отношение общества в целом к видам травмы, которые увечат, но не приводят к полной недееспособности. Советский подход к этой проблеме был довольно грубым и до сих пор остается неясным. Для сталинского периода была характерна нетерпимость к инвалидам и психическим заболеваниям. Невозможно сказать точно, сколько пострадавших в XX веке умерли, не добившись лечения и справедливости. Это одно из неисследованных преступлений сталинской катастрофы, бросающее тень и на сегодняшний день, потому что нетерпимость к психическим недугам препятствует нормальной работе специалистов и добровольцев по уходу за людьми, которые перенесли травму.

¹ Обсуждение в Кембридже, Массачусетс, в 1995 году.

² Я благодарна профессору А. Смирнову за разрешение ознакомиться с черновиком диссертации.

Однако что касается более широкого спектра вопросов, а именно того факта, что общество в целом в течение десятилетий подвергалось травматизации для достижения практических результатов, то здесь традиция русского коллектива и даже его тоталитарного папы оказались эффективной. Возможно, этот выход выглядит не слишком привлекательным со стороны. Возможно, он достался слишком дорогой ценой. Однако понятие коллективной солидарности и идея совместного труда, а также безграничная щедрость по отношению к членам своей семьи и близким, характерные для советской культуры в ее лучшие моменты, — это то, о чем тоскуют многие русские, размышляя о приходе капитализма в Россию.

В бывшем Советском Союзе ветераны войны, жертвы репрессий и пережившие природные катаклизмы скептически относятся к индивидуальной терапии, самоанализу, беседе со специалистом. Многие выживают благодаря тому, что смогли подавить свои воспоминания, сосредоточившись на работе и семье. Любой, кто заставляет их думать о скрытом прошлом, рискует вызвать к жизни образы, которые все еще могут причинять боль. Учитывая тот факт, что вся жизнь была направлена на то, чтобы скрыть боль, меньше всего советские жертвы травм хотят копаться в собственном прошлом. Бывший снайпер говорит: «Даже сейчас нас преследуют кошмары... Я просыпаюсь, и мне трудно поверить, что я жив. Я не хочу об этом вспоминать»¹. Среди моих респондентов несколько человек признались, что от волнения, вызванного нашей беседой, они лишились сна. Другие отказались от встречи со мной, объясняя свое решение болезненной реакцией, которую у них вызвали подобные встречи с другими европейскими учеными и журналистами. Несмотря на это, почти все, с кем я встречалась (включая и тех, кто открыто признался в негативных психических и физических последствиях, вызванных пережитой болью), не обнаружили сколько-нибудь существенного отрицательного воздействия их решения переживать боль молча. Напротив, большинство из них прожили полноценную жизнь самобытных, ярких личностей, вызывая восхищение окружающих.

Жители демократичного и богатого Запада могут задаться вопросом об этической основе этой культуры выживания. Уходя корнями в народные традиции, коллективизм и стоицизм сталинского

¹ *Алексиевич С. У войны не женское лицо. С. 21.*

ИСТОРИИ РАСПАДА

подхода к психической травме были принудительными. И все же: сомнительные корни традиций еще не означают, что сама традиция бесполезна. Народ, привыкший к молчанию или, во всяком случае, к особому такту в подобных вопросах, не обязательно нуждается в новом принуждении — на этот раз в принуждении излить душу, как это характерно в обществе, где публичная демонстрация своей боли оказывается не только приемлемой, но и даже модной. «У нас свои способы лечения травмы, — сказал мне православный епископ на устроенной мною конференции. — Если бы у вас была такая же история, может, вы бы тоже задумались об эффективности своих методов».

Елена Барабан

Война в кино:

одинокчество травмы на фоне коллектива*

В данной статье речь пойдет о фильмах, которые ввели в советский кинематограф образ Великой Отечественной войны как события, ломающего психику человека. Таких фильмов очень немного. В советских фильмах о войне страдания как таковые не были предметом изображения. Несмотря на колоссальные потери Советского Союза в войне, в советской культуре, в отличие, скажем, от произведений о Холокосте, созданных на Западе, образа народа как *жертвы* фашизма не сложилось. Отсутствие традиции «прочитывать» войну как событие, травмирующее человеческую психику, во многом было обусловлено идеологически: в эстетике соцреализма положительный герой не мог быть человеком неуверенным в себе, подавленным, испытывающим обиду на жизнь. Поэтому страдания вплетались в контекст героического повествования — прежде всего в качестве оправдания мести за причиненное зло.

Как средство мобилизации страны на борьбу с врагом фильмы военных лет не заостряли внимания на душевной боли героев. Например, в 1944 году И. Большаков, председатель Комитета по делам кинематографии при СНК СССР, говорил, что задачей киноискусства во время войны является показ величия «нашей эпохи» и ее героев, создание «глубоко идейных произведений», которые вдохновляли бы наш народ на подвиг на фронте и в тылу¹. Эта тенденция осталась определяющей и *после* войны. Только с приходом «оттепели» появилась возможность по-новому поставить

* Автор выражает благодарность Университету провинции Манитоба (Канада) за финансовую поддержку в период подбора материалов для данной статьи. Автор также благодарит С. Ушакина за замечания к ранней версии этой работы.

¹ *Большаков И.* Фильмы, вдохновляющие на подвиг // История советского киноискусства звукового периода. Ч. II (1934–1944) / Сост. И.В. Соколов. М.: Госкиноиздат, 1946. С. 201–204.

вопрос о человеке перед лицом лишений, утраты и страдания. Начиная с фильмов М. Калатозова и Г. Чухрая конца 1950-х, режиссеры стали говорить о трагизме войны и о жизни «маленького» человека на войне.

Для своего анализа я буду использовать те кинопроизведения о войне, в которых речь идет об индивидуальной и коллективной психической травме. Герои фильмов «Судьба человека» Сергея Бондарчука (1959), «Иваново детство» Андрея Тарковского (1962), «Подранки» Николая Губенко (1976), «Иди и смотри» Элема Климова (1985) — это люди, чье состояние можно описать как посттравматический синдром¹. В силу сложившихся в отечественном и зарубежном киноведении моделей идеологической интерпретации советского кино ни один из этих фильмов не рассматривался с точки зрения теории травмы. На мой взгляд, изучение трактовки травматического опыта войны в советском кинематографе представляется важным по двум причинам.

Во-первых, такой анализ необходим для понимания динамики осмысления опыта Великой Отечественной в советский и постсоветский периоды. Продолжающиеся дискуссии о роли СССР во Второй мировой войне и о советской истории в целом, усиленные появлением многочисленных постсоветских картин о войне, с неизбежностью ставят вопросы о том, *какой* опыт войны был освоен советской культурой и стал частью коллективной памяти. Например, в книге «Живые и мертвые: рождение и смерть культа Второй мировой войны в России» (1994) американская исследовательница Нина Тумаркин подробно обсуждает фальшь ритуалов, посвященных Великой Отечественной в восьмидесятые и девяностые годы XX века. Приводя факты, свидетельствующие о лицемерии властей в отношении памяти о войне, Тумаркин тем не менее не связывает выхолащивание дискурса войны в последние советские десятилетия с многолетним вытеснением из коллективной памяти людей определенных фактов истории Великой Отечественной². На

¹ Проблем травмы, нанесенной войной, касаются также фильмы «Возвращение Василия Бортникова» (1956) В. Пудовкина, «Город зажигает огни» (1958) и «Рабочий поселок» (1965) В. Венгерова, «Когда деревья были большими» (1961) Л. Кулиджанова, «Аты-баты, шли солдаты» (1976) Л. Быкова.

² Вывод Н. Тумаркин об отмирании культа Великой Отечественной опирается на выборочные (и далеко не лучшие) примеры мемориализации опыта войны в советском обществе. Парады на Красной площади, концерты, посвященные Дню Победы, ритуалы возложения цветов к Могиле Неизвестного

мой взгляд, обсуждение того, *что* именно оказалось на периферии советского дискурса о Великой Отечественной, поможет понять суть постсоветского отношения к прошлому страны. С этой точки зрения кризис отношения к военному прошлому в 1990-е годы является проявлением кризиса национального самосознания в России, а не свидетельством отмирания культа Великой Отечественной в целом.

Во-вторых, анализ советских фильмов о травме войны на фоне освоения аналогичного опыта в западной культуре позволяет отчетливее увидеть специфику *советских* повествований о травме. Все вышеназванные фильмы повествуют о внешне разных событиях, связанных с войной. Герой фильма «Судьба человека», созданного по одноименному рассказу М. Шолохова, — Андрей Соколов, простой советский человек, который в июне 1941-го уходит на фронт и очень скоро попадает в плен¹. Спустя два года он бежит из плена, узнает о гибели своей жены и детей, вновь воюет, а вернувшись в Россию после победы, усыновляет осиротевшего мальчика. Герой фильма «Иваново детство», снятого по мотивам рассказа В. Богомолова «Иван», — двенадцатилетний Иван Бондарев, который, потеряв родных, становится разведчиком, чтобы отомстить за гибель своей семьи². Во сне Иван продолжает видеть свое счастливое прошлое и вновь и вновь переживает момент утраты матери. В конце фильма мы узнаем о казни мальчика в застенках гестапо. В «Подранках» Николая Губенко писатель Алексей Бартенев возвращается в место, где был детдом, в котором он вырос, и вспоминает свое послевоенное детство. Бартенев находит своих старших братьев, с которыми его разлучила война, но не может с ними сблизиться. Фильм «Иди и смотри» Климова рассказывает о том, как белорусский подросток Флор становится свидетелем страшных расправ фашистских карателей над мирными жителями Белоруссии. Потрясения, переживаемые героем, настолько велики, что в течение нескольких дней лицо этого обыкновенного подростка превращается в морщинистую маску, на которой отпечатаны ужас, растерянность, безумие.

Солдата стали восприниматься школьниками Советского Союза как навязанные «сверху» и потому фальшивые. См.: Tumarkin N. The Living and the Dead: The Rise and Fall of the Cult of World War II in Russia. NY: Basic Books, 1994.

¹ Рассказ написан в 1946 году, но впервые опубликован только 31 декабря 1956-го и 1 января 1957-го в «Правде».

² Рассказ впервые был напечатан в журнале «Знамя» (№ 6) в 1957 году.



**Климов. «Иди и смотри». Флор
в конце фильма**

Все рассматриваемые ленты — это не батальные фильмы о войне. Ни сражения, ни военное братство, ни преданность родине не занимают в них центрального места, но важным становится то, что чувствовали и чем жили люди на фронте и в тылу, и то, как те, кто потеряли на войне близких, пытались справиться со своей утратой после войны. Несмотря на разные фабулы, в основе сюжетов всех этих фильмов — проблема памяти, силы и слабости человека на войне, следа, оставленного войной в душе тех, кто пережил гибель родных.

Душевное состояние героев Бондарчука, Тарковского, Губенко можно описать как посттравматический синдром, психическое расстройство, вызванное реакцией на катастрофические события, которые человек перенес сам или свидетелем которых он стал и которые вызвали в этом человеке чувства беспомощности и страха¹. По словам Сюзанне Веес-Гулани, посттравматический синдром — это нарушения нормальных функций сознания, памяти, идентичности и восприятия окружающего². Симптомы синдрома включают в себя 1) повторение травмы в видениях, воспоминаниях, снах; 2) попытки избежать мыслей или действий, связанных с

¹ Kaplan and Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry. 8th ed. / B.J. Sadock, V.A. Sadock (eds.). Philadelphia; Baltimore; NY; London: Williams and Wilkins, 2005. P. 1775.

² *Veas-Gulani S.* Trauma and Guilt: Literature of Wartime Bombing in Germany. Berlin; NY: Walter de Gruyter, 2003. P. 27.

травмой; снижение способности вспомнить детали событий, относящихся к травме; чувство отчужденности от окружающих; предчувствие несчастного будущего; 3) повышенную возбудимость, которая проявляется в бессоннице, раздражительности, боязливости¹. Таким образом, реакция человека на травму может включать в себя целый диапазон явлений: с одной стороны, травматические события могут переживаться вновь и вновь как реальные, с другой — они могут становиться исключительно уделом воображения: сновидений, кошмаров, фантазий. Воспроизведение травмы в сознании часто непроизвольно и может быть вызвано внутренними или внешними раздражителями: звуками, запахами, картинами, напоминающими тот или иной аспект травмы². Иногда сильные ощущения страха могут вести к частичной амнезии, не позволяющей восстановить детали травмирующего события. В то же время человек, перенесший травму, может страдать навязчивыми воспоминаниями об ужасах прошлого. К симптомам посттравматического синдрома могут также относиться эмоциональная заторможенность, рассеянность, чувство удушья, сердечные болезни.

Андрей Соколов, герой фильма «Судьба человека», может служить хорошей иллюстрацией для обобщений Бенжамина и Вирджинии Сэдок: его нежелание признать горькую правду о гибели семьи («Уж не приснилась ли мне жизнь моя нескладная?!») сочетается с бессонницей, чувством вины перед погибшими, слуховыми галлюцинациями, склонностью к алкоголизму, чувством удушья и заболеванием сердца. Видя свою семью во сне, Соколов непроизвольно плачет. Исповедь героя³ можно интерпретировать в свете психоаналитических работ, которые показывают, что рассказ о трагическом опыте помогает человеку справиться с причиняемыми боль воспоминаниями. Рассказывая о пережитом, человек, страдающий от посттравматического синдрома, делает первый шаг на пути к осмыслению трагических событий как части своего *прошлого*, а не как постоянного элемента настоящего⁴.

¹ Kaplan and Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry. P. 1775.

² Miller L. Shocks to the System: Psychotherapy of Traumatic Disability Syndromes. NY: Norton, 1998. P. 18.

³ Как и рассказ Алексея Бартенева из фильма «Подранки».

⁴ О терапевтическом значении беседы см.: Felman Sh., Laub D. Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History. NY and London: Routledge, 1992. См. также: Herman J. Trauma and Recovery. NY: Plenum, 1997.



С. Бондарчук. «Судьба человека»

Соколова душит удушье, когда он рассказывает о прошлом

Повторяющиеся сновидения о погибшей семье, которые перерастают в кошмары, и отчужденность от окружающих также являются симптомами травмы и у Ивана Бондарева, героя фильма «Иваново детство». Иван по-детски называет свое состояние «нервенностью» («Нервенность во мне какая-то») и ни с кем не стремится сблизиться по-настоящему¹. Он не мечтает ни о сытой жиз-

¹ Практически все критические работы по фильму «Иваново детство» А. Тарковского отмечают трагедийный пафос фильма и, не интерпретируя состояние главного героя как посттравматический стресс, все же касаются проблемы травмы войны. См., например: *Тарковский А. Запечатленное время* // Андрей Тарковский / Ред. П. Волкова. М.: Эксмо-пресс, 2002. С. 77; *Туровская М. 7 1/2*, или фильмы Андрея Тарковского. М.: Искусство, 1991; *Green P. Andrei Tarkovsky. The Winding Quest*. London: MacMillan Press, 1993; *Суркова О. Книга*

ни в тылу, ни о том, как будет жить после войны, он не стремится к тому, чтобы кто-то из разведчиков его усыновил.

Губенко в фильме «Подранки» также акцентирует внимание на одиночестве детей, потерявших родителей. И для самого Ивана, и для одного из главных героев «Подранков», Вальки Гандина, немцы — это только фашисты. Валька хочет отомстить за гибель своей семьи, бросив динамит в лагерь военнопленных немцев, но при этом гибнет сам. Валькин друг, Алеша Бартенев, тоже ненавидит немцев, но еще больше его сжигает осознание собственного одиночества, потери семьи и отсутствия человеческого тепла, при воспоминании о котором всегда возникает образ сестры, заменившей Алеше мать в годы войны. Утрата, одиночество и призрачная надежда на то, что отец не погиб и однажды вернется, становятся основой Алешиной поэзии.

В свою очередь, в фильме Климова показаны не столько «следы» травмы, сколько сам процесс травмирования человека, процесс его перерождения под влиянием страшных событий. У Флора, героя Климова, наступает помутнение рассудка, когда он узнает о том, что его деревню истребили; он не может поверить в гибель своих близких. Травма войны здесь не часть прошлого, о котором зритель узнает по отдельным репликам и симптомам травмы, но само содержание фильма.

Учитывая автобиографичность всех рассматриваемых нами фильмов, можно сказать, что все они были попыткой режиссеров вступить в диалог с собственным травматическим опытом. То, что прошедший войну Бондарчук решил не просто поставить фильм, но и сыграть в нем главную роль, свидетельствует о ярко выраженной идентификации режиссера со своим героем. Потрясенный судьбой героя Шолохова актер сказал: «Может быть, я никогда не буду режиссером, но этот рассказ я хочу поставить и сыграть»¹. Для Тарковского, все фильмы которого несут отпечаток его ранней разлуки с отцом, введение в сценарий глубоко автобиографичных образов детства стало попыткой осмыслить свою собственную травму. В свою очередь, «Подранки» — это автобиография Губенко, который, как и его главный герой, остался без родителей в

сопоставлений. Тарковский-79. М.: Киноцентр, 1991; Михалкович В.И. Андрей Тарковский. М.: Знание, 1989.

¹ См.: Скобцева И. «Судьба человека» // Литературная газета. 2005. 25–31 мая. № 21/22 (6024/6025). С. 9.

начале войны и вырос в одесском детдоме. Климов работал над сценарием «Иди и смотри» совместно с Алесем Адамовичем, но рассказ о трагедии белорусов во время Великой Отечественной войны дал режиссеру возможность отобразить свою собственную память-боль о войне. Как и главный герой его фильма, Климов был подростком во время войны. В тот день, когда по Волге из Сталинграда эвакуировалась семья Климовых, под бомбежкой погибли все катера, кроме того, на котором находился будущий режиссер. Трудно не увидеть в истории Флора — единственного, кто выжил при уничтожении двух белорусских сел, — повторение истории жизни самого режиссера. Элем, по словам своего брата, всю жизнь чувствовал ответственность перед теми, кто не спасся в кошмаре переправы¹.

Таким образом, рассматриваемые фильмы не имеют ничего общего с назидательными киновиньетками, которые постепенно выхолащивали советский дискурс о Великой Отечественной. Напротив, эти фильмы стали рассказами, продиктованными как личной, так и коллективной травмой войны. В этих фильмах речь идет о разрушении личности под влиянием катастрофических событий и под влиянием воспоминаний о пережитом горе, о возможности и, одновременно, необыкновенной сложности воссоздания собственного Я героя. Дело, разумеется, не в том, чтобы, опираясь на теоретические выкладки западных исследований, продемонстрировать, что и в идеологизированном советском кинематографе были фильмы, показывающие человека, сломленного войной. Задача, повторяюсь, в том, чтобы понять *советскую специфику* киноповествований о травме. Главный вопрос можно сформулировать так: насколько образы травмы в рассматриваемых повествованиях зависят от особенностей советской культуры?

Образ травмы: одиночество

Рассказы о войне — независимо от времени — обычно характеризуются мнемоническим сдвигом. Внимание рассказчика избирательно фиксирует определенные моменты военного опыта, в то

¹ См.: *Климов Г.* «Иди и смотри» // Литературная газета. 2005. 25–31 мая. № 21/22 (6024/6025). С. 9.

время как иные пласты этого опыта предаются забвению. Кино и литература формируют коллективную память о войне, заполняя пробелы индивидуальной памяти и дополняя / подменяя индивидуальный опыт войны. Средства массовой информации, литература, живопись или кино предлагают своеобразный социальный договор о том, что нужно помнить, а о чем можно забыть. В зависимости от политических, социальных или культурных процессов с течением времени этот договор корректируется. Особой частью социального договора о трактовке опыта войны становится и обсуждение травмы войны в критической литературе. Так, в работах американских культурологов, литературоведов и психоаналитиков детально обсуждаются природа травмы и посттравматического синдрома, незаконченность и фрагментированность речи травмированного человека или даже принципиальная невозможность связно рассказать о таких катастрофических событиях, как Холокост. Обсуждается также и то, как под влиянием травмы оказываются не только участники страшных событий, но и их потомки и все те, кто так или иначе соприкасаются с памятью очевидцев (например, психотерапевты или студенты, изучающие Холокост по художественным произведениям или свидетельствам очевидцев)¹. Согласно наиболее радикальной теории травмы, мы все имплицированы в травматическом опыте друг друга². Ряд психотерапевтических исследований фокусируется на вопросах работы с пациентами, страдающими от посттравматического синдрома, и методиках преодоления этого состояния.

В то же время наиболее известные фильмы о Холокосте, повествуя о событиях, психически травмирующих человека, также строятся под влиянием определенной культурной традиции — нередко в соответствии со стилистикой событийных (и даже сенсационных) повествований³. Внимание в них нередко акцентируется не столько на сложности *рассказа* об ужасе концлагерей, сколько на уникальных историях спасения, или картинах страш-

¹ См.: *Felman Sh.* Education and Crisis, or the Vicissitudes of Teaching // *Felman Sh., Laub D.* Testimony. P. 1–57

² См.: *Caruth C.* Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1996.

³ См., например: «Список Шиндлера» Стивена Спилберга (1993), «Красивая жизнь» Роберто Бенини (1997), «Серая зона» Тима Блейка Нельсона (2001), «Пианист» Романа Поланского (2002).

ного быта концлагерей, или описаниях того, что помогало жертвам Холокоста выжить и сохранить человеческое лицо в лагерях смерти¹.

Советские фильмы о войне, рассматриваемые в данной работе, рисуют иной образ травмы. Они воссоздают не внешний ход событий, но их субъективное восприятие персонажем. Вместо острых конфликтных ситуаций между персонажами мы видим героев, сражающихся со своей болью и памятью. В трактовке эмоционального состояния этих героев режиссеры опираются на экспрессивные средства для передачи трагизма войны, на ритмические повторы в визуальном и звуковом ряде, на ассоциативные сопряжения сцен и персонажей². Это средства поэтического кинематографа, в котором «объяснения» мотивов поступков героев размыты. Рамки статьи не позволяют показать, как используются разные средства поэтического кино в создании образа травмы. Остановлюсь лишь на работе режиссеров со звуком, элементом, который редко становится предметом анализа киноведов, но который необыкновенно важен в киноповествованиях о травме.

Тарковский считал, что звук нужно использовать так же, как и изобразительный ряд, «литературно, символически»³. В фильме «Иваново детство» звуки повседневности — звук падающей капли, скрип двери, треск дров в печи — являются не фоном к действию, но знаками. Их звучание настолько подчеркнуто, что они воспринимаются зрителем как нечто амплифицированное сознанием главного героя, как звучащие в его душе. Эти звуки передают эмоциональную оголенность Ивана, его взвинченность и незащищенность. Не менее точно работают со звуком Губенко, Климов и Бондарчук⁴.

¹ Примечательно, что теория К. Карут о невозможности связно описать словами травматический опыт во многом основана на анализе французского фильма «Хиросима, любовь моя» (1959) Алена Ресне и Маргариты Дюра, а не американских фильмов.

² Так, Тарковский применяет негативное изображение в третьем сне Ивана, чтобы создать атмосферу нереальности, а затем трижды показывает лицо девочки — каждый раз с чуть иным выражением, — для того чтобы «воплотить предположение этой девочкой неминуемой трагедии» (см.: *Тарковский А.* Запечатленное время. С. 125).

³ *Тарковский А.* Уроки режиссуры. Учебное пособие. М.: ВИППК, 1993. С. 56.

⁴ О работе Бондарчука над звуком в «Судьбе человека» см.: *Baraban E.* The Fate of a Man by Sergei Bondarchuk and Soviet Cinema of Trauma // *Slavic and East European Journal*. Vol. 53.1. Spring 2007.

Мосфильмовская комиссия, принимавшая фильм «Подранки», согласилась с тем, что Губенко, отказавшийся от работы с композитором и подбиравший всю музыку к фильму самостоятельно, нашел наиболее адекватное решение для передачи эмоционального состояния своего героя. В «Подранках» использованы всего несколько музыкальных фрагментов из произведений А. Вивальди, А. Марчелло и А. Корелли, повторяющихся каждый раз, когда повествование переключается на изображение внутреннего мира Алеши Бартенева и мира, увиденного глазами Алеши. Музыка обозначает тут границу между миром детдома и внутренним миром героя.

В фильме «Иди и смотри» Климова в сцене бомбежки оставленного партизанами лагеря главный герой контужен. На протяжении долгого времени после налета Флор все слышит «через свою контузию», приглушенно и искаженно. Мир перестает звучать нормально; то, что раньше присутствовало как фон — звуки леса, шорох платья, шум дождя, — тонет для него в какофоническом гуле. Затем насыщенность звукового ряда резко меняется: тотальное назойливое звучание сменяется полной и не менее «назойливой» немотой мира в сцене, когда Глаша и Флор приходят в дом Флора и никого там не находят. Страшные, словно растерзанные куклы на полу и тишина, в которой каждая реплика Флора звучит неуместно громко, становятся метафорами смерти. В данном случае Климов показывает, как отказ его героя понимать, что происходит, осознать трагедию передается через отказ воспринимать. «Оглушенный» тишиной Флор затыкает уши¹. Он отказывается понять то, что уже интуитивно поняла Глаша. Минуту спустя, когда герои убегают прочь из села, камера показывает гору трупов у сарая. И если Глафира видит, почему село «молчит», то Флор не оглядывается назад — он не хочет слышать и видеть самое страшное, не хочет поверить в то, что село погибло из-за него. В данном случае искажение нормального звучания окружающего мира и искажение восприятия звука становятся художественными приемами для передачи травмы героя.

Рассматриваемые фильмы с особой остротой ставят вопрос об одиночестве человека, который перенес травму; об отношениях

¹ Похожий прием использован в фильме В. Тодоровского «Страна глухих» (1998), в котором врожденная и приобретенная глухота и немота становятся метафорой отказа участвовать в социальной действительности постсоветской России.



**Э. Климов. «Иди и смотри»
Флор контужен при бомбёжке**

между обществом и индивидом; о соотношении внутреннего мира отдельного человека с «большой» историей, с событиями, происходящими вокруг, с коллективом; о том, каким образом общество и отдельно взятый человек справляются с реальностью утраты. Трагедия героев Бондарчука, Тарковского, Губенко, Климова не только в том, что война отняла у них самое дорогое, но и в том, что они не могут подчиниться течению событий, приспособиться к миру, в котором больше нет их близких. Одним из ключевых моментов повествования становится то, что представляет собой нарушение идеального контекста жизни советского человека: выпадение человека из коллектива и кризис советского метанарратива¹.

Как было отмечено выше, в советском кино горе одного человека рассматривалось в контексте горя народа. Отсчет запечатлен-

¹ Сложившийся в советской культуре миф о Великой Отечественной служил своеобразным щитом, защищавшим психику отдельного человека от воспоминаний пережитого горя. На основании исследования Катерины Мерридейл можно сделать вывод о том, что люди, с которыми беседовала историк, охотно, в одних и тех же выражениях пересказывали историю Великой Отечественной так, как она кристаллизовалась в советской историографии, литературе, кино, музыке. Индивидуальные переживания военного периода обретали форму и, таким образом, корректировались в соответствии с коллективной памятью о войне. Или же забывались, вытеснялись памятью, если им не находилось места в общепринятой версии о событиях войны. См. главу «Russia at War» в: *Merridale C. Night of Stone: Death and Memory in Russia*. London: Granta Books, 2000.



Э. Климов. «Иди и смотри». Куклы как знак беды



Э. Климов. «Иди и смотри». Флор «оглушен» тишиной

ной в кино истории велся от побед, а «негероическое» вытеснялось на периферию художественного повествования. И в фильме «В 6 часов вечера после войны» И. Пырьева (1944), и в фильме «Повесть о настоящем человеке» А. Столпера (1948) герои, которым ампутуют ноги, на какое-то время теряют веру в себя, но, осознавая исключительность своей судьбы — судьбы «советского человека», — побеждают собственный страх и чувство депрессии для того, чтобы вернуться в действующую армию. Акцент, таким образом, делается на *преодолении* травмы, а не на процессе ее возникновения и протекания. Тот факт, что победа над травмой, над собственной слабостью достигается тут с помощью относительно простого соотнесения личного трагического опыта с необходимостью выполнить свой гражданский долг, вытесняет на второй план вопрос о сугубо личном переживании горя, о перерождении человека в страданиях, о сомнении в себе и в окружающих.

Фильмы «оттепели» стали показывать сложность травмы, сложность соотнесения личного опыта человека, пережившего трагические события, с хорошо знакомым укладом жизни. Травматический опыт ставил под сомнение привычные рациональные объяснения. Пережитая трагедия не укладывалась в существующие схемы, выбивая человека из привычной колеи. Господствующая в советской культуре идея коллектива вошла в противоречие с опытом травмы. Основопологающим в итоге стал вопрос о том, как человек может справиться с чувством одиночества, вызванным травмой, оставаясь при этом — или ощущая необходимость оставаться — членом коллектива. Этот конфликт, этот кризис базового советского нарратива вряд ли означал последовательную *критику* советских идеологов в военном кино «оттепели». Скорее речь шла о косвенном, ограниченном и в значительной степени ненамеренном стремлении придать кинематографическому образу героев черты психологической достоверности.

Герои Бондарчука, Тарковского, Губенко, Климова выпадают из коллектива либо из-за гибели самого коллектива, в котором непосредственно проходила их жизнь, либо из-за гибели близких им людей, которые были связующим звеном между героями и остальным миром, либо из-за самоотчуждения героя и его отчуждения от ранее близких ему людей.¹ Утратив близких, герои Бондарчука и

² В то же время если человек, переживший травму, выпадает из коллектива, то и общество тоже не знает, что делать с такими «покалеченными» людьми. После войны ветеранов с расстроенной психикой помещали в спецучреж-

Тарковского становятся чужими и сами себе. Сны героев отгораживают их «настоящую» жизнь от их эмоциональной заторможенности по отношению к происходящему наяву. Для Соколова потеря семьи невосполнима включением героя в «семью» советских людей или трактовкой своего личного горя в терминах коллективной жертвы, принесенной на алтарь борьбы с фашизмом. Соколов ощущает себя «покалеченным» и не находит себе места в обществе. Он не может вернуться в Воронеж, потому что все в этом городе напоминает ему о погибшей семье, и, не прижившись в Урюпинске, решает жить где-то еще: «Тоска мне не дает на одном месте долго засиживаться». Таким же бездомным оказывается и герой Губенко, писатель Бартенев. Он гостит в доме брата Дениса, навещает другого брата в тюрьме, но у самого Бартенева дома как бы нет. Сам образ детдома, в котором вырос писатель, передает обоюдное отчуждение человека и общества в травме: беспризорников ловят и помещают в детдом, расположенный в старинном особняке посреди великолепного парка, для их же собственного блага. Но это делается и для блага обывателей, которых эти беспризорники обворовывали и которым мешали жить. Дети-сироты подвергаются своеобразному остракизму, их детдом — это особый, не соприкасающийся с городом мир. «Спасая» от беспризорников Одессу, детдом не в состоянии спасти сирот от повседневного присутствия в их жизни следов войны. Война напоминает о себе и уроками военной подготовки, и доносящимися издалека звуками саперных работ, и школьными заданиями, которые требуют осмысления военного опыта страны, и, более всего, соседством лагеря немецких военнопленных, присутствие которых провоцирует мальчишек отомстить за погибших родителей.

дения, расположенные подальше от культурных центров страны, и страна о них забывала. О политике Советского государства в отношении военных, которые перенесли психическую травму, см. работу Катерины Мерридейл в этом сборнике. При том, что после войны на улицах советских городов встречалось множество увечных, у которых потеря конечностей была связана и с психической травмой, советский кинематограф и литература в общем прошли мимо судьбы этих людей. Лишь в малой степени в фильмах В. Венгерова «Город зажигает огни» (1958) и «Рабочий поселок» (1965) затрагивается проблема травмы ветеранов Великой Отечественной; да еще в начале фильма Л. Быкова «Аты-баты, шли солдаты» (1976) упоминаются специнтернаты для тех, кто спустя десятилетия после войны все еще рвется в атаку и в чьем сознании война поселилась навечно.

В фильме Климова образ травмы раскрывается через показ войны в повседневной жизни героев. «Иди и смотри» поражает отсутствием советского героического дискурса патриотизма и величия народного подвига. У Флора в начале фильма нет чувства ненависти к фашистам. Для него, как и для других подростков, война, партизанское движение — это своеобразная игра. Когда мать говорит ему, что если он уйдет, то ее и двух сестренек Флора немцы могут убить, Флор ее успокаивает тем, что «все идут» в партизаны, не объясняя при этом *зачем*. Для советского зрителя отсутствие этой риторики, возможно, и не было заметно, потому что сотни других произведений о войне были пропитаны пафосом патриотизма. И дело, собственно, не в том, что Флор не испытывает патриотизма, дело в том, что он показан как самый обыкновенный подросток, а не как *советский* подросток. Уходя в партизаны, Флор надевает свой лучший костюм, собирает большой чемодан, точно собираясь на курорт. Собственно, и в самом партизанском лагере нет места риторике, типичной для советских фильмов о войне. Климов не поэтизирует войну, не идеализирует своих героев, не воспеваает мужество, стойкость и бесстрашие. Партизаны Климова мельче, обыденнее, проще, чем привлекательные, отважные, идеологически подкованные воины, хорошо знакомые советскому зрителю по другим фильмам¹. Вместо отношений взаимопонимания и взаимопомощи между партизанами и местными жителями Климов показывает, как партизаны под дулом ружья заставляют крестьянина отдать им корову. Вместо лагеря, живущего по законам военной дисциплины, показана группа людей, которые играют «в дисциплину», в атрибуты партизанского лагеря. Неизвестно, над какими задачами работает этот отряд, потому что в фильме нет реплик о «нашей задаче» или «разработанном плане», привычных зрителю по фильмам о партизанах. Здесь нет кадров, показывающих командира и комиссара, склоненных над картой местности, как нет и кадров, изображающих связь партизан с «Центром». Вместо всего этого девочка-подросток, как и Флор, неуместно вырядившаяся в лесу во все самое лучшее, рассказывает о Косаче не как о руководителе партизанского отряда, но как об интересном мужчине, намекая при этом на свои интимные отношения с ко-

¹ См., например: «Константин Заслонов» А. Файнциммера и В. Корш-Саблина (1949), «Оленья охота» Юрия Борецкого (1981), «Дума о Ковпаке» Тимофея Левчука (1973–1976).

мандиrom. В результате такой суженной оптики у зрителя возникает чувство идентификации с главным героем, потому что все, что происходит на экране, передается через сознание Флора, которому, естественно, предельно мало известно и об отряде, и о его миссии, и о его командире. Показательно, что даже в сцене расправы над карателями, показывающей гнев партизан и их готовность сжечь фашистов заживо — точно так же, как они только что сожгли все село, — привычной темы мести не возникает. И это отсутствие привычной тональности может служить знаком того, что катастрофические события, воспринятые их очевидцами, еще не отрефлексированы, что простым людям, а тем более подростку, не до того, чтобы осмыслить происходящее в рамках всеобъемлющих нарративов — будь то советская идеология или ценности христианства. Травма еще проживается. И сознание, поглощенное конкретикой ужаса, еще не способно к обобщению травматического опыта.

Недетское лицо войны

Особенностью советских киноповествований о травме является также введение в нарратив образов детей в качестве центральных. В «Ивановом детстве», «Подранках» главные герои — дети. В фильме «Иди и смотри» в центре повествования подросток. Мотив поруганного детства также звучит в «Судьбе человека» в образе Ванюшки, мальчика, которого усыновляет Соколов. Дети здесь не просто персонажи, несправедливость по отношению к которым заставляет взрослых выполнить свой гражданский долг. Дети — носители боли, страданий и измененного сознания.

Понятно, что попытка показать войну как травму через детское восприятие — это один из способов выразить то, что нельзя выразить через героев взрослых. У детей восприятие окружающего мира отличается особой остротой и чуткостью. Однако «точно так же, как открыт ребенок восприятию светлого и доброго, так же беззащитен он в своей чуткости к грубому и жестокому, больно поражающему его»¹. В то же время изображение травмы войны через детское сознание становится стратегией художника не только

¹ Суркова О. Книга сопоставлений. Тарковский-79. С. 57–58.



Н. Губенко. «Подранки». Девочка-сирота на мусорной свалке

потому, что дети необыкновенно эмоциональны и беззащитны перед лицом войны, но еще и потому, что детям, как правило, несвойственна рефлексия о своем прошлом и настоящем. Собственно, отсутствие, невозможность осмысления трагических событий и становится знаком травмированного сознания. Поэтому образы детей как носителей травмы и давали режиссерам возможность «естественным» образом отсечь проблему соотношения индивидуального опыта с существующими в обществе интерпретационными моделями трагического опыта. Дети воспринимают мир без опоры на коллективный дискурс, который может помочь человеку встроить страшный травмирующий опыт в нарратив, объясняющий, почему происходят трагедии и в чем их смысл. Для детей мир ограничен семьей, непосредственным осязаемым, обоняемым, видимым и слышимым окружением. Они еще не знают механизмов соотношения частного и общего, не соизмеряют происходящее с социальными, идеологическими, культурными ориентирами.

У героев фильмов, анализируемых в данной статье, память о детстве, о погибших родителях — фрагментарна. Из этих осколков не сложишь картину прошлого. И потому они ранят детей в настоящем — осознанием потери родителей и собственной заброшен-

ности, безысходностью. Неслучайно первый образ из воспоминаний главного героя, возникающий на экране в «Подранках», — это беспризорная девочка, которая с ожесточением смотрит на стаю птиц, срывающихся с мусорной свалки вдалеке. За кадром звучат слова о том, что первая мысль, которую герой осознал в своей жизни, это мысль о том, что у него нет «ни отца, ни матери». Птицы на свалке — метафора «подранков», детей-сирот, из-за войны оказавшихся «на свалке» бытия.

Похожий визуальный ряд присутствует и в фильме «Судьба человека», в сцене, когда герой впервые видит беспризорного Ванюшку. Мальчик-«подранок», отвоевыва у кур арбузную корку, подбирает ее из грязи. Режиссер явно сравнивает мальчика с воробышком, когда камера перескакивает со стайки воробьев на фигурку взъерошенного, насупленного и необыкновенно юркого Ванюшки.

Показательно, что отсутствие памяти о событиях прошлого, зияние в сознании жертв Холокоста, которые были еще слишком малы, чтобы запомнить события катастрофы, активно обсуждаются американскими теоретиками травмы¹, но не драматизируются в американском кино. Однако именно это *осознание отсутствия* в памяти образов погибших родителей становится основой образов детей в «Судьбе человека» и «Подранках»². В случае с Ванюшкой из «Судьбы человека» запомнившийся фрагмент чрезвычайно мал. Это даже не осколок памяти, а мелкое крошево оставшихся воспоминаний о родителях. Мальчик помнит кожаное пальто отца и то, что его маму убило бомбой, когда они ехали в поезде, но не помнит ни своего настоящего имени, ни имени родителей. И это отсутствие у ребенка памяти о прошлом воспринимается Соколовым как трагедия еще большая, чем его собственные мучительно подробные воспоминания. Именно это зияние заставляет Соколо-

¹ См.: *Laub D. An Event Without a Witness: Truth, Testimony and Survival // Felman Sh., Laub D. Testimony. P. 75–93.*

² Сюда же можно отнести и образ Наташи из фильма Л. Кулиджанова «Когда деревья были большими» (1961). Героиня фильма — девушка, выросшая без родителей. Она не рассказывает о своих переживаниях, но в селе все знают, что Наташа «тоскует» по родителям, которых даже не помнит, так как потеряла их в младенчестве при бомбежке эшелона. И иногда видит сны о том, что родители нашлись. Ее единственным воспоминанием о прошлом являются образы «больших» деревьев перед родительским домом. Когда появляется человек, решивший назваться отцом Наташи, девушка с готовностью верит ему и принимает его как своего отца.



**Н. Губенко. «Подранки». Алеша Бартенев пишет сочинение
«Подвиг отцов в Великой Отечественной войне»**

ва заполнить пробел в памяти ребенка историей о том, что он и есть его отец.

В «Подранках», в сцене, когда в канун Дня Победы в 1949 году мальчики пишут сочинение на тему «Подвиг отцов в Великой Отечественной войне», звучит шемающий внутренний монолог Алеши Бартенева: «Что я знаю о своем отце? Только то, что мне рассказал Николай Степанович? И это еще полбеды. Половина класса вообще о своих ничего не знает». Жестокость формулировки темы сочинения (множественное число слова «отец» как бы предполагает, что сирота, не знающий своего отца, может считать отцами всех вернувшихся и не вернувшихся с поля брани мужчин) тонет в страстном желании сирот восстановить образ *своего*, единственного, настоящего отца. Травмированное детское сознание неспособно на обобщения. Оно не может подменить слово «отец» на слово «отцы». «Семья» и «советская семья» синонимами тут пока не стали. Именно поэтому, когда читают сочинение Вальки Гандина о его настоящем отце, в нем ни слова не говорится о «подвиге» отца, но лишь о страстном желании отомстить за его гибель. Зритель не узнает, о чем написал Алеша Бартенев, но он знает, о чем



**В. Пронин. «Сын полка». Ваня радуется,
что получил форму артиллеристов**

мальчик думал, пока писал сочинение: «А если по правде, я вообще не верю, что отец погиб. Ведь были же случаи, когда сначала приходила похоронка, а потом человек возвращался как ни в чем не бывало. ...Конечно, глупо надеяться всю жизнь на то, что отец вернется, но лет пять еще можно».

По сравнению с маленькими героями «Иванова детства», «Подранков», «Судьбы человека» Ваня Солнцев из фильма В. Пронина «Сын полка» (1946), созданного по одноименной повести В. Катаева, кажется существом странным. Мальчик-сирота начисто лишен памяти и вообще каких-либо переживаний, помимо желания есть и желания носить «красивую» военную форму¹. «Маленький взрос-

¹ Примечательно, что герой Тарковского равнодушен и к еде, и к форме. Если Богомолов в рассказе описывает, как мальчик переоделся из штатского рванья в красивую форму, на которой поблескивали орден и медаль, Тарковский «переодевает» Ивана в свитер грубой вязки, объясняя, что в фильме неуместно показывать ордена, так как создается впечатление, будто мальчика наградили за его страдания. См.: Протокол заседания президиума Совета

лый» Ваня с готовностью становится «сыном полка», воспринимает всех «дяденек» как свою семью и с радостью отправляется в свою новую семью — Суворовское училище.

Такую трактовку образа мальчика отчасти можно объяснить тем, что и повесть, и фильм создавались для детской аудитории, состоявшей в 1946 году из миллионов сирот, каждому из которых хотелось почувствовать себя «сыном» или «дочерью». Однако в этой же аудитории были и те, кто, подобно подросткам Губенко и Климова, не обладали счастливой способностью Вани Солнцева «чувствовать себя как дома» в любом окружении. Губенко и Климову понадобились десятилетия, чтобы выработать свой язык для создания образов, ровно противоположных образу Вани Солнцева, но созвучных тем, кому опыт преодоления последствий войны дался нелегко.

Герои-дети позволили по-новому поставить вопрос о гуманизме в повествованиях о травме. То, что травма приводит к разрыву связей между людьми и способна пробить брешь в том, что принято считать человеческим в человеке, ярко отражено во многих сценах рассматриваемых фильмов¹. Напомню лишь об одной. В конце фильма Элема Климова Флор, пройдя по кругам ада, наконец открывает огонь из винтовки, которую без надобности таскал за собой весь фильм. Стреляет он, однако, не в фашистов-карателей, но в картины истории нацистской Германии, которые отражаются в луже. Он точно уничтожает события, которые привели к появлению зверей-нацистов, истреблявших мирное население Белоруссии. Но когда в конце этой «хроники» возникает фотография Гитлера в младенчестве, Флор опускает оружие. В отличие от немецких карателей, сжигавших белорусских младенцев живьем для того, чтобы нация не возродилась, маленького Гитлера Флор «расстрелять» не может.

В контексте фильма этот кадр звучит не как знак прощения фашизма замученным народом. Скорее, это утверждение: пережитый кошмар все же не истребил человеческое в герое, и, несмотря на травму, человек способен оставаться по *эту* сторону добра.

объединения от 4 апреля 1961. РГАЛИ. Ф. 2453 (Мосфильм). Оп. 4. Ед. хр. 351. Дело картины «Иваново детство». 9 сент. 1959 — 20 авг. 1963. Л. 115.

¹ Так, например, у Тарковского кульминацией сцены игры Ивана в войну является то, что мальчик, угрожая судить «пойманного» фашиста за совершенные злодеяния, начинает плакать, точно жалея о том, что его ненависти недостаточно, чтобы действительно покарать немца.

Зеркальность травмы

Примечательно, что тезис Кэти Карут о том, что все мы имплицированы в травматическом опыте друг друга¹, не ставший творческим импульсом для западных режиссеров, сопоставим с художественным принципом характеристики у Бондарчука и у Тарковского. Речь идет о принципе «двойничества», раскрывающего связь травмированного человека с другими людьми. Именно эта связь по ассоциации между травмированным героем и другими персонажами фильма отличает киноповествования Бондарчука и Тарковского от рассказов Шолохова и Богомолова, по которым были сняты «Судьба человека» и «Иваново детство». В фильмах черты травмы главных героев перекликаются с чертами второстепенных героев.

В «Судьбе человека» связанными оказываются образы Андрея Соколова и Ванюшки. Когда Соколов видит, как беспризорный мальчик подбирает объедки у чайной, он «узнает» в нем себя. В плену Соколов тоже с жадностью кидался на объедки, брошенные ему немецким майором. В то же время Ванюшка по ассоциации оказывается связанным с образами погибшей жены и детей Соколова. Он называет героя «родненький!», так же, как когда-то Соколова называла жена, и в конце концов заменяет Соколову семью.

В свою очередь, в «Ивановом детстве» образ травмы тоже лепится не только привнесением второго плана снов в характер главного героя, но и с помощью детализации места действия и изменений второстепенных персонажей по сравнению с рассказом Богомолова. К примеру, вместо голубоглазой, белокурой и пышногрудой фельдшерицы из рассказа Богомолова в фильме возникает образ кареглазой, хрупкой брюнетки, сыгранной Малявиной. Как пишет Тарковский, Малявина «выглядела такой наивной, чистой, доверчивой, что сразу становилось ясно: Маша-Малявина совершенно безоружна перед лицом войны, не имеющей с ней ничего общего. Незащищенность — это пафос ее натуры и возраста»². Линия Маши, как пишет Майя Туровская, связана с исто-

¹ Caruth C. Unclaimed Experience. P. 108–112.

² Тарковский А. Запечатленное время. С. 128.



В. Пронин. «Сын полка»

Конец фильма: Ваня в строю суворовцев на Красной площади

рией Ивана ассоциативно, а не сюжетно¹. Маша «так же неуместна в жестокой действительности войны, как эти сны, как детство, как белоствольная березовая роща... как русская песня на шляпинской пластинке “Не велят Маше за реченьку ходить”»². Мотив ранимости Маши становится отражением мотива незащищенности детства перед лицом войны, воплотившемся в образе Ивана.

Еще один персонаж, показанный в фильме своеобразным двойником Ивана, — это безумный старик на пепелище, с которым мальчик случайно встречается после побега от разведчиков, собиравшихся отправить его в тыл. Если Иван живет и наяву — как разведчик, и в параллельном мире своих снов — как обыкновенный ребенок, то для старика прошлое и настоящее перепутались. Он то говорит о том, что его старуху убили немцы, то ищет совершенно особенный, а на самом деле самый обыкновенный гвоздь,

¹ Туровская М. 7 1/2, или Фильмы Андрея Тарковского. М.: Искусство, 1991. С. 16.

² Там же. С. 17.

чтобы повесить на печь грамоту Пелагеи, подготовив таким образом избу к *возвращению* своей старухи. Иван в этой сцене почти ничего не говорит, но выражение сочувствия на его лице и не подетски практичная помощь старику (ни слова не говоря, Иван оставляет на бровке колодца буханку хлеба и банку консервов в надежде, что старик их обнаружит) свидетельствуют о том, что он хорошо понимает состояние старика, потому что и сам пережил травму утраты близких¹.

Символом одиночества травмированного человека является в этой сцене дверь, чудом уцелевшая при пожаре. Кроме этой двери, которая потеряла всякий практический смысл, потому что от дома ничего не осталось, зритель видит еще печь и петуха Петьку, с которым старик разговаривает. Но все это находится посреди серого унылого поля, точно никакого другого жилья поблизости нет. Жуткий скрип двери воспринимается через сознание Ивана. Еще более жутким кажется кадр, когда старик закрывает дверь и происходит наплыв, в результате чего зритель видит только черноту двери в кадре. Этот эпизод строится на технике остранения, обнажающего символическое значение предмета. Закрытая дверь в этой сцене — символ одиночества человека, пережившего утрату, знак его принципиальной отъединенности от мира.

* * *

Проведенный анализ показывает, что травма дезориентирует человека, ставя под сомнение привычные схемы его взаимоотношений с окружающим миром. В советских трактовках травмы Великой Отечественной войны ключевым аспектом повествования является изображение одиночества психически травмированного человека, его отчуждение от коллектива и его самоотчуждение. Советская идеология коллективизма в фильмах Бондарчука, Тарковского, Губенко, Климова поглощается индивидуально переживаемой травмой главных героев. Однако, акцентируя внимание на экзистенциальных вопросах и драматизируя кризис метанарратива о советской общности, эти фильмы не стали идеологической *критикой* советской системы. Безусловно, рассмотренные фильмы отличались от сотен советских фильмов, в которых вообще не нашлось

¹ См. также интерпретацию этого эпизода в: *Евлампиев И.* Художественная философия Андрея Тарковского. СПб.: Алетейя, 2001. С. 28–29.

места для внутренней жизни отдельного человека на войне. Учитывая жесткие идеологические требования, предъявлявшиеся к кинематографу, даже в наиболее либеральные периоды советской истории таких фильмов и не могло быть много. И вполне возможно, что попытки использовать детей для изображения психически травмированных героев во многом объясняются еще и тем, что проблема соотношения индивидуального и коллективного здесь естественно отходила на второй план. В отличие от взрослых, именно личный опыт становился определяющим.

И все же ни советская концепция коллективности, ни советская система в целом не показаны в «Судьбе человека», «Ивановом детстве», «Подранках», «Иди и смотри» как враждебные человеку. Подчеркну: советский дискурс коллективности отвергается сознанием героя не потому, что это враждебный человеку дискурс, но потому, что, как и любой другой метанарратив, он не может помочь травмированному человеку справиться с утратой. В этом — кардинальное отличие советских повествований о травме войны от большинства постсоветских фильмов о войне, в которых конфликт между человеком и коллективом превратился в противостояние личности и системы.

В таких работах, например, как «Штрафбат» Николая Достая (2004), «Последний бой майора Пугачева» Владимира Фатьянова (2005), «Эшелон» Нийоле Адомиайте и Дмитрия Долинина (2005), рассказ о войне оказался неотделимым от разговора о преступлениях сталинского режима. Соответственно, герои этих фильмов о войне изображаются как жертвы Советского государства и его идеологии. Сама война с фашистской Германией становится только фоном. Собственно, такие ревизионистские киноповествования о Великой Отечественной, сконструированные на обломках советского дискурса, являются не столько повествованиями о *травме войны*, сколько попытками осмыслить коллективную травму *сталинизма*. Показательно направление этих осмыслений: если дебаты об исторической достоверности деталей и вообще о правдоподобности ситуаций, изображенных, к примеру, в «Штрафбате» Достая, составили основное содержание рецензий на этот фильм¹, то с выходом на экраны филь-

¹ См., например: Бушин В. Одиннадцать выстрелов в спину // Литературная газета. 2004. 15–21 декабря. № 50; Ходинов А. В чем проштрафилась моя родина? // Литературная газета. 2005. 26 января — 2 февраля. № 2; Нарочницкая Н. Стратегия антипобеды // Литературная газета. 2005. 5–11 мая. № 19.

ма Александра Атанесяна «Сволочи» (2006) репрезентация войны в постсоветском кинематографе перешла в иной ракурс.

«Сволочи» — история о детском «штрафбате», о подростках-уголовниках, которых во время войны государство «спасает» от приговора к расстрелу тем, что готовит из них диверсантов. В отличие от «Штрафбата» Достая, однако, эта история не основана на реальных событиях. «Сволочи» представляют собой одновременное отрицание и идеологии «Сына полка», и эстетики «Подранков», в которых взрослые, олицетворяющие государство, опекают и спасают детей. В «Сволочах» государство намеренно посылает большую часть детской диверсионной группы на смерть, чтобы отвлечь внимание противника от основного удара¹. Бессмысленно обсуждать этот фильм в рамках дискуссии о «новой правде» о войне. Однако его значение как фильма, продолжающего и — по сравнению с вышеназванными «Штрафбатом», «Эшеленом» и т.д. — заостряющего традицию отторжения советского типа коллективности, понять важно. Вместо кажущегося и декларируемого расширения концептуального пространства, в рамках которого война с фашизмом может быть осмыслена как травма², фильм «Сволочи» ярко демонстрирует процесс подмены традиционного советского дискурса его негативной копией. Однако этот перенос травматического опыта войны — да и «советского прошлого» в целом — в область чистого вымысла продемонстрировал и то, что пока никакая другая «альтернативная» версия не в состоянии претендовать на статус концептуальной опоры в осмыслении советского метанарратива в целом и интерпретации Великой Отечественной войны в частности.

¹ Примечательно, что осуждение советского режима вкладывается в уста немцев. В конце сериала Достая, когда штрафным батальоном жертвуют, чтобы отвлечь внимание противника от основного удара, немецкие командиры говорят о бесчеловечном отношении советского командования к своим солдатам. В конце «Сволочей», когда немцы, собрав трупы сбитых ими парашютистов, обнаруживают, что это дети, они также сокрушаются по поводу бесчеловечности «этой войны».

² К примеру, Эдуард Володарский, автор сценария сериала «Штрафбат», говорил о том, что его задачей было рассказать правду о Великой Отечественной войне. *Гавриленко А.* Интервью с режиссером сериала «Штрафбат» Николаем Досталем // Красная звезда. 17 ноября 2004.

Петар Рамаданович

Как я стал американцем:

когда войска НАТО бомбили мой город
(отрывки)*

Предлагаемый ниже материал взят из дневника, который я вел во время натовских бомбардировок моей родины, еще именовавшей себя Югославией. Я жил тогда в Южной Флориде и преподавал в университете. 18 марта 1999 года, как раз перед началом натовской кампании, подав заявление на получение гражданства, я с нетерпением ждал ответа от Службы иммиграции: через несколько месяцев истек срок действия моего красного паспорта, выданного в бывшей Югославии, и я мог остаться без гражданства.

Эпиграф: телефора

Не желая брать трубку, но будучи заинтригована ее возможностями, моя бабушка пользовалась телефоном только в случае необходимости; или когда рядом не было ни одного свидетеля. Вцепившись в трубку, она закрывала глаза в попытке расслышать голос говорящего и представить его рядом — того, кого она по причинам ей неизвестным видеть не могла. Благодаря ее зажмуренным глазам невидимый собеседник становился зримым. Именно так бабушка «связывалась» с любым адресатом, превращая скрытое от взгляда в осязаемость.

* Перевод с английского Анны Богдановой. Впервые опубликовано: *Ramadanovic P. When Bombs Fall: Becoming American During the NATO Bombing of Yugoslavia (excerpts) // Discourse-25. Winter & Spring 2003. №1/2. P. 272–293.*

Выражаю благодарность редакторам Карлу Гуду, Энн Кубилье и Кэтрин Пиблз за их указания и советы, которые помогли подготовить этот отрывок к публикации. Я также признателен Майклу Ферберу за внимательное критическое прочтение моей рукописи. «Когда войска НАТО бомбили мой город» посвящена теперь уже бывшей нации югославов.

Бабушкина манера телефонного общения наводит на мысль, что телефон — не только электронный аппарат, но и фигура речи, некий троп, который связывает пространство и одновременно лишает говорящего чувства привязанности к месту. В этом тропе заключен элемент персонифицирования. Собеседница на одном конце провода не говорит за отсутствующего — у того есть собственный голос. Однако она одалживает ему свое тело, причем настолько буквально, насколько возможно представить. Телефону моей бабушки также присущи некоторые свойства метафоры: он переносит ощущение ее места (и ее ощущение места) на другой конец провода. Именно телефон как носитель голоса или, точнее, телефона как универсальный транспортер, как проводник к иной пространственной точке и является главным тропом «Когда войска НАТО бомбили мой город».

С одной стороны, телефон есть конкретный механизм, который объединяет сообщество, описанное в моем дневнике. С другой стороны, телефон предстает своеобразным тропом, фиксирующим последнюю трансформацию бывшей Югославии, государства, существующего лишь между конкретным «здесь» (в моем случае между США и Сербией) и «там» (то есть точкой без четких пространственных координат). «Здесь» и «там» могут находиться на одной временной шкале, но принадлежать разным временным поясам.

Сомневаюсь, что во время моих телефонных переговоров в период натовских бомбардировок голос, который я слышал по телефону, и я сам находились в одном и том же «сейчас». Наше время могло совпадать, а могло и нет. Голос мог доноситься из моего прошлого или будущего. Он мог исходить с этой стороны или оттуда, где время замедляло свой ход, как будто его основное свойство — проходить — оказалось утраченным.

Закрываю глаза и пытаюсь осознать, кем или чем я являюсь.

I. Удаляясь

4.04.1999, Бока Ратон, Флорида

Вуковар, Дубровник, Мостар и Сараево. Вуковар сровняли с землей. Дубровник пострадал больше символически, нежели физически. Мостар растерзали — безжалостно и безвозвратно. Сара-

ево, охваченный смертью и разрушением, прославился своим вдохновенным сопротивлением. НАТО начала против Сербии воздушную кампанию, которой пугали с 1992 года, когда сербы стали бомбить Сараево. Теперь бомбы падали на сербские города.

К моему удивлению, в моей эмоциональной географии бомбардировки Белграда, столицы бывшей Югославии, *регистрируются* гораздо сильнее, чем я ожидал. Даже несмотря на критическую дистанцию, которую я стараюсь *удерживать*, они несравнимы с предыдущими катастрофами, пережитыми страной. Мне больно и страшно, и я понимаю, что до сих пор чувствую неразрывную связь с городом, в котором я родился и откуда я уехал в 1991 году в возрасте двадцати восьми лет. Не то чтобы я все еще там, но и не могу сказать, что меня там нет. Несмотря на все изменения, которые произошли со мной за годы жизни в Америке, на все мои отличия от тех, кто остался в Белграде, мне трудно отвлечься от бомбардировок и не посочувствовать городу и находящимся в нем родным и друзьям. Я звоню домой, чтобы из первых рук получить прямой репортаж о воздушном налете.

* * *

Суббота. Через мгновение я осознаю, что как раз сейчас на другом конце провода происходит воздушный налет. В этой сиюминутности есть какая-то ненормальность. Почему телефонная связь не прервалась? Кто позволил продолжить наш разговор?

Когда я предлагаю отцу уехать от бомбежек Белграда в США, он заводит речь о «судьбе». Пытаюсь представить его слова в виде образов: судьба — это дорога с односторонним движением и единственным конечным пунктом. Идешь по ней, принимая все, что встречается, и даже не думаешь свернуть или остановиться. В голове мамы мне слышится отзвук страха перед отъездом. Сложное ощущение страха. Она будет считать себя предательницей, если ей придется уехать из Белграда сейчас, когда судьба, будущее или что бы там ни было ждут своего решения. Мама говорит, что несколько дней назад отправила мне письмо. Жду его. Может, из него я лучше пойму мотивы ее нерешительности и неподвижности, которые она называет судьбой.

* * *

Мамино письмо, написанное и отправленное 30 марта 1999 года, дошло до меня лишь через шесть месяцев, 23 сентября. Привожу здесь его полностью.

Дорогие Пека и Ката!

Знаю, что волнуетесь за меня, но для этого нет оснований. Мысль о вашей безопасности помогает мне, да и другим, легче переносить происходящее. Никто не уехал — ни один из наших соседей по улице, ни один из моих родственников или друзей. Все остались здесь, положившись на судьбу. От судьбы не спрячешься, не убежишь, куда бы ты ни пошел. С горестью сообщаю тебе, что вся семья, ранее убежавшая из Боснии, погибла в Призактине (в их дом попала бомба).

Слышать сигналы воздушной тревоги нелегко, но я к ним уже привыкла и теперь их не боюсь. Я себя подготовила. Мы с Дукой [ее кокер-спаниель] уходим на кухню [на первый этаж] и переживаем там опасность. Продуктов у меня и у Милены [ее сестра-близнец] предостаточно. Мне частенько звонит Гока [ее приятельница], и в принципе я общаюсь со всеми знакомыми. Документы держу в сумочке, которую везде ношу с собой. Из дома выхожу, только чтобы сделать необходимые покупки и выгулять Дуку. После налета мы обзваниваем друг друга и справляемся о самочувствии. Гока живет на первом этаже высотки, и, по ее словам, во время тревоги в бомбоубежище «сущее столпотворение». Сама она остается в квартире. Говорит, что прячется под столом и что от судьбы не уйдешь. А Гока Т. [ее двоюродная сестра] рассказывает, что первые два вечера они прятались в погребе, потому что их заставлял Закарко [отец Гоки]. Но в погребе они замерзли и больше туда уже не спускаются. Сидят дома. На улицах Белграда людей можно увидеть даже во время воздушной тревоги. Понимаешь, сынок, восемь лет санкций настолько нас закалили, что нас уже такое не пугает. Учишься переносить невзгоды. А так все в порядке. Народ даже дисциплинировался. В автобусе никто не хамит, не хулиганит. Семья А. [живущая над маминой квартирой] никуда не уехала, так что в доме я не одна. Другие соседи тоже здесь. До вчерашнего дня они и поздороваться не удосуживались, а теперь мы разговариваем, обмениваемся впечатлениями, и это само по себе неплохо.

Дети мои, вы только не беспокойтесь. Это не может продолжаться вечно. У всего есть начало и конец. Нам лишь нужно на-

браться храбрости и терпения. Я слишком стара [ей шестьдесят один год], чтобы уезжать куда-то, и, по-моему, должна быть именно здесь.

Как вы там? Не тревожьтесь за нас. Судьбу изменить нельзя, и я верю в высшие силы.

Люблю и целую вас. Надеюсь побывать у вас после вашего переезда и отпраздновать вместе с вами вашу новую работу. Берегите себя и любите друг друга. Это будет для меня самой большой отрадой.

Странно. Я прекрасно помню время, когда мне было три года [это 1941-й — год нападения Германии на Югославию]. Мы жили тогда в Славии [пригород Белграда]. Была Пасха. С собой на улицу я взяла крашеное яйцо, чтобы съесть его вместе с другими детьми. Потом завывали сирены воздушной тревоги. Мы побежали в укрытие вслед за твоей бабушкой. Вот что осталось в моей памяти, и посмотри, какая ирония судьбы: то же самое происходит сейчас, как раз накануне Пасхи. Собираюсь красить яйца. Проверь дату нынешней Пасхи по церковному календарю, который я тебе послала. Кажется, она 11 числа. Отвари несколько яиц, штук пять-шесть, и покрась их в красный цвет. Первое покрашенное яйцо положи в маленькую вазу или чашку и храни до следующей Пасхи. Говорят, что оно оберегает и дом, и семью. Убери его, чтобы не разбилось.

Бог даст, приеду и немного погощу у вас, а потом еще поживу и здесь, дома. Вот только властители мира не думают о наших скромных желаниях. Приходится ждать, когда они сменят гнев на милость. Бог нас не оставит.

Всегда думаю о вас. Горячо люблю и крепко вас целую.

Мама

* * *

Нападение НАТО стало неожиданностью для Белграда. Люди считают, что обрушившееся на них несчастье повлечет за собой Третью мировую войну. Им кажется, что «бывшие союзники» их предали, они считают, что они — жертвы, страдающие не по своей вине: как же несправедливы и ужасны американцы. И если они действительно в это верят, то сербская эмиграция в страну обмана, начавшаяся в 1987 году, видимо, подошла к концу.

Схожие симптомы наблюдаются у сербов, покинувших Сербию. Вместе с их родиной НАТО разрушает и их память. Мне переслали электронное письмо моего бывшего преподавателя, который в начале югославских войн эмигрировал в западноевропейскую страну. Он вспоминает свое идиллическое детство, проведенное в окрестностях ныне разрушенного Петроварадина моста в Нови-Саде. Он так удручен, словно бомбы разнесли не конкретное сооружение в конкретном месте, а его память. Будто бы именно бомбы, а не ход времени, сделали безвозвратным его прошлое. У тех, кто уехал из Югославии, НАТО грозит вызвать неизбежную и необратимую ностальгию по «дому». Парадоксальным образом нас не отрывают, а привязывают к отечеству. Такова сила бомб. Они возвращают нам память, заставляя создать определенную версию нашего прошлого, вынуждая определиться с вопросом о том, что значит родиться в Сербии.

* * *

Сегодня, 4 апреля 1999 года, мама заявляет, что ОНИ сошли с ума. ОНИ не ведают, что творят. Их могущество пошло им во вред. Как только она заканчивает эту фразу, эхо ее слов наполняется смыслом. Мама говорит — или же я ее так слышу, — что все мы здесь сошли с ума. Сегодняшним субботним утром я понимаю: существуют какие-то чудовищные, безвестные и незримые ОНИ, явившиеся с неба и вытворяющие невесть что с сербами. ОНИ с трудом поддаются описанию. Наверняка о них известно лишь одно: ОНИ здесь. (В виде судьбы?) Кто же ОНИ? Почему ИХ не видно?

Они — это, разумеется, НАТО. Однако Сербией не в первый раз управляет незримая сила. Невидимые ОНИ руководили Югославией — во всяком случае, начиная с конца Второй мировой войны источник власти был скрыт от людских глаз. В этом смысле бомбардировки являются кульминацией политической системы, ее окончательной материализацией; в нынешнем катаклизме, похоже, виден конец исторической эпохи.

Еще мама говорит, что НАТО сбрасывает бомбы на «мертвые дома». *Мертвые*, подчеркивает она, стараясь передать их заброшенность и опустошенность. Бомбы падают на пустые военные бараки. (Югославская армия переселилась в школы и больницы и там уклевается от налетов.) А в бараках нет ни души. Зачем их бомбить?

Что именно ОНИ хотят разрушить, вопрошает мама, ничего не понимая. Мертвые здания нельзя уничтожить. «Они что, намерены извести смерть как таковую? Тогда как мы будем умирать?»

* * *

Вообще, в первые дни бомбардировок люди стали ближе друг другу. «Здороваются вчерашние незнакомцы. Появляются соседи и друзья, о которых ты раньше и не догадывался». В ожидании смерти, скорее в смятении, нежели в страхе, маму потянуло к ее сестре-близнецу. Они вдруг сделались неразлучны. Старые ссоры если не прощены, то забыты. Примирение из-за воздушных налетов и на фоне воздушных налетов для них вовсе не случайное событие. По словам мамы, семья воссоединилась, как в 1941-м, когда им было по три года.

Сестры проводят время за игрой в карты. Днем устраиваются во дворе пить кофе на солнышке — Белград купается в лучах его ранних весенних лучей. «Продуктов у нас еще хватит на полгода».

Мама то и дело повторяет, что не боится. «У себя дома я в безопасности. Здесь надежно. Пока ОНИ не начали ходить от двери к двери и убивать людей». А до тех пор, как ей кажется, бояться нечего, и уезжать она не намерена. Но ОНИ и не станут ходить от двери к двери, из дома в дом, убивая людей. ОНИ (в данном случае сербы) уже так сделали — в Хорватии, Боснии, Косово. Время покажет, поступят ли ОНИ так же с Белградом.

* * *

Моей сестре Иване сейчас двадцать шесть. Интересно, повторит ли она путь своих предшественниц по родовой линии? Достанется ли ей та же участь, или судьба, о которой говорит мама? Для мамы эта самая судьба равнозначна кровным узам — она не просто удел отдельного индивида, но якобы именно та нить, которая нас — маму и ее детей — связывает, словно проникая в нашу кровь. Судьба становится именем, которое должно принять новое поколение, причем не как свое собственное имя, но как необходимость, благодаря которой они станут тем, кем уже являются. В последнее десятилетие для мамы усомниться в судьбе означает предать свою

семью или, точнее, свою мать и мать ее матери, поскольку оба поколения женщин жили без мужчин. Старший погиб как солдат во время Первой мировой войны, младший же развелся с бабушкой и исчез из ее жизни и жизни дочерей. Вера в судьбу дает маме утешение. Нас пытаются убедить в правоте этого взгляда. В особенности активным внушениям подвергается Ивана, поскольку она — женщина, а я живу слишком далеко от дома.

* * *

Из Будапешта, где моя сестра сейчас изучает права человека, она заявляет мне по телефону: «Ты ничего не понимаешь. Ты уже ничего не понимаешь про Белград — про то, как он живет, что он из себя представляет».

Мне ясно только одно: с Иваной становится все труднее и труднее общаться. Первое, что приходит на ум, так это мысль о ее неистовстве. Слово «неистовая» не совсем верно отражает характер сестры, но должно отчасти передать или описать, что именно произошло с нами и нашими отношениями с того момента, как я уехал из Белграда. Я, кажется, теперь не могу с ней говорить и уже не слышу ее. Даже если мы встречаемся, как, например, здесь неделю назад — тогда, как раз когда начались бомбардировки, Ивана приехала в Южную Флориду на небольшие каникулы.

Лица мы загородили руками. Никто не проронил ни слова. Взгляды с неприязнью, озлобленностью, болью отведены в сторону; как будто воздушные налеты — это продолжение наших родственных отношений, то есть отношений между мной, сестрой и нашим отношением к маме.

Очень хорошо помню, как она старается успокоить меня по телефону. Я признаюсь ей, что мы как одержимые слушаем новости о бомбардировках, а она отвечает: «Забудь о Белграде. Живи в свое удовольствие. Тебе надо рассеяться за всех нас». Она, я так полагаю, будет волноваться вместо меня. Как настоящая балканская женщина, она будет страдать из-за своего американского брата. Меня немного утешает тот факт, что Иваны нет в Белграде.

* * *

В ту же субботу, 4 апреля 1999 года, звоню приятелю, чтобы позвать его в США. В ответ он меня спрашивает: «Если все мы уедем из нашей страны, кто останется в Белграде?» Другой приятель в электронном письме из Любляны (Словения) пишет: «Кто будет жить в нашей стране, если люди уезжают из Сербии, а Косово уже наполовину опустело? Беженцы из Хорватии и Боснии?»

В 1999-м вместо священной Сербии, о которой мечтали националисты, вместо Великой Сербии, планы которой строили военные, сербам удалось создать телефонную Сербию. Война разбросала нас по всему свету. За счет наших иммигрантов в Южной Африке растет белое меньшинство. В США мы стараемся вовсю, чтобы занять свое место в (высшем) среднем классе. В Австралии мы просто примыкаем к эмигрантской общине, образовавшейся во время Второй мировой войны. В Ботсване, где в 1970-х обосновались несколько экс-югославских строительных компаний, сербы ведут себя так же, как и всегда: прячутся за стенами резиденций и пьют до беспамятства. В Дубае они молятся вместе с остальным населением, а в Москве их принимают за людей, которые точно знают, что им делать и чего хотеть.

В выходные сербы объединяются благодаря телефону. Дружба, прежде составлявшая основу белградской жизни, приняла форму недельного, месячного или годичного отчета. Да, это достижение. В конце концов нам удалось создать безопасное расстояние между собой и балканским безумием.

Было бы неверным считать, что эти мигранты, устремившиеся на реализацию своих мелкобуржуазных представлений и стандартов, перестали быть сербскими националистами. Некоторые из нас — а может быть, и большинство — как раз таковыми и являются. Просто мы предпочитаем наблюдать, а не участвовать.

* * *

Сестра, возможно, права: я уже не понимаю, что происходит в Белграде. И все же мне кажется, что как раз сейчас, когда я живу в США, вдали от моего некогда родного города, я начинаю постигать его. Мне нужна эта пространственная и временная дистанция для того, чтобы мысленно создавать образ и думать о нем. Может, Белград требует такого расстояния?

В любом случае, себя самого и Белград я обрел именно здесь. Постичь ту землю я могу только теперь, покинув ее, только после того, когда она стала чужой, совсем чужой, изменилась до неузнаваемости. Как раз сейчас, когда падают бомбы и когда я перестал узнавать ее, появилась возможность ее понять. Узнавание, то есть повторная встреча с ранее виденным, слишком часто изолировано от того, что кардинально, а временами болезненно от него отличается, и, уж конечно, от того, что нам чуждо. Восприимчивость к самым неожиданным формам различия необходима мне для понимания нынешнего Белграда. И обрести такую восприимчивость я могу только вдали от него — там, где я вне досягаемости этого города, где его пугающая реальность не угрожает моему сегодняшнему существованию. Здесь у меня есть время. А там господствует чрезвычайное положение.

Я вовсе не хочу сказать, что насущность и осмысление противостоят друг другу. Крайняя необходимость предполагает некоторое размышление. В равной мере не бывает мышления без чувства настоятельности. Однако безотлагательность, которой называется предельная ограниченность, не оставляет времени для размышления, не позволяет мысли развернуться и развиваться. Мысль же, наоборот, заставляет забыть о сиюминутном, о его потребностях и его уникальности. Как говорится, мышление — это пространство, где можно заблудиться. Укрытие и прибежище одновременно.

Мои размышления и записи не что иное, как поиск и столкновение со своей идентичностью. Как раз благодаря этим действиям — а вовсе не рождению — я становлюсь сербом, больше чем когда бы то ни было или будет. Не то чтобы каждому нужна или у каждого должна быть этническая идентичность. Просто бывают времена, когда она становится неизбежной.

* * *

«Почему бы тебе не приехать во Флориду?» — предлагаю я маме. «Как ты это себе представляешь? На кого я оставлю дом?» — восклицает она, раздражаясь на мою непонятливость. Мама говорит о доме так, будто речь идет о живом существе, а не о неодушевленном предмете. Она верит, что с ним (с ее домом) ничего не случится, пока он находится под ее защитой. Ей слишком страшно уезжать из дома. Слишком страшно выйти и взглянуть на него и на

саму себя со стороны. Мама хочет всего-навсего оставаться в своем доме — там, где неладно, но где она чувствует свои силы.

Я понимаю, что значит родиться в определенном месте, в конкретной географической точке, — среда не дает сдвинуться с места. Там ты ощущаешь себя дома. Там у тебя есть дом. Боль. Покой. Удовлетворение. Удовольствие. Глаз видит только прекрасное, вокруг сплошное благоухание, и каждый звук наполнен особой гармонией. Там, где дом, все просто есть. Пребывает; неизменно, из года в год.

В какой-то момент ты понимаешь, что время остановилось, потому что дом остался на той стороне. Вместе с тобой, погребенным в нем, преждевременно умершим. Дом, могила. Прошлое и будущее в одном. То, что будет, уже случилось. Время обрело свой конец и завязалось в узел.

Сейчас мама не оставит Белград, не приедет во Флориду. Во время бомбардировок некому присмотреть за домом. Перед тем как положить трубку, она произносит: «От смерти не убежишь».

6.04.1999, Бока Ратон, Флорида

А вдруг физические и этические законы, управляющие действительностью, можно в некоторых ситуациях сгруппировать иначе? Что, если, столкнувшись с внутренним императивом, поддерживающим сербский народ, изгнание албанцев из Косово перестанет быть фактом? Вроде бы как раз об этом говорит представитель Югославии в ООН Владислав Йованович, повторяя то и дело, что сербы вовсе не стремятся избавиться от албанцев. Он уверен, что реалии в Сербии сегодня таковы, что сами сербы нуждаются в спасении от вымирания. Нравственно все, что способствует достижению этой цели. А если у кого-то возникнут сомнения в геноциде сербов, пусть он выглянет в окно и посмотрит на ночное небо Белграда, пусть своими глазами увидит обстрел. Внешний мир стремится покорить нас. Нападение однозначно доказывает, что ОНИ хотят уничтожить нас. Пророчество о нашем уничтожении стало реальностью.

Реальность, которую сербы обретают при помощи своего национализма, — самая замечательная реальность из всех возможных. Нам больше ничего и не надо. Безусловно, нам ничего не надо от Запада. Мы ни в чем не испытываем нужды и несем ответственность только перед своей нацией. Мы признаем только ее суд и уповаем на достойного лидера как на панацею от всех болезней.

Нынешний же правитель, разумеется, спровоцировал кризис, чтобы стать во главе. Чем глубже кризис, тем сильнее позиции Милошевича. Кажется, чем жестче руководитель, тем счастливее сербы. Нация стала для сербов пространством, в котором еще можно найти удовольствие, когда все его остальные источники иссякли. Место, где они чувствуют себя в безопасности, не имея никакой защиты.

7.04.1999, Бока Ратон, Флорида

Все больше и больше сербов участвуют в акциях протеста против НАТО. Защищая мосты своими телами, они видят себя живым щитом на пути натовского оружия. Считают себя бесстрашными. Может, в этом — две формы бесстрашия: пойти на решительный конфликт с Милошевичем, который привел страну на грань разрушения, или — решиться на конфронтацию с НАТО?

У сербов наблюдается второй вариант бесстрашия, но им до сих пор не хватает первой его разновидности. Им проще противостоять внешнему врагу, нежели собственному вождю.

9.04.1999, Бока Ратон, Флорида

Сегодня командующий НАТО генерал Кларк отдает приказ направить еще семьдесят самолетов для бомбардировок Югославии. Общее число бомбардировщиков уже составляет почти тысячу. Даже мне в Бока Ратоне становится страшно от таких известий. Я начинаю бояться воздушных налетов и уже не верю собственным словам о том, что бомбардировки не коснутся гражданского населения, сказанным в начале кампании. Пространство между мной и Белградом сжимается по мере интенсификации налетов. Меня одолевает паника. Кто примирится с воздушным налетом, кто способен принять его как должное и выдержать это понимание? И будет ли о чем говорить, когда бомбардировщики улетят?

Мне страшно вовсе не из-за того, что НАТО уничтожит армию, промышленность или инфраструктуру. Сербских военных я считаю врагами Сербии. Сербская промышленность ни на что не годится, а инфраструктуре все равно требуется модернизация. Меня не беспокоит, что какие-то конкретные объекты пострадают от разрушения. Опасаюсь я того, что, когда прекратятся бомбежки и уляжется пыль, перед победителями предстанут дикари. Люди обезумели от бомбардировок, превратились в обломки. От них остались тени. Будто они полностью обескровели еще до воздушных налетов.

10.04.1999, Бока Ратон, Флорида

Сегодня звонил маме: ее настроение тоже вроде бы изменилось, но в лучшую сторону. Я даже было подумал, что раньше говорил о ней не то. Никогда еще ее слова не звучали столь осмысленно, как сегодня утром. У меня даже возникло ощущение, будто она точно знает, что надо делать.

Или же, скорее, маме нужно, чтобы у меня возникло такое ощущение. Я не сопротивляюсь. Сначала она со смешком заявляет, что уже привыкла к бомбежкам, какими бы ужасными они ни были. Но потом ее голос ни с того ни с сего становится чрезвычайно озабоченным. О себе она говорить больше не желает и без конца задает вопросы, с почти патологической напористостью, не давая мне возможности ответить: «Как вы там? Какая у вас там погода? Как дела в университете? Когда вы думаете заводить детей?»

* * *

Когда началась война в Боснии, мой белградский приятель Н. вдруг заговорил о «нас» и о «них», имея в виду противоборствующие стороны. Н. — плод смешанного брака двух идейных борцов-партизан. Родился в Сараево, но вырос в Белграде. Хотя этническая терминология приводила его в замешательство, «сербы» стали нами, а «мусульмане» — ими. Эту границу он провел в самом начале войны в Боснии, причем несмотря на то обстоятельство, что тогда он жил в Бостоне, штат Массачусетс, с женщиной, которая считала себя (американской) еврейкой, а сам Н. мог с полным основанием причислить себя к любой национальности. Через несколько лет у Н. родился сын, которого назвали стопроцентно христианским именем. Со своим вторым еврейским именем и мусульманской фамилией отца малыш лишь продолжил смешение кровей, уже существовавшее в генеалогии моего приятеля. Тем не менее Н. по-прежнему воспринимал боснийскую войну как противостояние двух сторон, считая себя сторонником одной из них.

11.04.1999, Бока Ратон, Флорида

Во времена бедствий люди, как правило, обращают взор к небу только для того, чтобы почувствовать, что они брошены: безмолвное небо не дает ни утешения, ни освобождения. В Белграде все не так. Здесь наблюдается редкий исторический случай, когда небо и в самом деле подает голос. Небо говорит без обиняков, и, как бы

ни хотелось, здесь вряд ли можно что-то утаить. Впрочем, и правды узнать нельзя. Происходит нечто другое. Что именно? С одной стороны, письмо. Люди вроде меня, если есть время, пишут. С другой стороны, те, кто в опасности, ищут убежище. Письмо сродни укрытию. Оно создает эффект защиты от опустошенности, которая остается после бомбардировок.

Я не верю в слова так, как некоторые из моих бывших сограждан верят в Бога, но все же полагаюсь на силу слова, которая поможет нам добраться до другого берега, поможет нам выжить и достичь своего места, будь это Сербия или США.

II. Падая

13.04.1999, Бока Ратон, Флорида

К нам в гости приехала приятельница из Сараево, теперь проживающая в Женеве, штат Нью-Йорк. Говорим с ней о бомбардировках первых двух недель. А. замечает: «Растерялись они, как и в начале войны в Сараево. Накануне апреля 1992 года все тогда говорили, что бомбят далеко. Что Вуковар и Дубровник к нам никакого отношения не имеют. В апреле на улицах Сараево зазвучали первые выстрелы, но все считали, что в этом виновата горстка сумасшедших. Нас не касается. Бомбы нам на голову падать не будут». Бомбы посыпались в мае 1992-го, и, по словам приятельницы, только тогда неверие стало постепенно отступать. Люди принялись лихорадочно искать выход. Что же делать? «Они научились жить при бомбежках, если, конечно, это можно назвать жизнью... Вокруг столько смертей, но ничего не поделаешь. В Белграде пока такого нет, но вот увидишь, — предрекает А., — кольцо сожмется. Натовские самолеты скоро станут гораздо менее разборчивы, а закончится это нескоро. Жители Белграда окажутся под ударом».

* * *

А. продолжает: «Нет, ты не понимаешь. Ты осуждаешь людей, которые сейчас живут в Сербии. По-твоему, они сами виноваты в том, что там происходит. Но это же бессмысленно — обвинять их! Думаешь, так просто взять все и поменять. Ты же ведь не знаешь, каково это — жить сейчас в Сербии».

Она напоминает мне, что сама родилась в Белграде, а потом приезжала туда учиться в университете. Ее мать тоже из Белграда. А. прожила большую часть своей жизни в Сараево, да и фамилия у нее мусульманская, но это никак не отражается на ее отношении к Белграду и натовской кампании. «Когда я звоню знакомым в Белград, — рассказывает А., — я разговариваю не с теми, кто разрушал Хорватию, Боснию или Косово. Мои собеседники, возможно, сами страдали от таких же атак. И не исключено, что продолжают страдать. Они оказались между двух огней и в силу различных причин ничего не могли сделать. Не смогли ни уехать, ни дать отпор. Они пытались жить. Просто выжить. Война случилась так же, как случается и все остальное, — например, наступает пора благополучия. Не то чтобы они забыли про Боснию, когда на Белград посыпались бомбы. У них нет времени на забывание. Они слишком заняты тем, чтобы свести концы с концами. Их измучили попытки найти смысл в происходящем».

«Ты вроде бы знаешь нечто и хочешь, чтобы об этом узнали и в Сербии. И если они этому не могут научиться, ты готов навязать им свое знание. Ты ждешь от них ответственности? В этом все дело? Что, *ответственность* стала таким новым паролем, который поможет им вернуться в человеческое сообщество?»

«Ты что, хочешь, чтобы они все до единого понесли ответственность или признали свою вину? Чего именно ты ждешь от белградцев? Чего, в конце концов, от них хочет НАТО?»

«Правда, когда упоминаешь Косово, — продолжает А. после небольшой паузы, — те же жители Белграда тут же резко меняются. Становятся агрессивными, начинают защищаться. “*Чушь*”, — заявляют они мне в ответ. Либо полностью отрицают этнические чистки, либо устраивают соревнование на лучшую жертву: “Да какие у них страдания? Ты посмотри, что *нам* приходится пережить!”»

* * *

В глубине души все население Сербии, причисляющее себя к сербам, наверняка осознает, что от его имени совершались ужасающие преступления. Что произойдет, по мнению сербов, если им все же придется признать этнические чистки? Они боятся, что уже ничто и никогда не исцелит раны их души?

Сербам очень тяжело отказаться от иллюзий, которые давали им силы и помогали выживать. Если они признают Косово, то что потом? Принять себя такими, какими они стали, какими они есть, примириться с тем, как с ними обошлись?

А если они откажутся признать этнические зачистки, как эти люди смогут жить дальше?

14.04.1999, Бока Ратон, Флорида

Бомбардировки НАТО — не первый случай, когда в Сербии что-то падает. В 1980-х, во время экономического кризиса югославская валюта динар падал ежечасно на один пункт. Падение было стремительным. «В девяностые, в первые годы действия международных санкций, было еще хуже, — рассказывает сестра. — Ты тогда уже уехал из Белграда. В 1993-м появлялись деньги с девятью, с десятью, с одиннадцатью нулями и больше, так что их приходилось распознавать, водя пальцем по купюре. И буквально с каждым часом на них возникали все новые и новые нули. Надо было успеть сбежать в супермаркет до того, как банкнота обесценится. Чем быстрее ты бегаешь, тем меньше теряешь».

«Деньги были не просто мерой стоимости, они фиксировали обесценивание всего и вся. Сегодня ты получаешь вроде бы целую кучу за то, что работал в поте лица, и тебе они нужны до зарезу, а завтра та же сумма превращается в ничто. Иногда она даже перестает считаться законным платежным средством. В одночасье старые деньги обесценились, и ввели новые дензнаки. И тут ты понимаешь, что деньги делаются из бумаги. Посылаешь их, как открытки, друзьям, разбросанным по всему миру, дабы напомнить им о родине, а потом отправляешься на охоту за хлебом и молоком».

* * *

«Ты наверняка не знаешь, что в Сербии появилась банкнота самого большого номинала — динар достоинством 500 000 000 000, — сообщает мне сестра. — Представляешь, в Сербии показатель инфляции за месяц составляет 313 563 558 процентов, то есть 63 процента в день [данные за январь 1994 года]. Ты понятия не имеешь о той Сербии, где килограмм картошки стоит 8 000 000 000 000 000 динаров [17 января 1994 года].

Ты не знаешь и не можешь знать ту Сербию».

Национализм стал господствующей идеологией в экономике, которая не способна не только увеличивать, но и поддерживать стоимость. В середине восьмидесятых этому национализму предшествовали социальные волнения, вызванные низкими зарплатами, высокими ценами, а также разложением культурных и нравственных ценностей. Милошевич, подражая политике, которую Тито вел в ответ на протесты шестьдесят восьмого, поначалу заявил об антибюрократической революции и намерении усовершенствовать социализм. Однако вскоре вину за кризис возложили не на чиновников, а на албанцев. Причем албанцев проклинали не за экономические неурядицы, а за то, что они представляют угрозу для существования Сербии и сербов. Албанцы насиловали сербских женщин, воровали сербское имущество, строили планы убийства сербов. (Все обвинения были безосновательны.)

Была предложена новая основа для идентификации, и вся страна шагнула в мир Милошевича, оставив за спиной коммунистическую Югославию. «Слобо-Слобода» в упоении скандировали сербы, связывая имя лидера с недавно обретенной свободой. О чем они тогда думали? О том, что прочие национальности бывшей Югославии — албанцы, хорваты, словенцы, македонцы, боснийцы, венгры, итальянцы, цыгане и т.д. — тоже увидят спасителя в Милошевиче?

Тот факт, что сербский национализм обрел новое дыхание в пору экономического кризиса, вовсе не означает, что за деньги в Сербии можно было бы купить мир. Ровным счетом наоборот — деньги тут бессильны. В течение нескольких лет национализму удавалось имитировать механизм рыночной экономики, а затем заменить его тем, что в националистической вселенной стало новой валютой, — чувством долга перед отечеством. (Новые «деньги» стали средством, при помощи которого измерялась степень исполнения этого неисполнимого долга.) «Мы скорее перейдем на подножный корм, но не предадим Сербию» — эта незабвенная декларация первых дней войны принадлежит одному из сербских политиков-романтиков. Именно она овладела умами новой Сербии, став ее девизом.

Рыночная, то есть капиталистическая, экономика и национализм странным образом схожи, но существуют параллельно друг другу. Основное их различие заключается в том, что первая рабо-

тает благодаря обмену (обращению), а второй — благодаря его прекращению. Вместо обмена национализм предлагает симуляцию.

17.04.1999, Бока Ратон, Флорида

Сегодня в небе раздается в основном «трескотня». На сербско-хорватском мама произносит уменьшительное *Pucketanje*. «Сильные разрывы слышно, когда нарушается звуковой барьер, — объясняет она в эту субботу. — Небо все в огне. Значит, работает противовоздушная артиллерия. Задают им наши. Сама-то я во время налетов спокойно сплю».

Вслушиваясь в то, что остается несказанным в нашей телефонной беседе, я медленно начинаю понимать, что во время бомбардировок в Белграде грохочет так, что спать невозможно. То, что мама замалчивает, изобличает произнесенное вслух. Но когда ее бдительность ослабевает, то, о чем она молчит, вырывается наружу. Она не хочет, чтобы я за нее волновался.

Бомбардировки представить невозможно. Невозможно почувствовать, что значит ночное небо, которое кишит самолетами, сбрасывающими бомбы. Пробуждаются все скрытые страхи. Бомбы взрывают границы между явью и сном, между сознательным и бессознательным, тобой и мной, здесь и там, божественным и человеческим, жизнью и смертью. Мгновение — и я уже считаю все вокруг ненастоящим, потом сотрясается земля, и я забываю все, что знала. Вот каких слов я ждал от мамы. А вместо этого наш разговор принимает совсем другой оборот.

«Что думают люди? Кого винят в бомбежках?» — задаю я вопрос. «История рассудит», — отвечает мама — теперешняя пенсионерка, а в прошлом директор. Мне кажется, что она не расслышала вопрос, и потому я снова обращаюсь к ней с тем же: «Я имею в виду, что говорят люди именно *сейчас*, когда идут бомбардировки?» — «Мы не отдадим ни пяди Косово. Косово — главная артерия Сербии», — говорит мама, озвучивая, как кажется, волю миллионов.

Что заставляет такую женщину, как моя мама, произносить подобные заявления? За всю свою жизнь она не больше трех раз была в Косово. Раньше от нее даже слова «Косово» слышать не приходилось. А теперь вся ее жизнь вертится только вокруг него: «Косово, Косово, Косово». Ее никто не заставлял думать так, никто напрямую не внушал ей таких мыслей. Она пришла к ним самостоятельно, когда сидела в Белграде и размышляла, покуривая, попивая кофе или глядя в экран телевизора. Все ее знакомые ду-

мают точно так же. Часами они пересказывают друг другу, что слышали о событиях в Косово, и обсуждают политику сербского правительства в отношении албанцев.

Так что теперь мама озвучивает сокровенную правду истории и открывает другим глаза на суть сербского существования. Она бы удивилась, узнав, что ее заявления смахивают на декларации тертого партаппаратчика. Мама являет собой версию старой доброй формулы Тито «Мы, рабочий класс», «Мы, народ», которая сама была вариантом патриархального «Мы, семья». Сейчас *мы, сербы*, ее словами твердим: «Косово — наше сердце. Не отдадим ни пяди. Будем бороться до последней капли крови».

Про себя же я думаю так: стóит развенчать это местоимение, и все изменится. Надо показать, что никакого единого «мы» нет, и тогда на Балканах наступит мир. Надо показать, что Милошевич как раз и пытается обладать Сербией, быть Сербией, быть тем самым «мы», с которым идентифицирует себя эта женщина шестидесяти одного года отроду. И тогда сербам уже не за что будет воевать и нечего бояться.

Однако в действительности они не хотят слушать ни это, ни любое другое объяснение нынешнего психоза. Не желают они прислушиваться к тем, кто с ними не согласен и осуждает поведение сербов в Косово. Они так взбудоражены, испуганы и измучены, что нуждаются только в объекте ненависти — в том, кого им захочется уничтожить. Единственное лекарство здесь — жертвоприношение. Кажется, они вообще не способны представить страдание других. Надеюсь, что хотя бы на бессознательном уровне они понимают, что это все-таки возможно.

21.04.1999, Бока Ратон, Флорида

Хозяйка телестанции, разрушенной ночью НАТО, глядя в камеру, бросает по-английски: «Вы нас не поработите никогда». В глазах у нее слезы. Она не скрывает ни боли, ни растерянности. Все, ради чего она работала, уничтожено, пропало в одно мгновение. Я смотрю ей в лицо и с остервенением спрашиваю: «Да кто хочет вас поработить? С кем вы воюете?» Обесцвеченная красавица поворачивает ко мне свой бледный лик и со сверкающей во взгляде безгрешностью произносит: «Турки у порога». Не знаю, кто больше страдает галлюцинациями — сербская предпринимательница, которая говорит о порабощении, или я, который видит ее по Си-эн-эн и слышит ответы на свои вопросы.

Одно можно утверждать наверняка: сербы готовятся к поражению. Они так старались представить себя жертвами, что теперь им необходим подлинный разгром, который бы питал их фантазии — их понимание всего сербского. И тогда Сербия, как птица Феникс, сможет (уже в который раз) восстать из пепла.

Здесь необходимо сделать пояснение: женщина-предпринимательница в Сербии, как правило, принадлежит к привилегированной группе. Та, что лила слезы у горящего здания Социалистической партии, в котором располагалась ее телекомпания, является представительницей крохотной правящей касты и деловыми талантами вряд ли обладает. Она — часть национал-коммунистической знати (дочь Милошевича), которая по принципу феодального права правит Сербией. По-моему, она заслуживает то, что получила. Давай, НАТО, жми вперед.

24.04.1999, Бока Ратон, Флорида

Мама продолжает ту же песню: «Все нормально. Хорошо. Замечательно. Хожу на дневные спектакли в 3 или 5 часов. Билет стоит несколько динаров. Да, все прекрасно. Здесь все налажено. Наша мэрия старается, как никогда. Автобусы ходят по обычному расписанию до восьми вечера. После восьми могут ездить еще час. Нам ничего не надо. В магазинах до сих пор все есть. Нормально все, нормально. Только приходится стоять в очереди за сигаретами».

«А что, с *сигаретами* плохо? Как же сербы будут жить без сигарет?»

«Да, да. НАТО разбомбило табачную фабрику, так что у нас теперь нет сигарет. Что поделать».

«Придется менять национальный вид спорта, да?»

«Да, придется бросить курить».

Я пытаюсь шутить: «Вот видишь, к чему приводят бомбардировки. Меняют ваши привычки, и организму, может, будет лучше». Чувствую, что маме хочется сменить тему. Она вновь повторяет фразу, которую я слышал от нее уже несколько раз, только голос ее срывается прежде, чем она успевает ее закончить: «Пока ОНИ не начали ходить от двери к двери...» — доносится до меня еле-еле.

Сегодняшний разговор на этом фактически закончен. Мама еще что-то говорит — больше, чем обычно, — но все сводится к повторным заверениям, что все прекрасно налажено, что в магазинах все есть и т.д.

С началом воздушных налетов я всеми силами стараюсь выжить и не сойти с ума. Позже я попытаюсь прочувствовать все, через что пришлось пройти. Сейчас у меня нет для этого времени.

25.04.1999, Бока Ратон, Флорида

В начале восьмидесятых, когда кино превратилось в самое популярное искусство в Белграде, было модно шегольнуть цитатой, приписываемой Жан-Люку Годару: монтаж, то есть киномонтаж, — это вопрос нравственности. Только со временем я понял возможное значение этой фразы: ваше представление о реальности зависит от вашего же морального кодекса, и наоборот — на нравственность влияет то, в каких рамках вы представляете мир. То, как и что вы видите вокруг себя, как раз и определяет вашу индивидуальность.

Однако если Годар прав, то нет образов — и соответственно воображения — вне нравственности. Так вот, мне надо создать теорию, которая бы противостояла тезису Годара, потому что у меня нет никаких сомнений, что интервенция, вооруженная интервенция в Югославии имеет отношение не только к этическим вопросам; во всяком случае, для тех, кто в ней участвует.

Особенно это относится к Америке: здесь бомбардировки Югославии подаются как шаг верный и справедливый — причем не столько как оптимальная бизнес-стратегия или военная операция в национальных интересах, а как нравственно обоснованный ответ на гуманитарный кризис. По заявлениям официальных лиц США, натовские налеты — дело благое, поскольку только так можно прекратить правление Милошевича. Критики же указывают на недопустимость (незаконность) изменения политического строя в чужой стране военными методами. Под вопросом остается и способность бомб прекратить зачистки Косово, сместить Милошевича, привить демократию Сербии.

Впрочем, помимо благих целей и неблагоприятных средств натовская кампания представляет собой еще множество других вещей. Так, бомбардировки стали образом жизни. Как бы странно это ни звучало, налеты сродни дождю. Разве можно сказать о дожде, что он правильный или незаконный? Естественно, к дождю такие оценки неприменимы. Он просто случается — и все, вам капает на голову — и это данность.

Мой распорядок организован бомбардировками: встаю, слушаю по Интернету сербские новости Би-би-си, потом включаю трансляцию пресс-конференции из Брюсселя, которую передает Си-эн-эн, проверяю электронную почту, сажусь писать, накручиваю себя и так далее. А я всего лишь наблюдатель, которому все это небезразлично. Происходящее в Сербии и в Косово сочетает ужасы множества природных бедствий. Это самый что ни на есть катаклизм. Сам по себе он не имеет никакого отношения к нравственности или нашему мировоззрению. В нем просто живут, попадая в плен катастрофических условий.

«Полезна ли катастрофа или нет, справедлива или незаслуженна?»

«Кто знает... Поговорим об этом, когда все закончится».

«Ты веришь, что кончится? Неужели мы дождемся конца?»

«Врут те, кто говорит, что не боится».

«Надо быть уверенным в собственной правоте. Так проще выжить».

Подчас твои представления выходят за рамки. Вот тогда-то и кажется, что бомбардировки ни хороши, ни плохи, ни справедливы, ни жестоки.

«Пусть налеты прекратятся, и наступит мир».

«Пусть налеты продолжаются, пока не наступит мир».

* * *

Моя двоюродная сестра не может получить визу в Канаду или Германию. М. сейчас в Будапеште вместе с трехлетней дочкой. Из Белграда она уехала в первые дни бомбардировок, как и множество других женщин (мужчинам боеспособного возраста запрещено покидать город). Теперь она пытается как-то продолжить прерванную мирную жизнь. Проблемы с визой говорят не только о сволочизме властей Канады и Германии, но и о недостаточном рвении М. Канада, где живет ее сестра, слишком далеко, а Германия, где у нее много друзей, не подходит по причинам, которые не стоит упоминать из-за их многочисленности. М. не признается себе, что она не хочет ехать никуда, кроме как домой, в Белград, где у нее, вероятно, дома скоро не будет. «Не хочу переезжать. Кроме того, мои права человека предполагают, что я не обязана никуда ехать. У кого

я должна спрашивать согласия на то, чтобы мое право не нарушалось?»

Ей хочется в Белград. Но что поделаешь — у нее ребенок. Разве может она быть уверена в том, что НАТО обеспечит хоть какую-то гарантию безопасности и не убьет их? Разумеется, нет. Вот и живет она в Будапеште, ходит от канадского посольства к немецкому и пытается наладить свою жизнь.

30.04.1999, Бока Ратон, Флорида

Тридцать седьмой день бомбардировок. Прошлой ночью разбомбили югославскую «Эйфелеву башню» — стометровый бетонный шпиль на горе Авала под Белградом, использовавшийся как телепередатчик. «Как бы ты отреагировал, если бы однажды утром проснулся и не увидел Эйфелевой башни?» — задал я вопрос своему парижскому другу. То же самое я спросил у нью-йоркского приятеля, подвизающегося на фондовой бирже: «Что бы ты почувствовал, если бы разрушили Всемирный торговый центр? Тебя бы это потрясло?»

С уничтожением подобных символов перестаешь доверять окружающей тебя действительности. Возникает ощущение предательства, поскольку исчезают предметы, которые ты считал вечными, которые были для тебя какими-то ориентирами. Приходится пережить фундаментальный кризис. И ситуацию лишь усложняет тот факт, что в ночь, когда разбомбили башню на Авале, под Белградом произошло землетрясение.

* * *

«Помнишь, как папа снимал нас на Авале», — заводит разговор С., моя двоюродная сестра, которая теперь живет в канадском Эдмонтоне. «Мы все тогда были маленькими, носились вокруг этой башни как угорелые. Так было здорово. Помнишь, какой у папы получился фильм? — Она продолжает: — В марте я ездила в Белград. Когда лайнер снижал высоту, я снимала Авалу. Вид был просто изумительный. Да, а теперь ее макушка осталась без башни. Белград обезглавили. На обратном пути в Эдмонтон я испугалась, что в снятых мной в марте белградских кадрах содержится предчувствие будущих разрушений, на которые пойдет НАТО. Авала, улица Князя Милоша, аэропорт... больше я ничего не снимала, слава Богу».

С каким настроением мы будем лет через двадцать-тридцать смотреть кассету, которую сняла моя двоюродная сестра в свой последний приезд в Белград? Возникнет ли у нас такое же умиление, как сейчас при просмотре пленки из детства семидесятых, запечатлевшей пикник на Авале? Нет, конечно нет. Подобные эмоции обращены только к детству. Невозможно смотреть теми же глазами на другие годы жизни. Башня в 1970-х считалась памятником технологических достижений рабочего класса, а в следующем десятилетии энтузиазм по поводу пролетарского рая поугас, и она воспринималась уже иначе. В конце восьмидесятых она точно перестала быть национальным символом для всей Югославии. Авала утратила символическое значение еще до начала натовской кампании, просто мы этого не осознавали. Как не понимали в полной мере и того, что Югославия уже давно превратилась в недееспособное государство. Мы оказались не в состоянии признать радикальные изменения, через которые прошло общество — и мы вместе с ним — за последние двадцать лет. Бомбардировки заставляют нас посмотреть в лицо этим переменам.

А кино, как я понял за время бомбардировок, способно не только сохранить, но и разрушить. Теперь я готов возразить Годару: фильм предлагает рамку действительности, в то же время подтверждая, что действительность не поддается обрамлению. Кадры не просто представляют некий образ реальности, но ставят под вопрос то, как мы воспринимаем себя и свое окружение. Более того, пленка вносит разрыв между опытом и знанием о нем. Я бы мог узнать это все из работ Иммануила Канта, но не пришлось. Дождавшись натовской кампании, я осознал природу представления — именно оно, а не бомбардировки как таковые, вносит разломы в наши жизни.

* * *

Министерство обороны, штаб-квартира особой полиции, Сербское телевидение, которые разбомбила НАТО, — было ли это все частью *нашего* ландшафта? Каждый день я видел эти сооружения. По замыслу они должны были попадаться на глаза везде, куда бы вы ни направились. Разрушение военных и полицейских зданий меня не волнует. Белград, в котором я жил и который помню, боялся и ненавидел людей в форме, чувствуя с их стороны ответную нена-

висть. Помнится, комплекс Сербского телевидения называли «Бастилией». Мне думалось, что мои белградские друзья отпразднуют означенные утраты, но, по-видимому, они этого не сделали. Войска НАТО уничтожили армейский и полицейский архивы! Радуйтесь!

1.05.1999, Бока Ратон, Флорида

Бомбардировки задевают за живое, замечает мама в субботу. У нее по-прежнему все в порядке. Как и в прошлые выходные, они — мама, ее сестра и двое приятельниц — играли в карты и пили кофе во дворе. Ничего нового, за исключением только одного: «Бомбардировки все больше и больше задевают за живое».

Сербы, как всегда, ведут себя мужественно. Для описания их теперешней жизни мама употребляет новый глагол — «терпят». Стойко переносят невзгоды. Бедствуют и продолжают жить. Вот в такой героической форме, по маминым заверениям, простой народ сопротивляется захватчикам. Только сейчас они начинают воспринимать все как личный вызов.

* * *

Первую часть этих записей я разослал друзьям в Сербии. Прочитав, они спросили: «Кто скрывается за твоим “я”? Кто этот “ты”, который пишет обо всем этом?»

Я стал писать потому, что я не знал, кем я стал. Кто я? Серб, живущий в Америке? Югослав, обосновавшийся в Штатах? Американец? И если я ни то, ни другое, ни третье, то тогда кто же я? Я один такой? Есть ли для меня подходящая категория? Я надеялся, что письмо поможет и подскажет мне.

И оно помогало. И не раз. Оно показало, что белградцы, которых я считаю частью самого себя (и частью которых сам я являюсь), не оставляют происходящее без осмысления. Оно подсказало мне, что я мог бы чувствовать, окажись я на их месте. В то же время, делая записи в дневнике, я осознал, что вряд ли смогу понять их. Я не могу поставить себя на их место, несмотря на то что мы земляки и несмотря на то что бомбардировки ранят и меня.

Они говорят мне: «Мы с тобой непохожи, приятель. Не стоит пытаться найти себя здесь. Ты уехал. Попытайся смириться со своим отъездом, а не с ситуацией в Югославии. А мы... мы по-прежнему здесь и будем здесь, если тебе захочется вернуться или просто

навестить нас. Береги себя. Жить меж двух берегов, одновременно здесь и там — непросто».

Это говорят в лучшем случае. Те, кто не хочет выбирать слов, реагируют примерно так: «Ты ведь пишешь не о нас, ты пишешь о себе. Тебя бесит, что ты до сих пор с нами связан и никак не можешь порвать эти узы. Ненавидишь-то ты как раз не нас, а себя — за то, что ты один из нас. Ты ополчился против собственной слабости, а не против нашего бессилия. Ты воюешь со своими собственными призраками, со своей судьбой, а не с нашей».

«Правда того, что ты написал, вот в чем: зло, за которое ты осуждаешь нас, — оно в тебе самом».

III. Между

2.05.1999, Бока Ратон, Флорида

Джесси Джексон возвращается домой с тремя военнопленными американцами, свыше месяца находившимися в сербском плену (их поймали на границе Сербии и Македонии). Миновав границу с Хорватией, все четверо радуются: «На свободе, наконец-то на свободе».

Как бы мне хотелось воскликнуть то же самое.

Мне ясно, что зря я отслеживал налеты в Югославии день за днем. Бомбардировки остановили развитие, превратив ход событий в стремительное, безудержное падение. Как выразить тот факт, что с каждым наступившим днем, с каждой новой записью в дневнике, с каждым вылетом самолетов становится все больше и больше исчезнувшего? В английском языке нет средств для описания этого опустошения. Нет их и в сербско-хорватском. И ни в одном языке нет. В лучшем случае я могу определить его так:

Сегодня гораздо больше разрушений и отсутствия, нежели вчера. Больше бессмысленности. Больше неприкаянности. Больше хлама и пепелищ. И всего этого станет только больше. Кажется, что все это будет продолжаться до тех пор, пока не останется камня на камне; и время будет не просто растрачено, но остановится, исчезнет вовсе. Завтра никогда не наступит, и у тех, на кого сыпались бомбы, не останется слов, чтобы измерить опустошенность. А грань между днем и ночью потеряет всякий смысл.

Именно это и произошло.

ИСТОРИИ РАСПАДА

* * *

Быть готовым к опустошениям? Ждать завтрашнего дня, который будет ужаснее, гораздо ужаснее, чем день вчерашний? Можно ли подготовиться к бедам, сошедшим с небес?

У мамы есть удивительно незамысловатый метод. Как она говорит: «По одному событию в день, не больше». И в ее голосе действительно слышатся уверенность и спокойствие. Во время налетов ее жизнь стала более простой и более предсказуемой. Как бы парадоксально это ни звучало.

5. Работа скорби

Омер Бартов

Травма и отсутствие после 1914 года *

Травматические исторические события часто порождают множество жертв и зияющих отсутствий. Жертвами могут быть дискредитированные институты, разгромленные города, изгнанные нации, павшие империи или горы трупов; отсутствия могут выражаться в утрате легитимности, разложении ценностных систем, исчезновении моральных и политических ориентиров, потере семьи или памяти. Поэтому процесс примирения с травмой тесно связан с восстановлением коллективной и индивидуальной идентичности и с компенсацией потерь.

Связи между коллективными и личными травмами, разумеется, сложны и трудноуловимы, и тем не менее обычно травматические исторические события порождают большое число травмированных индивидов, точно так же как коллективная память о разрушениях состоит из бесконечных личных рассказов об отсутствиях и потерях. Более того, можно проследить взаимосвязь между коллективными формами увековечивания и забвения прошлого и их отражениями в личных воспоминаниях людей. Это не значит, что они совпадают — напротив, во многих случаях они будут резко противоположны. Но в то же время коллектив и индивид состоят в отношениях, напряжения и противоречия которых могут пролить свет на те способы, с помощью которых общества и культуры справляются с реальностью утраты и с памятью о разрушениях.

Публичное увековечивание часто представляет собой функцию сложной совокупности взаимодействий между памятью и вытеснением, его цель — манипуляция настоящим при помощи определенных образов коллективного прошлого; в то же время равновесие между памятью и вытеснением есть также неотъемлемая часть процесса складывания индивидуальной идентичности. Если ин-

* Перевод с английского Елены Трубиной. Первая публикация: *O. Bartov, Trauma and Absence since 1914 // European Memories of the Second World War / H. Peitsch, Ch. Burdett, and C. Gorrara (eds.). NY: Berghahn Books, 1999). P. 258–271.*

дивидуальное самовосприятие постоянно зависит от социально-исторического контекста, то коллективная идентичность колеблется в соответствии с меняющимся восприятием образующих общность индивидов. Поскольку воздействие войны и разрушения на конструирование коллективной памяти и предвосхищение будущего я обсудил ранее¹, здесь я обращусь к ряду индивидуальных рефлексий травмы и отсутствия, в которых травма войны понята и как событие, и как метафора разрушения, разложения и восстановления идентичности, а отсутствие родителей и детства, в свою очередь, воспринято и как действительное лишение, и как метафора утраты памяти и ее возвращения. Как мы увидим, такие рефлексии образуют сложный и противоречивый процесс. С одной стороны, попытка восстановить в памяти довоенное прошлое зависит от сознательного воспоминания, которое должно вытеснить прошлые разрушения как событие, которому еще предстоит произойти. С другой стороны, вспоминающий индивид переполнен ощущением личной уничтоженности, связанной с войной, смертью и лишениями, которые стирают, не оставляя и следа, то довоенное существование, которое столь важно для восстановления памяти и идентичности. Поэтому трудности, связанные с проговариванием невыносимой памяти разрушения, совмещаются с еще более бедственным отсутствием памяти, пустотой, зиянием, которое воображение тщетно пытается заполнить заимствованными, фантастическими, подчас чудовищными образами.

Если травма войны делает мысль о ее повторении в будущем столь непереносимой, что картина тотального разрушения (т.е. либо того, что нужно избежать любой ценой, либо того, что нужно подавить, используя всю мощь доступных средств) становится единственной формой концептуализации, то травматическая потеря родителей и соответственно потеря детства и памяти о нем может лишить индивида всех необходимых ориентиров и сделать мысли о будущем похожими на движение без каких-либо координат к неизвестной цели. Потерю памяти солдатами, травмированными на поле боя, можно рассматривать как сознательный отказ вспомнить событие, детали которого наложили столь сильный отпечаток на их сознание, что сама мысль о возврате к ним ужасна. Напротив, отсутствие памяти о детстве из-за потери родителей

¹ См. мою статью «Trauma and Absence Since 1914: Part I» в: *The Soldier's Experience of War* / P. Addison, A. Calder (eds.). London, 1997.

можно считать невосполнимым, потому что и родители, и память о детстве, которая могла сохраниться, были вырваны из сознания до того, как они смогли оставить там нечто большее, нежели слабый и трудноразличимый след. И все же сходства здесь больше, чем может показаться на первый взгляд. С одной стороны, вытеснение травматических воспоминаний редко является результатом осознанной деятельности; скорее, это итог действия психологического защитного механизма, посредством которого сознание заглушает непереносимые сцены и звуки. Восстановление таких событий в памяти, произведенное под контролем специалистов, может помочь травмируемому излечиться, но может иметь и сокрушительные, дестабилизирующие последствия, ведущие к полному разрушению личности больного. Отсутствие, с другой стороны, никогда полностью не произвольно, поскольку, для того чтобы имело место отсутствие, в какой-то момент времени, пусть очень краткий, должно было быть присутствие, и неспособность вспомнить связана не только с физическими и темпоральными ограничениями, но и с желаниями и страхами сознания. Вытесненная память о зверствах может вернуться в ходе их совершения, отсутствующая память о семье и детстве может вернуться через воспроизведение ее в собственной семье или ребенке. А когда память о зверствах объединяется с потерей родителей и памятью детства, вытеснение и воспоминание преследуют друг друга в замкнутом круге боли и удовольствия, надежды и отчаяния, бытия и небытия, я и не-я. Именно здесь невыносимое предвосхищение следующей войны становится невыносимым предвосхищением следующего момента, предвосхищением жизни, какой она могла бы быть и какой она еще могла быть; именно здесь (не)память о прошлом становится отрицанием возможности будущего.

Травматическая память о войне и тревога, вызванная предвосхищением ее повторения, тесно связаны и со стиранием индивидуума памяти и ее носителей, и с его стремлением восстановить идентичность из остатков разрушенного прошлого. В конечном счете самое важное в этом процессе — собственно будущее, за которое сражаются не только армии, но и соревнующиеся воспоминания и претензии на статус жертвы, посредством которых выжившие должны примириться с памятью о жертвах (чьи воспоминания мертвы), обновление должно быть вырвано у разрушения, будущее — основано на руинах прошлого. В этой вечной борьбе между памятью и забвением, вытеснением и отсутствием каждое забы-

тое и каждое восстановленное воспоминание возвещает новую битву за идентичность, одновременное создание и воссоздание личности, собирание разрозненных о ней упоминаний и новое их рассевание — день ото дня, в постоянной борьбе за связность.

В «Первом человеке» (1994) Альбер Камю описывает посещение могилы отца, которого ему не довелось знать сорокалетним¹. Он оказывается поблизости случайно, не в силу какого-то разрабатанного плана (фактически он навещает своего старого учителя, который в детстве заменял ему отца)². Он также выполняет просьбу матери, часто просившей его посетить никогда ею не виденную могилу. Много старше отца, убитого в битве на Марне в 1914 году, Камю, стоя над его могилой, внезапно переполняется желанием больше узнать об этом человеке, погибшем во Франции всего через несколько дней после того, как его нога впервые ступила на эту землю. Но никто ничего не помнит. Мать давно все забыла не только потому, что прошло столько лет, но — как говорит автор — и потому, что бедные не помнят, слишком озабоченные заработками и повседневным выживанием³. Кроме того, она не может писать и читать, с трудом говорит и слышит. Увидев отца в первый раз, Камю сталкивается с его отсутствием. Отец здесь всего на мгновение, через миг он исчезнет. Поиск утраченной памяти об отце приводит Камю к открытию собственного детства. Более того, после визита Камю на могилу Первая мировая — не имевшая до этого момента особой значимости для писателя —

¹ Камю А. Первый человек // Камю А. Сочинения: В 5 т. Т. 4. Харьков: Фолио, 1998. С. 226–231.

² Одна из первых нитей между ребенком и отцом протягивается, когда его любимый учитель вслух читает в классе роман Романа Доржелеса «Деревянные кресты», в котором описан опыт Первой мировой войны (роднящий отца Камю и отца учителя). Немногим позднее, после визита Камю на могилу отца, старый учитель на прощание дарит ему эту книгу (Камю А. Первый человек. С. 302–311).

³ «Память у бедняков вообще не так богата, как у людей состоятельных, у них меньше вех в пространстве, поскольку они редко покидают места, где живут, меньше вех во времени, так как жизнь у них течет серо и однообразно. Существует, конечно, память сердца, которая считается самой надежной, но сердце изнашивается от труда и горя и под бременем усталости становится забывчивым. Утраченное время не исчезает бесследно только у богатых. У бедных оно оставляет лишь размытые следы на пути к смерти. К тому же, чтобы вынести эту жизнь, лучше поменьше вспоминать, придерживаться течения дней, час за часом, как делала его мать...» (Камю А. Первый человек. С. 265).

наделяется неведомым ему прежде смыслом, объединяющим два поколения и две мировые войны.

Примечательно сходство между недавно опубликованным незавершенным автобиографическим романом Камю, найденным среди его вещей на месте автокатастрофы, в которой погиб сорокасемилетний писатель в 1960 году, и полуавтобиографическим романом Жоржа Перека «W, или Воспоминание детства» (1975)¹, опубликованным в 1975-м, за семь лет до смерти сорокашестилетнего Перека. Отец Перека погиб так же абсурдно, как и отец Камю, в 1940 году во время немецкого нападения на Францию. Перек, которому в то время было четыре года, почти ничего об отце не помнил. Он начинает осознанный поиск собственного детства через двадцать лет, когда ему сорок — столько же, сколько было Камю в начале его поиска. Но если Камю должен изобрести свое детство потому, что те, кто могли бы ему что-то рассказать, неграмотны и задавлены бедностью и тяжелой работой, то Перек не может вернуться к сценам своего детства потому, что люди, окружавшие его тогда, были у него отняты и убиты. Мать Камю живет в отдаленном, недостижимом мире, бессловесно глядя в окно. Мать Перека была депортирована в Освенцим, когда тому было шесть. Он утверждает: «У меня нет воспоминаний о детстве»², — и пишет, чтобы сохранить отсутствующее: отнятых у него родителей, вместе с которыми исчезла память его детства. «Я пишу, потому что они оставили во мне несмыслимую метку, и ее след — черта письма: воспоминание о них умирает в письме; письмо — это воспоминание об их смерти и утверждение моей жизни»³.

Потеря родителей, детства, памяти есть также столкновение с войной и зверствами, с порожденными человеком бедствиями, одним из губительных следствий которых является не только уничтожение людей, но и перечеркивание их памяти, перечеркивание не только памяти выживших, но и — иным, извращенным способом — памяти преступников (памяти об их преступлениях и жертвах). Никто не помнит. И в то же время помнят все. Но память всех — это ничья память. Как пишет Перек, до двенадцати лет он вряд ли что-то помнил: «Это отсутствие истории меня долгое время успокаивало». Это отсутствие истории защищало его от его соб-

¹ *Перек Ж. W, или Воспоминание детства.* СПб.: Ювента, 2002.

² Там же. С. 6.

³ Там же. С. 49.

ственной истории. Не помнить означало избежать боли. От ответов на вопросы о его истории его освобождала «другая история, Великая история, История с большой буквы», отвечая «войной, лагерями». История, думал он, обладала «объективной сухостью», «внешней очевидностью», «невинностью», тогда как его собственная история, «моя пережитая история, моя настоящая история, моя собственная история» не была, «как нетрудно предположить... ни сухой, ни объективной, ни внешне очевидной, ни очевидно невинной»¹. Поэтому память, а скорее, знание Истории может также служить убежищем от памяти о собственной частной истории. Но никому никогда не удастся избежать проникновения Истории в рассказы о личном, ибо частное бывает проглочено и поглощено, и все, что остается, — фрагменты, которые можно сложить так или этак, не зная, что соотносится с чем, ибо все инструкции и все указатели исчезли. Поэтому Перек ускользает в воображаемую и нарастающе чудовищную W, сказочную землю его детства, превратившуюся в его взрослом воображении в землю спорта и бесчеловечности и постепенно принимающую вид нацистской «концентрационной вселенной». В свою очередь, Камю, однажды ускользнув из своей родины во Францию, к нации, с которой он чувствует культурную близость, теперь стремится вернуться в Алжир — место физического детского наслаждения жизнью и природой, место «первого человека». Но туда нет возврата, потому что для Камю невозможно осуществить разговор с «первым человеком» его жизни — с его давно умершим, молчащим отцом и с его неграмотным изможденным дядей; да и сам он — давно затронут цивилизацией и теперь чужак в своем отечестве, ожидающем подступающей войны и смертоубийства, горькой и кровавой борьбы между Францией и Алжирским движением освобождения, которая разрушит для него отечество сразу и навсегда.

Перек и Камю возвращаются к сцене преступления, к физическим следам смерти, к могиле отца, к войне, и из этих мест бойни они стремятся вернуться к детству, к домам, где жили, к улицам, по которым бегали детьми. Это — запоздалое возвращение, долго откладываемое, болезненное, почти парализующее, но, открывая возможность памяти, оно и жизнь делает возможной, а следовательно, и способность думать и о будущем, и о его еще не воплощенной памяти. Мы живем в век, насыщенный воспоминаниями

¹ Перек Ж. W, или Воспоминание детства. СПб.: Ювента, 2002. С. 6.

о прерванном детстве, потерянных родителей, беспрецедентных разрушениях¹. Память о разрушении может быть столь невыносимой, столь обессиливающей и чреватой отчаянием, что забвение становится заманчивым. Но и отсутствие памяти делает жизнь равно невыносимой, ибо она проживается в непостижимой, неизведанной пустоте, без надежды на будущее. Мы помним, чтобы быть в состоянии забыть, и забываем — только чтобы помнить.

Мы помним. Но память, как мы знаем, эфемерна, а сознание человека непостоянно. То, что одни помнят, другие забывают, то, что одни восстанавливают, — другие скрывают. Память может освободать, а может и похоронить под своим грузом. Память о прошлом всегда проецирует себя в будущее, всегда угрожает монополией на наши надежды и чаяния. Поэтому мы приспособливаем ее к нашим нуждам, искажая ее по ходу дела, проецируя это искажение в будущее, превращая и его в кривое зеркало воображаемых, сфабрикованных воспоминаний.

Одна из самых поразительных черт Второй мировой войны и Холокоста — то, что и немцы, и евреи помнят их как события, в которых они пострадали. О преступниках, может быть, и помнят, но они редко записывают свои воспоминания или не помнят себя как преступников. Больше того, места, в которых пострадали немцы и евреи, — различны. Немцы помнят о страданиях в тылу от бомбежек и изнасилований и на фронте — от врагов и от своих. Евреи помнят о страданиях в гетто, концентрационных лагерях и лагерях смерти². Поэтому на сцене не видно воспоминаний главных действующих лиц тех травматических событий, которые и привели к появлению жертв. Зло торжествует в действительности и в памяти, но его посланники, оставаясь безликими в ходе события, лишены какой-либо памяти и после него³. И еврейские, и

¹ См. недавний пример в статье: *Lorch D. Frantic, Bittersweet Reunion For Rwandan Exile Children* // *The NY Times*. September 18, 1995. P. A1, A3.

² Смотри, например: *Des Pres T. The Survivor: An Anatomy of Life in the Death Camps*. NY, 1976; *Evans R. In Hitler's Shadow: West German Historians and the Attempt to Escape from the Nazi Past*. NY, 1989; *Holocaust Remembrance: The Shapes of Memory* / G.H. Hartman (ed.). Oxford, 1994; *Maier C.S. The Unmasterable Past: History, Holocaust, and German Nationalism*. Cambridge: Mass., 1988; *Young J.E. The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meaning*. New Haven, 1993.

³ Об исключении, подтверждающем правило, см.: *Kommandant in Auschwitz: Autobiographische Aufzeichnungen des Rudolf Hüss*. 10th edn. / M. Broszat (ed.). Munich, 1985.

немецкие воспоминания служат посредниками между памятью и вытеснением. Первые (часто сознательно) вытесняют зло, которое им довелось претерпеть или которого удалось избежать, поскольку его выражение может полностью блокировать их способность реконструировать идентичность из тех воспоминаний, которые они предпочли вызвать¹. Вторые (часто бессознательно) вытесняют зло, которое они совершили или которому способствовали, поскольку память о нем делегитимировала бы их собственный статус жертв, подорвала бы их идентичность. Одно из озадачивающих следствий этого феномена в том, что по ходу дела число жертв невероятно увеличивается, число преступников резко уменьшается, и обе группы начинают восприниматься одинаково не потому, что у них общие судьба или память, но потому, что обе они претендуют на роль жертвы. Память обусловлена не только событиями прошлого, но и их осознаваемыми последствиями для будущего. Прошрое помнится только после того, как оно случилось. Вот почему память по истечении времени всегда более пластична, чем вспоминаемые события, даже если она затемнена и более спорна, изменчива и ненадежна. А когда прошлое насильственно и травматично, наполнено утратами и отсутствиями, то память еще более нацелена не просто на воспоминание, но на то, чтобы сделать непрерывное существование возможным.

Это можно проиллюстрировать, сопоставив мемуары двух немцев, которые были солдатами вермахта, хотя и противостояли нацистскому режиму, и мемуары двух евреев, которые пережили Холокост, сменив идентичность и найдя приют в католических миссиях. Интересны и параллели между текстами, и серьезные различия между ними. Все четыре автора восстанавливают память о детстве спустя несколько десятилетий после описываемых событий; все четверо отдают отчет, пусть и в различной степени, что их воспоминания важны для настоящего и значимы для будущего, что в этом смысле воспоминания — не просто трудная, почти невыносимая регистрация прошлых событий, но и указание на будущие возможности; однако все четыре текста отмечены оптимизмом, объясняемым в значительной мере тем, что эти люди пережили

¹ См., например: *Buruma I. The Wages of Guilt: Memories of War in Germany and Japan*. NY, 1994; *Horwitz G.J. In the Shadow of Death: Living Outside the Gates of Mauthausen*. NY, 1990; *Langer L. Holocaust Testimonies: The Ruins of Memory*. New Haven, 1991; *Segev T. The Seventh Million: The Israelis and the Holocaust*. NY, 1993.

события, унесшие миллионы жизней, и сами были на волосок от гибели. Более того, это мемуары индивидов с двойными идентичностями: сочувствующих неконформистов; скрывающих свою религиозность верующих; инсайдеров, притворяющихся аутсайдерами (в случае немцев); взрослых детей; квазиобращенных прозелитов; аутсайдеров, выдающих себя за инсайдеров (в случае евреев). Наиболее важно то, что эти мемуары раскрывают как способность индивида в кризисное время иметь одновременно несколько идентичностей, так и трудность выбора между этими идентичностями, когда кризис позади, трудность отделения «реальности» и маски, надетой лишь для того, чтобы духовно и физически выжить, трудность сборки нового «я» из фрагментов, оставленных травматическим событием. Существенно, что немецкие авторы гораздо меньше отдают себе отчет в процессе воссоздания идентичности посредством памяти и вытеснения и менее озабочены проблемой отсутствия и утраты. Но сознательно или нет — в этих описаниях двойных, множественных жизней только некоторые стороны кажутся очевидными для писателей, а другие должны быть опознаны читателями, понимающими неизбежную двусмысленность таких текстов. Действительно, мемуары немало говорят о внутренних сложностях запечатления травматической памяти, возможно, даже о неспособности запечатлеть ее точно; о необходимости сделать эту память выносимой — для того, чтобы ее можно было записать; и о том факте, что память может стать выносимой (но также и менее правдивой, очищенной именно от тех моментов, что сделали ее невыносимой) только после того, как она записана. В этом смысле травма преодолевается не посредством столкновения с ее неизменностью, с тем, как все «реально произошло» (что в любом случае недостижимо), но скорее посредством конструирования вначале более выносимого ее образа, образа, на который мы можем смотреть, не обращаясь в камень. Другими словами, мы имеем дело с проекцией очень тревожной, двусмысленной, неопределенной памяти о прошлом на предвосхищаемое будущее (война, травма), с постоянным присутствием в сознании, с неизменной угрозой, с ежедневной борьбой, какие можно преодолеть, только реорганизуя прошлое или по крайней мере память о нем. Это тем более трудно там, где большая часть реорганизуемой памяти составлена из пустот.

Последним обстоятельством отчасти объясняются существенные различия между немецкими и еврейскими мемуарами. Писа-

тель Генрих Белль вырос в католической семье, поддержавшей его сопротивление нацизму и нежелание вступать в гитлерюгенд. В романе «Что станется с мальчиком, или Какое-нибудь дело по книжной части» (1985) он описывает истоки своей отважной послевоенной моральной позиции, противостояния всем формам лицемерия и контроля и предпосылки его независимого нетрадиционного католицизма, сделавшего Белля бельмом на глазу и для консерваторов, и для левых¹. Но о том, что в конечном счете стало с мальчиком Беллем в военные годы, мы знаем: он стал солдатом вермахта, не желавшим служить фюреру, но столь отважным и решительным, что, несмотря на свои боевые ранения, он вновь и вновь возвращался на фронт. В этих мемуарах Белль не доходит до службы в армии, но в других полуавтобиографических историях, большей частью написанных сразу после войны, он службу описывает². Это трудная, болезненная память, но очищенная от того, что сделало ее совершенно невыносимой и потому нерасказываемой, а именно: не память о страданиях Белля и его товарищей, но память об их бесчисленных невинных жертвах. Наконец, это память о мужестве и жертве (или, возможно, о мужестве жертвы) в мире, который запомнят как такой, что сделал такие жертвы возможными. Поэтому это память, которая приспособлена к службе будущему, а не извлечению прошлого, память, где истинная вера и совесть позволили мужчине остаться мужчиной, утвердиться как человеку — даже если он и помнит себя только как жертву и никогда — как преступника³.

¹ Белль Г. Что станется с мальчиком, или Какое-нибудь дело по книжной части // Белль Г. Собр. соч.: В 5 т. М.: Художественная литература, 1996. Т. 5.

² Имеются в виду романы Г. Белля «Солдатское наследство» (1985) и «Поезд пришел вовремя» (1972). Здесь уместно привести рекламную вставку на обложке немецкого издания романа «Поезд пришел вовремя», подписанную Генри Плардом, поскольку она указывает на последовательность, с какой Белль представлял всех солдат как жертв: «Есть авторы, облагораживающие войну, и авторы, знававшие юмор и грубые радости воинов. Ни в одной из работ Белля вы не найдете даже выборочного одобрения войны, нигде у него человек не предстает иначе, нежели жертвой войны» (перевод и примеч. автора).

³ См. об этом также: *Bartov O. The Conduct of War: Soldiers and the Barbarization of Warfare // Resistance Against the Third Reich: 1933–1990 / M. Geyer, J.W. Boyer (eds.). Chicago, 1994. P. 39–52; Idem. «...seit die Juden weg sind»: Germany, History, and Representations of Absence // A User's Guide to German Cultural Studies / S. Denham, I. Kacandes, J. Petropoulos (eds.). Ann Arbor: University of Michigan Press, 1997. P. 209–226.*

Мемуары Отля Айчера (Otl Aicher) изображают его близким другом Ганса и Софии Шолл, основателей студенческой группы сопротивления «Белая Роза» в Мюнхенском университете, впоследствии раскрытой и уничтоженной немецкими властями. Айчер по происхождению лютеранин, и его воспоминания перемежаются с теологическими размышлениями, выдающими пронизательный, глубоко религиозный, но нестандартный ум. Он тоже отказался вступить в гитлерюгенд, был подвергнут властями ostracismu и не получил школьного аттестата. В отличие от Белля, он не был смелым и решительным солдатом, при первой же возможности старался покинуть фронт, чтобы заняться гражданской службой. Айчер ненавидел военное руководство, отказался от офицерского звания, справедливо считая младших офицеров вермахта стеновым хребтом режима и убежденными «нацистами без членских билетов», как он их неоднократно называл¹. Он даже туманно говорит о зверствах нацистов, хотя и считает их весьма схожими с теми, что творили все нации в какой-то момент своей истории². Однако его мемуары — странная смесь антинацистских настроений и соглашательства, обвинений в адрес немецкого общества (особенно буржуазии) и заявлений о личной последовательности. У Айчера много болезненных воспоминаний о войне и нацизме, но его память об этом времени, и особенно о его собственной роли, такова, что не вызывает проблем в жизни, ибо, подобно Беллю, он был и в игре, и вне ее. Он был частью происходящего, чтобы выжить, оставаясь при этом достаточно вовне, чтобы чувствовать свою вину искупленной. Как и Белль, он тоже — «внутренний иммигрант», отсюда и название его мемуаров: «Innenseiten des Krieges» («Война изнутри»). Даже когда он направляет пушки вермахта на русских солдат, будучи артиллерийским наводчиком, «в действительности» он не вполне там, если речь идет о его сознании; даже когда он избегает ареста гестапо (в несколько сомнительном эпизоде), «в действительности» он — член группы сопротивления «Белая Роза». Долгая и успешная послевоенная карьера была поэтому Айчеру гарантирована, хотя, как и Белль, он сильно критикует «государство» и то, что его олицетворяет. Его память поэтому — выносима, если не сказать самодовольна, но при этом она выдает глубоко-

¹ См. об этом подробнее в: *Bartov O. The Eastern Front, 1941–1945: German Troops and the Barbarisation of Warfare. London, 1985.*

² *Aicher O. Innenseiten des Krieges. Frankfurt/M., 1985.*

ко вытесненные чувства вины и сомнения в себе, о которых автор, кажется, не подозревает.

Память же людей, переживших Холокост детьми и обращенных взрослыми, — это память потерь и разлуки, отсутствия и вырванной идентичности, вытесненная, фрагментированная, травматичная. О ней не вспомнили, потому что она невыносима, а когда она все же поднимается на поверхность сознания, то угрожает подорвать все, что было построено с такой заботой и такой болью, — эту другую, третью идентичность, последнее оставшееся хрупкое убежище. «Переход в иную религию у взрослого, — пишет Сол Фридлэндер в “Когда приходит память” (“Quand vient le souvenir...”), — может быть чисто формальным делом... или может быть результатом странствия души, завершаемого свободным решением; ничто не исчезает, но все изменилось; новая идентичность тогда превращает предшествующее существование личности в набросок или в подготовку»¹. Но для Фридлэндера — для ребенка, родители которого стремились спасти его любой ценой, — обращение в католицизм имело более глубокий, травматический, прочный смысл: «Отрицание прошлого, на которое меня обрекли, не было ни формальным делом — ибо мой отец обещал не только принять мое обращение, но и позаботиться о моем католическом образовании, когда жизнь вернется к норме, ни, конечно, результатом странствия души. Первые десять лет жизни, память о детстве должны были исчезнуть, так как синтез между тем человеком, что я был, и тем, кем мне предстояло стать, был невозможен»².

Обращение спасло Сола Фридлэндера — физически спасло. Но обращение означало невозможную потерю родителей, детства и себя. Духовно оно было эквивалентом детского ада. Сбежав из католической школы-интерната, куда послали его родители, мальчик цепляется за спинку отцовской больничной кровати, пока его не вернули в интернат, после чего он родителей уже никогда не увидит: «Как родителям удалось ослабить мою хватку, не разрывававшуюся у меня на глазах?» Он не знает, он не помнит: «Все было сметено катастрофой и ходом времени. Все, что в тот момент чувствовали мать и отец, исчезло вместе с ними, все, что чувствовал я, — навсегда утрачено, и от этого разрыва сердца остается только

¹ *Friedländer S.* When Memory Comes. 2d edn. NY, 1991 («Quand vient le souvenir». Paris, 1978).

² *Ibid.* P. 70–78.

виньетка в моей памяти — образ мальчика, возвращающегося назад по улице ля Гар, в мирном осеннем свете, между двух одетых в черное монахинь»¹.

Шломо Брезниц расстался с родителями у входа в католический приют, где должна была остаться и его старшая сестра: «Последнее прости было преступно кратким. Мы все понимали, что происходит, но не сказали друг другу ни слова. Слезы перемешались на наших лицах, и даже после того, как они ушли, я чувствовал вкус соли на губах. Этот вкус был их последним материальным остатком, и какое-то время я пытался различить соль моего отца и моей матери... Означало ли официальное принятие в приют то, что я стал сиротой?»²

Фридляндер и Брезниц были обращением спасены и в детстве и молодости оба преуспели в изучении религии. Их предшествующая еврейская идентичность была угрозой, скрываемым пятном, причиной бесконечных тревоги и стыда, но также и единственной нитью, связывающей их с детством и родителями. После войны выжившая в лагерях мать сказала Брезницу, что местный епископ защитил мальчика именно потому, что, зная, что Брезниц — еврей, был поражен его сверхординарной способностью запоминать молитвы на латыни. Так что память — выученные латинские тексты — способствовала спасению Брезница. Фридляндеру его идентичность открывает учитель-иезуит, когда тот стоит на пороге школы иезуитов и многообещающей церковной карьеры. Война к тому времени кончилась, но Фридляндер ничего не знает о происшедшем. Они стоят под картиной, изображающей Христа на кресте:

«Разве твои родители не погибли в Освенциме?» — спросил отец Л. Что значило это имя? Где был Освенцим? Он, должно быть, понял, что я ничего не знал об уничтожении евреев, для меня смерть родителей была обернута в туманные образы и неясные обстоятельства, никак не связанные с реальным ходом событий. И так, перед этим невнятным Христом, я слушал: Освенцим, поезда, газовые камеры, печи крематориев, миллионы мертвых...

От отца Л. он узнает об антисемитизме:

¹ Ibid. P. 87–88.

² *Breznitz S. Sedot ha'zikaron. (Memory Fields). Tel Aviv, 1993. P. 35–36 (перевод с иврита автора).*

В первый раз я чувствовал себя евреем — не вопреки себе или тайно, но ощущая безусловную преданность. Верно, что я ничего не знал об иудаизме и все еще был католиком. Но что-то изменилось. Связь была восстановлена, возникла идентичность, конечно, спутанная и, возможно, противоречивая, но с этого дня обозначалась центральная ось, относительно которой не было сомнения: так или иначе, я был евреем — что бы этот термин ни означал в моем сознании¹.

Не память приводит Фридляндера к повторному обращению в иудаизм. Нечто подобное открывает представитель молодого поколения французских евреев, сын еврейско-польских родителей, Ален Финкилькраут, описавший в эссе «Воображаемый еврей» («Le Juif imaginaire») (1994) идентичность, основанную на вызове, а не на сходстве, на отсутствии, а не на целостности. Но для Фридляндера идентичность вытекает из столкновения со знанием о том, что произошло. С этим знанием, говорит он, приходит память. Приходит ли? Знание ли делает столь неотложной потребность помнить? А может быть, это память, придавшая знанию именно этот, а не другой смысл, переопределила его как еврея? Разве знание — не История с большой буквы Жоржа Перека, которая *защитила* его от его собственного прошлого и от которой затем следует избавиться, превратив во взрослую версию детского кошмара о зверствах (в этой воображаемой земле W), чтобы освободить место для личных, уникальных воспоминаний?

«Ребенок, родившийся не в том месте и не в то время, захваченный круговоротом событий, я сам стал одним из центров землетрясения», — пишет Брезниц². «Я родился в Праге в самый неподходящий момент, за четыре месяца до того, как Гитлер пришел к власти», — пишет Фридляндер в начале своих мемуаров³. Момент был неподходящий не только потому, что такое количество детей стало жертвами нацистской военной машины. Но и потому, что выжившие остались с зияющим отсутствием не только родителей, братьев и сестер, но и памяти о детстве, об идентичности, которые оказались расщепленными на разрозненные фрагменты и снова и снова, разными и противоречащими друг другу путями должны

¹ Friedlander S. When Memory Comes. P. 137–138.

² Breznitz S. Sedot ha'zikaron. P. 11.

³ Friedlander S. When Memory Comes. P. 3.

были быть сложены вместе. Эти невыносимые воспоминания надлежало снова и снова перетасовывать и складывать, каждый день — это было частью нескончаемой борьбы за сохранение обретенной идентичности. Хотя к возвращению памяти стремятся, она всегда невыносима. «Многие годы мои воспоминания о тех временах шутили со мной, — пишет Брезниц. — Какие-то всегда можно было вспомнить, а другие ускользали, всплывая на мгновение, дразня, приглашая броситься в погоню и снова исчезая без следа. Были и третьи, о существовании которых можно догадываться по глубоким провалам в истории моего детства. Как если бы оно тоже было похоронено под развалинами, оставленными землетрясением. Ибо слишком долго оно оставалось для меня недостижимым, с секретами, надежно скрытыми за засовами вытеснения»¹. Можно ли добраться до этих воспоминаний, можно ли выразить их словами? Для Фридляндера текст его мемуара «очень далеко отстоит... от воспоминаний, и даже воспоминания доносят только разрозненные фрагменты существования моих родителей, их мира, времени, когда я был ребенком»². Но именно в силу утраты и отсутствия и именно из-за этих нескольких смутных воспоминаний, живущих теперь только в его голове, Фридляндер, как и Перек, чувствует потребность писать. Не потому, что он хорошо помнит, но потому, что он все-таки помнит; не желая описать богатое, многостороннее прошлое, но из жажды сохранить хотя бы фрагмент присутствия из этого обширного отсутствия до того, как оно обернется полным забвением: «Тогда я должен писать. Письмо обводит контуры прошлого менее эфемерными касаниями, чем что-то другое, оно по крайней мере сохраняет присутствие, что позволяет рассказать о ребенке, видевшем исчезновение одного мира и появление другого»³.

Белль и Айчер переживают травму войны, опустошения и разрушения мира, в котором они родились. Им нужно заново построить свою жизнь и выковать для себя новую идентичность из развалин погибших друзей, разбитых городов, подорванной веры. Их возвращение домой — трудное, но возможное путешествие. У них остался их язык, их семья, их местность. Белль однажды написал, что ему непонятно, как он до сих пор живет в Германии⁴.

¹ *Brenitz S. Sedot ha'zikaron. P. 11.*

² *Friedlander S. When Memory Comes. P. 134.*

³ *Ibid. P. 135.*

⁴ В частном разговоре с отцом автора.

В самом деле, всю жизнь он был жестким и требовательным критиком немецкого общества. Однако Белль стал и остался немецким автором, глубоко укорененным в своей культуре, чтимым и уважаемым многими читателями. Он и его поколение претерпели глубокую травму. Но если здесь и было отсутствие, если многие из его поколения (но ни он сам, ни Айчер) и чувствовали, что с падением Третьего рейха и с самоубийством Гитлера целый мир раскололся, то они по крайней мере могли подобрать его остатки и двигаться к новому будущему, оставаясь на старой земле и в старой культуре. Такой возврат домой невозможен для Камю. Он переживает травму Первой мировой войны только опосредованно, посетив могилу отца, но пути назад, к земле его детства, к физическому удовольствию от моря и солнца, простоте и невинности бедности для него больше нет; он должен остаться на земле, которую усыновил, в цивилизации, к которой приспособился, никогда к ней полностью не принадлежа. Перек мог остаться на родной земле и в родном языке, но он обречен на жизнь без памяти о детстве; он лишен самого важного ориентира на пути к этому прошлому — родителей; он может только реконструировать потерянные годы из материальных остатков, из домов, улиц и фотографий — и каждый раз он рассказывает разную повесть, потому что никто не помнит. Фридляндер и Брезниц, как и Перек, утратили взрослых носителей памяти их детства, а поскольку все трое выжили, будучи помещенными в католические институты, память об их утраченном детстве переплетена с памятью об утраченных вере и идентичности. Они не могут претендовать на целостность и убежденность Белля и Айчера — их выживание зависело от обращения, а их спасение снова опровергало принятую ими идентичность. Не могут они вернуться и к родной земле и родному языку. А поскольку путь к прошлому закрыт, они возвращаются к отброшенной прежде идентичности и к земле, в которой никогда не бывали. Они воссоздают себя, располагая лишь несколькими точками отсчета и фрагментами памяти. Однако отсутствие упорствует, травма утраты и разлуки толкает их к поиску прошлого, к путешествию к местам детства, к воображаемому воссозданию утраченных вселенной и людей. Их новая идентичность — акт выбора и разума, а не веры и идентичности, а потому она всегда хрупка и тонка. Они здесь, и все же их здесь нет. То, что они выжили, — повод для надежды, но, в отличие от их немецких коллег, их надежда основана на отчаянии, поскольку они навсегда зависли над пропастью, над

зияющим провалом, делающим их бездомными в доме их собственных Я. В своих мемуарах Фридляндер и Брезниц перемещаются во времени между прошлым и настоящим, так что настоящее служит им моделью связности, которой так недостает в их воспоминаниях, словно оправдывая их биографии. Но за этим фасадом уверенности ощущается тревога травмы и отсутствия, тревога воссозданной идентичности, угрожающей в любой момент распасться, сиротские воспоминания одиноких детей, унесенные в будущее все новых войн и геноцида. Для них война — ежедневная борьба с собственной памятью, с тем, что она помнит и что — нет. И страх невыносимой памяти о завтра — всегда рядом.

Андрей Щербенок

«...Взгляни на Ленина, и печаль твоя разойдется, как вода»:

эстетика травмы у Дзиги Вертова

Один из основоположников мирового документального кино Дзига Вертов, по словам Джудит Мэйн, был и остается *enfant terrible* советского киноавангарда¹. Если Эйзенштейн в своей программной теории монтажа аттракционов допускал «вплетание в монтаж целых “изобразительных кусков” и связно сюжетную интригу», пусть и «не как нечто самодовлеющее и всеопределяющее, а как сознательно выбранный для данной целевой установки сильнодействующий аттракцион»², то Вертов полностью отвергал их как недопустимые пережитки литературности и художественности, «страшный яд привычки», отравляющий «организм кинематографии»³. Традиционному кино, основанному на адаптации к экрану литературных условностей, Вертов противопоставлял кино, схватывающее жизнь «врасплох», — он снимал без декораций и актеров, он показывал реальных людей, занятых своими повседневными делами.

В то же время эстетика Вертова прямо противоположна пассивной изобразительности. Вертовские фильмы 1920-х годов, в первую очередь его знаменитый «Человек с киноаппаратом» (1929), отличаются абстрактной монтажной динамикой, ускоренной, замедленной и обращенной съемкой и прочими формальными приемами, рефлектирующими специфику кинематографического «аппарата» — совокупность технических средств, от кинокамеры до

¹ Mayne J. Kino and the Woman Question: Feminism and Soviet Silent Film. Columbus: Ohio State University Press, 1989. P. 156.

² Эйзенштейн С.М. Монтаж. М.: ВГИК, 1988. С. 20.

³ Вертов Д. Статьи, дневники, замыслы. М.: Искусство, 1966. С. 52.

монтажного отделения и кинопроектора. Аппарат, который Вертов обозначал метафорой «киноглаз», становится с одним из основных предметов изображения. При этом, поскольку взгляд «киноглаза» концептуализируется Вертовым как принципиально отличный от человеческого, вертовский кинематограф изображает повседневный мир с нечеловеческой точки зрения машины¹.

В своем противопоставлении механического и человеческого зрения Вертов совпадает с современными ему западными авангардными документалистами, для которых также характерно было стремление разрушить «когерентность, стабильность и естественность доминирующего мира реалистической репрезентации»². Однако, хотя такие теоретики кино буржуазной Европы того времени, как Ласло Мохой-Надь и Жан Эпштейн, также развивали концепцию киноаппарата как «машины истины», они делали это «в терминах, абсолютно лишенных осознания социальной или классовой детерминации» этой истины³. В отличие от них для Вертова «кинематографическое раскрытие [истины] было *прочтением*, коммунистической расшифровкой мира как социального текста, неразрывно связанной с определением классовой структуры и классовых интересов»⁴.

Закономерным образом в условиях господства мелкобуржуазного нэпа «коммунистическая расшифровка мира» приводит Вертова к акцентированию конструкции за счет репрезентации. В своем манифесте «Киноглаз» режиссер заявляет:

Я — киноглаз, я создаю человека более совершенного, чем созданный Адам, я создаю тысячи разных людей по разным предварительным чертежам и схемам.

Я — киноглаз.

Я у одного беру руки, самые сильные и самые ловкие, у другого беру ноги, самые стройные и самые быстрые, у третьего голову, самую красивую и самую выразительную, и монтажом создаю нового, совершенного человека⁵.

¹ Там же. С. 55.

² Nichols B. Documentary Film and the Modernist Avant-Garde // Critical Inquiry. Summer 2001. Vol. 27. № 4. С. 592.

³ Michelson A. Introduction // Kino-Eye. The Writings of Dziga Vertov. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1984. P. xlv.

⁴ Ibid. P. xlv–xlv.

⁵ Вертов Д. Статьи, дневники, замыслы. С. 55.

Хотя Вертов говорит о киноперсонаже, его описание имеет не меньшее отношение к зрителю. Материальность фильма позволяет зрителю прикоснуться к будущему — коммунизму — не как к некой абстракции, а здесь и сейчас, в момент изменения восприятия: по словам Олега Аронсона, «вертовский субъект восприятия оказывается одновременно и субъектом коммунистического общества»¹. В процессе просмотра фильма вертовский зритель проходит через своеобразную «педагогику перцепции», в результате чего самые авангардные кадры начинают восприниматься как непосредственная репрезентация коммунистического мира будущего.

В тридцатые годы творчество Вертова претерпело существенную эволюцию. Вертовские фильмы утратили значительную часть своей авангардистской экспериментальности, однако, как я постараюсь показать в данной статье, сохранили свою идеологическую радикальность. При этом центр вертовской проблематики сместился из сферы формальных экспериментов в область психологической интерпелляции: субъект идеологии, сводившийся у раннего Вертова к абстрактному субъекту восприятия, приобрел в 1930-х психологическую глубину, неразрывно связанную с травматическими противоречиями, лежащими в основании коммунистической идеологии.

Самый известный фильм Вертова тридцатых годов — «Три песни о Ленине» (1934) — был выпущен в честь 10-летнего юбилея ленинской смерти. Фильм хорошо вписался в культурный контекст сталинизма — он был высоко оценен в прессе, показан на первом советском международном кинофестивале в 1935-м, Вертов был награжден орденом Красной Звезды, а рабочие организованно ходили на показ фильма со знаменем. Позднее фильм был канонизирован как «вершина творчества Вертова... выдающееся произведение социалистического реализма в документальном кино и классика советского киноискусства»². Первая из трех частей картины, названных «песнями», в основном посвящена эмансипации женщин в Средней Азии, вторая — похоронам Ленина, третья — достижениям социалистического строительства в 1930-х годах, причем ленинская тема проходит красной нитью через весь фильм.

¹ Аронсон О. Метакино. М.: Ad Marginem. С. 86–87.

² Marshall H. Masters of Soviet Cinema. Crippled Creative Biographies. London, Boston, Melbourne and Henley: Russell & Russell, 1983. P. 84–85.

Хотя «Три песни о Ленине» анализировались с разных точек зрения, большинство существующих интерпретаций объединяет одна общая черта, которую я проиллюстрирую на примере двух, казалось бы, совершенно разных работ. Ричард Тэйлор посвятил фильму тринадцать страниц своей книги «Кинопропаганда», где он подчеркивает «уникальное кинематографическое качество фильма»¹. Однако его анализ в основном состоит из пересказа, дополненного артикуляцией идеологического содержания отдельных сцен и словесно-визуальных рядов; он не выходит за рамки смыслов, которые, как признает сам Тэйлор, и без того очевидны. В этом тэйлоровский анализ достаточно типичен для традиционной интерпретации сталинского искусства: после его прочтения остается совершенно непонятным, зачем Вертову нужно было создавать столь сложное и непрямое «переплетение слова, образа и звука»², если смысловая нагрузка фильма сводится к нескольким лозунгам, организованным вокруг основного тезиса о том, что, хотя Ленин умер, дело его живет.

Анализ «Трех песен о Ленине» Оксаны Булгаковой отделяют от тэйлоровского двадцать четыре года, что явно сказывается на общей направленности ее исследования. Теперь предметом анализа служат не столько лозунги, сколько киноязык и порождаемое им символическое пространство. Основная мысль Булгаковой состоит в том, что Вертов выступил в этом фильме «первичным создателем символов» и «создал для своей эпохи иконический дискурс, который советское кино в дальнейшем будет использовать как свое общее достояние».³ Из анализа Булгаковой ясно, что новый иконический дискурс не хаотичен, а конституирует новую символическую систему, которая, с одной стороны, основывается на устной среднеазиатской фольклорной традиции, а с другой — включает в себя целый ряд новых символов, от электрической лампочки и ленинской скамейки в Горках до Красной площади и Днепрогэса. В результате, согласно Булгаковой, старая мифологическая система трансформируется в новую, гомологичную предшествующей: «Женщины нашли нового святого, и это Ленин. Для него создается новое место обитания — школа, которая пришла на смену мечети»⁴. Даже отсут-

¹ *Taylor R. Film Propaganda. Soviet Russia and Nazi Germany. London: Croom Helm, 1979. P. 105.*

² *Ibid. P. 109.*

³ *Bulgakowa O. Spatial Figures in Soviet Cinema of the 1930s // The Landscape of Stalinism. The Art and Ideology of Soviet Space. Seattle and London: University of Washington Press, 2003. P. 56.*

⁴ *Ibid. P. 57.*

ствие Сталина в фильме, чье имя, однако, имплицитно содержится в титре «стальные руки партии», интерпретируется Булгаковой как продолжение исламской традиции: «Хотя пророк присутствует повсюду, он невидим»¹.

Остается неясным, впрочем, каким образом «формы мысли, сохраняющие концепцию циклического времени», соотносятся с идеей исторического прогресса, которой очевидным образом протоникнут фильм. Булгакова признает это противоречие и называет парадоксальным выбор кино — «выразительного средства, связанного с модерностью» — для «визуализации архаической поэтики»², но не останавливается на этом парадоксе и никак его не разрешает. В ее прочтении фильм Вертова лишен конфликтов и напряжений — в результате процесса, который она называет «инвертированной дихотомией», фильм разрушает все возможные оппозиции. Так, далекое становится близким, голос трансформируется в письменное слово, а затем — в визуальный образ, мужское становится эквивалентным женскому, а движение — неподвижности. Этот процесс увенчивается уравниванием живого и мертвого, так что «мертвый Ленин провозглашается живее всех живых» и «завоевывает весь мир (создавая тем самым его семантическое единство)»³.

При всей противоположности анализов Тэйлора и Булгаковой бросается в глаза объединяющее их представление о монотонности и бесконфликтности вертовского фильма. У Тэйлора содержание фильма сводится к нескольким согласованным друг с другом идеологическим положениям, у Булгаковой — к артикуляции новой символично-мифологической картины мира. В обоих случаях смысл фильма оказывается чисто кумулятивным, образованным сложением согласованных элементов, которые взаимно усиливают друг друга. Очевидно, что и для Тэйлора, и для Булгаковой фильм лишен радикальных противоречий, а его символическая система замкнута и полна. Однако подобное прочтение оказывается возможным только ценой игнорирования ряда существенных аспектов фильма.

Я начну свой анализ со сцены, наиболее явно выбивающейся из общего ряда. В «Песне третьей» четверо лауреатов ордена Лени-

¹ *Bulgakowa O. Spatial Figures in Soviet Cinema of the 1930s // The Landscape of Stalinism. The Art and Ideology of Soviet Space.* Seattle and London: University of Washington Press, 2003. P. 59.

² *Ibid.* P. 56.

³ *Ibid.* P. 59.



Председательница колхоза. Кадр из фильма «Три песни о Ленине» (1934, реж. Д. Вертов, Межрабпомфильм)

на, по-видимому приехавшие в Москву на съезд, рассказывают о своей трудовой деятельности. Последней выступает женщина — председатель колхоза. Тэйлор пишет лишь, что она «повторяет призыв к увеличению производительных усилий»¹. Однако вот что говорит председательница на самом деле:

Женщина в колхозе — большая сила. И женщину под спудом держать нельзя. Вот я — председатель колхоза, колхоза имени Ленина. У нас в колхозе три женщины... в управлении и два групповода. Мы ведем работу... беспощадную, несмотря что у нас нет мужчин. А я ж чувствую, куды я приехала. И что наши... вожди говорят, ведь они все-таки золотые слова говорят, и надо записать, и надо в голову взять. И к дому приехать, и надо рассказать. И хочется так и сделать, как вожди говорят. Хочешь в колхозе так поставить, а и думаешь. И взади-то ты помнишь, но большевики не велят назад вернуться, что трудности прошли — это не напоминай. А вперед шагать, думаешь, что так, а надо как может быть... надо это пережить еще, надо достигнуть еще, надо уметь подойти еще. Вот тут-то вот и вопрос... И это все в голову возьмешь, и невольно слезы пойдут.

¹ *Taylor R. Film Propaganda. P. 113.*

Монолог председательницы колхоза существенно проблематизирует прямолинейную интерпретацию фильма, согласно которой достижения коммунистического строительства вытекают из простого продолжения дела Ленина вдохновленными его идеями массами. Претворение ленинской программы в конкретные дела оказывается отнюдь не автоматическим результатом восприятия ленинских идей. Хотя председательница колхоза поддерживает партийную программу и хочет проводить ее в жизнь, ей не удается «шагать вперед». Вместо этого она испытывает мучительное напряжение, напоминающее ситуацию кошмарного сна, в котором мы хотим бежать, но не можем сдвинуться с места. Невозможность действия прямо связывается в ее монологе с давлением некоего травматического прошлого, о котором не следует вспоминать, но которое невозможно забыть. Именно вокруг этого невидимого травматического ядра и описывает спираль ее дискурс. Мы не узнаем из фильма, в чем именно состояли пережитые «трудности» (хотя отсутствие мужчин, безусловно, симптоматично), но становится совершенно ясно, что одной сознательной поддержки линии партии недостаточно для успешного строительства коммунизма. Недостаточно для этого оказывается и метонимической связи с вождем, манифестированной и в ордене Ленина, которым награждена председательница, и в названии колхоза, которым она руководит.

Когда сталкиваешься с таким грамматически трудным и косвенным дискурсом, бесконечно далеким от простого «призыва к увеличению производительных усилий», то возникает соблазн описать его как вторжение необработанной социальной реальности в идеологически выверенный документальный фильм. Именно такова традиция интерпретации кинематографа 1930-х годов: поскольку предполагается, что соцреалистический фильм не должен содержать никаких проблематичных элементов, то все, что выпадает из его эксплицитной идеологической структуры, немедленно относится на счет диссидентской индивидуальности режиссера, которому удалось протащить через цензуру фрагмент жизненной правды или своего самобытного мировоззрения. Однако изолировать монолог председательницы колхоза невозможно — он слишком тесно связан с фильмом в целом, чьей центральной темой как раз и является сложная взаимосвязь между «движением вперед» в настоящем и прошлой травмой, конкретизированной как смерть Ленина.

Чтобы попытаться понять непростую взаимосвязь между смертью Ленина и строительством социализма, мы сначала проследим,

каким образом смерть вождя революции репрезентируется в фильме. Тема утраты возникает уже во «Вступлении», в кадрах безлюдных Горок. Мы видим вид из окна, который открывался Ильичу, скамейку, на которой он сидел, но сам Ленин возникает лишь на фотографии. Зияющее отсутствие живого Ленина в настоящем на первый взгляд преодолевается по ходу фильма благодаря смещению акцента с Ленина как исторической личности на его бессмертное дело. Многочисленные сцены в фильме подчеркивают, что Ленин продолжает жить в своих книгах, которые печатают на разных языках, в своих планах, которые претворяются в жизнь, в своей борьбе, которую продолжают трудящиеся во всем мире. Однако наиболее оптимистичные кадры индустриальных, сельскохозяйственных и военных достижений 1930-х в «Песне третьей» чередуются с вариациями титра «...если бы ЛЕНИН мог увидеть нашу страну сейчас!». Поскольку Ленин, очевидно, уже никогда не сможет увидеть СССР, это навязчиво повторяющееся восклицание несет в себе отзвук невосполнимой утраты, которую стройки коммунизма не могут компенсировать полностью. «Песня третья» достигает своей кульминации в титрах с ленинскими словами, которые до этого произносил Ленин в хронике: «Стойте крепко, стойте дружно, смело вперед против врага. Власть помещиков и капиталистов, сломленная в России, будет побеждена во всем мире». Однако этот призыв не выходит за рамки фильма, поскольку за ним следует еще одна последовательность: «Железной стопой пройдут века по земле, и люди забудут названия стран, где жили их предки, но имя Ленин не забудут они никогда. Имя Ильич, Ленин». Память о Ленине оказывается более долговечной и в известном смысле более существенной, чем воплощение в жизнь его планов. Последний эпизод фильма — хроникальные кадры с «живым» Лениным, со-противопоставленные со статичной ленинской фотографией из «Вступления»: работа фильма, таким образом, состоит не в растворении личности вождя в его деле, но, напротив, в акцентуации невосполнимости потери¹.

¹ Только в случае игнорирования этой акцентуации можно утверждать, как это делает Аннет Майклсон, что фильм Вертова успешно осуществляет «работу скорби», превращая Ленина из объекта меланхолической фиксации в абстрактный символ (*Michelson A. The Kinetic Icon in the Work of Mourning: Prolegomena to the Analysis of a Textual System* // October. 1990. Vol. 52. P. 38).



Скорбящая девушка. Кадр из фильма «Три песни о Ленине»

Таким образом, уже на уровне эксплицитных утверждений смерть Ленина становится обязательным элементом идеологического поля фильма. Еще важнее, что его смерть оказывает глубокое влияние на многочисленных персонажей фильма и изображается как причина всенародного горя, красноречивее всего выраженного в центральноазиатских фольклорных песнях¹. В «Песне первой», изображающей женщин советской Средней Азии, перед нами сначала предстает подчеркнуто гармоничный мир. Разрушение традиционного религиозного и общественного уклада, эмблематически выраженное в снятии паранджи, не сопровождается страхом или напряжением — все тюркские женщины в фильме выглядят уверенными в себе, отважными и при этом спокойными. Их печали как будто остались в дореволюционном прошлом, где каждая из

¹ Урсула Юстас показывает в своей работе о репрезентации смерти Ленина в советском фольклоре, что подобный образ его смерти в устном народном творчестве, особенно среднеазиатском, был по большей части создан лишь в 1930-х годах (Юстас У. Вторая смерть Ленина: функции плача в период перехода от культа Ленина к культу Сталина // Соцреалистический канон. СПб.: Академический проект, 2000). Это дополнительно подчеркивает важность вертовского фильма в формировании сталинской культуры.



**Поток людей в Мавзолей Ленина
Кадр из фильма «Три песни о Ленине»**

них была «рабыней без цепей». Однако вскоре, под аккомпанемент звучащей за кадром песни о Ленине, скорбь и слезы появляются и в этом мире. Смерть Ленина — единственная печальная нота в «Песне первой» — однако нота, звучащая постоянно и глубоко. Кульминации же скорбь достигает в «Песне второй», где на фоне хроники ленинских похорон звучит тюркская песня: «Мы любили его так, как мы любим наши степи. Нет, больше того! Мы бы с радостью отдали наши юрты и наши степи и отдали бы наши жизни, если бы мы могли этим вернуть его».

Коллективная скорбь по Ленину не изолирована от индивидуальной психики, — напротив, смерть вождя непосредственно связывается с личным травматическим опытом. «В большом каменном городе на площади стоит кибитка и в ней лежит ЛЕНИН. И если у тебя большое горе, подойди к этой кибитке и взгляни на Ленина, и печаль твоя разойдется, как вода». С этой тюркской песни, перевод которой дан в виде титров, начинается «Песня третья». Строке «...и если у тебя большое горе» сопоставлены кадры со скорбящими женщинами в Средней Азии, кибитке соответствует мавзолей, а строка «...и печаль твоя разойдется, как вода» иллюстрируется потоком идущих в мавзолей людей. Смерть Ленина, таким образом,

оказывается универсальным фантазматическим означающим любой индивидуальной травмы, а его тело, выставленное в мавзолее, аккумулирует психическую энергию каждой новой человеческой скорби.

Двойная структура, состоящая из (неназванного) личного горя и его манифестации в коллективной скорби о Ленине, соответствует психоаналитической структуре травмы. Отталкиваясь от «Исследований истерии» Фрейда, Жан Лапланш пишет, что травма включает в себя два элемента: вытесненную сцену, травматическое событие как таковое и, «по-видимому, подчиненное, сопутствующее воспоминание, обстоятельство, случайно соотносящееся с травматическим событием, которое, в отличие от самого события, осталось в памяти как симптом или “символ” первой сцены, которая сама не может быть осознана»¹. В результате символизируемый термин передает весь свой аффективный заряд символизирующему термину, т.е. в данном случае неназванная индивидуальная травма передает свой аффективный заряд символизирующей ее смерти Ленина. Именно недоступность травматического события для сознания (например, в результате невозможности категоризировать его в доступных субъекту терминах) блокирует обычную психологическую защиту и создает устойчивую психическую фиксацию. В то же время, поскольку «каждое новое событие, вызывающее раздражение бессознательной памяти о травмирующем событии, и каждая новая травма, которая может перекликаться с ней, приводит к появлению в сознании не самой сцены, а ее символа, и только символа»², аффективная заряженность ленинского образа не уменьшается со временем³.

Один из примеров травматического символа, приводимых Лапланшем, — лицо, которое видит пациентка Фрейда Катарина, лицо, которое она «абсолютно не способна ассоциировать с чем-

¹ *Laplanche J. Life and Death in Psychoanalysis.* Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, 1976. P. 37.

² *Ibid.* P. 36.

³ Можно сказать поэтому, что содержание личного «большого горя» (как и пережитых председательницей колхоза «трудностей») не конкретизируется в фильме потому, что такая конкретизация невозможна в принципе. По словам Кати Карут, суть фрейдовского открытия состоит в том, что «воздействие травматического события связано именно с его задержкой, с его отказом быть просто локализованным, в его упорном появлении за границами единичного места и времени» (*Caruth C. Trauma and Experience: Introduction // Trauma: Explorations in Memory.* Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, 1995. P. 9).

либо, — лицо, полностью лишенное смысла, но ставшее фокусом ее страха»¹. Бессмысленность травматического символа вытекает из конститутивного свойства самой травмы — неслучайно Лакан выделял травму как привилегированное место столкновения с несимволизируемым Реальным². Символическая функция Ленинской смерти в «Трех песнях о Ленине» тоже неразрывно связана с невозможностью придать смысл зрелищу мертвого тела вождя.

Диана Морган, говоря о забальзамированных вождях коммунистических стран, утверждает:

...Подобно вампиру из «Дракулы» Брема Стокера, эти лидеры ни живы, ни мертвы, но существуют между жизнью и смертью. ...Стремление мумифицировать своих лидеров может быть прочитано как попытка стереть различие между смертным и бессмертным телами суверена... Вместо того чтобы быть символом одного конкретного исторического момента в великом процессе становления, Лидер окаменевают как прошлое, неотступно преследующее заранее зачерствевшее будущее и отбрасывающее на него свою тень³.

Однако, хотя Ленин в фильме Вертова также одновременно и жив и мертв, ничто не указывает на возможность соединения этих двух его ипостасей. Вместо того чтобы стирать различие между жизнью и смертью, изображение мертвого тела Ленина у Вертова постоянно подчеркивает антиномию, внутренне присущую его образу. Так, сцена ленинских похорон в «Песне второй» организована через многократно подчеркиваемое противопоставление динамичных хроникальных кадров с живым Лениным и статичного кадра с его телом. Титры подчеркивают эту оппозицию: Ленин был активен —

¹ *Laplanche J.* Life and Death. P. 35.

² *Lacan J.* Seminars. Book XI. The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis. NY and London: W.W. Norton & Company, 1981. P. 55. Лакан здесь отталкивается от работы Фрейда «Из истории инфантильного невроза», где описывается сон четырехлетнего ребенка о сидящих на дереве волках — фантазия, за которой лежит недоступное реальное первичной сцены (полового акта между родителями). Сама сцена, в полном согласии с двойной структурой травмы, описанной Лапланшем, не может быть вспомнена, а только «активирована» в ходе того, что Фрейд называет «отложенным действием».

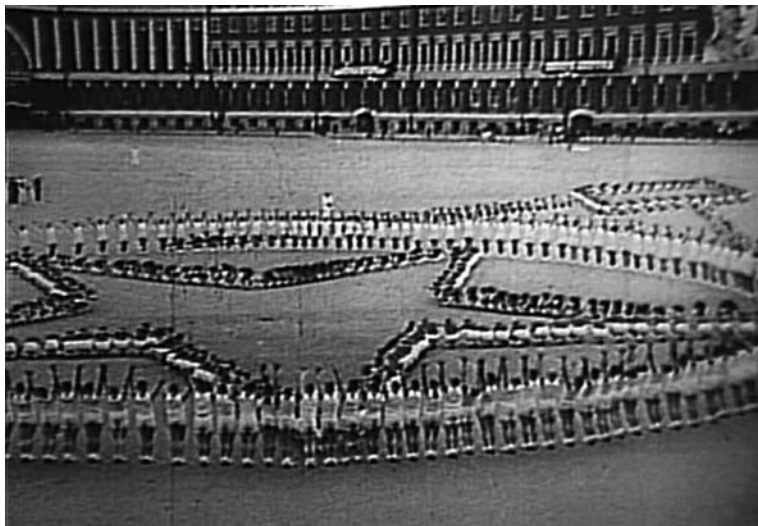
³ Цит. по: *Kujundzic D.* The Returns of History. Albany: State University of New York Press, 1997. P. 190–191.



Демонстрация. Кадр из фильма «Три песни о Ленине»

теперь он неподвижен, он был красноречив — теперь он молчит. Визуальной метафорой абсурдности ленинской смерти становится ряд стоп-кадров, демонстрирующих жизнь, окаменевшую в минуту молчания, — так, поезд, пронесшийся над камерой, вдруг застывает, подчеркивая антиномию движения и неподвижности, невозможность соединить неподвижность ленинского трупа с его вечно живым делом. Поэтому тело Ленина, выставленное в мавзолее, — это не полуживое тело Дракулы, спящего в своем гробу, это настоящий труп, непостижимым образом связанный с живым Лениным и бессмертным делом революции.

Важно отметить, что хотя стоп-кадры, акцентирующие смерть Ленина, внешне напоминают стоп-кадры из «Человека с киноаппаратом», в «Трех песнях о Ленине» они не демонстрируют трансформационные возможности кинематографического аппарата, тем самым актуализируя противоречие между репрезентацией «жизни как она есть» и видением киноглаза. Вместо этого в соцреалистическом фильме схожий технический прием непосредственно отсылает к несимволизируемому травматическому ядру в основании



**Гимнастический парад на Дворцовой площади
Кадр из фильма «Три песни о Ленине»**

психики персонажей, превращая формальный конфликт между системами репрезентации в конфликт на уровне «содержания» — репрезентированной в фильме (психической) реальности. Поскольку смерть Ленина тесно связывается с личным травматическим опытом, она располагается в точке пересечения индивидуальной психики и коммунистической идеологии; Ленин, оставаясь коллективным символом, становится также объектом интенсивных либидинальных инвестиций каждого отдельного субъекта, что особенно наглядно видно в хроникальных кадрах демонстрации 1924 года, где люди несут по заснеженным улицам транспарант «Ленин — наше бессмертие».

Мы можем обратиться теперь к самому интригующему аспекту вертового фильма — парадоксальной связи, устанавливаемой в нем между индивидуальной травмой, смертью Ленина и основной идеологической темой — воплощением в жизнь ленинских идей в процессе строительства социализма. Ряд вербально-визуальных метафор не оставляет сомнения в том, что частное горе, сублимированное через коллективный траур по Ленину, является

необходимым условием развития и совершенствования жизни. Так, строка «...и печаль твоя разойдется, как вода» сопоставлена не только с потоком людей, идущих в мавзолей, но и со сценой гимнастического парада на Дворцовой площади в Ленинграде, в которой актуализировано значение слова «разойдется» как распротранения в разные стороны, а не исчезновения. Следующая фраза из той же песни — «...и горе твое уплывет, как листья в арыке» — предваряет кадр с хлопковым полем. Хотя в арыке нет листьев, в нем есть вода, которую жадно впитывает сухая земля. Следующий за этим кадр с буйной зеленью и промежуточный — с матерью и грудным ребенком демонстрируют, что вода, выступающая как метафора печали, не пропала зря. Более того, она и не иссякла — в следующем кадре мы видим уже целый водопад.

Тема всего фильма, заявленная в рамочных титрах, — тождество между Лениным и процессом социальных и экономических трансформаций. Женщина, сбросившая паранджу, электричество, приносящее свет в деревню, вода, заставляющая расцвести пустыню, неграмотные, научившиеся грамоте, — все это и есть Ленин¹. Идентификация с прогрессом означает, что смерть Ленина может быть дезавуирована (*disavowed*) при условии, что страна движется вперед: созидательный труд на благо прогресса возвращает Ленина к жизни, тем самым блокируя травматическое воздействие его смерти. Труд, таким образом, становится аналогом истерической защиты, направленной, как это и происходит в случае истерии, на травматический символ — мертвого вождя. Антиномичность фигуры Ленина в вертовском фильме (Ленин продолжает жить в делах людей, и в то же время зрителям фильма, так же как и его героям, посещающим мавзолей, постоянно напоминают, что он все-таки мертв) становится, таким образом, условием постоянного преобразования психической энергии вытесненных травм в энергию производительного труда, создавая массовый энтузиазм 1930-х, столь наглядно изображенный в «Песне третьей»². Этот механизм предстает

¹ Здесь особенно очевидно противоречие с тезисом Морган о том, что, подобно вампиру, мумифицированный лидер высасывает жизнь из настоящего, превращая его в музей.

² Таков, по сути, ответ Вертова на вопрос, поставленный редакторами недавнего сборника «Утрата. Политика скорби»: как прошлый травматический опыт может быть «продуктивным, а не патологическим, обильным, а не недостающим, социальным, а не солипсистским, побуждающим к активным действиям, а не реакционным»? (*Eng D.L., Kazanjian D. Preface // Loss: The Politics of Mourning. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 2003. P. ix*).

в фильме не только универсальным, но и необходимым: как мы видели в случае председательницы колхоза, в отсутствие последовательного переноса аффективной энергии движение вперед становится невозможным, блокируется личным горем прошлого. От других персонажей фильма председательницу отличает не наличие травматического прошлого, которое, по-видимому, есть у всех, а то, что ее отношение к Ленину остается внешним, метонимическим и не затрагивает основ ее психической жизни.

В отличие от зрительской аудитории в «Человеке с киноаппаратом», чья дистанция по отношению к вертовскому фильму подчеркивала разрыв между говорящим и проговариваемым субъектами, зритель «Трех песен о Ленине» постепенно вовлекается в зрелище, интернализуя травматическую психическую структуру его персонажей. «Песня первая» начинается с кадров женщин в традиционном мусульманском одеянии и подзаголовок «...в черной тюрьме было лицо мое». Следующие титры, перемежаемые кадрами традиционного мусульманского уклада, развивают эту тему: «...слепа была жизнь моя... без света и без знаний я была рабыней без цепей...». Вопреки обычному представлению паранджа фигурирует здесь не как защита от постороннего



**Мусульманка. Кадр из фильма
«Три песни о Ленине»**



**Читающая девушка. Кадр из
фильма «Три песни о Ленине»**



**Девушка, сбрасывающая
паранджу. Кадр из фильма
«Три песни о Ленине»**



Девушка с фотоальбомом
Кадр из фильма «Три песни о Ленине»



Скорбящая женщина в Средней Азии. Кадр из фильма «Три песни о Ленине»



Мавзолей в утреннем тумане
Кадр из фильма «Три песни о Ленине»

взгляда, а как повязка на глазах, ограничивающая возможности зрения самого субъекта. Женщинам, снимающим паранджу, открывается свет знания и просвещения. Когда мы в первый раз видим девушку без паранджи, она читает. Сцена разрывается пополам титрами «...но взошел луч правды, луч правды ЛЕНИНА...». В то же время многочисленные крупные планы открытых женских лиц, и особенно кадры девушек, скидывающих паранджу при входе в университет, создают точку притяжения взгляда зрителя. Глаза читающей девушки оказываются поэтому точкой пересечения взгляда зрителя и взгляда самой девушки, метафорически направленной на свет истины — снятие паранджи позволяет нам увидеть лицо девушки, а ей — увидеть свет ленинской правды.

Идентифицируя себя с героинями «Песни первой», зритель также может увидеть свет этой правды, т.е. воспринять репрезентируемый мир, с точки зрения эмансипированных женщин, как воплощение победоносных ленинских идей, но он может встать на эту точку зрения только метафорически, как в случае с неоднозначным референтом слова «мой» в титрах «МОЯ фабрика» или «МОЙ университет. В фильме, однако, нет кадров, четко маркированных как пространственная точка зрения героинь.

Тем более важным оказывается поэтому единственный кадр, где мы одновременно видим лицо тюркской девушки и объект ее взгляда. В этом кадре девушка смотрит на страницу историко-революционного фотоальбома. Раскрыт он на странице, озаглавленной «1924. Смерть Ленина». Сильную позицию, диагонально симметричную лицу девушки, занимает в кадре фотография умершего вождя. Взгляд девушки, устремленный на фотографию, направляет и взгляд зрителя, превращая тело Ленина в точку его фиксации.

По ходу фильма эта точка становится все более имплицитной: в сцене похорон есть кадр тела Ленина и многочисленные кадры скорбящих людей, стоящих рядом с ним, однако мы уже не можем буквально проследить направление их взгляда. В «Песне третьей» скорбящая тюркская женщина смотрит в землю перед собой, но из контекста понятно, что настоящий объект ее взгляда — ленинский мавзолей в далекой Москве. Постепенно исчезает и национальная специфика воспринимающего субъекта, в фильме появляется все больше русских персонажей. Фигура мертвого вождя становится все менее материальной и все более вездесущей, превращаясь в латентную точку фиксации любого, в том числе и зрительского, взгляда.

По сути, тело Ленина превращается в фильме в призрак, т.е., используя определение Славоя Жижека, в «реальное (часть реальности, которая остается несимволизированной), которое возвращается в виде призрачных видений». Эти видения возникают «в том самом разрыве, что навсегда отделяет реальность от реального и вследствие которого реальность приобретает свойства (символической) фикции: призрак воплощает то, что ускользает от (символически структурированной) реальности»¹. Зритель «Трех песен» постепенно втягивается в визуальное пространство, организованное подобно психическому миру вертовских персонажей: фигура Ленина становится универсальным травматическим означающим, навязчиво присутствующим даже в тех кадрах, где самого Ленина, казалось бы, нет. Инкорпорируя образ тела Ленина в визуальное пространство зрителя в качестве травматического ядра, Вертов активизирует в его психике описанные выше механизмы аффективно-го переноса и тем самым интерпеллирует зрителя в идеологию.

В 1926 году Вертов настаивал, что идеологическое воздействие кино должно быть только сознательным. «Только сознание может

¹ Žižek S. The Spectre of Ideology // Mapping Ideology / S. Žižek (ed.). London and NY: Verso, 1994. P. 21.

бороться с магическими внушениями всякого порядка. Только сознание может создать человека с твердыми взглядами, с твердыми убеждениями»¹. Анатолий Луначарский в статье того же года критиковал это свойство советского кино, утверждая, что «сознательно пропагандирующее кино, которое хочет поучать, имеет как будто гири на ногах»². Согласно Луначарскому, советское кино, сохраняя открыто пропагандистский характер, должно было стать привлекательным для широких масс. Для этого Луначарский, предвосхищая появление социалистического реализма, предлагает своеобразный синтез нового революционного кинематографа и буржуазного «опия» — пропагандистское кино, одновременно являющееся «захватывающим». В «Трех песнях о Ленине» Вертов по-своему осуществляет эту задачу: отстраненность аудитории «Человека с киноаппаратом», фильма, чья формальная революционность исключала «человеческую» идентификацию с миром, открывающимся киноглазу, сменяется в «Трех песнях о Ленине» глубокой вовлеченностью зрителя, чья радикальная идеологическая трансформация осуществляется с помощью во многом бессознательных психических механизмов.

¹ Вертов Д. Статьи, дневники, замыслы. С. 92.

² Луначарский о кино. М., 1965. С. 71.

Кажа Силверман

Историческая травма и мужская субъективность *

...Если не существует мужественности, которую бы не освящала кастрация, тогда из-за маски, за которой он прячется, женщину призывает к поклонению кастрированный любовник или мертвец (или даже оба они одновременно).

Жак Лакан

Господствующий тип сюжетного кино приглашает зрителя заместить утраченный объект кинематографическим «оттиском реальности» и таким образом преодолеть ту феноменальную ущербность, о наличии которой зритель прекрасно «знает». Следовательно, кинематографический эффект реальности отчасти восходит к интенсивности киновосприятия, то есть к первичности, которой кино наделяет регистр воображаемого¹. Однако этот эффект одновременно является и следствием специфической идеологической операции. Звуки и образы фильма вызывают доверие лишь в той степени, в которой они принадлежат к «привилегированному способу репрезентации, с помощью которого образ общественного согласия предлагается членам общественной формации. Внутри этого образа они [не только приглашаются к тому, чтобы] идентифицировать самих себя»; они действительно идентифицируют себя. Другими словами, кинематографический текст способен удовлетворить зрительское желание реальности, только когда и текст и сам

* Перевод с английского Андрея Шербенка. Впервые опубликовано: Kaja Silverman. «Historical Trauma and Male Subjectivity,» in E. Ann Kaplan, ed. *Psychoanalysis & Cinema*. New York: Routledge, 1990, pp.110–127.

¹ См. дискуссию об отношении кино к уровню воображаемого: Metz C. *The Imaginary Signifier: Psychoanalysis and the Cinema* / Trans. C. Britton, A. Williams, B. Brewster, A. Guzzetti. Bloomington: Indiana University Press, 1982. P. 42–57; Baudry J.-L. *The Apparatus* / Trans. J. Andrews, B. Augst // *Camera Obscura*. 1976. № 1. P. 104–128; Rose J. *Paranoia and the Film System* // *Screen*. 1976/1977. Vol. 17. № 4. P. 85–104.

зритель находится внутри того, что Жак Рансьер назвал бы «господствующим вымыслом»¹.

Фаллос стоит или падает вместе с этим господствующим вымыслом, поскольку именно в нем он приобретает качества зримости, плотности и эрегированности, которые более уместно было бы отнести к пенису². Другими словами, только внутри образного и сюжетного резервуара, господствующего в культуре, отцовское означающее «вырастает» в орган, становясь доступным для мужского субъекта в качестве его *имаго*. Это *имаго* не столько отражает мужского субъекта, сколько отбрасывает на него свое отражение, и потому субъект может отрицать свою кастрацию до тех пор, пока «рамка» будет оставаться для него незамеченной, — т.е. при условии, что господствующий вымысел будет казаться естественной средой. Потеря веры в этот вымысел приводит и к потере веры в фаллос, вызывая соответственно и кризис мужской субъективности.

В отличие от фрейдовского психоанализа лакановский всегда с готовностью признавал, что мужская субъективность основана на нехватке, утверждая: «то, что можно назвать мужчиной, существом говорящим по-мужски, безусловно, исчезает как дискурсивный эффект... будучи вписанным в дискурс исключительно как кастрация»³. К сожалению, этот психоанализ с той же готовностью нейтрализовал радикальные следствия своего отклонения от фрейдовской парадигмы, укрепляя в процессе этой нейтрализации и половое различие, и существующий символический порядок. Нигде эта нейтрализация не видна так явно, как в интервью, взятом Хелен Клиббе (Helene Klibbe) у Сержа Леклера, одного из самых ортодоксальных последователей Лакана (по крайней мере, до середины 1970-х). Хотя в качестве темы было заявлено гомосексуальное письмо, интервью почти исключительно посвящено теме ка-

¹ *Ranciere J. Interview: The Image of Brotherhood // Edinburgh Magazine. 1977. № 2. P. 28.*

² В «Значении фаллоса» Лакан пишет: «Фаллос — это привилегированное означающее того места, где логос сочетается с наступлением желания. Можно сказать, что это означающее выбрано как нечто выдающееся, легче всего схватываемое в буквальном (топографическом) смысле слова, поскольку оно эквивалентно в этом отношении (логической) связке. Можно также сказать, что благодаря своей способности к разбуханию он представляет собой образ жизненного потока, передаваемого при размножении (generation)» (*Feminine Sexuality: Jacques Lacan and the Ecole Freudienne / J. Mitchell, J. Rose (eds.). NY: Norton, 1982. P. 82.*)

³ *Lacan J. Seminaire XVIII. P. 4 (цит. по: Feminine Sexuality. P. 44).*

страции, которая понимается как необходимое и неизбежное основание и мужской, и женской субъективности. Это общее основание, однако, отнюдь не подрывает традиционную половую демаркацию, поскольку немедленно сводится на нет анатомией, которая жестко задает принципиально разное отношение мужчины и женщины к символическому.

Леклер утверждает, что, поскольку мужской субъект обладает пенисом, он получает возможность отрицать свою кастрацию и стремиться к власти и привилегиям. Он находится с «лицевой» стороны символического, но с «изнаночной» стороны знания. Женский субъект, в свою очередь, имеет вещественное доказательство своей кастрации и, следовательно, отворачивается от этих, в конечном счете, иллюзорных целей. Женщина находится с «изнаночной» стороны символического, но с «лицевой» стороны знания. Формулировка Леклера во всех отношениях поддерживается развернутой теологической аналогией, во многом напоминающей лакановское обращение к св. Терезе в «Семинаре XX»:

Давайте назовем фаллос «богом». Это древняя традиция. «Бога» не надо видеть, собственно говоря, у вас нет его образа. «Бог» (фаллос) невидим, поэтому отношение к фаллосу отмечено неформализованным отношением, отношением исключения. В то же время все имеет отношение к фаллосу, все имеет отношение к «Богу». Давайте допустим, что есть ребенок, Иисус, сын Божий, который служит посредником. Теперь давайте заменим «ребенка Иисуса» пенисом, который случайно оказывается самым подходящим представителем фаллоса. Поскольку мужчина связан со своим *пенисом как с представителем фаллоса* в собственном теле, то, схематически, его естественная склонность заставляет его забыть тот факт, что фаллос («Бог») невидим, неуловим, неименуем. А у женщины нет этого представителя в собственном теле, поэтому ее отношение к фаллосу менее завуалировано. У нее меньше искушения забыть тот факт, что фаллос отсутствует. Следовательно, мужское и женское отношение к кастрации глубоко различно. Я имею в виду кастрацию как отношение к фаллосу, к Невидимому, к неименуемому термину. На языке Лакана я бы сказал, что фаллос — одновременно означающее и объект. ...На протяжении всей эволюции женщины ничто не вставало как экран между невидимым «Богом», фаллосом и тем, как она говорит. Для мужчины же владение пенисом, сильно заряженное психической энергией, служит экраном, от-

рицающим фундаментальный характер кастрации. Мужчина начинает верить, что он не был кастрирован¹.

Этому абзацу свойственно важное внутреннее противоречие. Вся аргументация базируется на утверждении, что фаллос не может быть увиден, понят или поименован, т.е. что он *непредставим*. Однако пенис (который *можно* увидеть, понять и назвать) описывается и как «самый подходящий представитель фаллоса», и как воплощение или «сын» последнего. Отношение между фаллосом и пенисом, таким образом, совершенно неясно: оно предстает одновременно сверхъестественным (т.е. потусторонним рациональному или светскому объяснению) и естественным (т.е. экзистенциально или онтологически мотивированным). В любом случае это отношение, по-видимому, избегает социальной детерминации. Нам говорят, что оно просто «случайно оказывается» таковым.

Сходный отказ признать, что фаллос может быть каким-то образом связан с культурой, очевиден как в утверждении Леклера: «Мужчина начинает верить, что он не был кастрирован», — так и в его широком обобщении: «На протяжении всей эволюции женщины ничто не вставало как экран между невидимым “Богом”, фаллосом и тем, как она говорит». Сексуальное различие и отцовское означающее расположены в пространстве, потустороннем исторической каузальности или политической интервенции, — в своего рода «сакральном времени». Базовая теологическая метафора не только вносит существенный вклад в это ощущение неизменности, но и помогает смягчить противоречия абзаца, превратив их в парадокс.

Данное исследование разделяет с Лаканом и Леклером представление о том, что мужская субъективность основана на кастрации. Оно также разделяет с двумя этими теоретиками точку зрения, согласно которой нехватка, которую мужской субъект должен каким-то образом дезавуировать (*disavow*)², в конечном итоге

¹ *Leclaire S. Sexuality: A Fact of Discourse // Homosexualities and French Literature: Cultural Contexts, Critical Texts / G. Stambolian (ed.) Ithaca: Cornell University Press, 1979.*

² Начиная с Фрейда, под термином *Verleugnung* (англ. *disavowal*) понимается отказ субъекта внутренне согласиться с некоторой реальностью, отказ, представляющий собой форму защиты и основополагающий момент отношения человека к миру. В отличие от отрицания (нем. *Verneinung*, англ. *denial*), *Verleugnung* предполагает формальное признание реальности («я знаю, но все равно») и, во избе-

свойственна ему самому. Однако данное исследование занимает совершенно иную позицию по поводу отношения, складывающегося между полом и нехваткой: хотя утрата объекта и подчинение предсуществующему символическому порядку и может быть необходимой «платой» за вхождение в язык, эта нехватка не обязательно должна быть присуща только одному полу. Мужской субъект не обязан конституироваться через серию защитных механизмов, рассчитанных на то, чтобы предохранить его от любого знания об условиях вхождения в поле смысла; точно так же и женский субъект не обязан конституироваться через усвоение своей собственной и мужской кастрации. Как отмечает Мартин Том, «и символическая кастрация, и фантазия о раздробленном теле — универсалии человеческого опыта, поскольку они репрезентируют факт рождения, воплощения в мир, где есть язык. [Однако] их взаимная артикуляция в конкретной общественной формации... будет различной»¹.

Я хочу сказать, что лакановский психоанализ фокусировал внимание на универсальном опыте символической кастрации, а не на тех способах, при помощи которых он (разнообразно) артикулируется. Хотя он преподает нам важнейший урок о том, что пенис — это не фаллос, он уменьшает ценность этого урока, определяя термин *фаллос* как «означающее, призванное обозначить в целом эффекты означаемого, в той степени, в которой означающее обуславливает эти эффекты самим своим присутствием в качестве означаемого»². Этим лакановский психоанализ отвлекает критическое внимание от дискурсивных практик, которые устанавливают фаллос не только как привилегированное означающее в нашем культурном порядке, но и как означающее привилегии, обладающее статусом маркера сложных психических, социальных, политических и экономических различий.

Отнюдь не принадлежа к некоему «сакральному времени» по ту сторону превратностей истории и особенностей различных обще-

жение путаницы, переводится здесь как дезавуирование. Подробнее см.: Freud S. Some Psychical Consequences of the Anatomical Distinction Between the Sexes // Freud S. The Standard Edition. Vol. 19. P. 248–258; *Idem*. Fetishism // The Standard Edition. Vol. 21 P. 152–157. Лаплани Ж., Понталис Ж. Б. Словарь по психоанализу / Пер. Н.С. Автономовой. М., 1996. С. 314–316; об истории термина см. также: Roudinesco E. Jacques Lacan. NY, 1997. P. 281–283. — Прим. пер.

¹ Thom M. Veneinung, Verwerfung, Ausstossung: A Problem in the Interpretation of Freud // C. MacCabe (ed.) // The Talking Cure. NY: St. Martin's, 1981. P. 165.

² Lacan J. The Signification of the Phallus // Lacan J. Ecrit / Trans. A. Sheridan. NY: Norton, 1976. P. 285.

ственных формаций, фаллос — это всегда продукт господствующей означающей и репрезентирующей деятельности, деятельности, подверженной разрывам и изменениям. Фаллос, следовательно, — не более чем дистиллят привилегированных семантических компонентов и ценностей данного символического порядка. На самом деле зачастую он меньше, чем это коллективного «видение», поскольку его значение и функция могут варьироваться даже при переходе от одного дискурса к другому. Что заставляет фаллос казаться «больше» и «ощутимее» — это постоянная репрезентативная поддержка, которую господствующий вымысел дает этому означающему, бесконечная циркуляция широкого многообразия идеальных отцовских образов и звуков. Именно через производство таких образов и звуков «оказывается», что пенис — это «самый подходящий представитель фаллоса», поскольку это производство снова и снова утверждает тождественность этих взаимоисключающих терминов.

Таким образом, вера мужского субъекта в то, что он не кастрирован, отнюдь не спонтанна. Эта вера исподволь внушается ему через непрерывный поток отцовских образов и звуков, в котором он призван «найти» себя; через экстернализирующий перенос на женский субъект тех потерь, которые он пережил; и наконец, но не в последнюю очередь — через его подчинение господствующему вымыслу, посредством которого его общественная формация координирует свои разнообразные дискурсы. Поскольку эта финальная операция обычно делает необходимой серию дополнительных кастраций, основание фаллической мужской субъективности можно также видеть в массивном культурном дезавуировании той нехватки, на которой она основывается.

Классическое кино играет жизненно важную роль в конструировании этой субъективности. Кино — не только важный поставщик отцовских репрезентаций; оно также оркестрирует для мужского субъекта проекции, столь необходимые для его чувства личного могущества. Свои образы, звуки и нарративные структуры кино черпает из запасов господствующего вымысла, а его «сшивающие» механизмы одновременно погружают воспринимающего субъекта в этот вымысел и вселяют в него уверенность в собственной способности разрешить конфликт и нейтрализовать сопротивление. Эта уверенность — необходимое условие и для идентификации мужского субъекта с фаллосом, и для дезавуирования женским субъектом мужской нехватки.

Если утрата веры в господствующий вымысел обычно приводит к утрате веры в мужскую адекватность, то и зрелище мужской кастрации вполне может привести к разрушительным сомнениям по поводу господствующего вымысла. Мужская субъективность — это своего рода точка концентрации напряжений, перекресток, на котором социальный кризис и общественное брожение часто находят свое наиболее драматическое выражение. Крупные расхождения между господствующим вымыслом и более широкой общественной формацией в классическом сюжетном фильме всегда предстают в виде дестабилизации сексуального различия, через обнажения мужской нехватки или бессилия.

Ряд фильмов, созданных в Голливуде между 1944 и 1947 годами, с необыкновенной прямоотой свидетельствуют о кастрациях, через которые конституируется мужской субъект: о плате за вхождение в символический порядок, а также об утратах, которые он впоследствии переживает внутри этого порядка. «Гордость морской пехоты», «Слава герою-победителю», «Городская ярмарка», «Это непреодолимое обаяние молодости», «Потерянный выходной», «Вина Жанет Амес», «Завороженный», «Жизнь прекрасна», «Гилда» и «Лучшие годы нашей жизни» — все они инсценируют временный коллапс тех механизмов, с помощью которых женский субъект «в порядке вещей» вынужден присваивать мужскую нехватку¹. В самом деле, многие из этих фильмов наделяют героинь визуальным и повествовательным контролем, которым обычно обладают герои-мужчины. Как заметил зритель тех лет:

...Первое, что нужно отметить в связи с этими фильмами, — это что определение «парень завоевывает девушку» больше не работает. В «Потерянном выходном» поцелуй раздает не герой, а героиня. ...В «Завороженном» именно она входит в его комнату среди ночи. ...В «Гордости морской пехоты», когда письма и телефонные звонки оказываются безрезультатны, героиня насильно приводит героя домой, где, несмотря даже на его отчаянное «Уведи меня отсюда!», настаивает на том, чтобы они поженились².

¹ См. мою работу «Lost Objects and Mistaken Subjects: Film Theory's Structuring Lack» в: *Wide Angle*. 1985. Vol. 7, № 1/2. P. 14–29. Более полная версия этого эссе вошла в книгу: *Silverman K. The Acoustic Mirror: The Female Voice in Psychoanalysis and Cinema*. Bloomington: Indiana University Press, 1988.

² *Deming B. Running Away from Myself: A Dream Portrait of America Drawn from the Films of the 40's*. NY: Grossman, 1969. P. 39–40. Первая версия этой книги была закончена в 1950 году, хотя и не была полностью опубликована до 1969-го.

Эти фильмы также характеризуются утратой веры в привычное и самоочевидное. Герой больше не чувствует себя «как дома» в доме или городе, где он вырос; он сопротивляется культурной (ре)ассимиляции; он вытеснен с нарративных и субъектных позиций, составляющих господствующий вымысел, и возвращается на эти нарративные и субъектные позиции только под принуждением. Он не способен присоединиться к фаллосу, потому что больше не верит в *правдоподобное* (*vraisemblable*). В ряде случаев раскрытие тайны мужской нехватки показано как симптом общего исторического кризиса. «Любовные письма», «Гордость морской пехоты», «Слава герою-победителю», «Потерянный выходной», «Лучшие годы нашей жизни» и «Вина Жанет Амес» прямо отождествляют этот кризис со Второй мировой войной и восстановительным периодом. В каждом случае герой возвращается с войны с физической или психической раной, которая делает его неспособным к нормальному функционированию в гражданской жизни.

Об одном из этих фильмов — пожалуй, самом интересном из них — речь пойдет чуть ниже. Фильм «Лучшие годы нашей жизни» Уильяма Уайлера (William Wyler, 1946) навязчиво и подчас эротично фокусируется на психической и социальной кастрации трех главных мужских персонажей, упорно отказываясь приостановить недоверие к господствующему вымыслу или его фаллической репрезентации и настаивая на том, что идеологические формулировки довоенной Америки не способны разрешить противоречия послевоенной Америки и, следовательно, скрыть мужскую нехватку. Однако сначала я бы хотела прояснить теоретическую модель, которая будет использоваться для описания взаимоотношений между фильмом и его историческим «моментом».

Следующий ниже текстуальный анализ будет во многом основываться на трех широких теоретических категориях: общественная формация, господствующий вымысел и история. Первая из этих категорий будет пониматься как «сложная, предопределенная и противоречивая сеть дискурсивных практик, в которой человеческий субъект конституируется и в которую он полностью погружен»¹, —

¹ Как пишут далее в своем кратком изложении недавней дискуссии об идеологии Николас Розе, Анжи Золфилд, Куз Венн и Валери Валкердин: «Невозможно представить области и уровни социальной формации, стоящие *вне* дискурсивных практик, из которых складывается материальная деятельность конкретных человеческих субъектов...» (*Rose N., Solfield A., Venn C., Walkerdine V. Psychology, Ideology and the Human Subject // Ideology and Consciousness. 1977. № 1. P. 46*).

как сеть, включающая в себя не только язык, литературу, кино, «академические» дискурсы, социальные науки, право, политику, но вообще *всю* общественную деятельность и обмен. Вместо того чтобы быть увязанными с одним способом производства, как это в конечном счете происходит в альтюссерианской парадигме¹, общественная формация будет обозначать здесь *неунифицированную тотальность* дискурсивных практик, внутри и с помощью которой субъекты, составляющие данный социум, ведут свое *материальное* существование.

Моя вторая категория — господствующий вымысел — не призвана противостоять ни потерянной, но восстановимой реальности, ни условиям «подлинного» сознания. «Вымысел» подчеркивает *сконструированное*, а не иллюзорное основание реальности, в то время как «господствующий» выделяет из всего набора культурных образов, звуков и нарративных разработок те, с помощью которых устанавливается согласие; те, что выступают посредниками между часто противоречивыми дискурсами, из которых состоит общественная формация, делая возможной групповую идентификацию и коллективные желания. Господствующий вымысел — это больше, чем набор репрезентативных и повествовательных возможностей для артикуляции согласия; это также и либидинальный аппарат, или «машина для идеологических инвестиций»² — инвестиций, которые так же жизненно необходимы для поддержания социальной формации, как труд и обмен. Поскольку множество дискурсов, составляющих общественную формацию, объединяются только внутри господствующего вымысла, то само ощущение идентичности и единства общественных формаций оказывается в зависимости от господствующих вымыслов. Господствующий вымысел определяется тем, что Эрнесто Лакло называет «волей к “тотальности”», — т.е.

¹ Пол Херст утверждает, что, поскольку Альтюссер описывает идеологические государственные аппараты как аппараты *государства*, «они объединены, несмотря на их очевидное и необходимое разнообразие, этой функцией и тем фактом, что все они репрезентируют идеологию правящего класса. Поэтому единство идеологических государственных аппаратов — это единство их функции и основания их функции, идеологии правящего класса и самого правящего класса. Государство в анализе Альтюссера может поэтому считаться объединенным функцией сохранения классового общества» (*Hirst P. Law and Ideology. London: Macmillan, 1979 P. 50*).

² *Jameson F. The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act. Ithaca: Cornell University Press, 1982. P. 30.*

это механизм, с помощью которого общество «стремится институировать себя как таковое при помощи ограничения, фиксации смысла, не-признания бесконечной игры различий»¹. Конкретная общественная формация, таким образом, может противостоять антагонистическому давлению внешних стимулов до тех пор, пока господствующий вымысел имеет адекватные либидинальные ресурсы и способен регулировать распределение этих ресурсов.

Хотя ни одна из областей общественной формации не в состоянии избежать дискурса, эта формация находится в постоянной осаде со стороны того, что находится вне дискурса, — биологии, экологии и того, что здесь будет выступать как «история». Фредрик Джеймисон в «Политическом бессознательном» описывает историю как то, что «причиняет боль»; то, что «отказывает желанию и устанавливает пределы как индивидуальной, так и коллективной практике, чьи явные намерения «уловки» истории превращают в свою противоположность, зловещую и ироническую»². Следуя за этим довольно неортодоксальным положением Джеймисона, я буду определять историю как силу, способную разорвать ткань господствующего вымысла и тем самым нарушить его внутреннюю экономику. Короче говоря, я буду отождествлять ее с *травмой*.

Попытка Фрейда объяснить поведение страдающих от травм войны привела его к скандальной физиологической формулировке человеческой психики в работе «По ту сторону принципа удовольствия». И хотя для традиционного психоанализа эта формулировка, возможно, создает больше проблем, чем решает, она оказывается исключительно полезной как модель, концептуализирующая отношение между историей и господствующим вымыслом. Такое использование этой модели представляется оправданным не только благодаря тематическим сходствам между данной работой и «По ту сторону принципа удовольствия», но и благодаря их теоретической близости — общему для них предположению, что травма может быть лучше всего понята как нарушение порядка, который стремится к системному равновесию, силой, направленной на разрушение и дезинтеграцию.

Подобно описанной Фрейдом психике, общественная формация создает «защитный экран», с помощью которого она ограждает

¹ Laclau E. The Impossibility of Society // Canadian Journal of Political and Social Theory. 1983. Vol. 7. № 1/2. P. 24.

² Jameson F. Political Unconscious. P. 102.

себя от внешней стимуляции; иными словами, она создает господствующий вымысел. Этот защитный экран, или господствующий вымысел, артикулирует желания социума. В той степени, в которой индивидуальный субъект разделяет эти желания и инвестирует свою психическую энергию в необходимые репрезентации и повествования, господствующий вымысел (подобно защитному экрану в формулировке Фрейда) получает «собственный запас энергии» и может «оградить особенные, действующие в нем формы трансформации энергии от уравнивающего, следовательно, разрушающего влияния огромных энергий, действующих во внешнем мире»¹, — влияния, стремящегося к выравниванию энергетических уровней и тем самым — к разрушению. Иными словами, благодаря индивидуальным психическим инвестициям, господствующий вымысел сохраняет свою либидинальную экономику в неприкосновенности.

Защитный экран, или господствующий вымысел, также организует чувственное восприятие, превращая зрение и слух в аппараты для «восприятия определенных специфических эффектов стимуляции». Он подчиняет глаз и ухо особому зрительному и слуховому режиму; режиму, который определяет то, что может быть увидено и услышано, а также и более общую функцию, которую будут выполнять зрение и слух. Господствующий вымысел, таким образом, изолирует чувственные органы как от чрезмерного количества, так и от «неприемлемых видов» стимуляции. Отчасти он достигает этого с помощью таких защитных механизмов, как проекция, дезавуирование и фетишизм.

Однако доминирующий вымысел бессилен защитить отдельно-го субъекта или социальную формацию от любого стимула, достаточно сильного, чтобы пройти сквозь его стены и нарушить либидинальную экономику. История периодически прорывает границы господствующего вымысла, так же как испуг разбивает описанный Фрейдом защитный экран. Когда это происходит, социальная формация и ее субъекты оказываются переполнены возбуждением, которое они не могут ни игнорировать, ни ассимилировать и которое вызывает сильнейшее неудовольствие. Фрейд связывает такого рода ситуации с травмой:

¹ *Фрейд З.* По ту сторону принципа наслаждения // *Фрейд З.* Либидо. М., 1996. С. 159.

Внешние раздражения, которые обладают достаточной силой, чтобы пробить защитный покров, мы называем *травматическими*. Я думаю, что понятие травмы необходимо включает подобное соотношение с обычно действующей задержкой раздражения. Такое событие, как внешняя травма, конечно, вызовет огромное расстройство в функциях организма и приведет в действие все средства защиты. Но принцип наслаждения при этом выводится из действия. Нельзя больше задержать наводнение психического аппарата громадными количествами раздражения; теперь возникает другая задача — овладеть раздражениями, психически связать вторгшиеся раздражения с тем, чтобы далее привести их к изживанию¹.

Глагол «связать», конечно, имеет в работах Фрейда особый смысл. Он обозначает процесс установления языкового контроля над воспоминаниями, отличающимися высокой степенью аффективной и чувственной интенсивности, — воспоминания при этом связываются с означающими и, следовательно, приобретают смысл. Эта связующая операция полностью изменяет воспоминания² — было бы более правильным сказать, что на место первоначальных галлюцинаторных мнемонических следов ставится нечто иное. Это «нечто иное» представляет собой означаемое или, вернее, совокупность означаемых. Между глубоко аффективными и чувственными воспоминаниями и означаемым стоит момент абсолютной прерывности — момент вторжения означающего.

Однако история (по крайней мере, в том смысле, в котором она фигурирует в «Политическом бессознательном» и в данной работе) не может быть связана, она всегда отсутствует и не поддается репрезентации. То, над чем *может* быть установлен языковой контроль, — это травма, наносимая историей *внутри установленных систем репрезентации и означивания*; травма, которая переживается субъектом, чье чувство идентичности зависит от этих систем. История становится ощутимой в производимых ею кризисах и «вдохновляемых» ею изменениях в господствующем вымысле и общественной формации — кризисах и изменениях, преодолеваемых в конечном счете с помощью тех самых артикуляций, которые изначально сделали их доступными для мысли. Иными сло-

¹ Фрейд З. По ту сторону принципа наслаждения // Фрейд З. Либи́до. М., 1996. С. 160.

² Более полное обсуждение связывания см. в: *Laplanche J. Life and Death in Psycho-Analysis* / Trans. J. Muhlman. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1976.

вами, история доступна только через тексты, чья организация ей противоположна. История входит в область культуры на уровне озадаченного, т.е. на том самом уровне, функционированию которого она больше всего и угрожает.

Именно потому, что история угрожает означиванию, ее сила здесь так ощутима. Эта сила нарушает равновесие господствующего вымысла, вызывая временные несоответствия, а иногда и радикальные перемены в текстуальной практике. Как говорит Джеймсон, мы должны искать ее следы именно на уровне этих несоответствий, поскольку «отклонение отдельного текста от некой более глубокой нарративной структуры привлекает наше внимание к тем определяющим переменам в исторической ситуации, которые блокируют полное проявление или тиражирование самой этой структуры»¹.

Для «Лучших лет нашей жизни» история синонимична Второй мировой войне. Сама война, однако, нигде не изображается, она может быть прочитана только через свои последствия. Отсутствующие конечности, алкоголизм, навязчивые кошмары, безработица, женщины, бросающие семью, выведенные из строя бомбардировщики и клаустрофобия жизни маленького города — всему этому фильм придает первостепенное значение. Фильм также осознанно отклоняется от конвенциональных формальных стратегий тогдашнего Голливуда. Наконец, он не предпринимает никаких усилий по выстраиванию мужской субъективности в соответствии с фаллическими ценностями. Вместо этого он отождествляет главных мужских персонажей с хламом — с тем, что не может войти в состав господствующего вымысла. Фильм характеризуется тем, что Зигфрид Кракауэр назовет «идеологической усталостью» — потерей веры в семью, провинциальную жизнь и адекватность мужского субъекта:

Раньше персонажи такого рода редко встречались на экране. Лишенные видения, беззащитные перед произволом обстоятельств, бесчувственные даже в занятиях любовью, они плывут по течению в оцепенении, граничащем со ступором. ...Такое впечатление, что эти Невинные были изгнаны из своей зачарованной вселенной и столкнулись лицом к лицу с миром, как он есть на самом деле, —

¹ *Jameson F. Political Unconscious. P. 146.*

миром, совершенно равнодушным к их чистым мечтам и надеждам. Внешний вид демобилизованного солдата убеждает нас в том, что теперь это обычные люди, ошеломленные шоком возвращения к обыкновенной жизни¹.

«Лучшие годы нашей жизни» — один из тех фильмов, на материале которых Андре Базен разрабатывал свою мечту о реализме. Написанное им об Уайлере до известной степени напоминает то, что он пишет о Витторио Де Сика (Vittorio De Sica). В своем эссе о «Лучших годах нашей жизни», как и в эссе о «Похитителях велосипедов», он прославляет то, что можно назвать «аутентичностью» предфильмового события². Однако если реализм фильма Де Сика Базен объясняет прозрачным отражением этого предфильмового события, то реализм уайлеровского фильма он связывает с техническими сложностями, создаваемыми этим событием, — с тактическими проблемами, порожденными использованием декораций в натуральную величину и нетеатральным гримом:

Двигаясь от периферии к центру, я назову сначала реализм декораций, построенных полностью в натуральную величину (что, я подозреваю, усложнило съемку, поскольку стало необходимо поднимать «секции» для того, чтобы обеспечить камере нужную перспективу). Актеры были одеты точно в ту одежду, в которую были бы одеты их персонажи в реальной жизни, а их лица были загримированы не больше, чем в любом (реальном) городе. Без сомнения, это квазисуверенное, но скрупулезное внимание к бытовой достоверности крайне необычно для Голливуда, но его истинная важность заключается не столько в осязаемой убедительности для зрителя, сколько в разрывах, которое оно неизбежно привносит в мизансцену: освещение, угол съемки, инструкции актерам³.

Базен, таким образом, уравнивает реализм «Лучших лет нашей жизни» с его *травматическими* качествами — с его отклонениями

¹ *Kracauer S.* Those Movies With a Message // Harpers. June 1948. P. 572.

² *Bazin A.* What Is Cinema? Vol. 2. Berkeley: University of California Press, 1971. P. 60.

³ *Idem.* William Wyler ou le janseniste de la mise-en-scene», Qu'est-ce que le cinema?, I. Paris: Editions du cerf, 1957. P. 156. (Английский перевод см. в: *Williams Ch.* Realism and the Cinema: A Reader. London: Routledge & Kegan Paul, 1980. P. 40–41.)

от кинематографической практики, которая после потрясений 1940-х годов больше не способна пройти экзамен на репрезентацию. Разрыв фильма с формальными конвенциями Голливуда был мотивирован не только этими потрясениями; в фильме нашла свою «интерпретацию» и «часть того наводнения, циклона реалий, которые война выплеснула на мир»¹.

Уайлер также устанавливает интимную связь между историей и киноформой. Он отмечает не только то, что «картина вышла из этого исторического периода и стала результатом работы действовавших тогда общественных сил», но и то, что она «писалась событиями»², т.е. что ее создание происходило под принудительным воздействием внешних стимулов. Подобно Базену, Уайлер проводит четкое различие между своим собственным фильмом и конвенциональным голливудским кино. Для тех, кто видел трупы в Дахау, пишет он, Голливуд предстает не только «изолированным от основных течений нашего времени», но и «далеким от мира»³.

Сила событий, принудительно воздействовавших на «написание» «Лучших лет нашей жизни», проявляется отчасти в формальных маркерах (глубоком фокусе, длинных планах-эпизодах), отличающих эту работу от большинства голливудских фильмов данного периода. Она также проявляется в реалистической цели фильма — в его очевидном желании связать зрителя с «основными течениями нашего времени». Наконец, история проявляется в систематической демистификации «унаследованных традицией или священных повествовательных парадигм, присутствующих как изначальные данности», демистификации, которую Джеймсон связывает с «реалистической репрезентацией»⁴. (Спешу добавить, что я не пытаюсь возвысить реализм или приписать ему какую-то истинную ценность. Я также не хочу сказать, что длинный план-эпизод и глубокий фокус каким-то образом способны дать «больше», чем классический монтаж и традиционный фокус. Их историческая ценность заключена лишь в их отклонении от установленной нормы.)

¹ *Bazin A.* William Wyler ou le janseniste de la mise-en-scene. P. 155.

² *Wyler W.* No Magic Wand // *Hollywood Directors 1941–1976* / R. Koszarski (ed.). NY: Oxford University Press, 1977. P. 104.

³ *Ibid.* P. 116.

⁴ *Jameson F.* Political Unconscious. P. 152.

Наиболее систематично «Лучшие годы нашей жизни» демистифицируют те традиционные повествовательные парадигмы, которые служат конструированию адекватного мужского субъекта. Вместо того чтобы заставлять женского субъекта обнаруживать свою нехватку под взглядом своего сексуального другого, фильм постоянно призывает его с пониманием взглянуть на мужскую нехватку — признать и принять мужскую кастрацию. Фильм, таким образом, радикально реорганизует либидинальную экономику классического кино, экономику, организующую желания зрителя вокруг мазохизма женщин и великодушия мужчин¹.

Как я указывала выше, целый ряд фильмов этого периода также инвертируют классическую парадигму, но там эта инверсия в конечном счете оправдывается физической, психической или социальной реабилитацией травмированного мужского субъекта (даже «Гордость морской пехоты» — фильм необычно прямой в отношении слепоты героя — изображает в финале его начинающееся прозрение). Однако «Лучшие годы нашей жизни» не предлагают такого легкого решения; не оправдывается его отклонение от половой ортодоксии и обещанием, что целительное прикосновение женщины восстановит былое могущество раненого мужского субъекта. Вместо этого фильм связывает социальную и психическую отчужденность возвращающегося ветерана с идеологическим разоблачением — разоблачением, представленным как результат столкновения массы мужского населения со смертью и распадом (т.е. с силой, угрожающей всем формам социальной связности), с одной стороны, и как результат общественных противоречий послевоенной Америки — с другой.

Первая из многочисленных визуальных травм, которыми избилуют «Лучшие годы нашей жизни», происходит в военном аэропорте, где Эл (Фредерик Марч / Fredric March), Гомер (Гарольд Рассел / Harold Russell/) и Фред (Дана Эндрюс / Dana Andrews) ожидают рейса домой в Бун-Сити. Когда Гомер и Фред подходят к стойке, чтобы расписаться в списке пассажиров, Гомер обнажает свои скрытые до сих пор крюки-протезы. Фред и работник аэропорта обмениваются взглядами, выражающими шок от этих металлических орудий. Гомер снова обнажает свои крюки на борту

¹ Это определение классического кино было предложено Эндрю Тиндаллом (Andrew Tynndall) в контексте общей дискуссии на конференции Истории кино / практики кино в Университете Висконсин-Милуоки в 1982 году.

самолета, когда предлагает сигареты и спички Элу и Фреду. И хотя на этот раз реакция гораздо приглушеннее, Гомер почти сразу начинает говорить о том, как непросто ему будет вернуться без рук к своей семье и девушке (Кати О'Доннелл / Cathy O'Donnell). «Они не знают, как выглядят эти крюки», — говорит он. «Все будет в порядке, вот увидишь», — отвечает ему Эл с притворной уверенностью. «Ага, увидишь... — горько говорит Гомер. — Вильма еще ребенок. Она никогда не видела ничего похожего на эти крюки».

Гомер артикулирует здесь тематику своей ампутации — тематику невыносимого различия, доступного взору, различия, которое позиционирует его носителя одновременно и как неполноценного, и как иного, наделяя при этом нежелательным знанием того, кто смотрит. Крюки здесь функционируют во многом подобно женским гениталиям во фрейдовском описании дезавуирования¹ — они также свидетельствуют о невыносимом отсутствии или утрате. Уподобление изуродованных рук Гомера и женского тела с точки зрения классического психоаналитического объяснения полового различия становится еще более заметным, когда Гомер связывает визуальное неведение Вильмы с ее молодостью, воображая, что ее привязанность не вынесет тяжести подобного открытия. Фильм раз за разом настаивает на этом уподоблении, превращая зрелище гомеровских крюков (и более того, его культей) в нечто первичное и травматическое и подчеркивая, что для гражданских глаз он — «изуродованное создание».

Однако в первый и последний раз мы видим культ Гомера именно тогда, когда Вильма пылко обнимает его. Данный эпизод начинается с того, что Вильма поздно вечером приходит домой к Гомеру, который ужинает на кухне, и требует прояснить их отношения. Гомер сначала отказывается из чувства самозащиты, но затем позволяет ей пойти с ним в спальню и помочь ему раздеться. После того как ремни и крюки сняты, Гомер сравнивает себя с «ребенком, который, кроме плача, не знает, как добиться того, что он хочет», и отводит глаза, ожидая увидеть исполненный отвращения взгляд. Однако взгляд Вильмы выражает лишь нежность, и, когда она укладывает его в кровать — ритуал, который до этого

¹ О фрейдовском понятии дезавуирования (disavowal) см.: Freud S. Some Psychical Consequences of the Anatomical Distinction Between the Sexes // Freud S. The Standard Edition. Vol. 19. P. 248–258; Idem. Fetishism // The Standard Edition. Vol. 21 P. 152–157.

выполняли Пегги (Тереза Райт / Teresa Wright) с Фредом и Милли (Мирна Лой / Myrna Loy) с Элом, — влюбленные заключают друг друга в объятия.

Поскольку нехватка Гомера локализована на телесном уровне и проявляется в виде усеченных конечностей и физической беспомощности, она ставит его в положение, которое классическое кино обычно отводит женскому субъекту. Гомер не только является объектом испытующего общественного взгляда и вынужден объяснять свою внешность незнакомым людям за аптечным прилавком; само его раздевание становится поводом для интенсивной эротической инвестиции. В своем эссе, опубликованном в 1947 году, Роберт Воршоу отмечал сексуальную заряженность сцены, в которой Гомер открывает Вильме свои культы, объясняя эту заряженность «феминизацией»:

Он... потерял свои руки — и вместе с ними способность к сексуальной агрессии. ...Каждый вечер его жене придется укладывать его в постель, и именно ее руки должны быть задействованы в занятиях любовью. За пафосом этой сцены... ощущаешь поток возбуждения, в котором несчастье моряка становится своего рода осуществлением желания, похожим на переживаемое во сне: он *вынужден* быть пассивным, поэтому он может быть пассивным и не чувствовать вины¹.

Культы и крюки Гомера конституируют кризис не только зрения, но и репрезентации — кризис, вытекающий из сочетания документальных деталей со зрелищем мужской кастрации. Как отмечает сам Уайлер, решение снимать в роли искаленного моряка настоящего инвалида придало этому образу достоверность, которой он был бы иначе лишен. Тем самым предполагается, что зритель полнее обычного вовлекается во все визуальные трансакции, в которых фигурирует Гомер («мы хотели, чтобы сам Рассел, а не актер играл эту роль. Независимо от того, насколько хорошо актер может сыграть человека без рук, зритель сможет успокоить себя, сказав “это всего лишь кино”. Если Гомера играет Рассел, такое самоуспокоение невозможно»)¹. Воршоу делает сходное за-

¹ *Warshaw R. The Anatomy of Falsehood // The Immediate Experience: Movies, Comics, Theatre and Other Aspects of Popular Culture. Garden City: Doubleday, 1962. P. 112.*

мечание, но выражает при этом недовольство, что такой выбор актера придает фильму слишком много достоверности и стирает границу между кино и жизнью:

Все, связанное с морем, воздействует особенно сильно, поскольку его роль играет человек, действительно потерявший на войне обе руки. Такой выбор был, я полагаю, неизбежен, но это один из элементов, которые помогают картине выплеснуться в реальный мир, неся вместе с собой свою ложность².

Несмотря на разные оценки фильма, Уайлер и Воршоу согласны в том, что выбор Гарольда Рассела на роль Гомера Периша способствовал повышению правдоподобия. Здесь есть по крайней мере два важных вопроса: один из них относится к «впечатлению реальности», создаваемому классическим кино, а второй — к процессу дезавуирования, с помощью которого этот тип кино традиционно конституировал мужского субъекта. Двойная ампутация Гарольда Рассела не заставляет «картину выплеснуться в реальный мир», но действительно помещает образ рук Гомера Периша на отличный от остального фильма уровень репрезентации. Во всех остальных сценах, включая и те, где играет Рассел, присутствует измерение игры или симуляции, в которое не вписываются крюки и культы. Ранение Рассела «присутствует» не в большей степени, чем любое другое предфильмовое событие, оно, так же как и другие, записано, и его «развертывание» исключительно «вымышленное»³. Однако кинорепрезентация в этом случае оказывает сильное референциальное воздействие, как будто указывающее по ту сторону текста и игры Рассела — на его тело и на следы, оставленные на нем войной.

Из-за этого возникает своего рода удвоение веры, усиление того дезавуирования, которое Кристиан Метц (Christian Metz) и Жан-Луи Комолли (Jean-Louis Comolli) отождествляют с кинематографическим опытом. Образ культей и крюков Рассела работает на дальнейшую минимизацию «разрыва, который призвано заполнить зрительское “да, я знаю, но все равно”»⁴. Отрицая кинематографическое означающее, этот образ еще более резко, чем обыч-

¹ Wyler W. No Magic Wand. P. 107.

² Warshow R. The Anatomy of Falsehood. P. 111.

³ Metz C. Imaginary Signifier. P. 43.

⁴ Comolli J.-L. Machines of the Visible // The Cinematic Apparatus / T. de Lauretis, S. Heath (eds.). NY: St. Martin's Press, 1980. P. 133.

но, смещает само зрелище в сторону референта или объекта. При этом то, что стало в «Лучших годах нашей жизни» «настоящей вещью», то, что провоцирует репрезентационный «крен» в сторону предфильмового события — это именно то, что классическое кино обычно пытается изо всех сил отрицать. Мужская нехватка — вот против чего это кино выстраивает свои защитные механизмы проекции, дезавуирования и фетишизма. Схлопывание полюсов веры и неверия вокруг кастрации мужского субъекта — это, возможно, самый травматичный аспект крайне травматичного фильма Уайлера.

Гомер — не единственный экспонат мужской ущербности в «Лучших годах нашей жизни». Кастрация Фреда также постоянно выставляется на всеобщее обозрение, особенно после того как он снимает форму военно-воздушных сил. Когда на следующий день после своего возвращения в Бун-Сити ему в конце концов удастся разыскать свою жену (Вирджиния Майо / Virginia Mayo), та восторженно приветствует его, восхищаясь нашивками, украшающими его грудь. В самом деле, она реагирует на него как на *зрелище* — как на блестящий образ героя. «Проходи, дорогой, сюда, чтобы я могла на тебя посмотреть, — восклицает она. — О, *восхитительно!*» Однако, увидев его в гражданской одежде, она испытывает видимое отвращение, потрясенная его поношенным и немодным костюмом, ассоциирующимся с рабочим классом. Она буквально умоляет его переодеться назад в форму, с удовлетворением восклицая, когда он соглашается: «Теперь ты выглядишь чудесно... теперь ты выглядишь самим собой. ...теперь мы вернулись к нашему началу».

Вскоре Фред снова надевает гражданскую одежду, а когда ему приходится вернуться в аптекарский магазин, где он работал до войны, и надеть сначала белый халат продавца, а затем — торговца газированной водой, он представляет собой совсем уж жалкое зрелище. В единственном эпизоде, где мы видим его за работой в первом из этих качеств, маленький мальчик запускает игрушечный самолет в воздух над головой Фреда и делает вид, что стреляет в него. Самолет — ироническое напоминание о тех высотах, с которых упал Фред после своего возвращения. Шумно кружа вокруг косметического прилавка переполненного магазина, самолет также указывает на то, как идеология пытается излечить травмы истории через тривиализующую репрезентацию.

Женская рука поднимается в воздух и сажает кружащийся самолет. Камера показывает Пегги, владелицу руки, которая тихо стояла за кадром и наблюдала за этой маленькой драмой. Выраже-

ние ее лица, отражающее одновременно сочувствие и смущение, свидетельствует о том, что она поняла всю многосоставную сложность сцены. Женский субъект снова наделяется привилегированным доступом к зрелищу мужской нехватки. Здесь, как и в ночной беседе между Вильмой и Гомером, зрелище очень эротизировано, буквально пропитано женским желанием. В тот же день Пегги рассказывает своим родителям, Элу и Милли, о своем намерении разрушить брак Фреда и Мари, обнаруживая тем свою инвестированность не только в бывшего бомбардира, но и в дезинтеграцию, которую тот все больше олицетворяет.

Пегги знакомится с Фредом в ночь его возвращения в Бун-Сити, когда они оба оказываются в баре Бутча. Поскольку ночевать Фреду негде, семья Стивенсонов берет его к себе домой, и Пегги уступает ему свою постель. Разбуженная среди ночи криками Фреда, она идет в спальню и спасает его от повторяющегося кошмара о горящем самолете — кошмара, воспроизводящего его самое тяжелое военное переживание. Когда она входит, Фред прямо сидит на кровати с широко открытыми глазами. Немедленная реакция Пегги — закрыть его глаза, как бы защищая его от невыносимого зрелища, — жест, который снова локализует его на стороне зрелища. Затем она убеждает его лечь и вытирает его лицо салфеткой, шепча «Спи, спи». Пегги ухаживает за Фредом с еще более страстной нежностью, чем та, с которой Вильма смотрит на изуродованное тело Гомера. Ее желание Фреда может быть возведено к этому моменту раскрытия.

Совершенно другое отношение к «отличию» Фреда характерно для Мари. Она стыдится его кошмаров, рассматривая их как симптом психической ненормальности и социального неуспеха. Кошмары дополнительно подтверждают то, что она и так уже подозревает: Фред был «заражен» силой, противоположной тем «хорошим временам», к которым она стремится. «У тебя с головой все в порядке? — спрашивает она раздраженно. — Ты что, не можешь выбросить это все из головы? Может быть, именно это сдерживает тебя. Ты знаешь, война закончилась. Пока ты не перестанешь думать о ней, ты далеко не уйдешь. Давай, заканчивай все это!» (Фильм здесь иронически вверяет Мари самую четкую артикуляцию дисфункции, которая возникает, когда история захлестывает доминирующий вымысел и его субъектов огромными дозами внешней стимуляции. Война действительно проникла в психическую систему Фреда, и эта травма еще не была «связана».)

Когда Фреда уволили из магазина из-за драки, а Мари заявляет, что хочет развода, он решает покинуть Бун-Сити. По дороге к военному аэродрому он заходит в лачугу своего отца, чтобы забрать одежду, которую постирала для него Гортензия. Находясь там, он выбрасывает несколько военных сувениров, в том числе почетную грамоту за выдающийся полет. Эти когда-то с трудом полученные вещи стали хламом, они свидетельствуют об опыте, который не только не сочетается с *правдоподобным*, но и угрожает его позитивности. После того как Фред уходит, его отец поднимает грамоту дрожащими руками и читает вслух фрагмент из нее. Фрагмент представляет собой рассказ о чистой негативности, о влечении к смерти, направленном как на врага, так и на самого себя:

Несмотря на сильную боль, шок и потерю крови, полностью пренебрегая собственной безопасностью, капитан Дерри прополз назад к бомбовой позиции, задал своему отделению оптимальную траекторию над целью и сбросил бомбу с высокой точностью. Героизм, преданность долгу, профессиональный навык и хладнокровие под огнем, проявленные капитаном Дерри в тяжелейших условиях, делают честь ему самому и вооруженным силам Соединенных Штатов Америки.

Непосредственно перед чтением грамоты мы видим, как Фред приезжает на военный аэродром, собираясь улететь из Бун-Сити. Когда его спрашивают, хочет ли он лететь на восток или на запад, он отвечает, что это не имеет значения. Поскольку война захватила его бессознательное, его неприкаянность будет одинаково острой, куда бы он ни поехал.

В ожидании ближайшего самолета Фред идет по полю, уставленному сотнями бомбардировщиков времен Второй мировой войны. У всех самолетов демонтированы двигатели и пропеллеры, их ждет сдача в металлолом. Подобно Гомеру и Фреду, они искалечены и не нужны — «хлам», который должен быть выброшен, потому что он «ускользает от социальной рациональности, логического порядка, на котором основывается общественное целое»¹. Фред забирается в один из самолетов и пробирается сквозь мусор и пыль к месту бомбометателя. Следующий кадр, снятый снаружи

¹ Kristeva J. Powers of Horror: An Essay on Abjection / Trans. L.S. Roudiez. NY: Columbia University Press, 1982. P. 65.

самолета, показывает Фреда снизу, среднекрупным планом сквозь плексигласовое стекло. Фред смотрит направо от зрителя, и камера следует за его взглядом к внешнему обтекателю одного из двигателей. Затем камера панорамирует поверхность бомбардировщика, на мгновение останавливаясь на каждом из трех остальных обтекателей, как бы подчеркивая готовность к взлету. Третий внешний кадр представляет собой быстрый наезд на нос самолета, после чего камера слегка наклоняется, показывая Фреда, по-прежнему неподвижно сидящего за стеклом. Два последних внешних кадра содержат в себе противоречия, поскольку отрицают то, что одновременно утверждают. В первом из них отсутствие двигателей и пропеллеров выдает музыкальное сопровождение, напоминающее звук взлета. Во втором кадре низкое положение камеры и ее приближение симулируют движение самолета, готовящегося к полету, в то время как образ искаленного В-17 свидетельствует о невозможности подобного события.

Это исключительное дезавуирование не столько скрывает нехватку, сколько доводит негативность до предела. Когда Фред воображает себя в воздухе, снова выполняющим задание по бомбардировке, он взрывает *правдоподобное*. В этот момент он ускользает от социальной рациональности, выбирая не-эго вместо эго, угрожающий внешний мир — вместо гармонического внутреннего, смерть — вместо жизни¹. Фильм подчеркивает эту негативность формальными средствами через описанные выше противоречия. Когда фильм сталкивает звук с образом или угол съемки и движение камеры с иконическим значением, он также инвестируется в хлам, предпочитая выпадающее за пределами социального поля тому, что остается внутри.

В снятом снаружи ближнем плане носа бомбардировщика, которым завершается сцена, лицо Фреда кажется утратившим всякую устойчивость и слившимся с плексигласовым стеклом. И хотя его вызывает обратно к жизни и труду работник свалки, на самом деле он никогда не покидает этот склад металлолома. В последней сцене фильма, где Пегги встречается с Фредом на свадьбе Гомера и замечает, что слышала, что он работает «в каком-то строительном

¹ Крестева говорит об «экскрементах и их эквивалентах (гниении, инфекции, болезни, труп и т.д.)» как об «угрозе идентичности, приходящей извне: угроза эго — не-эго, угроза обществу — то, что расположено вне эго, угроза жизни — смерть» (*Kristeva J. Powers of Horror. P. 71*).

бизнесе», он отвечает: «Это определение оптимиста. На самом деле я работаю на свалке — занятие, для которого, говорят, я прекрасно подхожу по темпераменту и подготовке. Это захватывающая работа». Более того, когда в самом конце фильма Фред делает Пегги предложение, он формулирует его исключительно через описание собственной нехватки: «Ты же знаешь, чего от меня ждать, правда, Пегги? На то, чтобы продвинуться куда-либо, у нас уйдут годы. У нас не будет денег, не будет жилья. Нам придется работать... нас будут пинать все кому не лень».

«Лучшие годы нашей жизни» заканчиваются одной свадьбой и обещанием другой. Однако эти свадьбы не имеют обычной метафорической ценности. Вместо того чтобы утверждать культурный порядок, они еще больше драматизируют (и эротизируют) мужскую кастрацию. Кроме того, две пары влюбленных остаются в высшей степени одинокими в центре подчеркнуто общественной церемонии, и эта изоляция указывает на их изолированность не только от своих семей и соседей, но и от господствующего вымысла.

Когда Гомер надевает кольцо на палец Вильмы, а она с любовью кладет свою руку на холодный металл крюков, окружающие отшатываются от подчеркнуто неестественного зрелища. Соприкосновение плоти и стали производит еще один кризис зрения, вызывая страх, тревогу и боль. Эл, стоящий в центре кадра на заднем плане, крепко сжимает руку Милли — жест, свидетельствующий не только о напряженности в комнате, но и о трудностях его собственного брака и его едва сдерживаемом желании разорвать фаллический контракт.

В левой части кадра происходит еще один визуальный обмен, не замечаемый никем из участников сцены. Фред (на среднекрупном плане) смотрит на Пегги (на дальнем плане), и она возвращает его взгляд. Это визуальное взаимодействие резонирует с аффектом, производимым «главным событием», — замещение, мотивированное отчасти близостью Фреда к Гомеру, его статусом шафера на свадьбе, а отчасти — знанием Пегги о том, что и Фред отмечен кастрацией. Поскольку Фред и Пегги осуществляют свое визуальное воссоединение во время чтения брачных клятв, эти клятвы также несут двойную функцию, связывая их вместе в предчувствии целуя и декларации нехватки, которые не заставят себя ждать.

Два типа критических отзывов о «Лучших днях нашей жизни» заслуживают нашего внимания, потому что они очень сильно приближаются к описанной Фрейдом реакции мужского субъекта на

вид женских гениталий¹. Одна группа отзывов дезавуирует выставленную напоказ мужскую кастрацию, настаивая на том, что фильм соответствует классической парадигме. Так, Роджер Манвелл доказывает сильным, но неназванным оппонентам, что фильм «непреклонно поддерживает святую стабильность дома и семьи и даже... свободное предпринимательство и преимущества большого бизнеса»², в то время как Майкл Вуд характеризует его как «уклончивую и уютную сказку»³. Отзывы другой группы признают не только негативность фильма, но и его сфокусированность на мужской субъективности. Однако их защита от неприятного зрелища строится с помощью морального осуждения: изувеченные создания, населяющие «Лучшие годы нашей жизни», вызывают их отвращение. Кракауэр, например, обнаруживает в фильме Уайлера «обычного человека, не желающего прислушаться к голосу разума и либерала, не способного прорвать эмоциональную блокаду вокруг себя»⁴. Сходным образом Воршоу пишет, что «сексуальные отношения героев представляют собой необычайно четкую проекцию известной голливудской (и американской) мечты о мужской пассивности. Мужчины нелепы, нервны, невразумительны и по-детски упрямые»⁵.

Выбор слова «проекция» в выводе Воршоу весьма значим для нашей дискуссии; одно использование этого термина прямо противоречит употреблению, о котором я упомянула выше и которое я подробно обсуждаю в другой работе⁶. Воршоу ассоциирует проекцию с голливудским конструированием *мужского*, а не *женского* субъекта и наделяет первого качествами, обыкновенно связываемыми со вторым. Более того, Воршоу представляет «Лучшие годы нашей жизни» как типичный пример голливудского кино, а не как текст, порывающий в ряде ключевых моментов с нормативной моделью. В конечном итоге эта странная логика указывает на его признание нехватки, которая продолжает мучить мужского субъекта классического кино, несмотря на все многочисленные проекции и дезавуирования, что были призваны на защиту от этой нехватки, — признание, к которому его вынудили «Лучшие

¹ Freud S. Some Psychical Consequences P. 252.

² Manvell R. Films and the Second World War. NY: Dell, 1974. P. 248.

³ Wood M. America in the Movies, or Santa Maria, It had Slipped My Mind. NY: Basic Books, 1975. P. 119.

⁴ Kracauer S. Those Movies With a Message. P. 571.

⁵ Warshow R. Anatomy of Falsehood. P. 112.

⁶ См. мою работу «Lost Objects and Mistaken Subjects».

годы нашей жизни» и которому он противопоставляет огульное обвинение Голливуда.

Если бы позволяло место, я бы обсудила здесь два других фильма военного периода: «Вина Жанет Амес» (Генри Левин / Henry Levin, 1947) и «Жизнь прекрасна» (Франк Капра / Frank Capra, 1946)¹. Первый из этих фильмов призывает женщину-зрителя взглянуть на мужского субъекта с помощью своего «воображения», а не глаз, чтобы дезавуировать свое знание о его нехватке, и «поверить», что пенис — это и есть фаллос. Второй фильм свидетельствует не только о мужской кастрации, но и о мужском мазохизме. Взятые вместе, «Лучшие годы нашей жизни», «Вина Жанет Амес» и «Жизнь прекрасна» убедительно демонстрируют, что фаллос — это всегда продукт господствующего вымысла. Когда этот вымысел оказывается не в состоянии справиться с раздражающим воздействием исторической травмы, мужской субъект больше не может найти себя в его идеализирующей конфигурации. Я сосредоточилась здесь на фильме Уайлера не только потому, что он выворачивает наизнанку визуальный режим классического кино (режим, зависящий от женской кастрации), но и потому, что он откровенно эротизирует мужскую нехватку. Более того, в отличие от других картин, с которыми он может быть объединен в одну группу, фильм «Лучшие годы нашей жизни» не предпринимает попытки нейтрализовать высвобождаемую в нем негативность и ни в коей мере не облегчает фаллическую идентификацию ни для мужских персонажей, ни для мужской аудитории. В нем самом «бушует» нечто вроде «наводнения» или «циклона» войны.

¹ Более подробную версию настоящего эссе, включающую обсуждение «Вины Жанет Амес» и «Жизнь прекрасна», см.: *Silverman K. Male Subjectivity at the Margins. London: Routledge, 1992.*

Марк Липовецкий

«И пустое место для ОСТАЛЬНЫХ»:

травма и поэтика метапрозы
в «Египетской марке» О. Мандельштама

I

Вопрос об оформлении исторической травмы, в принципе противостоящей артикуляции, приобретает особое значение в поэтике модернизма, и русского модернизма в особенности. В сущности, сама эта поэтика была не только реакцией на случившиеся революции, войны, кампании террора и насилия. Травма, отпечатавшаяся в модернистских текстах, была во многом кассандровой — поскольку вызвавшие ее катаклизмы были если не желанны для многих лидеров модернизма, то по крайней мере накликаны словами одних из них и оформлены словами других. Отсюда невероятно продуктивная связь между травмой и эстетической рефлексией на темы страшной и непредсказуемой власти языка и власти над языком, присвоенной писателем-модернистом.

Мое предположение состоит в том, что так называемая металитературная или метапрозаическая поэтика, постоянная саморефлексия модернистского письма, проникающая чуть ли не в каждый сколько-нибудь значительный текст модернизма / постмодернизма с 1920-х по 1990-е годы, в немалой степени воплощают собой именно след травмы, более или менее сознательно воспринимаемой как принципиально отсутствующий *источник современного дискурса*. Именно ощущение невозможности отделить письмо от травмы и вызывает свойственное литературе как 1920–1930-х, так и 1960–1980-х годов неприятие традиционных («дотравменных») форм письма — «нормального» романа, рассказа, повести. (Параллельно развивается ностальгия по этим формам — особенно ост-

ро подчеркивающая их недостижимость.) В свою очередь, невозможность артикулировать травму и превращает метапрозаическое говорение о том, как пишется (или не пишется) данный, разворачивающийся перед читателем текст, в неразрешимую, а оттого константную тему модернистского и постмодернистского письма.

Центральной характеристикой травматического сознания становится принципиальная невыразимость травматического опыта:

Начиная с самых ранних работ о травме множество определений и описаний варьирует радикальное противоречие, лежащее в ее основе: в то время как травматические образы сохраняют поразительную точность, они останутся в большой мере недоступными для сознательного воспоминания и контроля... В травме способность восстанавливать прошлое оказывается тесно и парадоксальным образом связанной с недоступностью этого прошлого... История, сохраненная травматическими вспышками, — как предполагают психиатрия, психоанализ и нейробиология — это история, у которой буквально *нет места*: ни в прошлом, в котором она не была в полной мере пережита, ни в настоящем, в котором ее точные образы не поддаются пониманию... Травматический след, таким образом, передает как *правду о событии, так и правду о непостижимости этого события*¹.

Характеристики метапрозы строятся на тех же противоречиях, что и характеристики травмы. В сущности, метапрозаическая поэтика и формируется как язык, выражающий именно тупики репрезентации опыта. Так, например, П. Во, известный теоретик металитературы, утверждает:

Металитература остро осознает базовую дилемму: если писатель берется репрезентировать мир, к нему или к ней довольно скоро приходит понимание того обстоятельства, что мир как таковой не может быть «репрезентирован». ...Метапрозаические романы, как правило, строятся на принципе фундаментальной и «подвешенной» оппозиции: конструирование беллетристической иллюзии (как в традиционном реализме) и обнажение этой самой иллю-

¹ Caruth C. Recapturing the Past: Introduction // Trauma: Explorations in Memory / C. Caruth (ed.). Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1995. P. 151, 152, 153.

зии — разворачиваются одновременно... Оба процесса напряженно соотнесены друг с другом, и это формальное напряжение размывает различие между беллетристикой и критикой и преобразует вымысел в интерпретацию, а оценку — в деконструкцию¹.

Больше того, как показывает исторический анализ русской метапрозы², обращение к металитературным формам связано как раз с невозможностью выразить травматический опыт XX века посредством связанных нарративных конструкций. Показательно, что, например, в русской литературе до революции с металитературной эстетикой начинал экспериментировать лишь В. Розанов. Зато после революции металитературность проникает собой творчество писателей самых разных поколений и эстетических пристрастий: от М. Горького, А. Ремизова, Г. Иванова («Распад атома»), М. Кузмина («Форель разбивает лед») до В. Шкловского, Л. Леонова («Вор»), К. Вагинова, Д. Хармса, С. Кржижановского, М. Зощенко («Возвращенная молодость»), вплоть до классики русского «высокого модернизма»: романов В. Набокова, «Мастера и Маргариты», «Доктора Живаго». Именно на этой почве в 1970–1980-х годах формируется и канон позднемодернистской и постмодернистской метапрозы (Вен. Ерофеев, А. Битов, С. Соколов).

При этом, разумеется, не стоит ограничивать источник травмы опытом революции и советской повседневности (хотя, конечно, во многих случаях так оно и бывает). В конце концов, сам научный дискурс травмы рождается из начатых З. Фрейдом исследований неврозов ветеранов Первой мировой войны, и распространение этого научного сюжета предполагает глубинные связи между травмой и культурным опытом модерности в целом, а не только между травмой и конкретными проявлениями модерности. Например, обращают на себя внимание отмеченные еще Фрейдом навязчивые повторения одних и тех же образов, характеризующие травматические кошмары и воспоминания, с философией вечного возвращения Ницше, а также с представлениями о «механической репродукции» и об исчезновении индивидуальной, неповторимой ауры в концепции модерности В. Беньямина.

¹ *Waugh P.* Metafiction: The Theory and Practice of Self-Conscious Fiction. London: Routledge, 1984. P. 43.

² См., например: *Сегал Д.М.* Литература как охранная грамота // *Slavica Hierosolymitana*. 1981. Vol. 5/6. P. 151–244.

Связь между металитературной поэтикой и травмой я постараюсь продемонстрировать на примере повести О.Э. Мандельштама «Египетская марка» (1927), в которой травматический опыт террора и революции, пожалуй, наиболее непосредственно соотнесен с метапрозаической авторефлексией. Что именно является источником травмы, отпечатавшейся в повести, — это вопрос, на который можно ответить, только проанализировав текст Мандельштама. Но достаточно очевидна связь между «Египетской маркой» и интерпретацией революции 1917 года (еще даже не Октябрьской!) как травмы. Недаром повесть написана одновременно с широко праздновавшейся годовщиной Октября и наполнена прямыми отсылками к «исходному» историческому моменту: «Стояло лето Керенского и заседало лимонадное правительство»¹, «Невский в семнадцатом году — это казачья сотня в заломленных синих фуражках, с лицами, повернутыми посолонь, как одинаковые косые полтинники» (494).

Известна резко негативная реакция Марины Цветаевой на предшествующий «Египетской марке» прозаический текст Мандельштама, в котором — впрочем, весьма несправедливо и безосновательно — Цветаева усмотрела коллаборационизм автора с революционной властью: «Дело Мандельштама было всенародно и громкогласно отречься от себя “православного”, “империалиста”, “эсера”, “эллиниста”, принести Революции полную и громкую повинную... “Шум времени” — подарок Мандельштама властям»². В известной степени «Египетская марка» представляет собой ответ на эти обвинения³. Мандельштам прямо обсуждает отношения между своим прежним и нынешним, постреволюционным Я в терминах смерти и посмертного существования. Показательно, что он даже создает своего двойника, Парнока — «Господи! Не сделай меня похожим на Парнока! Дай мне силы отличить себя от него» (481), — который, собственно, и становится свидетелем и

¹ Мандельштам О.М. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2 / Сост. П. Нерлер, А. Никитаев. М.: Арт-Центр. 1993. С. 473. Все цитаты из повести приведены по указанному изданию в тексте в скобках.

² Цветаева М.И. Мой ответ Осипу Мандельштаму // Цветаева М.И. Собр. соч.: В 7 т. Т. 5 / Сост., подгот. текста и коммент. А. Саакянц и Л. Мнухиной. М.: Эллис-Лак, 1994. С. 313–314.

³ Эту гипотезу с совершенно иной точки зрения отстаивает и Л. Кацис в своей работе «Осип Мандельштам: мускус иудейства» (М.: Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим, 2002. С. 273, 287–386).

аккумулятором травматического опыта. «Египетская марка» — это повесть не только о смерти, но и об ужасе существования после собственной, символически репрезентированной смерти, в чем, собственно, и состоит посттравматический синдром: «для переживших травму, не только травматическое событие, но и жизнь после него травматичны; ...иначе говоря, *само выживание может стать кризисом*»¹.

В то же время «Египетская марка» — как будет показано ниже — не столько обсуждает, сколько демонстрирует преодоление травмы посредством экспериментальной, нелинейной поэтики, сплошь состоящей из «бессвязностей и разрывов». В «Египетской марке» поэтика *данного*, разворачивающегося на наших глазах текста превращается в метод *проживания сквозь* травму, этим текстом запечатленную. Такое превращение возможно во многом благодаря металитературному переносу поэтики письма на философию существования и восприятию экзистенциального опыта как текстуального. Уже цитированная выше Патрисия Во так описывает этот принцип:

[Металитература] осознанно и систематически привлекает внимание к собственной искусственности для того, чтобы поставить вопрос об отношениях между вымыслом / литературой (fiction) и реальностью. Предлагая критический взгляд на собственно литературные конструкции, такие сочинения не только исследуют фундаментальные структуры литературного повествования, они также раскрывают фикциональность мира за пределами литературных текстов ...Поскольку наши представления о мире ныне понимаются как медиированные языком, постольку литературный вымысел (миры, созданные одним лишь языком) становятся полезной моделью для понимания того, как устроена сама «реальность»².

Наиболее последовательно взгляд на «Египетскую марку» как на металитературное произведение обоснован Ч. Айзенбергом:

Повествователь описывает ситуацию письма, свою собственную деятельность по созданию данного текста; конкретная репрезентация рукописи очерчивает рамку как отдельную сцену действия —

¹ Caruth C. Trauma and Experience: Introduction. P. 9.

² Waugh P. Metafiction. P. 40, 41.

даже если эта сцена, что показательно, представляет собой только листок бумаги, на котором черкает автор¹.

Все эти мотивы превращают нарратив «Египетской марки» в развернутую метафору незаконченного творческого процесса, и в то же время репрезентация незаконченности открывает повесть для противоположных и часто несовместимых читательских интерпретаций. Противоречивость, по мнению исследователя, становится кодом этого текста: вместо традиционного поиска примиряющей противоречия интерпретации читатель вынужден «принять возможность неразрешимых противоречий как единственный уместный взгляд на личность и ее литературные отражения»².

Естественно будет предположить, что металитературная поэтика формируется у Мандельштама в результате предпринятой в «Египетской марке» попытки последовательного осмысления истории как истории травмы. В таком случае именно травматическая невыразимость опыта исторической катастрофы претворяется Мандельштамом в основание новой художественной архитектуры, нового языка и, более того, нового — не столько *пост-*, сколько «внутритравматического» — типа культурного сознания.

II

Сама, небольшая по размеру, повесть Мандельштама откровенно сопротивляется фабульному прочтению: кажется, что ее стилистика нацелена на то, чтобы *скрыть*, а не раскрыть породившую этот текст травму. Можно выделить три основных «события» повести: две сюжетные ситуации, связанные с одеждой Парнока (визиткой и рубашками), и сцена казни «человечка» на Фонтанке.

Ситуации раздевания Парнока (одна — когда портной Мервис уносит у спящего Парнока взятую в кредит и не оплаченную визитку, чтобы в конце повести продать ее ротмистру Кржижановскому; другая — когда девушки из прачечной не отдают Парноку его рубашки, утверждая, что они принадлежат все тому же Кржижа-

¹ *Isenberg Ch.* Mandelstam's «Egipetskaia marka» as a Work in Progress // Столетие Мандельштама: Материалы симпозиума / Под ред. Р. Айзелвуда и Д. Майерс. Тенафли: Эрмитаж, 1994. С. 237.

² *Ibid.* С. 231.

новскому), безусловно, непосредственно перифразируют гоголевскую «Шинель»¹. Но не только ассоциации с гоголевским Акакием Акакиевичем придают зловещий оттенок этим на первый взгляд анекдотическим эпизодам. Примечательно, например, как начинающий и завершающий сюжетную часть повести рассказ о визитке сплетён с атрибутами смерти. Мервис сначала лишает Парнока «земной оболочки», разлучает его «с милой сестрой» (466). Когда же он относит визитку ротмистру Кржижановскому, то ассоциации со смертным обрядом прямо акцентированы: «Когда портной относит готовую работу, вы никогда не скажете, что на руках у него обнова. Чем-то он напоминает члена похоронного бюро, спешащего в дом, отмеченный Азраилом, с принадлежностями ритуала» (488). При этом сама визитка доставляется к ротмистру Кржижановскому «в белом саване и в черном коленкоре» (488). Раздевание Парнока, снятие с него «земной оболочки», таким образом, манифестирует символическую смерть героя — его погребение в небытие.

Непосредственно за эпизодом в прачечной следует третий — ключевой — эпизод повести: расправа над «человечком». Здесь смерть приобретает вполне предметное, а не только символическое измерение: «...ведем топить на Фонтанку, с живорыбного садка, одного человечка, за американские часы; за часы белого кондукторского серебра, за лотерейные часы» (476). Этот страшный эпизод также связывает Парнока с Кржижановским: пытаюсь спасти «человечка» от самосуда, Парнок натывается на Кржижановского, но тот отказывается вмешиваться: «Я уважаю момент, — холодно произнес колченогий ротмистр, — но извините, я с дамой, — и, ловко подхватив свою спутницу, брякнул шпорами и скрылся в кафэ» (477). Парнок же, мучаясь собственным бессилием, в то же время остро ощущает родство с жертвой самосуда: «Парнок бежал, пристукивая по торцам овечьими копытцами лакированных туфель. Больше всего на свете он боялся навлечь на себя немилость толпы» (477).

Отождествление с жертвой, с козлом отпущения (мотив, на который намекают «овечьи копытца»), с одной стороны, задано в начале повести автором, который представляет Парнока как *чело-*

¹ См.: Полякова С.В. «Шинель» Гоголя в «Египетской марке» Мандельштама // Слово и судьба: Осип Мандельштам. М.: Наука, 1991. С. 457–459.

вечка: «Жил в Петербурге человек, презираемый швейцарами и женщинами. Звали его Парнок. Ранней весной он выбегал на улицу и топтал по непросохшим тротуарам овечьими копытцами» (470). С другой стороны, Парнок и жертва самосуда уравниваются самим Кржижановским, шепчущим на ушко барышне (в которую, возможно, влюблен Парнок): «Скажу вам больше: сегодня на Фонтанке — не то он украл часы, не то у него украли. Мальчишка! Грязная история!» (485).

В то же время Кржижановский, которому достается все, отнятое у Парнока, и, в сущности, ради благополучия которого совершается жертвоприношение «человечка», явственно связан с символами государственного террора. Это о нем владелица прачечной с восторгом говорит: «То не жандарм, а настоящий поручик. Тот господин и скрывался всего три дня, а потом солдаты сами выбрали его в полковой комитет и на руках теперь носят» (475) — из чего, впрочем, следует, что он — бывший жандарм — оказывается в чести и у новой власти. Примечательно и анахроничное для лета 1917 года — но весьма многозначительное для 1927-го — упоминание о Гороховой, на которой происходит сцена самосуда¹, а затем — в последнем абзаце — сообщение о том, что ротмистр Кржижановский «в Москве остановился в гостинице “Селект” — очень хорошей гостинице на Малой Лубянке...»².

Сюжет «Египетской марки» многократно осложняется тем, что параллельно истории Парнока развивается суггестивный и бесфабульный нарратив Автора. Схождения и расхождения линий Парнока и Автора и формируют глубинную логику повести. Так, первая глава целиком отдана Парноку: здесь появляются воспоминания о детстве, в которые вплетаются повествование о смерти итальянской певицы и история о том, как Мервис уносит визитку спящего Парнока. Вторая глава уже соединяет портрет «человечка» Парнока, никогда не взрослеющего путаника, «человека Каменноостровского проспекта», мечтающего о месте драгомана, — с личным, от первого лица, воспоминанием о «маленьком человеке» Николае Давидовиче Шапиро. В третьей главе рассказывается о том, как Парнок лишился своих рубашек, — однако этот короткий эпизод

¹ На этой улице размещалось здание ЧК/ГПУ/НКВД в Петрограде/Ленинграде.

² Фамилию Кржижановский носил и начальник петроградской милиции в марте 1917 года (см.: *Сегал Д.М.* Литература как охранная грамота. Р. 202).

перебивается авторскими вторжениями: «Люблю зубных врачей за их идейный горизонт... А я бы раздал девушкам вместо утюгов скрипки Страдивари...» (473, 474). Четвертая глава — вся о самосуде, свидетелем и косвенной жертвой которого оказывается Парнок; но здесь же возникает и первая авторская «сцена письма» («Перо рисует усатую греческую красавицу...» — 478).

Только в пятой главе на первый план выходит именно авторский голос: здесь и вторая («Нотное письмо ласкает глаз не меньше, чем сама музыка слух...» — 480), и третья — главная! («Я не люблю бессвязности и разрывов...» — 482) — сцены письма; и уже цитированное «Господи! Не сделай меня похожим на Парнока» (481). Парноку в этой главе принадлежит лишь горестная сцена любовной (?) неудачи: «Он вспомнил свои бесславные победы, свои позорные randevu стояния на улицах, телефонные трубки в пивных, страшные, как рачья клешня... Номера ненужных, отгревших телефонов» (483). Упомянутая здесь же пролетка возникнет в следующей главе: на ней, уподобленной греческой колеснице, ротмистр Кржижановский унесет возлюбленную Парнока, попутно шепча гадости о поверженном сопернике в «преступное розовое ушко» (485); в ранней редакции упоминалось, что ротмистр едет в пролетке с «той самой девушкой, которая назначила свидание Парноку» (573).

В шестой главе поразительным образом исчезает какая-либо субъектная определенность: мертвенная белизна петербургских дворцов, воспоминание о страховом старичке Гешке Рабиновиче, усатой тишине еврейских кварталов и «мифе о разорении Пергамента», бетховенской глухоте ребенка, завернутого в тяжелые зимние доспехи, лесе вещей и «женщине-враче Страшунер» (489) написаны так, что могут принадлежать и автору, и Парноку. К ним обоим относятся и две ключевые фразы этой главы: «Петербург, ты отвечаешь за бедного твоего сына!» (486) и «Милости просим к нам на похороны».

Седьмая глава вся пронизана темами смерти, при этом точки зрения Парнока и автора ритмически чередуются: здесь визитка Парнока как умерщвленная душа («в белом саване и черном коленкоре») уносится Мервисом к Кржижановскому — но здесь же звучит описание Мервиса с точки зрения автора, и в этом описании Мервис сравнивается с греческим сатиром и русским каторжником; здесь говорится о том, что «книги тают... всякая вещь мне кажется книгой... Все тает. И Гете тает» (489); здесь Петербург упо-

добляется книга, «переплетенной в топоры» (489); здесь вновь упоминается смерть певичцы Бозио, причем ее агония сплетена воедино с пожаром. Однако особенно важны возникающие в этой главе авторские декларации о «настоящей правде» (489) и «птичьим оке, налитом кровью» (490), ведущие к парадоксальному: «Пожары и книги — это хорошо» (490).

Наконец, в последней, восьмой главе Парнок не возвращается домой, сливаясь с умирающим петербургским мифом, превращаясь в коллежского асессора, капитана Голядкина — и «последнего египтянина»:

— Глядите, что случилось со мной: я последний египтянин — я плакальщик, пестун, пластун — я маленький князь-раскоряка — я нищий Рамзес-кровопийца — я на севере стал ничем — от меня так мало осталось — извиняюсь!..

— Я князь невезенья — коллежский асессор из города Фив... Я безделища. Я — ничего. Вот попрошу у холерных гранитов на копейку — египетской каши, на копейку — девичьей шейки.

— Я ничего — заплачу — извиняюсь. (492)

М.Л. Гаспаров так комментирует этот фрагмент: «Самоуничтожение происходит как бы на глазах у читателя. В первом абзаце комар — маленький князь и нищий Рамзес, во втором — коллежский асессор, частица безликой массы... в третьем он просит только на поддержание жизни и продолжение рода... в четвертом он уже ничего не просит и готов платить только за свое существование»¹.

Показательно, что после этой символической смерти Парнока автор, проходя через пространство сна о городе Малинове — через пространство смерти, — обретает новое дыхание в финальной, развернутой на несколько страниц сцене письма: «Какое наслаждение для повествователя от третьего лица перейти к первому!» (494). Именно здесь прозвучат и рассуждения о «голубушке прозе», и определение жизни как «повести без фабулы и героя, сделанной из пустоты и стекла, из горячего лепета одних отступлений, из петербургского инфлуэнчного бреда» (493). Впрочем, и эта сцена, как будет показано ниже, вся пронизана мотивами страха, болезни и смерти. Неудивительно, что завершающий повесть

¹ Гаспаров М.Л. Две готики и два Египта в поэзии О. Мандельштама // Гаспаров М.Л. О русской поэзии. СПб.: Азбука, 2001. С. 290–291.

сегмент возвращает читателя к победителю Парнока — ротмистру Кржижановскому, который с визиткой Парнока и лучшими его рубашками приезжает в Москву, где ротмистра ждет шикарный номер в гостинице на Лубянке.

Вопрос о принципе, соотносящем сюжет Парнока с сюжетом Автора и вообще двух этих персонажей — друг с другом, разумеется, является ключевым для интерпретации повести. В критике практически общепризнанным является представление о Парноке как об экзистенциальном двойнике Автора, как о квинтэссенции его слабости, обреченности и, главное, еврейской изолированности от русской, советской, имперской, христианской (нужное подчеркнуть) версии «мировой культуры»¹. Наиболее резко эту точку зрения выразил С.С. Аверинцев:

Автобиографическая проза — порождение того самого *удушья*, которое ретроспективно отметит потом лирика: депрессивного переживания, промежутка. В нее как раз уходит все то, чему сопротивляется и что отторгает от себя мандельштамовский стих. Это не продолжение поэзии другими средствами, а отсасывание из открывшихся ран поэзии смертельных для нее ядов. И недаром Цветаева так ярилась на мемуарный (антимемуарный!) труд О.М.: пожалуй, у нее были к тому основания и помимо политики (а также свойственного ей отсутствия склонности к юмору). «Шум времени» (как и «Египетская марка») вправду содержит в себе некую (в контексте литературного пути О.М. — временную) капитуляцию, притом отнюдь не только «идеологическую»: предвещающая нынешний постмодернизм игра на понижение, банализация всех тем, усмешка. Но дело не только в этом. «Еврейская тема», как и вообще всякая постановка вопроса о собственной эмпирической идентичности («Парнок»), подсказывала ложный ответ на вопрос о главном, то есть о дистанции между *миром державным* (соответственно *мировой культурой*) и моим «я»: просто-де вот я по случайности *жидочек*, как О.М. называли в кругу символистов, *племя чужое*, Парнок, отщепенец, а вообще-то все идет, как шло. Нет, в том-то и дело, что ни для кого оно не идет, как шло, шиш. *Все уменьшается. И Гете тает...*²

¹ О еврейских контекстах «Египетской марки» см.: *Кацис Л.* Осип Мандельштам: мускус иудейства. С. 287—386.

² *Аверинцев С.С.* Так почему же все-таки Мандельштам? // Новый мир. 1998. № 6. С. 220.

С.С. Аверинцеву явно не нравится параллель между мандельштамовским Я и Парноком, между поэтическими поисками связей с христианской «мировой культурой» и еврейской отторженностью, между «универсалистским» величием поэзии Мандельштама и униженностью героя прозы. Примечательно также и то, что эта параллель оценивается ученым как перекликающаяся с постмодернизмом. При этом почему-то не принимается во внимание то обстоятельство, что рождающееся в «Египетской марке» новое понимание письма отзывается не только в постмодернизме, но и в позднем творчестве самого Мандельштама и что это понимание вырастает из выяснения отношений с Парноком — как с *травмированным Я*. Важно и то, что Аверинцев (как, впрочем, и — в зеркальном соотношении — Л. Кацис) склонен рассматривать «Египетскую марку» сквозь призму бинарной оппозиций христианства / иудаизма; русской имперской традиции / еврейства, тогда как сам Мандельштам *в самом названии повести* в качестве ключа к ее пониманию предлагает «третью» традицию — египетскую.

Как отмечал М.Л. Гаспаров, ранним Мандельштамом Египет воспринимался как «вещественный, приспособленный для человека, уютный и смешной» мир культуры¹. Однако начиная со статьи «Гуманизм и современность» (1923) Египет, наряду с Ассирией и Вавилоном, упоминается Мандельштамом исключительно в качестве модели репрессивной «социальной архитектуры», обращающейся с человеком как с «материалом, которого должно хватить, который должен быть доставлен в любых количествах»².

В «Египетской марке» оба значения египетской семантики встречаются, но и в «милом Египте вещей», и в ужасных собачьих головах убийц «человечка» отчетливо проступает отпечаток смерти. Египетская семантика в повести первоначально возникает в описании космополитического домашнего локуса — но уже здесь уютный мир соседствует с Валгаллой и сгоревшими Кокоревскими складами. Показательно и то, что детское прозвище Парнока «египетская марка» поставлено в один ряд с «овцой» и «лакированным копытом» — в ряд, который отсылает к античным архетипам

¹ В статье «О природе слова» (1921) поэт даже уподобляет эллинизм «могильной ладье египетских покойников» (ч. I, с. 231).

² См.: Гаспаров М.Л. Две готики и два Египта в поэзии О. Мандельштама. С. 283–291.

трагедии, окрашивающим египетский мотив светом грядущего жертвоприношения. Затем египетские образы появляются и в описании Петербурга («фиванские сфинксы» — 470, «фальшивый Египетский мост» в сцене самосуда — 477, «египетские телодвижения» эрмитажных полотеров — 479), воплощая «мертвый мир Египта... картину Петербурга, омертвелого, как Египет (даже лже-Египет)»¹. Эта картина находит свое завершение в апофеозе ничтожества, плаче «последнего египтянина» — комарика, еще одной ипостаси повествователя / Парнока. О чем свидетельствуют все эти параллели и пересечения?

По-видимому, о том, что в сюжете повести через эти мотивы, восходящие к древнеегипетской мифологии, разыгрывается смерть и воскресение субъекта травмы. Даже сцены из жизни Парнока представляются соотносимыми с росписью египетского некрополя в описании Б.А. Тураева². Парнок проходит через метафорически намеченные ритуалы смерти, признается «правогласным» — легким сердцем и обретает душу, а главное, голос — жизненную силу и гения-хранителя, Ка. Именно рождение Ка и оформляется в металитературной позиции Автора. Если состояние травмы начиная с Фрейда связывается с влечением к смерти, то Мандельштам — безусловно, следуя не рациональным, а интуитивным принципам, — доводит это влечение до *погружения в смерть*, репрезентированную знаками, позаимствованными из древнеегипетской мифологии, но, разумеется, не только ими. В «Египетской марке» лирический субъект сталкивается с Реальным — в том понимании, какое вкладывает в это понятие Ж. Лакан: как с радикальным отсутствием, провалом, онтологической дырой:

В реальном... субъект или поглощается, или преследуется взглядами и голосами, от которых нигде нет спасения. То чувство облегчения, которое человек испытывает при пробуждении от кошмара, связано с сознанием того, что (в отличие от психотика) он все-таки не провалился в хаос реального. Жить в качестве части

¹ Там же. С. 290.

² «Росписи эти, кроме орнамента и зауспокойных текстов, состояли из множества картин, представлявших погребенного с семьей за жертвенным и праздничным пиром или в обстановке земной жизни, за служебными и профессиональными занятиями, за традиционными развлечениями...» (Тураев Б.А. Древний Египет. Петроград: Огни, 1922. С. 108).

реального означает жить за пределами законов означения, позволяющих ре-презентировать себя *как будто бы* нерасщепленного субъекта¹.

Создав обреченного на гибель, на наших глазах проваливающегося в смертельную бездну Парнока, Мандельштам тем самым позволяет другой ипостаси лирического субъекта — Автору — *жить в Реальном*, вернее, жить в «хаосе реального». Парадоксальным образом это дарует и предельную свободу субъекту сознания, таким образом выведенному в «послесмертие», за пределы законов означения, и из персонажа превратившемся в Автора (Ка).

Именно полноценное символическое переживание смерти Парнока, вызванное испытанной им травмой, интерпретируется в «Египетской марке» как основа новой свободы и новой внутренней силы Автора. Причем авторский дискурс оказывается целиком и полностью укорененным в смерти и смертности своего «земного» двойника. Важно подчеркнуть, что голос Автора только в ограниченной степени противоположен Парноку («жидочку», травматическому субъекту). Куда в большей степени обретаемая Автором *потусторонняя*, по-смертная свобода *обеспечена* травмами Парнока и, главное, тем, *как* этот персонаж проходит через исторические травмы: теряя все, но не поддаваясь искушению убивать; становясь жертвой, но не примыкая к палачам — и тем самым сохраняя легкость сердца и, благодаря этому, обретая Ка. Больше того, именно Парнок становится знаком — египетской маркой — состоявшейся, посмертной метаморфозы.²

Но если такова общая символическая логика повести, то как она материализуется в ее сложной мотивной структуре? Как эта структура, в свою очередь, приводит к новой, металитературно оформленной концепции творчества? И как эта концепция фрагментарного, рваного, маргинального письма (творчества) соотносена с переживанием — проживанием! — травмы?

¹ *Ragland E.* Lacan, the Death Drive, and the Dream of the Burning Child // Death and Representation / S.W. Goodwin and E. Bronfen (ed.). Baltimore: John Hopkins UP, 1993. P. 97.

² Что, возможно, также подсказано книгой Тураева: «Изображение главных лиц в большом масштабе *даже напоминает прописные буквы в письме*» (Тураев Б.А. Древний Египет. С. 113).

III

Хотя травма не поддается связной артикуляции, всегда можно выделить образы, сцены, мотивы, наиболее прочно с ней ассоциируемые. В «Египетской марке» кульминационная сцена расправы над «человечком» в четвертой главе наиболее приближена к неартикулируемому «означаемому» травмы. Травма, запечатленная этим эпизодом, глубже, чем может показаться на первый взгляд. Как пишет Р. Жирар в книге «Козел отпущения», сцены коллективного наказания — акты насилия, осуществляемого толпой,

вне зависимости от того, какие события послужили толчком, всегда оставляют в тех, кто пережил эти ситуации, один и тот же след. Бесспорно сильнейшим оказывается ощущение *абсолютной потери социального порядка*, выражающееся в исчезновении тех правил и «различий», что определяют культурные границы... «все сокращается до крайности»... Культура погружается в затмение в тот момент, когда она становится менее дифференцированной¹.

«Страшный порядок, сковавший толпу», противоположен культуре именно потому, что исключает дифференциацию — исключает несогласие: «Тут была законом круговая порука... Стоило кому-нибудь самым робким восклицанием прийти на помощь обладателю злополучного воротника... как его самого взяли бы в переделку, объявили бы вне закона и втянули в пустое карэ. Тут работал бондарь-страх». Именно этот новый, недифференцированный порядок уравнивает толпу убийц и жертву: «Сказать, что на нем [человечке] не было лица? Нет, лицо на нем было, хотя лица в толпе не имеют значения, но живут самостоятельно одни затылки и уши. Шли плечи-вешалки, вздыбленные ватой, апраксинские пиджаки, богато осыпанные перхотью, раздражительные затылки и собачьи уши... Затылочные граждане, сохраняя церемониальный порядок... неумолимо продвигались к Фонтанке» (475, 476).

Точно так же исчезает и категория свидетеля, не-участника этой сцены: Парнок, *единственный*, кто пытается остановить самосуд, чувствует себя потенциальной жертвой; а все остальные — в пер-

¹ The Girard Reader // J.G. Williams (ed.). NY: A Crossroad Herder Book, 1996. P. 108, 109.

вую очередь вооруженный шашкой Кржижановский — оказываются соучастниками убийства.

Выход за пределы культурных различий передается постоянными зоологическими метафорами. На первый взгляд они придают сцене мифологический масштаб. Если образы людей с «собачьими ушами» ассоциируются с египетскими изображениями Анубиса, бога смерти и пустыни¹, то «человечья саранча», что «вычернила берега Фонтанки, облепила рыбный садок» (478), наводит на мысль об Апокалипсисе. Мифологический аспект этой сцены подкрепляется и упоминанием о «молитвенном шорохе» (475) толпы, ее «церемониальностью», сравнением с «шиитами в день Шахсе-Вахсе»². Но если перед нами религиозная процессия, то сакральным здесь стало насилие — «бондарь-страх», и именно это открытие свидетельствует о культурном коллапсе. Неслучайно зоологических образов в сцене самосуда явно больше, чем нужно: толпа сравнивается с пчелиным роем, а потом называется тараканьей («кусочки улицы, кишевшие тараканьей толпой, казались в них еще страшнее и мохнатее» — 477), а жертва уподобляется матке улья и одновременно жемчужине, окруженной моллюском. Еще одна свидетельница сцены — «молодая еврейка, прильнувшая к окну часовщика», названа «обсыпанной мукой капустницей» (476), а часовой механизм, в который смотрит еврей-часовщик на Гороховой, уподоблен козявкам (476). Даже бормашина (Парнок видит сцену из кабинета дантиста) сравнивается с хоботом (475) и усыпленной коброй (476). В этом ряду новое значение приобретают и «овечьи копытца лакированных туфель» Парнока (477). Человеческий мир культуры, вписанный в петербургскую топографию (Фонтанка, Гороховая, Египетский мост, угол Вознесенской) и, казалось бы, продолжающий выполнять свои цивилизационные функции (врач, часовщик, базар, театр, «рыбный садок, баржи с дровами, пристаньки, гранитные сходни и даже лодки ладожских гончаров» — 478), — внезапно превращается в *мир насекомых и животных* — то, что отделяет культуру от природы, исчезает на глазах.

¹ Ср. «Украшался отборной собачиной / Египтян государственный стыд, / Мертвецов наделял всякой всячиной / И торчит пустячком пирамид» («Чтоб приятель и ветра и капель...», 1937).

² Обряд массового самоистязания, который Мандельштам наблюдал в Тифлисе (см.: *Нерлер П.Н.* «Мне Тифлис горбатый снится...»: Осип Мандельштам и Грузия // *Заметки по еврейской истории.* 2005. Декабрь. № 12 (61); <http://berkovich-zametki.com/2005/Zametki/Nomer12/Nerler1.htm> 2005).

Вот почему в этой главе возникает другой образный ряд, выходящий за пределы культуры через *физиологически-болезненное* отвращение: «Они воняют кишечными пузырями, — подумал Парнок, и почему-то вспомнилось страшное слово “требуха”. И его слегка затошнило как бы от воспоминания о том, что на днях старушка в лавке спрашивала при нем “легкие”, — на самом же деле *от страшного порядка, сковавшего толпу*» (477); «Пуговицы делаются из крови животных!» (478). Мотив болезни усилен и образом аптечного телефона, пропитанного болезнью и убивающего голос:

Аптечные телефоны делаются из самого лучшего scarlatinowego дерева. Scarlatinowe дерево растет в клистирной роше и пахнет чернилами. Не говорите по телефону из петербургских аптек: трубка шелушится и голос обесцвечивается. Помните, что к Прозерпине и к Персефоне телефон еще не проведен (478).

В этом же ряду и уподобление государства как столпа исчезающего на глазах порядка — снулой рыбе: «...он звонил из аптеки, звонил в милицию, звонил правительству — исчезнувшему, уснувшему, как окунь, государству» (478). Физиологическое отвращение и мотив болезни явственно связывают эту сцену с бессознательным блоком, препятствующим возвращению в точку травмы. А фраза «Петербург объявил себя Нероном и был так мерзок, словно ел похлебку из раздавленных мух» (478) сводит оба ряда (мифологический и натуралистический) к формуле террора *как принципиального разрушения культурных различий*. В этой фразе неразличимыми оказываются пища и не пища (мухи / похлебка), современность и древность (Петербург / Рим) и, в конечном счете, великая культура и будничное насилие.

Как видим, происхождение травмы у Мандельштама далеко выходит за пределы собственно революционного потрясения насилием. Речь идет о *затмении культуры*, об исчезновении защитных механизмов, отделяющих человека от океана насилия и хаоса. Более того, речь идет о глубинном поражении культуры — культу которой Мандельштам посвятил всю свою жизнь: великая традиция на глазах вдруг оборачивается миражом, бессильной иллюзией, безразлично сметаемой толпой будничных убийц.

Запечатленный в этом эпизоде кризис вполне укладывается в характеристику *коллективной травмы*. К. Эриксон характеризует ее так:

Под *коллективной травмой*... я понимаю удар, нанесенный по основным тканям социальной жизни, который нарушает связи, соединяющие людей, и поражает доминирующее чувство социальной общности. Коллективная травма прокладывает себе дорогу медленно и даже коварно через сознания тех, кто перенес ее, и потому она лишена внезапности, обыкновенно ассоциируемой с «травмой». Но тем не менее она остается формой шока — ее формирует постепенное осознание того, что социальная общность (*community*) прекратила свое существование в качестве личностной поддержки, а также понимание того, что важная часть «Я» исчезла вместе с социальной общностью... «Я» продолжает существовать, хоть и надломленным и, может, даже навсегда изменившимся. «Вы» также продолжает существовать, хотя и на отдалении и вне соотносимости со мной (*hard to relate to*). Но «мы» более не существует ни как пара звеньев, ни как цепь элементов, включенных в большее коммунальное тело¹.

С этой точки зрения становится понятно, что мифологический сюжет повести разыгрывает именно коллизию коллективной травмы. «Социальное Я», умирающее вместе с распадом «мы», вместе с коллапсом *community*, — представлено историей Парнока и его символической смертью. Вместе с тем история Я, которое «продолжает существовать, хоть и надломленным и, может, даже навсегда изменившимся», воплощается в рождении Автора как посмертного двойника Парнока, как Ка Парнока, как его жизненной силы, обретшей свободу, хотя и лишившейся «социального тела». Примечательно и то, что эффект этой травмы становится виден Мандельштаму только через десять лет после революции: так как коллективная травма «лишена эффекта внезапности», временная дистанция становится принципиальным условием ее реализации.

Важно при этом подчеркнуть, что и *community*, и «мы» для Мандельштама (как и практически для всех акмеистов) соотносятся не столько с социальными телами, сколько с культурным мифом, с представлениями о культурной традиции, с кругом хранителей и «обновителей» культурных ценностей. В повести гибель «мы» (и вызванная ею символическая смерть Парнока) понимается как результат разрушения культурных общностей, воплощаемых преж-

¹ Erikson K. Everything in Its Path. NY: Simon and Schuster, 1976. P. 154.

де всего двумя мотивными ареалами: один представлен темами детства и еврейства, другой — Петербургом и «петербургским текстом» русской культуры.

Детские впечатления в «Египетской марке» на первый взгляд служат и для Парнока, и для Автора доказательством его / их кровного родства с жизнью и с миром в целом. Именно с детством связан образ идеальной полноты жизни, адекватной эстетическому переживанию. Не допущенный до эрмитажного «барбизонского завтрака» в пространстве Петербурга, повествователь восстанавливает «барбизонское воскресенье» в описании завтрака в детстве (глава четвертая). Неслучайно, возвращаясь сразу после этого описания в пугающую современность, герой не испытывает отчаяния: «И страшно жить, и хорошо! Он — лимонная косточка, брошенная в расщелину петербургского гранита, и выпьет его с черным турецким кофеом налетающая ночь» (479).

Домашний мир детства *вбирает* в себя важнейшие черты *мировой* культуры. В детской памяти Парнока пересекаются всемирная география («карта полушарий Ильина», в которой Парнок «черпал утешение») и домашняя, не менее глобальная история: «...в любой квартире на Каменоостровском время раскалывается на династии и столетия» (466). Уже в открывающем повесть описании «домашнего бессмертия» встречаются прислуга-полька, «китаец, обвешанный дамскими сумочками», «американская дуэль-кукушка», «венские стулья и голландские тарелки». По мнению Клэр Кавана, мир еврейского детства в «Египетской марке» выражает тот синтетический идеал культуры, сплетающей воедино иностранное и родное, современное и древнее, который всегда был связан для Мандельштама с Петербургом. Именно этот синтез и распадается, рассыпается в современном, пореволюционном Петербурге:

Рисуется мир, в котором вещи и люди разъединены и в котором евреи и художники в первую очередь становятся жертвой центробежных сил анархического века, недостижимого для целительной силы культуры. Центр перестал существовать, и призрачный Петербург Мандельштама потерял опору. Русская столица превращается в пустую оболочку, «торцовую книгу в каменном переплете с вырванной серединой»... В статье «О природе слова» Мандельштам прославлял синтетические качества русской культуры, позволяющие ей усваивать любые иностранные влияния, сохраняя при этом отчетливую русскость. Волшебный клей явно исчезает из мира

«Египетской марки», оставляя город, состоящий из чужеродных фрагментов, город без свойств¹.

Если мир детских воспоминаний обладает для автора и героя притягательностью теплого «неудавшегося домашнего бессмертия», то мир Петербурга — строится на сочетании *бессмертного* искусства и изначальной трагической *гибельности*. Постоянными эквивалентами Петербурга у Мандельштама выступают Книга (включая атрибуты литературности и письма) и Театр. Литературность Петербурга, конечно, передана через густую сеть интертекстов, отсылающих в первую очередь к Гоголю и Достоевскому (этот аспект подробно изучен в работах о повести). Именно в свете этих ассоциаций Петербург видится Мандельштаму «мерзлой книгой, переплетенной в топоры» (489), «торцовой книгой в каменном переплете с вырванной серединой» (491). Но даже в этих образах Петербургский текст либо замешан на насилии (переплетен в топоры), либо стал объектом насилия. Не менее родной и значительный, чем «детский мир», Петербург постоянно отгалкивает, унижает и ранит: он с самого начала пронизан опытом и обещанием травмы.

Так, театр, и в особенности балет, и Парнок, и Автор воспринимают как сердцевину петербургской цивилизации. Характерно, что мотивы театра перекликаются с темами детства: «Сморозинные улыбки балерин... музыканты перепутались, как дриады, ветвями, корнями и смычками... — Моложавая бабушка Жизели разливает молоко — должно быть, миндальное» (485). Но, несмотря на это, театр *непрерывно* соотношен со смертью. В пятой главе Автор восклицает: «Ведь и театр мне страшен, как курная изба, где совершается зверское убийство ради полушубка и валяных сапог» (481). Страх в этом описании сопряжен со смертью и насилием и потому создает неожиданный контакт между петербургским балетом и «страшным порядком», «страхом-бондарем» в сцене самосуда. Крайне интересны в этом плане и как будто бессвязные театральные реплики, завершающие пятую главу. В них, по сути дела, варьируются несколько постоянных мотивов. Один из них — мотив смерти: «Обратите внимание: у античности был амфитеатр, а у нас — у новой Европы — ярусы. И на фресках страшного суда и в опере. Единое мироощущение... Как вы думаете, где сидела Анна

¹ Cavanagh C. Osip Mandelstam and the Modernist Creation of Tradition. Princeton: Princeton UP, 1995. P. 198–199.

Каренина?» (485)¹. Другой мотив — несвободы и насилия: «Всякий балет до известной степени — крепостной. Нет, нет — тут уж вы со мной не спорьте! ...растительное послушание кордебалета... — Нет, что ни говорите, а в основе классического танца лежит острастка — кусочек “государственного льда”... Кому билет в ложу. А кому в рожу» (484—485).

В сущности, семантика смерти и придает «петербургскому тексту» завораживающую торжественность. Уже во второй главе звучит предупреждение: «...перед концом, когда температура эпохи вскочила на тридцать семь и три, и жизнь пронеслась по обманному вызову, как грохочущий ночью пожарный обоз по белому Невскому...» (470) Далее эти мотивы развиваются: февраль 1917 года ассоциируется с тем, как «на маслобойню везли глыбы хорошего донного льда. Лед был геометрически-цельный и здоровый, не тронутый смертью и весной. Но на последних дровнях проплыла замороженная в голубом стакане ярко-зеленая хвойная ветка, *словно молодая гречанка в открытом гробу*» (470; курсив мой. — М.Л.). А рядом звучат слова об «обществе ревнителей и любителей *последнего слова*» (471), которые позднее, в пятой главе, вырастают до кафкианской картины майского Петербурга, напоминающего «адресный стол, не выдающий справок, — особенно в районе Дворцовой площади ...величие этого места в том, что справки никогда и никому не выдаются» (480). Причем тема *немоты, исчезнувшего слова* подчеркивается здесь через описание «разговора» пересекающих площадь глухонемых. Именно совокупность мотивов смерти и немоты и становится у Мандельштама бессознательным маркером и травматического события, и его невыразимости — в нераздельности этих состояний.

Детство и Петербург, сходно воплощая взорванное травмой культурное «мы», вместе с тем придают разные модальности этой утрате. Показателен в этом отношении фрагмент из пятой главы, в котором описывается «бес скандала» — «не катастрофа, но обезьяна ее, подлое превращение, когда на плечах у человека вырастает собачья голова» (483). А. Барзах отмечает связь этого образа с египетской семантикой. Собачья голова на человеческих плечах рифмуется с еще одним фрагментом повести — с описанием убийц в сцене самосуда: «Шли *плечи*-вешалки, вздыбленные ватой, апраксинские пиджаки, богато осыпанные перхотью, раздражитель-

¹ Тема самоубийства, связанная с Анной Карениной, возникнет и в финале повести.

ные затылки и *собачьи уши*» (475). Перед нами еще одна версия «петербургской гибельности», еще один вариант связи между Культурой и смертью, (само)разрушением: «бес скандала» непосредственно произведен литературой, что подтверждают и очевидные интертекстуальные отсылки к Гоголю и Достоевскому в рассказе о том, как на даче в Павловске «бородатые литераторы... отчехвостили бедного юнца — Ипполита», и прямая историко-литературная «сноска»: «Скандалом называется бес, открытый русской прозой или самой русской жизнью в сороковых, что ли, годах» (483).

Но важна и соотношенность этого мотива с детством — упомянутая в «детском» контексте первой главы «американская дуэль-кукушка» появляется здесь опять: «Пропала крупиночка: гомеопатическое драже, крошечная доза холодного белого вещества... В те отдаленные времена, когда применялась дуэль-кукушка... — эта крупиночка называлась честью» (483). Однако скандал, в силу «гоголевско-достоевских» ассоциаций, вызываемых этим эпизодом, явно *предшествует* изображенному в начале миру еврейского детства. Не может не закрасться подозрение, что либо «пропавшая крупиночка» пропала значительно раньше, чем в годы революции, либо ее не было вовсе.

Д. ЛаКапра предлагает различать в травматическом дискурсе *утрату* и *отсутствие*. В «Египетской марке» детство, по-видимому, соответствует *утрате* культурного «тепла» и культурного «центра», тогда как Петербург репрезентирует их фундаментальное *отсутствие*¹. *Утрата*, по ЛаКапра, манифестирует историческую травму, тогда как *отсутствие* (или Реальное — в лакановской терминологии) проявляет структурную травму:

Отсутствующий рай отличается от потерянного рая тем, что он не воспринимается как нечто уничтоженное лишь для того, чтобы быть обретенным вновь в желаемом, апокалиптическом будущем; он не связан и с возвышенно-чистой утопической мечтой о том, что через некое творение *ex nihilo* придет всеобщее обновление, спасение или искупление².

¹ Последнее только подчеркивается взглядом на державное петербургское великолепие глазами Парнока — «жидочка», «египетской марки» с лакированным «копытцем» потенциального козла отпущения, патентованного Другого.

² *LaCapra D. Writing History, Writing Trauma*. Baltimore and London: The John Hopkins UP, 2001. P. 57.

При этом, считает исследователь, травматический дискурс всегда размывает границу между утратой и отсутствием — чаще всего репрезентируя последнее как первое:

Превращение отсутствия в утрату придает [посттравматической] тревоге идентифицируемый объект — утраченный объект, — порождает надежду на то, что беспокойство может быть преодолено или ликвидировано. Напротив, беспокойство, укорененное в сознании отсутствия, никогда не может быть ни полностью устранено, ни преодолено; с ним нужно жить (*must be lived with in various ways*). ...Стремление избежать этого, фундаментального, беспокойства вызывает различные проекции вины за предполагаемую потерю на идентифицируемых других и тем самым порождает различные сценарии поиска козла отпущения, необходимого для искупительной жертвы. Превращение отсутствия в потерю предполагает, что в прошлом существовали (или по меньшей мере могли существовать) некое первородное единство, некая целостность, покой и идентичность, которые были разрушены и отравлены другими... Отсюда возвращение к утраченному раю требует избавиться либо от этих других в обществе, либо от грешного «другого» в себе¹.

Путь превращения отсутствия в утрату, а структурной травмы — в историческую; путь, требующий искупительных жертв и преследований другого, — этот путь тоталитарных утопий XX века Мандельштаму явно не близок. Недаром сцена убийства «человечка» — вызывающая ощущение конца культурной вселенной, — собственноручно говоря, и представляет ритуал искупительного жертвоприношения, ритуал, в котором ни Парнок, ни Автор не хотят участвовать и который Парнок пытается (хоть и безуспешно) остановить.

Более того, соотношение мотивов детства и Петербурга позволяет утверждать, что Мандельштам избирает редкий, но чрезвычайно продуктивный вариант травматического дискурса: он не только не подменяет отсутствие утратой, но, наоборот, демонстративно *репрезентирует утрату как отсутствие*. Ведь в «Египетской марке» детский мир с самого начала заражен геном разрушения и смерти. Прислуга-полька из первой строки повести уходит в тот самый костел Гварнеги, где во второй главе будут отпевать итальян-

¹ *La Capra D. Writing History, Writing Trauma*. Baltimore and London: The John Hopkins UP, 2001. P. 58.

янскую певицу Бозио. «Домашнее бессмертие» изначально неудачно: «Тридцать лет прошли как медленный пожар» (465). Близость пожара к смерти подчеркивается упоминанием пожарного обоза в описании смерти Бозио: «За несколько минут до начала агонии по Невскому прогремел пожарный обоз...» (490). Мотив пожара повторится и позднее — в воспоминании о «Пизанской башне керосинки», которая «кивала Парноку, обнажая патриархальные фитили, добродушно рассказывая об отроках в огненной печи» (482), и о страхе сажи, копоти от керосиновой лампы, атрибутированном уже не Парноку, а детству повествователя: «Крик “сажа”, “сажа” звучал как “пожар, горим”...» (482). Однако пожар времени из первой главы и страх пожара из детства в пятой главе получают продолжение в седьмой главе, где Петербург в очередной раз уподобляется книге: «Все трудней перелистывать страницы мерзлой книги, переплетенные в топоры, при свете газовых фонарей. Вы, дровяные склады — черные библиотеки города, — мы еще почитаем, поглядим» (489). И далее:

Пожары и книги — это хорошо.
Мы еще поглядим — почитаем (490).

В непосредственном соседстве с мотивом пожара в сценах детства возникает и родственный смерти маркер травмы — мотив болезни: «В замочную скважину врывается он — запрещенный холл — чудный гость дифтеритных пространств» (482); «Некоторые страницы сквозили, как луковичная шелуха. В них жила корь, скарлатина и ветряная оспа» (490). Эти мотивы, в свою очередь, отзываются и в рвотной физиологичности образов, сопровождающих сцены террора, и в мысли Парнока о том, что «Петербург — его детская болезнь» (491), и в авторском рассуждении, что «надо лишь снять пленку с петербургского воздуха, и тогда обнажится его подспудный пласт...» (491) — пласт пустоты, ужаса и смерти.

Но тут же появляется сравнение Петербурга с «торцовой книгой с вырванной серединой», которое переходит в следующее развернутое описание:

Он получил обратно все улицы и площади Петербурга — в виде сырых корректурных гранок, верстал проспекты, брошюровал сады. Он подходил к разведенным мостам, напоминающим о том, что все должно оборваться, что пустота и зияние — великолепный товар,

что будет, будет разлука, что обманные рычаги управляют громадами и годами (491).

Все эти мотивы: пожара и горячки, с одной стороны, пустоты, разрыва, с другой, — семантически равноправны. И в том, что все они, как мы видим, соотнесены с мотивами культуры (книги, корректурные гранки, город). И в том, что и пожар, и болезнь, и пустота, и разрыв метонимически или метафорически воплощают отсутствие (или Реальное, или смерть). Но примечательно, что у Мандельштама все эти мотивы, сохраняя свой вполне трагический ореол, тем не менее осмыслены *позитивно*, как *неготовый* литературный продукт (сырые корректурные гранки), как движущая сила истории и, следовательно, — как источник творчества. Это понимание *исторического* и *творческого* оказывается чрезвычайно близким к пониманию исторической «истины», характерному для травматического дискурса:

Историческая сила травмы состоит не в том, что пережитое повторяется после того, как оно было забыто, а в том, что только через необходимое забвение и можно пережить травматический опыт... Зияние — пространство бессознательного — и есть парадоксальным образом то, что сохраняет событие в его буквальности. Когда история становится историей травмы, это означает, что история становится референциальной настолько, что ее невозможно воспринять в том виде, в каком она произошла; или же, выражаясь иначе, в этом случае история может быть запечатлена только в недоступности своего события¹.

Можно предположить, что сама травма культурного обвала оказывается, таким образом, *вписанной* в исторический контекст культурной — петербургской! — традиции. Более того, эта травма оказывается не просто принадлежащей истории русской культуры, но и *запрограммированной* ею. Как мы видели, речь у Мандельштама идет и о «домашней», униженной ипостаси петербургского текста (отраженной в быту петербургского еврейства), и о «высокой» имперской ипостаси этой культурной общности. Травма, представляющая собой как будто бы разрыв в связанной ткани суще-

¹ Caruth C. Trauma and Experience: Introduction. P. 8.

ствования и дискурса, вместе с тем сама становится связующим звеном — через пустоту и отсутствие — между грандиозным прошлым и страшным настоящим, между тем, что виделось гармонией, и тем, что репрезентирует «хаос реального». Иначе говоря: в «Египетской марке» Мандельштам, пожалуй, впервые в русской литературе предлагает переосмыслить культурный опыт «великого прошлого» *сквозь* пережитую травму. Сам этот взгляд — вне зависимости от результатов ревизии — противостоит утопическому восприятию культуры как надысторического пространства, способного укрыть и спасти от ужасов повседневности и социальности; восприятию, характерному не только для акмеизма и постсимволизма в целом, но и для позднего модернизма 1950–1980-х годов. В известной степени повесть Мандельштама предвосхищает не только знаменитый вопрос Адорно о возможности поэзии после Освенцима, но и многие последующие ответы на него.

IV

Ответ же самого Мандельштама на этот еще не заданный вопрос парадоксален: чтобы выжить, творчество должно вобрать в себя смерть, должно само стать смертью, должно научиться видеть мир из точки смерти.

Репрезентация утраты культурного единства (детство) как его фундаментального отсутствия («пустота и зияние» Петербурга) предполагает у Мандельштама особый путь *проживания* *сквозь* травму: «Признание и утверждение... отсутствия как отсутствия требует принятия... постоянного беспокойства, которое не поддается ни устранению изнутри, ни перенесению на других»¹. Этот путь, как полагает Д. ЛаКапра, может быть осуществлен через оплакивание и (символические) похороны — и эта семантика представлена в повести Мандельштама мотивами египетской Книги Мертвых. Но, продолжает исследователь,

оплакивание — это не единственная, хоть и очень важная модальность проживания *сквозь* травму. Среди многообразных возможностей можно назвать и определенные формы расцельняющего (nontotalizing) повествования и критической, как, впрочем, и само-

¹ LaCapra D. Writing History, Writing Trauma. P. 58.

критичной, мысли и практики. Так, например, Беккет может быть прочитан как драматург и романист отсутствия, а не просто потеря... Увиденная в таком свете, и деконструкция предстает как стратегия проживания и разыгрывания отсутствия в его сложных взаимосвязях с неполным присутствием¹.

Примером такого расцельняющего повествования становится и «Египетская марка», в которой, как отмечалось, именно отказ от сюжетной и композиционной цельности выступает предметом металитературной дискуссии.

В этом контексте совсем не случайно мотивы болезни и смерти, *подчиняющие* ареал детства петербургской гибельности — т.е. воплощающие поглощение исторической утраты структурным отсутствием, — наиболее концентрированно явлены в металитературных «сценах письма», становясь метафорическими эквивалентами высказывания «от первого лица» и определяя заново обретенный голос Автора. *Расцельняющая проза* оказывается сделанной «из горячего лепета одних отступлений, из петербургского инфлуэнцного бреда» (493):

...Решительно во всем мне чудится задаток любимого прозаического бреда. Знакомо ли вам это состояние? Когда у всех вещей словно жар... Тогда, признаться, я не выдерживаю карантина и смело шагаю, разбив термометры, по заразному лабиринту, обвешанный придаточными предложениями... (493–494)

А *перо*, которым, надо полагать, «голубушка проза» пишется, непосредственно заражено (и заряжено) смертельной болезнью Петербурга: «Но перо, снимающее эту [петербургскую] пленку, — как чайная ложечка доктора, зараженная дифтеритным налетом. Лучше к нему не прикасаться» (491–492).

Творчество вообще и позиция творца в частности в «Египетской марке» оказываются сопряженными со смертью, концом истории, насилием — со всем тем, что и запечатлено (запечатано) травмой. Металитературный пласт повести оказывается прямой материализацией проживания через травму, причем стратегия этого проживания вырастает из соотношения «мира державного» с детством, из еврейской отчужденности, из петербургской гибель-

¹ LaCapra D. Writing History, Writing Trauma. P. 66.

ности — из всего того, что превращает утрату культурного единства в ее фундаментальное отсутствие. Более того, именно в металитературном аспекте повести отсутствие, явленное травмой, преобразуется в опору и основание для умершего (в Парноке) и выжившего (в Авторе) Я. Как пишет Д.М. Сегал:

«Египетская марка», как в ладе мертвых, переносит из *того* мира в *этом*, — то, о чем *не* пишется, — *разрывы*, бессвязности... Выделение свободы, случайности, бессвязности в качестве основы жизни и творчества служат для возвращения этих качеств самому себе [автору], собиранию самого себя воедино¹.

По Мандельштаму, творчество сможет вобрать в себя травму, а в пределе — смерть, только если сумеет подняться до крайних экзистенциальных истоков авторской личности («от третьего лица перейти к первому» — 494), раскрывшись для бессознательного и бессмысленного («второстепенные и мимовольные создания вашей фантазии не пропадут в мире» — 497). Здесь даже поэтика прозы отдана «во власть бессмысленного лопотанья французского мужичка из Анны Карениной» (495), т.е. в конечном счете рождена смертным ужасом и предчувствием гибели. Отсюда же происходит и такая странная (и страшная) характеристика «голубушки прозы», звучащая на последних страницах повести: «Голубушка проза, — вся пущенная в длину — обмеривающая, бесстыдная, наматывающая на свой живоглотский аршин все шестьсот девять николаевских верст» (495).

Поразительно, насколько эти декларации близки программе обэриутов и сюрреалистов. Как и у обэриутов², прямым источником творчества в «Египетской марке» оказывается экзистенциальный страх, обостренный ежедневным кошмаром истории. Этот страх синонимичен тому *постоянному* беспокойству, в котором воплощается проживание структурной травмы отсутствия культурного единства. Примечательно, что именно в страхе Мандельштам находит если не оптимизм, то по крайней мере философскую опору, обеспечивающую непрерывность творчества: «Страх берет меня за руку и ведет. Белая нитяная перчатка. Митенка. Я люблю, я уважаю страх. Чуть было не сказал: “с ним мне не страшно”» (494).

¹ Сегал Д.М. Литература как охранная грамота... С. 197, 198.

² См., например, «Трактат об ужасе» Л. Липавского.

В этом контексте совершенно иначе звучит название повести. «Египетская марка» — это и есть формула творчества, ибо творчество и есть то, что обеспечивает регулярное со-общение с египетской тьмой, с египетским культом смерти — с разрывом, вызываемым травмой.

Прямой манифестацией этой философской декларации и одновременно самым непосредственным воплощением эстетического принципа «Египетской марки» становятся именно те фрагменты, которые исследователи (Е. Павлов, Ч. Айзенберг) обозначили как «сцены письма»¹. Все эти фрагменты выступают как особого рода узлы повествования, связывающие воедино его различные мотивы. Они *обнажают* отношения между текстом и травмой, между культурой и катастрофой, превращая саму текстуальность, само разворачивающееся перед нами письмо в квинтэссенцию саморазрушающегося бытия, основанного на ритмическом повторении оксюморонного сочетания связности и разрыва, творчества и отсутствия, выживания и смерти. Особенно отчетливо это видно на примере фрагмента из четвертой главы:

Перо рисует усатую греческую красавицу и чей-то лисий подбородок.
Так на полях черновиков возникают арабески и живут своей самостоятельной, прелестной и коварной жизнью.
Скрипичные человечки пьют молоко бумаги.
Вот Бабель: лисий подбородок и лапки очков.
Артур Яковлевич Гофман — чиновник министерства иностранных дел по греческой части.
Валторны Мариинского театра.
Еще раз усатая гречанка.
И пустое место для остальных (478).

Во-первых, обратим внимание на то, что этот фрагмент следует непосредственно за ключевой сценой самосуда. Во-вторых,

¹ К этим сценам отнесем фрагменты из глав 4-й («Перо рисует усатую греческую красавицу...» — 478) и 5-й («Я не люблю бессвязности и разрывов...» — 482); а также описание нотной графики в 5-й главе («Нотное письмо ласкает глаз не меньше, чем сама музыка слух...» — 480—481) и, наконец, фрагмент из финальной, 8-й главы, начинающийся словами «Уничтожайте рукопись, но сохраняйте то, что вы начертали сбоку от скуки...» (494) и переходящий в гимн «голубушке прозе» (495).

практически каждый из образов в этой цепи отсылает к другим частям повествования, рифмуясь либо с петербургскими, либо с детскими мотивами. Но — в-третьих — через эти опосредования почти каждый из образов, казалось бы воплощающих свободу письма от смертоносного контекста истории, оказывается заражен «смертельной», травматической семантикой. Так, дважды повторяющийся образ «усатой гречанки» вызывает ассоциацию с зеленой ветвью во льду, плывущей перед глазами Парнока в феврале семнадцатого года и уподобленной, как помним, «молодой гречанке в открытом гробу» (470), что, в свою очередь, ассоциируется со смертью и похоронами Бозио. Дважды возникающий «лисий подбородок», с одной стороны, перекликается с «собачьими ушами» убийц в предыдущей сцене и актуализирует весь пласт египетских и апокалиптических образов, манифестирующих коллапс культуры. С другой стороны, «лисий подбородок», атрибутированный Бабелю, отсылает ко всему комплексу мотивов еврейства и еврейского детства — «милому Египту вещей», разрушенному «медленным пожаром» времени. Упоминания Артура Яковлевича Гофмана, чиновника министерства иностранных дел по греческой части, а также валторн Мариинского театра, напротив, служат знаками всего комплекса мотивов петербургской гибельности, в свою очередь опирающихся на романтическую традицию (Гофман — Гоголь — Достоевский).

Наконец, последняя — ударная — строка этого фрагмента «И пустое место для остальных» оказывается наиболее амбивалентной. Она воплощает предельную свободу, обретаемую в пространстве письма, но в то же время рифмуется с жутким смыслом «свободного места» в толпе, ведущей жертву на заклание, из описания в начальном фрагменте этой же главы: «По Гороховой улице с молитвенным шорохом двигалась толпа. *Посредине ее сохранилось свободное место в виде карэ*» (475; курсив мой. — М.Л.). Это свободное, пустое место одновременно оказывается и пространством смерти, и пространством (не-пространством) травмы / отсутствия: оно оставлено для приготовленного на заклание «человечка», но сам текст повести — текст памяти — этот кошмар вместить не в состоянии. «Свободное место», несмотря на «реалистическую» природу этого образа, вместе с тем оказывается и сильным метапрозаическим символом, непосредственно отражающим мандельштамовскую философию посттравматического письма. Именно приведенный выше фрагмент — посредством ритмически выде-

ленного, сдвинутого повтора, прозаической рифмы («пустое место» / «свободное место») — акцентирует кардинальный характер связи между отсутствием (связанным с травмой, культурным коллапсом и просто смертью) и Авторской свободой, обретаемой, как мы видели, только после прохождения *сквозь смерть*, даже если она и представлена символической смертью двойника-героя (Парнока).

Только два мотива в этой сцене письма не затронуты семантикой смерти: «Так на полях черновиков возникают арабески и живут своей самостоятельной, прелестной и коварной жизнью. Скрипичные человечки пьют молоко бумаги». Эти образы непосредственно относятся к письму. Но это письмо, как уже отмечалось, непременно заражено смертностью Петербурга. «Не повинуетсЯ мне перо, — восклицает повествователь в одном из петербургских фрагментов, — оно расщепилось и разбрызгало свою черную кровь, как бы привязанное к конторке телеграфа...» (481). Письменные знаки, поэтизируемые в данной и других сценах письма, рождены этим *неповинуЮщимся* пером. Если революция обнажает отсутствующий, провалившийся центр культурной вселенной, то «арабески на полях черновиков» манифестируют децентрированное, маргинальное, полусознательное или вовсе бессознательное, «мимовольное» творчество — в свою очередь, генерируемое пустотой и невыразимостью травмы. Мандельштамовские «арабески» не противопоставлены пространству смерти, а *рождены* им — только они способны адекватно репрезентировать отсутствие, в то же время оставаясь свободными от его власти. Отсюда понятно, почему мотивы «арабесок» и «маргиналий» идут в рост в других сценах письма.

«Скрипичные человечки» превращаются в «миражные города нотных знаков» в пятой главе. Чистая графика — немая музыка — насыщается в этом описании живительными ассоциациями с детством («Там неподалеку я учился музыке. Мне ставили руку по системе Лешетицкого» — 481) и в то же время создает образ *живого города* — своеобразную альтернативу гибельному миру Петербурга. Впрочем, «миражные города нотных знаков» не изолированы от исторических катастроф — они *вместили* их в себя: «нотный виноградник Шуберта всегда расклеван до косточек и *исхлестан бурей*» (480), «Нотная страница — это *революция* в старинном немецком городе» (481), «труднейшие пассажи Листа, размахивая костылями, волокут туда и обратно *пожарную* лестницу» (481). Опять-таки, недаром этот образ немой музыки возникает

сразу после описания разговора глухонемых, пересекающих онемевшую — лишенную логоса — Дворцовую площадь.

«Арабески на полях черновиков» вырастают в мощную манифестацию децентрированного письма во фрагменте из пятой главы, начинающемся словами «Я не боюсь бессвязности и разрывов» в пятой главе¹:

Я не боюсь бессвязности и разрывов.
Стригу бумагу длинными лентами.
Подклеиваю ленточки бахромкой.
Рукопись — всегда буря, истрепанная, исклеванная.
Она — черновик сонаты.
Марать — лучше, чем писать.
Не боюсь швов и желтизны клея.
Портняжу, бездельничаю.
Рисую Марата в чулке.
Стрижей (482).

Здесь особенно демонстративно отсутствие организованности, зияние на месте структуры, желтые от клея швы вместо целостности — все это парадоксальным образом осмысливается автором как преимущество: «Марать — лучше, чем писать». В этой металитературной декларации слышится отзвук другого фрагмента повести: «Он подходил к разведенным мостам, напоминавшим, что все должно оборваться, что пустота и зияние — великолепный товар...» (490). В этом фрагменте прямо повторяется мотив из предыдущей сцены письма: «нотный виноградник Шуберта», всегда расклеванный до косточек и исхлестанный бурей, здесь претерпевает знаменательное превращение: «Рукопись — всегда буря, истрепанная, исклеванная». Иначе говоря, сам текст в его децентрированности, маргинальности и принципиальной бессвязности — узнаваемое метаописание поэтики «Египетской марки» — моделирует бурю: только такой текст может стать означающим исторической травмы. А «Марат в чулке», возникающий в финале этого фрагмента, непосредственно связывает «бурю» с топикой революции.

¹ Эта сцена стала объектом специального анализа в статье Е. Павлова: *Pavlov E. Memory and the Scene of Writing in Mandelstam's «Egipetskaia marka»: Unrolling the Manuscript // Slavic and East European Journal. 1998. № 42 (4). P. 621–639.*

Видимая неорганизованность текста «Египетской марки», как и видимая расплывчатость повествовательной точки зрения, представляет новую степень сложности. Сцены письма дают ключ к этой сложной — т.е. далеко не классической — организации. По сути дела, они, эти сцены, парадоксально моделируют целое «Египетской марки» и авторскую личность как *взрывную апорию* — как неразрешимое конфликтное единство между Автором и Парноком, между смертью и проживанием сквозь смерть, между утратой и отсутствием, между исторической и структурной травмой. Именно с помощью фигур зияния, разрыва связи или отсутствия осуществляется *двусторонняя* связь между еврейским детством и Петербургом, искусством и кошмарами исторической катастрофы, автором и героем, письмом и гибельной реальностью — та связь, выявлению которой, собственно, и был посвящен наш разбор. *Превращение разрыва в связь, а связи в разрыв* — этот конструктивный принцип, лежащий в основе апорий повести, дополнительно *тематизируется* Мандельштамом как манифестно провозглашаемый принцип новой прозы: децентрализованной, маргинальной, построенной на травматических зияниях, а не на «всеобщей связи явлений», но именно благодаря этим свойствам обретающей свободное дыхание. Именно этот принцип позволяет «разыграть» в поэтике повести ритуальную смерть и возрождение субъекта травмы, отразившиеся в «мифологическом» сюжете «Египетской марки». Именно так манифестируется рождение новой художественности. Именно этим, не рационально, а пластически воплощенным принципом Мандельштам *преодолеывает* «коллективную травму» культурного коллапса.

Изоморфность метапрозаической составляющей «Египетской марки» и личности художника объясняет, почему вскоре после этого текста Мандельштаму удастся преодолеть длившийся с 1925 года кризис и вернуться к стихам. Децентрированность поэтики, метапрозаический подрыв создаваемой письмом иллюзии целостности и авторской власти над создаваемым им мирозданием моделируют травму как пустой / отсутствующий центр нарратива, тем самым позволяя художнику говорить от первого лица. В этом смысле путь «голубушки прозы», предлагаемый Мандельштамом, зеркально противоположен тем манифестациям травмы, которые были выработаны Зощенко в его новеллистике. У Зощенко «авторское» травматическое сознание делегирует свои травмы голосам

Других¹, тоже травмированных, однако полностью лишенных способности к саморефлексии сознаний². Между полюсами, представленными «Египетской маркой» и новеллистикой Зошенко, располагается спектр многочисленных гибридных вариантов манифестации исторической травмы, представленных и Вагиновым (художник, поглощаемый «пустым центром» своего произведения), и Шаламовым (декларации об «абсолютно негативном» опыте Колымы и рассеивание собственной травмы между многими, близкими, но не идентичными автору героями и нарраторами), и Набоковым (так же, но несколько иначе, чем Мандельштам, без «первого лица» соединявшим неартикулируемую травму с метапрозаическими зеркалами).

Пример «Египетской марки» обнажает еще один важный аспект этих стратегий. Метапрозаическое письмо в случае Мандельштама (как и в контрастном варианте Зошенко) позволяет выйти за пределы или по крайней мере ослабить собственную зависимость от культурной традиции, избегая при этом антикультурного насилия. Выход же за пределы традиции оказывается необходимым именно в силу невозможности развести Петербург и террор, память культуры и зияние, оставленное травмой революции. Речь, в сущности, идет о попытках создания ненасильственного дискурса, поскольку именно символическое насилие, придающее сакральный статус русской культурной традиции, в повести Мандельштама не прямо, но ощутимо сплетается с революцией и террором, показательно имитирующим ритуальные жертвоприношения «козла отпущения».

¹ «Рассказчик, сохранивший прежнюю языковую маску, отождествлен с “автором”, литератором, заговорившим от первого лица... Автор выдает голос рассказчика за свой собственный» (*Чудакова М.О.* Поэтика Зошенко. М.: Наука, 1979. С. 61).

² О травматических истоках поэтики Зошенко см.: *Жолковский А.К.* Михаил Зошенко: Поэтика недоверия. М.: Школа «Языки русской культуры», 1999.

6. Разломы речи

Джулиет Митчелл

Травма, признание и место языка *

В рамках психоанализа уже сложилось немало определений травмы. Моя версия будет крайне простой. Травма — физическая либо психическая — наносит такой ущерб нашей защитной оболочке, что справиться с ее последствиями при помощи обычных методов, к которым мы прибегаем при переживании боли или потери, оказывается невозможно. Ущерб настолько велик, что даже когда трагическое событие не является неожиданным, опыт его переживания невозможно предсказать. Чувство тревоги, обычно выступающее предупредительным знаком, в данном случае лишено своей силы. Можно отдавать себе отчет в том, что смерть больного родственника или ампутация пораженной конечности неизбежны; однако такое знание не в состоянии предотвратить травмирующий эффект. Травма ломает нас, невзирая на время.

Травма неизменно подается как гипотетический «исток» психических состояний независимо от конкретики травмирующего события, будь то совращение или насилие, пережитое в детстве; боевая контузия; жестокости войны; навязчивые мысли о преждевременном сексуальном развитии или муки, связанные с рождением ребенка. Впрочем, хотя понятие травмы и является ключевым для психоаналитической теории, фокусом психоанализа травма как таковая не стала. Фрейд увязал формирование психических состояний с «биологическим основанием»; однако это основание не стало объектом психоаналитического исследования. Следуя лейтмотиву многочисленных реконцептуализаций психоанализа, я вижу в травме еще одно «основание». Его вполне можно определить как «опытное», «эмпирическое» основание. Как и в случае с биологией, роль этого основания критическая, хотя оно и может быть понятно только в рамках специальной дисциплины, поскольку

* Перевод с английского Анны Богдановой.

ку психоанализ оснащен инструментарием для осмысления не самой травмы, но реакции на нее.

В повседневной жизни мы обычно склонны занимать позицию наблюдателя, характеризуя ряд трудных или трагических событий как «травмирующие». Мне же, наоборот, хотелось бы рассмотреть травму с позиции человека, ее переживающего. Следствием такого подхода является то, что одно и то же событие может оказывать разное травматическое воздействие на разных людей; в то же время это означает, что разные события, воспринятые в качестве травмы, будут переживаться одинаково вне зависимости от своеобразия события и переживающего его индивида. В сущности, именно по этой причине Фрейд в конце концов отверг ценные выводы Отто Ранка, предложившего видеть в травме рождения источник невроза человечества. Травма — великий уравниватель. Если все мы рождены, то чем же мы отличаемся? Более того, то, что кажется травмой стороннему наблюдателю, с точки зрения психической реакции переживающего индивида может быть всего лишь катализатором, выносящим на поверхность опыт, который сам по себе мог бы и не стать травмирующим, если бы недавнее событие не имело места. Даже такой чрезвычайный опыт, как Холокост, оказался не в состоянии сломить психическую защиту отдельных людей. Событие-катализатор в настоящем служит спусковым крючком для события в прошлом, которое становится травмирующим лишь благодаря тому смыслу, которое приписывается ему задним числом.

Вероятно, любая одушевленная материя может быть травмирована; реакция на повреждение защитной системы человека происходит, скорее всего, на общем психосоциальном уровне. Признание и язык есть взаимодействующие социальные процессы; ни психика, ни язык невозможны без другого человека. Психоаналитики, занимавшиеся объектными отношениями, — в особенности Д.У. Винникотт — акцентировали свое внимание на разных аспектах психики; последователи Ж. Лакана — на языке. На мой взгляд, две эти области взаимозависимы, и мы можем немало достичь и в теории, и на практике, если будем изучать их во взаимосвязи. Когда мы испытываем физическую травму, наша немедленная реакция, как правило, выражается в виде невинных фраз; иногда на какое-то время даже утрачивается сама способность как следует выговаривать слова. Безусловно, существуют физиологические объяснения этому явлению. Однако я уверена, что здесь есть и

психологические параллели. У каждого пациента, которого я определяю как человека, получившего серьезную травму, складываются особые отношения с языком. Именно эта взаимосвязь меня интересует.

Три поих пациента, о которых пойдет речь, подтверждают своим примером индивидуальность реакции на травму и отсутствие необходимости непременно видеть в очевидном насилии травму. Они пережили события, которые взломали их защитную систему (т.е. пережили так называемую «травму»). Во всех трех случаях реакцию после травмы составляло нечто иное, нежели сам «взлом»; и во всех случаях наблюдалось специфическое отношение и к языку, и к вопросам признания. К примеру, госпожа Петерс долго подготавливала меня к тому, что мы в конце концов столкнемся лицом к лицу с чудовищным событием из ее прошлого. Мы не столкнулись. И тем не менее событие, которое на первый взгляд вряд ли можно было бы отнести к разряду тяжелых, сыграло травмирующую роль. Госпожа Роуз, напротив, почти убедила меня в том, что смерть ее отца была незначительным событием ее детства. Хотя госпожа Роуз и обратилась ко мне за терапией, она уверяла, что в основе ее прихода лежит интеллектуальное любопытство, а не «какие бы то ни было переживания». Под «какими бы то ни было переживаниями» как раз и скрывался тот факт, что смерть отца не имела значения. Том Браун, имея писательские притязания, мог писать краткие, гладкие и легковесные журналистские заметки, но никогда — настоящее произведение, к чему он упорно стремился. Интересуясь теорией и историей языков, он утверждал, что человечество удивительно не способностью говорить, но способностью к метафорическим сравнениям. Разрушительное событие открывает пространство для признания или отрицания, и реакция на травму возникает именно на этой основе.

Макс Эрнандес в своей статье приводит пример из клинической практики: пациент был изнасилован в детстве, но после происшествия никто из домашних не заметил подавленного состояния ребенка¹. У взрослого пациента сформировался симптом наваждения, связанный с ощущением того, будто все на него смотрят, смеются над ним, преследуют его. Окружающие уделяют ему

¹ *Hernandez M.* Winnicott's «Fear of Breakdown»: On and Beyond Trauma // *Diacritics*. 1998. № 28 (4). P. 134—143.

слишком много внимания, в то время как его травматический опыт остался незамеченным. Здравый смысл заставляет нас считать именно изнасилование травмирующим событием. Однако в действительности пациента преследует память о *не-признании* или *не-замеченности*, а также симптом, указывающий на то, что он страдает от нежелательного и чрезмерного внимания. (Симптом — подобающий объект психоаналитической работы, всегда содержащий конфликт; в данном случае — это одновременно желание быть замеченным и запрет на признание анального изнасилования.) Я начну именно с вопроса о признании.

1

Том Браун, успешный мужчина средних лет, рассказал мне, как в молодости его посетила мимолетная мысль о том, что его мать на самом деле может быть жива; однако, если ему придется встретиться с ней, он не сможет ее узнать. Затем он рассказал мне, что нечто подобное действительно случилось в его жизни: в юности у него был очень серьезный роман с девушкой, который длился три года. Когда подруга решила порвать отношения, Том был крайне расстроен. Спустя несколько лет девушка неожиданно позвонила Тому, но тот не узнал ее. Несмотря на то что он вспомнил о ней, он не мог ее узнать ни во время телефонного разговора, ни после. Мы с Томом попытались разобраться в природе этой неспособности узнавания. Он помнил звонившую женщину и даже не особенно удивился, услышав ее голос; он помнил во всех подробностях об их отношениях. Однако он не узнал ее. Обсуждая специфику узнавания, мы пришли с ним к выводу о том, что разница между когнитивным и аффективным признанием — знанием и чувством — не помогает в полной мере объяснить или даже описать опыт Тома.

Мама Тома умерла, когда ему было шесть лет. Он совсем не помнил ее, и когда ему доводилось видеть фотографию, на которой он был снят рядом с матерью, это лишь служило лишним доказательством того, что женщина, находящаяся рядом с ним, — не его мать. В его присутствии она ассоциировалась с негативным. Том знал, кем она была, и если она была сфотографирована с кем-то другим, то она воспринималась как мать, но рядом с ним — никогда. После того как его бросила девушка, Том мог вспомнить единственный сон, связанный с матерью. Рассказывая мне об

этом, Том задался вопросом, не была ли до разрыва с девушкой его память о матери обычной и непрерывной. В разговорах мы обнаружили, что у нас обоих бывают странные воспоминания-ощущения, когда в памяти всплывают моменты, которые мы и не собирались запоминать или забывать, так что наш с ним обмен был необычным зигзагом повторов, откровений, определенностей и неопределенностей.

В какой-то момент я задумчиво произнесла: «Я вот о чем подумала: когда вы шли в больницу к уже умирающей матери, вас кто предупредил о том, что она может вас не узнать?» В ответ Том заявил: «Да, точно, так и было, я прекрасно это помню». Во время его ответа я вдруг почувствовала, что мне открылась какая-то новая сторона понимания, хотя одновременно я осознала, что я всего лишь повторила то, о чем Том рассказал мне раньше. Данный случай можно использовать в виде показательного примера. Вопрос в следующем: что почувствует или представит ребенок, когда ему скажут, что его мать не сможет его узнать? И позже она действительно его не узнает? Почему-то второе кажется менее проблематичным, чем первое. Шестилетний ребенок уже достаточно опытен для того, чтобы связать реальный опыт неузнавания с материнской болезнью. Однако мне кажется глубоко тревожной абстрактная мысль о том, что ты — существуешь в мире, но человек, который «привел» тебя в этот мир, не может тебя узнать. Учитывая то, что ребенка предупреждают в отсутствие больной, с которой должна быть связана эта мысль, какие выводы он способен сделать из этого предупреждения? Я воображала Тома, одаренного мальчика, который пытается с помощью и рассудка, и воображения прийти к пониманию.

Я поделилась с Томом предположением, что эту невозможную мысль он перевернул и, вместо того чтобы быть неузнанным самому, представил, что не сможет узнать свою мать, и на самом деле не узнал свою девушку. Сидя на заднем сиденье автомобиля, мальчик, направляющийся к умирающей матери, мог, так сказать, «примерить на себя» то, как она его не узнает, представив, что он не узнает ее. Что означает «узнавание» или неузнавание в данном контексте? Может, осознавая, кто она такая, но находясь с ней рядом, он не понимал, что она — его мать. Как мать он воспринимал ее тогда, когда видел вместе со своим братом или сестрой, — никто ведь не утверждал обратного. Проявлялось понимание статуса или репутации человека, которого зовут «мама». Если же он

не узнавал ее, тогда она по определению не могла быть его матерью, как и в случае, когда он понял, что звонит его девушка: признания личных отношений не было. Его не было и в изначальной гипотетической ситуации: как же он, не узнавший мать, мог быть ее сыном? (Родственники, кажется, считали, что Том слишком мал, чтобы смерть матери имела для него большое значение.)

Андре Грин предположил, что отсутствие есть предпосылка фантазии¹. Собственное отсутствие в момент зачатия становится поводом для сновидений о первичной сцене. Я хочу подчеркнуть дилемму отсутствия себя в мире, эту простую, но сверхординарную озадаченность детства, что мир существует без нас. Кто-то или что-то дает человеку место в этом мире. Они меня видят, поэтому я существую; я закрываю глаза, и вы меня не видите; вы меня не видите, потому что я не вижу мир, — это самая ранняя версия игры в прятки, свойственная маленьким детям. Не потому ли у нас возникает ощущение защищенности в знакомых местах и незащищенности — в незнакомой обстановке, что мы не только связаны с привычными предметами, но и чувствуем, будто знакомое окружение видит нас там, где незнакомое — не видит? Здесь можно отметить переключку с теориями Д.У. Винникотта и У.У. Биона о важности сдерживающего окружения, а также с пересмотром их идей в работах Макса Эрнандеса. «Признание» выступает как чрезвычайно важное понятие в концепции Д.У. Винникотта. Возможно, моя интерпретация опыта Тома всего лишь подтверждает их наблюдения, но уж точно им не противоречит. Однако мне бы хотелось проанализировать трактовку и процесс признания с точки зрения его катастрофической неудачи. Полагаю, что так можно получить полную картину и сформулировать новые вопросы, которые расширят теорию реакции на травму.

В отличие от фрейдистской или лакановской концепции в теории объектных отношений здоровое, нормальное развитие является основной методологической посылкой. Но что произойдет, если вместо фиктивной «нормальности» к объектным отношениям применить методологию Фрейда, основанную на вопросах об «анормальном», или патологическом? Релевантной формой «анормальности» в контексте признания будет аутизм. Ни мой пациент

¹ См.: *Green A.* «The Dead Mother». On Private Madness. Madison, CT: International Universities Press, 1986. P. 142–173.

Том, ни пациент М. Эрнандеса не страдали аутизмом, и мои сообщения возникли на иной почве. В основе аутизма, вероятно, лежит катастрофическое непризнание. Страдающий аутизмом воспринимает себя и воспринимается окружающими как чужой. Меня озадачивает, что такой выдающийся психолог, как Франсис Тастин, в самом конце своей жизни пришла к выводу о том, что у аутизма должно быть биологическое основание. Вполне вероятно. Пока это не было ни доказано, ни опровергнуто. И тем не менее по ряду причин, часть которых имеют отношение к изучению травмы, биологическое основание аутизма все же кажется излишним. Это не значит, что опыт аутизма или даже наблюдение за ним не могут мыслиться как следствие проблемы, которая настолько фундаментальна, что кажется биологической. Я утверждаю, что именно так и происходит.

Макс Эрнандес полагает, что теории травмы часто возвращаются к нейрофизиологическим моделям или научным формулировкам, основанным на физике. Это озадачивает, если мы будем понимать под исходной травмой событие взлома. О какой биологической казуальности может идти речь, когда мы имеем дело с изнасилованием или смертью матери либо с возможными последствиями этих событий? Почему тогда теории травмы — вопреки исходным намерениям — возвращаются к биологическим моделям? Я не верю, что мы не в состоянии осмыслить психическое на этом уровне опыта. Наоборот, я считаю, что это происходит потому, что уровень опыта и *есть* биологический уровень. Мы вовлекаемся в естественнонаучные объяснения потому, что они перекликаются с нашим экзистенциальным опытом.

Фрейд, Лакан, Грин, Эрнандес и многие другие говорили и писали о зиянии (*trou-ma*), взломе или крайней зависимости (которая вызывает необходимость сдерживающего окружения) как об условии либо выражении травмы. Однако возможно и обратное: подобные зияния и разрывы возникают лишь в контексте исходного непризнания, которое до определенной степени — удел любого человека, но которое может быть ненормально или разрушительно сильным. Незнание Тома Брауна умирающей матерью могло быть травматичным, поскольку во время длительной болезни матери он воспитывался нянями и уже тогда не был до конца уверен в том, действительно ли он — ее сын. Первичным вопросом для него мог быть такой: кто я для этого человека / мира, который передо мной? И позднее: этот человек — друг той женщи-

ны, этот ребенок — ее сын / дочь, но кто тогда я? Это «кто я?» — не вопрос самодостаточной идентичности, а скорее попытка опередить свою местоположенность. Достаточно хорошее материнство, которое Д.У. Винникотт характеризует как ключевой фактор психического здоровья, способствует становлению «подлинного я», но не гарантирует категориального знания и не дает ощущения своего места в мире; оно не локализует личность, не фиксирует родство и не указывает на то, какое место можно занять в этом мире. Няня Тома Брауна, например, наверняка заботилась о нем «достаточно хорошо» — ложного «я» у него не сформировалось, — однако, несмотря на это, Том не понимал своей местоположенности в этом мире.

Джеймс Стрейчи разбирает процессы чтения и письма в терминах материнского тела¹. И между предчувствием Тома, связанным с неузнаванием матери, и его неспособностью писать есть определенная связь. Вместе с Томом мы попытались понять, в какой степени его неспособность писать может быть проявлением его подавленного влечения к матери. Более насущным, однако, было его отождествление со смертью матери, нежели подавление, связанное с ее жизнью. Когда она умерла после операции на головном мозге, Том стал носить капюшон на голове, словно тот был повязкой из бинтов. Он не расставался с этим «шлемом безопасности» — метафора, которая сгустила потрясение, вызванное смертью матери, в отождествление с ней. Если я — это ты или он — это она, тогда тебя, ее, «другого» невозможно вспомнить, поскольку дистанция между двумя понятиями недостаточна. Похоже, что в сознании Тома он и его мать стали метафорами друг друга. Я полагаю, что предпосылка истерической реакции связана с аутизмом; аналогично строится и реакция на травму: позиция в данном случае есть аутическая позиция непризнания².

У признания есть ряд аспектов. Я считаю, что во время травмы происходит безвозвратное разрушение определенного, ключевого аспекта признания. Иными словами, момент взлома защитной оболочки — это только способ проникновения на этот человечес-

¹ См.: *Strachey J. Some Unconscious Factors in Reading* // *International Journal of Psychoanalysis*. 1930. № 11. P. 322–331.

² Этим тезисом я обязана работам и беседам с Поли Витторини. См. ее неопубликованную рукопись: *Vittorini P. Self and Attachment in Autism* (Кембриджский ун-т, фак-т социологии и политологии. Июнь, 1998).

кий уровень потребности в признании. Отвечая на вопросы о разрушительных последствиях блицкрига во время Второй мировой войны, жительница Лондона, пострадавшая от бомбежек, так и не произнесла ни слова о бомбах. Вместо этого она без остановки жаловалась на соседку, которая так и не вернула одолженный фунт чаю, — случай, демонстрирующий похожую неспособность к признанию¹. Неприятие тела человеком, с которым взаимодействует новоявленный аутист, является отрицанием возможного ощущения себя, отрицанием того, что Фрейд называл «телесное эго». Оно предшествует языку, являясь первоосновой психического существования человека. В любом человеке травма может пробудить к жизни какие-то стороны аутических состояний, потому что определенная степень отрицания тела, ощущение тела как чего-то чужеродного есть, вероятно, человеческий удел. Юлия Кристева пишет об «отвращении», описывая это с точки зрения того, кто отвергает². Аутизм же — перспектива отверженного.

2

Миссис Питерс попросила меня назвать ей части ее тела. Она не ожидала, что я (или кто-то еще) сможет узнать ее вне пределов таких четко очерченных признаков, как время приема, на которое назначались наши сеансы. Если она приходила в другой час, то была уверена, что я ее не узнаю. Миссис Питерс жила в состоянии современного холокоста: каждую минуту она находилась в состоянии страха перед смертью, своей собственной или чьей-либо еще. Я начала бояться, что ее безрассудное поведение может стать самоубийственным. Впрочем, ее особенности навели меня на мысль о детях, склонных к несчастным случаям. К тем подросткам, которые постоянно идут на риск, чтобы насторожить очевидцев, привлечь их внимание к тем явлениям в окружающей среде, что вызывают тревогу у этих подростков, сформулировать которую они пока не в состоянии. Миссис Питерс была подростком, когда погиб ее отец — вероятно, в ходе жестокой ссоры. Как и многое в ее

¹ Из личного опыта психоаналитика Энид Балинт, общавшейся с теми, кто пережили войну.

² См. подробнее: *Кристева Ю.* Силы ужаса: эссе об отвращении / Пер. А. Костиковой. СПб.: Алетейя, 2003. — *Прим. пер.*

жизни, знание об этом событии вызвало не столько эмоции, сколько чувство неопределенности и запутанности. В детстве миссис Питерс жила в среде, где алкоголь был под запретом; но ее отец, вместо того чтобы стать почтенным старцем, стал ярко выраженным хроническим алкоголиком.

Тем не менее причиной травмы был не сам ужас жестокой, разобщенной семьи, а иной случай. Когда миссис Питерс было два года, ее мать на три года ушла от мужа, забрав с собой детей. Похоже, будучи ребенком, миссис Питерс обожала своего отца. Для маленького ребенка трехлетний разрыв был слишком длительным, чтобы сохранить в памяти ранние воспоминания о нем. Когда она вернулась домой, перед ней был уже чужой человек. Раз ее отец был чужаком, она не могла воспринимать себя его дочерью. Во многих аспектах отношение миссис Питерс к языку и травме соответствует ранним психоаналитическим трактовкам симптомов истерии. Когда отец умер, миссис Питерс, недавно родившая одного из своих многочисленных детей, пришла, по ее воспоминаниям, в комнату и в одиночестве несколько часов простояла посредине в состоянии транса. Отца, которого, считала она, ей предстояло *нести* по жизни как свой крест, больше не было. Как могла она *вынести* эту ношу освобождения? *Вынося* много детей, миссис Питерс решила, что точно так же она *выносит* и своего отца. В ее фантазии она хранила отца-гомункулуса в животе, приравненном ею к матке.

Фрейд, отталкиваясь от своей работы с Шарко по изучению истерии (и от своего расхождения с этим подходом), равно как и от своего скрупулезного и всестороннего изучения афазии, сначала связывал травму с симптомом, имеющим форму языкового выражения. Это подразумевало, что метод лечения можно найти, также прибегнув к языку. Образы, которые наполняли сознание миссис Питерс, очень сильно напоминали ранних пациентов Фрейда, который просил их описывать увиденное. Утверждение, что истерия может быть следствием травмы и, соответственно, может вылечиваться с помощью языковых средств, вовсе не тождественно вопросу о характере воздействия травмы *на* язык. Тем не менее, судя по всему, исходное решение заслонило собой последующую проблему. Сколько читателей вспомнят, что самым тревожным симптомом, приведшим Дору (Иду Бауэр) в 1900 году к Фрейду, была ее афония, т.е. ее неспособность произносить слова? После того как она прекратила лечение, у нее случился приступ афонии, длившийся шесть

месяцев. Это был один из тех двух симптомов, с которыми она вновь обратилась к Фрейду. Рецидив не получил ни внимания, ни объяснения (тогда как второй ее симптом — «лицевая невралгия» — через язык был связан с тем, что в прошлом Дора ударила по лицу господина К.). Если речь — это новое «лечение разговором», то отсутствие и искажение речи, похоже, превращает ее в симптом¹.

Симптом — это возвращение к телесному знанию. Однако часто забывают, что самые ранние формы речи имеют телесную природу. Миссис Питерс удалось объяснить мне, что я ей нужна для того, чтобы рассказать ей то, чего она сама не знала. Она не знала, что ее рот называется ртом, ухо — ухом и т.д. Она также призналась, что наша беседа пролетала сквозь ее сознание, как пуля. Схватывая слово на лету, она пыталась удержаться за него и выстроить на его основе подходящий ответ. У нее была развитая фобия в отношении целого ряда слов и фраз. Иногда, если ей не удавалось заблокировать нечто мною сказанное, использованное мною слово или ее ассоциация могли ввести ее, лежащую на кушетке, в состояние разрушительного эпилептического припадка. Эти припадки были вызваны словами, которые она не могла ни произнести сама, ни позволить их произнести кому-то еще. Такие слова, как, например, *хотеть*. Язык был для миссис Питерс тайным, но реальным театром карнавальных соблазнов. Слова обладали физическим качеством, часто они являлись половыми актами. Мелани Кляйн хорошо это разъясняет на примере детского чтения и письма: «Для Фрица точка над “i”, такая же, как при обозначении конца предложения и точки с запятой, была толчком пениса... У девятилетней Греты изгиб буквы “u” отождествлялся с тем, как мочатся маленькие мальчики»². На мой взгляд, не все лингвистические реакции на травму имеют сексуальную подоплеку. Чтобы слова получили сексуальное наполнение, их необходимо оторвать от их обычных референтов.

В своей книге «Театр тела» Джойс Макдугал описывает пациентов с психосоматическими нарушениями, которые сохранили способность говорить: «В случае с пациентами, у которых наблюдаются серьезные соматические проблемы, очень часто суще-

¹ Greenberg V.D. Freud and His Aphasia Book: Language and the Sources of Psychoanalysis. Ithaca, NY: Cornell UP, 1997.

² Klein M. The Role of the School in the Libidinal Development of the Child // Klein M. Love, Guilt and Reparation, and Other Works, 1921–1945. London: Hogarth, 1975. P. 66.

ствует псевдонормальная коммуникация с остальным миром (напоминающая понятие “ложного я” Д.У. Винникотта). В рамках такой коммуникации слова и даже сам язык стремятся к освобождению от своего эмоционального наполнения — по крайней мере в той части личности, которая постоянно пытается избавиться от признания базовых тревог с психотическим подтекстом»¹. В случае с миссис Роуз псевдонормальная коммуникация действительно имела место. Однако выражалась она не в том, что слова освобождались от эмоций; скорее наоборот: они были наводнены эмоциями. Она часто утверждала, что я сказала нечто, чего я точно не произносила. Свою правоту она доказывала мне посредством воспоминаний о том, какую боль, радость, мучение или возбуждение вызвали у нее мои слова. Разумеется, все мы воспринимаем слова эмоционально, но для миссис Роуз такое восприятие слов, кажется, было единственно возможным. Сама она говорила не без чувства, но пользовалась современным жаргоном, как если бы ее язык не вполне ей принадлежал. Полагаю, что причиной тому было стремление избежать чрезмерных эмоций, что влекли за собой наши разговоры. Но и язык ей не принадлежал.

Довольно долго миссис Роуз снились только образные сны — не только без сюжетной основы, но и без контекста; ее ассоциации казались неубедительными, даже фальшивыми, и никогда никуда не вели. Например, ей могла присниться одна парная сержка, что оставляло нас обоих в подвешенном состоянии. Младенец воспринимает образы и звуки одновременно. Если мы понимаем под сновидениями «регрессию» к визуальному, то их регрессивность — лишь по отношению к позднейшей вербализации; регрессия может быть скорее альтернативным типом репрезентации, не обязательно более примитивным по сравнению со словесным. Вынужденная немота может привести к господству другого чувства: немота была единственным преобладающим психиатрическим симптомом покалеченных британских солдат времен Первой мировой войны. Солдаты также чрезвычайно страдали от кошмаров, которые нельзя было *передать словами*. Образные представления миссис Роуз не были кошмарами — они скорее были изолированными единицами². Вилфрид Бийон описывал

¹ McDougall J. Theaters of the Body: A Psychoanalytic Approach to Psychosomatic Illness. NY: Norton, 1989. P. 30.

² В лингвистике «изолят» имеет два значения: 1) язык, на котором никто не говорит, утраченный язык; 2) слово, на котором останавливаются в процессе словесной ассоциации. — *Прим. пер.*

«атаку на связность» как шизоидный механизм. Больной не хочет знать о связях. Образы из снов миссис Роуз были свидетельством невозможности установить связи между ее мыслями. Побуждая пациента описывать сновидения словами, мы делаем то, что обычно считается поступательным движением: слова имеют смысл только в соотношении друг с другом, как цепочка означающих. Именно с такой точки зрения визуальное измерение сновидений становится регрессивным.

Впрочем, до того как госпоже Роуз начали сниться вербализуемые сны, нечто произошло со мной. Визуальные образы транслировались как словесные знаки — не буквально каждый, как в случае с сержкой, которая переводилась как «подвешенное состояние», а как форма общения. Неоднократно отмечалось, что, вытесняя значение определенных слов, пациент-истерик переживает при этом связанное с этими словами чувство, которое проявляется в телесных симптомах: идея подавлена, но тело хранит чувство¹. Поэтому резкое выражение может восприниматься как «пощечина»: его значение вытеснено, а аффект переносится в лицевой тик. Миссис Роуз помогла мне понять, что бесчувственная речь, как в случаях, описанных Джойс Макдугал, либо то, что я определяю как «необжитая речь», указывают, что эмоции могли бы содержаться в словах, если бы они могли быть произнесены. Вместо этого устанавливается разрыв или дистанция, в результате чего миссис Роуз «выговаривает ЯЗЫК», по выражению истеричной поэтессы Энн Секстон. На самом деле предположение о том, что тело хранит чувство, а бессознательное — подавленную идею, лишь сохраняет картезианский раскол, воспроизводя его в иной форме. Практика психоанализа отрицает свою собственную теорию: интерпретации, сделанные для пациента, могут иметь терапевтическую силу лишь тогда, когда они и «прочувствованы», и поняты.

Психосоматические симптомы нередко путают с симптомами конверсии. В ситуации психосоматического нарушения тело и сознание воздействуют друг на друга, как во фразе «чтобы простудиться, необязательно быть в депрессии, но это помогает». При наличии истерического симптома конверсии, строго говоря, тело разыгрывает мысль, которая желанна и в то же время запрещена.

¹ Freud S. On the Psychical Mechanism of Hysterical Phenomena // The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. 24 vols. / Trans. J. Strachey. London: Hogarth, 1953–1974. Vol. 3. P. 25–39.

Налицо конфликт, напряженность между идеей и аффектом, стремящимися к тому, чтобы быть осмысленными и прочувствованными, и — усвоенным запретом, который препятствует этому. На мой взгляд, при симптомах конверсии данный конфликт часто актуализируется посредством как сознания, так и тела. Иными словами, симптом конверсии не связан с переводом сознательного в телесное; сознание и тело действуют заодно. Если реакция на травму активизирует материал ретроспективно, то миссис Роуз может служить наглядным примером для понимания ее отношения к языку. До болезни отца госпожа Роуз, умная молодая девушка, считала невозможным научиться читать. В школе обучение строилось по методу «покажи и расскажи», а потому она просто не видела причин, по которым те или иные слова должны соответствовать тем или иным объектам. До некоторой степени миссис Роуз, конечно же, была права. Как это нередко случается в западном мире, где дислексия подобна эпидемии, читать с помощью этого метода она так и не научилась. В конце концов участливая соседка научила ее читать фонетически, что убедило миссис Роуз в том, что настойчивость — основа обучения.

Обучение можно противопоставить пониманию. Как правило, учеба у нас привычно ассоциируется с чем-то вроде математических таблиц, но на самом деле научиться можно всему, хотя объем знаний, полученный таким образом, безусловно, конечен. Компьютеры представляют модель обучения, но не понимания. Языку мы и обучаемся, и понимаем его. В состоянии афазии, полученной естественным путем — т.е. при утрате языка из-за какой-нибудь физической травмы, — в первую очередь теряется язык, который был выучен позднее. Любопытно, что к истерической афазии это не относится. Анна О., пациентка Брейера, говорила по-английски, когда забыла свой родной немецкий. Конечно же, различие между обучением и пониманием в любой сфере, в особенности в области языка, не носит абсолютного характера. Однако в общем и целом понимание является более характерной человеческой особенностью, подразумевающей усвоение определенных социальных правил. Нарушение правил будет восприниматься как повод для наказания в сознании, а не на практике, как в заученных ответах. Это подобно различию между собакой, которая, утащив что-то, боится побоев, и ребенком, который не крадет, поскольку знает, что так поступать нехорошо. У запрета может и не быть никакого основания, он может просто восприниматься как общепринятый

запрет. Фонетическое обучение чтению сродни попыткам научиться произносить слова, подражая окружающим звукам, тогда как наглядный метод «покажи и расскажи» либо «покажи и скажи» предполагает признание условного и произвольного.

Неудача в овладении навыками чтения, обусловленная восприятием слов как представлений, предшествовала травме, полученной миссис Роуз в результате смерти отца. Учитывая, что она уже испытывала неспособность принять утрату (утрату, необходимую для репрезентации), могла ли ее реакция на смерть отца быть травматической? К моменту смерти ее отца миссис Роуз была уже хорошо вооружена, как будто она уже пережила случай или ситуацию травмирующего характера ранее. Однако когда ее отца увезли умирать в больницу, миссис Роуз, по ее воспоминаниям, рухнула без сил на его кровать. По ее ощущениям, она стала кроватью, пытаясь слиться с ней. Она стала кроватью и отцом одновременно. Тогда же ей было сказано, что она никогда больше не увидит своего отца. Для миссис Роуз язык имел буквальное значение. Как и Том Браун, своего отца она никогда уже больше не «увидела», в любом смысле этого слова. Поскольку после его смерти она никогда не могла его вспомнить или увидеть его мысленно. Вокруг возбуждения, связанного с избавлением от отца, сформировался конфликт, а отсюда, в ее президиповом фаллическом Я, — непризнание угрозы кастрации. Она стала «отцом», которого нельзя увидеть, а потом стала мертвым отцом — во время обмороков, которые, как и эпилептические припадки миссис Питерс, случались у нее довольно регулярно.

3

В возрасте около девяти лет миссис Питерс приняла интеллектуальное решение: поскольку все вокруг постоянно твердили, что этот мужчина был ее отцом, то ей стоит с ними согласиться. Это решение равнозначно неспособности миссис Роуз научиться читать. Сходным образом миссис Питерс испытывала трудности с принятием произвольного. Миссис Питерс и миссис Роуз представляют собой две стороны одной медали: миссис Питерс сделала произвольность функцией своей воли, что, разумеется, является терминологическим противоречием. Согласившись признать произвольную посылку, что человек, считающийся всеми ее отцом,

и есть ее отец, миссис Питерс тем не менее полностью контролировала ситуацию, выступая ее хозяйкой, а не заложницей. В итоге исходная посылка теряла свой смысл. Когда же миссис Питерс стала осознавать, что у слов есть референты и наоборот, она впала в косноязычие и безмолвие. В конце концов она смогла мне рассказать, что видит слова в своей голове, но не может их оттуда извлечь. Она заявляла, что ее переживания должны быть очень близки insultu. От языка, лишенного референтов, к онемению ее подтолкнуло осознание того, что я думаю о ней в ее отсутствие. Для нее это стало ужасным потрясением. И миссис Роуз, и миссис Питерс были также уверены в том, что я думаю о них беспрестанно. Миссис Роуз говорила со мной о людях и событиях, о которых я не имела абсолютно никакого понятия, словно мне они были так же хорошо знакомы, как и ей (такое допущение нередко создается аналитической ситуацией, но в ее случае оно было чрезмерным и навязчивым). Это было лишь видимым несоответствием тому шоку, который возник у них при мысли, что я думаю о них в их отсутствие. Если я никогда не расстаюсь ни с одной из них, тогда, по мнению каждой из них, думать о них в их отсутствие я просто не могу. Чтобы думать о них в их отсутствие, я должна была бы осознавать, что мне не до конца известно то, чем они заняты и чем наполнены их мысли, то есть признавать, что они и я — отдельные существа.

Чего миссис Роуз не могла принять, так это того, что, хотя приписывание слова предмету происходит на общепринятой, но произвольной основе, это приписывание требует признания. Неприятие этих произвольных отношений означало отсутствие разрыва между словом и предметом. В случае миссис Роуз слово и предмет не отождествлялись друг с другом, как это происходит при классическом психозе. Миссис Роуз скорее настаивала на том, чтобы слово и предмет были тождественны, и никак не могла понять, почему они не должны совпадать. С точки зрения психологии развития это можно соотнести с областью, где ребенок составляет, по выражению Ханны Сигал, «символические уравнивания»¹. Здесь важно то, что слово, которое должно отождествляться с предметом, не может также быть и репрезентацией. Репрезентация основана на разъединении. Миссис Питерс утратила речь (стала афоником),

¹ См.: *Segal H. Notes on Symbol Formation (1957) // The Work of Hanna Segal: A Kleinian Approach to Clinical Practice. NY: Aronson, 1981. P. 49–65.*

когда восприняла меня отдельно от нее самой (а также наоборот), одновременно воспринимая слова как репрезентации чего-то, с чем они не совпадают. Слова больше не равнялись своим предметам.

В случае с Дорой Фрейд, полагая, что она влюблена в господина К., объяснял симптом ее афонии тем, что в отсутствие господина К. у Доры не было потребности говорить — вместо этого она писала. Хотя Фрейд не объясняет ее вторичную афонию, проявившуюся уже после лечения, предположительно эта интерпретация может быть перенесена и на аналитика. После расставания с Фрейдом у Доры снова пропала потребность говорить. Однако текст указывает нам на нечто другое: во сне Доры ей, в ее отсутствие, пишет ее мать, которая сообщает, что Дора может приехать домой, поскольку отец умер. Травма, приводящая к немоте, способна также побудить к отождествлению со смертью.

У миссис Роуз память становилась экраном: ее отец был разно-рабочим, и в детстве она помогала ему после работы вытрясать брезентовое покрытие. Сцена стояла у миссис Роуз перед глазами: она держит брезент за углы с одной стороны, брезент встряхивают, летят стружки и мусор. Два других конца брезента тоже вздрагивают, но их никто не держит. Она никак не могла мысленно представить своего отца. Миссис Роуз не могла увидеть своего отца, потому что абсолютно буквально восприняла слова о том, что больше никогда его не увидит. Слова были метафорами предметов, а не репрезентациями. Если считать, как я предлагаю, психотическое «конкретное мышление» процессом транссубстанцииции, в рамках которого хлеб и вино *есть* тело и кровь Христа, тогда это травмированное или, как я считаю, истеричное мышление, которое я буду называть «буквальным мышлением», является процессом консубстанцииции, и в его границах хлеб и вино *как будто* приравниваются к телу и крови.

Обмороки миссис Роуз по смыслу сопоставимы с «эпилептическими» эпизодами миссис Питерс: взволнованное переживание смерти. У миссис Роуз не наблюдалось ни афонии, ни афазии, однако во время обмороков у нее пропадала речь, что предполагало подобие смерти. Рождение миссис Роуз сопровождалось несколькими значимыми смертями, напоминающими условия, которые порождают то, что Андре Грин назвал мертвой матерью. Когда скончался отец, его смерть могла бы вызвать в памяти ранние, непонятные смерти, сопровождавшие миссис Роуз с рождения и младенчества. Однако эта более поздняя смерть, которую —

учитывая возраст миссис Роуз в то время — она должна была бы запомнить и осознать, воспринималась ею, как и раньше, — психически. Данный опыт имел лингвистические последствия: она научилась языку, но не смогла полностью его освоить. Человек, отождествляемый с непонятной смертью, не может быть жив и в речи тех, кто о нем говорит. В первую очередь это выражается в непонимании произвольной связи между объектом и знаком. Смерть, как и рождение, — это проявление крайней степени произвольности.

Травма производит взлом, который опустошает личность. Возможно, после удущья опустошенности приходит гнев или ненависть — отождествление с жестокостью шока. В таком состоянии жить нельзя, и очень часто от него избавляются, возвращаясь позднее уже к обманному, или псевдосостоянию. Меня в данном случае интересует место языка в реакции на травму в контексте исцеления речью. Я кратко описала, как в случаях с миссис Роуз и миссис Питерс у слов не было связи с их референтами. Вот как сформулировал эту ситуацию другой мой пациент: «В конце дзен дерево есть дерево. Надеюсь, что так будет и в конце анализа. Но меня беспокоит то, что в начале дзен дерево все так же есть дерево, а до начала анализа дерево деревом не является». Я полагаю, что страдающий от травмы уходит от реальности на уровне своего языка. Однако потом нечто наделяет этот язык энергией, в результате чего появляются два языковых уровня. На уровне устной речи язык предстает сымитированным согласием либо навязчивым повторением прежде услышанного. Он может принимать форму жаргона, плагиата или же, как в случае с миссис Питерс, быть нанизыванием правдоподобных предложений. Поскольку смысла у такого языка нет, пресловутая ложь истерика легко вписывается сюда тоже. Такой язык — псевдосимволичен. Второй уровень имитативного, или псевдосимволического, языка имеет референты, но я считаю, что они имеют сексуальную подоплеку.

Миссис Роуз было одиннадцать лет, когда ее отец скончался от редкой и ужасной болезни. За отцом ухаживали дома — скорее по материальным причинам, нежели из-за обеспокоенности его состоянием. Перед самой смертью он совсем потерял рассудок. Миссис Роуз помнит только, как желала его смерти. Миссис Питерс постоянно желала смерти своему отцу. Это — сценарий, который описывает Фрейд при анализе причин истерической эпилепсии Достоевского. Во время приступов Достоевский становился сво-

им убитым отцом: теперь ты тот отец, которым ты хотел быть, но — мертвый отец. В сновидениях Доры, вероятно, был тот же конфликт: у тебя может быть тот же уровень интимности отношений с матерью, что и у твоего отца, но только пока ты так же молчалива, как и он — в смерти, которую ты ему желаешь.

Важность создания порядка и ясности посредством называния объектов обсуждается широко, но порядок и беспорядок в опыте человека — процессы взаимозависимые. Миссис Питерс наверняка ощущала себя подчиненной беспорядку ее неназванных органов, но она также и воспроизводила это состояние в качестве средства предотвращения еще большего беспорядка. Только когда в моем присутствии она почувствовала себя в безопасности, беспорядок меньшей степени — состоящий в неназванном рте, носе и т.д. — дал себя знать. Джемма Корради Фьюмара, отмечая, что обретение языка происходит в социальном контексте объектных отношений, хорошо описала суть этого процесса:

Даже нападки на символические связи, а именно попытка вызвать спутанность и разрывы (о которых сообщают при более серьезных формах душевной патологии), может парадоксальным образом обернуться активным усилием по организации; усилием более предпочтительным, нежели пассивное подчинение непонятным ситуациям. В данном случае именно субъективное ядро Я оказывается автором беспорядка, в противоположность его поглощенности тем, что воспринимается как хаотическая среда¹.

Этот процесс происходит по-разному у разных людей. Для миссис Питерс сохранение контроля над беспорядком было, безусловно, важным, но важным было и возбуждение, получаемое от создания путаницы. Травма, таким образом, оказывается перевернутой с ног на голову: от боли возникает удовольствие, и эротизации подвергается то, что было сфальсифицировано, как отмечает В. Бюн².

С точки зрения человеческих отношений способность к символизму зависит от того, может ли индивид поместить себя на

¹ *Corradi Fiumara G. The Symbolic Function: Psychoanalysis and the Philosophy of Language. Oxford, UK: B. Blackwell, 1992.*

² См.: *Bion W. Attacks on Linking (1959) // Second Thoughts. NY: Aronson, 1993. P. 93–109.*

место, с которого он может видеть себя в связи с другими. Том Браун, миссис Роуз, миссис Питерс — все они испытывали трудности с определением такого места, поскольку родитель, который мог бы указать им их местоположенность, умер и был воспринят не как самостоятельный объект отношений, но как объект подражательной идентификации. Проще говоря, ни один из перечисленных пациентов не мог представить, насколько тяжело родители переживают потерю ребенка, — их личные травматогенные состояния непризнания, пережитые в прошлом, оказались слишком серьезными. Несимволизируемое отсутствие становится выходом в ситуации, когда не сформировано представление о том, что другие могут испытать, утратив тебя. Все трое страдали либо из-за того, что их было «слишком много», т.е. они заполняли все возможное пространство, либо из-за небытия, слияния с окружением. Соответственно, не осознавая чужую утрату, они были не в состоянии понять, что означает для других жизнь без них. Им была недоступна игра присутствия и отсутствия, существования и несуществования — знание того, что, несмотря на пребывание в этом мире, они потеряны для своих скончавшихся или брошенных родителей. Их языковые конструкции казались нормальными, но без этой точки зрения любая символизация становится псевдосимволизацией.

4

Потеря в форме кончины или ухода стала событием, подтолкнувшим моих пациентов назад к стадии не-рефлексивности, или к положению перед расколом, с помощью которого они могут воспринимать себя как субъекта, отличного от родителей. Событие взлома стирает Я, которое затем выживает, следуя старым моделям, для которых признание сколь необходимо, столь и труднодостижимо. Прежняя модель может быть лишь повторена или самовоспроизведена. Она не способна измениться, поскольку не может восприниматься в исторической перспективе, т.е. не может стать частью прошлого, стать тем, чем она в действительности является. Она используется как настоящее, потому что без нее настоящее было бы пусто. Но это прошлое-используемое-как-настоящее есть конкретизация стирания Я как жертвы: там, где личность взорвана событием, она должна представлять свое присутствие посредством прошлого опыта, в котором она была жертвой; статус жерт-

вы — единственный способ актуализации этого отсутствия. Того, что описанный Максом Эрнандесом пациент был изнасилован, никто в его окружении не заметил (этим непризнанием он, вместе со своим опытом, вычеркивался). Но своему психоаналитику он мог представить это, только рисуя себя жертвой нежелательного внимания. Винникотт утверждал, что такого явления, как ребенок без матери, не существует. То же самое можно сказать и о детстве. В ситуации нуклеарной семьи проблема состоит в том, как быть ребенком без родителя. Если родитель умирает или исчезает из семьи, кем или чем становится осиротевший ребенок? Это вопрос не идентичности, а местоположенности.

Ребенок, который не может понять, что потерял скончавшийся человек, может занять только позицию жертвы смерти; в этом контексте сирота — уже не ребенок, а человек, отмеченный смертью. Когда один из родителей умирает или уходит, то просьба об истории, адресованная ребенком второму родителю, кажется слишком интимной, слишком кровосмесительной; она равна вопросу об отношениях родителей между собой, а у ребенка нет точки зрения, которая позволила бы ему задать такой вопрос. Именно эти отношения потом становятся основой фантазии и устремлений ребенка, приводя к широкой сексуализации его окружения. Смерть или уход схватывают сексуальные отношения родителей во вневременном образе. Страдающему от травмы первичная сцена видится статичным образом, а не движущейся возможностью эдипова треугольника. Тома Брауна ужасала перспектива не узнать свою мать, если она (втайне от него) окажется живой. Он жаловался, что отец никогда не говорил с детьми о скончавшейся матери, что, возможно, было и правдой — все по той же причине чрезмерной интимности, которой была отмечена первичная сцена и для него. Мысль о том, что мать по-прежнему где-то жива, предполагает, что Том в этой части своего сознания не имел понятия о смерти, как это и свойственно детям. Будучи разрушен ее смертью, он отождествил себя с матерью (защитный шлем). Однако волнение о матери ему было недоступно, поскольку подобное волнение неизбежно повлекло бы за собой способность принять ее точку зрения — состояние, которое лишь кажется близким, но которое в действительности крайне далеко от той миметической идентификации, на которую был способен Том.

Письмо, в отличие от речи, предоставляет возможность подобной перспективы. Письмо связано с двумя этапами: описанное

Деррида восстановление присутствия следа, подавленного речью, и затем сам процесс письма, с которым этот термин обычно и отождествляется. Развиваясь как метод исцеления речью, психоанализ забыл, что его основатель «исцелял» собственную истерию не в ходе разговоров, а в процессе письма. Кроме книг, Фрейд писал *письма* Флиссу. Письмо может и не дойти до адресата; однако, отправив его, автор уже представил себя другому и таким образом занял позицию, с которой он может быть воспринят сам собой. Те, кто пишут с ощущением жизни, нередко обнаруживают, что они и не подозревали у себя наличия подобных мыслей и представлений. Я полагаю, что так проявляется подавленный след. Подобно тому как во время сеанса психоанализа пациентам очень трудно свободно ассоциировать из-за страха перед тем, что может проскользнуть после снятия цензуры, в писательском зажиме запрет работает как пограничник, преграждающий путь неведомой мысли; зажим эффективно выполняет защитную функцию.

Способность активно и непрерывно писать требует нового местоположения. Или же, наоборот, стремление писать может ускорить такую местоположенность. Воображаемый получатель письменного сообщения признает его автора. В случае Тома письмо означало бы не соитие с чистым листом материнского тела (Деррида, Стрейчи, Кляйн), а признание, что такое желание может проявиться, если бы осознавалась боль матери из-за утраты сына, вызванной ее смертью. Его и ее утрата не тождественны: его потребность в ней не следует путать с ее желанием его. Они оба могли бы желать друг друга, но желания умирающей матери и желание живого сына отдельные и различные. Вместо этого ее желание и его потребность оказались спутанными. Увидеть себя с помощью письма означало бы увидеть свою мать вместо того, чтобы быть своей матерью. Чтобы письмо выполняло рефлексивную функцию, должна осознаваться вероятность, что тот человек, которому адресовано это письмо, — не здесь. Говорить, когда никто не слышит, — «сумасшествие», писать, зная, что тебя могут и не прочитать, — «нормальность». Но это не значит, что нельзя писать и без этого знания.

Событие, производящее взлом, оставляет индивида без чувства признания. Человеческое развитие есть неравномерный процесс признания. С его отсутствием мы возвращаемся к нашим миметическим, идентификационным средствам — просто для того, чтобы «быть» где-то; языку, в не меньшей степени, чем телу, свойствен-

ны и органические, и миметические свойства. Страдающий от травмы будет говорить (а подчас и писать) нерефлексивно, переодевшись в чужие одежды. Рассказ может оказаться выдумкой, а слова — ложью, потому что их произвольная связь с референтами не признается. Таким образом происходит свободный круговорот означающих, в котором (пародируя лакановскую лингвистическую программу) слова ассоциативно сыплются друг за другом и ложь одного индивида провоцирует ложь в другом. Слова выступают как псевдосимволические, плагиаторские имитации или метафоры, в которых скорее передают, чем представляют. Миссис Роуз и Том Браун не могли видеть своего отца или мать перед своим «мысленным взором»; госпожа Питерс хранила своего отца как присутствие в животе. Слова можно использовать соизмеримыми способами: они могут быть метафорами, словно они предметы, а не символы.

В своем стихотворении «Сказал поэт психоаналитику» Энн Секстон дает хорошее описание слов, используемых скорее как предъявления, как уравнения, нежели как представления или символы:

Я занимаюсь словами. Слова словно наклейки,
Или монеты, или, что еще лучше, пчелиный рой.
Признаюсь, меня сокрушают начала вещей;
Будто слова сосчитали, словно дохлых пчел на чердаке,
Отдельно от их желтых глаз и сухих крылышек.
Я, должно быть, всегда забываю, как одно слово
Цепляется за другое, чтобы добыть что-то, что я могла сказать...
Но не сказала.
Ваше дело — следить за моими словами. Впрочем, я
Ничего не признаю...¹

Я полагаю, что, когда инцидент, несчастный случай, событие или ситуация взламывает защитную оболочку, индивид отбрасывается назад, к старым реакциям на неподвластные ему трудности, которые могли бы и не увидеть дневного света, сложились все иначе. Эти реакции — поведенческие, телесные, но также и лингвистические; для них характерен язык имитации, но также и язык конструкции первичного процесса. Сновидения работают не с

¹ *Sexton A. Said the Poet to the Analyst // Selected Poems / D. Wood Middlebrook, D. Hume George (ed.). Boston: Houghton Mifflin, 1988.*

РАЗЛОМЫ РЕЧИ

логикой вторичного процесса, но с тем, что Фрейд называл конденсацией, замещением и символизацией, а Лакан, переосмысливший их в терминах лингвистики, — метафорой, метонимией и символизацией. Травматический язык — это словесный вариант визуального языка сновидений, где слова являются метафорами, сравнениями и символическими уравнениями, обладающими статусом внутренних, но не сокровенных объектов, которые становятся выражением скорее чувства, нежели смысла.

Ирина Сандомирская

Мир наизнанку, жизнь на ощупь:

история маленькой О.

1. Плавка

...Чувствовал мировую внешнюю материю как раздражение собственной кожи... и ум его жил в страхе своей ответственности за всю безумную судьбу вещества.

Андрей Платонов «Счастливая Москва»

«Я уже давно подметил, что с первых лет жизни считал истинными множество ложных мнений... Сегодня же, когда я... освободил свой ум от всех забот и доставил себе обеспеченный покой в мирном уединении, я тщательно постараюсь уничтожить вообще все свои прежние мнения»¹. Так начинается философия. Немолодой мыслитель на досуге сидит у горящего камина с кусочком воска в руке.

[Воск] ...только что вынут из улья и еще не потерял сладости находившегося в нем меда; он еще сохранил кое-что от запаха цветов, с которых был собран; его цвет, его форма, его величина ясно видны; он тверд, холоден и гибок, и если вы по нему ударите, он издаст звук. Наконец, в нем встречаются все признаки, по которым можно наверное узнать тело².

Однако достаточно приблизить кусочек воска к огню — и «...вкус, остававшийся в нем, исчезает; запах испаряется; цвет

¹ Декарт Р. *Метафизические размышления* // Декарт Р. Избранные произведения. (Пер. с франц. и лат.) М., 1950. С. 335.

² Там же. С. 347.

меняется; форма утрачивается; величина вырастает; он становится жидким, нагревается; его едва можно схватить, и он не издает никакого звука, сколько бы по нему ни ударили»¹.

Превращение душистого, крепкого, приятного на ощупь воска: событие, насыщенное насилием. Оно возвращает нас к первому абзацу «Размышлений», где картина мирной медитации греющегося у камелька философа также внезапно подвергается вторжению радикального насилия: «*уничтожить вообще...*». Досуг и мирное уединение мыслителя оказываются сродни покою динамитной шашки, удобно размещенной в заранее вырытой ямке непосредственно перед взрывом: философ выбрал момент и место покоя в поисках возможности для радикальной отмены собственной, уже построенной мысли — так сносят старый город и на его месте возводят совсем новый, не утруждая себя текущим ремонтом ветхих построек (метафора Декарта в «Рассуждении о методе»²).

Готовность философа взорваться насилием по отношению к собственным «предрассудкам» отвечает готовности самого мира взорваться насилием и потерять образ, *обез-образиться* и *обез-видеться*. Это готовность твердого, белоснежного, душистого тела, звонко откликающегося на щелчок ногтем, превратиться в лужицу липкой жидкости без запаха, без цвета и без звука. «Этот (расплавленный) воск не был ни той сладостью меда, ни тем приятным благоуханием цветов, ни той белизной, ни той формой, ни тем звуком...»³. Мир, столь приятный на вид, на ощупь, на запах, созданный «старым мнением», как и этот изменившийся до неузнаваемости кусочек воска, обманывал. «...Какой-нибудь злой гений, настолько же обманчивый и хитрый, насколько могущественный, употребил все свое искусство, чтобы меня обмануть»⁴. Мир, как я его знаю, пропитан ложью. Надо взорвать, снести до основания свое знание — «радикально вынести за скобки», скажет в своих «Размышлениях» на тему Декартовых «Размышлений» Гуссерль⁵, — дабы очиститься от лжи, которой мир заразил меня через мои

¹ Декарт Р. *Метафизические размышления* // Декарт Р. Избранные произведения. (Пер. с франц. и лат.) М., 1950. С. 335.

² Он же. *Рассуждение о методе* // Декарт Р. Избранные произведения. С. 267–269.

³ Он же. *Метафизические размышления*. С. 348.

⁴ Там же. С. 340.

⁵ См. определение Э. Гуссерлем *epoché* как «воздержания», «вывода из игры», «заклучения в скобки» (Гуссерль Э. *Картезианские размышления*. (Пер. с нем.) СПб., 1998. С. 76–77.

«предрассудки». И в своем очистительном сомнении, в решительном жесте заключения в скобки — в *epoché* — философ не пожалеет ничего: ни неба, ни воздуха, ни земли, ни цветов, ни звуков, ибо все это, подобно приятности кусочка свежего, чистого воска, есть не что иное, как ловушка для доверчивости (скандальная к тому же: ср. греч. *skandalon* — западня, крючок для приманки; о скандальности познания см. ниже): «Я стану думать, что небо, воздух, земля, цвета, формы, звуки и все остальные внешние вещи — лишь иллюзии и грезы, которыми он (злой гений) воспользовался, чтобы расставить сети моему легковерию»¹.

Латинский оригинал «Метафизических размышлений» содержит указание на конкретный метод насилия, который философ должен применить к миру для того, чтобы избавиться от наваждения: это *выворот наизнанку, лицом внутрь*, лат. *eversio, eversioni*.

Но задача выворота ложного мира наизнанку не проходит бесследно и для целостности самого философа, для сознания его собственной самоидентичности. Проект радикального сомнения подразумевает со стороны сомневающегося готовность изувечить себя: «Я буду считать себя не имеющим ни рук, ни глаз, ни тела, ни крови, не имеющим никаких чувств, но ошибочно уверенным в обладании всем этим»².

В ответ на демоническую лживость мира философ предъявляет собственное *cogito* в образе безглазого, бесплотного, бестелесного, без-образного субъекта. Это гипотетическое, ирреальное, монструозное создание, не существо, а один сплошной «дефект»³, создание, не имеющее ни зрения, ни слуха. Начала философии требуют радикальности в отношении собственной телесности.

Абстракция философского мышления, силой радикального сомнения выворачивающего мир наизнанку, а душу — телесными функциями наружу, воплотилась в реальность в воспоминаниях Ольги Ивановны Скороходовой (1914?—1982), в ее рассказах о самом начале страшного события в истории ее собственного познающего Я — события, которое превратило ее в безглазого, беззлого и безгласного ангела гиперболического сомнения: о наступившей в результате детской болезни полной слепоглухоте.

¹ Декарт Р. Метафизические размышления. С. 340.

² Там же.

³ Ср. употребление термина *дефект* в дефектологии; ср. также греч. *trauma*: рана, повреждение, поражение, катастрофа.

2. Феноменологическая редукция маленькой О.: Первый шаг от сна к «трудовому бдению»

«Вот какой ты, мир, на самом деле, — думала нечаянно Москва Честнова, исчезая сквозь сумрак тумана вниз. — Ты мягкий, только когда тебя не трогаешь!»

Андрей Платонов «Счастливая Москва»

Я буду называть *cogito* Скороходовой «маленькой О.».

Как-то летом, неизвестно точно, в каком именно году, — она утверждала, что в 1919-м, но в точности так и не узнала, как не узнала ни точной даты своего рождения, ни возраста, в котором ее постигло горе¹, — с маленькой О. произошло важное событие: жизнь сначала подвесила ее в небытии и как будто долго сомневалась, что с ней дальше делать; потом, со всей возможной радикальностью, жизнь вынесла самое себя за скобки, оставив маленькую О. совсем одну, в мире «длинной ночи», в мире «вечной темноты и тишины»².

Чем заболела маленькая О., также неизвестно, и рассказать было некому (истории болезни не сохранилось, а матери уже давно не было в живых), и впоследствии, восстанавливая в памяти порядок событий, она поняла, что, по-видимому, долго лежала без сознания и в бреду, и потому помнились ей только какие-то «пожары и огненные бешеные собаки» (1). Воспоминания кусочка

¹ О разночтениях в биографии Скороходовой см. Предисловие В. Чулкова к последнему изданию ее знаменитой книги: *Скороходова О.И.* Как я воспринимаю, представляю и понимаю окружающий мир. М., 1990.

² *Скороходова О.И.* Формирование ранних представлений об окружающем мире у слепоглухонемых детей (монография). Ч. 1: О себе. М., 1970. С. 5. Машинопись неизданной работы хранится в Лаборатории содержания и методов обучения детей со сложной структурой дефекта Института коррекционной педагогики Российской академии образования в Москве, зав. лабораторией проф. И.В. Саломатина. Я хочу выразить горячую признательность директору Института коррекционной педагогики Российской академии образования Н.Н. Малофееву, сотрудникам институтского архива и самой лаборатории за предоставленную возможность ознакомиться с рукописью. В дальнейшем ссылки на страницы этого произведения даны в тексте в скобках.

воска, вынутого из огня. Когда же она пришла в себя, то не узнала ни этого «себя», ни мира, в который возвратилась. Этот мир как-то странно померк и затих. Болезнь, отшумев-отыграв пожарами и бешеными собаками, унесла с собой и свет, и звук, а с ними и время и пространство и вообще все то, что в своей прежней жизни кусочек воска принимал за свои неотъемлемые атрибуты: цветочный запах, приятную плоть, белый цвет. Однако заметила она наступление *epoché* не сразу. Сначала *epoché* казалась просто странно затянувшейся ночью.

Однако... наступил день, когда я наконец поняла, что я слишком долго нахожусь в какой-то колеблющейся темноте с расплывчатыми пятнами и еще в каком-то странном состоянии — не то чтобы в полной тишине, но в каком-то «приглушении» различных стуков и звуков, которые доходили до моего сознания как нечто неясное, медленно возникающее и затем слабо звучащее в воздухе (1).

Пожары, видевшиеся ей в бреду, сожгли не ее самое, но мир вокруг; бешеные собаки пощадили маленькую О., зато разорвали на клочки вещи, привычно окружавшие ее с детства. Мир отказался являть себя, редуцировавшись до колеблющейся темноты, до приглушенно-замедленных звуков. Не сразу приходит понимание того, что мрак и тишина *означают* нечто, что они, будучи *отсутствием*, тем не менее *явлены*, что мрак и тишина — это *иконы* мира, вывернутого наизнанку, скобки *epoché*, знаки нового режима символической экономии — слепоглухоты:

Спустя некоторое время исчезло это ощущение «колеблющейся темноты» с «расплывчатыми пятнами». Однако я не сразу поняла, что все это *означало*. А означало оно многое: когда прошел период бессознательного состояния, я уже была незрячая, но, по-видимому, еще ощущала свет и слабо различала контуры находившихся вблизи меня предметов, но мое зрение так быстро ухудшалось, что контуры предметов казались мне только «расплывчатыми пятнами», не имевшими устойчивой формы.

Так, я припоминаю, что как-то вечером я еще видела светлое и «плавающее в воздухе» пятно в той стороне, где находилась горевшая керосиновая лампа. Но лампа ведь не «плавала», висела неподвижно. На следующий же вечер я уже не видела этого светлого пятна и подумала, что мать не зажигала лампу. Но когда я протя-

нула руку к лампе, то моментально отдернула ее от горячего стекла — лампа горела, но я уже не видела даже света. (1–2).

Впечатление затянувшейся ночи: маленькой О. кажется, что мир как будто заснул. Но то, что кажется сном мира, в действительности означает полное истощение ослабевшего его, мира, субъекта. Измученной болезнью маленькой О. никак не удастся удержать в себе присутствие мира: звучание мира то усиливается, то ослабевает, но стоит маленькой О. устать и перестать «прислушиваться», как мир замолкает совсем.

Голоса людей, различные стуки, шумы — тоже колебались в воздухе, то будто слабели, отдаляясь от меня, то усиливались, приближаясь ко мне. В действительности все это было не так: люди, кричавшие около меня, могли совсем не отходить, но мне очень трудно было находиться в постоянном напряжении и в состоянии «прислушивания». Когда наступала сильная усталость и снижалось внимание, мне казалось, что звуки «удаляются» от меня или же совсем исчезают (2).

В дальнейшем она будет видеть не глазами и слышать не ушами, а воспоминаниями — постепенно стирающимися зрительными и слуховыми образами, запавшими в память раннего детства. Память уже почти умерших зрения и слуха манит девочку обратно в свой обманчивый пленительный покой. Так и Декарта мучает «злой гений» воспоминаний о былой гармонии до «выворота наизнанку»:

И подобно тому как раб, наслаждавшийся во сне воображаемой свободой, боится пробудиться, когда начинает подозревать, что его свобода — только сон... точно так и я... страшусь пробудиться от дремоты из боязни, что *трудовое бдение* (выделено мной. — И.С.), которое последует за этим покоем... не будет достаточно даже и для освещения всего мрака затруднений...¹

Маленькая О. тоже рвется из своего нового состояния «прислушивания» и «трудового бдения» — обратно, в сон и покой, которые предоставлялись ей миром, (обманчиво) устроенным по принципам видимости и слышимости:

¹ Декарт Р. Метафизические размышления. С. 340.

Я не однажды широко раскрывала глаза в таких местах, где особенно припекало солнце, но солнечного света я не видела, а лишь ощущала его кожей.

Проверяя же себя в «слышимости» звуков, я начинала кричать, стучать и вообще всячески шуметь, я тоже ощущала звуки, но не слышала их (2—3).

Пленительные знаки желанного покоя в старом мире, в мире-рабстве, подчиненном декартовым «предрассудкам», — в мире, где «свет», «контуры», «звуки», «стуки», «голоса» надежно закреплены за постоянными вещами («керосиновая лампа», «мать», «люди»), — исчезают, снимаются со своих мест, отворачивают от девочки свое милое, привычное вещное лицо и поворачиваются к ней непредвиденно опасной стороной. Так горящая керосиновая лампа над обеденным столом исчезает из потухшего поля зрения, но возвращается резким ожогом пальцев ищущей ее руки. Мир, который раньше приветствовал маленькую О. домашними, материнскими образами и звуками, теперь как будто пытается прогнать ее, причиняя ей боль. Боль отныне — единственный надежный путеводитель маленькой О. в мире, единственный знак, который мир посылает ей как приветствие, как вызов и как предупреждение:

До болезни я, безусловно, смело бегала по комнате, не думая о том, что могу зацепиться за что-либо, опрокинуть что-нибудь, упасть и т.п. Но теперь я боялась идти вперед, ибо мне чудилось, что на каждом шагу меня подстерегают опасности и ямы, неровности на земле, заграждения, препятствия — и вообще все то, что может причинить мне боль, помешать мне продвигаться дальше и т.д. (10).

Опасности не чудились, а действительно подстерегали. Некогда мирный мир превратился в заговор злых вещей: печка нарочно становилась на ее незрячем пути и больно била углом, ведра кидались ей под ноги, чтобы свалить и обдать ледяной водой, стулья подставляли ножки, а стол, как драчливый теленок из страшного младенческого воспоминания, только ждал случая, чтобы повалить ее на землю и избить. Путь познания маленькой О. — траектория медленного движения по озверевшему, изменившемуся до неузнаваемости, озлобившемуся без всякой причины родному дому, с вытянутыми вперед руками, нащупывающими дорогу между ставшими чужими и неузнаваемыми, потерявшими свои имена и по-

стоянно меняющими размер, форму и, главное, место вещами, некогда простыми и дружелюбными, — этот путь проложен бесчисленными ожогами, ударами, синяками, занозами и слезами.

Однажды во время завтрака, думая, что я хорошо «представляю», где стоит чашка с чаем и что нужно как-то (сама не понимая как) помочь матери, я резким движением протянула вперед руку. Мать в этот момент подошла к столу с чайником, который, по-видимому, только что вынула из печи. Чай был очень горячий. Своим резким движением я нечаянно толкнула мать, и она случайно обварила мне правую руку.

Закричала ли я, заплакала ли? Этого я сейчас не помню, но помню, что мать куда-то поставила чайник, схватила меня на руки и, надо полагать, совершенно растерявшись в последнюю минуту, начала носить меня по комнате. Конечно, мне от этого не стало легче, и, вероятно, мы обе плакали. Потом, как будто о чем-то вспомнив, мать опустила меня на пол среди комнаты и пошла куда-то. Когда мать носила меня на руках, я не заметила, как она ходила по комнате: от сундука к двери или от стола к кровати, поэтому я не знала, в какую сторону мне идти, чтобы попасть к кровати.

Я пошла наугад, протянув вперед левую руку. Я наткнулась на угол лежанки, и хотя у меня очень болела правая рука, но я все-таки сразу представила то место, где стояла кровать, и направилась в ту сторону. Вскоре подошла мать с миской, в которой я обнаружила сырой картофель, нарезанный кружочками. Этими кружочками мать обложила мне руку в обваренном месте и чем-то завязала, чтобы лучше держались кусочки картофеля.

До сих пор я помню этот случай и, если иногда обжигаюсь, представляю свою мать на руках со мною, а потом прохладные кружочки картофеля. Правда, сейчас я никогда не прикладываю к ожогам нарезанный картофель, ибо не помню, стало ли мне легче от принятой матерью меры (19–20).

Для маленькой О. — начинающего философа поневоле, самой жизнью поставленного в точку тотального сомнения, — дальнейший жизненный путь становится *via dolorosa*, дорогой скорби, боли физической и моральной. Даже мать не в силах разделить одиночество этого пути. Наоборот, материнская любовь — инстинктивное объяснение в попытке утешить рыдающее дитя — оказывается тоже обманом, дезориентацией, так же как и попытка матери исцелить боль

ребенка, прикладывая к ожогу бесполезный картофель. Ожог на руке маленькой О. причинен не только кипящей водою из опрокинутого чайника, так же как и боль ее имеет иной порядок, нежелята, которую можно утолить немудреным домашним средством. О.И. Скороходова пишет об отчаянии матери холодно, как бы с высоты существования, бесконечно умудренного болью, которую нельзя разделить ни с кем: «не помню, стало ли мне легче...».

Потом наступило время декартова «трудоов бдения». Маленькая О. твердо запомнила, когда именно бессознательное состояние болезни сменилось первым, еще мало осознанным импульсом самопознания: нового понимания своего нового Я и нового места этого Я в новом, вывернутом наизнанку мире. Как будто усвоив феноменологические начала по Гуссерлю, маленькая О. твердо полагает единственно несомненную основу в собственном Я, радикально очищенном от представлений и явлений зрячего и слышащего детства. Начало мира она ощущает в себе, в своей способности или неспособности «прислушиваться», «напрягать внимание». Феноменолог поневоле, преданная миром, она тем не менее твердо стоит на том, что не она принадлежит миру, но мир, пусть он и выворочен лицом внутрь, все равно принадлежит ей (как трансцендентальному эго, сказал бы Гуссерль).

Мгновенное осознание всего этого феноменологического аппарата, понимание того, что «слишком длинная ночь» — это на самом деле не «настоящая ночь» (подчеркнуто О.С. — И.С.), приходит в «миг озарения», еще почти что в бессознательном состоянии, на пороге. Этот порог маленькая О. запомнила и впоследствии осознала как кризис и как начало. Примечательным образом для окружающих ее людей это начало отмечает собой конец: внезапно свалившееся на нее проклятие пожизненного «дефекта». Именно с этого момента — с мига озарения, за которым последует долгий путь познания, — начинается и *via dolorosa*: именно отсюда, с этого порога боль возьмет маленькую О. за руку и поведет вслепую, вглухую, неизвестно куда. Однако выросшая маленькая О. со всей определенностью вспоминает этот момент именно как возвращение к жизни, как перелом к новому, как момент переступления через порог и вступления в «мир вечной тишины и темноты». Маленькая О. жестом, достойным великих философов Декарта и Гуссерля, протягивает руку во тьму, чтобы *проверить, действительно ли* то, что является ей как «ночь». Жест верификации приводит ее от переживания «ночи» к осознанию ее («ночи»)

фундаментальной ложности. Маленькая О. вспоминает себя в этот слепой момент просветления, а также и обьявший ее ужас — ужас *cogito* перед лицом радикальности собственного интеллектуально-го жеста. «Безотчетный страх» — «догадка» — «смятение» — импульс «первого самостоятельного исследования» — и, наконец, осознание преодоленного, раз и навсегда, порога: «вторичное вступление»:

Когда я начала выздоравливать и осознавать свое состояние и то, что вокруг меня происходит, я вначале подумала, что наступила почему-то «очень длинная ночь», ибо слишком долго не становилось так светло, как бывало это раньше; не становилось так шумно, как это бывало раньше днем. Вокруг меня был неприятный, как будто плотный мрак, а голос матери, которая почему-то очень «тихо» (наверное, очень громко) что-то говорила мне в самое ухо, мне казался (скорее) ее тяжелым дыханием, чем голосом. (...)

Сейчас я, конечно, не помню, в какой день или в какую настоящую ночь наступил вдруг «миг просветления», т.е. состояние инстинктивного страха, а вслед за ним безотчетной догадки, что дело не в какой-то «длинной ночи», а в чем-то другом, имеющем еще неуловимую мною связь с моей болезнью. И это еще не вполне осмысленное открытие наполнило все мое существо таким смятением, что мне почудилось, словно какая-то могучая сила подбросила меня в постели, а затем сбросила на пол.

Вполне естественно будет предположить, что, когда я ощутила, что нахожусь на полу и ко мне никто не подходит, я захотела узнать: есть ли мать в комнате? Бодрствует она или спит? Осторожно ступая, а вернее, ощупывая пол ногами, разводя вокруг себя руками, чтобы не наткнуться на предметы, я несмело начала обходить комнату. Это первое самостоятельное исследование столь знакомой мне до болезни комнаты сохранилось в моей памяти до настоящего времени — и это понятно, ибо с этого момента начинается мое «вторичное вступление» в жизнь: в мир вечной темноты и тишины, в мир тактильных ощущений, тактильных представлений об окружающей среде (4–5).

3. «Таинственное не то» и знание жизни на ощупь («savoir = vivre»)

Весь мир вокруг нее вдруг стал резким и непримиримым — одни твердые тяжелые предметы составляли его и грубая темная сила действовала с такой злобой, что сама приходила в отчаяние и плакала человеческим, истощенным голосом на краю собственного безмолвия.

Андрей Платонов «Счастливая Москва»

Этот порог отмечен как акт воли к знанию, как пробуждение интенции: «Я захотела узнать». В дальнейшем мир маленькой О. — суженный редукцией до диапазона ощущений вытянутого пальца, подставленной солнцу щеки, ноги, больно ударенной подставленной стулом ножкой, — станет весь, от начала до конца, воплощенным в телесности глухого, слепого и безгласного ребенка Вопросанием. Так О.И. Скороходова и пишет о маленькой О.: я «наблюдала», я «исследовала», я «изучала», я «ознакомилась», иногда в кавычках; видимо, в ответ на еще не заданный вопрос недоверчивого читателя «а возможно ли?» — я «рассматривала» или я «осматривала руками». Модусы телесного восприятия и модусы рефлексии не параллельны, не замещают друг друга в метафорическом обозначении, но буквальным, непосредственным образом воплощаются в одном и том же жесте неуверенно протянутой вперед ищущей руки, в жесте нащупывания истины. Кроме непоколебимого знания о том, что она существует как живое тело «сейчас» и «здесь», ослепшая и оглохшая маленькая О. не располагает никаким преданным знанием: «Ведь до этого момента я знала, что у людей есть зрение и слух, а *может ли жить* девочка, утратившая эти органы в восприятии внешнего мира, этого *я не знала, но теперь должна была узнать*» (4; выделено мной. — И.С.).

Радикальному вопрошанию — долженствованию «узнать, может ли жить девочка» — подлежит, стало быть, весь растождествленный мир с начала и до конца.

И вот с того момента, когда я начала осматривать руками все то, что находилось вокруг меня, я *должна была* самой себе *ответить на ряд вопросов*, а именно: изменились ли находившиеся в комнате предметы: например, обстановка комнаты, цветы, которые стояли на окнах, посуда, одежда и т.п. Наконец, изменилась ли вся комната с того момента, как я вступила в «тактильный контакт» со всеми вещами? В самом деле, предметы были как будто *не совсем те*, которые я до болезни видела глазами (5—6; выделено мной. — И.С.).

Растождествленный мир, который открывается нащупывающей истину детской руке, описывается О.И. Скороходовой в нескольких фрагментах первоклассной прозы остранения. Таково, например, описание первого путешествия ослабленного болезнью незрячего и почти неслышащего ребенка по собственной комнате. Именно с этим эпизодом первого самостоятельного исследования связывается осознание себя в своем новом качестве «не такой», понимание того, что мир не «потух», но потухло зрение, преодоление бессознательности на двух качественных уровнях — не только обморочного состояния длительной горячки, но и бессознательного состояния невинного детства. Это первое осознание (я знаю, что я не такая) глубоко травматично и сопровождается все более противоречивым отношением маленькой О. к матери. На протяжении всей ее книги мы неоднократно улавливаем оттенок разочарования, раздражение неспособностью матери присоединиться к своему ребенку за переступленной девочкой гранью катастрофы. Мать, будучи «простой необразованной женщиной», «конечно, не могла понять». Самое первое исследование вслепую начинается с крика «мама!» («ибо это слово я никогда не могла забыть — ни в детстве, ни позднее» — 7). Но матери рядом не оказывается. Преданная матерью, маленькая О. приступает к самостоятельному «трудовому бдению».

Спустив ноги с кровати, маленькая О. пытается определить, долго ли она проболела и какое на дворе стоит время года, — но определить это, не видя окна и не слыша звуков природы, невозможно. Впервые в жизни ей приходится мобилизовать совсем иные ощущения и анализировать совсем иным способом полученные данные. Босыми ногами она стоит на полу хаты, который мать усыпала сеном. Если сено свежее и душистое — значит, на улице лето. Если сено сухое — значит, уже осень или зима. Критически

важно научиться концентрировать внимание на том, что теперь кажется лишь смутно знакомым и что раньше, в своем зрячем детстве, она игнорировала как само собой разумеющееся:

...На ощупь я шла, как мне показалось, очень долго, и шла до тех пор, пока не ощутила на своем пути препятствие. Руки мои прикоснулись к какому-то большому предмету. Я остановилась и с величайшим интересом начала осматривать этот предмет. Он казался мне огромным, но не страшным: наоборот, предмет был *как будто знаком* мне, но в то же время он казался *и чем-то «незнаком»*, ибо раньше я его никогда не осматривала руками так *внимательно и тщательно*. Это был наш старый обеденный стол, который раньше я видела глазами. *И, конечно, не обращала на него никакого внимания*. Теперь же, когда я осматривала стол руками, я была «поражена» тем обстоятельством, что он стоит на «толстых лапах» и покрыт какой-то гладкой, свисавшей со всех сторон «кожей» (клеенкой).

Можно предположить, что в тот момент, когда я осматривала стол, *я впервые, хотя и по-детски, но уже серьезно задумалась* (7–9; выделено мной. — И.С.).

Остраненный — вернее, само-остранившийся, само-устранившийся — мир требует критического пересмотра всех категорий, он требует картезианской и феноменологической «задержки суждения» при получении умозаключения. Так, при столкновении с неизвестным большим предметом, оказавшимся впоследствии хорошо знакомым столом, ей «...представлялись домашние животные... У этого большого предмета тоже было четыре “ноги”, но не было головы, не было шерсти на гладкой “коже”, он был плоский и не двигался, значит, это предмет неживой» (9).

Задержать суждение — значит сдерживать ужас при контакте с предметом. Живые существа на четырех ногах опасны (она вспоминает теленка, который забодал ее в детстве еще до болезни). Неподвижный же «большой предмет» не вызывает враждебности, следовательно, неодушевлен. Осмелев и ощупав его поверхность, нащупав на нем нож и посуду, маленькая О. наконец определяет идентичность «большого предмета».

Но установив стол как стол — дав «большому предмету на четырех ногах и с гладкой кожей» имя, — маленькая О. еще не решает для себя проблему пространства. Даже не проявляя прямой агрес-

сии, злые вещи из домашней обстановки опасны тем, что, как только ослабевает направленное на них сконцентрированное внимание (опять «трудовое бдение»), как только исследующая рука покидает их поверхность, они немедленно меняют свои местоположение, размеры и формы. Мир пришел в движение и постоянно видоизменяется, вещи не стоят на месте и приобретают какую-то текучую форму, то приближаясь, то удаляясь, переживая бесконечное превращение. С маленькой О. происходит, как выражается Скороходова, *«таинственное не то»*: «на каждом шагу меня подстерегают опасности...» (10).

...Предметы под рукой «превращались» в большие или меньшие, в зависимости от того, какими я видела их зрительно. Это непонятное мне «превращение» в начале моей слепоты нередко вводило меня в заблуждение: я думала, что прежние вещи исчезли из нашей комнаты, а вместо них появились «новые» — либо больше, либо меньше размерами. Иногда я сердилась на мать за то, что она «убрала» из комнаты удобные, привычные мне «небольшие» вещи (10–11).

В этом мире вещи исчезают никуда и возникают ниоткуда, здесь нельзя положиться на вещи как на некое пред-данное незыблемое присутствие. Пленительные сны разума, спавшего в объятиях «старых представлений», сменяются монстрами, порожденными «трудовым бдением», и усомниться в их действительности, раз уж порог катастрофы переступлен, уже невозможно. Собственно травма — источник и мотор познания — являет себя воображению маленькой О. в виде монстра:

...У меня появилось представление о каком-то, как теперь я могу определить, огромном чудовище. И оно — никому не видимое, никем не слышимое, не осязаемое, тем не менее неотступно следовало за мной повсюду. Мне представлялось (особенно когда я оставалась одна), что я всегда «ощущаю» дыхание этого чудовища и поэтому знаю о его «присутствии». И даже во сне я его «видела» весьма часто: оно было похоже на громадного — больше лошади — ежа, с короткими толстыми лапами, с такой же по форме, как у ежа, головой, только большей; но покрыто оно было не колючими иглами, а густой грубой шерстью. И казалось мне, что именно это «чудовище» откуда-то принесло мне болезнь, а потом отняло у меня зрение и слух... (13).

В борьбе с этим чудовищем — в отличие от монструозно меняющих размер и форму, но все же реальных предметов обстановки — уже никто не может помочь, поскольку чудовище не видимо и не слышимо ни для кого, кроме незрячей и неслышащей маленькой О. Это чудовище станет неотступным спутником, и оно всегда «здесь», тогда как весь остальной мир — «там».

А что я подразумевала под понятием «там», это мне было ясно: «там» — это значит в поле и на лугах, где растет высокая густая трава, в которой много мелких, но душистых полевых цветов. Люди гуляют в поле, сидят на траве, разговаривают и смеются, не вспоминают обо мне. Они едят пряники, мармелад, яблоки; пьют абрикосовый компот... Я же нахожусь одна в запертой хате, и ко мне все ближе и ближе подползает «чудовище», одетое в тяжелый колючий кожан. (Впоследствии чудовище) стало еще страшнее, еще огромнее в моем представлении. В том отчаянном состоянии, в котором я бывала в отсутствие матери, не в меру разыгравшееся воображение рисовало мне ужасную картину: «чудовище» вползало в хату через чердак... и тихо, медленно двигалось ко мне... (28–29).

Мир чудовищен: это объекты-гибриды, склеенные, наподобие мифологических монстров, из остатков зрительных воспоминаний раннего детства, в котором стол-теленки в той же степени вероятны, как — и не менее страшен, чем — лошадь-еж. Монструозность¹ мира проявляется и как постоянно меняющееся пространство, а с ним и видоизменяющиеся вещи — все вокруг маленькой О. течет и метаморфизмирует, все исчезает, стоит ей только отвести руку, рассматривающую какой-то предмет, и неизвестно, вернется ли назад, а если вернется — то в каком тактильном обличье и какую боль, какое унижение принесет это возвращение. Вместо разумно расположенных на своих местах вещей, мир, подобно кусочку воска, начинает опустошаться в своих качествах, растекаться жидкостью и затем снова отверждаться, но совсем не в том месте и не в той форме, как ожидает этого протянутая слепая рука. Тело ждет предательского ушиба от подставленного печкой или столом угла, а нога, хоть и старается нащупать дорогу, все равно не уберегает от падения на ровном, казалось бы, месте: «Я нередко

¹ Я оставляю обсуждение монструозности как философской и эстетической категории для интерпретации субъектности до другого случая.

падала в ямы, попадала в заросли колючек под забором, после чего мать извлекала множество заноз из моих рук и босых ног... Мы с матерью много плакали...» (15).

Окружающий мир превратился в *skándalon* — так греки называли яму-ловушку, крючок для приманки или искусственно устроенное препятствие, о которое жертва спотыкается перед падением в западню. Маленькая О. — «прореха на человечестве», скандал мироздания. Не только боль, но и позор бездонных унижений сопровождают ее в опытах эмпирического познания. Мир открывается каждый раз заново, и открывается в переживании собственной ничтожности и неуместности. Воспоминания Скороходовой представляют собой описание практически непрекращающегося унижения, которое подстерегает особенно тогда, когда, как кажется маленькой О., она уже овладела пространством и держится в нем почти с той же уверенностью, с какой держалась в видимом и слышимом мире. За эпизодом с обваренной рукой следуют многие и многие другие: яйца, разбитые в неудачной попытке оказать помощь матери, публичное сидение в тарелке горячего борща, позор подъема по лестнице на второй этаж клуба (как на эшафот). Болезнь «одарила» ее нарушенной координацией движений, а бесконечно изменяющийся мир и, главное — надежда на «чудесный миг» возвращения зрения, память зрения, которая преследует маленькую девочку, — все это подрывает с таким трудом и болью наживаемое и бесценное *savoir vivre*: умение жить на ощупь.

...Меня еще «преследовали» зрительные восприятия. И хотя я еще была девочкой, не вполне понимающей то горе, которое меня постигло, но иногда мне очень хотелось снова стать зрячей, снова свободно бегать, не опасаясь никаких препятствий. Иногда я «внушала» себе, что «вижу», но только для этого нужно широко раскрывать глаза, не ходить на ощупь неуверенно, а сразу бежать вперед и прямо... я понимала только, что я ничего не вижу, но хочу быть прежней — быстрой, уверенной в своих движениях, не зависящей от других (18).

Слепым передвижениям маленькой О. вечно сопутствует скандал. Вещи как будто в насмешку бросаются ей под ноги и валят ее на землю, когда ей кажется, что умеет она ловко и стремительно их обходить; спящие собаки располагаются у нее на дороге и накидываются на нее с лаем, когда она о них спотыкается; мебель

меняет свои места... Обиженная на мир маленькая О. не может не чувствовать, что мир подставляет ей подножку-*skándalon* и что это она сама, попадаясь в расставленные ловушки, скандализирует мир, потому что она — «не такая», «не похожая на других», «плохая» (26). Сам факт того, что маленькая О., вырвавшись из когтей скарлатины, осталась в этом мире жить дальше — и жить по-своему, не «как надо», а «как получается», — сам этот факт уже глупо скандален и потому причиняет и ей, и матери бесконечные моральные страдания.

Припоминаю я и другой случай, тоже весьма «плачевный» и даже оскорбительный для девочки вообще, а тем более для девочки в моем состоянии, для девочки, которая стремилась все делать хорошо и даже красиво.

Помнится, это случилось зимой, и, как я могу судить, припоминая наши с мамой порядки, дело было в субботу, потому что мать купала меня, дала мне чистое белье, платье и заплела мне косы. Ко мне пришла гостя — девочка, с которой я часто играла, ходила к знакомым и гулять. Мама предложила этой девочке покушать, а вместе с нею и мне еще раз пообедать.

Обеденный стол был чем-то занят, поэтому мать поставила посреди комнаты круглый низенький столик, которым мы часто пользовались, когда кушали во дворе. Ощущая запах борща и стараясь быть такой же «независимой», как и моя зрячая подруга, я направилась на середину комнаты, воображая, как обрадуются мама и подружка, если я, не разыскивая руками столик и скамеечку, быстро подойду и хорошо сяду за столик.

Я действительно сразу села, когда подошла к столику, но, к моему величайшему огорчению и к отчаянию матери, я села не на скамеечку, не на пол, что, конечно, было бы лучше, а в тарелку с горячим борщом (22—23).

В особенности же скандален проект маленькой О. по эмпирическому познанию мира — потребность знакомиться с ним на ощупь. Здесь неловкость достигает своего предела: отправляясь «осматривать» новое помещение, маленькая О. чувствует кожей и удивление соседей, и раздражение матери неуместностью ее странного поведения. Но желание осматривать неодолимо, и потому делает она это впопыхах и тайком, стыдясь людей, когда хозяев нет, так что ее «исследования» принимают характер невольного, но неодолимо притягательного соглядатайства:

После утраты зрения и слуха в моем характере появились такие черты, которые нередко сердили и удивляли мать и других близко соприкасавшихся со мной людей. Одной из этих странностей была та, что, если я попадала в незнакомую обстановку, мною овладевало непреодолимое желание осматривать все то, что находилось вокруг меня. Людей я стеснялась, и при них я сидела возле матери, от нетерпения теребя что-либо в руках. Но если меня оставляли одну, я очень осторожно, ошупью пробиралась по комнате, от предмета к предмету и хотя «бегло», но все же осматривала то, что встречала на своем пути (31).

Присутствие такого «незрячего согладата» — эмпирического философа, познающего мир ошупывающей, не знающей смущения и стыда, жадной рукой, — провоцирует и смущает мир. Проникновение этой слепой руки в чужую жизнь рассматривается как нелегитимная попытка узнать то, что знать не полагается. У зрячих есть свой собственный кодекс слепоты, который предписывает им закрывать глаза на интимное, но интимность есть не что иное, как условность зрения, и потому вместе со зрением как таковым эта условность недоступна для слепоглухой девочки. Ее протянутая вперед в поисках пути и мира рука для окружающих представляет собой опасность обна(ру)жения того, на что, согласно кодексу зрячей слепоты, можно *смотреть*, только если не *видеть* этого, и что никак нельзя трогать руками. Для маленькой О. нет разницы между «смотреть» и «видеть»: будучи незрячей, она видит все, что «осматривает». Бесстыдство незрячей руки вызывает у матери смущение и стремление ограничить познающую руку в ее жесте *слепого* — т.е. не умеющего *не видеть*, вешего согладатайства:

...Я действительно хотела обо всем знать и нередко отчаянно боролась, отстаивая себя, в тех случаях, когда меня хотели удержать от «проникновения» в жизнь других людей. И я по-настоящему ощущала вокруг себя пустоту, чувствовала себя одинокой, если ничего не осматривала руками, если находилась в стороне от людей — ведь меня мать запирала в хате, когда уходила на работу, а если мы находились в обществе, мать, как я теперь понимаю, по-видимому, стеснялась, когда я всех и все осматривала, в связи с этим меня часто держали в стороне от людей (24).

4. «В стороне от людей»: мир химер и отсутствие *inter esse*

...Она хотела уйти в бесчисленную жизнь...в темноту стеснившихся людей, чтобы изжить с ними тайну своего существования.

Андрей Платонов «Счастливая Москва»

«Оттого, что я не ощущала рядом с собой людей, не осматривала того, что меня окружало, мне представлялось, что люди и все предметы находятся от меня далеко, гораздо дальше, чем это было в действительности» (24).

Гуссерль определяет состояние трансцендентального эго как «незаинтересованное»:

...Если мы назовем Я, погруженное в *мир* при естественной установке — в опытном познании или каким-либо иным образом, — *заинтересованным в мире*, то измененная и постоянно удерживаемая феноменологическая установка состоит в расщеплении Я, при котором над наивно заинтересованным Я утверждается феноменологическое как *незаинтересованный зритель*. Само такое обстояние дел доступно тогда благодаря новой рефлексии, которая, будучи трансцендентальной, снова требует занятия именно этой позиции *незаинтересованного наблюдения* — с единственным остающимся для него интересом: видеть и записывать¹.

Отметим слова Гуссерля о «единственном интересе видеть и записывать» — в них вся скандальность философа маленькой О. и вся скандальность писателя О.И. Скороходовой *in nuce*.

Между тем распространен миф о неэмоциональности и холодности слепоглухих, об их «незаинтересованности» в жизни других людей. История маленькой О. свидетельствует о том, как сложна

¹ Гуссерль Э. Картезианские размышления. С. 99. Курсивы принадлежат Гуссерлю, подчеркнутый текст выделен мной. — И.С.

структура этой «незаинтересованности». Сложность связана, как и все остальное, с телесностью «незаинтересованного»: маленькая О. не ощущает присутствия людей вокруг себя, если это присутствие не заявляет о себе непосредственно — касанием. Все, что ее не касается, ее *не касается*; все, что ее не трогает, ее *не трогает*. Мир *затрагивает* ее ровно настолько, насколько велика площадь поверхности непосредственного контакта между ее собственным телом и телом мира: пальца, протянутого к огню, щеки, подставленной солнцу, кончика палочки, нащупывающей дорогу, или нервного окончания, улавливающего запах розы или вкус борща.

Интерес: *inter esse*, «быть среди»:

...В моей памяти давно угасли зрительные и слуховые впечатления, а если что-либо и сохранилось, то оно так тесно «переплелось» с тактильными ощущениями, что я не могу совершенно избавиться от ощущения «некой пустоты», и мне почти всегда кажется, что те предметы и люди, которые находятся хотя бы на незначительном расстоянии от меня, представляются мне гораздо дальше. Поэтому я чувствую себя не совсем хорошо и свободно, если не ощущаю человека, с которым говорю, рядом с собою (24–25).

Требуя от мира постоянного и непосредственного присутствия, маленькая О. предъявляет непомерные максималистские требования: стоит руке разминуться с рукой, и маленькая О. ощущает себя в полной пустыне или, как Скороходова написала в одном стихотворении, за «стеклянной стеной». Отметим здесь метафору стекла не как коммуникативно прозрачного материала, не как хрупкого препятствия, но как препятствия холодного, отчуждающего и обманчивого: это невидимый, но непреодолимый барьер, о который разбивается устремленный в мир интерес. Человек, несмотря на видимое присутствие в мире, находясь за стеклянной стеной, не может быть «среди». Стекло, кроме того, — материал лабораторного эксперимента: маленькая О. сидит за стеклом подобно препарату для наблюдения под микроскопом или заспиртованному зародышу в банке. Стеклянная стена отделяет ее от конституированного ею монструозного мира и в то же время конструирует ее самое как монстра. Невидимый мир может свободно наблюдать за ней самой. Интерес — *inter esse* — в такой ситуации приобретает однонаправленность, он нацелен не *от* нее (как ее собственная интенция — «*мне захотелось узнать*»), но *на* нее: это скандализованное любо-

пытство и жалость мира, созерцающего уродство через защитный слой прозрачного изолирующего материала. Острое чувство отсутствия другого в поле ее прикосновения, но тем не менее ощущение неотступно направленных непонятно откуда глаз смущает и ее, и мать, вынужденную переживать свое дитя как тотальный конфуз и тотальное поражение (*trauma*). Ответ маленькой О. на заключение внутри стеклянной стены — это упрямое продолжение исследования: не дать стене, при всей ее соблазнительной прозрачности, обмануть ум, не дать уму о ней забыть. Как будто засланный в мир агент враждебной разведки, маленькая О. недоверчиво и требовательно пристает к матери, желая постоянно получать сведения о топографии мира, о расположении его секретных объектов:

...Я была подвижна, наблюдательна, нетерпелива и недоверчива. Я требовала (от матери) немедленных разъяснений того, что я не всегда правильно понимала. Помню, что меня очень интересовало различное пространство: где и что находится? на каком расстоянии то или иное от того или другого? как поставлено что-либо — по прямой линии или в стороне? И т.д. (32).

Мать, таким образом, превращается в дорожную карту. На несовершенство карты маленькая О. с раздражением жалуется, хотя и ругает сама себя за детский эгоизм: я «утомляла мать своей любознательностью, мать была неграмотной и, при всем своем желании помочь мне, ничем не могла облегчить мою участь; быть может, она не всегда правильно понимала меня. И уж, конечно, никак не могла помочь мне установить контакт с окружающей средой» (31). Эти несправедливые обвинения мать, конечно, никак не заслужила. Она именно и была «контактом с окружающей средой»: продолжением тела маленькой О., ее глазами и ушами. Мать превратилась в дополнительный, вынесенный за пределы собственного тела маленькой О. нервный анализатор: тело девочки отдало часть своих функций телу матери, они срослись в один организм. В дальнейшем, когда маленькая О. вырастет и приспособится к жизни без матери сначала в школе-клинике для слепоглохих в качестве пациентки и ученицы, потом — там же в качестве воспитателя, а потом и в «большом мире», ей придется овладеть в совершенстве этой техникой гротескной телесности. Учитель, воспитатель, няня, ассистент, машинистка и т.д. — все, кто по служебным обязанностям будут работать с нею, станут объектами,

которым она делегирует свои зрительные и слуховые функции; она «разнесет», распределит свое тело между целым рядом лиц; она нарастит собственную монструозность, превратившись из ассамбляжа девочки с матерью в целую сеть делегированных разным людям функций: иначе говоря, выведенных вовне и не всегда подчиняющихся ее воле глаз, ушей и языка. Ассамбляж: субъект, склеенный из неорганичных друг другу, разноприродных существ, субъект-компаунд, в своей химерической гротескности отвечающий гротескности объектов, которые населяют ее слепой и глухой мир. Тело без органов: органы (восприятия) экспроприированы миром и лишь выделены маленькой О. во временное пользование в облике сопровождающего лица. Временность и хрупкость такого пользования не составляют секрета для нее самой; она стремится всеми силами развить в себе новые, ранее не использованные ресурсы по овладению миром и собственным телом, дабы добиться той самой глубоко желанной ей независимости, которая причиняет столько страданий и ей самой, и ее матери.

На пути к независимости любовь матери и человеческое сочувствие соседей представляют собой лишь паллиативное решение *inter esse*. В ее новом химерическом бытии любовь — предательница. Объятие любящей матери не приносит утешения боли, но нарушает уже установившуюся было хрупкую картографию окружающего мира: мать носит на руках и крепко обнимает, стремясь унять боль, но куда идти ребенку, когда мать разомкнет объятия и опустит дитя на ноги? Добрые люди жалеют, ласкают и тоже все время носят на руках — но как быть, если добрые люди не имеют для нее времени и утомляются собственной добротой? Любовь окружающих не поощряет в ней инициативу, а, наоборот, парализует желание знать; помощь, которую ей предлагают бескорыстно, только мешает ей в ее одиноких исследованиях и дезориентирует в мире, который и без посторонней помощи расползается из-под рук и ног:

...Если в тот момент, когда я начинала осматривать вещи или передвигаться по комнате, рядом со мной были люди, для меня это было хуже: они мне не давали осматривать вещи, ибо не понимали, зачем я это делаю. Они пытались помочь мне, когда я ходила в хате или во дворе.

По-видимому, жалея меня, считая меня «совершенно беспомощной», окружающие нередко носили меня на руках, полагая, что такой способ «передвижения» является наиболее «удобным» для

меня. ...Безусловно, в знакомой обстановке излишняя предупредительность и помощь зрячих сильно мешали мне, сбивая меня с моих, т.е. мне одной понятных «ориентиров» при хождении в комнатах и во дворе. ...Чем меньше окружающие люди мешали мне изучить данное пространство, тем быстрее я запоминала то, что мне необходимо было знать, тем лучше я представляла это пространство, и благодаря этим представлениям я могла свободно ориентироваться (14–17).

«Любить» — значит «сбивать с толку», «помогать» — значит «мешать». Мир только притворяется участвующим (присутствующим), а на самом деле, вместо того чтобы принять ее в свое *inter esse*, запирает ее, парализованную и дезориентированную, за «стеклянной стеной» уродства. Стена — пустыня — холод: для маленькой О. это все не иносказания обедневшего чувствами внутреннего ландшафта («эмоциональная холодность слепоглухих»), но состояние объективного мира: те модусы, в которых мир являет себя маленькой О., в которых мир познается и присваивается «незаинтересованным эго» начинающего эмпирического исследователя, — это мир «незаинтересованности» поневоле, мир, в котором точка *inter esse* ампутирована.

Свое отлучение от *inter esse* мира маленькая О. ощущает как исчезновение матери: неприсутствие телесное («...мать с утра до вечера не бывала дома, отрабатывая зажиточным крестьянам долги за их “благодаяния”» — 15) или же неприсутствие духовное, неспособность понять.

Не знаю, понимала ли мать, почему я так стремилась быть самостоятельной. Думаю, что не всегда она понимала меня. Иногда я замечала, что она сердится, когда я все осматривала или бросалась вперед без ее помощи. Я, в свою очередь, сердилась, если она мешала мне осмотреть что-нибудь или не разрешала мне выходить без нее на улицу. Но в то время я была далека от понимания ее материнского страха и беспокойства обо мне. Не понимала я, что мать не может радоваться при виде моих синяков и шишек, которые я «приобретала» весьма часто, стремясь к познанию и представлению окружающей среды (14–15).

«В пустыне» я себя чувствовала и в тех случаях, когда мать летом уезжала в поле, а зимой — ездила в город, ходила на плавню за

камышом; иногда уходила на поденные заработки... Но случалось и так, что утром или вечером, когда я спала, мать куда-то уходила, а меня запирала снаружи. ...Продолжительное отсутствие матери всегда наводило меня на грустные мысли и догадки о ее «бегстве» от такой «плохой» после болезни девочки (25–26).

Мир без *inter esse*, таким образом, является маленькой О. как наитие близкой смерти матери. При жизни мать «бросала» ее, уходя по делам, и запирала ее от беды одну в темной избе — потом мать умрет и тем самым бросит ее одну, запертой в темноте и глухоте, и теперь уже необратимо, безвозвратно. Как в самом первом опыте познания, так и навсегда крик «мама!» останется без ответа.

Мне очень страшно бывало в те вечера, когда мать, думая, что я крепко сплю, уходила к соседям скоротать зимний вечер... А какими неописуемо страшными были те зимние вечера, когда мать за-сигивалась у соседей, а я, проснувшись без нее, ужасно боялась одиночества.

Мне казалось, что мать никогда не вернется домой, что все забыли обо мне. Вообще близких людей нет, все они ушли куда-то далеко, далеко ...я же нахожусь одна в запертой хате, и ко мне все ближе и ближе подползает «чудовище», одетое в тяжелый колючий кожан. ...От неописуемого страха я вся покрывалась испариной, а по голове и спине бегали «мурашки»... Спасаясь от «чудовища» и от «муравьиного нашествия», я бросалась в сени к двери, но она бывала заперта снаружи. В смятении я возвращалась в комнату и садилась на окно, выходившее во двор. Сначала я начинала тихонько царапать стекло, покрытое хрупкими зимними узорами, потом начинала дуть на стекло, и от моего дыхания узоры таяли, обнажая холодное и влажное стекло. ...Но если мать все-таки не приходила, я снова начинала беспокоиться, а потом это беспокойство переходило в отчаяние, — я начинала стучать по раме кулаками, плакала и кричала до изнеможения. И если на мои призывы никто не приходил, я, совершенно обессиленная тщетной борьбой с «чудовищем» ...уходила с подоконника. ...Я сидела на подоконнике в одной рубашонке, а на улице нередко бушевала метель, и меня обдавало ледяным холодом...

Сильно продрогшая и «всеми обиженная», я взбиралась на горячую печь и ложилась на самые разогретые места, словно искала ласки и успокоения у горячей печки... (28–30).

Чем подрабатывала нищая вдова в благодарность за помощь «добрых людей» и куда она исчезала по ночам, так и остается несказанным (несказанным?), и страшный холод опустевшей ночной избы, как «чудовище», подползает к ребенку, воплощая в себе ледяную непостижимость происходящего. Холод — фактор климата интерпретации, для слепоглухого ребенка это имеет прямое значение. Как известно, снижение температуры окружающей среды убивает чувствительность тела и тем самым парализует слепоглухого ребенка в его тактильной коммуникации с миром. Замерзший слепоглухой ребенок физически не способен ни к какому *inter esse*. Стужа и ночь, пустота запертой снаружи избы, где брошенная матерью девочка зверем воет от ужаса и тоски. Такова *Ur-Szene* в том когнитивном театре, на котором разыгрывается драма эмпирического исследования: жизнь на ощупь, путь руки, нащупывающей вывернутый наизнанку мир.

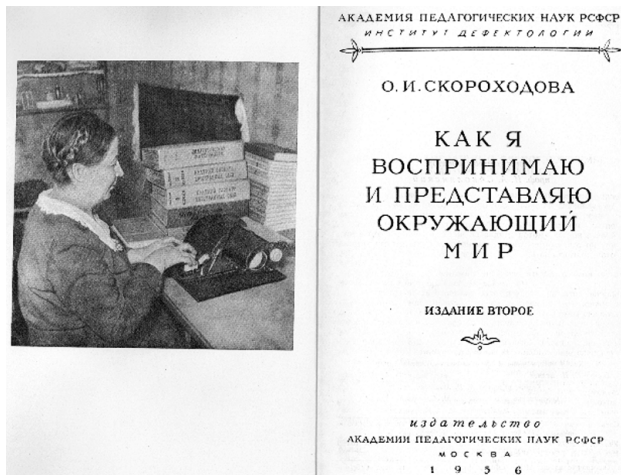
5. Техника Bildung: от плавки к лепке и штопке

На что она (жизнь) нужна мне без людей,
без всего эсэсэсэра? Я комсомолка не от-
того, что бедная девочка была.

Андрей Платонов «Счастливая Москва»

О.И. Скороходова посвятила всю свою жизнь *исследованию* осознанию того, как рука вслепую нащупывает свой путь. Ее тема — то, что Гуссерль называл «теоретической техникой». Все многочисленные публикации и еще более многочисленные неопубликованные рукописи озаглавлены «Как?..»: «Как я воспринимаю окружающий мир», «Как я представляю окружающий мир», «Как я понимаю окружающий мир», «Как я воспринимаю и представляю окружающий мир», «Как формировалось мое понимание общественных отношений» и т.п.¹ Как и первая фило-

¹ Скороходова О.И. Как я воспринимаю окружающий мир / Под ред. проф. И.А. Соколянского. Л., 1947; Она же. Как я воспринимаю и представляю окружающий мир. Изд. 2-е. М., 1956; Она же. Как я воспринимаю, представляю



софия у Декарта, как и «Картезианские размышления» у Гуссерля, «как?» Скороходовой начинается с травмы (расплавление воска и само-искалечение познающего тела у Декарта; феноменологическая редукция, т.е. само-ослепление и само-оглушение Я у Гуссерля). Это «как» постепенно ведет слепую, ошупывающую руку от осознания себя как существующей («как может жить девочка?») к признанию истинности вещей (например, стола). «Как?» Скороходовой — это «понимание членов этого тела как ошупывающих или же отталкивающих рук, как передвигающихся при ходьбе ног, как движущихся при рассматривании глаз...»¹.

Ее «как?...» — это вопрошание о первопорядковом мире, в который еще не вошел язык, следовательно, это вопрошание о собственно *возможности языка*. Декарт в своих «Размышлениях» тоже говорит о мире без (т.е. и до, и после) языка: здесь язык извлечен теоретическим усилием ума, преодолевающего заблуждение, которое застыло в языковых формах. Расплавленный в огне кусочек воска теряет не только свои чувственные атрибуты, но и кристал-

и понимаю окружающий мир. М., 1990. Неопубликованные рукописи Скороходовой оказались доступными для меня благодаря Общему архиву Российской академии наук, сотрудникам которого я также хочу выразить благодарность; рукописи хранятся в архивных делах № 486–498, фонд 44, опись 2.

¹ Гуссерль Э. Картезианские размышления. С. 231.

лическую структуру внутреннего порядка, не только внешнюю, но и внутреннюю свою форму. Будучи философией до (или после) языка, не случайно и Декартово доказательство истинности данного в чувстве мира поражает нас своей детской простотой и доверчивостью: Бог не может быть обманщиком, и только на этом основании я могу быть уверен в том, что хотя бы отчасти номенклатуры и классы, имена и предикаты, которыми оперирует моя мысль, не являются уже совсем и безнадежно ложными, что в них всегда и заведомо есть крупница истины, которую надо отыскать. Так же и Гуссерль, исследуя теоретическую технику (тотальное «как?») слепого и глухого нащупывания-конституирования мира изнутри «незаинтересованной» монады, исследует в то же время и самое возможность языка *для всех, между всеми, inter-esse*.

Если бог Декарта не лжет, то бог маленькой О. выражает себя в двусмысленностях. Как-то раз, желая развлечь дочь, мать приносит ей странное ожерелье — без всякого порядка и разбору нанизанные на веревочку разнокалиберные бусинки. На вопрос дочери, что это такое, мать отвечает, что собрала бусинки на дворе, где накануне девки гуляли на свадьбе и растеряли свои украшения. Она ведет девочку во двор, где действительно вся земля усыпана разного размера и формы стекляшками — поразительный по своей краткости и выразительности образ пронесшейся как разрушительный ураган, отыгравшей-отшумевшей за стеной детской спальни оргии. «...Одна девушка рассказала мне, что на гулянье у нее кто-то разорвал бусы и она их потеряла. Очевидно, таким образом многие девушки растеряли свои бусы на дядиной свадьбе»¹. Оргиастическая двусмысленность — «растерянные бусы» — оборачивается так и не проясненным недоумением, которое связывается со странным порядком, в котором найденные матерью бусины нанизаны на шнурок. Бог не обманывает маленькую О. (хотя, возможно, ее обманывает мать, для которой смысл рассыпанных бусин, наверное, ясен), но бог прячется. Маленькая О. как бы нащупывает эту двусмысленность, «осматривая» сверхчувствительными пальцами разнокалиберные, разномастные, разноформенные шарики, без всякого ладу и в случайной последовательности, поспешно нанизанные на нитку. Пальцы говорят ей: здесь что-то не то.

¹ Скороходова О.И. Как формировалось мое понимание общественных отношений. Т. 1. 1960. Общий архив РАО. Ф. 44. Оп. 2. Ед. хр. 493. Л. 23.

Я не понимала, как же можно молиться тому, кого я не могу осмотреть, не могу ощутить так или иначе его присутствия. Молиться тому, чьей непосредственной помощи или «благодати» я не чувствую, не замечаю. А ведь я не однажды нуждалась в помощи более сильного существа. Отчего же бог не оказывал помощи мне — мне, во многом обездоленной девочке и сироте после смерти матери? И я упрямо «боролась» с богом, думаю, приблизительно так: если он не помогает мне, значит, его нет. Вначале было страшно от таких мыслей. Но потом это сознание прошло, и прошло навсегда¹.

Мы оставляем маленькую О. на этом пороге. Смерть матери, с одной стороны, и убежденность в бесполезности двусмысленного бога, с другой стороны: «если он мне не помогает, значит, его нет». Мы оставляем ее, стало быть, на той станции, где рассыпается в прах «первичный порядок» ее детского мира — мира, в котором ее телесность существует в неразделимом монструозном единстве с телесностью матери, в котором глаза, уши и язык матери становятся и ее языком, ее глазами и ушами. Мы оставляем ее в тот момент, когда распадается ее единство с миром материнской речи — интимного языка для двоих, доступного только матери и дочери, выработанного долгими упражнениями компаунд-телесности, языка прикосновений, на котором между нею и матерью достигнуто полное единство понимания и который как «стеклянной стеной» отгородил ее от всего иного. Мы оставляем ее в недоумении и сомнении, ощупывающей нанизанные на веревочку бусины — этот след страшного, недетского присутствия мира-оргии, след мира-вихря: война, революция, опять война, поджоги, реквизиции, расстрелы, избиения, разливанное море самогонки на крестьянской свадьбе, сотни разорванных бусин, усеявших опустевший двор... Подобно декартовскому философу, маленькая О. бьется в попытке отличить тень от тела, память — от бреда, реальность — от сновидения. Отвернувшийся двусмысленный бог — и несомненность, неумолимая однозначность насилия в самом истоке жизни; факт насилия несомненен, но совершенно темен его смысл; таково смутное ощущение непоправимой беды — *trauma* — как самого первого первоначала:

¹ Скорородова О.И. Как формировалось мое понимание общественных отношений. Т. 1. 1960. Общий архив РАО. Ф. 44. Оп. 2. Ед. хр. 493. Л. 23.

В моей памяти сохранился один случай — и этот случай припоминается мне, как приснившийся в детстве кошмар. Мне вот сейчас представляется, что я, находясь у матери на руках, видела большую человеческую тень, которая избивала лежавшего на земле человека, и, мне казалось, очень долго. Потом моя мать сидела на земле возле этого человека и из какой-то посуды плескала водой в лицо человека и еще что-то делала¹.

Мы оставляем ее на пороге, который отделяет материнскую речь от собственно языка. Впереди — смерть матери, годы одиночества, нищенства, голода и холода по углам у «добрых людей», годы одичания («педагогической запущенности») в разнообразных детских учреждениях периода пореволюционной разрухи; впереди — встреча с доктором Ангеликусом, чудесным учителем Иваном Афанасьевичем Соколянским², человеком, обладавшим легендарной способностью разговаривать с существами, подобными маленькой О., — «полуживотными-полурастениями». Соколянский станет ее Пигмалионом, а она — его Галатеей: он будет скульптурно вылепливать ее Я, чеканить, отделять тончайшие рельефы ее души, он научит ее, расплавленный кусочек воска, само-образованию, *Bildung*, как лепить себя. Он научит свою Галатею самой первой азбуке — дактилологическому письму пальцами на ладони «полуживотного-полурастения», он научит ее различать форму буквы по ощущениям



**Ольга Скороходова
и Александр Соколянский**

¹ Там же. Л. 65.

² Я оставляю до другого раза обсуждение роли И.А. Соколянского, его деятельности и исключительно интересных теоретических основ его педагогики. Хочу выразить глубокую благодарность И.В. Соломатиной и Т.А. Басиловой за совместные обсуждения и размышления, которые благотворным образом углубили и углубили мое собственное понимание проблемы. Проф. Т.А. Басилова является автором и публикатором работ Соколянского и о Соколянском, в частности: *Соколянский И.А. Обучение слепоглухонемых детей // Дефектология. 1989. № 2; Он же. Усвоение слепоглухонемым ребенком грамматического строя словесной речи // Дефектология. 1999. № 2; Иван Афанасьевич Соколянский (1889–1960) // Библиографический указатель. М., 1989.*

слепой руки под касаниями зрячего пальца. Ее раскрытая, ждущая прикосновения ладонь станет органом познания: как у Декарта идеи касаются души и производят в ней отпечатки в форме чувств и мыслей, так палец учителя касается ладони ученицы, отпечатывая на ней, в форме русских букв, знаки высшей мудрости (Декартовой *sagesse*). Рука слепая, рука вещая.

Этими формирующими, лепящими движениями рука учителя постепенно переписшет на коже ученицы всю школьную хрестоматию русской литературы — Пушкин, Лермонтов, Толстой, а также и произведения классиков марксизма-ленинизма, цитаты из которых она будет расставлять в своих собственных произведениях, подбирая их друг к другу без складу и ладу, как те самые бусины на шнурке.

Он научит ее не только лепке, но и штопке, справедливо полагая, что синтез мира в единое и гармоническое тело возможен только и исключительно не как *синтез*, но как *синтаксис*. «Грамматика — это логика жизни», — повторял он своим ученикам, постулируя порядок мира (как это делает и Гуссерль в «Логических исследованиях») не *в самом мире*, но *в речи о мире*¹. Синтаксис *шивает* воедино мир, разорванный травмой (*trauma* как рана). Именно он научит маленькую О. синтезировать синтаксически корректный мир ее собственного письма: гиперкорректный строй предложения, гиперкорректный строй текста, гиперкорректный выбор слова, гиперкорректный взгляд на вещи, гиперкорректный, политически выверенный акт собственно высказывания. Он научит ее, как надо штопать разъезжающуюся ткань бытия, прошивая ее безупречными синтаксическими конструкциями; он покажет, как нанизывать речевые бусины на текстуальные нити, не допуская при этом двусмысленной случайности в порядке следования дискурсивных элементов, не допуская стилистического и идеологического разноречия в построении тех бесконечных миниатюр о себе — «как я познаю, как представляю, как воображаю», — которыми заполнены ее опубликованные книги и ее неопубликованные, забракованные научным сообществом «научные отчеты»: их она будет производить и воспроизводить в объеме бесчислен-

¹ Для Гуссерля полная и непоправимая катастрофа (*trauma*, крушение) Истины, *Sinnlosigkeit*, заключается не в потере референта и не в потере сигнификата, но в аграмматизме, в распылении синтаксиса. Ср. в этой связи критику Жака Деррида в работе «Подпись. Событие. Контекст», на которую (в английском переводе) я опираюсь: *Derrida J. Signature. Event. Context // Derrida J. Margins of Philosophy. Chicago, 1982. P. 318–320.*

ных авторских листов, ими будет отчитываться ежегодно в своей работе на должности научного сотрудника московского Института дефектологии. Плавка, лепка и штопка: этапы пути нащупывающей, лепящей мир и себя руки, этапы *Bildung*.

Такой мы увидим ее на канонической фотографии: «О.И. Скороходова осматривает бюст



О. И. Скороходова осматривает бюст М. Горького

А.М. Горького»: огромный погрудный скульптурный портрет великого пролетарского писателя, а перед ним — закинувшая незрячее лицо взрослая женщина, некогда бывшая маленькой О.: скромная прическа, подобающий случаю беленький воротничок на темненьком платице, выражение самозабвенного восторга. Величием дышит лицо пролетарского гения, и достоинством дышит тело духовной дочери гения пролетарской литературы: это уже не тело маленького, слепого, глухого, безъязыкого монстра, который сует руки куда не следует и тем самым производит в окружающем мире двусмысленный, неприличный скандал. Теперь это тело живой иконы сталинской культуры, сама Идея, воплощенная в образ хоть и травмированной, но мужественной женщины-борца, женщины-ученого, женщины-педагога; это живое явление сталинского плана всеобщего мироустройства. Бывшая маленькая О. стала большим человеком, она при жизни вошла в пантеон сталинских богов, поскольку нашла, несмотря на «дефект», возможность «овладеть знанием всех богатств, которые выработало человечество» (Ленин). Слепые руки бережно касаются мраморного лика: это прикосновение — момент невозможного, непосредственного контакта со святыней слова в святая святых, это прикосновение к Истоку, не к двусмысленному богу — истоку ее детских страхов, но к не подлежащему никакому сомнению *arché*, к самому лицу тайны. Это лицо символического порядка, вывернутого наизнанку: его внутренняя, тайная форма — обнаружена, вскрыта в моменте истины и явлена слепой руке. Маленькая О. выполнила и перевыполнила урок Декартовой первой философии, нащупав Истину и слепив ее лицо в скульптурном образе Горького, открыв слепым жестом вытянутой во тьму руки своего собственного бога, истинного вне какой бы то ни было двусмысленности.

Елена Гапова

Любовь как революция, или «Несмотря на Грамши» Полуты Бодуновой*

Миллионами слов женщины писали книги, не говоря о дневниках и письмах, о том, сквозь что надо пройти, чтобы просто писать, и как много женщин не имеют даже этого. Мы писали о нашем письме и подавлении этого письма; мы писали о молчании и безумии, о нашей маргинальности и невидимости, об отрицании нас и о нашем отличии...

Тереза де Лауретис¹

...Улица корчится безъязыкая —
ей нечем кричать и разговаривать.

Владимир Маяковский «Облако в штанах»

Эта статья посвящена истории и «смыслу» травмы или — в популярном представлении — истории и «смыслу» психического заболевания (или даже «сумасшествия») белорусской эсерки Полуты Бодуновой, расстрелянной в 1938 году, а также интерпретации или, скорее, умолчанию об этой травме в национальном дискурсе Беларуси. Вставшие передо мной вопросы выглядят следующим образом: что «на самом деле» произошло с Бодуновой, во-первых, и почему этого «нельзя сказать» в той истории борьбы за белорусскую государственность, которая пишется сейчас, во-вторых?

* Хочу выразить благодарность Сергею Ушакину и Александру Першаю за комментарии, высказанные в процессе работы над текстом.

¹ *De Lauretis T. Feminist Studies // Critical Studies: Issues, Terms and Context / T. de Lauretis (ed.). Bloomington: Indiana University Press, 1986. P. 5.*

Иначе говоря, почему пережитая П.Б. и очевидная всем, кто знаком с этой историей, травма препятствует включению в национальный пантеон политической деятельницы, чья подпись стоит под уставными грамотами первого независимого белорусского государства 1918 года, и почему это важно для понимания разворачивающегося сейчас процесса исторического письма?

Фактологически эта статья опирается на работы исследовательницы из Гомельского университета Валентины Лебедевой: все сведения о жизни Полуты Бодуновой получены из ее публикаций, а также из бесед с ней. Первоначальным же толчком к осмыслению истории П.Б. послужила статья Терезы де Лауретис «Несмотря на Грамши, или Левая рука истории»¹. В ней предлагается феминистское прочтение истории психического заболевания русской жены Антонио Грамши, которое — при всех фактических различиях — кажется вызванным теми же причинами, что и болезнь Бодуновой, т.е. травмой, связанной с невозможностью женского субъекта добиться означивания в некоторых ипостасях, считаемых первостепенными.

Революция: история Полуты Бодуновой

Большинство моих знакомых — образованных, живущих в Беларуси людей — никогда не слышали о Полуте Бодуновой. До последнего времени она была известна только в кругу историков и литераторов (обычно избегающих говорить о ней), занимающихся национальным возрождением первой трети XX века, а также интеллектуалов, связанных с идеями национальной независимости. Очевидных причин этому две. Одна из них связана с той канонической версией белорусской истории, которая была монополизирована властью вплоть до последнего десятилетия XX века. Она представляла собой нарратив о совместном со старшим братом шествии к пролетарской революции под мудрым руководством, и какие-либо имена или события, которые могли эту версию поставить под сомнение, были из нее исключены (что верно

¹ *De Lauretis T. Gramsci Notwithstanding, or, the Left Hand of History // De Lauretis T. Technologies of Gender. Essays on Theory, Film, and Fiction. Bloomington: Indiana University Press, 1987. P. 84–94.*

и для других советских национальных историй, в том числе и российской). Полута Бодунова, являясь, как и ее соратники, также из этой версии исключенные, «буржуазной националисткой» (хотя партии, к которым она принадлежала или руководила, имели социалистическую ориентацию), таким образом, не могла попасть в советскую историю. Однако в последние пятнадцать лет все же произошло возвращение других несоветских деятелей в «независимый» исторический дискурс (правительство Беларуси по-прежнему настаивает на просоветской версии истории): их имена включены в учебники, изданы их книги и книги о них. Но даже в этой компании П.Б. маргинальна. Таким образом, вторая причина — затушевывание П.Б. и в этой версии. Поэтому далее я изложу фактическую сторону жизни П.Б., опираясь на публикации и рассказы Валентины Лебедевой¹, и одновременно попытаюсь реконструировать ее судьбу в «общесмысловом» контексте ее времени.

Полута (Полина) Бодунова родилась в 1885 году в мещанской семье в Гомеле, крупном городе Северо-Западного Края Российской империи, важном центре эсеровско-бундовской деятельности. Закончив училище и выдержав экзамен на звание домашней учительницы русского языка и географии, она почти до тридцати лет работала в сельских школах.

В 1914 году П.Б. становится слушательницей Высших историко-литературных курсов в Петрограде, где в это время собирается круг сознательной белорусской интеллигенции, литераторов и деятелей национального возрождения (учебные заведения и «наука» в самом Крае запрещены или затруднены после восстания 1863 года). Попад в эту среду и в преддверии революции, П.Б. «вспоминает», что она белоруска: национальность, как любая идентичность, ситуативна и конструируема и «всплывает на поверхность» в определенных условиях. У П.Б. есть энергия и ораторский талант, вернее, появляются условия для их проявления. Когда она говорит, ее слушают. После Февральской революции слушатели курсов избирают ее делегаткой в Петросовет, а летом 1917 года она входит в руководство старейшей белорусской политической партии — Белорусской социалистической громады (БСГ). Бывшая учительница русского языка становится пропагандисткой «белорусского дела»: выступая на съездах фронтовиков в Петрограде,

¹ *Лебедева В.* Полута Бодунова: женщина в политике // Женщины на краю Европы / Е. Гапова (ред.). Минск: Пропилеи, 2003.

Москве и Минске, она разъясняет программу национального самоопределения:

После моих выступлений на съезде некоторые московские белорусы спрашивали у меня паспорт, чтобы убедиться, что я действительно православная, а не католичка, подосланная иезуитами, как они говорили. Для их ушей казалось диким, что Беларусь — это не Россия, что белорусы как нация имеют право на свободное, независимое существование¹.

Риторика нового мира связана с распадом империй и выходом на сцену «поздних наций» Восточной Европы; национальное самоопределение провозглашают как Владимир Ленин, так и Вудро Вильсон. Начинается передел границ в тех краях, где их не было уже давно, а те, что были до завоеваний Екатерины (или до Австро-Венгрии), не устраивают ни одну новую элиту. Многим, прежде всего интеллигенции на «национальных окраинах», кажется в тот момент главной справедливостью разбудить массы народа (или солдатские массы) и объяснить им, кем они являются «на самом деле», как должны себя называть, какое принять имя, а затем повести их в таком качестве к освобождению. Западные правительства после окончания Первой мировой войны будут пытаться провести в регионе «справедливые границы» в соответствии с расселением этнических общностей, а потому эти общности должны твердо знать, кто они такие. В терминологии П. Бурдые это называется конструированием классифицирующих оснований²: европейские державы «разрешат» создать свое государство тем, кто будет способен «доказать», что они на самом деле являются исторически сложившимися сообществами.

Чтобы войти в круг европейских наций, белорусы должны отстоять историю, язык и культуру. Роль агитаторов в этом деле огромна. П.Б. выступает от имени угнетенного белорусского народа, чей язык не признан. Ее жизнь полна нового смысла. Она не провинциальная незамужняя учительница, а революционерка, политик, вовлеченная в общее дело, цель которого высока и благородна. Ей тридцать два года, и в этой новой жизни это не «баль-

¹ Цит. по: *Лебедева В.* Полута Бодунова... С. 307.

² *Бурдые П.* Описывать и предписывать. Заметки об условиях возможности и границах политической действенности (1981) // *Логос*. 2003. № 4/5.

заковский возраст» последнего (по тем временам) женского цветения, а время деловой молодости революции; она свободна, образованна, и она — «новая женщина». Вопрос о том, насколько она «сама» перестраивает себя, выбирая как жить, а насколько — идет той колеей, которую формирует для людей ее среды, возраста и пола революционное время, категорически изменяя иерархии, а также структуру запретов и возможностей, бессмыслен. Не тургеневской же барышней становится, родившись «в России с умом и талантом», да еще на сломе эпох.

Она влюблена в это новое, храброе время, в революцию, в освобождение своего страдающего народа, и она — естественно — влюбляется: а разве могло быть по-другому? Ведь и Маяковский писал о революции как о любви: она началась с «Облака в штанах» — манифеста новой любви. Социальная революция всегда по-новому формирует сексуальность: ее цель, и смысл, и способы ее «делать», потому что любовь включена в тот властный порядок, который революция призвана изменить. Ее любовь и революция, конечно же, вместе:

Мы встретились с ним на одном из белорусских съездов воинов западного фронта... Вот к столу, попросив слова у председателя, подошел молодой военный, судя по нашивкам, вольноопределяющийся. Он сделал какое-то короткое заявление, почти не занявшее времени. Я, утомленная непрерывными каждодневными сообщениями... даже не смотрела на тех, кто говорит. А только умом выбирала главное из того, что говорил оратор. Когда начал говорить Томаш (тогда я еще не знала, что его так зовут, и еще более не знала, что это имя будет для меня таким дорогим в будущем), я нечаянно подняла глаза и глянула на него. Длинные каштановые волосы, баки, бледное лицо и резкой формы, сходящиеся над носом брови сразу делали его заметным среди других. Самое сильное впечатление сделали на меня его глаза. Почти неземная доброта, тихая грустная насмешка над суетой земной так и глядели из глубины не то карих, не то серых больших глаз его. Сразу некто стукнуло мне в сердце: о, какие глаза у этого человека. Какая должна быть святая и правдивая душа — вот кого можно полюбить до конца¹.

¹ Лебедева В. Полута Бодунова... С. 313.

Любовь, возникшая в контексте революции, по сути дела, равна ей. В момент встречи (любят упоминать историки) ей на несколько лет больше, чем Томашу Грибу. Ну и что?

П.Б. принимает участие в подготовке Всебелорусского съезда в Минске, разрабатывая больную, как пишет Валентина Лебедева, для прифронтовой Беларуси проблему: помощь беженцам и инвалидам войны. Голодные дети, истлевшие портянки. По-белорусски это называется «галеча» — от слова «голый». Она предлагает развернутую программу помощи и ставит вопрос о международной ответственности за нанесенный ущерб. Съезд провозглашает принципы независимой белорусской государственности, но разгоняется большевистским облисполкомом с применением военной силы: противостояние между большевистскими властями (по сути, властью Западного фронта) и белорусскими национальными организациями (Партией белорусских эсеров, БСДГ и другими) обостряется до предела. Будучи партиями социалистической ориентации, они тем не менее отвергали большевизм как мировую (т.е. «городскую»), а не национальную революцию.

Суть противостояния составляют сложные отношения национальных и социалистических движений. Большевики видят смысл своей борьбы в освобождении пролетариата: перед ними целый мир голодных и рабов, и их идеал — «без России, без Латвий жить единым человеческим общежитием», но со столицей в Москве. Национальные демократы считают главным субъектом исторического процесса не «всемирный» пролетариат, а национальное крестьянство. Образ, что нарисовал национальный гений Янка Купала в поэтическом манифесте 1905 года. «А кто там идет?»: «а кто там идет огромной такой громадой? Натруженные руки, ноги в лаптях? — белорусы; а что же несут они на своих плечах? — свою кривду; а чего же хочется им — голодным, слепым и глухим? — людьми зваться... В новый мир свободных европейских наций, полагает интеллигенция, мы придем как народ со своим языком, культурой и историей. В конечном же итоге, как говорил Ленин, ключевой вопрос каждой революции — это вопрос о власти. Чья будет власть, местная или “московская”?»

Тем временем, после срыва мирных советско-германских переговоров, немецкие войска занимают территорию Беларуси, и в условиях оккупации в марте 1918 года исполком Всебелорусского съезда провозглашает Белорусскую Народную Республику (БНР), которая формально просуществовала менее года. Без нее, как по-

лагают некоторые историки, вряд ли была бы возможна Белорусская Советская Социалистическая Республика, сформировавшая основы последующей государственности. Подпись П.Б. в числе других стоит под уставными грамотами республики. В составе правительства она становится министром по делам призрения, занимается беженцами, помощью детям и налаживанием национальной школы. Рада (совет) БНР обращается за помощью к немецким властям, так как Германия в тот период поддерживала независимость Украины и Прибалтики, видя в них «антимосковскую» силу. П.Б. и ее соратники квалифицируют это как предательство революции и белорусского народа, выходят из состава руководства и объединяются в Белорусскую партию социалистов-революционеров; под ее влияние попадают Крестьянский и Учительский союзы.

Осенью 1918 года немецкие войска под напором Красной армии начинают оставлять белорусскую территорию, и эсеры объявляют борьбу против двух оккупантов — Германии и Советской России. П.Б. и ее соратники остаются в занятом большевиками Минске, и сначала их арестовывают всего на сутки. Эсеры делают попытки искать внешнего политического союзника — таким какое-то время казался Пилсудский, однако по мере захвата территории поляками и репрессивных действий против интеллигенции тщетность этих надежд становится очевидной. П.Б. объявляет борьбу и против «польской эндеции, потопившей в крови права свободного белорусского народа», и осуществляет все руководство партией, когда поляки заключают Т. Гриба на семь месяцев в лагерь.

В феврале 1919 года польские оккупационные власти арестовывают П.Б. и помещают в одиночку, а через несколько месяцев выпускают под надзор жандармерии. Соратники помогают ей перейти линию фронта и попасть в Смоленск, где обсуждается вопрос о государственном самоопределении: большевики выступают за БССР, эсеры же ведут подготовку к провозглашению Белорусской трудовой социалистической республики Всебелорусским трудовым конгрессом. Эсеры — единственная местная сила, опирающаяся на военные формирования и обладающая многотысячной поддержкой. Это серьезный аргумент в переговорах с большевиками. П.Б. отправляется в Москву и проводит переговоры с наркомом иностранных дел Г. Чичериным и наркомом по делам национальностей И. Сталиным. Ее миссия оценивается партией как успешная, и она едет в Ригу для дальнейших переговоров и кратковременной передышки (тело уже не выдерживает нагрузок), где и пишет несколь-

ко страниц «Воспоминаний о моей любви» (которые будут подробно рассмотрены ниже) — сама любовь уже «закончилась», и в душе темно и промозгло. Томаш Гриб увлекся известной красавицей Павлиной Меделкой. Она молода, участвовала в первых белорусских театральных постановках, и ее именем увлеченный Янка Купала назвал свою «Павлинку». На сохранившихся фотографиях это ослепительная брюнетка в мужском костюме и рубашке с галстуком.

Осенью 1920 года П.Б. возвращается в уже советский Минск (западные земли после Брестского мира отходят к Польше), надеясь участвовать в выборах в Советы и заниматься культурной работой, но в феврале 1921 года ЧК проводит акцию ликвидации БПСР. Арестованы 860 человек и документы, в которых говорится, что П.Б. возглавляла правое крыло партии, что через нее поддерживались контакты с российскими левыми эсерами и подпольными эсеровскими организациями на занятых поляками территориях. Ее направляют в Новинскую тюрьму в Москве, полгода не предъявляют обвинений и даже не проводят допросов, она объявляет две голодовки протеста, и в июле 1921 года Красный Крест извещает ВЧК о том, что П.Б. находится в критическом состоянии. После ходатайства на имя Ленина специальным постановлением правительства РСФСР ее освобождают.

Политическая деятельность в Белоруссии невозможна, легально уехать нельзя, а при попытке перехода польской границы ее арестовывают, полгода держат под надзором полиции, а затем отпускают с требованием покинуть Польшу. Она направляется в Прагу, где при поддержке чешского правительства сформировался центр белорусской эмиграции (и где находится Т. Гриб — его брак с Меделкой распался), собираясь затем вместе с Вацлавом Ластовским представлять Беларусь на Конференции бывших коренных народов в Женеве. Неожиданно против ее поездки категорически выступают соратники по партии вместе с Т. Грибом: якобы потому, что «социалистка не может участвовать в конгрессе буржуазной Лиги Наций». Ее пребывание в Праге также нежелательно: бывшие соратники, среди них Томаш, хотят отправить ее в США налаживать издательскую деятельность. Мир рухнул: существовать можно, но жить нельзя. Не простившись, П.Б. уезжает в Берлин и заболевает: нервный стресс и простуда. Через месяц возвращается в Прагу, надеясь посещать лекции в Карловом университете, но непрерывно болеет, просит в случае смерти перевезти ее прах в Минск. Ее помещают в нервную клинику, по выходе из

которой она выглядит абсолютно сломанным человеком. Кто-то из доброхотов пишет в Минск сестре П.Б. о ее состоянии: по пражским улицам ходит живой труп. В начале 1926 года через наркомат иностранных дел сестра добивается возвращения П.Б. на родину. Она нездорова — и физически, и «так». В работе ей как бывшей эсерке, а также в пенсии по болезни отказывают. Она подрабатывает уроками, но больше живет за счет помощи сестры и брата.

В 1930 году были проведены первые крупные аресты среди белорусской интеллигенции, имевшей «незалежницкое» прошлое (к 1941-му она была уничтожена практически вся), и в 1932 году П.Б. делает попытку вырваться за границу, обратившись в Международную организацию помощи революционерам (МОПР) с просьбой о содействии в выезде из СССР. МОПР отвечает отказом, ведь П.Б. «не подвергается репрессиям со стороны капиталистов». С этого времени она живет в Гомеле у брата, подрабатывая частными уроками, но ведет себя «неадекватно»: открыто критикует советскую власть, даже в разговорах с малознакомыми людьми или в очерках. Она явно «не в себе». В сентябре 1937 года ее арестовывают, и 5 мая 1938-го Особое совещание НКВД СССР выносит ей смертный приговор, который приводится в исполнение в ноябре. О том, что происходило с ней с мая по ноябрь, мы, по-видимому, никогда не узнаем. В любом случае, Полуте Бодуновой достался страшный жребий.

Язык: история молчания

В 1998 году при поддержке различных фондов усилиями энтузиастов национального возрождения и белорусской диаспоры были изданы «Архівы Беларускай Народнай Рэспублікі»¹: собрание документов, связанных с провозглашением БНР, ее существованием, борьбой вокруг нее, судьбами ее деятелей. В первой книге первого тома на страницах 799–802 помещен документ за номером 2228: «Палута Бадунова. Успаміны аб маім каханні» («Воспоминания о моей любви»), затем указаны место написания — Кэмери (написано Кэмерн), местечко на Рижском взморье,

¹ Архівы Беларускай Народнай Рэспублікі. Т. 1. Кн. 1. Вільня; Нью-Ерк; Мінск; Прага, 1998.

и дата — 27–28.06.1920. После трехстраничного текста комментарий: «На этом заканчивается тетрадь, в которой написан этот текст. Продолжения не найдено».

Документы тома располагаются в хронологическом порядке, и номера с 2224 по 2227, непосредственно предшествующие комментарию на странице 799, представляют собой «Статистические данные о производстве зерна в белорусских губерниях Российской империи за 1913 год», затем следуют расписки в получении денег руководителями и сотрудниками аппарата БНР на издательские, почтовые и канцелярские нужды. Непосредственно за текстом следует «Записка Александра Вальковича (Рига) Вацлаву Ластовскому от 28.06.1920» о том, что через украинское консульство в Вильне получена справка о расстрелянных поляками белорусских гражданах (все по-белорусски, перевод мой. — *Е.Г.*).

Сотрудник Национального архива, рассматривающий, как и многие белорусские интеллектуалы, издание тома шагом на пути возвращения этой страницы истории в национальную память, отзывался о записках П.Б. с недоумением и сомнением в необходимости их публикации. В контексте нашего разговора это означало, что исторической ценности эти сведения не имеют (не добавляя новых данных о политических событиях или людях в тех ситуациях, которые «важны для истории»), посвящены личным отношениям мужчины и женщины и выставляют «это» на всеобщее обозрение, что, в общем, даже и неприлично. Я подумала, что в записках есть интимные подробности, возможно, открытые. Другой архивист признался, что «никогда ничего подобного не читал», но объяснить, что же именно его поразило, не мог, добавив только, что написаны записки — с точки зрения словаря, стиля и пунктуации — ужасно.

«Не воспоминания (успаміны) мне хочется писать, а тяжкую безумную тоску мою описывать. Тоску по той великой, несбывшейся любви моей, что уже третий год печет, как огнем, сердце мое»¹ — открывается текст прямой мелодической цитатой из зачинального былинного плача. Следующие три страницы — в которых напрочь отсутствуют интимные или иные подробности — написаны безумно одиноким и раненым человеком; они о том, как болит душа, страдание невыносимо и только долг перед своим несчаст-

¹ *Бадунова П.* Успаміны аб маім каханні. Кэмерн, 26–27.06.1920 // *Архівы Беларускай Народнай Рэспублікі*. Т. 1. Кн. 1. С. 799.

ным народом дает жизни какой-то смысл. Эта фраза, при помощи которой я рационально изложила суть «Воспоминаний...», находится в остром противоречии с тем, как они написаны, и в этом смысле «сути» их не передает: моей речи не хватает для того, чтобы передать ту, другую речь, где крик боли может остановиться, только трансформировавшись в партийный лозунг:

Надо жить, говорит разум. Надо жить, ибо ты нужна еще своему бедному страдающему народу. Разве не видишь слез его! Разве не слышишь его стонов? Живи для других, люби идею больше, чем себя. Брось тоску. Пусть она сгинет под напором светлого труда ради всех страдающих.

«Воспоминания...» содержат только одно (приведенное ранее) «мемуарное» фактологическое описание первой встречи на Съезде Западного фронта; остальное представляет собой текстуальный «окровавленный сердца лоскут»:

Этого топора жду я. Но не только жду так безропотно, так покорно, как эти когда-то зеленые веселые деревья, а сама ишу эту добрую заботливую руку человека, который бы снес, спалил мою жизнь, уже начинающую быть тем, чем сделались эти деревья, — внутренним трупом¹.

«Воспоминания...», как всякий документ частной жизни, являются свидетельством: как некоторых событий, так и их культурного и смыслового контекста; в данном случае текст запечатлел попытку сказать «невыразимое», сказать то, что нельзя сказать, т.е. прорваться через «невозможность» говорить. Природа этой невозможности сложна. Она связана с (белорусским) языком, на котором пишет автор, с попыткой создания «языка любви», а также с феноменом «женского письма» («женской речи»).

Язык, на котором П.Б. написала свои «успаміны», действительно ужасен — если мерить его учебником белорусской грамматики и стилистики, т.е. современным и логоцентрическим принципом «правильного» как соответствующего установленной норме: «Боже! Какое счастье погломить с ним про все, все. Как измучи-

¹ *Бадунова П.* Успаміны аб маім каханні. Кэмерн, 26–27.06.1920 // Архівы Беларускай Народнай Рэспублікі. Т. 1. Кн. 1. С. 800.

лась, истосковалась душа моя без него! А всежки видеть его вместе и радостно и страшно»¹.

Несоответствие норме очевидно, но неоднозначно. Прежде всего, самой белорусской языковой нормы в современном понимании на тот момент не существует: «никто не знает», *как* следует писать и говорить, потому что отсутствуют институты (государство, система образования, академия в широком смысле), которые устанавливают норму и цензурят отклонения от нее. Имперскими элитами белорусский воспринимался как диалект низкой, ограниченной, крестьянской культуры — в соответствии со статусом его носителей. Зачин времен Великого княжества Литовского, когда на старобелорусском были написаны Статуты (своды светских законов), а также версия «Тристана и Изольды», не реализовался: ВКЛ не трансформировалось в государство Нового времени с белорусским языком в качестве «страннообразующего», и сейчас это язык крестьян и наивных мыслителей. Хотя иногда к нему и обращаются создатели польского культурного канона, например Адам Мицкевич, высокое искусство, создаваемое на этих землях, признается принадлежностью других народов. Формирующаяся национальная элита — учителя, этнографы, языковеды («крестьянские демократы» в терминологии белорусского исследователя Адама Мальдиса) — являются создателями нормы; некоторые из них непосредственно занимаются ее выработкой, подготовкой учебников и организацией школ (за что впоследствии будут расстреляны). Стремясь разбудить народ при помощи литературы и искусства на родном языке, они апеллируют к крестьянству и оперируют «домодерными» категориями.

На этом языке крестьянских мыслителей П.Б. пытается описать те «недуги души»², для артикуляции которых в европейской культуре возник в XVIII веке «роман чувств». Однако гетевские «Страдания юного Вертера», первый роман о любви, повествующий о чувствах в психологических и эстетических категориях Нового времени, не только не мог быть написан в то время по-белорусски, но еще не был на белорусский переведен. Словарного и понятийного аппарата для выражения недугов развитой, сложной, современной души не хватает в той недавно обретенной П.Б. культуре, которой она поклялась быть верна, так как нет образованного слоя,

¹ *Бадунова П.* Успаміны аб маім каханні. С. 801.

² *Kristeva J.* New Maladies of the Soul. NY: Columbia University Press, 1995.

пользующегося этим языком. Но как учительница словесности она читала по-русски романы и стихи; используя имеющиеся в этом арсенале «ресурсы» (метафоры, образы, аллюзии), она пытается произнести их на крестьянском наречии, потому что история несчастной любви — единственный «готовый», признанный в культуре вариант организации ее опыта:

Утром я все убрала в моем светлом, чистеньком веселеньком покое. Мне все казалось — от-от откроются двери и войдет он долгожданный друг мой. Уже три часа. Никого нет. Тоска вновь берет сердце мое. И снова я начинаю метаться в какой-то агонии. Дивно, какое крепкое сердце дал мне Бог! Третий год ни одного дня ни одной ночи не прошло без горьких дум, без тяжких стонов. Откуда силы? Откуда эта безмерная страшная жажда жизни (пунктуация оригинала сохранена. — Е.Г.)¹.

«Уши» русского литературного языка вылезают из текста «Воспоминаний...» (который в переводе получает отсутствующую нормативность и становится правильным) здесь и там: когда нет соответствующего белорусского слова, либо его нет для П.Б. — ведь по-белорусски она начала говорить недавно, — она искажает русское (это теряется при переводе). Если она и родилась внутри белорусского языка своего края (скорее всего, ее семья — мещане — по-белорусски не говорила, но говорило местное население), он был «выдавлен» из нее системой воспитания, образования и доступа к интеллектуальным ресурсам, поэтому тот язык, на котором она пытается говорить в «Воспоминаниях...», кажется не до конца ею освоенным. Дневник П.Б. написан интеллигенткой, которая в народовольческом порыве хождения «в народ» стремится сознательно опроститься, постоянно сбиваясь на культурную речь. В одних случаях она употребляет белорусское слово *туга* (однокоренное с русским «тужить»), в других — забывшись — русское *тоска*. В этом смысле текст не соответствует даже той норме языка, которая существовала на тот момент: белорусский для П.Б. «неродной», но и в минуты сильного душевного волнения она верна ему, как данной революции клятве.

Помимо языковой маргинальности, выражающейся в словаре, построении фраз (только «звучащих» как народные), общей сти-

¹ Бадунова П. Успаміны аб маім каханні. С. 801.

листке и соскакивании на неправильные для белорусского языка (русские) падежные окончания, очевидно и еще нечто, выраженное «ужасной» пунктуацией (отсутствием знаков препинания), нарушенным синтаксисом, переключением повествования. Все вместе это напоминает то, что называют «истерическим» текстом: еще со времен З. Фрейда особый язык — либо вовсе его отсутствие, молчание, невозможность говорить — считаются признаками особого травматического состояния. Фрейд, описав «случай Доры» — пациентки, которая потеряла возможность артикулировать слова, — одним из первых сформулировал эту связь. По мнению психоаналитика, травма проявляется себя, в том числе, и в нарушении способности речевого выражения, в нарушении самой возможности рассказать; соответственно, ключ к излечению может лежать в терапии речию.

«Истерический текст», обнажив травмированность или разбитость автора речи, указывает еще и на то, что этот «лишенный целостности» субъект исчерпал возможности выразить свой опыт при помощи языка или, скорее, при помощи существующего языка. П.Б. не находит средств, чтобы означить прежде всего «язык чувства». Роллан Барт во «Фрагментах речи влюбленного» рассматривает «влюбленную» речь как истеричный дискурс, останавливающийся перед невозможностью «высказывания» любви¹. С другой стороны, дискурсивная немота П.Б. проистекает из невозможности *означить себя*. Как у женщины у нее в определенном смысле нет речи вообще: «все женщины “страдают от истерии” в попытке обрести свой собственный язык»². Записки П.Б. — это попытка преодолеть свое двойное (тройное?) безъязычие, сказать «невыразимое». Ее исковерканная речь есть свидетельство того, что она, следуя формуле Гайтри Спивак, «не может говорить». Без разъяснения этой формулы мы вряд ли можем расшифровать историю П.Б.

Статья «Могут ли угнетенные говорить?» (1988)³, ставшая классикой постколониальной теории, посвящена проблеме конституи-

¹ Идея «влюбленной речи» (Бодуновой) и ее бартовская трактовка как истерии принадлежит Александру Першаю.

² *Urary G. From Revolution to Liberation. Transforming Hysterical Discourse into Analytic Discourse // Language and Liberation. Feminism, Philosophy and Language. Ch. Hendrics, K. Oliver (eds.). NY: State University of NY Press, 1999. P. 129.*

³ Сокращенный русский перевод: *Спивак Г.Ч. Могут ли угнетенные говорить? // Введение в гендерные исследования. Ч. II: Хрестоматия / С.В. Жеребкин, ред. Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя, 2001. С. 649–670.*

рования «колониального субъекта» («угнетенного») как Другого и уничтожению следа того Другого (т.е. некой «первичной» субъектности) в его / ее сознании. Иначе говоря, проблеме изъятия из сознания колониальных организмов («других») неколонизованного / колонизирующего «знания о себе». Г. Спивак использует понятие *угнетенный* (по-английски обозначенное как *subaltern*, т.е. *низший по рангу, подчиненный* в армии) в том смысле, которое ему придавал итальянский марксист Антонио Грамши: подразумевая всех тех, над кем осуществляется гегемония правящих классов. Группы угнетенных разнообразны, и, по мнению Грамши, их история не менее сложна и многообразна, чем история доминирующих классов. Однако только последняя принимается в качестве «официальной» версии событий и, таким образом, является известной. У угнетенных в этом смысле «нет истории». Следуя лингвистическому повороту, Спивак привлекла внимание к тому, что у угнетенных нет и языка, на котором их *собственная* история могла бы быть рассказана.

Разработанное Грамши понятие «угнетенного» (т.е. «другого») было использовано группой британских «постколониальных» исследователей индийского субконтинента, стремившихся ввести в нее системное обсуждение тематики «подчиненности». Г. Спивак, критикуя их подход, заявила, что вопрос, который в данном случае должен быть поставлен, состоит в том, «могут ли угнетенные говорить» своим голосом? Обладают ли они «голосом» для выражения своего коллективного самосознания, если их «сущность» заключается в постоянном воспроизводстве своего *отличия* от господствующих элит и, таким образом, в базовой, конституирующей зависимости своего отличия-как-отклонения от нормы, заданной колонизатором? Насколько, в таком случае, можно говорить о независимой субъектности угнетенных, если проблема их автономии касается дискурсивных форм, доступных для ее — автономии — репрезентации?

Спивак проблематизирует категорию «угнетенных», обращаясь к конструкции гендерного субъекта. Для нее это необъятная проблема «сознания женщины как угнетенного», для которой «возможность самой коллективности исключается посредством манипуляции с инстанцией женщины»¹, вследствие чего «угнетенный как женщина не может быть услышан или прочитан»². В качестве

¹ Спивак Г.Ч. Могут ли угнетенные говорить? С. 662.

² Там же. С. 667.

примера-метафоры Г. Спивак приводит историю индийской девушки Бхуванесвари Бхадури, повесившейся в 1926 году в доме своего отца. Смерть (учитывая, что в момент смерти у погибшей были месячные) не могла быть связана с беременностью, следствием тайной связи, — а потому казалась необъяснимой: какой иной мотив возможен для самоубийства молодой женщины? Через десять лет после гибели раскрылось, что умершая была членом вооруженной группы, участвовавшей в борьбе за независимость Индии: в конечном итоге женщине «доверили» политические мотивы самоубийства. Это было бы невозможно, не сделай Бхуванесвари «физиологической инскрипции на своем теле», дождавшись начала месячных и, таким образом, предприняв невероятное усилие по смещению своей телесной заточенности в рамки общепринятых интерпретаций женского поведения.

Проблематичность само-репрезентации «угнетенных», вскрытая Спивак, дает возможность сосредоточиться на проблеме собственно языка (помня о текстовой форме воспоминаний П.Б.). Говоря «чисто технически», «угнетенные», находящиеся в фокусе постколониальной теории, действительно говорят на «других» языках, непонятных «белому» человеку. В каком-то смысле другие — это все те, кто говорит «не по-нашему». Чтобы быть понятыми, они должны «сменить код» — заговорить на языке, известном слушающему: на языке метрополии, колониальной администрации, имперской культуры, языке, который, якобы позволяя им «донести себя», в то же время являлся одним из инструментов их подавления. В отношении угнетенных или «молчащих» совершается «эпистемологическое насилие»: оно состоит в отстранении их от производства смысла, создания языка и порождения значений. Угнетенные «не могут говорить» в том смысле, что *за* них (кем бы они ни были) или *от* их имени всегда говорит кто-то другой. Их собственная попытка рассказать — т.е. создать — свою коллективную культурную идентичность в лучшем случае остается нерасслышанной или неузнанной, а в худшем — приводит к восстановлению (или укреплению посредством повторного проговаривания) того «великого нарратива», в рамках которого они обречены быть угнетенными. Власть над ними, таким образом, простирается за пределы собственно структуры эксплуатации и охватывает пространство социального во всех его проявлениях.

Женщина как угнетенный была, по словам Симоны де Бовуар, исторически если не рабом мужчины, то его вассалом, — здесь

Бовуар апеллирует к понятию гегелевского «раба». Вечно «другая» (созданная через отличие от «нормы»), она «не может говорить». Коллективное «молчание» женщин вытекает из связи между полом, позицией в социальной иерархии и (не)возможностью (значимого) высказывания, так как язык как символический продукт несет в себе те значения, которые можно назвать патриархатными (связанными с мужским доминированием). Они исходят из мужского опыта, который единственно и может быть высказан. Мужское доминирование воспроизводится в каждом речевом акте, в то время как «субъективный женский опыт противоречит логической и грамматической структуре нормального символического означивания»¹. Ведь язык, исторически сложившийся как отражение социальных отношений, есть инструмент подавления и оформления, т.е. отсеечения всего ненужного и не вписывающегося в сложившиеся нормы и стандарты (языкового) поведения; есть то самое «глобальное означающее», которое определяет смыслы означаемого. Пытаясь сказать свою «правду», женщины, таким образом, вступают в конфронтацию со всей глобальной языковой структурой, осознавая на практике «свою отверженность от языка и от социальных уз»², которые возможны лишь при помощи дискурса.

Если «угнетенная» все же заговорит, то каким языком будет она пользоваться? На каком языке можно рассказать о невозможности говорить? Вошедшие в употребление в последнее время термины «женский язык», «обретение голоса» и т.п. связаны с попытками публичного выражения самостоятельной перспективы в отношении себя и своего социального мира, с попытками представления своего собственного опыта вне форм и формулировок, предложенных теми, кто «властвует» над дискурсом³. Нахождение «своего голоса» (т.е. самопознание и артикуляция) — это трудный и даже болезненный процесс преодоления навязанной (и присвоенной) идентичности. Однако текст «на своем языке», способный, по ощущениям говорящей, наиболее точно передать то, что она стремится сказать, квалифицируется как «неправильный», как отклонение от (мужской) нормы, как неспособность «вписать себя» в уже сложившиеся каноны и традиции дискур-

¹ *Ulary G.* From Revolution to Liberation. P. 129.

² *Kristeva J.* New Maladies of the Soul. P. 213.

³ *Gal S.* Between speech and silence: The problematics of research on language and gender // *Pragmatics*. Vol. 3. № 1. P. 2.

сивности. Именно так текст «Воспоминаний...» П.Б. воспринимается историками.

У П.Б. нет языка, на котором она могла бы передать *свою* историю, отчаяние своего одиночества, и посредством письма она пытается создать этот язык — неправильный, изломанный, полный маргинальных элементов. Она ищет словарь и синтаксис для выражения опыта, одновременно порожденного патриархатом и невозможного для выражения на его языке. Но если предположить, что П.Б. «не может говорить», о чем свидетельствует строй ее «неправильного» («истерического») текста, то что же именно пытается она сказать? В чем смысл ее невыразимого? Можем ли мы каким-то образом это узнать? Для этого, как и в случае Бхуванесвари, необходимо выйти за рамки собственно языка, который сам по себе не предоставляет необходимых нам значений.

Про любовь: «недути души»

В одном из своих эссе феминистский теоретик Тереза де Лауретис дает интерпретацию «молчания» и душевной болезни русской жены Антонио Грамши, которая может оказаться полезной при поиске ответа на поставленные вопросы¹. Рассказанная Лауретис история развертывалась в то же самое время, и в центре ее также находились любовь и революция. Суть ее в следующем. Антонио Грамши, находясь в Советской России в 1922 году в качестве представителя Коммунистического интернационала, познакомился с двумя сестрами Шухт, дочерьми бывшего соратника Ленина, выходца из буржуазной среды, жившего вместе с семьей в эмиграции в Италии десять предреволюционных лет. С младшей, Гулей, эмоциональной и женственной, у него начались любовные отношения, и в 1924 году у них родился сын, однако сам Грамши к этому времени вынужден был вернуться в Рим. С Гулей он виделся еще один раз, когда она, ребенок и ее сестра Евгения получили возможность провести с ним несколько месяцев. После того как сестры вернулись на родину (Гуля была беременна их вторым ребенком), Грамши был арестован и провел в тюрьме одиннадцать лет, вплоть

¹ *De Lauretis T. Gramsci Notwithstanding. C. 352.*

до своей смерти. Все эти годы главной связью между ним и его русской семьей была третья сестра, Татьяна, жившая в Италии. Она поддерживала Грамши материально и психологически, следовала за ним из тюрьмы в тюрьму, связывалась с лидерами левого движения в попытке освободить его, передавала лекарства, необходимые вещи и письма от жены и детей (которые, в качестве единственного разрешенного тюремным начальством корреспондента заключенного Грамши, переписывала своей рукой), а после его смерти спасла ставшие знаменитыми «Тюремные тетради». По сути дела, Татьяна стала тем, чем обычно является оставшаяся на воле жена заключенного, и ей же досталась та малая «власть и слава», которую может обрести женщина, отдавшая себя служению. Письма Грамши Татьяне Шухт, в которых он подробно, по пунктам обсуждает с ней свою работу, напечатаны в русском издании под одной обложкой с его философскими текстами¹.

Гуля и ее сестры, пишет де Лауретис, были воспитаны отцом в духе романтизма и гуманистических ценностей, ядро которых составляли долг по отношению к бедным и обездоленным, общение с природой, любовь к детям как воплощению добра и чистоты, привязанность к семье, которая считалась убежищем от бурь внешнего мира. Грамши стал для сестер центром эмоциональной вселенной, реализацией романтической революционной мечты и той патриархатной модели, которую они усвоили. В некотором смысле все трое «были за ним замужем»; в то же время они были «обручены с партией». Гуля осталась в Москве, воспитывала детей, пыталась участвовать в партийной работе. Ради партии она отказалась от любимой ею игры на скрипке — и писала письма мужу (которые Татьяна переписывала своей рукой и своим почерком). Евгения убеждала ее, что она должна оставаться в Советском Союзе, что партия в ней нуждается, что за границей ей с детьми было бы опасно и что она вообще слишком слаба и нуждается в защите. По сути дела, Евгения играла в этой «семье» мужскую роль, оберегая и ограничивая Гулю и исключив из ее жизни возможность человеческой близости с Грамши (и с кем бы то ни было).

Письма Гули к Антонио становились все более редкими и отчужденными; постепенно вместо нее начала писать Евгения, взявшая на себя воспитание детей, а также руководство всей жизнью Гули. Грамши из живого человека, которого она любила, превра-

¹ См.: *Грамши А.* Искусство и политика: В 2 т. М., 1991.

тился в далекого революционного героя и вождя: в письмах он рассуждал о том, можно ли любить трудовой народ, не пережив настоящей любви, писал о воспитании детей и о том, что значит быть революционером. Антонио советовал ей закалять волю и заниматься физическими упражнениями, чтобы победить начинающуюся душевную болезнь, слабость, недопустимую для революционера.

Гуля же, по мере того как Евгения и Татьяна забирали у нее все значимые области жизни и человеческих отношений, тем самым еще более усиливая ее беспомощность и потерю себя, все более уходила в свое молчание. Для нее исчезла возможность какого-либо действия в рамках традиционных и социально приемлемых женских практик, которые она в свое время усвоила. Не в состоянии определить себя концептуально, Гуля вытесняется из участия в значимых интеллектуальных и эмоциональных обменах и вынуждена проживать свой бунт пассивно, внутри себя. Как пишет де Лауретис: «Это именно то, что обычно диагностируется у женщин как сумасшествие»¹. Через некоторое время Гулю помещают в психиатрическую лечебницу, где она и проводит оставшуюся жизнь в своем странном молчании. По сути дела, заключает Лауретис, те роли, что приняли на себя сестры Шухт, почти полностью исчерпывают выбор, который оставляют женщине западные культуры: верность, жертвенность, самоотречение и безумие...

Современники, а затем историки трактовали состояние и поведение П.Б. как «психическое заболевание» и даже «сумасшествие». Заболевание Гули позволяет увидеть в «сумасшествии» П.Б. нечто иное: «заболевание» П.Б. обозначило то «*невывразимое*», что сначала отразилось в упомянутом дневнике и достигло своей кульминации позже, когда П.Б. «объективно» заболевает, чтобы уже никогда не поправиться. Очевидно, в Праге она переживает травму:

Травма — физическая либо психическая — наносит такой ущерб нашей защитной оболочке, что справиться с ее последствиями при помощи обычных методов, к которым мы прибегаем при переживании боли или потери, оказывается невозможно. Ущерб настолько велик, что, даже когда трагическое событие не является неожиданным, опыт его переживания невозможно предсказать².

¹ De Lauretis T. Gramsci Notwithstanding. С. 89.

² См. статью Джулиет Митчелл в этом сборнике.

Причиной травмы, которая окончательно прорывает уже ветхое защитное покрытие души, стал отказ в признании тех двух позиций, которые для П.Б. наиболее существенны: позиции женщины, состоящей в сложных психологических (т.е. «современных», легитимных вследствие модернизационной, антифеодальной революции) отношениях со значимым мужчиной, и позиции национального политика¹. Она предана: отвергнуты ее значимые Я. По сути дела, ей отказано в праве на социальное действие; травма П.Б. — это травма непризнания окружающими ее *автономии*, которая существует только во взаимодействии, в признании ее другими. В то же время это травма революции и любви «новейшего времени», когда личное и политическое невозможно разделить, и психическое заболевание возникает «на перекрестке Великой истории и малой истории» живущего в ней человека². Воображаемой реальностью революции был разрыв обыденного порядка, когда все казалось возможным, и травма — а за ней и «безумие» — наступила тогда, когда стала ясной необходимость возвращения в привычный порядок и подчинение его установлениям.

В результате травмы П.Б. «лишается речи», которую могли бы понять живущие в мире здравого смысла, т.е. речи последовательной, подчиненной логоцентрическому (маскулинному) принципу. Как и Гуля, П.Б. уходит в «молчание», в «не-речь», преодолеть которую доступными ей способами не сможет. Когда в очередях она ругает советскую власть, т.е. делает то, что «нормальный человек» делать не станет, ее язык, очевидно, становится выражением чувства, а не значения. Эта речь не делает говорящую (в том смысле, как человек «создается» языком, второй сигнальной системой) автономным, независимым субъектом «права и речи», а, наоборот, исключает ее из сообщества таковых. Безумие, в сущности, состоит в неспособности порождать значения, т.е. символы, значимые для сообщества³. Протест против власти логического принципа лишь делает более видимым это исключение:

¹ Возможно, ранее она пыталась продумать себя как женщину: созданный ею в 1918 году детский приют она назвала в честь недавно погибшей Элоизы Пашкевич, «Тетки» по псевдону, поэтессы и деятельницы национального возрождения. Находясь в заключении в Польше, пыталась также писать пьесу о Тетке — возможно, в поисках модели новой, независимой и национальной женской субъектности.

² См. статью Франсуазы Давуан и Жан-Макса Годиера в этом сборнике.

³ *Caminero-Santagelo M. The Madwoman Can't Speak. Or Why Insanity Is Not Subversive. Ithaca: Cornell University Press, 1998. P. 11.*

Кажется, существует непреодолимый прорыв между рациональной, репрезентативной, логической структурой языка (символической или мужской структурой) и экспрессивным, ситуационным... опытом человеческой субъектности (реальным или женским опытом)... результатом остается выбор или / или: либо субъект — особенно женский субъект — остается в подчинении у символического, либо субъект становится психотичным и истерическим...¹

Травма невыразима обычным языком и с неизбежностью его ломает: непонятную речь П.Б. окружающие трактуют как признак сумасшествия в его тривиальном смысле, отрицая тем самым ее страдание: невысказанного, его как бы не было. Его и действительно не было — внутри принятой структуры языка. Не имея слов, чтобы обозначить происшедшее с ней, она не могла и интегрировать травму в свое сознание, осмыслить и понять травмирующее событие. Переживая это событие снова и снова, П.Б., как всякий травмированный человек, не находила слов для его постепенного изживания. Дело, собственно, даже не в «советской власти», или не только в ней: травма изменила для П.Б. траекторию бега времени, замкнув ее сокрушительный опыт в круге бесконечного повторения. Безумие «помещает субъекта за пределы пространства, в котором возможно осуществление власти, и означает его / ее окончательное удаление из поля осуществления действия»². Язык безумия, которым отныне «говорит» П.Б., — это язык без речи, это способ передачи значения вне языка. Но, не имея речи, нельзя сохранить свой опыт для социальной памяти, создаваемой в соответствии с потребностями великих нарративов об истории, истине, справедливости. Существование вне дискурса неизбежно ведет к забвению, сводит в небытие. Круг замыкается. «Телесный» опыт П.Б. не преодолевает — несмотря ни на какие революции — лингвистически определенных социальных отношений; не деконструирует кардинально отношений власти. Пол и сексуальность остаются формами конституирования речи³, и «любовь» — т.е. сексуальное, телесное — находится в самом центре этого «текстуального» клубка.

¹ *Ulary G.* From Revolution to Liberation. P. 130.

² *Caminero-Santagelo M.* The Madwoman Can't Speak. P. 1–17.

³ *Marder E.* Disarticulated Voices. Feminism and Philomela // *Language and Liberation* / Hendricks, Oliver (eds.). P. 166.

Заключение: Об угнетенных, которые все еще не могут говорить

История П.Б. обретает особое значение при осмыслении нашего времени и встающих сейчас трудностей написания национальной истории. Как это ни парадоксально для независимого государства, в Беларуси по-прежнему происходит борьба между двумя ее версиями¹. «Официальная» историография, хотя и ориентирована на белорусские, а не московские, как это было раньше, события, дает им почти советскую интерпретацию, относя «несогласных» к «националистам» либо вовсе не упоминая их. Противостоящая ей версия стремится представить историю последних полутора веков как бескомпромиссную борьбу народа, возглавляемого сознательной национальной интеллигенцией, за «свободу», т.е. за язык, культуру и создание национального государства.

В обоих случаях роль интеллектуалов в культурном и политическом движении состоит в том, чтобы конституировать производство истории в виде повествования о свободе². В таких нарративах «гендерному субъекту» отводятся некоторые «оговоренные» роли. П.Б. же, очевидно, не поддается той мифологизации, которой обычно сопровождается введение в историографический обиход «верных дочерей народа» (слишком часто удобно оказывающихся женами или дочерьми деятелей национального возрождения), — ни в образе пламенной революционерки, ни в образе матери или невесты нации, ни даже в образе «жертвы кровавого режима». Об этом свидетельствует ее невключение (или неполное включение) в «новую» историю Беларуси, где уже нашли свое мифологизированное место и силой увезенная в Киев полоцкая княжна Рогнеда (X век), и просвещенная монахиня Ефросинья Полоцкая (XII век), и меценатки из рода князей Радзивиллов (XVIII век), и поэтесса Тетка (начало XX века).

Написание истории, т.е. представление ее как *того, что было*, связано с поиском смысла в пережитых страданиях и является

¹ Подробно об этом см.: *Lindner R. Besieged Past: National and Court Historians in Lukashenka's Belarus // Nationalities Papers. 1999. Vol. 27. № 4. P. 631–648.*

² *Спивак Г.Ч.* Могут ли угнетенные говорить? С. 661.

непосредственно политическим актом. «Владение прошлым» (в «терминологии» Оруэлла) означает контроль над нарративом, т.е. над тем, кто имеет право на *голос* в истории; чья правда признается правдой; чье страдание останется в памяти; чьи слова отражаются в хрониках; в конечном итоге над тем, кто является субъектом исторического процесса. Само же существование «двух версий», непрерывный поиск интерпретации, постоянно происходящее исключение одних фактов и версий и включение других является свидетельством того, что «нация» еще не оформила свое прошлое в канонические формы «великого исторического нарратива». Прошлое, по словам Хабермаса, в отношении которого нация согласилась и, следовательно, состоялась. Версии нации, которые конструируют и новые «патриотические» историки, и официальный дискурс, — это мужская фаланга, в которую женщины допускаются на определенных ролях для выполнения ряда ограниченных функций, служащих укреплению и легитимации воображаемого братства. «Это очень материальное письмо, очень мужское, а потому очень белорусское», — написал известный современный белорусский поэт Адам Глобус в рецензии на книгу другого поэта (Алеся Рязанова). Белорусское потому, что мужское. Полута Бодунова была женщиной.

Террор: речь после 9–11*

1

Эти размышления возникли в ответ на войну Америки с терроризмом¹. Сначала я была убеждена, что ответа войне быть не может. Война — это жестокая карикатура на то, что в нас способно дать ответ. На войну невозможно отозваться.

Однако молчать тоже невозможно. Долг или необходимость ответить рождает два вопроса: каковы уже существующие ответы? И как отвечать перед лицом невозможности ответа?

Как только я взяла на себя задачу ответить, вмешалась моя институциональная принадлежность. Я преподаю гуманитарные дисциплины, и на занятиях по гуманитарным наукам обучают критическому отношению, способному затронуть публичную сферу, настроенную глубоко враждебно по отношению к гуманитарным задачам, под которыми мы понимаем неустанную попытку ненасильственной реорганизации желаний, — через обучение чтению. Подчеркну с самого начала, что это понимание отличается от того нагромождения открыто политических, нудно радикальных и нередко нарциссистских описаний, непонятно на каком основании воспринимаемых в качестве новейшей евро-американской теоретической моды, которую мы и преподносим нашим студентам под именем публичной критики. Итак, ненасильственная реорганизация желаний; попытки, повторяющиеся в учебной аудитории день за днем.

Таким образом, я обнаружила себя призванной к ответу. Ответ не только предполагает и производит отвечающего субъекта, он

* Перевод с английского Ольги Липовской, Елены Трубиной, Сергея Ушакина.

¹ Первая версия этого текста была представлена на конференции «Ответы войне» — в рамках серии мероприятий «Феминистское вмешательство», — организованной Институтом по исследованию женщин и пола в Колумбийском университете. Я благодарна Розалинд Кармел Моррис за приглашение к участию.

также конструирует объект ответа. На что отвечает большинство этих ответов?

«Война» против Талибана, неоднократно объявляемая в масс-медиа представителями правительства США от президента по нисходящей, была войной только в самом общем смысле. Не будучи официально утвержденной Конгрессом, она не могла называться своим настоящим именем. Как постоянно напоминают нам и правые и левые, арестанты в заливе Гуантанамо — это не военнопленные, и к ним неприменима Женевская конвенция (и без того не обязательная к исполнению), поскольку, согласно Дональду Рамсфелду, кроме всего прочего, «на них не было военной формы во время боя»¹. США воюет с абстрактным врагом — терроризмом. Определения из правительственных справочников или документов ООН мало что разъясняют. Война — это лишь часть алиби, которое придумывает себе очередной империализм: цивилизующая миссия, доведенная до крайности, как оно и должно быть. Это война против терроризма, сведенная в США к юридической процедуре, к судебному делу «США против Закарии Муссауи», он же «Шакиль», он же — «Абу Халид аль Сахрави», вместе с теми девятнадцатью мертвыми захватчиками, которых объявили участниками заговора, не предъявив обвинения.

Здесь я и начну: война, уменьшенная до размеров судебного дела и увеличенная до абстракции. Даже в самом общем смысле эта бинарная оппозиция ущербна. Но для формулировки ответа вполне пригодна. Итак, повторюсь: уменьшенная до судебного дела, увеличенная до абстракции. Я не могу компетентно рассуждать о законе или судебных делах. В этом я не «ответственна». Я обращаюсь к абстракции: террор-изм.

И все же, будучи гражданкой мира, которая стремится жить и развиваться, подчиняясь «верховенству закона», я рискну сказать. Наша убежденность в том, что уголовное преследование насильников как преступников гораздо разумнее и даже правильное во-

¹ Это не настолько глупо, как может показаться. Анн-Мари Слотер в своей интересной статье также указывает на это как на серьезную причину: «конвенция о военнопленных ставит вне закона боевиков — участников военного конфликта, пренебрегающих гражданским статусом для достижения военного преимущества: это те, кто не носит оружия в открытую, и на них отсутствуют такие “отличительные знаки установленного образца”, как униформа или другие знаки различия, указывающие на их армейский статус» (*Slaughter A.-M. Tougher Than Terror // The American Prospect. January, 28. 2002. P. 2).*

енного вторжения, нисколько не приближает нас к вечному миру. До тех пор пока мы не научимся представлять себе другого — необходимая, невозможная и бесконечная задача, — все наши политико-правовые расчеты не увенчаются успехом; даже если мы придадим всем своим планам неопределенность отложенного будущего времени и начнем говорить лишь о том, что может произойти, вместо того чтобы говорить о том, что произойдет.

Обучение тому, как представлять себе другого, было частью общего приобщения к культуре до того, как потребовалось специфическое «публичное пространство», это своеобразное следствие империалистических систем и движений народов, когда различные «типы» людей стали жить вместе¹. Позже оно стало исключительно бременем институционализированной системы преподавания гуманитарных наук. Здесь я даю в сжатом виде целую историю. Просвещенный субъект, о котором писал Кант, — это ученый². В «Критике власти» Бенджамин пишет: «То, что находится вне закона, будучи совершенным выражением силы образования, есть одна из форм проявления божественной силы»³. И хотя моя специальность — Европа, я нисколько не сомневаюсь в том, что исторические примеры интуитивного понимания важности образования можно обнаружить в любой культуре. Особо важным сегодня, перед лицом беспрецедентного нападения на храм Империи, оказывается не только непосредственное вмешательство при помощи механизмов публичной сферы — будь то война или закон, — но и обучение (применение силы образования) этического прорыву. Я понимаю этику (и позиция моя производна) как разрыв эпистемологии, которая пытается сконструировать другого как объект познания. Эпистемологические конструкции принадлежат сфере закона, который стремится как можно полнее познать другого, его или ее, для того чтобы карать или миловать в

¹ Тит Ливий в «Римской истории от основания города», упоминая создание Римской республики, фиксирует это в страхе Лукреции, которая опасалась, что ее изобразят спящей с «человеком низкого происхождения» (*Livy T. History of Rome. Bk. 1. P. 58–60*).

² *Kant I. What is Enlightenment // What is Enlightenment? Eighteen-Century Answers and Twentieth-Century Questions / J. Schmidt (ed.). Berkeley: University of California Press, 1996. P. 58–64.*

³ *Benjamin W. Critique of Violence // Reflections: Essays, Aphorisms, Autobiographical Writing / Trans. E. Jephcott. NY: Schocken, 1978. P. 297; translation modified.*

соответствии с рациональными доводами; при этом параметры рациональности определяются пределами самого закона. Этика вторгается в эту схему, заставляя слушать другого как себя — не карая и не милуя.

Сегодня общественное мнение должно настаивать на том, что никакое наказание — будь то судебные решения в отношении отдельных индивидов или военные и экономические меры в отношении государств и сообществ, равно как военные и экономические *вознаграждения* вроде приглашения в союзники или вступления во Всемирную торговую организацию, — не приведет ни к длительным переменам, ни к эпистемологическому сдвигу, даже самому малому. Нам необходимо обратить внимание на ту этику, которая определяет основы нашего внимания. Именно с этим связана публичная ответственность гуманитарного знания.

Вместо этого «Война с терроризмом» породила мощный всплеск национализма, подкрепленного актом Конгресса — Патриотическим актом. В академической интеллектуальной среде бытует необоснованное предположение, что поскольку мировая экономика действует поверх границ и наций, достигая глобального уровня на самом своем верху, то бесшовно-идеологический пост-национализм и есть современная эпистема. Погребение этого образчика безответственного мышления вряд ли было достойным; однако оно состоялось, пусть и несколько неожиданно.

В этой войне с терроризмом, в этой чудовищной цивилизационной миссии женщины играют заметную роль. Невозможно оставить без внимания тех уверенных женщин со свежими лицами, которых показывает Си-эн-эн за штурвалом авианосца. Одна из них, удручающе молодая, сообщила зрителям: «Если я могу управлять авианосцем, то я справлюсь и с любым грузовиком». Фраза эта прозвучала в ответ на весьма узкое понимание феминизма — я сама слышала его из уст мужчины-репортера Си-эн-эн: «Теперь уже никто не сможет отпускать сексистские шуточки в адрес женщин за рулем». Всех женщин? «Женщины Афганистана» кодируются несколько иначе.

Учитывая столь важную роль пола, феминистская критика должна еще раз повторить, что бесконечное расширение театра военных действий вовсе не ведет к достижению справедливости между полами среди угнетенных. Наиболее очевидные последствия — разрастание государственного терроризма в Израиле, Малайзии, Индии и где бы то ни было — не имеют ничего общего со справед-

ливостью между полами. В разрушенном Кабуле — в этом «интернациональном городе», столь отличающемся от того, о чем мечтал Абд-ур Рахман в XIX веке, — с миротворческими силами ООН и постоянным доступом к глобальной версии американской локальной культуры, в общественном сознании, возможно, и появится опять нечто похожее на политику США и ООН в отношении полов¹. Но и эти сообщества, небезразличные к вопросам пола, будут представлять угнетенных не больше — если не меньше, — чем Революционная ассоциация женщин Афганистана (RAWA). При американском протекторате пол не имеет возможности бесперебойно и постоянно обращать капитал в социальный продукт — наилучший вид антиглобалистской борьбы. В семидесятых, во время «новых» общественных движений, этот процесс имел место — в регионе, который мы теперь называем «глобальный Юг».

По мере того как эмансипация женщин при помощи США становится опять и опять поводом для безудержных торжеств, оценка роли советского режима оказывается все более трудной. Женщины среднего класса вновь появляются там, где они были до того, как Талибан загнал их в подполье. Все знают, что Талибан был создан силами США. В наше время скороспелого, на злобу дня политического образования это — вершина леволиберальной осведомленности. Но почему эти женщины преуспевали как профессионалы при советском режиме? Ответ связан с конкретным игнорированием истории развития афганской интеллигенции и ее непосредственного участия в левом движении².

Внутри «одной культуры» есть линия культурного различия. Эмансипация женщин всегда следовала этой линии, и история

¹ *Abd-ur Rahman Kh.* The Life of Abddur Rahman, Amir of Afganistan. 2 vols. NY: Oxford University Press, 1980. Тема «пола», абстракция полового различия — дискурсивная сама по себе, поскольку подается как различие и для господствующих, и для угнетаемых, — всегда присутствует в обществе. Я говорю «опять» потому, что, как сказано в моем тексте, проблему гражданской справедливости для женщин можно вписать в историю часто прерывавшегося развития афганской интеллигенции. Насколько я знаю, эта история так и не была собрана воедино. Можно начать с утраты монополии Великого шелкового пути или с Абд-ур Рахмана.

² *Massell G.J.* The Surrogate Proletariat: Moslem Women and Revolutionary Strategies in Soviet Central Asia, 1919–1929. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1974; *Fazal-ur-Rahim M.* The Evolution and Growth of Communism in Afghanistan (1917–1979): An Appraisal. Karachi: Royal Book Co., 1997.

этой эмансипации шире, чем история войн (если такое возможно). Я пишу сейчас об этом в своей книге «Другие Азии»¹.

Еще одной реакцией на Террор стало заключение его в кавычки — его овеществление, его ре-лексикализация для целей Истории и Географии, его музеефикация. В мягком варианте — это маркетинг сентиментального образа «9–11», что само по себе оскорбительно. К нему приложима поверхностная, хотя и добросовестная публичная критика индустрии визуальной культуры, в которой содержатся выразительные метонимии, балансирующие между мягкой и жесткой версиями события:

За покрытой брезентом оградой, увитой колючей проволокой [на Нулевом уровне, в месте взрыва]... обломки гигантской телевизионной антенны, фиксировавшей прежде самую высокую точку Нью-Йорка — 1732 фута, — повалены на бок рядом с огромной бронзовой сферой Фрица Кенига, символизировавшей в холле первого этажа Всемирного центра торговлю как залог мира на Земле. А рядом с шаром Кенига... возвышается изрытая, обугленная глыба оплавленного цемента, застывшей стали, обгоревшей мебели и других нераспознаваемых частей — метеоритная масса, создать которую было бы не под силу ни одному человеку; масса, созданная в реальности огнем, который обрушил башни².

Воистину *object trouve*^{*}, поскольку «торговля как залог мира на Земле» — это ложь. Да и силы, о которых идет речь, — человеческие. «Глобус», скульптора Кенига, наделенный новым смыслом, как в свое время «Лазурит» Йейтса, теперь установлен как мемориал в историческом парке Бэттери на Эйзенхауэр-Молл возле Боулинг-Грин, рядом с Садам Надежды (Hope Garden). Сфера, как ее называют, вписывается в текст Нью-Йорка, столицы капитала, становясь фразой в воображении, содержащем знаки Истории

¹ Я начала формулировать этот аргумент в работе под названием «Гендер», первоначально представленной в аудитории программы женских исследований в Университете Пенсильвании (14 ноября 2001), а затем в Гонконгском университете (3 июня 2002) и в Школе по ориентальным и африканским исследованиям в Лондонском университете (20 июня 2002).

² *Lipton E., Glanz J. A Nation Challenged: Relics; From the Rubble, Artifacts of Anguish* // NY Times. Sec. 1. January, 27. 2002. P. 1.

* *Object trouvé (фр.)* — вещь из прошлого, находка. — *Прим. пер.*

(Эйзенхауэр, Бэттери-Парк), Пространства (Бэттери-Парк, Боулинг-Грин, Сад) и Надежды.

Но вернемся к событию: среди сопровождавших его концептуальных банальностей, безусловно более интересных в архитектурном отношении, я выбрала наугад одну из многочисленных выставок под названием «Новый Всемирный торговый центр» в галерее Макса Протеча (Max Protetch) в Нью-Йорке¹. Один конец спектра был представлен там самым долговечным памятником, пространственной реакцией на террор — классическая модель письма. Напоминая Стоунхендж, каменные плиты — «Нулевые зоны», сделанные по эскизам Раймунда Абрахама (Raymund Abraham), — фиксировали положение солнца между двумя атаками. На другом конце спектра находились типично постмодернистские лозунги, предложенные Архитекторами Иностранного отдела (Foreign Office Architects), чьи прозрачные змееподобные башни призывали к активному забвению: «Давайте не будем даже говорить об увековечивании... Для чего?» Между этими крайностями расположился еще один набор концептуальностей, включая и смутно левацкую критику самих башен как зданий: «Прошное — на свалку, все равно оно устарело (США = величие, власть). Башенные руины станут источником созидающей материи» (архитектор Томас Мэйн). Самой раскованной моделью была концепция башен из световых лучей, представляющих возвращение башен скорее нуменально, чем феноменально; именно ее и выбрал город в качестве временного памятника.

Из всех возможных реакций эта промежуточная тенденция представляется мне наиболее обнадеживающей. Европа всегда преуспевала в музеефикации. Кавычки нейтрализуют, хотя и в этом случае слишком политизированное искусство может разжечь искусства боевые, и вопрос об ответственности остается открытым всегда. Эта реакция уже, разумеется, увязла в конфликте между конкурсом скульптуры, Корпорацией развития нижнего Манхэттена и условностями скорби.

Теперь я перехожу ко второму вопросу: что может стать ответом в ситуации, когда ответ невозможен?

Типичные публичные интеллектуалы — от Фарида Закария из «Newsweek International» до Кристофера Хитченса, независимого

¹ A New World Trade Center: Design Proposals // Max Protetch Gallery. NY. January 17 — February 16. 2002.

британского «овода» — всегда готовы дать свою трактовку политического курса США, переживающего очередной кризис. Дело это, без сомнения, нужное, нередко требующее смелости; но это не ответ. Комментарии усиливают интеллектуальную харизму авторов и создают у читателя ощущение причастности к гуще описываемых событий. Такая форма когнитивной картографии, зависящая от полевой работы и журналистов, работающих на передовой, и скромных собирателей статистики, легитимирует идею о том, что знание — это цель сама по себе; что от знания ведет прямая и четкая дорога к политическому действию — будь то борьба за права человека или уличные театральные представления. Однако ответ предполагает резонанс по отношению к другому, возможность соучастия — этого мучительного пробуждения сознания, основанного «на знании вещей», пусть поверхностном и самодовольном. Ответ — это предпосылка изменения. Когда мы читаем Аристотеля или Шелли, студенты обычно спрашивают, в чем разница между пророчеством и прообразом. В негативном смысле разница состоит в отсутствии точности у субъекта или образа; в позитивном — она связана с безграничной вариативностью образа в пространстве и времени. Образ подрывает уверенность в мерах по повышению политического сознания. И в этом — рискованность ответа, который пытается вызвать резонанс, полагаясь на образность. Когда мы ограничиваем свое представление о политике лишь рациональным контролем, мы не только уходим от риска, связанного с ответом, но и предотвращаем сам ответ. В итоге нам остается только говорить с самими собой или со своими клонами за рубежом. И вряд ли удивительно то, что, перестав делить мир на своих-и-чужих, отказавшись от несамокритичной удобной позиции «делать добро или карать зло», мы тут же лишаемся поддержки — как слева, так и справа.

Именно о таких ситуациях писала Махасвита Деви: «Есть люди для принятия законов, есть люди, чтобы ездить на джипах, но некому зажечь огонь»¹. Ответ — в огне. Касание или оклик другого может обжечь. Вспомните об этом, если что-то из сказанного мною далее вызовет у вас негодование или покажется недостаточно политическим.

Традиционные левые здесь, в США, и в Европе в целом видят в событиях 11 сентября борьбу между фундаментализмом и неуда-

¹ *Devi M. Douloti the Bountiful // Imaginary Maps / Trans. G. Spivak. NY: Routledge, 1995. P. 88.*

шейся демократией. Будучи индианкой, я слежу за индийской прессой — левые газеты там не настолько категоричны: «Девятнадцать арабов... взойшли на борт четырех самолетов, взяв с собой все свое негодование и отчаяние, — пишет Виджай Прашад (Vijay Prashad), — бессилие других языков социального протеста вынуждает многих молодых людей облачаться в арабские одежды для того, чтобы продемонстрировать свое несогласие». Тон Прашада — довольно типичен¹.

Наом Чомский, наоборот, читается как типичный представитель левых в США: «“Глобализация”, “экономический империализм” или “культурные ценности” — это концепции, которые совершенно незнакомы Бен Ладену и его сообщникам и не входят в круг их забот»². Но если, с другой стороны, мы подумаем об остальных действующих лицах, о политизированных студентах, не разделяющих стереотипов Чомского, то нам не следует скрывать от них горького осознания того, что их города не смогут принять участие в процессе, вызванном изменением ставок в Большой Игре, объединившей Россию и США вокруг черного золота Каспия, в обход талибов, которые цвели буйным цветом 11 сентября 2001 года. Принять участие в том, что один из бесчисленных информационный бюллетеней по политике и исследованиям Всемирного банка — в данном случае озаглавленный «Создание городов, живущих в новой глобальной экономике» — назвал «изменениями, [связанными с рубежом в 13 триллионов долларов, который всемирная торговля достигла в 1998 году], способными одновременно привести к резкому росту одной группы развивающихся стран и к серьезному кризисному положению» в других³. Почему ислам не может стать освободительной теологией для радикалов из элиты среднего класса, если великую культуру — под именем «Ислам» — продолжают отделять от главного пути, ведущего к модернизму? Я не слеую теологии освобождения. В эпоху расцвета гендерно-компромиссной латиноамериканской теологии я часто спрашивала: «Можно ли отделить освобождение от теологии?» Но

¹ *Prashad V.* War Against the Planet: The Fifth Afghan War, Imperialism, and Other Assorted Fundamentalisms. New Delhi: LeftWord, 2002. P. 7, 27.

² *Chomsky N.* The Theatre of Good and Evil; <http://www.zmag.org/chomskygsf.htm>.

³ *Creating Cities That Work in the New Global Economy* // World Bank Policy and Research Bulletin. Vol. 10. 1999. October–December. № 4. P. 1.

тем, кто не хочет следовать жалким стереотипам, а пытается выбрать нечто иное, такая возможность должна быть дана.

Я соглашусь с профессором Чомским, что угонщики самолетов — не только продукт глобализации. Но соглашусь и с Виджаем Прашадом, что 9–11, как это теперь называют, — это не только проблема религии. Не бывает ни скорби, ни казни без воображения трансцендентального; и у трансцендентального — в воображенной форме — есть имена, обусловленные культурой. Но это другая тема, и, как я покажу в заключительной части, не стоит поспешно натягивать на нее общее одеяло понятия «религия». Также верно и то, что рубеж тысячелетий отмечен противостоянием, возникшим еще тогда, когда ислам вышел за границы племенных отношений, о чем я как исследователь Европы знаю больше с европейской стороны. Джордж Буш, будь он грамотным, мог бы сослаться на «Песню о Роланде». Так ли все было на самом деле? Мне это неведомо. У культуры свои объяснения. Саид Кутб¹ и шейх Ахмед Ясин² могли бы сказать немало на эту тему.

Если установка на то, что культура объясняет сама себя, верна, тогда антропологические представления о культуре и марксистские представления об идеологии вполне стыкуются. И тогда тот факт, что «мусульмане» воспринимают вещи сквозь призму «ислама», а «американцы» — сквозь призму «свободы», приобретает иное значение. Возможно, хрупкость обоих концептов может привести к пониманию. И безличный нарратив глобализации — формирование капитала, понятое как переход от абсолютистского государства к → колонии → империализму → империи, одновременно и провоцирует, и контролирует свой собственный кризис — становится менее убедительным в качестве рационального объяснения 9–11³.

¹ Саид Кутб — египетский теолог, критик, поэт, лидер группы «Мусульманское братство» — политически-религиозного движения, стремящегося утвердить ислам и исламские законы в центре жизни Египта и всего исламского мира. Казнен в 1954 году правительством Насера. — *Прим. пер.*

² Шейх Ахмед Ясин (1937–2004) — основатель и руководитель Хамаса, первоначально называвшегося палестинским крылом «Мусульманского братства». Противостоял мирному урегулированию палестинско-израильского конфликта, призывал к использованию насилия в борьбе против Израиля, включая бомбистов-самоубийц для истребления израильских военных и гражданских лиц. Убит вместе с телохранителями во время утренней молитвы пулеметным выстрелом с израильского вертолета. — *Прим. пер.*

³ Это главный аргумент Майкла Хардта и Антонио Негри в их работе «Empire» (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2000).

Объяснение кроется, скорее, в идеологии, которая позволяет считать себя истинной тенью трансцендентального, а следовательно, «глобального» — и в историческом, и в современном смысле. То, как Фома Аквинский в XIII веке развил идеи Аристотеля и Ибн Рушда¹ в университете Парижа, может служить хорошим примером. Это тeneвая Я-концепция, не обремененная историей, но оживленная очевидной военной, политической, экономической несправедливостью и вооруженная при помощи Интернета иллюзией доступа, темпа, моментальности, формирует коллектив, спаянный тесным мужским содружеством студентов, живущих вместе, — политический феномен, хорошо известный университетским преподавателям. Это, разумеется, происходит и с солдатами, и с партизанами — но мне проще говорить об иностранных студентах. Находясь рядом с ними, я пытаюсь достучаться до этих тревожащих молодых людей. Одному из тех, кто направил самолет на башню, было всего восемнадцать лет, если верить сообщениям MSNBC!² Когда Терри Касл, смущаясь, пишет о своей заикливости на молодых солдатах времен Первой мировой войны, я чувствую здесь готовность к риску, присущую подлинному ответу — такому, какой пытаюсь дать и я³.

Нет сомнения, что это надуманное тысячелетнее противостояние обсуждалось теми молодыми людьми, которые пошли в атаку и которые теперь лежат забытыми среди агрессивно поминаемых двух тысяч восьмисот. Хотя здравый смысл мог бы подсказать нам, что, приступив к реализации своего плана, они попали в плен своей мечты, а воображаемое тысячелетнее противостояние оказалось на глубине самых глубинных причин.

Забытыми, да. Но когда в мае 2002 года в Нью-Йорке открывался мемориал, европейский и военизированный по своей зрелищности и форме воплощения, город не мог не приветствовать семерых захватчиков, легших в эту землю и ставших частью Природы. Трансцендентальному неведом апартеид.

Я процитирую отрывок из статьи Ричарда Итона «Надругательства над храмами в Индии прошлого», опубликованную в «Frontline»⁴.

¹ Ибн Рушд (лат. имя Аверроэс, 1126–1198) — арабо-мусульманский философ, правовед, врач. Известен, в том числе, своими комментариями к трудам Аристотеля. — *Прим. перев.*

² Популярный информационный телеканал в США. — *Прим. пер.*

³ *Castle T. Courage, mon amie // London Review of Books. April, 4. 2002.*

⁴ *Eaton R.M. Temple Desecration in Pre-Modern India // Frontline 17. December, 9–22, 2000. № 25. P. 62–70.*

Но прежде я хочу привлечь внимание к небольшой, но важной детали, отмеченной Саядом Мухтабом Али в неопубликованных работах: балхийские афганцы веками шли в Индию, а не в Иран, чтобы изучать фарси; а также к основной посылке всей его работы: как отмечается в книге «Азия до Европы», побережье Индийского океана было гораздо более важным источником культурных перемен, чем «национальные или религиозные основы» идентичности, как это представляется сегодня¹. Верно также и то, что связи между южноазиатским исламом, Ираном и Центральной Азией исторически были очень сильны. Следовательно, даже если бы мы хотели принять негативный вывод Чомского («глобализация им была неведома»), нам пришлось бы иметь дело с этими воображаемыми плодами культуры. Итон пишет о том, как сметалась «прежняя политическая власть»: «Когда такая власть ассоциировалась с правителем, чья легитимность увязывалась с монаршим храмом... этот храм обычно грабили, меняли его назначение или разрушали, что в любом случае производило эффект разрыва связи между свергнутым правителем и самыми существенными проявлениями его прежней легитимности. Храмы, не имевшие подобного значения, но покинутые их царственными владельцами и поэтому считавшиеся политически незначимыми, обычно оставались нетронутыми».

«Было бы неверным, — продолжает Итон, — толковать этот феномен как “религию иконоборчества”, якобы присущую исламу. ...Разрушение всяческих символов, принадлежащих вражеским властителям, начиная с VI века н.э. было весьма распространенным политическим действием в этом регионе... В двух словах, изображения и храмы, ассоциировавшиеся с династической властью, стали политически уязвимыми начиная с VI века»².

Я не говорю о сознательном рациональном выборе. Я говорю о том, как культурное воображаемое производит «целесообраз-

¹ *Syed Mujtaba Ali. Works. Vol. 7. Kolkata: Mitra and Ghosh Publishers, 1974; Chaudhuri K.N. Asia Before Europe: Economy and Civilization of the Indian Ocean from the Rise of Islam to 1750. NY: Cambridge University Press, 1990.*

² *Eaton R.M. Temple Desecration. P. 64–65.* Чтобы понять, почему разделение «Индии» и «Афганистана» в этом контексте условно, см.: *Lewis M.W. Myth of Continents: A Critique of Metageography. Berkeley: University of California Press, 1997. P. 213, 13, 14.* (Версия этой дискуссии теперь опубликована в «Centennial Review» (готово к публикации). См.: *Spivak G.Ch. Globalities: Terror and Its Consequences // The New Centennial Review. Spring 2004. Vol. 4. № 1. — Прим. пер.*)

ность» — вроде духовых оркестров, марширующих под музыку «Боевого гимна Республики», или неумеренного использования афроамериканцев в подготовке к этой, в целом немислимой, «войне». Здесь можно было бы добавить ссылку на то, что династии в контексте США замещены классовой мобильностью. Я ограничусь лишь тем, что охарактеризую противостояние в сентябре как разрушение храма — международной торговли и военной власти, — с которым ассоциируется государство. Возможно, это вовсе не было референциальным посланием о неравенстве идеологии торговли и вооружения; по крайней мере это не было осознанным выбором. И высота разрушенных зданий — факт, вовсе не чуждый идее власти, — сыграла здесь свою роль. Это разрушение храма, безусловно, отражается в проектах, противоположных тем, что воспроизводят руины Стоунхенджа: будь то два луча света, такие же высокие и тонкие, как прежние башни, «световые маяки как символ силы» или проект постройки Башни мирового искусства позади абсолютной копии Первой башни, в котором опустошенная квадратная арка обрамляет заполненную.

Если той стороне нужен храм, то этой стороне нужно по крайней мере слово *террор*. Нечто, называемое *террором*, необходимо для того, чтобы объявить ему войну — войну, которая простирается от урезания гражданских прав до бесконечного разрастания милитаристской вседозволенности.

Без слова *террор* все, что делается якобы во имя женщин, не может быть узаконено.

Я пыталась раскрыть абстрактное понятие *террор*, чтобы обозначить дополнительные возможности. И мне становилось все яснее, что *террор* — это название, отчасти увязанное с обратной стороной общественных движений — внесударственным коллективным действием, — когда такие движения прибегают к физическому насилию. (Когда государство называют «террористическим государством», то очевидно намерение лишить его статуса государства, то есть, в формальном смысле, перевести его в категорию «вне-государственного коллективного действия».)¹ Террор, конеч-

¹ Бывший госсекретарь США Лоренс Иглбергер не знал, кого представляют новые социальные движения на конференции «Есть ли у Америки демократическая миссия», прошедшей в Университете штата Вирджиния 19–20 марта 1998 года. Беспольное определение террора цитируется у Чомского (*Chomsky N. 9–11. NY: Seven Stories Press, 2001. P. 54*). Деррида написал целую

но же, еще обозначает и соответствующую эмоцию. На политической арене *террор* как общественное действие и *террор* (страх) как эмоция сходятся вместе, чтобы стать предлогом для коллективных психологических спекуляций. Социальному движению публично приписывают психологическую идентичность. Другими словами, объявление террора гражданским и естественным действием дает логическое обоснование для психологической диагностики, этой самой пагубной составляющей расизма. У меня нет ни опыта, ни вкуса к упражнениям такого рода. Но я должна сказать, что слово *террор* (незаметно сближающееся с «терроризмом») как социальное движение — это не более чем антоним слову *война*, которое обозначает узаконенное насилие. И, как ни парадоксально, — слову *мир*. И тут мы можем блуждать в лабиринте, где война и мир становятся взаимозаменяемыми понятиями, хотя статусы войны как агента и мира как объекта остаются неизменными. Мы смирились с оксюмороном *миротворческие силы*. Верховная комиссия ООН по беженцам и организация «Спасем детей» из Великобритании в своих отчетах за 2002 год призвали миротворческие миссии прекратить контрабандную торговлю женщинами и девочками. Феминистки выступают против сексуальной разнузданности «личного состава миротворцев»¹. Широко известны скандальные изнасилования в армии США. В то же время Барбара Кросетт предлагает традиционные соображения в статье, озаглавленной «Как снова объединить нацию», утверждая: «нам нужны более мобильные войска»². Мы имеем дело с обычным делением между разными пространствами дискурса, и тем не менее все они заключены в рамки единого культурного воображаемого, в данном случае почти глобального: Армии завоевателей насилуют женщин.

Когда «террор» становится аффектом, граница между субъектом и объектом начинает размываться. С одной стороны, террористы терроризируют сообщества людей, заполняя их жизнь повседневным страхом. Одновременно террорист превращается в фигуру

книгу о возможности существования неконтролируемых государств (*Derrida J. Voyous*. Paris: Galilée, 2003).

¹ UNHCR and Save the Children-UK. Руководство для организаций и партнеров ООН по работе с сексуальным насилием и эксплуатацией: Опыт детей беженцев в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне. Февраль 2002.

² *Crossette B.* How to Put a Nation Back Together Again // NY Times. Week in Review Section. 2001. November 25. P. 3.

бесчувственную по отношению к террору, не способную ощутить ужас ужаса, фигуру, которая в ходе этой трансформации превращается в нечто отличное от нас самих. Когда солдаты не боятся умереть, они — бесстрашны. Когда террористы не боятся умереть, они — трусы. Солдат убивает или должен убивать — определенных людей. Террорист убивает или может убить — просто людей. В промежулке между *терроризмом* как движением и террором как эмоцией мы можем объявить свою победу. И хотя гражданские свободы, включая свободу мысли, ограничиваются, а военная вседозволенность растет, и хотя расовая дискриминация деформирует общество, а культура в целом превращает себя в превентивное средство, и даже несмотря на то что уже 28 сентября 2001 года Совет Безопасности ООН принял широкомасштабные антитеррористические меры, мы можем переключить регистр и, апеллируя к эмоциям, сказать: «Нас не запугаешь, мы победили». А старая легенда о вторжении ради блага женщин вновь идет в ход. Именно для того, чтобы спасти афганских женщин, мы должны поддерживать мир силой оружия. Я хочу выделить летчика-самоубийцу, пилота-камикадзе из этих общепринятых противопоставлений.

Индивидуальный вынужденный и в то же время добровольный самоубийственный «террор» — в крайностях разрушения династических храмов и насилия над женщинами, убедительный, мощный и неустрашимый остаток.

* * *

Мои комментарии об атаках самоубийц вызвали так много злобных нападок, что я включаю в этот текст несколько пояснений, которые я предоставила доктору Майклу Барнету в ответ на его конкретные вопросы.

Я считаю, что ответственное преподавание гуманитарных наук нацелено на ненасильственную реорганизацию желаний студента.

Крайнее надругательство над этой ответственностью можно увидеть в таких группах, как Хамас или «Исламский джихад», которые насильственно реорганизуют желания до тех пор, пока принуждение не начинает восприниматься как воля самого принуждаемого. Я, как и многие другие, считаю, что действия этих групп связаны с экстремистской политикой государства Израиль. Следует, однако, признать, что эти группы вышли из-под контроля, в

немалой степени потому, что стало невозможно считать заслуживающим доверия любое предложение о «мире».

Те, чьи желания реорганизованы так, чтобы взрывать себя, — это без исключения молодые люди, чье отношение к жизни особенно уязвимо для подобной силовой реорганизации.

Я пацифистка и не могу и не стану потворствовать насилию, государственному или чьему-либо. Следовательно, я также уверена в том, что безжалостное уничтожение не может положить конец насилию. Я считаю, что мы должны уметь увидеть в оппоненте человека и понять значимость его или ее поступка. Именно исходя из этого убеждения, не одобряя террористический суицид, но желая его прекращения — пусть нескорого, — я пыталась представить себе содержащийся в нем смысл. Разумеется, это не значит, что каждый бомбист-самоубийца думал так же! Здесь, я полагаю, все также вышло из-под контроля, и целые поколения поражены этим недугом. Мои мысли, видимо, были результатом отчаяния, но отнюдь не одобрением насилия.

По законам войны принято отличать гражданское население от солдат. Справедливо иметь законы, но законы — это не справедливость. С точки зрения справедливости и этического дискурса человеческая жизнь не может быть обречена на смерть позитивным правом.

Индивидуальный вынужденный и в то же время добровольный самоубийственный «террор» — в крайностях разрушения династических храмов и насилия над женщинами, убедительный, мощный и неустрашимый остаток. В нем нет банальности зла. Он обусловлен глупостью веры, доведенной до крайности. А банальны именно мы — те, кто не могут уже умереть молодыми; но банальны мы банальностью обыденности. Строго говоря, кантовское «возвышенное» с точки зрения наблюдателя, в восприятии которого возвышенное только и «является» возвышенным, — глупо. Возвышенное бездумно. Мы пытаемся как-то контролировать его, поскольку сюда вмешивается рациональная суть наших умственных способностей¹. Если мои слова вызывают у вас неприязнь и даже отторжение, то вы чувствуете *риск* в ответе. Но не путайте это с «эстетическим припадком» Штокхаузена². Оправдание убийства тысяч

¹ Кант И. Критика способности суждения. М.: Искусство, 1994. С. 113.

² Как сообщалось, композитор Карлхайнц Штокхаузен после событий 11 сентября заявил журналистам в Гамбурге, что взрывы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке стали произведением искусства (NY Times. 2001. September 19. Sec. E. P. 3).

людей путем поиска «империи зла» не несет в себе ничего хорошего. Оно так же блокирует возможность ответа.

Я не утверждаю, что насилие или применение силы, узаконенной или незаконной, возвышенно в привычном смысле. Для меня слово *sublime*, *возвышенное* (по-английски оно выразительнее, чем немецкое *Erhabene*), навсегда отмечено Кантом. Оно именуется структурой: нечто неохватное для меня; нечто пугающее. Иммунная система моего сознания включает разум и косвенным образом демонстрирует мне, что это нечто большое и лишенное разума, *тупое* (*stupid*), подобно тому как туп камень или тело. Я называю *возвышенным* эту огромную бездумную вещь.

Я вовсе не предлагаю считать политический анализ и формы сопротивления и — на другом уровне — финансовую помощь и права человека ненужными. Я говорю о том, что если мы в своем воображении не попытаемся представить другого в качестве некоего воображающего субъекта, то политические (и военные) подходы не смогут устранить того противопоставления, которое обозначило начало пути к сегодняшней проблеме. Отсюда — потребность в культурном руководстве над развитием воображения.

Предлагая это, даже тут я не представляю действия 11 сентября 2001 года как *возвышенное* в кантовском смысле. Это воображаемое упражнение необходимо для того, чтобы испытать невозможное — вступить в пространство другого, без которого политические решения с удручающим постоянством приводят все к тому же насилию. Перефразируя слова Деви, «многие предлагают политические толкования и решения, но некому зажечь огонь». Культурное просвещение посредством воображения во время войны воспринимается в лучшем случае как эстетизм, в худшем — как предательство. Но все это зависит от ситуации.

Атака самоубийц — в данном случае самолеты были живыми бомбами — это целенаправленное самоуничтожение, конфронтация с самим собой — ситуация крайнего аутоэротизма, убийство себя как другого в ходе убийства других. Когда восприятие себя становится неотличимым от восприятия объекта, способного на разрушение, то уничтожение других неотлично от уничтожения себя. Страшно здесь то, что разрушение королевского храма может представляться такой трансцендентальной задачей, что человеческая жизнь превращается в ничто — и чужая, и своя. Этот момент в принципе нельзя себе представить, но нет смысла и заново озвучивать эту невозможность. Мы не знаем, убивали ли эти

мужчины раньше, ведь они мало отличаются от любых других иностранных студентов. По телефонным звонкам с самолета мы узнали, что один из них перерезал горло пассажиру. Это кошмарная подробность. Было ли это сделано с целью привести ауру смерти в это «оправданное безумие»? Не только задумать и сделать задуманное, но и претендовать на контроль над тем самым *peu profound ruisseau calomnie a la mort?**

Чем бы это ни было, этот акт глобального противостояния не был сопротивлением, как не был он и множественным действием. Не существует такого явления, как коллективная смерть. Этот акт не может быть наказан, несмотря на всяческие попытки сделать это. Нельзя его считать и логичным следствием плохой внешней политики США, как это делается в американоцентристских политических толкованиях. Подобный жест вполне соответствует безудержному стремлению прессы пропитать «скорбь» всеми доступными формами сентиментальности и тем самым ограничить возвышенность «Нулевого уровня». Многие из нас видели утром 11 сентября, как второй самолет врезался во вторую башню в прямом эфире, «живьем» (если это верное слово). Этот объект, подобный капсуле, движущейся по солнечному небу, без особых эффектов врезался в башню и вспыхнул густым пламенем — «страшнее мстительницы Аты», за «границей, которую жизнь человека может пересечь лишь на мгновение»¹. Его обыденный полет вобрал в себя совокупность разнородного личного ужаса, отчаянно ищущего связи с трансцендентальностью, ужаса, который нельзя осознать. Я пацифистка, я не могу сознательно поддерживать насилие. Но мы должны признать возвышенность террора, понятого как неадекватное название для человеческого аффекта за пределами аффекта, а не как обобщающую рубрику для любого насильственного действия, не санкционированного государством.

Второй самолет, увиденный в «живом» действии, можно вообразить в структуре кантовского *возвышенного*, мыслимого как предел воображения. Двадцать первого мая 2002 года в передаче «Ночное шоу с Давидом Леттерманом» Диана Сойер все время повторяла:

* «*Peu profound ruisseau calomnie a la mort*» («неглубокий, зря оклеветанный ручей смерти») — строчка из сонета С. Малларме «Надгробье», написанного в 1897 году, в годовщину смерти Поля Верлена. — *Прим. пер.*

¹ *Lacan J. The Splendor of Antigone // The Ethics of Psychoanalysis 1959–1960: Seminar Book VII / Trans. D. Porter. NY: Routledge, 1992. P. 262–263.*

«Чарли (Чарльз Гибсон, второй репортер с места событий. — *Л. Ч. С.*) и я не могли поверить в то, что мы передавали в эфир». Это неверие и есть момент в структуре, описанной в «Аналитике возвышенного», когда субъект испытывает «чувство неудовольствия из-за несоответствия воображения»¹. Я смотрела ту передачу. Я не могу припомнить, чтобы они «не верили в реальность» происходящего, и это тоже не стоит сбрасывать со счетов. Ричард Майер, комментируя 30 мая 2002 года демонтаж последней оставшейся колонны Всемирного торгового центра, сказал: «Как только я увидел второй самолет, я понял, что началась война». Это тоже могло бы быть моментом в структуре совладания с возвышенным. Это моральная воля, ограниченная до предела: я могу разрушить то, что меня пугает, ответным действием: война — это карикатура на то, что вызывает в нас ответ. Я уже предположила, что атака самоубийц стирает различие между атакующим и его или ее врагом. Я также говорила, что, несмотря на все свои дымовые завесы, терроризм трактуется прежде всего как «агрессивное негосударственное коллективное действие», что «террористическое государство» дисквалифицирует себя как государство.

Пока Соединенные Штаты играют по собственным правилам, расширяя арену борьбы с терроризмом, они дают возможность «террористическим государствам» сосредоточиться и узаконить собственные стратегии. Я, разумеется, имею в виду Израиль и Индию, хотя так называемый превентивный антитерроризм охватил большую часть земного шара. Здесь было бы неуместно перечислять и анализировать все виды государственного терроризма. Надеюсь, вы помните, что я прохладно отношусь к этим аналитическим консервам, готовым к употреблению во время очередного кризиса. В заключение я лишь коротко выскажусь по поводу каждого случая в отдельности, выскажусь и по поводу проблемы публичной критики, по поводу обучения этике в гуманитарном образовании.

Итак, во-первых, Палестина. Если 9—11 было делом мужским, то в борьбе Палестины с Израилем мы сталкиваемся с женщинами-самоубийцами. Я не считаю, что у этого явления есть половая специфика. Соппротивление через суицид — это послание, вписанное в тело, когда все другие средства уже бессильны. Это одновременно и казнь, и траур — по себе и по другим. Когда ты умираешь

¹ Кант И. Критика способности суждения. С. 127.

со мной ради одной и той же цели, независимо от того, на чьей стороне ты находишься; и в этой разделенной смерти нет ничего бесчестящего. Я не сочувствую тем, кто учит этому молодежь. Это крайний случай культурного просвещения — абсолютное принуждение, симуляция выбора, фантазия, выдаваемая за открытие истины. И именно здесь должен начаться диалог: между гуманитарным обучением, превращенным в банальность здесь и доведенным до крайности — там. Именно на *историю* этого провала культурного образования, выданного за успех, а не на образование само по себе нам стоит обратить внимание. Ибо эта история, породившая апартеид и немыслимое насилие на *их родине*, может быть изложена так, чтобы подвинуть молодых на смерть.

Женщина-самоубийца, убежденная подобным образом, не отстаивает правоту своего пола. Сравните их с женщинами-воительницами из репортажей Си-эн-эн, и вы увидите, что в суицидных актах нет и следа борьбы полов. Когда осядет пыль (а сейчас кажется, что пыль осядет где угодно, кроме руин Палестины), половые различия, возможно, приобретут сходные очертания. Бхубанесвари Бхадури из «Могут ли угнетенные говорить?» была женщиной, которая использовала пол своего тела, чтобы вписать в него неслышанное послание. Бомбистка, погибшая вместе с Радживом Ганди, этого не сделала¹. (Любопытно, что в мужском ображаемом пол женщины-самоубийцы маркирован репродуктивной нормой. Я думаю о фильме «Террористка», снятом индийским тамилом о Шри-Ланке*, и о «Мотоциклисте» — великолепном романе Викена Берберяна, этой отважной попытке представить себе внутренний мир бомбистов-самоубийц².)

¹ *Spivak G.Ch. Can the Subaltern Speak? // Marxism and the Interpretation of Culture / C. Nelson, L. Grossberg (ed.). Urbana: University of Illinois Press, 1988. P. 271–313.*

* Режиссер Сантош Сиван (1999), взяв за основу убийства Индиры и Раджива Ганди, создал эстетский фильм, в котором молодая, красивая девушка пробирается через джунгли в город, чтобы покончить с обреченным политиком, подорвав себя в непосредственной близости от него. Универсально-символическое прочтение Сиваном террористического акта позволяет интерпретировать движение девушки к смерти как метафизическое пробуждение. — *Прим. пер.*

² «The Terrorist». Directed by S. Sivan. 1998; *Berberian V. The Cyclist*. NY: Simon and Schuster, 2002.

Хотя я и пытаюсь вообразить самоубийц, не закрываясь громким словом *terror*, настоящим уроком для молодых потенциальных бомбистов-самоубийц может оказаться то, что их призывы могут никогда не услышать. Даже если кошмарное количество детей станет бомбистами-самоубийцами, они останутся исключением, несмотря на то что самоубийство — это всегда исключительная смерть — и невозможная фраза. Самое жалкое и самое сильное в самоубийствах такого рода состоит в следующем: их успех, как и в танце призраков, заключается в том, что он невозможен. Столкнувшись с этим лицом к лицу, публичная критика может лишь повторить, рискуя предложить самый банальный ответ: это не стоит риска.

Я добралась наконец до Индии. Конфликт, который возник летом 2002 года посреди нашей ежедневной визуальной рутины, в контексте Войны с Террором, случился в Кашмире. И если в случае с Палестиной никто никогда не упоминает о том, что Западный берег — это оккупированная территория, то в индийском варианте от визуального опыта международного сообщества тщательно скрывается то, что в штате Гуджарат жестокий геноцид против мусульманских граждан поощряется государством и полицией. Говоря о нападениях индусов на мусульман в Гуджарате, журнал «Economist» отмечает, что эти факты — «правда, но она не имеет отношения к делу»¹.

Завершая этот раздел, я хочу процитировать несколько строк из резкого памфлета Харша Мандера — бывшего правительственно-го чиновника, который вышел в отставку после этой публикации, доступной в Интернете². Мандер пишет: «Я никогда не сталкивался с бунтами, где сексуальное унижение женщин как инструмент насилия использовалось бы так же широко, как в недавних массовых бойнях в Гуджарате». Затем он говорит о верховенстве закона:

Поскольку я работал в Индийской административной службе более двадцати лет, мне стыдно за то, как мои коллеги из гражданской и полицейской администрации пренебрегали своими обязанностями... Закон... требует от них действовать самостоятельно... непредвзято, решительно... Если бы хоть один представитель власти действовал так в Ахмедабаде, то она или он могли остановить

¹ The Economist. 2002. June 1. P. 11.

² Mander H. Cry, the Beloved Country: Reflections on the Gujarat Massacre // <http://www.sabrang.com/gujarat/statement/nv2.htm>.

насилие и защитить людей в считанные часы — подняв полицию или вызвав войска. Без активного попустительства местной полиции и магистрата никакие беспорядки не могут продолжаться несколько часов подряд.

Я в своей статье пытаюсь описать те длительные усилия, которые лежат в основе подобных необходимых и немедленных решений. В конце своей статьи Мандер говорит об этике, используя в качестве примера историю:

Я вспоминаю рассказ о беспорядках в Калькутте, когда Ганди постился во имя мира. К нему пришел индус поговорить о своем сыне, убитом мусульманами, о своей злобе и желании отомстить. Говорят, что Ганди ответил ему: «Если ты действительно хочешь пережить свою боль, найди мусульманского мальчика, того же возраста, что твой сын... чьи родители были убиты индусами. Вырасти этого мальчика как своего сына, но в мусульманской вере, в которой он воспитывался. Только тогда ты поймешь, что можешь излечить свою боль, гнев и жажду мести».

Если до сих пор я призывала гуманитарные дисциплины воспитывать воображение так, чтобы вмешательство этического затормозило привычное стремление познать другого — даже в культурных исследованиях, сосредоточенных на собственной культуре, — то здесь мы сталкиваемся с противоположной ситуацией. То, что предлагается в виде идентичности субъекта, можно вообразить, лишь сопротивляясь всему тому, что стремится ее отторгнуть. Нет смысла повторять вместе с «фундаменталистами наизнанку», что истинный индуизм не таков, или кричать вместе с секуляристами: «Я — вне церкви, я не голосую с этими людьми». Труднее всего представить себя индуской, когда все во мне противится, труднее всего понять, что в нас отвечает на зверство. Было бы проще указать на причины или ввести новый порядок, который все равно будет нарушен при любом строе, кроме полицейского государства. Но можно и быть готовой к постоянной и добровольной реорганизации желаний при помощи действий, усвоенных благодаря культуре обидчика.

И пока гуманитарные науки учат нас учить, критическая теория рассматривает дискриминационные политики глобальной культуры, доминирующие в нашем постыдно местечковом мышлении.

Весной 2003 года я преподавала в Университете Гавайи-Маноа. Моя работа включала чтение публичных лекций. Еще до приезда я предложила тему «Террор». К началу моих выступлений начались бомбежки Ирака. Университет политизировался до крайности. Образовался небольшой анклав местных гавайских студентов и преподавателей, там были Перл-Харбор и военная база — то, что один из них назвал «оружием массового уничтожения под Черепахой (островом в форме черепахи. — *Г.Ч.С.*)». Протест приобретал особую остроту, поскольку военная база — один из крупнейших работодателей для гавайских низших классов, на территории, насильственно присоединенной к США «Конституцией штыков» 1887 года. Мой изначальный текст не соответствовал ситуации. В этой второй части я попытаюсь показать почему.

В самый разгар, как тогда казалось, ужасных событий в Ираке я стала перечитывать речь Мартина Лютера Кинга «По ту сторону Вьетнама», которую он произнес в 1967 году в церкви Риверсайд в Нью-Йорке, в минуте ходьбы от моей теперешней квартиры. Я постоянно наталкивалась в его речи на призывы «высказаться за тех, кто считается нашими врагами», потому что «человеческому духу трудно сопротивляться безразличию собственного конформистского мышления, которое разъедает нас изнутри и извне». «Что они думают о нас? — вопрошал доктор Кинг. — Об этом стоит помнить, когда мы спрашиваем, почему они не горят желанием пойти на переговоры с нами». Именно на Гавайях я впервые попыталась связать мои усилия вообразить бомбиста-самоубийцу с этими призывами. Я говорила тогда, что резонанс, который произвели во мне слова доктора Кинга, спровоцировал враждебную реакцию многих людей и во многих журналах, и это само по себе вызывает тревогу. Я упоминала тогда его речь в баптистской церкви Эбенезера в Атланте в апреле 1967-го, где он произнес вот эти важные слова: «Не верьте никому, кто заставляет вас думать, что Бог выбрал Америку как своего мессию, как полицейского для всего мира. Бог судит все нации, и мне кажется, я слышу, как Бог говорит Америке: “Ты слишком занеслась! Если ты не изменишься, я возьму и сломаю хребет твоей власти”». И я подумала — даже тогда, когда писала ответ на критику для доктора Майкла Бернета, — о том, насколько приложимы эти слова к ограничению гражданских свобод включая свободу мысли, разрастанию военной вседоз-

воленности, деформации общества посредством избирательного расового контроля, превращению всей культуры в средство для предотвращения социальной аутоиммуности, о которых я говорила в первой части статьи.

Я указывала на то, что наша привычка видеть в США новую Империю, несущую на себе бремя поддержания полицейского порядка во всем мире, привела к тому, что мы обеспокоены лишь дебатами о том, что лучше: политика сдерживания или война, война за нефть или справедливая война, уничтожение или смена режима. Я поделилась с той аудиторией на Гавайях соображениями, которые высказала в свое время тогдашнему проректору Колумбийского университета, после безумных дебатов Алана Дершковица и Джорджа П. Флетчера по поводу Ирака.

Я понимала, что не могу просто задать вопрос — в каком-то смысле контекст дебатов не предполагал на него ответа. Ухо резанула фраза: «Иногда лучше поступить правильно, чем по закону». Безусловно, это может служить основанием для гражданского неповиновения, но именно гражданского. Нельзя рассуждать таким образом о действиях государства. Действия государства в таком случае превращаются в неправый суд, поскольку «неповиновению» в данном случае неоткуда прийти. А когда в зале поднялись руки в оправдание права «убивать», я почти упала духом. Даже одной руки, поднятой по такому поводу, достаточно, чтобы растеряться — мы ведь говорили не о смертной казни, с которой я не согласна, но ее хотя бы можно обсуждать в рамках закона. Даже если «неотъемлемые» права нарушаются вновь и вновь, неверно думать, что они не существуют. Разница между санкционированными пытками и решением отдельного полицейского подвергнуть арестованного пытке заключается в том, что полицейский должен быть наказан, если его вина доказана. Проблема с использованием легализованного целевого уничтожения в том, что при обнаружении подобного тайного целевого уничтожения — пусть и в утопическом представлении о нормах права — это деяние может быть наказано задним числом. Горько было видеть, как дебаты о нашем так называемом праве напасть на Ирак перешли в риторические нападки на Палестину. (Здесь я употребила бы более сильные выражения.) Повторяющиеся обвинения в адрес палестинцев продемонстрировали полную невозможность представить их в таком материализованном контексте, где роль Израиля отличалась бы от заведомо «хорошей». И идея Джорджа Флетчера по поводу воюющих роман-

тиков, что романтизм на войне — это лишь разновидность иррациональности, кажется спорной¹. Имеет смысл сказать, что стакан наполовину полон, а не наполовину пуст. Романтизм был прорывом к здоровому воображению — для меня это хорошо выражено в словах Шелли, сказанных на заре капитализма: «Нам нужна творческая способность воображения, чтобы представить себе то, что мы знаем»². Великий дар романтизма заключается в том, что он может представить себе другую сторону в качестве человеческого существа, а не просто «обезумевшего» врага. И то, что я говорила раньше о гуманитарных науках, здесь очень важно, потому что это то пространство, где гуманитарная осведомленность позволяет мыслить не буквой, а духом закона и не считать воображение просто неразумием. И хотя я считаю, что Майк Дэвис в своей новой книге «Мертвые города» в чем-то перебарщивает, он тем не менее приводит достаточно документальных материалов, которые не позволяют нам считать себя выше закона лишь потому, что мы никогда не станем безответственно использовать оружие массового поражения³. Стоит ли тут вспоминать об Agent Orange!⁴ Мне кажется, что я, в общем-то, даже не понимаю смысла этой дискуссии, потому что исторический опыт не позволяет мне согласиться с этой неосмысленной — с обеих сторон — верой в то, что Америка вправе считать себя обладательницей имперского права. Хотя я должна заметить, что многократно повторенная Джорджем Флетчером фраза о том, что нет плохих или хороших государств, а есть только равные государства, позволяет усомниться в этой вере.

Меня обеспокоило тогда, что некоторые студенты юридического факультета подняли руки в поддержку убийства, пусть даже совершаемого государством. Это — тоже насильственная реорганизация желаний. И тот факт, что она возможна, требует пробудить здоровое воображение, чтобы опять разрушить противопоставле-

¹ *Fletcher G.P. Romantics at War: Glory and Guilt in the Age of Terrorism. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2002.*

² *Shelley P.B. The Defense of Poetry // Shelley's Critical Prose / B.R. McElderry (ed.). Lincoln: University of Nebraska Press, 1967. P. 8.*

³ *Davis M. Dead Cities, and Other Tales. NY: New Press, 2002.*

⁴ Гербицид, созданный с военными целями, использовался для того, чтобы лишить врага естественного укрытия в джунглях. Широко применялся во время войны США во Вьетнаме. Назван по имени опознавательных ремней, которыми стягивались бочки, в которых этот продукт доставлялся к месту боевых действий. — *Прим. пер.*

ние плохого полицейского хорошему и помнить, что они оба — полицейские. Порыв помочь, *усиливая* права человека, давая вещи и деньги, делая обучение грамоте предметом обмена, игнорируя неравенство полов, связан со стремлением убивать. Я цитирую Канта: «И хотя [с этим могут еще уживаться] законно добрые (легальные) поступки, все же образ мыслей бывает... извращен в корне... и поэтому человек называется злым»¹. Санкция на убийство шейха Яссина свидетельствует о том, что у главенства права — сломанный позвоночник.

Мартин Лютер Кинг был христианином, пространство его нравственных взглядов было религиозным, и по профессии он был служителем Бога. Та самая вера в трансцендентальное и давала ему силы. В своей работе «Религия в пределах только разума» Кант развивает идею о том, возможен ли секуляризм без интуитивного представления о чем-то высшем, которое не может быть подкреплено разумными доводами. Его ответ на этот вопрос — «нет», потому что рассудок по своей природе не расположен к «моральной проработке» (*Bearbeitung*). Обыденный рассудок («только разум») склонен закрывать минус плюсом, не обращая внимания на то, что за легальными действиями прячутся порочные мотивы.

В этой работе у Канта хватает смелости сравнить кровожадность аборигенов с бескровной злобой академического сообщества. В храме только разума он не мог позволить себе перейти от детерминированного к рефлексивному суждению и философствовать, не приводя аборигенов в качестве живого примера, как он это сделал в «Критике способности суждения» двумя годами раньше². Точно так же мы можем сказать, что то воздаяние свыше — звучащее в английском переводе столь средневеково (как переводчица я должна это упомянуть), — которое мы связываем с исламским «террором», можно сравнить с расчетливой политикой кнута и пряника, в управлении войной и миром в новых имперских интересах: здесь — нарушение прав человека, там — экономические санкции и т.д. Такой подход к спасению — «око за око, зуб за зуб» — Кант называет *Nebengeschäfte*, что обычно переводится как *вторичная задача*; работу над этическими вопросами он связыва-

¹ Кант И. Религия в пределах только разума // Кант И. Трактаты. СПб.: Наука, 1996. С. 279. Здесь и далее в скобках даются отсылки к данному изданию.

² Spivak G.Ch. A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1999. P. 26–29. № 32.

ет исключительно с деятельностью моральной воли. Я считаю правомерным предложение Жака Деррида сделать постоянную критику этих *Nebengeschäfte*, этого расчетливого разума, выступающего от имени морального суждения, первоочередной задачей в мире множества культур и религий¹. Сегодня это самая насущная задача. Спрятав свои головы в песок, продезинфицированные секуляристы, впадающие в истерику при упоминании о религии, не имеют представления о народах, населяющих Землю. Классовое воспроизводство позволило им рационализировать и присвоить трансцендентальное, в котором они видят цель, желаемую всеми и повсюду без учета исторической подготовки, необходимой для этой специфически классовой эпистемы.

У радикальной инаковости, у иного, необходимого и в то же время непостижимого для разума, есть множество имен. Во многих языках самое ее узнаваемое имя — *Бог*. Кто-то дал ей имя *человек*, кто-то — *нация, природа, культура*. Искренность Канта проявляется в признании того, что просто разум «нуждается» в трансцендентальном. Эта искренность дает нам право занять более жесткую позицию, связанную с признанием постоянно детрансцендентализируемой радикальной инаковости, дает нам право сосуществовать, пусть не непрерывно, с самой верой. Сохраняя при этом бдительность в отношении расчетливых.

Эти слова несвоевременны в мире бешеных темпов. Но времена всегда неотложны, а культурная подготовка — состоящая сегодня в преподавании гуманитарных наук — это всегда долгий путь.

3

Я перешла к Канту, и это привело меня к мысли о секуляризме. Нижеследующее заявление — это продолжение того нежелания использовать уже наработанное, что обозначилось на Гавайях. Наша секция на ежегодном конгрессе Ассоциации современного языка была назначена на то же время, что и заседание в память Эдварда У. Саида, умершего за три месяца до этого. Я сожалела, что пропустила это заседание, осознавая, до какой степени мои соображения дополняли влиятельные труды Саида о светском крити-

¹ *Derrida J. Faith and Knowledge // Acts of Religion*, G. Anidjar (ed.). NY: Routledge, 2001. P. 42–101.

ке, напоминающем ученого, *Gelehrte*, о кантовском герое Просвещения, стоящем всегда «в оппозиции» к любой системе, о личности, сопротивляющейся системам¹. Я хотела взглянуть на «обычных людей». И вот этот третий текст, начинающийся с протеста.

Это не полемика против нынешней войны. Есть другие люди, более способные к такой полемике. И сейчас не тот случай — если учесть безразличие и самоуверенность военных, — чтобы заводить полемику на неполитической конференции, от этого мало пользы. Более того, я не верю, что сбор подробностей о самоочевидном (военные выдают политику за религию, когда им это выгодно) может хоть как-то повлиять на утверждение секуляризма. Секуляризм — это не образ мыслей, но абстракция, которую нужно защищать. Не имеет смысла также усиливать его эмоциями, как рассказ о «новой математике». Нет. Поскольку мы находимся в университете, нам следует переосмыслить обе концепции — университета и секуляризма.

Университет — в мире. И университеты мира, без сомнения, представляют собой «европейскую модель, [которая] после богатой и сложной средневековой истории стала преобладать... в последние два века в государствах демократического типа»². Однако эта структура не везде функционирует с одинаковой степенью эффективности, одинаковой степенью просвещенного согласия или критичности, с тем же уровнем качества или связи с государством. Поскольку лучшие умы в Соединенных Штатах все больше думают о мировом правлении ради устойчивого развития, этической глобализации и правах человека, чтобы противостоять убийственному сговору милитаризма и экономики, то в контексте *мирового* правления мы должны задуматься скорее о возможных видах разных университетов, а не унифицировать их на основании собственных представлений об университете, как будто мир един. Если мы охватим весь спектр, то обнаружим идеи, витающие в среде студентов и преподавателей, по поводу «культурной идентичности», «культурных различий», «национального суверенитета», «политики меньшинств». Эти идеи очень часто скрывают за собой вариации идеи о религиозной свободе. Спешу добавить, что это не всегда так.

¹ Said E.W. *Secular Criticism // The World, the Text, and the Critic*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1983. P. 1–30; *Gods That Always Fail // Representations of the Intellectual*. NY: Columbia University Press, 1994. P. 120.

² Derrida J. *The University without Condition // Without Alibi*. Trans. P. Kamuf. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2002. P. 202.

Историческое место и сущность государственных религий, разумеется, важны. Но поскольку активная культура — это наименее осязаемая часть человеческого образа действий, то знаки, выражающие «культуру» для мобилизованной коллективности, нередко неотличимы от знаков, выражающих «религию». В этом смысле религия — это ритуальные обозначения того, как мы поклоняемся и как мы вписываем себя в половое различие. Это перформативные жесты человеческого существования, не нуждающегося в отсылках к «доказательствам», существования между природой и сверхприродой, в зыбком пространстве, где не обойтись без такого семиозиса. Это место, которое удерживает и контролирует возможность трансцендентального, описывая его как нечто, чему поклоняются. Мы видели, как Кант отбрасывает этот нижний уровень институциональности религии — *Nebengeschäfte*, который стал синонимом автоматической привязки к культуре. Такой архаичный подход, свойственный XVIII веку, еще и сегодня встречается у тех, кто гневно проповедует, что «истинная религия похищена и превращена в нечто ужасное», что «несколько дурных примеров опорочили целое». Эти чувства не обязательно плохи. Но если мы думаем о секуляризме, то нам нужно научиться принимать неизбежный характер того, что мы могли бы называть религией или культурой, которая всегда готова дать отпор, потому что она и *есть* разновидность протопубличной сферы, то, что Саид называл «приобщением через братание» — братьев, их сестер, а также побратимов. Точность в данном случае не только невозможна, но и нежелательна. И Сэмюэл Хантингтон ошибается на все сто, когда демонстрирует четкое разграничение между религией и культурой¹. В нечеткой, насаждающейся нормальности проблема, строго говоря, не в вере, но в чем-то *наподобие* языковой компетентности. Компетентность нужна, как никогда, для различных уровней семантических переговоров в разных психополитических ситуациях. Половая окрашенность играет здесь большую роль — на разных уровнях уступок и даже поисков консенсуса. Можно даже сказать, что в этом и состоит основа семантики пола — плетение позволительных повествований. Подготовка к секуляризму — политическая задача: работа ради мира, в котором религия спустится к земной нормальности.

Чтобы поддерживать этот мир в случае его установления, нам

¹ *Huntington S.P. Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. NY: Touchstone, 1997.*

понадобятся именно те навыки, которым мы обучаем в гуманитарных науках. Я говорю, конечно же, о навыках чтения, об улавливании характерных различий в регистрах языка в надежде «приняться за работу», чтобы принять тот мир, в котором мы живем; чтобы прочесть пример Мартина Лютера Кинга, который так любил своих врагов, что умер за них, как рассказ — единственный в своем роде и не нуждающийся в проверке. Из моего описания ситуации с религией должно стать ясно, что секуляризм — определение которого я скоро дам — это настойчивая критика; это упорная готовность к труду для понимания языка как системы, а не основы для веры. Если мы готовы работать для такого мира, то мы должны частично (только отчасти) заново усвоить уроки последних веков Европы и основательно переделать программы бесправных историй. Это лишь кажется страшной задачей. Но если мы задумаемся об этом как об общем деле, которым мы займемся в аудиториях, то страшно быть не должно.

Если знаки, которыми выражается «культура» для сообществ, часто неотличимы от знаков, которые так же легко могут выражать «религию», все сказанное может относиться и к «культуре», которая придает разуму статус фетиша. Кант показывает это самым впечатляющим образом в «Религии в пределах только разума». Я уже упоминала этот текст мимоходом. Позвольте мне уделить ему несколько минут.

Хотя Кант и попытался показать, что все религии склонны драматизировать роль разума для обеспечения этического единства, для него оставалось несомненным, что христианство — это «первая подлинная *церковь*».

Эта убежденность в том, что иудеохристианство является единственно верной секулярной религией, — в сущности, предрассудок, которому мы все еще подвержены и который может считаться узаконенным только в случае абсолютного отрицания, как в работе Саида Кутба об исламе. Если иудеохристианство считается религией здравого смысла, религией, де-трансцендентализированной до секуляризма, то это *тоже* есть не что иное, как описание операций захвата и контроля над возможностью трансцендентального с целью обращения его в предмет поклонения, то есть характеристика той самой религии-как-культуры, о которой я вела речь выше.

Я хочу сказать, что независимо от вашей политики или религии место здравого смысла остается неизменным, что бы ни озна-

чал секуляризм. Если здравый смысл наш союзник — и это бескомпромиссная позиция, — то его нельзя фетишизировать, как это делается сегодня в самой распространенной версии секуляризма, отмытом иудеохристианстве. Сегодняшний мягкий подход — «обучение толерантности» — сам по себе неплох. Но искреннее усилие быть толерантным, предпринятое Кантом два века назад в конце «Религии в пределах только разума», показывает, что толерантность позволяет де-трансцендентализировать все остальные религии, кроме того религиозно-культурного языка, который определяет ваши собственные идиомы. В сущности, в этом же заключается и проблема культурного релятивизма. Толерантность — столь доступная добродетель в теории — на практике дается с трудом. В лучшем случае это — личная добродетель. «Толерантное» государство — это секулярное государство, и тут мы имеем в виду юридико-правовые, а не психологические аспекты. Толерантность процветает тогда, когда религия де-трансцендентализирована до уровня своего рода языковой компетентности; легче всего это достигается, когда отпадает потребность в мобилизации, а не когда толерантность оказывается приватизирована определенным классом.

Другими словами, совершенно ясно, что две части механизма, завещанные нам европейской мыслью XIX века, — отделение церкви от государства и отделение частной сферы от публичной — слишком нагружены специфически расовым, классовым и, конечно же, половым содержанием, чтобы представлять мир справедливости. Приватизация трансцендентального дополняет картину. Наша жизнь показывает, что секуляризм — это не эпистема. Эта вера в разум в себе и для себя, защищенная внешними абстрактными построениями, — самое неустойчивое устройство для отражения человеческого состояния; в данных обстоятельствах я предлагаю вам подумать о секуляризме как об активной, устойчивой практике, как об ответственности; подумать о том, чтобы структуры воли и субъектности не сливались с убеждениями, выдаваемыми за веру. Секуляризм слишком истончен, слишком экзистенциально беден, чтобы выразить языковые глубины. Это механизм избегания насилия, который должен быть усвоен как просто разумность. Он плоский, как удостоверение личности; ему далеко до емкости «идентичности».

Какую роль можем мы сыграть в отстаивании практики секуляризма, а не просто секулярного бытия? Подумайте о той роли, которую сегодня стала играть религиозная вера в современном

многокультурном университете, и вы увидите, что «быть свободным от религии» обычно означает соблюдение буквы секуляризма. Я вовсе не собираюсь утверждать, что существует некий просвещенный секуляризм, для которого мы должны создать ритуалы посвящения, но мы должны признать: секуляризм — это всего лишь знание, и мы должны упорно учить всех отстаивать его в этом качестве. Никакая религия не имеет в этом особых привилегий.

(На ежегодной конференции Ассоциации современных языков — MLA — мне повезло найти немало тех, у кого мои идеи вызвали отклик. Среди наиболее значимых — высказывание моего давнего друга Фила Льюиса, который заметил, что мой самый важный вклад в идею о широкой секулярной практике в том, что ее суть — именно в соблюдении «буквы». «Но, — сказал Фил, — людям будет трудно это понять, Гайатри». Я думаю, что сейчас необходимо учиться именно этому пониманию: секуляризм — это набор абстрактных разумных законов, которые нужно соблюдать, чтобы избежать религиозного насилия.)

Здесь также должно быть ясно, что любое утверждение «универсальности» секуляризма, основанного на разуме, вызывает у меня подозрение потому, что оно не учитывает основания подобных утверждений о том, что университет — как место, предназначенное для обучения глубинным субъективным переменам, — это не только институт классовой мобильности, но и институт классовой мобильности европейского образца. Какой бы европейской ни была модель современного университета, наша приверженность к разнообразию культур противится этому сценарию. Ведь даже в описании форума Ассоциации современного языка говорилось, что его цель — представить «видение современного университета, которое выходит за пределы европейско-североамериканской доминанты». И фигура «универсального секулярного интеллектуала» уже не соответствует тому, кого должны выпускать современные университеты сегодня.

Для того чтобы представить себе альтернативу, я обращаюсь к Канту, поскольку он был философом, который лучше всего сформулировал идею универсального секулярного интеллектуала, произведенного университетом: только когда труд ученого не связан с конкретным временем и конкретным местом, он подлинно просвещен. Для отдельных людей нашего поколения эта мысль продолжает оставаться благородным идеалом, и именно сюда я бы поместила работы Саида о секулярной критике.

Великолепное заявление Канта о публикации, однако, сопровождается проповедью о необходимости повиновения на месте

работы — там, где мы ожидали бы утверждения общественных свобод. Если мы посмотрим на философские труды Канта, в особенности на «Религию в пределах только разума», написанную в конце его жизни, мы увидим, что идея Канта об этической общности — *gemeines Wesen*, перевод которой как «публичная сфера» совершенно неадекватен, — основывается не на разделении общественного и частного, а на том, что *единая* рациональность свойственна всем человеческим существам и, следовательно, что цель у человечества — общая. (Церковь как общественный институт тоже не стоит в стороне от частной жизни.) Как я попыталась объяснить, именно с универсальностью рационализма и связан потенциал секуляризма. Вместе с тем, понимая ограниченность разума, Кант задавался вопросом: можно ли сформировать разновидность того, что мы бы сегодня назвали секуляризмом, которая включала бы в себя и интуиции трансцендентального? Давайте посмотрим, как он разрешил эту проблему и чему мы можем у него научиться, признавая свой долг перед ним и все же с ним не соглашаясь.

Начну с того, что, несмотря на единство разума и его основополагающую роль в формировании этической общности, расчленение этой целостности предпринято Кантом гораздо основательнее по сравнению с нашими собственными попытками слепо довериться секуляризму, как мы его понимаем. (Кант сам утверждал, что различные доводы разума суть формы проявления одного разума. То, о чем пойдет речь ниже, связано с этим утверждением.) Кант выстраивает непрямую взаимосвязь между расчлененными функциями разума. Чистый разум, наиболее подозрительный для Канта, — это высшая функция разума. А просто разум — *zurechnungsfähig* (рассудок) — то, с чем нам приходится иметь дело повседневно, то, от чего мы требуем отчета, а не ответственности, — оказывается чужд трудностям морального выбора. Поэтому, предлагая способ философствования по поводу морали и чистого разума, Кант просит нас в буквальном смысле этого слова найти в нем место — *einräumen* — для воздействия милости.

Если это все звучит слишком евроцентрично, то лишь потому, что я хочу поставить под сомнение те интерпретации Канта, кото-

¹ Для того чтобы аргументированно поддержать это утверждение, нужно слишком много места и времени. Обратитесь к финалу документа, подписанного Жаком Деррида и Юргеном Хабермасом во «Frankfurter Allgemeine» от 31 мая 2002 года. Позиция Деррида по поводу Канта в целом гораздо тоньше, что вытекает из множества его работ, в разное время посвященных Канту.

рые служат для оправдания мирового правления¹. В отличие от Канта, чья непреклонная честность вынуждала стеснять разум, оправдания подобного типа характеризует определенная степень самоуверенности.

Итак, в пространственной институционализации чистого разума нам следует найти место для «воздействия милости». В последнем разделе своей последней «критики», где Кант ведет речь о мировом правлении, постоянно обращаясь к теологии (поскольку полемизирует с теологическим факультетом), он утверждает, что невозможно создать мировой институт, основанный на этической универсальности бытия. Институционализировать этику непосредственно невозможно.

Моим способам чтения прошлого я во многом научилась у Маркса, и здесь мне хотелось бы прочесть Канта так же, как Маркс читал Аристотеля — с восхищением, но и с историческим пониманием того, что проблематика стоимости была недоступна его воображению. Даже в рамках своей блестяще раздробленной модели единого разума Кант настаивал на «воздействии милости», потому что не мог представить себе университет европейского типа, где роль теологического знания не была бы господствующей. Нам стоит обратить внимание на революционный запал слова «воздействие», перенеся его из сферы теологии в сферу эстетики. «Воздействие» отражает предел попыток Канта де-трансцендентализировать Милость. Милость оказалась заключенной в риторической фигуре металеписа — в воздействии от воздействия*. Поскольку чистый разум — да, собственно, любой разум — не может знать исходной причины, то доступным остается лишь воздействие (эффект).

У Ханны Арендт есть комментарии по поводу политического потенциала кантовских рассуждений об эстетике¹. То, что я предлагаю, связано с ее идеями. Большинство из нас знакомо с отчасти неудачным пониманием эстетического в английском языке:

* Металепис — фигура речи, в которой описываемое уподобляется чему-то, часто весьма отдаленно с ним связанному. Часто ассоциация, порождаемая металеписом, работает через совокупность других фигур речи или через целую цепь причин и следствий. Риторический эффект металеписа состоит в двойном переносе значения, как, например, в этой строчке из стихотворения Ахматовой: «Небывалая осень построила купол высокий», где олицетворение осени позволяет сформировать иной образ неба («купол»). — *Прим. пер.*

¹ *Arendt H. Lectures on Kant's Political Philosophy. Chicago: University of Chicago Press, 1990.*

целесообразность без цели. Мы знаем — Кант говорит нам, — что эстетика позволяет задействовать способность представления, которое не основано на использовании объективных понятий. И вот в «Критике способности суждения» Кант, рациональный и уравновешенный мыслитель, обуздывает склонность воображения уноситься слишком далеко, отдавая приоритет задаче понимания, а не уразумения.

В «Религии в пределах только разума» Кант неявно и по большей части безотчетно изменяет цель представления-без-понятия (образности), изображая милость как своего рода металеписис (недоказуемое воздействие от воздействия) приложения, металеписис побочной деятельности чистого разума. Теперь не понимание проверяет воображение, как это было в «Критике способности суждения», но именно образность дополняет расчетливую леность рассудка.

Я прошу прощения за запутанность этого абзаца. Универсалистский мультикультурализм пойдет намного легче. Но потерпите еще несколько страниц.

В поддержку моей интерпретации я хотела бы сказать, что «Религия в пределах только разума» есть не что иное, как развернутое аллегорическое, или без-образное (*dis-figuring*), прочтение Нового Завета — теологии освобождения своего рода. А теперь я хочу высказать предположение, которое, надеюсь, не отпугнет вас. Мы возвращаемся к суицидным взрывам.

Теология освобождения работает потому, что она воспринимает метафорологичность религиозной культуры буквально. По такому же принципу работают и взрывы-самоубийства. Я не уравниваю эти явления и не одобряю их. Но у них есть одно общее — дурная политика полов. Последние несколько лет я пыталась представить себе эти самоубийства, поскольку я уверена в том, что отметить их как патологию, как жажду убийства или как заблуждение означало бы говорить именно с тех позиций, о которых я вела речь ранее. Слышали вы когда-нибудь плач палестинских матерей по сыновьям и дочерям, которых нынешняя ситуация превратила в самоубийц-бомбистов? Именно это я имела в виду, когда говорила в начале о том, что доступность двуязычной идиомы религии и культуры оказывается мобилизованной в определенных ситуациях. Если буквализация метафор становится для теологии освобождения способом мобилизации, то суицидные взрывы свидетельствуют о предельной референциальности религиозного нарратива.

Изучение гуманитарных наук не связано ни с первым, ни со вторым; оно учит нас внимать единичному и непроверяемому.

И если университету суждено оставаться вне религии, то эта задача предполагает постоянные эпистемологические усилия, истоки которых связаны с гуманитарным знанием. Идея о том, что секуляризм можно обрести исключительно благодаря политической науке и правоведению, игнорирует тот факт, что в рамках этих частных дисциплинарных формаций проблематика индивидуального самоконтроля остается за скобками. Только гуманитарные науки могут обеспечить непрерывную практику детрансцендентализации радикальной инаковости, воссоздавая милость как металеписис, — вот тот урок, который мы усвоили от пророка и предшественника этого стиля¹. Избавляясь от своей тривиальности, гуманитарным наукам надо занять свое достойное место в университетах в наш беспокойный век. Меня шокирует консерватизм молодых коллег, настаивающих в своей завидной отгороженности от мира на преподавании «исключительно литературоведческих навыков» (в чем их суть, кстати?), поскольку им приходится иметь дело с неподготовленными студентами; а мир вокруг них, меж тем, рушится.

Если мы хотим быть готовыми к проблемам XXI века, нам следует также учить языки. Мое упрощенное толкование Канта было бы невозможно даже на основе лучших английских переводов. И не стоит надеяться на то, что мы сможем избежать проблем по мере того, как слово «секулярный» будет переведено на языки государств и обществ «в других частях света».

Нет. Вместо того чтобы предлагать туманные переводы терминов английского языка или понятий метрополий, необходимо начать поиск местных бинарностей «секулярного / трансцендентального» в языках мира. Моими кандидатами на пересмотр стали *din aur dunya* и *jagatik o pamarthik* — две основные религии в Индии. Так, определение *религии* как ритуальных знаков поклонения — *ki korey thakur pujo kara hoy* — пришло ко мне 16 декабря в Западной

¹ Деррида предостерегал в «Différance», что следствие (эффект) без причины приводит к первопричине. Кантовский почти-металеписис милости все еще подразумевает Бога, хотя Кант осторожен в том, чтобы ограничить эту возможность любым способом, в особенности обсуждая гипотетическое использование разума («Критика чистого разума»). Аргумент Деррида, следовательно, в том, что помещение эффектов милости в тексты не обязательно приводит к беспричинности причины, см.: *Derrida J. Différance // Margins of Philosophy / Trans. A. Bass. Chicago: University of Chicago Press, 1982. P. 17.* Это, говоря другими словами, и есть де-трансцендентализация радикально иного, беспричинная причина, настойчивое просветительское стремление гуманитарных наук.

Бенгалии, когда я разговаривала с деревенской женщиной, босоногой учительницей, которая была не в состоянии объяснить урок по религии из учебника начальной школы.

Я заканчиваю, как и начала, используя свое узаконенное право преподавателя литературного повествования. Я открываю книгу «Дитя без глаз», роман, написанный Патрисией Грейс, писательницей народности маори¹. Моя подруга и коллега Каролин Синавайана очень образно рассказала мне о мировосприятии маори, которые признают не столько деление на частное и публичное, сколько то общее, что связывает всех членов общности. Я упоминала раньше о кантовских понятиях морального бытия и единства разума. Несколько лет назад, в моем споре с попытками Бучи Эмечета² переписать эпоху Просвещения, эти положения кантовской теории показались мне применимыми и за пределами их европейского происхождения³. Тогда я оставила без комментария тот факт, что последняя глава романа «Дитя без глаз» заканчивается в университете, где современный маори учится «испытывать противоположное» — самое действенное упражнение для воображения, позволяющее уйти от референциальности собственной идентичности. Если книга Тони Моррисон «Возлюбленная» переносит нас от Африки к Африканской Америке, то роман «Дитя без глаз» помещен в точку перехода от Аотеароа к Новой Зеландии. Именно в процессе таких исторических перемен неустанное усилие по сохранению секулярности университета совершается руками гуманитарной педагогики и гуманитарной науки — благодаря неустанной де-транцендентализации радикально иного в пространстве воздействия и благодаря неустанному признанию того, что религия / культура есть идиома, а не основания веры.

¹ Grace P. Baby No-Eyes. Honolulu: University of Hawai'i Press, 1998. P. 293.

² Бучи Эмечета — нигерийская писательница, автор ряда романов о столкновении выходцев из Африки с культурными реалиями западных стран, о негативных последствиях вестернизации Африки. — *Прим. пер.*

³ Spivak G.Ch. Interview with Jane Gallop // Polemic: Critical or Uncritical / J. Gallop (ed.). NY: Routledge, 2004.

Елена Трубина

Множественная травма

(послесловие)

Прочитав несколько статей в этом собрании, читатель заметит, насколько многочисленны и разнообразны как собственно травмы, так и подходы к их осмыслению. Клинический и текстуальный анализ соседствует с полевыми исследованиями и социологическими наблюдениями. А обсуждение психических травм сопровождается рефлексией по поводу возможностей самого термина метафорически отобразить интенсивность и насильственность модернизации, или выступить способом критического рассмотрения современных социума и культуры, или, как это ни грустно, стать орудием доминирования. В сегодняшних обсуждениях в диалог вступают натуралистические и конструктивистские теории коллективной травмы, и этот диалог мы попытались отразить на страницах сборника.

Среди ключевых вопросов, в которых проявляются коллизии между различными представлениями о травме, отметим следующие. Как связаны между собой природа трагических событий и коллективные репрезентации? Травматичны ли сами события, или их делают травматичными те культурные рамки, которые определяют восприятие событий? Как страдания людей репрезентируются международными наблюдателями и местными агентами культурной индустрии? И какие возможности для нас как свидетелей происходящего эти репрезентации открывают (и закрывают)? Каковы те социальные и культурные процессы, в ходе которых события начинают рассматриваться как угроза коллективным идентичностям? Как социальные группы справляются с сильными негативными эмоциями? Как сказывается здесь их социальный и культурный капитал? Каким образом они принимают на себя (или делегируют друг другу) социальную ответственность за случившееся? Поскольку нам хотелось бы провести некоторые параллели между тем, как травма и травматическое описываются отечествен-

ными авторами, и тем опытом, который возник по мере подготовки этого сборника, отметим несколько принципиальных позиций.

Борис Дубин, анализируя причины избегания исторической ответственности советскими и постсоветскими поколениями, пишет:

Из сознания и тех и других групп история как проблема, как напряженная связь между настоящим и прошлым вытеснена; если она и может вернуться, быть сколько-нибудь значимой для тех и для других *вместе*, то разве что в форме официозной истории, идеологически-тенденциозной легенды власти. Подобные стратегии прятания и ускользания от травматических конфликтов (в том числе от признания, принятия, осознания реальных напряжений и столкновений внутри и между поколениями) многократно затрудняют их систематическую рационализацию силами образованного сообщества, закрывают возможность институционализировать эту работу, а значит, и выработать некие средства для цивилизованного освоения подобных болезненных моментов другими, более широкими группами населения¹.

Хронология событий, фиксируемая с помощью понятия «поколения» и определяющая перестройку как разрыв в историческом континууме, констатации немого отрицания вины и исторической ответственности большинством социальных групп современной России справедливо преобладают в описаниях травм перестройки и последующих лет. Однако кажется неслучайным, что проблема межпоколенческой травматизации — повсеместно, а не только у нас — уступает в популярности и глубине продуманности исследованиям травмы как таковой. Именно эти исследования оказались особенно плодотворными в описании непредсказуемости и амбивалентности передачи семейной памяти как главного канала трансляции исторического наследия поколений. Травматические события — в силу своей интенсивности — не могут быть постигнуты с помощью обычных когнитивных приемов, а память о них сильно отличается от обычной. Дети людей, подвергшихся травме, видят сны о событиях, которых они не переживали. Молодые люди из семей выживших жертв и из семей людей, травмы скорее наносивших, выказывают не только симптомы разрывов и отсутствий,

¹ Дубин Б. Интеллектуальные группы и символические формы. Очерки социологии современной культуры. М., 2004. С. 54–55.

молчания и замалчиваний, но и равнодушие к истории, безжалостно прошедшей по судьбам их близких. Поэтому нам дорого, что авторы нашего сборника — Шошана Фелман, Эльза Баир-Гучинова, Омер Бартов, Кэти Карут и другие — в опубликованных здесь и прочих текстах не только обличают недостаточно осознанное и рациональное отношение соотечественников к прошлому, но и показывают реальное многообразие способов ассоциации и диссоциации с прошлым, идентификации с предшественниками, отдания должного разрушительной истории, осознания того, что ушедшие в немалой степени предопределяют то, как ты смотришь на мир. Тем самым создается поле, в котором возможно возникновение *гетеропатической идентификации* — т.е. такой эмпатической реакции на другого, которая сочетается с пониманием того, что опыт другого не может стать твоим и что тебе стоит подавлять в себе импульс его ненароком присвоить, став, так сказать, суррогатной жертвой¹.

Психотерапия и психоанализ обращаются к проблемам людей, столкнувшихся с социальным и политическим насилием, переживших природные и техногенные катастрофы, не справившихся с вызовами радикальных социальных изменений. Переживание утрат и совладание с ними неразрывно связаны с осознанием прерывностей, смещений, деформаций социального мира. Единичность травмы (все последующие беды, с которыми сталкивается индивид, вступают в сложные динамичные отношения с пережитой им травмой) противоречиво сосуществует как со множественностью ее реальных вариантов, так и со множественностью людей, переживших травму. Фредрик Джеймисон, полемизируя с Хайдеггером и Сартром, описавшими экзистенциализм в терминах смерти, заходит еще дальше, заявляя, что сама эта множественность может быть травмирующей:

Бесчисленные холокосты этого периода открывают... не столько смерть и человеческую конечность, сколько множественность других людей; поэтому ужасы окопов или массовых расстрелов рас-

¹ См.: *Silverman K.* The Threshold of the Visible World. NY: Routledge, 1996. P. 185; *Hirsch M.* Projected Memory: Holocaust Photographs in Personal and Public Fantasy // *Acts of Memory: Cultural Recall in the Present* / M. Bal, J. Crewe, L. Spitzer (eds.). Hanover, NH: UP of New England, 1999. P. 9; *LaCapra D.* Writing History, Writing Trauma. Baltimore: Johns Hopkins UP, 2001. P. 40.

крывают не столько некий метафизический удел — предмет размышлений священников, философов или впечатлительных подростков, сколько зрелище этой множественности жизни¹.

С самого начала XX века европейская мысль, столкнувшись с обилием погибших и пострадавших людей, и поныне ищет продуктивные способы осмысления множественности связанных друг с другом человеческих существ как главной черты человеческого удела и отправной точки современного политико-философского мышления. В утопическом стремлении русского философа Николая Федорова направить силу армий не на уничтожение друг друга, а на воскрешение всех когда-либо живших, проявился отказ считать предков «навозом» истории, сохраняющей в памяти лишь избранных. Американский политический философ Ханна Арендт критиковала классическую европейскую философию за то, что многие ее представители относились к людской множественности с раздражением или упражнялись по ее поводу в цинизме. Так, немецкий философ Эрнст Юнгер усматривал проявление «здоровья жизни» во взглядах тех, кто, созерцая уничтожение людей, напоминал окружающим, что немало людей одновременно с этим и рождается. Немецкий мыслитель Петер Sloterdijk также описывает цинизм политиков, медиков и военных, лицемерно ободривших с помощью патриотических брошюр миллионы обезображенных войной калек, **воспринимая человечество как заменимый протез**. Омассовление истории и культуры связало нарастающую неотличимость людей друг от друга с мировыми войнами, Холокостом, ГУЛАГом и ядерными взрывами. Травма парадоксальным образом оказывается составной частью самой природы нормативного порядка, что придает смысл человеческому уделу.

Одержимость современной культуры катастрофами и травмами сочетается с политической манипуляцией травматическим дискурсом, дошедшей до своих крайних выражений в медиаконструировании глобальных травм и эры глобального террора. События 11 сентября 2001 года, дестабилизировав существующий расклад политических сил, эксплуатируются правительствами для решения проблем собственной легитимации. Чем более жестокими становятся способы осуществления политических целей, чем более *био-*

¹ Jameson F. The End of Temporality // Critical Inquiry. Summer 2003. P. 709.

политической становится политика (то есть нацеленной на управление человеческой жизнью), тем более популярными становятся попытки политического класса позиционировать себя действующим от имени тех, кто пострадал от прошлых и современных форм насилия. В итоге приятное волнение, с каким в конце предыдущего столетия исследователи описывали транснациональные потоки идей и желаний, капиталов и людей, уступило место тревоге из-за нарастающего государственного регулирования населения и использования практик исключения отдельных стран, режимов, народов, индивидов из человеческого порядка. Открытые формы насилия (этнические чистки, геноцид) соседствуют с тайными (пытки, исчезновение людей). Политические техники управления вписывают подозрения в тела депортированных и беженцев, мигрантов и людей, которые «похожи на мусульман», и тем самым ставят их вне закона, превращают в невидимых и ненужных для государства существ. Достаточно постоять в очереди в Сбербанке и взглянуть в лица пенсионеров, получающих от государства цинично неравноценные компенсации сбережений, чтобы представить, как широко распространено сегодня это эффективное в кризисные времена оправдание правительств, международных неправительственных организаций, инстанций Организации Объединенных Наций: «Нами делается немало». Немые объекты бюрократической жалости, сведенные в отчетах и газетных статьях к «социально незащищенным слоям населения», «беженцам», «бюджетникам», «мигрантам», «Наташам», «травмированным», в соединении с риторикой «социального государства», «гуманитарной помощи», «эффективности» наносятся на знамена политических партий, ложатся в основу организаций и фондов, служат началом выгодного бизнеса.

Массовая культура присваивает травму, привлекая аудиторию целым рядом отработанных ходов: от иллюзорно-примиряющего «богатые тоже плачут» до поверхностно-сенсационного обещания «рассказать все». Катастрофическое событие, расшатывая нормы и обесмысливая ценности, получает повествовательное воплощение — именно потому, что непостижимое рано или поздно должно приобрести осмысленную форму. Этот императив реализуется с опорой на уже имеющиеся дискурсивные ресурсы и встраивается в мифологемы национальной исключительности или во вневременные трансцендентальные схемы. Неслучайно Лев Гудков в ряде текстов, посвященных Чеченским войнам, говорит о моральной

травме беспомощности, пережитой многими в отношении к войне, но берет в кавычки «травмы» соотечественников, связанные с рецидивами имперского сознания:

Речь не шла об уважении прав и свобод других народов; дело, скорее, сводилось к внешнему, защитному изоляционизму, вызванному коллективной «травмой» самого большого народа в империи — утратой оснований для великодержавной гордыни, внутренне скрываемым возмущением в отношении чеченцев (как ранее в отношении прибалтов): «вы кто такие, что требуете суверенитета?» Невозможность артикулировать само это обстоятельство (особенно когда «старший» из братьев-народов в семье «великой Руси» находится в унижительно слабой позиции и не может продемонстрировать всю свою силу) и предстает как «равнодушие» ко всему тому, что может быть названо общими или «национальными вопросами»¹.

Тексты наслаиваются на тексты, ибо стремление к пониманию неостановимо. Но в этом процессе заметными и востребованными оказываются повествования *закрытые* или *ориентирующие* в происходящем, повествования, исходящие из непрерывности истории и построенные на идеях, не нуждающихся в доказательстве. Исследования травмы продемонстрировали возможность иного рода повествований, в которых тяга к «закрытию» вопроса, присущая традиционным нарративным схемам, проблематизируется, а последовательное разворачивание фактов уступает место анализу, не теряющемуся перед двусмысленностью и неразрешимостью.

Событие травматично не столько потому, что оно ужасно, сколько потому, что оно непостижимо, потому, что оно бросает вызов пониманию, встряхивает и разрушает базисные допущения о мире, особенно самые хрупкие из них, согласно которым мир осмыслен, Я — позитивно, а другим можно доверять и сочувствовать. Травма остается в культуре знаком невозможности полного знания, концентрируя в себе истину события, ускользающую от опосредования и ассимиляции коллективным или индивидуальным мировоззрением. Лидеры исследований травмы, принимая

¹ Гудков Л. Чеченская война и «мы» // http://www.sakharov-center.ru/publications/Cennosti_i_lichnost/10.htm

этот вызов, убеждены, что исследование травмы предполагает необходимость занять дистанцию прежде всего по отношению к самому себе, «отойти от себя», как это называет Кэти Карут, чтобы вслушаться в невозможное. Осмысливание последствий насилия тем самым увязывается с проблемами конструирования идентичности и субъективности, а самопонимание исследователя — с тем фактом, что насилие разрушает стандартные категории мысли и способы морального суждения и, следовательно, что методология исследования насилия с неизбежностью должна объединить этическое и политическое, универсально-должное и контекстуально-историческое.

Разрывы травматического опыта провоцируют такие дисциплины, как история и социология, антропология и лингвистика, «слушать» травму, приспособляя для этого существующие формы и методы исследования и выстраивая в итоге нетрадиционные тексты, *открытые* новым интерпретациям. Интересные работы в этом поле (которые мы постарались представить читателю) становятся, так сказать, исследовательскими свидетельствами о свидетельствах. Их авторы сочувствуют пережившим травму, но это сочувствие деятельно и сопряжено с изобретательным совладанием с тем обстоятельством, что столкновение с ужасным препятствует беспроблемному воспроизведению прогрессистского нарратива — с его ненапряженными жертвами и незабытыми героями, — но предполагает поиск надежды на искупление вне рамок официального мировоззрения. Лидеры исследований травмы остаются на стороне памяти индивида, противостоящей приглаживанию связи между прошлым и настоящим уже тем, что навсегда фиксирует в душе и теле человека следы невыразимого, которые официальные нарративы распознать не способны. Этим и объясняется постулирование ими важности *слушания*, ибо последнее играет немаловажную роль в частичном восстановлении того самого защитного экрана, что был прорван шокирующим опытом.

В восстановлении защиты через рассказывание, через реакцию работы нормативных и интерпретативных культурных рефлексов индивида становится, однако, очевидной пронизанность работы индивидуальной памяти конвенциями памяти публичной. Достаточно послушать балканских друзей о судьбе их родных — обитателей лагерей для беженцев, месяцами, а то и годами, вновь и вновь во время очередных слушаний приспособляющих пережитое и рассказываемое к ожиданиям комиссий по предоставле-

нию политического убежища, или вчитаться в портреты жертв взрывов 11 сентября, опубликованные членами их семей в «Нью-Йорк Таймс», чтобы убедиться не только в поразительном сходстве реализованных повествовательных схем, но и в превалировании любви и нежности над негативностью, гневом, желанием мести.

Невыразимость и непостижимость происшедшего часто толкает выжившего на парадоксальную реакцию, в которой неверие в способность окружающих понять то, что он пережил, совмещается с надеждой на такое понимание. Пишущие о выживших также нередко попадают в ловушку такой парадоксальности, вот почему травме посвящено немало эссе, толкующих о сакральности, мессианском времени, тайне. Обращаясь к Левинасу и Беньямину, авторы тончайших по интеллектуальной выделке работ о памяти и наших отношениях с ушедшими опровергают линейность времени, демонстрируя, как иногда наше «сейчас» соединяется с их «тогда», а бытовой материализм оказывается в тени более значимых общностей со сгинувшими.

Ассоциация травматического события и сакрального объекта строится либо на том, что об этом событии нельзя говорить, потому что оно — вне обычного мира и обычного языка, либо на том, что об этом событии говорить невозможно без нарушения границы между сакральным и профанным. Парадоксальная связь табу и травмы проявляется в нескольких отношениях.

Во-первых, эта связь присутствует в том, какие режимы истины продуцируются и поощряются тем или иным политическим режимом: от юридического до медицинского, от экономического до психоаналитического. Политически организованное забывание коллективных и индивидуальных травм и противостоящее ему раскрытие отрицаемых, вытесненных воспоминаний о травмах, что проявляется в воссоздании стертых страниц национального прошлого, в реконтекстуализации доминирующих версий трагических эпизодов истории тех или иных народов и социальных групп, во вмешательстве в работу культуры памяти и политик памяти, может быть понято как переосмысление табуированных дискурсов. Особенность нашей, отечественной культуры памяти состоит в быстроте, с которой табу прежнего политического режима сменились новыми замалчиваниями все тех же трагических страниц недавнего прошлого. Взаимосвязь между властью государства, идеологии, нации задавать коды работы памяти, с одной стороны, и ментальными привычками, чувствительными зонами, мировоззрениями,

ценностями индивидов — с другой, проявляется в часто затрудненном переводе травматических воспоминаний в действия и политические пристрастия.

Во-вторых, это настороженные суждения по поводу умножающихся попыток воссоздать мотивацию тех, кто были причастны к организации «Окончательного решения» или событий 11 сентября, Беслана или массового голода 1930-х: лучше держаться от всего этого подальше, чем пытаться понять. К нарушению этой связи между травмой и табу в общественном сознании призывает один из авторов нашего собрания — Гайатри Спивак, посвятившая значительную часть своего эссе выстраиванию философских оснований, с которых в летчиках-самоубийцах можно увидеть не только слепых жертв жесткой индоктринации, но и людей, а в сделанном ими увидеть не только отчаяние фанатиков, но и вечный неразрешенный вопрос: при каких условиях человеческая жизнь прекращает иметь цену? Только так можно разорвать круг насилия, на которое нас обрекает запрет воображать мотивы врагов. Вот почему Спивак настаивает на «неустанной де-трансцендентализации радикально иного», которая возможна в ходе работы воображения исследователя, расшатывающего предметность его идентичности примеркой на себя немислимых состояний. Она показывает, что классическая мыслительная традиция участвовала в создании симбиоза европейского национального государства и его многочисленных других, внутренних и внешних, — апеллируя к необходимости скорее познать, нежели понять их, — и потому поощряла категоризацию, переписывание, таксономизацию.

Не проявляется ли тогда в многочисленных повседневных травмах ксенофобии, на которые обречены мигранты в европейских и российских столицах; в нарастании ценности имперскости для повседневного поведения; в беспокойстве по поводу того, что «другие» все более по-хозяйски ведут себя в кварталах городов, та же самая биополитическая логика таксономии? Одно дело глазеть на приезжих, как на экспонаты выставок достижений народного хозяйства, а другое дело — понимать, что они собираются обосноваться по соседству с тобой всерьез и надолго. Космополитизм быстро обнаруживает здесь свою ограниченность. Колониальные импульсы вспыхивают с новой силой. А одержимость историями имперского прошлого может быть прочтена как симптом неспособности изгнать из коллективного бессознательного фигуру опасного чужака, от которого зависят не только экономически, но и

культурно: без него не на чем будет основывать претензии на моральное и расовое превосходство.

Несовместимость факта множественности жертв современной истории с императивом чтить память всех жертв без исключения проявляется и в актах рецепции художественных репрезентаций. Так, аудитория фестиваля «Жесты примирения» (май 2006), подытоживающего организованный Гете-институтом в Европе и России конкурс студенческих документальных фильмов о Великой Отечественной войне, разделилась на тех, кто были готовы признать страдания и жертвы оказавшихся на стороне врага помимо своей воли, и тех, кто были убеждены: сами цифры *наших* утрат исключают какое-то примирение и дают нам право ждать от *них* вечно-го покаяния. Понимая, что есть большая разница между народами воюющих наций и еврейским народом, который не состоял со своими палачами в войне, следует все же признать, что сравнение «наших» и «их» потерь, «наших» и «их» геноцидов — как и вопросы о том, чьи страдания больше, чьи напрасны, а чьи заслужены, — возникают неизбежно и взаимосвязанно. Возникают несмотря на интуитивное допущение, что нет на эти вопросы ответа и что сравнение ничего не даст. После проникновенной лекции Доминика ЛаКапры о противоречиях в увековечивании травмы Катастрофы я спросила его о том, в какой мере годится сказанное им для размышлений о блокаде Ленинграда или о репрессиях 1930-х, намекая на то, что дискурсивный вес написанного о Холокосте вполне в состоянии тривиализировать это событие. Последовал усталый ответ: «Травмы сравнивать бессмысленно».

Возможно, ученый полагал, что профессиональный разбор работы скорби в событии Холокоста далек от того, что Эли Визель назвал «превращением Холокоста в литературу». Возможно, имелось в виду то, что сама попытка сравнить Холокост с другим геноцидом, будь он в Армении, Руанде или Конго, равноценна непониманию уникальности масштабов, цинизма замысла и методов рационально спланированного и организованного нацистского уничтожения евреев. Возможно, он имел в виду, что в сегодняшней памяти Холокост фигурирует как «моральный и идеологический тест Роршаха»¹. Но как быть с продолжающимися актами «присвоения» Катастрофы и других несчастий для наращивания

¹ Novick P. The Holocaust in American Life. Boston: Houghton Mifflin, 2000. P. 12.

морального капитала теми, кто от них биографически далек? И не то же ли самое приписывание единичного, исключительного статуса травмам, случившимся с конкретной нацией или страной, используется идеологами правительств для оправдания жестокости к врагам или равнодушия к далеким страдающим?

В то же время стремление осмыслить происшедшее посредством цифр и их сравнений обречено на необъективность и непоследовательность: недавние ужасы и их жертвы затмевают прошлые, жертвы террористических актов заслоняют существенно превосходящих их по численности погибших в авиа- и автокатастрофах, а свои утраты и утраты своей коллективности, возможно, серьезно ограничивают сострадательный потенциал человека. Когда дело доходит до публичности, различные версии, генеалогии и иерархии несчастий входят в конфликт во многих странах. Хотя все-таки главное в страданиях, причиненных травмами, состоит в том, можно ли найти на них ответ. Там, где идеи об исключительности пережитых травм соединяются с повседневной жестокостью к «невписавшимся» и «чужим», где распоясавшееся Сверх-Я вершит суд, не встречая трезвого отпора, заинтересованный ответ, реакция, суждение, мысль — при невозможности постичь смысл страданий и почувствовать боль несчастных — неоценимы.

Сведения об авторах

Хосе Аланиз (Jose Alaniz) — преподаватель Отделения славянских языков и литератур, а также Отделения сравнительного литературоведения Университета штата Вашингтон (Сиэтл). Область исследовательских интересов включает проблемы смерти и умирающего, инвалидности, экокритики, постсоветского кино и культуры русских комиксов. В 2003 году получил докторскую степень в Университете Калифорнии (Беркли). В 2010 году в издательстве штата Миссисипи выходит его книга «Komiks: Comic Art in Russia».

E-mail: jos23@u.washington.edu

Светлана Алексиевич — писатель, автор книг в жанре документальной прозы. Среди ее публикаций: «Чернобыльская молитва. Хроника будущего» (М., 1997), «Зачарованные смертью» (М., 1994), «Цинковые мальчики» (М., 1991), «У войны не женское лицо» (Минск, 1985) и др. Лауреат многочисленных международных премий. Ее книги опубликованы более чем в двадцати странах мира. По ним сняты фильмы в Белоруссии, России, Японии, Австрии, Германии.

Елена Викторовна Барабан — кандидат филологических наук, преподаватель кафедры славистики Университета провинции Манитоба (Канада). Основные исследовательские интересы: русская литература XX века, популярная культура, детектив, теория травмы, литература и фильмы о Великой Отечественной войне. Публиковалась в журналах «Slavic and East European Journal», «Canadian Slavonic Papers», «International Fiction Review», «Гендерные исследования» и др.

E-mail: Elena_Baraban@umanitoba.ca

Омер Бартов (Omer Bartov) — профессор европейской истории в университете Браун. Возглавляет исследовательский проект Института международных исследований Уотсона «Пограничные земли: этничность, идентичность и насилие в обломках империй с 1848 года». Основные публикации: «The “Jew” in Cinema: From The

Golem to Don't Touch My Holocaust» (Bloomington, 2004), «Germany's War and the Holocaust: Disputed Histories» (Cornell, 2003), «Mirrors of Destruction: War, Genocide, and Modern Identity» (Oxford, 2000), «Murder in Our Midst: The Holocaust, Industrial Killing, and Representation» (Oxford, 1996), «Hitler's Army: Soldiers, Nazis, and War in the Third Reich» (Oxford, 1991).

E-mail: bartov@brown.edu

Роберт Весслинг (Robert Wessling) — заместитель директора Центра российских, восточноевропейских и евразийских исследований Стэнфордского университета.

E-mail: rwess@stanford.edu

Елена Гапова — основательница Центра гендерных исследований Европейского гуманитарного университета (Беларусь—Литва). Преподает на кафедре социологии Западно-Мичиганского университета (Western Michigan University). Основные исследовательские интересы: гендер, нация и класс в посткоммунизме; интеллектуалы и производство знания. Соредактор книги (с Сибелан Форрестер и Магдаленой Заборовской) «Over the Wall / After the Fall: Post-Communist Cultures through an East-West Gaze» (Bloomington, 2004), редактор и составитель сборника «Женщины на краю Европы» (Минск, 2003) и др.

E-mail: e.gapova@gmail.com

Жан-Макс Годийер (Jean-Max Gaudilliere) — профессор Высшей школы социальных исследований в Париже, специалист по классической литературе, доктор социологии, практикующий психоаналитик. Соавтор книги «History Beyond Trauma» (NY, 2004).

E-mail: gaudilliere1@hotmail.com

Эльза-Баир Гучинова — научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, доктор исторических наук, автор монографий: «Постсоветская Элиста: власть, бизнес и красота» (СПб.: Алетейя, 2003); «Улица Kalmuk road. История, культура и идентичности калмыцкой общины в США» (СПб.: Алетейя, 2004); «Помнить нельзя забыть. Антропология депортационной травмы калмыков» (Stutgard: Ibidem, 2005); «The Kalmyks. Handbook» (Routledge, 2006). Научные интересы: память, язык травмы, нарратив. Публиковалась в журналах «Этнологическое обозрение», «Антропологи-

ческий форум», «Ab Imperio», «Inner Asia», «Anthropology and Archeology of Eurasia» и др.

E-mail: bairjan@mail.ru

Франсуаза Давуан (Françoise Davoine) — профессор Высшей школы социальных исследований в Париже, дипломированный специалист по классической французской, греческой и латинской литературам, доктор социологии. Консультант в общественных психиатрических лечебницах, практикующий психоаналитик. Соавтор книги «History Beyond Trauma» (NY, 2004).

Кэти Карут (Cathy Caruth) — профессор сравнительного литературоведения и английского языка университета Эмори (кафедра английского языка). Основные исследовательские интересы: английский и немецкий романтизм, теории травмы, психоаналитические теории. Автор книг: «Unclaimed experience: trauma, narrative, and history» (Baltimore, 1996), «Empirical truths and critical fictions: Locke, Wordsworth, Kant, Freud» (Baltimore, 1991).

E-mail: ccaruth@emory.edu

Селеста Кoffман-Бос (Celesta Kofman-Bos) — докторант кафедры общественного управления в Университете Лейдена, член Центра по исследованию кризисов того же университета, основатель «Кризисплана» — консалтингового бюро, специализирующегося на тренингах управления в кризисных ситуациях. Ее исследования связаны с происхождением и развитием норм и практик правительственных организаций.

E-mail: kofmanbos@fsw.leidenuniv.nl

Марк Липовецкий — доктор филологических наук, профессор кафедры германских и славянских языков и литератур Университета Колорадо (Болдер). Автор книг: «Свободы черная работа» (1991), «Поэтика литературной сказки» (1992), «Русский постмодернизм: Очерки исторической поэтики» (1997), «Russian Postmodernist Fiction: Dialog with Chaos» (1999), «Современная русская литература, 1950–1990-е годы» (в соавторстве с Н.Л. Лейдерманом; 2001, 2003, 2005); «Паралогии: Трансформации (пост)модернистского дискурса в русской культуре 1920–2000-х годов» (М.: НЛО, 2008). Автор многочисленных статей в российских и зарубежных журналах. С 1996 года живет в США.

E-mail: Mark.Leiderman@colorado.edu

Мария Аркадьевна Литовская — доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы XX века Уральского государственного университета (Екатеринбург). Автор монографии «Феникс поет перед солнцем: Феномен Валентина Катаева» (Екатеринбург, 1999) и ряда статей по проблемам истории советской литературы и культуры.

E-mail: marialiter@mail.ru

Катрин Мерридейл (Catherine Merridale) — профессор современной истории в колледже Королевы Марии (Лондонский университет). Ее статьи и исследования посвящены социальной истории травмы, смерти и войны в России XX века. Автор книг «Night of Stone: Death and memory in Russia» (London, 2000), «Ivan's War: The Red Army, 1939–1945» (London, 2005).

Сергей Мирный (Sergii Mirnyi) — писатель и эксперт по Чернобылю, а также по радиационным и экологическим катастрофам. В 1986 году был командиром взвода радиационной разведки в Чернобыле. Автор монографии «Chernobyl liquidators' health as a psycho-social trauma» (2001), документально-комического романа «Живая сила (Чернобыльские байки)» (2006; венг. перевод, 2008; 2-я премия конкурса журнала «Корреспондент» на лучшую украинскую документальную книгу 2009 года), книги прозы «Хуже радиации. Повесть, рассказы» (2001; англ. перевод «Worse than radiation and 7 odd Chernobyl stories», 2001) и двух киносценариев художественных фильмов о Чернобыле, получивших премии конкурса «Коронация слова» (Киев, 2004) и журнала «Киносценарий» (Москва, 1997).

E-mail: s.mirnyi@gmail.com

Джулиет Митчелл (Juliet Mitchell) — профессор факультета социальных и политических наук Кембриджского университета. Область интересов: психоанализ и исследования пола. Консультант психологической службы в больнице Адденбрук (Addenbrookes Hospital). Среди последних ее публикаций книги «Mad Men and Medusa» (2000) и «Siblings, Sex and Violence» (2003).

E-mail: jcwm2@cam.ac.uk

Элиза Мусаева — кандидат психологических наук. С 2000 по 2004 год работала в правозащитном центре «Мемориал» в г. Наз-

рань (Ингушетия). С 2004 года — сотрудник Международной Хельсинкской федерации по правам человека (Вена, Австрия).

E-mail: moussaeva@gmail.com

Петар Рамаданович (Petar Ramadanovic) — родился в Югославии. Профессор английского языка и литературы в Университете Нью-Хэмпшира. Автор книги «Forgetting Futures: On Memory, Trauma, and Identity» (2001). В качестве соредатора участвовал в издании трех сборников статей.

E-mail: petarr@cisunix.unh.edu

Елена Юрьевна Рождественская (Мешеркина) — ведущий научный сотрудник Института социологии РАН, профессор факультета социологии Высшей школы экономики, ведет курсы по социологии семьи, социологии гендера, визуальным исследованиям. Исследовательские направления: биография, социальная память, нарративная идентичность.

E-mail: rigasvaverite@gmail.com

Ирина Сandomирская — профессор Центра балтийских и восточноевропейских исследований в Университетском колледже Седертом (Södertörn University college). Область интересов: философия культуры, философия языка, советский политический язык, дискурсы повседневности, советское кино и др. Соавтор книги (с Натальей Козловой) «“Я так хочу назвать кино”. Наивное письмо: опыт лингвосоциологического чтения» (М., 1996); автор «Книги о Родине: опыт анализа дискурсивных практик» (Wien, 2001); редактор сборника «In Search of an Order: Mutual Representations in Sweden and Russia During the Early Age of Reason» (Södertörn, 2004).

E-mail: Irina.Sandomirskaja@sh.se

Эрик Сантнер (Eric L. Santner) — профессор современных немецких исследований в Чикагском университете. Область интересов: пересечение литературы, философии, психоанализа и религиозной мысли. Автор книг: «On Creaturely Life: Rilke, Benjamin, Sebald» (Chicago, 2006); «On the Psychotheology of Everyday Life: Reflections on Freud and Rosenzweig» (Chicago, 2001); «My Own Private Germany. Daniel Paul Schreber's Secret History of Modernity» (Princeton, 1996); «Stranded Objects: Mourning, Memory, and Film in Postwar Germany» (Ithaca, 1990).

E-mail: esantner@uchicago.edu

Кажа Силверман (Kaja Silverman) — профессор кафедры риторики в Калифорнийском университете, Беркли. Автор книг «World Spectators» (Stanford, 2000); «The Threshold of the Visual World» (Routledge, 1996); «Male Subjectivity at the Margins» (Routledge, 1992); «The Acoustic Mirror: The Female Voice in Psychoanalysis and Cinema» (Bloomington, 1988); The Subject of Semiotics (Oxford, 1982).

Гайатри Чакраворти Спивак (Gayatri Chakravorty Spivak) — профессор гуманитарных наук, директор Центра сравнительного литературоведения в Колумбийском университете. Область научных интересов: деконструктивный анализ вербального, визуального и социального текстов. Автор книг: «Red Thread» (в печати); «Other Asias» (Blackwell, 2005); «Death of a Discipline» (NY, 2003); «A Critique of Postcolonial Reason: Towards a History of the Vanishing Present» (Cambridge, 1999), «Outside in the Teaching Machine» (1993); «The Post-Colonial Critic: Interviews, Strategies, Dialogues» (NY, 1990); «In Other Worlds: Essays in Cultural Politics» (NY, 1987). Автор ключевых статей по истории и теории постколониализма.

Елена Трубина — доктор философских наук, профессор кафедры социальной философии Уральского государственного университета (Екатеринбург). Основные интересы: соединение философии, социальной теории и качественных исследований в анализе постсоветских субъективностей и пространств. Автор книг «Социальная антропология» (Екатеринбург, 2003), «Рассказанное Я: отпечатки голоса» (Екатеринбург, 2002), «Нарратология: истоки, проблемы, перспективы» (Екатеринбург, 2002), «Рассказанное Я: проблема персональной идентичности в философии современности» (Екатеринбург, 1995). Публиковалась в журналах «American Studies International», «Stadtbauwelt», «Вопросы философии», «Топос», «Социемы».

E-mail: eletru@hotmail.com

Сюзан Ульберг (Susann Ullberg) — старший аналитик шведского Национального центра исследований и тренингов кризисного управления, докторант кафедры социальной антропологии Стокгольмского университета. Основные интересы: антропологические теории социальной памяти и катастроф, кризисные ситуации. Автор публикаций «The Buenos Aires Blackout: Argentine Crisis Management Across the Public-Private Divide» (Stockholm, 2005),

«Environmental Crisis in Spain: The Boliden Dam Rupture» (Stockholm, 2001).

E-mail: susann.ullberg@socant.su.se

Сергей Ушакин (Serguei Oushakine) — кандидат политических наук, PhD (Колумбийский университет, отделение антропологии). Преподаватель кафедры славянских языков и литератур в Принстонском университете. Область интересов: роль травматического опыта в формировании сообществ, повседневный социализм, практики идентификации. Автор книг «The Patriotism of Despair: Communities of Loss in Contemporary Russia» (Cornell University Press, 2009), «Поле пола» (Вильнюс, 2007). Редактор и составитель сборников «Семейные узы: модели для сборки» (М., 2004) и «О муже(Н)ственности» (М., 2002). Публиковался в журналах «Новое литературное обозрение», «Ab Imperio», «Вопросы философии», «The Russian Review», «American Anthropologist», «Cultural Anthropology» и др.

E-mail: oushakin@princeton.edu

Шошана Фелман (Shoshana Felman) — профессор сравнительного литературоведения и французского языка в университете Эмори. Основные интересы: французская литература XIX—XX веков, психоанализ, травма и свидетельство, право и литература. Основные публикации: «Writing and Madness» (Stanford, 2003), «The Juridical Unconscious: Trials and Traumas in the Twentieth Century» (Cambridge, 2002), «What Does a Woman Want? Reading and Sexual Difference» (Baltimore, 1993), «Jacques Lacan and the Adventure of Insight: Psychoanalysis in Contemporary Culture» (Cambridge, 1987).

E-mail: sfelman@emory.edu

Пауль Харт (Paul Hart) — профессор политических наук в Австралийском национальном университете и исследователь при факультете общественного управления Школы правительства в Утрехте. Основные интересы: общественное лидерство, поведение элит и групповая динамика в правительствах, политические и бюрократические реакции на кризисы, общественная память и память организаций. Основные публикации: «The Politics of Crisis Management» (Cambridge, 2005), «Public Policy Disasters in Western Europe» (London, 1998), «Flood Response and Crisis Management in Europe» (NY, 1998), «Understanding Policy Fiascoes» (New Brunswick,

1996), «Coping with Crises: The Management of Disasters, Riots, and Terrorism» (Springfield, 1989).

E-mail: hart@coombs.anu.edu.au

Бет Холмгрен (Beth Holmgren) — профессор русской и польской литературы в Дюкском университете. Среди основных публикаций книги: «Women's Works in Stalin's Time: On Lidiia Chukovskaia and Nadezhda Mandelstam» (1993), «Rewriting Capitalism: Literature and the Market in Late Tsarist Russia and the Kingdom of Poland» (1998). Редактор и составитель сборников «The Russian Memoir: History and Literature» (2003); «Russia. Women. Culture» (1996). Совместно с Еленой Гошило подготовил к печати сборник статей «Poles Apart: Women In Modern Polish Culture» (Indiana University Press, 2006). В данное время исследует жизнь и творчество русских и польских художников, эмигрировавших в США.

E-mail: beth.holmgren@duke.edu

Ким Лейн Шеппели (Kim Lane Scheppele) — директор программы «Право и публичная политика» («Law and Public Affairs»), профессор Центра гуманитарных ценностей и публичной политики Принстонского университета. Автор многочисленных статей, посвященных постсоциалистическим конституционным изменениям. В настоящее время исследует влияние глобальной «войны с террором» на конституционное законодательство в разных странах мира. Публиковалась в журналах «University of Pennsylvania Law Review», «The Drake Law Review», «The Law and Society Review», «Law and Courts», «International Journal of Sociology» и др.

E-mail: kimlane@princeton.edu

Андрей Шербенек (Andrey Shcherbenok) — кандидат филологических наук, PhD (Университет Калифорнии, Беркли), стипендиат исследовательского фонда Ньютона и преподаватель Шеффилдского университета (Великобритания). Область научных интересов: русское кино и литература, психоанализ, деконструкция, теория идеологии. Автор книги «Деконструкция и классическая русская литература: от риторики текста к риторике истории» (М., 2005).

E-mail: shcherbenok@gmail.com

Указатель

- Аверинцев Сергей 761–762
Айзенберг Чарльз 755, 779
Аланиз Хосе 346–386, 914
Алексиевич Светлана 34, 200, 209, 225, 230–231, 234, 236, 439–470, 630, 914
Алхайт Петер 113
Арендт Ханна 161, 162, 164, 310, 325–326, 524–525
Арьес Филипп 364
Арлен Майкл 412
Аронсон Олег 70
Атанесян 658
Атмосфера безопасности 57–58, 71
Ауэрхан Нанетт 61
Аффе́кт 40, 114, 129, 131, 203–204, 310, 318–319, 328, 330–331, 343, 384–385, 392–393, 406–407, 683, 716, 720, 723, 748, 799–800, 879, 883
- Бабель Исаак 779
Барабан Елена 36, 389, 607, 632
Барзах Анатолий 771
Барт Ролан 855
Беларусь 845, 849
Белинский Виссарион 45, 53
Беньямин Вальтер 182, 203, 753, 868, 910
Бессознательное 13, 134, 160, 165, 277, 505, 518, 520, 746, 781, 799, 819
Биографизирование 112
Битов Андрей 753
Блокада 187–8
Блокадник 188, 621
Богомоллов Владимир 634, 650, 653–654
- Бодунова Полута 844–846, 864
Болезнь 79, 87, 112, 125, 130–131, 148, 157, 211, 218, 232, 235, 240, 346, 348–349, 352, 354, 356, 375, 378, 474, 476, 481, 501, 514, 610, 767, 774–775, 776, 791, 814, 816, 820, 822, 824, 843, 861
Болтански, Люк 131
Болтански, Кристиан 190
Большаков Иван 632
Бондарчук Сергей 633, 635, 637–638, 641, 643–644, 653, 656
Браун Венди 281, 329
Бугай Николай 409
Булгаков Михаил 104
Булгакова, Оксана 710–711, 717
- В 6 часов вечера* 644
Вагинов Константин 753
Валетски Джошуа 123
Ван дер Колк Бессел 240, 256, 561, 566–567
Вебер Макс 108
Вертов Дзига 37, 706–723
Вердери Катерина 323
Ветеран 145, 148, 154, 225, 234, 242–243, 245, 258, 306, 313–315, 317, 321, 336, 489, 561–562, 564, 568, 573, 580, 611, 613, 619, 622, 626, 644–645, 740, 753
Викрой Лора 67, 69,
Виктимизация 181, 234, 521
Винникот Дональд 15, 342–344, 394, 788, 792, 794, 798, 807
и переходный объект 38
Во Патриция 753, 755

- Воин 85, 154, 234, 947
 Воины Афганистана 5, 306, 313–314, 317–318, 322, 333, 340, 453, 455, 584, 613, 618, 627–629
 Война 5, 14–15, 30, 61, 73–107, 145, 150, 151, 154–155, 180, 216, 225, 251, 259, 275, 310, 317, 327, 330, 336, 350, 409, 416, 428–429, 431, 457, 460–464, 495, 521, 561–562, 570, 573, 583–584, 609–611, 613, 618, 620, 626, 663–664, 667, 671–673, 673, 675, 838, 866, 868–669, 871, 879–881, 884, 889–891, 893, 904, 921
 Первая Мировая 13, 36–37, 135, 140, 146, 148, 161, 163, 170, 217, 397, 485, 571, 607–608, 611, 666, 753, 798, 845
 Вторая Мировая 26–27, 37, 134, 138–139, 140–141, 142, 152–153, 157, 167, 187–188, 214, 244–245, 313, 356, 391, 622, 633, 664, 667, 690–695, 697–699, 701, 705–707, 732, 734, 737, 739, 743–746, 750, 795, 847, 912, 914
 Великая Отечественная 84, 202, 336, 420, 426–427, 626–627, 632–658, 914
 Первая Чеченская 317, 585–586, 590, 601, 603
 Вторая Чеченская 6, 276, 295, 314, 583–584, 586, 597, 604–605, 907–908
 Возвышенное 471, 882–884
 Волтер Тони 9, 339, 385
 Воображение 20–21, 184, 390, 690, 887, 890
 Воображаемое 22, 25, 28, 203, 438, 876–877
 Враг 24, 27–28, 89–91, 93–96, 98–101, 103–104, 146, 391, 422, 425–428, 431, 436, 443, 448, 454, 472, 510, 601, 618, 632, 670, 695, 713, 746, 867, 888, 890, 895, 911–913
 Враг народа 457, 618
 Вред 66, 212, 239–240, 281, 283, 286–289, 300, 303, 390, 502, 521, 568, 609, 612, 664
Все так умирают? 346–347, 349, 356, 373–375, 383
 Выжившие 54–56, 67, 137, 152, 179–181, 184, 192–194, 197, 199–200, 203, 229, 267, 275, 367, 585, 693, 702, 904, 910
 Вымысел господствующий 726, 730–735
 Вытеснение 12–13, 15, 134, 165, 224, 402, 689, 691, 696–697, 703
 Газданов Гайто 87
 Гайдар Аркадий 30, 73–106
 Гайдар Егор 76, 79
 Гампел Иоланда 58
 Гаспаров Михаил 760, 762
 Гегемония 856
 Гештальт 109
 Гибель 81–82, 184, 278, 429, 471, 482–483, 486, 488–489, 509, 634–635, 638, 650, 764, 768, 778
 Гибельность 693, 770, 772, 777–778, 780–781, 783
 Погибший 302
 Глобализация 175, 874, 877
 Гнездилов 355–360, 364, 371–373
 Гоголь Николай 757
 Годиер Жан–Макс 30, 133–170, 915
 Голиков Аркадий 30, 73–106
 Горе 6, 10, 74, 102, 268, 271, 297, 318, 327, 348, 374, 384–385, 394, 414–415, 427, 435, 499, 524, 563, 582, 593–594, 591, 617, 625, 639, 643, 714, 719–720, 814, 826
 Горький М аксим 53, 615
 Горький *Детство* 53
 Гофман Эрнст Теодор Амадей 780

УКАЗАТЕЛЬ

- Грамши Антонио 842–843, 856, 859–860
 Грамши *Тюремные тетради* 861
 Гриб Томаш 847–848
 Губенко Николай 633–635, 638, 641–645, 651, 655–656, 656
 Гуссерль Эдмунд 812, 819, 829, 835, 837, 840
 Гуссерль *Картезианские размышления* 812, 829, 836
 Гучинова Эльза–Баир 33, 916
 Гюнтер Джон 348, 356, 374, 376, 378, 381

 Давуан Франсуаза 30, 133–170, 862, 915
 Данс–модерн 112, 116, 121
 Дезавуирование 735, 747
 Дезавуировать 728–729, 750
 Декарт Рене 811–813, 816–817, 819, 836–838, 840–841
 Декарт *Начала* 840
 Демидова Ольга 50
 Деньги 6, 59, 85, 103, 282–287, 292, 299, 307, 335–336, 352, 368, 628–629, 674–675, 891
 Депортация 408–438
 Дерлугян Георгий 419
 Дефект 167, 273, 813–814, 819
 Дефектология 813, 839, 841
 Дискурс, дискурсивный 8, 10, 12, 16–17, 23–24, 27, 31, 41, 111, 114–115, 131, 159, 162, 165, 187, 202–203, 228, 241, 244, 266, 307–308, 310, 313, 315, 321, 330, 331–332, 335, 341–342, 349, 358, 362, 372, 378, 391, 404–407, 421, 426, 437, 520, 537, 551, 553, 555, 633–634, 639, 646, 648, 657–658, 708, 712, 726, 729–730, 732–734, 751, 764, 772–773, 775–776, 784, 840, 842, 844, 855–856, 858, 863, 665, 870, 879, 881, 907, 910, 912, 918
 Джеймисон Фредрик 197, 905

 Дозьен Беттина 114
 Доминирование 858
 Дорожный патруль 362
 Досталь Николай 657–658
 Достоевский Федор 491, 780, 804

 Еврей, евреи 37, 142, 163–164, 166, 190, 195–197, 201, 402, 405, 494–495, 499, 504, 574, 671, 695, 697, 701–702, 759, 761–762, 766, 769, 772, 775, 778, 780, 793, 912
 Еврейство 495, 769, 775, 780
 Египет 762–764, 766, 775–776, 779–780, 875
 Ерофеев Внедикт 753

 Жалость 65, 94, 325–326, 831
 Жалеть 93, 146, 460, 580, 582, 597, 892
 Политики жалости 327
 Жертва 31, 52, 62, 65–66, 108, 184, 205, 261, 271, 275, 283, 286–287, 293, 298, 303, 378, 398, 539, 569–570, 605, 678, 689, 691, 698, 792, 758, 766, 826, 909
 Жертвенность 28, 310, 378, 473
Жертвоприношение 663, 684
 Жижек Славой 22–25, 316, 325, 362, 723
 Жирар Рене 765
 Жолковский Александр 784
 Жуткое 52, 66, 489, 504

 Закон 16, 32, 87, 109, 112, 145, 150, 166, 180, 184, 227, 239, 279, 281–282, 285, 287–293, 300–302, 304, 352, 423, 492, 517–518, 520–521, 524–525, 528 534, 537–539, 544–545, 549–552, 556, 583, 600, 669, 764–765, 853, 867–869, 873, 875, 881, 886, 889–890, 897, 907
 Закс Борис 79–80
 Залкинд Арон 609, 615
 Замещение 15–16, 91, 191, 373, 809

- Захоронение 317, 321–323, 325, 336, 490, 592, 595, 601, 753
 Защита 15, 25, 90, 97, 104–106, 130, 209–210, 225, 233, 242, 404, 521–523, 534–535, 545, 584, 618–619, 670–672, 721, 728, 736, 741, 749, 909, 929
 Защитная оболочка 795
 Зелизер Вивиана 285–286
 Зеньковский Василий 74
 Зиммель Георг 283–285, 291
 Зона 168, 211–212, 218, 223–225, 229, 231, 237–238, 398, 403, 510, 569, 582, 585, 605, 640, 910
 Чернобыльская зона 243–244
 Зорза Виктор 348, 355–358
 Зошенко Михаил 104, 753, 783–784
 Зуров Леонид 86
- Ивамото Гари 412
 Иванова Евгения 409, 416, 476, 479
Иваново детство 633–634, 637, 650, 655
 Идентичность 9, 22–23, 30, 37–38, 41, 192, 257, 280–281, 307–308, 311, 316, 325–326, 329, 331, 343, 391–392, 394, 404–406, 415, 417–418, 472, 596, 635, 668, 689–690, 696–697, 700–705, 733, 736, 747, 761, 787, 793–794, 807, 824, 857–858, 879, 896, 911, 914, 916, 918–919
 Идентификация 177, 236, 294, 309, 327–328, 343–344, 381, 398, 417–418, 420, 471, 615, 638, 647, 675, 722, 730, 806, 905, 919
Иди и смотри 633–635, 639, 642–643, 646–647, 649, 651, 657
 Инвалид 62, 221, 235, 239, 353, 434, 486, 562, 584, 629, 742
 Инвалидность 213, 238–240, 466, 914
 Институт дефектологии 841
 Интерпретация 14, 22–23, 29, 80, 105, 113, 131, 134, 140, 162, 187, 254, 259, 265, 271, 290, 292, 300, 302, 313, 371, 399, 391, 393, 515, 521–522, 534, 547, 572, 652, 792, 803, 909
 Интертекст 772
 Интроекция 122
 Ислам 359, 363, 710, 874, 875, 877, 880, 891, 895
 Инаковость 892, 901
- Калмыки 408–438
 Кавана Клэр 769
 Калатозов Михаил 633
 Кант Иммануил 285, 682, 868, 881–884, 891–902
 Кантонистова Евгения 346–349, 375–377, 379–381, 383, 386
 Карут Кэти 16, 35, 48, 67, 228–230, 484, 641, 653, 716, 905, 909, 916
 Кастрация 38, 234, 725, 727–732, 745, 750, 791
 Кацис Леонид 754, 761–762
 Келли Катриона 47, 67
 Кино 36, 38, 60, 117, 186, 230, 400, 552, 562, 632–658, 679, 682, 706–725, 730, 733, 739–740, 742–744, 749–750, 914, 918, 921
Киноглаз 707, 718
 Кинематограф советский 38, 427, 632–658, 706–724
 Кладбище 19, 272, 318, 321–322, 325, 335, 340, 508
 Климов Элем 634–635, 638–639, 641–642, 644, 646, 649, 651–652, 656
 Когнитивная фигура 114
 Козел отпущения 158, 537, 757, 765, 772–773
 Козеллек Райнхарт 111, 162
 Коллектив, (коллективное, коллективность) 5, 9–10, 22–25, 29, 33, 35–36, 40, 108, 111, 158, 165–166, 171, 175, 179, 181, 184, 192, 205, 218, 230, 253–254, 256–257, 273–275, 308, 319, 325, 331, 336, 370, 403–414, 414, 416–467, 419, 424, 426,

- 471–473, 475, 481–482, 485, 488, 505, 515, 518–520, 524, 526, 539, 545, 549, 567, 574–575, 578, 586, 588, 607, 615–618, 622–623, 626, 630, 632–633, 639–640, 644–645, 648, 656–658, 689–690, 714–715, 718–720, 733–734, 765, 767–768, 783, 856–858, 876, 879, 883–884, 894, 903, 908, 910–913
 Коллектив детский 53–57, 61, 65–66, 68, 106
 Коллективизм 36, 616, 626, 630, 656
 Коллективная солидарность 57, 137, 626
 Комитет солдатских матерей 32, 306, 314, 330
 Консультирование 629
 Контузия 36, 134, 607–610, 613, 624, 627
 Конфликт 32, 35–36, 91, 95–97, 100, 194, 196, 263, 373, 289, 291, 310, 395, 406, 409, 502, 539, 543–545, 584, 641, 644, 657, 670, 710–711, 718, 730, 783, 790, 800–801, 867, 872, 886, 904, 913
 Кошмар 15, 124, 148, 160, 174, 192, 267, 416, 419, 428, 561–562, 564, 566, 571–572, 578–579, 620, 629–630, 636–637, 639, 652, 702, 712, 737, 745, 753, 778, 780, 783, 798, 838, 883, 887
 Красная армия 91, 398
 Кроуфорд Кристина 60
Дражайшая мамочка 60
 Кризис 16, 18, 125, 149, 204, 221, 227, 236, 250–251, 254–255, 257–260, 262–263, 267–268, 406, 473–474, 477, 541–542, 603, 634–635, 643–644, 556, 670, 674–675, 679, 681, 697, 726, 731–732, 736, 742, 748, 755, 767, 783, 819, 875–876, 884, 916, 918–919
 Кризисная ситуация 250, 255, 262, 603
 Кржижановский Сигизмунд 753, 758–759, 766
 Крестева Юлия 12, 27, 108, 747, 795
 Кузмин Михаил 753
 Кузнецова Галина 86
 Кукулин Илья 420
 Лабоу Уильям 123
 Лагерь 57, 262, 645, 646, 909
 концентрационный 108, 152, 141–143, 152–155, 162–163, 182–203, 229–230, 353, 391, 398, 583, 640–641, 695, 848, трудовой 171–182, 409–411, 428, 431, 440, 441–443, 447–451, 626
 фильтрационный 595–596, 599, 602–603,
 Лакан Жак 14, 15, 16, 22, 24, 25, 38, 134, 138, 139, 140, 146, 565, 578–580, 716, 725–729, 763, 772, 788, 792–793, 809
 ЛаКапра Доминик 392–393, 772, 776, 912
 Лакло Эрнесто 733
 Лапланш Жан 101, 332, 391, 392, 393, 396, 571, 616, 715–716, 728.
 Лауб Дори 61, 576
 Лауретис Тереза де 842, 843, 859–861.
 Леви Примо 229
 Леклер Серж 726–728
 Ленин Владимир 37, 309, 467, 611, 614, 616, 708–723, 841, 845, 847, 849, 859.
 Леонов Леонид 753
 Лечение 121, 149, 153, 160–161, 240, 241, 355, 383, 612, 614, 624, 796, 797,
 Либи́до, либидинальный 390, 397–398, 401, 719, 733–735, 740.
 Ликвидаторы 211–243
 Липавский Леонид 83
 Лихачев Дмитрий 357, 358
 Лоренцер Альфред 129
 Лотман Юрий 111, 473,

- Луначарский Анатолий 723, 724,
Луц Том 384
Лучшие годы нашей жизни 731–751
Льготы 211, 227, 239, 235, 470,
Любовь 20, 101, 102, 140, 458, 460,
529, 543, 553, 573, 832, 846–849,
859–863
- Макаренко Антон 74,
Мандельштам Осип 751–784,
Мать–«звезда» 59–61
Матери солдатские 306–345
«Мемориал», правозащитный
Центр 324, 582, 589,
Мемориал, *см. также* памятники
177, 194, 243–244, 269, 272, 317, 876
Мемориализация 16, 32, 183, 308,
310–311, 336, 340, 509, 633
Мерридейл Катерина 643, 645
Металитература (металитературная
поэтика) 751–756, 764, 777
Метафора 6, 11, 18, 31, 125, 128–
130, 139, 162, 283, 290, 309, 311, 313,
392, 407, 474, 481, 486, 502, 511–
513, 542–544, 642, 648, 660, 690,
717, 719, 720, 722, 756, 763, 775, 777,
794, 803, 809, 810, 830, 854, 900
Метонимия 162, 311, 331–345, 712,
775, 810, 871
Мертвый 5, 146, 271, 321, 364, 448,
451, 509, 553, 564–565, 579, 592,
664, 701, 710, 717, 720, 763, 803–
804, 890
Миллионщикова Вера 355–370
Митчелл Джулиетт 16, 861
Молчание 16, 31, 35, 36, 87, 108–
110, 122, 139, 153, 154, 169, 170, 317,
321, 392, 410, 426, 575–578, 624,
630, 842, 850–863
Замалчивание 47, 131, 180, 291, 367,
578, 618, 624, 676, 910
Мужественность 104, 417, 609, 683,
725–750
- Набоков Владимир 86, 753, 784
Нагрузка (*психоаналит.*) 332, 391
Наказание 56–57, 64–66, 68, 132,
140, 167, 285–292, 424, 525, 533,
545, 553, 596, 598, 765, 869
Насилие 46, 56, 62–64, 67, 108–109,
310, 341, 405–406, 418, 522, 528–
533, 536–539, 551, 578, 582, 591,
595, 609, 765–767, 783, 789, 812–
813, 857, 878–881, 883, 886, 896, 907
Нарратив 14, 28, 48, 77, 108–129,
279, 290, 335, 390, 403, 412–413,
517, 521, 544, 556, 648, 656, 730, 732,
737, 857, 863, 865, 875
подавляющий 61, 184, 310, 486,
свидетельский 49, 54, 61,
Нарративный фетишизм 17, 19, 33,
391–392, 398, 404, 406,
Нацизм 389, 399, 403, 405–407, 699
Невроз 11, 13–15, 75, 80, 106, 134,
161, 166, 217–218, 396, 403, 571,
572, 586, 608, 610, 613–615, 619,
621, 625, 716, 753, 788
Невыразимость травматического
опыта 14, 40, 48, 193–194, 241, 752,
781, 852, 859, 861, 909
Немота (афония) 109, 412, 642, 771,
796, 798, 802–803, 855
Некрасов Николай 45–46, 51, 72,
476, 507, 511,
Нерлер Павел 754, 766
Никитенко Александр 46
Норд–Ост 276–279, 293–304
- Объектные отношения 342–345,
397, 788, 792, 805
переходный объект 15–16, 18,
38, 344, 394,
утраченный объект 725, 773
Овеществление 112, 317, 325, 331,
339, 345, 871,
Окончательное решение 157, 193,
194, 389, 393, 398, 399, 403, 405–
407, 911

Отвращение физиологическое 364, 377, 767, 795,

Павлов Евгений 779, 782

Память 5, 11–16, 104, 131, 174, 179–180, 188–191, 197, 204–205, 229, 247–248, 254–275, 298, 306, 311, 314, 319, 332, 401, 409–410, 416–419, 421, 438, 524, 537, 539–540, 556, 562, 565–567, 570, 594, 626, 633, 635, 640, 643, 648–650, 664, 689–693, 695–697, 700, 702, 713, 803, 826, 830, 904, 909.

мнемоническая настройка 390–391
см. также мемориализация, увековечивание

Памятник 6, 18, 229, 244, 258, 297, 317, 319, 482, 561, 872.

Панаев Иван 45–46, 73.

Панаева Авдотья 45–73

Паника 217, 227, 584, 620, 670

Пациент 11–13, 133–168, 238–240, 351–354, 358–359, 366–367, 383, 474, 569, 571, 611–613, 621, 624–625, 627, 629, 789–790, 796, 797, 800, 808, 831, 855

Первичная сцена 75, 716, 792, 807

Переживание 13, 29, 36, 50, 58, 61–62, 88, 105, 111, 113–114, 120–122, 126, 130, 223, 241, 280, 344, 385, 489, 566, 569–571, 582, 602, 623, 629, 644, 764, 789, 826, 861, 905

Перенос 133–134, 147, 150, 151, 158, 167, 169, 393, 616, 720, 723, 730, 799

Переработка символическая 243, 392

Перформанс 126–129

Письмо 38, 703, 727, 751–752, 755, 759, 764, 777, 779, 781, 783, 807, 808, 842–843, 859

Платонов Андрей, 811, 814, 821, 829, 835

Повествование 13, 19, 33, 48, 51–52, 56, 87, 108, 111, 123, 129, 196, 199, 200, 280, 282, 290, 390, 391, 399,

401, 404, 406, 472–473, 488, 531, 632, 639, 643, 647, 657, 777, 908

Повествователь 52

Повесть о настоящем человеке 453, 644

Поддержка 57, 65, 319, 338, 339, 436, 596

Подорога Валерий 129

Подранки 633, 638, 642

Полякова С. 757

Понталис Жан Бертран 101, 332, 391, 393, 396, 616,

Пострадавший 10, 234, 261, 262, 265–272, 278, 281–283, 290, 293, 301–302, 397, 594, 608, 611, 629, 906
Посттравматический стресс 584, 613, 621, 628, 636–637, 755,

Порядок символический 12, 18, 38–39, 134, 147, 339, 423, 726, 729–731, 841

Потеря 9, 25, 126, 244, 286, 290, 308, 312, 313, 315, 331, 334, 341, 385, 394, 483, 489, 585, 594, 648, 689, 693, 713, 773, 806, 840, 861, 912.

Похороны 19, 55, 278, 294, 322–323, 373, 384, 449, 459, 490, 600, 714, 717, 723, 776

Православие 364, 372, 385, 617, 616, 631, 845

Признание 13, 22, 106, 261, 283, 290, 299, 311, 324, 335–336, 405, 528, 729, 749, 789, 790, 792, 794, 795, 806–808, 862, 892, 903

Принцип наслаждения (принцип удовольствия) 13–15, 161, 394, 396–399, 403–404, 565, 571–572, 574, 581, 734–736,

Проекция (*психоаналит.*) 37, 310, 344, 417, 697, 730, 744, 749, 773,

Пронин Василий 650

Пространство 30, 65, 69, 86, 98, 128, 131, 139, 168, 197, 248, 264, 290, 309, 321–324, 344, 398, 405–406, 421, 543, 616, 660, 668, 670, 709, 723, 760, 776, 780, 823, 831, 863, 868, 872, 882, 890, 899

- Пропавшие без вести 146, 177, 589, 594–595
- Психоанализ 12–14, 19, 22–23, 38, 75, 101, 129, 133–135, 151, 159, 162, 165, 192, 312, 332, 342–345, 389–407, 517, 578–580, 615, 715, 726, 729, 734, 787–810
- См. также: Винникотт, Жижек, Лакан, Фрейд
- Психология 67, 102, 131, 165, 166, 191, 217, 226–227, 248, 373, 473, 481, 567, 584, 594, 600, 616, 627
- Психологическая реабилитация 332, 413, 596, 612–613, 740
- Психический 22, 39, 55, 74, 80, 106, 109–110, 332, 335, 392, 393, 395–397, 403, 567, 716, 718, 720, 723, 735–736, 745, 787–788, 795, 842
- Психические расстройства 135, 213, 232, 395, 404, 439, 469, 481, 501, 596, 611, 612, 624, 629, 633, 656–657, 843, 861
- Психиатрия, психиатрический 80, 101, 133–135, 153, 166–167, 373, 471, 500, 511, 562–563, 610–611, 624, 628, 752
- Путь к смерти 348, 356, 357
- Пушкин Александр 371–372, 471–515
- Пырьев Иван 644
- Пытка 65, 159, 583, 592, 595–597, 889, 907
- Работа скорби 11, 308, 310, 324, 339, 384–385, 392–396, 405, 714, 875, 912
- Раглэнд Е. 764
- Разум 89, 170, 193, 567, 571–572, 704, 824, 852, 882, 891–892, 895–902
- Рана, ранение 281, 483, 505, 522, 625, 628, 698, 740,
- Расщепление (схизис) 543, 567, 583, 764, 829
- Реальное 22, 38, 137, 148, 150–151, 157–163, 165, 168–169, 763–764, 772, 775, 776
- Религиозность 268, 340, 358, 601, 697, 699, 877, 891, 896–897, 900
- Религия 67–68, 204, 364, 439, 451, 616, 623, 700, 701, 875, 877, 891, 893–902
- Реконтекстуализация (ре-контекстуализация) 336, 344, 910
- Ремизов Алексей 753
- Репрезентация 15, 31, 32, 36, 38, 111, 115, 134, 159, 174, 177, 180, 184, 189, 195, 307–308, 316, 326, 389, 392, 398, 399, 400, 517, 565, 659, 707, 708, 718, 725, 730, 735, 736, 739, 742, 744, 776, 801–803, 856, 863, 903
- Репрессия, репрессированный 95, 108, 413, 416, 417, 428, 430, 433, 618, 623, 850, 912
- Речь 15–17, 30–31, 36, 38–39, 41, 113–115, 130–131, 134, 137–140, 147, 149, 159, 160, 162, 378, 410, 518, 551–552, 555, 569, 577, 797, 799, 803–804, 807, 838–839, 852, 855, 858, 862–863,
- Ритуал 7, 9, 16, 21, 29, 34, 308–310, 316, 319, 323, 339, 378, 384, 390, 394, 439, 446, 633, 763, 894, 901,
- Роббен Антониус 7, 25, 54, 57, 308, 319, 416, 490
- Родина 6, 24, 330, 337, 340, 400, 401, 406, 415, 416, 420, 428, 435, 437, 444, 446, 449, 460, 466, 470, 605, 622, 659, 664, 674, 850, 885
- Розанов Василий 753
- Розенталь Габриэле 109, 110
- Ротгерс Кристиан 109
- Саид Эдвард 894
- Саломатина Ирина 814
- Самоубийство, суицид 76, 79, 84, 164, 352, 446, 456, 467, 468, 592, 613–614, 621, 624, 704, 771, 857, 880–881, 884–886, 900
- Самоубийца 881–882, 884–886, 888, 900, 911

- Самозащита 601, 741
 Самопожертвование 6
 Сандлер Джозеф 57
Свалочи 658
 Сегал Дмитрий 753, 758, 778
 Секуляризм 891–898
 Селье Ганс 586
 Сереметакис Надя 319
 Символизация 15, 17, 31, 91, 129, 243, 313, 315, 335–336, 339, 806, 809
 символический порядок 12, 18, 38, 134, 147, 339, 423, 726, 729–731, 841,
 символическая смерть 94, 757, 760, 768, 781
 псевдосимволический 18, 809,
 Синдром 36, 160, 234, 250, 562, 586, 635,
 выжившего 629
 травматический 217, 432, 562, 629, 633, 635, 636, 640, 755
 тридцать седьмого года 588, 595, 606
 Симптом 12–13, 26, 29–30, 38, 80, 134, 159–160, 218, 224, 280, 350, 383, 395–396, 501, 519, 521, 546, 561–562, 566, 570–571, 578, 584, 606, 613, 619, 621, 629, 636–638, 664, 715, 732, 789–790, 796–800, 803, 904, 911
 Скорбь 11, 16, 24, 37, 120–121, 142, 304, 306–308, 310, 321, 324, 329, 339–341, 345, 352, 359, 382–385, 391–392, 394–396, 399, 405, 422, 511, 589, 607, 612, 624–626, 628, 629, 633, 714–715, 720, 818, 858, 872, 875, 883, 912
 Скороходова Ольга 39, 813–814, 819, 821–822, 824, 826, 829–830, 835–837
Смерть, не гордись 348, 356, 374, 376–377
 Сны, сновидения 15, 80, 81, 120, 125, 136, 144, 160–162, 165, 168, 193, 396, 422, 439–440, 455, 459, 519–520, 572, 578–579, 636–637, 716, 734, 737, 719, 792, 798–799, 804, 810, 816, 838
 Соколянский Иван 833, 837
 Солженицын Александр 57, 353, 372, 411
 Солоухин Владимир 76–81, 88
 СССР, Советский Союз 53, 95, 96, 214216, 221, 226, 227, 352–354, 358, 408, 425, 427, 447, 475, 486, 589, 614, 615, 622, 626, 631, 632, 711, 848, 913, Сознание 11, 48, 74, 100, 102, 107, 110, 124, 130, 179, 185, 192, 194, 197, 201, 212, 236, 242, 245, 276, 277, 327, 366, 415, 427, 436, 437, 472, 478, 488, 489, 493, 507, 538, 544, 545, 547, 551, 562, 565–567, 571, 608, 613–615, 634, 640, 645, 647–649, 650, 655, 688, 689, 693, 695, 696, 698, 714, 722, 731, 650, 654, 761, 762, 766, 781, 782, 794, 795, 798, 805, 811–813, 836, 854, 861, 871, 872, 880, 902, 906, 909
 коллективное 216, 306, 354, 418, 425, 472, 615, 854, 868
 Соколов Саша 751
 Солидарность 57, 137, 143, 319, 480, 652
 Социальные пособия 239, 303, 525, 624,
 Сочувствие 64, 203, 204, 319, 361, 371, 400, 401, 437, 585, 613, 655, 743
 Спецпереселенец 409, 410, 419, 425, 426
 Спитак 412, 627
 Спивак Гайатри Чакраворти 39, 40, 853–855, 864–899, 909, 917,
 Могут ли угнетенные говорить?
 853, 854, 862
 Среда 219, 223, 226, 262, 268, 803
 Ссылка 424, 612
 Сталин Иосиф 18, 26, 411, 425, 426, 444, 446, 449, 602, 613, 617, 621, 708, 712, 846

- Сталинизм 357, 408, 427, 622, 706
 сталинский 176, 179, 391, 423, 588, 589, 614, 615, 618, 623, 628, 629, 656, 706, 712, 839
 Стигма 231, 232, 233, 434,
 Стигматизация 231, 232–234
 Стойкость 36, 142, 145, 254, 333, 576, 605, 607, 619, 620, 623, 625, 646,
 Столпер Александр 644
 Страх 55, 58, 63, 101, 102, 104, 112, 120, 125, 144, 160, 163, 172, 190, 192, 221, 223, 224, 231, 351, 354, 355, 359, 361, 364, 366, 377, 383, 411, 415, 422, 440, 443, 454, 455, 462, 480, 490, 520, 530, 568, 570, 572, 584, 590, 591, 595, 605, 620, 622, 623, 626, 635, 644, 660, 664, 675, 689, 703, 712, 715, 746, 753, 764, 768, 772, 776, 793, 806, 809, 818, 831, 832, 839, 866, 877
 Стресс 76, 117, 212, 217, 223, 227, 253, 255, 256, 280, 416, 512, 513, 561, 566, 568, 570, 573, 576, 577, 584, 586, 588, 594, 612, 619, 620, 624, 626, 627, 636, 847
 Субъективность 38, 54, 723, 725, 726, 728, 735, 747, 907, 917
 Субъект 11, 14–16, 19, 22, 23, 25, 39, 40, 48, 53, 67, 71, 80, 111, 114, 131, 139, 148, 158, 160, 161, 163, 165, 169, 170, 176, 179, 187, 204, 259, 293, 342–344, 391–393, 405, 417, 423, 511, 569, 854, 860–862, 864, 866, 870, 880, 882, 885
 Суд 260, 261, 269, 279–283, 286–288, 290–295, 298–304, 487, 491, 513, 516, 517–528, 532–556, 592, 601, 608, 668, 757, 768, 887, 911
Судьба человека 649, 651, 653, 656
Сын полка 651, 654
 Сюжет 6, 9, 20, 48, 71, 90, 97, 125, 184, 381, 414, 416, 418, 420, 435, 472, 492, 493, 507, 515, 517, 519, 540, 634, 751, 756, 759, 761, 766, 781
 Сюфелд Петер 218
 Табу 235, 351, 361, 553, 908, 909
 Тарковский Андрей 632, 634, 636, 637, 640, 642–644, 647, 651–655
 Терроризм 108, 115, 129, 478
 Тищенко Павел 131
 Толстой Алексей 104,
 Толстой Лев 34, 83, 357, 364, 370, 372, 382, 491, 513, 514–518, 526, 527–529, 534–536, 540–542, 546–556, 838
 Травматизация 30, 109, 110, 149, 154, 397, 573, 584, 629, 902
 Травматический опыт 576, 637, 639, 640, 647, 653, 657, 713, 718, 750–752, 773, 788, 907, 918
см. также невыразимость
 травматического опыта 48, 750, 754, 779
 Трагедия 6, 25, 35, 74, 78, 123, 140, 158, 196, 200, 245, 263, 265, 266, 268, 272, 273, 284, 298, 302, 304, 305, 357, 391, 412, 415, 422, 427, 454, 476, 479, 486, 527, 547, 583, 591, 636, 638, 640–642, 644, 648, 649, 761
 Траур 360, 511, 717, 882
 Тревога 84, 95, 96, 99–101, 105, 106, 186, 253, 257, 272, 397, 398, 406, 435, 529, 566, 572, 586, 661, 662, 689, 699, 703, 746, 771, 785, 793, 796, 886, 905
 Трофимова Елена 68
 Трунов Игорь 293, 294, 298–302
 Тумаркин Нина 632
 Тхостов Александр 131
 Увековечивание 16, 176, 195, 196, 200, 244, 279, 317, 540, 687, 870, 910
 Утрата 6–11, 15, 16, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 33, 40, 55, 82, 101, 128, 141, 148, 267, 268, 270, 272, 280–282, 285, 285–287, 289, 290, 292, 302, 304, 308, 310, 319, 321, 325, 328, 331, 332, 334, 335, 337–339, 344, 345, 384, 385, 392, 396–398, 413, 415, 429, 437, 471, 472, 486, 507, 509, 513,

- 542, 569, 577, 593, 595, 600, 617, 623, 626, 632, 634, 636, 642, 655, 656, 682, 687, 688, 694, 695, 701, 711, 718, 727, 729, 730, 739, 769–771, 774–776, 784, 798–800, 804, 806, 826, 906, 910, 911
 нормализация утраты 312, 315, 316
 объективизация утраты 317
 позитивизация утраты 316, 317
 сообщество утраты 10, 25, 31, 316, 321, 329, 334
 Ущерб 32, 84, 214, 218, 231, 245, 248, 250, 252, 264, 282–284, 286, 287, 289–291, 293, 419, 785, 845, 859, 865
 моральный 286, 287–289, 292, 293, 295, 298–301
 материальный 286, 287, 289, 293, 298, 301, 302–304, 522
- Фаллос 38, 139, 724–728, 730, 748
 и пенис 726
- Фашизм 96, 188, 405, 441, 619, 631, 645, 652, 657
- Фелман Шошана 34, 576, 903, 918
- Феминизм 38, 867
- Фраерман Рувим 89
- Фрагментация 67, 110, 334
- Франкл Виктор 583, 586, 593–595, 597, 598, 600
- Фрейд Анна 141, 142, 145, 147
- Фрейд Зигмунд 11–16, 22, 161, 162, 164, 165, 167, 179, 217, 280, 392, 394, 396, 397, 403, 404, 406, 431, 489, 523, 540, 565, 571, 572, 574, 579–581, 613, 714, 715, 726, 732–734, 746, 751, 761, 785, 786, 791, 792, 794, 795, 801, 802, 806, 808, 853
По ту сторону принципа наслаждения 12–15, 17, 394, 396, 403, 404, 733, 734
Скорбь и меланхолия 397
- Фриш Андрея 54
- Хармс (Ювачев) Даниил 104, 751
- Холмгрен Бет 29, 919
- Холокост 37, 179, 181, 183, 184, 187, 188–190, 194, 195, 197, 199, 200, 202, 391, 394, 401, 402, 405, 409, 573, 574, 576, 617, 631, 639, 640, 649, 693, 698, 786, 793, 903, 910
 Хоспис 33, 346, 348–363, 365–374, 383, 386
- Цветаева Марина 468, 484–486, 752
- Цветкова Роза 355, 365–368
- Чернобыль 31, 209–245
 чернобыльская авария 31, 214, 215, 226
 чернобыльская катастрофа 210, 211, 213, 215, 226, 227, 229, 234, 235
 Чечня 6, 21, 26, 35, 276, 295, 308, 311, 313–315, 317, 330, 334, 336, 409, 419, 454, 582, 583–586–592, 595, 597–600, 604
 Чомский Ноам 872, 873, 875, 876
 Чудакова Мариэтта 97, 782
 Чухрай Григорий 632
- Шаламов Варлам 431, 782
- Шевенова Светлана 410, 430
- Шкловский Виктор 28, 29, 751
- Шмид Вольф 111
- Шолохов Михаил 460, 633, 637, 653
- Штрафбат* 656, 657
- Шухт, сестры 857–859
- Шютце Фритц 113
- Эйзенштейн Сергей 704
- Экстремальный 218, 219, 223, 336, 583, 585, 599, 612, 618
 экстремальная ситуация 145, 224, 412, 584, 585, 599, 628
 Эмоция, эмоциональный 5, 7, 8, 10, 16, 17, 18, 29, 37, 51, 55, 56, 59, 70, 99, 101, 113, 114, 123, 181, 187, 203, 223, 231, 255, 257, 271, 286, 308, 313,

УКАЗАТЕЛЬ

- 314, 324, 326–329, 331, 335, 338,
339, 342–345, 384, 385, 416, 418,
475, 481, 487, 490, 510, 513, 518, 536,
545, 512, 567–569, 582, 602, 604,
625, 635, 640, 641, 645, 648, 660, 747,
794, 796, 797, 831, 858, 859, 877, 878,
891, 901
 эмоциональные сети 329
Эрикссон Кай 57, 150, 257, 765
Эрикссон Эрик 252
Эрнандес Макс 787, 790, 791, 805
Юмор 177, 223, 597, 696, 759
Epoché 813
Eversio, eversioni 811
Skándalon 811
Unheimlich *см. также* Жуткое 52,
58, 489, 490

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие

Сергей Ушакин «Нам этой болью дышать»?: О травме, памяти и сообществах	5
---	---

1. ПАМЯТЬ БОЛИ

1.1. Бет Холмгрен. Не-натуральная школа: «Семейство Тальниковых» Панаевой	45
1.2. Мария Литовская. «Оружие и амуницию держат в полном порядке»: войны А. Голикова в текстах А. Гайдара	73
1.3. Елена Рождественская. Словами и телом: травма, нарратив, биография	108
1.4. Франсуаза Давуан, Жан-Макс Годийер. История по ту сторону травмы	133
1.5. Елена Трубина. Феномен вторичного свидетельства: между безразличием и «отказом от недоверчивости»	171

2. СООБЩЕСТВА УТРАТЫ

2.1. Сергей Мирный. Чернобыль как инфотравма	209
2.2. Сюзан Ульберг, Пауль Харт, Селеста Бос. Длинная тень беды: общественная и политическая память о катастрофе	247
2.3. Ким Лейн Шеппели. Двойной счет: рассказы и расчеты после теракта на Дубровке	276
2.4. Сергей Ушакин. Вместо утраты: материализация памяти и герменевтика боли в провинциальной России	306
2.5. Хосе Аланиз. Особенности национальной смерти: русский хоспис	346

3. НАСТОЯЩЕЕ ПРОШЛОГО

- 3.1. Эрик Сантнер. История по ту сторону принципа наслаждения: размышление о репрезентации травмы 389
- 3.2. Эльза-Баир Гучинова. Текст депортации и травмы в сочинениях школьников Калмыкии 408
- 3.3. Светлана Алексиевич. Время second-hand: частные подробности одного ритуала 439
- 3.4. Роберт Весслинг. Смерть Надсона как гибель Пушкина: образцовая травма, медийная смерть и поэт «больного поколения» 471
- 3.5. Шошана Фелман. Слепота закона и ее формы, или Свидетельства невидимого 516

4. ИСТОРИИ РАСПАДА

- 4.1. Кэти Карут. Травма, время и история 561
- 4.2. Элиза Мусаева. Жизнь после жизни: Записки о поисках смысла выживания в Чечне 582
- 4.3. Катрин Мерридейл. Сознание коллектива: травма и контузия в России XX века 606
- 4.4. Елена Барабан. Война в кино: одиночество травмы на фоне коллектива 631
- 4.5. Петар Рамаданович. Как я стал американцем: когда войска НАТО бомбили мой город 658

5. РАБОТА СКОРБИ

- 5.1. Омер Бартов. Травма и отсутствие после 1914 года 687
- 5.2. Андрей Щербенок. «Взгляни на Ленина, и печаль твоя разойдется, как вода»: эстетика травмы у Дзиги Вертова 704
- 5.3. Кажа Силверман. Историческая травма и мужская субъективность 723
- 5.4. Марк Липовецкий. «И пустое место для остальных»: травма и поэтика метапрозы в «Египетской марке» О. Мандельштама 749

6. РАЗЛОМЫ РЕЧИ

6.1. Джулиет Митчелл. Травма, признание и место языка	785
6.2. Ирина Сандомирская. Мир наизнанку, жизнь на ощупь: история маленькой О.	809
6.3. Елена Гапова. Любовь как революция, или «Несмотря на Грамши» Полуты Бодуновой	840
6.4. Гайатри Чокраворти Спивак. Террор: речь после 9–11	864

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Елена Трубина. Множественная травма	901
---	-----

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ	912
---------------------------	-----

УКАЗАТЕЛЬ	920
-----------------	-----

ТРАВМА:ПУНКТЫ

Сборник статей

Составители С. Ушакин и Е. Трубина

Редактор
И. Калинин
Корректор
Э. Корчагина
Дизайнер
Д. Черногаев
Компьютерная верстка
М. Терещенко

Налоговая льгота —
общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры

ООО «Новое литературное обозрение»

Адрес редакции:
129626, Москва, И-626, а/я 55
Тел.: (495) 976-47-88
факс: (495) 977-08-28
e-mail: real@nlo.magazine.ru
<http://www.nlobooks.ru>

Формат 84х108/32
Бумага офсетная № 1
Печ. л. 58,5. Тираж 1000. Заказ №
Отпечатано в ОАО «Издательско-полиграфический комплекс
“Ульяновский Дом печати”»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

Издания
«Нового литературного обозрения»
(журналы и книги)
можно приобрести в магазинах:

в Москве:

«Политкнига» — ул. Малая Дмитровка, 3/10. Тел.: (495)200-36-94
«Ad Marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., 5/7. Тел.: (495)951-93-60
«Библио-Глобус» — ул. Мясницкая, 6. Тел.: (495)924-46-80
«Гилея» — Нахимовский просп., 51/21. Тел.: (495)332-47-28
«Гнозис» — Zubовский проезд, 2, стр. 1. Тел.: (495)247-17-57
«Книжная лавка писателей» — ул. Кузнецкий Мост, 18.
Тел.: (495)924-46-45
«Молодая гвардия» — ул. Большая Полянка, 8. Тел.: (495)238-50-01
«Москва ТД» — ул. Тверская, 8. Тел.: (495)797-87-17
Московский Дом книги — Новый Арбат, 8 (а также во всех остальных магазинах сети).
Тел.: (495)203-82-42.
«Старый свет» (книжная лавка при Литинституте) —
Тверской бульвар, 25 Тел.: (495)202-86-08.
«Фаланстер» — Малый Гнездиковский пер., 12/27. Тел.: (495)749-57-21
«У Кентавра» — ул. Чаянова, 15. Тел.: (495)250-65-46
«Букбери» — Никитский б-р, 17. Тел.: (495)291-83-03
«Русское зарубежье» — ул. Нижняя Радищевская, 8
(м. Таганская-кольцевая) Тел.: (495)915-11-45
«Primus Versus» — ул. Покровка, 27, стр. 1. Тел.: (495)951-93-60
Магазины сети «Книжный клуб 36°6». Тел.: (495)223-58-20
«Топ-книга». Тел.: (495)166-06-02

в Санкт-Петербурге:

Книжные салоны при Российской национальной библиотеке —
Садовая ул., 20; Московский пр., 165 (812)310-44-87
Книжный салон — Университетская наб., 11
(магазин в фойе филологического факультета СПбГУ) (812)328-95-11
Книжный магазин-клуб «Квилт» — Каменноостровский пр., 13
(812)232-33-07
Подписные издания — Литейный пр., 57 (812)273-50-53
ОАО «Санкт-Петербургский Дом Книги» — Невский пр., 62
(812)570-65-46, 314-58-88
ООО «Санкт-Петербургский Дом Книги» (Дом Зингера) —
Невский пр., 28 (812)448-23-57

в Екатеринбурге:

Дом книги — ул. А. Валека, 12. Тел.: (343)358-12-00

в Нижнем Новгороде:

«Дирижабль» — Б. Покровская, 46. Тел.: (8312)31-64-71

в Ярославле:

ул.Свердлова, 9. В здании ЦСИ «АРС-ФОРУМ». Тел.: (4852)72-57-96

в Интернете:

www.ozon.ru
www.bolero.ru